

Сибирь: коллекция представлений XX век



СИБИРЬ:
КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
XX век

Книга для чтения по сибирской литературе

Красноярск
2020

ББК 84(2Рос=Рус)1
С 34

При подготовке книги для чтения по сибирской литературе использованы ресурсы из книжного фонда Литературного музея им. В. П. Астафьева и библиотеки Красноярского краевого краеведческого музея.

Составители:

А. В. Броднева, научный сотрудник Литературного музея им. В. П. Астафьева, заслуженный работник культуры РФ;

О. П. Ермакова, заведующий Литературным музеем им. В. П. Астафьева.

С 34 **Сибирь: коллекция представлений. XX век** / сост.: А. В. Броднева, О. П. Ермакова. — Красноярск : ООО «КАСС», 2020. — 700 с. + 20 с. вкл.

ISBN 978-5-6045145-1-1

«Сибирь: коллекция представлений. XX век» — это вторая часть хрестоматии — учебного пособия для чтения по литературе Сибири. Первая часть «Сибирь: коллекция представлений. XVII—XIX вв.» издана в 2018 году. При составлении сборника учитывалось многообразие направлений, стилей и жанров литературы, в первую очередь эпистолярного жанра: воспоминания, лежавшие под спудом более века, солдатские письма и дневники участников Гражданской и Великой Отечественной войн, публицистика, сатира, исторические хроники, документальные очерки и романы либо неизвестных авторов, либо полузабытых по известным причинам. И конечно, «поэтического материка», тоже полузабытого. Важной задачей составителей данного ресурса является фиксация этих явлений в контексте вековых традиций русской и зарубежной классики и знакомство с ними читающей аудитории. Уникальные и редкие тексты снабжены историческим комментарием, биографическими статьями и фотоматериалами.

Издание осуществляется
при поддержке
государственной
грантовой программы
Красноярского края

книжное
Красноярье

ISBN 978-5-6045145-1-1

© КГБУК «Красноярский краевой краеведческий музей», 2020
© Броднева А. В., Ермакова О. П., 2020
© Оформление. ООО «КАСС», 2020


ОБЩЕСТВО
ТИИ НАРОДНАГО УНИВЕРСИТЕТА
ТАРАСОВ
ВЛЕЧЕНИЕ.
ИТЬСЯ
ЛЕКТОРА:
Иванов, Лощенов, Осипов, Оленич-Гнененко и Правдин.
ЗАНЯТИЙ
7 час. веч. концерт.



Бессонница

Коллектив авторов подготовил к изданию уникальный сборник — «Сибирь: коллекция представлений. XX в.». Это вторая часть хрестоматии — учебного пособия для чтения по литературе Сибири. Первая часть «Сибирь: коллекция представлений. XVII—XIX вв.», изданная в 2018 году, стала знаковым событием: впервые появилось такое пособие, которое даёт представление о многих забытых именах, направлениях литературного процесса, формировании культурных гнёзд и в целом обозначает такие понятия, как «сибирская литературная традиция», «сибирская литература в провинции» (впервые употреблён этот термин в 1837 году немецким писателем Генрихом Кёнигом).

В период подготовки второго тома хрестоматии произошли существенные изменения в самой концепции. В 2016—2018 годах коллектив авторов: писатели, краеведы, литературные критики, музейщики, издатели — подготовили около 30 художественных книг красноярских авторов XX века, имена которых не звучали полвека и более… И осуществился этот культурологический прорыв благодаря грантовой программе «Книжное Красноярье». Все эти, теперь уже раритетные издания поступили в библиотеки края и значительно обогатили наше представление о современной красноярской литературе.

Поэтому во второй части хрестоматии — «Сибирь: коллекция представлений. XX в.» — считаем необходимым расширить горизонты «представлений» читателя за счёт других жанров и направлений в литературе XX века, использования богатейшего потенциала той части «сибирских материков», которые поднялись из «глубины сибирских руд» на поверхность в последние два десятилетия и не получили ещё должной оценки широкой аудитории.

При составлении сборника учитывалось многообразие направлений, стилей и жанров, в первую очередь эпистолярного: воспоминания, лежавшие под спудом более века, солдатские письма и дневники участников Гражданской и Великой Отечественной войн, публицистика, сатира, исторические хроники, документальные очерки и романы либо неизвестных авторов, либо полузабытых по известным причинам. И конечно, «поэтического материка», тоже полузабытого. Важной задачей составителей данного ресурса является фиксация этих

явлений в контексте вековых традиций русской и зарубежной классики и знакомство с ними читающей аудитории. Уникальные и редкие тексты снабжены историческими комментариями и биографическими статьями. Сверхзадача — обратить внимание любопытного читателя в первую очередь на местные литературные традиции.

Хрестоматия выдержана хронологически: начало XX века совпало с международными военными конфликтами, в которые была втянута Россия и Сибирь как её составная часть. Русско-японская, Первая мировая, Гражданская войны… Коллективизация, репрессии, освоение Арктики, развитие авиации, Великая Отечественная война, Победа, мирная жизнь и восстановление народного хозяйства, оттепель и т. д. Но это не значит, что мы строго следовали хронологии, однако выделили наиболее значительные моменты историографии Сибири в XX веке.

Посмотрим на развитие местной провинциальной литературы через призму исторического дискурса. Город Красноярск растёт численно и интенсивно развивается в первой четверти XX века. Гигантский промышленный, экономический, политический и культурный сдвиг связан со строительством Транссиба. В Красноярске в канун Февральской революции выпускаются газеты различных направлений: политические, художественные, сатирические, а также отраслевые журналы, печатаются плакаты «Окон РОСТА»; формируются политические партии: от народников до анархистов и черносотенцев, кадетов, эсеров и большевиков. Центром культурной жизни России становится Сибирь, и здесь же решается судьба великой империи в борьбе за сохранение её целостности.

Общественная и культурная жизнь в крупных городах подробно представлена в периодической печати, толстых журналах. Содержание многих изданий для нас спустя столетие — «терра инкогнито». В Красноярске в начале XX века издавались газеты «Свободная Сибирь» (редактор-издатель Ф. Филимонов), «Енисейская мысль», «Енисей» (редактор Е. Кудрявцев, основавший «Первое сибирское товарищество печатного дела»). Печатается первая в Сибири медицинская газета «Сибирские врачебные ведомости» (1903—1912). В 1906—1912 годах в преддверии Февраля издаются сатирические журналы «Фонарь», «Куманёк» (1910), «Хи-Ха-Ха» и «Оглобля» (1912), в журнале кооперации «Сибирская деревня» А. Шнейдером поднимаются злободневные вопросы жизни города и края. В сибирских городах происходит объединение творческих сил в Союз сибирских писателей (1926). В изданиях «Сибирские огни», «Сибирь» (Новониколаевск), «Сибирский студент», «Сибирская школа» (Томск), «Сибирский багульник» (Иркутск) находим стихотворения красноярских авторов и наоборот.

На фоне подъёма журналистики резко выделяется своим уровнем зрелости литературно-художественный, научный и политический журнал «Сибирские записки», первый номер которого вышел в Красноярске в январе 1916 года. Ранее было предпринято несколько попыток издания сибирского журнала по инициативе А.М. Горького. Стало хрестоматийным его высказывание о наступлении того времени, когда будут открыты «сибирские поэтические материки» и сибирская тема широко и прочно войдёт в общерусский контекст.

«Если Сибирь дала науке Менделеева, а в живописи Сурикова, — размышлял Горький, — то почему бы ей не дать такую же величину в литературе? Я думаю, что наш будущий романист из сибиряков… Сибири пора иметь не только новеллистов, но и писателей, работающих в крупных масштабах». «Буревестник революции» держал руку на пульсе времени, переписывался со всеми известными сибиряками, поддерживал их материально, помогал советами в творчестве, порой спасал от содержания в застенках.

В 1916 году многолетняя мечта доктора В.М. Крутовского, по совместительству журналиста, редактора-издателя и политика, — основать свободный печатный орган осуществилась. И журнал стал без преувеличения рупором свободы слова в Сибири. Однако в 1938 году жизнь редактора насильно оборвалась: он был обвинён в шпионаже в пользу пяти иностранных разведок, а в декабре 1938 года в возрасте около 82 лет скончался в Красноярской тюрьме. История репрессированного журнала и редактора В.М. Крутовского, о котором в советские годы не любили вспоминать, всплыла в 1990-е, как затонувшая Атлантида. Откроем вместе с читателем некоторые тайники «сибирского поэтического материка».

«Сибирские записки» (1916—1919) — это литературный, научный и политический журнал, объединивший под своё крыло творческую интеллигенцию Сибири. А. Новосёлов так выразил общественное мнение о журнале: «Глубокоуважаемому Владимиру Михайловичу Крутовскому с признательностью сына Сибири за самоё существование „Сибирских записок“, с верой в близкое радостное будущее родной страны. Александр Новосёлов. 12 февраля 1917 г.». Новосёлов был убит белочехами выстрелом в затылок на окраине Омска в конце сентября 1918 года.

Поэзия «Сибирских записок» — это культурный феномен. Именно сейчас, когда много написано о Серебряном веке, о декадентах, футуристах, вызывает восхищение безукоризненный вкус редактора, умение вычленить в огромном потоке графомании подлинно талантливое и веское слово. Кто они, эти поэты-романтики, символисты, декаденты? Юноша Фёдор Лыткин, зрелые мужи — Георгий Вяткин и Пётр Драверт, Виталий Калашников (Кручинин) и рабочий поэт Иван Тачалов, ссыльные революционеры Дмитрий Глушков (Олерон) и Владимир Пруссак, искатель приключений и авантюрист Михаил Плотников… Отметим широкий кругозор и дальновидность В.М. Крутовского в подборе новых имён.

Сибирская тема в поэзии — это поиски смыслов жизни и смерти, свободы и воли, правды и справедливости. Кто виноват? Что делать? Кому служить — народу или буржуазному тельцу? Кому поручено жить, а кому умирать («А вам они пасть поручили…» (Д. Глушков (Олерон). «Гвоздика»), «Небывалая наша раса никогда не вернётся назад!» (В. Итин. «Наша раса»)? Поэты — всегда пророки, вспомните у А. Блока: «Когда мир раскалывается надвое, трещина проходит через сердце поэта». Чуткое сердце поэта улавливает подземные толчки, мощный гул разъярённой толпы и оплакивает «слезинку ребёнка». Как предсказал А.М. Горький, родился-таки в предреволюционную «весёлую» эпоху «сибирский поэтический материк».

Контраст мечты и реальной действительности, сон и явь, война и кровь, жертвы и муки, преодоление и жертвенность во имя оставшихся в живых, во имя мировой революции, во имя светлых идеалов — вот стержень «сибирского поэтического материка» — «Мы дети страшных лет России».

Наряду с трагедийной струной в годы лихолетья звучала и другая мелодия: Сибирь с её снежной ширью и молодецкой удалью, с особой ментальностью, с великими реками. О Енисее писал поэт Н. Леонов: «Он Землёй зачат от Бога, он от Бога происходит…»; с восторженной любовью к родине обращался П. Драверт: «…моя великая Сибирь»; Г. Вяткин: «…как огромный бесценный алмаз — Хан-Алтай». Надо отметить бесспорный факт, что поэтические образы и фантазии рождались не в уютных кабинетах и спаленках, а в геологических экспедициях, в берестяных чумах остяков и вогулов, научных лабораториях, военных госпиталях, тифозных бараках и на баржах с трупами на Оби и Енисее, в ледовом исходе «белой идеи». Как у В. Маяковского: «…по скверам, где харкает туберкулёз, где б… с хулиганом да сифилис…»

Сибирская поэзия создала художественные образцы любовной лирики. Мелодия любви звучала в самые трагические дни катастроф, вела по «назёмам скифских дорог» (В. Итин), спасала и согревала в ледяной купели, давала надежду на чаемую встречу после разлуки.

М. Плотников, В. Калашников (Кручинин) («Грёзы») грезят в такие «страшные времена» об идеале — принцессе Грёзе:

Она поймёт, недаром имя ея Грёза,
Послушный бог, которому молюся я;
Моя последняя молитва и угроза,
Моя последняя мечта.

(Михаил Плотников, цикл «Принцесса Грёза», 1919 г.)

Стилистика, образы-символы, заимствованные из поэтики Серебряного века, связанные с модерновыми течениями русского авангарда, ставят сибиряков в русло общерусского литературного контекста. Можно смело утверждать, что сибирская поэзия начала XX века стоит на плечах титанов русского авангарда и символистов.

Не только поэтический блок поднял популярность издания. «Сибирские записки» № 1 за 1916 год украсила публикация «Экспресса» (сибирской фантазии) поэта-большевика А. Гастева (в настоящее время его творчество вызывает повышенный интерес). В небольшом эссе нарисовано будущее индустриальной Сибири: стальные гиганты-города, морские порты, дороги, магистрали, научные центры и дома международных конгрессов. Эта фантазия родилась в одиночной камере Томской каторжной тюрьмы. Мрачные стены не помешали автору быть романтиком и верить в светлое будущее края. Впервые текст «Экспресса» в полном объёме публикуется в данном сборнике.

1917 год ознаменовался бурными событиями Февраля, сначала мирного, затем картина стала меняться, а к январю 1918 года окрасилась в кровавый цвет… С началом Гражданской войны и интервенции Транссиб наводнён огромными

массами людей, в первую очередь военными: белыми и красными, чехами и французами, американцами и японцами. Человек с ружьём становится хозяином положения и судеб людей. Жизнь любого висит на волоске и может оборваться в любую минуту — стоит только нажать курок.

Обратимся к «Сибирским запискам» — довольно объективному источнику исторической информации. С этой точки зрения уникальны «Областные обозрения» редактора В.М. Крутовского. В «Областном обозрении» («Сибирские записки», 1919 г., № 2) им развёрнута картина сибирской Вандеи: «Пожары, повальные грабежи, истребление интеллигенции деревни: учителей, священников, военных, чиновников и инакомыслящих крестьян — имеет массовый характер. Всё это сопровождается жестокими пытками, истязаниями, издевательствами. В Каратузе священника сбросили живого с колокольни, в Енисейске замораживали в погребах и топили в прорубях, в Красноярском уезде разрывали лошадьми и т. д. После того как Щетинкин со своими бандами захватил северную часть Ачинского уезда Енисейской губернии и своими заставами преградил туда дорогу, никаких сведений из этого района не сообщалось. Кое-кто пробрался — и передают следующее о работе этой банды. 14 февраля группа Щетинкина заняла с. Перовское, разоружила милиционера, разгромила волостную земскую управу, сожгла все бумаги, затем арестовала священника, вывела за село и, сняв шубу (чтобы не испортить), расстреляла. При аресте священника заставили его жену лечь на кровать и поднять руки, а затем глумились над несчастной женщиной… Волосы дыбом на голове, когда слышишь рассказы несчастных жертв, ускользнувших каким то образом из рук толпы (…).

Большевизм ли это? Ведь это не большевизм. Это движение народных масс скорее подходит к таким же народным массовым движениям старого времени, времени Пугачёва, Степана Разина и других народных героев… Это стихийный массовый протест. Это выведенное из спокойных берегов, сильно разбушевавшееся народное море, которое бьёт со страшной силой по берегам своей волной, не спрашивая, кто виноват, и не скоро оно ещё придёт в спокойное состояние». Крутовский отмечает далее, что крестьяне восстали в Минусинском уезде против большевиков, «разоружили супостатов», но через несколько месяцев те же крестьяне, вооружённые винтовками, идут на Минусинск, чтобы разграбить город, а ещё через некоторое время вступают в партизанские отряды Кравченко и Щетинкина против банд белочехов и каппелевцев.

Показателен пример «защиты чести и достоинства» белой армии: против восставших крестьян Енисейской губернии Колчак направил войска под командованием генерал-лейтенанта С.Н. Розанова. О художествах Розанова долго помнили Сибирь и Дальний Восток. В 1920 году в Париже была опубликована книга правого эсера Д.Ф. Ракова «В застенках Колчака. Голос из Сибири». Он пишет: «Началось нечто неописуемое. Розанов объявил, что за каждого убитого солдата его отряда будут неуклонно расстреливаться десять человек из сидевших в тюрьме большевиков, которые все были объявлены заложниками. Несмотря на протесты союзников, было расстреляно 49 заложников в одной только красноярской тюрьме. Наряду с большевиками расстреливались

и эсеры… Усмирение Розанов повёл „японским“ способом. Захваченное у большевиков селение подвергалось грабежу, население или выпарывалось поголовно, или расстреливалось: не щадили ни стариков, ни женщин. Наиболее подозрительные по большевизму селения просто сжигались. Естественно, что при приближении розановских отрядов, по крайней мере, мужское население разбегалось по тайге, невольно пополняя собой отряды повстанцев»[1].

Мы не берём на себя смелость комментировать подобранные тексты, только констатируем факты. В коллекцию представлений о Сибири включены отрывки из различных произведений, показательные в изображении стихии «беспощадного русского бунта». Таковыми являются: дневник белого офицера Петра Чащина, главы из романа Михаила Борисоглебского (существует версия, что подлинный автор повествования — расстрелянный (?) писатель А.Н. Шипицин) «Верховный правитель» («День и ночь», 1994 г.), главы из автобиографического романа-хроники Ольги Ильиной-Боратынской «Белый путь. Русская Одиссея. 1919—1923» (Нью-Йорк — Казань, 2003 г.), стихи и главы из романа «Ананасы под берёзой» Вивиана Итина («Сибирские огни», 1933 г.), поэзия Георгия Вяткина, Ивана Ерошина, Рувима Фраермана, Георгия Маслова и др.

«Даже простой взгляд на карту России убедительно доказывает, что родина наша самым главным фасадом выходит на Ледовитый океан, а великие реки, в него впадающие, покрывают сетью своих разветвлений всю Сибирь» (из речи адмирала С.О. Макарова «К Северному полюсу напролом» (Петербург, 1897 г.).

Известно, что в самом начале 1900-х годов адмирал Макаров спроектировал, построил и привёл на Енисей первый в мире ледокольный корабль «Ермак», предназначенный для проводки судов через льды Арктики, — сама по себе история этого ледокола заслуживает вечной памяти. 26 марта 1949 года в связи с полувековым юбилеем «Ермак» был награждён орденом Ленина за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны и освоение Северного морского пути.

В историю освоения северных территорий навечно вписаны имена путешественников-исследователей Эрика Норденшёльда, Фритьофа Нансена, Руаля Амундсена, Георгия Седова, Валериана Альбанова, радетелей Сибири М.К. Сидорова, А.М. Сибирякова (XIX в.). Слова капитана Татаринова, героя повести Вениамина Каверина «Два капитана», «Бороться и искать, найти и не сдаваться» стали девизом для будущих поколений первопроходцев.

В нашей хрестоматии Северу посвящено несколько произведений: записки В. Альбанова «На юг, к Земле Франца-Иосифа!»; «Завоеватели Северного полюса» В. Итина, глава из книги «Выход к морю» (1931); «Поэтам революции» В. Долгушина (1931); главы из повести «Два капитана» В. Каверина; глава «Большой арктический перелёт» из повести «Обыкновенная Арктика» (1936) Б. Горбатова.

Роман Вениамина Каверина «Два капитана» был дважды экранизирован (в 1955 и 1976 гг.), а в 2001 году по мотивам произведения был поставлен мюзикл «Норд-Ост». Роман включён в школьную программу. Ценности, описанные

[1] *Полная версия: Сергей Дроздов. Атаманщина и её проявления. Проза. ру. 2016/03/17/914.*

Кавериным в произведении, актуальны и по сей день, а сам роман до сих пор читают и перечитывают взрослые и дети. Главным героем повествования стал Саня Григорьев, талантливо воплощённый на экране актёром, ровесником персонажа — Борисом Токаревым.

Считаем важным включение главы из книги Вивиана Итина «Выход в морю», который даёт в ретроспективе историю освоения Арктики от времён Петра Великого и Михаила Ломоносова до 1930-х годов. Любители приключений и романтики найдут здесь для себя идеального героя.

Перечитывая стихи фронтовых поэтов, вновь и вновь поражаешься непостижимой тайне поэтического слова, обладающего пророческим, почти мистическим видением, как если бы поэт был духовно подключён к вечности, где история уже завершена и все события свершились… Разве не удивителен тот факт, что почти все полёгшие на полях Великой Отечественной войны поэты предсказали в стихах свою гибель?.. Борис Смоленский, Павел Коган, Муса Джалиль, Иосиф Уткин, наши красноярские воины-поэты — Борис Богатков, Георгий Суворов, Анатолий Седельников…

В воспоминаньях мы тужить не будем,
Зачем туманить грустью ясность дней?
Свой добрый век мы прожили как люди —
И для людей.

(Георгий Суворов, 1944 г.)

И всё же самое главное сейчас касается даже не личной судьбы воинов, защитивших Отечество, а исторического будущего, в котором может произойти сдвиг понятий, переоценка итогов Великой Победы. И на поверку[1] становятся сейчас наши отцы и деды из стихийного движения «Бессмертный полк», «мёртвые Вечно Живые» встают на вахту Памяти. В пророческом стихотворении «Нам не дано спокойно сгнить в могиле…» (1940) Николай Майоров предупреждает об опасности, как будто наперёд знал, что они (павшие воины) должны защитить потомков от беспамятства:

Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
И ждём приказа нового. И пусть
Не думают, что мёртвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.

[1] *Имена на поверке… Эта давняя традиция русской армии берёт начало в Тенгинском полку, в котором служил на Кавказе М.Ю. Лермонтов. На поверке перед строем полка командир выкликивает имя солдата. «Пал смертью храбрых в боях за Родину», — отвечает правофланговый. В ту минуту, когда произносятся дорогие имена, у всех — от ветерана до новобранца — перед глазами встаёт образ бойца, навечно внесённого в списки части. Погибший, он остаётся жить, незримо находясь в строю.*

Эта же мысль кровью разрывала сердце разведчика Петра Коваленко, когда он писал стихотворение «Вы знаете, что я убит?». Раны, полученные им на войне, не давали забыть погибших товарищей… Солдат, которые подарили нам мирное небо над головой… Виктор Астафьев считал Коваленко одним из лучших русских поэтов, писавших о войне, а также отмечал его вклад в развитие литературы Красноярского края и России.

Они ушли, ушли от нас навеки,
Оставив нам и солнце, и весну.
И седина ложится белым снегом,
Величья не нарушив тишину.
Текут минуты скорбного молчанья.
Летят года, как в небе журавли.
И бьётся, бьётся, бьётся кровь из раны
Солдат, что в эту землю полегли.

(Пётр Коваленко)

Поэтическое слово было на переднем рубеже войны, потом были повести, рассказы, романы и документальная проза красноярских авторов. Кое-что забыто или давно не издавалось, поэтому мы взяли на себя смелость вспомнить имена тех, кто сохранил для нас свидетельства героической народной эпопеи. «Добрая воля Сибири» В. Назарова, «Серебряные рельсы» В. Чивилихина, «Хорольская яма» художника Е. Кобытева, проза и дневники В. Астафьева, А. Седельникова, Б. Ряузова и, конечно, стихи напомнят современникам, что такое фашизм, чтобы быть во всеоружии, помнить «всех поименно».

Нам выпала такая участь,
Что пусть завидуют они.
Они нас выдумают мудрых,
Мы будем строги и прямы,
Они прикрасят и припудрят,
И всё-таки пробьёмся мы!

(Павел Коган, 1940—1941 гг.)

В простреленной шинели солдата Великой Отечественной Александра Зайцева, погибшего в 1944 году, было найдено его прощальное письмо. Не к родным и близким обращено оно, а к всемогущему Богу, в которого уверовал воин в свой предсмертный час. Как свидетельствуют многие участники сражений, икона Божьей Матери оберегала и защищала воинов Руси во время сражений на Бородинском поле в 1812 году, под Москвой в декабре 1941 года, Прохоровском сражении, в боях за Ленинград, Сталинград, в Кёнигсберге, при освобождении Киева.

Письмо к Богу

Послушай, Бог… Ещё ни разу в жизни
С Тобой не говорил я, но сегодня
Мне хочется приветствовать Тебя.

Ты знаешь, с детских лет мне говорили,
Что нет Тебя. И я, дурак, поверил.
Твоих я никогда не созерцал творений.
И вот сегодня ночью я смотрел
Из кратера, что выбила граната,
На небо звёздное, что было надо мной.
Я понял вдруг, любуясь мирозданьем,
Каким жестоким может быть обман.
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку,
Но я Тебе скажу, и Ты меня поймёшь:
Не странно ль, что средь ужасающего ада
Мне вдруг открылся свет и я узнал Тебя?
А кроме этого мне нечего сказать,
Вот только, что я рад, что я Тебя узнал.
На полночь мы назначены в атаку,
Но мне не страшно: Ты на нас глядишь…
Сигнал. Ну что ж? Я должен отправляться.
Мне было хорошо с Тобой. Ещё хочу сказать,
Что, как Ты знаешь, битва будет злая
И, может, ночью же к Тебе я постучусь.
И вот, хоть до сих пор Тебе я не был другом,
Позволишь ли Ты мне войти, когда приду?
Но, кажется, я плачу. Боже мой, Ты видишь,
Со мной случилось то, что нынче я прозрел.
Прощай, мой Бог, иду.
И вряд ли уж сюда вернусь…
Как странно, но теперь я смерти не боюсь.

Вряд ли возможно исчерпать все свидетельства вечной живой памяти. Мы сделали свой посильный вклад в «Коллекцию представлений». Напомним ещё раз, что военные романы и стихи бойцов Великой Отечественной изданы отдельными книгами: В. Астафьев, И. Пантелеев, А. Чмыхало, И. Захаров, И. Уразов, сборник фронтовых поэтов Б. Богаткова, А. Седельникова, Г. Суворова, П. Коваленко. Изданы книги «детей военного поколения» — сборник поэзии красноярских поэтов В. Назарова, Л. Абдуллиной, Р. Солнцева, З. Яхнина. Всего около 30 книг. Эти книги — часовые вахты Памяти!

Один из самых противоречивых разделов, который составлен в основном из биографических очерков и воспоминаний о людях, на долю которых выпало бороться за место под солнцем, утверждаться после арестов, ссылок, пересылок, этапов, побегов… Начинать жизнь с новой строки… В этом разделе мы попытались рассказать о людях, которые были нашими современниками, знакомыми или жили в одной плоскости, но по разные стороны. В 1960-е они почти не рассказывали о себе: у них была сложная биография. Всё, чего они достигали в профессии, личной жизни, они делали, преодолевая себя, преодолевая сопро-

тивление окружающей среды, властных начальников, тайных врагов и завистников. Своим самоотверженным трудом для Родины они заставили уважать себя, ценить их талант и мужество.

Несколько мыслей об эпохе 1960-х годов — эпохе трудового героизма, комсомольского задора, энтузиазма, грандиозных масштабных проектов, великих свершений. Вторая половина XX века — наиболее близкий к нам период, мы ещё не забыли всё, что было с нами. Не так-то просто перековать, переделать наш менталитет… А вот молодым адресованы послания Валентина Распутина, Владлена Белкина, Майи Борисовой, Казимира Лисовского, Вячеслава Назарова…

Валентин Распутин в своей замечательной книге «Сибирь, Сибирь…» обозначает рубежи духовного пробуждения народа, недаром философы и гении отмечали особый героический характер сибиряка: «Нет ничего в мире, что можно было бы поставить в один ряд с Сибирью. Кажется, она могла существовать как самостоятельная планета, в ней есть всё, что должно быть на такой планете во всех трёх царствах природы — на земле, под землёй и в небе… Сибирь — это Сибирь, которая имеет своё имя, лежит на своём месте и выработала свой, ни на что другое не похожий характер. Из конца в конец и из края в край над нею витает свой дух, словно бы до сих пор не решивший, быть ему добрым или злым — в зависимости от того, как поведёт себя здесь человек. За четыреста лет, прошедших после покорения Сибири русскими, она, похоже, так и осталась великаном, которого приручили и привели местами в божеский вид, но так и не разбудили окончательно. И это пробуждение, это духовное осознание её самой себя, хочется надеяться, ещё впереди».

Известно, что на сказочно богатую Сибирь с завистью смотрят всякие страны и государства, мечтают не поделить даже… а полностью отторгнуть эту благословенную территорию от народов России. Многие духовные прорицатели видели в Сибири геополитический центр мира. О её миссионерской роли писали русские философы Михаил Ломоносов, Николай Чернышевский, Дмитрий Менделеев, Даниил Андреев, Александр Зиновьев, писатели Алексей Гастев, Вивиан Итин, Борис Горбатов, Валентин Распутин, поэт Николай Рубцов.

Из «Енисейских дневников» Веры Троицкой (комсомолки Дивногорска):

«И вот предстоит мне строить Красноярскую ГЭС и жить в городе Дивногорске. Решила с первого дня записывать всё, что увижу, услышу хорошее и плохое, радостное и грустное. Клянусь, буду описывать всё так, как увижу, пойму, почувствую. Не изменю ни одного названия, ни одного имени, не введу ни одного вымышленного лица.

15 августа. Здравствуй, Дивногорск! Свежий воздух, нарядные цветные дома, беспорядочное нагромождение стройматериалов; кучи мусора и бетонированные чистые площади; дощатые времянки-скворечники барачного типа и крупнопанельные дома-громадины; город-лес, город-сад, город-тайга. Здесь можно, захлебнувшись пьяным воздухом, прислониться к трепетному стволу осины; здесь можно спуститься к набережной хоть по звонким дощатым лест-

ницам, хоть по лесной тропе, касаясь ногами крыльев папоротника. Вот какое диво этот Дивногорск!»

Александр Проханов, писатель-космист, писал о Сибири: «И главное ещё, мне кажется, что ещё в советское время Сибирь была не только плацдармом для заводов, для каких-то коммуникаций, армейских баз и подразделений. Сибирь хотели сделать центром знаний, центром науки, ориентированной на океаны, на космические пространства, на пространства воды и неба. Там создавали отделения наук, там собирались молодые учёные, авангардисты. Вот если бы Дальний Восток и Сибирь сделать средоточием космического мышления России! Не только военно-технического, а того космического мышления, к которому принадлежит Фёдоров, Циолковский, Серебряный век поэзии. Чтобы космическое сознание, свойственное русским, а оно свойственно русским, получило там инвестиционное выражение, чтобы там был центр русской космогонии, русского космического мышления. Вот соединение Сибири и космоса».

Полёт Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года воспринимается как техническое и научное чудо XX века. Советский парень — в космосе! Создавалась советская мифология, героями были космонавты, лётчики, геологи, строители. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали песню «Знаете, каким он парнем был». Юрия Гагарина везде встречали как былинного героя, в Красноярске он сказал: «Я из космоса видел Енисей. А теперь я с вами. И всё, что я вижу у вас здесь, гораздо интереснее, потому что вы — вот они: сооружаете впервые в Советском Союзе самую мощнейшую гидроэлектростанцию» (25 сентября 1963 г.).

Полёты в космос, перекрытие сибирских рек, комсомольские стройки воспели поэты, которые приезжали на Енисей из разных городов и весей нашей необъятной страны. В Красноярске проходили праздники литературы «Енисейские встречи» — традиция, которая зародилась в нашем крае с почина С.В. Сартакова в 1960—1985 годах, помогавшая сближению писателей братских союзных республик, дававшая возможность узнать Сибирь, оценить её богатства и ресурсы, в том числе и духовные.

«Енисейские встречи» — это не только литературный праздник, это работа, новые впечатления, новые мысли, новые темы для литераторов. И — новые образы. Ибо «Енисейские встречи» — это прежде всего знакомство писателей с людьми, с героями-созидателями: строителями и пахарями, горняками и скотоводами, водителями речных лайнеров и лесниками, с теми, кто делает сегодня завтрашний день Красноярья.

Оттепель 60-х годов привела к серьёзным изменениям в духовной жизни общества. Заметно ослабел идеологический пресс на творческую интеллигенцию, культура перестала быть синонимом идеологии. В литературе и искусстве появились имена молодых авторов (А. Вознесенский, Р. Рождественский, Е. Евтушенко). Складывается новое поэтическое течение — авторская песня, признанными лидерами которого были Б. Окуджава, А. Галич, В. Высоцкий. Стали выходить новые журналы («Юность», «Наш современник», «Москва», «Нева», «Иностранная литература»). Огромную популярность приобрёл в эти годы журнал «Новый мир» во главе с А. Твардовским. В творчестве многих

авторов советская действительность стала изображаться честно, без прикрас (В. Овечкин, Ф. Абрамов, В. Дудинцев, В. Шукшин и др.). Положительные изменения происходят в киноискусстве: растёт число снятых фильмов, в кинематограф приходят молодые, талантливые актёры, появляется интеллектуальное кино. В историю мирового искусства вошли снятые в эти годы такие фильмы, как «Тихий Дон», «Летят журавли», «Идиот» и др. В Москве был открыт новый театр «Современник», основу труппы которого составили выпускники школы-студии МХАТ (О. Табаков, О. Ефремов, Г. Волчек и др.). Эти изменения породили культурный феномен шестидесятников.

В этот культурный феномен внесли свой неоценимый вклад поэты Красноярского края.

В книге «Красноярск. День поэзии — 1967» представлены стихи более 40 поэтов огромного края: известных в то время И. Рождественского, М. Кильчичакова, З. Яхнина, Р. Солнцева, В. Назарова, В. Белкина, А. Немтушкина, А. Фёдоровой и молодых авторов, стихи которых только были обсуждены и рекомендованы к печати на шестом краевом семинаре молодых писателей. В предисловии к этому сборнику составители-поэты Р. Солнцев и В. Назаров отметили связь между количеством поэтов и делами земли, на которой живёшь. Наш край самый удивительный в стране. Край подвига — он рождает поэтов. Стихи были наполнены жизнью, «злобой дня», без ложной многозначительности в лирических строках слышался пульс времени, «мельчайшее» сводилось с «огромным». «Енисейские встречи» — уникальное явление культуры периода строительства социализма, это движение давало импульс развитию не только дружбы между деятелями культуры разных республик, но и пониманию народов как самостоятельных, сближало в развитии экономики, культуры, духовной жизни. Это движение получило всесоюзный размах. Для поэтов нашего края была открыта дорога в большую литературу, возможность печататься в московских издательствах, в журналах «Юность», «Молодая гвардия» и др.

В добрый путь, дорогие читатели, желаем вам радостных встреч, открытий и знакомства с хорошей литературой! Надеемся, что в XXI веке не иссякнет творческая энергия сибиряков.

Аделя Броднева,
научный сотрудник Литературного музея им. В. П. Астафьева,
заслуженный работник культуры РФ



I. «Мы дети страшных лет России…»[1]

Нет виновных. Правых нету.
Русь — родная мать!
Покаянного ответа
Некому держать.
Мы прошли сквозь дым столетий
И приходим вновь,
Незадачливые дети —
Плоть твоя и кровь.

Константин Журавский

[1] *А. А. Блок.*

Валентин Курицын

Казнь[1]

Вот он... Молодой ещё, бледен челом...
Рука в перевязке болела...
Как пойманный сокол с разбитым крылом,
Смотрел он сурово и смело...
Ни слова протеста, и в гордых очах
Ни тени предсмертной печали...
Отчётливо, громко в солдатских рядах
Команды слова прозвучали,
И брякнули ружья к плечу на прицел,
Томительно миг этот длился...
И громко воскликнул, спокоен и смел:
«Да здравствует»... Залп раскатился.

Санкт-Петербург, 1908 г.

Дмитрий Глушков (Олерон)

Гвоздика

Они выходили. Их буря звала
Громами и тьмой беспросветной.
Рука их светильник победы зажгла,
Святильник свободы заветной.
Они поклялись возвратиться без уз
И встретить все битвы и муки,
И был неразрывен их смертный союз,
И крепко сплетались их руки.
«А где же те многие? Что ж их здесь нет?» —
Иные в смущенье спросили.
«Те, многие, живы, — был тихий ответ, —
А вам они пасть поручили…»

[1] *Стихотворение «Казнь» томского поэта В. В. Курицина опубликовано во Втором литературном сборнике сибиряков, изданном в Санкт-Петербурге в 1908 г., как отклик на кровавый террор революции 1905 г.*

…Они выходили. Пугливы, без уз,
Как будто свободе не веря,
Как будто не вечен их вечный союз,
Как будто возможна потеря.
По чёрным останкам сожжённого зла,
За тризнами тьмы беспросветной
Рука их светильник победы несла,
Светильник свободы заветной.
«А где же немногие? Что ж их здесь нет?» —
Иные в смущенье спросили…
«Немногие пали, — был тихий ответ, —
А вам они жить поручили…»

Иркутск, 1922 г.
Сборник «Олимпийские сонеты» (издан посмертно)

Иван Чеканинский

Весна и футуристические мотивы[1]

Весна веснит,
Солнцует небо,
Ветер ветрит
В объятьях хлеба.
Поют птахи,
Цветают травы,
Лежу на плахе
В жёлтой рубахе.
Содом ребёнков
Весну веснует,
Весна краснует! —
Злорадно криклюют.
И кошка Марта
Хвостом скоблит заплот,
Ждёт, когда кот
К ней придёт.
Корова мычает,

[1] *Стихотворение написано как пародия на стилистические опусы футуристов.*

Собака дичает,
Каждый встречает,
Весну примечает красну
И зиму тризнует,
Водокап провожает каждый.
Снегопада не надо!
Снегопад ненавижу.
Лучше, чтоб весна.
Студень-зиму бы свеснил,
А сама пришла весна, весна!
Радужничает природность!

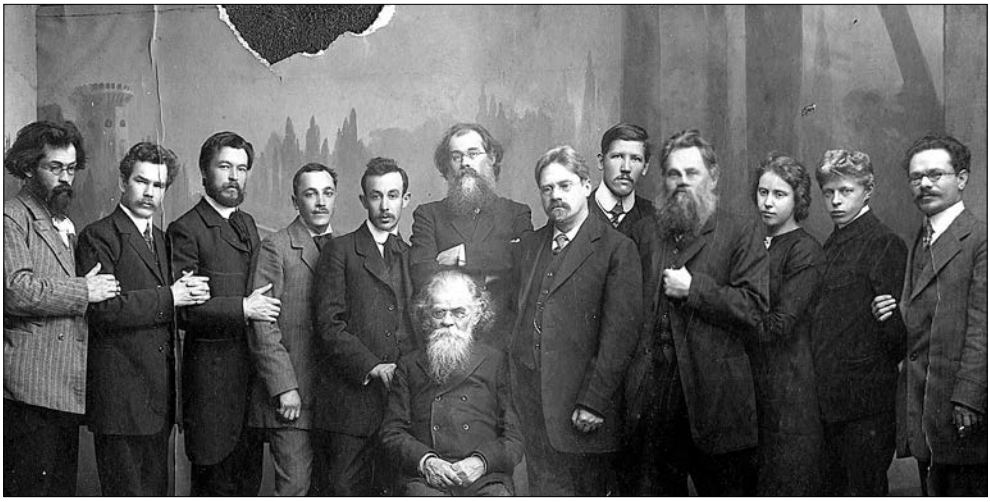
«Енисейская мысль», 6 мая 1914 г.



Игра в теннис. Красноярск, Гремячий лог, 1913 г.



Сатирический журнал «Фонарь», 1906 г., № 1



Редакция газеты «Сибирская жизнь». Томск, 1913 г. В. И. Анучин, Г. Д. Гребенщиков, В. Я. Шишков, Г. А. Вяткин, М. Б. Шатилов, Г. Н. Потанин (сидит), А. Н. Шипицын, Вс. М. Крутовский, М. М. Щеглов, А. В. Адрианов, М. Г. Васильева-Потанина, М. А. Бауэр, М. М. Голодников

Георгий Вяткин

Бобырган[1]
(из цикла «Алтай»)

К. В. Юргановой-Вяткиной

Как привратник, стоит с незапамятных пор
Бобырган у преддверия гор;
Над простором степным, величав и могуч,
Он вершиной вознёсся до туч!
Перед ним — неоглядная ровная степь,
А за ним — только горная цепь,
Только горы одне и вблизи и вдали,
Как застывшие вздохи земли…
Он нахмурил чело, зорко смотрит вокруг:
«Кто ты, странник? Наш недруг или друг?
Если друг, будет путь твой и ясен, и тих
В беспредельных скитаньях твоих.

[1] *Бобырган (Бабырган) — самая северная вершина Семинского хребта, часть Белокурихинского гранитного массива, расположена в Алтайском крае на левом берегу Катуни.*

Если недруг — от гроз, от дыхания бурь
Над тобой почернеет лазурь».
Дик и чуден Алтай. Справедлив и суров
Бобырган, повелитель ветров.

Белки́[1]

Что горит на заре, как кровавый рубин,
Над просторами гор и долин?
Хан-Алтай, не белки ли твои?
Что сверкает в горячий полуденный час,
Как огромный бесценный алмаз?
Хан-Алтай, не белки ли твои?
Что блестит под луной, между каменных груд,
Как прозрачный всегда изумруд?
Хан-Алтай, не белки ли твои?
Что бессмертно и в лоне грядущих веков,
Как венок из венков?
Хан-Алтай, то вершины твои!

Улала — Манжерок — Чемал. Лето 1915 г.
«Сибирские записки», 1916 г., № 3

Прощание

Жуток, тёмен городок молчаливый.
Чёрный ветер бродит, как слепой,
Шарит стены, пробует затворы,
Хлещет в окна снежной крупой.
Никого на улицах пустынных.
Чуть скрипят верхушки тополей.
Что мне делать, как мне позабыться
В одинокой комнате моей?
Вспоминаю шум и свет вокзала,
Гул вагонов, жёсткий стук колёс,
И звонки, и суету, и слёзы…
Сколько лиц и взоров, сколько слёз!
Расставаясь, деланно бодрился,
Говорил ненужные слова
И глядел на белые косынки
И на красный крест — на рукава.

[1] *Белки́, также бельцы, белогорье, снеговые горы (хак.: тасхыл) — название некоторых заснеженных и в летнее время горных вершин в Сибири, преимущественно на Алтае и в Восточном Саяне.*

А когда ушёл и скрылся поезд
И настало время уходить,
Вспомнил я с тревогой и печалью,
Что забыл тебя перекрестить.

Петербург, 1917 г.
Сборник «Опечаленная радость»

Пётр Драверт

Сибирий

Как звенят вдохновенные крылья
В завершающий светлый момент! —
Неизвестный ещё элемент
В енисейском берилле открыл я.
Дал ему я Сибирий названье
В честь его материнской страны,
Где в лучах неостывшей луны
Намечалось хребтов очертанье...
Кто-то шепчет: «А вдруг это сон?
И проснёшься ты скорбный и бедный?
Что венок от Паллады победной,
Если в грёзах навеян был он?»
Искушающий демон, молчи!
Есть виденья всех былей сильнее.
Всё равно — наяву иль во сне я:
Мне Сибирия светят лучи!

«Енисейская мысль», 1915 г.

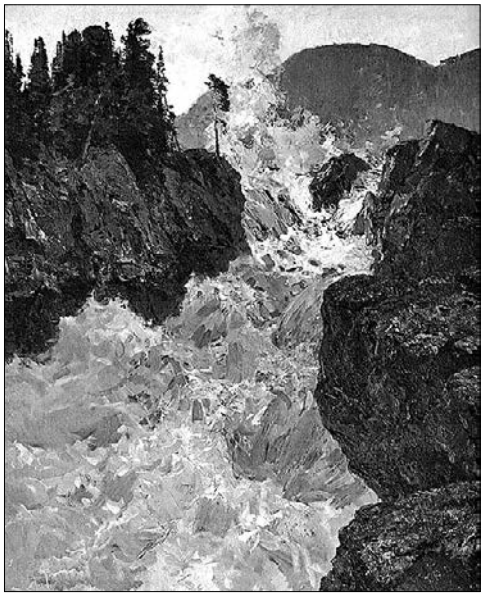


Николай Леонов

Енисей

I
Енисей из гор выходит
Серебристою дорогой.
Тот, кто чуток, тот находит
В нём лицо и образ Бога.
За гранитными стенами,
Под покровом тёмных елей,
За зубчатыми горами
Он качался в колыбели.
Подрастал. Его теснили
Охраняющие цепи.
Волны юные пробили
Дверь в раскрывшиеся степи.
Удивлёнными глазами,
Успокоенный, усталый,
Он следил за небесами,
За закатом ярко-алым.
Люди смотрят удивлённо
В успокоенную реку,
На покой благословенный,
Недоступный человеку.
И глядятся тихо в воды
Юрты, дым неторопливый,
Скот медлительно-ленивый
И беспечные народы.

II
Чьей коварною рукою
Скрыты бархатные степи?
Кто в насмешку над рекою
Вновь набросил злобно цепи?
Вырос он в степном приволье,
Вскормлен тучными степями,
Не сживётся он с безвольем,
С ненавистными цепями.
И сквозь каменные гряды,
Ощетинившимся лесом



Тойво Ряннель. Рождение Енисея

Мчатся волны буйно — рады,
Не смущённые злым бесом.
По ступеням, точно с трона,
Колоннадой красных сосен
На призыв лесного звона,
Ободрённый зовом вёсен,
Он бросается в стремнину,
И к стране обетованной
Он спускается в равнину,
Как царевич долгожданный.
И спокойный, беспечальный,
Близок к царственному трону,
Ткут луга покров венчальный,
Солнце льёт ему корону.

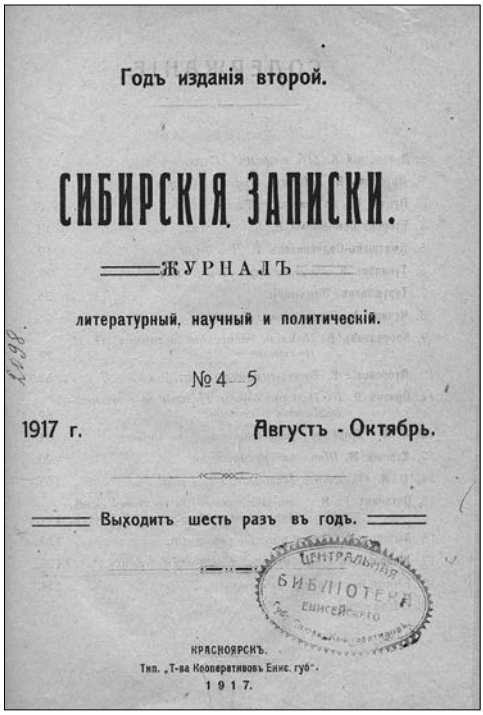
III
Раздаётся звон набата,
Небо в зареве пожара.
Снова он в гранитных латах
Ищет смертного удара.
Изгнан враг — прошла тревога.
Он идёт страной широкой,
Серебристою дорогой,
Нескончаемо далёкой.
Путь далёкий, путь печальный
Омертвевшею равниной.
Серебрит лучом прощальным
Лето белые седины.
Он в бестрепетном тумане
Жизнь оканчивает смертью,
В побелевшем океане
Возвращается к бессмертью.
Он Землёй зачат от Бога,
Он от Бога происходит
И серебряной дорогой
Из зубчатых гор выходит.

Пароход «Сокол», Енисей, 3 мая 1915 г.
«Сибирские записки», 1916 г., № 3

Памяти В. И. Сурикова[1]

Тому, кто возвратил ея гонимых,
Кто ей напомнил о ея сынах;
Чьи образы в лесах необозримых
Ему являлись в ярких вещих снах.
Тому, кто оправдал страдания
казнённых,
Кто показал в протесте красоту,
Тому, кто в творчестве, правдивом
и свободном,
Страдание вознёс на высоту.
Охваченные горделивым чувством,
Приносим мы, сыны земли родной,
Тому, кто дорог нам своим
искусством,
Поклон земной…

Москва, 8 марта 1916 г.
«Сибирские записки», 1916 г., № 2


Годъ изданія второй.

СИБИРСКІЯ ЗАПИСКИ.

ЖУРНАЛЪ

литературный, научный и политическій.

№ 4—5

1917 г. Августъ - Октябрь.

Выходитъ шесть разъ въ годъ.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛІОТЕКА ЕНИСЕЙСКАГО

КРАСНОЯРСКЪ.
Тип. „Т-ва Кооперативовъ Енис. губ".
1917.

Обложка журнала «Сибирские записки»

Виталий Калашников (Кручинин)

Памяти В. И. Сурикова

Умолк Баян красот Сибири!
И кистью их запечатлев,
Вдали от их безбрежной шири
Угас, не кончив свой напев.
Угас, когда душа горела
Одним желанием творить
И кисть маститая хотела
Картиной край наш одарить.
Но некто властною стопою
К нему из мрака подошёл,
Позвал куда-то за собою,
И он, оставив нас, ушёл.

[1] *Стихотворение студента Н. И. Леонова, произнесённое 8 марта 1916 г. на могиле великого сибиряка студентом В. Т. Завалишиным от имени сибирских землячеств г. Москвы.*

Увы, такого великана
Не скоро встретит наша ширь!
Не стало, нет её Баяна:
Его утратила Сибирь!

«Сибирская школа», 1916 г., № 5

1917 год

В мороз упорный, в мороз трескучий,
Рождённый в жуткой кошмарной мгле,
Под хор надземных ночных созвучий
Год юно-новый сошёл к земле.
Пришёл так странно, безвестный, скрытый,
Окутан плотно в глубокий мрак,
Пришёл и скрылся, как миг изжитый.
Кто он? Откуда? Наш друг иль враг?
Его встречая, вино мы пили,
Друг другу счастья желали мы;
Венки желаний мы дружно вили
Под кровом ночи, под кровом тьмы.
И долго-долго в лучах надежды
Желаний наших цвели цветы,
С вина так сладко слипались вежды:
Мы все витали в чаду мечты.
Потом прощались, немного пьяны,
И долго-долго куда-то шли.
Мы шли в забытьи, шли вглубь, в туманы
И мысль о счастье с собой несли.
Но год пришёл к нам, так странно скрытый,
Окутан плотно в глубокий мрак —
Пришёл и скрылся, как миг изжитый.
Кто он? Откуда? Наш друг иль враг?

«Сибирская школа», 1917 г., № 1

Грёзы

Февральская полночь сплетает узоры
На стенах оконных. Темно.
Не спится. Лежу, устремив мои взоры,
В одетое тьмою окно.
Там светятся звёзды. Из тьмы полуночи
Так ласково смотрят оне.

И кажется, схожи их добрыя очи
С глазами, так близкими мне.
Да, схожи! Шепчу я — она так глядела,
Глядела так несколько раз.
Зачем? Для чего? Что сказать мне хотела
Загадкой бездонною глаз?
И вспомнил я лето, шум леса,
Свищево…
И что-то вдруг сжалось в груди,
И как-то невольно вдруг вырвалось слово,
Призывное слово: «Приди!»
«Приди, погляди мне ласкающе в очи,
Побудем, родная, вдвоём;
Не бойся: всё скроется пологом ночи,
Всё скроется в сердце моём.
Сожги моё сердце! Сожги беспощадно
Огнём твоих добрых очей.
Сожги, умоляю! Мне будет отрадно…
Сожги же, пока я ничей!»
Вот кто-то подходит, склонился, и пряди
Волос прикоснулись к груди…
«Тебя ли я вижу?! Скажи, бога ради!»
Шепчу я: «Уверь! Убеди!..»
Февральская полночь сплетает узоры
На стёклах оконных. Я сплю,
Целую, ласкаю любимые взоры,
Гляжу в них, шепчу им: «Люблю!»

«Сибирская школа», 1917 г., № 2

Фёдор Филимонов

Памяти Ю. Ф. Левитова[1]

Жизнь скрыла всё под пеленой тумана,
Не видит ничего давно уставший взор…
Смывай, смывай скорей с лица румяна,

[1] *Ю. Ф. Левитов — актёр.*

Надень другой костюм, трагический актёр!
Довольно ты кричал, что наша жизнь не шутка,
Что есть лишь красота тернового венца;
Хотел нас испугать веленьем предрассудка
И долг повелевал исполнить до конца.
И жертвы падали и истекали кровью,
Свершая подвиг свой, великий свой обет.
И это всё звалось прощеньем и любовью,
Звалось борьбой за правду и за свет.
И не было пути возвышенней и краше,
Пути, ведущего на плаху и в тюрьму…
…Трагический актёр, о сердце наше,
Ты отдохни и дай пожить уму.

«Сибирские записки», 1916 г., № 4

Иннокентий Жуков

* * *

Посвящается Г. Н. Потанину[1]

Свой бокал я, друзья, поднимаю
За того, кто до старости смог
Сохранить молодые порывы
Средь житейской борьбы и тревог.
…Кто в душе своей честно и смело
Правды нёс неземной идеал —
За того я, друзья, поднимаю
В новогоднюю ночь свой бокал!..

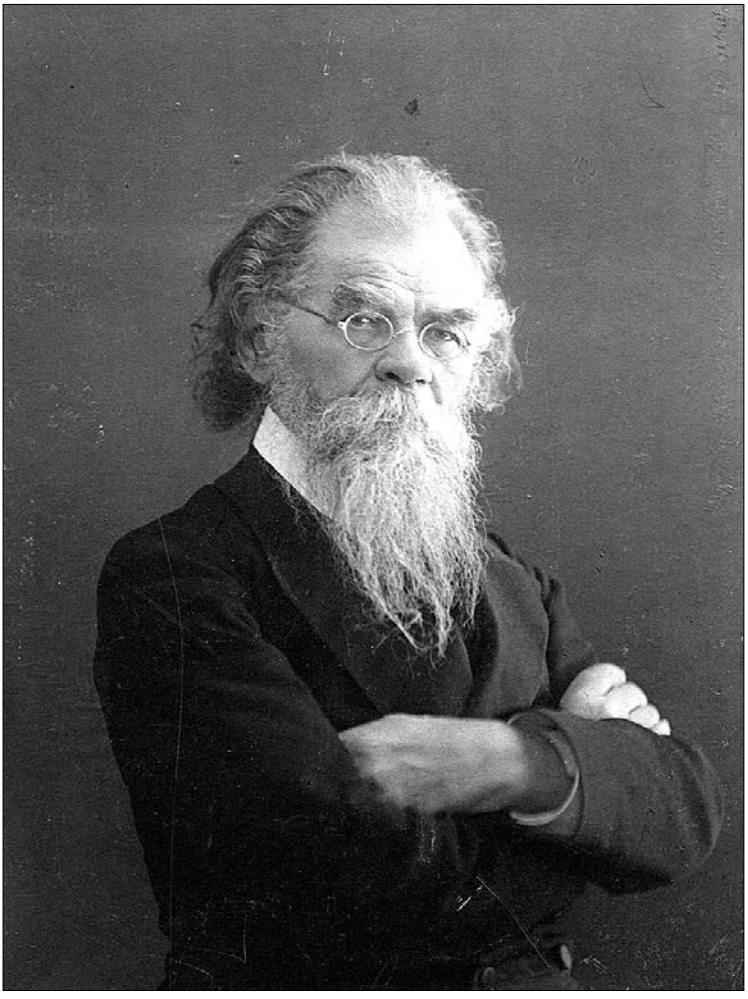
И за тех свой бокал поднимаю,
Кто сражён был в неравном бою,
Кто в оковах тяжёлых томится
В отдалённом и чуждом краю.
…И за край тот, холодный и хмурый,
Что невольно им мачехой стал, —

[1] *Григорий Николаевич Потанин — выдающийся учёный-путешественник, исследователь Центральной Азии и Алтая, общественный и политический деятель областнического направления.*

Я с сыновней святою любовью
Высоко поднимаю бокал!..

Пусть пред светочем правды и знанья
В ней рассеется сумрак скорей
И замолкнут тяжёлые стоны
И бряцанье железных цепей…
…За надежду — мечту дорогую
И за правды святой идеал —
За родную Сибирь поднимаю
В новогоднюю ночь свой бокал!..

«Сибирский студент», 1915 г., № 3—4



Григорий Николаевич Потанин — областник, учёный, путешественник

Михаил Плотников

Безмолвие

Громады синих льдов и снежныя равнины,
Безмолвие — здесь царство тишины.
Мертвяще бледный свет луны
Застыл на синем полотне равнины.
Безмолвие — здесь царство тишины.

Чернеет смутно грязный конус чума,
Оленей нет, наверно, ищут мох.
Безмолвие — здесь царство ойки Нума,
Остяцкий бог безмолвен и суров,
Безмолвие — здесь царство ойки Нума.

Но весел я, со мной принцесса Грёза,
Что грозный бог в сравненье с ней?..
Безмолвие — о, это лишь угроза,
Пусть ей пугает он детей.
Безмолвие — о, это лишь угроза.

В ея глазах ликует яркий день,
В глазах ея я слышу смех созвучий,
Безмолвие — больная чья-то тень,
Оно больно, наверное, падучей.
Безмолвие — больная чья-то тень.

Из цикла «Принцесса Грёза».
«Сибирские записки», 1919 г., № 3

* * *

Забытый скит над озером зеркальным,
Зелёные леса и серый небосклон,
И тихий звон, неясный и печальный,
Как робкий стон, как тихий сон.
Я здесь на берегу любуюся звонницей,
Крестом резным на куполе ея, —
И над заснувшею старицей
Встаёт седая старина.
Шумят леса скользящими тенями,
Рябит вода, а над водой



Михаил Нестеров. Сказание о невидимом граде Китеже. 1919—1922 гг.

С гортанным криком, снежными комками
Ныряют чайки за плотвой.
Мне хорошо… Усталый и забытый,
Ушёл с молитвой скорбной я в леса,
И вот теперь, как принц без свиты,
Стою и жду, когда придёт она.
Когда придёт? — Сегодня… Завтра, я не знаю,
Но верю я, она придёт ко мне,
И ей я расскажу, что так давно скрываю
В своей измученной душе.
Она поймёт, недаром имя ея Грёза,
Послушный бог, которому молюся я;
Моя последняя молитва и угроза,
Моя последняя мечта.

Из цикла «Принцесса Грёза».
«Сибирские записки», 1919 г., № 4—5

Алексей Гастев (Дозоров)

Экспресс

(сибирская фантазия)

Сибирь спит, одетая белой парчой снегов. Тихо качаются белые зыби полей, замерла скованная тундра, стонет ровным стоном тайга. Но в ночь под новый год тихие сны Сибири обрываются, мятежныя светлыя грёзы бурно несутся от океана к океану, от Урала до моря Беринга.

Тревожно и жёстко колотят сибирские морозы. На необъятных равнинах, на поднебесных вершинах гор гремят и гудят гигантские молоты. Строят, строят! На полярном небе из ледяных гор встаёт огненный занавес севернаго сияния. Занавес трепещет. Низко по горизонту ходят светлые тяжёлые столбы. Силы подземных замыслов несут их кверху. Растут исполины-колонны, идут друг на друга, теснят небо, жгут, светят на всю Сибирь лавой огненной энергии.

Миг… Колонны дрогнули, побледнели, и из-за них вырвался необъятный прожектор, весь готовый разлиться и затопить лучами и небо, и землю. Он ринулся! Ударил своими пламенными брызгами вверх, в холодных высотах зажёг миражи облаков. Минута — мираж зелёный, он смелая дума о будущем, минута — он красный, пылающий, он горящая, верхняя мечта, минута — он фиолетовый, стальная, закалённая воля к победе, работе, усилию. Занавес

бьётся, пылает, волнуется. За занавесом клокочет будущее. Мгновение… Занавес взвился и растаял в небе.

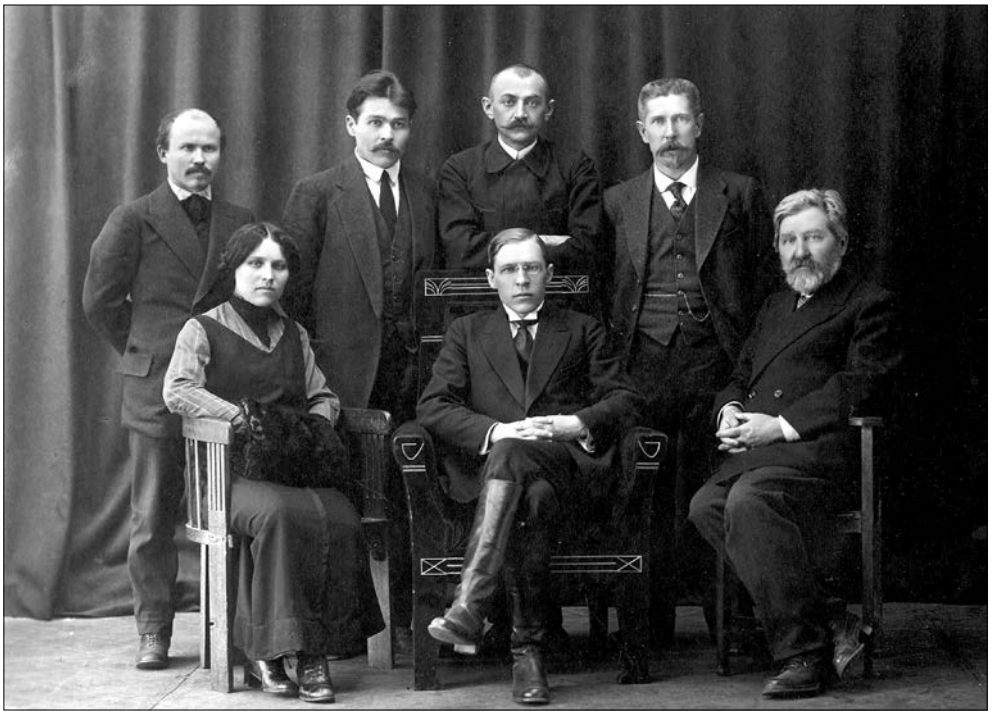
Экспресс «Панорама» сорвался с уральских высот и реет к Кургану. Курган, окружённый кольцом рельс, разросся в город масла, хлеба, мяса. Его давно уже зовут «кухней мира». Курган — город крепкаго и вольнаго сибирскаго народа, не знавшаго крепостной неволи. Сибирский народ создал великий город своими кооперативами, которых тысяча, усилиями, которых миллион. В центре на берегу реки — гордость Кургана — Народный Дом. Он занимает четыре квартала. Здание выросло в десять этажей. Окна дома идут цельным непрерывным стеклом с крыши до самой земли, и дом кажется одновременно и тяжёлым, и лёгким, как всё великое. Надземную часть дома занимает кооперативный университет и кооперативные центры. Вниз под землю идут тоже десять этажей, где устроен целый город масляных погребов. На дворе знаменитая курганская маслодельня, работающая бездымными газовыми двигателями. Сепараторное отделение одето стеклянным футляром вышиною в двадцать сажен. По одному фасаду Народнаго Дома проходит линия сибирской магистрали. Из вагона видна, как на ладони, вся чистота масляной работы. С воздушных экспрессов и платформ непрерывно делают снимки для реклам в «Народной Газете». Газета — высшее создание сибирскаго гения. В ней нет ни одной бумажной клетки, которая не вышла бы из бумажнаго кооператива, в ней нет ни одной строчки, написанной и набранной не кооператором. На углу Народнаго Дома высится редакционный маяк, на котором днём и ночью горит слово «Единение». Маяк виден на добрую сотню вёрст, и из Европы часто поднимаются на уральские хребты, чтобы любоваться курганским великаном.

От Кургана экспресс мчится по залитым солнцем пашням, где всё лето бороздят и ровняют поля стальныя чудовища-машины. Необитаемая прежде степь и тундра стала житницей всего света. Всюду видна рука людей настоящаго поколения. Ничто не говорит о прежних столетиях, об их раздольных, но ленивых песнях, об их сладостных, но пассивных молитвах. Вольные сибирские переселенцы создали новый тип селений, идущих прямыми линиями в два ряда домов на сотни вёрст, и из степей создали тысячевёрстный хутор, прорезающий быстрыми, смелыми линиями Сибирь с юга на север и с запада на восток. Экспресс быстро тормозит, но пассажирам кажется, что он врезался в ватныя стены. Мелькает новый город с тысячью заводских труб, выпускающих вместо дыма только несгораемые газы. Это — Сталь-город, который когда-то звали Ново-Николаевском. Поезд прыгает: ему надо миновать сотни три стрелочных переводов. Стальные пути идут вправо и влево, к югу и к северу, и все направляются к Оби. Обь блещет и бьёт своим полным валом, но берега ея стиснуты гранитом, набережныя скованы сетью подъездных путей. По обеим сторонам идут сотни подвижных кранов. Они вытянули свои стальные плетёные кронштейны и даже тогда, когда замирают после тяжёлых речных нагрузок, кажутся руками гигантов, наступающих друг на друга с одного берега на другой. Сверху виден лес мачт океанских судов, которые давно уже ходят по углублённому фарватеру Оби. Вот лёгкие пароходы компании «Барнаул — Канал», идущие от глав-

ных угольных центров Алтая к нефтяным районам Карских островов и Печоры, через полярный канал и железнодорожныя линии от Обдорска. А вот грузные теплоходы компании «Сталь-город — Нарвик», рассекающие грозные бури Карскаго моря и полярные льды океана. Экспресс влетает на железнодорожный мост через Обь. Этот мост со своими крепкими дамбами, широкими и длинными пролётами и тяжёлыми башнями — гордость сибирских строителей. Не проходит минуты, чтобы по мосту не мелькнул поезд. Вот самый Сталь-город, главный форт сибирской индустрии. Вечереет, и он встречает экспресс миллионом огней, то красных, что рвутся из окон тяжёлой металлургии, то снежно-белых, как день, ровно идущих от механических заводов. В воздухе над городом целый гомон света и звука, это новая человеческая симфония огня и железа. Заводы идут правильными рядами корпусов, кочегарки вытянулись прямыми линиями, это тысяча горящих бронированных сердец Стали-города; чёрные гиганты-трубы угрожают самому небу. Частныя здания идут квадратными кварталами; их плоския крыши соединены в одну площадь и образуют роскошный зелёный сад. И все эти заводы, дома, башни, цистерны, мосты, элеваторы, рыбные погреба — анонимны, у них нет названий, они принадлежат компаниям и синдикатам, у которых нет фамилий, голый капитал без лиц, без фигур. Сталь-город зовут машиной Сибири. Оттуда идут водные и железные пути на восток, запад, север и юг. День и ночь идут грузы с орудиями земледелия на север, где земельная обработка уже подходит к семидесятому градусу, на запад и восток идут двигатели для маслодельных заводов, мельниц, консервных фабрик, а на юг к Алтаю — готовыя части домн, краны, бурильная машина, трансформаторы. От Стали-города до Алтая идёт непрерывная промышленная стройка; она начинается заводскими трубами, идёт через жилища рабочих, переходит в заводы — домны и кончается чёрными подземными городами-шахтами. Но дальше, дальше по главной магистрали! Быстро минуем города без будущаго. Они хотели быть острогами, но сами умерли, как необитаемыя тюрьмы…

Красноярск! Это мозг Сибири.

Только что закончен постройкой центральный сибирский музей, ставший целым учёным городом. Университет стоит рядом с музеем, кажется маленькой будочкой, но он уже известен всему миру своими открытиями. Это здесь создалась новая геологическая теория, устанавливающая точный возраст образования земного шара; это здесь нашли способ рассматривать движения лавы в центре Земли; это здесь создали знаменитую лабораторию опытов с радием и открыли интернациональную клинику на двадцать тысяч человек. Но истинная научная гордость Красноярска — обсерватория и сейсмограф. Здесь записываются не только землетрясения, но все движения подземных огненно-жидких и паровых образований, публикуются их точныя фотографии и диаграммы; и в течение последних десяти лет не было ни одного землетрясения в мире, которое не было бы точно установлено во времени и пространстве и предсказано Красноярском.



Редакция журнала «Сибирские записки». Красноярск, 1916 г. Слева направо сидят: Валентина Колосова, Евгений Колосов, Владимир Крутовский

А вот прямо перед экспрессом точно растёт и летит прямо в небо блестяще-белый шпиль. Это дом международных научных конгрессов. Его фасад усеян флагами государств всего мира. Теперь там заседает конгресс по улучшению человеческаго типа путём демонстративнаго полового подбора. Если нужно выразить научно-смелую идею, то всегда и всюду — в Европе и в Америке — говорят: «Это что-то… красноярское!» Там, на Енисее, высится мачта, на которой гордая надпись: «Красноярск — морской порт!». Но за ней на башне дамбы другая надпись: «Красноярск — верфь мира!». На север от моста больше чем на десять вёрст всё суда, всё суда. А по берегам, точно скелеты допотопных ихтиозавров, высятся эллинги судостроительных заводов.

Экспресс, однако, мчится. Иркутск!

Город транспортных сооружений, оптовой торговли, финансов, синдикатов, трестов, биржи. Отсюда идут четыре магистрали: одна врезывается в сердце Китая прямо на Пекин, она давно уже вооружила трудолюбивых землевладельцев резцом и зубилом; другая идёт к Владивостоку, интернациональному порту, вся жизнь котораго рвётся через океан к Колорадо и Нью-Йорку; третья на Амур, к его дивным виноградникам и садам; четвёртая к северу на Якутск — к разбуженной полярной стране. Ещё издали, вёрст за двадцать, с экспресса виден «верхний этаж» города, как называют воздушныя платформы королей капитала. Платформы укреплены на баллонах и поддерживаются непрерывной работой моторов. За десятки вёрст по ночам эти платформы посылают це-

лые бассейны света к Байкалу и на железнодорожные пути и в тайгу. Этим же светом, идущим параллельными лучами, затоплен весь город, который уже не нуждается ни в каком освещении — ни в уличном, ни в комнатном. На воздушных платформах устроены станции радиотелеграфа и телефона; отсюда говорят и с материками, и с океанами, отсюда по незримым волнам капитал правит уже не только Сибирью, он через Владивосток целит в Америку, и, кажется, над океаном временами ходят тучи, назревают небывалыя грозы и прольются лавы не то стального, не то золотого дождя… На платформах же находятся конторы и залы синдикатов с их краткими названиями: «Золото», «Радий», «Виноград», «Хлеб», «Полюс», «Огонь», «Кислород». Сверху с платформ правят землёй. И на что уже сильна была в Иркутске международная биржа и банки, но они сдались «платформам», и кнопки биржевой игры теперь нажимаются вверху. Фоногазета «Платформа» выходит непрерывно, круглыя сутки и осведомляет о всём весь мир. Она постепенно стянула все лучшия литературныя и артистическия силы мира и давно уже таксировала гонорары всех знаменитостей. Демократическая богема желчно острила: «Парнас переселился на „Платформу“». Мы въехали на экспрессе в безбрежный океан света и движенья, мы в урагане жизни воздушнаго города — и вдруг… тишина. Только здесь в Иркутске узнаёшь, какая потрясающая сила в… тишине. Это мы въехали в подземный центральный вокзал, едем под городом; бархатные тормоза, бесшумный выход газа из локомотивов, скраденный шелест грузовых кранов, схороненные в землемоторы, папковыя и бумажныя крыши и стены, а главное, — полное отсутствие служебнаго персонала. Всё делается автоматически, просто. Множество кнопок, бесчисленные краны к услугам публики, всюду надписи и световые указатели. Но чаще — довольно только ступить ногой, чтобы бесшумно тронулся лифт и осторожно поднялась платформа или тротуар вокзала. И невольно пассажиры, загипнотизированные этой мощью молчащей постройки и беззвучнаго движенья, говорят друг с другом негромко, шёпотом. Нервные люди надземнаго города прозвали иркутский вокзал фонованной. Экспресс летит дальше. Его не остановили ни для высадки пассажиров — вагон с ними на ходу отделился, — ни для почты — её поймали и кинули — да ея так мало: всё делается аэромашинами и радио.

Экспресс вынырнул из земли. Ему навстречу несётся гул газетных рупоров и стереоскоп реклам. Но все они покрыты водопадом белаго света, на котором фоногазета в воздухе чёрными буквами написала: «Три конгресса». Деловыя заседания этих конгрессов таят невиданную социальную схватку. Конгресс сибирских трестов на одной из воздушных платформ решает прибрать к своим рукам интернациональный трест «Сталь», синдикат «Руда», объединивший добычу Алтая, Саян и Яблоновых, давно уже подбирался к «Стали». Но силы мало. Теперь он хочет поставить «Сталь» хотя бы под контроль союза синдикатов. Голосования конгресса вызывают биржевую панику во всём мире; ещё минута, — и радиотелеграф известит о сотне крахов и тысяч самоубийств биржевых дельцов: «„Платформа“ проглатывает „Сталь“». Конгресс сибирских кооперативов, связанный Сибирским Народным Банком, над зданием заседа-

ний выкинул тревожный аншлаг: «„Платформа“ душит кооперацию!». Конгресс принимает героическое решение — закрыть свой рынок для синдикатских изделий и кредита. Устанавливается кооперативный лэбель.

Кооперативный запад Сибири поднялся против синдикатскаго востока. Кто победит: будет ли приручена кооперация и будет ли снизу ждать лозунгов от воздушных платформ или платформы рухнут, не устоят против западной мобилизации? На «платформах» не дремлют: там по телефону слушают прения конгресса, там радость: на конгрессе намечается раскол — алтайцы обвиняют курганцев в симпатиях к синдикатам. «Курган сам завтра будет синдикатом!» — крикнул один из алтайцев. Но кооперативный конгресс делает гигантскую ставку: он устанавливает миллионный штраф за нарушение лэбаля, штраф гарантируется районными союзами. «Платформы» демонстративно переносят центральную организацию в Курган… Третий конгресс — рабочий международный съезд, это — первыя заседания интернационала, когда прения ведутся на международном языке, который составился из комбинации русскаго с американо-английским. Весь последний год во всех странах шли съезды и референдумы. И теперь интернационал спокойно принимает решение за мировой рабочий класс, он решил биться за немедленное образование международнаго совета, который должен объявить себя собственником угля, хлеба, кислорода и огня. «Интернационализация!» Слово произнесено… Мир живёт накануне новых потрясений, смелых жестов, дерзких вызовов.

Но неугомонный экспресс мчится.

Экспресс летит. К Якутску!

Здесь от Иркутска к северу по всему материку идёт однорельсовая дорога; местами рельс идёт внизу поезда, местами — вверху. Этому пути не страшны снежные заносы. На Витиме стоит золотая столица Бодайбо. По одну сторону ходят чёрные рабочие поезда и великаны-машины, бьющия почву и моющия золото; здесь пыль, грязь, сырость и… стон. По другую сторону горят шпили домов золотой резиденции. На работу в бодайбинский район согнаны китайцы, африканцы, индийцы, якуты, индусы, сюда же доставлены партии закованных каторжан. Кто хочет знать, чем отличается рай от ада, пусть идёт в Бодайбо и посмотрит сначала на один берег, потом на другой. Одно время в «раю» пронеслась тревога: заговорили о нападении на синдикат «Золото» со стороны «Руды», но государства не решились отступить от принудительнаго денежнаго курса, и «рай» опять зацвёл и опять появились золотыя яблоки.

Экспресс мчится сквозь горные хребты, катит с вершины на вершину. Куда, куда ты летишь? Что это: семафоры или звёзды?..

Экспресс в Якутске. Не город, а сказка.

Его теперь часто зовут «карточным домиком». Кто был в Якутске в начале двадцатаго века, — не узнает его. Нет проток, нет болот, улетучились озёра: всё высушено, вымыто, прибрано. Город распланирован правильными домами-кварталами, сделанными целиком из бумаги: город-реклама. Якутск стал бумажным центром. Необъятная тайга вся скуплена «бумагой», и теперь на бумажных фабриках в Якутске делают из бумаги газетные листы, мебель, ва-

гоны, суда, дома и дороги. С тех пор как Америка и Азия перешли к бумажной стройке, все металлы задрожали за свою будущность. И, может быть, этим объясняется, как легко Иркутская «платформа» расправилась со «Сталью».

От Якутска дорога к морю. Охотск!

Здесь два чуда: искусственное озеро и аквариум, где хранится и культивируется рыба Тихаго океана. Летом здесь функционируют рыбные погреба с температурой двадцати градусов ниже ноля. Дальше же, однако, дальше. Город буржуазной неги — Гижигинск. Зимой в Гижигинске собирается знать с «платформ» и занимается полярной охотой и спортом. Теперь у спортсменов нет высшаго удовольствия, как гоняться на оленях, собаках и моторных санях по северной тундре и занесённому снегом океану. Летом в Гижигинске собирается цвет буржуазнаго общества для лечения в горячих источниках. И как-то не по вкусу пришлось королям золота, когда союз сибирских печатников построил в Гижигинске дом для своих членов — больных туберкулёзом.

Ещё несколько взмахов экспресса, и мы в новом городе Энергия, основанном на пустом месте. Здесь скрещиваются двадцать железнодорожных путей, идущих из Камчатки. Все ея сопки давно одеты стальными и асбестовыми кожухами, жар земли собирается, немедленно трансформируется и переводится в энергию. Камчатка, в которой нет ни одной квадратной версты без рельсовых путей, когда-то называлась кочегаркой мира: тогда здесь добывалось только тепло. Теперь Энергия переводит теплоту во все виды механической энергии.

Кто хочет видеть новые великаны строительнаго дела, кто хочет знать величие и мощь огня, пусть едет на Камчатку. Но туда же должен поехать всякий, кто заинтересуется новой битвой «Огня» с «Углём». Это к «Огню» — то подбирался конгресс интернационала в Иркутске. И носятся слухи, что заправилы «Угля» экстренно установили высокия пенсии горнорабочим и шахтёрам… Между тем назревают новыя битвы: по всему берегу Великаго океана, по всей линии сопок, в Америке, Китае, на Зондских островах началась постройка тепловых гигантов и все они бросили вызов Камчатке. А экспресс уже умчался от этой океанской драмы, взял курс на самый север и грозит новыми сказками. Экспресс весь земной, весь человеческий. Он бурлит, он просит неслыханнаго стального топота, взмаха подземных кипящих морей, дыхания лавы. Ох, он хочет прорезать всю землю, облить её своим жарким дыханьем, отдать ей всю огненную страсть свою: он хочет вселить в неё беса холода и беса жара и заставить их вечно биться! Он хочет утопить человека в металле, расплавить маленькия души и сотворить одну большую; он хочет заразить камни человеческим говором, заставить мёрзлую землю петь гимны огню. И потом всё смешать, включить исполинские токи, дать волю, неслыханную по безумству и отваге, и самому умчаться дальше. Дальше! На самыя рискованныя зыби, на край, на дальний, дальний край!

Город Беринга. Он знает только два лозунга: «К Полюсу!» и в «Америку!».

На его дне воздвигаются новые города. Открытые залежи угля на дне океана теперь пока брошены и забыты: ведь «Уголь» дрожит теперь за свою участь. Но зато воздвигнуты настоящие хрустальные дворцы из морского янтаря.

Система ползущих кессонов давно уже позволила подобраться к Северному полюсу снизу водным путём. А завод, работающий для Полюса в Беринге, мечтает о том, чтобы согнать снега с Полюса, изменить направление тёплых течений в океанах и смягчить весь полярный климат. Теперь в Сибири много говорят о грядущей революции земледелия и садоводства и на стороне Беринга стоят сельскохозяйственные кооперативы и Энергия Камчатки… Кооперативы говорят, что рабочий интернационал не вовремя стал шутит с «Огнём», величайшия мечты Беринга могут застыть… Завязывается новая социальная схватка. Экспресс же хоронит, хоронит скорее полярныя бури. Ему тесно. Он несётся по закруглению высокой насыпи, как развёрнутое верхнее знамя, рокочет по рельсам, с бушующей стальной песней влетает на мост, с моста в морской тоннель — от Беринга в Аляску. Постройка тоннеля стоила двух тысяч жизней: полтысячи погибло от полярных холодов и полторы пожрал океан в подводных работах. Победа индустрии заставила весь рабочий класс одеться в траур. Но теперь уже нет границ между Старым и Новым Светом. Тоннель стал символом мирового рабочаго единения. Перед тоннелем у Беринга маяк. Экспресс мчится прямо на него. Гигант, превосходящий все высоты земли и сделанный из бетона, металла, бумаги и льда, предохранённаго от испарения. Маяк направил свои прожекторы на экспресс. Экспресс вольно купается в красных, синих и белых лучах полярнаго смельчака. Невольная дрожь охватывает пассажиров. Что будет? Кажется, что маяк всё идёт, всё наступает к Полюсу растущим памятником человеку, его движенью, его воле.

Мгновение — и экспресс в тоннеле. Тихий ровный свет, тихие тона красок… Но бурно и гулко дышат моторы, накачивающие воздух, и тоннель дрожит, как стальной пульс в спящих океанских водах.

Полчаса — и Америка!..

Жизнь мелькает. Люди входят и выходят, умирают и родятся, расцветает, отцветает весна, гибнут и снова воскресают надежды. Светлый экспресс летит. Его дорога бесконечна. Но и бесстрашие его безгранично. Порой он рушится с мостов в воду на всём ходу. Стоны, крики, смерти. Но снова из глубин бешено вырывается неугомонный поезд, дышит пламенем, поёт сталью, колотит и режет камни, врывается прямо в утёсы, сверлит их грудью. Он весь изранен, он полон горя, но, железно-суровый, он скрыл, схоронил в своём пламенном сердце всю боль этой небывалой дороги… и поёт, мятежный, он поёт совсем не о былом, совсем не о тяжёлых надрывных часах, а о грядущих, радостных восходах и полных отваги и риска уклонах.

«Сибирские записки», 1916 г., № 1

Иван Тачалов

Песни ночи

Мрачны тайны мои беспредельные,
Но в сиянье чарующем дня
Льётся вечно любовь безраздельная
От рождённого мною огня!
Я бессмертия трепет всезнающий,
Нет бесследности в царстве моём.
Не исчезнет и атом сгорающий
В тёмной бездне — просторе немом.
Я начало начал безначальное,
Я конец бесконечных концов,
Я печали печаль беспечальная,
Я восторг восторгающих снов.
Я вдыхаю разумность горящую,
Всеобъемлющий дух создаю,
Да познают меня, всетворящую
И превечную волю мою…
Я рождаю системы огнистые —
Звенья новых струистых кругов,
Точно юности кудри волнистые,
Вьётся солнечность звёздных миров…
Звёзды — солнца мои идеальные,
Увенчайте чело красоты:
Нарисуйте узоры спиральные
В недрах вечно моей темноты…

Замолкла песнь…

Замолкла песнь всемирная
С аккордами лучей,
Вздохнула ночь эфирная
Безмерностью своей…
Молчит душа пытливая,
Торжественность храня,
Бессонница ревнивая
Обвеяла меня…
Но что за песнь рождается
И вновь звенит в тиши?

Не сердце ль пробуждается,
Не струны ли души?

Орион

Г. А. Вяткину

Бахрома облаков, расплываясь в пространстве,
Открывает величие вечных чудес,
В неизменно божественно-пышном убранстве
Глубину полуночных небес.

Хороводы светил с чистотою стыдливой
Испещряют предвечный незыблемый трон,
И горит и царит красотой горделивой
Всем созвездиям царь — Орион!

Он горит, как вселенной весы золотые
Для решений верховного правды Суда,
Где бы взвесили споры свои роковые
Жизнь и Смерть и Любовь и Вражда.



В Литературном музее им. В. П. Астафьева хранится редкий сборник «Аккорды мысли» И. И. Тачалова с автографом М. В. Красножёновой, с подлинными рисунками тушью алтайского художника Г. И. Гуркина. Выпущен тиражом 1 000 экземпляров

То как меч он в деснице Творца всемогущей,
Охраняющей бездны движенья миров,
Гармоничность законов своих стерегущей
Из глубин в бесконечность веков.

Лучезарная дивная сила сиянья,
Гордый блеск этих звёзд — неделим,
Завершая венец красоты мирозданья
Сочетанием стройным своим.

Созерцая его, отдыхаю душою,
Загорается в сердце восторг неземной,
И возносится вслед за крылатой мечтою
Шёпот страстно молитвенный мой!..

Санкт-Петербург, 1910 г.
Сборник «Аккорды мыслей»


Общество организации Народнаго университета

В помещении Учительской Семинарии

(угол Песочной и Гадаловскаго, вход с переулка).

НАУЧНО

ПОПУЛЯРНЫЯ ЛЕКЦИИ

I. Е. Н. ШЕШМЕНЦЕВА прочтет:

Л. Н. Толстой, как человек и писатель.

ПРОГРАММА.

Начало сознательной жизни и определение личных переживаний и его творчестве. Период до 60-годов. Борьба между стремлением к светским успехам и исканием идеала. «Детство и отечество». «Юность». «Севастопольские рассказы». «Утро помещика». Связь их с духовным миром Толстого.

Педагогическая деятельность и идеал свободной и живой школы. 60-е и 70-е годы. Расцвет художественного творчества. «Война и мир» и «Анна Каренина». Отражение в них исканий смысла жизни и стремления выработать нравственное миросозерцание. 80-е годы. «Исповедь», «В чем моя вера?», «Чем люди живы?». Религиозное миросозерцание.

Последний период от 80-х годов. Толстой-проповедник. Стремление провести в жизнь свои идеалы и нравственная мучения. «Свет в во тьме светит». Взгляд на искусство. Художественные произведения последнего периода. «Воскресение». «Хаджи Мурат». Своеобразие взглядов Толстого: отношение к церкви, правительству и революции и связи с произведу непротивления злу. Влияние Толстого на русское общество и весь культурный мир.

Толстой, как художник, мыслитель и человек.

Лекции будут читаться по понедельникам и четвергам от 7 до 9 час. вечера и потребуют всего 12—14 часов.

Первая лекция въ четверг 30 мая. ‖ Плата за весь курс 2 рубля.

II. А. А. СОБОЛЕВ прочтет

ГЕОЛОГИЯ (жизнь земли).

ПРОГРАММА:

Геология и ее научное значение. Практическая польза при разработке полезных ископаемых. Как смотрел на жизнь земли в древнюю эпоху, средние века и новое время. В чем состоит жизнь земли?

Земная кора и ядро земли, их взаимоотношения. Водяная и электрическая. Деятельность воды, воздуха и живых организмов в созидании и разрушении земной поверхности. Горные породы. Образование и жизнь гор. История земли и жизнь на земле. Изменчивость жизни и причины вымирания и смены растительных и животных организмов. Как появился на земле человек?

Геологическое прошлое окрестностей г. Красноярска.

Будут показаны диапозитивы. Предполагается устроить ЭКСКУРСИЮ.

Лекции будут читаться по вторникам и пятницам от 7 до 9 час. вечера и потребуют 14—16 часов.

Первая лекция в пятницу 31 мая. ‖ Плата за весь курс 3 рубля.

АНОНС: [illegible] предполагается ЭКСКУРСИЯ В ЗНАМЕНСКИЙ ЗАВОД. Подробности можно узнать в помещении Народного Университета (Учительская семинария) от 5 до 7 часов вечера ежедневно.

Красноярск. Типография Окайкина и К°.

Анонс публичных лекций Народного университета в Учительской семинарии, май 1912 г.

Пётр Петров

Недопахал я начатого поля
(незаконченная поэма)[1]

Не снятся сердцу радости и воля.
Оно болит предчувствием беды…
Недопахал я начатого поля
И не собрал желанные плоды…
Как дикий конь в далёкую дорогу
Пустился я и оборвал гужи.
Прощай, мечты, желанья и тревоги.
Стою один у роковой межи…
Что ж, пройден путь, недалеко до гроба.
Но чем я был, тем буду до конца.
Простимся, жизнь, без горечи и злобы,
Как подобает истинным бойцам…
Уйдём без шума, пусть на этой тризне
Ничья слеза лица не обожжёт.
И всё ж готов я дорогой отчизне
Отдать последний письменный отчёт.
Я расскажу, что память удержала,
Когда я встал на собственных ногах,
Когда меня в грязи у сеновала
Свирепый бык подбросил на рогах…
И помню, мать соседкам говорила:
«Недели три без памяти лежал,
Жалела я, а Бога всё молила,
Чтоб из шести хоть одного прибрал…
Ох, не к добру родятся наши дети».
И бабы горестно качали головой…
Не раз я вспомнил разговоры эти,
Когда дрожал под бурей и грозой.
Но легковейны юности печали,
И над моей беспечной головой
Они, как дым под ветром, улетали.
Я рос, довольный жизнью и собой.
И хоть ласки детской колыбели
Не помнил я. Да были ли они?

[1] *Поэма написана автором на фрагментах белой рубашки во внутренней тюрьме НКВД на «Дальстрое», 1941 г. Публикуется впервые.*

Я больше помнил песенки метели
Да в жарких битвах канувшие дни…
Благословенный труд, к тебе и ныне
Я изболевшимся сердцем не льстил.
Я чтил тебя как некую святыню
И каждый злак, любя, боготворил…
Поклон тебе, могучая природа!
Я здесь любил и нежно был любим.
В любой поре, в любое время года
Я был пленён созвучием твоим…
Тех дней нужда и мелкие обиды
Я забывал, как мимолётный сон,
Я был в деревню по уши влюблён,
А за Сибирь не взял бы и Колхиды.
Быть лучшим пахарем и запевалой,
Отчаянным стрелком в глуши лесов и скал:
Так молодёжь крестьянская мечтала.
О том же сам я сладостно мечтал…
И помню случай, он один из многих, —
В погоне дикой за звериной шкурой
Я невзначай наткнулся на берлогу,
Откуда вышел пестун тёмно-бурый…
В смертельной схватке сдался косолапый, —
Собаки верно послужили мне,
Но след его не очень нежной лапы
И до сих пор я чувствую в спине…
Забавы милые наследственного быта,
К вам принёс я дань, как истый патриот…
Недаром конские тяжёлые копыта
Не раз въезжали мне то в спину, то в живот…
А дальше армия и маршевая рота.
В тылу — дельцов утончённый разврат.
И мир узнал, как руская пехота
Прославленные Пинские болота
Обильно умощала трупами солдат…
И сам я брюхом ползал по трясинам,
Дрожал в окопах, в Припяти тонул.
Не по лубочным дряненьким картинам
Тогда узнал я пушечный разгул.
Среди солдат я слышал разговоры,
Что, дескать, августовские леса,
Каратель Ранненкампф, Мазурские озёра
И проданные немцу корпуса.
И вот не в силах многое понять,



Партизаны Степного Баджея, 1919 г. Третий слева в первом ряду — П. П. Петров

Я размышлял в тоске своей звериной:
Зачем, зачем же мучилась ты, мать,
Рождая с болью мученика-сына?
Газеты врали: «Наши, мол, как львы,
А немцы — это пуганые зайцы».
Но наши, чтоб не быть без головы,
Рубили и отстреливали пальцы…
Сам, подражая от ума иль сдуру,
Но мысль о доме крепко затая,
Чуть-чуть не запустил под шкуру
Какой-то дикий самодельный яд.
Но не решился, дрогнула душа,
Потом ревел от злобы и бессилья:
Противно было воздухом дышать,
Пропитанным болотной и кровавой гнилью.
Немногим грезились военные награды.
Для большинства один лежал просвет.
Затем суды карали самострелов,
И дезертирам попадало заодно.
Но всё текло до нужного предела.
И страшный гром ударил над страной.
Людскую ненависть смертельным ядом

Узнал я на войне, в растерзанном краю.
И только здесь под грохот канонады
Благословил я молодость свою.
Но к ней, увы, уже не было возврата,
Страны пожар и до траншей дошёл.
И фронт узнал, как русский император
Провоевал наследственный престол.
Умолкли пушки. Вместо них гремели
Снаряды слов на митингах… И вот:
Рабочий и мужик, одетые в шинели,
«Чинам и звёздам» предъявили счёт…
Платить за всё, что претерпели люди:
За дикий мордобой и за окопных вшей,
За слёзы матерей, вдов выпитые груди,
За стон и смерть чахоточных детей…
За сонмище калек, просящих подаянье
Голодным ртом у барского окна…
Так в эти дни, потомству в назиданье,
Платились головой династия и знать…
Я слушал бурю яростных восторгов.
И думал, в недрах треснула земля…
А в общем… Русь одна платила дорого
По стародавним векселям.



Сибирские стрелки на Первой мировой войне



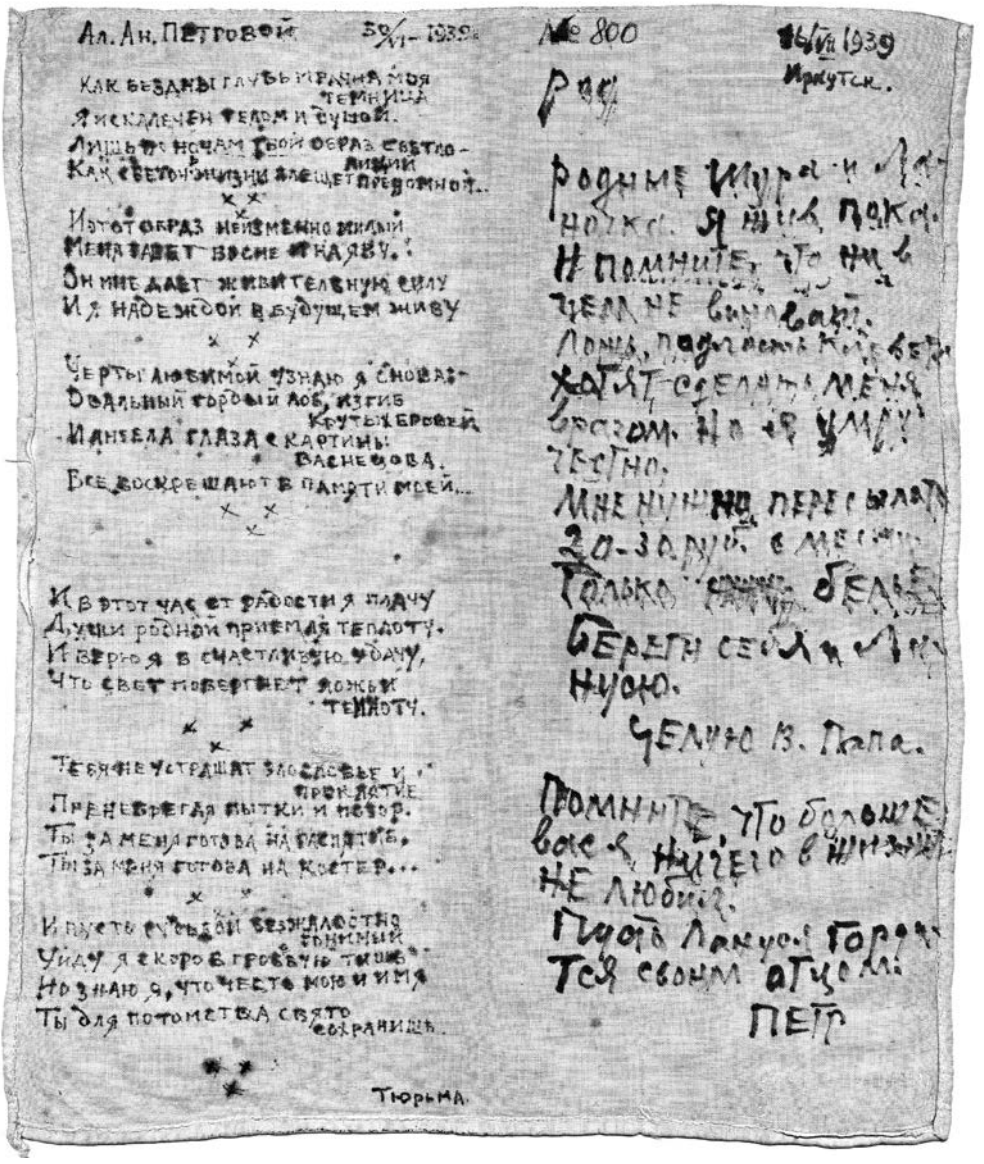
Семья Липинских в Минусинске. Слева направо: Ксения, автор книги «Далеко в заснеженной Сибири», посвящённой Гражданской войне; Александра, жена партизана и поэта П. П. Петрова, 1920-е гг.

Как овцы в табуне, перемешались бабы,
В часы свершалось за десятки лет…
И, если генерал не угодил солдатам, —
Довольно «голоснуть», и генерала — нет!
Взывал напрасно златоуст Керенский,
Чтоб до конца победно бить врага.
К земле рванулся пахарь деревенский,
Рабочий люд — к забытым очагам…
Ждала семья, влекла родная плоть.
И вот с ватагой боевых братишек,
Винтовку и наган запрятав под полой,
Махнул в Сибирь я на вагонной крыше.
Тут «измаильский» штык, в легенды разодетый,
Пошёл в обмен на пару калачей…
Катились дни, и только поздним летом
Я появился в отчине своей…
Горя мечтой о жизни обновлённой,
Но чтоб вернее старую сломать,
Я руки было потянул к иконам,
Но тут с ухватом выступила мать…

Опять борьба! Без пушек и без крови
Я просвещал родителей как мог.
Отец сопел, сердито хмурил брови,
Потом сказал: «Вон — бог, а вон — порог»…
И я унёс печаль и сожаленье
Туда, где зрела новая война.
Где, как набат гудело слово «Ленин»
И грозно ширилась октябрьская волна…
Без книг и карт сибирские просторы
Я изучил, измерив парой ног:
Мунку-Сардык и Прибайкалья горы,
Хамар-Дабан — и вдоль и поперёк…
Но в нашей памяти лишь близкое хранится,
И меньше радости, чем скорби и невзгоды.
Так я сберёг суровые страницы
Иркутских битв семнадцатого года…
Трещал декабрь, вставала Ангара…
И вот в тумане непроглядно-сером
Нам первый залп послали юнкера,
А повторили штурмом офицеры.
И девять суток город был в огне,
А вьюги злобно заметали трупы.
Здесь было всё как на любой войне:
Жестоко, безрассудно, глупо.



Пётр Поликарпович Петров с женой Александрой. Красноярск, 1925 г.



Ал. Ан. Петровой 30/VI-1939 г.

Как бездны глубь моя душа,
Я искалечен телом и судьбой.
Лишь по ночам Твой образ светло-
Как светоч жизни блещет предо мной...

* * *

И тот образ неизменно живой
Меня ведет все вперед и вперед.
Он мне дает живительную силу
И я надеждой в будущем живу.

* * *

Черты любимой узнаю я снова:
Овальный город и лоб, изгиб
Крутых бровей,
И нежа глаза с картины
Васнецова.
Все воскрешают в памяти моей...

* * *

И в тот час от радости я плачу
Душой родной приемля теплоту.
И веря я в счастливую судьбу,
Что свет повергнет ложь и тьму.

* * *

Тебя не устрашат злословье и
Пренебрегая пытки и позор.
Ты за меня готова на распятье,
Ты за меня готова на костер...

* * *

И путь твой будет безжалостно
Уйду я скоро в гробовую тишь.
Но знаю я, что честь мою и имя
Ты для потомства свято сохранишь.

* * *

Тюрьма.

№ 800 16/VII 1939
Иркутск.

Рая

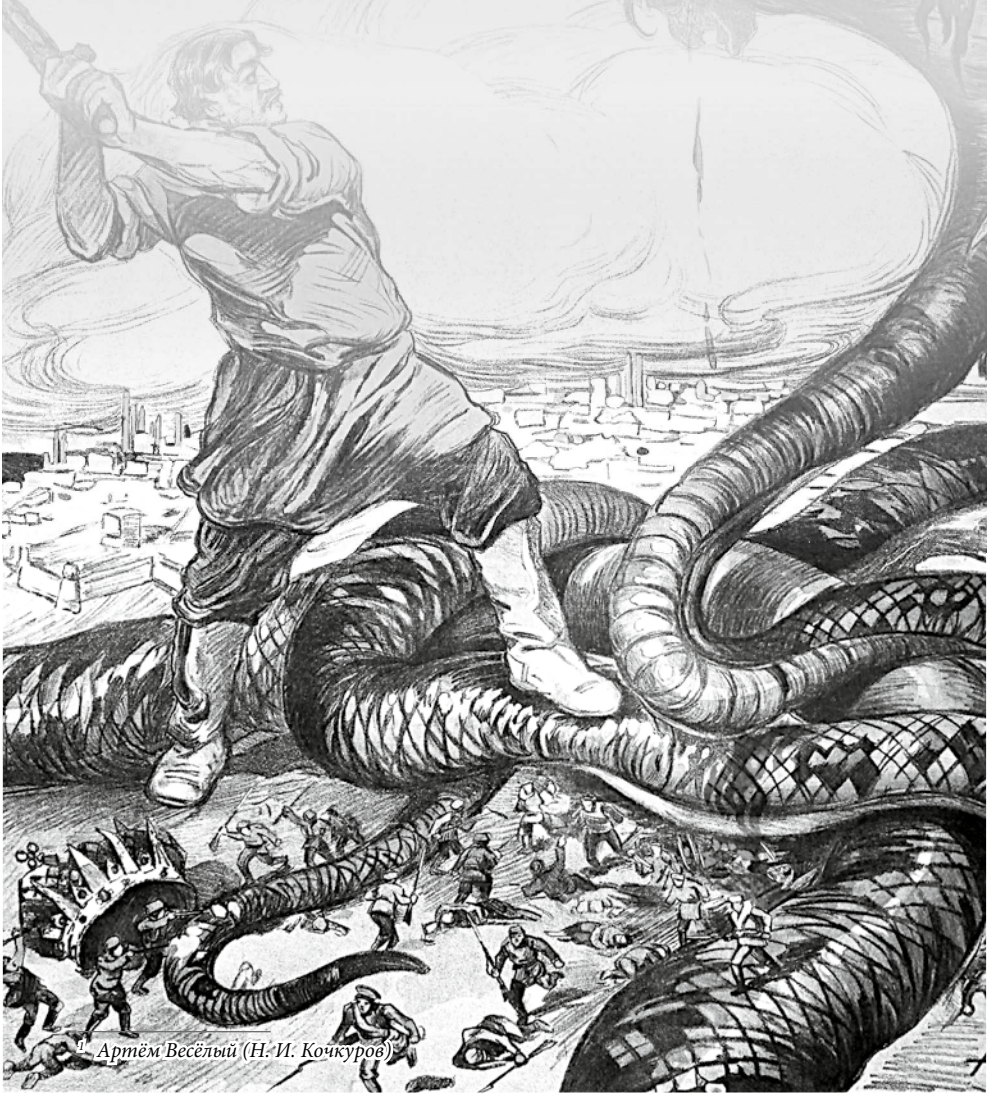
Родные Шура и Ма-
ленькие. Я жив, пока.
Не помните, что мне
челом не виноваты.
Лишь подлость клевет
хотят сделать меня
врагом. Но я умру
честно.
Мне нужно переслать
20-30 руб. в месяц.
Только белье
берегите себе и Ма-
ленькой.
Целую Ваш Папа.

Помните, что больше
всех я ничего в жизни
не любил.
Пусть Ларуся горда
тем своим отцом.
Пет

Стихи Петра Петрова, посвящённые жене Александре Антоновне и посланные ей из тюрьмы, 16 июля 1939 г.

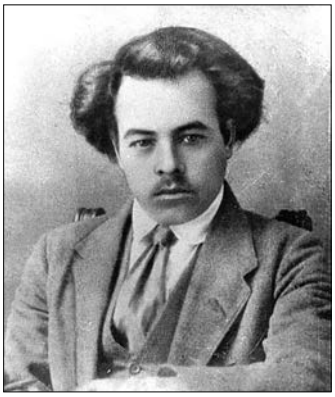
II. «Россия, кровью умытая…»[1]





[1] *Артём Весёлый (Н. И. Кочкуров)*

Иван Ерошин



Иван Евдокимович Ерошин

* * *

Проснётся человек,
Душой преображённый.
Вселенной бросит клич
Из тлеющих вершин:
«Да будут равны все!
Не будет побеждённых!
Исчезни, ночи мрак!
Исчезни, зло годин!»

«Власть труда», 1917 г.

* * *

Светло, светло. В глаза до боли
Сияет шёлковая синь.
Всё тот же лес и то же поле
Качают пьяную теплынь.
И так же тихо хаты дремлют
Обозом скученным вдали.
Благословляя, всё приемлю,
Недолгий гость святой земли.
Душа полна восторгом нежным,
Исходит песней голубой.
Недавно здесь в бреду мятежном
Металась месть и пушек вой.
И будто сон… Под дымкой кроясь,
Ушли за дальний косогор —
Гречихи белопенный пояс,
Полос картофельных узор.
Восстав от мук, ты вновь смиренно
Цветёшь, израненная мать.
И я, как ты, цвету нетленно,
Хочу гореть и не сгорать.

«Власть труда», 1919 г., № 7

Как Красноярск встречал Февраль…

Лидия Симоновна Крутовская — Григорию Николаевичу Потанину, 9 марта 1917 г.[1]

Мой дорогой, милый Григорий Николаевич! Прежде всего поздравляю вас и крепко, горячо целую. Сегодня Володя получил ваше письмо, радовались ему очень, тем более что оно написано вашей рукой. Плохо, что сегодня ему не будет возможности написать вам, а может быть и завтра тоже, а потому я и спешу написать вам. В Красноярске идёт всё как в самой фантастической сказке. 3 и 4 марта были власти арестованы [губернатор и все жандармы]. Образовался Комитет безопасности, Исполнительный комитет, Совет солдатских, казачьих и рабочих депутатов, последние вошли в Комитет безопасности. Действия всех согласованны. Совет общественной безопасности заседает в Думе с 9 ч. утра до 2—3 часов ночи. Все военные власти и солдаты на стороне нового правительства. Митинги идут каждый день, без перерыва: и в театре, и в Доме просвещения, и в собрании, и в лечебнице — словом, во всех зданиях, где только есть большое помещение. Но вместить всех желающих невозможно, а потому происходят митинги и под открытым небом на Базарной площади. Не было ни одного выступления нигде с требованием «крови», какое-то удивительное, сказочное, спокойно-радостное настроение, поражающе дисциплинированная толпа; как будто бы их воспитывали на этих новых началах уже десятки лет. Сборы и пожертвования на партии и на нужды возвращающихся сосланных — идут прекрасно. Старой полиции не существует, кроме выбранной милиции, патрули, солдаты. В городе полное спокойствие: никакого хулиганства и грабежа. Все нижние чины жандармерии отправлены в Ачинск военными властями, для отправки на фронты. От старших жандармов, которые сидят ещё здесь, взяли всё, что могли, т. е. Оболенский выдал всех шпионов (к сожалению, оказались в числе их трое политических ссыльных), все дела опечатали и перевезли. Между прочим, вот какой курьёз: в помещении Жандармского управления найдена хорошая библиотека с.-д. и с.-р., и теперь эти книги приводятся в порядок, тем более что есть много очень ценных, и устраивается в той квартире, где бесплатная читальня. Могли ли они думать, что книги, собираемые и хранимые ими, станут достоянием их врагов. Да вот ещё: Оболенский послал уже несколько заявлений, что он признаёт новое правительство, и через несколько строчек всё восклицает: «Да здравствует Учредительное собрание!». Губернатор Гололобов и семья его просят разрешить увезти Гололобова в Томск, в клинику, так как он заболел: сердечные припадки. Сегодня этот вопрос вырешится. Против поездки его восстаёт Совет солдатских и рабочих, боясь, что он

[1] *Из архива Г. Н. Потанина в фонде редких книг и письменных источников КККМ.*



Вокзал ст. Красноярск, 1917 г.

скроется, а его хотят привлечь по делу об убийстве Каратаева. Пишу и страшно тороплюсь. Кто будет читать вам, дорогой мой, это письмо, будет ужасно ругать меня. Пусть простит. Голова распухла от всех событий, а рука дрожит от радости и усталости. Эх, кабы можно было сбросить с плеч хотя бы лет 10! Владимир Михайлович утомился ужасно, спит мало, иногда 3—4 часа в сутки, и целый день и ночь в Думе и в напряжённой работе председателем в этом комитете. Сначала были выборы председателя только на 3 дня, при новых выборах выбрали опять его единогласно, он хотел отказаться, взять себе что-нибудь полегче, его стали упрекать, и он опять остался. Он здорово похудел, побледнел, но душой цветёт. Ну, целую, обнимаю вас. Володя, конечно, в первые же свободные минуты напишет вам, как одному из самых дорогих, близких, уважаемых людей. Целую. Ваша Лидия Крутовская.

Фёдор Филимонов

Фельетоны[1]

Язык наш

У русского художника В.В. Верещагина есть прекрасная картина. Изображено поле. Среди поля возвышается огромная пирамида. Вся из человеческих черепов. Название картины «Апофеоз войны». Если бы я был художником и если бы задумал рисовать картину, то нарисовал бы огромное поле и посреди поля огромную картину. Всю из человеческих языков. И название этой картине было бы: «Апофеоз русской революции». «Язык — враг мой», звучит русская пословица. И враг этот погубил Россию. Со дня революции, как бесконечно вертящиеся колёса бесконечного количества ветряных мельниц, вертелись бесконечные языки. Как мельницы, мололи они всякую труху и трухой этой засыпали русский здравый смысл и всю русскую землю. И стон, великий стон стоял от этой бесконечной «социалистической» болтовни. Молол всяк, и мололи все, что приходило в пустую голову. Великий болтун земли русской А.Ф. Керенский, получив огромную власть над страной, обращался и вправо и влево. И всё затрещало, и всё рухнуло…

«Свободная Сибирь», 1918 г., № 65 (277)

Сон обывателя

Спит федеральный обыватель, и снится ему социалистический сон: кругом заперто. А запертое трижды осмотрено для спокойствия… И снится обывателю, что сидит он под старой-престарой раскольничьей книгой и читает: «Не Бог сотвори комиссара, но бес начерта на песце и вложи в него душу злонравную, исполненную всякой скверны во еже прицеплятися и обирати всяку душу христианскую…» Прицеплятися и обирати! «Премудро пророчество сие», — думает социалистическо-федеративный обыватель, и притрагивается он то к одному, то к другому боку. К тем именно местам, где наяву карманы у всякого смертного полагаются. И ощущает обыватель при сем пустоту зловещую… Затем бесы начинают гирляндою виться перед ним, и все красные, яко же красногвардейцы. И схватывают бесы сии федеративного обывателя и во ад влекут. А затем уже злыми пытками пытать начинают. При первой пытке экспроприируют его. При второй пытке реквизируют его. При третьей пытке муниципализируют

[1] *Фельетоны публиковались в газете «Свободная Сибирь» — политическом, экономическом и литературном издании Красноярского Товарищества печатного дела «Свободная Сибирь». Газета выходила в Красноярске ежедневно с 1917 по 1919 г., по содержанию была убийственной: остриё пера Ф. Ф. Филимонова было направлено в адрес меняющихся персонажей истории: Колчака, Керенского, социалистов, большевиков.*

его. При четвёртой пытке социализируют его. При пятой пытке окончательно национализируют его…

«Свободная Сибирь», 1918 г., № 39 (251)

Бедные немцы

Красноярск — это поставщик министров и других правителей. Теодорович — наш, Шлихтер — наш, Красиков — наш, Каменев — наш. Ленин — сам Ленин, сам великий Ленин и тот довольно долгое время жил в Минусинске и Красноярске. Значит и Ленин почти — наш. Скажем лучше прямо: Ленин наш!

Итак, не будь Красноярска, этого революционного из революционнейших городов федеративной российской республики, — может быть, не было бы ничего: не было бы и самой республики. Не было бы и окончания войны…

«Свободная Сибирь», 7 (20) февраля 1918 г.

Репортаж с того света

Я, как вам известно, умер и, как надо было предполагать, попал в ад. Но не особенно сожалейте Дедушку Фаддея, сердобольный читатель. В аду действительно существуют и сковороды, и вилы, и щипцы, и другие припекательные инструменты, но всё это пустяки в сравнении с инструментами, которыми так изобилует ваш многоуважаемый земной шар.

«Свободная Сибирь», 1918 г.

Соколик

(песня о Горьком)

Полуголодные нищие обманывают и грабят друг друга — этим наполнен текущий день…
Уже, пожалуй, совершенно бесполезно говорить о совести, справедливости, об уважении к человеку….

А. М. Горький

…Однажды ночью услышал Горький какой-то шорох в своей квартире и, обозлённый, вскричал:

— В чём дело? И кто так поздно меня тревожит?..

— Я — смелый Сокол! — услышал Горький. — Меня ты знаешь… Давно когда-то сложил ты песню, в которой славил безумство храбрых… Ты помнишь это?

— Нет, я не помню… — ответил Горький. — Ты, верно, спутал… Ужели был я так глуп когда-то? Безумство храбрых — ведь это слишком красно и дерзко и, я сказал бы, скандально очень!.. Безумство храбрых — ну, что за бредни!..

И крикнул Сокол с тоской и болью:

— Мне страшно слушать! Настало время. Россия в небо поднялась мощно, расправив крылья, навстречу солнцу, к свободе, к свету… Ты ж в кабинете

сидишь уютном и о народе ты пишешь русском: «Он вор и жулик!» Весь мир огромный на Русь дивится и ей внимает в восторге тайном… Высоким делом своей расправы с насильем чёрным, с кромешной тьмою Русь показала, что раб презренный давно в ней умер, что в ней поднялся, разбив оковы, народ, в ком вера жива в Свободу!.. А ты, не видя знамён пурпурных, не слыша песнь из уст народа, что вдаль стремится, охвачен жаждой достичь свободы обетованной, строчишь в газету: «Издохла совесть!» Тебе не стыдно?

— Ничуть… Напротив: люблю я очень, когда в разгаре свободы дело, водой холодной её пропрыснуть… Пусть, мол, товарищ угомонится, пусть поостынет, забыв горячку!.. Когда я вижу идущих бодро на бой с врагами — я мыслю горько: «Голодный нищий!»

— Но разве сердце твоё не бьётся, когда сгрудившись, проходит мимо народ великий — с презреньем к смерти, с любовью к жизни, освобождённый от ига рабства, и веря только «полётам в небо»?

— О, нет, нисколько… «Полёты в небо»!.. Там — только пусто и нет опоры живому телу… Мне здесь удобно: тепло, не дует…

— Но, бедный Горький, в твоей же песне Уж говорит так в ответ на жажду подняться в небо!..

— Так что ж такое? Уж — не дурак был! Он мудр, практичен и знает дело… «Подняться в небо»!.. Подняться можно — на цепеллине, куря сигару, но человеку, который даже не обучался в воздушных парках налётов тайнам, — стремиться в небо не-без-о-пас-но!.. Ну-с, до свиданья. Мне спать охота…

И Сокол скрылся в печали лютой…

Тут, с лёгким криком, проснулся Горький…

— Ну что за дикий мне сон приснился!.. — сказал писатель, весьма смущённый, и зашагал он, ворча о чём-то, к библиотеке. — Ужели вправду сложил я песню, в которой славил безумство храбрых?.. Нет, быть не может!..

Но, рассмотревши свои же книги, наткнулся Горький на эту песню…

Там говорилось о счастье битвы. Безумство храбрых там воспевалось…

Вздохнул писатель, прочтя всё это, и так воскликнул:

— Каким наивным я был когда-то!

«Товарищ», газета Минусинского комитета Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), 1918 г., № 90

Политическая загадка

Не в Париже и не в Лондоне, не в Праге,
Слух такой прошёл по Камарчаге,
Что пока не нужно больше драться,
А пора в дорогу собираться.
Чтоб успеть и не терпеть бы сраму,
Тут товарищи отбили телеграмму:
«Так и так, мол, едем, отсидайте

И корабль пока не отправляйте».
Под какую власть мы попадём, бедняги,
То ль Парижа, то ли Лондона, то ль Праги,
То ли славного селенья Камарчаги?
А последнее весьма бы было лестно!
Но сие… пока нам неизвестно.

«Свободная Сибирь», 1919 г.

Фёдор Лыткин[1]

Манифест 14 марта 1917 года

Под вольным небом страны родной,
Среди долин и гор, у берегов морей
Кипит, бурлит и бьётся, как прибой,
Родимый мой народ — волшебный чародей.
Недавний плен тайги, неволю душных тюрем,
Позорное ярмо забитого раба
Он потопил в волнах мятежной, буйной бури
И встал над всей землёй, как вещая судьба!
На тёмных небесах измученной Европы
Зарю восстания он пламенно зажёг!
От зарева её попрятались холопы.
И миру засиял пылающий Восток!

Мой завет

Я иду на последние битвы
В беззаветный и радостный бой!
Надо мной не творите молитвы.
Не грустите, друзья, надо мной.
Я иду во широкое поле,
Под удары скрещённых мечей.
Над моей безрассудною долей
Пусть вздыхает лишь ветер степей.
Я иду на беспечные встречи,

[1] *Ф. Лыткин «Призыв». Сер. «Поэты огненных лет». Восточно-сибирское кн. изд., 1969 г.*

На бесстрашные встречи с врагом,
Напролом,
На жестокие сечи
Со спокойным открытым челом.
Я иду на последние битвы,
В беззаветный и радостный бой.
Надо мной не творите молитвы,
Не грустите, друзья, надо мной.

Гимн Сибири[1]

Слова И. К. Музыка А. Кондора

Белая, тихая, снежная ширь,
Темно-зелёное море Тайги —
Вот она — наша родная Сибирь.
Верьте, друзья, нам, — страшитесь, враги.

Тяжкие звуки кандальных цепей
Нас научили свободу любить.
Вольно, как вихри родные Степей,
Вольными, сильными будем мы жить.

Вольная песнь наша бодро звучит,
Сердце горячей отвагой горит,
Другу защита, гроза для врага —
Наша привольная Степь и Тайга.

«Сибирские записки», 1918 г., № 4

Давид Бурлюк[2]

* * *

Ты богиня средь храма прекрасная,
Пред Тобою склоняются ниц.

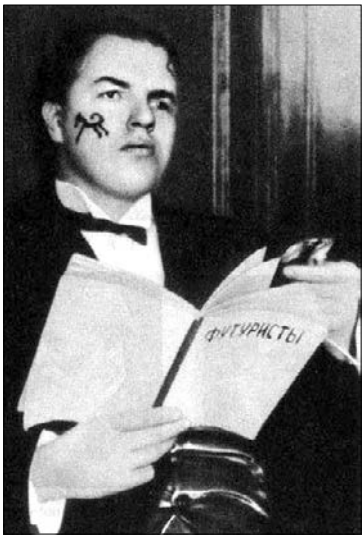
[1] *Это первый областнический гимн Сибири, исполненный под симфонический оркестр в Омске в 1918 г.*

[2] *В августе 1918 г. Давид Бурлюк выступал в Красноярском городском саду и городском театре с лекцией по теории футуризма и читал стихи.*

Я же нищий — толпа безучастная не заметит
Меня с колесниц.

Ты — богиня, и в пурпур, и в золото
Облачён твой таинственный стан,
Из гранита изваянный молотом,
Там, где синий курит фимиам.

Я же нищий — у входа отрепьями,
Чуть прикрыв обнажённую грудь,
Овеваемый мрачными ветрами,
Я пойду в свой неведомый путь.



Давид Давидович Бурлюк

* * *

Скользи, пронзай стрелец алмазный
Неиссякаемый каскад…
Я твой сосед, живущий праздно,
Люблю волненье белых стад.
Познавши здесь честную схиму
И изучивши тайны треб,
Я даже смерть с восторгом приму,
Как враном принесённый хлеб.
Вокруг взнеслися остроскалы,
Вершины их, венчанны льдом,
В закатный час таят опалы,
Когда — бесцветным станет дом.
Я полюбил скрижали — книги,
В них — жизнь, моя прямая цель.
Они — полезные вериги
Для духа праздности недель!
Пускай в ночи стекло наяды
Колеблют лёгкие перстом —
Храню учёные услады
[В] моём забвении златом.

Сборник «Садок судей», 1910 г.

Из сибирского, «назаборного»[1]

Эти строки идут стенке косо,
Косой глаз или левша?
Дамским задом или торсом
Они набросаны спеша?
— Я живу во имя размноженья!
— Где же твой приплод?..
Жизнь подобна умножению —
Стар ты или молод.

* * *

В лесу своих распущенных волос
Таилась женщина — трагический вопрос...

Женатый смотрит на
Жизнь из-за спины женщины.

Я пьян, как пианино
Под лапами кота,
Когда спиралью спину
И музыка — икота.

* * *

Где скукотундру режет властно
Сырое тело Иртыша,
Где юговетревой напрасный
Подъемлет слабо и спеша,
Где ране было Оми устье, —
Теперь событий новых шок
Крушит Сибири захолустье.
Здесь взрост первичный виден слабо,
Ночной вместившийся горшок
Российской власти баобаба!

[1] *Давид Бурлюк: «Я, вероятно, никогда не знал кабинетной манеры писать вирши… Пора начать писать не стихи, а этюды, как это делают художники — с натуры. Прилагаемые стихи написаны были на клочках бумаги, на переплётах книг, на бульварах, за углом дома, при свете фонаря… Писал стихи и на заборах — в Сибири. Где они? Кто их читает?..» Публикуется по материалам: http://vm.msun.ru/Litsalon/Hudsalon/Burluk/Avangard.htm.*



Поэты-футуристы, слева направо: А. Кручёных, Д. Бурлюк, В. Маяковский, Н. Бурлюк, Б. Лифшиц, 1913 г.

Годъ изданія 2-й.

Цѣна № 35 к.

СВОБОДНАЯ СИБИРЬ

Газета политическая, экономическая и литературная, выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣпраздничныхъ.

№ 67 (279) | Красноярскъ. Суббота 3 августа (21 іюля) 1918 года. | № 67 (279)

ДВА СОЕДИНЕННЫХЪ ЦИРКА КООПЕРАТИВЪ

Въ Субботу 3 и Воскресенье 4 августа с. г
— ДАНЫ БУДУТЪ —
ПРАЗДНИЧНЫЯ ПРЕДСТАВЛЕНІЯ
при участіи ВСЕЙ ТРУППЫ двухъ соединенныхъ кооперативовъ.
Послѣднія гастроли знаменитаго ГАЭТАНО-РОССИ.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

Въ Воскресенье, 4-го августа 1918 года.
ДНЕВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНІЕ
только одинъ разъ! будутъ участвовать
двѣ знаменитыя Бельгійскія труппы 5 КЛИКЕТЪ 5
Сегодня днемъ въ послѣдній разъ ГОВОРЯЩІЙ КУКЛА знам. чревовѣщателя
ГАЭТАНО-РОССИ.
АНОНСЪ На дняхъ бенефисъ знаменитыхъ Бельгійцевъ 5 КЛИКЕТЪ 5

Енисейскій Губернскій Комитетъ
ПАРТІИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ

доводитъ до свѣдѣнія членовъ партіи, что согласно постановленію Областного Комитета Партіи Народной Свободы въ Томскѣ, годовой членскій взносъ установленъ въ 10 проц. съ суммы личнаго подоходнаго налога, удостовѣреннаго членомъ партіи въ текущемъ году но не менѣе 3 руб. въ годъ.

Въ силу этого Губернскій Комитетъ проситъ членовъ партіи своевременно вносить членскіе взносы въ означенномъ размѣрѣ.

Бюро Партіи (Воскресенская ул., д. Скоробогатой, противъ магазина Россійскаго общества пароходства, кромѣ дней послѣпраздничныхъ, отъ 9 час. утра до 3 час. дня.

Городская Продовольственная Управа,

на основаніи циркулярнаго распоряженія Губернской Продовольственной Управы, прекращаетъ съ 1-го августа с. г. отпускъ керосина

Лѣтній „КИНЕМО“ В. А. Полякова
(ВЪ ГОРОДСКОМЪ САДУ).

Сегодня послѣдній день идетъ новая роскошная живописная драма

ВЛАСТЬ ДЕМОНА
(ТРАГЕДІЯ ЖЕНСКОЙ ДУШИ).

Оригин. драма Зои Баранцевичъ и Николая Туркина. Дѣйствіе развертывается на фонѣ богатой природы Кавказа, въ средѣ артистовъ съ/кашн. на отдыхѣ въ Кисловодскѣ

Анонсъ: Богъ мести съ участ. дѣтей публики Полесскаго. Камаринскій мужикъ исполн. 10 номер.
Цѣлебная вода русс. народ. Любовь монаха Викторія спорт. Гер. дама. по роману Сергія Глад. „

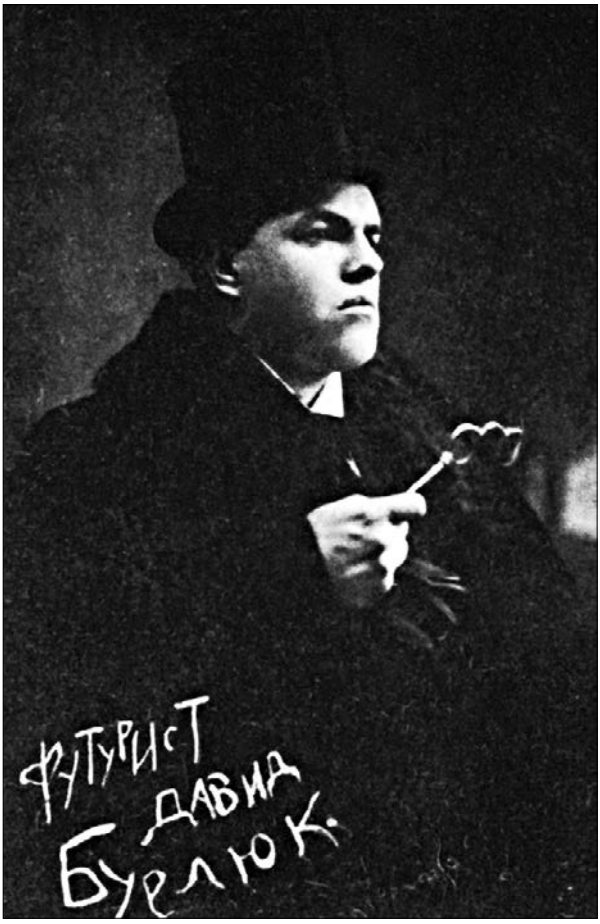
Общественный Клубъ
(Городской Садъ)
Въ Субботу 3 августа н. с.

ПРАЗДНИКЪ ГРЯДУЩЕЙ ПОЭЗІИ
ЛЕКЦІЯ-ВЕЧЕРЪ
извѣстнаго главаря ФУТУРИСТОВЪ группы Живоросъ
ПОЭТА **ДАВИДА ЛЕНСКАГО**
прочтетъ: Футуризмъ—революція каждаго дня.
Во II-мъ отд. стихи изъ книгъ: „Панель Надежды“—„Слонъ на блюдцѣ“ и „Пулеметъ въ томатѣ“
Бывшіе подъ запретомъ рифметы: „Революція“ и „Блудосвятъ“
НАЧАЛО ВЪ 8 ЧАС. ВЕЧЕРА.

Газета «Свободная Сибирь». Объявление о поэтическом вечере футуриста Давида Ленского (Д. Бурлюка) 3 августа 1918 г.

Сибирь

Мы ведали «Сибирь» Кеннана[1],
Страну-тюрьму, Сибирь-острог.
На совести народной рану
Кто залечить искусный смог?
Всем памятно о Достоевском:
Согбенно каторжным трудом,
Отторгнут набережной Невской,
Он не измыслил «Мёртвый дом».
Но нынче здесь пахнуло новью.
Пусть прежде сумрачна тайга,
Зубовно-скрежетом и кровью, —
Подвластна горькому злословью,
Сибирь — гробница на врага —
Навек помечена — «В бега!».



[1] *Джордж Кеннан (1845—1924), американский журналист, путешественник, автор книг о Сибири и сибирской ссылке.*

Михаил Борисоглебский

Верховный правитель

(главы из романа)[1]

— Решать вопрос о полной ликвидации восточного фронта может только Сибирское Народное Собрание. Относительно Каппеля мне известно, что он против перемирия. Поэтому я поступаю на свой страх и риск и предлагаю вам вернуться к конкретной теме нашего разговора. Принимаете ли вы перемирие с красноярским гарнизоном на предложенных условиях? Если да, назначьте время и место свидания делегатов.

— Принципиально в этом, конечно, не может быть сомнений, — подумав, отвечал Демин. — Место и окончательное решение будет сообщено вам через два-три часа. Значит, в наших миролюбивых намерениях можете не сомневаться. Но на Каппеля мы продолжаем наступление.

— Кончая разговор, позвольте узнать ваш чин и фамилию.

— Чинов у нас нет. Фамилия моя — Демин.

— Завозились, — сказал он, когда телеграфист оборвал ленту и передал её для переписки помощнику. — Чувствуют, что песенка их спета. Вызывайте Новониколаевск.

Переговорив со штабом 5-й армии и получив все необходимые указания, Демин опять вызвал генерала Зиневича.

— Я переговорил с высшим командованием, — заявил он.

— Так как вопрос ставится только о перемирии с вашим гарнизоном, то, следовательно, об общих мирных переговорах не может быть и речи. Для вас же окончательный ответ: полная неприкосновенность всех, независимо от чина и занимаемой должности, за исключением лиц, принимавших участие в карательных экспедициях по угнетению и истязанию трудового крестьянства; по отношению мирных жителей — безусловно гуманно-радушное отношение, как всегда. Если из города Красноярска не раздастся ни одного выстрела по нам, то не будет ни одного выстрела от нас. Вас рассчитываем видеть в числе своих частей. Порядочности нашей, полагаю, верите.

— Я, как идейный борец за народное счастье, — отвечал генерал, — заявляю: для меня такие условия приемлемы. Но я опасаюсь за то, что не будет ни одного выстрела в городе, вы знаете, всегда могут быть единичные провокаторские выстрелы. Гарнизон, граждане и я лично в том не будем повинны. Быть в числе ваших частей очень рад, так как я народник, а не реакционер. Отлично. Я буду действовать непосредственно. В Красноярске, значит, скоро увидимся. Всё?

— Когда приблизительно можно вас ожидать?

[1] *Опубликовано в журнале «День и ночь», 1994 г., № 5.*

— Когда мы будем, это оперативная тайна, между прочим, как честный человек, безусловно предваряю, что гарнизон при наличии указанной мною обстановки всё же будет считаться пленной частью.

— Понимаю. Буду ожидать прихода ваших войск, делегацию вышлю на паровозе, если будет, или на лошадях, прошу это иметь в виду.

— Хорошо. Желательно, чтобы части гарнизона оставались в казармах. Оружие сдать в артиллерийские склады, полные сведения о частях представляются нам при нашем входе.

— Понимаю. Но если гарнизон и дружина останутся без оружия, я не буду в состоянии подавить хулиганские выступления с целью грабежа.

— Для этого достаточно одного батальона.

— Я согласен. Но просил бы всё-таки меня в этом не стеснять. Верьте, что со стороны гарнизона никакого предательства не будет.

— Мы не боимся его. Ещё предупредите всех оставшихся, чтобы не было пьянства. За пьянство мы беспощадно караем, а всех мародёров и мерзавцев расстреливаем на месте.

— Я в этом помогу всемерно. Смотрю так же, как и вы.

— Будьте здоровы, генерал.

— Всего хорошего!

Под бело-зёленым знаменем

Генерал Каппель спешно стягивал в Красноярск части 2-й и 3-й армий, имея целью с боем занять город и рассеять бунтовщиков. Войска ускоренным маршем двигались через тайгу, по непролазным снегам, теряя много конского состава, бросая в пути части обоза и артиллерию. От какой-либо обороны и задержки Красной армии, наступавшей с запада по пятам, белым командирам пришлось отказаться совершенно. Особенно трудно было продвигаться 3-й армии. Шли разрозненно, часто теряя связь, и только 4 января с большим трудом стянули все свои силы на станцию Минино, последнюю остановку перед Красноярском. Здесь штаб армии узнал, что в городе произошло «углубление новой революции», что генерал Зиневич, которого решено было повесить, уже сидит в тюрьме, арестованный повстанцами, и здесь же была получена последняя телеграмма адмирала, указывающая дальнейшее направление похода.

Решили брать Красноярск с боем на следующий день с утра, боевыми действиями должен был руководить генерал Войцеховский. Но наступление не удалось. Когда передовые части уже заняли железнодорожную станцию, появился боевой поезд с красными флагами, и этого было достаточно, чтобы наступление повернули вспять. Наступление было отложено, но для командующих стало ясно, что завоевательных сражений не выдержать. Штаб главнокомандующего перешёл из вагонов на сани и, выехав на ночлег в деревне Минино, северо-западнее города, составил военный совет. В результате его генерал Каппель отдал приказ двигаться дальше на восток в обход Красноярска.

— Но это же полный провал! — воскликнул Сахаров, присоединившийся к штабу.

— Что делать, генерал, — холодно заявил Каппель. — Из двух зол нужно выбирать меньшее.

6 января на рассвете последние остатки армии Правителя потянулись на село Есаульское к переправе через Енисей. В морозном тумане занимавшегося утра медленно продвигались вереницы саней. Дорога чем дальше, тем делалась труднее. Лошадям тяжело было ступать, а не только тащить сани по размолотому, перемешанному с землёй, сухому снегу. То и дело приходилось останавливаться, и это ещё больше раздражало и без того раздражённых людей. От остановок, мороза, от полной неопределённости того, что ожидало впереди, от неуклюжей зимней одежды, в которой человек — беспомощный обрубок, — у всех как-то притуплялось сознание и нарастала злоба. Продвижение с каждым часом становилось мучительнее, а впереди показались гряды гор, тянувшихся по обеим сторонам Енисея. Начались глубокие овраги, в которых застревали подводы, пришлось разгружаться, перепрягать, частью выбрасывать багаж. Под напором наседавших тыловых обозов в снежных провалах образовывались пробки, люди мёрзли и уже не просто злились, а сатанели. В полдень обход заметили партизаны. По скученным обозам и частям армии открыли пулемётный огонь с гор. С запада грохнула артиллерия, с юга показались красноярские повстанцы — противник окружал, появляясь в самых неожиданных местах. Армия заметалась. Тучи саней понеслись обратно с гор на запад, но, попадая и здесь под обстрел, рассыпались кто на север, кто на юг, кто на восток. Многие без сопротивления сдавались в плен, но главное ядро, во главе с Каппелем, упорно продолжало биться. Дробь пулемётной и ружейной пальбы трещала во всех направлениях, на пространстве десятка вёрст творилось что-то невообразимое и небывалое в военной истории.

К вечеру Каппелю с центральным ядром армии удалось пробиться на Енисей. Но гладкая ледяная река неприветливо встретила беглецов. Люди падали на каждом шагу, лошади бессильно цеплялись обитыми подковами за лёд, распластывались в оглоблях, ломая их и выводя из строя сани. Но войско в панике, невзирая ни на что, стремилось вперёд, оставляя за собой длинный след повозок и брошенной клади.

Безостановочно всю ночь бежали меж гор по льду и только на рассвете сделали первый привал в большом приречном селе. Сотня казаков рассыпалась по улицам, выгоняя скот, лошадей, приказывая под страхом расстрела ремонтировать поломанный обоз. Вся сбруя, какая только нашлась в селе, была отобрана. После ухода каппелевцев в селе не осталось ни одной лошади, ни одних саней, ни фунта хлеба. Только десятки расстрелянных окостенело валялись по дворам да перепоротые мужики и бабы выли, ругались и охали. Пороли каппелевцы чуть не всех поголовно, пороли зря, из страха и остервенения. За двое суток похода по Енисею они обобрали шесть сёл, сожгли две деревни, расстреляли несколько сот человек. Они зверствовали безотчётно, с ухарством и злобой. Они как будто мстили за свой трудный путь и разгром. Ледяной поход превратился в кровавый поход. А на передних подводах демонстративно развевались бело-зелёные флаги — напоминание о вольных лесах и снегах Сибири.

С Енисея свернули на реку Ману, но река эта, отличающаяся необычайно быстрым течением, плохо замёрзла, несмотря на тридцатиградусный мороз. Ноги людей и лошадей облипали ледяной корой, сани покрывались голубым налётом, а ветер и пурга, подхлёстывая, гнали отступающий тысячный табор на юг, обратно к магистрали. На всякое жильё, попадавшееся на пути, набрасывались, как стая волков. Старожилы бежали в тайгу — всё вымирало на пути. Горе было тому, кто попадался навстречу отступающему отряду. Обычно несчастного раздевали и бросали на льду, отхлестав нагайками.

Каппель ехал верхом, почти не слезая с лошади. На четвёртые сутки он перестал чувствовать свои ноги. Тщетно их растирали на привалах спиртом, они пухли, синели, лупились и нарывали. Но желая поддержать мужество в окружающих, генерал всё-таки приказывал сажать его на верхнюю и продолжал путь на коне, пока не лишился сознания.

Сахаров продвигался в санях, закутанный в тулуп и кошму, как большинство штабных офицеров. Он, видимо, считал, что достаточно и одного Каппеля для проявления геройства. У Канска выдержали бой с повстанческими отрядами. Каппелевцы выиграли сражение, соединившись с авангардом белой армии, благополучно проскользнувшим через Красноярск. Заняв Канск, расчистили железнодорожный путь, но не бросили подвод. И опять потянулся бесконечный обоз, по-прежнему военные вперемешку со штатскими спешили на восток. Бежали старые и молодые, жёны и дети, раненые и больные, все, кто так или иначе мог заручиться охранной грамотой на подводу. Генерал Каппель с отмороженными ногами продолжал нечеловеческими усилиями держаться верхом на лошади.

До Нижнеудинска лава катилась без задержек. Но в Нижнеудинске пришлось снова выдержать бой. Вытеснив из города революционные войска, каппелевцы принялись безудержно хозяйничать. Нижнеудинск на целые сутки был предоставлен в полное распоряжение победителям. Безумие охватило всех, от рядового до генерала. Солдаты рассыпались по улицам, каждый действовал на свой риск и страх; отдать какое-либо приказание нечего было и думать. Даже штаб армии разбежался погреться и кое-что прихватить. Перед командармом разгул мотивировали как подавление бунта. Командарм выслушивал это молча и хмуро. Один он, окончательно свалившийся с лошади, не принимал участия в общей вакханалии. Генерал почувствовал, что он не в силах больше продолжать путь по свежим сугробам. Он отдал приказ войскам продолжать поход под командой его заместителей, а себя распорядился перенести в вагон, который должен был продвигаться попутно с армией. Но классных вагонов на станции уже не было, пришлось довольствоваться для штаб-квартиры главнокомандующего теплушкой. Даже и оборудовать её было некому — при штабе находились только генералы. Каждую минуту поступали сведения, что войска, рассеявшиеся по городу, выходят из подчинения, весь командный состав носится по улицам, магазинам, домам, где были расквартированы части бывших полков, бригад и дивизий, стараясь навести порядок и подготовиться к продолжению отступления. Около Каппеля не оказалось даже свободных вестовых,

только личный адъютант, прапорщик Замарайко, да бравый вахмистр Кузьма не покидали командарма.

Каппель волновался. Замарайко и Кузьма перевезли его в вагон, выгрузили из нескольких подвод сундуки, ящики, корзины, ковры, кошмы и кое-как устроили видимость походного жилья, затопили железную печь и, облегчённо вздохнув, сели около генерала. Он сердито посмотрел на них:

— Ну, что же вы уселись?

Замарайко и Кузьма услужливо вскочили.

— Приказываю, — проговорил Каппель, закрыв глаза, застонал от боли, потом продолжал: — Записывайте, прапорщик.

— Слушаюсь.

— Приказываю: немедленно штаб армии перевезти в вагоны, озаботиться продвижением их вперёд. Срочно поднять на моём вагоне бело-зелёное знамя. Экстренно взять в городе врача и представить сюда с походной аптекой. Неуклонно генералу Войцеховскому вывести завтра армию по направлению станции Зима. Обязательно начальнику штаба являться ко мне с докладом каждые три часа. Всё. Распределите между собой эти поручения. Меня можете оставить одного, вагон закрыть. Дайте подпишу.

Прапорщик поднёс блокнот к груди командарма, и генерал криво расписался: Каппель. А ниже — «за неисполнение расстрел!».

Оставшись один, Каппель вынул из кобуры кольт и положил рядом с собой. Ему было даже приятно остаться одному, успокоиться и продумать план дальнейшего отступления.

Но так ему казалось первые минуты, когда он ещё слышал, как адъютант и Кузьма о чём-то горячо спорили у вагона. Но когда они ушли, генералу вдруг стало тоскливо. Оттого, что ноющая боль в ногах успокоилась и оттого, что не было сведений о положении армии, что приходилось думать о бегстве — о том, что не делает чести генералу. Каппель мрачнел, всё ему представлялось в чёрном цвете. А между тем так хотелось освободиться от горькой озлобленности, хотя бы ненадолго почувствовать радостное успокоение, поверить в благополучный исход кампании… в остановку наступления красных. Всё то, привычно-военное, что не раз приходилось переживать в старой армии, даже там, на Волге, когда он формировал новую народную армию под эгидой Учредилки, — бодрость, уверенность, смелость, дерзость, расчёт на верность тех или иных соображений, наконец, какая-то положительность и уставная твёрдость, — всё это теперь стало наивно и не нужно. Отступление уже не отступление, армия не армия, офицеры не офицеры. Даже он, во влиянии и авторитете которого никто не сомневался, брошен в скотский вагон, и нет сил ни физических, ни моральных изменить это положение.

— Да, если бы я мог встать, появиться, быть! О, тогда другое дело! Даже ледяной поход удался бы. Но теперь, пожалуй, крышка! Никто, кроме меня, не удержит остатки армии. Господа офицеры — плохие актёры. А мы, как и все люди, руководящие, организующие, заражающие, должны быть актёрами. Мы должны разыгрывать, как гениальные артисты, самые подлинные трагедии

с простотой младенцев, самую высшую суровость с точностью военного устава. Ах, всё это философия! А вот день, час, который живу, которым должны жить они, — бытие… Но что можно сделать? Скверная трагедия близится к концу: часть героев перебита, часть разбежалась, часть должна, как я, с отмороженными ногами, произносить монологи…

Долго и мучительно раздумывал генерал — необычное одиночество, болезнь делали своё дело. Набрасывая мысленно десятки предположений, он старался отыскать в опытах прошлого хотя бы что-нибудь, что могло бы помочь ему в решениях теперь. А время шло, догорела печь, карманные часы, положенные на ящике изголовья, показывали без четверти два — прошло уже три часа с тех пор, как ушли адъютант и Кузьма, а никто не появлялся к командарму.

— Что же, бросили меня, как дохлую крысу?!

Но вот послышались голоса, паровозный гудок, появились какие-то признаки жизни. Каппель крикнул, но никто не отозвался. О вагон ударило что-то тяжёлое, и он, дрогнув, покатился, потом встал, и генерал слышал, как сцепщик произвёл сцепку.

— Ага, значит, всё в порядке! Составляется поезд. Сейчас придут.

Но хотя вагон долго катался взад-вперёд, останавливался несколько раз минут на десять, ни адъютант, ни Кузьма не появлялись.

— Что за чертовщина! — Каппель попробовал приподняться и крикнуть, но, как и в первый раз, никто не отозвался. Только вагон, лязгнув, покатился опять. Командарм терпеливо ждал ещё четверть часа, вагон катился так, как будто шли не манёвры, а целый поезд продвигался по прямой линии. Каппель выстрелил два раза в дверь и прислушался. Вагон продолжал катиться по-прежнему. Тогда генерал разворошил одеяла и ковры, сполз с ящиков на пол и попробовал открыть дверь. Но она была крепко заперта. В маленькую щель в углу двери он увидел струящийся лес и мелькающие телеграфные столбы. Стало ясно, что вагон прицеплен к поезду, отошедшему от станции Нижнеудинск. Но куда? На восток или на запад? Волнение, охватившее генерала, мешало ему решить это. Всё его сознание пронизывала только одна мысль — погиб! Предали! Изменили! Погиб! Он с трудом подполз обратно к постели и схватил кольт… Первое движение удалось ему, он поднёс дуло к виску, но дальше рука дрогнула. Раздался паровозный гудок, вагон закачало на разъезде, он замедлил ход и скоро остановился. Каппель уткнулся головой в постель и зарыдал.

Вернувшись на станцию, адъютант Замарайко долго и тщетно искал вагон командарма и только после бесконечных расспросов и беготни узнал, что теплушка № 27348 отправлена с поездом на Тулун. Адъютант пришёл в бешенство. Срочно была вызвана рота воткинцев, немедленно отправлена депеша о задержании вагона на первой же остановке, дежурный по станции уведён на седьмой путь, «к Адаму», пять человек железнодорожных служащих, работавших в эти роковые часы, поставлены к стенке. Адъютант рвал и метал. Но то, что он учинил расправу над виновными, по его мнению, в прицепке и отправке вагона, не успокоило его. Он, офицер, не сумел охранить жизнь командарма! Как он явится в штаб, что скажет генералу Войцеховскому?

— Нет, нет, это позор! — адъютант метался по путям, отыскивая кого бы ещё пристрелить из смазчиков, сцепщиков, стрелочников, и, не найдя никого, так как все разбежались, пришёл на то самое место, где был оставлен им вагон командарма. Здесь он торопливо отстегнул кобуру, вынул наган и, сунув дуло в рот, нажал курок.

Одновременно с выстрелом клубок дыма затмил его лицо, и Замарайко упал навзничь головой на рельсы.

А теплушку № 27348 разыскали через три дня. Окоченевший труп Каппеля положили в гроб и отправили с чешским поездом на Восток.

«Мы встретились, господин адмирал…»

В морозный январский день длинный, стодвадцатиосный поезд, глухо стуча колёсами, приполз на станцию Иннокентьевскую. Вагоны катились, как бы нагоняя друг друга, они долго и надоедливо мелькали мимо станционного здания и, увлекаемые устало пыхтящим паровозом, умеряли свой бег где-то в дымке тумана.

Но вот вдали у семафора гукнул локомотив, и поезд остановился. Он остановился так, что против вокзала оказался только последний вагон, украшенный разноцветными национальными флагами.

Вагон был запорошен снегом, и как только он остановился, на площадке его появились офицеры и солдаты. Они дружно высыпали на перрон и оцепили вагон плотным кольцом.

Было тихо и морозно. Но мороз был мягкий, укутанный в серую муть. Едва подошёл поезд, на пустынный перрон станции из здания вокзала повалила шумная толпа. Люди мало походили на военных, хотя и были вооружены с головы до ног. Одетые не по форме, кто в полушубки, кто в тулупы, кто в меховых поддёвках, но все тепло, хозяйственно. Выбежав, они скучились против разукрашенного флагами вагона и стали переговариваться и покашливать. Из шумной среды их выделился широкоплечий бритый человек с шашкой через плечо, обвешенный бомбами, болтавшимися у него на поясном ремне, как луковицы. Подойдя к конвою, окружавшему вагон, он сказал:

— Вагон адмирала Колчака?

— Да, вагон Верховного правителя, — ответил офицер.

— Я начальник рабочей дружины. Имею полномочия проверить, здесь ли адмирал.

— Кто вам дал эти полномочия?

— Политический центр и Совет рабочих депутатов.

— Это для нас не обязательно.

— Но неизбежно. Потрудитесь пропустить меня в вагон.

— Ваша фамилия?

— Иван Маслов.

— Обождите, я доложу начальнику штаба.

— Передайте, что противиться бесполезно, если адмирал желает продвинуться хоть на шаг дальше.

Офицер не ответил, прыгнув на подножку вагона, злобно посмотрел на Маслова.

— Вы Иван Маслов? — саркастически спросил он.

— Да.

— Ваш чин?

— У нас чинов нет.

Дружинники негромко засмеялись. Офицер ушёл.

Из вагонов, стоявших впереди, вылезло несколько чешских солдат с чайниками и котелками. Все они направились в станцию, подпрыгивая и ежась от холода. Увидев дружинников, некоторые вернулись в вагоны, скоро появились с винтовками в руках и тоже подошли к русской охране Правителя.

— Напрасно беспокоитесь, товарищи! Мы вашего Правителя не тронем. Всему есть своё время и место.

— Просьба не разговаривать с конвоем! — крикнул офицер, появившийся на площадке вагона. Маслов улыбнулся.

— Будьте любезны разоружиться.

— Это зачем?

— В противном случае я не могу допустить вас в вагон.

— Хорошо. — Маслов расстегнул пояс. — Держи, товарищ, — и протянул пояс с бомбами стоявшему рядом дружиннику.

— Всё? — спросил офицер.

— Да.

— Иди!

— Что вы сказали? — грозно спросил Маслов.

— Идите!

Маслов качнул головой и решительно ступил на подножку. Офицер, вынув из кобуры наган, последовал за ним. «Эх, пустить бы тебе пулю в затылок!» — едва не сказал офицер и прижал ручку нагана к груди. Маслов не торопясь вошёл в вагон. Его вдруг охватило странное непонятное волнение. Вот он идёт к человеку, Верховному правителю, под властью которого ещё так недавно стонала вся Сибирь, притаённо и скрытно жил он сам, Маслов. Вот он идёт к человеку, с которым случайно столкнулся там, в Севастополе, когда игра шла ва-банк, к человеку, имя которого так глубоко застряло в его сознании. Он вошёл в коридор, устланный зелёным ковриком. Купе, за исключением двух, были закрыты. Из первого открытого вагона вышли два офицера, один с генеральскими погонами. Маслов заметил, что офицеры держали правые руки в карманах.

«Ага, — подумал он, — все начеку!»

— Где? — спросил Маслов, повернувшись к офицеру, следовавшему за ним по пятам.

— Ваше высокопревосходительство, — громко сказал офицер, остановившись у запертого второго купе, — разрешите…

— Да, — отозвалось из-за двери.

Офицер, быстро нагнувшись, отдёрнул дверцу. От жёлтенького столика, на котором стояло чайное блюдце, заменявшее пепельницу, — Маслову почему-то особенно запомнилось это блюдце: на нём была целая груда окурков, торчавших и лежавших в разных направлениях, — поднялся человек среднего роста, немного ниже самого Маслова, с крупным сухим лицом, совершенно седыми волосами. Маслов не сразу узнал его. В осанке его не было прежней выправки и величия, он стоял, даже несколько сгорбившись. Что-то больное и жалкое показалось Маслову в этом человеке.

— Вы желали меня видеть? — заметив растерянность Маслова, спросил адмирал.

— Да. Вы… — но Маслов не договорил, запнувшись, сказал то, чего не должен был говорить. — Вас трудно узнать!

Адмирал не ответил, губы его, дрогнув, сжались ещё плотнее. Маслов почувствовал, что сказал глупость, и, разозлившись, выпалил:

— Вот мы и встретились, господин адмирал!

Колчак вопросительно и тревожно посмотрел на него. Но, сказав одну глупость и сделав ещё более неуместное заявление, Маслов окончательно потерял самообладание. Ему вдруг захотелось уж докончить безрассудность, отвязаться от неё и, освобождённому, стать опять большевиком Масловым. Что руководило им в этот момент, он не знал, всё путалось, и безотчётно, дерзко глядя на адмирала, он проговорил:

— В Севастополе в семнадцатом году мы виделись с вами, помните?

Офицеры недоумённо переглянулись.

— Я Иван Маслов, приезжал тогда с депутацией от балтийцев.

— Ах, да, да, — густо покраснев, произнёс Колчак.

Но Маслов неожиданно повернулся и быстро зашагал по коридору. Он почти выскочил из вагона на перрон. Вся эта сцена обескуражила его. Он показался себе глупым, бестолковым, не умеющим держать себя с достоинством и, стараясь заглушить это ощущение и не показать своей растерянности, крикнул:

— Здесь, товарищи!

Но голос его прозвучал неуверенно и тускло. «Так тебе и надо! — подумал Маслов. — Не болтай то, чего не следует, не распускай слюни! Осёл, дубина!»

Взял из рук дружинника свой пояс, шашку и сказал:

— Трое останьтесь здесь, остальные — в станцию. Я пойду на телеграф.

Только придя на телеграф и ещё раз выругав себя за слюнтяйство, он успокоился и твёрдо, как всегда, сказал телеграфисту:

— Телеграфируйте в Совет, Губком, Политцентр: «Колчак прибыл Иннокентьевскую. Наличие проверено. Выеду поездом, сопровождая его до Иркутска. Маслов».

Роковой город

Колчак сидел в мрачной задумчивости у занавешенного окна и ожидал возвращения Занкевича. Генерал ушёл справляться о дальнейшем продвижении на восток и должен был с минуты на минуту возвратиться. Колчак долго и тер-

пеливо ожидал его, но вдруг помрачнел. Стрелки на карманных часах, лежавших перед ним на столике, показали час с ухода генерала.

— Что такое? — тревожно проговорил вслух Колчак, как будто спрашивая себя самого, так как в купе никого не было.

В прогал между зелёной занавеской и оконной рамой виднелся кусочек фасада станции с надписью «Иркутск». Колчак сидел лицом к окну, и кусочек фасада всё время желтел перед его глазами.

— Иркутск, Иркутск… Иркутск… — много раз пробегал взглядом по надписи Колчак. И мысли его невольно потекли, взлетая и падая от этой надписи. — Иркутск, который это уже раз?.. Четвёртый. Странно. Что это? Неужели роковое?

Город этот уже трижды вставал на его пути, диктуя неизбежное. Первый раз — в 1902 году. После неудачной попытки пробраться на Землю Беннета он вынужден был вернуться и поехал в Иркутск, так как этот город намечался исходным пунктом для новой экспедиции, которую он имел в виду. Выяснив здесь всё необходимое, он отбыл в Петербург. Добился в Академии наук снаряжения для новой экспедиции, для оказания помощи барону Толлю и снова очутился в Иркутске. Но экспедиция, начатая из этого города, не была успешной, хотя он и проявил героические усилия для намеченных целей. На вельботе с шестью спутниками плыл он в открытом океане, достиг Земли Беннета 6 августа, в день Преображения. И мыс, к которому он пристал, он назвал в честь того дня Преображенским… Смелое, безумно рискованное предприятие, но оно не оправдало себя так, как он того хотел. Пребывание на Земле Беннета выяснило лишь, что барон Толль решил вернуться на юг, вынужденный к этому тьмой и голодом. Он бросился по следам барона, обследовал Новосибирские острова, куда обязательно должен был заглянуть Толль, так как там была устроена база. Но поиски Толля оказались тщетными. С неопровержимыми доказательствами гибели барона он после 42-дневного плавания в шлюпке вернулся на остров Котельный, затем на материк, опять в Иркутск. А здесь произошло уже совсем неожиданное: Русско-японская война, он должен был отказаться от дальнейшей научной деятельности и поехать на Дальний Восток, чтобы принять участие в боевых действиях флота.

Мечта его жизни — открывать новые земли, всегда идти навстречу новому и неизвестному, делать большое и трудное — разбилась в этом городе. И теперь, думая об этом, он как будто перебирал её осколки.

Да, открывать земли. Земли, где нет признаков человеческой гнусности. Земли, в которых, может быть, таится всё лучшее будущее человечества. Это именно и только это он должен был делать. Когда он вступал на неизвестный мыс, он был счастлив, как только может быть счастлив человек. Земля, находившаяся в тот миг под его ногами, была его земля, как будто сотворённая им, и это было единственный раз в его жизни, когда он испытал живую, горячую любовь к земле. Может быть, он испытал бы такую же любовь ещё не раз, но вот прибыл в этот город, — и всё пошло насмарку. Всё! Потому что судьбе, року, а может быть, просто этому городу мало было человеческих утрат. Потому что здесь же,

перед отъездом на войну, произошло второе последствие, что омрачит ему последний час жизни, если этот час действительно недалёк. Он не мог тогда поступить иначе, но какая страшная, какая жестокая ошибка, что он тогда женился!

И адмирал вспомнил, как в Богоявленском соборе ярко горели свечи и в пустынной настороженности зловеще звучал голос священника. Слова улетали ввысь под купол, там им вторило эхо, и ему, не бывавшему дотоле на церковной службе, в пустом храме было странно, не по себе, почти жутко. Ещё тогда же у него мелькнула мысль, что брак не сулит ему радости, а то, что совершается сейчас, нелепо, но в то же время он должен был совершить эту нелепость.

— Бедные, бедные мои! — с глубокой жалостью и нежностью прошептал Колчак, думая о жене и сыне. Но взгляд его, скользнув в желтоватый прогал, опять упал на ту же надпись: «Иркутск! А что если опять? Город, в котором уже произошло два надлома моего жизненного пути. Что если и теперь роковой город встанет и на последнем устремлении? Нет, нет! Всё это вздор — суеверие нервной женщины или игрока!»

Адмирал старался отогнать от себя эти мысли. Он даже встал и пересел на другое место.

Но мрачные и тревожные воспоминания не покидали его. Вдруг всплыло в памяти, как заинтересовал его в своё время герб Иркутска: на серебряном поле бегущий барс с мёртвым соболем в зубах. Да, хмурый город крепко сжимал челюстями эмблему старинных царских одеяний. А сейчас адмирал видел ещё больший смысл в этом гербе.

«Но нет, нет! — старался он успокоить себя. — Союзники не посмеют бросить меня на растерзание барсу. Это было бы таким чудовищным предательством. А если?.. Если?..» — навязчиво вспыхивало сомнение.

И почему-то вспомнился Оленин — политический ссыльный, бывший с ним в экспедиции. Оленин говорил: «Иркутск — город народный, коренной сибирский, здесь общественность преобладает над служилым сословием. Ещё в прошлом столетии сюда слали чиновников на усмирение. Но это в прошлом, тогда ещё губернатор ездил в экипаже на колёсах с серебряными шинами, лошадей он ковал серебряными подковами на золотых гвоздях и запрещал архиерею говорить проповеди. Но под плетью усмирений общественное мнение росло и крепло. И недалёк тот час, когда оно выступит не подвластным никому».

«Может быть, этот час и пришёл», — подумал адмирал.

Много ещё вспомнилось ему мелких случаев и эпизодов, о которых он давно забыл, но теперь в тревожном ожидании они всплыли, как лёд на Ангаре. Вот тоже странная река! Когда-то он был в восторге от её быстрого течения, ширины, глубины. Она замерзает позже всех рек в Сибири, и сначала в ней образуется глубинный лёд, в декабре он шумно всплывает, густо покрывает поверхность реки и месяца на два примерзает по берегам.

Адмирал вспомнил, как плыл по Ангаре и любовался её прозрачной голубой водой. Приятно было отдохнуть на этой чистой голубизне после мутной и жёлтой пелены Енисея. А как коварны её пороги! Часто с берега порог даже не виден: река кажется совсем смирной, только привычное ухо слышит гуде-

ние воды. Не так ли клокочет сейчас в Иркутске общественность?.. Много было пройдено порогов на реке жизни, будет пройден этот последний?

«Да, последний!» — Адмирал был уверен, что дальше — океан. Никогда, никогда больше он не свяжет своей судьбы с землёй.

И он вдруг стал думать о будущем. Дальний Восток… Америка. Америка! Военно-морской штаб, стратегия? Нет! Лучше всего экспедиции. Только в Америке он может найти всё для этого необходимое — сочувствие, уважение, помощь, деньги. Он организует экспедиции и не вспомнит о барсе на серебряном поле.

— Ах, опять эта чепуха!..

— Можно? — тихо спросила Тимирёва, приотворив дверь в купе.

— Да, да, конечно.

Она переступила порог и, затворив за собой дверь, приблизилась к адмиралу.

— Надо поменьше курить, — грустно сказала Анна Васильевна, почувствовав пропитанный табачным дымом воздух. — У вас больше нет папирос. Вышли. Нужно купить.

— Распорядитесь, милая.

— А вы не будете сердиться? — неожиданно проговорила она и жалобно посмотрела на адмирала.

— За что же? Ах, понимаю, вы распорядились, — улыбнулся Колчак.

— Нет. Я не могу распорядиться.

— Почему?

Она подавленно вздохнула.

— Нет денег? Я и забыл. Возьмите в жёлтеньком чемодане. Там, кажется, должно остаться ещё немного, вот ключ.

Но Анна Васильевна не взяла ключа. Колчак с минуту держал его в протянутой руке, но, внимательно посмотрев на неё, положил на стол и тихо спросил:

— Их уже не берут?

— Да.

На щеках адмирала двинулись желваки, он отвернулся.

— Чёрт знает куда запропастился Занкевич! — глухо сказал он после короткого молчания.

— Он не вернётся.

— Как?!

— Мы с вами одни в вагоне.

Колчак встал. Тимирёва заметила, как лицо его побледнело и, чтобы скрыть вздрагивание угловатых пальцев, он упёрся ладонями в стол.

— Я пришла сказать вам об этом и просить…

— Ну, вот, — произнёс Колчак и хотел улыбнуться, но улыбка не удалась, лицо, вздрогнув, болезненно искривилось.

— Может быть, это последнее…

— Да, да, — как бы спохватившись, заговорил Колчак. — Мы должны расстаться, вы правы…

— Нет, я не о том. А вот об этом. — И она указала на перстень, тускло блестевший на указательном пальце её левой руки. Она стояла, как бы рассматривая его. — Он открывается так: нужно повернуть камень два раза влево и нажать.

Она пристально взглянула на адмирала, но он смотрел куда-то мимо неё и, видимо, не понимал того, что она говорила. Анна Васильевна подняла круглые бровки и раскрыла бескровные губы — сказать ему, объяснить получше. Но губы не шевельнулись, не могли произнести страшных слов.

— Ах, да, да! — вздрогнув, пробормотал Колчак и снял с безымянного пальца правой руки обручальное кольцо.

— А это вам, — и протянул ей круглое золотое кольцо.

Она молча взяла его, но не надела. Колчак, как бы успокоившись, сел.

— Сегодня, кажется, большой мороз?

— Да, как всегда. Вам нужно переодеться, я приготовила тёплое бельё.

— Спасибо.

— И ещё одно. Я последую за вами. Будьте в этом уверены и требуйте свидания со мной.

— Когда придут?

— В семь часов.

— У нас есть ещё вино?

— Да.

— Принесите и побудьте со мной.

— А может быть?..

— Нет, нет, Анна, это хорошо. Вы никогда не были в этом городе?

— Нет, никогда.

— И бегите отсюда! Бегите и никогда не возвращайтесь, слышите! — Он раскрыл портсигар и пересчитал папиросы. — Девять. До семи два часа. Значит, каждые пятнадцать минут папироса и одна на дорогу.

— Вы будете спокойны?

— О да, Анна! Это единственное, что я могу ещё сделать! Идите.

Она ушла. Колчак закурил и, отдёрнув штору, прочёл раздельно, громко и насмешливо:

— Ир-ркутск!

Мир, мир и ещё раз мир

Когда Иркутск и все прилегающие к нему районы стали советскими, власть эсеро-меньшевистского Политцентра перешла к Военно-революционному комитету. Перед молодым советским управлением встали большие трудности. Во-первых, не было связи с регулярной Красной армией, находившейся в пятистах верстах от Иркутска. Во-вторых, сразу же пришлось иметь дело с интервентами. В руках чехов, румын, японцев находилась почти вся железнодорожная магистраль, довольно много боевых припасов, снаряжения и золота. Необходимо было всячески избегать открытого конфликта с ними. При переходе власти от Политцентра к Ревкому трудно было предвидеть, как удастся до-

говориться с чехами. Но события развёртывались стихийно, диктовали условия политики.

22 января товарищ Глеб отправился по поручению Маслова на телеграф добиться связи с авангардом Красной армии. Он прибыл на телеграф как раз в то время суток, когда советский парламент вызывал Иркутск, Политцентр.

— Иркутск, не рвите связи! Вызовите Политцентр, — читал телеграфист.

— Кто у аппарата? Представитель Политцентра? — переспрашивал неведомый краском.

— Тю-тю, — произнёс Глеб. — Строчите: «Представитель Военно-революционного комитета. Политцентра в Иркутске больше не существует. В городе установлена советская власть». Говорите, в чём дело, и подробно: кто вы?

— Я советский парламентёр, товарищ Онегин. Мы не знали, что в Иркутске произошёл переворот. Но раз случилось так, то тем лучше. Передаю вам указания, которые отчасти хотел передать Политцентру. Нами с чехословаками заключено перемирие и приостановлены взаимные военные действия. Постарайтесь чехов не тревожить и не вступать с ними в конфликт. Ждите дальнейших распоряжений. Поздравляю с образованием советской власти в Иркутске. До свидания. (…)

— Передайте Красной армии привет и сообщите точно, если можно по радио или телеграфом, в красную Москву, во все концы советской республики о том, что Иркутск стал советским. (…)

Перед Ревкомом встал роковой вопрос: быть или не быть? Вступать в бой с чехами было безумием, тем более что теперь они заставали Ревком врасплох, все военные силы были брошены навстречу каппелевцам, а плохо подготовленная повстанческая армия неизбежно должна была сдать позиции и бежать под натиском превосходных и превосходящих сил противника. Ревком пошёл на риск: он предложил чехам заключить сепаратное перемирие и даже мир. Предложение это чехи приняли. Но это не решало вопроса.

(…) Поезд прибыл на станцию Зима в шесть часов вечера. Вагон делегации, украшенный национальными флагами и красным знаменем, тотчас был окружён чехами и каппелевцами. Среди каппелевцев было много офицеров с золотыми погонами. Поручик Гаупе горячо и внушительно стал объяснять чехам, в чём дело, и объявил каппелевцам, что едет мирная делегация. Каппелевцы заволновались и с бранью стали пробираться к вагону. Охрана вскинула винтовки, вид партизан с красными ленточками на папахах и в петлицах ещё больше ожесточил каппелевцев. С криком и бранью они стали требовать, чтобы их пропустили в вагон для ареста представителей Ревкома.

Маслов с товарищами сидели в глубине вагона и ждали с минуты на минуты расправы. Но поручик Гаупе оказался на высоте. Он убедил чехов встать всеми силами на защиту делегации, доказав им, что выгоднее договориться с наступающей армией, чем с бегущими остатками каппелевцев. Чехи плотным кольцом окружили вагон, скоро появилась ещё довольно большая группа вооружённых чехословаков, и делегатов под усиленным конвоем быстро провели в помещение вокзала.

(…) Первого февраля в полдень делегация прибыла в конечный пункт расположения аръергарда чехословацких войск, на разъезд Нюра в пяти верстах от станции Тулун, уже занятой Красной армией. Настроение делегатов было бодрое. Поручик Гаупе опять балагурил и, весело попыхивая сигареткой, говорил:

— Вот и конец моей миссии, теперь придётся действовать вам.

— Ну, это проще, кончайте вы, а мы своё сделаем.

— Верю, жду и надеюсь. Однако, дьявольски холодно! Удивляюсь, что хорошего в этой Сибири? Лес? Но это же сосна, а не красное и чёрное дерево. Дикая страна!

— Вам, видимо, недосуг было рассмотреть её поближе.

— А вы думаете, это принесло бы мне пользу?

— Не сомневаюсь.

Так, переговариваясь о том о сём, делегация явилась в штаб-вагон румынской дивизии. Гаупе представился командиру, полковнику Бируле, и объяснил права и значение представших перед ним людей. Бируля позеленел, вытаращил бесцветные глаза и закричал:

— Чепуха! Никаких делегаций! Чешское командование, сидящее в Иркутске, ничего не знает! Оно не знает, что творится здесь, и потому посылает делегации.

(…) Бируля оторвал листок бумаги, что-то начиркал быстро и размашисто, положил печать и протянул Гаупе.

— Благодарю. Честь имею кланяться, господин полковник.

Но делегация ещё не успела выйти из вагона, как раздался оглушительный гул, Бируля, оттолкнув Маслова, выскочил на перрон и быстро заозирался.

— Что? Господин полковник? — спросил Гаупе, спокойно выходя из вагона. Бируля не ответил и побежал в вокзал.

Из-за леса по эшелону румынских войск неожиданно вспыхнула артиллерийская стрельба. Били метко, и когда делегация скрылась в здание вокзала, от эшелона летели только щепки. Румыны развернули фронт и двинули броневик на запад. Через четверть часа артиллерийская стрельба полыхала уже с двух сторон. Станция, вздрагивая, погружалась в пороховой дым, адово жужжание и грохот.

— Кажется, дело плохо, — сказал Гаупе.

— Ерунда! Укроемся в лес и переждём.

Чех пожевал губами и согласился. Но едва делегаты отбежали со станции в лес, как невдалеке от них разорвался снаряд, воздушной волной их почти сбило с ног и обдало мёрзлой землёй.

— Скорее, скорее, поручик, — торопил Маслов.

— Мирная делегация! — засмеялся Гаупе и прибавил шагу.

Тайга гудела от грохота канонады. Снаряды падали, ломая сосны и поднимая облака снежной пыли. Делегаты бежали в сторону, увязая по пояс в снегу. Часа через два они выбрались за полосу обстрела и, тяжко дыша, стали неизвестно чему смеяться…

(…) На следующий день в Тулун прибыл из Нижнеудинска представитель Реввоенсовета 5-й армии товарищ Смирнов. И это решило судьбу мирной делегации. Смирнов быстро разобрался в положении и добился немедленного заключения перемирия для выработки основательных условий мира. Смирнов оказался дальновиднее и серьёзнее своих товарищей. Он отлично понимал, что наступление Красной армии всё более и более осложняется. Армия устала бесконечно. Хвост её тянулся до Челябинска. Половина армии лежала в тифу, если бы не прилив партизанских отрядов, она вообще бы не смогла двигаться вперёд. Смирнов учёл также силы противника и положение Иркутска. Каппелевцы неуклонно шли на Иркутск в боевом порядке. Состав каппелевской армии был ещё крепок физически и морально. Всё слабое и негодное погибло во время безумно долгого перехода, и боевые остатки, знавшие, что им нет и не будет пощады, усталые и голодные, спешили в Иркутск — город, богатый запасами одежды, продовольствия и боеприпасов. Каппелевцам было важно овладеть городом хотя бы на один день. И Смирнов решил помешать этому. Он рассудил, что пятитысячный гарнизон Иркутска выгоднее бросить в бой против каппелевцев, чем против чехов. А за вагон золота, захваченный чехами, можно было выговорить за мир, сводящийся к безболезненному продвижению вперёд. Наконец, ещё одно обстоятельство говорило за мир. Ещё будучи в Красноярске, Смирнов получил телеграмму от Ленина, в которой предсовнаркома решительно приказывал Колчака не расстреливать. Мир с чехами гарантировал выдачу Колчака. Кроме того, в беседе с делегатами Смирнов выяснил ещё некоторые данные в пользу подписания мира с чехами и энергично взялся за проведение мирных переговоров.

И мир был подписан 7 февраля, в селе Куйтун. Он был подписан в тот день и почти в тот же час, когда судьба адмирала была уже решена.

Телеграфист

Стража окружила его тотчас же, как он вышел из вагона. Анна Васильевна стояла на площадке, спокойная и молчаливая. Приближённых не было. И когда Колчак подумал о них, он увидел лишь одного телеграфиста.

Телеграфист, мальчик, как будто только что покинувший школьную скамью, жался к подножке вагона, испуганный и посиневший от холода.

— Могу я просить вас, — сказал Колчак начальнику конвоя, — разрешить мне сказать одно слово вон тому? — И получив разрешение, твёрдою походкою приблизился к телеграфисту. Безусое лицо телеграфиста сморщилось и стало ещё жалобнее.

— Благодарю вас, — сказал Колчак и протянул руку.

Мальчик заметался, робко, словно хотел что-то украсть, приподнял красную иззябшую руку и быстро сунул её в руку Правителя.

Колчак задержал его ледяные пальцы и повторил:

— Благодарю вас.

Но сейчас же подошёл начальник конвоя и предложил телеграфисту следовать за адмиралом в кольцо конвоя.

— Я вас не понимаю! — сказал, вспыхнув, Колчак. — Это один из низшего состава моих служащих. Он никакого отношения к делам не имеет.

— Я этого не знаю, — ответил начальник конвоя. — Вы благодарили его — там разберут, что это значит.

— Но разве вы имеете право ареста?

— Господин адмирал, я действую так, как нахожу нужным.

— В таком случае разрешите ему переодеться. Не бойтесь, — сказал он телеграфисту, — вам ничего не сделают. Анна, дайте ему тёплое бельё и мою шубу.

Телеграфист переоделся и вышел неузнаваемый: возбуждённый и розовый.

Они шли, окружённые конвоем, в морозном сумраке. Колчак в туго застёгнутой шинели, телеграфист в просторной шубе. Они были почти одного роста, только телеграфист шёл сгорбившись, Колчак — браво, по-военному. Они шли долго молча, но всё время думали друг о друге. Пепеляев семенил позади. Он задыхался от волнения и быстрого хода. И красное жирное лицо его плаксиво дёргалось и расплывалось. Шли через Ангару.

С того момента как Колчак вышел из вагона, он приобрёл спокойствие. Мрачные мысли он казнил, как казнят людей в Китае: отрубал им головы. И старался думать что-нибудь безразличное и особенно настойчиво о телеграфисте. Он припоминал всё, что только мог припомнить об одном из своих низших подчинённых. Первое — отъезд из Омска. В штабном вагоне у телеграфного столика. Он диктовал, а телеграфист, краснея и волнуясь, путался и врал. Колчак отчётливо вспомнил, как накричал на телеграфиста, и мальчик заплакал. Второе — в Новониколаевске телеграфист самовольно отлучился, а покидать служащим штаб-квартиру строго запрещалось, телеграфист был наказан. Вот всё, что раскопал в своей памяти Колчак. И теперь, шагая в ногу с телеграфистом, он чувствовал себя виноватым. «Конечно так, именно так, — думал адмирал, — я диктатор. Даже когда я хотел сделать ему приятное, отнёсся по-человечески, я погубил его. Что-то было такое, что заслонило от меня людей и его, телеграфиста. Что? Власть? Война? Дело? Да, может быть».

— Скажите, — обратился он к телеграфисту, — почему вы плакали тогда в вагоне?

Телеграфист испуганно выпрямился и тревожно посмотрел на Колчака. Потом, странно загребая ногами снег, ответил заикаясь:

— От вол… волнения. Я в первый раз видел вас… вас.

Лёд на Ангаре был запорошен снегом, ноги ступали в снег уверенно, как будто на землю. Но снег был видимость, земли не было, был лёд.

— Нас расстреляют? — вдруг выпалил телеграфист.

— Вас? Нет! — ответил адмирал. — Не бойтесь. И не вините меня. Я не ожидал, что они могут взять вас. Вот здесь я когда-то шёл, понимаете? Вы сибиряк?

— Нет, ваше высокопревосходительство.

— Тсс… Мы идём по Ангаре. Коварная река! Быстрая, холодная и прозрачная. Вы знаете что-нибудь про Ангару? Нет? Я вам расскажу. Её считают

притоком Енисея, но это неверно. При слиянии она в два раза шире Енисея. И до слияния на четыреста вёрст длиннее. Она глубже и многоводнее Енисея. Она не приток, это неверно. Люди ошибаются во многом. Вы понимаете? И я тоже ошибался. Вот если бы ко мне все относились так, как вы, и я не считал кое-что притоком, может быть, вот этого… — адмирал поскользнулся и чуть не упал. — Вот этого, — повторил он настойчиво, — никогда не было! Вы, конечно, думали обо мне лучше, пока не видели меня?

— Да, — робко ответил телеграфист.

Колчак остановился. Пепеляев едва не наткнулся на него. Рукой он дотронулся до его локтя, от этого прикосновения Колчак вздрогнул и быстро шагнул вперёд.

Перейдя Ангару, двинулись по набережной к Богоявленскому собору. Адмирал шагал широко, угрюмо и молча, перед собором он остановился, снял фуражку, но не перекрестился.

— Не останавливайтесь, — громко сказал начальник конвоя.

Колчак покорно надел фуражку, но заметив, что телеграфист крестится, снял фуражку вторично и тоже перекрестился.

Улицы были темны и пустынны. Улицы были выветрены. Ночь застилала землю мглой. Мороз крепчал. Вдалеке, как звери в лесу, перекликались паровозы. Через Ушаковку шли по мосту. Путь кончался. Уже видна была тюрьма. И когда стали подходить к тюрьме, Колчак сунул правую руку за борт шинели, злобно рванул что-то и, выдернув руку, протянул телеграфисту Георгиевский крест.

— Это вам на память. Скажите, что вы награждены были раньше… И ещё прошу вас, я очень прошу вас, когда вы будете на воле, напишите письмо моей жене. Я помнил о ней… Напишите, как мы с вами шли.

— А кому я должен вернуть шубу?

— Она принадлежит вам.

— Стой! — скомандовал начальник конвоя и быстро зашагал к воротам.

— Адмирал! Адмирал!.. — хныкал Пепеляев. — Адмирал, что же это такое?.. Союзники… Чехи… У нас же фронт, адмирал!..

— Боже, как вы глупы! — ответил Колчак и отвернулся.

Ледяной крест

Даже когда затворилась дверь и ржаво проскрежетал ключ, он не осознавал тюрьмы. В камере ползал тягучий полумрак. В маленькое отверстие над входом — желтоватый свет. Лампочка за квадратным стёклышком коптила, и пламя, словно задыхаясь, лопотало. Камера напоминала каюту скверного, замызганного товарно-пассажирского парохода.

Колчак подошёл к окну, вернулся к двери и опять направился к окну. Но теперь он шёл, как бы ощупывая пол, и вдруг, протянув руку в сторону, коснулся стены и замер. И только в это мгновение пришло то, что у других приходит ещё медленнее, ещё позже, — ощущение ледяного холода, тюрьмы. И не потому,

что в камере холодно, нет. А потому, что каменные стены, глухонемые, бесчувственные, несокрушимые, обступают со всех сторон. Они словно сжимаются всё плотнее и плотнее, готовые вот-вот сомкнуться и раздавить страшной своей тяжестью. Не сроки страшны, не безвестность, а каменное дыхание. И Колчак почувствовал его всем существом.

Он пошатнулся и сел на койку. Он сидел долго, согнувшись, как сгибаются под многопудовой ношей, и тихо стонал. Задыхаясь, он распахнул шинель, расстегнул, почти разорвал ворот френча и несколько раз вздохнул полной грудью. Но тут же зажал рот кулаком и закашлялся. Он словно залпом выпил штоф вонючего саке, когда откашлявшись, шумно набрал воздух ноздрями, почувствовал: нет воздуха, нет! Горло сжали щемящие спазмы. Колчак вскочил и потянулся к окну. Он приподнимался на носки, но не мог достать окна: маленький подслеповатый квадратик был недосягаем. Колчак быстро повернулся и шагнул к двери. Волчок, круглый, величиной с пятак, муторно желтел. Адмирал припал к нему правой половиной лица, и взгляд его вплотную встретился с большим жадным глазом.

— Прошу открыть форточку, — хрипло сказал Колчак.

Но глаз исчез, и никто не отозвался. Этот глаз он видел потом много раз, не только наяву, но и во сне. Только в бредовом видении глаз вырастал в огромный шар, и жёлтые мечи огней разрубали отражённое в нём лицо адмирала.

— Прошу открыть форточку! — повторил Колчак.

И, вслушиваясь в молчание, тихо отошёл от дверей. Чиркнув спичку, он осветил койку и брезгливо приподнял краешек матраца. Спичка, догорев до пальцев, упала и обрывком красной нитки съёжилась на полу. Колчак растёр её ногою. В мрачной тишине он сидел почти до рассвета и, обессилев, свалился на бок, как умирающий, жадно заснул. В первый раз за свою жизнь спал он таким тяжким и в то же время зыбким сном. Словно хлопья снега, вились и наседали видения, но сейчас же таяли, и в памяти не удержалось ни одно. Проснулся от крика: «Полундра! Полундра!» — и вскочил, как будто били тревогу. Спросил: «Что?» Но тотчас же забыл, ощутив неожиданную боль в боку и онемелость правой руки. Он хотел поднять руку, но она лежала рядом совершенно мёртвая. Он приподнял её левой рукой и бросил — она мягко ударилась о матрац, как чужая, фальшивая, сделанная из мягкой резины. Сонно усмехнулся и стал перебирать её пальцы. И вдруг подумал, что вот так же кто-нибудь будет делать, когда всё его тело станет таким резиновым — мёртвым, и нисколько не испугался. Потому что рука была бесчувственной. Она была чужда страданий, не знала отравы горьких мыслей. И ему сразу захотелось поскорее стать таким же. Он мало читал Толстого, но помнил одно его изречение, напечатанное на открытке: «Жизнь — сон, смерть — пробуждение». И вспомнив его теперь, сказал вслух:

— Глупо. Смерть — небытие — освобождение.

Он встал и, раскачивая руку, заходил по камере. Рука заныла, она ожила, мелкие колючие иголки забегали по ней, вызывая судорожный, непроизвольный смех.

— Вот тебе и пробуждение! — сказал Колчак. Ему стало неприятно ходить, и он лёг. Он лежал долго с открытыми глазами, и когда потянуло холодком рассвета — это передалось ему от стен, — уснул. Уснул опять внезапно, и как будто не уснул, а просто мгновенно увидел другое. Перед ним стоял сын Ростислав и укоризненно качал головой.

— Но ведь я не виноват! — сказал Колчак, не удивляясь видению и понимая, что значит укоризна сына.

— Я не виноват, Ростислав. Я всегда был честным и храбрым. И ты увидишь, я буду таким. Да, да! Ростислав, подойди ближе, я тебе скажу. Ты знаешь, Ростислав: смерть — ничто! Да, да! Ничто! И ты это запомни. Ты думаешь, мне легко? Они кричат: тиран! Но ничего не понимают. Вот история с телеграфистом. Я бы мог всегда так, но не было! Понимаешь, не было!.. Ну, скажи, скажи, разве я не прав?

Но Ростислав молчал. Колчак смотрел на него ласково и умоляюще. Он старался рассмотреть в нём сходство с собой, но не находил.

— Ростислав! — вскрикнул он. — Ростислав! — Но сын поднял и скрестил руки. И он видел уже не руки, а ледяной крест. Ещё миг он старался думать об этом, но ледяной крест, поглощая всё, грузно опускался. Он упёрся в него руками и, вынырнув из-под леденящей тяжести, вскочил. Вокруг расстилалось море, зелёное, кипящее бурунами. Он бросился на крест и раскинул руки. Холодный ветер рвал полы шинели и замораживал ресницы. Крест, покачиваясь, уносился в открытое море. Радость жарким потоком пролилась по телу, и он крикнул: «Спасение! Спасение!», но не расслышал своего голоса. Что-то непохожее билось в висок — весомое — не звуковое «ал-ал!». Тревожно прислушался, напрягая внимание: «ал-ал-адмирал!» — теперь слово было ясно, округлость его звука барабанила в ухо, как горошина в коробке.

— Адмирал! Вас просят на свидание. Гражданка Тимирёва.

Открыл глаза, не понял. Фразу повторили. Тогда Колчак спокойно приподнялся, оправил френч, шинель и глухо проговорил:

— Благодарю вас. Одну минуту! — Осмотрел камеру. — Одну минуту! — И, неторопливо раскрыв портсигар, закурил.

Человек, разбудивший его, вышел. Колчак хмуро посмотрел ему вслед. Поспешно сделал несколько глубоких затяжек и, встав, твёрдо, с военной выправкой, вышел из камеры.

Когда был пройден гулкий коридор и адмирал, свернув направо, вошёл под своды просторной комнаты, время изменило свой бег. Как отлив в океане, оно скатывало свои волны обратно в синие глубины прошлого. Впереди стояла Анна Васильевна, бледная и спокойная. Такою же она предстала перед ним впервые в Омске. И он, подходя к ней, сказал: «Ах, Анна!» Время изменило свой бег, и он сказал: «Ах, Анна!» Он поцеловал её руку и, не видя пустой оболочки настоящего — тюрьмы, спросил:

— Почему вы так бледны? Вы устали? — И удивился, когда услышал её ответ:

— Нет, я не устала. Я рада, что вижу вас. Мой долг всегда следовать за вами.

— Ах, да! — тихо произнёс Колчак, быстро возвращаясь в настоящее.

— Я решила, — продолжала она, — не покидать вас.

— Вас так свободно пропустили сюда? — И вопросительно посмотрел на неё. Ему хотелось как можно быстрее проверить то, что он думал, и она подтвердила:

— Я потребовала, чтобы меня арестовали. Я помещена в одиночную камеру женского отделения. — И посмотрела на Колчака тем ласково-нежным взглядом, каким смотрела, когда хотела его успокоить. Но лицо адмирала продолжало оставаться строгим, он даже отвёл глаза от Тимирёвой, как будто этот ласковый взгляд мешал ему сосредоточиться, быть самим собой. — Ne desesperez pas[1], — понизив голос, быстро проговорила она.

— Я не понимаю вас, — глухо сказал он. — Зачем вы это сделали? Я арестован, вероятно, как Верховный правитель, и вы напрасно смешиваете с этим наши личные отношения. Il faut agir en ville, ici vous ne pouvez pas ma'ider[2], — прибавил он тоже скороговоркой.

— Меня не могут счесть вашей соучастницей. Всем хорошо известно, что вы мой друг не потому, что вы Верховный правитель. Вы для меня близкий человек, а за человеческие отношения не судят. — И улыбаясь прошептала: — Vous serez sauves. Votre armee approche[3].

Колчак нахмурился ещё сильнее, стараясь подчеркнуть своё недовольство.

— Я оказался в этом положении сознательно, и вы ничем мне помочь не можете. Вы должны продолжать свою жизнь и свои личные дела. Ведь до сих пор вы не вмешивались в мои личные дела. Il peut vous comprendre[4]. — И бегло посмотрел на Анну Васильевну.

— Non, ne dites pas[5]. Я и не буду вмешиваться. Не браните меня. Может быть, я поступила легкомысленно, и меня за это накажут. Но зато я буду знать, что хоть четверть часа в сутки поговорю с вами и постараюсь успокоить вас. А главное, зачем я просила арестовать меня, это то, что думала: вдруг вы заболеете. Я, как сиделка, смогу ухаживать за вами. И упрошу профессора. le professeur trevaille[6]. Вам не очень скучно? Сегодня такой чудесный день, — жеманно прощебетала она. И сейчас же прибавила: — On a organiise un groupe pour vous sauver[7].

Колчак закурил и, все ещё не глядя на неё, сказал:

— Вы ангел. Это очень благородно, что они разрешают вам видеться со мной. Но мне будет очень неприятно, если вам придётся поплатиться за вашу доброту.

Тимирёва весело улыбнулась.

---

[1] *Не отчаивайтесь (фр.).*
[2] *Надо действовать в городе, здесь вы не можете мне помочь (фр.).*
[3] *Вы будете спасены. Ваша армия приближается (фр.).*
[4] *Он может вас понять (фр.).*
[5] *Нет, не говорите (фр.).*
[6] *Профессор работает (фр.).*
[7] *Есть группа, которая работает над вашим освобождением (фр.).*

— Мне ничего не сделают. Le groupe agit aves prudence[1]. А если сделают, ну, что же, одним приключением в жизни больше.

Колчак задумался. Он безотчётно смотрел на двух часовых, стоявших у дверей и глазевших на Анну Васильевну: надзиратель, уныло ходивший из угла в угол, прислушивался к разговору, но старался делать вид скучающего человека. И он, и часовые показались адмиралу бесчувственными грубыми животными. «Скоты! — злобно подумал он. — И каждый мой шаг теперь зависит от них!»

— Вам тяжело? — спросила она. — Не надо унывать.

— Что делать! Буду терпеть. Очень жалею, что не пережил этого раньше. Я был в плену у японцев, но там другое. За эту ночь взгляды мои на многое изменились.

— Вы как будто не спали?

— Нет, я спал. И даже видел во сне сына. Как с деньгами?

— Сына? Денег нет. Но вы не огорчайтесь этим. Сына всегда приятно видеть. Я тоже видела, только наяву, квартирмейстера в рабочем костюме. Не правда ли, смешно!

Колчак молчал. Ему было противно говорить так, воровски. Как никогда в жизни хотелось высказать ей всё, всплывшее из глубины души, всё, что огнём опаляет сознание погибающего человека, почувствовать прикосновение её руки. Но он сказал только:

— Вот не знаю, как быть с папиросами. Видите? — он открыл портсигар. — Осталось только пять штук.

— Я попрошу, чтобы вам передали. Не падайте духом.

— Буду ждать.

— Может быть, вам нужно ещё что-нибудь?

— Десять минут прошло. Свиданье окончено, — заявил надзиратель.

— У вас часы спешат, — кокетливо сказала Тимирёва.

— Идёмте, — не отвечая на замечание, приказал надзиратель.

Колчак пожал ей руку, она поцеловала его в лоб, и адмирал направился к дверям. Он шёл вызывающе твёрдо и уверенно. Лицо Анны Васильевны сразу сморщилось. Видно было, что она сдерживает слёзы, готовая заплакать. Так оно и случилось. Едва адмирал скрылся, крупные слёзы покатились по её щекам.

Телеграммы

1. Срочно. Пекин. Русское посольство. Его Превосходительству князю Кудашеву. С вопросом об адмирале обратитесь Англии. Мы не можем брать на себя ответственности за вмешательство в русские дела. Гренар. Нуланс.

2. Пекин. Русское посольство. Князю Кудашеву. Подтверждая получение вашей телеграммы, извещаем вас, что адмирал Колчак выбыл из сотрудников английского генерального штаба с момента удовлетворения вашего ходатайства о направлении адмирала в ваше распоряжение. К тому же мы не имеем до-

[1] *Группа действует осторожно (фр.).*

статочно реальной силы для защиты одного человека против революционных войск на Дальнем Востоке. Рекомендуем обратиться за содействием Японии. Сэр Джон Роберт-Данг.

3. Пекин. Русское посольство. Князю Кудашеву. Сожалеем, что вопрос об оказании помощи адмиралу Колчаку возбуждён вами слишком поздно. Без санкции высших государственных инстанций не можем оказать просимого содействия. Муко Цидао.

4. Пекин. Русское посольство. Кудашеву. Чешское командование уже высказало свою точку зрения на власть адмирала Колчака и не может вести политики, нарушающей миролюбивое соглашение, заключённое с революционным правительством. Адмирал сам виноват в своём положении, он мог своевременно принять нужные меры. Обратитесь межсоюзному командованию. Доктор Благож.

5. Пекин. Кудашеву. Межсоюзное командование не имеет возможности удовлетворить ваше ходатайство. Золотой запас и адмирал Колчак уже находятся в руках революционеров. Жанен.

И ещё десятки телеграмм с отказом в помощи. Телеграмм резких и кратких, уклончивых и путаных, ничего не говорящих и соболезнующих, расплывчатых и туманных. Князь посетил всех представителей иностранных держав, но желанного ответа не получил. Послы словно сговорились; они отвечали шаблонно, кратко и всё одно и то же: вполне сочувствуем, разделяем ваше волнение, но помочь не можем.

Князь мрачнел и молча удалялся. Вернувшись в свой кабинет, он грузно опускался в кресло и сидел часами, неподвижный, как восковая кукла, только по лицу его, как тучи по небу, отражённо скользили тени переживаемых им горестных чувств. Так продолжалось три дня, пока не пришло всё решающее известие, князь получил его утром. Это было первое, что он узнал в день 8 февраля. Словно не веря себе, он прочёл телеграмму дважды, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.

«Так-так-так», — крупно и округло билось сердце.

— Так, так… — проговорил князь после долгого и горького молчания. Вынул из среднего ящика письменного стола пухлую чёрную тетрадь и, вздохнув, записал: «В 10 час. 30 мин. получил известие о гибели адмирала Колчака. Мосты сожжены, корабли взорваны. Россия! Россия!!!» — и, отшвырнув перо, закрыл лицо руками.

Неслышно вошёл секретарь и доложил:

— Сейчас звонил секретарь американской миссии. Генеральный штаб Северо-Американских Соединённых Штатов после вторичного обсуждения вашей телеграммы С2С нашёл возможным предложить свои услуги по оказанию помощи адмиралу Колчаку.

Князь выпрямился и, злобно блеснув глазами, крикнул:

— Пошлите их к чёртовой матери!

Это было так дико и неожиданно, что секретарь с тревожным недоумением посмотрел на князя. Кудашев злорадно улыбнулся и, сжав кулаки, вскочил.

— Слушаюсь, — растерянно ответил секретарь и вышел. Но по телефону сообщил: — Русское посольство благодарит вас за предложение. Оно обсудит его и не преминет им воспользоваться, как только это окажется необходимым.

«Моряк, в последний рейс плыви...»

Допросы продолжались семнадцать дней. Колчак держался на них с полным достоинством, как военнопленный командир проигравшей кампанию армии. Это было отмечено лицами, производившими допрос, и председатель Чрезвычайной комиссии Попов, тот самый Попов, что уцелел во время декабрьских расстрелов в Омске только благодаря тому, что, находясь в тюрьме, заболел сыпным тифом, спустя много лет писал: «Он резко отличался от большинства своих министров». Министров лихорадило от трусости, они старались представить себя невольными участниками кем-то другим содеянного преступления и старательно превращались из правителей в холопов. Ничего подобного в поведении Колчака не было.

Адмирал отлично понимал, что жалкие и подлые уловки, запирательство только унижают человека, он осуждал за такое поведение своих подчинённых и напрягал всю силу, чтобы не быть похожим на них. Он не затушёвывал своего истинного положения в контрреволюции и не скрывал своих взглядов. Он охотно и пространно отвечал на вопросы, особенно если они касались его прошлого. Он с радостью заглядывал в своё прошлое, как в золотую книгу, черпая в ней бодрость и уверенность. Как искусный стратег, он только уклонялся от острия направленных вопросов, чтобы выправить свою линию и противостоять. Так, на вопрос Попова об отношении к нему Анны Васильевны Тимирёвой он ответил:

— Она — моя давнишняя знакомая; она находилась в Омске, где работала в моей мастерской по шитью белья для воинских частей. Она оставалась в Омске до последних дней и затем, когда я должен был уехать по военным обстоятельствам, поехала со мной в поезде. В этом поезде она доехала сюда и находилась в нём до того времени, когда я был задержан чехами. Она сама хотела разделить мою участь.

— Скажите, адмирал, она не является вашей гражданской женой? Мы не можем зафиксировать это?

— Нет.

Сделав отклонение, он быстро распахивал страницы золотой книги и подробно рассказал о своей жене, о нескладной, но крепко свинченной семейной жизни морского офицера. Но были минуты, когда стрелы вопросов вонзались в самую сердцевину сокровенного, тогда адмирал вспыхивал и говорил то, что он есть. И видел: вот он, адмирал, прежний, такой же, каким был всегда, незыблемый. А всё окружающее изменилось, нелепо и чудовищно! Ещё в семнадцатом году, перед отъездом в Америку, он убедился, что Россия рухнула обвалом и покатилась по крутому склону. Всё меняло формы, окраску, смысл, бытие. Только он непоколебимо смотрел в лицо грозной стихии и, как дуб, вросший

глубокими корнями в землю, не желал гнуться под порывами бурь. И так все эти годы. Разве можно что-нибудь узнать от прежнего в теперешней России? А что изменилось в нём? Он не отступил ни на шаг. И тем горше то, что сейчас происходит. Он никогда не скрывал своих взглядов, всегда действовал прямо, открыто и не боялся ответственности. И готов доказать это. Но вот кто-то, быть может сам, никогда ничего не создавший, серый и ничтожный, испытывает его, как испытывают кислотой золото. И он бессилен этому воспротивиться. Думая так, адмирал злился и в часы последних допросов был заметно раздражён. Он как будто чувствовал, что путь и время обрываются где-то совсем близко, и ощущение этого обрыва лишало его хладнокровия.

На записку Тимирёвой, что каппелевцы предъявили иркутским властям ультимативное требование выдать им Колчака, он ответил: «Смотрю на это скептически и думаю, что ультиматум ускорит неизбежную развязку». Ночи тюремного одиночества надламывали его, как надламывает буря крепкие деревья. То, что он пережил, казалось ему Голгофой. Он даже не замечал, что весь тюремный режим исковеркан, как график на железной дороге, ради того, чтобы сражённый Верховный правитель выявился весь перед лицом народного суда. Ему разрешались свидания и прогулки с Анной, они переписывались невозбранно, не подозревая, что каждое слово их скопировано. Услужливые «друзья» бегали между их камерами и с видом строжайшего секрета делали своё дело. До последнего дня адмирал так и не догадался, что «сочувствующие» — предатели. Даже в тюрьме у него сложилось неверное представление: он думал, что такой же снисходительной и услужливой она была для всех заключённых в ней. Он весь был поглощён своими переживаниями, и надежда светила ему, как маяк во тьме бушующего моря. Он не спускал с неё глаз. Он держал курс на манящий свет и верил. Верил, как может верить только моряк, мучительно и страстно. Но призрак спасения обманул Правителя. Повязка упала с глаз неожиданно, и нога, занесённая вперёд, повисла над пропастью. Это был сон — последний. Он шёл по горе и остановился над обрывом, с которого так хорошо виден роковой город и тюремный двор. Он стоял, готовый упасть, но жестокий голос разбудил его. Он увидел перед собой низенького человека с пронзительным колючим взглядом. Человек приказывал «собираться».

— И вещи брать? — нетвёрдо спросил адмирал.

— Нет. Вы пойдёте на расстрел.

— Как? Без суда?

— Разве вы не знаете, что вы объявлены вне закона?

— Ах, так!

С минуту он стоял в раздумье. Потом резко повернулся и начал быстро одеваться. Застегнул шинель на все крючки, туго затянул пояс и, плотно надев фуражку, вышел из камеры. В конторе он встретил Пепеляева. Премьер-министр, зелёно-бледный, трясущийся, слезливо и надсадно твердил:

— Я прошу подать телеграмму Ленину! Прошу. Он меня знает, он помилует. Я требую, я прошу… телеграмму Ленину!

Дряблое лицо министра осклизло от холодного пота, запухшие глазки тонули в слезах.

— Телеграмму, телеграмму Ленину!

Колчак со злобным презрением посмотрел на него и, подойдя, сказал негромко:

— Как вам не стыдно, Виктор Николаевич! Перестаньте!

И, быстро повернувшись, отошёл к столу.

— Могу я просить вас, — обратился он к начальнику тюрьмы, — исполнить мою просьбу? Переслать благословение моему сыну.

Начальник тюрьмы вопросительно посмотрел на маленького человека и неуверенно ответил:

— Да, да, пожалуйста.

Колчак вынул из кармана образок на золотой цепочке и, положив на стол, попросил разрешения написать несколько слов сыну и жене. Мелким, но твёрдым почерком он набросал несколько строк. Пепеляев продолжал хныкать, он теперь приставал со своей мольбой к маленькому человеку, но тот не слушал его. Начальник тюрьмы предложил Пепеляеву тоже написать записку родным. Премьер медленно, шатаясь, как больной, приблизился к столу и грузно повалился на табуретку. Перо, вздрагивая, долго не находило точки опоры. Наконец, ткнувшись в бумагу и брызгая, нацарапало: «Милая, дорогая, прощай»… Зыбко, расхлябанно, то набегая друг на друга, то отскакивая в стороны, рождались на бумаге буквы. Некоторые тучнели и расплывались от слёз. Колчак хмуро стоял в стороне, поглядывая на маленького человека.

— Скорее, скорее, господин Пепеляев, — произнёс тот, чувствуя на себе взгляд адмирала. У ворот фыркал грузовик. Ночь, тихая и морозная, наползала со всех сторон. Сквозь клокастую дымность туч робко просвечивал огрызок луны. Грузовик вздрагивал и щетинился — по бортам кузова, прокалывая мрак, хмурились винтовки.

— Без разговоров! Садиться! — скомандовал маленький. Адмирал легко поднялся в грузовик первым. Пепеляев долго цеплялся трясущимися руками за железные поручни и, срываясь, падал на землю. Его посадили. Грузовик загудел сильнее и лихорадочно вздрагивал, словно в нём кипела вода, как в чайнике. Маленький вскочил последним и крикнул:

— Трогай!

Грузовик нехотя, с тяжёлым храпом, пополз за ворота.

Днище кузова обледенело, и когда грузовик огибал тюрьму по косогору, Пепеляев сползал вниз и цеплялся за рукав адмирала. Колчак непроизвольно скрежетал зубами, отшвыривая руку министра.

— Адмирал! Адмирал!.. — захлебываясь, лепетал Пепеляев.

Колчак смотрел на него с ненавистью. Он удивлялся, как мог раньше не заметить жалкой трусости Пепеляева. Он припоминал свои встречи с министром и пришёл к выводу, что премьер, на которого он возлагал такие надежды, — молодец на овец, а на молодца и сам овца. Он отвернулся, стараясь не видеть и не слышать того, что возбуждало в нём отвращение, и закрыл глаза. Ощу-

щение страшного внутреннего опустошения охватило его. Мысли и чувства срывались и падали. Они пересекались, как лучи света, и таяли, неузнаваемые, неосознанные, в смутном тоскливом сумраке. Адмирал знал, что ему осталось жить немного минут. Как будто нужно было что-то напоследок продумать и решить, самое важное, но менее всего думалось о смерти. Желания носились, как дикие кони в степи, и ни одного из них он не мог поймать и удержать. Всем своим существом, сжимающимся в страшном предчувствии гибели, он жаждал спасения, старался схватить осколки последних мыслей, как хватают птиц, вылетающих из клетки, но по странной растерянности ощущал только холод, тьму и бурлящий клёкот мотора. Как огромная черепаха, как гигантская бескрылая птица, полз грузовик в гору.

Колчак нащупал за обшлагом шинели маленький комочек ваты, осторожно вынул запрятанный в нём перстень, переложил в платок и сунул в карман. Сделал он это, вспомнив Анну. И сделал бы больше, если б сердце его не клокотало, как мотор, требуя, вопя, разливая по всему телу жажду жизни. Надежда огненной стрелой жгла мозг: «Может быть!.. Все может быть!.. Это никогда не поздно сделать!..» И вдруг стал думать о том, куда везут. Припомнил местоположение Иркутска, и прошлое, как воспоминание об Анне, подсказало: «На Бугор». На другой день после свадьбы он ездил с женой кататься и был здесь. С Бугра виден город. Проездом из Харбина в Омск узнал, что здесь братское кладбище. Рука опять судорожно выдернула скомканный платок, но, нащупав перстень, положила обратно.

Проехав Бугор, грузовик остановился. Клёкот его гулко звучал в морозной тьме.

— Выходите! — скомандовал маленький человек.

Пелена с глаз упала мгновенно. Колчак стоял над обрывом — это был уже не сон. Пепеляев упал на колени и завыл. Тогда адмирал набрал полную грудь воздуха и незаметно вынул платок. Но руки плохо повиновались, они вздрагивали, как будто мороз колол их мелкими иглами. Колчак развернул платок и медленно поднёс его к лицу, но в эту минуту Пепеляев схватился за полы его шинели и, рванув, завопил:

— Адмирал! Я не виноват!.. Это вы! Вы! Вы должны всё принять на себя.

Качнувшись от неожиданного рывка, Колчак выронил перстень, он упал, не донесённый до рта на сантиметр. Пепеляев вмял его коленями в снег. Колчак оцепенел. Он стоял как столб, пока конвой окружал их, образуя каре.

— Прямо! Спускаться к реке! — распорядился маленький.

Шли молча и торопливо.

Сойдя на лёд, прошли сажен двести вверх по течению и остановились у небольшой полыньи. Конвой перестроился в две шеренги и отступил на десять шагов.

Огрызок луны заливал мутным светом бугристый лёд, крутые берега, зубчатые контуры леса. Пепеляев повалился ничком и, всхлипывая, стонал.

— Ваше последнее желание? — спросил адмирала маленький.



Верховный правитель России адмирал А. В. Колчак. А. В. Книпер-Тимирёва, возлюбленная Колчака

— Уберите от меня эту гадину! — сказал Колчак, в бессильной злобе отталкивая от своих ног Пепеляева.

— Всё?

— Выкурить папиросу.

Пепеляеву приказали отступить на шаг от адмирала. Колчак достал золотой портсигар, закурил и швырнул портсигар конвою:

— Это вам, на память от вашего Верховного правителя!

Курилась последняя папироса вечность — мгновение… Красным глазком светилась она у спокойного, задумчивого лица. И последнее, что видел адмирал, было внизу — среди бледного волнистого простора тускло поблескивающий зыбкий провал, а над головой — знакомая, неподвижная, немеркнущая звезда.

Докурив, он несколько секунд подержал в руке папиросу, потом бросил её, негромко сказал:

— Готово!

И огненные языки слизнули огромный мир с упрямых, жадных глаз.

Блекло-голубая леденистая вода проглотила труп адмирала первым. Быть может, она легко, как пушинку, понесёт его через пороги в Енисей, а мутный Енисей дальше, в просторы тундры, к берегам Ледовитого океана, и, качаясь на серо-зелёных арктических водах, проникнет он дальше всех пределов, до которых суждено проникнуть смертному. Может быть, и свершится этот последний рейс. Но никто не увидит и не узнает этого.

Луна, пересекаемая тучкой, ощерилась и скоро совсем скрылась. А на рассвете подул резкий холодный ветер, поднял позёмку и, словно злясь, принялся заметать небольшую полынью. Вода густела от снега, кромки льда стали зеленеть и набухать, они смыкались, как веки трудно засыпающего человека. Когда же разгорелся день, полыньи не стало. Только робко цвели алые пятна на льду. Цвели брызгами и букетами, как будто здесь неосторожно пролили красные чернила.

Ленинград, 1926—1928 гг.

Сергей Сартаков

Воспоминания о былом

(главы из книги «Казусы и курьёзы»)[1]

Чудотворная икона

До Ровного дошли слухи, что рыскающие в округе отряды «воинствующих безбожников» грабят местные церкви, расхищают утварь и драгоценности и особенно зарятся на иконы в дорогих золотых окладах.

Слухи были противоречивые, рассказы якобы очевидцев путаные, а иногда и просто нелепые. Однако если вычленить из них суть, получалось, что ревнителям православия удалось спасти от поругания икону Казанской Божией Матери, находившуюся прежде в каком-то уральском храме, и теперь они продвигаются с иконой на Восток, надеясь укрыть её в безопасном месте. Названия городов, где находился храм, да и самого храма, постоянно менялись. Однако несомненным было одно: части Красной армии продвигались всё дальше по сибирской земле.



Сергей Венедиктович Сартаков на «Дальстрое». 1931 г.

Отец и мать об иконе были наслышаны и относились к ней с величайшим благоговением. И вот однажды папа вернулся из Солонцов и принёс первое достоверное известие: через несколько дней чудотворную икону должны пронести через Солонцы и дальше по Братск-Острожному тракту через Кушум и Перог…

Отец вдохновенно сказал: «Я завтра опять пойду в Солонцы и попрошу, чтобы Божью Матерь Казанскую пронесли через Ровный».

Так и случилось. Помог нам в том священник Солонецкой церкви, имя его я, к сожалению, не запомнил.

[1] *Сартаков С. Казусы и курьезы. М.: Профиздат, 2003.*

Мы готовились к великому празднику. Приоделись, украсили дом цветами и берёзовыми ветками, приготовили угощение.

И вот настал торжественный день. Нам казалось, что шествие должно пойти по правому берегу Уды. Солонцы — село большое, людей много, найдут средство для переправы.

Однако всё случилось совсем иначе. С левого берега донёсся шум. Громкие голоса кричали привычные нам слова: «Лодку! Лодку давай!»

С нашего крутого берега было видно, что на противоположном собралась большая толпа людей, оберегающих икону, накрытую белоснежным платом.

Что делать? В посёлке было две лодки: аляповатый тесовый «шитик» Крайниковых и наша долблёнка из тополя, на которой мы совсем недавно перевернулись, охотясь на тайменя.

Я не долго думая вскочил в свою «пирогу» и поплыл к левому берегу, рассекая косые волны гремящей выше по течению шиверы.

В Солонцах меня встретил белогвардейский офицер в золотых погонах, с револьвером в кобуре, висящей на поясе, и священник.

— А что из старших никто не приплыл? — спросил офицер.

— Но вы же кричали «лодку». Я думал, надо кого-то перевезти.

— Гм, перевезти… — офицер обвёл всех рукой. — И как тут всех перевезти? И главное, что делать с иконой?

— Не знаю, — честно ответил я. — У нас думали, вы придёте по правому берегу.

Они стали тихо переговариваться.

— А что в Солонцах думали? И как теперь быть? Назад икону везти нельзя. Что тогда делать? Как переправляться?

Я послушал и сказал:

— Давайте я сплаваю. Сколько понадобится, столько и буду переправляться. Всех перевезу.

— А как с иконой быть? Она тяжёлая, из мореного дуба. И оклад золотой…

Я посмотрел на белое покрывало, прикрывавшее святой лик, и ответил:

— Перевезу. Только вы её положите в лодку и снимете сами.

— Не пошла бы лодка ко дну, — забеспокоился офицер.

— На всё воля Божья, — ответил священник. На том и порешили. Стали укладывать икону в лодку, но она не умещалась, поэтому пришлось положить её плашмя, да так, что края её легли на оба борта, придавив их своей тяжестью. Свободные концы белого плата развевались над водой, как крылья. Сесть на лопастные вёсла никто не мог — места уже не было, да и тяжести лишней лодка не вынесла бы. Придётся мне работать только кормовым веслом. Батюшка осенил меня крестным знамением, и я перекрестился тоже, прочитав про себя молитву.

Лодку оттолкнули от берега, и я сразу почувствовал себя акробатом, идущим по тонкому канату под куполом цирка.

Я привык к тому, что крутые высокие волны надо резать только поперёк, и не позволял, чтобы в борт ударила тугая отлогая волна. Я лавировал между ними и шептал: «Шальная волна не перехлестнёт! Переплыву!»

…И доплыл. В нашем доме собрались все жители Ровного. Икону внесли, покрывало сняли, и я увидел святой лик Богоматери и приникшего к ней младенца Иисуса. Словно яркий луч пронзил мою душу…

И не забыть мне этого мгновения никогда.

Батюшка отслужил молебен, окропил святой водой стены.

Мы пообедали за общим столом. Тут подоспел обоз, преодолевший реку по мелкому броду.

И священная процессия двинулась дальше. Икону Божией Матери несли на полотенцах восемь человек. Я провожал их до посёлка Отрадного, в котором тоже была устроена торжественная встреча. Из этого посёлка начинался прямой путь на Братск-Острожный тракт.

Отпуская, солонецкий священник вновь меня благословил, а офицер спросил:

— Сколько же тебе лет?

Говорить следовало только правду, и я ответил:

— В марте исполнилось двенадцать.

И мы расстались. Что случилось потом с иконой, мне неизвестно.

Отступление каппелевской армии

…Но о бегстве чуть позже. А сначала небольшое отступление.

Мне уже приходилось упоминать, что одним из моих сокровенных желаний было создать большой роман о Человеке. Не мне судить — удалось это или нет. Но хотелось бы особо подчеркнуть: это очень искренняя книга. Лихо закрученный сюжет, уснащённый хитроумными выдумками, — не мой жанр. Однако размышления о том, что приподнимает нас над обыденностью, мне всегда нравились. А потому и жанр этой книги я бы определил как исповедь — что-то сродни De profundis Оскара Уайльда или его же «Балладе Редингской тюрьмы».

Итак, загадка со взрывом моста через Уду вскоре прояснилась. Спешно отступающие чехи, пересадившие Колчака в свой вагон, сами взорвали мост, чтобы красные не смогли их догнать.

Трагическая судьба Александра Васильевича Колчака ныне хорошо известна. Перейдя в чешский вагон, бывший Верховный правитель доверил своим соратникам жизнь. И, как оказалось, зря… 15 января 1920 года Верховный правитель был арестован чехами, которые передали его эсеро-меньшевистскому Политическому центру. После перехода власти к большевистскому ВРК по тайному распоряжению Ленина Иркутский ревком постановил расстрелять Колчака. Его тело сбросили в прорубь речки Ушаковки, впадающей в Ангару. Таков был печальный конец одного из величайших деятелей революционной смуты.

Однако вернёмся на Ровный. В тот вечер, когда я спрыгнул с саней старика, я благополучно добрался до дому, где меня с нетерпением ждали. Мы пошли к Крайниковым, и я принялся рассказывать им гоголевского «Вия». Рассказывал я всегда с выражением, а в тот вечер, впечатлённый смутным образом надвигающейся неумолимой беды, говорил особенно вдохновенно — так, словно

мистические события повести имели какое-то отношение к нашей жизни. Все слушали, затаив дыхание, как вдруг сквозь маленькое окошко до нас донёсся неясный, но зловещий гул.

Трудно сказать, что это было. В этом шуме слились воедино отдельные винтовочные выстрелы, скрип деревянных повозок, ржание и хрипы обессилевших лошадей, истеричные женские и охрипшие мужские голоса, что-то выкрикивавшие явно невпопад… И вся эта громада двигалась далеко за рекой, по Братск-Острожскому тракту.

Мы выбежали из дому и устремились на берег, откуда нараставший гул слышался более отчётливо. Пашка Крайников тут же определил:

— Дык это же каппелевцы бегут! Только чё они пёхом драпают, а не в поездах едут?

Фельдшер Стельмачёнок вставил:

— Московский тракт наверняка перегружен ещё больше — они и по нему отступают. А поезда… Какие уж тут поезда! Вон, Серёжа говорит, мост через Уду взорвали. Так каппелевцы и рады пешком топать — лишь бы побыстрей отсюда ноги унести. Я воевал и знаю, что такое паническое бегство: глаза навыкате, глотки криком перехвачены, ноги сами несут неведомо куда. Люди друг друга не замечают, готовы по головам пройти и по мёртвым пробежать.

— А вдруг они и по нашему берегу пойдут? — вырвалось у меня.

— Тогда всё то же самое и нас ждёт, — мрачно проговорил папа, кивнув на противоположный берег. Отец кутался в пальто — плохо себя чувствовал и не вышел бы из избы, если бы не страшный шум.

— Вот что, — сказал он, подумав, — надо бы нам всем свет в избах потушить. Как бы сюда и вправду кого не принесло… Лёд-то на реке крепкий. И давайте-ка уведём лошадей за Муксут — в Большом овраге их спрячём. Оставим там корма на несколько дней… Из-за Муксута ни лошадиное ржание, ни говор людской сюда не долетят.

— А с бабами как быть? — спросила старая Крайничиха.

— Да ну, солдатам не до озорства сейчас, — сказал старик Крайников, впрочем, не совсем уверенно.

— Какое тут насилье, помилуйте! — отмахнулся отец. — Каппелевцы думают лишь о том, как бы скорей отсюда уйти. А вот лошади им могут пригодиться. Так что не остаться бы нам без лошадей…

— Если сунутся, можем им чего-нибудь поесть предложить, кипяточку налить — глядишь, и откупимся, — произнесла Сенклета, пристально глядя вдаль.

Так мы приняли решение спрятать лошадей, а остальную скотину и мелкую живность пока не трогать.

За Муксутом было тихо. Котловина, в которую мы привели лошадей, оказалась очень тесной. Кое-как порубив сухостойник, мы развели костёр. Однако вскоре стало ясно, что долго нам тут не продержаться: слишком уж силён мороз.

Отец сказал мне:

— Серёжа, сходи в разведку, только осторожно. Если на Ровном тихо, вернись и расскажи. А если какие «гости» появились, постарайся им на глаза

не попадаться. Заметят, сочини что-нибудь. В общем, действуй по обстановке. Ну с Богом!

Перекрестил меня и подтолкнул.

Каждый кустик, каждое деревце, холмик или замёрзшее болото были мне известны. Поэтому, несмотря на темноту, я быстро добрался до посёлка. Постоял около дома Крайниковых, прислушался, пытаясь понять, что происходит. Тихо… Кругом густая чёрная тьма… Даже собаки молчат. И верно, зачем им гавкать? Я же свой, меня тут каждый пёс знает — обнюхает при встрече и приветливо повиляет хвостом.

Мне даже стало смешно: и чего мы боялись? Я помедлил ещё немного, втягивая носом морозный воздух, повернулся и пошёл в сторону дома. Тут-то всё и началось…

Сначала до меня донеслось цоканье множества подков, затем на окраину Ровного вылетел отряд вооружённых людей, похожих на казаков. Передний всадник — высокий, горбоносый, увешанный лентами с патронами, вооружён карабином. Его нетерпеливый конь чуть не затоптал меня, но, остановленный твёрдой рукой, взвился на дыбы. Я хотел было бежать, но мгновенно попал в окружение.

— Кто такой? — спросил казак. — Куда идёшь?

— Домой, — пролепетал я.

— Почему во всех избах темно?

— Спят, — ответил я уже более уверенно, — и я иду спать.

Конь гарцевал. Казак выдернул шашку из ножен и взмахнул над моей головой. Мне показалось, что я чувствую запах стали.

— Вот и поспишь сейчас!.. — сказал он с грубым смехом. — Ну? Откуда идёшь глухой ночью?

— Сильно замёрз, — еле выговорил я, — иду с гумна, солому там прибирал.

К моей одежонке действительно прилипли какие-то травинки — наверно, когда мы тащили корм для лошадей.

В этот момент с крыльца нашего дома прозвучал строгий окрик:

— Саблю в ножны, есаул Куцеволов!

Так приказывать мог только командир. Я повернул голову и увидел, что дверь нашего дома приоткрыта. На крыльцо вышел человек, лица которого я не мог разглядеть. В стороне от дома стояла сибирская кошева, запряжённая парой лошадей.

— Эй, парень, — сказал он усталым голосом, — иди-ка сюда да побыстрей!

Я счёл за лучшее последовать приказу. «Командир», пропустив меня в избу, закрыл дверь.

В доме было тепло. В углу стояла рождественская ёлка, украшенная стеклянными и ватными игрушками, а также канителью.

Мама хлопотала по хозяйству, торопливо таская на стол всё, что нашлось под рукой. На плите бурлил чайник. За столом сидел мальчик, примерно моего возраста, и девочка в красивой шубке. «Наверное, сестра», — отметил я мыс-

ленно. Девочка уронила голову на стол и вид имела больной, крайне утомлённый.

«Господин командир», как я назвал мужчину про себя, положил на стол планшет, набитый какими-то бумагами и документами, снял папаху и начал растирать виски руками, страдальчески морщась.

— Господи, Господи! Куда ты ведёшь нас?.. — бормотал он.

Внезапно вскочив, «командир» подошёл к девочке, порывисто обнял её и почти закричал:

— Люда! Слышишь меня, Людочка, очнись! Не умирай, деточка… Мы должны ехать дальше.

Он замолчал, растерянно оглядываясь по сторонам. Взгляд его обратился ко мне.

— Юноша, — сказал он, — я немного не в себе… Недавно я похоронил Глашу — жену мою, и остался с детьми один. Мы едем в отряде есаула Куцеволова и сбились с Братско-Острожного тракта. Нам надо выйти к железной дороге — так, чтобы взорванный мост остался позади. Вы не могли бы мне помочь?

У меня защемило сердце. До Ровного доходили слухи о грабежах, мародёрстве и зверствах как белых, так и красных военных отрядов, но эти люди не производили впечатление зверей. И они в беде…

— Знаю, — сказал я, подумав, — но путь до Худоеланской очень труден. Им пользуются в основном охотники.

— А в кошеве там можно проехать? — спросил он, волнуясь.

— Если вы едете с отрядом, наверное, можно. Ваши люди вырубят кустарник, которым кое-где поросла дорога.

— Ты нас выведешь? — спросил он с плохо скрываемой надеждой.

— Я покажу дорогу, но до самой Худоеланской не пойду — я туда никогда не ездил.

— И на том спасибо, — ответил «командир», вздохнув.

В дом вошли два бравых молодца с шашками. Окинули взглядом избу, пылающий очаг, наряженную ёлку. Один особенно пристально уставился на маму, как будто пытался что-то припомнить. Потом доложил:

— Ваше высокоблагородие! В сарайчике две коровы стоят. Вели зарезать — надолго мяса хватит. Погода морозная…

Его высокоблагородие расправил плечи, поднялся, но тут же покачнулся, видимо борясь с внезапно начавшимся головокружением.

— Я уже приказывал, — начал он суровым тоном, — оставить этих людей в покое! Ничего не трогать! Не безобразничать!

Потом сник — сил у него было явно мало. Однако никто из отряда не стал ему перечить.

— Мадам, — обратился «командир» к маме, — не найдётся ли у вас какого-нибудь лекарства для Людочки? У неё сильный жар.

Мама принесла аспирин, дала его девочке, а остальные таблетки сунула «командиру».

— Возьмите, вам ещё долго ехать. Ребёнок совсем расхворался… Вот беда-то… И как вы поедете?..

— Благодарю вас, — отвечал он, тронутый маминым участием, — извините за вторжение. Доброй вам ночи! — И обратился к своим людям: — Этого юношу посадить в кошеву. Он поедет с нами — покажет дорогу. Как только остановимся, отпустить его. Препятствий не чинить. Отряду Куцеволова не отставать и по сторонам не рыскать!

Я проводил отряд через Муксут, но так, что они и не заподозрили существование нашего «тайника», в котором были спрятаны лошади. Когда мы вышли на охотничью тропу, ведущую к Худоеланской, я велел остановить кошеву, простился с «командиром» и слез. С этого места можно было без труда добраться до убежища, в котором оставались отец и Миша.

Мне было что им рассказать. Когда мы вернулись домой, нас поджидала встревоженная мама. Мы вдоволь наговорились о бурных событиях прошедших дней, и она вдруг сказала:

— А знаете, что я думаю? Они не зря ничего тут не тронули. Один из этих есаулов — кажется, Гарифуллин его фамилия, из той омской семьи Гарифуллиных, что владели рейнским погребком. Помните, мы там покупали фрукты и напитки?

Как не помнить!.. Милый омский погребок. Беззаботная довоенная жизнь… Как далеко всё это!.. Этот эпизод, только более драматично изображённый, вошёл в мой роман «Философский камень».

Пётр Чащин

В 1997 году при разборке дома в селе Айтат Большемуртинского района под потолком был найден дневник колчаковского офицера Петра Чащина. Ежедневник размером 19 х 11 см, объёмом около 200 страниц содержит записи с 1 марта 1919-го по май-июнь 1920 года (последняя — от 3 апреля 1920 г.). Вместе с дневником были найдены несколько писем, в том числе матери, и антибольшевистская листовка на взятие Перми.

Пётр Чащин родился в 1893 году в Айтате (первоначальное написание — Итат), основанном в середине XVIII века, в селе жили исключительно русские казаки и крестьяне. Семья не бедствовала, и Пётр имел возможность получить приличное образование — окончил министерскую школу и учительскую семинарию в Красноярске.

В конце 1914 года Петра Чащина призвали на фронт, он получил звание прапорщика. О том, где он воевал, где был в 1917 и 1918 годах, ничего в дневнике не пишется, о переживаниях автора в тот период можно судить по отдельным репликам, фразам.

В звании прапорщика Пётр Чащин дослужился до взводного 4-й роты Енисейского полка (затем начхоза роты). Девятого января 1920 года записался и начал служить в новой советской народной армии, в 4-м советском Енисейском полку на прежней должности.

При прочтении дневника интерес вызывает не столько описание реальных боевых событий, таких как мучительные переходы голодных замерзающих солдат, кровавые бои и потеря однополчан, мародёрство и грабежи, издевательство офицеров над рядовыми солдатами, сколько описание душевного состояния автора, его эмоции и чувства… Дневник предтавлен в экспозиции Большемуртинского краеведческого музея.

Дневник[1]

1 марта [1919]

Скучно. Несмотря на то что я растерял все свои тетради с записками, меня снова тянет внести ту или другую заметку из своей многоскитальческой жизни. В Н[ижне]-Уд[инске] пробыл всего недели три, откуда отчасти по своему личному желанию (уж больно не нравились мне офицеры моей части с их грубым, почти зверским обращением с солдатами), а частью и потому, что я пришёлся там, как говорят, не ко двору, меня назначили в действующий 11 полк. В Красноярске узнал, что приехал Яков, привозил хоронить тела убитых офицеров, это уж после меня, и живёт теперь дома. Я заехал к нему в Дубровину, и там порешили через две недели ехать в свой полк. Дома встретили все радушно, несмотря на то что до меня все мои односельчане собрались, только я покажусь, убить меня, в глаза мне ни один за всё время не заикнулся оскорбить меня чем-либо, и я успокоился. Успокоилась и мама за меня. Ездим по гостям, на спектакли. Успел влюбиться в одну учительницу и… и получить взаимность. О, если б я имел хоть часть таланта Надсона, я б вознёс мою «Л» до небес, но… Весна, я влюблён снова, и здорово. Все события из Иркутска вылетели из головы; письма «В» не читались, я даже опустил из виду, что в эту же «Л» влюблён по уши мой брат Георг, я целые вечера проводил с «Л». Говорили без конца. Мы теряли головы. А обещаний!

Я только теперь задумался над мыслью, что по отношению к брату я совершал преступление. Но ведь «Л» ему сказала, что она его не любит. И к тому же они снова остались почти вместе, а я… Возможно, что я и не вернусь; возможно, что снова влюблюсь, словом — всё возможно. Стоит ли думать?

Две недели не прошли, а пролетели. Как это было неприятно, но в условленный вечер приехал Яша, чтобы назавтра ехать в Красноярск. А Масленица со всей своей роскошью в деревне приближалась. Ехать вдвое не хотелось. К «Л» я решил не заезжать; не говорил также ей о дне отъезда. Лучше, решил я, и для неё, и для меня будет.

---

[1] *Публикуется по рукописи, в сокращении. Грамматика и стилистика автора сохранены. Орфография и пунктуация — по правилам современного правописания.*

До Красноярска ехали три дня не протрезвляясь. Заезжали в деревне к кому-либо из старых друзей. Пили, наедались и ехали до следующей деревни, где история повторялась. Наконец мы в вагоне. Вот уж неделя, как двигаемся, а до Челябинска ещё, говорят, сутки проедем. Скука, скука, скука и скука.

Сегодня воскресенье — последний день Масленицы, а мы стоим среди чистой, ровной, что море, скрывающейся за горизонтом степи. Вчерашней пургой занесло путь, и движение поездов прекратилось на неизвестное время. В вагоне от спёртого воздуха, от пота человеческих тел, густо населяющих вагон, духота невозможная. Вне вагона… Стоит лишь выйти на площадку, как холодный «северняк» пронизывает до костей и загоняет снова в вагон. Публика, разместившись на ящиках в проходах, на несколько партий дуется в преферанс. И как это им хочется! Не понимаю.

С утра до ночи сидят, и всё одно и то же слышно: пас, семь червей, открывай, ага, ужалился, ха, ха, ха. А хохотать-то, кажись, не над чем. Чудно, право, чудно.

4 марта

Хоть и тихо движемся, но нигде больше часу не стоим. Даже при пересадках в Челябе и Екатеринбурге вышло всё так, что поезд дальше уж был готов, словно ждал нас, мы садились и ехали дальше. С Челябинска пошли колесить уж по Уралу с его дебрями и горами.

Недалеко уж до Перми. Места пошли знакомые, знакомые неприятными горькими воспоминаниями. Хотелось взглянуть на могилы дорогих товарищей, но… большие сугробы снега сровняли всё, и лишь один могучий лес шумел, наводя на сердце тоску. Чёрт, шатает как, нельзя писать…

6 марта

Наконец-то добрались до Перми. Настроение хорошее, беззаботное в дороге, особенно от Челябинска, где мы попали в общество 6 чел[овек] своих офицеров-енисейцев, сменилось грустным, подавленным. На станции Пермь II полно раненых, больных. Наш полк наступает в 60 вер[стах] от Перми. Завтра пробудем ещё здесь, обтяпаем делишки и в полк. Что ж делать. Убьют — ну тогда не нужно ни паспорта, ни… А мало уж осталось знакомых в полку офицеров в живых, совсем мало, побили всех. Эх, убьют. Не жаль себя, а жаль мою старую, бедную маму. И она уж не жилец после меня.

(*Надпись вверху страницы:* Яш. Лал. проиграл в стукалку 8 марта 17 р. 30 к.)

8 марта вечером, с. Полуденное. Пер[мская] г[уберния]

Утром сегодня выбрались из Перми. Я ехал с Васей Рыковым в удобной двухместной кошевке с кучером на паре бойких лошадок. День выдался тёплый, и прокатиться на лошадях было приятно, если б обычные прифронтовые картины не портили настроения. По дороге навстречу без конца тянулись обозы с ранеными и больными.

Везут части орудий для исправления в завод, идут большие партии человек в 200—300 пленных красноармейцев. Всё это молодые, но изнурённые

лица, с безнадёжным выражением, по 2 в ряд, окружённые такими же людьми, с тем же наречием и привычками, но вооружёнными и властно покрикивающими на отстающих пленённых.

Пообедав у Васи (подъехал за нами и Яков), я дошёл до волости и попросил у коменданта лошадь ехать дальше.

Много мужиков с лошадьми толпились тут же, кругом волости. Очередной выехал, мы уселись и… Уж темнело, когда мы добрались до Полуденной, где, встретив знакомых офицеров, решили заночевать. До фронта остаётся ещё вёрст 20. Завтра что-то ждёт. Вечером доносились отдалённые, глухие взрывы снарядов, но ночью всё стихло.

9 марта

Ночь[ю] почти не заснул. Лишь только закрывал глаза, как немного забывался; как до слуха доносились взрывы, трескотня пулемётов (галлюцинация), я уж на поле боя, атака, крики «Ура». Я в ужасе, весь в поту вскакивал со скамьи и, убедившись, что я в хате, а не в лесу, — снова ложился. Под утро заснул и видел покойного отца. Его тень, как и в прошлые бои, опять со мною. Он хранит меня.

10 марта

Только вчера вечером добрались, вернее, догнали штаб полка, расположившийся в д[еревне] Б[ольшой] Сосновской. Въезжая в деревню, я встретил (уж полковник) Никитина Борю. Того, самого доброго, пользующегося симпатией всех офицеров в роте. Теперь ко[мандир] ба[тальо]на. Любезно поздоровавшись, спросив кой-что, он указал на квартиру офицеров 4 роты. Вошли в дом. Там человек 15 офицеров сидя, лежа, стоя о чём-то весело болтали. При виде нас все застыли, словно в «Ревизоре» Гоголя, на местах и ну ахать, ухать, охать. Приветствия посыпались со всех сторон. Вечером все выпивали привезённую нами водку; калякали о том о сём. Был и Никитин. Я переговорил с ним относительно моего бродяжничества. Он посоветовал мне успокоиться и написать рапорт.

Когда и куда уйдём отсюда — пока покрыто мраком неизвестности.

Сегодня ночью куда-то выступаем. На фронт. Ничего не вяжется, да что писать. Ещё судьбу испытать приходится. Что-то она мне готовит: гроб ли, отпуск ли снова.

12 марта

Шли всю ночь, растянувшись гусём по узкой, забитой снегом дороге. С полуночи повалил снег и потянул ветер. Луна спряталась за тёмные снежные тучи; сделалось темно, и дорога ещё стала несносней.

То и дело люди падают. Упадёшь — поднимешься и снова. То оступишься и провалишься до ушей в мягкий снег, то поскользнётся нога и (...).

Прошли две деревушки; до с[ела] Петропавловск[ое], где укрепились красные, остались вёрст шесть.

Перед светом ещё стало темнее; это предрассветная мгла. Но когда село было уж в полуверсте, темнота стала рассеиваться, и когда по бугру показалась наша

цепь, красные могли уж брать прицел. Меня оставили в третьей цепи, в резерв, как заместителя взводного офицера. Раздался выстрел, другой, третий, и… из третьей цепи крикнули санитар. Один уж ранен. Из села затрещали пулемёты, как градом осыпая наши цепи. Стреляют и залпами. Слышна даже команда: «Батальон, пли!»

Наши дружно отвечают из пулемётов и винтовок. Раненые повалили один за другим. С флангов тащили по снегу, увязая по плечи. Я было сунулся с лошадью, но лошадь так увязла, что еле-еле вытащили на дорогу уж распряжённой. Кое-как завернув других лошадей на узкой дороге, начали отправлять всё прибывающих и прибывающих раненых в деревню, где раскинут был Красный Крест.

Буря всё крепла, готовая превратиться в ураган. Пули по снегу свистели кругом, попадая в ноги лошадей, в подбор и подошвы сапог. Наступать и переходить в атаку на село было бы безумием. Пулемёты красных с церкви и домов положительно засыпали градом пуль наши цепи. После двух-трёхчасового боя наши первые цепи начали отступление. Пулемёты красных трещали без перерыва. Буря выла, засыпая дорогу и раненых снегом.

Шли тихо, сосредоточенно. Каждый ушёл в себя и думал о своём. Мои ноги, не чувствуя ни боли, ни морозу, бессознательно двигались по заметённой дороге. Стрельба затихла. Красные не решались, видно, преследовать нас. Юнусов ранен, я занял его место во взводе. В деревне (...) остановились и, выставив заставы, по дворам собрались было отдохнуть. Я залез на печь и растянул уставшие донельзя члены. Но только я улёгся, как в хату вбежал Яша с криком: «Наступают, стреляют кругом!»

Все через минуту были уж на улице в полной боевой готовности.

Но стрельба уж стихла. Это разведка подошла к нашей заставе, которая и не замедлила их обстрелять. Через полчаса все начали отступление в дер[евню] Баклуши.

Вечером 12 марта, д. Баклуши

Весь день простояли здесь. Солдаты истопили бани и вымылись. Мокрый снег не переставая сыпал весь день. В стороне с[ела] Кленовского всю ночь и день трещали пулемёты и орудийная стрельба. Темнело уж, я сидел и читал, вернее, перелистывал книги библиотеки, помещённой в доме нашего хозяина. Вошёл Яков Пах[омович] и позвал пройти по улице. Выйдя за ворота, в одном конце улицы мы заметили большую толпу солдат и граждан деревни. «Пойдём посмотрим, что за собрание?» Идём.

Подходим. На санях сидели женщина лет 40, подросток лет 15 и парень лет 20. Я подошёл к одному солдату и спросил. «А, это мужи[ки] прислали арестованных красноармейцев. Один постарше-то лазутчик, вишь».

Толпа гудела. «Убить их», — кричали одни. «Нас тоже бьют, не жалеют», — кричали другие солдаты. У лазутчика просматривали документы, и кто-то приказывал разуваться, но добраться до саней и узнать подробности происшедшего не было возможности. Разыскав Яшу, я предложил ему уйти. «Становись

к стене», — раздавалось в толпе. «Ты что думаешь, его и расстреляют», — заметил мне Яша, но только он успел это проговорить, как за нашими спинами раздался выстрел, второй и третий.

Меня трясло всего лихорадкой, но набрался силы, чтобы оглянуться назад. Мне не верилось, не хотелось верить, что подобная расправа всё ещё применяется, что жизнь человека не ставится, не ценится ни во что. Но это было так. Скорчившись, малый лежал у забора шагах в десяти от саней. Мы оба молча пошли дальше. Навстречу, с винтовкой на ремень и нагайкой в руке, прибежал к толпе солдат. До слуха доносились звуки скрипки и гармоники, но что игралось — понять было нельзя, да и не хотелось ничего слышать и говорить. Душа рыдала.

Дойдя до конца, мы повернули обратно. Толпа по-прежнему густо стояла у ворот. Несколько человек рассматривали застреленного тут же около толпы. Проходя, я увидел следующую картину. В тесном кругу играла гармошка и скрипка, а два чубука-солдата отдирали русскую.

«Тризну справляют», — сказал Яша, а рядом солдат рассказывал своему товарищу: «Штук сто бабе-то всыпали, вишь ты, а парнишке-то штук 15. Баба-то кричала, кричала, а под конец-то уж замолчала».

Я отвернулся и пошёл к себе.

Суббота, 2 нед[еля] Вел[икого] п[оста]

Забыл, которое и число-то сегодня, то ли 14, то ли 15.

Третий день принуждены сидеть в Баклушах. Третий день в стороне Кленовского николаевцы бьются за обладание этого села. Сегодня ночью обложили село кругом (я слушал в 2 ч[аса] н[очи] у телефона) и передавали в штаб, что к рассвету войдут в село, но не вошли, видимо, потому, что с раннего утра снова загрохотали батареи и пулемёты.

Самочувствие самое гадкое.

Прислушиваешься к малейшему стуку, шороху, волнуешься, нервничаешь. Каждую минуту готов надёрнуть полушубок и выпрыгнуть с винтовкой в руках из хаты.

Уснёшь час, и снова не можно сомкнуть глаз.

Да и то не сон, а сплошной кошмар. То красные в образе волков со скалящими зубами окружают, то уж в плену у красных, и тебя ведут на расстрел. Только начнёшь засыпать, и уж грезится что-нибудь, и снова смотришь в потолок с холодным потом на лбу.

Ложусь на полати с надеждой не слышать там стрельбы и заснуть, но шум многочисленного войска тараканов становится всё сильнее и сильнее и переходит в пулемётную трескотню. Чёрт знает что такое. А ноги и руки ноют, болят смертельно. Ни ходить, ни лежать. Уж убили б, что ли.

Страшно не хочется умирать в снегу. Пусть смертельно, но ранят, чтобы была возможность умереть на скамье и в комнате.

И тут удобства хочу.

18 марта, Баклуши

Проходит уж неделя бездеятельного, ленивого житья в этой деревушке.

Неужели же ещё мы провоюем, пролодырничаем долго. А ум до того обленился, отупел, что ничего не идёт на язык. И выстрелы уж не тревожат. Совершенно равнодушно смотришь на всё окружающее.

Но по сравнению с другими мы живём лучше. В доме, где мы поместились, расположена общественная библиотека. Дочь хозяина Аннушка заведует ей и допускает нас, как своих жильцов, беспрепятственно. Читают ребята напропалую.

Я прочёл очень много, но всё это прошло словно мимо ушей. То ли читаешь без разбора, то ли ум не воспринимает — но в памяти ничего не остаётся.

Вчера молотил с молодыми хозяйками, славными добрыми девушками Ольгой, Аннушкой и Машей. Все они немало удивляются, видя меня за той или иной работой. «И где это он научился?» — говорят они, видя, как я ловко владею вязальным крючком, иглой, граблями и т. п.

21 марта, с. Токари

На 19-е ночью в Баклуши пришёл нам на смену штурмовый батальон. Замёрзшие, занесённые с ног до головы снегом, поднявшимся с вечера ещё страшным бураном. Измученные вконец, они добрались и разом заполнили все хаты. С рассветом мы начали, как говорит Моисей, сматывать удочки. Часам к 10, расплатившись и самым любезнейшим образом распростившись с нашими хозяйками, мы двинулись в путь. На ветру до самой Сосновки, растянувшись, шли отсталые штурмовики. Везли и орудия, медленно, с большим трудом подвигаясь по забитой дороге. Большие сани с пушкой то и дело увязали в снегу или (…) в ухабах. Сердце замирало, глядя на эти сверхъестественные усилия людей и лошадей. «Пропало Петропавловское, — говорили наши солдаты, обходя снегом батарею. — Зададут им жару».

Поздно ночью добрались до какой-то деревнюшки и заночевали. До цели нашего путешествия осталось ещё 25 вёрст, а ноги отказывались двигаться. Наутро ещё хуже. Выйдя из избы, я обратно не в силах был поднять ноги на ступень крыльца, а идти было необходимо. Размявшись, кой-как пошагали дальше.

Пообедав на полдороге, пошли дальше. К селу меня окончательно оставили силы. Удивляюсь, как это шёл Яша. У него вся нога покрылась небольшими нарывами. А всё время шёл. На виду села я присел на снег. Перед глазами ходили тёмные круги. Я не видел, как прошли все наши роты, команды, и уж не помню, через сколько времени, подняв голову, я увидел незнакомые лица солдат. Они, проходя, оглядывали меня и шептали: «Енисеец отстал». «Что за оказия? — думал я. — Что это за люди?» Спросил одного. «А мы барабинцы». Я поднялся и со слезами на глазах побрёл дальше. Страшная боль в коленях не давала сгибать ног. В крайней избушке села нашёл наших и сейчас забрался на полати. Поужинав, ко мне забрались Яша и Финьковский с целью потеплее заснуть. Через час, закуривая, ребята осветили стену; она была вся усеяна полчищами клопов. Пришлось под хохот остальных слезать с полатей и занимать самое последнее место среди пола и мёрзнуть всю ночь.

23, воскрес[енье]

Сегодня с утра наш ротный к[оманди]р с к[оманди]ром б[атальо]на уехали осматривать позицию. Верно, задумали что-нибудь предпринять. Да и пора бы уж. Надоело всё до омерзения. От скуки не знаешь, куда бежать. Так тихо и монотонно тянутся дни.

Днём над селом появился аэроплан. Красных, видимо. Высоко-высоко белой бабочкой он пролетел над селом и скрылся далеко в нашем тылу. Верно, прокламации раскидывал. Через час прилетел обратно. Ночью, наверно, выступим. Что-то опять будет? Душа полна тревоги.

25 марта, с. Токари (ещё всё)

Вчера никуда не вышли из села ввиду, видимо, страшной бури, поднявшейся ещё с вечера. Ночью и днём ветер рвал, с ужасающей силой заметая всё снегом, сбивая с ног пешеходов и лошадей. Ничего подобного я не видел в продолжение всей своей жизни в Сибири. Только воображение мне раньше рисовало нечто подобное, когда я читал что-либо [о] морских бурях. Ветер рвал, ревел, валил всё плохо стоящее на пути и заносил сугробом снега. Выйти на ровное поле вряд ли рискнул бы кто. Только ночью сегодня он внезапно, как и начался, стих, лишь тёплый тихий ветерок чуть-чуть веял, размягчая снег.

О переменах на фронтах не слышно ничего. Затишье. Уфа, говорят, взята Семёновскими частями. Много полков Красной армии были отрезаны; батареи и масса всякого добра, то бишь — добычи. У нас каждый день перебежчики от красных с теми или иными новостями, ничуть не интересующими меня. Не солдатом я создан. Боже, зачем же они заставляют меня делать то, к чему я никогда не привыкну. Назначили на взвод, а я ни одной команды не умею подать. Эх ты, горюшко моё.

Скука, скука и скука, какой я ещё не испытывал, даже живя в Айтате.

В ночь на 30 марта

Чувствую себя великолепно, до обеда 29-го в деревне все расположились как у себя дома. Все разделись и спали. Я даже баню попросил истопить, но только лишь собрались в баню, как вдруг из-за лесу раздался орудийный выстрел, за ним второй, третий. Цель была взята красными так ловко, что снаряды с первого разрывались над домами. Ужас охватил всех. Мигом все были на ногах и одеты. Все поняли, что противник решил наступать и взять обратно эту почти неприступную позицию.

Жители с криком бегали по улице, не зная, куда схоронуться.

К ночи стрельба стихла. Очевидно было, что ночью что-то должно быть.

Чтобы не мёрзнуть, всем решено было дежурить по отделениям в окопах с пулемётами; остальным греться в хатах. Я прилёг на лавку, но глаза не закрывались. Нервная дрожь трясла, что лихорадка. Каждый шорох, стук заставлял вздрагивать и прислушиваться. Ночь казалась бесконечно длинной. Часа в 2 ночи из дер[евни] выехал полковник в сопровождении трёх всадников, видимо к 1 и 2 ротам в Судники. Не прошло и 10 минут, как в стороне Судников раздались выстрелы. Я соскочил и изо всех сил принялся растаскивать

спящих по полу людей. В голове сразу пронеслась мысль, что полковник наехал на разведку или цепь и… Бог знает что с ними. Через несколько минут были все по окопам, зорко всматриваясь в темноту, где проходили под горой дороги. По дороге быстро мчались четыре всадника. Живы, решил я, а пули всё продолжали лететь им вслед. Вот уж они в деревне. «Наткнулись на разведку», — крикнул Никитин, и проехали дальше. Задний ординарец был ранен и стонал. Я остался у столба — на дороге и молча всматривался вдаль.

Вдруг из темноты, под горой выделились две фигуры и тихо подвигались ко мне. Я решил, что это свои из деревни Судники, и, подпустив их сажен на 20, крикнул: «Стой, кто там?» Фигуры остановились, а из окопов раздались выстрелы. Под горой закричали «Ура» и бросились было вперёд, но в эту минуту затрещал пулемёт, и цепь на дороге упала в снег. Я прилёг.

На дороге послышались стоны. Стрельба продолжалась. Чтобы огорошить красных, наши командовали батальонам, посылали роту в обход. Кричали к[омандир]ра полка, который бог знает где, и что только не придумывали — смешно вспомнить. Тьма рассеивалась, и с ней стихли и выстрелы. 5 чел[овек] остались в снегу и сдались в плен. 2 принесли раненых, 3 были убиты. Наши все здоровы. Было тепло. Повалил мягкий, ласковый снежок большими хлопьями. На кусте черёмухи, перебивая друг дружку, щебетали синички и овсянки, словно праздник какой встречая. Душа болела. Я прислонился к стенке окопа и думал: как хорош мир Божий и что делают злые люди. А внизу, на дороге солдаты обдирали трупы убитых.

Через час этой тишины снова послышались орудийные выстрелы, и взрывы один за другим рвались в домах и на крышах, осыпая горохом-картечью последние. Люди в ужасе кинулись под стены заборов, в хлева забирались и залегали.

Я выбежал из окопа во двор нашей квартиры. Дом уже был без окон, а из дверей бледные, перепуганные бежали обозники, повар, хозяева с детьми, Моисей и Миша. Они зашли в дом, а за ними почти следом залетел снаряд и, подорвавшись в комнатах, выбил все двери и окна.

К счастью, люди остались невредимыми. Даже хозяйка, около которой в двух четвертях пролетел снаряд, вырвав угол дома, осталась жива. До позднего вечера громыхали орудия, до ночи пришлось лежать в сарае голодом, а вечером пообедав, всю ночь стоять в окопе и ждать. Но до утра красные не появлялись.

А сегодня, 31-го не слышно и артиллерии. Что-то будет ночью? Но теперь уж не так страшно, ибо за день все выспались и отдохнули.

(…)

30 марта, д. Николичи

Как мало сравнительно: только 3 дня, и как много пережито, выстрадано. Боже великий, кто даст человеку столько силы и терпения? 26-го из с[ела] Токарей в ночь выступили всем батальоном на д[еревню], забыл уж, как она и называется. 2 и третья роты впереди, наша за ними, и первая в авангарде. К свету подошли к позиции, к деревне, расположенной на горе. Мы остались в резерве под горой. Красные, укрепившись в окопах, подпустили наших к самой дер[евне] и вдруг открыли пулемётный

огонь. Цепь бросилась в снег, но многие остались на дороге с пробитыми черепами. Продвинуться вперёд было невозможно, нельзя было идти и назад. Потянули [к] батарее. Та ж замедлила открыть огонь, и после двух-трёх снарядов попадали прямо в окопы. Прошло около двух часов, мучительно долгих часов, и вторая рота ворвалась в д[еревню]. Красные удрали. Вторая и 3 роты потеряли 15 убит[ыми] и около 30 ранеными. К[оманди]р роты был убит. Очередь наша, т. е. четвёртой роты, идти на следующую дер[евню] в 3 вер[стах] (…). Вышли на последнюю гору. Нас разделял крутой довольно лог. По деревне бегали взад-вперёд люди, запрягали лошадей, увязывали воза. Рота залегла у дороги в снегу. Пулемётчики открыли огонь. Деревня казалась неприступной. Красные ответили таким же огнём, но через час из дер[евни] потянулись обозы и люди. Яков с первым взводом спустился в лощину и пошёл к деревне. В деревне было пусто. Солдаты с надеждой здесь отдохнуть сплошь побежали следом. Сваренный обед красными, нажаренное мясо из коровы тут же, у хозяина этой коровы, осталось нетронутое. Я не успел узнать, в чём дело, как у всех солдаты жмачно пережёвывали горячее мясо с хлебом. Вечером уж двинулись дальше. Пошла первая рота; наша за ней. Деревня Захарята находилась [в] 1 ½ верстах. Деревня стояла на поляне, окружённая ельником. Подойдя шагов на 200, рота залегла и открыла огонь, но встретив такой же из д[еревни], не могла двинуться ни шагу дальше.

Зарывшись в снегу, мы открыли стрельбу ротой залпом. Красных это, видимо, смутило, и через несколько минут на той стороне д[еревни] показался на дороге обоз. Я поднялся на ноги и замахал шапкой пул[емётчикам] 1 роты с криком: «Вперёд, уходят!» По обе стороны меня, рядом поднялись старые, добрые солдаты Сергеев и Трегубов и тоже кричали, стреляя по окопам. Пули вдруг так защёлкали кругом, что я повалился в яму. Повалился и Сергеев. Я взглянул на него и сразу понял, что он ранен. «Во что?» — спросил я. — «В обе ноги». Трегубов, увлечённый наблюдением, вдруг закричал: «Г[осподин] прапорщик, пулемёт повезли, смотрите!»

Но лишь его последнее слово слетело с языка, он со стоном повалился к моим ногам. Из груди текла кровь. Я соскочил снова и закричал из всех сил санитар. Дорога была от нас в саженях 20. Пулемёт нашей роты (как он попал сюда?) трещал против меня, и трое смельчаков неслись по дороге к дер[евне] с криком «Ура». Мы снова поползли к дороге, напрягая последние силы, тоже с криком и выбравшись из снегу, побежали к дер[евне], из неё уже не стреляли (1 рота просидела сзади), в окопах лежало несколько трупов, пулемётные ленты и патроны. Скоро подошли остальные взводы нашей роты, подъехал обоз, кухня, и мы, пообедав кой-как, повалились кто где мог. Но спать долго не пришлось, ибо по данной нам задаче нужно было сегодня занять одну д[еревню], эту проклятую д[еревню] Николичи. [В] 12 часов Б[оря] Никитин снова поднял нас, и пошли дальше. Ночь ясная и морозная, что на Рождество, из тёплой избы обдала всех холодом. Дер[евня], по словам проводника, стояла на большом бугру и кругом была обнесена окопами. Тихо спустились в последний лог, залегли и послали разведку. Но те не продвинулись и ста шагов, как из окопов заметили и открыли ураганный огонь. Подождали с часок и, пользуясь рассветной темнотой, давай «сматывать удочки». Спустились во вторую ложбину и остановились с надеждой с рассветом под прикры-

тием батареи снова двинуть вперёд. Но… С рассветом небо всё заволокло тучами, и поднялась страшная вьюга. Корректировать — наблюдать за разрывами снарядов было невозможно, хотя дер[евня] находилась от нас в полуверсте. Стреляли наугад. Отходить было невозможно. Лишь показывался человек в гору на дороге, как из дер[евни] раздавалась трескотня пулемёта, и смельчак или падал раненым, или полз обратно в лощину. П[рапорщик] Финьковский вышел взглянуть на бугор и тут же со стоном покатился, раненный в грудь. Пулемётчика ранило в глаз. Одного солдата в руку, санитара в ноги. Стоптанный снег под елями смешался с ярко-алой кровью и превратился в пёструю крупу. Но снаряды, видимо, попадали и в дер[евню]. Уносить раненых удавалось только тогда, как батарея начинала часто бить. Мокрые, голодные, без куска хлеба просидели до вечера. К вечеру буря немного стихла, стихли и выстрелы по нам. Мы все ждали желанной темноты, чтобы отойти обратно к Захарятам, но надежды наши не оправдались. К[оманди]р полка ночью приказал во что бы ни стало занять Николичи.

Половина людей были с отмороженными ногами и руками. Я не чувствовал ступни ног. Стемнело. Яшку отправили со взводом к д[еревне] в разведку. Я молча простился с ним. «Пропали все, — думал я. — Подпустят и…» Прошёл час, ни звука. Прибегает с донесением один и говорит, что подошли на 20 с[аженей], стрельбы нет. Полковник послал первую роту с Руфином (как чувствовали себя офицеры 1 роты, лежа под елью?), прошёл ещё час, и… и мы все отправились в Николичи «к вятским», шутили солдаты. Всем стало вдруг весело. Приехала кухня, и, плотно поужинав, мы заснули с Яко[во]м и Моисеем богатырским сном.

Ко мне подошёл наш Рафаэль Руфин (рот[ный] к[оманди]р) и отдал распоряжение слезть со взводом снегом по лощинке, поросшей густым ельником, в обход на фланг красных. Глаза его отражали ясно недоверчивость, смешанную с сожалением ко мне. Я спокойно (нарочно) встал из ямы в снегу, поклонился (это моя привычка — поклон, которым я хочу сказать, что я понял всё), собрал взвод и полез на четвереньках по снегу в лощину. На ноги подняться было нельзя не потому, что свистели пули, а потому, что сейчас же с головой утопал в рыхлом глубоком снегу. Солдаты молча, часто останавливаясь и прислушиваясь, ползли за мной. Уже стемнело. Мы выбивались из сил, все мокрые и обледенелые. Дорога казалась бесконечной. Солдаты отставали и останавливались, а на мой вопрос, что отстаёте, их взгляды отвечали таким страданием, что я сейчас же отворачивался и тихо полз дальше. Наконец показались дома и окопы, всего в нескольких саженях от нас. Я прилёг под последней елью в ожидании всех солдат и стал рассматривать. Как раз против меня стоял пулемёт и копошились в темноте люди. Посоветовавшись с ребятами, я решил одного послать к первой роте (она подходила по дороге позади нас) предупредить, что впереди свои. Пули свистели со всех сторон: и из окопов, и от наших, через нас же.

Ночь прошла спокойно. Наутро только я почувствовал, что пальцы ног отморозил. Перевязал и обулся снова. Прежде всего я обратил внимание на наших хозяев-вотяков. Большие, просторные дома, довольно чистые, ясно указывали на состоятельность и трудолюбие хозяев. Словом, впечатление об этой «удивительной губер[нии]» создалось самое хорошее пока.

Днём красные пытались наступать. Но… Где уж им.

1 апреля

К вечеру вчера опять до наступления темноты гремели снаряды.

В доме оставаться было опасно, снаряды рвались прямо над домами. Осколком у фельдфебеля оторвало пальцы у левой руки. Он шёл по улице. Ночь прошла спокойно, но не спалось. Каждый шорох, каждый стук заставлял вздрагивать и прислушиваться к новому стуку. Солдаты по ночам дежурили в окопах. Утром я забрался на полати и немного вздремнул. Видел даже сон. Будто я дома живу, весна хороша. Мама как-то помолодела и всё хлопочет по дому. Но вот кто-то едет. Я выхожу на двор и вижу отца на телеге с перебитыми ногами. Он мне улыбнулся и говорит: «Смотри, ведь прямо в ногу снарядом-то угодило». Над домом прогремел взрыв, и я проснулся. Спрятавшись за печку, ребята сидели и, вспоминая вчерашний день, дружно хохотали. Как Баланчук залез под амбар, боясь взрывов, а во время разрыва его Шадрин ударил бичом. Баланчук, думая, что его уж убило, заорал благим матом. Как Моисея ударило кирпичиной в ухо, когда он стоял у печки, а в печку прилетел снаряд. Вспоминали и смеялись, а над деревней, разрушая последние дома, громыхали снаряды. К вечеру поднялась метель, и орудия замолчали. Опять настаёт длинная, томительно длинная ночь.

3 апреля

Второй день уже не слышно красной артиллерии. Ночь приходится всё же дежурить. Чёрт их знает, перед сильной грозой всегда ведь бывает затишье. Затишье и у нас. Солдаты топят баню и моются. Вшей у всех…

Скучно, но что делать. Скоро Благовещенье, и у нас уж вовсю идёт весна. Прилетели скворцы и утрами заливаются у меня над крыльцом на своём двухэтажном домике.

Весна, весна. А здесь… О Боже. Ещё ни одного ясного дня, похожего на приближение весны. Ну и край!

4 апреля

Сегодня весь день писал домой и в Красноярск письма.

Один из наших добровольцев уволился и поехал. Как раз на праздник будет дома. А как уж он рад! Даже скрыть не может. Бегает, суетится.

6 апреля, д. Николичи

Как скучно, Боже мой, как скучно. Завтра вот Благовещенье. Какой это торжественный праздник, бывало, был дома. Не потому ещё, что его так чтили. Нет. С ним ведь шла весна: наша юная сибирская весна. К этому празднику всегда уж, передразнивая кошек, собак и по-всячески напевая, заливались скворчики, а в поле на проталинах жаворонки. Дороги уж портятся всегда, на улицах кучи назьму.

Утром ещё спишь, а мама (милая мама) уж напекла разных пирогов и наварила сластей. Объеденье. Поднимаешься. Отец с Андреем Васильевичем (его друг закадычный) сидят уж на корточках и, потягивая трубочки, вспоминают дни былые. Заслушаешься, бывало, их нескончаемых воспоминаний и[з] долго-

летней службы на востоке и из охотничьей жизни и забудешь умыться. На столе уж пар от всякой снеди валит. Эх, прошло то золотое время. Уж пятый год…

Что будет завтра, я скажу наперёд. Ночь просижу в полушубке и подсумках (красные хоть и не беспокоят нас, но…). Часа в четыре лягу, а в 10 поднимусь, разденусь, напьюсь чаю с баранками, и… скоро вечер. А там…

Вчера ездил к Яшке верхом в Судники. У его стряпали пельмени. Пельмени запивали хорошей брагой. Натянулся до того, что живот спучило и в голове шумело до полночи. С наступлением темноты вернулся обратно. Позже-то боялся. Хоть и две версты, а ночью-то жутко. Жить всё ещё хочется. Особенно весна заманивает. Ведь когда-нибудь да настанет она здесь. А пока зима, настоящая зима.

9 апреля

Сегодня рано утром прибежали крестьяне из лагеря красных и сообщили, что все соседние дер[евни] красными оставлены. Наши одновременно на всех участках двинулись вперёд. Во второй деревне, окружённой со всех сторон глубокими окопами, наша рота остановилась. Разведка ушла вперёд. Ночью и мы двинемся. Вдали, на высокой горе красиво виднеется большое село.

Утром уехал Миша Непомн[ящий] домой. Как он рад, как рад, Боже мой! Ног не чувствует под собою, ведь с самого начала кампании не был дома.

11 апреля

Ночью прошли ещё две дер[евни] с мудрёными вотятскими названиями. Остаток ночи и весь день сегодня сидели в небольшой деревушке. Остальные роты наш[его] б[атальо]на пытались ночью наступать, но… ещё неизвестно хорошо, а отошли с потерями. Позиция страшно неудобная. От 3 роты остался один взвод, и неизвестно, вышел ли… Весь день с ума нейдёт Яшка. Уж взвод оставил — верно, невмоготу пришлось. Жив ли он? Из 2 р[оты] убит наш… Муртинский (…). В войну с Германией парень остался цел, а тут вам… Грустно.

Сегодня тёплый весенний день. Дорога растаяла (…). Ещё таких 2—3 дня, и мы застряли на всю Пасху.

А там всё (…) трещат пулемёты и охают орудия… Ночью и нас тронут, наверное. Страшно, конечно… убьют… а может, и лучше будет. Измучило меня это одиночество. Ах, какая тоска! Не с кем даже словом перекинуться. Офицеры наши с утра до ночи дуются в преферанс, благо их теперь четыре профер[ансиста] сошлось: Руфин, Чернявский, Моисей и пулемётчик Григорьев. Да и не люблю я их всех. Ненавижу порой, не выношу и, лишь бы не нагрубить кому, ухожу часто куда-либо или забираюсь на полати. Особенно не нравится мне этот Григорьев. Мальчишка (…), а с солдатами держится как (...) генерал. Да и от всех от них николаевщиной пахнет.

Моисей — этот (…), в чём я усматриваю его, не (…) болтает зря, а что на душе, сказать нельзя. Он тоже страдает. Уйти во взвод не решаюсь. Будут говорить и заподозрят ещё в провокации. Есть ведь такие.

16 апреля, д. [Сушитопал]

Яков из 3 р[оты] перешёл снова к нам. Тот взвод у них пролежал целые сутки в снегу, и только ночью, когда сильно стемнело, они выбрались. Убит один был. Яков рассказывал, как весь день красные уговаривали взвод сдаться и перейти к ним, но солдаты их посылали к… или отвечали залпами. Красные их и бомбомётом громили, осыпали градом пуль, но солдаты мёрзли, но были неумолимы. К утру и красные ушли из деревни. Мы пошли за ними по горячим следам. Дорога уж не держала, и, отступая, красные сгоняли всех баб, ребятишек, стариков с лопатами прогребать рядом новую дорогу в трёхаршинном снегу. Сопротивлялись редко. В деревнях только оставалось несколько людей прикрывать отступающие части, которые, дав несколько залпов по нашим, убегали. Только третьего дня из одной деревни не хотели скоро уйти по той же, видимо, причине, и с 8 ч[асов] утра до 11 ночи нашей роте пришлось пролежать в снегу у самой почти деревни. Троих пулемётчиков убили у нас, человек шесть ранили. Ранен и Руфим. За ротного остался пока В[аня] Чернявский.

Дорога вконец испортилась, в каждом логу, ямке появляется вода. Обоз где-то застрял, а в роте ни хлеба, ни мяса.

До Пасхи осталось всего четыре дня. Страшная мысль, что в первый день Пасхи придётся сидеть без куска хлеба, точно электрический ток передаётся каждому. Где ни послушаешь, только об этом и толкуют. Обедать и ужинать приходится кой-как; лишь бы не умереть с голоду. Хлеб каждый день собирают у жителей покусочно. Из третьей роты вчера уехали вёрст за 20 побираться. Хотят собрать побольше.

18 апр[еля], пятница, д. [Сштопал]

Вчера вечером был праздник, полковая лавочка подвезла сушек, сыру, колбасы и табаку, но при разделе всего пришлось по стольку, что вчера же и поели всё. Привезли и хлеба пять пудов. До Пасхи хватит, а там…

21 апр[еля], д. [Сштопал]

Вот и Пасхи дождались. В субботу собрались чуть было не все (с утра) идти в село к утрене и заспорили об очереди: кому идти, кому остаться дома, но когда дело дошло до того, что нужно собираться и выходить, то у одного заболела нога, у другого живот, и в конце концов отвалили я и Моисей.

До села было около восьми вёрст, половина трактом, половина просёлочной дорогой. Снег ещё не стаял по просёлочной, и ноги глубоко увязали или проваливались в яму, наполненную водою. Солнце ярко грело.

«Скорее бы добраться до тракту, там, небось, сухо», — говорил я, шагая впереди, а Моисей ворчал и грозил уж вернуться.

Но вот деревушка и тракт. Трактом действительно оказалось если не везде сухо, то сносно идти. Всюду проталинки, под каждым мостиком стремглав неслись мутные ручьи. Солнце большое, красное, что огненный шар, садилось. В воздухе чувствовалась прохлада. Идти не хотелось как-то. «Давай полежим на этой проталенке», — скажет Моисей, и я (...) соглашался. Пройдя сажень

200—300, мы снова ложились и молча наблюдали за закатом. Уж с наступлением темноты добрались до села, зашли в первую попавшуюся на глаза избу. Попили чайку, покалякали с хозяином-стариком и легли было отдохнуть, но…

Удар в колокол напомнил нам о нашей цели. Пошли в церковь. Хозяйка подала нам по красному яичку. Церковь, не освещённая за неимением свечей, не убранная, как у нас в Сибири, зеленью, представляла довольно скучный вид, и в душе у меня осталось самое подавленное впечатление. То, что я хотел здесь найти, я нашёл и вернулся далеко не удовлетворённым. «Всё не то, что там, дома», — сказал я дорогой, видя, что и Моисей идёт чернее ночи. «Нет, не потому, Петя; мы слишком огрубели и постарели, у нас не осталось того поэтического чувства, как это было пять лет назад, нам тогда всё казалось радостным, светлым, а теперь подавленность какая-то», — Моисей расфилософствовался, но так же неожиданно умолк, как и начал. «Может, он и прав», — думал я.

Молчал, шагая к деревне. Ребята спали ещё. Будить не стали и, подзакусив жареным гусем, мы тоже завалились спать.

Остальная часть дня прошла как-то быстро. Ежеминутно пили чай с сыром и хозяйкиными шаньгами, ели гуся и дурили. Небо всё заволокло тучами, и дул холодный, пронзительный ветер.

Сегодня день такой же холодный и тянется без конца. Скучно, скучно, скучно.

25 апреля

Пятница сегодня уж. Неделя Пасхи проходит скучно и, как это ни странно, незаметно, в спячке. Ничего не читаешь, не думаешь ни о чём, а так… словно потерял что: ходишь и ищешь. Встанешь утром, попьёшь чайку и на солому спать.

Вечером пошли с Яном бродить по проталинам. На чистом месте снегу не видно почти. В лесу ещё очень много. По пашне грязно, ямы полны воды, везде журчат ручейки. Хорошо, особенно хорошо на покосе. Мы, перейдя один ложок, вышли на небольшую поляну, окружённую лесом. Посредине стояла большая, толстая ива. Легли. Боже, как хорошо тут. Солнце садилось в тучи. Тёплый ветерок, ласковый такой, тихо-тихо. Напоминал о грозе прошлого лета, веял. У нас гроз никогда не бывает в это время, и мы её не предвидели. Мы погрузились в свои думы. Я только что прочёл «Над обрывом» Шел[лера]-Михайлова, кто-то только что привёз. Славная вещь. Я чувствовал себя Мухортовым и передумывал свои, почти забытые, намеченные пути, мечты учиться и отдать все свои силы, всего себя другим. Беспощадное время разбило всё. Здоровье уходит, душа становится какой-то пустой. Одно ещё, об одном молюсь я: Боже, сохрани мою жизнь, елико возможно, чтобы хоть одну мою мечту я мог осуществить — построить школу в Айтате. Не из пустого тщеславия мне хочется сделать это. Нет. Мне больно смотреть на мой богатый во всей почти волости Айтат и во всей волости дикий и отсталый. Хочется показать мужикам, как это необходимо им, как они глупы и невежи. Убью всё своё сбережение и сделаю. Долго мы пролежали, разведя небольшой костёр. Где-то далеко-далеко трещал пулемёт и вин-

товки. «Опять начинается, опять умирают люди, глупо умирают, — сказал Яша, указывая по направлению, — а жить-то как хорошо. Господи!»

С противоположной стороны, из Полома ветер доносил звуки оркестра. Там веселились, играли. Наше полковое начальство. Я влез на иву и, удобно усевшись в сучьях, долго, пока не стемнело, сидел со своими думами. «Ну пора и идти, а то нас потеряют. Завтра придём с котелком и будем здесь чай пить», — позвал меня Яков, и мы, обмениваясь своими мыслишками, побрели к деревне. На столе уж бурлил самовар, а кругом, весело болтая, размещались ребята. Григорьев получил из дома посылку: сухари сдобные и момпасье. Сели и почти враз всё уничтожили. Кто-то где-то слышал, что наш полк едет скоро в Красноярск на усмирение енисейских большевиков.

Приятная новость, что и говорить.

В хате было душно. Постелившись на крыльце с Яном, мы долго ещё говорили о нашем прошлом, (…) наших благих порывах. Вдали погрохотал гром и, прорезая темноту, ярко сверкала молния. Тучи двигались к нам.

26 апреля

Сегодня, набрав провизии, т. е. купили два котелка картошек, сала у меня было запасено немного, хлеба, чаю, мы с утра убрались (уж четвером, Моисей и…) на знакомую нам поляну. Солнце ярко, по-летнему пекло. До самого вечера пробыли там. Писали письма, пели, дурачились, особенно Моисей с Яковом. Ну и комики же. Уморили. Варили картофель и делали из него кашу с салом. Вкусно. А потом чай пили.

29 апреля 19 г., д. [Саштопал] Вятск[ой] г[убернии]

Сегодня родительский день. Наша хозяйка поднялась необыкновенно рано, и всё утро я сквозь сон слышал ея толченье, мешанье и стряпню (я сплю у стола в кухне). К[оманди]р б[атальо]на приказал роту выводить на занятие. Люди со вчерашнего обеда ещё ничего не ели. За неимением мяса и хлеба ужин не варили в роте. Мы все боялись, что не вышел бы скандал. Тем более из третьей роты передали, что там чуть ли не забастовка. Мы пили чай с хозяйским хлебом. Солдаты собирались один по одному напротив в сухой двор. Вдруг во дворе раздался выстрел и сейчас же раздирающий душу крик о помощи. Мы из-за стола бросились туда. Солдат лежал на земле с простреленной грудью и тяжело дышал. Крови не было. Фельдшер перевязывал рану. «Умру… ой, тяжело мне… положите…» — стонал красивый, здоровый Чигунов. Тут же стоял весь бледный, выстреливший нечаянно, его товарищ. Перевязали рану; больной немного успокоился; говорить стал спокойнее, но… Члены отказывались ему повиноваться. Из раны текла кровь. Сделав поудобней постель на дрогах, его положили на носилки и понесли к телеге, чтобы отвезти в околодок. Бедняга попытался ещё запеть «Носилки непростые из ружей сложены», но слёзы сдавили ему горло, и он заплакал. Я ушёл, чтобы тут же не разрыдаться. Через час его не стало.

Молча, тихо, словно придавленные, все позанимались немного и разошлись по квартирам. Хлеба не было. Подарки к Пасхе из Красноярска три дня как про-

везли через нашу деревню в штаб полка, чтоб там их разделить и разослать по ротам. Посланный от нашей роты за подарками приехал ни с чем. Там идёт ежедневное пьянство, к[оманди]р полка Журавлёв, или мыльный адъютант, как его называют у нас, устраивает чуть ли не оргии, обжираясь, обпиваясь, а тут… Господи, что только делается. В отпуск едут знакомые и любимчики. Голодают солдаты, сидят без табаку неделями, а там…

К обеду мне принесли две посылки, одну от Георга, другую… Не ждал, вот не ждал, от Евгении Исаевны. С чего это она — ума не дам. Мы почти ненавидели друг друга, когда я жил у них. Я её не любил за её скупость, она меня, кажется, органически не переваривала, я это чувствовал, но она так воспитана, так тактична, что ни разу не поставила мне это на вид. Она не скрывает этого и сейчас. Видно из записки ея в посылке.

В Гошкиной посылке были запрятаны бутылки водки. Сегодня опять праздник, но… Смерть Чугунова [Чигунова?] тяжело лежит у всех на душе, и водка не так смачно пьётся. Эх ты, жизнь… Жил человек, шутил, смеялся вечно, был жизнерадостный, каких мало, и… Чем и я гарантирован от этой глупой случайности? Да и каждый-то из нас?

3 мая, суббота

Сегодня у наших хозяев большой праздник по поводу мытья мот, т. е. пряжи по-нашему. С раннего утра Гавриловна стряпала, варила. Жарила, мыла, чистила. Ну, говорили ребята утром, поедая блины, которые Гавриловна с дочерью еле успевали печь, что это сегодня будет такое. Я уж заранее знал от Егорушки, с которым сдружил, что день мытья мот у каждой хозяйки глубоко чтится. Почему — мне Егорушка не объяснил, так как плохо говорил по-русски. Смотанные нитки в полмотья, или моты, на несколько дней клали в золу — «золили», потом вынимали из золы и ложили на горячую печь. После чего их прополаскивали, сушили, и они были готовы к тканью полотна. Сегодня утром Егорушка запряг своего каурка в телегу, сложили на постланную в телегу солому моты и собрались их везти на реку полоскать. До реки было версты 1½. От нечего делать пошёл и я, хотя у меня была надежда увидеть там на реке ещё какую-нибудь церемонию при полоскании мот — результат упорного труда в течение долгой зимы. Но там ничего особенного я не заметил. Разложив большой костёр, я прилёг на берегу, и под неугомонный непонятный мне говор работающих Наташи, Кати (старшей дочери Гавриловны) и ещё какой-то девахи я задремал.

Холодный ветер шумел по вершинам деревьев, небо хмурилось и грозило дождём. Крик Егорушки о помощи заставил меня проснуться. Моего приятеля сёстры тащили в воду, я соскочил и бросился выручать его. Катя бросилась бежать, а с Наташей у нас завязалась борьба. Через несколько минут мы оба были в воде; я по колено стоял, а она по пояс сидела. Кой-как объясняясь и громко хохоча, выжав намоченные юбки Наташи и подол моей шубы, мы, чтобы не замёрзнуть, быстро пошагали к деревне. У Гавриловны уж шумел самовар, а на белой скатерти стола наставлены были разные яства и дразнили аппетит.

9 мая

Холодно. Сыро. Выпавший снег за ночь растаял, и сухая дорога превратилась в липкую густую грязь. Ввиду предполагаемого на днях смотра нашему полку приходится ежедневно выходить с ротой на занятие.

Скучно, однообразно проходят дни.

Слух об отводе нашей дивизии в тыл замер где-то. Что вот после смотра будет.

Вчера приехал богатырь — Гилев — из отпуска и привёз небольшую толику спирту. Его произвели за его неустрашимость из ун[тер]-оф[ицера] в чин прапорщика, и по этому поводу устроили вчера пирушку. Я отказался пойти и до вечера сидел за письмами.

Стройное пение молитвы Господней оторвало меня от письма, это рота, выстроившись под окном для поверки, пела вечернюю молитву. Молитва кончилась. Из избы пирующих вышел без шапки с улыбающейся до ушей физиономией, пошатываясь, к[оманди]р роты Чернявский Ваня. Роту построили на песни. Против стояли повари-пулемётчики — словом, глазеющая публика. Чернявский, желая, видимо, доказать свой авторитет, напустился на повара. «Как ты стоишь? Не видишь, что перед тобой стоит начальник?» — доносились до меня слова пьяного «начальства». Он ещё что-то доказывал оторопевшему Трубникову заплетающимся языком, но песня роты заглушила его слова. Из избы, без пояса, растрёпанный, бежал пр[апорщик] Патрикеев. «Стой!» — скомандовал он роте. Те замолчали. «На месте шагом урш! — крикнул он и неверным, пьяным голосом затянул: — Вдоль да по речке, вдоль по Казанке». Солдаты улыбаясь подхватили: «Семь девок, один я».

«Ну, дела», — подумал я и, накинув шинель, пошёл бродить на луг. Из деревни долго ещё была слышна песня. Видно, гулякам доставляло это огромное удовольствие. Но что скажут солдаты?

13 мая

Вчера вместо обетованного Красноярска выступили на передовую позицию, чтобы сменить уставшие части бийцев. В Поломе заночевали, а сегодня с рассветом вышли по грязной разбитой дороге к месту назначения. Уж стемнело, пришли. Прошли около 40 вёрст. Давно уж не ходили, и многие поэтому поотстали, растесались. Я тоже еле доплёлся, а тут ещё надо дежурить. Вот где испытание-то, Господи.

Четвёртый час утра. Всё тело ноет, болит, а спать хочется смертельно. Так бы лёг, заснул и не проснулся б никогда. Кругом деревни расположены посты. Люди расставлены и зорко следят за угрюмо-молчаливым лесом, обхватившим полукругом деревушку. Жутко.

Слух, несмотря на усталость и сон, до того напряжён, что малейший стук заставляет вздрагивать. Тихо. Темно.

17 мая, д. Гиреевская

Третий день не переставая сыплет дождь. Нахмурилось небо и плачет, как в глубокую осень, плачет не о прошлом лете, плачет [о] горе людском, поразившем землю нашу. Плачут и люди, лишаясь самого необходимого, самого существенного в крестьянской серой жизни.

Припрятанное от красных, хлеб, лошади, телеги, и вынесенное на свет Божий после их отъезда отбирается теперь нашими. Забирают лошадь последнюю, забирают хлеб, не считаясь с тем, что, не спахав и не посеяв, семья будет обречена на голодную смерть осенью же. Сегодня нашли у одного мужика телегу в соломе и чуть не выпороли его за это. Телегу забрали.

Прапорщик Максимов свирепствует, наводя на жителей страх своими дикими криками и запугиваниями. Чтобы не видеть, не слышать подобных расправ, я ушёл во взвод к солдатам. Попросил у учительницы буквари и в свободное время учу желающих читать, считать и т. д. Сегодня вся деревня с мала до велика роет окопы. Дождь льёт не переставая. Улица превратилась в сплошную лужу. Скука какая, Боже мой. Убили бы уж, что ли. Пойду к учительнице. Она, кажется, славный человек.

20 мая, д. Ст. Шабсуковская

Вчера покинули гостеприимный дом учительницы в Гиреевской и ушли на место недавней стоянки. Скучнее ещё стало на душе. Ведь как там можно было б жить-то хорошо! Их трое там. Молоденькая хозяйка Наташа и две ея подруги-беженки Женя и Маня. С утра до ночи мы околачивались у них: пели, шутили. В стороне оставался один Патрикеев и цинично высмеивал и их, и нас. Все они такие славные, что, право, я не мог ни на одной сосредоточиться и ухаживать вплотную. Яков замечал это и говорил Наташе: «Вы не больно-то ему доверяйте, видите, он ухаживает за Маней, с Женей кокетничает, а вам предложение хочет сделать». Я бы и впрямь Наташе сделал предложение, она такая умная, рассудительная. Но место в сердце ея занял какой-то николаевский офицер. У Мани тоже. С Женей снюхался С. Максимов. Вчера верхом поздно вечером ездил к ним. Вернулся, я дежурил, весь сияющий, счастливый. «Она любит ведь меня, я возьму её к себе сюда», — сказал он, встретив меня. А на безоблачном небе горели бледные звёзды, залитые белым светом луны. Сегодня яркий, безветренный день.

Внизу на реке строят переправу, сотни людей копаются там: пилят, рубят, копают землю. Гомон, треск стоят там, а река беззаботно с сильной быстротой несёт свои мутные весенние воды, точно желая этим сказать глупому народу: «Работайте, работайте, всё равно разрушу всё!» Скоро мост, вероятно, поставят, и мы пойдём вперёд.

22 (9) мая

Рано утром сегодня выступили на позицию заменить уставших, занявших несколько деревень [ново]николаевцев. Предполагавшийся сегодня пикник (обещали прийти учительницы) рухнул, как много рухнуло и других хороших

надежд. Учительниц встретили по дороге к нам, погоревали и пошли проводить нас. Маня шла со мной, Женя с Максимовым. Она, бедняга, влюбилась в его по уши, а он… Эх, мужики!

Пройдя вёрст 5 по шоссе, красивой, сухой, обсаженной ещё при Екатерине II по обе стороны аллеями, теперь уже старыми претолстыми берёзами, дороге, мы свернули на просёлочную грязную, идущую густым лесом дорогу. До деревни, куда нам нужно было идти и занять позицию, оставалось 10 вёрст. Лошади то и дело увязали в грязи, ложились и отказывались везти. То и дело распрягали, вывозили на себе возы, запрягали и, отъехав несколько сажень, снова по брюхо увязали в липкой, как тесто, грязи. К 3 часам вечера измученные вконец люди и лошади добрались до небольшой деревушки, где, сменив николаевцев, заняв караулы и заставы, засели за самоварчик у добродушных вотячек-старушек.

Вбоку… гремит артиллерия наша и изредка потрескивают пулемёты.

«А дома-то сегодня, — сказал мне за чаем Яша, — всякая тебе всячина наварена и напечена. Ешь — не хочу, а водки-то!» «Да, — вздохнувши глубоко, сказал я, — сегодня престольной праздник в Кантате». «Эх, Петя, подранило бы нас, — продолжал он, — и мы бы покатили оба домой. Время-то, время какое настаёт, Господи, а мы тут, среди этого ужаса и смерти».

(...)

1 июня 1919 г., д. [Никулинское]

Один Бог видит, что было пережито, что перечувствовано за эти десять последних дней наступления. Не один год жизни унесли эти дни, не потому, что изнурено и измучено тело, а потому, что душа изболела, переживая эти ужасы произвола, повторения давно прошлых чёрных дней средневековья. Ещё в д. Талагурт (в первой, где остановились, отойдя от тракта) начались эти ужасные дни. Красные пытались ежедневно наступать на занимаемую нами деревню.

То ночью, то среди дня вдруг выйдут из лесу и давай обстреливать наши окопы. 28-го пошли и мы на их дер[евню], что в 12 вер[стах] [от] Талагурта. Всю ночь шли по топкой вязкой дороге, вытаскивая из грязи лошадей и телеги на каждых 10 саженях. К свету кой-как добрались и обложили деревню, но в самый решительный момент наступления по [те]лефону передали немедленно отступить. Снова с таким же мучением, проклиная всё, потянулись обратно, по непроходимой лесной дороге.

Из Талагурта удрали все в тыл, боясь быть отрезанными. Долго все ломали головы об этом отступлении и лишь назавтра узнали уж, что на следующем участке красные сделали прорыв и прогнали егерцев.

29-го часов около 12 дня красные вышли из лесу и обложили нашу дер[евню] с двух сторон. Поднялась страшная канонада. Наши густо засели в наскоро вырытых окопах по горе и отстреливались. Забарабанили наши пулемёты, и красные, спускавшиеся с горы близко к деревне, смешались и побежали обратно. Огонь наших усилился, а через несколько минут на поле битвы выскакала подоспевшая к нам сто чел[овек] конница. Просторный луг огласился гиканьем

и криком «Ура». Пехотинцы, т. е. мы, бросились в атаку. Путь красным был отрезан, и они бежали кто куда, сбрасывая всё с себя.

Сбрасывали сапоги и босиком старались добежать до леса, где у них были спрятаны лошади, бежали. Кавалеристы рубили направо и налево. Через час всё смолкло. На поле остались лежать изрубленные, окровавленные трупы людей. Лес грустно, молча смотрел на эту картину ужасной, дотоле невиданной драмы, густой стеной обхватив поле. Шумела лишь деревня, удивляясь, радуясь чему-то, рассказывая друг другу всё с новыми вариациями о бое. Наша рота пошла дальше на Святогорск.

Пройдя вёрст 20 лесом, мы выбрались на холмистую, с небольшими перелесками местность. На другой день пошли обходом. Наш полк почти целиком двинулся по этой дороге. Наступление велось на всех участках фронта. Красные бежали. Кругом бухали орудия, трещали пулемёты, залпы. Трудно было понять, что тут творится. Обойдя деревни три довольно сносно, на другой день подошли лесом к укреплённой позиции красных. Остановились на верху холма и завязали перестрелку через дер[евню] с соседним холмом, где в хорошо оборудованных окопах засели красные, скоро перешедшую в ураганный огонь. Идти дальше нам было невозможно. Начала бить батарея. Снаряды падали в деревне, пока не взяли цели по окопам на холму. Красные ответили тем же. Их снаряды с грохотом, потрясая воздух, рвались кругом нашей цепи. Вырыв небольшие ямки, наши залегли. Скоро от разорвавшего в дер[евне] снаряда загорелся дом. Ветер клонил на деревню. Через несколько минут большая деревня превратилась в море огня. Пули засыпали наши цепи. Тушить и думать нельзя было.

К потёмкам красные покинули окопы. Мы заняли их, но деревня уж сгорела. Огненные языки слизывали остатки заборов и домов. Люди повылазили из ям и с невыразимым горем ходили кругом догоравших брёвен своих гнёзд. Тут же бегали коровы, овцы, куры. Деревня огласилась общим рёвом, а вдали, на холму, сливаясь в один общий гул, казалось, слышалось каким-то стоном, страшным, раздирающим душу стоном. Кругом на горизонтах, ярко освещая небо, виднелись большие зарева. Там тоже горели деревни. И там стоял такой же стон, и там сотни людей остались без куска хлеба, без крова.

Рано утром двинулись дальше. Деревня ещё дымилась. Мужики и бабы ходили по пеплу и, палками разрывая, что-то искали в нём. Прошли ещё три деревни, подбираясь к каждой из них обходом, с тревогой и опасениями, цепями, но красных ни в одной из них не было. Они ночью ещё отступили, не укрепляясь ни в одной из них.

Здесь, в Никуленках, в небольшой, по одной стороне окнами к большому пруду деревушке, живописно расположенной, наша задача, видимо, кончалась, и мы в первый раз в три дня дождали здесь кухню и пообедали. Здесь только за три дня крепко уснули все. Дня ещё оставалось достаточно, чтобы подышать этим чистым воздухом, наполняемым ароматом цветущей черёмухи, выйти на пруд, заняться рыболовством.

По берегу много было разбросано лодок и рыболовных принадлежностей.

Хорошо! Сюда, казалось, собрались для того, чтоб отдохнуть душой от последних кошмарных дней. Но и тут без несчастья не обошлось. На маленькой лодке, забрав две морды, отчалил от берега наш сибиряк-богатырь Ашанцев, но отъехав сажени четыре от берега, лодка перевернулась, и Ашанцев, крикнув раза «Лодку мне!», пошёл ко дну на глазах всех товарищей. Бросились спасать, но только через час кой-как нашли его безжизненное тело. Спасти уж не удалось, несмотря на всевозможные средства. Тут же на берегу под двумя берёзами вырыли могилу, сделали вроде гроба из досок, опустили.

Прочитали молитву, опустились на колени, и… и не стало нашего весёлого богатыря-инструктора.

2 июня

Сегодня с 4 часов дивного утра хожу по кустам черёмухи. Поднимаясь так рано, мне нужно было сменить дежурную часть. Боже, какое блаженство, какое чудное это утро!

Долго сидел на могиле Ашанцева и писал. Написал его родителям с мельчайшими подробностями о смерти сына. Тут подошёл наш писарь Мальцев и набросал великолепный рисунок могилы Ашанцеву. Запечатали всё в конверт и направили по адресу его родителей.

Тут же под неумолкаемый звон птичьих голосов я сплёл венок на крест, принёс цветов и долго ещё сидел с горькой думой об этой глупой кончине. Мне всё кажется, что его живым вот взяли и закопали. Вечером опять переход в следующую деревню. Опять душа полна тревожных опасений, снова волнуешься, подходя к каждой горе, лесу, оврагу. «Когда же кончится это?» — слышишь от каждого почти солдата. Когда наступит конец всем этим мученьям? Ведь три дня уж хлеба нет. Собираем у жителей куски, чтоб не умереть с голоду.

15 июня н. с., дер. Сарапульская

Давненько уж я не брался за свою тетрадь. Негде было, не было под рукой бумаги и карандаша, да и не найти слов, чтоб было хоть несколько похоже нарисовать картину переживаний в эти последние 10 дней.

Началось с той деревни, где похоронили Ашанцева. Вечером 3-го мы вышли в дер[евню] Камковскую, чтобы сменить 3-ю роту с передовой линии. Днём следующего дня красные повели в наступление по всему фронту.

Части их ударили нам в лоб. Но подойдя шагов на сто, залегли под нашим обстрелом. Мы и не боялись, постреливая себе из окопов, не давая поднять головы красным. Но тут случилось более чем ужасное. Слева егерцев сбили с позиции. Связь порвалась с ними, а через полчаса в тылу у нас показалась конница красных. Нас окружили. Скоро телефон наш замолчал, и нам ничего не оставалось, как спасаться бегством по оврагу, тянувшему вёрст на шесть к реке и лесу.

7 рота стояла левее нас. Только что мы успели добежать до оврага, как путь 7 роте был уже отрезан, и они целиком остались там. Наша ротушка стремглав летела оврагом, а берегом по обе стороны, забегая вперёд, бежали красные, засыпая нас пулями, с криком: «Товарищи, сдавайтесь, товарищи, не бегите!»

Но оставаться ни один не хотел. Бросили пулемёты, бросили шинели, патроны, котомки, котелки и бежали, напрягая последние силы.

Я чувствовал, что не убежать, я уж остался позади всех. В овраг летели гранаты, страшным взрывом потрясая воздух. Скоро показалась в нескольких саженях из-за кустов конница с обнажёнными шашками, блестевшими на солнце. Я бросил лопату, подсумки, бинокль, но пробежав ещё немного, в бессилии упал под кустом. Три всадника с гиканьем проскакали мимо, в эту минуту раздался залп из стороны бегущих наших, двое из всадников упали, третий повернул и убежал обратно.

Я поднялся и снова бросился бежать. Ещё верста, и мы, перебравшись реку, считали себя в безопасности. Рота вышла в половинном составе, и только к утру вернулось ещё человек 20, блудивших в лесу, и 20 осталось убитыми и ранеными. Назавтра, пройдя около 40 вёрст в с[ело] Васильевское, чтобы сменить полк егерцев, ждали наступления темноты. Село дрожало от рвавшихся над ним снарядов. Пулемёты и винтовки трещали беспрерывно. Скоро кругом послышались сильные «Ура», и егерцы побежали. Побежали и мы.

По дороге сгрудились обозы, обгоняя друг друга, телеги, задевая одна за другую, ломались, увязали в грязи и загромождали дорогу. Красные кричали «Ура» и осыпали нас градом пуль. Ночью немного стихло, и чуть забрезжило утро, красные снова повалили густыми цепями, прикрываясь артиллерией, на нас. Долго мы пятились отстреливаясь, лишь к обеду красные отстали, и мы спокойно прошли вёрст 15 и оказались на горе, которую обходили недели три тому назад, двигаясь из Талагурта и Андреевки.

Здесь до следующей ночи мы могли уснуть и поесть, а ночью, окружённые красными, снова спасались бегством в лес. Тут чуть-чуть не осталась наша батарея и штаб полка. Словом, д[еревня] Молигурт останется надолго в памяти у оставшихся в живых. Тут уж началось форменное отступление всего фронта. По тракту двигались ряда в три обозы, растянувшись на десятки вёрст, а по бокам шли люди. Войском уж нельзя было назвать этих изнурённых голодом и ходьбой людей. Это были беспомощные существа, не думавшие уж и о своём спасении.

Смешались все части. Тут и енисейцы, и николаевцы, и егерцы, и ещё бог знает какие. Идём ночь, идём день. Прошли уж всё, что великими трудами и кучами трупов было взято с февраля.

Сегодня уж 17-е

(…) Гляди, так в Петропавловске будем. Чёрт знает что делается. Дорогой разбрасывают тысячи прокламаций, которые тут же подбираются солдатами для цигарок. Жителей грабят самым наглым образом. Забирают телят, лошадей для обоза. Заморенных вконец бросают среди поля, впрягая на их место пойманных где-либо в огороде у крестьянина. Солдаты тащат всё, что попадётся под руку: поросёнок, гусь, курица. Хлеба на полях, вблизи дороги особенно, потоптали, потравили дочерна. Бедные, потерявшие голову мужики боятся ска-

зать слова. Многие, бросая всю домашность, тянутся тут же, сложив на телегу что поценнее из хозяйства.

19 июня, д. Загоры

Сегодня прошли около 40 вёрст. Уставшие, измученные вконец, остановились в одной деревушке, где и заночуем, надеемся. Войска разошлись по разным дорогам, обозы также ушли вперёд, и по дороге такого беспорядка уж не чувствуется, как в первые дни отступления.

Красные, верно, потеряли уж нас и не беспокоят своим наступлением на пятки, давая возможность нам уходить ещё спокойнее.

Порой забудешься — и думается, что идёшь домой, покончив всё с войной, как это было в прошлом году, когда возвращались из Троицкосавска. Проходя деревни, роты разражаются весёлыми песнями. Бог знает что, какое впечатление оставят наши у высыпавших поглазеть ценителей, которым уж давно известно, что мы отступаем с фронта.

21 июня, ст. Чайковская

Сегодня перед утром вышли на железную дорогу. До г[орода] Перми осталось что-то вёрст 50 только. Здесь, видимо, думают задержаться. Кругом идёт спешная работа обороны: роют окопы, колотят столбики для проволочного заграждения, плетут колючую проволоку. Смотришь на всё совершенно равнодушно, ни [в] победу не верится, ни в отступление. Ни того ни другого не хочется. Одно желание — не видеть ничего этого, не слышать, уйти куда-нибудь подальше отсюда, поближе к родному краю.

Среди солдат тоже тёмные такие разговоры идут, что страшно уяснять их себе. Солдаты разбегаются из сапёрной ко[ман]ды, сегодня ушли все почти; из 50 человек осталось только 8. Из рот тоже бегут. Особенно пермяки.

23 июня

Вчера с раннего утра до ночи возились все с окопами: устраивали блиндажи, бойницы, убежища от шрапнели и балаганы от комаров, которые тучами начинают кружить над головой с наступлением вечера и не дают, чёртовы мухи, никакого покою.

Красных пока не видно и не слышно. По слухам, они окапываются в 10 верстах от нашей позиции. Даже разведка их не появлялась ещё. Жара стоит невыносимая. Люди ходят что разваренные, и неудивительно, что ропота и ругани среди солдат ещё прибавилось. Только и слышишь: зачем война, на кой мне эти окопы и т. д. А крепкая отборная ругань не смолкая висит в воздухе. Приказания даже офицерами не исполняются, что уж требовать с солдат.

Среди солдат распространились упорные слухи, что пленных красные не только не расстреливают, но даже не бьют, что у них отдан строгий приказ в армии Троцким по этому поводу. Убегут все теперь без боя, при первом столкновении. А меня Яков пилит каждый день за распущенность. Да что ж я сделаю с ними, подумал бы, чудак, рты заткну, что ли. Эх ты, горе наше, не война.

25 июня

Сегодня, бросив окопы, блиндажи, над которыми трудились целые ночи, проволочные заграждения, отошли на следующую в тылу гору. Николаевцы (стояли левее нея) бросили позицию и бежали. 12 рота сдалась красным без боя. Нам пришлось уйти из укреплённой полосы без выстрела. Оказались в округе у богатой деревни с красивыми, богатыми домами Удалая. Наблюдатель красных заметил нашу цепь, и их артиллерия открыла сейчас же по деревне ураганный огонь.

Через несколько минут деревня загорела со средины. Потянул ветер, и в момент пламя перебросилось на несколько домов.

Позвав несколько человек, я побежал на помощь. Подойти уж нельзя было. Только из крайних домов удалось вытащить несколько мешков муки, машины и кой-какой скарб домашний. Скоро пожар превратился в море огня, тушить уж не было возможности. Все убежали на вторую половину деревни, только одна старушка продолжала, на коленях стоя, на дороге горячо молиться. «Господи, спаси, прости нас», — пробегая мимо, услышал я и почувствовал, что горячие слёзы потекли по моим щекам.

«Господи, прости нам всё», — звенело в моих ушах, лёг, ору в вырытой ямке и не могу собраться с силами от переживаемых волнений.

Темнеет. Собирается гроза. Стрельбы не слышно нигде. Только глухо грохочет вдали где-то гром.

Счастливый Моисей, что успел сегодня ещё выбраться из этого ада и уехать. Он получил отпуск.

29 [июня]

Сегодня утром переехали Каму на великолепной волжской беляне — пароходе и вступили в г[ород] Пермь. С 25-го ещё два раза отходили, окапывались, работая весь день до упаду, а ночью бросали всё и удирали безостановочно вёрст 35—40, а там опять копали ямы. Итак, мы в Перми.

Эту ночь прошли вёрст 40. За нами, прикрывая отряд, двигалась штурмовая б[рига]да, а следом за ней конница красных. Подошли на рассвете к Каме у ж[елезнодорожного] моста. Масса пароходов сновала туда и сюда, перевозя обозы, конницу и пехтуру.

Тех и других бесчисленное множество толклось в беспорядке по всему (как видно было) берегу.

Красавец мост на 7-ми быках зелёной лентой висел над водой. С грустью только смотрели на него все и с сожалением говорили: «взорвут ведь его».

Не успели мы пройти и двух вёрст, как раздалось два оглушительных взрыва, и моста не стало. Остановились в красных казармах на противоположном конце города, где я, не снимая шинели, пал на нары и заснул непробудным сном до вечера.

Вечером уж Рыков разбудил, показывая мне синюю головку (б[утыл]ку спирта), он не так давно вернулся из дому и сберёг это для нас. Я пил мало, но ребята нализались порядком и покуролесят. У меня тоже шумит в голове.

30 июня, у реки Сылвы

Вчера в 10 часов вышли из Перми. С рассвета начали отправлять обозы по разным дорогам, с утра начал противник обстреливать из орудий город. К нашему отходу город уж в нескольких местах пылал. Чёрный дым страшными, большими столбами поднимался к облакам, точно жертву приносил кто-то и кому-то.

Горел завод в Лютовилихе, горели керосинные баржи, горело ещё что-то на вокзале. Жителей осталось очень мало, только совсем бедные, которым и некуда и не с чем было уехать, которым было всё равно. Женщины, старики и дети даже оставшихся семейств шныряли по улицам, по пустым домам, забирая всё, что попадётся под руку. Грабёж в городе начался ещё с вечера 29-го, вечером. Разбили прежде пивной завод пьяные солдаты, пошли по магазинам, забирая всё, что попадало под руку. Правда, там оставалось ничего почти и магазины не закрывались, брошенные хозяевами, но всё ж… Растащили кожи очень много, растащили муку, растащили несколько вагонов обмундирования. Я не ходил в город, ноги ныли и отказывались шагать куда-либо, но все точные сведения я мог через каждый час получать от моих солдат, возвращающихся из города с тем или другим добром.

«Всё равно ведь растащат всё», — оправдываясь, говорили они. Пермяки не один за одним, а десятками покидали наши части.

От города, от самых домов начинался густой еловый лес. Тута на полянке построились и под звуки марша начали своё победное оставление города. К[оманди]р полка долго перед этим говорил что-то, но что, я не слышал и не хотел слушать. Противно было смотреть на всю эту кутерьму, не только слушать эти лживые обманчивые слова.

Наконец мы двинулись по узкой лесной дороге, где солнце почти не бросало своих лучей.

Хлеба не было. Дали на два дня сухарей и по банке консерв, которые съели ещё вечером. Голод начинал ощущаться. На первом привале я и Миша Непомнющий [Непомнящий?] набрали в карманы сухарей, а Мариненко предложил нам кость, оставшуюся 29-го от принесённой Васей ветчины, на которой ещё кой-где торчали куски мяса и сала. Правда, мы не могли её разрезать ножом — уж больно твёрдо было мясо, но бросать было жаль, и мы решили глодать её сообща: я оторву кусок, а там Мише дам откусить. Хоть и трудновато пережёвывать, но очень вкусно пахло копчёным, и наелись досыта сухарей с ней. А там подошли к ручью и надулись воды, сговариваясь запомнить, если будем живы, эти минуты.

Пройдя около 40 вёрст, весь наш полк остановился в деревушке недалеко от реки Сылвы, где строили переправу. Сегодня перейдём и идём дальше, к Лысьве говорят.

4 июля

Говорят, очень много всего говорят, но очень и очень редко выходит так, как говорят. Никуда мы не ушли и целых четыре дня рылись, как куры в пыльной дороге, на спаханных полях.

Красные на второй же день начали и повели наступление на деревню Симонята, где расположился наш б[атальо]н. Правее нас разъезд красных показался ещё накануне и предупредил нас. Мы успели выйти на город и окопаться, но сидеть пришлось недолго. Вправо мы скоро увидели, что густая цепь красных с криком летит на окопы егерцев.

Те смешались и бросились наутёк. Пули посыпались на нашу цепь с фланга. Нам ничего не оставалось, как последовать примеру егерцев. Оставили деревню и за ней на возвышенности снова окопались, где и просидели до вчерашнего вечера на сухарях и воде на чёрном поле, где при малейшем ветерке поднималась невозможная пыль. Вечером пришёл сменить нас третий б[атальо]н. Ну и рады ж все бы! Словно бог знает что случилось: все вдруг заговорили, засмеялись, зашутили, поднялись на ноги, несмотря на раздававшиеся выстрелы красных. Темнело.

Мы вышли из окопов ко ржи и, построившись, потянулись межой к дороге. Я ещё раз оглянулся под гору, где догорали дома д[еревни] Жуковой, зажжённые нашими снарядами. Не жаль было людей, которые остались без ничего, уж к тому привык как-то, жаль было красивой архитектурной постройки. Не знаю, кто были хозяева этой деревни (домов в 10). Но наружность каждого дома говорила о вкусе и стремлении к красивому их обитателей. Так всё было сработано прочно, красиво!

Отойдя вёрст пять, мы остановились [в] такой же маленькой, но милой деревушке, окружённой кругом густым ельником, где под окнами домов быстро катилась небольшая речушка. Спокойно, крепко заснули, попив чай у добродушных мужиков, на сеновале, а сегодня уж вымылись все в бане, и чувствуется здоровье. Куда пойдём и что станут предпринимать — никто не знает: хотя и знать не нужно, не всё ли равно.

7 июля, воскресенье

Вчера перешли реку Сылву по наскоро построенному мосту на козлах у села Троицы. Мостом переводили несколько полков нашей дивизии, и нам пришлось около 4 часов ждать на берегу очереди. Времени было, значит, достаточно, чтобы посмотреть за тем, что творится в это время в селе. Не так далеко от места нашего расположения возвышалось красивое двухэтажное здание, всё выкрашенное в белую окраску.

Солдаты то и дело сновали из и во двор этого дома. Я тоже вошёл. Оказалось, что это была земская больница, брошенная на произвол судьбы своими обитателями.

Ни больных, ни служащих не было во всём обширном доме. По пустым комнатам бродят, перерывая уж разрытые и разбросанные больничные вещи. Я зашёл в амбулаторную: и тут царил тот же страшный хаос. По полу валялись банки, склянки, разлитая жидкость, мази, порошки, всё топталось ногами. Солдаты рылись в шкафах, ломая и перебирая склянки, читая и ничего не понимая [из] написанно[го] по латыни на их таблетках.

Со мной вошёл и наш фельдшер. Он кой-что взял из уцелевших медикаментов, и мы вышли обратно. По просторной приёмной на детском велосипеде разъезжал солдат, а человек пять его товарищей дружно хохотали. Тяжело было на душе у меня, хотелось поскорей выйти и не смотреть на эту картину злого, дикого вернее, варварства.

Но уйти вряд ли можно где от того, чтоб не слышать воплей и жалоб жителей.

Одна воет и жалуется, что у ней курей всех закололи, у другой бабы лук весь в огороде вырвали и ложки унесли, у третьей самовар украли и корову зарезали вон в лесу.

Словом, хаос, беспорядок и самовольство царили на каждом шагу. Все видели, и всем было безразлично всё. За день и ночь прошли вёрст сорок. Впереди нашего полка шли николаевцы и утром сегодня наткнулись на обходную группу противника. Красные решили отрезать нашу дивизию, заняв Кунгур, но столкнувшись неожиданно в лесу, сдрейфили и отошли назад. У николаевцев около 30 человек раненых есть.

Мы составляем главные силы движения и стоим, расположившись лагерем в берёзовой роще. Хорошо бы было это в иное время, солнце, зелень, ягоды, но сейчас для каждого эта стоянка не представляет решительно никакого удовольствия. Надоело всем.

Яша поймал где-то большую лягушку и, зная, как я их боюсь, принёс и посадил мне на книжку. Я бросил карандаш и книгу, убежал, а он, каналья, со смеху катается.

9 июля, гор. Лысьва

Час от часу не легче. Не только в день, но каждый час жизни дарит неожиданности, каждый час натыкаешься на новые и новые переживания.

Только что положил в мешок свою книжку и позвал Максимова (7 июля) на озеро умыться и собрать земляники, которой по лесу наросло изрядное количество, как позади нас раздались три выстрела. Рассуждая, что выстрелы револьверные и стреляют, видимо, офицеры, мы шли дальше по направлению к кустам. Через минут пять в том же направлении раздались снова, но уж винтовочные выстрелы, и пули просвистели над нашими головами. Одновременно из кустов, к которым мы уж подошли почти, залпом грянули четыре выстрела по нам, но пули около со свистом пронеслись мимо, видимо, руки неверно держали винтовки у стрелявших. Мы оба упали в густую траву и немного проползли. За нашей ротой, т. е. там, где были первые выстрелы, поднялась форменная перестрелка. «Нас обошли красные, — крикнул Максимов, — бежим!», и мы бросились со всех ног к роте. На всём бивуаке творилось столпотворение. Люди бросились из стороны в сторону, босые, без шапок, без винтовок. Офицеры призывали к порядку. Лошади разбежались, и всё имущество на телегах осталось в роще. Скоро кой-как собрались и цепью двинулись вперёд. В 50 саженях от нашей роты, где помещалась учебная к[оман]да, лежали трупы убитых

офицеров. Их было 7 человек, и все из учеб[ной] к[оман]ды. Некоторые были исколоты штыками.

То, что убитыми оказались учебники, и главное, на местах, где они спали, навело нас на раздумье. Учебники цепью отходили в лог, стреляя и кому-то махая шашками. Наша цепь стояла и с недоумением смотрела на них.

Полонский, к[оманди]р б[атальо]на, сел на лошадь и поехал к ним узнать, по ком они стреляют и куда отходят. На глазах у всех по капитану грянули выстрелы, и он повалился с лошади. Тут уж никто не сомневался, что в полку восстание, но оно вышло так неудачно, что солдаты полка, застигнутые врасплох, не могли присоединиться к повстанцам. Скоро вся уч[ебная] к[оман]да в сто человек скрылась в лесу. Тут же стало известно, что одновременно выступили в Барнаульском и Николаевском полках, стоящих на позиции впереди нас. Офицеры Николаевского полка уехали нетронутыми, оставив весь полк, батарею и обозы. В Барнаульском сопротивлялись, и там есть убитые офицеры и солдаты. У нас погибло 13 офицеров и с человек 5 солдат.

Тут же собравшись, мы поспешно двинулись по дороге на Лысьву.

Вчера поздно мы пришли, сделав за эти два дня около 80 вёрст. Всё тело ноет и болит, но слухи, что мы едем куда-то в тыл на формирование, придают бодрости и духу.

Пишу уж в вагоне в ожидании отхода поезда.

Лысьву, вернее завод, где вырабатывались снаряды и посуда для армии, постигла участь Перми. Завод весь разграбили. Мало что наносили полные вагоны котлов, вёдер, тазов и мисок разных, забрали из разбитых кладовых служащих всё их добро. Тащили узлы одеял дорогих, скатертей, белья. Приволокли швейную машину ножную, самовар, подушки, альбомы, шторы.

Полковник распорядился всё отобрать и мародёров выпороть. На берег реки наносили большую-большую кучу всякого добра, а на мост поставили часовых. Солдаты скоро узнали об этом и, не доходя моста, среди улицы города бросали разграбленное и убегали.

(29) 13 июля

Сегодня день моих именин, а дома престольный праздник. Боже, Боже, что там, в деревне сегодняшний день творится! Сколько вина, сколько нажарено, наварено, всяких яств полон стол стоит. А гостей к вечеру сколько съедется, и пойдёт пир горой.

Из нашей дружной семьи в 6 человек остались дома только мама и мл[адший] брат Яша. Мама уже поплакала не раз, поди, с утра, а Яков убрался куда-нибудь с ребятами гулеванить. Из старых друзей вряд ли кто догадается навестить маму. Обыкновенно ведь помнят до тех пор друзей, пока они нужны, пока им хорошо живётся, а когда…

Вот проходит и у меня уже 4 праздник не дома, а бог знает где.

В прошлом году в Туруханске, нынче на Урале в вагоне. Едем уже 5 день, а отъехали всего сотни четыре вёрст. Стоим по полсуток на каждой станции, потому что каждая ст[анция] загружена поездами и не принимает. Много

войск едет, а ещё больше беженцев. Говорят все, что едем в гор[од] Ирбит, а теперь слышно уж, что маршрут изменен и мы едем куда-то дальше.

14 июля

Едем, стоим где попало, и снова едем, и снова стоим, в поле, среди густого леса.

Свернули с Горнозаводской и поехали по ветке на ст[анцию] Алапаевскую, до которой остается ещё сто вёрст с лишним. Эшелоны идут только вперёд, следом один за другим, точно телеги по шоссе. На каждой станции так полно, что приходится часами ждать очереди, чтобы отправиться.

Слухи носятся самые разнообразные. Говорят, что назревает новый переворот и поэтому вся наша северная группа снялась с фронта. Говорят, что части войск занимают зимнюю позицию, т. е. Кын и Тагил, разрушив весь путь от Перми. Пока красные исправят дорогу и приготовятся к наступлению, наша дивизия —вернее корпус, успеет сформироваться и быть готовой снова к бою.

Говорят и ещё много кой-чего, но никто ничего наверное не знает, а там, в нашем высшем командном составе, что-то неладное творится. Что-то там назревает великое, грозное. Даже наш полковой штаб и тот чего-то боится. Сегодня ночью перенесли к себе в вагон пулемёт и взяли к себе офицера-пулемётчика. Боятся черти.

Чуть-чуть сегодня не повторилась история Барабинского полка с нашим эшелоном.

Мы едва не налетели на остановившийся впереди нас эшелон среди пути в лесу. Вагоны уж всем были видны впереди, а мы мчались под уклон на всех парах. Машинист дал тревожные гудки, и люди полетели кубарем из вагонов. Крушения не вышло; успели затормозить. Был только сильный толчок. Но и так от падения раненых около 70 человек. Около 10 серьёзных вывихов и ушибов. Остальные пустяки-царапины, как вот и у меня на руке.

Одному сломали ногу. Верно, ему очень больно, кричал, когда правили, стонет ещё всё, лёжа на траве.

18 июля

Едем и едем, и когда кончится эта наша черепашья езда, бог знает. Час едем, 10 часов стоим. Стоим на станциях, в степи, у мостов, стоим на переездах, стоим прямо среди поля. Пользуясь каждой остановкой, я брожу по полям, рощам, межам, собираю ягоды, цветы. Сегодня возвращаясь из рощи с земляникой, проходя мимо паровоза, я невольно подслушал разговор кондуктора с солдатом. «Надо ехать, — говорит кондуктор, — не то ваши офицеры заплачут опять. Им в Перми вставили пропеллер, ну они и не могут терпеть, чтоб не двигаться. Так и бежат и бежат».

В ответ послышался хохот солдат. Не подозревая во мне офицера (я ведь всё время хожу как наш повар Баланчук, грязный, оборванный, с погонами солдата), они продолжали свой злой каламбур по адресу офицеров. Горько и обидно мне было слышать их злые насмешки, но что я мог сказать, когда они ненавидят

нас — они все последствия этой войны сваливают только на офицеров, только их вину видят во всех бедах.

Я отошёл. Прошёл версты 4, остановился около большого села, куда Яшуха и Максимов полетели чай пить и окрошку есть.

В крайнем дому нас угостила радушно наша сибирская старушка чаем и окрошкой.

Давно мы не видели этих добрых старческих физиономий, какие живут, кажется, нигде больше, как у нас в Сибири.

Но с каким удовольствием мы поели окрошки с хорошим квасом, какой не встречали ни в Вятской, ни в Пермской г[уберни]ях, со сметаной, яйцами и луком. Попили чай со сдобной булкой в ея чистенькой комнате, уставленной цветами.

Пили, калякали, да и прозевали эшелон-то. Купили ещё масла 3 фунта сливочного. Добежали до эшелона, а он уж быстро разошёлся, ребята успели ухватиться и запрыгнуть, а я вместе с коробкой покатился на песок. Масло вывалилось и всё завалялось в песке. Уж вечером догнал я свой состав, с эшелоном беженцев.

23 июля, с. Яр

Наконец-то наше мытарство кончилось, и мы хоть ненадолго (вряд ли долго простоим) забудемся, отдохнём душой и телом. Вчера вечером дотянулись до гор[ода] Тюмени, высадились из вагонов и уж ночью пришли в село Яр, в 10 верстах от города по р[еке] Туре, где и разместились по домам.

Город производил странное впечатление. Несмотря на то что о красных ничего не было известно, жители собирались куда-то, забирали за сумасшедшую цену лошадей у возчиков (говорят), слаживали свои манатки и нескончаемыми вереницами тянулись по дорогам в глубь Сибири.

Ни на пароход, ни в вагон попасть не было возможности.

По улицам бегали, озирались, торопились, а над всем этим непонятным хаосом парили аэропланы, сильные и свободные в воздушном пространстве.

За городом на привале нас встретил, вернее подъехал к полку, верхом на гнедой кровной лошадке ген[нерал] Пепеляев. Кругом зашептали, зашевелились: «генерал Пепеляев, корпусной наш».

Поднялись все, и он поздоровался, проезжая по фронту, отдельно с каждым б[атальо]н[ом]. После приветствия он попросил сойтись подружней и сказал небольшую речь. Оратор он плохой, но зато с каким чувством говорилась каждая его фраза, какой искренностью дышали его немногие слова. Говорил всё старое, знакомое нам, но солдаты слушали со слезами на глазах.

«Мне сказали, — заключил он речь, — что енисейцы изменники, бунтовщики, что к ним опасно ехать, что они убьют меня, но я поехал, что значит моя маленькая жизнь, когда гибнет родина, да ну её к е… матери и жизнь эту. Я верю в сибиряков и приехал ещё раз спросить их, могу ли я ещё верить в вас, надеяться на вас, сибиряки? Правда ли то, что мне про вас говорили?» «Неправда,

ложь, верь нам», — загремело кругом в ответ ему. «Я верю вам, — сказал он. — Идите с Богом».

Он повернул лошадь и, сопровождаемый двумя солдатами, ничем не отличавшимися от него: ни одеждой, ни летами, поехал от полка. Вслед понеслось громовое «Ура».

28 июля (н. ст.), с. Яр

Забросил и дневник свой, шатаясь все дни с утра до ночи по полям и лесам. То на покосе с дедом (хозяин, у которого мы живём), то за ягодами, то просто часами брожу меж густых ржей, уже жёлтых, зелёных пшениц и овсов, собирая букет цветов из васильков и ещё каких-то ярко-синих красивых цветов. Хорошо! Ах, как хорошо! Я снова свободен хоть на час. Меня снова окружают родные, милые картины. Я всюду чувствую себя в кругу родных мне людей, интересы которых до тонкости знакомы мне. Шляясь таким образом, я забываю, что я зависим от кого-то, что скоро, очень скоро мне могут сказать «Довольно, брат, подтянуться надо». Эх, Господи, если б скорее кончилось это; хоть бы немного ещё пожить свободно, вольно среди своих полей, среди своей родной семьи. Но конца всё ещё не видно. Узел затягивается туже.

Сегодня вот делал смотр нашего полка ген[ерал] Мальчевский. Он не изменился за это время почти нисколько. Разве седины прибавилось в его польских усах.

Долго говорил нам о нашей былой славе при нём и о нашем бесчестии, позоре в последнее время. Волновался, кричал, но сказал очень не глупо в общем, разнося в прах изменников и предателей. По окончании речи долго кричали «Ура» ему, а потом церемониальным маршем проходили мимо его и ещё какого-то толстущего генерала под звуки нашего оркестра.

С оркестром прошли стройными рядами по селу, приводя всех стариков в неописуемый восторг. Музыканты и сейчас ещё дуют всё перед домом комполка, где обедают оба генерала.

Завтра, наверное, занятия начнём, а сегодня… сегодня пойду ещё в лес, в поле, пошляюсь по межам, послушаю тут ветерка, колыхавшего лениво хлеба.

31 июля

В эти три дня много было смешного в нашей холостой семье, немало и грустного узнал я от Яшки и Васи Рыкова. С Яковом мы хоть и не особенно дружим, но, то ли в силу старой тесной дружбы, то ли за неимением других людей под рукой, с которыми можно было б сойтись поближе мне или ему, мы иногда откровенничаем и говорим по душам. За его тщеславие, за его высокое мнение о себе, уверенность грубую, показную уверенность в себе я ненавижу его, ненавижу порой до презрения, ненавижу, как и других, как всех, окружающих меня, но говорю, что в тяжёлые минуты мы не можем оставить друг друга. Так было вчера. Мы долго лежали, разбираясь в наших отношениях, в жизни вообще. Он между прочим рассказал мне поверенную ему Шмандиным и подтверждённую Васей Р[ыковым] тайну. Он сказал, что мы накануне новых великих событий.

В России уж объявлена монархия. Мы тоже накануне этого. И Семёнов, и Колчак пришли к соглашению и хотят войти в тесный союз с Японией, которая обещает поставить немедленно сколько-то корпусов для уничтожения большевиков и водворения монархии. В Германии также объявляется монархия, и она также входит в тесный союз с Россией и Японией. Этот тройственный союз думает (…)

В Ялуторовске, по словам очевидцев, страшная паника. Всем ещё 7-го было приказано выезжать из города.

Красные, по докладу контрразведчиков (я слышал это от Шмандина сегодня), что они не только через р[еку] Чепцу, где наши пичкались три месяца под мостом, построили мост уж через Каму и великолепно ездят до… Чуть ли не до Екатеринбурга.

Вот и смотри на них. Вечером вчера ходили на смотр, приезжал Зиневич (к[оманди]р дивиз[ии]). Что он хотел смотреть здесь — ведь он хорошо знает, что они ни в зуб толкнуть. Не умеют винтовки зарядить. Прошли-то хорошо мало-мало, ну а остальное и не спрашивай.

В длинной речи к солдатам он говорил всё о том же учредит[ельном] собр[ании], о победе над большевиками. В конце речи он спросил полк, пойдут ли солдаты так в бой, как шли под сосновой горой зимой. Первые крикнули на повторённый вопрос генерала «Идём все», но в задних рядах… О, если б слышал, что они говорили, какие ответы слышались из души солдат генералу из задних рядов.

9 августа

Ну и житьё же! Прямо Масленица наступила! Объеденье одно. Жители ко всем относятся очень радушно, особенно бабы, которых слово «солдатик» приводит в умиление, а когда рота идёт с песнями, то все плачут, несмотря даже на то, что песня весёлая.

Особенность здешних жителей — это их солидность. Почти все старики и бабы толстые-претолстые, важные такие. Старики с седыми бородами и головами, а бабы грудастые, вводившие Сильку Патрикеева при встрече в возбудительное состояние, после чего он собирается идти за подобной старухой и «зачислиться на титечное довольствие к ней».

Ходили сегодня рыбачить неводом на озеро, я, Безпалов, Максимов и писарь наш — довольно загадочная личность, по моим наблюдениям. Наневодили полное ведро щук и карасей. От деревни очень недалеко, и мы вернулись скоро. Ребята не верят, что мы это наловили сами. Очистили, нажарили с яйцами, натрескались и валяются все, точно поросята, «вспоминая минувшие дни и битву, где вместе рубились они».

Меня выбрали н[ачальни]ком хозяйст[венной] части и вручили мне 1000 р[ублей] денег (по сто руб[лей] с каждого) на ведение хозяйства.

Я закупаю картофель, огурцы, яйца. Иногда прикрываясь каким-либо делом по хозяйству, я не иду на занятие и развожу балясы с бабами. Ох, и мастер ж я с ними зубы точить! Хоть к чему сумею подъехать.

О, если б красные взяли б вдруг да повернули обратно и дали б нам возможность прожить здесь до осени! Да нет. Они уж близко, очень близко. Неужели опять в окопы, опять убивать…

В Омске всё трещит и рушится, по словам ко[манди]ра полка.

Что-то будет.

13 августа, д. Кутырева

Что ни день, то и на новом месте, то и неожиданность. Правда, неожиданность и приятная, ибо никто не думал, что нас отведут дальше в тыл, — наоборот, все были уверены, что после смотра идём на позицию, но уезжать из Чёрной, где позавели себе Марусей, Дуняшей и Катюш, страшно не хотелось. Воскресенье вечером, когда я подмигнул своей соседке чернобровой Клашеньке, хотел было уж удалиться от людского глаза подальше, как вдруг, точно электрический ток, пробежал шёпот, в 6 час[ов] выступаем. Надо собираться. Мигом все вещи были уложены на воза, и мы под звуки оркестра, провожаемые целой ротой девок и солдаток, тронулись в путь. На второй день пришли на станцию и, разместившись на площадках человек по 60 на каждой, словно дрова, друг на дружке поехали на Ишим. Но до Ишиму не доехали 60 вёрст и высадились около станции Голышмановки в деревне Кутыревой.

Занятия, видимо, не будет с дороги, и можно будет обозреть место нашей новой стоянки. Деревня, кажись, очень бедна. Домишки-то уж больно ветхи.

15 августа, Кутырева

Ну и скучна же эта Кутырева. Живой души не видно. То ли на работе все, что ли. Хотя вчера праздник был, но деревня пустой оставалась. С горя и досады вчера сел играть в карты с Гилевым и Мишкой и проиграл Гилеву 179 руб[лей]. Порядочная сумма, особенно при безденежье. И зачем это я, дурень, перевёл деньги все. Вот дурень-то. Кто их знает, когда получишь. Хотя и солидная сумма мне ещё причитается. За три месяца прошлогодних, за август, за разное пособие, словом — тыщёнки три с лишним получу, если доживу. А пока ещё как-нибудь пробьюсь. Яшке чертовски везёт: как сел, так и выиграл сот 5—6. Денег пропасть всегда у него. Жалованья в месяц получил 686 р[ублей]. И домой переведёт три тысячи. Хотя дела его тёмные, ротные деньги-то остаются (от раздачи жалованья солдатам), их он и переводит, да Бог уж суди его, раз ему позволяет, ничего не говорит его совесть.

Красные идут и идут, а наши бегут да бегут. Заняли и Ялуторовск: скоро вот как, гляди, и у нас будут. Ходили сегодня на стрельбу: плохо стреляют. Иной со слезами на глазах, трясётся, заряжая винтовку, точно вот она возьмёт разорвётся и убьёт его. Горе, не солдаты. Как же на позиции мы с ними будем! Боже ты мой! Убожество какое то.

В Красноярске, по слухам, было большое восстание. Убито, говорят, около тысячи человек. Около тысячи человек — легко сказать. Кругом восстания в тылу, бегство на фронте, а правительство Колчака всё ещё на что-то надеется.

Ни один уж здесь не верит в победу. Что же там думают? Хотя и выхода-то никакого нет. Думы, эти чёрные думы без проблеска счастья не дают долго-долго заснуть мне в эти чудесные лунные ночи.

Люба… Неужели и у ней всё пропало? Неужели она махнула на всё рукой, бросила писать, бросила думать о счастье других, о той идеально чистой жизни, жизни для блага других и решилась на последнее? Решилась и вышла замуж за какого-то крестьянина-солдата в В.-Подъёмной, которого никогда не любила и не знала. Всё это слышал Изотович от кого-то и рассказал мне. Что с ней сделалось — ума не дам. Недаром же она молчала и с последнего свидания на Масляной не написала мне ни одного письма. За что она ненавидит меня? Что сделал ей? Ведь она знает, что я люблю её, люблю больше всех, что ничего не жалею для нея. Моё — её. Может быть, за мою любовь, грешную любовь. Ведь мы братья. Но чего ж я сделаю с собой.

(…)

15 сентября, г. Ишим

Вчера, пройдя вёрст 15 вперёд по линии ж[елезной] д[ороги], остановились в небольшой переселенческой деревушке. Стан[ция] Голышманова, говорят, была уж занята нашими конными частями. Говорят, что красные оставили там штаб б[рига]ды, откуда узнали, что красные убирают с линии все войска, перебрасывая их на север, т. е. на Тобольск, и отходят на Ишим.

Может быть, поэтому нам и отдохнуть не дали, а сейчас вернут к первому разъезду, где уж ждали нас пустые вагоны.

Нельзя не заметить недоброжелательность жителей родной Сибири нашими частями. Нас встречают косыми взглядами, а нередко бросают прямо в глаза несправедливое отношение проходивших частей к крестьянам. Так было в этой украинской деревушке.

Красные два дня тому назад вышли отсюда, оставив хорошие отзывы о себе. «Ничего не взяли без спросу и грошей», — говорила мне старуха, перемешивая свою родную речь сибирским выговором. «А ваши вчёра только зайшли, та вси огороди поуносили за собою. И плетень на костры попалили, как им дома всё повыгарело. Сено увезли, овёс с поля позабрали. Сама ведь с мальцем пахала и убирала. Старик в подводах ездит. Три сына забрали на вашу войну. Да за щёж вы воюете?» — закончила старуха, вытирая передником слёзы.

Вчера здесь проходил 7 Кузнецкий.

Я вышел на двор. Наши солдаты разводили костры, ломая плетни. На улице стоял гвалт: кричали хохлуши, проклиная солдат. Ржали, что жеребята, наши молодцы, ломая заборы и копая картофель в огородах.

Вчера вышли из деревни и на разъезде, усевшись на площадки, на которых раньше возили рельсы, песок и пр. дрянь, покатились в Ишим. Ветер то затихал, то, словно вырвавшись из чего-то страшно тесного, с мелким дождём порывисто срывал с людей фуражки, пронимая до костей, особенно озлобляя людей в холщовых шинелях. Люди, ругаясь самым отчаянным образом в закон,

веру и Бога, жались друг к другу, дабы согреться. Но горе тому, кто волей рока очутился на самом краю. К свету мы были в городе и уж радые все, в ожидании хороших тёплых квартир, бани, продолжительного отдыха, строем шагали по спящим ещё улицам города куда-то в глубь его.

После долгих переговоров с хозяином квартиры, казначеем каким-то, нам чуть не с помощью плети удалось отвоевать из его 6 комнат, обставленных с буржуйским вкусом, и в ней поместиться. Рота заняла пустой дом во дворе. Спать не хотелось, и мы целой компанией повалили в град Ишим осматривать достопримечательности последнего. Город, как и все наши сибирские города: мал, грязен и небогат.

Несмотря на 12 ч[асов] дня, он всё ещё оставался пустым, но он не спал. Люди, покинув свои насиженные места ввиду надвигавшейся опасности, уехали дальше в глубь Сибири.

Так, пробродив часа два, мы ничего и не нашли. Даже ни одной мало-мальской женщины.

Попав как-то на базар и накупив там сыру, масла и семячек, пошли на свою новую квартиру чаевать. Хотели с Моисеем зайти к парикмахеру, но… не могли духу набраться. Как у меня, так и у него, в волосах развелось уже слишком много вшей.

Стыдно, глупо, но стыдно.

Хозяин, ходивший с жалобой на нас к к[оманди]ру полка и, видимо, получивший от него хорошую распеканцию, вернулся и сидел у себя насупившись. Комната была всё-таки очищена, и нам к чаю была прислугой подана посуда и мо-ло-ко. Во как!

18 сентября, д. Преображенская

Не успели и чаю напиться, как посыльный от б[атальо]нного прибежал за нашим ротным.

«Это уж не к добру», — заметил Силька, напевая свой неизменный «Шарабан», сочиняя всё новые и новые куплеты, вроде:

Костюм английский,
Наган российский,
Табак японский,
Правитель омский.

Так и есть: в 5 ч[асов] утра весь полк выступает по тракту на Тобольск. Красные заняли село по этому тракту в 20 верстах от г[орода] Ишима.

До свету ещё покинули сонный городок, где ни отдохнуть, ни помыться в бане не удалось.

В эти трое суток прошли около 80 вёрст, опустошая по пути в огородах брюкву, табак, подсолнух, на полях горох, репу, овёс для лошадей, растаскивая стога сена для балаганов. Ни дать ни взять кобылка, которая, пролетая одной полосой, съедает всё на своём пути. Офицеры — одни сами вместе с солдатами тащат, другие, боясь обидеть солдат, вернее боясь за свою шкуру, молчат, третьи думают: «А тащите, авось это скорее приведёт нашу армию к гибели» — и есть

ведь и такие. А четвёртые просто сквозь пальцы апатично смотрят на всё, думая: «А чёрт с вами, делайте что хотите, оставьте только меня в покое». Как наш ротный Романов Боря. Так вот и идём. Красные, боясь, что их могут отрезать по шоссе от Голышмановой, забрали всех лошадей у мужиков и удирают во все лопатки на Тобольск и ещё куда-то к ж[елезной] дороге.

Устали все чертовски. Сегодня до обеда отдыхали и помылись в бане. После обеда прошли ещё 20 вёрст и ночуем.

Завтра переход назначен в 26 вёрст до большого села Кротовского, где, говорят, засели красные и ждут.

20 сентября, д. Орловка

Так и есть, хотя и не совсем так, как думали. Если б было так, то нас бы очень много осталось лежать около этого села. Версты на 4 от леса до села тянется совершенно чистая равнина. Красные были там. Выйдя из лесу цепью, мы в лоб, 2-й б[атальо]н с леса в обход и справа, 3-й б[атальо]н и бийцы в резерве, окопались, и началась стрельба. Из лесу по селу залпом палили наши 4 орудия. Из села редкая ружейная стрельба и больше ничего. Наши решили, что красные засели и поджидают поближе. Началась перебежка. Из нашей роты одного ранили. Из разведки пали 3. Когда до села осталось ½ версты, стрельба из села совершенно прекратилась.

В Кротовском была только их разведка, которая постреляв и выяснив, что было нужно о противнике, смылась.

Красных было очень много, но они ещё вчера вышли с орудиями и пулемётами, по словам жителей. В селе заночевали. Страшно усталый и весь в грязи, я не раздеваясь прилёг на лавку и сейчас же заснул мертвецки.

Никогда ещё в жизни я [не] пугался так во сне, как сегодня. Заорал во всё горло и проснулся с холодным потом на лбу.

Встречаю во сне покойного отца, много говорю с ним о его жизни на том свете и знаю, между прочим, что он пришёл за мной, что стоит ему только прикоснуться до меня, как той же минуты умру и уйду к нему из живого мира. Знаю, что у него мне жить будет лучше, но расстаться с этой жизнью мне трудно.

Я борюсь в душе, а отец делает строгое лицо и быстро направляется ко мне, чтобы я скорее решил. Когда он уж хотел дотронуться до меня рукой, я сильно, дико закричал и, проснувшись, стал у скамьи на ногах, трясясь от охватившего меня ужаса. «Это не к добру, — мелькнуло у меня. — Убьют либо ранят». Хотя уж всё равно, утешал я себя, лишь бы скорее избавиться от этих полупомешанных людей.

Всё равно уж.

Нет сил смотреть на творившееся кругом.

Вчера ещё не успели войти в село, как где-то у кладовки солдаты сломали замок и утащили варенье, сметану и ещё что.

Я не мог заснуть остаток ночи. Мысли, страшные мысли блуждали в моём мозгу и жгли, жгли мою голову.

К вечеру покинули село и пошли занимать деревушку в 5 верстах от села.

В деревушке никого и не было. Да и нельзя тут быть. Кругом глухой лес. И мы тут в хорошей ловушке остались сидеть ночь. Наш «Дикий барин» (так солдаты назвали нового к[оманди]ра б[атальо]на) чудеса творит. Темнота самая осенняя — чёрная темнота, а он не дал приказание послать из нашей роты разведку на такую же деревушку в 4 верстах. Как ни глупо, но идти пришлось. Поехал Гилев, взяв с собой 6 человек солдат и верхового крестьянина. Как он там смудрит — не знаю. Спать не хочется. Сделал из картошки светильник и сижу пишу. Ребята улеглись и храпят на всю избу.

22 сент[ября]

В той же деревушке.

Вчера после обеда пошёл весь б[атальо]н, отправился в наступление на такую же деревушку в 4 верстах от этой, Вытяжную. Я со взводом послан был в третью роту, которая пошла лесом в обход деревни. Обошёл, правда, со всеми осторожностями, благополучно вышли чуть не в самый тыл, окопались и открыли залпом стрельбу. Одновременно поднялась справа и против на другой стороне.

Красные сыпали кругом из пулемётов и ружей. Наша батарея стреляла то вправо, то влево, а тут совсем замолчала.

Темнело. Полил дождь с холодным ветром. Нас с цепью красных разделяло одно ровное поле с жатой пшеницей.

Идти в атаку побоялись, потому что наш фланг был ничем не обеспечен, связь со 2 р[отой] была налажена плохо, а с наступлением темноты связь порвалась совершенно. Пошёл Девашев (поруч[ик]) восстановить и узнать, что там думают делать, и пропал. Послали двух солдат — нет и тех. Стрельба не умолкала. Прошло три мучительных часа. Никто не возвращался. Послали ещё двух. Положение становилось с каждым получасом неопределённым и страшным.

Дождь лил. Люди роптали, и это роптание готово было вылиться в восстание. Но винили не нас. Мы и не боялись.

Роптали на штаб, что, говорили, 8 мес[яцев] к[оманди]р полка не изволил ещё ни разу приехать на позицию и посмотреть, что тут делается, что собрались там все жалкие трусы вроде Шмандина, что им место в первой линии, а не в штабе. Ругали к[оманди]ра б[атальо]на, а капит[ана] Чернобровина (к[оманди]р 2 р[оты]) разорвали б, если б он был тут, когда узнали, что 2 роты нет, она ушла с вечера ещё. От холода всех трясло, и все были до костей промочены. Темнота, не видно ни зги.

Пошли и мы, тихо, осторожно, словно кошки ступали по траве, отходя дальше в лес.

Пулемёт разобрали и несли на себе. Дорогу приблизительно помнили и шли по направлению к ней. Не знаю — случайно ли или мы хорошо взяли направление, мы вышли на тракт как раз там, откуда пошли. Отсюда решили найти деревушку. Послали вперёд разведку. Светало, вошли в деревню. Наши все спали, решив, что мы все остались в плену.

24 сентября, с. Кротовское

Не так живи, как хочется, а так, как…

Вчера с 4 часов утра двинулись наступать на д[еревню] Александровку, что по шоссе ещё дальше д[еревни] Вытяжной. Наша рота попала на самый левый фланг, в прегустющий лес. В версте от шоссе красные нас обстреляли и ушли, видимо, в деревню, а мы тихо, медленно продвигались всё дальше и дальше за ними следом.

Вот уж и деревня: слышен разговор, лай собак и т. п. Но сквозь бурьяны и густой березняк в трёх саженях нельзя было ничего разглядеть. Так и шли, пока вдруг совсем близко против нашей цепи не затрещали выстрелы. Попадав в траве, люди начали окапываться. Я прилёг за берёзку и с отчаянием ждал, что вот-вот красные крикнут «ура», из нашей цепи сделают грязь.

Порой в голову приходила мысль, правда приступная мысль, но мысль, вызванная один Бог знает чем, — это взять и прострелить себе руку. Я готов уж был к исполнению. План созрел в одну минуту. Возьму разряжу патрон, оставлю половину пороху, положу одну руку на гнилой пенёк, что стоял у моей головы, и выстрелю. Я лежал совершенно один. Прострелю руку, и никто не узнает.

На пять минут мой план был разбит появлением около меня Яшухи. Посидели, покалякали, погоревали, солнце садилось за чёрную тучу, которая обещала тёмную и дождливую ночь. Мы рисковали до конца этих суток остаться голодом.

Яша ушёл, а моя мысль, словно змея, опять заползла в мой мозг. Но только я хотел было взяться за патрон, как что-то тяжёлое упало на мою левую ногу, и я покатился почти без чувств в траву. Меня заметил позади сидевший санитар и подбежал ко мне. «Вас ранило?» — «Кажется, в ногу, — сказал я. — Снимите сапог». Сапог сняли, разрезали мои штаны, но крови не было. Повыше колена нога была синяя, а посредине большое красное пятно. Ясно, что меня пуля ударила с рикошету плашмя.

Отказавшись от носилок, я пополз до перевязочного пункта, где стояли подводы. По траве впереди меня мелькнули санитары с носилками.

Полежав немного, я полез побыстрее, чтобы догнать и узнать, кто ещё ранен. Проковыляв с полверсты, я на повороте тропинки снова заметил санитар и махнул им рукой подождать. На носилках кто-то сильно стонал, жалобно, душераздирающе. Каков же мой был ужас, когда на носилках я увидел бледного, почти задыхающегося Яшку. Пуля ему пробила грудную клетку справа и вышла около позвоночника. Я потащился за ним, решив, что я ему ещё смогу быть полезным. На телеге везти нельзя было, малейшая кочка причиняла ему страшную боль, и он орал, как баран. Только к 2 ч[асам] ночи нам с грехом удалось добраться до перевязочного пункта, где и остались до утра. Всю ночь просидел в его изголовьях, поправляя то руку, то голову, то ногу. Утром приехали в село.

Раненых за тот день было 30 человек, между ними наш р[отный] к[оманди]р Романов в ногу и ещё много офицеров. Их уж всех отправили в Ишим. Мёртвых человек 6, хоронили здесь. Яшу везти нельзя, и пришлось положить в дом и подождать дальнейшего хода болезни.

Нога у меня отходит, можно уже ходить тихо, но я решил от Якова не уходить до тех пор, пока ему не станет лучше и не отправят его в Ишим. Весь день ползаю около его, то поворачивая, то налаживая компресс, то пою его. На его глаза часто набегают слёзы, и он, обхватив мою шею рукой, шепчет: «Петя, милый мой, тяжело мне». Смотрю, смотрю на него и сам отвернувшись заплачу. Днём он тихо спросил: «В котором ухе звенит-то?» «В левом», — сказал я и не угадал к его и моему большому огорчению. «Нет, не угадал», — вздохнув, сказал он и застонал. Я догадался, о чём он загадал, и стал утешать его. Вечером наложили другую повязку. Время перевязки его страшно утомило, и он заснул. Я сижу рядом как самая исправная сиделка, ни на минуту не отходя. Тихо. Ночь. В окно стучит дождь. Осень, скучная, грязная осень. Скучно и грязно на душе. Сижу один со своими мыслями. Эх, ещё б на полдюйма ниже, думается мне, уехал бы и я с Яшухой. Сидел бы у его постели до того или другого конца, а потом… потом уехал бы домой и никогда б не вернулся больше сюда к этим полупомешанным людям. Так бы и было, но что-то, не знаю что и кто, но это было, меня предупредил этот кто, ударив меня по ноге во время моего плана, уже готового плана ранить себя. Значит, голгофа моя ещё далеко и крест мне ещё придётся нести.

3 октября, с. Кротовское

Кой-как, чуть живого довёз Якова до Ишима и отдал в госпиталь на попечение к сестре, большеносой типичной еврейке. Госпиталь полон ранеными и больными. Грязно: коек нет, а, как в казарме, сделаны из досок нары, на которых наложена солома, покрытая холстом.

Здесь вот один около другого и валяются больные. Чёрт знает что, одна обстановка убьёт. Яшка хочет чуть-чуть оправиться и удирать в Красноярск.

Бросить его одного дорогой не решился, уж больно убила его дорога. Ни повернуться, ни сесть, ни напиться сам, ходил за ним всю дорогу, что за маленьким ребёнком. Замучился и сам-то с ним полубольным стал. И словно за это моё самоотвержение я ещё наказан. И как ещё. Третий день по грязной дороге под непрерывным дождём тащусь в надежде скорее попасть в полк и свою родную роту, а мне чуть не на каждом шагу строятся различные каверзы. В Прокушкиной ночевал в хозяйственной части. Ребята навязали мне целую кипу газет и писем. Удостоверение взять ума не хватило, думал: доеду и так, далеко ли тут. Но в Сорокиной у меня спросили документы и чуть не арестовал комендант. Но знакомый доктор выручил меня и попросил лошадь для меня. Приехал вот в Кротово, а тут сюрприз ещё лучше, полк наш, говорят, ушёл на ст[анцию] Голышманово три дня тому назад.

Вот так фунт. Что делать теперь? Лошадь не дают, а ехать мне ещё до Голышманово 70 вёрст. Сижу вот и ломаю голову. Что делать? Как тут быть?

6 окт[ября]

Наконец-то, после целого ряда испытаний по дороге, о которых теперь некогда вспоминать (оставлю до более удобного момента), я добрался до своей родной роты. Я соскучился немало о ребятах, соскучились и обо мне.

Это я видел из их восторженных приветствий меня. Сидит вся рота в одной грязной избе, измученные люди ночным переходом по этой ужасной грязи.

Спят по полу, лавкам, на печи, на полатях — словом, изба производит впечатление мертвецкой. Но как ни плохо, всё же я благодарю провидение за благополучный исход моего 5-дневного путешествия из Ишима до роты по деревням до 300 вёрст.

8 окт[ября]

Вчера весь полк наш ушёл на позицию. Меня, как более всех наших офицеров роты бывшего без отдыха на фронте, Максимыч (он к[оманди]р роты, назначен после Романова. Романов ранен в ногу под Александр[овкой] же и уехал в Краснояр[ск]) оставил меня с обозом отдохнуть. Он, по-видимому, хочет меня, как убывшего из роты в госпиталь и не прибывшего ещё из оного, использовать для командировки в Омск за покупкой разных необходимых вещей вроде конвертов, бумаги и т. п. без особого распоряжения. А мне что ж — съезжу. Ведь я и в самом деле 9 месяц[ев] и никуда не на день не отлучался из роты, когда как они все побывали и в отпусках, и в резервных ротах, и в командировках. Сижу в избе и слушаю, как вторые сутки беспрестанно гремят орудия и пулемёты. А что мне до них! Пусть их дерутся.

Сплёл за день очень важную ременную плеть для пулемётчика Бронникова.

Давно он купил ремней и очень просил, да всё недосуг. Завтра отправлю ему, пусть погарцует. Любит он подзадаться.

Мишка, чёрт, уехал вчера в Ишим для обучения вновь призванных мужиков до 35 лет. Ну и рад же он! Растерялся и не верит, что это он едет, а словно другой кто.

10 окт[ября], д. Кошелево

Сегодня день ещё пробыл здесь. Откуда не переставая гремит и трещит. Много наших ранено, много убито, Максимыч заболел и сегодня, передав роту Моисею, приехал к доктору и уехал уж в госпиталь. Так и встряхивает его. Простыл, видимо. Сейчас в 1 ч[ас] ночи еду и я туда. Пропадать так на миру.

Благослови, Боже, путь мой, ехать-то ведь 20 вёрст; хотя грязь-то и подсохла, но поедут всё равно тихо. И ночь, и возы тяжёлые. Везут продукты.

12 октября

Стоим всем полком среди поля и ждём чего-то. Погода благоприятствует нашему шатанию по степи. Солнце светит как весной. Вчера отошли на новую позицию и простояли весь день в окопах рядом с Барабинским полком. На их участке дважды наступали красные, угоняя их из окопов. Барабинцы убегали, возвращались, убегали, снова возвращались, а мы сидели по окопам и наблюдали. Канонада не умолкала до ночи.

С нашей стороны били 10 орудий. К вечеру подошёл Красильникова отряд. Два раза сходились в штыки и красных наконец сбили с позиции. Они бежали, оставив трофеи и раненых.

Нас вечером отвели в армейский резерв, говорят, и вот стоим. Тихо сегодня, лишь изредка на линии ж[елезной] д[ороги] ударит раз-два орудие, и снова тишина. Ребята у огоньков поснимали рубашки и бьют вшей, рассказывая сказки и анекдоты. Порой их дружный молодой смех, как взрыв, то в той куче, то в другой раздаётся, и опять тихо льётся речь рассказчика, опять руки перебирают грязную рубашку или кальсоны, отыскивая противных насекомых. Скучно. Наши офицеры, а их уже осталось только четверо, Моисей, Чернявский, Гилев, Патрикеев и я, пьяные спят, черти, зарывшись, точно свиньи, в сено. Скучно…

18 октября

Третий день живём на позиционной войне, расположившись по глубокой канаве-границе не то уезда, не то крестьянской земли. В канаве глубиной около трёх аршин понастроили избушки-землянки с печками, вырытыми в спинке землянки вроде камина, с пробитым отверстием для дыма. Я вошёл в компанию с двумя стрелками моего взвода, весёлыми ребятами-татарами. Землянку устроили такую, что она к вечеру уж служила образцом для всех. И печь не дымит, и кушетка, и стул, и нары! Особенно печь не печь, а камин — импровизированный камин, в котором не переставая потрескивают дрова. Одна феерия, а не землянка.

Красные не наступают. Наши тоже молчат почему-то. Упорные слухи реют в воздухе о смене нашей дивизии и отправке полков на формирование по своим городам. На днях! На днях! Только и слышно. На днях сменяемся и едем в Красноярск. А дни проходят один за другим, не принося с собой долгожданной смены. Может быть, и скоро будет она, но уедем ли мы куда дальше Ишима, об этом погадать надоть. Обмундирования нет. Вся рота босиком остаётся, хорошо, что погода ещё стоит хорошая, — можно биться. Что будет в ненастье, — а оно не минует. Не дотянули б до того с этой сменой, как весной.

Дотреплют, доведут людей до крайнего возмущения, которое уж однажды вылилось в форму восстания.

Вчера наше житие-бытие ознаменовалось приездом Пепеляева. Приехал под вечер, поздоровался. Моисей подошёл с рапортом, постоял, поговорил о пище, об обмундировании. Обошёл наш участок, и… вся его кавалькада помчалась по дороге обратно.

Что за цель его поездки на позицию была — не знаю. Назавтра обещал прислать на наш участок сапёр и проволоку.

Здесь, видимо, простоим долго.

28 окт[ября]

Ух, как давно я не брался за свою книжку. Много дней прошло, и ещё больше было пережито за эти дни. Из той канавы, где было славно, тепло устроились жить без боязни со стороны красных, нас сменили красильниковцы.

Мы ушли в резерв. Красильниковцев в первую же ночь окружили красные и разбили, растрепали наголову. Нас отвели в с[ело] Б[ольшое] Сосновское, это поближе к линии ж[елезной] д[ороги], где мы крепко, очень крепко на первый взгляд засели за проволочным заграждением в глубоких окопах. Два дня рыли

землю, устраивая землянки, углубляя окопы и так д[алее]. Подход со стороны красных по чистому полю был немыслим. К тому же наша артиллерия, которой на нашем участке полка стало до 40 орудий, которые могли б засыпать снарядами и поднять такой ураган, от которого не только красные, черти все попрятались в преисподнюю. Однако же и это не помогло. Красные дня через три так попёрли, что к вечеру наши бросили окопы и сломя голову бежали на другую сторону села. От рвавшихся снарядов гудело всё кругом.

Рядом нельзя было расслышать слов говорящего. Снаряды с оглушительным рёвом рвались по цепям красных, поднимая землю вместе с людьми выше берёз, но люди как ни в чём не бывало спокойно двигались вперёд на наши окопы. Вот уж они у проволоки с криком «Ура». Мы побежали. По грязной улице, увязая по колено, толпой, обгоняя друг друга, бросая шинели, мешки, винтовки, заботясь только о себе самом, бежали, бежали.

На другой стороне села за рекой остановились, залегли в густой берёзовой роще. Вечерело. В воздухе всё ещё гудело от рвавшихся снарядов. В селе горели кой-где дома, выли собаки, кричали гуси, куры, коровы. Всё сливалось в один общий гул. На душе было одно безразличие.

Простояли ночь, без сна, голодом. Окопались. Днём около десятка было ранено в нашей роте. Руфиму Мальцеву пуля угодила в грудь. Только что вернулся, бедняга, из отпуска от ранения под март — не то перед Пасхой. Женился и вот…

Прошёл день быстро, не видно, как прошёл, и опять ночь, бесконечная ночь. Ночью поели супа. Нервно, беспокойно прошла ночь, а наутро, чуть свет, секрет полка заметил цепи в лесу. Поднялась стрельба. Красные поднялись и с криком бросились вперёд. Я прилёг в окопе и выстрелил. Гляжу, наши уже позади, мелькая между берёз, бегут к домам, побежал и я. В деревне к[оманди]р полка пытался было со своим штабом задержать роты, но… бежали вёрст шесть. Некоторые с пеной у рта падали и оставались лежать, не возбуждая ни сожаления, ни товарищеского долга в перепрыгивающих через этих людей.

День и ночь по ужасной грязи, иногда по пояс в холодной воде, под дождём, собрав все остатки, шли куда-то.

Из пяти этих тревожных дней сегодня, пройдя 50 вёрст, спокойно уснули и поели плотно в с[еле] Сорокино. Сидим в избе. По дороге безостановочно едут обозы, идут усталые люди, понуро опустив головы, так же как и лошади. Получили почту, письмо от Яшки. Он уже в Красноярске, злодей. Ну ничего, авось и я скоро буду там. Слухи о смене нашей дивизии подтверждаются. Вчера уехали от каждой роты по одному. 6 ноября, говорят, едем. Хотя…

Ведь сегодня опять придётся встать на позицию, прикрывая отступление.

31 октября, д. Быстрая

Проходим старые, грудью и кровью добытые места. Вчера прошли с[ело] Усть-Ламенское, сегодня сидим в д[еревне] Быстрой, в деревушке, которая 12 раз переходила из рук в руки месяц тому назад. Мокли под проливным дождём, были босы и так же оборваны, но были сильны духом, была дисциплина. Что имеем! — да то же, что и было уж. То же, что довело армию [к] выходу. Что было в Вятской

губ[ернии] нынешней весной. От усталости ли, от того ли, что все смотрят на всё сквозь пальцы, от наших ли доморощенных стратег — разобраться трудно в этом, но наша армия дошла до такой дезорганизации. Вчера ночью, например, человек 20 красных объехали с двух сторон д[еревню] Черторой, где отдыхал Барабинский полк. Подъехали к дер[евне], дали 3—4 залпа, пустили 2 ракеты, закричали «Ура» — и что же? — в селе подняли панику. Заставы убежали, не предупредив спящих людей. Из деревни бросились кто куда, забыв и пулемёт, и обоз, и кухню.

Мы стояли у броневика. Часть людей пришли к нам, часть к николаевцам. Только днём уж собрались до купы. Так и наши, так и все. От двух-трёх выстрелов всё бросают и бегут. А разговоров, а ругани — Боже мой. Обещанное отправление в тыл ещё больше усилило дезорганизацию.

Каждый, как и я лично, думает: и на кой чёрт я стану ещё рисковать, когда 5-го я поеду в родной Красноярск на отдых, к своим, а до 5-го осталось 4 дня. Порой стратеги наши доводят до смешного, как вот, например, в последнее наступление от с[ела] Сосновского. Вечером накануне бегства приходит в цепь наш к[оманди]р б[атальо]на и объявляет, собрав всех офицеров, своим картавым языком: «Объявите ст-ле-лкам, что сегодня в тли часа ночи наша алтиллерия откроет улаганный огонь. Слева и справа откроют огонь из пулемётов и орудий, после чего закричат все «Ула», не трогаясь с места. Таким облазом мы устлоим демонстрацию. Поздравим красных с годовщиной Октябрьской революции».

Сказано — сделано. В 3 часа село содрогалось от взрывов. Снаряды один за другим или три-четыре за раз рвались и в домах, и в воздухе. Трещали пулемёты, винтовки. Наконец заорали «Ура». Горазды ведь и наши на это! Спрятавшись в окопах, стрелять и кричать. Но вот скоро всё стихло. Прошло минут 15 этой мёртвой тишины. Слева красные открыли ураганный огонь вдруг, так же как и мы. Темноту над селом прорезали ракеты.

Близко от нас справа раздалась стрельба из пулемёта и залпом, а ещё ближе из березняка раздалось мощное «Ура», и… наши, как стадо, напуганное стадо овец, бросились бежать. Это тоже демонстрация — шутили более спокойные; демонстрация, демонстрация, раздразнили только — ругались более нервные.

И сейчас всё вспоминают ребята эту демонстрацию, копируя приказание к[оманди]ра б[атальо]на.

3 [ноября], ст. Ишим

Вчера наконец-то добрались до долгожданных вагонов и едем, кажется, в Красноярск. Доехали до Ишима. Едем всей ротой в 62 чел[овека] в одной теплушке. Теснота невообразимая, холодно, грязно, досадно на всё. Волновавшая до этого поездка, вернее, её приближение сменилось вдруг каким-то тупым безразличием. Хотя и немудрено, сегодня всю ночь пришлось трястись у разложенного посреди вагона костра, утирая рукавом слёзы от едучего дыма.

5 ноября, ст. Драгунская

За четыре дня не проехали и двухсот вёрст. Как и то отступление летом от г[орода] Лысьвы, тянемся лентой на сотню вёрст эшелон за эшелоном.

Разница-то, что тогда была тёплая погода и много облегчала жизнь в вагоне. Теперь людей почти то же число, но они все тут в вагоне, потому что на улице как-то вдруг с первым же снегом повеяло сильным северным ветром. Хорошо ещё, что на одной из станций ребята где-то умудрились достать печку, и обитатели вагона избавились от дыма.

Правда, темнота ужаснейшая, но тепло, — терпимо.

Все полки, какие я знал, на фронт едут. Вопрос, кто же остался-то? Один добровольческий полк, который сменил нас из арьергарда в Голышманово.

Что-то тут есть, чего я никак ни от кого не могу добиться, Ишим уж занят красными, Омск эвакуируется. Чёрт их знает, что там опять задумали наши бюрократы. А наши мудрые вожди придумывают и пишут людям в роты новые и новые бумажки. Сегодня утром к[оманди]р б[атальо]на прислал бумажку, в которой к[оманди]р полка «той роте, в которой не будет отставших до места людей, дан будет отпуск всем». В высшей степени мудро. Словно маленьким ребятам обещают конфетку, если они будут паиньки.

11 ноября, ст. Барабинск

16 дней едем и половину пути не можем преодолеть. По 30–40 вёрст делаем в сутки. Нудно, один за другим проходят дни. Валяешься в грязи, точно свинья в котухе. Теснота, духота, особенно ночью — это что-то невозможное. Вчера ночью меня вырвало от поднявшейся вдруг вони. А вшей! Боже ты мой! Каждое утро просыпаясь, снимаешь всё с себя и тщательно обыскиваешь, убивая или выбрасывая за окно сотни крупных чёрных и белых вшей. Вытащишь, кажется, всех до единой, но не пройдёт и дня, как снова везде ползают; снимешь рубашку, и опять полно.

У солдат ещё больше. У одного стрелка, жирного здорового парня, так много развелось, что вчера, когда он снял пальто, то со спины рубашки пришлось прямо сметать. Время проходит в игре в карты, в спанье, еде и искании вшей. Иногда поём всем вагоном; частенько Чернявский угощает нас своими романсами или со звоном («Сколько к милой звонят») исполняет «Вечерний звон». Выходит очень красиво. Но всё и все мы уж порядком надоели друг другу. Господи, как надоело всё, а до Красноярска всё ещё далеко.

16 ноября

День ото дня путь наш становится всё тяжелее, хотя постепенно и коротает. Едем или не едем, а ползём по пятьдесят — по сто вёрст в сутки. Всё бы это ещё было терпимо, если б не эпидемия тифа. Ещё третьего дня у нас в вагоне был только один больной, а сегодня уж половина стрелков валяются в жару, бредят, кричат. Один бедняга всю ночь и день не может прийти в себя, хотя и ходит на ногах.

18 ноября

Вчера 6 человек больных, с грехом пополам, удалось поместить в летучку[1].

[1] *Летучка — военно-санитарная летучка, разновидность военно-санитарного поезда.*

А сегодня снова лежат четверо, болит и у меня голова весь день сегодня. Ухаживая то за тем, то за другим, я заразил и себя, это уж наверное. Если не свалит окончательно, то благодаря моей крепкой натуре. Завтра, кажется, будем в Красноярске. Омск, наверное, уж сдан, ведь там никого не осталось почти. Что-то ждёт в Красноярске. Тревожные мысли не выходят из головы. А что, да и в самом деле, взять да и рискнуть. Ведь хуже этой жизни, пожалуй, не будет и в тайге. Всё решится там, в Айтате. Дорогой заеду к Сеньке Липнягову, он обещал ещё прошлой зимой, когда я был у него, мне приготовить паспорт. С паспортом можно устроиться и в Иркутске. В этом поможет ещё и Рудольф. А не выйдет тут — попробую сойтись со своими охотниками. Тут не могу больше оставаться. Нет сил. Была не была — уж хуже во всяком случае не будет.

Может, и беднее, но честнее.

25 ноября, с. Александровское, оно же с. Ладейки

Вот и Красноярск, которого ждал всё лето и который так холодно, безучастно отнёсся к нашему приезду. На станции сверх всякого ожидания нас ни одна живая душа не встретила. Приехали ночью на 21 ноя[бря], простояли в вагонах, ожидая выяснения вопроса с квартирами, до 23-го и только к ночи 25-го вышли из наших конур и, грязные, в лохмотьях, напоминающие живо 12 год, возбуждая в каждом встречном сожаления и слёзы, с оркестром пройдя город, направились в сел[о] Ладейки, что на той стороне реки в 10 верстах от гор[ода].

Половина, даже ¾ людей роты слегли, заразившись тифом, в госпиталь. Отпуск не дают, хотя все красноярцы живут преспокойно у себя дома. Моисей ушёл опять к к[оманди]ру б[атальо]на и хочет с ним поссориться. Не пустят — едем самостейно. Всё равно уж.

Омск сдан ещё 14 ноября. Во Владивостоке большие восстания. В Минусинске, в Барнауле, в Тасеевой вновь открылись фронта. Что ж тут ожидать ещё. Вчера был у дяди. Там случайно встретил и Алёшку Безрукова. Паспорт обещал приготовить на днях, вернее, к моему приезду к нему. Ура — это уж легче. С паспортом-то я силён. Из дому утешительного ничего, разве то, что мои старания, мои хлопоты об открытии школы у нас в Айтате увенчались успехом. У нас открыли школу. Если поеду домой, надо не забыть купить ребятишкам в подарок карандашей и тетрадей. Гошка пропал без вести в Минусинске, чуть ли не утонул, по слухам. Лида, отвергая его любовь и любившая безумно меня, вышла замуж за какого-то писаря.

Вот холера-то. Вот и верь им после этого. А что она мне не говорила в письмах, какие обещания давала при встрече в Мурте на (…). Ах ты, Господи. Меня-то не особенно убило это известие, — пусть как-то на душе тупо, да и любил-то я её не лучше других, но обещания, клятвы… Гошка, говорят, застрелиться хотел, но что-то помешало, и он уехал на фронт.

2 декабря

Славно было обжились у Анны Матвеевны, словно у себя дома спалось на её постелях и елось за ея хлебосольным столом с разными крестьянскими

яствами: варениками, печёнками, свекольником и мягкими шаньгами. А особенно хороши были невестка Поля и дочь Нюра!

Вчера чёрт принёс артиллеристов, и нам было приказано очистить занимаемой ротой участок для них. Нас втиснули между пулемётной и 2 ротой. Избы попали плохие, а хозяева ещё хуже, неприветливы и злые. Солдаты тоже, видно, сжились со старыми хозяйками и всё сожалеют о том, что переместили нашу роту.

Отпуск мой начинает зарождаться. К[омандир] бат[альона] уж сегодня разрешил пойти к к[оманди]ру полка просить его об отпуске. Эх, получить бы скорее жалованье, и тогда бы уж можно действовать энергичней, а то ведь я уж все свои деньги поразда вал по своим сослуживцам: то Гилеву, то Моисею.

6 декабря

Оставшись один в квартире, я долго сидел при свете сальной свечки с вдруг охватившими меня мыслями о моей жизни в частности и вообще об эгоизме людей, желающих больше только себе. Раньше я меньше думал об этом, ибо меньше приходилось сталкиваться с подобными вопросами, я меньше и чувствовал себя тогда эгоистом, — моя совесть была покойней. Сегодня, сейчас вот я невольно поймал себя на этом, когда мой взгляд упал на мою новую суконную шинель, из которой я решил сшить себе брюки и тужурку, не имея особенной нужды в этом. Это прихоть, думал я, а солдаты у нас в такой мороз ходят в холщовых ещё шинелях. Отдать лучше, ведь у меня ещё есть шинель, есть и пальто, а у Япрынцева вот брезентовая и та сожжена. «А пара-то какая красивая выйдет», — шепчет кто-то другой. Мой вопрос разрешил Силько, ввалившийся вдруг в комнату, подавая мне бумажку: «На-ка, прочти, просят пожертвовать на венок Мальчевскому, умер от тифа». Меня словно кольнуло что. А ведь сколько он крал, как хватал, на миллионы одного золота набрал, поди, в пермских-то ломбардах и… умер. Осталось всё, и пожить не пришлось. Вот она, наша мелочная натуришка. Эх ты, Господи.

12 декабря, д. Айтат

Наконец-то я выбрался из полка. В субботу на той неделе пошёл опять к командиру полка с твёрдым решением дождать его в Торгашино, хотя бы и двое суток пришлось просидеть.

Уж темно было, когда он изволил пожаловать. Разрешил мне отпуск на 8 дней, но вышло так, что я отпуск получил бессрочный. На документе ни в канцелярии, ни полковник не написали, благодаря темноте видимо, по какое я отпущен. К чему это! Однако не к добру — говорит мне моя мнительность.

Поздно вечером вернулся домой. Моисей так ослаб, что и не может сам повернуться на бок. Позвал доктора-чеха. Температура 40,8. Оказалось, он заболел возвратным тифом. Утром назавтра Моисея пришлось отправить в госпиталь, а я, собрав свои манатки, уехал к дяде и домой на его лошади. Дорога так криво вышла, что домой приехал уж ночью на третий день. Заехал к Липнягову. Паспорт уговорились как достать. Не знаю, выйдет ли что из этого. Заехал к Яшке. Он ничего, поздоровел. Даже румянец показался на его бескровных щеках. Работает. С мужиками хорошо сжился. «Не боюсь, — говорит, — и красных!» А я!..

Своих-то и я не боюсь, но меня страшно пугает эта наша самоходня несчастная. Свои-то ничего не сделают и не выдадут, а те… Уеду, если заслышу что, в город. Рудольф обещал телеграфировать, если что.

По дороге домой всё то же, знакомое до мелочи. И кусты, и ямы, и логи. Ничего не изменилось, изменился только я. Не билось уж сердце при приближении к родному Айтату, как раньше бывало, не охватило и знакомое мне волнение мою душу при встрече с мамой и братом. Заплачет, бывало, раньше мама, выбежав на крыльцо, не могу и я удержать слёз, а теперь и тут олимпийское спокойствие не покинуло меня. Точно не домой я вернулся после всего пережитого за этот год, а так, в одну из деревень, как на фронте.

Сердце очерствело, пусто на душе.

Мама состарилась ещё больше, сморщилась. Всё ещё есть слёзы и чувство жалеть нас и оплакивать. А брат вырос, поздоровел — узнать нельзя.

20 декабря

Дни бегут незаметно и в деревне. То по хозяйству что делаю, то в школе с ребятишками вожусь или — на стенку, строй преподаю. А вчера так весь день прозанимался, отпустив учительницу в Мурту. Третьего дня с Ольгой Александровной (учит[ельница]) покумкались, у соседей крестили дочь, назвали Женей. Ольга Александровна молодая ещё, красивая женщина, жена шенника. Я уж слышал о ней на позиции, она меня ещё лучше знала от мамы и крестьян. И немудрено, что мы как-то скоро сдружились. Вчера, затаскивая карты в класс, она назвала меня «Петя» и стушевалась, как гимназистка. Я сделал вид, что не расслышал. Часто я вижу, как она грустит и плачет порой, но что сделаю? Жаль иногда, но чаще бывать с ней боюсь, что соседки раскостят её: наговорят бог знает что. А она и не подозревает.

Сегодня хотели приехать с Крумова учитель и фельдшер, а от меня всей компанией в Мурту на спектакль. Фельдшер обещал уж дать удостоверение о болезни. Значит, можно прожить до Рождества дома, а там… Паспорт получу и вольный казак.

9 января

Кончается и праздник Рождества, а следа никакого. Город положительно наводнён войсками разоружённой белой армии, пришедшими советскими войсками с запада и войсками Щетинкина из Минусинска. Люди бродят днями голодные, полубольные из дома в дом, прося кусок хлеба или обогреться.

В худшем положении находятся ещё лошади. Бедные животные слоняются по улицам как тени, заморены, скелеты почти, отыскивая соломины, собирая дудочки по дороге.

Сердце разрывается, глядя на них. А их тысячи. Куда ни глянь, всюду лошади и лошади.

Ходил сегодня в штаб своего полка, где решил записаться и служить ещё верой и правдой в новой советской народной армии, иначе в 4 советском

Енисейск[ом] полку. Сходил в роту. Там всё то же. Максимов к[оманди]ром роты выбран, а Силько и Мишка взводными. Я остаюсь по-прежнему начхозом роты.

Рота стоит в заставе при въезде в город на дороге. Все проезжающие обыскиваются и всё казенное и оружие отбирается. Словом, идёт грабиловка.

Ребята по 3—4 реворвера завели, лошади, седла английские, сукна, шубы. Завтра уйду совсем в роту, а то уж я порядком надоел Анисье Степановне. А она ещё больна и поэтому ещё раздражительней. А тут солдаты, одни уходят, другие заходят. Господи!

Столпотворение какое-то. Офицеров, не признающих совет[скую] власть, сажают в тюрьму, полна уж, говорят.

Да, выход один — это поступление в Армию — Красную армию. Скрываться — и с чем? Где материальные средства, где найти службу? Где взять документы, по которым можно было б безбоязненно служить — работать? Нет ничего. Нет и старых друзей, истинных друзей. Все они до поры до времени.

Стёпка паспорт обещал, а когда нужно было, тогда ни Сеньки, ни Стёпки не нашёл. Избегали нарочно встречи со мной, черти.

В деревню уехать — каждый встречный может бросить упрек: ага, мол, у Колчака демократом был, а когда нужно эту демократию защищать, тебя не стало — удрал.

Ушёл к ребятам в роту. Что будет дальше, а пока заживу хорошо. И лошадь седловая, и всякая дрянь. Гуляй, Митька, пока…

11 января

Утро. Рано. Быстро же я отгулял. Вчера ещё успел верхом съездить к дяде в город и, кажется, последний раз гарцевал на лошади.

Вечером принесли приказ о разоружении нашего полка и сдаче всего имущества, за исключением 1 пары белья и верхнего платья, в полковой цейгауз. Сегодня будут выданы всем стрелкам документы, и кто куда. На все четыре стороны. Перед роспуском все пойдут на митинг. Хотят, видимо, добровольцами призвать вновь сформировавшуюся бригаду. А нам, как мы есть, ни на йоту не верят, хотя мы и повстанцы.

Весь командный состав остаётся пока на месте, а после окончательной ликвидации части загонят, говорят, всех в городок, в лагерь военнопленных, и бог их знает, что там ещё станут с нами делать. На кол сажать кругом лагеря, по тыну, или вешать. Словом, там за лагерем хорошего не видно. Дальше в лес, больше дров.

Вчера весь вечер шутили, дурили со своими хорошенькими хозяйками Зиной и Валей, а ночь не спалось, чёрные думы, кошмарные сны о предстоящих переживаниях не идут из головы. Опять тот же вопрос встаёт: что-то будет, что-то будет.

15 янв[аря]

Вчера поздно ночью из штаба полка получил бумажку, с которой я и со мною 30 молодцев завтра, чем свет, должны явиться в распоряжение комиссара по сбору и ликвидации колчаковского имущества Крутухе.

Я взял лошадь из роты и как старший поехал к Крутухе, захватив на всякий случай пары 2 белья, полотенец и мыло. Товарищ Крутуха принял меня очень любезно и объявил, что сегодня мы выступим с 3 тысячами лошадей по Иркутскому тракту.

«Прикажите своим молодцам словить хороших лошадей и седлать». Я вышел на двор. Перед моими глазами развернулась ужасающая картина. Обширный двор (казачий) был полон, нагнан лошадей, голодных, еле волочивших ноги.

Бедные животные шатались из угла в угол, грызли стены, падали, их топтали другие и тоже заваливались и дохли. И их-то гнать. Да как же! Но ведь очистить город-то надо. Часа через два мы выехали.

Не успели из города выгнать хвост нашего табуна, как случилось нечто ужасное. Лошади, не видев недели воды, бросились на Енисей к прорубям и полыньям. Отогнать или восстановить какой-либо порядок не было сил. Лошади давили друг друга и сваливались в воду. Скоро проруби и полыньи наполнились телами животных. Другие сошли на лёд и попадали. Люди сбились с ног. Только к вечеру, оставив половину на реке, остальных погнали дальше. На намеченный станок (деревня в 18 вер[стах] от гор[ода]), где была заготовлена солома для корма и квартиры, приехали часов в 11. Я простыл верхом, морозит, а в глазах всё мерещатся мучения бедных, ни в чём не повинных животных.

Господи! За что? Меня душат слёзы…

Буду бредить, начинается жар. Не заболеть бы. Эх ты…

д. Кузнецова

18 янв[аря], с. Маганское.
Возн. в Канск. у.

Так и есть. Видимо, тиф. Лежу у крестьянина третий день.

Ребята, оповестив соседние деревни, раздают лошадей мужикам.

Вчера было особенно плохо. Думал, ночью умру. Не смог сам перевернуться. Спасибо старику-хозяину. Он помогал. Всю ночь ходил за мной.

Жар. Во рту сохнет, тело как в огне горит, а в глазах всё лошади, лошади...

А днём надо писать расписки, расписки без конца мужикам, взявшим лошадей.

4 февраля, г. Красноярск

Две недели, как приехав от Ванюшки Терентьева, где лежал неделю, болтаюсь у дяди. Было три ещё сильных приступа, но благодаря уходу Раи (сестра из госпиталя) я кой-как перенёс и начинаю ходить, хотя чувствую себя очень слабо. Силы нет, похудал до неузнаваемости.

Похороны тётки, горе дяди, неутешное горе этого обиженного жизнью человека, бесприютность девчат доконали меня окончательно.

Малокровие развивается с каждым днём. Доктор велит ехать в деревню, где и питание, и покой будет в моём распоряжении. Через Рудольфа удалось достать документ отпускной, и я, счастливый, еду завтра к маме в свой Айтат.

Где полк — не знаю. Кажется, расформирован по разным командам. Не знаю и о судьбе ребят. Война на востоке разгорается. Чехи и остатки колч[аковской]

армии страшно сопротивляются где-то за Канским. Здесь понемногу всё прибирают к рукам.

2—15 февраля, д. Айтат

Добрался наконец-то и снова в своём родном Айтате. Мама несказанно рада и не знает, что мне приготовить поесть из молока, т. к. я, кроме молочного, ничего есть не могу. Соседи также ежедневно приходят «заведать». Особенно Андрей Васильевич Киселёв, друг покойного отца. Придёт со своей неизменной люлькой и, окутав себя облаком дыма, рассказывает из своей с отцом охотничьей жизни и нескончаемых приключений из военной 7-лет[ней] службы.

Местные власти оставляют меня, несмотря на моё 5-дневное пребывание здесь, оставляют в покое. Что будет дальше.

20 февраля.
Суб[бота] масл[еничной] нед[ели]

Тихо, грустно порой от этой монастырской тишины. Время убиваю в работе или чтении привезённых от Любы книг. Не хочется и видеть никого, и говорить ни с кем нет желания. Недаром же муж Ольги Алек[сандровны] вчера назвал меня флегматиком. «Может быть, и так, — ответил я. — Жизнь сделала таким. Вы ведь не пережили того».

Разговор вышел какой-то злой, как с моей, так и с его стороны.

А вечером Ол[ьга] Алек[сандровна] зашла ко мне в амбар и, взяв честное слово порвать, подала записку, в которой она же просит меня ни с чем не обращаться к ней в присутствии мужа и не бывать у ней. «Вот тебе раз», — думаю я. Она уж скрылась.

Хотел идти и объясниться с ним, да ну его ко всем чертям, дурака. Надоели уж мне эти ревности мужей. Словно я красавец какой. Правда, говорят, болезнь меня сделала очень интересным, но не значит же, что за мной побежит каждая замужняя женщина. Ну и глупы же все эти молодожёны.

Дядя очень плох. Вчера получили телеграмму, а ночью же Яша уехал к нему. Заедет за Любой. Надо не умер, бедняга.

Масленка скучна. Эх, хоть бы Яшка приехал, вспомнить прошлые масленки.

27 февраля

День моей явки на учёт в управление Военкома.

Дня четыре тому назад получил из волости объявление, в котором чёрным по красному было написано, что весь командный состав, в скобках «бывшие офицеры», как проживающие в городе, так и в уезде, как служащие в армии, так и проживающие вроде меня, должны в трёхдневный срок явиться на учёт. Всё это я прочёл довольно равнодушно, но когда мне сегодня сказали, что Муртинский военком Ал. Ковригин, он же мой старый враг, спрашивал, выехал ли я из Айтата на учёт, — меня немного покоробило: ведь он может арестовать меня, хотя я и уволен «до выздоровления».

Придётся ребят дождать из города да собираться опять куда-то, зачем-то.

6 марта

Вчера полубольной брат вернулся из Красноярска и привёз несколько писем. Привёз и от Орлика, и от Яшки и Любы, этих трёх лиц, не забывших меня и готовых во всём пособить мне. Это уж я знаю — чувствую. Их письма оживили и успокоили несколько мою неврозность. Вчера поехал в Мурту и зарегистрировался.

В числе вопросов на большом листе, — где служил, когда поступил и т. д., был вопрос: признаю ли я советскую власть? Я написал — «сочувствую». Дал свой адрес. Этот лист вроде анкеты отправят в Красноярск, а оттуда уж не знаю, что мне скажут. Да чёрт с ними. Хуже не будет, что было уж.

Дни проходят в работе по хозяйству незаметно, некогда и почитать, то ягнят накормить, то коров, то лошадей. А вечера почти все проходят на собраниях моих односельчан.

Нет дня, чтобы Ефим, здоровенный дядя, с такой же дубиной в руках от собак, осаждавших его по улице, не кричал, шагая улицей: «На сход! Эй, Петро Павлинович, — на сход иди, прочитай там». Иду, читаю и пишу бесконечные ответы на бесконечные требования овса, муки и сена на нужды армии красной. Гнутся, пыхтят, кряхтят мужики, да везут.

На днях наблюдал характерный случай, лишний раз доказывающий отсталость и сохранившееся от татар, видимо, грубое отношение к женщине моих сородичей.

У нас в деревне уж три недели как поселился отряд солдат с лошадьми. Красивые, чистые, бойкие ребята сразу заняли первое место у наших красавиц. Начались ссоры и раздоры с нашей молодёжью. Но это ещё обыкновенная история. Наступил день отъезда «красных молодцев». Легкомысленные девахи собрались тоже. Уход одной дома открыли и, найдя её у солдата, взяли и, предварительно избив до полусмерти, повели по деревне. Толпа человек в сто следовала позади, сопровождая беднягу боем в заслонку, гиканьем и воем.

Этот ужасный концерт услышал я и вышел. Несчастную жертву кулаками подгонял сзади, а она, заливаясь слезами, ловилась за шинель уходящего солдата и кричала: «Миша, Миша, заступись, заступись, убьют». Толпа неистовствовала.

14 марта

Быстро, неудержимо летит время. Промелькнёт неделя в работе, и не видишь как. А работы хватает, — хлопотливо-торопной работы. То коров кормить, то лошадей, то ягнят, то телят напоить. Встанешь в 4 ч[аса] и до четырёх всё ходишь и ходишь. Скорей бы Яков поправился или дядя приехал. На Митю плохая надежда; уж больно он слаб.

Последние две ночи и я не смыкая глаз хожу за ним. Мама бранится. Лишняя забота да уход. А куда его денешь. Ещё совсем недавно я лежал в Маганске у Ванюшки так же, у совершенно чуждых мне людей. Ведь ходили ж они за мной.

1 апреля

Ну, слава Всевышнему, самую тяжёлую и нудную работу кончили: измолотили весь хлеб. Уж и поработал же я эту неделю. Измаялся вконец. Грудь от пыли, ноги, руки — всё болит как никогда ещё. А работы и без этого по горло по хозяйству.

Но это уж легче, хотя и хлопотливей. Брат слёг окончательно, то же, что и с Мишей: бредит и днём и ночью. Замотали и меня, и маму. Дядя не едет — всё ещё не поправился. Любу бы надо попроведать, тоже заболела тифом, бедняга. А всё дядюшка наделил — и Якова, и Любу, и меня. Уезжая в Канский уезд с лошадьми тогда, я заехал попрощаться с ними. Поговорили, посидели у кровати тёти. Прощаясь, я поцеловал и тётю. Поцеловал и подумал: вот и я теперь заразился тифом и заболею. А Анисья Степановна уж очень больна была. Заболел в ту же ночь, проехав 15 вёрст.

4 апреля

Боже ты милосердный! Неужели умер дядя, неужели убит Георгий? А говорят, что это так. Приехал сослуживец брата и говорит, что знает, где и похоронен он. Мама извелась вконец. Не легко и мне, вместо предполагаемого отдыха здесь, в деревне, в душе те же страдания за своих близких и за себя. Заклеймённый печатью офицера, я изгнан даже из среды своих мужиков. Я «буржувазия», я кулак, я колчаковской наймит, я офицер. Мне нельзя высказать своего мнения на собрании по тому или другому делу, я даже присутствовать на собрании не имею права.

Мало этого, за мной следят, меня хотят в чём-либо замешать, чтобы арестовать и отправить отсюда. Вчера арестовали Ольгу Александровну за то, что она в споре с кем-то по дороге из Красноярска прямо сказала своё мнение о существующей власти. Сегодня, говорят, отправили из Мурты в тюрьму. Муж ея тоже уехал за ней следом. Школа осиротела. Книги ребятишкам меняю пока, но…

Очередь об аресте висит над головой, и чувствуется ея близость с каждым днём, хотя и не за что. Эх ты, доля злая.

(...) н. с., д. Айтат

Как много прошло времени, больше месяца, как я не заглядывал в свой дневник. Хорош же дневник, — нечего сказать! Хотя что и писать-то было, так однообразно, тихо проходит жизнь. Работаю с утра до ночи, ни о чём не мечтая, ничего не жалея. От грубой тяжёлой работы заметно погрубел и я, как физически, так и душевно. Руки грязные, мозолистые, грубые, физика загорелая, красная, ясно говорившая о моём здоровье, но всегда грустная, пережившая немало, молчаливая. Я ушёл в себя, я одинок, но я счастлив, что меня пока оставляют на свободе. Ведь всех арестовали уж, а я…

Письма

Яша — Петру Чащину, 12 октября

Добрый день, Петя! Как дела, как самочувствие? Что хорошего на фронте и где-то вы теперь? Я милостью неба с грехом пополам добрался до Красноярска, упросил доктора оставить меня здесь, т.к. поезд наш направляли куда-то дальше на восток. И вот теперь сижу у Коли и строчу. Клаша ушла где-то на базар, что ли. Дали мне удостоверение из поезда, и теперь думаю сходить в госпиталь и записаться на амбулаторное лечение. Чувствую себя сносно, хотя в груди и изрядно побаливает, только ниже ран. Нигде пока не был и ничего не знаю. Спра-

шивал про Георга, и Клаша хорошо не знает. Но, брат, ходят печальные слухи, что чуть ли он не погиб. Схожу авось сегодня к Василию Николаевичу, узнаю, не знают ли они чего о нём. Твоя мама живёт в Айтате и пока здорова. Здесь накануне моего приезда был Елисеич, получили они от нас с тобой письмо, поплакали, и он уехал. Мишку Чепурнова арестовали по обвинению в большевизме, сидит теперь. Тех же, что были здесь арестованы за прошлогоднее муртинское восстание, всех увезли куда-то на восток. Настроение у публики среднее, безразличное, в Минусинске товарищ Щетинкин, здесь же вокруг пока спокойно. Лишь только поправлюсь немного, буду просить скорее на комиссию, а там в деревню, охотиться на косачей и зайцев. Думаю, дадут более или менее продолжительный отпуск, а то, брат, больно уж я отощал, пройду десять шагов и задыхаюсь, голова болит. Райка Пильникова служит в местном госпитале; думаю, завтра увижу и передам от тебя привет — думаю, следует ведь?

Как-то поживает там Моисей, Силька, Максимыч, Мишка, Иосиф, Подковаев и другие? Передай им всем от меня преогромнейший поклон от моей чёрной бороды и до сырой земли. Приехал, брат, а у Клаши вина до чёртиков, настойки разныя, на зубровке, на каких-то ягодах там, но… пить трушу, ведь теперь от рюмки спьянею. А курить, друже, вот курю, начал ещё в поезде. Лежать по-прежнему предпочитаю на левом боку и ночами страшно устаю. После твоего отъезда из Ишима у меня, брат, пошла горлом кровь, сначала всё отхаркивались сгустки, а потом пошла чистая, но дня через два прекратилась. Кстати — братишка твой живёт, видимо, пока дома, ещё не взяли. Я обязательно к ним съезжу и, что обещал — сделаю. Даже сегодня или завтра схожу к Василию Николаевичу и настрочу его, чтобы он послал телеграмму куда полагается. Жизнь здесь страшно дорожает, не знаю точно цен, но достаточно сказать, что пшеничная мука доходит до… 100 руб.!!! Клаша собственно устроилась членом в какой-то военной экономической лавке, где всё вдвое, втрое дешевле. Так, крупчатка I сорт — 50 р.



Адмирал А. В. Колчак на смотре войск, 1919 г.

Так вот так-то, мой друг, дела.

Старайся во что бы то ни стало вырваться в отпуск, отдохнём хотя, немножко успокоимся, а то истрепались мы до крайности. Я и теперь ещё не могу отделаться от кошмара пережитого, и теперь ещё каждый резкий стук воротами или что-либо в этом роде заставляет меня нервно вздрагивать. Ну пока, будь здоров. Устал я что-то, вредно ещё сидеть-то, колет что-то «во внутрях-то»! Приехал ли Изотыч? Пиши! Жму руку, только не так сильно, как ты мне на прощанье в госпитале.

Твой Янхель.

(…)

Яша — Петру Чащину, 13 мая 1920 г.

Друже!

Читая твоё письмо, я немало дивился твоему пессимизму, той угнетённости, в которой теперь, видимо, находишься ты. И знаешь, мне от души жаль тебя, потому что я вижу, как не приспособлен ты к житейским бурям, как гнёт тебя в любую сторону каждый, даже незначительный порыв полуденного ветра. Брось! На горизонте, мой друг, ясно — как всегда, — и только твоё уставшее сердце в колебаниях воздуха чувствует бурю. Тебя пугают нелепые слухи про Красноярск — не верь, там мало что изменилось. Непомнящий, Максимыч, Чернобровин… да что перечислять — все почти наши ребята, как служили, так и служат в полку, который теперь переименован в Енисейский кадровый 39 дивизии, получая 4000 оклад и ничего не делая. Я сам только что вернулся оттуда, был на учёте, многих видел, меня тоже ребята звали, но… ты сам знаешь моё здоровье. Правда, некоторые попали в городок, но только случайно, да и они, вероятно, в недалёком будущем вернутся.

Многие живут, ничего не делая в Красноярске, и по отношению к ним нет никаких преследований. Ты мне пишешь про какого-то Ковригина, который будто бы считает меня и тебя своим врагом. Мой милый, я совсем почти позабыл про существование Ковригина, так мало он для меня значит и такое низенькое положение занимает, что я считаю за грех для себя считать его врагом. Ты говоришь, он следит за каждым нашим шагом, словом — ну что же, пусть, — я даже горжусь этим, что интересую своей особой даже совершенно чужого, ненужного мне человека. И бояться нам с тобой за свои слова, за свои участия не приходится — мы ничего никогда скрытно — ни плохого, ни хорошего — не делали и делать не намерены, а служили у Колчака… Я думаю, нам не нужно пред собой оправдываться — раз только сила, угроза наказания бросала в объятия смерти, и в данном случае моя совесть спокойна — и сознательный умный человек поймёт и… не бросит в глаза незаслуженного упрёка, а на глупого даже стыдно и обижаться — лучше не обращать внимания. Ты знаешь, когда я жил в полку, как относились ко мне солдаты и что я был для них, — так живу и теперь. Народ, меня окружающий, не скажу — любит, ибо это хвастовство, но ценит и уважает меня настолько, что когда я был в Красноярске и здесь в деревне кто-то пустил слух, что я арестован, они решили сейчас же написать приговор и во что бы то ни стало меня выручить, но, к счастью, я в этот же вечер вернулся. Я у них стал секретарём, затем они ни дня, ни ночи не дают мне покоя,

чтобы я согласился быть учителем, а они уж сами выхлопочут моё назначение. Вероятно, придётся пойти и на это. Я часто провожу с ними вечера, читаю им книги, газеты, объясняю, отстаиваю их от бесконечного числа фуражиров — и они, нужно отдать им справедливость, за это мне благодарны.

Не думай только, брат, что я подделываюсь под настроение, ты-то уж, я думаю, знаешь, что я никогда ни к кому не подделывался.

От должности военкома я категорически отказался — хотя и мог бы им быть, но… слишком уж неопределённая — и, как теперь выяснилось, ненужная должность, ведь военкомы при волостях упраздняются. А в общем, должен тебе сказать, что живу всё время дома, занимаюсь хозяйством. В начале прихода красных банда дезертиров и всякого сброда, ограбившая Хандова, Шишулина, Полежаева и многих других, взяла и у меня чёрную шубу, брюки, несколько белья, мою централку, бердану и… твой кольт и 6000 р. (…) . Теперь почти вся эта компания под судом, главарь сидит в тюрьме, но мне от этого не легче.

Ты зовёшь к себе. Друг мой, поверь, на этой неделе нет ни минуты свободного времени, то сена, то соломы нужно, то мельница, то дела. Но в крайности, если не приедешь в это воскресенье, то авось в следующее я прикачу к тебе. Богом тебя прошу, оставайся и живи дома, не поступай никуда, отдохнём хотя немного, а то этому не будет ни конца, ни края.

Экстренно кончаю.

Привет всем, твой Яшка.

Пётр Чащин — брату Якову

Что жить в хозяйстве, когда жить не дают? Чёрт с ним. Пропади оно всё пропадом. Смотрю вот, как корчится Яков, и плачу над ним. А вы всё трясётесь с хозяйством. Оставишь Василия Васильевича, и пусть себе хозяйничает. Хлеба



Первый батальон Канского полка в с. Торгашино, 20 января 1920 г.

хватит ему. Пусть хоть стены сохранит целыми, а вернёмся, тогда уж станем о хозяйстве думать. Новой дом отдай под школу, если она будет когда-либо у нас. Пусть ребята учатся. Когда я денег много накоплю и останусь жив, то такую им школу построю, что небу жарко станет. Жениться уж не стоит теперь, когда молодость прошла, а деньги на ветер бросать я не привык, ну коплю, чтоб хоть кому-нибудь после сделать на память о моём существовании плохое ли, доброе ли (кому как покажется) дело.

Прав ли я, Яша?

Пиши чаще, привет всем соседям передай. Привет Василью Васильевичу, дяде Мише и тётке Луше, дедушке Фонею и Алёше с Марфой, деду Арсену и бабке Марине со всей семьёй, Ефиму Фёдоровичу и всей семье. Словом, всему милому Айтату. Зайди от нашего гумна и поклонись до земли сырой.

Целую крепко, крепко тебя и маму.

Ваш Пётр.

Привет от Пахомовича.

Пётр Чащин — Парасковье Николаевне Чащиной

Моя милая мама!

Перед каждым боем я считаю долгом сказать тебе слово утешения; может быть, последнее слово. Бог знает что там ещё будет. А вдруг… Ничего. Ты, дорогая, не отчаивайся и молись, если уж так тяжело будет на душе. Нерадостно протекла твоя жизнь. Пропадает надежда и на жданное, долго жданное лучшее, но что же делать, моя милая. Судьба, знать, твоя такова. А теперь уж, когда жизнь прошла, прошли твои лучшие годы, что теперь жалеть. Молись.

Крепко, крепко целую тебя, моя милая добрая мама, на прощанье и желаю долго, долго жить. Хоть и с горем, а жить всё-таки хорошо. Не так ли?

Время изменится,
Горе развеется,
И сердце усталое
Счастье узнает вновь.

Любящий тебя Петя.

1919 г.

Аркадий Тугаринов

Красноярск, 1919 г.

Общей характеристикой этого 1919 года для Красноярска был возврат к старому, два года назад свергнутому революцией. После разгрома большевистской

власти и бегства большевиков в низовья Енисея в городе власть фактически перешла к колчаковскому режиму, и события развивались под большим влиянием различных правых элементов. Шла реакция. Немало способствовали такому поправению и группы интервентов, базировавшиеся на Красноярске как на центре края, используя железнодорожную магистраль для своих передвижений. На рельсах железной дороги, почти у самого вокзала, стоял состав с англичанами, заехавшими с востока. Здесь под начальством их командующего Нокса велась пропаганда антиреволюционных идеалов. Особое внимание было обращено на молодёжь, которую вовлекали в скаутизм, а для большого соблазна было подкармливание шоколадом, что для проголодавшихся за время разрухи имело какое-то воздействие, и толпящихся у вагонов мальчишек было немало. Но осторожные по своей натуре англичане не лезли открыто в борьбу, выжидая и присматриваясь. Более экспансивными были попавшие в Красноярск тоже с востока итальянцы, базировавшиеся в казармах бывшего Красноярского полка.

Их предводитель — барон Фоссини-де-Коммуси вёл открытую борьбу с партизанскими отрядами Манского народного фронта. В городе часто можно было встретить их проходящие части с вьючными ишаками, на спинах которых были закреплены не то пулемёты, не то пушечки, всегда прикрытые брезентом. Их солдаты, одетые в короткие, чуть ниже пояса, голубовато-серые накидки, носили на спине короткоствольные карабины. Вечерами такой итальянец мог встретиться на любом углу города, высвистывая мастерски какую-нибудь руладу, воин, провожающий жадными глазами каждую проходящую женщину. Южный пылкий темперамент итальянца здесь, в холодном сибирском городе искал своего выхода и нашёл его в виде издания в городе небольшой книжечки на русском языке любовно-порнографического содержания. В репрессиях в городе итальянцы, видимо, не участвовали, т. к. поглощённые борьбой с партизанами, они всё внимание отдавали этой борьбе, где и терпели одни неудачи.

Совершенно по-другому держали себя чешские воинские части, прорвавшиеся в Красноярск с запада. Они обитали в здании погоревшего нового музея, для их постоя быстро восстановленного. Их предводитель Гайда быстро сделался хозяином положения в Красноярске и стал одним из самых злостных карателей и преследователей революционных деятелей.

Чувствуя опеку интервентов, белогвардейцы и казачество объединились в своих действиях, искореняя всё, что напоминало о революции. Сыск, слежка, расстрелы, даже и без суда, были обычными явлениями этого тяжёлого времени. Были расстреляны воинские части выборочно, по счёту как в самом военном городке, так и вне его.

Против Благовещенской церкви почти на углу, в деревянном двухэтажном доме, остановилась приехавшая с запада какая-то Духовная миссия, которая вела религиозную пропаганду, пытаясь воздействовать на пошатнувшиеся за время революции религиозные чувства верующих. Чтобы поднять дух верующих этой миссии, была издана брошюра, расклеенная вскоре же на красноярских заборах. В ней рассказывалось о том, как выглядел Иисус Христос. По свидетельству воина, участника казни, Христос был блондин с голубыми глазами и пр. В Духов-

ной консистории, что была за городским садом и хранила церковные архивы края, обосновалась какая-то карательная часть, прибывшая с запада.

В музей пришёл знакомый Тугаринову преподаватель истории мужской гимназии Всеволод Афанасьевич Смирнов и сообщил, что каратели, за неимением дров, сжигают архив консистории. Зная ценность всякого архивного материала и что в церковных архивах есть фискальные списки как верующих, так и неверующих, также и еретиков, перед музеем встал вопрос о немедленных действиях по спасению церковных архивов. Договорились действовать общественными силами. В ночь были мобилизованы имевшиеся у частных лиц лошади с коробами, в которых обычно вывозили со дворов снег. Кто-то пошёл в консисторию и убедил начальника карателей, чтобы он разрешил вывезти архив, пока его подчинённые спят. И вот в ночь на более чем десятках коробов архив был вывезен в музей. Этот архив был первым фондом документов о прошлом края.

Георгий Маслов[1]

Путь во мраке

В. М. Кремковой

(…)

2

Стоят морозы.
Глубокий снег.
Обозы. Обозы. Обозы.
Впереди — вереница телег.
Побросали вещи,
Тепло пешком.
Ворона кричит зловеще.
Чёрт с ней! Идём.

3

Из вагона прогнали
поляки.
Плакала больная дама.
Свободный тормоз во мраке
упрямо искали.
Душа захлёбывалась в злобе,

[1] *Публикуется по изданию: Маслов Г. Стихотворения. Красноярск: Платина; журнал «День и ночь», 1998. — (Поэты свинцового века. Вып. 2).*



Поэт Георгий Маслов. Умер от тифа в Красноярске в Гражданскую войну в 1920 г.

Кровью налились виски.
Завяз в сугробе,
Промочил носки.

4
Смотрит унылым взглядом лошадь
Из вагонной мглы,
И весёлый жеребёнок всё хочет
взъерошить
Наши узлы.
Господи, наконец-то едем,
Всё равно куда!
И нашим четвероногим соседям
Нравится езда.
Как мы замёрзли, поезд карауля!
Как хорошо немного отдохнуть!
Что ждёт нас завтра? Быть может, пуля
Иль снова путь?

5
Мы приехали после взрыва.
Опоздали лишь на день,
А то погибнуть могли бы.
Смерть усмехалась криво
Из безглазых оконных впадин.
И трупов замёрзших глыбы
Проносили неторопливо...
Но мы равнодушны к смерти,

Ежечасно её встречая,
И я, проходя, — поверьте —
Думал только о чае.
Добрели мы до семафора,
Свободен путь, слава Богу.
Ну, значит, — скоро
Можно опять в дорогу.

Дорога Омск — Красноярск. Ст. Тайга. Январь — февраль 1920 г.

Георгий Вяткин

Беженцы

По длинным и вязким дорогам,
Под частым осенним дождём
К чужим, незнакомым порогам
Устало и хмуро идём.
Оставлены села и пашни,
Деревьев родимая сень…
Как трудно забыть о вчерашнем
И верить в сегодняшний день!
И всё же идём мы и верим:
На голос тревоги и мук
Раскроются многие двери,
Протянутся тысячи рук.
И кто-то, меж залпами битвы,
В суровый и трепетный час,
Вздохнувши, прошепчет молитву,
Тоскливо взирая на нас:
— О Боже, храни и спаси их
До новой, до светлой весны!
Мы дети единой России,
Единой великой страны.

* * *

В этот день голубой, навсегда уходящий в безбрежность,
Перед первой звездой, улыбнувшись в ласковой мгле,
Есть ли в сердце твоём беспредельно-глубокая нежность
Ко всему, что цветёт, ко всему, что живёт на земле?
Мой доверчивый друг, с детски-ясным и радостным взглядом,
С непорочной душой, — непорочной, как в поле цветок, —

Жизнь груба и темна, но прелестным и светлым нарядом
Нежно блещут цветы и у пыльных, угрюмых дорог!
Эта светлая грусть, эта тихая радость близка мне:
Будет горек твой путь, словно в чуждом и страшном краю,
И падёшь ты в слезах, и обнимешь холодные камни,
И поведаешь им всю безмерную муку свою.
Но в тяжёлом пути, чрез борьбу, и тоску, и мятежность, —
Как нездешний цветок на высоком и хрупком стебле, —
До конца, до конца пронеси эту светлую нежность
Ко всему, что живёт, ко всему, что цветёт на земле!

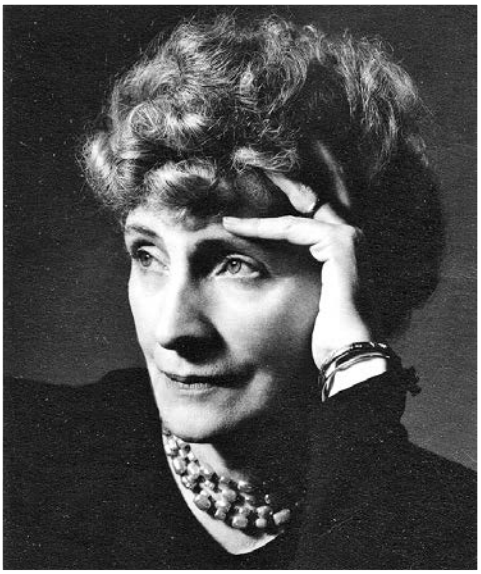
Сибирь

Бродит хмель, темно-зелёный, древний,
В тёмных чащах с исстари веков.
Зверем налетал он на деревни
И зверями делал мужиков.
Сердце ли искало вольной воли,
Сила ли исхода не нашла,
Только много, много здесь прошло их
За свои кровавые дела.
Рядом шли другие… Что веками
Голытьбою с Волги и Оки
На царей вставали, батогами
Отражали пули и штыки.
Но Сибирь ли, матушка, утешит
Тех, чьё сердце волею пьяно?
Буйным ветром в стены бьёт и дышит,
Из острога манит за окно.
И бежали… С Лены, с Сахалина,
В ночь и темень, в бурю и пургу,
В падях крались поступью звериной,
Устилали трупами тайгу.
А потом воскресшею ватагой —
С руганью, да с песней, да с дубьём —
Встали, как один, под красным флагом
За привольное житьё…
— Выходи, товарищи, из чащей и падин!
Нет над нами больше злых царёвых гадин!
Выходи, ребятушки, все на красный звон!
А тайге родимой — наш земной поклон!

«Сибирь», 1925 г., № 3

Ольга Ильина-Боратынская

О.А. Ильина-Боратынская и её близкие двигались с ноября 1919 года от Омска в обозе за Казанским драгунским полком (её муж Кирилл Борисович Ильин был офицером этого полка) в составе 1-й кавалерийской дивизии. После Ачинска воинские подразделения оставили обозы, и гражданские лица продолжали путь самостоятельно. Какое-то время они ехали на санях, затем удалось устроиться в багажном вагоне поезда французской миссии, в нём и отправились в Красноярск (это был конец декабря 1919 года). Однако в Красноярск они попали не сразу, так как при подъезде стали распространяться слухи о том, что происходит в городе.



О.А. Ильина-Боратынская. 1950-е гг.

Белый путь. Русская Одиссея. 1919—1923

(отрывки из романа)[1]

Гарнизон в Красноярске поднял мятеж, и город захватили какие-то повстанцы…

…мы уже точно знали, что Красноярск в руках мятежников, что мятежи, которые, как считалось, были организованы социал-меньшевистскими группами (но на самом деле, наверное, большевиками, которые просочились в их ряды), за последнюю неделю переросли в кровавую гражданскую войну внутри гражданской войны, что железнодорожная станция в Красноярске была в руках мятежников. Говорили, что всех, кто был связан каким-то образом с колчаковской армией, сбрасывали с поездов, арестовывали и «ставили к стенке».

У Красноярского вокзала была сделана краткая остановка, а затем поезд проследовал до станции Клюквенной (в 100 верстах от города). Там беженцам пришлось покинуть поезд и около трёх недель провести в брошенном вагоне недалеко от станции на одноколейной железной дороге. Затем они были доставлены в Красноярск.

[1] *Ильина-Боратынская О. Белый путь. Русская Одиссея. 1919—1923. М.: Аграф, 2013.*

Пребывание в Красноярске: январь (около 20-го числа) — май 1920 г.

Пробираясь сквозь толпу к выходу, мы наткнулись на странную группу людей, таких же, как и мы, беженцев. Не издавая ни звука, они медленно двигались вдоль станционной стены, что-то ища, внимательно вглядываясь напряжёнными, жадными глазами. Стена была практически вся покрыта наклеенными на неё листочками бумаги, которые развевались на ветру.

— Ты видела? Видишь эти записки? — воскликнула Оксана. — О Боже! Давай посмотрим! Может быть, там есть что-нибудь и для нас.

Я протолкнулась ближе к стене, мои глаза выхватывали одну записку за другой.

«Саша, дорогой мой, мы проезжали здесь 15 декабря. Мама умерла от тифа, так и не узнав о бедном Коле. Ты — всё, что у меня теперь осталось! Если ты когда-либо доберёшься до Иркутска, оставь для меня записку в церкви рядом с железнодорожной станцией. Твоя Катя».

«Люди добрые, умоляю вас! Во имя Господа, пожалейте. Если вы встретите вдруг моего пятилетнего мальчика Мишу Сомова, голубоглазого, светловолосого, который потерялся в Рождество на станции Тайга, сообщите Вере Сомовой, Чита, военный госпиталь».

«Ты, наш великий руководитель и герой генерал Каппель, и твои последователи… Ты, чьё мужество и мученичество придают нам силу, чтобы нести наш крест, Россия никогда не забудет тебя!»

«Кто-нибудь из Казани навестите Киру Г. в военном госпитале, она находится в критическом состоянии в результате взрыва в Ачинске. Её мать и сестра сгорели заживо, отец болен. Автор этой записки не может навестить её — его ищут».



Железнодорожный вокзал в Красноярске

Это последнее — «его ищут» было написано по-французски одним словом вместо трёх — Onmecherche, как будто это была его подпись.

Следующим вечером Оксана вернулась домой в лихорадочном возбуждении.

— Ты не могла бы пройти со мной до вокзала сразу после ужина? Владимир хочет тебя увидеть! Он встретит нас на углу за церковью (рядом с домом, где жили). Нита, ну пожалуйста!..

Вечер был тёмным, безлунным и беззвёздным. Улицы были укутаны морозной дымкой. Промежуток от пяти до шести часов, когда люди ещё возвращались с работы, был самым безопасным временем для встреч с друзьями на улице — можно было поговорить, не опасаясь, что за тобой следят… Верин, по-видимому, хорошо знал город. Пока мы говорили, он кружным путём вывел нас к железнодорожной станции по каким-то затерянным улицам, мимо ряда пустых строений с выбитыми стёклами и каких-то амбаров без окон, где нас никто не мог подслушать… В отличие от остальной части города, железнодорожная станция и здание вокзала были залиты светом. Снаружи было заметно какое-то движение, но внутри вокзал был полупустой, редкие голоса и звуки шагов отдавались в гулкой пустоте одиноким эхом. Не успели мы войти в зал ожидания, как Оксана сбивчиво пробормотала, что ей нужно найти кого-то или что-то — и исчезла…

…В тот день мы ходили от дома к дому сначала все втроём, а потом по одной — и произносили свои маленькие речи: «Нам некуда идти, негде провести ночь[1]. У нас грудные дети, они могут замёрзнуть». И вместе со мной шли призрачные фигуры людей, напоминавшие тех, которые раньше часто появлялись у чёрного входа в наш дом. Тётя Катя или кто-нибудь обычно выходил к ним, разговаривал с ними, давал им поесть, одеться и оказывал помощь. Но я никогда этого не делала. Я всегда была слишком занята: то ли играла на рояле, то ли торопилась куда-то. Теперь пришёл мой черёд. Стуча и звоня в одну дверь за другой, я не могла оставить без внимания эту поэтическую справедливость. Глубоко в душе я даже была благодарна за эту возможность возвратить долг.

Как они впечатались в мою память, эти двери! Как в навечно запечатлённом кадре, в их проёмах будут стоять эти хозяйки, такие разные, но так похожие друг на друга своей воинственностью, каждая защищавшая своё маленькое царство от подозрительных чужестранцев. Особенно таких, как мы, которые выглядели нищими и были нищими, но разговаривали и вели себя не как обычные нищие.

— Извините, товарищи, — это мы услышали от первой молодой хозяйки, которая была похожа на красную герань и упруго накрахмаленные занавески, украшавшие её окно. — Извините, но вам следовало бы уже знать, что город весь переполнен. У нас у самих нет места, негде спать. Даже наша гостиная занята товарищами комиссарами, так что лучше не теряйте времени.

Или та длинноносая и злая, кричавшая на нас через узкую щель в двери:

---

[1] *Беженцы ищут жильё и регистрируются по законам военного времени.*

— Ходят всё и ходят… Звонят, стучат. Разве вы не понимаете, граждане, что нам опасно впускать таких, как вы? Если вдруг придёт мой сын, увидит вас, бывших белых, в своём доме — не то что мы очень уж любим красных, но…

Ну, конечно. Всё понятно, всё просто.

Ещё была та вежливая женщина испуганного вида, которая впустила нас и дала нам немного согреться, но в доме был тиф. И опять перед нами распахивались и захлопывались двери, и мы оказывались на улице. Уже были сумерки, и мы едва держались на ногах, а чтобы не замёрзнуть, нам нужно было ходить очень быстро… И всё же лишь только одна моя часть измученно тащилась от дома к дому в тот день, прося незнакомых людей дать нам кров. Какая-то другая моя часть, по-прежнему свободная и невозмутимая, продолжала думать, сравнивать, повторять мне, что миллионы мужчин и женщин делают то же самое с сотворения мира, так что же тут странного для меня? Ибо «нищие всегда с нами». Даже в царстве Утопии будет продолжаться голод, пожары, наводнения и войны — да, войны — на этом внешнем уровне, до тех пор пока не изменится сама природа человека. (…) И по мере того как мы продолжали ходить, измотанные, как бродяги, осознание этого давало силу моим уставшим ногам и моей кружившейся от голода голове, и уходил куда-то весь страх перед сегодняшним и завтрашним днём.

На следующий день мы переехали к Станковым[1]. Они жили на противоположном конце города, почти в предместье, неподалеку от Енисея. Панна несла чемоданы, а я Бибика, который был ещё слишком слаб, чтобы ходить. Подойдя к крыльцу двухэтажного дома, мы обе прямо-таки рухнули на ступеньки; Панна тяжело дышала, а у меня тряслись руки и ноги. (…) В комнате, в которой нам суждено было жить, действительно не было ничего, кроме шести свёрнутых одеял, но зато здесь были большие окна и электричество работало! Свет! Теперь я знала, что значит жить со светом.

(…) Все три месяца, которые я прожила в этом доме, сад не играл в моей жизни никакой роли. Из кухонного окна мне были видны лишь несколько тёмных стволов да сплетение голых ветвей на фоне свинцового неба. Теперь же, в середине мая, сад чудесным образом пустился в буйное цветение и окружил дом густой тенистой зеленью. От заднего двора он был отгорожен забором, а в глубине стояли деревянная скамья и круглый стол, чьё появление на свет из-под растаявшего снега было похоже на дар небес.

(…) Берег Енисея, где Лоринов[2] условился встретиться со своим товарищем, был в пяти минутах ходьбы от нашего дома. Когда мы вышли, на улице не было ни души и огни в окнах были погашены. (…) Когда на самой окраине города мы повернули за угол на немощёную улицу с редко расставленными домами, он просто перестал отвечать на мои вопросы, и мы некоторое время шли

---

[1] *Больница в двух кварталах от железнодорожной станции (кратковременное прибежище). Землемерное училище основано в 1909 г., находилось в ведении Министерства юстиции. В романе Ольга Волотская и её домочадцы прожили около месяца в здании землемерного училища в аудитории № 2, которое находилось на Благовещенской улице в доме № 48 Цукермана. (Современный адрес: ул. Ленина, 66.)*

[2] *Офицер Казанского драгунского полка, которому удалось выбраться из красноярской тюрьмы.*

молча. Земля под ногами была мягкой и пропахшей влагой и молодой травой. (…) Улица кончилась, перейдя в узенькую грязную тропинку, ведущую к берегу реки. По обе стороны плотно стояли высокие сучковатые сосны, окружённые густым кустарником. Мы подошли к месту, где Лоринова должен был ждать его товарищ, чтобы провести сквозь чащу к реке.

…проводя дни в безрадостных хлопотах, бредя каждое утро через весь Красноярск в детский дом, где я преподавала музыку[1]…

Дмитрий лежал на огромном чердаке в здании на другом конце города вместе с группой застрявших здесь белых — больных и медицинского персонала госпитального обоза, который был отрезан красными накануне Рождества[2].

(…) В сданном врагу, переполненном людьми Красноярске никто не осмеливался выходить на улицу после наступления темноты. Ещё не было и семи часов, а улицы уже были пустынны, хотя комендантский час начинался в восемь. Время от времени тяжёлое молчание прорезал гул мчащегося на бешеной скорости автомобиля. И всё. Автомобили имелись только у начальников-коммунистов. Одна из таких машин пронеслась мимо меня, затем всё стихло, слышны были лишь мои торопливые шаги по утоптанному снегу. Порой я чуть было не переходила на бег, замедляя шаги, лишь чтобы перевести дыхание. Наконец я была у цели — я открыла садовую калитку углового дома, обошла здание, как мне было сказано, и побежала вверх по тёмной лестнице, минуя один этаж за другим. На самом верху была дверь на чердак. (…) В тусклом свете единственной электрической лампочки, висевшей под потолком, огромный чердак представлял собой сцену из пьесы Горького «На дне». Закутанные силуэты мужчин в полушубках и тулупах сидели и лежали на полу, некоторые стояли у железной печки в центре комнаты. Пахло дымом и мёрзлой плесенью; в воздухе стоял ровный гул голосов. Затем я увидела, что Дмитрий пробирается ко мне. Потолок был таким низким, что Дмитрий чудом не задевал его головой. Когда он подошёл поближе, лицо его было абсолютно бесстрастным — я так хорошо знала это выражение, которое сейчас говорило мне и о силе его чувств, и о той боли, которую доставляло ему любое движение.

Первого марта его назначили главой дезинфекционного отделения городской больницы[3], поскольку он единственный, кто сразу же смог управлять системой отопления. Он называет это место и себя «центр вшивости».

Февраль выдался серым и тяжёлым, как свинец. В грязи, скученности и голоде царствовал тиф, косивший людей направо и налево. За ним крался его хищный двойник — возвратный тиф. К тому времени Чека развернулась во всю свою мощь, организовав охоту и за опасными белыми, и за подозрительными обывателями. Милиция кружила по городу, в глухую ночь по улицам громы-

---

[1] *В детском доме Ольга Ильина преподавала музыку; от землемерного училища, где они размещались, приходилось идти через весь Красноярск.*

[2] *Здание на «другом конце города» (по отношению к геодезическому училищу) с «остроконечной крышей», «огромным чердаком», в несколько этажей — где скрывались беженцы, в том числе старший брат О.А. Ильиной — Дмитрий Александрович Боратынский.*

[3] *Городская больница — в дезинфекционном отделении работал брат О.А. Ильиной — Дмитрий Александрович Боратынский.*

хали её «чёрные воронки», от звука которых люди просыпались и застывали в ужасе, ожидая ударов прикладом в дверь. В домах проводились обыски, людей уводили в неизвестном направлении. У ворот городской тюрьмы тёмными змеями вились очереди замёрзших женщин, приходящих, чтобы поделиться со своими мужчинами последним куском.

По Сибири свирепствует тиф. Сто пятьдесят тысяч сыпнотифозных колчаковских солдат лежит вповалку на вокзалах, в деревнях, городах. Десятки тысяч больных красноармейцев. Многие города сплошь заражены тифом. Наша задача — охватить весь край госпиталями, заставить бесперебойно двигаться вверх от Тайги эшелоны с больными, вниз к магистрали — со здоровыми, организовать изоляцию заболевших, оградить здоровых, мобилизовать на работу всё живое! Чтобы победить тиф, требуется сто тысяч мест для заболевших. И чего бы это ни стоило, мы организуем сто тысяч коек! (…) Госпитали второй очереди — это небольшие лечебные учреждения, расположенные, как правило, в подвальных помещениях, на задворках больших домов. В одном из таких госпиталей я обратила внимание на особую заботливость персонала к больным и приветливость санитаров. В Томске вообще нам почти не приходилось встречать сопротивления или открытой враждебности со стороны медицинского персонала. Но этот маленький госпиталь поражал внутренней спаянностью, атмосферой какой-то особой теплоты. Разговорилась с людьми. Оказалось, что санитары — главным образом из бывших пленных красноармейцев, рабочих, крестьян, которые были привезены колчаковцами в Томск на четырёх баржах и чудом остались в живых.

Трагическая история санитаров, рассказанная старшим врачом госпиталя, потрясла меня. Потрясли и документы, с которыми он меня познакомил. Это были его собственный рапорт и акты осмотра барж, составленные ещё при Колчаке гарнизонным врачом Кононовым и бывшими представителями Всероссийского земского союза врачами Толстовым и Упоровым.

Вот выдержки из этих документов.

«7 сентября в Томск из Тюмени и Тобольска прибыли 4 баржи: „Волхов“, „Белая“, „Вера“ и № 4. В дороге они находились недель пять.

Врачей на баржи пригласили, когда в дело вмешался американский Красный Крест, так как прибывшие баржи стали буквально кладбищами и очагами заразы для всего города. Сколько человек и кто там находился, установить невозможно, так как именных списков не велось, но при приёмке значилось 10 000. При первом осмотре барж, по данным администрации, там находилось до 3 500 человек, а 14-го, приступив к работе, сделали подсчёт — оказалось 1 800 человек.

Баржи все текут, а на некоторых, как, например, на „Белой“, в носовом люке на полу грудой брошены умирающие и больные, почти наполовину в воде.

Медицинской помощи никакой. Всё население сбито в ужасающей тесноте; люки — единственный приток воздуха и света — забивались гвоздями и не открывались несколько дней. Другой пищи, кроме куска хлеба, заключённые не получали ни разу.

На барже „Волхов“ нары в несколько этажей из тоненьких дощечек. Всё население баржи больно тифом и дизентерией. Больные испражняются под себя, и их испражнения стекают на тех, кто под ними. Умершие валялись вперемежку с живыми по нескольку дней.

На барже № 4 обнаружено 200 трупов. На другой барже комиссия нашла кучу лохмотьев; при разборке оказалось много трупов, уже сильно разложившихся. Стража, находившаяся у люков, помимо обычного вооружения, снабжена резиновыми жгутами… Большинство умирающих, в особенности красноармейцы, в кандалах. Под лежавшими на нижнем ярусе на „Волхове“, в носовом люке на „Белой“ кишмя кишели черви, червями были полны гноящиеся раны ещё живых, носы, уши умерших. Невыносимый смрад охватывал всякого подходившего к люку: там люди лежали замурованные неделями…

Баржа „Белая“ отличалась массовыми расстрелами. За малейшую провинность, за просьбу прикурить, даже без всякой провинности ежедневно расстреливали по нескольку десятков человек. Каждый вечер на палубу выводился ряд обречённых, и начиналась расправа, сопровождавшаяся жестокими издевательствами. Расстреливаемых устанавливали в затылок друг другу и из револьвера убивали одного за другим. Упавших недобитыми заставляли приподниматься на ноги, для того чтобы получить смертельную пулю… В числе расстрелянных много женщин…

Всё население барж поголовно перенесло сыпной и возвратный тиф, очень многие — брюшной; почти все больны дизентерией. Желудки настолько отвыкли от пищи, что многие заболели, когда получили кипяток и горячую пищу, при этом некоторые плакали… Самые крепкие шатались от слабости, редко у кого пульс был меньше 100 ударов в минуту. И эти выздоравливающие, едва державшиеся на ногах, считались здоровыми, гонялись на работы с помощью нагаек, резиновых жгутов, в кандалах, конечно. Когда я приехал на баржу и потребовал открытия люков, чтобы дать умирающим воздуха, то смертность на другой день упала со 180 человек до 116. Снятия кандалов добиться не удалось. Перевести в госпиталь больных не разрешили, и только в конце сентября, когда баржи стали тонуть и начались заморозки, часть уцелевших „из наименее опасных“, по мнению властей, удалось перевести в мой госпиталь, причём им отвели подвал».

К документам был приложен список на 83 человека, которых всяческими правдами и неправдами удалось спасти доктору Толстову. Так как выздоровевших немедленно расстреливали, доктор Толстов одних показал умершими, других устроил санитарами к сыпнотифозным больным. Из 10 тысяч человек уцелело 83! Таковы были дела белых.

С приходом же Красной армии госпитали получили распоряжение не делать никакого различия между больными красноармейцами и пленными колчаковцами, их палаты, как правило, находились рядом. С больными мы не воевали. И это происходило на глазах у тех, кто прошёл через «баржи смерти» или знал о них!

Читая рапорт доктора Толстова, я невольно вспомнила слова Лафарга: «Когда пролетариат возьмёт власть в свои руки, он проявит акты величайшей гуманности». Прекрасные, справедливые слова!

На борьбу с Колчаком внутренним — с тифом — брошены все силы. Объявили мобилизацию. Профсоюзы, партийные организации создали ударные комиссии.

Кроватный завод может давать сотни кроватей, а нам нужны десятки тысяч. Артели плотников организовали массовое производство топчанов, пошивочные мастерские готовят бельё, сапожники — обувь. Вся мануфактура поступает по какому-либо другому назначению только после наших указаний.

Лучшие здания города одно за другим переходят к санитарному управлению. Местные работники иногда морщатся, но молчат. В новых помещениях хозяйничают комиссии работниц. Ими руководят товарищи, выделенные партийным комитетом. Наши силы растут с каждым днём.

Командование, от полковых штабов до Реввоенсовета, относится к нашим требованиям с бесконечным доверием и вниманием. Нам помогают все. Никогда ещё звание медицинского работника не было так почётно, как в те дни. Кончилась полоса собраний, конференций, комиссий. Созданы все условия для развёрнутого наступления на эпидемию. Въезд в Томск закрыли на две недели. Начиная от Тайги в город не пропускали ни санитарных поездов, ни летучек.

— Стратегический манёвр, — смеётся врид командарма Устичев.

Для нас, медиков, эти две недели прошли в лихорадочной работе.

Боевой штаб — Ратный, Дремлюг, Рязанский — врачи-вдохновители, врачи-организаторы, врачи-бойцы. Упсанарм[1] действовал дни и ночи. Мобилизация персонала, обслуживание железнодорожной линии, организация лечебных заградителей, бешеный натиск на неполадки — разве уложишь всё это в обычные временные рамки! (…)

В госпиталях уже блестят пахнущие смолой сосновые топчаны. На вокзале действует эвакопункт. В городе — два распределителя. Местные газеты ежедневно сообщают о ходе санитарных работ, называют количество развёрнутых коек. Это работа не отдельных людей, не оторванного от масс санитарного управления — это дело всех трудящихся Томска! (…)

Первый санитарный поезд принимает делегация от профсоюзов, железнодорожники, работницы. Идут и идут эшелоны… Прошли уже все санитарные поезда, между Томском и Тайгой перестали курсировать даже летучки, а сводка показывала: «Свободные места есть».

Ни одного сыпнотифозного не оставили без призора, в военные госпитали поместили и часть гражданских больных. Это была победа организованной

[1] *Учреждение под названием «Упсанарм» — место службы машинисткой одной из героинь. Большую помощь кафедре и клинике в первые годы их существования оказало Управление военно-санитарной службы 5-й армии, находившееся тогда в Иркутске. Военное ведомство передало клинике штат и инвентарь нервного отделения клинического госпиталя, летом 1921 г. уже свёрнутого, и единственную в городе физиолечебницу (принадлежавшую в своё время врачу Михайловскому — В.М. Крутовскому?). http://militera.lib.ru/memo/russian/azarh_rm/05. html.*

воли рабочего класса над стихией голода, холода, над Колчаком внутренним. Первые успехи окрылили. Вся печать была тоже мобилизована на эту титаническую борьбу. «Добиться такого положения во всех городах Сибири!» — бросили лозунг газеты. И мы добивались. Конечно, не всегда и не всё шло гладко. Приходилось преодолевать сопротивление и отдельных работников, и целых управлений. К громадной организационной деятельности подключились новые люди, пришли на помощь женщины-работницы. Охваченные энтузиазмом, они готовы были драться до изнеможения за госпитали, за койки, за имущество, за создание необходимых условий для больных. Бывали нелады и с местными работниками. По-человечески, в особенности теперь, многое можно понять. Томск был санитарным центром для всей Сибири. Это мешало налаживать жизнь города. Но тогда не было возможности считаться с местными интересами. (…)

На заседаниях губернского партийного комитета знакомимся с положением на фронте. Разбитый Колчак оставил после себя единственного своего союзника — вошь. По ней, по Колчаку внутреннему, надо нанести сейчас решительный удар. Вся работа проводится под партийными лозунгами. Неоценима помощь томской организации. Наши части заняли Красноярск, идут почти без боёв, с трудом успевают преодолевать пространство. Настроение у бойцов небывало приподнятое: в пятидесятиградусные морозы делают тридцативёрстные переходы! В Красноярске захвачено огромное количество различного имущества. Но и там свирепствует тиф. Город переполнен больными и мёртвыми… (…)

Санитарное управление выезжает в Красноярск. Арьергард оставляем в Томске. Начэвак Упоров получает от Реввоенсовета военные полномочия. Упорову предстоит провести новую мобилизацию: сыпняк достиг своего апогея. Снова сибирский путь, только теперь тайга уже примелькалась нам. Поезд Реввоенсовета идёт быстро. Врид командарма Устичев показывает на украшенные еловыми ветками медицинские пункты станций. Такие пункты выросли по всему пути. А украшены они, видимо, в соответствии с директивой санитарно-гигиенического отдела, где инструкторами работают наши девушки — Таня Санезон, Рахиль Сангродская, Аня Васильева.

Нигде по линии уже не видно больных, валяющихся в тифу, которые так потрясали нас раньше. Налицо результаты нашей работы. Ночью меня срочно зовут к Устичеву. У него тяжёлый сердечный приступ. Все наши старания напрасны. Замечательный большевик и командир мёртв. В трауре подъезжаем к Красноярску. И здесь сами едва избежали катастрофы.

У Красноярского вокзала крутой спуск. В нашем составе что-то произошло с тормозами. Поезд на большой скорости влетел на забитую составами станцию. Хорошо, что машинист, почувствовав неладное, стал давать непрерывные тревожные гудки. Его сигналы вовремя услышали на станции и успели оттащить стоявший на нашем пути состав. Все мы отделались испугом и лёгкими ушибами. Да ещё повыбивало стёкла в вагонах.

Красноярск — торговый город на Енисее. Он резко отличается от Томска, где сосредоточены все культурные силы Сибири, где много интеллигенции, перенявшей от ссыльных крепкие революционные традиции.

Главным санитарным «трофеем», который мы получили в Красноярске, оказались врачи. Но что это были за люди! Злостные, злопыхающие, ненавидящие советскую власть, махровые эсеры, кадеты, разная либеральничающая дребедень. Вся эта братия без оглядки мчалась от Москвы и берегов Волги на восток, пытаясь убежать от большевиков. Врачей более пятисот человек. В нормальных условиях это большая сила. Но мы не строим себе иллюзий, да и товарищи, приехавшие раньше нас, предупредили: этих работать не заставишь…

Посмотрим, поборемся! Немедленно вызвали из Томска 150 врачей для руководства лазаретным делом. В воспитательных целях сталкивали на работе томичей с собравшимся в Красноярске медицинским сбродом.

И всё же положение продолжало оставаться угрожающим: саботажники срывали работу. К присланным на укрепление рабочим, комиссарам и уполномоченным относились не скрывая враждебности. Решили поговорить с саботажниками по душам.

Созвали в городском театре чрезвычайную конференцию профсоюзов. Обязали присутствовать на ней всех красноярских врачей. Здесь же были делегаты от среднего и низшего персонала. Сделать доклад о борьбе с тифом умышленно поручили городскому санитарному врачу, хотя сам он из той же своры. Ободрённый доверием, докладчик попытался использовать трибуну в своих целях:

— Тиф свирепствует, а бороться нечем! Мы разбили город на участки, организовали помощь, а пришла Красная армия — врачей мобилизовали, всё забирают под военные лазареты, городские больницы без дров, без продовольствия… Город накануне всеобщего вымирания! В военных госпиталях работать невозможно: санитары и ничего не понимающие комиссары помыкают врачами!

Делегаты рабочих слушают, но настроены явно враждебно. Зато с хоров, битком набитых врачами-саботажниками, несутся сочувственные реплики. Слово берёт представитель профсоюза.

— Маленько запоздали вы с вашим выступлением, господин хороший, — обращается он к докладчику. — Запоздали ровно на двадцать семь месяцев! Те же слова мы уже слышали от московских врачей-саботажников, когда они после Октябрьской революции бросили больницы, умирающих детей, рожениц… Правда, у вас теперь появился новый повод для оправданий: всему виной, мол, Красная армия. Эх вы, кроты слепые! Как только у вас язык поворачивается! Как смеете вы обвинять в чем бы то ни было Красную армию — освободительницу рабочих и крестьян Сибири от колчаковских банд, да ещё перед лицом освобождённых ею людей!

Делегаты вскакивают с мест, устраивают овацию. Рабочие поют «Интернационал». Дождавшись, пока в зале установится порядок, товарищ продолжал:

— Слушайте же, товарищи рабочие, слушайте и вы, беглецы интеллигенты! Кто принёс сыпной тиф? Вы, господа врачи! Это вы бросили тысячи

сыпнотифозных в Челябинске, забрав с собой всё больничное оборудование! Это вы разогнали умирающих по частным квартирам и способствовали разрастанию неслыханной эпидемии! Пролетарским судом судят вас здесь рабочие. Вы — последыши Колчака! Вы пособники Колчака внутреннего, пособники сыпнотифозных вшей! Иначе мы не можем расценить ваше поведение. Ваш покровитель Колчак разбит наголову. Вы не успели удрать с ним, да и некуда вам больше податься. Нянчиться и уговаривать мы больше не намерены. Выбор нужно сделать немедленно. Или вы сегодня же начнёте работать на советскую власть, или мы просто уничтожим вас как врагов! Вот так-то, господа хорошие!..

Такая постановка вопроса отколола от инертной массы врачей колеблющихся. Группа наиболее враждебно настроенных оказалась в изоляции. Бывшие саботажники начали делать первые шаги под нашим неусыпным наблюдением.

А трудностей в работе по-прежнему много. Страшной угрозой висит над Красноярском забитый сыпнотифозными бывший лагерь для военнопленных, находящийся в восьми километрах от города. Санитарный комендант, щёголь в огромнейших галифе, щёлкая шпорами, знакомит нас сначала с расположением военного городка, потом с его обитателями.

— В этих казармах живые. А вон там, — грациозный жест в сторону, — мёртвые.

Он, по-видимому, и сам только что прискакал в городок, так как до сих пор ещё не отдышался. На огромной территории площадью около двух километров всё как вымерло. Только у входа в одну казарму копошатся люди, раскладывают костёр.

— Сколько человек числится в городке?

— Тысяч тридцать. Точно сказать затрудняюсь. Сотнями мрут каждый день.

У казармы, где положено быть живым, при входе лежит труп.

— Не успели унести, — невозмутимо поясняет комендант.

Картина, которую мы увидели внутри казармы, не поддаётся описанию.

Потрясённые, продолжаем осмотр.

В казарму мёртвых захожу одна. Ряды сложенных штабелями тел. Тишину нарушают тяжёлые вздохи: среди мёртвых лежат и живые! Не иначе как приняли меня за существо из потустороннего мира. Жёлтая высохшая рука вцепилась в мой полушубок. Сдали нервы. Выскочила на воздух. Тут же у казармы решили: санитарного коменданта — под суд трибунала.

Всё мобилизуется для военного городка. Сюда бросаем все силы управления. Местная партийная организация выделила нам на подмогу группу надёжных товарищей.

Не прошло и недели, а уже неузнаваемо преобразился бывший лагерь для военнопленных. Открыт просторный приёмный покой. В казармах дымятся баки с горячей водой. Действуют бани. Посыпаны песком дорожки. Расчищены аллеи для гулянья. Все больные лежат на койках, возле — сёстры, на каждые три

казармы — врач. Вдали слышны взрывы. Это взрывают промёрзший грунт, чтобы предать земле умерших.

— Чудеса! — говорят приехавшие проверять нас представители Реввоенсовета.

Город загажен. За два года колчаковщины не чистились улицы и дворы, два года люди жили в непрерывном страхе за завтрашний день. Под снегом на свалках сотни незарытых трупов. Воззвания, распоряжения не помогут привести всё в порядок. Нужна всеобщая мобилизация.

Объявляем неделю чистки. Вывозится 65 тысяч возов мусора. Город приободрился. Для Красноярска боевая сводка — сведения о заболеваниях, об умерших, о количестве очищенных домов и дворов.

А 5-я армия успешно гонит остатки Колчака. На подмогу ей в тылу у адмирала восстали черемховские шахтёры. Они захватили Колчака, отбили вагоны с золотом. Колчак расстрелян. Чехи выведены за Байкал. Японцы отошли к Чите. За ними потянулись остатки белогвардейских банд. Вся Сибирь — советская!

В Верхнеудинске между советской землёй и белогвардейскими бандами и японцами восставшие крестьяне организовали буфер. Боевой фронт — Дальневосточная республика.

Тиф побеждён. Несмотря на весну, резко падает количество заболеваний. В начале марта мы имеем по армии 20 тысяч свободных коек… Это — конец Колчака внутреннего.

Итоги подведены в приказе. А сами уже направляемся на новый фронт — за Байкал, в ДВР».

ПРИКАЗ ПО САНИТАРНОЙ ЧАСТИ 5-Й АРМИИ № 82

23 марта 1920 г.

г. Красноярск

§ 1

Согласно приказу Реввоенсовета за № 313 я отправляюсь в продолжительную командировку для налаживания санитарного дела на местах.

Подводя итоги проделанной за два с половиной месяца работы, начиная с 1 января, когда старый аппарат Упсанарма был пополнен, необходимо констатировать следующее:

Работа, протекавшая в неимоверно трудных условиях, дала блестящие результаты.

Страшный бич армии — сыпной тиф — побеждён.

Сейчас заболевание тифом во всех боевых частях армии составляет сотые доли процента в день; смертность заболевших в среднем 3—4 процента.

Работа санчасти шла по двум направлениям: с одной стороны — профилактика, с другой стороны — изолирование и лечение уже заболевших, которые десятками тысяч устилали путь продвигающейся армии.

За два с половиной месяца перемыта, почищена вся армия, часть армии получила чистое бельё и продезинфицированное платье, на местах в дивизиях

функционируют дезинфекционные камеры, бани, прачечные, части удовлетворены медперсоналом до действительной нормы.

За расквартированием коек установлен санитарный надзор.

Линия железной дороги, бывшая главным очагом заражения, снабжена фельдшерско-врачебными и изоляционно-пропускными пунктами. За проходящими эшелонами установлен бдительный надзор.

Развёрнуто семь новых эвакопунктов с припиской к ним 100 тысяч коек, причём за два с половиной месяца развёрнуто вновь около 70 тысяч коек и приведено в порядок 30 тысяч, оставленных белыми.

Установлены план и схемы эвакуации.

Просветительно-гигиеническая работа выразилась в выпуске плакатов, брошюр, пособий.

Открыты постоянные курсы санитаров, дезинфекторов, дезинфекторов-инструкторов, лекторов и красных сестёр.

Все эти работники поступают в части для работы.

Итоги работы таковы: к 20 марта во всех госпиталях, приданных армии, было около 20 тысяч свободных от больных мест. Все госпитали приведены в порядок. Работа налажена, насколько это позволяет разрушенный хозяйственный аппарат страны.

В тяжёлой борьбе с сыпным тифом пало много преданных работников армии, отдавших свою жизнь работе по оборудованию лечебных мест и самому лечению.

Десятки наилучших товарищей унесены в могилу, сотни выбыли из строя.

Красная Армия никогда не забудет этих безымянных, погибших в сибирских степях и необъятных пространствах, и имена их наравне с именами всех борцов войдут в историю освобождения трудящихся.

Подпись: Начсанарм и военком 5-й Армии

Очевидно, в основном доктора жили в самом центре города. Главная улица, Воскресенская[1], на которой ещё час назад толпились люди, возвращавшиеся с работы, быстро пустела. Собирались сумерки. Моя левая рука судорожно сжимала банкноту в кармане (кошелёк свой я уже давно поменяла на рынке). С комом в горле я бегала то по одному, то по другому адресу. И снова, как в наш первый день в Красноярске, двери открывались и быстро захлопывались передо мной.

— Нет, нет никакого смысла ждать доктора, он у пациентов днём и ночью, ему даже некогда спать и есть!

И по следующему адресу через узкую щель в двери, откуда сильно несло дезинфицирующими средствами, рыдающий голос сообщил:

— У доктора самого тиф. Лежит без сознания уже три дня!

Наконец, тот дом, где дверь была распахнута:

— Не мешайте, пожалуйста, не стойте на пути, доктора выносят, он умер от тифа.

Именно тогда моё сердце, которое и так уже билось, бешено вырываясь из груди, каким-то странным и холодящим душу образом начало замедлять

[1] *Главная улица города — Воскресенская, бывшая Большая, ныне проспект Мира.*

свой бег. Что я буду делать, если придёт время, скажем сегодня ночью, и мне скажут про Дмитрия: «Его выносят»?

(…) Это был момент, когда моё стремление не пошатнуться и не упасть под ударами судьбы неожиданно покинуло меня. Я была готова поддаться печали и признать своё отчаяние. Но это был также и момент, когда больше уже не надеясь найти врача и бредя по улице, я оказалась перед дверью, на которой висела большая медная табличка с надписью «Доктор С.М. Шапиро». Высокий молодой человек с докторским саквояжем торопливо шёл к этой же двери с другой стороны улицы. Он немного сутулился, очевидно, смертельно устал. Я подбежала к нему.

(…) Но мне не нужно было говорить особенно много. Те, кто приходил к врачу день и ночь на протяжении последних нескольких месяцев, умоляя его и прибегая к различным уловкам, чтобы он пришёл на помощь к умирающим, дорогим для них людям, они все были похожи на меня. И всё-таки как внимательно он слушал! Он спросил, откуда я. Его тёмные глаза смотрели на меня, как будто пытаясь представить меня в другой обстановке, вне этого времени. (…) Он слушал, и глаза его были полны проницательной глубины, и в них было что-то ещё, что заставило меня добавить с чувством вины:

— У всех то же самое.

(…) Он сделал Дмитрию какую-то инъекцию и пощупал пульс. Он едва прощупывался.

— Больше я ничего не могу сделать, — сказал он, хмурясь. Он не мог даже остаться здесь и подождать, пока инъекция начнёт действовать. — Может быть, он вытянет. Сердце у него, должно быть, очень здоровое, если оно ещё не подвело его до сих пор.

Я проводила его, провела через чердак, забитый сидящими и лежащими людьми, и так до самой лестницы.

(…) Прислонившись к стене, он написал на клочке бумаги название лекарства, которое, как он сам признал, в это время было практически невозможно достать, если только, по счастливой случайности, оно не окажется у некоего доктора Мейера.

Я поблагодарила его дрожащим голосом, потрясённая, и протянула руку, чтобы вложить в его руку пятисотрублёвую бумажку, боясь и стыдясь этого.

Он отдёрнул свою руку, как будто я обожгла её.

— Как вы можете! Как кто-либо может принимать деньги за — за такие страдания?

Я не могла говорить, я смотрела, как он торопливо спускается по ступенькам — такой молодой, такой стройный, но уже сутулящийся под тяжестью горя и страданий этого мира, и его странно прозвучавшая фраза вместе с этим выражением ужаса в его глазах запечатлелись в моей памяти, как будто написанные огнём.

На этот раз Дмитрий поправился, но было мало надежд на то, что ему удастся пережить следующий приступ, если только я не найду доктора Мейера.

В итоге я разыскала этого доктора у него дома как раз в тот самый день, когда у Дмитрия опять начался жар. Служанка в накрахмаленной шапочке открыла

дверь в роскошные апартаменты, я даже не предполагала, что такие ещё существуют. Доктор Мейер — красивый ухоженный мужчина лет сорока, реликт цивилизации двадцатого века — вышел, чтобы поговорить со мной, в прихожую. Инъекция будет стоить тысячу рублей, заплатить нужно будет тут же. У него осталась пара ампул. Он придёт ровно в семь.

(…) Позднее в тот вечер доктор Мейер появился на чердаке дома с остроконечной крышей. Я ждала его, сидя рядом с Дмитрием. Дмитрий был в сознании, жар у него усиливался, и нестерпимо болели кости, а губы едва раскрывались от боли.

В своих замечательно отглаженных брюках доктор Мейер осторожно пробирался по тёмному чердаку, стараясь избегать контакта с людьми, которые валялись на полу. Он не задавал никаких вопросов. Он просто сделал Дмитрию инъекцию, тщательно протёр иглу спиртом, смазал спиртом свои пальцы, свернул тысячерублёвую банкноту и положил в свой бумажник, и ушёл, и больше я его никогда не видела, но всё думала о нём и, возможно, жалела, да, жалела.

До послеобеденных уроков музыки в детском приюте я всё утро провела на барахолке[1], на бывшей базарной площади — единственном в этом мёртвом городе месте, которое не погибло и играло теперь всеми мыслимыми красками. Облачившись в пёстрый платок, я весело сыграла роль бойкой молодой бабы и под конец выменяла старую каракулевую шубу на кусок масла и корзинку яиц. Это была крупная удача.

Каждый день знакомые нам люди умирали, кто от одного, кто от другого. (…) Гробов уже не осталось. Единственное, что можно было достать, — это наспех сбитые деревянные ящики. В таком ящике мы с Оксаной и похоронили полковника Георгиевского, того самого, чья жена и дочь сгорели во время взрыва в Ачинске. Их очаровательная младшая дочь, потерявшая глаз и лежавшая в каком-то подвале («У меня до сих пор из ран выходит стекло», — как-то сказала она мне), попросила Оксану прийти с санями, чтобы забрать тело отца. Ещё кто-то обещал принести ящик. Её отец, умнейший, энергичный мужчина, умер от сердечного приступа.

(…) В тот день, уже поздним вечером, мы вывезли сани с ящиком куда-то за город[2], следуя за хромым священником, чьи длинные волосы развевались на ледяном ветру; когда мы вслед за ним пели то, что полагается петь в таких случаях, наши голоса постоянно срывались. Затем мы стали бросать вниз комья смёрзшейся глины.

В Казани

… — Ваше имя? — он разговаривал в обычной грубой, рявкающей манере, как все они — ни хуже, ни лучше.

— Ольга Волотская.

— Прибыли откуда?

— Сибирь, Красноярск.

---

[1] *Барахолка — это продовольственный и вещевой рынок на Базарной площади (две площади — Новобазарная и Старобазарная).*

[2] *На кладбище, скорее всего Николаевское, там много захоронений 1920-х гг.*

— Место рождения?
— Казань.
— Что вы делали в Красноярске? — голос его угрожающе поднялся.
— Работала учителем музыки, — ответила я, принимая его вызов.

В Красноярске мы были приезжими, и определённая анонимность служила нам защитой. Там нас ничто не удерживало, и благодаря нашим диким мечтам о том, как мы, идя на чудовищный риск, убежим и будем скрываться в тайге, все невзгоды казались нам преходящими. Кроме того, тогда в Сибири люди ещё не успели совсем утратить человеческий облик, как это произошло в самой России. В Красноярске мне не доводилось видеть тех сцен звериной жестокости, свидетелем которых я стала в своём родном городе — когда-то таком мирном и исполненном достоинства.

Стихи Ольги Ильиной-Боратынской

из романа «Белый путь. Русская Одиссея. 1919—1923»

* * *

По вечерам я прихожу сюда…
День промелькнул кипучий, людный, шумный,
Но поздно вечером я остаюсь всегда
Вдвоём с моей тоской раздумной.

Неслышно падает одежда дня,
Уходят мелочи, имеющие имя,
И безымянное, что было скрыто ими,
Темно и немо смотрит на меня.

По вечерам, садясь перед столом,
Верна желанному и страшному свиданью,
Лицом к лицу я остаюсь вдвоём
С безликой тайной мирозданья.

Красноярск, 1920 г.

* * *

От двери к двери в морозы эти
С тобой ходили мы вдвоём и порознь
И объясняли всем, что у нас дети,
Что мы на улице и очень мёрзнем.
И мы внушали иным доверье,
Иным внушали даже жалость,
Но… отчего-то от двери к двери
Наше скитанье всё продолжалось.

Ах, какая тогда была стужа!
Иная хозяйка дверь откроет немного
И крикнет грубо и строго:
«Ребёнок-то есть, а нет, что ли, мужа?» —
И прямо гонит с порога.
Другие посмотрят на мужские валенки
(А из дома на нас пахнет тестом сдобным)
И вежливо скажут: «Если ребёнок маленький,
Мы это находим для себя неудобным».
И торопясь, чтобы булки в печке не пересидели,
Дверь захлопнув, выкрикнут нам в утешенье:
«Не у одних у вас дети, в самом деле,
Все теперь в таком положенье».
«Нет нам с тобой на свете места… —
Усмехнёшься. — Не мы первые…»
Но давно забытый запах теста
Будет долго терзать наши нервы.
Вспомнится няня Прасковья Егоровна,
Как она вынимает из печки пирожные
И потом нам с братом делит поровну
И говорит: «Горячие, осторожно».
А madame уж с лестницы бежит:
«O, les enfants sont aiies chez la bonne!
Maman va vous gronder venez vite!
Ne manges rien de ce qu`eiie vous donne!»

Красноярск, 1920 г.

Вивиан Итин

* * *

О проклятье!
Ноги стёрты —
Сорок вёрст в пургу и вьюгу
    Каждый день…
    Вёрсты,
    Вёрсты! —
Путь победный
Средь враждебных,

Дымных, тёмных,
Одиноких
Деревень.
Каждый день
Ремни тугие
Давят левое плечо,
Каждый день
Ветра степные
Жгут сожжённое лицо.
Мы не люди —
Духи вьюги,
Неустанный
Ураган…
Каждый день
В огне и буре
Кружит белый нас буран…
Пламень алый —
Стяг походный,
Неисходный
Путь вперёд —
Без конца в пургу и вьюгу, —
Вёрсты,
Вёрсты!
Друг за другом!
А нашли в степи лачугу —
Лишь один не спи и стой,
Одинокий часовой.
Что за белой пеленой?
В этой белой, белой буре
Сны ли, годы иль века
Мы не спим и караулим
Голубые берега?
Солнце сердца
Сердце ранит,
В сердце радость
И тоска…
В ореоле
Льдистых радуг
Солнце — огненное знамя
Жжёт холодными мечтами
Предзакатные снега.

* * *

Нас вечно — двое против двадцати,
Пред нами вечно — буря и пространства.
В мечте всемирной есть печать славянства —
Кто мог бы столько мук перенести?
И не понять не знавшим нашей боли,
Что значит мысль, возникшая на миг:
Ведь это я стою с винтовкой в поле,
Ведь это мой средь вьюги бьётся крик.
О, если бы не ряд потерянных
Друзей, встающий предо мной,
Длинный перечень расстрелянных,
Я б мог поверить в мир иной!

Сборник «Солнце сердца»[1], 1923 г.

Наша раса

Л. Сейфуллиной

Непонятная дышит сила,
Переплёскивает через край.
Это мы перешли могилы,
Увидали нездешний край.
Всё, что вспомнишь — невероятно,
Сердце, солнечный наш цветок,
Леденело в кровавых пятнах
По назёмам скифских дорог.
Иль в распаренной вшивой теплушке —
После вьюг «буржуазный» уют —
Нашу дымную грозную душу,
Воспаленную душу свою.
Непонятная дышит сила,
Переплёскивает берега...
О, как радостно жутко было
По невидимым тропам шагать!
За врагом быстроногим и ловким,
По пятам, опустив штыки...
На прикладе ижевской винтовки
Острой пулей царапать стихи.
Ничего, что мой томик Шекспира
На цыгарки свертели в пути, —
Взбита старая мира перина,

[1] *Единственный сборник В. А. Итина, изданный в Новониколаевске.*

Будет радостней жизнь любить...
Непонятная дышит сила,
К непонятной влечёт судьбе, —
Это бьётся, сжигая, по жилам
Солнце разных зовущих небес.
На плечах светозарная масса,
Лучезарной памяти сад...
Небывалая наша раса
Никогда не вернётся назад!

В кинотеатре «Фурор»

Я живу в кинотеатре
С пышным именем «Фурор»,
Сплю, накрывшись старой картой
С дыркой у Кавказских гор.
О Кавказ! — В былые годы
Благодатный этот край
Был синонимом свободы,
Как земной счастливый рай.
Здесь поэзия России,
Как былинный исполин,
Крепла, набирала силы,
Вырастала до вершин.
Здесь и Лермонтов, и Пушкин
Воспевали дивный край:
И ущелья, и опушки,
И полёт орлиных стай.
Здесь мятежный Грибоедов
Был особенно любим,
И персидские победы
Расцветали вместе с ним.
Посреди сибирской ночи
Я стихов слагаю нить...
За корявый стиль и почерк
Меня можно обвинить.
Я от горя не раскисну:
Стих мой из-под топора,
Ведь от музы от российской
Мне досталась лишь дыра.

Ананасы под берёзой

(отрывок из неоконченного романа «Конец страха»)

Под Красноярском остановились последние эшелоны генерала Войцеховского. В Красноярск вошли красные партизаны. Остатки белых метнулись на север, к ледяному руслу Ангары. Дальше, в город, по железной дороге продвигались только эшелоны поляков.

Партизаны были достаточно сильны, чтобы сломить последнее сопротивление белых. Иностранцы удирали сами. Сверхъестественный океан земли, ощерившийся пространствами вьюг, подавлял их волю. Они шли вперёд, к Владивостоку, с единственной мечтой о далёких уютных своих земельках. Но всё же они были многочисленны и хорошо вооружены.

Поэтому управлявшая партизанской вольницей рука с презрительной вежливостью удерживалась от удара по интервентам. Чёрные полушубки минусинцев, как быстрые стаи, мелькали на условленном расстоянии от линии. Партизаны ругались и выжидали.

Красноярск переживал сумасшедшие дни. Войны не было. Враждебные стихии, единственный раз в эти годы, текли вместе, не смешиваясь, как жидкий жир и вода. Обозы белых наполняли вспененное озеро города живыми потоками. Колчаковцы сдавали оружие и кладь, сваливали в первый попавшийся подвал орудийные снаряды и ношеное барахло, бочонки с экспортным маслом и утварь походных церквей… А потом какой-нибудь понимающий дьячок с трепетом распознавал в жёлтом платке челдонки антиминис с кусочком жульнических мощей, до которого даже попу полагалось прикасаться не иначе, как «в облачении».

Пленные, чтобы поменьше отличаться от победителей, своих же деревенских парней, нацепили такие же громадные красные ленты, широкие, как у старорежимных генералов. И от этого нестерпимого кумача, хотя сдавшиеся целыми днями таскались по регистрациям и спали на улицах, им казалось, что наступила, по крайней мере, Пасха, большой небывалый праздник.

Кумач пламенел всюду. По ночам на перекрёстках пламенели костры. Клубы оранжевого дыма поднимались в морозное небо. У костров равноправно грелись партизаны и вчерашние «беляки», железнодорожная красная гвардия и легионеры. Щеголеватые чехи переговаривались с большевиками Ревкома. За столиками кафе заячьи шапки поляков касались жутких волчьих папах сибиряков. В парикмахерских стояли в затылок комиссары с исполинскими красными бантами и сербские офицеры с блестящей парчой погонов. Мастера в докторских халатах поливали клиентов французским вежеталем и ожесточённо правили бритвы о брезентовые ремни английских вещевых сумок… Вывешенные во всех парикмахерских от Урала до Японского моря, ремни эти до сего времени служат прочным вещественным доказательством попранной королевской спеси.

С каждым днём всё меньше становилось серовато-коричневых, серо-зелёных и серо-голубых шинелей, всё больше полушубков, барнаулок и тулупов. Огромная железнодорожная станция непрерывно выплёвывала за Енисей тяжёлые



Сибирские партизаны, 1919—1920 гг.

эшелоны. Они ползли через мост, под хмурые скалы, как напившиеся венозной крови черви. Их непрерывные извивы отталкивали, возбуждали ненависть.

В комендантских стоял рёв. Каждый хотел уехать первым, подальше от красных звёзд; но первыми удирали самые сильные. Впереди шли чехи, потом поляки и сербы. Французы, итальянцы и другие южные народы, кроме сербов, эвакуировались ещё до разгрома белых. Отдельные вагоны американских и английских миссий вкрапливались в боевые отряды.

Миссии полковника Лейтона, где приютился м-р Коркоран, не повезло. Вагон Лейтона попал к полякам.

Впрочем, по ту сторону Енисея поезда пошли лучше. Им не мешали больше жалкие составы министерств и штабов «Всероссийского правительства». Национальная спайка войск новоиспечённых славянских государств казалась крепкой; «большевистской заразы» как будто не замечалось. Настроение отступавших поднялось.

В единственном вагоне первого класса, прицепленном в хвосте одного из польских эшелонов, разместилось человек двадцать американцев. Рядом, в американской теплушке, помещалась кухня с запасами провизии, консервов и немецкой прислугой. Полковник Лейтон, лейтенант Галлиджон, м-р Бигбай и м-р Коркоран играли в карты на колчаковские деньги. За окном бархатного купе выл буран. В вагоне было тепло, горели электрические лампы. Немцы разносили жирный кофе.

— Вы прямо двинетесь во Фриско, м-р Лейтон? — спросил Коркоран.

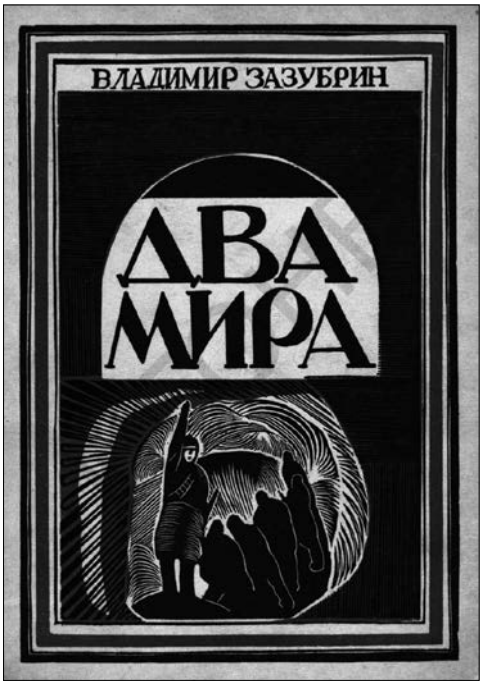
— Нет. Может быть, я застряну во Влади. У меня есть поручения относительно вольфрамовой руды. Пас.

— Семь, — сказал Галлиджон… — Если бы удалось прибрать эту страну! Это цифра с десятками нулей, джентльмены.

— Я опасаюсь японцев, — вставил Коркоран.

— О, да!.. Мне кажется, следует прежде всего использовать этих славянских молодцов. Работать с русскими, как показал опыт в Архангельске и здесь, — непрактично… У вас должен быть ещё один козырь, сэр.

— Прошу прощения, — сказал полковник. — Мне кажется, в этом смысле я должен буду сделать доклад в Штатах.



«Два мира» В. Я. Зазубрина — первый роман о Гражданской войне в Сибири. Написан в Канске в 1921 г.

За перегородкой, в отделении проводника, укладывался Радченко, новый переводчик Лейтона, подсунутый Пайвой вместо Перина. Радченко долго возился, разгребая верхнюю полку от фуфаек, тёплых носков, тёплых рубашек, одеял и прочей благодати американского Красного Креста; но вместо одеял он накрылся своей чёрной борчаткой, потрагивая то место в бараньей шкуре, где был зашит мандат губкома и записка Пайвы в Иркутск.

А утром, когда американцы спали, когда легионеры передавали воду в тендер из проруби таёжного болота, между эшелонами появилась дюжина весёлых парней с красными лентами. На них никто не обращал внимания. Да и ленты их были вдесятеро меньше, чем у красноярцев. Вдруг парни перекликнулись, отодвинули смаху тяжёлую дверь крайней теплушки, помчались дальше, громыхая засовами и оря:

— Сдавайси!

— Бросай винтовки!

И то ли так свирепо надвинулась за плечами красноармейцев миллиардная армия чёрных пихт, то ли так велика невыносимая слава, вторившая хриплому: «Сдавайси!» — только дивизия поляков, с блиндированными поездами, броневыми автомобилями, артиллерией, мгновенно накидала перед вагонами горки винтовок, патронташей, подсумков, револьверов, точно исполняя верховный приказ. Не было ни одного выстрела, ни одного крика, если не считать радостного салюта Мотьки Ципина, без всякого намерения продырявившего икру пана Стефановского.

Когда всё было кончено, поляки высыпали из теплушек, заслонялись, замитинговали, не зная, что делать. Тогда в околотке третьего полка нашёлся предприимчивый фельдшер. Он зачеркнул мелом «околоток», написал: «Комиссар

войск польских», нацепил красную ленту. И легионы поляков последовали заразительной красноярской моде.

— Слыхали? — шептались они. — Говорят, Ленин пошлёт нас опять в Новониколаевск, охранять железную дорогу.

— Нам всё равно, кому не охранять, — вздыхал другой… — Когда только Ленин отпустит нас до дому?

И ещё они говорили, что «перший пулк», шедший в авангарде, помогает красным бить чехов…

К обеду на спокойном сером коняге появился военком Тужиков. Он был в чёрном полушубке, пимах, оленьей шапке, весь перетянутый, как лошадь, бесчисленными ярко-жёлтыми ремнями, но бородатое лицо его лучилось добродушьем от редкой удачи. Легионеры окружили его, приветствуя с большим почётом. Тужиков в ответ ловко высморкался, прижав ноздрю пальцем, солдаты сразу почувствовали: свой.

— Прошу, товарищ, разъяснить, — протиснулся один, — полагается ли реквизировать мои часы?

Военком дрогнул, выпрямился сверкая.

— Кто взял, говори!

— Да вон, этот.

Тужиков мгновенно, сплеча, огрел Мотьку Ципина плетью.

— Ты, белячок колчаковский, забыл, что теперь в Красной? В трибунал захотел? Отдай!

— Да я, однако, думал то воинский трофей, — беззлобно оправдывался Ципин, расстёгивая на руке кожаную браслетку.

— Это нам колчаковский полк гадит, — пояснил военком полякам. — Пленных нам понасовали…

— Вот это войско! — рассказывал потом легионер по теплушкам… — А нам паны врали…

М-р Коркоран проснулся, вышел на площадку посмотреть, почему стоит поезд. У него зарябило в глазах.

— Алло! — крикнул он Радченко, протирая очки. — Откуда столько красных?

Радченко не знал, радоваться ли ему победе или горевать, что его поручение окончилось так неожиданно неудачно.

— Это ваши поляки, — отмахнулся он от американца.

— Как так? Что с вами? — забормотал тот.

— Ничего. Вы теперь в плену, мистер…

Вагон под ногами Коркорана вдруг сдвинулся, только совсем не по рельсам, куда-то прямо в зубастую глотку тайги.

— Полковник Лейтон! Полковник Лейтон!

Коркоран с неестественной резвостью кинулся в узкий коридор…

Тужиков сам проверил вагон миссии. Радченко подошёл к нему со своими сомнениями…

— Что же, — ответил военком, — видать, вам придётся вернуться обратно… Поезжайте с ними.

М-р Бигбай, трепеща, пошёл показывать своё хозяйство. Но Тужиков ничего не тронул, ничего не взял, ни тёплых носков, ни одеял, ни банок, за исключением кольта полковника Лейтона.

Когда комиссар ушёл, Лейтон долго стоял у окна, сжав бритые губы.

— Что вы об этом думаете? — не выдержал Коркоран.

— Мне кажется, — с трудом пробормотал Лейтон, — эти большевики ведут себя как настоящие цивилизованные люди.

— А вы слыхали, — сказал Коркоран, помолчав, — говорят, Ленин предлагает концессии?



— Да, да.

— В таком случае… говоря практически… есть ли теперь смысл драться, eh?

— Yea, yea! — повторил Лейтон… — Я думаю, в этом смысле мне следует сделать доклад в Штатах.



Красноармейцы в полевой форме образца 1918—1920 гг. Красноярск



Первый Всесибирский съезд рабселькоров в Новониколаевске, 25 февраля 1925 г.

Вошёл молодой красноармеец, помялся на пороге, вынул из кармана кольт Лейтона, сказал:

— А как из него палить-то?

Лейтон понял, подёргался от изумления, потом взял кольт и добросовестно стал объяснять подробности его механизма.

Красноармеец ушёл сияя, как ребёнок с новой игрушкой.

— Что вы об этом думаете?! — воскликнул Коркоран.

Ночью, когда над медвежьей шкурой тайги поднялся Орион, пришли красноярские паровозы, подхватили сербские и польские эшелоны и с непривычной скоростью отвезли обратно к морозному ущелью Енисея. В тупиках станции Енисей, на левом берегу реки, возник вагонный посёлок.

Отряд партизан свернул с дороги — поглазеть на пленных.

— Чи наши, чи колчаки? — дивился седобородый.

— Колчаки, — уверенно сказал молодой, — это они защитного цвета понацепляли: красны, мол.

— А хто энти вон, барины больно?

— Мериканцы.

— Та-ак. А какой они веры?

— Веры-то?

— Ну.

— Должно, не нашей веры.

— Та-ак… Эй, мусью, как «Бог» по-вашему-та?

— Что-что? — засуетился Коркоран.

— «Год» по-ихнему — Бог, — усмехнулся Радченко.
— Эта на год, однако, Бог у них? — нахмурился старик.
— Да нет! — засмеялся Радченко. — Так вот и называется: «Год».
— Год… Ну так и есть: гады, — сказал партизан.
— Что-что?

Вдруг, свистнув, рядом проскакал всадник.

— Посторонитесь! — закричал Радченко, одергивая американца.

Вдоль эшелонов, по насыпи, помчались подводы с красноармейцами. Они мчались на восток, на помощь Иркутску, нескончаемой быстрой лентой. Радченко не выдержал. Он вдруг сразу вспомнил проклятые свиные туши в Чикаго, угольный ад кочегарок «Мессенжери Меритим», белые хаты Украины и реки революционных толп в Москве, мысли его спутались, кровь потекла быстрее. Он совсем забыл о своей роли, засвистел, замахал руками, крикнул: «Эй, м-р Коркоран, смотрите — Russia comes!»

— Русь идёт! Русь идёт!

«Сибирские огни», 1933 г., № 1—2

Рувим Фраерман

Сибирь

Сибирь. Извивы льдистых рек
Под сопками. Оснеженные кряжи,
На пихтах комья хрупкой пряжи
И на дорогах зыбких человек,
В меха одетый. Свирепые кастеты
Морозных стуж свистят, и стонут сосны,
Сплетаясь в кованый узор.
Над сёлами — оскаленные дёсны
Пустынных и холодных зорь.
Смеясь в студёную мерцающую муть,
Как оцинкованная жесть — просторы,
И ждут они, когда по ним проторят
Великий и железный путь,
И оседлают их ошпаленные вёрсты,
И шлюзами взнуздается вода.
Как диких пчёл в тайге бесчисленные гнёзда,
На горизонтах встанут города.

Откроются шахт разъяренные пасти,
Домн зарева повиснут в небесах.
Руда, и нефть, и антрацит блестящий
Тяжёлым грузом лягут на путях.
Там, где теперь тунгус сифилитичный
В палатке дрелевой, склонясь на камалам,
Следит, как пеною точится пляшущий шаман,
И рвётся крик его, как в дебрях клёкот птичий, —
Там песней будет стрекот молотилки
И дизелей немолкнущая речь.
Во ржах — как острова углы фабричных плеч
На марях — проса рдяные опилки.
Сибирь — безмерное вместилище земли!
В свои края полмира ты ещё могла принять бы,
Когда бы мятежей рабочих яростные свадьбы
За нашей гранью отгулять могли.

«Сибирь», 1925 г., № 2

Николай Дементьев

Кто она?

— Кто она, скажите, будет
Вам, знакомая, жена?
— Сам не знаю, кто она!
Он при этом поднял плечи
И, жуя, в набитый рот,
Подняв брови, с аппетитом
Затолкал свой бутерброд.
— Сам не знаю, — глухо, быстро,
Прожевав, он повторил. —
Встретил я её в вагоне,
Дверь в купе ей отворил.
Куда ехала — не знаю.
Я в Читу спешил зимой.
То да сё. Позвал, согласна.
Вот теперь живёт со мной…
— Что же значит этот траур?

— Говорит, что муж убит.
— На войне? Так это правда?
— Я не знаю, — говорит.
И она сидела с нами,
Чай пила, была мила.
Но в кафе за общим шумом
Наших слов не поняла.
— Может быть, она из этих?
Нет за ней таких примет?
— Что вы! Предана. Сердечна.
Ей ведь скучно. Друга нет.
— Так зачем вам этот нежный
Распустившийся цветок?
— Сам не знаю. Жалко было.
Поживу — да на Восток.
— А она? Она поедет?
— Да куда? Почём мне знать!
Она ехала куда-то —
Ехать ей туда опять.
— Не секретничать, прошу вас, —
Улыбнулася она
И шутливо пригрозила
Ему пальцем, как жена.
Взор её доверчив, ясен.
Наклонясь к её щеке:
— Баста! — он промолвил мягко
И погладил по руке.
Таких женщин нынче много.
— У меня дела. А жаль… —
Обронил он мимоходом.
Сердце сжала мне печаль…
Кто ж она? Не что иное,
Как приставшая жена.
Есть приблудшие собачки,
Пощадила их война…

Грабежи, расстрелы, банды,
Спекуляция и гнёт…
Средь пожаров, разоренья
Ласка женская цветёт.
И цветёт она цветеньем
Вечным с женскою тоской
На проплёванных вокзалах,
Где война и где разбой,



Николай Богданов-Бельский. Женский портрет

На развалинах строений,
В грязных, гадких поездах,
Среди улиц полутёмных,
В обнищавших городах.

Минусинск, сентябрь 1919 г.

Марк Поповский

Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга

Схема и схима[1]

Предисловие

А в служении Богу — вся моя радость, вся моя жизнь, ибо глубока моя вера.
Лука. Из письма к сыну Михаилу от 22 марта 1943 г.

«Жатвы много, а делателей мало…» — эти евангельские слова для архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) стали в молодости первым Божиим призывом на служение Ему. «У меня буквально дрогнуло сердце, я молча воскликнул: «О Господи! Неужели у Тебя мало делателей?!» — вспоминал позднее святитель. Господь даровал ему — в ответ на движение сердца — быть делателем. В XX веке жатва была обильно полита слезами, потом, кровью христиан; и делателям Господь давал силы для возделывания жатвы, для крестного подвига. Ибо только со Христом, не сходя с Креста, можно вступить на эту жатву, принять на себя делание.

Подвиг исповедничества и мученичества — это не только гибель во Имя Христово: в застенках НКВД — ГПУ, в неведомых ссылках и лагерях; подвиг исповедничества и мученичества — это и жизнь во Имя Христово. Тысячи и тысячи христиан на Руси несли в XX веке этот подвиг тайно; но многие — явно. Служили в уцелевших храмах, открыто исповедали Христа — не только проповедью, да и проповедь была запрещена, но самой жизнью: крепостью, бесстрашной верой и любовью. Такой путь исповедничества был принят ими во имя великой цели: сохранить на Руси возможность не только тайного, но и явного, открытого служения Божественной Литургии. Их служение было открытым, а скорби, слёзы, мучения, крестоношение — тайным.

Святитель Лука отошёл ко Господу в 1961 году, будучи архиепископом Симферопольским и Крымским. К тому времени он был удостоен высочайших цер-

[1] *Первая публикация в журнале «Октябрь», 1990 г.*

ковных и светских наград. Святитель был членом Священного Синода. Патриарх Алексий I наградил его высокой церковной наградой — правом ношения бриллиантового креста на клобуке, он был окружён любовью и заботой паствы…

Гениальный хирург, святитель Лука был удостоен Сталинской премии 1-й степени за выдающиеся достижения в медицине, в 1946 году он увидел второе издание своего главного труда «Очерки гнойной хирургии», но, принимая от мира эти почести, почтенный архиерей так проходил до конца свой крестный путь. Резкий, горячий по натуре своей, сколько раз он говорил и писал о том, что в этом мире ему было бы легче — не смиряться и терпеть, а обличать неправду и воевать с ней. Но — смирялся и терпел… Потому что в этом — верил он — и есть исполнение того призыва Божиего, который услышал он в юности.

Столь глубокое осознание всеблагой воли Божией поразило Марка Александровича Поповского, автора этой книги, во время первой встречи со святителем Лукой.

Владыка просто знал, что всё — аресты, лагеря, его деятельность хирурга, его архиерейство — всё по воле Божией.

Только бы не пострадал кто из вас как убийца,
или вор, или злодей, или как посягающий на чужое,
а если как Христианин, то не стыдись,
но прославляй Бога за такую участь.
Первое послание Петра, 4.15.16

Я не принимаю категории опасности.
Опасность совсем неплохая вещь.
Человек должен проходить через опасности.
Н. Бердяев. «Самопознание»

Два года прошло с тех пор, как в зале, где судили профессора Ситковского, столкнулись чекист Петерс и хирург Войно-Ясенецкий. Много изменилось с того времени. Чрезвычайная комиссия, которую возглавлял в Туркестане Петерс, была переименована в Государственное политическое управление — ГПУ. Заслуги безжалостного латыша получили признание, и он ожидал повышения в Москву на должность начальника всего Восточного управления ОГПУ. В судьбе хирурга-священника тоже произошли немалые перемены. Но эти двое не забыли друг друга. И надо полагать, готовя арест Войно-Ясенецкого, начальник Туркестанского ОГПУ с удовольствием предвкушал, как он расправится наконец с попом, который два года назад публично посадил его в лужу.

Человек в таких делах опытный, Ян Христофорович начал с обработки «общественного мнения». Арестовывая кого-нибудь в двадцатых годах, власти (в отличие от времён более поздних, когда аресты предпочитали замалчивать) спешили доказать, что схвачен злодей, обманщик, проходимец. И арест его, таким

образом, является общественным благом. Поскольку все средства информации находились в одних руках, сделать это было нетрудно. В начале июня 1923 года некоему Горину из редакции «Туркестанской правды» заказали фельетон про жулика-епископа. Фельетончик получился хлёсткий. Слово «воровской» повторено в нём восемнадцать раз. И в заголовке значилось: «Воровской епископ Лука». Назначение фельетона состояло в том, чтобы доказать: епископ Лука рукоположен незаконно с точки зрения церковных правил. Он «воровской» епископ. И кафедру архиерейскую захватил он незаконно, «воровским образом», за что должен быть «извержен». Аргументы свои автор фельетона почерпнул из Апостольских правил, а также решений Антиохийского и Карфагенского соборов. Если принять в расчёт, что церковный собор в Антиохии происходил в 341 году н.э., а собор в Карфагене состоялся ещё раньше — в 318 году, то аргументы автора «Туркестанской правды» иначе как издевательскими не назовёшь. Пользуясь правилами, составленными 1600 лет назад, Горин «доказал», что два епископа в Пенджикенте не имели права рукополагать третьего, так как сами они находятся за пределами своих епархий, а сие в 318 и 341 годах нашей эры считалось беззаконным. В той же археологической пыли Горин разыскал параграфы, из которых явствовало, что и ташкентскую кафедру епископ Лука захватил «воровским образом».



Марк Александрович Поповский

Но особенно угодил фельетонист своим хозяевам, когда в Правилах Карфагенского собора выкопал следующие строки: «Епископов, творящих самочиние, нарушающих вышеприведённые правила, немедленно передавать по извержении в распоряжение гражданской власти, как обыкновенных бродяг и шарлатанов…» События церковной жизни в Ташкенте 1923 года меньше всего походили на то, что задолго до падения Римской империи именовалось «самочинным нарушением правил». Но ни газету, ни автора фельетона это не смутило. Свой опус Горин завершил уже совсем не церковными угрозами:

«Та общественная смута, которую несёт с собой авантюризм профессора, те сношения, в которые он вступил с поднадзорными, граждански опороченными ссыльными епископами, та демагогия и тихоновщина, которыми он занимается и сугубо будет заниматься в Ташкентском соборе в качестве самочинного епископа, — всё это представляет достаточно материалов для привлечения его в порядке внутреннего управления к ответственности».

«Тихоновщина» — вот слово-ключ, открывающее подлинный смысл не слишком замысловатого горинского фельетона. Епископа Луку надо было арестовать за верность патриарху Тихону, за противодействие «живоцерковникам». От него следовало избавиться во что бы то ни стало. А для этого годилось всё — от Правил Вселенских соборов до подложных обвинений и прямой провокации.



Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, святитель Лука

Сотрудники Петерса не стали затруднять себя, чтобы измыслить сколько-нибудь достоверное обвинение против Ташкентского епископа. Для этой цели в 1923-м, равно как и в 1937-м да и позже, годилась любая басня. Луку обвинили в сношениях с оренбургскими контрреволюционными казаками и одновременно в связях с англичанами, которые он осуществлял якобы через турецкую границу. Тридцать пять лет спустя, рассказывая мне о тех давних допросах, владыка заметил с улыбкой: «Я не мог быть участником казачьего заговора и деятелем международного шпионажа по двум причинам: во-первых, это противоречило моим убеждениям, а во-вторых, чекисты утверждали, что и на Кавказе, и на Урале я действовал одновременно. Все мои попытки объяснить им, что для одного человека это физически невозможно, ни к чему не приводили». Мы не знаем, был ли автором «кавказско-уральской легенды» сам Якоб Петерс, но доподлинно известно, что допрашивал Войно-Ясенецкого начальник Туркестанского ГПУ лично. В «Мемуарах» читаем:

«Однажды ночью меня вызвали на допрос, продолжавшийся часа два. Его вёл очень крупный чекист, занимавший потом очень видную должность в московском ГПУ. Он допрашивал меня о моих политических взглядах и о моём отношении к советской власти. Услышав, что я всегда был демократом, он поставил вопрос ребром: „Так кто же вы — друг или враг наш?“

Я ответил: „И друг ваш, и враг ваш. Если бы я не был христианином, то, вероятно, стал бы коммунистом. Но вы воздвигли гонения на христианство, и потому, конечно, я не друг ваш“.

Тюрьма образца 1923 года ещё не превратилась окончательно в ту садистски жестокую темницу, какой она стала полтора десятка лет спустя. После первых допросов профессора-епископа перевели из подвальной одиночки в более просторное общее помещение. Гулять подследственных выводили на большой двор. Пятнадцатилетняя дочь Войно-Ясенецкого Лена имела возможность при-

носить отцу не только пищу, но и бумагу и карандаши, ибо, как и дома, он продолжал в заключении работать над своими «Очерками гнойной хирургии». Чтобы завершить первый том (выпуск) монографии, ему оставалось дописать последнюю главу о гнойных болезнях среднего уха. В камере писать было невозможно, и Лука обратился к начальнику тюрьмы с просьбой предоставить ему для научной работы специальное помещение. Разрешение последовало. Мы можем лишь удивляться либеральности эпохи, когда были возможны и такие просьбы заключённого, и такие ответы начальства.

Так или иначе епископу-арестанту разрешили после окончания рабочего дня занимать тюремную канцелярию и там писать свою книгу до отбоя. Монографию удалось завершить, в Медицинском государственном издательстве её даже одобрили. Но ни первый, ни второй выпуск её в 20-х годах света так и не увидел: книга вышла лишь одиннадцать лет спустя, в 1934 году. Сохранился любопытный эпизод, связанный с попыткой издать «Гнойную хирургию» в 20-х годах. Прежде чем кануть в восточно-сибирской ссылке, Войно-Ясенецкий успел обратиться к наркому просвещения А.В. Луначарскому, ведавшему также наукой и делами издательскими. Заключённый профессор просил у наркома не свободы и не справедливого суда. Интересовало его совсем иное: он хотел, чтобы на обложке будущей медицинской монографии рядом с фамилией автора обозначен был его духовный сан. Луначарский ответил решительным отказом. Советское государственное издательство не может выпускать книг епископа Луки. Отпечатанный на машинке ответ наркома Войно-Ясенецкий с большим огорчением показывал позднее в ссылке студенту-медику Ф.И. Накладову.

…Всё лето 1923 года в Ташкенте продолжалась борьба «живой церкви» против священников и верующих, преданных традиционному православию. Власти делали всё, чтобы расчистить дорогу своим ставленникам. Арестовывали каждого, кто оставался верен Тихону и тихоновскому епископу Луке. «Туркестанская правда» на своих страницах вела непрерывную травлю явных и тайных противников «живой церкви». Заголовки газетных статей той поры достаточно выразительны: «Поп-мошенник», «Завещание лжеепископа Ясенецкого», «Гибель богов». Первого августа газета вышла с большим интервью, которое дал всё тому же корреспонденту Горину вновь назначенный обновленческий епископ Николай Коблов. Имя Ясенецкого повторялось в интервью несколько раз и всякий раз в сопровождении политических проклятий. Деятельность Луки в Ташкенте «обновленец» оценил именно так, как это выгодно было для его хозяев: «…Контрреволюционная демагогическая работа». Затем епископ Николай сделал корреспонденту заявление совсем уже в духе тех доносов, что делал в Москве председатель Всероссийского церковного управления (ВЦУ) Красницкий: «Последней и главной опорой тихоновщины считаю не религиозные, а политические мотивы. Кто предан искренне советской власти и новому социалистическому порядку, тот не может противиться обновлению и ВЦУ».

К середине августа всё было кончено: все храмы в городе перешли к «живоцерковникам». Но… храмы эти стояли пустыми. «Завещание» епископа Луки — несколько десятков перепечатанных на машинке листочков — оказали на при-

хожан значительно большее влияние, чем газетные заклинания партийных пропагандистов и «живоцерковников». Пока Ясенецкий оставался в городе, его слово, его запрет на сношение с «вепрем» звучали для тысяч верующих как голос пророка. В ГПУ поняли: Луку надо как можно скорее выслать за пределы Туркестана. И вот, «оформив» Войно-Ясенецкого как политического преступника, Петерс отправил его в Москву, в распоряжение ГПУ. Последняя «милость» ГПУ состояла в том, что «опасный» арестант получил сутки на сборы и прощание с семьёй.

Всю ночь большая квартира главного врача была полна прихожанами. Люди шли проститься с человеком, пользующимся в городе абсолютным уважением и доверием, верующие жаждали услышать последнее наставление. Утром, побывав на могиле жены, Лука направился на вокзал. Ехать ему разрешили не в арестантском, а в пассажирском вагоне. Надо полагать, в этот утренний час люди Петерса испытали наконец облегчение: операция «Епископ» завершилась успешно. Лука попадает теперь в дальнюю, долгую ссылку, откуда ему едва ли суждено вернуться. А без него совсем нетрудно будет навести порядок в церковной жизни города. И всё же в последний миг, когда поезд уже трогался с места, чекисты испытали ещё одну встряску. Несколько десятков верующих — мужчины и женщины — легли на рельсы, они не желали отпускать своего пастыря. Ташкент снова продемонстрировал профессору-епископу Войно-Ясенецкому любовь и преданность.

Продолжавшийся почти пять месяцев путь из Туркестана в Москву, а оттуда в Восточную Сибирь описан в «Мемуарах» владыки Луки с протокольной точностью, хотя и крайне немногословно. В Москве владыке в течение недели разрешили жить на частной квартире. За это время он дважды встречался с патриархом Тихоном и один раз в церкви Вознесения в Кадашах служил с ним литургию. Патриарха к этому времени выпустили из тюрьмы, и он снова возглавлял Русскую Православную Церковь. В закулисной игре властей, где ещё недавно все козыри принадлежали «живоцерковникам», произошёл какой-то перебой. Почему ГПУ отшатнулось вдруг от недавних своих любимцев, мы не знаем. Может быть, власти были обеспокоены слишком широкой оппозицией, которую за рубежом и по всей стране вызвали наглые действия «живоцерковников». Во всяком случае, в соответствующих кабинетах начали разрабатывать новую церковную политику, в которой патриарху отводилось уже более или менее достойное место. О беседах Войно-Ясенецкого с патриархом мы знаем только то, что Тихон подтвердил право епископа Туркестанского заниматься хирургией. Что касается Луки, то можно не сомневаться: встреча в Москве ещё более подогрела его религиозный энтузиазм, сделала его ещё более страстным поборником традиционного православия и непримиримым врагом «живой церкви».

Во время второго посещения дома на Лубянке Войно-Ясенецкий был арестован и помещён в Бутырскую тюрьму. Бандиты и жулики в камере относились к профессору-епископу, по его словам, «довольно прилично». В Бутырках просидел он месяца два. Из наиболее значительных событий того времени оста-

лось у него в памяти первое появление симптомов сердечной болезни, которая в дальнейшем усилилась и на полпути к месту ссылки обернулась миокардитом с большими отеками на ногах. В Бутырках же, к большой своей радости, владыка достал Новый Завет на немецком языке и усердно читал его, сидя в камере.

Глубокой ночью 1923 года партию арестантов из Бутырской тюрьмы пешком перегоняли через весь город на Таганку. «Я шёл в первом ряду, — пишет Войно-Ясенецкий, — а недалеко от меня (шёл) тот матёрый вор-старик, который был повелителем шпаны в соседней камере… В Таганской тюрьме меня поместили не со шпаной, а в камере политических заключённых. Все арестанты, в том числе и я, получили небольшие тулупчики от жены писателя Максима Горького. Проходя в клозет по длинному коридору, я увидел через решётчатую дверь пустой одиночной камеры, пол который по щиколотку был залит водой, сидящего у колонны и дрожащего полуголого шпанёнка и отдал ему ненужный мне полушубок. Это произвело огромное впечатление на старика, предводителя шпаны, и каждый раз, когда я проходил мимо уголовной камеры, он очень любезно приветствовал меня и именовал „батюшка“. Позже, в других тюрьмах, я не раз убеждался в том, как глубоко ценят воры и бандиты простое человеческое отношение к ним».

В Таганской же тюрьме перенёс владыка тяжёлый грипп — около недели пролежал в сорокаградусном жару. Наконец в начале декабря был сформирован восточносибирский этап. Вместе с Войно-Ясенецким в ссылку на Енисей ехал ташкентский протоиерей Михаил Андреев. Позднее к ним присоединился ещё один ташкентский протоиерей — Илларион Голубятников. Ехали в «столыпинских» арестантских вагонах. В узкий коридор, как в зоопарке, выходят решётчатые двери камер; высоко под потолком едва пропускающее свет оконце.

Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск… По ночным улицам заключённых с вокзала быстрым шагом гонят в тюрьму. Утром снова в вагоны — и дальше. Болезнь сердца у Войно-Ясенецкого прогрессирует, но на этапе никто не оказывает ему помощи. В Тюмени этап задержался, но единственную за всю дорогу склянку настойки валерианы больной получил лишь на двенадцатый день.

Менялись камеры, спутники, ситуации. Новосибирск остался в памяти как место особенно тяжёлое. В камеру, отведённую Войно-Ясенецкому и двум его спутникам-профессорам, тюремщики подсадили бандита, убившего восемь человек, и проститутку, которая по ночам уходила «на практику» к тюремной страже. Случалось, что бандиты проявляли к «батюшке» некоторое уважение, но чаще над ним глумились, его оскорбляли, даже били. В новосибирской тюремной бане у владыки украли деньги, а затем в вагоне разворовали чемодан с вещами. В издевательствах недалеко от уголовных ушла и стража: в Красноярске охрана посадила политических заключённых в подвал, загаженный человеческими испражнениями. Лопат не дали. Вновь прибывшим пришлось чистить своё жильё «подручными средствами». Рядом с подвалом Войно-Ясенецкий несколько раз слышал ружейные залпы: работники ГПУ расстреливали казаков-повстанцев.

Но вот наконец и последняя часть пути: в лютую январскую стужу заключённых на санях повезли из Красноярска за 400 километров на север, в Енисейск. «Об этом пути я мало помню, — пишет Лука, — не забуду только операцию, которую мне пришлось произвести на одном ночлеге крестьянину лет тридцати. После тяжёлого остеомиелита, никем не леченного, у него торчала из зияющей раны в дельтовидной области вся верхняя треть и головка плечевой кости. Нечем было перевязывать его, и рубаха и постель всегда были залиты гноем. Я попросил найти слесарные щипцы и ими без всяких затруднений вытащил огромный секвестр».

…Почти полвека спустя, в августе 1970 года, я сел в Красноярске на дизель-электроход «Сергей Прокофьев», чтобы плыть по местам ссылки моего героя. Я в то время ещё не читал «Мемуаров», и единственная возможность дознаться, как профессор-епископ провёл 1924—1926 годы, состояла в том, чтобы разыскать на Енисее свидетелей его жизни и поговорить с ними. Забегая вперёд, скажу: енисейская поездка (она продолжалась две недели) показала, насколько живуча всё-таки историческая правда. В Красноярске, Енисейске, Туруханске, а потом и в деревне Большая Мурта нашёл я не одного и не двух, а более сорока местных жителей, знавших и помнивших моего героя. Да ещё десяток человек ответили на письма, отправленные по адресам, которые удалось узнать на Енисее. В результате, вернувшись в Москву, я привёз не только тетради, полные записей, но и уникальные фотографии Войно-Ясенецкого, его книги, а в Туруханске получил в подарок некогда принадлежавшую епископу Луке икону.

…Судьба города Енисейска, которую приезжий может без труда восстановить для себя, походив день-другой по улицам, типична для многих сибирских городов. До революции столица золотопромышленного района Енисейск насчитывал до пятнадцати тысяч жителей. Тут в добротно построенных кирпичных и бревенчатых с резными наличниками домах жили купцы, золотопромышленники, семьи приисковых рабочих и служащих. Цены на квалифицированный труд стояли тут всегда высокие, так что большинство жителей были людьми обеспеченными — золото всех кормило. Мощёные улицы, ухоженный парк, отличные здания гимназии, больницы, дома призрения, одиннадцать, включая собор, златоглавых церквей — всё свидетельствовало о достатке городского бюджета. Многое успел сделать для города перед Первой мировой войной городской голова — инженер по образованию и довольно известный в Сибири путешественник. При нём было проведено электричество, появился телефон. Мысля категориями всероссийскими, он настойчиво налаживал торгово-промышленные связи между городами и посёлками края. Сам дважды проводил караваны судов с Оби на Енисей и даже представлял в правительство проект соединения двух великих сибирских рек системой современных каналов. В те же годы городская интеллигенция успешно прививала населению культурные интересы. В шести тысячах километров от российских столиц енисейцы завели хорошую общедоступную библиотеку, организовали то, что мы теперь называем драматическим коллективом. (В музее можно видеть театральные афиши тех лет, извещающие о драматических и оперных спектаклях.) Существовал

тут и кружок любителей словесности, одно время выпускавший литературный альманах. В городе жили и работали хорошие земские врачи (доктора Вицин, Салтурин), больничная операционная располагала таким операционным инструментарием (его выписали из Германии), какого не было в иных губернских городах.

Гражданская война и пять лет, последовавших после утверждения в Енисейске новой власти (1919—1924), полностью преобразили город. Он опустел. В то время когда Войно-Ясенецкий приехал в ссылку, в Енисейске едва ли оставалось шесть тысяч человек. Свои добротные дома покинули не только купцы и золотопромышленники, но и учителя, врачи, инженеры, многие речные капитаны. Вместо прежних опытных медиков частную практику открыли фельдшеры (С.М. Бурмакин, Н.Н. Крыловский, Лимескин). Ушли в поисках сбыта своих знаний и мастеровые, от плотников до ювелиров. Купеческие особняки заняли учреждения: горком и окружком ВКП, РИК, Чека, окружком комсомола. У новых хозяев тоже были свои занятия, своя культура и свои развлечения (о них ниже). И, конечно же, своё представление об общественной структуре. Врач С.М. Якобсон, поселившийся в Енисейске в 1925 году, так описывает политическую ситуацию, возникшую здесь в годы нэпа:

«Волей-неволей население делилось на две категории: „красных“ и „белых“, друзей и врагов. Служители культа, как и кулачество, относились ко вторым. Такова фактически была схема. Она довлела над многими руководящими работниками. Руководство Енисейского района, по моим впечатлениям, не смогло стать выше этого…»

Из этой «классовой» схемы и проистекли в дальнейшем те конфликты, которыми столь богата первая ссылка владыки Луки. Схема работала с чёткостью гильотины. Признать ссыльного епископа «красным» хозяева Енисейска, конечно же, не могли. Значит, «белый». Да не просто «белый», а некая центральная фигура, привлекающая к себе симпатии отсталых масс. А раз так — дави и души его, «контру»… Между тем положение в городе в связи с приездом Луки сложилось отнюдь не простое. «За всю историю Енисейска, — пишет Якобсон, — не было ещё такого, чтобы иметь в городе известного миру учёного в сочетании в одном и том же лице с высокопреосвященством. Немудрено поэтому, что положение священнослужителя, в отсталой, тёмной части населения в первую очередь, довольно скоро нашло понимание, преклонение, сочувствие». Но одновременно, по словам доктора С.М. Якобсона, большая часть енисейской интеллигенции видела в нём (Войно-Ясенецком) учёного, а «практическая деятельность профессора стала способствовать росту его авторитета как врача». Якобсон даже слышал, как кое-кто из новой, просоветской интеллигенции негодовал по поводу репрессий и дальнейших высылок хирурга-епископа из города.

Лука не вписывался в схему. По той или иной причине его приветствовала большая часть населения, к нему тянулись и «реакционные», и «прогрессивные». Чиновников раздражала эта возникшая со ссыльным «попом» неясность. Однако очень скоро в глазах должностных лиц фигура Войно-Ясенецкого про-

яснилась полностью. Он открыто продемонстрировал властям свою нераскаянность. Заняв на Ручейной улице в двухэтажном доме Забоевых просторную квартиру с гостиной, епископ Лука со своими спутниками протоиереем Илларионом Голубятниковым и Михаилом Андреевым начал по воскресеньям и праздничным дням совершать богослужения. Служить в квартире пришлось оттого, что, как объяснено в «Мемуарах», в Енисейске «священники уклонились в живоцерковный раскол», а общаться с «живоцерковниками» Лука принципиально не желал. Служба по традиционному чину собирала немало народа, и квартира ссыльных священнослужителей в короткое время стала местом, где верующие открыто выражали несогласие с официальным, пока ещё не отменённым церковным курсом.

Впрочем, и такую свою деятельность Войно-Ясенецкий стал считать вскоре слишком пассивной. Если верить слухам, которые и доныне передают в Енисейске, он принялся захватывать закрытые властями храмы и служить в них. Во всяком случае, один такой эпизод местные жители помнят хорошо. Открыть храм, закрытый по решению райисполкома, — это уже акт явного неповиновения. Луку вызывали в ГПУ. Держался он с достоинством, заявил, что виноватым себя не считает и впредь намерен возносить хвалу Богу в специально построенных для того храмах, и, как говорят, добавил, что единственными хозяевами над собой признаёт Бога и патриарха.

Дело в тот раз ограничилось выговором. Должностные лица допустили по отношению к ссыльному послабление: может быть, потому, что ещё не привыкли к сочетанию епископской рясы и профессорского звания. А может быть, и оттого, что Войно-Ясенецкий уже сделал несколько удачных операций, о которых в Енисейске много говорили. Власти решили потерпеть некоторые причуды епископа, чтобы на всякий случай сохранить в городе хорошего хирурга. Лука никакого внимания на вызов ГПУ не обратил, служба в церквах и на квартире продолжалась. Но не прошло и недели, как положение усугубилось снова. Войно-Ясенецкий ввязался в новую баталию.

В 20-х годах тон в городе задавали комсомольцы. Они были первыми и самыми страстными проводниками партийной политики, и в том числе политики классовой непримиримости. Мы уже говорили о буквально физиологической потребности новой власти изыскивать заклятых врагов и непременно изничтожать их. Поскольку после 1919 года в Енисейске и его окрестностях реальных противников не осталось, жаждущие побед комсомольские вожаки повели массы «на штурм небес». С «небесами» расправлялись запросто. «Незадолго до моего приезда в Енисейск, — пишет в «Мемуарах» владыка Лука, — был закрыт женский монастырь, и две послушницы этого монастыря рассказали мне, каким кощунством и надругательством сопровождалось закрытие храма Божьего. Дело дошло до того, что комсомолка, бывшая в числе разорявших монастырь, задрала все свои юбки и села на престол». Случай, который настолько потряс владыку, так, что он не забыл его даже через тридцать пять лет, диктуя свои «Мемуары», был для той эпохи вполне заурядным. Бывший милиционер Михаил Фёдорович Терещенко с большой охотой рас-

сказывал мне, как в 1924—1925 годах он сам обдирал с икон Успенского собора золотые ризы, как грузил на подводу реквизированные чаши и кадила, как помогал стаскивать с церквей колокола. Во время реквизиций верующие — порой набегало несколько сот человек, — стоя поодаль, ругали представителей власти и комсомольских активистов. Терещенко слышал и проклятия, и молитвы, в которых верующие призывали громы и молнии на головы богохульников. Исполняя свой служебный долг, милиционер Терещенко вынужден был давать время от времени предупредительные выстрелы в воздух, а кое-кого и препровождать в милицейский участок. Впрочем, сам Терещенко к верующим относился, по его словам, без всякого зла. Вспомнил он также, как зимой 1924 года молодые борцы с религиозным дурманом опрокинули в деревне Сотниково часовню: «Просто так, для смеха».

Главным заводилой всех антирелигиозных проделок в Енисейске был один из первых секретарей райкома комсомола — весёлый рыжий Митька Щукин. Он организовал молодёжную капеллу, члены которой разыгрывали смешные сценки про попов и монахов. Он же выводил комсомольцев на пасхальные и рождественские карнавалы, на которых сжигали чучела всё тех же попов и монахов. Наконец, не кто иной, как Митька Щукин, был автором антирелигиозных частушек и песенок. С гармошкой в руках, лихо сдвинув на затылок кепку, секретарь появлялся на подмостках дома культуры, устроенного в доме изгнанного купца Баландина, и к вящему удовольствию молодых атеистов исполнял такие, к примеру, вирши:

В ссылку приехал епископ Лука,
Солиднее будет успенского попа.
Стали монашки к нему приходить,
Стирать и портяночки мыть…

Автора виршей я в Енисейске не застал. Дмитрий Щукин в 30-х годах работал в органах НКВД, потом в КГБ. Сейчас на пенсии. Удалось дознаться, что он находится в Риге, но адреса мне его не дали, объяснили — крупные работники госбезопасности не обозначены ни в телефонных справочниках, ни даже в картотеке адресного бюро. Ну что ж, надо полагать, у Щукина действительно есть причины скрывать свой адрес и телефон. И хотя мы не знаем, что делал он в 30-х и 40-х годах, но некоторые задатки будущей щукинской карьеры чётко прослеживаются уже в 20-х. Поносными песенками и карнавалами он не ограничивается. Бывшая пионервожатая в Енисейске, а ныне пенсионерка республиканского значения Евдокия Яковлевна Ким вспоминает, что весь 1924 год в городе гремели взрывы: комсомольцы под руководством своего секретаря разрушали церковные здания. О воскресниках, на которых молодёжь после взрыва в Рождественской церкви разравнивала площадку для комсомольских собраний, рассказывает врач Маргарита Петровна Овчинкина.

Живя в Ташкенте, епископ Лука полагал, что все беды Русской Православной Церкви в послереволюционную пору происходят лишь от козней «живоцерковников». Кощунствующая молодёжь не казалась ему достойной серьёзного от-

пора. Но в Енисейске «живоцерковники» реальной силой не обладали, зато разгул комсомольцев-атеистов грозил полностью лишить город мест молитвы. Лука решил протестовать. Несколько раз он выступал с проповедями, пытался урезонить, пристыдить разрушителей храмов. Потом принял участие в публичном и, как говорят, многолюдном диспуте с молодым медиком-атеистом Чеглецовым. Но ни успокоить, ни даже умерить антирелигиозную волну 20-х годов было, конечно, невозможно. Лука только ещё больше настроил против себя енисейское партийное и советское начальство. А скоро к доносам церковного характера присоединились жалобы на Войно-Ясенецкого от местных фельдшеров.

О своей врачебной работе в Енисейске епископ Лука оставил краткую запись, которая уместилась в «Мемуарах» на десяти строках:

«Мой приезд в Енисейск произвёл большую сенсацию, которая достигла апогея, когда я сделал экстракцию врождённой катаракты трём слепым мальчикам-братьям и сделал их зрячими. По просьбе доктора Василия Александровича Башурова, заведовавшего Енисейской больницей, я начал оперировать у него и за два месяца жития в Енисейске сделал немало очень больших хирургических и гинекологических операций. В то же время я вёл большой приём у себя на дому, и было так много желающих попасть ко мне, что в первые же дни оказалось необходимым ввести запись больных. Запись, начатая в первых числах марта, достигла дня Св. Троицы».

Всё это верно, но так же примерно, как выцветший дагерротип. В действительности же два с небольшим месяца (январь — март 1924 года) жизни Войно-Ясенецкого в Енисейске были насыщены чрезвычайно яркими житейскими и медицинскими эпизодами, насыщены большой хирургической работой, которую владыка совмещал с напряжённой жизнью религиозной. Лучше всего об этом периоде мог бы рассказать доктор В.А. Башуров, но ко времени моего приезда его уже не было в живых. О врачевании Войно-Ясенецкого я услышал в конце концов от шести старожилов. Наиболее полным оказался рассказ девяностолетнего Арсения Кузьмича Константинова. Интеллигент сибиряк, в прошлом почтовый и торговый служащий, Константинов сохранил прекрасную память (к его воспоминаниям мы ещё вернёмся) и, со слов своего друга доктора Башурова, передал следующее: «В Енисейскую больницу Войно-Ясенецкий впервые зашёл зимним днём 1924 года. Очевидно, он только что появился в городе, потому что заведующий больницей ничего о нём ещё не слыхал. Представился: „Я профессор Ташкентского университета, в миру Ясенецкий-Войно, имя моё в монашестве — Лука“. Башуров, в ту пору очень молодой врач, слушал собеседника с недоверием, подумал даже, не сумасшедший ли перед ним. Войно просил разрешить ему оперировать. Не служить, не зарплату получать, а только оперировать. „У меня плохой инструмент, нечем делать операции“, — схитрил Башуров. Войно пожелал увидеть инструментарий. Поглядевши, сказал, что никогда не думал, что в таком маленьком городке он найдёт столь замечательные хирургические инструменты. После этого Башурову ничего не оставалось, как довериться странному профессору в рясе. На ближайшие дни была назначена сложная операция, каких прежде в Енисейске никогда не делали.

Настал операционный день. Больного положили на стол, усыпили… и… первое же движение профессора заставило Башурова побледнеть. Лука рассёк брюшную стенку пациента таким широким и стремительным взмахом скальпеля, что у заведующего больницей мелькнуло в голове: „Мясник! Зарежет больного!“ Лука заметил, что ассистент волнуется, и сказал: „Не беспокойтесь, коллега, положитесь на меня“. И действительно, операцию сделал он превосходно».

Так же хорошо прошла вторая, гинекологическая операция. Больную дочь советского или партийного работника оперировали на дому. Когда женщина выздоровела, Луку и Башурова пригласили обедать в дом высокопоставленного хозяина. Тут сидело несколько важных городских персон. Во время обеда Башуров сказал: «Вы меня, профессор, напугали в первый раз, но теперь я верю в ваши приёмы». «Это не мои приёмы, — возразил Лука, — а приёмы хирургии. У меня же просто хорошо натренированные пальцы. Если мне дадут книгу и попросят прорезать скальпелем строго определённое количество страниц, я прорежу именно столько и ни одним листком больше». Тут же была принесена, но не книга, а книжечка папиросной бумаги, употребляемой на цигарки. Лука ощупал плотность бумаги, остроту скальпеля и резанул. Пересчитали рассечённые листки, их оказалось ровно пять, как и просил хозяин дома.

После первых операций к Войно-Ясенецкому хлынули горожане и крестьяне из окрестных сёл. Список желающих получить помощь был составлен на три месяца вперёд, а больные всё ехали и ехали. И тут Башуров испугался уже не на шутку. На каждую операцию с участием Войно-Ясенецкого полагалось получать отдельное разрешение, а разрешения эти давались туго. Растущая популярность Луки раздражала городских начальников. Кроме того, в ГПУ подозревали, что «поп», принимая дома, получает большие гонорары. Чтобы поймать Луку с поличным, к нему несколько раз подсылали «разведчиков». Но оказалось, что никакой мзды с больных он не берёт, а в ответ на благодарность пациентов отвечает: «Это Бог вас исцелил моими руками. Молитесь ему». Но в качестве врача-бессребреника Лука всё равно не устраивал власти. К тому времени каждому было известно, многократно повторено: советская власть, то есть «красные», обеспечивает народу бесплатную медицинскую помощь и тем спасает трудящихся от корыстолюбия частных врачей, то есть «белых». Всё ясно, всё четко. А тут вдруг Войно-Ясенецкий — частный, но бескорыстный. Пресловутая схема опять давала трещину.

Едва ли епископ Лука догадывался об антипатиях, которые он вызывал у тех, от кого зависела его судьба. Как и в Ташкенте, он оставался собой и только собой. Другим быть попросту не мог. Официальным лицам его поступки казались странными, подозрительными. Но, очевидно, более несуразным был мир, в котором всё многоцветие человеческой индивидуальности люди пытались свести к двум цветам — красному и белому. Войно-Ясенецкий, хирург и епископ, ни к какой партии себя не причислял, ни в какой общности, кроме православной церкви, себя не числил. У него был свой собственный отсчёт времени

и пространства, своё представление о том, что должно и чего не должно делать человеку. Своё врачебное мастерство считал Лука даром мистическим, предназначенным, в частности, для прославления и утверждения Бога. И, как врач, вёл он себя в полном соответствии с дарованными ему способностями. Не отказывал он в помощи самым сирым и убогим, не брал ничего за лечение, мог целыми днями возиться с какими-нибудь хворыми и грязными ребятишками деревенскими и в то же время способен был запросто выгнать пришедшего на приём атеиста. Это не было с его стороны акцией политической, а только выражением его, епископа Луки, религиозных, нравственных представлений.

Так случилось, когда к нему в дом явились одетые в служебную форму милиционеры. Один из них за день до того спьяну упал с телеги и ушибся. Между профессором-епископом и милиционерами произошёл следующий диалог:

— Вот пришли к вам лечиться, доктор…

— Я коммунистов лечить не стану. Я исцеляю с помощью Господа нашего Иисуса Христа, а вы в него не верите.

— Не верим, — подтвердили милиционеры, — мы верим только в науку.

И ушли.

Конечно, ни о какой науке енисейские милиционеры, с грехом пополам окончившие четырёхклассное училище, не имели представления. Но словесные залпы, которыми представители власти считали нужным обменяться с профессором-епископом, тоже входили в ритуальную советскую систему 20-х годов. По схеме этой, «белые» — всегда враги и гонители науки, «красные» же её всегдашние покровители.

О врачебном мастерстве Войно-Ясенецкого говорили мне в Енисейске 79-летняя библиотекарша Татьяна Александровна Хнюнина, бывший почтовый работник Иннокентий Николаевич Богушевич, 66 лет, медсестра-пенсионерка 73-летняя Варвара Александровна Зырянова. Особенно запомнились старым енисейцам глазные операции Луки. За два месяца он сделал их не меньше двух десятков. Экстракцию врождённой катаракты трём мальчикам-братьям, о которых в «Мемуарах» сказано крайне скупо, народная память дополняет интересными подробностями. Речь, оказывается, шла о целой семье, в которой отец, мать и несколько маленьких детей были от рождения слепы. Из семи человек шесть стали после операции зрячими. Прозревший мальчик лет девяти вышел впервые на улицу. С изумлением увидел он мир, который прежде представлялся ему совсем иным. Подвели лошадь. «Видишь? Чей это конь?» Мальчик не мог ответить. Но, ощупав коня, закричал радостно: «Это наш, наш Мишка!» Так же трудно было ему сначала понять на взгляд, что это за штука такая — карандаш… Семья недавних слепцов буквально боготворила хирурга-епископа, но на просьбы принять от них какие-нибудь подношения Лука, как всегда, отвечал отказом.

Как ни успешны были глазные и полостные вмешательства, совершённые Войно-Ясенецким, меня куда больше поразила операция, о которой вскользь, как о самом обычном деле, сообщает енисейская жительница В.А. Зырянова. «Однажды, — рассказала она, — в Енисейск откуда-то из района привезли уми-

рающего мужчину с больными почками. Когда владыка осмотрел его, то приказал родным купить и заколоть телёнка. Телёнка закололи. Владыка взял от него свежие почки и пришил их больному. Говорят, после операции тому мужику полегчало».

У всякого, кто знаком с историей медицины нового времени, это сообщение не может не вызвать интереса. Первую пересадку животной почки в нашей стране совершил в 34-м году доктор И.И. Вороной из Киева. Женщине, страдающей от уремии, он подсадил на ногу почку свиньи. Факт этот отмечен как первая попытка трансплантации чужеродной почечной ткани. Но, оказывается, не Вороной в специальной киевской клинике, а Войно-Ясенецкий в маленькой енисейской больничке на десять лет раньше произвёл операцию, от которой отсчитывается эра пересадок почки в нашей стране.

Операции Луки привели, однако, к последствиям самым неожиданным: замечательного хирурга выслали в глухую деревню. Неудовольствие енисейского городского начальства сомкнулось с раздражением местных медиков, у которых Войно попросту отбил клиентуру. Возникшую ситуацию старый енисейский медик Н.Н. Крыловский выразил одной фразой. «Некоторые молодые врачи не любят оказываться в тени, находясь рядом с крупной личностью», — сказал он доктору С.М. Якобсону. Речь, впрочем, шла не о врачах, а о фельдшерах, успевших сколотить в годы нэпа изрядные капиталы на частных приёмах. Предприниматели от медицины стали лицемерно жаловаться властям на «попа», который производит «безответственные» операции. Доносы упали на подготовленную почву. Городская администрация, недостаточно грамотная, чтобы разобраться в сути вопроса, приняла к сведению, что беспокойный епископ является к тому же ещё и сомнительным медиком. Судьба Луки решалась в одночасье. В середине марта его арестовали и под конвоем выслали ещё на несколько сот километров южнее, на Ангару. Вместе с ним в ссылку поехали его ближние: протоиерей Илларион Голубятников и Михаил Андреев, а также две монашки, которых епископ Лука постриг в Енисейске под именами Лукия и Валентина.

Маленькому каравану пришлось преодолеть по замёрзшему Енисею девяносто километров, добираясь до устья Ангары. Потом по ангарскому льду шли ещё более ста километров до районного села Богучаны. Тут ссыльных разлучили: Голубятникова и Андреева послали в деревню неподалеку от Богучан, а «главного преступника» Войно-Ясенецкого за сто двадцать километров в деревню Хаю, что лежит на притоке Ангары — Чуне. Хая — деревушка в восемь дворов. Кругом бескрайняя лесная пустыня. В марте тут ещё глубокая зима. Дом, где со своими монашками поселился Лука, часто до крыши заносило снегом. Приходилось ждать, пока утром олени протопчут тропу, чтобы можно было принести хвороста на растопку. Питание — скудное. Ссыльным не только искупаться, умыться поначалу негде было: в рукомойнике, который висел в сенях, замерзала вода.

Елена Валентиновна считает, что на Ангаре заниматься медицинской практикой отцу не приходилось. Однако в «Мемуарах» сообщается о двух довольно

серьёзных операциях, которые епископ Лука произвёл после изгнания из Енисейска. В районном селе Богучаны, где ссыльные находились проездом всего два дня, оперировал он крестьянина с нагноившимся эхинококком печени и, возвращаясь через несколько месяцев назад, нашёл своего пациента совершенно здоровым. Второе вмешательство произвёл он на глазу. Среди вещей, с которыми Лука во время ссылок не расставался, был набор глазных инструментов и маленький стерилизатор. Этот инструментарий пригодился в глухой деревушке на притоке Ангары. В пустой, нежилой избе в полном одиночестве хирург сделал экстракцию катаракты старику крестьянину. Операция прошла успешно.

Тяготы ссылки переносил Войно-Ясенецкий без ропота. «Обо мне не заботься, я ни в чём не нуждаюсь», — писал он сыну Михаилу из Енисейска и через несколько месяцев снова: «Обо мне не беспокойтесь. Господь отлично устроил меня в Хае. Я радостен, глубоко спокоен, никаких нужд не испытываю — монахини с большой любовью заботятся обо мне». Это письмо писалось в то самое время, когда жизнь в Хае была совершенно невыносима из-за придирок и издевательств старухи, хозяйки дома, в котором Войно-Ясенецкий был определён на поселение. Старуха стала выживать ссыльных из жилья и в конце концов выгнала их. Лука с монахинями вынесли из дома свои вещи и сели на поклажу у стены. Эта картина возмутила даже обычно глухое к чужому горю деревенское «общественное мнение». Односельчане стали стыдить старуху и заставили её вернуть квартирантов в дом.

В июне последовал приказ отправить Войно-Ясенецкого обратно в Енисейск. Свой путь описывает Лука, как всегда, немногословно и точно: «Нам дали двух провожатых крестьян и верховых лошадей. Монахини впервые сели на лошадей. Очень крупные оводы так нещадно жалили лошадей, что целые струи крови текли по их бокам и ногам. Лошадь, на которой ехала монахиня Лукия, не раз ложилась и каталась по земле, чтобы избавиться от оводов, и сильно придавила ей ногу.

На полдороге до Богучан мы побывали (очевидно: остановились. — *М. П.*) в лесной избушке, несмотря на требование провожатых ехать дальше всю ночь. На них подействовала только моя угроза, что они будут отвечать перед судом за бесчеловечное обращение со мной — профессором. Не доезжая до Богучан, прекратилась наша верховая езда. Меня, никогда раньше не ездившего верхом и крайне утомлённого, пришлось снимать с лошади моим провожатым. Дальше до Богучан мы ехали на телеге.

Потом плыли по Ангаре в лодках, причём пришлось миновать опасные пороги. Вечером на берегу Енисея, против устья Ангары, мы с монахинями отслужили под открытым небом незабываемую вечерню. По прибытии в Енисейск меня заключили в тюрьму, в одиночную камеру…» Читая и слушая о злоключениях епископа Луки в первой ссылке, я не раз ловил себя на том, что где-то уже встречал подобную ситуацию. Ссыльный в Енисейске; Ангара с её губительными порогами, таёжный гнус, со света сживающий и скот, и человека; измученные, падающие от усталости, но не падающие духом люди, готовые и более того претерпеть за свою веру… Да ведь это страницы из «Жи-

тия протопопа Аввакума»! Раскольничий священник, попавший в царскую немилость и сосланный в Сибирь, на два с половиной века раньше проделал тот же путь по Енисею и Ангаре, что и епископ Лука. Как и Войно-Ясенецкий, отстаивал Аввакум «истинную» веру от «ложной», старую церковь — от новой с дурным политическим привкусом. За то был схвачен, бит, морен голодом и сослан с женой и малыми детьми сперва на Лену, а потом на Енисей под начало жестокого воеводы Афанасия Пашкова. «А как приехал на Енисейской, другой указ пришел: велено в Дауры везти — двадцать тысящ и больши будет от Москвы».

Кораблекрушение на Ангаре, издевательства и побои от воеводы, смерть малых детей, неслыханные тяготы, перенесённые раздетыми, разутыми, лишёнными пищи людьми! Всё снёс Аввакум, снёс и воспел: «Река мелкая, плоты тяжелые, приставы немилостивые, палки большие, батоги суковатые, кнуты острые, пытки жестокие — огонь да встряска, люди голодные; лишо станут мучить — ано и умрет!» — и над всем этим ужасом нечеловеческое упорство священника, отстаивающего свою веру: своё человеческое достоинство. Ибо, твердит он, писано: «Не начный блажен, но скончавай» — «Блажен не тот, кто начал, а тот, кто начатое довёл до конца». Да уж кто-кто, а Аввакум и Лука умели доводить начатое до логического конца.

Но интересны для нас не только внешние обстоятельства двух жизней и даже не географический параллелизм двух судеб. Значительно важнее сходство двух характеров. Дважды за три века в России возник и дошёл до своего апогея характер религиозного бунтаря-фанатика. Случаен или закономерен такой повтор в российской истории? Появление обоих пророков-мучеников кажется мне закономерным. Их породили не только схожие человеческие типы, но и близкие, если не сказать идентичные, общественные обстоятельства. Ссыльный Войно-Ясенецкий, конечно, не перенёс в Восточной Сибири тех страданий, что выпали на долю его предшественника Аввакума. Ссыльная Россия 1924 года уже не походила на ту, какой она была в 1656 году, и ещё не успела дойти по жестокости до уровня 1937 года и последующих годов. Как я уже говорил, это была пора сравнительно либеральная. И тем не менее можно не сомневаться: случись Луке испытать батоги и плети, он всё равно не изменил бы своим принципам, остался таким же огнепальным, истовым, непреклонным, каким был его исторический предтеча. Духовное родство своё с Аввакумом полностью доказал он во время третьего по счёту сиденья в бериевских тюрьмах, в 1937—1939 годах.

Что же до внешних обстоятельств, роднящих Россию XVII и Россию XX века, так это старинные, хронические хвори наши — бессудность и беззаконность. Схватить неугодного без суда, следствия, тайком сослать на край света, похоронить в сыром каземате или просто убить, назвав убийство казнью, — это у нас исконное, коренное, неотъемлемое, со времён Владимира Мономаха. Век XIX, чуть приблизивший Россию к европейскому облику, внёс в старинный порядок некоторые коррективы, но со второго десятилетия века XX бессудность как форма взаимоотношений между государством и гражданином восторже-

ствовала вновь. На смену «слову и делу государеву» пришла система заложников, практиковавшаяся в эпоху Гражданской войны, потом административные расстрелы, о которых с ужасом писал В.Г. Короленко Луначарскому, и, наконец, «суд тройки» — без адвоката, без слушания сторон, с заранее подготовленным приговором. Внешние формы менялись, но неизменной оставалась её суть — незащищённость гражданина и всевластие власти, которой для оправдания своих действий не нужны уже никакие законы. В таком мире наказание превращается в месть, в целую серию мстительных актов, когда заключённый ссыльный становится жертвой не только бесчеловечного законодательства, но и жестоких тюремщиков. Дальше всё зависит от душевных свойств жертвы. Произвол действует, как «тяжкий млат», — крушит стекло и куёт булат. Люди слабые гнутся, ломаются, в звериной жажде сохранить себя предают всех и вся. Но среди тысяч согнутых вдруг обнаруживает себя пророк с «булатным» характером. Независимо мыслящий, охваченный гордыней своей правоты, возмущённый попранием Закона, он вступает в бой с властью.

Подобные человеческие характеры не монополия России. Они известны и в Европе, и в Америке, и в Азии. Там, где закон охраняет свободу и жизнь гражданина, Аввакумы и Войно-Ясенецкие становятся во главе оппозиции, испытывают свои силы в парламентских прениях. Это из их числа вышли Дэвид Тора и Махатма Ганди, Альберт Швейцер. В стране же, где для мыслителя и моралиста закрыта любая возможность свободного волеизъявления, ему остаётся одно — гибель, гибель при первом же столкновении с властью, ибо попирающие законы никого так люто не ненавидят, как тех, кто требует законности.

Случается, однако, что по недосмотру или благодаря чуду пророк остаётся в живых. Тогда начинается его путь мученичества, путь в историю. Прошли этим крестным путём и Аввакум, и Валентин Войно-Ясенецкий, в монашестве Лука. Наверно, были и другие, но только у этих достало для утверждения себя не только сил духовных, но и физических. Они выжили. В двадцатом столетии вновь оказалась справедливой истина, провозглашённая в семнадцатом: «Блажен не начный, а скончавай».

Те, кто сослал епископа Луку в глухую деревню, естественно, полагали, что, наголодавшись и намучившись, он вернётся обратно более покладистым. Да и как же иначе; в городе, даже таком, как Енисейск, жить удобнее, сытнее, приятнее, чем в таёжной деревушке. Сравнив сладкое с горьким, человек должен избрать сладкое. А избравши, припасть к ногам начальства с покаянием. Такова нормальная реакция, на которую во все времена рассчитывают власть имущие. В стандартных случаях эта лотерея для них беспроигрышна. Но только в стандартных. Для Войно трёхмесячный искус на Ангаре был только лишним доводом за то, что он прав. Тебя ненавидят, тебя боятся, от тебя пытаются избавиться — великолепно. Значит, твоё слово действительно наводит страх на одних и укрепляет веру в других. А ведь это то самое, о чём, по словам апостола Луки, высокого покровителя епископа Луки Ташкентского, говорил когда-то Христос: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас и будут поносить и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человече-

ского» (Лука, 6, стих. 22). Нет, епископ Лука вовсе не считал, что сладкое во всех случаях жизни лучше горького. Он не собирался отступать от самого себя. Он не собирался отступать в Енисейск.

В ближайшее же воскресенье на подмостках дома культуры Митька Щукин, лихо заломив кепку на рыжей кудлатой голове, пропел куплеты собственного изготовления:

На Успенье крест погнулся,
С Ангары Лука вернулся…

Дальше шёл текст мало пригодный для печати, но зато содержащий неприкрытые угрозы. В лице Митьки Щукина «общественность» предупредила ссыльного епископа. Он не внял. Более того, едва разложив своё немудрёное имущество в том же доме Забоевых на Ручейной, он в церкви Преображения Господня отслужил литургию. Да не как-нибудь, а архиерейским чином. Коренная енисейская жительница Наталья Евдокимовна Ермолина, в свои 67 всё ещё изящная, даже красивая сибирская казачка, хорошо помнит ту давнюю литургию. Она и её молодые тогда подруги пели на клиросе. Песнопения по нотам композитора Бортнянского хористки начали разучивать задолго до возвращения Луки с Ангары. Очень уж им хотелось показать владыке свой хор во всём блеске. И действительно, руководимое епископом богослужение своей строгостью и стройностью запомнилось енисейцам надолго.

А вскоре новое событие взволновало город: в конце июня 1924 года в той же Преображенской церкви епископ Лука посвятил в сан священника сорокалетнего псаломщика Николая Тюрнева. В эпоху, когда священников арестовывали только за то, что они священники, надеть рясу значило проявить недюжинное мужество. Между тем Тюрнев, человек боязливый, кроткий, отягощённый большой семьёй, борцом не был. Борцом был Лука. Страстными речами он так околдовал беднягу псаломщика, что тот на всё махнул рукой и согласился «пострадать за Христа». Обряд рукоположения превратился в мрачную, почти похоронную процессию. Прихожане настолько уверились в скором и неизбежном аресте Тюрнева, что в тот момент, когда на неофита надели чёрную рясу и чёрный широкий пояс, а епископ благословлял его, народ в церкви разразился рыданиями. Предчувствие беды не обмануло енисейцев. Очень скоро после того, как новый батюшка поселился в селе Ворогове, его арестовали и долго держали в тюрьме. Арестовывали его и потом, в течение всей жизни.

Говорят, о присылке священника Луку просили вороговские верующие. Их церковь после ареста предыдущего батюшки стояла пустой. Но мне кажется, что таинство рукоположения нужно было Войно-Ясенецкому само по себе. Таинство это ещё раз продемонстрировало его, епископа Луки, твёрдость духа и непримиримость, его веру в свои неотъемлемые епископские права, права преосвященного в крае, где из каждых десяти деятелей Русской Православной Церкви девять томились в тюрьме или ссылке.

…Передо мной старый снимок: на фоне жалких провинциальных фотодекораций семь человек — священники и светские люди. На переднем плане, возвышаясь на полголовы над своими соседями, сидит епископ Лука, в рясе, в чёрном клобуке, с панагией на цепи. Снимок сделан в начале 1924 года. Летом 1970-го его подарила мне енисейская жительница Варвара Александровна Зырянова. Передавая мне портрет, она призналась, что долго хранила и другие снимки Луки, а также портреты патриарха Тихона, но страх перед обыском и арестом заставил её сжечь все фотографии. Только это изображение ссыльных священников и нескольких наиболее преданных церкви прихожан-енисейцев ей было жаль уничтожать, и она спрятала их под пол.

На фотографии епископ худ, сосредоточен, серьёзен. Даже перед объективом руки его продолжают перебирать крупные чётки. В позе, во взгляде — отрешённость от мирских дел. Но мы знаем — дела эти существовали. В Ташкенте осталось четверо маленьких детей Войно-Ясенецкого, на Украине, в Черкассах, доживали век его родители, далеко на западе — в Москве, в Петрограде, в Киеве — коллеги-врачи развивали любимую его науку — хирургию. Думал ли он обо всём этом? Монашество требует, чтобы как можно меньше нитей связывало чернеца с внешней светской жизнью. Но человеческое, светское врывалось в жизнь Луки со всех сторон. Епископ-монах обращается с поздравлением к академику И.П. Павлову, интересуется двухсотлетним юбилеем Российской Академии наук, посылает письма детям, родным, и не только родным. Не таится ли за этим некая излишняя светскость, измена схиме? Читаю письма епископа Луки начала 20-х годов и ещё раз убеждаюсь: нет, в общении с внешним миром он всё тот же, что и в общении с людьми веры. Какие бы внецерковные дела ни отвлекали Войно-Ясенецкого, суть его контактов с людьми сводится к проповеди, к размышлению о благодетельности веры, к призыву любить и трудиться, потому что нет другого пути приближения к Божеству.

Письма Луки из сибирской ссылки принадлежат перу глубоко верующего человека, для которого нет иного взгляда на мир, кроме взгляда религиозного. Однако в этих строках, написанных полвека назад, интересно и другое: в них не удаётся обнаружить ни грана горечи или обиды, столь естественных для несправедливо обиженного, незаконно осуждённого! Зато явственна в них уверенность человека, который слишком хорошо знает себе цену, чтобы раздражаться по поводу мелких пакостей провинциальной милиции. Если Войно-Ясенецкому и приходится иногда писать о перенесённых в ссылке тяготах, то лишь для того, чтобы объяснить, отчего он не имел возможности вовремя снестись со своим адресатом. В этом смысле интересна переписка Луки с академиком Иваном Петровичем Павловым. Поздравительное письмо знаменитому физиологу Лука отправил из Туруханска год спустя после описываемых событий. Вот оно полностью:

«Возлюбленный во Христе брат мой и глубокоуважаемый коллега Иван Петрович! Изгнанный за Христа на край света (три месяца прожил я на 400 вёрст севернее Туруханска), почти совсем оторванный от мира, я только что узнал о прошедшем чествовании вас по поводу 75-летия вашей славной жизни

и о предстоящем торжестве 200-летия Академии наук. Прошу вас принять и моё запоздалое приветствие. Славлю Бога, давшего вам столь великую силу ума и благословившего труды ваши. Низко кланяюсь вам за великий труд Ваш. И, кроме глубокого уважения моего, примите любовь мою и благословение моё за благочестие ваше, о котором до меня дошёл слух от знающих вас. Сожалею, что не может поспеть к академическому торжеству приветствие моё. Благодать и милость Господа нашего Иисуса Христа да будет с Вами.

Смиренный Лука, епископ Ташкентский и Туркестанский (б. профессор топографической анатомии и оперативной хирургии Ясенецкий-Войно). Туруханск. 28.8.1925».

От непослушного епископа надо было избавиться раз и навсегда. Оставить его в Енисейске? Ни в коем случае! В Туруханск его, в Курейку, на Диксон! Для начала решили — в Туруханск. Ждали только транспорта. В конце июня 1924 года из Красноярска пришёл караван. Маломощный пароходик тащил на буксире несколько старых барж. Баржи были набиты ссыльными, в основном эсерами. Меньше чем через семь лет после революции правительство большевиков ссылало в Туруханский край своих недавних политических сообщников. В трюм одной из этих грязных посудин втиснули и Луку. Ехал он один: монахиням сопровождать его запретили.

«Путь по широкому Енисею, текущему в безграничной тайге, был скучен и однообразен», — писал впоследствии Войно-Ясенецкий. Действительно, после Енисейска, если плыть вниз, на Север, берега реки становятся низкими, болотистыми, унылыми. Пристаней мало. Для пассажиров одно развлечение — кормить чаек, которые целыми днями кружат над судном в ожидании подачки. За полвека, прошедших со времени ссылки Луки, тут мало что изменилось. Может быть, только больше стало брошенных деревень. Уходит отсюда народ. Уезжают не только ссыльные, но и коренные, местные. Безлюдеет Енисей. Костяки разрушающихся изб то и дело возникают на прибрежной опушке. Если ушли не все, число чёрных смолёных лодок у берега показывает, сколько ещё осталось семей. Лодок совсем мало. А было время: кипели здешние берега жизнью особого рода. В 30-х, 50-х годах нашего века, почти как при Аустерлице, перебывала тут «вся Европа»: везли тогда вниз по реке пленных офицеров, генералов и чиновников Польши, Румынии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Литвы. Потом пошли немцы, венгры, чехи. Говорят, даже американцев здесь видели. А уже русских, украинцев, кавказцев — этих проволочено тут и похоронено по берегам Енисея бессчётно. В 20-х годах всё только начиналось. Коренные местные жители, однако, уже и тогда заметили: ссыльный пошёл не тот. Вместо убеждённых врагов власти, людей, как правило, интеллигентных, серьёзных, которые в ссылку попадали по приговору царского суда, в советское время на Енисей нагнали каких-то серых, случайных людишек, которых местные с издёвкой именовали не иначе, как «политические ссыльные за кражу хомутов». Жила эта публика в Туруханске, Енисейске и иных местах разобщённо, недружно, часто впроголодь. Коренные енисейцы относились к незваным гостям холодно, если не сказать враждебно.

Караван тянулся по реке медленно, полторы тысячи вёрст вниз по течению шли без малого две недели. Баржи качало, по ночам в надстройках свистел ветер, визжало какое-то ржавое железо. Солнца ссыльные почти не видели: лето выдалось сырое, холодное, с дождями. Унылая погода, безрадостная водная пустыня широко разлившегося в низовьях Енисея наводили на мрачные думы. Люди ехали на Север с тяжёлым сердцем, впереди предстояли годы лишений. Многих точила мысль: удастся ли вообще выбраться отсюда подобру-поздорову? Только Лука сохранял философское спокойствие. Ночью спал на своём жидком тюфячке, подкладывая под голову присланную дочерью подушечку-думку, днём читал Ветхий и Новый Завет, серьёзно и сочувственно беседовал с эсерами, из которых кое-кто уже начал понимать тщету своих политических иллюзий. Что делало Луку столь уверенным среди всеобщей неуверенности? Конечно, в крае, где в то время не было ни одного дипломированного врача, для профессора-хирурга нашлись бы работа, кров и пища. Но такой голый расчёт вряд ли приходил в голову Войно-Ясенецкому. Зная его характер, естественно предположить, что, едучи в ссылку, Лука просто не думал о том, где он станет жить и что он будет есть. Больше, чем хлеб насущный, интересовало его, например, — каких взглядов — не живоцерковных ли? — держится туруханский священник и сможет ли в связи с этим он, епископ Лука, посещать туруханский храм и произносить там свои проповеди. По-детски безразличное отношение к быту, к тому, что большинство людей считает для себя насущно необходимым, пронёс епископ Лука через всю жизнь. В разговорах охотно вспоминал он о Божьей птичке, которая не жнёт, не сеет, и сам жил, не слишком отличаясь от той птички. В первой ссылке на Енисей принципы эти особенно ему пригодились.

Край, куда ехал епископ Лука, представлял собой в 20-х годах гигантскую территорию, протянувшуюся вдоль Енисея на несколько тысяч километров. На севере эта географическая громада завершалась берегом Ледовитого океана, на юге весьма нечёткие её пределы терялись где-то в приангарской тайге. Столица края — город Туруханск, а точнее Ново-Туруханск (в прошлом село Монастырское), насчитывала две-три сотни одноэтажных деревянных домишек, рассыпанных по высокому косогору при впадении в Енисей реки Нижней Тунгуски. Школа и тюрьма, исполком и магазин, почтовое отделение, больница и фактория Сибпушнины — вот и все присутственные места города. Был тут ещё в прошлом Троицкий туруханский монастырь, основанный двести пятьдесят лет назад, но в советское время его упразднили, а монахов выгнали. Остались лишь Троицкая церковь с зимней и летней половиной. «Канализации и водопровода в городе нет», — сообщает 66-й том энциклопедии словаря Брокгауза и Ефрона. Но рыбаки и охотники, основные жители Туруханска, обходились также без тротуаров, электричества, хлебопекарни, аптеки. В столице края, протянувшегося на несколько тысяч километров, не было также портняжной и обувной мастерских, библиотеки. Газеты приходили с опозданием на месяц, а кинофильмы не приходили вовсе. Енисей и его притоки — единственные дороги, по которым шло снабжение края, восемь месяцев лежат подо льдом. А зи-

мой единственным реальным видом транспорта оставались запряжённые собаками нарты. Зимой случались тут морозы до сорока и более градусов. По ночам под самыми окнами у туруханцев бегали волки. Так выглядело место, где отныне предстояло пребывать ссыльному профессору-епископу. Бывалых людей, эсеров, от одного вида Туруханска оторопь взяла, а Лука… Вот что сам он писал о Туруханске:

«В Туруханске, когда я выходил из баржи, толпа народа вся опустилась на колени, прося благословения. Меня сразу же поместили в квартире врача больницы и предложили вести врачебную работу. Незадолго до этого врач больницы распознал у себя рак нижней губы и уехал в Красноярск… В больнице оставался фельдшер, и вместе со мной приехала из Красноярска молодая девушка, только что окончившая фельдшерскую школу и очень волновавшаяся от перспективы работать с профессором. С этими двумя помощниками я делал такие большие операции, как резекции верхней челюсти, большие чревосечения, гинекологические операции и немало глазных».

Вот и всё. И ни слова о морозах, нищете, о неустроенности быта… Туруханск, каким он представился мне летом 1970 года, внешне во всяком случае, не слишком отличался от того города, который увидал на полвека раньше профессор Войно-Ясенецкий. Теперь тут, правда, есть электрическое освещение, а в учреждениях, число которых учетверилось, имеются даже телефоны: построен дом культуры, а рядом с посёлком возник аэродром с постоянной авиалинией. Но по грязным немощёным улицам, которые перейти можно, лишь перескакивая с мостика на мостик, кляча по-прежнему волочила железную бочку на колёсах: тот, кто хочет приобрести бочку воды, платит водовозу рубль. Так же, как и в далёком прошлом, благоухают во дворах уборные-скворечни, а бесчисленные, неправдоподобно громадные кучи мусора и отбросов на городских перекрёстках превращают Туруханск в город-помойку, город-свалку.

Общий вид районной столицы, если обозревать её с вершины туруханского холма, тоже не радует. Правда, тюрьма, райком, милиция и школа выглядят неплохо, но большинство частных домов уже десятилетиями не знают ремонта: крыши просели, бревенчатые стены вросли в землю. Снаружи туруханцы свои дома не красят, и нагромождение грязных, серых, покосившихся изб с подслеповатыми окошечками без наличников оставляет у приезжего чувство глубокого уныния. С того же холма открывается великолепный вид на тайгу, на просторы Енисея, на впадающую в него среди густой еловой хвои и жёлтых плёсов полноводную Нижнюю Тунгуску. Но едва оглянешься — и в глаза бросается нахально сверкающая новым цинком крыша кооперативного склада: туруханцы соорудили его в здании XVII века Троицкой церкви, сковырнув предварительно колокола и разрушив звонницу.

Ни в райисполкоме, ни в райкоме партии о профессоре-епископе никто ничего не слыхал. Там у людей своих проблем выше головы: лесоповал, рыбосдача, нацкадры. Ничего не знали о Луке и в районной больнице (с полдюжины бараков, разбросанных по несуразно большому, без единого дерева двору). Главный врач послал за старухой санитаркой, местной уроженкой. Я ожидал её прихода

с внутренней дрожью: неужели совсем забыт, неужели его тут никто не помнит? Но вот пришла пожилая женщина в белом платочке, взяла в свои корявые с опухшими суставами руки (40 лет возни с половыми тряпками зря не проходят) фотографию, отнесла её подальше от глаз и тихонько охнула: «Это что ж, профессор Лука! Ах ты же мой миленький… Отец священный… Как же его не знать? Да его у нас весь народ знает». Она стала моим гидом, моим проводником, Вергилием моим, эта старая больничная санитарка. Мы обошли с ней полгорода, навестили самые невзрачные, самые разваленные домишки Туруханска, и я смог убедиться: народ действительно знает и помнит профессора Войно-Ясенецкого.

…Девяностолетняя Пелагея Потаповна тяжело больна. Уже несколько лет не покидает она стен своего дома. В избе, кроме стола, завалённого грязной посудой, деревянных лавок и постели, ничего нет. Впрочем, было бы преувеличением назвать постелью ту кучу тряпья, на которой проводит большую часть жизни слепая старая женщина. Страдания изглодали не только тело, но и душу Пелагеи. Кажется, она боится, что я представлю ей какой-то счёт за события полувековой давности. Поэтому разговаривает нехотя, отвечает резко. Да, жил у неё профессор Лука, ну и что из того? Он и жил-то в избе всего неделю. Вещей у него не было никаких. Одежда только та, что на нём, да тюфяк, да маленькая подушечка. Видела она у него ещё две книги толстые. И больше ничего. Ел мало: «Сварю ему рисовой каши или ещё чего-нибудь — и сыт». «Осталось ли в хате что-нибудь из вещей, которыми пользовался Лука?» — «Вот только иконы. Перед ними и молился». Иконостас невелик, убог, пылен. Лампада пуста. Мне очень хочется в память о Войно иметь хотя бы самую скромную из этих икон. Хозяйка машет иссохшей рукой: «Берите хоть всё, я в могилу не унесу». Со стеснённым сердцем, почему-то страшно стыдясь, заворачиваю в газету образ Спаса в медном дешёвом окладе.

Потаповых в Туруханске — полгорода. Все коренные, здешние. Рыбачат и охотятся тут, может быть, с самого того 1660 года, когда основан монастырь. Александра Демидовича и Александру Михайловну Потаповых застаю в чистой горенке со множеством половиков и половичков. Они и сами такие же, как и горенка, аккуратисты. Садимся за выскобленный до медового цвета стол. Разговор идёт дружелюбный, сердечный. Хозяин готовится в нерадостный отъезд: в последние месяцы мучает его желудок — опухоль какая-то. Улетает он самолётом в Норильск, на операцию. При слове «операция» сидящая в сторонке Александра Михайловна отворачивается и мелко-мелко, чтобы не заметил муж, крестится.

Будущее семьи Потаповых туманно, поэтому с особенной охотой обращаются старики к временам прошедшим, которые теперь кажутся им светлыми, полными радости. Зимой 1924/25 года Потапову несколько раз приходилось возить Луку на своей лошади в церковь. Мужики решили возить епископа по очереди. От больницы до церкви и полверсты не будет, сани больше для почёта. В одной из таких поездок Александр признался профессору в своей беде: задумал он жениться, но расстраивает его чёрное, поросшее волосками пятно

на нижней губе. Оно у него с рождения и всё время растёт. Лука сказал, что пятно можно удалить, пригласил в больницу. Операцию сделал очень ловко: пятно срезал, а на его место приладил лоскуток кожи, взятый из-под подбородка. Рубчик получился совсем незаметный. Пятого мая 1924 года состоялась свадьба, одна из тех сибирских свадеб, когда невеста до самой церкви в глаза не видит своего суженого. («Сосватали нас, я плакала, — вставляет слово Александра Михайловна, — не хочу замуж, а батюшка мой, нет, говорит, не по-твоему будет, а по-моему».) За свадебным столом — вот за этим самым жених оказался после операции с подвязанной щекой. А под иконами как наиболее уважаемый гость сидел профессор Лука. Речей он не произносил, пил и ел умеренно. Раскрасневшись от давних волнующих воспоминаний, Александра Михайловна пытается изобразить свадьбу в лицах. «Вот в точности так, как на портрете, сидел у нас. На груди крест. Гордо так сидел, умно, симпатично…» И муж, расчувствовавшись, поддакивает жене: «Очень душевный был… Сколько операций сделал, сколько людей спас!»

Об этих операциях и исцелениях слышал я потом в каждой следующей избе. Бывший начальник туруханской пристани Михаил Николаевич Черненко, человек грамотный, деловитый, не расстающийся, несмотря на отставку, с синим форменным френчем, напирал особенно на те операции, которые Лука делал болевшим трахомой тунгусам. Тунгусы ехали к нему издалека и как-то очень уважительно звали профессора на родном языке. Да и русских мужиков со старческими катарактами Лука тоже не бросал в беде. Между прочим, вернул зрение одному старику из дальнего стана, который перед тем пятнадцать лет был «тёмен».

Ещё один дом: Потапов Иван, 65 лет, тоже возил когда-то Луку в церковь. Вспоминает разговор, который профессор вёл с каким-то попутчиком. Лука беспокоился о больном, у которого он утром удалил большой отрезок кишки. Операция получилась сложная, таких сложных, по словам Луки, делать ему до сих пор не приходилось. От себя Иван Потапов добавляет, что больного того он знал, мужик этот после операции уехал к себе в деревню в полном здравии. Другой раз Иван зашёл в больницу и на столе у Луки увидел стеклянную банку с «человеческим мясом». Профессор объяснил: в банке опухоль, которая разрослась и погубила бы человека, если бы врач не удалил её вовремя.

Какие же именно операции делал Войно-Ясенецкий в Туруханске? От своего гида — больничной санитарки — узнал я, что оборудование в больнице в 20-х годах было самое примитивное: инструменты, например, перед операцией кипятили в самоваре. В Москве, вернувшись с Енисея, получил я письмо от хирурга Фаддея Ильича Накладова: в 1925 году в качестве студента-практиканта Накладов несколько месяцев работал в Туруханске под руководством профессора Войно-Ясенецкого. На его глазах знаменитый хирург несколько раз оперировал больных с язвой желудка, а также совершал уникальные онкологические операции. Одажды убрал у крестьянина опухоль правой глазницы и гайморовой полости. Для этого пришлось удалить больному всю правую половину верхней челюсти. «Он говорил мне, — пишет Накладов, —

что намерен разработать технику операций на сердце. Разговор этот был у нас в тот период, когда не только в практике, но и в литературе такие вопросы ещё не возникали». И ещё: «Его техникой как хирурга я искренне восхищался. Он это заметил и в одно прекрасное время сказал мне: „Хирургом нужно родиться. Хирург должен иметь три качества: глаз орла, сердце льва и руки женщины“».

«Да, Лука, этот человек не от мира сего, исключительно замечательный хирург. Ни одна его операция не была неудачной», — как бы подтверждая слова Накладова, пишет 75-летняя жительница Иркутска А.М. Крылова, бывшая в юности на приёмах у Войно-Ясенецкого в туруханской больнице. Крылова перечисляет несколько редких операций, с помощью которых профессор Лука спасал своих пациентов. Среди них помнится ей излечение семилетнего мальчика, у которого выстрелом из ружья было разможжено лицо; девочка «с ожогом последней степени всего тела» — хирург спас её, пересадив кожу, взятую от матери. И много других.

Но основная масса больных, посещавших туруханскую больницу, нуждалась не в операциях. Люди на Севере страдали от цинги, от паразитических червей. Женщины приносили больных детей и сами просили помощи от женских недугов. Земский врач Войно-Ясенецкий, не чинясь, лечил и женские, и детские, и внутренние, и глазные болезни. И, как в давние времена, на приём к нему набивались толпы народа. Туруханцы готовы были ожидать часами, только бы попасть к самому.

У многих остался в памяти ритуал, которым сопровождалась встреча больного с профессором-епископом. «Приходишь к Луке со сложенными руками ладонями кверху. Он на твои ладони свою левую кладёт, а правой тебя ограждает (благословляет. — *М. П.*). Потом протягивает тебе свою руку для целования. Кто таким манером к нему обращался, того принимал он без очереди».

Особый церемониал существовал для операционной, где по старой, ташкентской ещё, традиции на тумбочке стояла икона, а возле нее — зажжённая лампада. После подготовки операционного поля Войно-Ясенецкий, по словам Ф.И. Накладова, ставил на теле больного йодом крест. У молодых фельдшеров и сестёр такие приготовления вызывали, естественно, улыбки, особенно в тех случаях, когда на операционном столе лежала гинекологическая больная, но сам профессор сохранял невозмутимость.

Супруги Чистяковы, Дмитрий Николаевич и Мария Андреевна, летом 1925 года принесли в больницу годовалого своего Илью. Мальчик чуть не с первого дня жизни бился в падучей. Профессор сказал, что припадки будут продолжаться и далее. Они либо сами собой пройдут к трём годам, или к восьми годам мальчик умрёт. Посоветовал: «Не отливайте его, пусть сам падает, сам лежит себе». Горько было отцу и матери смотреть, как бьётся их дитя об землю, как катается по полу с пеной на губах, но они точно следовали совету профессора: давали Илюше самому успокоиться и уснуть после припадка. К трём годам, как и говорил Лука, болезнь прошла без следа, Илья вырос здоровым парнем, взят был в армию и уехал на фронт. Там и пропал без вести в 1943-м.

У самого енисейского обрыва навещаем ещё одну полуразвалившуюся хату. Полы вздыбились, стены накренились, как на корабле в качку, и, как на корабле, с треском, сами собой захлопываются щелявые двери. Здесь живёт герой Первой мировой и участник Гражданской войны Вукол Петрович Вавилов, 1890 года рождения. Вукол, маленький, босой, в цветной рубахе под жилетом, с двухнедельной седой щетиной на туповатом личике, подводит нас к покосившейся стене. На гвозде болтается солдатский Георгий. Рядом какие-то выгоревшие фотографии в рамочках. Вукол гордо тычет пальцем в рамку. Не без труда удаётся рассмотреть на выгоревшей фотографии его самого. Одеревеневший перед аппаратом, он стоит с неестественно выпяченной грудью. На груди — все тот же Георгий. После всех войн поселился Вавилов в деревне Мироедихе, вёрстах в тридцати от Туруханска, и оттуда частенько наезжал в здешнюю столицу. «Зачем ездил?» — «Как зачем? Всё-таки тут церква и магазин». Но значительно милее воинственному Вуколу другое воспоминание: «Если идёт Лука по улице в своей рясе, идёт навстречу партейный. Лука нипочём не уступит ему дорогу. Идёт, пока партейный не отскочит. Не уступал партейному никогда». На улицах Туруханска, с их топкой осенней и весенней грязью, такое зрелище представить себе нетрудно. Но случалось ли такое в действительности — бог весть.

Мои собеседники доброжелательны. Они всячески стараются помочь розыскам, напрягают память, куда-то бегают, чтобы выяснить подробности. В отличие от работников райкома и райисполкома их нисколько не удивляет, что о профессоре-епископе пишут книгу. А почему бы и нет? Книги пишут о хороших людях. О плохих не стали бы. Лука, несомненно, хороший: бессребреник, даром что профессор, — к самому бедному рыбаку не брезговал зайти в хату, посидеть на именинах, на свадьбе, на поминках. Проповеди его церковные тоже многим памятны. Говорил просто, но слова были весомые. Пустого не говаривал. Проповедовал дружбу между людьми, уважение друг к другу, предостерегал от спиртного, объяснял, как сберечь своё здоровье. В ту пору от туруханцев часто можно было услышать по любому поводу: «Лука так сказал». И конец. Лука — высший авторитет. Слушать его любили. Правда, не всё и не всегда было понятно в его проповедях. Призывает, к примеру, Лука молиться от всего сердца, отдавать себя молитве полностью и рассказывает при этом, что одна женщина молилась, стоя на коленях, так усердно, что однажды отделилась от пола и на какое-то время повисла в воздухе. «Я в это верю и вас призываю верить», — говорил епископ Лука. А в другой раз ещё того удивительнее выразился: «Я верю в Бога, но тружусь вопреки ему: он людей наказывает болезнями, а я исцеляю». Может быть, и не совсем ту самую мысль высказал в проповеди епископ Лука, но именно эти слова сохранились в народной памяти.

О своей церковной жизни на новом месте Войно-Ясенецкий записал: «В Туруханске был закрытый мужской монастырь, в котором, однако, стариком священником совершались все богослужения. Он подчинялся красноярскому живоцерковному архиерею; мне надо было обратить его и всю туруханскую паству на путь верности древнему православию. Я легко достиг этого проповедью о грехе великом церковного раскола: священник принёс покаяние

перед народом, и я мог бывать на церковных службах и почти всегда проповедовал в них».

Эти строки заставили меня предпринять поиски старика священника. Отец Мартин Римша оказался личностью примечательной. Учитель по профессии, искренно верующий человек, интеллигент. Римша приехал сюда незадолго до Первой мировой войны. До этого почти сорок лет учил он детей в деревнях родной Белоруссии. Изменить учительству заставила его болезнь сердца. Римша окончил в Москве Восторговские пастырские курсы для Сибири и с большой семьёй прочно обосновался на Енисее. Сердцем этот неофит был мягок, но в делах веры твёрд и неуступчив. Туруханские крестьяне священника уважали. Нередко захаживали к нему побеседовать сосланные в Туруханск большевики. Яков Свердлов, живший от Римши через дом, был тут своим человеком, хотя религиозные и политические дискуссии то и дело накаляли отношения добрых соседей. Приезд в Туруханск епископа Луки порадовал отца Мартина: в непокорном архиерее почудилась ему родственная душа. Отречение от «живоцерковников» не потребовало от него надрыва. Он всё понял, едва услыхал от Войно-Ясенецкого, на какой политической закваске замешана «живая церковь». И тем не менее встреча с Лукой принесла Римше серьёзное горе: на многие годы пришлось ему прервать отношения с любимой дочерью.

Дочь Веру мечтал Мартин видеть дьякониссой. Для этого отдал девочку сначала в епархиальное училище, потом в Енисейский монастырь. У Веры оказались хорошие способности, ей легко давались и Священная история, и катехизис, и учение о католицизме, лютеранстве, кальвинизме. А уж Библию-то проштудировала она всю от корки до корки, и не один раз. Но, как это часто бывало в начале революции, надоевшая монастырская зубрёжка вызвала у дочери отвращение к религии вообще. Вера стала активисткой, уехала от родителей в Красноярск, вышла замуж, превратилась в ярую комсомолку-безбожницу. Начался семейный разлад. Отца Вера любила: был он с многочисленными своими детьми справедлив, даже нежен, но политические страсти год от года всё более разводили отца и дочь. Окончательный разрыв произошёл после приезда Луки.

Через много лет учительница-пенсионерка Вера Мартиновна Савинская (Римша), живущая на Ангаре в посёлке Таёжном, в нескольких больших письмах ко мне рассказала историю своей жизни. Нет, лично она не встречалась с епископом Лукой, не пожелала встретиться, хотя в Красноярске в 1926 году, возвращаясь из ссылки, он прислал ей приглашение зайти к нему. Что делать, не поняла тогда девчонка, что за человек прошёл рядом с ней. В старости кляла себя за это. Но, хоть и не повидались они, Вера Мартиновна не забывала профессора-епископа, сыгравшего в чём-то роковую, а в чём-то и благодетельную роль в судьбе её семьи.

Весной 1924 года умерла мать Веры. «Летом я поехала на могилу к ней в Туруханск. Проведать надо было отца и четырёх подростков-братьев. Привезла я с собой несколько номеров журнала «Безбожник», в котором печаталась тогда «Библия для неверующих» Емельяна Ярославского, привезла для сличения

с настоящей Библией, имеющейся у отца. Он посмотрел и изрёк: «Это какая-то сатанинская философия!» — и отложил журналы в сторону. В Туруханске жил в те годы ещё один священник, А. Корсак, окончивший в своё время духовную семинарию. Когда я ему посоветовала почитать эти журналы, он охотно взял их домой. Потом пытался вызвать моего отца на беседу по поводу прочитанного, старался доказать ему, что Ем. Ярославский во многом всё-таки прав… На это отец мой с горькой усмешкой произнёс: «И это говорит человек, носящий сан иерея? Пойти на поводу у этого социалистического младенца (кивнул в мою сторону)? Мне стыдно за вас!» А осенью в газете «Красноярский рабочий» прочитала я про отречение священника Корсака перед народом от церкви. Я была очень тогда рада, что мои пропагандистские усилия дали свои плоды, пусть их никто не знает и не учитывает.

Но вот появился в Туруханске Лука. Одним из первых его вопросов к моему отцу был вопрос: «Кому подчиняешься, батюшка, обновленцам или тихоновцам?» «Те и другие мне пишут, и отвечать приходится тем и другим», — был ответ отца. «Правильная вера у патриарха Тихона, а обновленцы — подлипалы советской власти», — определил епископ.

Учительнице-атеистке Савинской было неприятно, что отец её оказался под влиянием ссыльного тихоновца. Но ещё более обидно стало ей, когда Лука, по её словам, «сам того не зная, свёл на нет всю мою антирелигиозную пропаганду».

«До его приезда, — пишет Савинская, — совсем мало людей посещало церковь, а с его приездом приток прихожан в церковь значительно усилился. Туруханцы мне говорили, что в двунадесятые праздники верующие выстилали дорогу ему от больницы до церкви красным сукном, коврами и половиками… А мне отец перестал даже отвечать на письма…»

Зачем я так много пишу о случайных людях? Зачем копаюсь в судьбах никому не ведомых и никому вроде бы не интересных туруханских обывателей? Ведь о прославленном профессоре-епископе можно писать, и не упоминая имён свидетелей. К чему они тут: давно умерший священник, отставной начальник пристани, слепая старуха?..

Когда археологи раскопали Помпею, то в завалах вулканического пепла и грязи уже не нашли они тел несчастных горожан. Не сохранились и деревянные, тонкой резьбы колонны домов, мебель, деревянные поделки. Но там, где две тысячи лет назад рушились постройки и падали убитые, задохнувшиеся в дыму горожане, в недрах почвы остались пустоты. Форма пережила сущность людей и вещей. Кто-то предложил нагнетать в подземные пустоты жидкий гипс. Гипс пробирался в чёрные норы, застывал там. В результате на свет появились отливки — точные и страшные свидетели заживо похороненного города. Кто подлинный хранитель исторической правды о жертвах Помпеи? Учёный, предложивший пользоваться гипсом, дал только приём, метод. Он только выявил истину, а хранила её двадцать веков земля, та самая «памятью насыщенная земля», которую воспел Максимилиан Волошин. Мне хочется, чтобы аналогия с помпейскими гипсами в какой-то степени объяснила читателю то чувство

глубокой благодарности, которое вызывают у меня современники и свидетели жизни Войно-Ясенецкого, каждый, пусть самый скромный хранитель истины.

Если даже отбросить в сторону личные пристрастия, то и тогда остаются у меня особые причины посвящать многие страницы биографии Войно-Ясенецкого людям, исторически «незнатным». Так ли хорошо нам известно, кто в действительности является лицом историческим, а кто таковым не является? Разве не исчезали на наших глазах в провале насильственного забвения десятки и сотни тысяч чтимых недавно писателей, учёных, политических деятелей? Неожиданно потеряв свою историческую ценность, вчерашние кумиры пропадали со страниц учебников и энциклопедий. Родилось несколько поколений, не знавших писателя Замятина, поэтессы Цветаевой, академика Николая Вавилова, философов Вл. Соловьёва, Н. Бердяева. И одновременно ради постоянно меняющихся государственных надобностей кто-то извлекал из тьмы кромешной то шахтёрского поэта Ивана Махиню с его виршами, то милого мальчика Павлика Морозова, то профессора О. Лепешинскую, гарантирующую вечную юность тому, кто пользуется её содовыми ваннами.

Трудное это дело — определять историческую ценность личности. То и дело видим мы, как совсем зряшный вроде бы в одну эпоху человек начинает вдруг сиять ослепительным светом в другую. И не только сам сияет, но и других современников высвечивает. Воеводу енисейского Афанасия Пашкова разве что очень уж учёные историки в пыли архивной приметили бы. Да и то вряд ли. А прославил воеводу его современник протопоп Аввакум, ничтожнейший из подчинённых Пашкова, тот Аввакум, которого воеводе и пинать-то в конце концов надоело. Ныне неразлучны они в нашей памяти — мучитель и жертва, жестокий сибирский воевода, мастер кнута, и Аввакум — блестящий писатель, мыслитель, а главное — человек, в самых страшных страданиях не утерявший людского образа. Не растащить их и ныне вовек. Так же и профессора Войно-Ясенецкого, епископа Луку, не разлучить в исторической судьбе с красным партизаном, героем Гражданской войны, председателем Туруханского краевого совета Филиппом Яковлевичем Бабкиным.

Впервые услышал я о Бабкине от девяностолетнего Арсения Кузьмича Константинова. Агент Всероссийской экспортной организации Сибпушнина, Константинов несколько лет состоял в постоянных деловых отношениях с красноярскими, енисейскими и туруханскими властями. Бабкин был тогда абсолютным хозяином Туруханского края. «Я затруднялся бы назвать его симпатичным или способным, — признаётся Константинов. — Мне он показался даже менее развитым, чем многие рыбаки и охотники, которых я встречал на Енисее. Почему-то особую антипатию испытывал Бабкин к „чистой публике“, к „интеллигентам“».

Особое чувство Филиппа Яковлевича к интеллигенции несколько проясняет история его жизни. В описываемое время ему ещё не исполнилось и 27 лет. Родился он в деревне Маклаково, неподалеку от Енисейска. Сначала работал в хозяйстве отца, потом стал подручным слесаря в пароходных мастерских. Дошёл до помощника машиниста на одном из енисейских судов. Возможно,

добрался бы и до должности машиниста, но началась Гражданская война, и учиться стало незачем. Начиная с 1918 года и до конца своей жизни в 1938-м Филипп Яковлевич только командовал. В качестве командира партизанского отряда он без разбора расстреливал енисейскую «чистую публику», которую независимо от пола, возраста и общественного положения определял одним словом — «контра». Потом белые разбили его отряд и заодно сожгли дом его родителей в Маклакове. После этого Филипп Яковлевич начал ещё более яростно жечь дома чужие и пускать в расход сомнительных и подозрительных. В 1919 году красные отряды окончательно заняли Енисейск, и едва достигший двадцатилетнего возраста помощник машиниста Бабкин стал первым председателем городского исполкома. В 1923-м его послали на повышение — возглавлять громаду Туруханского края.

На групповом снимке тех лет (бывшие партизаны в своём кругу) Бабкин в белой вышитой на сибирский манер косоворотке, высоких щегольских сапогах заметно выделяется среди друзей. У него твёрдый подбородок, жёсткий рот, глубоко посаженные фанатичные глаза природного вождя. Дальнейший жизненный путь его повторяет биографии большинства героев Гражданской войны: из своего захолустья Бабкин вызван был в начале 30-х годов в Москву на высокий пост в Главсевморпуть, а в 1938 году расстрелян как враг народа. В 1924 году Бабкин плюнул бы в глаза всякому, кто предсказал бы ему такую кончину. Он и его люди взяли власть, и отныне навеки ничто не могло помешать им творить свою волю. Там, в Москве, тоже были свои. А свои — это Филипп Яковлевич знал хорошо — никогда своему ничего плохого не сделают. Что же касается царских «спецов», то их следовало держать в твёрдых руках, использовать и по возможности перевоспитывать. На этот счёт были указания сверху. Поэтому, когда в Туруханск привезли Войно-Ясенецкого, председатель вызвал его к себе и без лишних церемоний заявил: «Вы, профессор, бросьте эту священную дурь и занимайтесь медициной, а мы будем хлопотать о вас, чтобы вы досрочно закончили свою ссылку и поехали, куда пожелаете». Хороший был разговор, вполне дружелюбный. Для епископа даже слишком дружелюбный. Но Войно-Ясенецкий почему-то обиделся.

«О председателе Туруханского краевого Совета меня предупреждали, что он большой враг и ненавистник религии», — пишет Лука. Это неверно. Хотя сам Бабкин считал себя свободным от всякой веры, ссылал священников, разрушал церкви, но этот атеист был по-своему очень религиозен: свято верил, например, газетам, приезжавшим из центра пропагандистам, любым официальным сведениям, идущим из Москвы и Красноярска. За «единый аз» своей веры он готов был пойти на любые муки, ввергнуть мир в любые страдания. Газеты писали в то время, что все священники — враги советской власти, что во время Гражданской войны они хранили в церквах оружие и стреляли с колоколен по красным войскам. Сам Филипп Яковлевич ничего такого за священниками не замечал, но раз в газете написано…

А ещё истово верил Бабкин в схему. Потому что схема давала ему ответ на все, решительно на все вопросы жизни. Следуя схеме, едва окончивший

четырёхклассное сельское училище красный партизан с полным правом мог чувствовать себя умнее и образованнее любого академика-профессора. Правда, и со схемой получались иногда неожиданные камуфлеты. Считалось по схеме, например, что если закрыть монастырь, запретить церковные праздники и развесить в клубе соответствующие плакаты, то массы тотчас поймут поповский обман и потеряют всякий интерес к церкви, к религии. Бабкин закрыл, запретил, развесил. Но почему-то мужики продолжали ходить в храм, крестить детей, отпевали покойников, напивались в церковные праздники. Антирелигиозные лекции, наоборот, посещали мужики туго, неохотно. Схема ошиблась? Нет, для Бабкина такой вывод был невозможен. Виноватыми могут быть только люди, отдельные личности, враги или тёмная масса, ещё не осознавшая всего величия схемы. Кто же в данном случае мешает победе атеизма, торжеству научного мировоззрения? В маленьком городке все на виду. С тех пор как приехал епископ Лука, церковная жизнь в Туруханске явно оживилась. Итак, всё ясно: в лице ссыльного епископа появился откровенный враг. Схема вещает: мракобесы активизировались, надо принимать решительные меры. Какие именно меры — Бабкину подсказывать не нужно. Про меры он всё знал.

«По требованию этого председателя, — пишет в «Мемуарах» Лука, — меня вызвал уполномоченный ГПУ и объявил, что мне строго запрещается благословлять больных в больнице, проповедовать в монастыре и ездить на покрытых ковром санях. Я ответил, что по архиерейскому долгу не могу отказать людям в благословении, и предложил ему самому повесить на больничных дверях объявление. Этого он, конечно, сделать не мог. О поездках в церковь я тоже предлагал ему запретить крестьянам подавать мне сани, устланные ковром. Этого он тоже не сделал. Однако недолго терпел он мою твёрдость и бесстрашие…

Здание ГПУ стояло очень близко к больнице. Меня вызвали туда, и у входной двери я увидел сани, запряжённые парой лошадей, и милиционера. Уполномоченный ГПУ встретил меня с большой злобой и объявил, что за неподчинение требованиям исполкома я должен немедленно уехать дальше от Туруханска и на сборы мне даётся полчаса времени. Я спокойно спросил, куда же именно меня высылают, и получил раздражённый ответ: „На Ледовитый океан“».

То, что затеяли хозяева Туруханска, иначе как преднамеренным убийством не назовёшь. В разгар зимы, которая в 1924—1925 годах выдалась особенно жестокой, отправить на открытых санях за полторы тысячи вёрст человека, не имеющего тёплой одежды, значило обречь его на неизбежную гибель. Коренной енисеец, Бабкин всё это, конечно, хорошо понимал. Епископу Луке предстояло сгинуть среди ледяной енисейской пустыни так же, как до него и после него сгинули там тысячи раздетых и разутых русских людей, чья вина в том только и состояла, что они не сумели предугадать всех крутых поворотов российской истории. Но Войно-Ясенецкий не погиб. Спасение своё объяснял он позже обстоятельствами мистическими. В пути по замёрзшему Енисею в сильные морозы, писал он, «я почти реально ощущал, что со мной — Сам Господь Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня».

Известны, однако, и вполне естественные силы, которые в трудный час пришли на помощь профессору-епископу. Едва Бабкин и его присные произнесли свой приговор, как вокруг обречённого образовался сонм доброжелателей, о существовании которых власти не могли даже догадаться. Первым и наиболее верным другом Луки оказался милиционер, которому было поручено сопровождать ссыльного. В то время как Лука укладывал в дорогу свой немудрёный скарб, этот страж успел незаметно шепнуть ему на ухо: «Пожалуйста, профессор, собирайтесь как можно скорее, нам нужно только выехать отсюда и доехать до ближайшей деревни, а дальше поедем спокойно». Первая деревня (станок) в пятнадцати верстах от Туруханска называлась Селиваниха. Там во время отдыха и смены лошадей Луку догнал ещё один доброжелатель. Еврей из Белоруссии эсер Розенфельд был принципиальным атеистом и материалистом. На этой почве у него с епископом не раз происходили горячие схватки. Но как только Розенфельд узнал о ссылке Войно-Ясенецкого, он принялся обходить дома своих столь же неверующих товарищей и собрал в конце концов целую охапку тёплых вещей и даже малую толику денег. Чуть не загнав крестьянскую лошадь, он привёз в Селиваниху совершенно необходимые в дороге оленьи чулки-бакари, унты из собачьих шнур, енотовую шубу, меховое пальто. Судя по «Мемуарам», Лука нисколько не удивился заботе товарища по ссылке. Несмотря на разногласия, дружеские отношения с эсерами сложились у него уже давно. Коренной туруханец М.Н. Черненко также подтверждает: политические с большим почтением относились к Луке, помогали ему кто чем мог.

Помнит Черненко и первую ночёвку епископа в Селиванихе, в доме его отца. Епископ держался с хозяевами доброжелательно, спокойно, как будто не ехал он в страшную далёкую ссылку, а просто зашёл к добрым знакомым на чашку чая. Милиционер же, наоборот, выглядел очень озабоченным. Он был давний знакомый родителей Черненко и откровенно признался им, что везти Луку ему не по душе. Выпивая и закусывая за столом, милиционер воздержался от лишней рюмки. Сказал: «Во хмелю я груб, а епископу-профессору грубить не хочется». Надо полагать, что на одетого в мундир вчерашнего крестьянина личность учёного епископа произвела действительно глубокое впечатление. Эти чувства подкреплялись в каждом новом станке. В Курейке произошёл эпизод, который побудил, наконец, милиционера открыться своему узнику. Лука так пишет об этом случае: «Ночуя в прибрежных станках, мы доехали до Северного полярного круга, за которым стояла деревушка, названия которой я не помню. В ней жил в ссылке И.В. Сталин. Когда мы вошли в избу, хозяин протянул мне руку. Я спросил: «Разве ты не православный? Не знаешь, что у архиерея просят благословения, а не руку подают?» Это, как позже оказалось, произвело большое впечатление на милиционера. Он говорил мне: «Я чувствую себя в положении Малюты Скуратова, везущего митрополита Филиппа в Отроч монастырь».

Чем дальше на Север, тем тяжелее становилась дорога. Один из станков сгорел, путники не могли остановиться в нём на ночь. Кое-как достали оленей, ослабевших от бескормицы, на них долго добирались до следующего станка. В тот день при жестоком морозе проехали не меньше 70 вёрст. Даже в своей меховой

одежде Лука закоченел так, что его пришлось на руках нести в избу. Туруханские власти не определили точного места, где следовало поселить изгнанного из столицы епископа. Принять окончательное решение было поручено милиционеру. Они проехали уже более четырёхсот километров на Север. До берега океана оставалось столько же. Но вот в енисейском станке Плахино, четвёртом по счёту за Игаркой, немного не доезжая до Дудинки, сопровождающий внёс багаж Луки в засыпанную снегом избу и объявил, что отныне место жительства ему определено здесь. Страницы «Мемуаров» дают выразительную, почти живописную картину приезда Войно-Ясенецкого в Плахино и быта «на краю света»:

«Это был совсем небольшой станок, состоящий из трёх изб и, как мне показалось, ещё двух больших груд навоза и соломы. Но и это были жилища двух небольших семей. Мы вошли в главную избу, и вскоре сюда же вошли вереницей очень немногочисленные жители Плахина. Все низко поклонились мне, и председатель станка сказал мне: „Ваше Преосвященство! Не извольте ни о чём беспокоиться: мы для вас всё устроим“. Он представил мне одного за другим мужиков и женщин, говоря при этом: „Не извольте ни о чём беспокоиться. Мы уже всё обсудили. Каждый мужик обязуется поставить вам полсансени дров в месяц. Эта женщина будет для вас готовить, а эта стирать. Не извольте ни о чём беспокоиться“. Мой конвоир — комсомолец очень внимательно наблюдал за сценой моего знакомства с жителями станка. Он должен был сейчас же ехать ночевать в торговую факторию, стоящую за несколько километров от Плахина. Было видно, что он взволнован предстоящим прощанием со мной. Но я вывел его из затруднения, благословив и поцеловав его…

Я остался один в совсем новом помещении. Это была довольно просторная половина избы с двумя окнами, в которых вместо двойных рам снаружи были приморожены плоские льдины. Щели в окнах не были ничем заклеены, а в наружном углу местами был виден сквозь большую щель дневной свет. На полу в углу лежала большая куча снега. Вторая такая же куча, никогда не таявшая, лежала внутри избы у порога входной двери. Для ночлега и дневного отдыха крестьяне соорудили широкие нары и покрыли их оленьими шкурами. Подушка была у меня с собой.

Вблизи нар стояла железная печурка, которую я на ночь наполнял дровами и зажигал, а лежа на нарах, накрывался своей енотовой шубой и меховым одеялом, которое подарили мне в Селиванихе. Ночью меня пугали вспышки пламени в железной печке, а утром, когда я вставал со своего ложа, меня охватывал мороз в избе, от которого толстым слоем льда покрывалась вода в ведре. В первый же день я принялся заклеивать щели в окнах клейстером и толстой обёрточной бумагой для покупок, сделанных в фактории, и ею же пытался закрыть щели в углу избы. Весь день и ночь я топил железную печурку. Когда я сидел тепло одетый за столиком, то выше пояса было тепло, а ниже его — холодно… Иногда по ночам меня будил точно сильный удар грома. Но это был не гром, трескался лёд поперёк всего широкого Енисея…

Однажды мне пришлось испытать крайне жестокий мороз, когда несколько дней подряд беспрерывно дул северный ветер, называемый жителями „сивер“.

Это тихий, но не перестающий ни днём, ни ночью леденящий ветер, который едва переносят лошади и коровы. Бедные животные день и ночь стоят, повернувшись задом к северу. На чердаке моей избы были развешены рыболовные сети с большими деревянными поплавками. Когда дул сивер, поплавки непрестанно стучали, напоминая мне музыку Грига „Пляска мертвецов“».

Всякого другого такая тоскливая, однообразная, в чём-то даже страшная жизнь заживо погребённого повергла бы в уныние. Но епископ Лука даже в этих критических обстоятельствах находил повод для интересных наблюдений, для юмора. Он с улыбкой пишет о птице, похожей на комок розового пуха, которую ему удалось увидеть вблизи жилья, о том, как баба, которая обещала стряпать для него, подралась со своим любовником и отказалась готовить пищу. Впервые в жизни профессор-епископ принялся варить себе обед сам. «Не помню уж, какой курьёз получился у меня при попытке изжарить рыбу, но хорошо помню, как я варил кисель, — пишет он. — Я сварил клюкву и стал приливать в неё жидкий крахмал. Сколько я ни лил его, мне всё казалось, что кисель жидок, я продолжал лить крахмал, пока кисель не превратился в твёрдую массу».

С той же светлой иронией, которая чаще всего обращена к самому себе, рассказывает Лука, как исполнял он в ссылке обязанности священника и проповедника. «У меня был с собой Новый Завет, с которым я не расставался и в ссылках своих. И в Плахине я продолжал крестьянам читать и объяснять им Евангелие. Они как будто с радостью откликнулись на это, но радость была недолгая, с каждым новым чтением слушателей становилось всё меньше, и скоро прекратились мои чтения и проповеди». Ещё более затруднительным оказалось в 250 километрах за Полярным кругом крестить младенца. Но высокое представление о своём епископском достоинстве и тут вывело ссыльного иерея из критической ситуации. Вот бесхитростное описание этих необычных крестин: «У меня не было ничего: ни облачения, ни требника, и за неимением последнего я сам сочинял молитвы, а из полотенец сделал подобие епитрахили. Убогое человеческое жильё было так низко, что я мог стоять только согнувшись. Купелью служила деревянная кадка, а во время совершения таинства мне мешал телёнок, вертевшийся около купели. Св. мирра у меня, конечно, тоже не было. Но я вспомнил, что я преемник апостолов, заменил миропомазание возложением рук на крещаемых с призыванием Св. Духа, как это делали апостолы в своё время».

Читаешь эти до наивности искренние строки и с изумлением думаешь: неужели это написано в нашем тщеславном, самолюбивом двадцатом веке? Не строки ли это из «Жития протопопа Аввакума»? Близость «Мемуаров» Луки Войно-Ясенецкого к православному памятнику русской духовной культуры семнадцатого века тем удивительнее, что епископ нового времени, строгий традиционалист в делах веры, ни за что не взял бы за образец литературный стиль еретика-раскольника. Сходство двух «Житий» обязано совсем иному: поразительной близости характеров обоих авторов. И Аввакум, и Лука полны добра и любви к «малым сим», оба охотно иронизируют сами над собой, только

себя укоряя в несовершенстве и недостатке веры. Оба не боятся уронить себя в глазах читателя. Для них нет грубых, неэстетических или стыдных тем, ибо, о чём ни писали эти мученики, за ними стоит подлинная житейская правда, боль страдающего, несправедливо попранного человека. Не смех, но сострадание вызывает рассказ Аввакума о волоке, где на скользкой ледяной дороге валятся друг на друга ослабевшие мужики и бабы. Или описание земляной ямы, в которой узники сидят, окружённые собственными испражнениями. То же чувство овладевает, мне кажется, читателем, когда в «Мемуарах» епископа Луки он найдёт следующие строки: «Мне, конечно, всегда приходилось и днём и ночью выходить из избы по естественным надобностям на снег и мороз. Это было крайне трудно и в обычное время, но, когда дул сивер, положение становилось отчаянным».

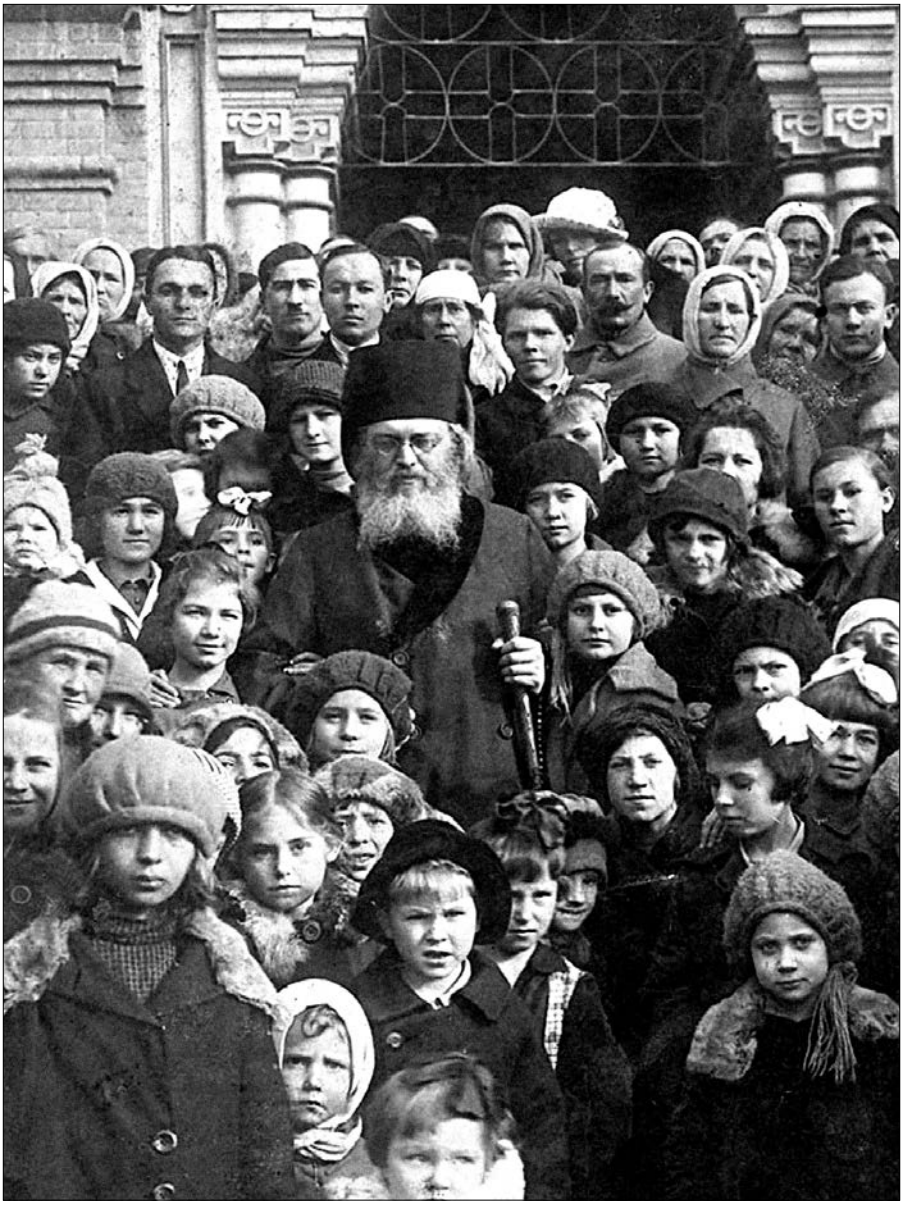
У Аввакума и Луки нахожу я ещё одну сближающую черту. В душах обоих удивительным образом уживались гордость и смирение. Голод, пытки, требования патриарха Никона и всего Собора — ничто не могло сломить огнепального протопопа. Он и самого царя готов был обвинить в ереси. Но тот же Аввакум, как с ребёнком, возился с буйным психическим больным, безропотно терпел любые личные обиды и страдания. Таков и Лука.

Сочетание гордости и смирения Бердяев считал естественным признаком противоречивости человеческой натуры. И только. Философ охотно признается: такое противоречие не чуждо ему самому. «Я бунтарь и человек смиренный», пишет он. Мне, однако, видится тут нечто иное. Епископ Лука не согласен отказаться от саней, крытых ковром, вовсе не потому, что с ковром ему ездить теплее и мягче. Ковер — символ епископских прав, прав, вручённых ему свыше. И он не останавливается ни перед чем, желая отстоять это высшее право. Не может он отказаться и благословлять верующих, ибо это опять-таки не его личное дело, а нечто высшее и неподвластное ни районным, ни областным, ни общегосударственным властям. Когда же обиду наносят лично ему, когда пьяные красноармейцы в Ташкентском госпитале избивают профессора Войно-Ясенецкого, когда бедствует он на Ангаре, замерзает среди льдов на Енисее, — тут для него виновных нет. Он смирен, как и подобает истинному христианину. В этом нет противоречия, просто в душе епископа-профессора присутствуют как бы две шкалы ценностей: одна — высшая, духовная и вторая — физическая, обыденная, бытовая. Всё, что связано с исполнением воли Божества, свято, за это, если понадобится, согласен он положить и самую жизнь. Страдания же и обиды, переносимые во второй, бытовой, ипостаси, ничто. Терпеть их следует со смирением.

В Плахине, по словам Луки, прожил он более двух месяцев, и за всё это время там не появился ни один приезжий. Это не совсем верно. Место для ссылки было избрано действительно пустынное, и тем не менее за Полярным кругом произошла немаловажная встреча. В августе 1970 года мне была предоставлена возможность выступить по красноярскому телевидению. Я рассказал телезрителям, кто такой был Войно-Ясенецкий, показал его портрет 20-х годов и попросил знавших его поделиться своими воспоминаниями. Почти тотчас

после того, как погас экран, на студии раздались звонки. Людей, желающих поговорить о епископе Луке, оказалось довольно много. Но особенно интересной была встреча с Арсением Кузьмичом Константиновым. Несмотря на почтенный возраст, Константинов оказался рослым, по-стариковски красивым человеком. Коренной енисеец, он 70 лет проработал почтовым и торговым чиновником, пользовался абсолютным доверием сначала купцов, потом советских закупочных организаций. Его посылали с товарами в самые глухие углы большой Сибири, откуда он вывозил на миллионы рублей пушнины. В свой 91-й год Арсений Кузьмич всё ещё сохранил великолепную память, отлично помнил многие эпизоды и разговоры полувековой давности. В 1924—1925 годах он был уполномоченным Московской сырьевой конторы по заготовке пушнины. Ему приходилось бывать в Туруханске, но с Войно-Ясенецким в городе он не познакомился. Встреча их произошла лишь в феврале 1925 года в Плахине. Случилось это так.

Триста оленей везли в тундру большой груз: провизию, ружья, охотничьи боеприпасы, а главное… кирпичи. На одной из факторий решено было построить хлебопекарню. Эвенки любили хлеб, охотно выменивали на него шкурки белок, песцов и соболей, но сами хлеб печь не умели. Зимой 1925 года в тундру отправили караван-аргиш с мукой и кирпичами. Предстояло обучить инородцев хлебопечению. В обмен на свою науку организаторы каравана надеялись вывезти из тундры побольше идущих на экспорт мехов. Главный торговый агент Константинов получил приказ встретить идущий из Красноярска караван в Дудинке, но из-за пурги он опоздал на эту встречу, и олени пошли дальше. Предстояло нагонять их на собаках. Взрослого проводника в Дудинке Арсений Кузьмич не нашёл (на этот случай у него не оказалось с собой бутылки спирта). Стать проводником согласился лишь тринадцатилетний мальчик эвенк. Перед отъездам, объясняя сыну дорогу, отец долго чертил что-то на снегу. Суть объяснения, как позднее узнал Константинов, сводилась к тому, что зимой снежные заструги (наносы) ориентированы всегда с севера на юг. Для понимающего человека тундра превращается как бы в гигантский компас. Чтобы разыскать ушедший вперёд караван, ехать следовало под определённым углом к застругам. Но разберётся ли мальчик во всей этой снежной «географии»? Выбора у Константинова не было, хочешь не хочешь, ехать надо. Юный проводник, однако, не подвёл. Для начала Арсению Кузьмичу пришлось испытать бешеную гонку под зимними звёздами. Потом ночёвку под нартой, лежа прямо на снегу. Никакой спальный мешок не мог спасти от пронзительного холода полярной ночи. Снова часами мчались собаки по совершенно плоской белой равнине. Пошли вторые сутки пути, когда маленький проводник остановил наконец собачий поезд, соскочил с санок и начал водить по сугробам двенадцатиаршинным шестом-хореем. Это означало, что где-то рядом он надеется обнаружить караван. Вскоре хорей упёрся в небольшой бугорок. То была труба занесённой снегом избушки — под сугробом обогревались караванщики. Олени тоже лежали неподалеку в снегу.



Архиепископ Лука со своей паствой. Фото из архива о. Владимира Каменского

Я не мог отказать себе в удовольствии пересказать этот не имеющий прямого отношения к нашему повествованию эпизод. Встреча Константинова с караваном произошла уже после того, как Арсений Кузьмич побывал в Плахине. Заехать к Луке попросил его начальник туруханской почтовой конторы. Минувшей осенью хирург оперировал при завороте кишок и спас его ребёнка. Теперь, нарушая строгий запрет Филиппа Бабкина, благодарный отец передал с оказией Войно-Ясенецкому прибывшую корреспонденцию. В Плахино Константинов приехал под вечер. Переступил засыпанный снегом порог и увидел

закопчённую, давно не метённую избу с небелёной печью. Тут же лежали охапки нарубленных дров. Убожество и нищета жилища проглядывали во всём. На некрашеном столе стояла эмалированная кружка с водой и лежал кусок чёрного хлеба. Никакой другой пищи не было видно. Лука молился. Знаком руки он попросил гостя обождать. Минут через десять, совершив перед большой старинной иконой последний поклон, обернулся к гостю и пробасил: «А теперь будем знакомиться».



Борис Мусат. Памятник В.Ф. Войно-Ясенецкому, архиепископу и хирургу

Первое, о чём захотел узнать ссыльный, — что нового в мире, что сообщают газеты. С жадностью, не перебивая, выслушал и отечественные, и международные новости. Потом заговорил о личном: уже очень давно ему не удаётся подать о себе весть родным, живущим в Симферополе. Близкие, очевидно, беспокоятся о нём. Нельзя ли известить их телеграммой?

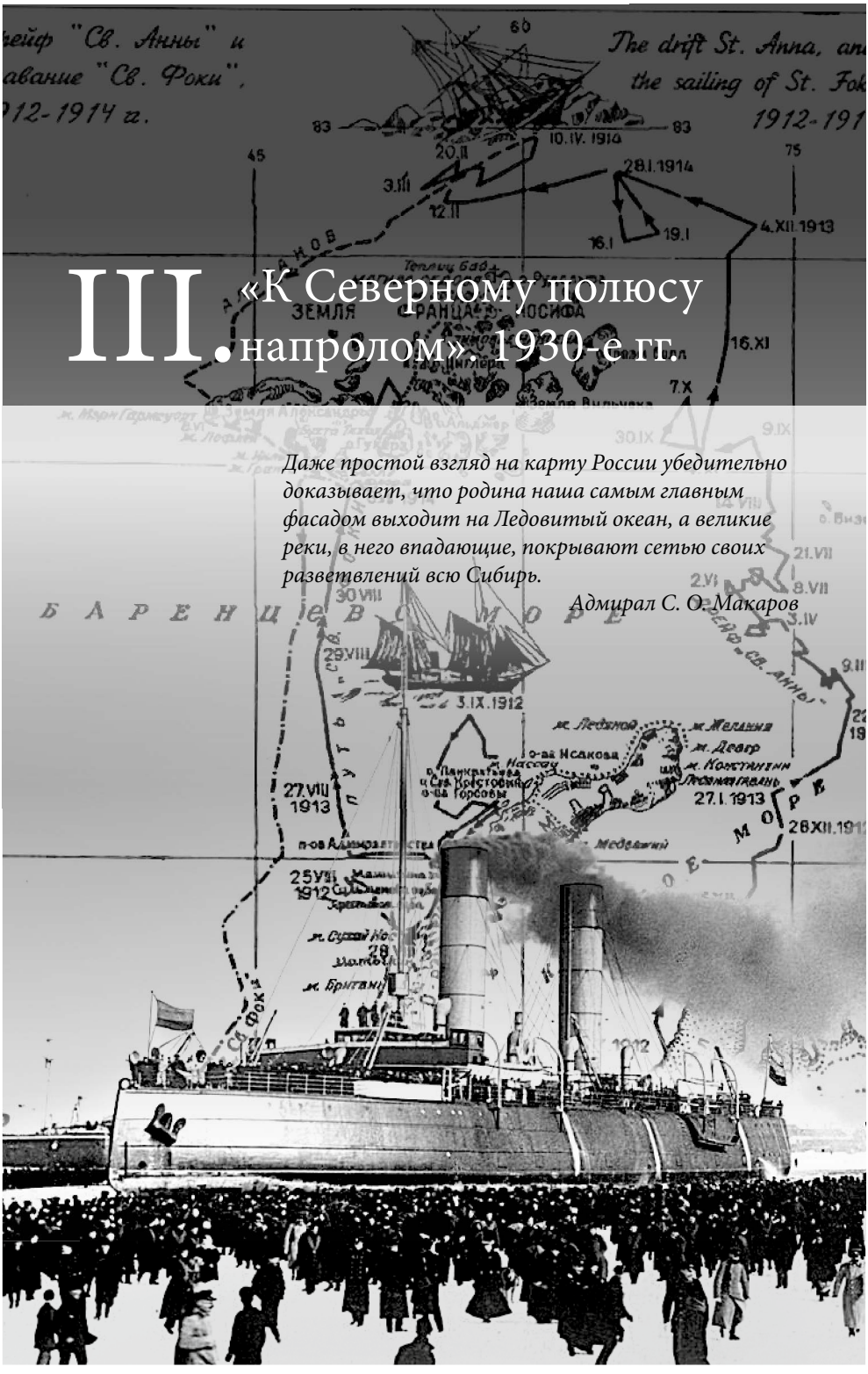
Почтовые отделения Дальнего Севера частных телеграмм в те годы не принимали. Но зная, как ценят Войно в Туруханске, Константинов выразил надежду, что для знаменитого хирурга будет сделано исключение и телеграмму всё-таки передадут. Заговорили о плахинском житье-бытье, о питании, о топке. Встреча произошла вскоре после того, как местные женщины отказались стряпать и стирать для ссыльного. Да и что было стряпать? На вопросы гостя Войно-Ясенецкий только разводил руками — обстановка в избе говорила сама за себя. Константинов тут же вырвал из блокнота листок и написал записки на две ближайшие фактории, чтобы впредь профессору продавали за наличный расчёт крупчатку, сахар, сушки, сливочное масло, манную крупу. В крае, где большую часть продуктов питания доставляют за тысячи километров, это было целое богатство. Но оказалось, что и выкупить свои деликатесы владыке было не на что: у него не было денег. Константинов предложил ему сто рублей взаймы. «Я с удовольствием взял бы, — смутился Лука, — но не знаю, смогу ли когда-нибудь вернуть ваши деньги». «Если не вернёте, не беда», — ответил Арсений Кузьмич и начал собираться в дорогу. Ему предстояла та самая скачка на собаках вдогонку за караваном, о которой говорилось выше. Прежде чем двинуться вглубь тундры, он успел, однако, выполнить свои обещания, данные Луке. Заехал на фактории и предупредил приказчиков об оставленных в Плахине записках, а в Дудинке дал телеграмму родным Войно.

Потом были у торгового агента другие дела, другие приключения, до Плахина удалось ему добраться снова только полторы недели спустя. Но Луки к этому времени там уже не оказалось: ссыльного увезли в Туруханск. Константинов ночевал в пустой, холодной избе, где перед тем два с лишним месяца провёл его недавний собеседник. Лежа на нарах под оленьим одеялом, вспомнил Арсений Кузьмич между прочим, что Лука говорил ему о возможном возвращении в Туруханск. Об этом хлопотал известный сибирский хирург профессор В.М. Мыш. Тогда же епископ добавил: «Господь Бог дал мне знать: через месяц я буду в Туруханске». Очевидно, на лице Константинова отразилось недоумение, потому что Лука, осуждающе покачав головой, заметил: «Вижу, вижу, вы неверующий. Вам мои слова кажутся невероятными. Но будет именно так».

Почти полвека спустя, пересказывая мне этот эпизод, Арсений Кузьмич пояснил: «Лука угадал — я был и остаюсь неверующим. Но хоть я и не признаю церковной обрядности, я верю: если человек совести не потерял — Бог у него в душе есть. Другого смысла в религии я для себя не нахожу».

Почему начальник Туруханского ГПУ среди зимы отправил сани за ненавистным епископом, неясно. По версии самого Войно-Ясенецкого, за него вступился народ. «Оказалось, — пишет он в «Мемуарах», — что в Туруханской больнице умер крестьянин, нуждавшийся в неотложной помощи, которой без меня не могли сделать. Это так возмутило туруханских крестьян, что они вооружились вилами, косами и топорами и решили устроить погром ГПУ и сельсовета. Туруханские власти были так напуганы, что немедленно послали за мной гонца…»

Так было или иначе, но в Туруханск Войно-Ясенецкий вернулся победителем. Вероятно, кто-то за него всё-таки похлопотал. Автор «Мемуаров» пишет об этом, не скрывая торжества по поводу своей маленькой победы. «Первым, кто меня встретил в Туруханске с распростёртыми объятиями и с неподдельной радостью, был тот самый милиционер-комсомолец, который вёз меня из Туруханска в Плахино… Я опять начал работать в больнице. Уполномоченный ГПУ, выславший меня… однажды по какому-то делу пришёл ко мне в больницу. Во время разговора с ним отворилась дверь и в комнату вошла целая вереница эвенков (тунгусов) со сложенными руками для принятия моего благословения. Я встал и всех благословил, а уполномоченный сделал вид, что не заметил этого. И в монастырь я, конечно, продолжал ездить на санях, покрытых ковром».



III. «К Северному полюсу напролом». 1930-е гг.

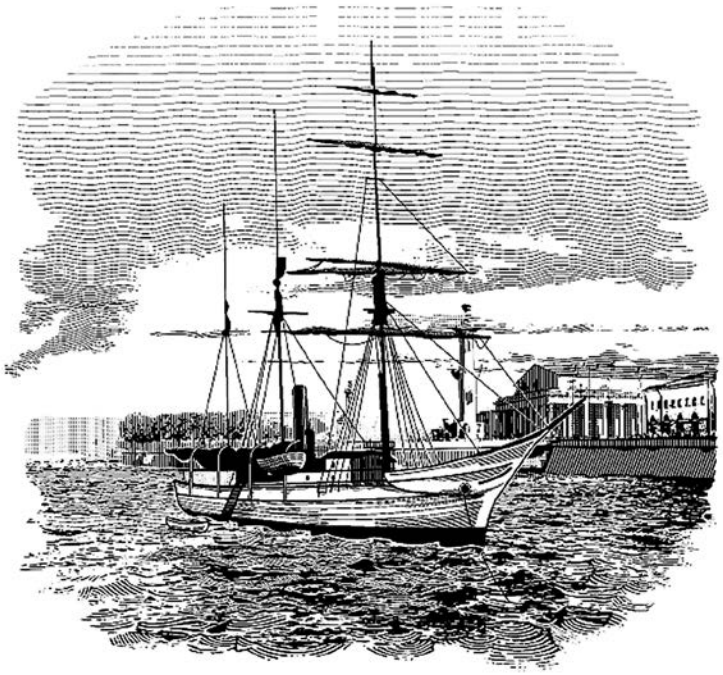
Даже простой взгляд на карту России убедительно доказывает, что родина наша самым главным фасадом выходит на Ледовитый океан, а великие реки, в него впадающие, покрывают сетью своих разветвлений всю Сибирь.

Адмирал С. О. Макаров

Валериан Альбанов

На юг, к Земле Франца-Иосифа!

(главы из книги)[1]



Вступление

Прошло уже три года[2] с тех пор, как я покинул шхуну «Св. Анна» экспедиции лейтенанта Брусилова, затёртую льдами и полтора года дрейфовавшую на север вокруг архипелага Земли Франца-Иосифа. Судно это, замёрзнув во льдах в Карском море на широте 72°45', с октября 1912 года совершенно лишено было возможности самостоятельного движения и всецело находилось во власти плениших его полярных льдов, которые, в свою очередь, слепо подчинялись влиянию господствующих в данной местности ветров и течений. Покинул я судно с тринадцатью спутниками с целью пешком по вечно дрейфующему льду достигнуть Земли Франца-Иосифа, а потом постараться тем или иным путём добраться до обитаемых мест.

[1] *Публикуется по изданию: Альбанов В. На юг, к Земле Франца Иосифа! — Красноярск: Paulsen, 2016.*

[2] *Свои материалы для публикации в журнал «Записки по гидрографии» В.И. Альбанов сдал в марте 1917 г., а вернулся из экспедиции в августе 1914 г.*



Обложка книги В. И. Альбанова «На юг, к Земле Франца-Иосифа!», 1917 г.

Конечно, три года срок сам по себе не такой уж большой, но тем не менее теперь, когда я хотел бы изложить подробно все события, предшествовавшие моему уходу с судна и последующие, и мои личные впечатления, то это мне представляется трудной задачей. Многое, действительно, может быть важное, забыто, а пустяки, которые почему-либо врезались в память, сохранились в ней ясно.

Если бы у меня уцелели все мои записи и весь дневник, который я аккуратно вёл во время моего пребывания на «Св. Анне» и в пути по льду, то дело, конечно, облегчилось бы значительно. Но записки мои погибли вместе с двумя моими спутниками на каяке, унесённом в море за день до нашего спасения, перед прибытием на мыс Флора на острове Нортбрук Земли Франца-Иосифа. Сохранились же у меня записки только те, которые были со мной в каяке,



Валериан Иванович Альбанов (1882—1919) — полярный штурман, участник дрейфа на паровой шхуне «Святая Анна»

а именно за время с 14 (27) мая по 10 (23) августа 1914 года, т.е. за время спустя уже месяц после ухода моего со «Св. Анны».

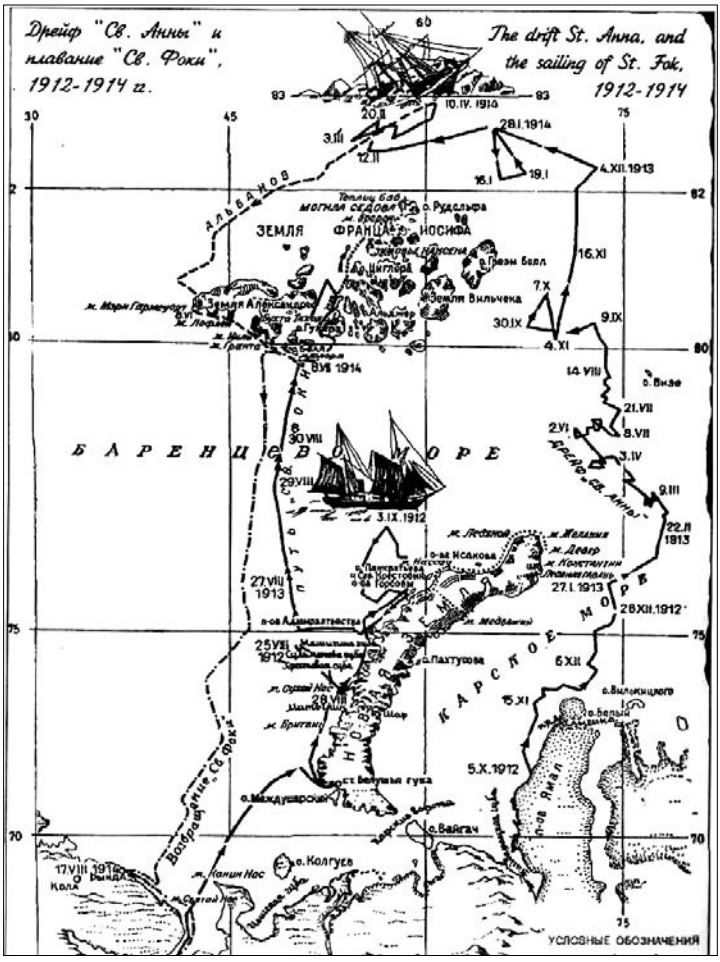
Лейтенант Брусилов в своей «Выписке из судового журнала», доставленной мною же в Главное гидрографическое управление и напечатанной в приложении к 4-му выпуску XXXVIII т. «Записок по гидрографии», пишет:

«9 (22) января. Наставляли самодельным проволочным линем лот Томсона, так как имеемых 400 сажен не хватает. Отставленный мною от исполнения своих обязанностей штурман Альбанов просил дать ему возможность и материал построить каяк, чтобы весной уйти с судна; понимая его тяжёлое положение на судне, я разрешил. Вечером — сияние». И затем далее:

«22 января (4 февраля). Горизонт закрыт мглой. Команда просила меня пройти к ним, и когда я пришёл, то просили разрешения строить тоже каяки, по примеру штурмана, боясь остаться на третью зиму, на которую у нас не хватит провизии.

Сначала я пробовал разубедить и говорил, что летом, если не будет надежды освободиться, мы можем покинуть судно на ботах, указывая на пример „Жаннетты“[1], где им пришлось пройти гораздо большее расстояние на вельботах, чем это придётся нам, и то они достигли земли благополучно. Видя, что они не убеждены этими доводами и что перспектива весной покинуть судно и летом достигнуть культурных стран, избавившись от всем наскучившего здесь сидения, для них столь заманчива, что отказаться от неё они не в силах, я объявил, что они могут готовиться и отправляться хоть все. Сейчас же нашлось несколько человек, которые пожелали остаться (впоследствии их оказалось слишком много, и я был поставлен в затруднительное положение, не желая никого насиловать покинуть судно). На судне остаются, кроме меня и Е.А. Жданко, оба гарпунёра, боцман, старший машинист, стюарт, повар, два молодых матроса (один из которых ученик мореходных классов). Это то количество, которое необходимо для управления судном и которое я смогу прокормить оставшейся провизией ещё один год. Уходящие

[1] *«Жаннетта» — судно американской полярной экспедиции Джорджа Де Лонга, с 1879 г. совершало дрейф во льдах с целью достичь Северного полюса. В июне 1881 г. было раздавлено льдами севернее Новосибирских островов. Команде удалось добраться до дельты реки Лены, где большинство спасшихся погибло от голода. Остальные были спасены береговыми якутами.*



Плавание шхуны «Святой великомученик Фока»

люди не представляются необходимыми на судне, так что теперь я очень рад, что обстоятельства так сложились. Я далёк утверждать, что уход части команды с судна придуман и организован мною. Я ещё раз говорю, что покинул бы судно поздно летом на шлюпках, когда убедился бы, что выбиться изо льда мы не можем. Теперь же, благодаря предполагаемому раннему оставлению судна большей частью команды, оставшаяся часть команды, в крайнем случае, может продержаться ещё год с имеемой провизией».

В том же приложении к «Запискам по гидрографии» в конце (стр. 76) по моей просьбе напечатано следующее моё разъяснение по поводу слов Брусилова: «отстраняется от должности штурман Альбанов».

«По выздоровлении лейтенанта Брусилова от его очень тяжкой и продолжительной болезни на судне сложился такой уклад судовой жизни и взаимных отношений всего состава экспедиции, который, по моему мнению, не мог быть ни на одном судне, а в особенности являлся опасным на судне, находящемся в тяжёлом полярном плавании. Так как во взглядах на этот вопрос мы

разошлись с начальником экспедиции лейтенантом Брусиловым, то я и просил его освободить меня от исполнения обязанностей штурмана, на что лейтенант Брусилов после некоторого размышления и согласился, за что я ему очень благодарен».

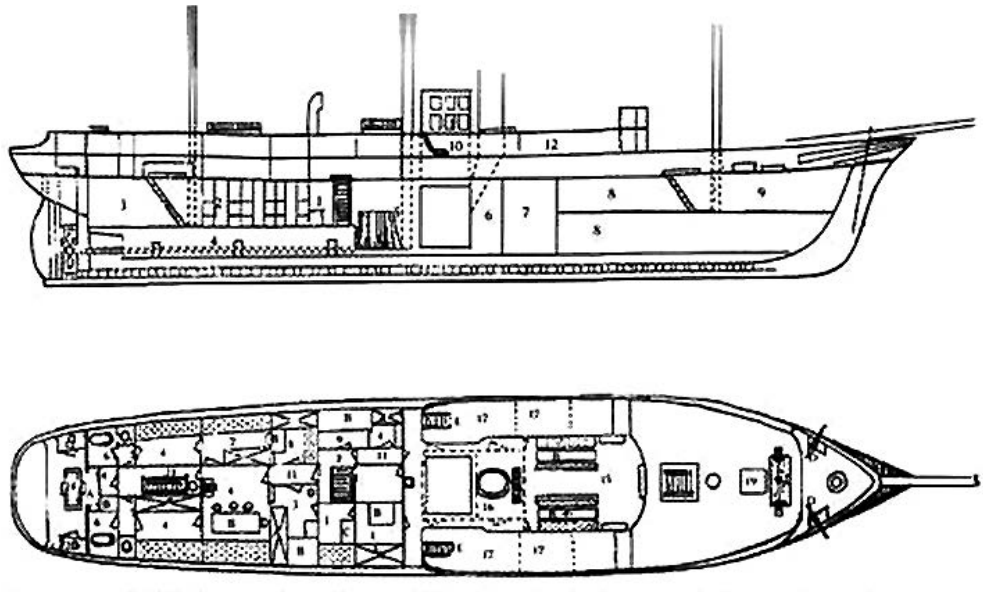
Из этих приведённых мною выписок видно, что сначала я один собирался уходить с судна и только 22 января (4 февраля) мне было объявлено Брусиловым, что со мною он отпускает и часть команды. Я уходил с судна вследствие возникшего между мною и Брусиловым несогласия, команда же, как это видно из выписки, уходила вследствие понятной боязни остаться на третью зимовку, на которую у нас провизии уже не хватало.



Адольф Эрик Норденшёльд в арктическом плену на фоне «Веги»

Что за причина была моей размолвки с Брусиловым? Сейчас, когда прошло уже много времени с тех пор, когда я спокойно могу оглянуться назад и беспристрастно анализировать наши отношения, мне представляется, что в то время мы оба были нервнобольными людьми. Неудачи с самого начала экспедиции, повальные болезни зимы 1912—1913 годов, тяжёлое настоящее положение и грозное неизвестное будущее с неизбежным голодом впереди — всё это, конечно, создавало благоприятную почву для нервного заболевания. Из разных мелочей, неизбежных при долгом, совместном житье в тяжёлых условиях, создалась мало-помалу уже крупная преграда между нами. Терпеливо разобрать эту преграду путём объяснений, выяснить и устранить недочёты нашей жизни у нас не хватало ни решимости, ни хладнокровия, и недовольство всё накоплялось и накоплялось.

С болезненной раздражительностью мы не могли бороться никакими силами, внезапно у обоих появлялась сильная одышка, голос прерывался, спазмы подступали к горлу, и мы должны были прекращать наше объяснение, ничего не выяснив, а часто даже позабыв о самой причине, вызвавшей их… Я не могу припомнить ни одного случая, чтобы после сентября 1913 года мы хоть раз поговорили с Георгием Львовичем как следует, хладнокровно, не торопясь скомкать объяснение и разойтись по своим углам. А между тем, я уверен теперь, объяснись мы хоть раз до конца, пусть это объяснение сначала было бы несколько шумным, пусть для этого нам пришлось бы закрыть двери, но в конце концов для нас обоих стало бы ясно, что нет у нас причин для ссоры, а если и были, то легко устранимые, и устранение этих причин должно было только служить ко всеобщему благополучию. Но, к со-



План шхуны «Св. Анна»

жалению, у нас такого решительного объяснения ни разу не состоялось, и мы расставались хотя и по добровольному соглашению, но не друзьями. Когда отправлялись мы в экспедицию, желая пройти вдоль берегов Сибири до Владивостока, так называемым Северо-Восточным проходом, которым до того времени прошёл только один Норденшёльд на «Веге» (экспедиция А.Э. Норденшёльда на судне «Вега», частично субсидированная А.М. Сибиряковым, с участием представителя Русского географического общества совершила в 1878—1879 годах первое транзитное плавание по Северному морскому пути из Баренцева моря в Тихий океан), то взяли провизии по расчёту на полтора года. Правда, что на этот срок у нас провизии было с избытком, так как рассчитывали при сборах на экипаж в 30 человек, а отправилось нас только 24 человека; к тому же удачная охота на медведей в первый год нашего плавания сильно сэкономила нам провизию. Таким образом, мы могли рассчитывать, что у нас хватит провизии ещё на год, т. е. по декабрь наступившего 1914 года, конечно, при экономном расходовании её. Хорошая охота могла бы несколько улучшить наше положение, но её во второй год не было, и особенно рассчитывать на неё мы не имели права.

Между тем в январе 1914 года становилось почти очевидным, что нам нечего рассчитывать на освобождение судна от ледяных оков в этом году: дрейф наш обещал затянуться в самом лучшем случае до осени 1915 года, т. е. месяцев на двадцать, на двадцать два. И это при самых благоприятных условиях. Таким образом, если бы мы оставались все на судне, то в январе 1915 года у нас должен быть уже голод в буквальном смысле слова. Голод среди полярной ночи, т. е.

в такое время, когда не может быть даже и надежды на охоту, когда замирает всякая жизнь в безбрежной дрейфующей ледяной пустыне.

С другой стороны, если бы в апреле наступившего 1914 года половина всего экипажа «Св. Анны» решилась уйти с судна, чтобы в самое благоприятное для путешествия и охоты время достигнуть земли, и даже взяла бы с собой при этом на два месяца самой необходимой провизии, главным образом сухарей, то для другой половины экипажа, оставшейся на судне, провизии должно было хватить уже до октября 1915 года. А в это время мы тогда считали уже возможным освобождение судна от ледяных оков где-нибудь между Гренландией и Шпицбергеном.

Необходимо ли было для спасения судна путешествие на нём полного экипажа, т. е. 23 человек? На этот вопрос отвечает сам Брусилов в своей выписке из судового журнала. Он считает, что если судно вынесет в открытое море, то для управления им достаточно девяти человек. С уходом половины экипажа, кроме экономии провизии, являлось возможным вдвое экономить и расход топлива, что было очень важно теперь, когда на судне не оставалось ни одного куска угля, ни одного полена дров. Топливом в это время служило сало медведей и тюленей, которых удавалось убивать, и к этому салу прибавляли машинное масло. На растопку и на согревание самовара шло дерево, которое получали, ломая бесчисленные перегородки, каютки и другие несущественные части судна. Такого дерева можно было получить ещё довольно, не принося ущерба крепости судна. В течение зимы 1913—1914 годов весь экипаж помещался в кормовой части судна, в двух помещениях: в верхнем, устроенном в кожухах, наиболее лёгком и холодном, и в нижнем, где была устроена и кухня. Это нижнее помещение было тёплое и отапливалось одной кухонной плитой. С уходом половины экипажа являлось возможным всем остающимся поместиться внизу, а верхнее помещение отапливать. Это, конечно, было и экономнее, и безопаснее для здоровья, так как в верхнем помещении зимой редко удавалось держать температуру выше –2 °R ночью и +4 °R днём. Теперь, кажется, ясны причины, побудившие меня с частью команды покинуть судно, а лейтенанта Брусилова отпустить нас.

Сборы в санную экспедицию

К своему путешествию я начал готовиться 10 (23) января 1914 года. Работы было много. Надо было сделать семь каяков, семь нарт, сшить или исправить одежду, сапоги, готовить провизию и пр. и пр. Неимение с собой необходимого материала и даже некоторых инструментов сильно осложняло дело. Для каяков и нарт приходилось выбирать лес далеко не доброкачественный, пилить его, делать медные заклёпки и даже инструменты. Кроме заклёпок, все соединения каяков скреплялись бензелями и весь остов оплетался сеткой из тонкой, но крепкой бечёвки. Когда остов был готов, его обшивали парусиной, на что пошли запасные паруса. Все эти работы производились в трюме на холоде до –30 °R при свете жировых светилен, от которых было больше копоти, чем света. В большинстве случаев работать приходилось, несмотря на страшный холод,



Георгий Яковлевич Седов (1877—1914), русский гидрограф, полярный исследователь

голыми руками, так как сама работа была мелкая, кропотливая, руки поминутно стыли, и мы их отогревали над «коптилками». В особенности мучительна на холоду была клёпка остовов и обшивание их парусиной, когда холодная парусная игла, как раскалённое железо, оставляла волдыри на кончиках пальцев. Даже самые парусные иглы приходилось делать самим, и в конце концов в этой отрасли мы достигли почти искусства. Игла получалась крепкая, чистая, красивая, которую трудно было даже отличить от покупной. Малопомалу трюм наш стал наполняться остовами каяков и нартами; оживление там царило с раннего утра и до поздней ночи, все были настроены бодро, шутили и пели песни. Каждый каяк первоначально рассчитывался на двух человек, не считая поклажи. Каждый давал своему каяку название: тут были «Чайка», «Нырок», «Пунога», «Чирок», «Глупыш» и пр. Некоторое затруднение встретилось при окраске, так как в трюме на холоду красить было нельзя. Тогда был снят световой люк на юте, и через него все каяки по очереди были опущены в нижнюю кухню, где и были окрашены. С неделю в кухне можно было ходить только сильно согнувшись, почти на четвереньках. В марте у носа судна образовалась во льду трещина, которая скоро расширилась до двух сажен. В этой полынье была произведена проба всех каяков, оказавшаяся очень удовлетворительной. Каяки были поместительны и устойчивы. Конечно, материал для каяков был далеко не удовлетворительный и не такой, какой был бы желателен, а какой имелся налицо. Для продольных реек каяков употребляли ободранную обшивку потолка из палубной кают-компании. Это была старая, пересохшая ель, от которой, конечно, нельзя было ожидать особенной гибкости и упругости. На «шпангоуты» каяков большею частью пошли обручи с бочек, и только часть их была сделана из снятых с мачт и распиленных вдоль деревянных ракс[1]. Поэтому-то и приходилось остовы каяков оплетать сеткой, чтобы придать им большую прочность. С материалом для нарт дело было ещё хуже. На полозья употребили столешницу от буфетного стола. Столешница эта была хотя и берёзовая, но тоже достаточно старая и хрупкая. Многие полозья из этой столешницы полопались

[1] *Раксы — деревянные или металлические скобы, удерживающие паруса и скользящие по мачте при их подъёме.*



Георгий Львович Брусилов (19 мая 1884 — 1914 или позже) — российский исследователь Арктики

ещё при загибании, почему пришлось часть полозьев сделать из ясеневых вёсел. При выборе материала для каяков и нарт несколько раз у меня были столкновения с Георгием Львовичем, столкновения дикие, о которых мне и сейчас неприятно вспоминать. Почему-то он был уверен, что путь нам предстоит небольшой, несерьёзный. Не раз он говорил мне, что пройдёт не более пяти-шести дней нашего пути, как мы уже будем в виду берегов Земли Франца-Иосифа.

Наши заботы о прочности нарт и каяков он считал чрезмерными. Он даже долго отстаивал свою мысль, что для предстоящего пути не следует нам делать лёгких парусиновых каяков, а надо взять с собой обыкновенную промысловую тяжёлую шлюпку. В доказательство он ссылался на экспедицию лейтенанта Де Лонга. Не скажу, чтобы и я смотрел на свой предстоящий поход так оптимистически. Правда, я не ожидал тогда такого тяжёлого пути, какой был на самом деле, но около месяца пути я ожидал. Путь с тяжёлой шлюпкой, поставленной на нарты, в которую к тому же придётся наложить всякого груза около 60 пудов, я считал невозможным. Мы тогда не были даже уверены в своём месте, где мы находимся и где мы должны встретить землю. На судне у нас не было карты Земли Франца-Иосифа. Для нанесения своего дрейфа мы пользовались самодельной (географической) сеткой, на которую я нанёс увеличенную карточку этой земли, приложенную к описанию путешествия Нансена[1]. Про эту предварительную карточку сам Нансен говорит, что не придаёт ей серьёзного значения, а помещает её только для того, чтобы дать понятие об архипелаге Земля Франца-Иосифа. Мыс Флигели на нашей карте находился на широте 82°122'. К северу от этого мыса у нас была нанесена большая Земля Петермана, а на северо-запад — Земля короля Оскара[2]. Каково же было наше недоумение, когда астрономические определения марта и первых чисел апреля давали наши места как раз на этих сушах и в то же время только бесконечные ледяные поля по-старому окружали нас. Ничто не указывало на присутствие близкой земли, даже медведи, которых за прошлый год мы убили 47 штук, в этом году не показывались. Не видно было обычных в прошлом году полыней и «разводьев»,

[1] *Фритьоф Нансен — автор книги о трёхгодичном плавании на корабле «Фрам» во льдах Северного Ледовитого океана.*

[2] *Земля короля Оскара — несуществующая земля, которую искали севернее Земли Франца-Иосифа.*

нигде не видно было и так называемого водяного неба, указывающего на присутствие этих полыней за горизонтом. Горизонт был ясный, лёд медленно, спокойно совершал свой путь, и всё предвещало нам долгую трудную дорогу по торошенному льду, с глубоким снегом.

Правда, в январе, когда южная часть неба только что начала розоветь, многие из нас и я сам видели на этом розовом фоне неба нечто похожее на землю, должно быть очень отдалённую. Видно её было в течение нескольких часов; глубина в это время резко уменьшилась, а около судна бегало много песцов. Это мог быть мыс Флигели на Земле кронпринца Рудольфа[1]. Но с тех пор прошло уже много времени, нас отнесло далеко и продолжало относить всё дальше.

Надеясь увидать где-нибудь хотя отдалённую землю, я перед уходом с судна, когда наступили ясные солнечные дни, часто лазил в обсервационную бочку, укреплённую на грот-мачте на высоте 80 футов; но напрасно я всматривался в горизонт: нигде не мог заметить ничего, кроме бесконечных торосов. Зато торосов было много: горизонт на юге, куда предстояло нам отправиться, в сильную подзорную трубу представлялся в виде сплошного частокола, через который, казалось, и не продерёшься с нашей поклажей более чем в 60 пудов. Но, конечно, это только казалось издали, на самом же деле проход был, пробраться было можно, но каковы были эти проходы и какова вообще была вся дорога, это мы узнали только впоследствии. В то же время мы предполагали проходить в день не менее 10 вёрст.

В тихую ясную погоду приятно посидеть в обсервационной бочке на высокой мачте. Чуть слышно шепчет ветерок в снастях, покрытых серебристым пушистым инеем. Как в белом одеянии, лежит и спит красавица «Св. Анна», убранная прихотливой рукой мороза и по самый планширь засыпанная снегом. Временами гирлянды инея срываются с такелажа и с тихим шуршанием, как цветы, осыпаются вниз на спящую. С высоты судно кажется уже и длиннее. Стройный, высокий, правильный рангоут его кажется ещё выше, ещё тоньше. Как светящиеся лучи, бежит далеко вниз заиндевевший стальной такелаж, словно освещая заснувшую «Св. Анну». Полтора года уже спокойно спит она на своём ледяном ложе. Суждено ли тебе и дальше спокойно проспать тяжёлое время, чтобы в одно прекрасное утро незаметно вместе с ложем твоим, на котором ты почила далеко в Карском море у берегов Ямала, очутиться где-нибудь между Шпицбергеном и Гренландией? Проснёшься ли ты тогда, спокойно сойдёшь со своего ложа, ковра-самолета, на родную тебе стихию-воду, расправишь широкие белые крылья свои и радостно полетишь по глубокому морю на далёкий тёплый юг из царства смерти к жизни, где залечат твои раны, и всё пережитое тобою на далёком севере будет казаться только тяжёлым сном?

Или в холодную, бурную, полярную ночь, когда кругом завывает метель, когда не видно ни луны, ни звёзд, ни северного сияния, ты внезапно будешь грубо пробуждена от своего сна ужасным треском, злобным визгом, шипением

[1] *Остров Рудольфа — самый северный из островов Земли Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане.*

и содроганием твоего спокойного до сего времени ложа, с грохотом полетят вниз твои мачты, стеньги и реи, ломаясь сами и ломая всё на палубе?

В предсмертных конвульсиях затрещат, ломаясь, все суставы твои, и через некоторое время лишь кучи бесформенных обломков да лишний свежий ледяной холм укажут твою могилу. Вьюга будет петь над тобой погребальную песню и скоро запорошит свежим снегом место катастрофы. А у ближайших ропаков кучка людей в темноте будет в отчаянии спасать что можно из своего имущества, всё ещё хватаясь за жизнь, всё ещё не теряя надежды…

Да, любопытно, что-то ждёт тебя, «Св. Анна»? А пока ты ещё хороша! Пусть там, внутри тебя уже началось разрушение, но оно незначительно пока. Это даже нельзя назвать разрушением. С болью в сердце отрывается каждая доска от бесчисленных переборок твоих. Кучка людей всё теснее и теснее сбивается в глубине твоего трюма, отчаянно отбиваясь от беспощадной суровой стихии. Одна забота у них: как можно дольше растянуть провизию.

Прошла вторая суровая зима. Нет больше бесконечных полярных ночей, нет темноты. С каждым днём солнце дольше и дольше остаётся над горизонтом, с каждым днём оно сильнее согревает, с каждым днём крепнут надежды у этой кучки людей, борющихся за жизнь. С утра до вечера хлопотливо бегают они от судна к каким-то странным повозочкам, стоящим около него в ряд, что-то прилаживают, что-то подгоняют. Если присмотреться внимательно, то эти повозочки, оказывается, состоят из двух частей: длинных, узких саней-нарт, на высоких копылах, на которых плотно, на подушках, установлены лёгкие парусиновые каяки, лодочки. Эти каяки служат кузовами повозочек. Каяки окрашены в чёрный цвет, что придаёт несколько мрачный вид им, и только боковые парусиновые «полки», которые плотно облегают каяки, несколько оживляют вид. Эти «полки» пришнурованы нижними сторонами к нащепам нарт, а верхними сторонами стянуты между собой поверх каяка так, что с одной стороны они крепко прижимают каяк к подушкам нарт, а с другой — защищают борта каяков от ударов о выступы ледяных глыб.

Все озабочены, все заняты. Остающаяся команда тоже принимает деятельное участие в наших сборах: кто портняжничает, кто сапожничает, а кто готовит и упаковывает провизию. Денисов, наш милейший гарпунёр-китобой, волнуется и хлопочет больше всех, хотя он остаётся на судне. Георгий Львович, Ерминия Александровна и Шленский заняты другим делом: они пишут. Боже мой! Что они пишут с утра до вечера вот уже целую неделю? Мне иногда становится страшно, каких размеров, какого веса дадут они нам почту отсюда в тот далёкий мир, от которого мы так давно отрезаны, в тот мир, где люди живут и настоящим, а не только прошедшим и будущим, как у нас на «Св. Анне». Но, к моему удивлению, почта оказалась очень невелика, не более пяти фунтов.

Провизия наша не отличалась особенным разнообразием. Сухари перед упаковкой были второй раз тщательно просушены. Паковались они в двадцатифунтовые мешки, которые зашивались. Взяли мы с собой одну из трёх имевшихся на «Св. Анне» палаток. Палатка эта была большая, круглая и сравнительно с нансеновской очень тяжёлая: около полутора пудов. Впоследствии, когда она на-

мокла и намёрзла, с нею было очень много возни и ей не суждено было уцелеть до Земли Франца-Иосифа. Но, во всяком случае, в первой половине путешествия она нам оказала неоценимые услуги, защищая от холода и от вьюги. Без неё нам было бы очень плохо. Из оружия мы взяли с собой: две магазинки, три промысловые норвежские винтовки, одну двустволку-дробовик и два гарпуна, патронов разных — около трёх пудов. Если сюда ещё прибавить тёплую одежду, топоры, инструменты, посуду, лыжи, починочный материал и пр., то выйдет, что, не считая веса каяков и самих нарт, нам предстояло тащить груза до 65 пудов.

Первоначально мы предполагали тащить каждые нарты по два человека. У каждого человека была своя лямка, сшитая из парусины, к которой прикреплена была манильская верёвка. Лямку надевали наискось на грудь через плечо, а верёвку привязывали за последний или предпоследний задний копыл нарты так, чтобы тянувший приходился у форштевня каяка и одной рукой мог поддерживать каяк у форштевня, направляя в то же время нарту куда надо, а другой рукой опирался бы на лыжную палку. Один становился по правую сторону каяка, а другой по левую. Конечно, так идти было бы очень удобно, если бы наш путь не был изрезан сплошь торосами и если бы мы в снегу не увязали выше колен. Но, увы, мы очень скоро убедились, что такой способ передвижения на практике невозможен. Много, очень много времени прошло до тех пор, пока мы были в силах идти так, т. е. таща каждые нарты по два человека.

Как я уже говорил, на «Св. Анне» не было нужных нам теперь карт. Пришлось их изготовить, пользуясь всё той же картой Нансена. Не было у нас никакой специальной литературы, кроме Нансена и одной книги Колчака «Льды Карского и Сибирского морей». Хотя перед отправлением нашим в экспедицию Георгий Львович купил за несколько сот рублей небольшую библиотечку, но там были романы, повести, рассказы, старые журналы, но ни одной нужной нам книги. Немудрено, что все наши сведения о Земле Франца-Иосифа были почерпнуты только у Нансена. Знали мы, что почти двадцать лет тому назад через этот архипелаг прошли Нансен с Иогансеном, что они перезимовали в очень мрачной хижине на острове, который назвали островом Джексона, что на следующий год на острове Нортбрук, на мысе Флора, они встретились с Джексоном[1], который, кажется, очень недурно там устроился и провёл несколько зим. Знали, что когда-то на этом мысе были хорошие постройки, но был ли там кто-нибудь после Джексона, уцелели ли там его постройки, был ли там оставлен склад провизии, этого мы ничего не знали. Помнили, что Нансен хвалит охоту на этом мысе и вообще на Земле Франца-Иосифа, ожидали там встретить таких моржей, которых хоть палкой бей по морде, а они не хотят проснуться; одним словом, мы знали то, что можно было узнать из краткого описания путешествия Нансена, которое было у нас. Зато эта книжка была у меня настольной. Я её прочёл несколько раз и многие места знал наизусть. Но мало того, так как эта книжка могла пригодиться на «Св. Анне», а взять её с собой я не мог, то из неё у меня были переписаны в записную книжку те места, в которых Нансен опи-

[1] *Фредерик Джексон — английский полярный исследователь в 1894—1897 гг.*

сывает свой путь по этой земле, различные приметные места, по которым я мог бы ориентироваться. Конечно, это мне пригодилось бы, если бы я попал на путь Нансена. В ту же записную книжку у меня были записаны склонения солнца и уравнения времени на полтора года. Так как на судне у нас не было Наутикаль Альманаха[1] на 1914 год, то эти выборки мы сделали из одного специального английского издания, случайно оказавшегося в куче различных лоций и старых карт, купленных вместе с судном у прежнего владельца. Но ведь с Земли Франца-Иосифа нам предстоял ещё путь к Шпицбергену. Насчёт этой земли наши познания были ещё слабее. В том английском издании, откуда выбрал я склонение солнца и уравнение времени, опять же случайно, мы нашли около 10 или 12 пунктов Шпицбергена с обозначением их широты и долготы. Эти пункты и были нанесены мною на приготовленную соответствующую сетку. Что собой изображал каждый из этих пунктов, был ли он островом, мысом, горой или губой, этого мы не знали и это должно было показать будущее. Пока же все они были нанесены на сетку крестиками, и наша фантазия могла соединять эти пункты совершенно произвольными линиями.

Кроме указанных сведений о Земле Франца-Иосифа мы ещё знали, что Британским каналом[2] лет четырнадцать тому назад прошло судно герцога Абруцкого «Стелла Поларе»[3], а в 1912 году лейтенант Седов предполагал высадиться на каком-то из этих островов, после чего судно должно было вернуться в Архангельск, а он отправиться к Полюсу.

Накануне нашего выступления в поход Георгий Львович позвал меня к себе и прочитал мне черновик составленного им предписания мне. Вот это предписание, сохранившееся у меня и посейчас:

«10 апреля 1914 года

Штурману Вал. Ив. Альбанову

Предлагаю Вам и всем нижепоименованным, согласно Вашему и их желанию покинуть судно, с целью достижения обитаемой земли, сделать это 10-го сего апреля, следуя пешком по льду, везя за собой нарты с каяками и провизией, взяв таковой с расчётом на два месяца. Покинув судно, следовать на юг до тех пор, пока не увидите земли. Увидев же землю, действовать сообразно с обстоятельствами, но предпочтительно стараться достигнуть Британского канала, между островами Земли Франца-Иосифа, следовать им, как наиболее известным, к мысу Флора, где, я предполагаю, можно найти провизию и постройки. Далее, если время и обстоятельства позволят, направиться к Шпицбергену, не удаляясь из виду берегов Земли Франца-Иосифа. Достигнув Шпицбергена, представится Вам чрезвычайно трудная задача найти там людей, о месте пребывания которых мы не знаем, но надеюсь, на южной части его это Вам удастся, если не живущих на берегу, то застать где-нибудь промысловое судно. С Вами

---

[1] *Nautical Almanac — гринвичский астрономический ежегодник, использовался для определения долготы и широты места по высоте небесных светил.*

[2] *Британский канал — пролив, разделяющий Землю Франца-Иосифа на две части.*

[3] *Итальянская экспедиция герцога Абруццкого на судне «Стелла Поларе» находилась на Земле Франца-Иосифа в 1899—1901 гг.*

пойдут, согласно их желанию, следующие тринадцать человек из команды — старший рулевой Пётр Максимов, матросы Александр Конрад, Евгений Шпаковский, Ольгерд Нильсен, Иван Луняев, Иван Пономарёв, Прохор Баев, Александр Шахнин, Павел Смиренников, Гавриил Анисимов, Александр Архиреев, машинист Владимир Губанов, кочегар Максим Шабатура.

Капитан судна „Св. Анна"

Лейтенант Брусилов

Место судовой печати

10 апреля 1914 г., в Северном Ледовитом океане (…)»

Вот тот официальный документ, на основании которого я должен был выступить во главе части команды шхуны «Св. Анна».

В этот же день всем нам был произведён подсчёт заработанным деньгам, которые нам должен был уплатить действительный владелец судна, давший деньги на экспедицию, московский землевладелец генерал-лейтенант Б.А. Брусилов. В правильности подсчёта мы все расписались.

Уже поздно вечером Георгий Львович в третий раз позвал меня к себе в каюту и прочитал список предметов, которые мы брали с собой и которые, по возможности, мы должны были вернуть ему. Вот этот список, помещённый на копии судовой роли: 2 винтовки «Ремингтон», 1 винтовка норвежская, 1 двухствольное дробовое ружьё центрального боя, 2 магазинки шестизарядные, 1 механический лаг, из которого был сделан одометр[1], 2 гарпуна, 2 топора, 1 пила, 2 компаса, 14 пар лыж, 1 малица 1-го сорта, 12 малиц 2-го сорта, 1 совик, 1 хронометр, 1 секстан, 14 заспинных сумок, 1 бинокль малого размера.

Георгий Львович спросил меня, не забыл ли он что-нибудь записать. По правде сказать, при чтении этого списка я уже начал чувствовать знакомое мне раздражение — и спазмы стали подступать к моему горлу. Меня удивила эта мелочность. Георгий Львович словно забыл, какой путь ожидает нас. Как будто у трапа судна будут стоять лошади, которые и отвезут рассчитавшуюся команду на ближайшую железнодорожную станцию или пристань. Неужели он забыл, что мы идём в тяжёлый путь, по дрейфующему льду, к неведомой земле, при условиях худших, чем когда-либо кто-нибудь шёл? Неужели в последний вечер у него не нашлось никакой заботы поважнее, чем забота о заспинных сумках, топорах, поломанном лаге, пиле и гарпунах? Мне казалось тогда, что другие заботы сделали его в последний день несколько вдумчивее, серьёзнее… Я сдержал себя и напомнил Георгию Львовичу, что он забыл записать палатку, каяки, нарты, кружку, чашки и ведро оцинкованное. Палатка была записана сейчас же, а посуду было решено не записывать. «Про каяки и нарты я тоже не пишу, — сказал он, — по всей вероятности, они к концу пути будут сильно поломаны, да и доставка их со Шпицбергена будет стоить дороже, чем они сами стоили в то время. Но если бы вам удалось доставить их в Александровск[2], то сдайте их на хранение исправнику». Я согласился с ним.

---

[1] *Одометр — прибор для измерения пройденного по суше расстояния.*

[2] *Александровск — ныне город Полярный.*

Сильно возбуждённый, ушёл я от командира вниз. По дороге остановил меня Денисов вопросом, где я буду вскрывать почту: в России или в Норвегии? Это было для меня последней каплей, и я уже не выдержал: наговорил ему целую кучу дерзостей и посулил за первыми ропаками побросать в полынью и почту, и сумки, и пилу, и чашки с кружками, так как далеко не уверен, доберусь ли я до почтового поезда в России или в Норвегии. Денисов удивлённо вытаращил на меня глаза и грустный ушёл к себе. Мне стало стыдно за свою вспышку. Денисов спрашивал меня потому, чтобы знать, как писать адрес на письме жене своей в Норвегию, но он попал в неудачную минуту. Денисова я любил более других. Он всегда со мною был такой предупредительный, так всегда охотно помогал мне, без всякой даже просьбы с моей стороны, так старательно и горячо принимал участие в моих сборах. За что я обидел его? Я послал попросить его вниз и извинился перед ним, объяснив причину моей вспышки, растолковал ему, что не знаю сейчас, куда удастся нам попасть: в Россию или в Норвегию. Но обещал ему, что во всяком случае, куда бы я ни попал, постараюсь, чтобы почта вся дошла до своего назначения.

Денисов ушёл примирённый.

Сумерки уже сгущались в тёмном помещении. Все укладывались спать. Грустно, тоскливо сделалось мне. Как будто я уже очутился среди безграничных полярных полей, без возврата назад и с неизвестностью впереди. В тот памятный для меня мрачный вечер, накануне моего ухода с судна, я уже с тревогой перебирал в уме своих спутников. Я сомневался и тогда в их здоровье и выносливости. Одному из них уже было 56 лет, все почти жаловались на ноги, а у одного даже открылись на них раны, у другого была грыжа, у третьего болела сильно грудь, и кашель не давал ему спать всю зиму, у всех была сильная одышка и сердцебиение.

Да, тоскливо, одиноко чувствовал я себя в тот поздний вечер. Я думаю, это было предчувствие чего-то тяжёлого, неотвратимого.

Последний день на «Святой Анне»

Но вот настал, наконец, день нашего отправления «домой». Давно я ждал наступления этого дня, готовился к нему, торопился с приготовлениями к отходу, но странно, когда наступил этот долгожданный день, мне стало жалко расставаться со «Св. Анной», жалко было покинуть её далеко на севере, в беспомощном положении.

Я сжился с этим судном и полюбил его. Если я испытал много лишений и неприятностей на нём, то видел зато много и хорошего, в особенности в первое время нашего плавания. Хорошие у нас у всех были отношения, бодро и весело переносили мы наши неудачи. Много хороших вечеров провели мы в нашем чистеньком ещё в то время салоне, у топившегося камина, за самоваром, за игрой в домино. Керосину тогда было ещё довольно, и наши лампы давали много света. Оживление не оставляло нашу компанию, сыпались шутки, слышались неумолкаемые разговоры, высказывались догадки, предположения, надежды. Лёд южной части Карского моря не принимает участия в движении полярного пака[1], это

[1] *Пак — скопление многолетних торосистых сплочённых ледяных полей.*

общее мнение. Поносит нас немного взад и вперёд в продолжение зимы, а придёт лето, освободит нас — и мы пойдём на Енисей. Георгий Львович съездит в Красноярск, купит что нам надо, привезёт почту, мы погрузим уголь, приведём всё в порядок и пойдём далее. «Св. Анна» ещё постоит за себя: судно хорошее, во всяком случае лучше разных «Нимвродов» и «Мучеников Фок»[1]. Немного, правда, холодновато наше помещение, но мы его устроим. Уголь возьмём на острове Диксона, а поедет Георгий Львович на нашем моторе[2], чтобы не терять времени на ожидание парохода. Так или иначе, во Владивосток мы придём. Может быть, конечно, мы потеряем лишний год, но что же из этого? «Зверобойное» судно должно заниматься промыслом, мы и будем им заниматься, благо в Сибирском море моржей видимо-невидимо. Таковы были наши планы, наши разговоры у самовара в салоне за чистеньким столом. «Наша барышня», Ерминия Александровна, сидела «за хозяйку» и от нас не отставала. Ни одной минуты она не раскаивалась, что «увязалась», как мы говорили, с нами. Когда мы шутили на эту тему, она сердилась не на шутку. При исполнении своих служебных обязанностей «хозяйки» она первое время страшно конфузилась. Стоило кому-нибудь обратиться к ней с просьбой налить чаю, как она моментально краснела до корней волос, стесняясь, что не предложила сама. Если чаю нужно «было Георгию Львовичу, то он предварительно некоторое время сидел страшно «надувшись», стараясь покраснеть, и когда его лицо и даже глаза наливались кровью, тогда он очень застенчиво обращался: «Барышня, будьте добры, налейте мне стаканчик». Увидев его «застенчивую» физиономию, Ерминия Александровна сейчас же вспыхивала до слёз, все смеялись, кричали «пожар» и бежали за водой.

Но это было давно, ещё в первую половину первой нашей зимовки, в начале дрейфа. Тогда «Св. Анна» была ещё такой чистенькой, такой нарядной, какой стояла в Петербурге у Николаевского моста, когда предлагалось желающим прокатиться на ней вдоль берегов Сибири «по стопам Норденшёльда». Ещё свежа была белая краска на её стенах и потолках, как зеркало блестело полированное красное дерево её мебели, и великолепные ковры украшали полы её кают.

Кладовые и трюм были битком набиты всевозможным провиантом и деликатесами. Чего только там не было! Орехи, конфеты, шоколад, фрукты, различные консервированные компоты, ананасы, ящики с вареньем, печенье, пряники, пастила и много, много другого, вплоть до самого существенного, до консервированного мяса и целых штабелей муки и крупы.

Но мало-помалу «Св. Анна» начала терять свой нарядный вид, мало-помалу начали пустеть её кладовые и трюм. Пришлось заделать досками световые люки, вставить вторые рамы в иллюминаторы или просто заколотить их, пришлось перенести койки от бортов, чтобы ночью одеяло и подушка не примёрзли к стене. Пришлось сделать вторую обшивку с прокладкой войлока и толя на потолки, пришлось подвесить тазы, чтобы с отпотевающих потолков вода не бежала на койки

---

[1] *«Нимврод» — последняя паровая шхуна, встреченная «Св. Анной» в Карском море. «Св. муч. Фока» — шхуна экспедиции старшего лейтенанта Г.Я. Седова, направлявшейся на Северный полюс, по мореходным качествам уступала «Св. Анне».*

[2] *Наш мотор — моторный катер «Св. Анны».*

и столы. Там и здесь появились куски парусины, приколоченные для той же цели. Вышел весь керосин, и для освещения уже давно стали пользоваться жестяными баночками, в которых в тюленьем или медвежьем жиру горели светильни.

Это «коптилки». От них очень мало свету, во всяком случае меньше, чем копоти. Зимой, когда температура в помещении колеблется от –2 °R ночью до +4 °R днём, когда воздух в помещении сырой, промозглый, с вечно носящеюся в нём копотью, эти «коптилки» не в силах разогнать целыми месяцами царящего мрака. Они дают только небольшой круг света на стол, а за этим кругом тот же мрак. При входе в помещение вы видите небольшое красноватое пятно вокруг маленького, слабого, дрожащего огонька, а к этому огоньку жмутся со своей работой какие-то силуэты. Лучше пусть остаются они «силуэтами», не рассматривайте их… Они очень грязны, сильно закоптели… Мыло у нас уже вышло, пробовали варить сами, но неудачно. Пробовали мыться этим самодельным мылом, но не рады были: не удалось соскоблить с физиономии эту «замазку». Бедная «наша барышня», теперь, если вы покраснеете, этого не будет видно под копотью, покрывающей ваше лицо!

Но на что похожи стены нашего салона и наших кают! По углам везде лёд и иней, постепенно утончающийся по мере удаления от бортов. Это самые чистые уголки: тут копоти нет, тут вы можете видеть причудливую игру самоцветных камней, светящихся даже при свете «коптилок». Но далее уже хуже: благодаря вечным подтёкам воды, вечной сырости краска пластами отстаёт от дерева и грязными закоптелыми лохмотьями висит по стенам. Под ними видно промозглое, потемневшее дерево, скользкое от сырости и плесени.

Но со всею этой копотью, со всею этой грязью, сыростью и холодом мы свыкались постепенно за полтора года. Благодаря этой постепенности, она не резала нам глаза, мы к ней привыкли. Потому-то мне и было жалко оставлять «Св. Анну» в то последнее утро, когда я проснулся в своей каюте. Как много воспоминаний было связано с каждой вещью в этой каюте, в которой я прожил полтора года! Как много я пережил в ней и передумал! Сам я придумывал, как выгоднее провести из нижней кухни эту дымовую трубу, чтобы она согревала возможно больше помещений, сам я придумывал и приспосабливал эту жировую «лампу-патент», которая тем не менее покрыла мои стены изрядным слоем сажи. В этой каюте, в последнее время в особенности, я жил совершенно отдельной жизнью. «Там», за стеной, жили «они» своей жизнью, и оттуда только временами долетали до меня отголоски «их» жизни, а «здесь» жил «я» своей жизнью, и отсюда к «ним» ничто не долетало. Последнее время моя каюта крепко держала в своих стенах все мои планы, опасения и надежды.

Но надо приниматься за дело. Выступление наше назначено было вечером 10 апреля. Я вышел на палубу, погода была на редкость хороша: первый настоящий весенний день в этом году. Тихо, не шелохнёт. На небе ни облачка. Солнце начинает заметно припекать, а на тёмных покрышках каяков снег даже таять начал. Взяв секстан и часы, я с помощью Денисова, заметившего моменты, взял высоты солнца. В полдень удалось взять хорошую меридиональную высоту, и я получил наше место: северная широта 82°58,5’ и восточная долгота 60°52’.

Тем временем мои спутники перетащили все каяки на правую сторону, выстроив их вереницей у сходни носами на юг. Мой каяк стоял головным.

Оказалось, что в три часа был назначен общий прощальный обед. Это, кажется, была мысль нашего стюарта Регальда и повара Калмыкова, нашего неунывающего поэта и певца. Он уже с утра готовится к нему и постарался не ударить лицом в грязь, оставив даже на время свою тетрадку со стихотворениями, с которой в обычное время никогда не разлучается. В нижнем же помещении стюарт накрывает столы, расставляет приборы, устанавливает скамейки, стараясь, чтобы обед был попараднее. А наверху всё пишут, пишут и пишут…

Подошло время обеда. Все разместились, сел и я, по своему обыкновению в стороне, со своими спутниками. Командир что-то задержался наверху. Настроение у всех, по-видимому, неважное, тоскливое, но все стараются его скрывать. Сквозь шутку, сквозь деланный смех проглядывает грусть разлуки и тревога как за уходящих, так и за остающихся. Остающиеся высказывают опасения, что тяжело будет тянуть по такому пути двоим нарты с общим грузом в 10 пудов, но уходящие храбрятся. Решено было, что до первой ночёвки нас пойдут провожать все и будут помогать тянуть нарты. Каждый брался помогать определённо одной какой-нибудь паре, к кому проявлялись наибольшие дружба и симпатия. При выборе этого провожатого, конечно, не последнюю роль играла и физическая сила, и потому каждый старается похвалиться своим провожатым или «буксиром», который должен вывести его «из тихой гавани в открытом море». «Этот попрёт. Вон у него какая ряшка». Ряшкой называют более или менее расплывающуюся физиономию провожатого. Со мной идёт китобой Денисов, и его действительно здоровая краснощёкая физиономия была, кажется, предметом зависти некоторых моих спутников. Но они делают равнодушное лицо и критикуют: «Ничего, что ряшка толста, зато кишка тонка». Заводится граммофон. Особенным успехом в последнее время пользуются пластинки «Сойди на берег…» и «Крики чайки белоснежной…». Эти пластинки за четыре дня Пасхальной недели ставятся, кажется, сотый раз. Всем они надоели, но тем не менее мотивы эти так и напрашиваются сами, так и сверлят мозг. У всех бывают, я думаю, такие мотивы, которые обязательно наводят вас на какое-либо определённое воспоминание. Эти воспоминания как бы неразрывно связаны с мотивом. Упомянутые пластинки всегда нам напоминали начало нашего плавания, когда мы, полные самых розовых надежд, весёлые, огибали берега Норвегии, когда, даже попав в ледяную западню, долго не падали духом, когда наш повар-поэт, набрав хор, целыми днями распевал сочинённую им большую поэму, которую, к сожалению, я не помню сейчас. Он очень уверенно говорил, что:

Под флагом матушки России
Мы с капитаном в путь пойдём
И обогнём брега Сибири
Своим красавцем кораблём…

Наконец-то сходит вниз и Георгий Львович. Начинается обед: Ерминия Александровна разливает суп и угощает. Все сильно проголодались, так

как привыкли обедать в 12 часов, а сейчас уже скоро четыре часа. Иногда кто-нибудь вымолвит слово, попробует пошутить, но, не встретив поддержки, замолкает.

Остающиеся особенно предупредительны с нами, уходящими, и усердно угощают то тем, то другим. Ведь это наш последний обед на судне, за столом, как следует сервированным. Придётся ли уходящим ещё когда-нибудь так роскошно обедать, а если и придётся, то всем ли? Обед проходит молча и грустно: все чувствовали себя не в своей тарелке. Как будто исполняя какую-то повинность, сидели мы все за этим парадным прощальным обедом.

Я поторопился наверх, чтобы взять ещё высоту солнца, так как горизонт начинал закрываться мглой. Солнце было красное, и всё предвещало перемену погоды. Нанеся наше место на свою карту, я отнёс её, хронометр, секстан и остальные пожитки в каяк. Брал я с собой кроме того, что было на мне, ещё две пары белья, остальное же всё платье и бельё раздал остающимся: мне это уже не понадобится. Взял я последнюю маленькую вещицу и положил её в боковой карман: это была маленькая иконка Николая Чудотворца. Моя каюта приняла пустой, нежилой вид. Бросив последний прощальный взгляд на неё, я вышел на лёд. Все мы были одеты по-дорожному: высокие сапоги, у кого кожаные, у кого тюленьи, а у иных и с парусиновыми голенищами. Все в парусиновых брюках и рубахах поверх тёплой одежды и в шапках с наушниками.

Интересную картину представляли эти люди, собравшиеся в путь, с лямками через плечо и лыжными палками в руках, и каяки, длинной вереницей вытянувшиеся по направлению на юг. Тёмные корпуса каяков, с приподнятыми носами, с белыми парусиновыми «полками» по бокам напоминали вереницу уток, собравшихся лететь в тёплые края. Так и казалось, что сейчас они взмахнут этими белыми крыльями и понесутся к югу. Но, увы, их надо было тащить и при этом сильно налегать на лямку плечом! Поверх каяков лежал различный скарб, не поместившийся внутри: вёсла, лыжи, малицы, ружья, палатка и пр. Возы эти, по правде сказать, были довольно тяжелы. Слишком узки были полозья у нарт, и они врезались глубоко в снег. Денисов уже все нарты попробовал тянуть и только сокрушенно покачивал головой. Но делать нечего. Я не желал пока ничего оставлять из взятого, к тому же это мы всегда успеем сделать. Ничего лишнего мы не брали, и всё это нам очень и очень пригодится. Провожать нас идут буквально все, не исключая и Ульки, последней собаки, оставшейся в живых из шести гончих, взятых Георгием Львовичем из имения своего дяди. На судне никого не оставалось. Вышел, наконец, Георгий Львович и встал позади моего каяка, готовясь помогать тащить его. Все стоят и чего-то ожидают… Я снял шапку и перекрестился… Все сделали то же. Кто-то крикнул «Ура», все подхватили, налегли на лямки, и мы тихо тронулись в наш далёкий путь… В то время ближайшая земля была от нас в 65 милях на StW. Это был мыс Флигели на Земле кронпринца Рудольфа. Но нас относило от этой земли неуклонно на север.

Вивиан Итин

Завоеватели Северного полюса

(глава из книги «Выход к морю»)[1]

1. Мечты об открытом море

Первыми людьми, стремившимися проникнуть к Северному полюсу, были мореплаватели. Сведения о существовании на севере «свернувшегося моря» (mare concretum), т. е. моря, покрытого льдом, относятся к глубокой древности. После открытия Америки и развития мореплавания в Индию, Китай, Японию, дававшего большие прибыли испанцам и португальцам, державшим в своих руках южные морские пути, в Англии и Голландии, которые тогда не могли соперничать в мореплавании с Испанией и Португалией, возникла мысль попытаться найти другой путь на восток, через Ледовитый океан. «Ибо, — как говорится в памятнике скандинавской старины «Королевском зерцале», — люди постоянно жаждут денег и добра и идут туда, где, по слухам, можно иметь прибыль, несмотря на грозящую большую опасность».

Удивительно, что задолго до открытия, в 1648 году, Федотом Алексеевым с казаками Дежнёвым и Анкудиновым пролива, отделяющего Азию от Америки (который впоследствии получил название Берингова), этот пролив, вероятно, по сведениям, дошедшим от туземцев, был известен европейцам. На старинных картах он нанесён под названием Анианского пролива. Северный морской путь из Атлантического океана в Тихий назывался тогда Северо-восточным проходом — вокруг Азии и Северо-западным проходом — вокруг Америки. В остальном сведения мореплавателей о Ледовитом океане были смутны или ошибочны.

Одним из наиболее странных заблуждений, продержавшихся до конца XIX века, была вера, что в центре Арктики находится чистое, свободное от льдов море. Эта ошибка поддерживалась наблюдениями русских промышленников и путешественников, которые, подъезжая зимой на нартах, запряжённых собаками, к краю неподвижного берегового льда, часто видели там свободное, вспененное волнами море.

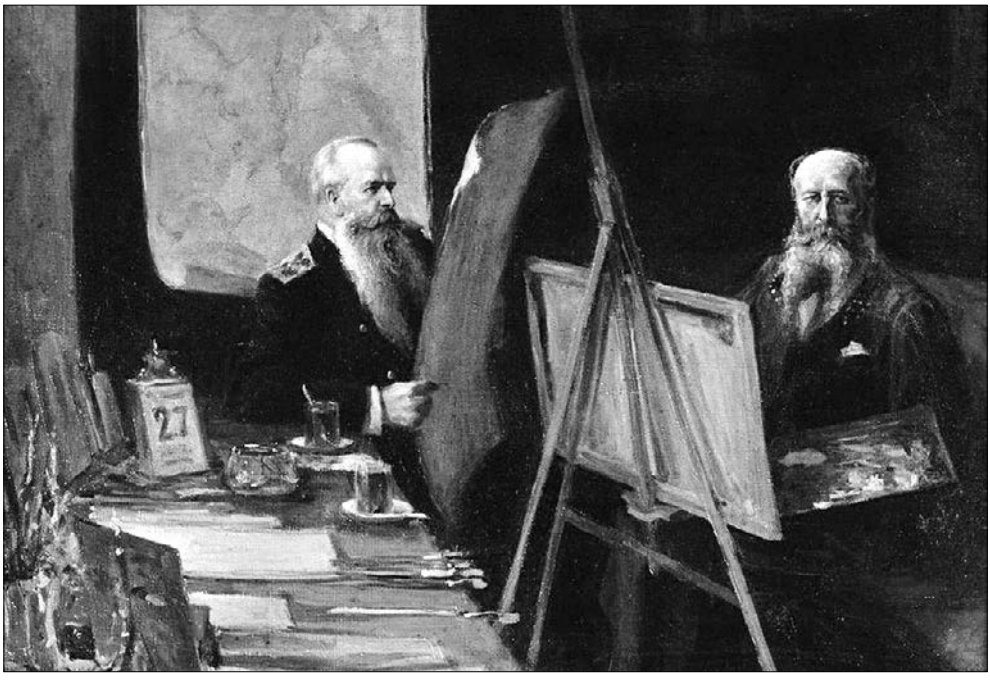
Теперь мы знаем причину этого явления. Ледовитый океан покрыт мощными многолетними льдами, но даже в самые суровые зимы он не замерзает целиком. Между отдельными льдинами, находящимися постоянно в движении, под влиянием ветров и течений, остаются трещины, более или менее значительные пространства чистой воды. Только у берегов образуется неподвижный лёд, подобный льду наших рек и озёр. Это так называемый припай. Наибольшего развития припай достигает у берегов Сибири, в море Лаптевых и Восточно-Сибирском

[1] *Опубликовано в журнале «Сибирские огни», 1938 г., № 1.*

море. Зимой, когда дуют южные ветры, плавучие или дрейфующие льды относит от края неподвижного льда, образуется широкая полынья с необозримыми границами, которую и принимали за открытое море. Если бы старинные промышленники и путешественники, видевшие эту «великую сибирскую полынью», могли переплыть её или подняться над ней на самолёте, они снова увидели бы пространства плавучего льда, простирающегося на тысячи километров. Но они, конечно, не могли этого сделать.

Теорию открытого моря у Северного полюса разделял и первый великий русский учёный и поэт Михаил Ломоносов, организатор первой попытки русских моряков пройти в Тихий океан через район Полюса. Ломоносов прекрасно понимал значение Северного морского пути для России. В своём знаменитом сочинении «Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» он писал:

«Россия, имея Северный океан, лежащий при берегах, себе подданных и по большей части исследованных и описанных, за одним только льдом и стужею не продолжает своих важных и преславных предприятий, дабы достигнуть к тем берегам восточным, где не токмо от неприятелей безопасно, то и свои поселения и свой флот найдет. Не на великом пространстве в разных климатах, которые разнятся семьюдесятью градусами, предприять долговременный морской путь россиянам нужно; но между 80-м и 65-м северной широты обращаться. Нет страху, ни от крутых, море похищающих вихрей, ни от ударов туч, корабли от воды отрывающих, которые в северных морях нигде не примечены.



Адмирал флота С. О. Макаров и художник В. В. Верещагин. Погибли на крейсере «Петропавловск» 13 апреля 1904 г.

Не опасна долговременная тишина с великими жарами, отчего бы члены человеческие пришли в неудобную к понесению трудов слабость; ни согнитие воды и съестных припасов и рождение в них червей; ниже моровая язва и бешенство в людях: все сие стужею, которой так опасаемся, отвращено будет. Самое сие, больше страшное, нежели вредное препятствие, которое нашим северным россиянам не так пагубно, превратится в помощь.

Сии преимущества довольны быть кажутся, чтобы побудить к новым предприятиям к обысканию Северного ходу Сибирским океаном».

«Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений Европейских в Азии и в Америке», — заключал Ломоносов[1].



Михаил Васильевич Ломоносов, русский учёный и поэт

Те же мысли мы находим в звучных стихах, в героической поэме Ломоносова «Пётр Великий», написанной одновременно с арктическими проектами. Здесь, для большей убедительности, Ломоносов приписал свои мысли Петру I. На корабле, бегущем по бурному Белому морю, указывая «на полночь», Пётр I говорит своим спутникам:

«Какая похвала Российскому народу:
Судьбой дана — пройти покрыту льдами воду.
Хотя там, кажется, поставлен плыть предел,
Но бодрость подают примеры славных дел.
Полденный света край обшел отважный Гама[2]
И солнцева достиг, что мнила древность, храма.
Герои на морях Колумб и Магеллан,
Коль много обрели безвестных прежде стран,
Подвигнуты хвалой, исполнены надежды,
Которой лишены пугливые невежды,
Презрели робость их, роптанье и упор,
Что в них произвели болезни, голод, мор.
Иное небо там и новыя светила,

[1] *Ломоносов В. Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию. 1764.*

[2] *Васко да Гама (1460 или 1469—1524) — португальский мореплаватель, первый европеец, совершивший морское путешествие в Индию.*

Там полдень в севере, ина в магните сила;
Бездонный Океан травой, как луг, покрыт;
Погибель в ночь и в день со всех сторон грозит.
Опасен вихрей бег, но тишина страшнее,
Что портит в жилах кровь свирепых ядов злее.
Лишает долгой зной здоровья и ума,
А стужа в севере ничтожит вред сама.
Сам лед, что кажется столь грозен и ужасен,
От оных лютых бед даст ход нам безопасен.
Колумбы Росские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь отворят на восток,
И наша досягнет в Америку держава…»

В своих многочисленных «одах похвальных», обращённых к правившим в его время царям и царицам, Ломоносов вместе с официальными восхвалениями, как говорится, между строк излагал и свои заветные мысли, в том числе постоянно пропагандировал идею Северного морского пути. В этих поэтических отрывках, проникнутых подлинным высоким чувством гения и патриота, стих Ломоносова выделяется из общего текста, наполненного скукой напыщенных придворных фраз, становится живым и прекрасным.

Напрасно строгая природа
От нас скрывает место входа
С брегов вечерних на восток,
Я вижу умными очами
Колумб Российский между льдами
Спешит и презирает рок.[1]

Итак, «строгая природа» скрывает льдами «место входа» в открытое Полярное море. Надо только найти этот вход, и путь на восток будет открыт.

Первоначально Ломоносов держался верной мысли — плыть на восток между 65 и 80 градусами северной широты, идя сначала на северо-восток, потом на восток и на юго-восток, вдоль дуги большого круга, т. е. в основном так же, как теперь ходят советские моряки, осуществившие мечту Ломоносова. Но впоследствии, под влиянием иностранных источников, Ломоносов изменил своё мнение. На основании различных теоретических соображений, отчасти верных и свидетельствующих о глубине мысли, но в основном основанных на ошибке, Ломоносов предложил идти через Ледовитый океан, между Гренландией и Шпицбергеном, затем близ Полюса, придерживаясь американского берега, а на обратном пути — сибирского. Потому что «главное течение океана, повсюду где человеческое рачение достигло, примечено от востока на запад; следовательно, и в Сибирском океане тому быть должно», — писал Ломоносов.

[1] *На день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны, 1752 г. Сочинения М. Ломоносова в стихах. СПб., 1893.*

Теперь мы знаем, что путь, указанный Ломоносовым, не под силу не только парусным судам, но даже самым мощным современным ледоколам. Поэтому экспедиция по проекту Ломоносова не могла быть успешной. Но Ломоносов твёрдо верил в открытое море у Северного полюса.

К концу своей жизни Ломоносов добился осуществления экспедиции. В 1764 году было «повелено снарядить экспедицию для прохода Северным океаном на Камчатку и держать её в глубочайшей тайне даже и от Сената до времени, а официально называть: «Экспедициею о возобновлении китовых и других звериных и рыбных промыслов».

Экспедиция была подготовлена, при близком участии Ломоносова, очень тщательно. В 1764 году на Шпицберген были завезены избы и устроено зимовье — родоначальник будущих наших полярных станций. В 1765 и 1766 годах из Колы[1], на Мурманском заливе, дважды ходили на север три корабля под начальством капитана Василия Чичагова. Они, разумеется, не достигли Камчатки, но Чичагов несомненно храбро стремился вперёд. Его остановили необозримые сплошные льды. В 1766 году он достиг 80°30' северной широты, что оставалось рекордом для русских мореплавателей до самого последнего времени, когда советские моряки побили все мировые рекорды свободного плавания в наиболее высоких широтах.

Чичагов вернулся и был награждён Екатериной II «месячным окладом» вместе со всей командой, но материалы его экспедиции и все сочинения Ломоносова пролежали в архивах 80 лет и впервые были опубликованы только в 1847 году. Между тем английские и голландские китобои также, ещё в XVII веке, заходили далеко вглубь Арктики. К сожалению, полагаться на достоверность их сообщений невозможно. «Среди полярных китобоев было в то время почти в обычае» — прихвастнуть и прибавить несколько градусов широты к своим достижениям. Чичагов в «оправдательной записке» о своих плаваниях в 1765—1766 годах считал невероятным, «чтобы бывали люди выше 81 градуса к северу. Но то разве не в нынешнем веке; а ныне, как шкипера сказывали, что льды против времен умножились, и никто уже на восточную сторону Шпицбергена не ходит, а прежде, лет 60 назад, имели там промыслы; однако один шкипер сказывал, что он нынешнее лето был в 81 градусе, в то самое время, когда и мы поблизости его находились, и еще на несколько севернее, а потому и видна его погрешность. Последний пункт нашего места к северу, июля 18-го числа, по исправной обсервации был в 80°30', а потому и заключить можно, что не все известия вероятны».

«Некоторые китобои, — пишет профессор Визе, — доходили до явного вранья. Так, например, английского гидрографа Моксона, жившего во второй половине XVII века, один штурман уверял, что он был на Северном полюсе и даже «проходил на два градуса по ту сторону Полюса; там не было льда, а погода стояла такая же прекрасная и теплая, как в Амстердаме летом». Впрочем, рекорд

[1] *Кола — старинный город и порт на Кольском полуострове, который неоднократно посещал М.В. Ломоносов.*

вранья китобоев побил некий португалец Мельгер. В упомянутом своём сочинении Ломоносов писал: «Господин Бюэш, Королевской Парижской Географ, на изданной от себя полярной карте показывает, что некий португальский мореплаватель именем Мельгер с клятвой объявил, что он 1660 года марта 14 дня вступив в путь из Японии, прошел в Португалию Сибирским Океаном; дорога его назначена точками, мимо Чукотского носу, позади Полюса, между Шпицбергеном и Гренландией, и наконец между Исландиею и Англиею».

Сам Ломоносов несомненно был склонен верить в это сказочное путешествие. Путь, указанный им в его проекте, в точности совпадает с фантастическим путём Мельгера, — только в обратном направлении.

Ложь, конечно, не принесла славы китобоям, а отняла её. В конце XVII века шкипер Корнелий Роуль открыл Землю Франца-Иосифа. Его описание соответствует действительности. Но он не преминул поместить эту землю на четырепять градусов севернее, и слава её открытия ныне принадлежит австрийской экспедиции Вайпрехта, случайно побывавшей там через двести лет после Роуля.

Так случилось, что советская земля до сих пор незаслуженно носит имя последнего императора Австро-Венгрии.

2. Парри и Пири

Китобои ходили на север и рассказывали о своих подвигах, подобно охотникам с картины художника Перова, пока существовали киты, совершенно истреблённые в европейских водах в прошлом веке. Но в начале XIX века промысел ещё приносил огромные доходы. Китобой Скорзби был не только китобоем, но и серьёзным исследователем. Он не прибавлял градусов к своим достижениям. В 1806 году Скорзби поднялся на градус севернее русских моряков, снова встретив непроходимые льды. Тогда он впервые высказал мысль, что мечта об открытом Полярном море ни на чём не основана, что никакого открытого моря у Полюса нет, напротив — оно сплошь покрыто льдами. А потому, мол, и легко будет достигнуть Полюса, если, забравшись подальше на север, спуститься оттуда по льду на санях, подобно эскимосам и сибирским промышленникам.

Мысль китобоя была осуществлена через сто лет Робертом Пири. Первым же пустившимся к Полюсу на санях, вернее таща сани по льду, был англичанин Парри. В 1827 году он вышел с северного берега Шпицбергена. «Надежду на использование собак или оленей, чтобы тащить сани, скоро пришлось совершенно оставить. Вместо этого сам Парри, его офицеры и экипаж в составе 28 человек вынуждены были тащить сани через лёд, который к тому же не был ровным, но состоял из нагромождённых торосов и был трудно проходим»[1].

Так Парри прошёл по льдам 480 километров. Наблюдения же показали, что он приблизился к Полюсу всего на двести километров. Течение шло навстречу и относило льды на юго-запад. Парри достиг 82°45' северной широты, откуда повернул обратно. Всё-таки он побывал севернее, чем кто-либо до него.

[1] *Альман А. Борьба за Северный и Южный полюсы. Л.: Красная газета, 1930.*

Экспедиция Парри установила, что льды, покрывающие Ледовитый океан, мало походили на те ровные неподвижные ледяные поля, которые он рассчитывал встретить. Лёд океана был разбит на отдельные льдины, разделённые трещинами, забаррикадирован торосами, т. е. грядами нагромождённых друг на друга льдин, тянущимися на десятки километров, и, наконец, лёд этот постоянно двигался и относил экспедицию в сторону.

С тех пор, в течение ста лет, Полюс оставался влекущей тайной для человечества, пока её не разгадали окончательно советские герои.

В XIX и начале XX века стремление к Полюсу становится не столько жаждой истины, сколько опасным спортом, жаждой личной славы и славы для своей страны. Экспедиция за экспедицией отправлялись к Полюсу, но Полюс оставался непобеждённым.

«Невозможно достигнуть Полюса», — телеграфировал Георг Нэрс, начальник одной из наиболее тщательно подготовленных английских экспедиций, когда на обратном пути, в 1876 году, он дошёл до первого порта. Но то, что кажется «недостижимым», ещё больше влечёт сильных духом людей. И Полюс был однажды достигнут на собачьих упряжках шестью храбрецами во главе с американцем Робертом Пири. Остальные были: негр Хенсон и четыре гренландских эскимоса.

Советским лётчикам, для того чтобы достичь Полюса, считая с вылета из Москвы, потребовалось около двух месяцев. Пири же потратил на осуществление своей мечты 23 года. Шесть раз он пускался в путь к Полюсу, пока наконец достиг его 6 апреля 1909 года. «Основным правилом физики, — говорил Пири, — является положение, что тело движется по линии наименьшего сопротивления. Но этот принцип кажется мало применимым к непоколебимой воле человека. Всякое препятствие физического или морального характера, которое становилось на моём пути, была ли то чистая вода, в ледяной пустыне Полярного моря, или сопротивление общественного характера, служило только побудительной причиной для осуществления моего решения: достичь твёрдо поставленной цели моей жизни, если только моя жизнь окажется достаточно продолжительной».

В 1908 году на ледоколе «Рузвельт» Пири забрался возможно дальше к северу, вдоль западного берега Гренландии.

Гренландия — величайший из островов земного шара — наглядное доказательство существования ледникового периода в наше время и на широте Ленинграда. Средняя толщина льдов Гренландии достигает 1 600 метров. Если бы эти льды растаяли, уровень океана поднялся бы метров на восемь.

Ледники Гренландии доказывают, что для возникновения ледникового периода не нужно каких-либо планетарных катастроф или периодического ослабления солнечной радиации. Эти колебания сравнительно незначительны и быстры. В настоящее время, может быть под тяжестью льдов, Гренландия медленно опускается, а лежащая на другом берегу океана Норвегия поднимается приблизительно на метр в столетие. Если этот процесс будет продолжаться или если в него не вмешается гений человека, то через 50—60 тысяч лет Норве-

гия соединится с Исландией, изменятся пути морских течений, на вершинах Норвегии, распространяясь всё шире, начнут нарастать льды, которые со временем поглотят большую часть Европы. Льды же Гренландии растают. Затем начнётся обратный процесс.

Только узкая прибрежная скалистая полоса Гренландии частично свободна от льдов. И всё-таки, несмотря на суровость условий, здесь живут люди. Это эскимосы — самые северные из племён. Они кочевники, добывающие себе пропитание главным образом охотой на морского зверя. В отличие от наших сибирских северных народностей, гренландские эскимосы, во время зимних кочёвок, не возят с собой своих жилищ. Они строят хижины из снега. Надо сказать, что арктический снег мало походит на рассыпчатый снег наших широт. Могучими ветрами он уплотняется, превращаясь в довольно твёрдое вещество — «убой», как говорят на севере, — которое легко можно резать ножом, приготовляя строительный материал любого фасона. Выбрав подходящее место, эскимос обкладывает себя кругом такими сложными кирпичами. Над ним смыкается сплошной снежный купол. Тогда изнутри прорезается «дверь», устраивается снежная лежанка, покрытая шкурами, зажигается жировик или лампа — и жилище готово. По словам Пири, некоторые эскимосы строили свои хижины в полчаса. Постройка занимала у них не больше времени, чем установка палатки. Между тем снежная хижина эскимосов теплее и надёжнее любой палатки!

Пири не достиг бы Полюса, если бы не привлёк эскимосов. Он нанимал их целыми семьями, целыми посёлками. В последнем его походе участвовало 22 эскимоса, 17 эскимосских женщин и 10 детей. Только эти охотники, искусные погонщики собак и строители снежных хижин, больше всех других жителей земли привыкшие к арктическим пустыням, обусловили возможность исторической победы Роберта Пири.

С «Рузвельта» Пири двинулся к мысу Колумбия, самому северному мысу самого северного из американских островов. Выбор был правилен не только потому, что максимально сокращал расстояние до Полюса, которое предстояло пройти по океанским льдам, но и потому, что система течений здесь была благоприятнее, чем для других путешественников, пускавшихся к Полюсу со Шпицбергена или с Земли Франца-Иосифа.

С мыса Колумбия экспедиция Пири начала движение прямо к Полюсу, по дрейфующим льдам, преодолевая многочисленные полыньи. С Пири было 7 членов экспедиции, 17 эскимосов и много собак. Эскимосы строили снежные хижины и устраивали склады провианта на обратный путь. Часть людей Пири постепенно отсылал обратно. На 87°46'49" северной широты была отослана назад последняя вспомогательная партия во главе с капитаном Бартлетом. Пири не хотел, чтобы славу достижения Полюса с ним разделил кто-либо из «белых» людей. Так случилось, что вместе с Пири и эскимосами одним из первых людей, побывавших на Северном полюсе, был житель тропической Африки, неизменный спутник Пири во всех его экспедициях к Полюсу, негр Мэтью Хенсон. Он «отличался исключительной работоспособностью и был чрезвычайно

предан нашему общему делу, — пишет о нём Пири. — Вместе со мной он испытывал все лишения и трудности работ в суровых условиях Арктики. Человека, который бы умел так искусно обращаться с санями, и лучшего каюра[1] трудно сыскать; в этом отношении с ним могли соперничать лишь некоторые эскимосы-зверобои».

Мэтью Хенсон, теперь уже седой старик, вопреки человеконенавистническим фашистским теориям превзошедший представителей «северной расы» в таком деле, как достижение Северного полюса, в настоящее время живёт в Нью-Йорке и неизменно с большим уважением отзывается о работе советских героев-полярников.

Перед последним походом Пири записал в своём дневнике: «Наконец — Полюс. Цена трёх столетий. Моя мечта и цель в течение 20 лет. Наконец, мой. Я этого ещё не могу осмыслить. Всё кажется таким простым и понятным».

Взяв с собой лёгкие сани и инструменты, Пири в сопровождении двух эскимосов быстрым маршем двинулся вперёд и прошёл ещё 18 километров. Небо прояснилось, и наблюдения показали, что Пири находился по ту сторону Полюса.

«Условия, в которых мы находились, — пишет Пири в своей книге, — казались нам столь своеобразными, что едва укладывались в нашем понимании. Но особенно замечательным мне казалось то обстоятельство, что в течение марша в несколько часов мы, пройдя вершину мира, перешли из Восточного полушария в Западное. Так трудно себе было представить, что мы в течение первых километров нашего марша шли прямо на север, а во время последних километров того же самого марша подвигались на юг, хотя всё время шли в одном и том же направлении. Трудно себе представить лучшую иллюстрацию относительности всех вещей».

«Когда мы были на обратном пути, которого никто до нас не видел и вряд ли когда-либо увидит, я был охвачен представлениями, единственными в своём роде. Запад, восток и север исчезли для нас, нам оставалось только одно направление, и это был юг. Всякий ветер, откуда бы он ни дул, был южным ветром. Там, где мы стояли, один день и одна ночь вместе равнялись одному году, и сто таких дней и ночей составляли столетие. Если бы мы здесь оставались шесть месяцев в течение зимней ночи, мы могли бы наблюдать, как все звёзды Северного полушария совершают круг над горизонтом, а Полярная звезда находится над нами в зените»[2].

Кроме подобных переживаний, которые доступны сейчас каждому школьнику, Пири привёз мало существенного о Северном полюсе. В сравнении с затраченными усилиями научные результаты экспедиции Пири ничтожны. Дважды он пытался измерить глубину океана в районе Полюса, но дна не достал. Во второй раз лот оборвался и утонул. Эскимос с удовольствием сбросил тяжёлую лебёдку с нарты.

---

[1] *Каюр — погонщик собак.*

[2] *Самойлович Р. Л. Путь к полюсу. Л.: Изд-во Всесоюзного арктического института, 1933.*

Первыми людьми, измерившими глубину океана у Полюса, были папанинцы, и она оказалась в полтора раза больше, чем показали измерения Пири, — более четырёх километров.

Не успел Пири вернуться, как узнал, что у него нашёлся конкурент. Доктор Кук заявил, что это он, а не Пири первый достиг Полюса. Оба они бешено обвиняли друг друга во лжи. Только впоследствии путешественники узнали от эскимосов, сопровождавших Кука, что этот любитель лёгких успехов отъехал в океан на один день санного пути, водрузил на льдине американский флаг, сделал фотографический снимок и объявил, что достиг Полюса.

3. Первая дрейфующая станция

Неимоверные трудности санных экспедиций к Полюсу и невозможность соединить с ними серьёзные научные работы, снова и снова, несмотря на все прошлые неудачи, побуждали посылать к Полюсу корабли. В течение почти всего XIX века не исчезает надежда найти «место входа» если не в открытое Полярное море, то во всяком случае в разреженные льды.

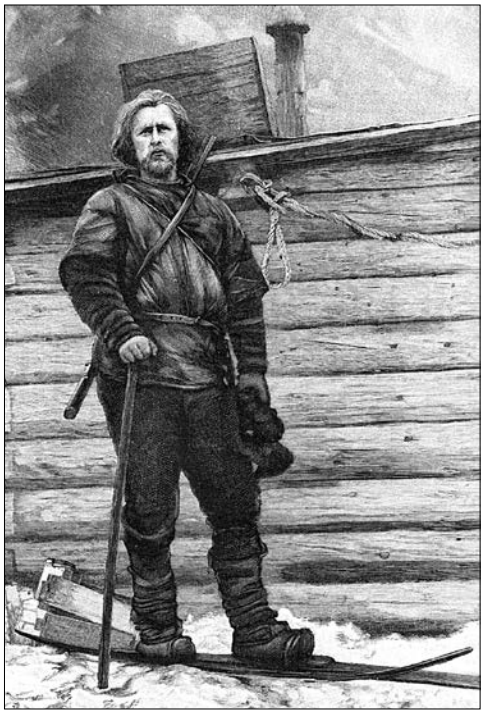
Одним из последних искателей морского пути к Полюсу был американец Де Лонг. В 1879 году он прошёл Берингов пролив, сначала с целью розысков Норденшёльда, который зазимовал в Колючинской губе и о котором тогда ещё не было сведений. Узнав, что Норденшёльд благополучно вышел в Тихий океан, Де Лонг повернул к Полюсу. Это было, конечно, ещё более безнадёжное предприятие, чем даже экспедиция Чичагова, так как льды в притихоокеанской части Арктики опускаются на тысячу километров южнее и более мощны, чем льды приатлантической Арктики, куда вливаются струи тёплого атлантического течения. Де Лонг же был так уверен в успехе, что взял с собой специальный медный ящик с выгравированными именами участников экспедиции, который он намеревался оставить на Северном полюсе. Недалеко от острова Врангеля судно экспедиции Де Лонга «Жаннетта» вошло во льды и скоро было остановлено ими. Выбраться из льдов Де Лонг уже не мог. «Жаннетта» начала дрейфовать вместе со льдами.

Вскоре дрейф обнаружил ясную закономерность. Льды двигались с востока на запад.

Через два года непрерывного дрейфа, недалеко от Новосибирских островов, участники экспедиции открыли новые острова — остров Бенетта, остров Генриетта и остров Жаннетта, — получившие название островов Де Лонга. На одном из них в прошлом году построена 57-я советская полярная станция. Тогда же это были пустынные, отрезанные от всего мира, оледенелые скалы. Здесь «Жаннетта» была окончательно раздавлена льдами и пошла ко дну. Де Лонг со своими спутниками добрался на лодках до дельты Лены. Здесь он погиб от голода и холода вместе с частью своей команды. Но часть людей спаслись и рассказали о судьбе «Жаннетты».

А ещё через три года на южном берегу Гренландии были найдены несколько предметов с погибшей «Жаннетты». Ещё раньше на берегах Гренландии, где не растёт ни одного дерева, находили стволы деревьев, ободранные льдом. Стволы эти чаще всего были сибирского происхождения. Сосна и кедр с Оби

или Енисея, лиственница с берегов Лены и Колымы, унесённые весенним разливом, становились великими путешественниками и плыли вместе со льдами океана. Профессор Мон высказал мысль, что, очевидно, льдину с вмёрзшими в неё вещами с «Жаннетты» пронесло через весь Арктический бассейн.



Полярный исследователь Фритьоф Нансен. Обложка журнала «Нива», 1892 г.

Тогда выступил Нансен со своим гениально-простым и смелым проектом дрейфа через Ледовитый океан.

«Нельзя не прийти к выводу, — писал Нансен, — что течение (в Северном Ледовитом океане) проходит или через Полюс, или во всяком случае очень близко от него, где-то между Гренландией и Шпицбергеном. В таком случае дело обстоит очень просто. Надо войти в течение по ту сторону Полюса, где оно направляется к северу, и с помощью этого течения проникнуть в области, куда все прежние исследователи тщетно старались попасть, идя против течения»[1].

Но легко сказать «войти в течение». До сих пор все мореплаватели боялись этого течения, заковывающего корабли в свой смертельный ледяной дрейф. Китобои считали корабль, которому не удалось до наступления зимы выбраться из льдов, погибшим. Экспедиция Де Лонга подтверждала, что рано или поздно корабль, захваченный льдами, будет раздавлен.

«Надо построить такой корабль, — думал Нансен, — который бы при сжатии не сопротивлялся льдам, а выскакивал из них, как арбузное семечко из пальцев».

Так был построен «Фрам», что значит «вперёд», крепкий и круглый, как яйцо. Летом 1893 года Нансен на «Фраме», с небольшой командой и запасом продовольствия на пять лет, вышел в свой исторический поход. Он прошёл через льды Карского моря и, впервые после Норденшёльда, снова обогнул мыс Челюскин. Путь к Новосибирским островам был сравнительно лёгким. Дойдя до северной кромки льда, «Фрам» вмёрз в него на широте 78°50’ и восточной долготе 133°30’, недалеко от места гибели «Жаннетты». Всё случилось, как рассчитывал Нансен. Началась зима, льды сдвинулись, но «Фрам» остался невредимым.

«Лёд теснится и громоздится вокруг нас со всех сторон, — писал Нансен, сидя в своей каюте, — ледяные глыбы нагромождаются друг на друга, почти

[1] *Зубов Н. Большевики — завоеватели Северного полюса // Новый мир. 1937. № 9. С. 207—218.*



Команда на корабле «Фрам», построенном Фритьофом Нансеном

касаясь такелажа судна. Лёд напрягает все свои силы, чтобы истереть «Фрам» в порошок. Шум постепенно возрастает и становится подобным звуку всех труб органа вместе, судно дрожит и трясётся, поднимаясь то толчками, то потихоньку. Но мы сидим в наших уютных каютках совершенно спокойно и даже выходим наверх посмотреть на хаос. Приятно сознавать, что судно крепко — другие суда были бы давно раздавлены».

Ледяные поля сошлись, и «Фрам» остался на них, как на подносе. Дрейф «Фрама» со льдами продолжался три года. 15 ноября 1895 года «Фрам» достиг 85°56’ северной широты, где ни до него, ни после не бывало ни одно судно. Затем направление дрейфа постепенно сменилось на юго-западное. В августе 1896 года «Фрам» вышел на чистую воду около Шпицбергена и благополучно вернулся в Норвегию.

Сам Нансен вернулся на шесть дней раньше своего корабля, проделав ещё более замечательный путь. Когда выяснилось, что «Фрам» не достигает Северного полюса, Нансен сошёл с корабля и с одним спутником, Иогансеном, с одной упряжкой собак отправился дальше на север.

Нансен дошёл до 86°14’ северной широты — севернее, чем кто-либо до него. Дальше простирались такие же торосистые льды, покрывавшие глубокий океан. Нансен повернул на юг и направился к Земле Франца-Иосифа.

«Не слишком ли велики крылья, которые даёт человеку его дух, — думал Нансен. — Больше, чем мы можем выдержать».

Одно смертельное препятствие сменялось другим. Путешественники достигли земли, когда была съедена последняя собака и последний сухарь. Первой их заботой было запастись пищей и топливом на зиму. Пищей служило мясо белых медведей, топливом — жир моржей. Они построили хижину из камней, покрытую шкурой моржа. Там горела лампа, сделанная из металлических полос, которыми были подбиты сани. В лампе топилось моржевое сало, вместо фитиля плавал кусок марли.

Куски сала в лампе пригорали. Путешественники называли их «пирожными». Они казались им необыкновенно вкусными. Это был лучший десерт после медвежьего мяса, изжаренного в тонком медвежьем жиру, напоминавшем домашний тресковый жир.

Ежедневно производились метеорологические наблюдения, но научные работы занимали немного времени. Чтобы полярная зима промелькнула быстрее, путешественники старались как можно больше спать. Такой режим нисколько не вредил их здоровью. К концу зимы Нансен прибавил в весе на пуд.

Нансен был не только учёным, но и выдающимся спортсменом. В юности он взял однажды мировое первенство по конькам. Успех его исключительной зимовки надо отнести не столько к физической выносливости, сколько к моральной выдержке. И воспоминание об этом подвиге наполняет сознание неистребимым оптимизмом, когда думаешь о людях, затерянных в пустынях Арктики.

Весной Нансен и Иогансен двинулись к южным берегам архипелага. Здесь они счастливо встретили английскую экспедицию Джексона, которая вскоре доставила их на родину.

Путешествие Нансена было первым путешествием вглубь Арктики, принёсшим действительно ценные научные сведения. «Наше путешествие, — писал Нансен, — приподняло значительную часть завесы, покрывавшей большую неисследованную область около Полюса, и дало нам возможность составить себе довольно ясную достоверную картину той части нашей земли, которая до сих пор была отдана в добычу фантазии. Но мы не должны останавливаться на этом, ещё немало загадок зовёт нас к новой работе на Севере, и многие могут разрешить только долгие годы наблюдений».

Самому Нансену не удалось осуществить свои дальнейшие планы. Это сделали советские исследователи.

4. «Орёл» и колбаса

Итак, Полюс не был достигнут ни Нансеном, ни «Фрамом». Льды снова оказались непреодолимой преградой. Но зачем биться с этими льдами, когда есть свободный путь? Вот он, — всюду, — это воздух.

Первым воздухоплавателем в Арктике был шведский инженер Соломон Август Андре. Через год после возвращения «Фрама», 11 июля 1897 года, Андре вылетел к Полюсу на воздушном шаре «Орёл».

База была устроена на северном побережье Шпицбергена. Андре рассуждал просто: надо дождаться южного ветра, и южный ветер принесёт шар к Полюсу. Он так и сделал. Дождался южного ветра, отдал концы и полетел к северу.

Андре с двумя спутниками и его шар пропали бесследно. С пути Андре удалось передать о себе несколько известий с помощью голубей и буйков, но все эти записки рассказывали о благополучном полёте. Других сведений не было.

Андре долго искали, но безрезультатно. Говорят, царское правительство также разослало циркуляр по северным окраинам России с предложением «произвести дознание о пропавшем аэростате Андре». На что якутский становой пристав рапортовал: «Во вверенном мне стане арестанта Андрея не обнаружено». Тем дело и кончилось.

Только в наше время, в 1930 году, одна экспедиция неожиданно нашла на маленьком острове Белом, лежащем к востоку от Северо-Восточной Земли архипелага Шпицбергена[1], труп Андре и его спутников. В их одежде были найдены дневники, записные книжки и даже фотографические плёнки, которые удалось проявить, так что теперь мы не только знаем судьбу экспедиции Андре, но и «видим» отдельные её моменты.

Шар Андре достиг почти 83° северной широты. Здесь он окончательно отяжелел от тумана и оледенения — самого грозного врага всех воздухоплавателей и лётчиков в полярных странах. Андре и его спутники покинули шар и отправились пешком к Земле Франца-Иосифа. Но дрейф льдов относил их назад. Выбившись из сил, они повернули к Шпицбергену. Здесь, на острове Белом, они погибли от истощения и холода.

Андре ясно представлял себе грозящую опасность, но, несмотря на это, писал в своём дневнике во время полёта: «Изумительно парить здесь над Ледовитым океаном! Скоро ли у нас будут последователи? Сочтут ли нас сумасшедшими или же последуют нашему примеру? Я не стану отрицать, что нами всеми тремя владеет горделивое чувство. Мы считаем, что спокойно можем принять смерть, сделав то, что мы сделали».

9 октября 1930 года останки Андре и его спутников — Стринберга и Френкеля были преданы огню в крематории, в Стокгольме.

«На торжественном заседании, посвящённом памяти первых полярных воздухоплавателей, секретарь Шведской академии наук Эрик Карлсфельд сказал: «Многое прошло с тех пор, как вылетел Андре. Если представить себе, что Андре мог бы сейчас вернуться сюда живым, то он увидел бы подтверждение своей твёрдой веры в науку и технику. За его бедным «Орлом», слабым и с подрезанными крыльями, последовали летательные аппараты, достаточно мощные для того, чтобы противостоять силам природы. Его заблудившегося голубя заменили говорящие волны, передающие человеческое слово через безграничные пространства. Андре был первым, проложившим новый путь и возвестившим: «Мы будем летать, как орлы, и ничто не сломит наших крыльев»[2].

Через десять лет после гибели Андре американский журналист Вальтер Уэльман решил повторить полёт на воздушном шаре к Полюсу. Его не столько интересовал Полюс, сколько газетная сенсация, раздутая им вокруг полёта,

---

[1] *В некоторых популярных изданиях говорится, что остатки экспедиции С.А. Андре были найдены на острове Белом в Карском море, но это явная ошибка.*

[2] *Визе В.Ю. Моря Советской Арктики. Л.: Изд-во Главсевморпути, 1936.*

и связанные с ней материальные выгоды. Американские газеты в течение нескольких лет рекламировали предприятие Уэльмана как «самое современное», основанное на последнем слове науки.

Полюса Уэльман не достиг, никаких новых рекордов не поставил, за исключением одного довольно странного: мирового рекорда в колбасном производстве.

Для придания аэростату некоторой управляемости к нему привешиваются так называемые гайдропы, т. е. тросы или канаты, отчасти поднимающиеся в воздух, отчасти волочащиеся по поверхности. Вместо таких гайдропов Уэльман изготовил колбасу, несомненно величайшую в мире, в 50 метров длиной, которую прицепил к своему шару. По теории Уэльмана, от колбасы, когда она будет волочиться по льду, станут обрываться куски. Если случится авария и Уэльману придётся возвращаться пешком, он будет подбирать эти куски и есть.

Первый полёт Уэльмана совсем не удался. Во второй раз, когда воздушный шар понёсся над льдами, к счастью для Уэльмана, его колбаса оборвалась сразу. Уэльман снизился, был подобран находившимся вблизи судном норвежской экспедиции и больше не летал.

Колбасу же съели белые медведи.

5. Над Полюсом

После империалистической войны 1914—1918 гг., с развитием авиации и воздухоплавания, достижение Полюса по воздуху стало вопросом техники и организации. Руаль Амундсен[1] одним из первых понял значение самолёта для полярных исследований. Он даже сам научился летать и в 1914 году сдал экзамен на звание гражданского лётчика.

Мечтой Амундсена было достигнуть Северный полюс, но вместо Северного полюса он попал на Южный. В начале XX века Амундсен решил повторить дрейф «Фрама», войдя в ледяное течение ещё восточнее и рассчитывая таким образом ближе подойти к Полюсу. Амундсен начал подготовку экспедиции. Но в это время Пири достиг Полюса. Интерес к путешествию Амундсена у норвежской буржуазии пропал. Амундсену грозило разорение.

«Нужно было как можно скорее одержать ту или иную сенсационную победу», — писал Амундсен в своих воспоминаниях.

Продолжая утверждать, что целью его путешествия является не достижение Полюса, а научные работы, Амундсен, выйдя в море, объявил, что он идёт не к Северному полюсу, через Берингов пролив, а к Южному. Все участники экспедиции согласились следовать за Амундсеном. Среди них был один русский, Александр Кучин. После экспедиции к Южному полюсу он стал капита-

[1] *Руаль Энгельберт Гравнинг Амундсен (1872—1928) — норвежский полярный путешественник и исследователь. Первый человек, достигший Южного полюса (14.12.1911), побывавший на обоих географических полюсах планеты, совершивший переход и Северо-восточным (вдоль берегов Сибири), и Северо-западным морскими путями (по проливам Канадского архипелага). Погиб в 1928 г. во время поисков экспедиции Умберто Нобиле.*

ном судна «Геркулес», погибшего вместе со всеми людьми в Карском море осенью 1912 года.



Норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен

В 1911 году Амундсен достиг Южного полюса и благополучно вернулся обратно. Он добился и славы, и денег. Но мысль о Северном полюсе не оставила его. Даже в момент высшего достижения, когда он поднимал норвежский флаг над Южным полюсом, Амундсен писал в своём дневнике: «Пожалуй, никогда никто из людей не стоял, как я в данном случае, на месте столь диаметрально противоположном цели своих желаний!»

После нескольких неудачных попыток Амундсен получил в 1925 году, с помощью американского миллионера Элсворта, два подходящих гидросамолёта. Вылетев с одного из островов Шпицбергена, они достигли 87°43' северной широты. Здесь у одного самолёта сдал мотор. Самолёт опустился на узкую полынью между льдами. Второй самолёт последовал за ним. Самолёты снизились благополучно, но подняться уже не смогли. С огромным трудом Амундсен и его спутники вытащили один из самолётов на лёд, ножами расчистили аэродром, выкинули для облегчения веса всё научное снаряжение, поднялись в воздух и вернулись.

В следующем, 1926 году Амундсен вылетел на север на дирижабле «Норге» с целью пролететь над Полюсом через весь Ледовитый океан, от Шпицбергена до Аляски. Этот полёт удался блестяще. 12 мая 1926 года Амундсен был над Полюсом. Дальнейший полёт «Норге» для нас интересен тем, что путь его приблизительно совпадает с трассой самолёта Леваневского[1].

Амундсен впервые пролетел над областью, никогда до него не посещавшейся человеком. В тот же день, 12 мая 1926 года, дирижабль пролетел над самым центром Ледовитого океана, над Ледяным полюсом (83°50' сев. широты и 160° зап. долготы), или, как его часто называют, полюсом Недоступности. Одного взгляда на карту достаточно, чтобы увидеть, что Северный полюс гораздо ближе к окружающим берегам, чем Ледяной, который поэтому является наиболее труднодостижимым.

В районе Северного полюса всюду встречался сильно расколовшийся лёд, но на Ледяном полюсе «не было видно ни одной капли открытой воды».

---

[1] *Сигизмунд Александрович Леваневский (1902—1937) — советский лётчик, Герой Советского Союза (1934). Погиб 13 августа 1937 г. во время перелёта.*

«Действительно, это место заслуживает своего названия, — писал Элсворт, участник полёта на дирижабле „Норге“. — Смотря вниз из кабины дирижабля, нам казалось, что мы находились над дикой областью, покрытой снегом, где какие-то великаны боролись со льдами. И мы были уверены, что даже наиболее склонные к приключениям на борту корабля были счастливы, что они над „полюсом Недоступности“ летят, а не принуждены форсировать путь, борясь с ледяными баррикадами».

На Ледяном полюсе, в самом центре Ледовитого океана, Амундсен видел следы белого медведя.

Дальнейший полёт осложнил туман, покрывавший громадные области. Здесь путешественники испытали величайшую опасность. Туман оседал ледяными наростами на металлических частях дирижабля, куски льда отрывались воздушной струей от пропеллеров и летели в оболочку дирижабля, разрывая её. Оболочку приходилось непрерывно чинить.

На следующий день участники экспедиции увидели землю. Дирижабль благополучно снизился на территории Аляски.

В том же году, на несколько дней раньше полёта Амундсена, американский лётчик Бэрд[1] вылетел на самолёте с того же пункта на Шпицбергене, откуда затем вылетел дирижабль «Норге», достиг Полюса и вернулся обратно. Этот полёт имел чисто спортивное значение. Ни Бэрд, ни Амундсен даже не мечтали о возможности снизиться на Полюсе и произвести там какие-нибудь научные работы.

Через год, 15—16 апреля 1928 года, Губерт Уилкинс и Бек Эйельсон перелетели Ледовитый океан на самолёте в обратном направлении: с мыса Барроу — северного мыса Аляски — на Шпицберген. Самым положительным в этом полёте было то, что Уилкинс не стремился во что бы то ни стало лететь через Полюс. Он проложил свой путь в стороне от Полюса, ближе к Америке, обследовав таким образом новые пространства Ледовитого океана.

Во время этого полёта лётчикам пришлось опуститься на лёд. Хотя они благополучно поднялись и закончили полёт, но рассказ Уилкинса скорее подтвердил, чем опровёрг убеждение Амундсена и других полярных исследователей о непригодности самолётов для посадки на льды Ледовитого океана.

«Так как самолёт не двигался с места, — рассказывал о старте со льда Уилкинс, — пока мы вдвоём находились в нём, то я сошёл на лёд, чтобы сдвинуть хвост аппарата. Мне это удалось, и я уже во время движения самолёта попытался взобраться на него, но свалился вниз. Эйельсон, не могший обернуться, дал полный газ, думая, что я нахожусь внутри, но как только заметил моё отсутствие, тотчас же пошёл на посадку».

«Мы снова сделали попытку подняться; как только машина тронулась, я ухватился за хвост и напряжённо пополз вперёд, чтобы добраться до кабины. Мои руки совсем застыли, так как я бросил прочь свои перчатки, чтобы крепче ухватиться за тросы, ведшие к двери кабины. Мои руки отказались работать, и я зу-

[1] *Ричард Ивлин Бэрд (1888—1957) — американский лётчик, контр-адмирал, исследователь Антарктиды, национальный герой США. В мае 1926 г. первым совершил перелёт со Шпицбергена на Северный полюс и обратно, первым в мире пролетел над Южным полюсом (1928—1930).*

бами ухватился за трос. Это, быть может, было безрассудно, но у меня не было другого выхода. Самолёт скользил очень быстро, Эйельсон не замечал, что я нахожусь ещё на хвосте, он думал, что я уже в безопасности, и дал газ. Едва мы только отделились от поверхности льда, для меня стало ясно, что в воздухе мне не добраться до кабины. Я соскользнул с корпуса, но получил такой удар хвостом, что с силой ударился о снег, который, по счастью, в этом месте был мягок. Я оказался наполовину погребённым под снегом и почти потерял сознание. Немного отряхнувшись от снега, я установил, что невредим, только зубы сильно шатались. После этого была наконец предпринята третья, удавшаяся попытка старта».

В научном отношении этот полёт принёс ещё меньше, чем полёт Амундсена.

Успех Амундсена стал причиной его гибели. Один из его спутников, конструктор дирижабля, итальянец Умберто Нобиле, возвратившись из экспедиции, стал выступать с лекциями о полёте «Норге», в которых заявлял, что идея экспедиции Амундсена принадлежит… Муссолини. Амундсену пришлось публично опровергать это наглое утверждение. Тогда Нобиле самостоятельно организовал экспедицию к Полюсу на дирижабле «Италия». В 1928 году, 24 мая, дирижабль достиг Полюса. По приказу Нобиле на Полюс был спущен крест и сброшен итальянский флаг. Граммофон играл фашистский гимн, а участники экспедиции распили бутылку коньяку.

На обратном пути дирижабль попал в туман и поток встречного ветра. Скорость полёта уменьшилась. Дирижабль оледенел и упал, сильно ударившись гондолой о лёд. Гондола разбилась, и большинство участников экспедиции высыпались из неё. К счастью для них, на льду оказалось также значительное количество продовольствия и походная радиостанция, вывалившиеся из дирижабля. Облегчённый дирижабль немедленно снова поднялся, унося шесть оставшихся в гондоле итальянцев. Эти шесть человек пропали без вести. Для спасения оставшихся на льду ряд государств организовали спасательные экспедиции. Многие из этих экспедиций принесли только лишние жертвы. К восьми человекам, погибшим на «Италии» (кроме упомянутых шести человек, во время катастрофы был убит механик дирижабля, а затем погиб при попытке добраться пешком по льду до Шпицбергена учёный Мальмгрен), прибавились шесть человек бесследно пропавшего самолёта «Латам», в числе которых были Амундсен и три итальянских лётчика.

Участники экспедиции Нобиле, как известно, были спасены советской экспедицией на ледоколе «Красин». Во время этой спасательной экспедиции советские лётчики Чухновский[1] и Бабушкин[2] совершили ряд замечательных полётов. Чухновский обнаружил местопребывание итальянцев Дзаппи и Мариано, ушедших вместе с Мальмгреном. «Красин» в тот же день подошёл к ним и спас этих людей, находившихся на краю гибели. Бабушкин, во время разведывательных полётов, 15 раз поднимался и опускался на льды моря, доказав, что опытный полярный лётчик с успехом может найти среди них аэродром. Из ино-

[1] *Борис Григорьевич Чухновский (1898—1975) — советский авиатор, один из первых полярных лётчиков.*

[2] *Михаил Сергеевич Бабушкин (1893—1938) — выдающийся полярный лётчик, Герой Советского Союза. Погиб в авиакатастрофе.*

странных лётчиков только шведу Лундборгу удалось однажды слетать в лагерь итальянцев, откуда он взял одного Нобиле. Во второй раз Лундборг сам остался пленником ледяного лагеря.

«В Арктике могут летать либо сумасшедшие, либо русские», — заявил он.

После гибели «Италии» и безвременной смерти Амундсена хозяева капиталистического мира убедились, что полярные экспедиции не приносят прибыли. Полёты вглубь Арктики прекратились. Американский лётчик Бэрд, ставший после своего первого полёта над Полюсом серьёзным исследователем Антарктики, писал:

«Напрасно я старался внушить истину одному известному американскому коммерсанту.

— Но как извлечь из неё деньги, какая от неё может быть выгода? — твердил он»[1].

«Когда мы вернулись, — продолжает Бэрд, — глава одного большого предприятия сказал нам: — Ваша экспедиция протекла слишком гладко, ей не хватало лишений и драматизма».

Торгашам пришлись не по вкусу как раз наиболее положительные стороны работы Бэрда. Они бы предпочли, чтобы он поплатился жизнью. Это было бы более громкой рекламой для фирм, вложивших средства в его путешествие, чем научные достижения.

«Мне не случалось встретить исследователя, который не разорился бы либо не был близок к разорению», — признается Бэрд.

6. Советские люди в Арктике

«Работа советских полярников всегда отличалась не только своими масштабами, но и глубокой принципиальностью, — писал Герой Советского Союза, начальник советской экспедиции на Северный полюс, академик О.Ю. Шмидт. — Нам совершенно чуждо рекордсменство, погоня за внешними эффектами. Работая по изучению и освоению Арктики, мы стараемся делать не то, что эффектно, а то, что нужно сделать в интересах развития науки и освоения сил природы».

В этой работе советские люди попутно ставили один мировой рекорд за другим, но рекорды никогда не являлись для нас самоцелью. Это был побочный продукт. Само по себе достижение Полюса для нас не представляло никакого интереса. Кому он нужен, этот Полюс — голая льдина, такая же, как все другие, окружающие её? Слетать на Полюс и вернуться обратно наши лётчики могли бы давно. За две недели до того, как первый тяжёлый самолёт советской экспедиции опустился на Полюс, лётчик Головин получил задание слетать туда, посмотреть, какая там погода, и вернуться обратно. Он так и сделал: долетел до района Полюса, установил, что погода там плохая, и вернулся обратно, на остров Рудольфа. В своих воспоминаниях лётчик Головин писал, что полёт

[1] *Бэрд Р. Над Южным полюсом. Л.: Изд-во Главсерморпути, 1935.*

над Полюсом казался ему обыденным делом, как будто он летел не над льдами океана, а над аэродромом.

Нет, не сам по себе полёт к Полюсу привлекал туда советских исследователей. Цель, поставленная ими, заключалась в том, чтобы превратить самые недоступные пустыни в новые великие пути сообщения, вырвать у ледяных стражей Полюса новые знания, чтобы отдать их любимой родине и всему человечеству. Это была великая и героическая задача, блестяще разрешённая советскими людьми.

К 1937 году Северный морской путь, который большевики стали осваивать с 1920 года, когда в Сибири утвердилась советская власть, превратился в путь нормальных грузовых сообщений. Ежегодно этим путём перевозилось в пять раз больше грузов, чем за весь капиталистический период. Одновременно с развитием Северного морского пути развивалась советская полярная авиация. Дальнейшие задачи требовали более глубокого изучения Арктики.

Незадолго до своей смерти Фритьоф Нансен основал международное общество «Аэро-арктик» с целью устройства при помощи дирижаблей научной дрейфующей станции в центре Арктики. Однако проект Нансена был признан «фантастическим».

«Обвинение в фантастичности мы спокойно принимаем, — ответил Нансен. — Ибо всякая исследовательская работа является действительно плодотворной только тогда, когда её окрыляет фантазия, и только такими исследованиями человеческая мысль смело движется вперёд».

Нансен умер, не осуществив своей мечты и не добившись сочувствия в буржуазных странах. Организация дрейфующей станции на Северном полюсе была не по плечу капиталистическому миру.

В 1935 году в Советском Союзе началась подготовка к полёту на Северный полюс с целью организации там исследовательской станции. В 1936 году на острове Рудольфа, самом северном острове Земли Франца-Иосифа, была организована база, куда ледокол «Русанов» доставил основные грузы экспедиции. В марте 1937 года четыре тяжёлых самолёта вылетели на север под управлением лётчиков Водопьянова, Молокова, Алексеева и Мазурука. Начальником экспедиции был назначен О.Ю. Шмидт, его заместителем М.И. Шевелев. Через месяц самолёты достигли острова Рудольфа. Выждав благоприятной погоды, рано утром 21 мая 1937 года первый самолёт вылетел на Полюс. Это был знаменитый Н-170, пилотируемый Героем Советского Союза т. Водопьяновым и т. Бабушкиным, при флаг-штурмане тов. Спирине. На борту самолёта находилась также славная четвёрка будущих зимовщиков станции «Северный полюс» — товарищи Папанин, Кренкель, Ширшов и Фёдоров.

Во время полёта т. Шмидт каждый час радировал в Москву о положении самолёта.

«В 6 час. 00 мин. самолёт Н-170 достиг 83°07’ северной широты, идя на высоте 1 000 метров. Над самолётом тонкий слой облаков с разрывами. Внизу 9—10-балльный крупно-битый лёд, большими полями».

«В 7 час. 00 мин. самолёт пролетел долготу 58°00’, широту 84°25’, идя над облаками на высоте 1 450 метров».

«В 8 час. 04 мин. самолёт, продолжая продвижение на север, на высоте 2 000 метров над сплошным слоем облаков, с редкими разрывами, достиг долготы 58°00', широты 85°50'. В разрывы облаков видны ледяные поля с частыми трещинами. Сильный встречный ветер».

«В 9 час. 00 мин. самолёт прошёл широту 86°47', идём в тумане».

«В 10 час. 03 мин. достигли широты 88°35'. Начиная с 88 градуса видимость значительно улучшилась. Лёд — огромные поля на много километров, разделённые длинными трещинами. Температура минус 23°. На самолёте всё в порядке».

В 11 часов связь с самолётом Водопьянова неожиданно прервалась. Наступили тревожные часы. Только через 13 часов, в ночь с 21 на 22 мая, от начальника экспедиции О.Ю. Шмидта была получена радиограмма, извещавшая об исторической посадке советского самолёта на дрейфующую льдину, примерно в двадцати километрах за Северным полюсом. Связь прервались из-за случайной и незначительной аварии рации самолёта. Как только папанинцы установили свою знаменитую радиостанцию, связь немедленно возобновилась и с тех пор не прерывалась.

В 11 часов 10 минут 21 мая самолёт «СССР Н-170» пролетел над Полюсом, а в 11 часов 25 минут Герой Советского Союза т. Водопьянов блестяще совершил посадку на лёд. Отсюда начался дрейф советской станции «Северный полюс».

Перед вылетом экспедиции из Москвы редакция «Известий» обратилась к виднейшим западным учёным, полярникам и авиаторам с просьбой высказаться о наилучшем, по их мнению, способе достижения Северного полюса. Некоторые предлагали дирижабль, некоторые подводную лодку и даже упряжку собак. И все считали, что посадка самолёта в районе Полюса невозможна. Тем значительнее был успех Водопьянова, разбившего вдребезги этот предрассудок.

За самолётом Водопьянова, выждав погоду, полетели на Полюс остальные воздушные корабли. Все они едва отрывались от ледяного аэродрома. Общий вес грузов, которые надо было доставить на дрейфующую льдину у Полюса, превышал десять тонн, не считая людей. Сначала под самолётами был виден сильно расколовшийся неровный лёд, затем, приблизительно к 85° сев. широты, начались ровные мощные ледяные поля, допускавшие посадку. В трещинах отчётливо выделялся над водой высокий торец льда. Средняя толщина льда равнялась трём-четырём метрам.

Самолёты шли далеко друг от друга, широким фронтом, чтобы легче было обнаружить флагманский самолёт Водопьянова. Все они шли к цели с прекрасной точностью. Молоков, долетев до Полюса, развернулся там, по его выражению, как вокруг телеграфного столба, точно взял направление на дрейфующую станцию и безукоризненно опустился на её аэродроме. Следующим шёл самолёт т. Алексеева. Долетев до Полюса, он опустился на льдину в самой непосредственной близости от этой воображаемой точки земной оси, определился, снова взлетел и блестяще поставил свой самолёт рядом с самолётами Водопьянова и Молокова. Несколько в стороне от станции опустился т. Мазурук, но, про-

явив должную выдержку, дождавшись благоприятных атмосферных условий, через несколько дней он также благополучно прилетел на льдину дрейфующей станции, доставив остатки её оборудования.

Станция «Северный полюс» была открыта. Лётчикам предстоял обратный, не менее трудный полёт. При этом оказалось, что горючего до острова Рудольфа не хватит. Но советские лётчики не захотели взять ни одного литра из запасов т. Папанина. Тогда т. Алексеев предложил: «Пусть все берут полный запас горючего, а я возьму остатки». Он решил лететь, пока хватит бензину. Когда же горючее выйдет, самолёт опустится на лёд. Затем кто-нибудь «подбросит» туда горючее.

Алексеев так и сделал. На полпути у него вышло горючее, он опустился и сообщил по радио свой адрес: «Северный Ледовитый океан, льдина № 3, дом № Н-172».

В своей заключительной телеграмме с Северного полюса начальник экспедиции тов. Шмидт сообщал:

«В ночь на 6 июня закончили все работы по устройству станции. В 2 часа ночи, под ослепительным полярным солнцем, торжественным митингом открыли полярную станцию на льду в центре Арктики. С огромным подъёмом подытожили результаты проделанной работы.

Тем временем моторы уже прогревались, всё было готово к отлёту.

В 3 часа 37 мин. все четыре самолёта были в воздухе после короткого, но горячего прощания с четырьмя полярниками, остающимися на льдине для научной работы мирового значения. Мы покинули Полюс с чувством радости и вместе с тем с некоторым невольным сожалением. Полюс оказался гостеприимным по отношению к советской экспедиции.

Обратный полёт шёл вполне успешно под мастерским водительством наших героев-лётчиков. Летели над облаками. Как я уже сообщал, мы не могли дать бензина на все самолёты в достаточном количестве. Алексеев вызвался сесть в пути, чтобы дождаться бензина. С целью разведки в район 85 градуса ночью был направлен самолёт Р-5 с лётчиком Крузе, который благополучно сел и сообщал нам погоду. Алексеев и находящийся на его самолёте мой заместитель Шевелев, видя, что бензина не хватит, несмотря на попутный ветер, приняли с моего согласия решение спуститься под облачность и искать место для посадки. Простились по радиотелефону. Остальные три самолёта пошли дальше.

Спирин привёл отряд точно к острову Рудольфа. Погода здесь была переменной, аэродром — под туманом, но в момент прилёта временно прояснилось, и мы благополучно сели на островной аэродром. Тут же удалось установить связь с самолётом Алексеева. По сообщению Шевелева, лёд у 85 градуса оказался непригодным. Пошли в поисках в сторону. Наконец Алексеев выбрал лучшую из плохих льдин и мастерски посадил самолёт без царапины. Сейчас экипаж его самолёта расчищает свой импровизированный аэродром, а мы на острове Рудольфа готовим самолёт для доставки ему бензина. Шмидт».

Два дня провёл экипаж Н-172 на льдине. Наконец лётчик Головин разыскал её, опустился и снабдил самолёт Алексеева горючим. Затем он поднялся и вернулся на остров Рудольфа. Вслед за ним прилетел Алексеев.

«Готовьте объятия, ужин и баню», — радостно предупреждали герои своих друзей.

С острова Рудольфа самолёты экспедиции возвратились в Москву, переменив лыжи на колёса в Амдерме — флюоритовом руднике на берегу когда-то пустынного и недоступного Карского моря. Лётчик Мазурук остался на зимовку на острове Рудольфа. Остальные были торжественно встречены населением Москвы, вождями партии и правительства.

Не успели участники экспедиции на Северный полюс вернуться в Москву, как весь мир узнал о другом замечательном подвиге советских лётчиков. Герои Советского Союза товарищи Чкалов, Байдуков и Беляков перелетели без посадки через Северный полюс, через всю Арктику, из Москвы в Соединённые Штаты Северной Америки. Через месяц (12—14 июля) этот замечательный полёт повторили и продолжили до границ Мексики, побив мировой рекорд дальности полёта, Герои Советского Союза Громов, Юмашев и Данилин. Этот мировой успех нисколько не снижает, а лишь подчёркивает авария с самолётом Леваневского, который оледенел и опустился где-то в районе Полюса, потеряв радиосвязь. Самолёт Леваневского искали советские лётчики и американский лётчик Уилкинс, совершившие ряд замечательных полётов вглубь Арктики. Но найти самолёт в океане не легче, чем найти иголку в стогу сена. Сейчас всех занимает вопрос: что с Леваневским и его спутниками? Живы ли они? Есть ли надежда на их спасение?[1]

7. Четверо смелых

В последней декаде августа 1935 года пароход «Анадырь», на котором я в то время находился, прошёл забитый льдом пролив Вилькицкого. Впереди расстилалось Карское море, почти совершенно свободное ото льда. В том, что первый грузовой рейс Северным морским путём из Владивостока в Мурманск будет закончен успешно, сомнений не было. «Анадырь» получил добавочное задание — подойти к мысу Челюскин и взять на борт зимовщиков полярной станции.

Дул сильный ветер. Вдоль берега быстро плыли большие обломки льда. Лавируя между льдин, наш моторный катер «Меркурий Вагин» подошёл к берегу. Челюскинцы радостно приветствовали нас. Заметив меховые торбоза на одном из нас, плотный человек в кожаном пальто и высоких кожаных сапогах быстро вошёл в мелкую воду, подставил свою широкую спину и через несколько секунд опустил обладателя меховых торбозов на каменную почву легендарного мыса. Человек протянул руку. Это был тов. Папанин.

Зимовка т. Папанина резко и выгодно отличалась от многих других. Все зимовщики были здоровы и бодры. Они провели деятельную зиму. Когда «Меркурий Вагин» вышел изо льдов в море, вспененное высокими волнами, со шлюпки,

[1] *В дальнейшем никаких следов самолёта С.А. Леваневского и его экипажа не было обнаружено.*

шедшей на буксире, упал один из деревянных ящиков, в которые было запаковано имущество зимовщиков. Молодой полярник заволновался. В ящике были чертежи проекта арктического самолёта, над которым он работал всю зиму. Доставив людей, моряки «Анадыря» пустились вдогонку за потерянным ящиком и выручили его из плена плавучих льдов.



Иван Дмитриевич Папанин (1894—1986) — начальник первой дрейфующей станции «Северный полюс»

Из беглых скупых фраз зимовщиков складывался облик станции т. Папанина. Одной из важнейших научных задач полярной зимовки на мысе Челюскин являлся зимний промер глубин в проливе Вилькицкого. Для промера до сих пор долбили лёд пешнёй. Чтобы продолбить одну лунку в двухметровом льду, требовалось пять-шесть часов тяжёлой работы. В полярную ночь был поднят вопрос о механизации этих работ. Тов. Папанин издал приказ, в котором обращался ко всем зимовщикам с приглашением принять участие в этом деле. Было выбрано жюри.

Лучшим был признан проект старшего механика. Предложенная им машина была проста по конструкции и «ориентировалась на местные ресурсы». Тов. Папанин, отличный токарь по металлу, выполнил наиболее ответственные работы. К 1 мая машина была построена. Под громкие крики «Ура» всего коллектива лёд в два метра толщиной был просверлен в три минуты. Вскоре зимовщики добились того, что их машина просверлила лёд в 45 секунд. Все задания были перевыполнены.

Вернувшись с мыса Челюскин в Москву, т. Папанин стал готовиться к дрейфу на льдине. «Успеха добивается тот, у кого всё в порядке», — говорил Амундсен. Папанин продумал всё до последней мелочи. Он снова проявил себя как выдающийся организатор. Задача заключалась в том, чтобы обеспечить небольшой группе исследователей всё необходимое для длительной и напряжённой работы на льдине. Эту задачу тов. Папанин разрешил лучше всех прежних прославленных путешественников.

О своих спутниках, Кренкеле, Фёдорове, Ширшове, т. Папанин говорил: «Все они такие люди, которых ничто не сломит». Как только самолёт Водопьянова опустился на льдину близ Полюса, папанинцы немедленно взялись за работу. Была установлена знаменитая палатка, ветровой двигатель, радиостанция. Участники экспедиции прозвали Папанина «хозяином Полюса». Ещё не закончив своего

строительства, папанинцы приступили к научным наблюдениям, результаты которых, впоследствии коротко переданные по радио, восхитили учёных всего мира.

Научные работы станции «Северный полюс» велись непрерывно в течение девяти месяцев. Папанинцы работали по 16 часов в сутки, собрав громадный научный материал. Их работы заключались прежде всего в регулярном и точном астрономическом определении местонахождения станции, двигавшейся вместе со льдом. Теперь мы знаем направление и скорость движения льдов, покрывающих район Северного полюса. Оказалось, что льды Полюса через восемь-девять месяцев втягиваются ледовитым течением, идущим вдоль восточных берегов Гренландии, и увлекаются им дальше на юг, к берегам Америки. Это непрерывное движение миллиардов тонн льда и создаёт суровый климат её северо-восточных окраин.

За 274 дня жизни на льдине папанинцы проплыли вместе с ней 2 100 километров в общем направлении на юго-юго-запад. Наблюдения начались на 89°26' северной широты и 78° западной долготы и закончились на 70°48' северной широты и 19°48' западной долготы. Принимая во внимание многочисленные зигзаги и петли, которые описывала льдина под влиянием местных ветров, в особенности в начале пути, расстояние, пройденное папанинцами, исчисляется приблизительно в 2 500 км. Таким образом, средняя скорость дрейфа оказалась равной 9,1 километра в сутки, намного превысив все высказывавшиеся по этому поводу предположения.

Скорость дрейфа не оставалась постоянной. Иногда льдина двигалась в обратном направлении, иногда двое-трое суток стояла на месте, иногда же проходила в сутки до 43 километров. В общем, скорость дрейфа папанинцев закономерно увеличивалась по мере того, как они продвигались к югу.

Причиной этого дрейфа арктических льдов, по мнению товарищей П. Ширшова и Е. Фёдорова, основанному на их наблюдениях, являются господствующие ветры. Наблюдения папанинцев показали, что «не вода увлекает лёд, а движущиеся льды увлекают за собой верхние слои воды».

На станции «Северный полюс» непрерывно производились магнитные наблюдения, которые позволят составить карту склонений стрелки компаса в центре Арктики, что имеет большое значение для будущих полётов между СССР и США через Полюс.

Была произведена серия работ по измерению силы тяжести на Полюсе, обнаружившая значительное отклонение от нормы. Эти наблюдения будут учитываться при решении таких задач, как уточнение формы земного шара и т. п.

Особенный интерес вызвали блестящие гидрологические работы папанинцев. Впервые лот достиг дна в районе Северного полюса. Глубина океана здесь оказалась равной 4 290 метрам. При движении на восток глубина возрастала.

Наибольшая глубина, измеренная папанинцами на 80°41' северной широты и 41' западной долготы, равнялась 4 395 метрам. При дальнейшем дрейфе глубина уменьшалась, обнаруживая значительные скачки глубин. Около 84° сев. широты была найдена подводная возвышенность. Глубина океана здесь равнялась 2 380 метрам. Затем глубины снова начали возрастать.



Папанинцы, спасённые после дрейфа в Северно-Ледовитом океане в 812 дней на ледоколе «Георгий Седов», 1940 г.

Наибольшая глубина во время дальнейшего дрейфа к югу была обнаружена рядом с Гренландией, в 50—70 километрах от мыса Северовосточного. Здесь папанинцы вытравили весь трос, имевшийся на барабане их лебёдки — 4 160 метров, и впервые в их практике не достали дна. Это тем более интересно, что в последнее время удалось установить медленный дрейф самой Гренландии в западном направлении. Глубокая борозда у самых берегов Гренландии, найденная папанинцами, доказывает, по-видимому, наличие указанных смещений и разрывов земной коры.

Под слоем холодной арктической воды на Полюсе был обнаружен мощный слой более тёплой и солёной воды. Таким образом, было доказано, что струи Атлантического течения проникают в центральные области Ледовитого океана. Распределение температур в толще океана оказалось следующим: до глубины в 250 метров лежал слой холодной воды — минус 1,63 градуса. Начиная от глубины в 250 метров до 600 метров был обнаружен слой воды с положительной температурой, достигающей на глубине 400 метров плюс 0,77 градуса. На глубине 750 метров температура была близка к нулю, дальше она постепенно понижалась, достигая минимума на глубине 2 500—3 000 метров (минус 0,82—0,84). В придонных слоях температура воды снова несколько увеличивалась.

По мере движения к югу, до 81°, где у берегов Гренландии папанинцы вышли на край Атлантического потока, слой этого потока становился всё более и более мощным, а максимальная температура на глубине 250—300 метров возросла до +1,72 °С.

В то же время были произведены замечательные наблюдения над развитием жизни в водах Ледовитого океана. Близ Полюса были взяты несколько глубоководных планктонных станций. «Жизнь центральной части Ледовитого океана, — писали папанинцы, — не исчерпывается только низшими организмами. В течение июля в район лагеря залетали четыре различных чайки, вчера была медведица с двумя медвежатами приплода этого года».



Адмирал Степан Осипович Макаров

Краткие сообщения папанинцев, конечно, не исчерпывают всего огромного богатства добытых ими знаний.

Папанинцы жили и работали на льдине, всё время ощущая тесную связь с пославшей их на подвиг Родиной. Они находили время писать и передавать по радио подробные сообщения о жизни и работе на льдине. Их маленькая палатка стала всем близкой и любимой.

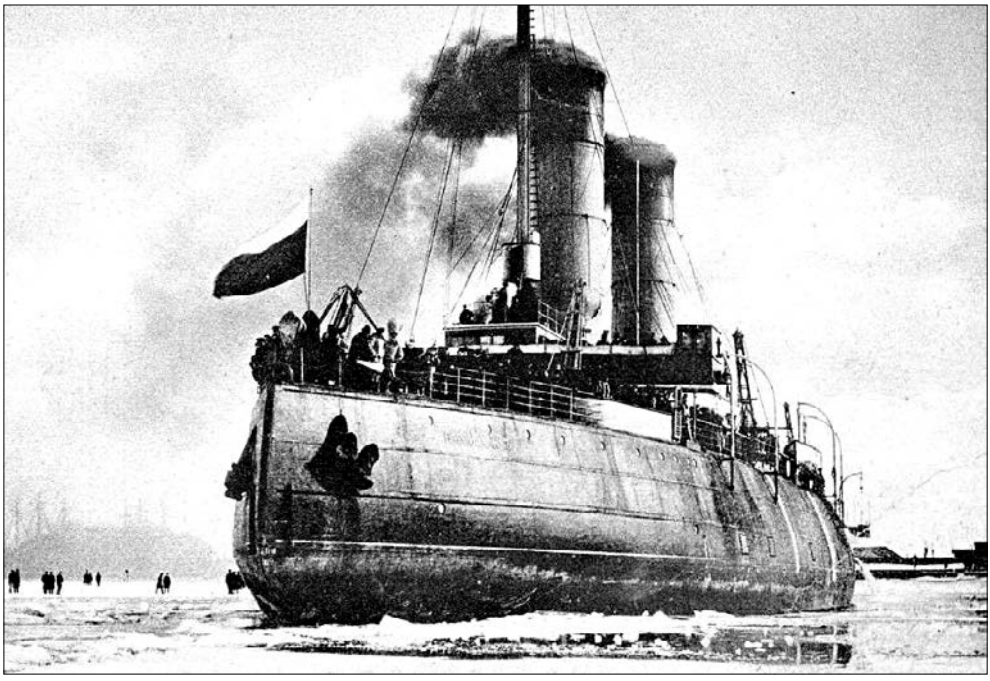
И советская страна с любовью смотрела на своих героев. 12 декабря 1937 года советский народ избрал всё население станции «Северный полюс» в депутаты Верховного Совета СССР.

По мере приближения к берегам Гренландии скорость дрейфа стала увеличиваться. Первого февраля льдину папанинцев разбило штормом. Им пришлось оставить свою уютную палатку и перейти сначала в походную шёлковую палатку, а затем в снежный дом. В это время у кромки льдов Гренландского течения уже дежурило советское сторожевое судно «Мурманец». На помощь «Мурманцу» советское правительство послало ледокольные пароходы «Таймыр» и «Мурман». Вслед за ними из Ленинграда вышел ледокол «Ермак». 19 февраля «Таймыр» и «Мурман» пробились через мощные льды к станции Папанина. Героический дрейф закончился.

Папанинцы выразили свои чувства в следующей телеграмме:

«Безгранично счастливы рапортовать о выполнении порученного нам задания. От Северного полюса до 75 градуса сев. широты мы провели полностью все намеченные исследования и собрали ценный научный материал по изучению дрейфа льда, гидрологии и метеорологии, сделали многочисленные гравитационные и магнитные измерения, выполнили биологические исследования.

С 1 февраля, когда на 74 градусе наше поле разломилось на части, мы продолжали все возможные в этих условиях наблюдения. Уверенно работали, ни минуты не беспокоясь за свою судьбу, знали, что наша могучая Родина, посылая своих сынов, никогда их не оставит… В этот час мы покидаем льдину на координатах 70 градусов 54 минуты нордовой, 19 градусов 48 минут вестовой,



Ледокол «Ермак» в Арктике. Построен и спроектирован С. О. Макаровым

пройдя за 274 суток дрейфа свыше 2 500 километров. Наша радиостанция первая сообщила весть о завоевании Северного полюса, обеспечивала надёжную связь с Родиной и этой телеграммой заканчивает свою работу.

Красный флаг нашей станции продолжает развеваться над ледяными просторами.

Папанин, Кренкель, Ширшов, Фёдоров».

Блестящий успех советской экспедиции приветствовала не только Советская страна. Её радость и гордость разделили и все лучшие люди капиталистических стран. Известный исследователь Арктики Вильмур Стефансон писал накануне завершения советской экспедиции:

«Ни одна полярная экспедиция не была более совершенной в организации и проведении, чем папанинская. Эта организованность чувствовалась с момента основания станции Папанина на Северном полюсе до посылки ледоколов с аэропланами, которые теперь добиваются снятия группы со льдины, дрейфующей в Гренландском море.

Единственное, что получилось вопреки ожиданиям, — это быстрый дрейф льдины. Все арктические авторитеты здесь в равной степени ошибались, в том числе и я. Моя собственная точка зрения, высказанная советским властям по их просьбе в прошлом году, была, несомненно, типичной для всех исследователей Арктики: я утверждал, что скорость дрейфа, вероятно, не будет больше одной географической мили в день, в то время как в действительности она оказалась значительно выше.



Заседание комитета Главсевморпути: И. Д. Папанин, Б. Л. Горбатов, О. Ю. Шмидт. Красноярск, 1936—1938 гг.

Экспедиция Папанина, основанная на здравой и отважной концепции, походит на великолепное предприятие Нансена. Научные результаты папанинской экспедиции даже превышают то, о чём мы могли мечтать.

Опровержение Папаниным старой доктрины о том, что жизнь в Полярном море скудна, которой придерживался Нансен (если бы это было даже единственным достижением советской экспедиции), по моему мнению, является одним из наиболее важных научных открытий нашего времени. Но когда это сделано вместе с выполнением обширной программы метеорологических, магнитных, океанографических, химических, биологических и других исследований, то это становится, несомненно, новой вехой в истории научного исследования Арктики.

Исследователи и учёные всего мира восторженно отзываются о Папанине, Кренкеле, Фёдорове и Ширшове, об их смелости и компетентном выполнении своих задач, об О.Ю. Шмидте и Главсевморпути, заботливо обставивших эту трудную экспедицию, о советском правительстве, оказывающем последовательную помощь в исследованиях в больших размерах, чем какая-либо другая страна когда-либо сделала в этом отношении».

В таком духе высказывались многие передовые учёные Америки, Англии, Франции, Испании и других стран. По обыкновению злобно молчали только фашисты.

Кажется, скромнее всех оценивал свою работу сам т. Папанин. В своём дневнике он писал о ней как о будничном деле, о выполненном долге. Он не успокаивался на достигнутых успехах. Ещё не успели ледоколы подойти к льдине

и снять героев, а Папанин уже обдумывал проект нового дрейфа, организации новой станции на льдине, на этот раз в самом сердце Арктики — на полюсе Неприступности. Надо узнать, как далеко распространяются тёплые воды Атлантического течения, меняется ли в разные годы скорость ледового дрейфа, как ведут себя льды и ветры на Ледяном полюсе. В этих мечтах весь Папанин — всемирно известный исследователь и рядовой гражданин Советского Союза.

«Сибирские огни», 1938 г., № 1

Вениамин Каверин

Два капитана

(главы из романа)[1]

Бороться и искать, найти и не сдаваться.

Большие расстояния

Машина оторвалась, и через несколько минут эта каша из дождя и тумана, до которой на земле нам не было никакого дела, стала важной частью полёта, который, как всякий полёт, складывается из: а) задачи и б) всего, что мешает задаче.

Мы пошли «блинчиком», то есть с маленьким креном, развернулись и встали на курс.

Итак, задача, или «особое задание», как сказал адмирал: немецкий рейдер (очевидно, вспомогательный крейсер) прошёл в Карское море, обстрелял порт Т. и бродит где-то далеко на востоке. Я должен был найти и утопить его — чем скорее, тем лучше, потому что наш караван с военными грузами шёл по Северному морскому пути и находился сравнительно недалеко от этого порта. Да и вообще нетрудно было представить себе, что может сделать в мирных водах большой военный корабль!

…Как ни лень было тянуть, а пришлось добирать до пяти с половиной. Но и здесь не было ничего, кроме всё той же унылой облачной каши, которую кто-то, вроде самого Господа Бога, круто размешивал великанской ложкой.

Итак — найти и утопить! Нельзя было даже сравнивать, насколько первое было сложнее второго! Но как был поражён адмирал, когда я исправил на его карте почти все острова восточной части архипелага Норденшёльда!

[1] *Каверин В. Два капитана. М.: Машиностроитель, 1984.*

— Вы были там?

— Нет.

Он не знал, что я был и не был там. Карта архипелага Норденшёльда была исправлена экспедицией «Норда» перед самой войной. Я не был там. Но когда-то в этих местах прошёл капитан Татаринов и мысленно я, вслед за ним, тысячу раз.

Да, прав был доктор Иван Иваныч: ничто не пропадает даром! Жизнь поворачивает туда и сюда и падает, пробиваясь, как подземная река в темноте, в тишине вечной ночи, и вдруг выходит на простор, к солнцу и свету, как вышла сейчас моя машина из облачной каши, — выходит, и оказывается, что ничто не пропадает даром!

— Штурман, курс!

На три градуса разошлись пилотский и штурманский курсы и превосходно сошлись, когда из карманов были выброшены портсигары, фонарики, зажигалки…

О чём я думал? О Кате. О том, что лечу в те места, куда некогда должен был отправиться с нею и куда меня не пускали так долго. Разве не знал я наверное, безусловно, что придёт время — и я прилечу в эти места? Разве не чертил с точностью до полуградуса маршрут, по которому, как в детском ослепительном сне, прошли люди со шхуны «Св. Мария» — прошли, тяжело дыша, с закрытыми, чтобы не ослепнуть, глазами? Прошли, и впереди — большой человек, великан в меховых сапогах…

Но это был уже бред. Я прогнал его. Новая Земля была недалеко. (…)

Снова в Заполярье

Не дорога, а засаженная кедрами аллея вела к городу от аэродрома, и, глядя на эти шумные, богато раскинувшиеся кедры, я невольно подумал о том, что всё-таки давно я не был в этом городе моей молодости и самых смелых за всю жизнь надежд. (…)

С глубоким интересом осматривал я Заполярье. Когда я уехал, городу пошёл шестой год. Теперь ему минуло пятнадцать, и с первого взгляда можно было заключить, что он не потерял времени даром, в особенности если вспомнить, что три самых дорогих года были отданы на войну.

И здесь, за две с половиной тысячи километров от фронта, она чувствовалась, если вглядеться, во многом. Как прежде, в порту готовились к Карской, но уже не стояли у причалов огромные иностранные пароходы, не сновали по городу весёлые, удивлённые негры. Как прежде, на лесную биржу с верховьев Енисея, Ангары, Нижней Тунгуски прибывали плоты, и домики на плотах с дымящимися трубами, с развешанным на верёвках бельём, как прежде, создавали на Протоке мирное впечатление плавучей деревни. Но опытный взгляд легко мог определить далеко не мирное назначение деревянного сырья, из которого состояла эта деревня.

Однако совсем другая черта поразила меня, когда уже под вечер мы поехали в Медвежий Лог, где когда-то стоял единственный чум моего приятеля эвенка

Удагира, а теперь раскинулись два великолепных, просторных квартала двухэтажных домов: мне представилось, что в здешних местах уже как бы перекинут мост между «до войны» и «после войны». Отразившая нападение и победившая жизнь с прежним суровым упрямством утверждала себя в великой северной стройке. (…)

…Поздней ночью — о том, что была поздняя ночь, можно было догадаться, лишь взглянув на часы, — мы стартовали из Заполярья. Красноватое солнце высоко стояло на небе. Как дым огромного локомотива, бежали, быстро нарастая, пушистые облака.

Думал ли я, что наступает день, которого я ждал всю мою жизнь? Нет! Экипаж без меня проверял моторы, и я беспокоился, основательно ли была сделана эта проверка.

Победа

Мы вылетели в два часа ночи, а в половине пятого утра утопили рейдер. Правда, мы не видели, как он затонул. Но после нашей торпеды он начал «парить», как говорят моряки, то есть потерял ход и скрылся под облаками пара.

В общем, это произошло приблизительно так: он шёл с таким видом, что между мною и штурманом произошёл краткий спор (который лучше не приводить в этой книге) по вопросу о том, не принадлежит ли этот корабль к составу Северного флота. Убедившись, что это не так, мы ушли от него, как это любил делать мой штурман. Потом резко развернулись и взяли курс на цель.

Жаль, что я не могу нарисовать ту довольно сложную фигуру, которую мне пришлось проделать, чтобы сбросить торпеду по возможности точно. Это была восьмёрка, почти полная, причём в перехвате я произвёл две атаки — первая была неудачной. Потом мы стали уползать, именно уползать, потому что, как это вскоре выяснилось, и немцы не потеряли времени даром.

Ещё во время первого захода стрелок закричал:

— Полна кабина дыму!

Три сильных удара послышались, когда я заходил второй раз, но некогда было думать об этом, потому что я уже лез на рейдер со стиснутыми зубами. Зато теперь у меня было достаточно времени, чтобы убедиться в том, что машина разбита. Горючее текло, масло текло, и, если бы не штурман, своевременно пустивший в ход одну новую штуку, мы бы давно погорели. Правый мотор ещё над целью перешёл с маленького шага на большой, а потом на очень большой — можно сказать, на гигантский.

Конечно, у нас были лодочки, и можно было приказать экипажу выпрыгнуть с парашютами. Но эти лодочки мы испытывали под Архангельском, на тихом, глухом озерке, и то, вылезая из воды, дрожали, как собаки. А здесь под нами было такое неуютное, покрытое мелкобитым льдом холодное море!

Не буду перечислять тех кратких докладов о состоянии машины, которые делал мой экипаж. Их было много — гораздо больше, чем мне бы хотелось. После одного из них, очень печального, штурман спросил:

— Будем держаться, Саня?

Ещё бы нет! Мы вошли в облачко, и в двойном кольце радуги я увидел внизу отчётливую тень нашего самолёта. К сожалению, он снижался. Без всякого повода с моей стороны он вдруг резко пошёл на крыло, и, если бы можно было увидеть смерть, мы, без сомнения, увидели бы её на этой плоскости, отвесно направленной к морю.

…Сам не знаю как, но я вывел машину. Чтобы облегчить её, я приказал стрелку сбросить пулемётные диски. Ещё десять минут — и самые пулемёты, кувыркаясь, полетели в море.

— Держимся, Саня?

Конечно, держимся! Я спросил штурмана, как далеко до берега, и он ответил, что недалеко — минут двадцать шесть. Конечно, соврал, чтобы подбодрить меня: до берега было не меньше чем тридцать.

Не впервые в жизни приходилось мне отсчитывать такие минуты. Случалось, что, преодолевая страх, я отсчитывал их с отчаянием, со злобой. Случалось, что они лежали на сердце, как тяжёлые круглые камни, и я тоскливо ждал — когда же наконец скатится в прошлое ещё один мучительный камень-минута!

Теперь я не ждал. С бешенством, с азартом, от которого какое-то страшное веселье разливалось в душе, я торопил и подталкивал их.

— Дотянем, Саня?

— Конечно, дотянем!

И мы дотянули. В полукилометре от берега, на который некогда было даже взглянуть, мы плюхнулись в воду и не пошли ко дну, как это ни было странно, а попали на отмель. Ко всем неприятностям теперь присоединились ледяные волны, которые немедленно окатили нас с головы до ног. Но что значили эти волны и то, что машину мотало с добрый час, пока мы добрались до берега, и тысяча новых трудов и забот в сравнении с короткой фразой в очередной сводке Информбюро: «Один наш самолёт не вернулся на базу»?

Почему я решил, что это залив Миддендорфа и что, следовательно, мы сели далеко от жилых мест? Не знаю. Штурману было не до вычислений, и, пока мы шли над морем, его интересовал единственный курс — берег. Теперь ему было снова не до вычислений, потому что я приказал закрепить машину, и мы работали до тех пор, пока не повалились кто-где на сухом берегу, между камней, припекаемых солнцем. Тихо лежали мы, глядя в небо — чистое, просторное, ни облачка, ни тучки — и думая каждый о своём. Но это своё у каждого определялось общим чувством: «Победа».

Мы лежали совершенно без сил, трудно было даже стряхнуть с лица налипший песок, и он сам засыхал под солнцем и отваливался кусками. Победа. Погасшая трубка лежала у штурмана на груди, он вдруг громко всхрапнул, и трубка скатилась. Победа. Ничего не надо, только смотреть в это полное голубизны, сияния, могущества небо и чувствовать под ладонями тёплые гальки. Победа.

Всё было победой, даже то, что страшно хотелось есть, а я не мог заставить себя подняться, чтобы достать из машины бутерброды, которые Анна Степановна сунула мне на дорогу…

Не стоит рассказывать о том, как мы осматривали машину. Очевидно, причиной дыма, о котором доложил стрелок, был снаряд, разорвавшийся в кабине. Если не считать сотни или две пробоин, самолёт выглядел вполне прилично — хотя бы в сравнении с той грудой железа, на которой мне иногда приходилось садиться. Но у него был один недостаток — он больше не мог летать, и своими средствами невозможно было привести в порядок моторы.

За обедом — у нас был превосходный обед: на первое суп из сухого молока, шоколада и сливочного масла, а на второе тот же суп, но уже в сухом виде — было решено:

а) закрепить машину там, где она стояла, глубоко врезавшись в песчаную «кошку», — всё равно мы не могли поднять её на высокий берег;

б) оставить при машине стрелка;

в) идти искать людей и помощь.

Я забыл упомянуть, что, ещё когда мы тянули над морем, кто-то, кажется радист, заметил на берегу не то дом, не то деревянную вышку. Она пропала, едва мы подрулили под берег, — скрылась за поворотом. Возможно, что это был навигационный знак — то есть прибрежное сооружение, которое очень редко посещается судами. Тогда нам от него было бы мало толку. А если нет?

Впрочем, можно было и никуда не ходить, а после обеда снова завалиться между камней, выбрав уютное подветренное местечко, и отдыхать, глядя на проходящие голубоватые льдины, с которых, звеня и сверкая, сбегала вода. Но радио, к сожалению, было разбито, и как его ни вертел упрямый радист, оно было немо, как камень.

Словом, всё-таки нужно было идти. Куда? Очевидно, к этому навигационному знаку, который мог оказаться электромаяком или ещё чем-нибудь в этом роде.

— Но прежде всего, — сказал я штурману, — где мы?

Прошло не меньше четверти часа, прежде чем он ответил на этот вопрос. Правда, он называл не те координаты, которые назвал я, когда Ледков спросил, где же, по моему мнению, находятся остатки экспедиции капитана Татаринова.

Но координаты штурмана были так близки к этой точке — точке, в которую я ткнул пальцем на карте Ледкова, — что я невольно осмотрелся вокруг: не увижу ли сейчас в двух шагах, вот за тем камнем, самого капитана… (…)

Разгадка

Пришлось бы написать ещё одну книгу, чтобы подробно рассказать о том, как была найдена экспедиция капитана Татаринова. В сущности говоря, у меня было очень много данных — гораздо больше, чем, например, у известного Дюмон-Дюрвиля, который ещё мальчиком с поразительной точностью указал, где он найдёт экспедицию Лаперуза. Мне было даже легче, чем ему, потому что жизнь капитана Татаринова тесно переплелась с моей и выводы из этих данных в конечном счёте касались и его и меня.

Вот путь, которым он должен был пройти, если считать бесспорным, что он вернулся к Северной Земле, которая была названа им Землёй Марии: от 79°35” широты, между 86-м и 87-м меридианами, к Русским островам и к архипелагу

Норденшёльда. Потом — вероятно, после многих блужданий — от мыса Стерлегова к устью Пясины, где старый ненец встретил лодку на нартах. Потом к Енисею, потому что Енисей — это была единственная надежда встретить людей и помощь. Он шёл мористой стороной прибрежных островов, по возможности — прямо…

Мы нашли экспедицию, то есть то, что от неё осталось, в районе, над которым десятки раз летали наши самолёты, везя почту и людей на Диксон, машины и товары на Нордвик, перебрасывая геологические партии для розысков угля, нефти, руды. Если бы капитан Татаринов теперь добрался до устья Енисея, он встретил бы десятки огромных морских судов. На островах, мимо которых он шёл, он увидел бы теперь электрические маяки и радиомаяки, он услышал бы наутофоны, громко гудящие во время тумана и указывающие путь кораблям. Ещё триста-четыреста километров вверх по Енисею, и он увидел бы Заполярную железную дорогу, соединяющую Дудинку с Норильском. Он увидел бы новые города, возникшие вокруг нефтяных, промыслов, вокруг шахт и лесозаводов.

Выше я упомянул, что с первых дней на Севере я писал Кате. Груда неотправленных писем осталась на Н. — я надеялся, что мы вместе прочтём их после войны. Эти письма стали чем-то вроде моего дневника, который я вёл не для себя, а для Кати. Приведу из него лишь те места, в которых говорится о том, как была открыта стоянка.

1. «…Я был поражён, узнав, как близко подступила жизнь к этому месту, которое казалось мне таким бесконечно далёким. В двух шагах от огромной морской дороги лежит оно, и ты была совершенно права, когда говорила, что „отца не нашли лишь потому, что никогда не искали“. Между маяком и радиостанцией проведена телефонная линия, и не временная, а постоянная, на столбах. Горнорудные разработки ведутся в десяти километрах к югу, так что, если бы мы не открыли стоянку, через некоторое время шахтёры наткнулись бы на неё.

…Штурман первый поднял с земли кусок парусины. Ничего удивительного! Мало ли что можно найти на морском берегу! Но это была парусиновая лямка, в которую впрягаются, чтобы тащить нарты. Потом стрелок нашёл алюминиевую крышку от кастрюли, измятую жестянку, в которой лежали клубки верёвок, и тогда мы разбили ложбину от холмов до гряды на несколько квадратов и стали бродить — каждый по своему квадрату…

Я где-то читал, как по одной надписи, вырезанной на камне, учёные открыли жизнь целой страны, погибшей ещё до нашей эры. Так постепенно стало оживать перед нами это место. Я первый увидел брезентовую лодку, то есть, вернее, понял, что этот сплющенный блин, боком торчащий из размытой земли, — лодка, да ещё поставленная на сани. В ней лежали два ружья, какая-то шкура, секстант и полевой бинокль, всё заржавленное, заплесневелое, заросшее мхом. У гряды, защищающей лагерь с моря, мы нашли разную одежду — между прочим, расползшийся спальный мешок из оленьего меха. Очевидно, здесь была разбита палатка, потому что брёвна плавника лежали под углом, образуя вместе со скалой закрытый четырёхугольник. В этой „палатке“ мы нашли корзинку из-под провизии с лоскутом парусины вместо замка, несколько шерстяных

чулок и обрывки белого с голубым одеяла. Мы нашли ещё топор и „удочку“ — то есть бечёвку, на конце которой был привязан самодельный крючок из булавки. Часть вещей валялась около „палатки“ — спиртовая лампочка, ложка, деревянный ящичек, в котором лежало много всякой всячины и, между прочим, несколько толстых, тоже самодельных парусных игл. На некоторых вещах ещё можно было разобрать круглую печать „Зверобойная шхуна „Св. Мария“ или надпись „Св. Мария“. Но этот лагерь был совершенно пуст — ни живых, ни мёртвых».

2. «…Это была самодельная походная кухня — жестяной кожух, в который было вставлено ведро с крышкой. Обычно под такое ведро подставляют железный поддонок, в котором горит медвежье или тюленье сало. Но не поддонок, а обыкновенный примус стоял в кожухе; я потряс его — и оказалось, в нём ещё был керосин. Попробовал накачать — и керосин побежал тонкой струйкой. Рядом мы нашли консервную банку с надписью: „Борщ малороссийский. Фабрика Вихорева. Санкт-Петербург, 1912“. При желании можно было вскрыть этот борщ и подогреть его на примусе, который пролежал в земле около тридцати лет».

3. «…Мы вернулись в лагерь после безуспешных поисков по направлению к Гольчихе. На этот раз мы подошли к нему с юго-востока, и холмы, которые казались нам однообразно волнистыми, теперь предстали в другом, неожиданном виде. Это был один большой скат, переходящий в каменистую тундру и пересечённый глубокими ложбинами, как будто вырытыми человеческой рукой. Мы шли по одной из этих ложбин, и никто сначала не обратил внимания на полуразвалившийся штабель плавника между двумя огромными валунами. Брёвен было немного, штук шесть, но среди них одно отпиленное. Отпиленное! Это нас поразило. До сих пор мы считали, что лагерь был расположен между скалистой грядой и холмами. Но он мог быть перенесён, и очень скоро мы убедились в этом.

Трудно даже приблизительно перечислить все предметы, которые были найдены в этой ложбине. Мы нашли часы, охотничий нож, несколько лыжных палок, два одноствольных ружья системы „Ремингтон“, кожаную жилетку, трубочку с какой-то мазью. Мы нашли полуистлевший мешок с фотоплёнками. И наконец — в самой глубокой ложбине мы нашли палатку, и под этой палаткой, на кромках которой ещё лежали брёвна плавника и китовая кость, чтобы её не сорвало бурей, под этой палаткой, которую пришлось вырубать изо льда топорами, мы нашли того, кого искали…

Ещё можно было догадаться, в каком положении он умер, — откинув правую руку в сторону, вытянувшись и, кажется, прислушиваясь к чему-то. Он лежал ничком, и сумка, в которой мы нашли его прощальные письма, лежала у него под грудью. Без сомнения, он надеялся, что письма лучше сохранятся, прикрытые его телом».

4. «…Не было и не могло быть надежды, что мы увидим его. Но пока не была названа смерть, пока я не увидел её своими глазами, всё светила в душе эта детская мысль. Теперь погасла, но ярко загорелась другая: не случайно, не напрасно

искал я его — для него нет и не будет смерти. Час назад пароход подошёл к электромаяку, и моряки, обнажив головы, перенесли на борт гроб, покрытый остатками истлевшей палатки. Салют раздался, и пароход в знак траура приспустил флаг. Я один ещё брожу по опустевшему лагерю „Св. Марии“ и вот пишу тебе, мой друг, родная Катя. Как бы мне хотелось быть сейчас с тобою! Скоро тридцать лет, как кончилась эта мужественная борьба за жизнь, но я знаю, что для тебя он умер только сегодня. Как будто с фронта пишу я тебе — о друге и отце, погибшем в бою. Скорбь и гордость за него волнуют меня, и перед зрелищем бессмертия страстно замирает душа…»

Самое невероятное

«Как бы мне хотелось быть сейчас с тобою!» — я читал и перечитывал эти слова, и они казались мне такими холодными и пустыми, как будто в пустой и холодной комнате я говорил со своим отражением. Катя была нужна мне, а не этот дневник, — живая, умная, милая Катя, которая верила мне и любила меня. Когда-то, потрясённый тем, что она отвернулась от меня на похоронах Марьи Васильевны, я мечтал о том, что приду к ней, как Овод, и брошу к её ногам доказательства своей правоты. Потом я сделал то, что весь мир узнал о её отце и он стал национальным героем. Но для Кати он остался отцом — кто же, если не она, должна была первая узнать о том, что я нашёл его? Кто же, если не она, говорил мне, что всё будет прекрасно, если сказки, в которые мы верим, ещё живут на земле? Среди забот, трудов и волнений войны я нашёл его. Не мальчик, потрясённый туманным видением Арктики, озарившим его немой, полусознательный мир, не юноша, с молодым упрямством стремившийся настоять на своём, — нет, зрелый, испытавший всё человек, я стоял перед открытием, которое должно было войти в историю русской науки. Я был горд и счастлив. Но что мог я сделать с моим сердцем, которое томилось горьким чувством, что всё могло быть иначе!

Лишь в конце января я вернулся в полк. На следующий день меня вызвал командующий Северным флотом.

…Никогда не забуду этого утра — и вовсе не потому, что своими бледными и в то же время смелыми красками оно представилось мне как бы первым утром на земле. Для Крайнего Севера это характерное чувство. Но точно ожидание какого-то чуда стеснило мне грудь, когда, покурив и поболтав с командиром катера, я поднялся и встал на палубе среди тяжёлого, разорванного тумана. То заходил он на палубу, то уходил, и между его дикими клочьями показывалась над сопками полная луна с вертикальными, вверх и вниз, снопами. Потом она стала ясная, как бы победившая всё вокруг, но побледневшая, обессилевшая, когда оказалось, что мы идём к утреннему, розовому небу. Через несколько минут она в последний раз мелькнула среди проносящегося, тающего тумана, и голубое, розовое снежное утро встало над Кольским заливом.

Мы вошли в бухту, и такой же, как это утро, белый, розовый снежный городок открылся передо мной.

Он был виден весь, как будто нарочно поставленный на серый высокий склон с красивыми просветами гранита. Белые домики с крылечками, от ко-

торых в разные стороны разбегались ступени, были расположены линиями, одна над другой, а вдоль бухты стояли большие каменные дома, построенные полукругом. Потом я узнал, что они так и назывались — циркульными, точно гигантский циркуль провёл этот полукруг над Екатерининской бухтой.

Поднявшись на высокую лестницу, которая вела под арку, перекинутую между этими домами, я увидел бухту от берега до берега, и непонятное волнение, которое всё утро то пробуждалось, то утихало в душе, вновь овладело мною с какой-то пронзительной силой. Бухта была тёмно-зелёная, непроницаемая, лишь поблескивающая от света неба. Что-то очень далёкое, южное, напоминающее высокогорные кавказские озёра, было в этой замкнутости берегов, — но на той стороне убегали сопки, покрытые снегом, и на их ослепительном фоне лишь кое-где был виден тонкий чёрный рисунок каких-то невысоких деревьев.

Я не верю в предчувствия, но невольно подумал о нём, когда, поражённый красотой Полярного и Екатерининской бухты, я стоял у циркульного дома. Точно это была моя родина, которую до сих пор я лишь видел во сне и напрасно искал долгие годы, — таким явился передо мной этот город. И в радостном возбуждении я стал думать, что здесь непременно должно произойти что-то очень хорошее для меня и даже, может быть, самое лучшее в жизни.

В штабе ещё никого не было. Я пришёл до начала занятий. Ночной дежурный сказал, что, насколько ему известно, мне приказано явиться к десяти часам, а сейчас половина восьмого.

Не знаю отчего, но с облегчением, точно это было хорошо, что ещё половина восьмого, я вышел и снова стал смотреть на бухту из-под арки циркульного дома.

Всё изменилось, пока я был в штабе: бухта стала теперь серая, строгая между серых, строгих берегов, и в глубине перспективы медленно двигался к Полярному какой-то разлапый пароходик. Мне захотелось взглянуть, как он будет подходить, и я перешёл на другую лестницу, которая поворачивала под углом, переходя в просторную площадку.

Это был один из двух пассажирских пароходов, ходивших между Мурманском и Полярным. Очередь к патрулю, проверявшему документы, выстроилась на сходнях. Среди моряков, сошедших на берег, было несколько штатских и даже три или четыре женщины с корзинками и узлами… (…)

Это была Катя

Как рассказать о первых минутах нашей встречи, о беспамятстве, с которым я вглядывался в её лицо, целовал и снова вглядывался, начинал спрашивать и перебивал себя, потому что всё, о чём я спрашивал, было давно, тысячу лет назад… И как бы ни было страшно то, что она мучилась и умирала от голода в Ленинграде и перестала надеяться, что увидит меня, но всё это прошло, миновало, и вот она стоит передо мной, и я могу обнять её… Господи, этому невозможно поверить!..

Она была бледна и очень похудела, что-то новое появилось в лице, потерявшем прежнюю строгость.

— Катька, да ты подстриглась!

— Давно, ещё в Ярославле, когда болела.

Она не только подстриглась — она стала другая, но сейчас я не хотел думать об этом. Всё летело, летело куда-то: и мы, и эта комната, совершенно такая же, как две соседние, с разбросанными вещами, с открытым Катиным чемоданом, из которого она что-то доставала, когда я постучал, с доктором, который, оказывается, всё время был здесь же, стоял в углу, вытирая платком бороду, а потом стал уходить на цыпочках, но я его не пустил. Но главное, самое главное — всё время я забывал о нём! — Катя в Полярном! Как это вышло, что Катя оказалась в Полярном?

— Господи, да я писала тебе каждый день! Мы на час разошлись в Москве. Когда ты заходил к Вале Жукову, я стояла на Арбате в очереди за хлебом.

— Не может быть!

— Ты оставил письмо, я сразу побежала искать тебя — но куда? Кто же мог думать, что ты пойдёшь к Ромашову!

— Откуда ты знаешь, что я пошёл к Ромашову?

— Я всё знаю, всё! Милый мой, дорогой!

Она целовала меня.

— Я тебе всё расскажу…

И она рассказала, что Вышимирский, перепуганный насмерть, разыскал Ивана Павлыча и объявил ему, что я арестовал Ромашова.

— Но кто этот контр-адмирал Р.? Я писала ему для тебя, потом лично ему — никакого ответа!.. Ты не знал, что едешь сюда? Почему я должна была писать ему для тебя?

— Потому что у меня не было своего адреса… Из Москвы я поехал искать тебя.

— Куда?

— В Ярославль. Я был в Ярославле. Я уже собрался в Новосибирск, когда получил назначение.

— Почему ты не написал Кораблёву, когда приехал сюда?

— Не знаю… Боже мой, неужели это ты? Ты — Катя?..

Мы ходили обнявшись, натыкаясь на вещи, и снова всё спрашивали — почему, почему, и этих «почему» было так же много, как много было причин, которые разлучили нас под Ленинградом, провели по соседним улицам в Москве, а теперь столкнули в Полярном, куда я только что приехал впервые и где ещё полчаса назад невозможно было вообразить мою Катю!

О том, что я нашёл экспедицию, она узнала из телеграммы ТАСС, появившейся в центральных газетах. Она снеслась с доктором, и он помог ей получить пропуск в Полярное. Но они не знали, куда мне писать. Да если бы это и было известно, едва ли дошли бы до стоянки экспедиции капитана Татаринова их телеграммы и письма!

Доктор куда-то исчез, потом вернулся с горячим чайником и не то что остановил эту скорость, с которой всё летело куда-то вперёд, а хоть посадил нас рядом

на диван и стал угощать какими-то железными сухарями. Потом он притащил бидон со сгущённым молоком и поставил его на стол, извинившись за посуду.

Потом ушёл. Я больше не задерживал его, и мы остались одни в этом холодном доме, с кухней, которая была завалена банками от консервов и грязной посудой, с передней, в которой не таял снег. Почему в этом доме, из окон которого видны сопки и видно, как тяжёлая вода важно ходит между обрывистыми снежными берегами? Но это было ещё одно «почему», на которое я не старался найти ответа.

Уходя, доктор сунул мне какую-то электрическую штуку. Я сразу забыл о ней и вспомнил, когда, засмеявшись чему-то, заметил, что у меня, как у лошади на морозе, изо рта валит густой, медленно тающий пар. Эта штука была камином, очевидно, местной конструкции, но очень хорошим, судя по тому, как он бодро, хрипло гудел до утра. Очень скоро в комнате стало тепло. Катя хотела прибрать её, но я не дал. Я смотрел на неё. Я крепко держал её за руки, точно она могла так же внезапно исчезнуть, как появилась…

Ещё идя к доктору, я заметил, что погода стала меняться, а теперь, когда вышел из дому, потому что было уже без четверти десять, прежний холодный, звенящий ветер упал, воздух стал непрозрачный и мягкий снег повалил тяжело и быстро — верные признаки приближения пурги.

К моему изумлению, в штабе уже знали о том, что приехала Катя. Знал и командующий — почему бы иначе он встретил меня улыбаясь? Очень кратко я доложил ему, как был потоплен рейдер, и он не стал расспрашивать, только сказал, что вечером мне предстоит рассказать об этом на военном совете. Экспедиция «Св. Марии» — вот что интересовало его!

Я начал сдержанно, неловко — хотя самая странность того, что экспедиция была найдена во время выполнения боевого задания, вовсе не показалась бы странностью тому, кто знал мою жизнь. Каким же образом в двух словах передать эту мысль командующему флотом? Но он слушал с таким вниманием, с таким искренним молодым интересом, что в конце концов я махнул рукой на эти «два слова» — начал рассказывать попросту, — и вдруг получилось именно так, как всё это действительно было.

Мы расстались наконец, и то лишь потому, что адмирал вспомнил о Кате…

Не знаю, сколько времени я провёл у него, должно быть час или немного больше, а между тем, выйдя, я не нашёл Полярного, которое скрылось в кружении летящего, слепящего, свистящего снега.

Хорошо, что я был в бурках, — и то пришлось выше колен поднять отвороты. Какие там линии — и в помине не было линий! Лишь фантастическое воображение могло представить, что где-то за этими чёрными тучами сталкивающегося снега стоят дома и в одном из них, на Пятой линии, семь, Катя кладёт твёрдые, как железо, галеты на камин, чтобы отогреть их, по моему совету. Конечно, я добрался до этого дома. Самым трудным оказалось узнать его — за полчаса он стал похож на сказочную избушку, скосившуюся набок и заваленную снегом по окна. Как бог пурги, ввалился я в переднюю, и Кате пришлось обметать меня

веником, начиная с плеч, на которых выросли и примёрзли высокие ледяные нашлёпки.

…Уже всё, кажется, было переговорено, уже дважды мы наткнулись на прощальные письма капитана — я привёз их в Полярное, хотел показать доктору; другие материалы экспедиции остались в полку. Но мы обошли эти письма и всё, что было связано с ними, точно почувствовав, что в счастье нашей встречи об этом ещё нельзя говорить.

Уже Катя рассказала, какой стал Петенька, — смуглый и чуть-чуть косит, одно лицо с покойной сестрой. Уже мы посоветовались, что делать с бабушкой, которая поссорилась с директором Перышкиным и сняла в колхозе «отдельную квартиру». Уже я узнал, что большой Петя был снова ранен и награждён и вернулся на фронт. В Москве Катя случайно познакомилась с командиром его батальона, Героем Советского Союза, и тот сказал, что Петя «плевал на эту смерть», — слова, поразившие Катю. И о Варе Трофимовой я узнал, что «если всё будет, как думает Катя, для них обоих это счастье и счастье». Уже изменилось что-то в комнате — иначе, удобнее расположились вещи, точно были благодарны Кате за то, что в мужской, холодной комнате доктора стало тепло. Уже прошло пять или шесть часов с тех пор, как произошла эта чудная, бесконечно важная для меня перемена — весь мир нашей семейной жизни, покинувший нас так надолго, на полтора страшных года, вернулся наконец, — а я всё ещё не мог привыкнуть к мысли, что Катя со мною.

— Знаешь, о чём я думал чаще всего? Что я мало любил тебя и забывал о том, как тебе трудно со мною.

— А я думала, как тебе было трудно со мною. Когда ты уезжал и я волновалась за тебя, со всеми тревогами, заботами, страхом, это было всё-таки счастье.

Мы говорили, и она ещё продолжала что-то устраивать, как всегда в гостиницах, даже в поездах — везде, где мы бывали вдвоём. Это была привычка женщины, постоянно переезжающей с мужем с места на место, — и с какою жалостью, нежностью, раскаянием я почувствовал Катю в этой печальной привычке! Потом пришёл сосед, тот самый моряк, который сказал, что я не способен разобраться в обстановке полярной ночи, толстый, низенький, красный человек и великолепный едок — в этом мы убедились немного позднее.

Он зашёл познакомиться и с первого слова объявил, что он — коллега Ивана Иваныча, приехавший в Полярное, чтобы испытать на подводных лодках какие-то спасательные приборы. Вечером он собирался в Мурманск, но проклятая пурга спутала все расчёты.

— Не дают добро, — сказал он со вздохом. — Так что больше ничего не остаётся, как закусить и выпить.

У Ивана Иваныча были вино и консервы, но моряк сказал, что это не то, и принёс свои вино и консервы. Пыхтя, он открыл консервы и, зачем-то засучив рукава, стал подогревать их на камине. Мы с Катей что-то ели весь день, и он, не очень огорчившись нашим отказом, сам быстро, аппетитно всё съел и выпил. Он уже знал от доктора, что мы потеряли и нашли друг друга, и поздравил нас, а потом объявил, что знает тысячи подобных историй.

— И это ещё удачно, что ни вы, ни мадам не жалеете о холостой жизни, — поучительно сказал он. — Да-с, бывает и так!

Не помню, о чем ещё мы болтали, только помню, что оттого, что, кроме нас, был ещё кто-то чужой, ещё острее чувствовалось счастье.

Потом он ушёл и весь вечер звонил в порт — не дают ли добро? Но какое уж там «добро», когда пурга ещё только что пошла бродить-гулять над Баренцевым морем! Даже в доме окна начинали внезапно дрожать, точно кто-то тряс их снаружи, стучась то робко, то смело.

Мы были одни. Я не мог насмотреться на Катю. Боже мой, как я стосковался по ней! Я всё забыл! Я забыл, например, как она убирает волосы на ночь — заплетает косички. Теперь волосы отросли ещё мало, и косички вышли коротенькие, смешные. Но всё-таки она заплела их, открыв маленькие, красивые уши, которые я тоже забыл.

Опять мы говорили теперь шёпотом, и совсем о другом — после того как долго молчали. (…)

Прощальные письма

Уходя, я отдал Кате прощальные письма капитана. Когда-то в Энске, в Соборном саду, я так же оставил её одну за чтением письма, которое мы с тётей Дашей нашли в сумке утонувшего почтальона. Я стоял тогда под башней старца Мартына, и мне становилось холодно, когда мысленно вместе с Катей я читал строчку за строчкой.

Теперь я мог увидеть её лишь через несколько дней. Но всё равно мы снова читали вместе — я знал, что Катя чувствует моё дыхание за своими плечами.

Вот эти письма.

1

Санкт-Петербург. Главное Гидрографическое управление. Капитану первого ранга П.С. Соколову

Дорогой мой Пётр Сергеевич!

Надеюсь, что это письмо дойдёт до вас. Я пишу его в ту минуту, когда наше путешествие подходит к концу, и, к сожалению, заканчиваю его в одиночестве. Не думаю, чтоб кто-нибудь на свете мог справиться с тем, что пришлось перенести нам. Все мои товарищи погибли один за другим, а разведывательная партия, которую я послал в Гольчиху, не вернулась.

Я оставляю Машу и вашу крестницу в тяжёлом положении. Если бы я знал, что они обеспечены, то не очень терзался бы, покидая сей мир, потому что чувствую, что нашей родине не приходится нас стыдиться. У нас была большая неудача, но мы исправили её, вернувшись к открытой нами земле и изучив её, сколько в наших силах.

Мои последние мысли — о жене и ребёнке. Очень хочется, чтобы у дочки была удача в жизни. Помогите им, как вы помогали мне. Умирая, я с глубокой

благодарностью думаю о вас и о моих лучших годах молодости, когда я работал под вашим руководством.

Обнимаю вас. Иван Татаринов

2

Его Превосходительству Начальнику Главного Гидрографического управления Начальника экспедиции на судне «Св. Мария» И.Л. Татаринова

Рапорт

Настоящим имею честь довести до сведения Главного Гидрографического управления нижеследующее:

1915 года, марта месяца 16-го дня, в широте, обсервированной 79°08'30", и в долготе от Гринвича 89°55'00" с борта дрейфующего судна «Св. Мария» при хорошей видимости и ясном небе была замечена на восток от судна неизвестная обширная земля с высокими горами и ледниками. На нахождение земли в этом районе и раньше указывали некоторые признаки: так, ещё в августе 1912 года мы видели большие стаи гусей, летевших с севера курсом норд-норд-ост — зюйд-зюйд-вест. В начале апреля 1913 года мы видели на нордостовом горизонте резкую серебристую полоску и над нею очень странные по форме облака, похожие на туман, окутавший далёкие горы.

Открытие земли, тянущейся в меридиональном направлении, дало нам надежду покинуть судно при первом благоприятном случае, чтобы, выйдя на сушу, следовать вдоль её берегов по направлению Таймырского полуострова и дальше, до первых сибирских поселений в устьях реки Хатанги или Енисея, смотря по обстоятельствам. В это время направление нашего дрейфа не оставляло сомнений. Судно двигалось вместе со льдом генеральным курсом норд 7° к весту. Даже в случае изменения этого курса на более западный, то есть параллельно движению нансеновского «Фрама», мы не могли выйти изо льдов раньше осени 1916 года, а провизии имели только до лета 1915 года.

После многочисленных затруднений, не имеющих отношения к существу настоящего рапорта, нам удалось 23 мая 1915 года выйти на берег вновь открытой земли в широте 81°09' и долготе 58°36'. Это был покрытый льдом остров, обозначенный на приложенной к сему рапорту карте под литерой А. Только через пять дней нам удалось достичь второго, огромного острова, одного из трёх или четырёх, составляющих новооткрытую землю. Определённый мною астрономический пункт на выдающемся мысе этого острова, обозначенного литерой Г, дал координаты 80°26'30" и 92°03'00".

Двигаясь к югу вдоль берегов этой неизвестной земли, я исследовал её берега между 81-й и 79-й нордовыми параллелями. В северной части берег представляет собой довольно низменную землю, частично покрытую обширным ледником. Дальше к югу он становится более высоким и свободен ото льда. Здесь мы нашли плавник. В широте 80° обнаружен широкий пролив или залив, идущий от пункта под литерой С в OSO направлении.

Начиная от пункта под литерой Ф берег круто поворачивает в зюйд-зюйд-вестовом направлении. Я намеревался исследовать южный берег вновь откры-

той земли, но в это время было уже решено двигаться вдоль берега Харитона Лаптева по направлению к Енисею.

Доводя до сведения Управления о сделанных мною открытиях, считаю необходимым отметить, что определения долгот считаю не вполне надёжными, так как судовые хронометры, несмотря на тщательный уход, не имели поправки времени в течение более двух лет.

Иван Татаринов

При сём: 1. Заверенная копия вахтенного журнала судна «Св. Мария».

2. Копия хронометрического журнала.

3. Холщовая тетрадь с вычислениями и данными съёмки.

4. Карта заснятой местности.

18 июня 1915 года. Лагерь на острове 4 в Русском архипелаге

Дорогая Маша!

Боюсь, что с нами кончено, и у меня нет надежды даже на то, что ты когда-нибудь прочтёшь эти строки. Мы больше не можем идти, мёрзнем на ходу, на привалах, даже за едой никак не согреться. Ноги очень плохи — особенно правая, и я даже не знаю, как и когда я её отморозил. По привычке я пишу ещё «мы», хотя вот уже три дня, как бедный Колпаков умер. И я не могу даже похоронить его — пурга! Четыре дня пурги — оказалось, что для нас это слишком много.

Скоро моя очередь, но я совершенно не боюсь смерти, очевидно потому, что сделал больше, чем в моих силах, чтобы остаться жить.

Я очень виноват перед тобой, и эта мысль — самая тяжёлая, хотя и другие не многим легче.

Сколько беспокойства, сколько горя перенесла ты за эти годы — и вот ещё одно, самое большое. Но не считай себя связанной на всю жизнь и, если встретишь человека, с которым будешь счастлива, помни, что я этого желаю. Так скажи и Нине Капитоновне. Обнимаю её и прошу помочь тебе, сколько в её силах, особенно насчёт Кати.

У нас было очень тяжёлое путешествие, но мы хорошо держались и, вероятно, справились бы с нашей задачей, если бы не задержались со снаряжением и если бы это снаряжение не было таким плохим.

Дорогая моя Машенька, как-то вы будете жить без меня! И Катя, Катя! Я знаю, кто мог бы помочь вам, но в эти последние часы моей жизни не хочу называть его. Не судьба была мне открыто высказать ему всё, что за эти годы накипело на сердце. В нём воплотилась для меня та сила, которая всегда связывала меня по рукам и ногам, и горько мне думать о всех делах, которые я мог бы совершить, если бы мне не то что помогли, а хотя бы не мешали. Что делать? Одно утешение — что моими трудами открыты и присоединены к России новые обширные земли. Трудно мне оторваться от этого письма, от последнего разговора с тобой, дорогая Маша. Береги дочку да смотри, чтобы она не ленилась. Это моя черта, я всегда был ленив и слишком доверчив.

Катя, доченька моя! Узнаешь ли ты когда-нибудь, как много я думал о тебе и как мне хотелось ещё хоть разок взглянуть на тебя перед смертью!

Но хватит. Руки зябнут, а мне ещё писать и писать. Обнимаю вас. Ваш навеки.

Последняя страница

Мне не хотелось, чтобы Катя оставалась в комнате доктора, тем более что это была комната даже и не доктора, а одного погибшего командира. Вещи и мебель принадлежали ему. Вдруг остановившаяся жизнь была видна во всём — в робких, неоконченных акварелях, изображавших виды Полярного и симметрически висевших на стенах, в аккуратной стопочке специальных книг, в фотографиях, которых здесь было очень много, — всё девушка с длинными косами, в украинском костюме, и она же постарше, с голым толстым младенцем на руках.

Разные, совершенно ненужные мысли сами собой рождаются в подобных комнатах, и женщине, у которой муж служит в авиации, не всегда легко прогнать подобные мысли. Но Катя решила остаться.

— Что ж такого! — сказала она. — Это самая обыкновенная вещь.

Я не настаивал, тем более что мог приезжать в Полярное сравнительно редко, и мне было приятно знать, что Катя живёт подле доктора Ивана Иваныча и видит его каждый день. Сразу же она стала работать — сперва в госпитале медицинской сестрой, а потом в Старом Полярном, где у доктора был амбулаторный приём. Когда через две недели я опять приехал, она была уже полна интересами своей новой жизни. Удивительно быстро вошла она в эту жизнь.

Из этих мест уходили суда, чтобы на дальних и ближних морских дорогах встречать союзные и топить германские конвои, и всё, что происходило в городке, так или иначе было связано с этой борьбой. Любимых командиров знали по именам. Впрочем, многих из них давно уже знает по именам весь Советский Союз.

Необычайная, почти домашняя близость тыла и фронта, поразившая меня в Н., здесь была ещё заметнее, потому что сама жизнь в Полярном была гораздо сложнее и богаче. Не «случалась» эта жизнь, а шла — по всему было видно, что люди, от командующего до любого краснофлотца, прочно расположились среди этих диких скал и будут воевать до победы. Именно потому, что это было ровное напряжение, оно и проникало так глубоко в любую мелочь повседневного существования.

Вспоминая зиму 1942—1943 годов в Полярном, я вижу, что это была едва ли не самая счастливая семейная зима в нашей жизни. Это может показаться странным, если представить себе, что почти через день я летал на бомбёжку германских судов. Но одно было летать, не зная, что с Катей, и совершенно другое, зная, что она в Полярном, жива и здорова и что на днях я увижу её разливающей чай за столом. Зелёный шёлковый абажур, к которому были приколоты чёртики, искусно вырезанные Иваном Иванычем из плотной бумаги, висел над этим столом. И всё, что радовало нас с Катей в ту памятную зиму, рисуется

мне в светлом кругу, очерченном границами зелёного абажура, и всё, что заботило и огорчало, прячется в далёких, тёмных углах.

Я помню наши вечера, когда после долгих, напрасных попыток связаться с доктором я ловил первый попавшийся катер, являлся в Полярное, и друзья, как бы ни было поздно, собирались в этом светлом кругу. Что ночь, и день — ночь!

Толстый доктор-едок выползал из своей комнаты в огромной шубе-кухлянке и занимал за столом если не наиболее видное, то, во всяком случае, наиболее шумное место. Самый его вид нетерпеливого ожидания чего-то хорошего или хотя бы весёлого, казалось, производил шум. Даже когда он молчал, слышно было, как он пыхтит, жуёт или просто громко дышит.

За ним — если считать по шуму — очевидно, следовал я. В самом деле, никогда я ещё так много не говорил, не пил, не смеялся! Как будто чувство, которое овладело мною, когда я увидел Катю, так и осталось в душе — всё летело, летело куда-то… Куда? Кто знает! Я верил, что к счастью. Что касается доктора Ивана Иваныча, который чувствовал себя совсем больным после гибели сына, то и он оживал на наших вечерах и всё чаще цитировал — главным образом по поводу международных проблем — своего любимого автора, Козьму Пруткова.

Наконец на последнее место — если считать по шуму — нужно поставить моего штурмана, который вообще не говорил ни слова, а только задумчиво сдвигал брови и, вынув трубку изо рта, выпускал шары дыма. Я любил его — кажется, я уже упоминал об этом — за то, что он был превосходным штурманом и любил меня — черта, которая всегда нравилась мне в людях.

А Катя хозяйничала. Как у неё получалось, что это наш дом, что мы принимаем гостей и от души стараемся, чтобы они были сыты и пьяны, не знаю! Но получалось.

Конечно, не было бы этих вечеров, этого счастья встреч с Катей, когда наутро она провожала меня и робкое, молодое солнце, похожее на детский воздушный шар — солнце начала полярного дня, — как будто нарочно для нас поднималось над линией сопок… не было бы этого душевного подъёма или он был бы совершенно другим, если бы радио каждую ночь не приносило известий о наших победах. Это был общий подъём, который с одинаково нарастающей силой чувствовался не только здесь, на Севере, где был крайний правый фланг войны и где на диком, срывающемся в воду утёсе стоял последний солдат сухопутного фронта, но и на любом участке этого фронта.

Уже отгремели последние выстрелы в Сталинграде; чёрные от копоти бойцы вылезли из водосточных люков и, щурясь от света, от снега, смотрели на испепелённый отвоеванный город, — среди гранитных сопок Полярного гулко отозвалось эхо этой великой победы. Кажется, мы сделали всё возможное, чтобы оно покатилось и дальше — вдоль берегов Норвегии, туда, где осторожно крадутся от чужой страны к чужой стране немецкие караваны, туда, где они выгружают чужое оружие и берут на борт чужую руду и везут, везут её в настороженной, полной загадочных шумов ночи Баренцева моря…

Всё свободное время мы — доктор, Катя и я — тратили на изучение и подбор материалов экспедиции «Св. Марии».

Не знаю, что было сложнее — проявить фотоплёнку или прочитать документы экспедиции. Как известно, снимок с годами слабеет или покрывается вуалью — недаром на футлярах всегда указывается срок, после которого фабрика не ручалась за отчётливость изображения. Этот срок для плёнки «Св. Марии» кончился в феврале 1914 года. Кроме того, металлические футляры были полны воды, плёнки промокли насквозь и, очевидно, годами находились в таком состоянии. Лучшие фотографы Северного флота объявили, что это «безнадёжная затея» и что если бы даже они (фотографы) были божественного происхождения, то и в этом случае им не удалось бы проявить эту плёнку. Я убедил их. В результате из ста двенадцати снимков, просушенных с бесконечными предосторожностями, около пятидесяти были признаны «достойными дальнейшей работы». После многократного копирования удалось получить двадцать два совершенно отчётливых снимка.

В своё время я прочитал дневники штурмана Климова, исписанные мелким, неразборчивым, небрежным почерком, залитые тюленьим жиром. Но всё же это были отдельные странички в двух переплетённых тетрадках. Документы же Татаринова, кроме прощальных писем, сохранившихся лучше других бумаг, были найдены в виде плотно слежавшейся бумажной массы, и превратить её в хронометрический или вахтенный журнал, в карты и данные съёмки своими силами я, конечно, не мог. Это также было сделано в специальной лаборатории, под руководством опытного человека. В этой книге не найдётся места для подробного рассказа о том, что было прочтено в холщовой тетради, о которой капитан Татаринов упоминает, перечисляя приложения. Скажу только, что он успел сделать выводы из своих наблюдений и что формулы, предложенные им, позволяют вычислить скорость и направление движения льдов в любом районе Северного Ледовитого океана. Это кажется почти невероятным, если вспомнить, что сравнительно короткий дрейф «Св. Марии» проходил по местам, которые, казалось бы, не дают данных для таких широких итогов. Но для гениального прозрения иногда нужны немногие факты.

«Ты прочёл жизнь капитана Татаринова, — так говорил я себе, — но последняя её страница осталась закрытой».

«Ещё ничего не кончилось, — так я отвечал. — Кто знает, быть может, придёт время, когда мне удастся открыть и прочесть эту страницу».

Время пришло. Я прочел её — и она оказалась бессмертной. (…)

Доклад

На этот раз я не добивался чести выступить с докладом в Географическом обществе и не получал любезного приглашения представить свой доклад в письменном виде. Я дважды отказывался от выступления, потому что прошёл лишь месяц с тех пор, как была опубликована замечательная статья профессора В. о научном наследстве «Св. Марии». Когда он сам позвонил мне, я согласился.

…Все пришли на этот доклад, даже Кирина мама. К сожалению, я не запомнил ту маленькую приветственную речь с цитатами из классиков, которою она встретила меня. Речь немного затянулась, и мне стало смешно, когда я увидел, с каким покорным отчаянием Валя слушал её.

Кораблёва я посадил в первом ряду, прямо напротив кафедры, — ведь я привык смотреть на него во время своих выступлений.

— Ну, Саня, — сказал он весело, — уговор. Я положу руку вот так, вниз ладонью, а ты говори и на неё посматривай! Стану похлопывать, значит, волнуешься. Нет — значит, нет.

— Иван Павлыч, дорогой!

Разумеется, я ничуть не волновался, хотя, в общем, это было довольно страшно. Я беспокоился лишь, придёт ли на мой доклад Николай Антоныч.

Он пришёл. Развешивая карты, я обернулся и увидел его в первом ряду, недалеко от Кораблёва. Он сидел, положив ногу на ногу и глядя прямо перед собой с неподвижным выражением. Мне показалось, что он изменился за эти несколько дней: в лице его появилось что-то собачье, щёки обвисли, над воротником была высоко видна морщинистая, похудевшая шея.

Конечно, мне было очень приятно, когда председатель, старый, знаменитый географ, прежде чем предоставить мне слово, сам сказал несколько слов обо мне. Я даже пожалел, что у него такой тихий голос. Он сказал, что я «один из тех людей, с которыми тесно связана история освоения Арктики большевиками». Потом он сказал, что именно моему «талантливому упорству» советская арктическая наука обязана одной из своих интереснейших страниц, — и я тоже не стал возражать, тем более что в зале зааплодировали, и громче всех — Кирина мама.

Пожалуй, не стоило делать такого длинного вступления, посвящённого истории Северного морского пути, хотя это была интересная история.

Я довольно плохо рассказал об этом — часто останавливался, забывал самые простые слова и вообще «мекал», как потом объявила Кира.

Но вот где-то далеко, в тёмном конце прохода, мелькнула и скрылась моя Катя. Она была немного больна — простудилась — и обещала мне остаться дома. Как это было хорошо, что она приехала, просто прекрасно! У меня сразу сделалось веселее на душе, и я стал говорить увереннее и твёрже.

— Может быть, вам покажется странным, — сказал я, — что в дни войны я намерен доложить вам о старинной экспедиции, окончившейся около тридцати лет тому назад. Это — история. Но мы не забыли нашей истории, и возможно, что наша главная сила заключается именно в том, что война не отменила и не остановила ни одной из великих мыслей, которые преобразили нашу страну. Завоевание Севера советским народом принадлежит к числу этих мыслей.

Я запнулся, потому что мне захотелось рассказать, как мы с Ледковым осматривали Заполярье, но это было далеко от темы доклада, и не очень ловко я свернул на биографию капитана.

С непостижимым чувством я рассказывал о нём! Как будто не он, а я был этот мальчик, родившийся в бедной рыбачьей семье на берегу Азовского моря. Как будто не он, а я в юности ходил матросом на нефтеналивных судах между Батумом и Новороссийском. Как будто не он, а я выдержал экзамен на «морского прапорщика» и потом служил в Гидрографическом управлении, с гордым равнодушием перенося высокомерное непризнание офицерства. Как будто не он, а я делал заметки на полях нансеновских книг и гениальная мысль: «Лёд сам решит задачу» — была записана моей рукой. Как будто его история окончилась не поражением и безвестной смертью, а победой и счастьем. И друзья, и враги, и любовь повторились снова, но жизнь стала иной, и победили не враги, а друзья и любовь.

Я говорил и всё с большей силой испытывал то чувство, которое не могу назвать иначе, как вдохновением. Как будто на далёком экране под открытым небом я увидел мёртвую, засыпанную снегом шхуну. Мёртвую ли? Нет, стучат, забивают досками световые люки, обшивают толем и войлоком потолки — готовятся к зимовке…

Моряки, стоявшие в проходе, расступились перед Катей, когда она шла к своему креслу, и я подумал, что это очень справедливо, что они так почтительно расступаются перед дочерью капитана Татаринова. Но она была ещё и лучше всех — особенно в этом простом английском костюме. Она была лучше всех — и тоже каким-то образом участвовала в этом восторге, в этом вдохновении, с которыми я говорил о плавании «Св. Марии».

Но пора было переходить к научной истории дрейфа, и я начал её с утверждения, что факты, которые были установлены экспедицией капитана Татаринова, до сих пор не потеряли своего значения. Так, на основании изучения дрейфа известный полярник профессор В. предположил существование неизвестного острова между 78-й и 80-й параллелями, и этот остров был открыт в 1935 году — и именно там, где В. определил его место. Постоянный дрейф, установленный Нансеном, был подтверждён путешествием капитана Татаринова, а формулы сравнительного движения льда и ветра представляют собой огромный вклад в русскую науку.

Движение интереса пробежало по аудитории, когда я стал рассказывать о том, как были проявлены фотоплёнки экспедиции, пролежавшие в земле около тридцати лет.

Свет погас, и на экране появился высокий человек в меховой шапке, в меховых сапогах, перетянутых под коленями ремешками. Он стоял, упрямо склонив голову, опершись на ружьё, и мёртвый медведь, сложив лапы, как котёнок, лежал у его ног. Он как будто вошёл в этот зал — сильная, бесстрашная душа, которой было нужно так мало!

Все встали, когда он появился на экране, и такое молчание, такая торжественная тишина воцарились в зале, что никто не смел даже вздохнуть, не то что сказать хоть слово.

И в этой торжественной тишине я прочитал рапорт и прощальное письмо капитана:

«…Горько мне думать о всех делах, которые я мог бы совершить, если бы мне не то что помогли, а хотя бы не мешали. Что делать? Одно утешение — что моими трудами открыты и присоединены к России новые обширные земли…»

— Но в этом письме, — продолжал я, когда все сели, — есть ещё одно место, на которое я должен обратить ваше внимание. Вот оно: «Я знаю кто мог бы помочь вам, но в эти последние часы моей жизни не хочу называть его. Не судьба была мне открыто высказать ему всё, что за эти годы накипело на сердце. В нём воплотилась для меня та сила, которая всегда связывала меня по рукам и ногам…» Кто же этот человек, самого имени которого капитан не хотел называть перед смертью? Это о нём он писал в другом письме: «Можно смело сказать, что всеми своими неудачами мы обязаны только ему». О нём он писал: «Мы шли на риск. Мы знали, что идём на риск, но мы не ждали такого удара». О нём он писал: «Главная неудача — ошибка, за которую приходится расплачиваться ежедневно, ежеминутно, — та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю».

Николаю! Но мало ли Николаев на свете!

Конечно, на свете много Николаев и даже в этой аудитории их было немало, но только один из них вдруг выпрямился, оглянулся, когда я громко назвал это имя, и палка, на которую он опирался, упала и покатилась. Ему подали палку.

— Не для того я хочу сегодня полностью назвать это имя, чтобы решить старый спор между мною и этим человеком. Наш спор давно решён — самой жизнью. Но в своих статьях он продолжает утверждать, что всегда был благодетелем капитана Татаринова и что даже самая мысль «пройти по стопам Норденшёльда», как он пишет, принадлежала ему. Он так уверен в себе, что имел смелость явиться на мой доклад и сейчас находится в этом зале.

Шёпот пробежал по рядам, потом стало тихо, потом снова шёпот. Председатель позвонил в колокольчик.

— Странная судьба! До сих пор он действительно ни разу не был назван полностью — имя, отчество и фамилия. Но среди прощальных писем капитана мы нашли и деловые бумаги. С одной из них, очевидно, капитан никогда не расставался. Это копия обязательства, согласно которому: 1. По возвращении на Большую землю вся промысловая добыча принадлежит Николаю Антоновичу Татаринову — полностью имя, отчество и фамилия. 2. Капитан заранее отказывается от всякого вознаграждения. 3. В случае потери судна капитан отвечает всем своим имуществом перед Николаем Антоновичем Татариновым — полностью имя, отчество и фамилия. 4. Самое судно и страховая премия принадлежат Николаю Антоновичу Татаринову — полностью имя, отчество и фамилия. Когда-то в разговоре со мной этот человек сказал, что только одного свидетеля он признает: самого капитана. Пусть же он теперь перед всеми нами откажется от этих слов, потому что сам капитан теперь называет его — полностью имя, отчество и фамилия!

Страшная суматоха поднялась в зале, едва я кончил свою речь: в передних рядах многие встали, в задних стали кричать, чтобы садились — не видно, а он стоял, подняв руку с палкой, и кричал:

— Я прошу слова, я прошу слова!

Он получил слово, но ему не дали говорить. В жизни моей я не слышал такого дьявольского шума, который поднимался, едва он открывал рот. Но он всё-таки сказал что-то — никто не расслышал — и, тяжело стуча палкой, сошёл с кафедры и направился к выходу вдоль зрительного зала. Он шёл в полной пустоте — и там, где он проходил, долго была ещё пустота, как будто никто не хотел идти там, где он только что прошёл, стуча своей палкой. (…)



Вениамин Каверин. Приключенческий роман «Два капитана», 1947 г.

Эпилог

Чудная картина открывается с этой высокой скалы, у подошвы которой растут, пробиваясь между камней, дикие полярные маки. У берега ещё видна открытая зеркальная вода, а там, дальше, полыньи и лиловые, уходящие в таинственную глубину ледяные поля. Здесь необыкновенной кажется прозрачность полярного воздуха. Тишина и простор. Только ястреб иногда пролетит над одинокой могилой.

Льды идут мимо неё, сталкиваясь и кружась, — одни медленно, другие быстрее.

Вот проплыла голова великана в серебряном сверкающем шлеме; всё можно рассмотреть: зелёную косматую бороду, уходящую в море, и приплюснутый нос, и прищуренные глаза под нависшими седыми бровями.

Вот приближается ледяной дом, с которого, звеня бесчисленными колокольчиками, скатывается вода, а вот большие праздничные столы, покрытые чистыми скатертями.

Идут и идут, без конца и края!

Заходящие в Енисейский залив корабли издалека видят эту могилу. Они проходят мимо неё с приспущенными флагами, и траурный салют гремит из пушек, и долгое эхо катится не умолкая.

Могила сооружена из белого камня, и он ослепительно сверкает под лучами незаходящего полярного солнца.

На высоте человеческого роста высечены следующие слова:

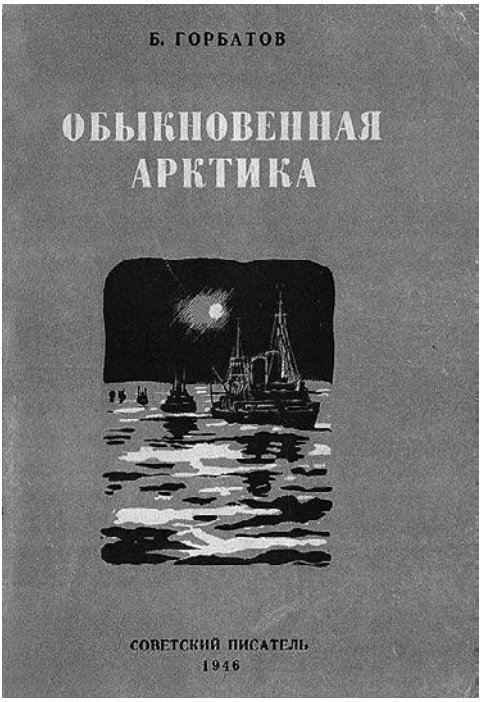
«Здесь покоится тело капитана И.Л. Татаринова, совершившего одно из самых отважных путешествий и погибшего на обратном пути с открытой им Северной Земли в июне 1915 года.

Бороться и искать, найти и не сдаваться».

Борис Горбатов

Обыкновенная Арктика

(главы из повести)



Большой арктический перелёт. 1936 г.

Итак, завтра в путь! Проверен до последнего винтика самолёт, опробован в воздухе и на воде. Залит бензин в баки. Погружено снаряжение экипажа: аварийный запас продовольствия, спальные мешки, лёгкие шёлковые палатки, меховая одеяла. Все участники перелёта снабжены парашютами. К большому арктическому перелёту готовы машины и люди. Завтра на рассвете Молоков положит самолёт на курс — Якутск. Из Красноярска самолёт пойдёт по Енисею до Стрелки, а там свернёт на Ангару. Великие сибирские реки будут синеть под крылом голубой летающей лодки. Наша первая ночёвка в Киренске. Дальше путь по Лене на Якутск, где пробудем несколько дней. От Якутска, уйдя от Лены, попадём на реку Алдан. Самолёт будет лететь над золотым краем, над приисками и промыслами. Посадка — в пункте Крест-Холджай. Отсюда — самая трудная часть пути: нет рек, пригодных для посадки гидросамолёта, высокие горные хребты. Шесть часов придётся лететь на высоте не менее трёх тысяч метров, не имея внизу посадочной площадки. Преодолев этот путь, самолёт выйдет к Охотску, затем скалистым побережьем Охотского моря — в Нагаево. Отсюда Молоков возьмёт курс на Камчатку и к Командорским островам. Острова эти почти всегда окружены густым непроницаемым туманом. Если удастся пробиться через него, будем на Командорских островах. Здесь единственный в Союзе промысел морского котика, питомник голубых песцов, здесь же промышляют ценного камчатского бобра. На островах живёт и работает немногочисленное племя алеутов, спасённое от вымирания советской властью.

С Командорских островов наш путь лежит на Чукотку. Дальнейший путь самолёта — побережье Чукотки — бухта Провидения, Уэлен, мыс Шмидта. Самолёт спустится всюду, где есть коммунисты-одиночки, не имеющие воз-

можности из-за отдалённости произвести обмен партийных документов. Партийные билеты будут обмениваться тут же на месте. В первой половине августа мы должны быть на острове Врангеля. Здесь предстоит большое празднество по поводу десятилетия советизации острова. Прилётом на Врангель заканчивается первый этап перелёта. В течение всего августа Молоков будет проводить ледовые разведки в Чукотском и Новосибирском морях. Всего предстоит пролететь 30 тысяч километров над реками, горами, морями Арктики.

31 июля

По маршруту, которым Молоков решил лететь на Охотское море, до него не летал ни один лётчик. Нам это стало понятным только в пути, когда под нами вздымались горные хребты и исчезали реки.

Ушёл в сторону золотой Алдан, мы грустно простились с ним и пошли над узенькой извилистой рекой Майя. Скоро исчезла и она, словно устала бороться с горами. Теперь под нами была лишь вздыбленная земля — горы, хребты, сопки. Всё было словно застывшие и окаменевшие волны разбушевавшегося и замёрзшего в ярости моря. Грудились отроги Станового хребта. Далеко внизу бродили лохматые облака. Серебряными прожилками блестел на солнце снег в котлованах и на вершинах. Стало холодно. Побежимов напялил меховые чулки, Молоков натянул шапку-ушанку. Мы кутались в меха, поднимали воротники. А впереди уже подымался грозный Джугджурский перевал Станового хребта. Он мрачно возникал на нашем пути, словно говорил: «Ну, суньтесь-ка!»

Но Молоков медленно и уверенно набирал высоту. Теперь мы летим на высоте более трёх тысяч метров. Если теперь откажут наши моторы — садиться нам некуда. Под нами нет ни реки, ни большого озера. Только острые вершины гор. Но моторы не откажут, наш славный пилот не сдаст.

Вот наконец далеко внизу мы видим море. Охотское море? Нет, пока только море тумана. Клубится внизу у самой земли, застилает всё на горизонте. Вверху яркое солнце, ясное небо, а под нами клокочущее море тумана. Молоков смело бросается в туман. Он знает, что где-то впереди Охотское море. Оно всегда покрыто туманом — надо пробираться. И вдруг налетевшим порывом ветра распахивается впереди в тумане окошко, и в нём плещутся прекрасные тёмно-синие волны моря. Мы прибыли в порт Аян. Самолёт входит в прекрасную бухту, с трёх сторон закрытую горами. Нас радостно встречают пограничники, рыбаки и колхозники. Здесь не было ещё в этом году самолёта. Наш первый. Ждали нас, правда, с другой стороны, ведь через Джугджурский перевал самолёты ещё не летали. В Аяне мы не дождались сводки погоды по маршруту, но туман, надвигающийся на сопки, был самой верной тревожной сводкой. Надо было или немедленно лететь, или отказаться от полёта сегодня. Решили лететь. В открытом море стояла чудесная солнечная погода, даже не верилось, что Охотское море утихомирилось и мирно катит неторопливые волны к скалистым берегам.

Но это продолжалось недолго. Туман подступал незаметно, но упорно и скоро нас окружил. Над нами клубилась мутная дымка, горы исчезли…

Молоков даже задумался: не вернуться ли назад? Внезапно пошёл дождь. Самолёт прижало к воде. Шли на высоте пятидесяти метров. Но вот откуда-то подползло предательское облачко. Упало на воду. Молоков насторожился. Туман пал на воду, как снег, густыми хлопьями, внизу под нами бушевала туманная метель, и скоро всё море было покрыто молочно-белой пеленой. А вверху синело чистое небо, играло солнце. Туман подымался всё выше и выше, он подползал к сопкам, он вытеснял наш самолёт. Вот мы уже поднялись на триста метров, на пятьсот, на восемьсот. Мы находились уже в полёте пять с половиной часов. Скоро уж должно было быть Нагаево. Не пройдём ли мы его в тумане? Как садиться на воду? Где вода? Но Молоков уверенно ведёт машину. Найдётся же клочок воды на бухте, не закрытый туманом. И вдруг мы увидели, как с левого борта машины возник неожиданно большой посёлок.

— Нагаево! — закричали все и разом добавили: — И вода!

Действительно, бухта Нагаево была чиста. Туман оборванными клочьями висел, зацепившись за сопки.

На берегу гремел духовой оркестр, развевались вымпелы. Ждали гостей легковые машины. К самолёту подходили лодки — работники «Дальстроя», пограничники встречали гостей.

2 августа

Тридцать первого июля в четырнадцать часов по местному времени мы дружески простились в Нагаеве с работниками «Дальстроя» и взяли курс на Камчатку. Скоро самолёт очутился в открытом море — берег исчез. Под нами, насколько хватало глаз, пенилось Охотское море. Час сорок минут шли в открытом море, не видя берега. Наконец вдали окутанная туманом, далёкая призрачная Камчатка. Над ней дымились тучи, шёл грозовой дождь с градом. Идти через Камчатку над сушей сопками и горами было немыслимо. Молоков повёл машину вдоль Камчатского побережья. Шли на высоте двухсот метров — под нами замечательно красиво развёртывался полуостров. Через шесть часов после вылета из Нагаева мы опустились в устье реки Тихой, у посёлка Хайрюзово.

К нам пришли пионеры. Пришли увидеть живого Молокова, слава о котором прогремела и здесь, далеко на Камчатке. Живой Молоков улыбался пионерам. Он поднял на руки шестилетнего Шурика Лишенко, весело разговаривал с ним, но был озабочен: сводка погоды была угрожающая. В Петропавловске шёл дождь, морось заволокла океан. Что же, сидеть в Хайрюзове?

Пионеры весело шумели вокруг Молокова. Они восхищались тем, что видят живого героя. Они трогали его за рукава, за куртку. Молоков шутил с ними, спрашивал об учёбе, о лагере, а сам думал — сосредоточенно, напряжённо: как лучше лететь? И лететь ли?

Мы вылетели из Хайрюзова и взяли курс на Большерецк — Петропавловск-на-Камчатке. Окутанные дымкой, изворачивались перед нами берега Камчатки. Мы видели многочисленные рыбоконсервные заводы, на воде качались невода, всё море было словно прошито нитками, казалось, его сшили из лоскутов. Тоненькие строчки неводов и сетей оживляли море, над заводами подымались

белые струйки дыма, пыхтя проходили корабли, сторожевые катера, рыбацкие кунгасы, краболовы, плавучие рыбоконсервные заводы. Океан жил, дышал и работал. Мы шли над водой на уровне пятидесяти-ста метров. Через первый Курильский пролив мы вышли в Тихий океан. Мы огибали Камчатку, воочию убеждаясь, что она — полуостров.

Молоков уверенно вёл машину. Его не смущали ни дождь, ни туман, ни морось, ни волны разбушевавшегося океана. Погода всё ухудшалась и ухудшалась… Уже затянулись мокрою пеленой берега Камчатки. Закипели, запенились волны. Самолёт начало бросать из стороны в сторону. Мы шли уже шесть часов. Тщетно мы всматривались в берега, их трудно было различить в тумане. Только белые волны, бешено бьющиеся о скалы, показывали берег.

Молоков ещё не летал здесь. Но даже местные опытные лётчики говорили, что в такую погоду они не рискнули бы лететь. В Большерецк навстречу нам были высланы самолёты, которым было приказано задержать нас, так как Петропавловск был затянут сплошным туманом до самой воды. Шёл дождь. Но мы не видели самолётов. Зато мы видели туман и дождь. Штурман Ритслянд напряжённо всматривался в берег. Где-то здесь должна быть Петропавловская бухта. Но в бухту было трудно войти, не видя её. И Молоков решил сесть прямо в океан. Самолёт опустился на бушующие волны у трёх высоких скал, которые здесь называются «Тремя братьями». Отсюда Молоков смело повёл самолёт по волнам в Авачинские ворота, в бухту. Даже пароходы не рискуют в такую погоду входить в ворота бухты. Мы шли, переваливаясь с волны на волну. Белые барашки взбегали на жабры самолёта.

Навстречу нам вышли сторожевые катера. Окружённый катерами, наш самолёт вошел в Петропавловскую бухту. На сторожевом корабле «Воровский» краснофлотцы прокричали «Ура» в честь Молокова. Почётный караул моряков выстроился по берегу. Мы были в Петропавловске-на-Камчатке, столице Камчатки. Дождь не мог охладить горячей радостной встречи.

25 августа

Утром 22-го мы простились с Леваневским. Его машина, сверкнув на солнце алым хвостовым оперением, скрылась в голубой дали моря — на запад, на запад!

Мы долго провожали её взглядами.

А через несколько часов вылетела и наша голубая «двойка» — Н-2. Наш путь лежал на север. Молоков уверенно вёл машину через пролив Лонга, к далёкому острову Врангеля. Он был теперь очень близко, этот далёкий скалистый остров, с которым связано столько героических легенд, столько драматических событий. Полтора часа полёта — сто двадцать миль (около двухсот пятидесяти километров) через пролив, забитый мелким битым льдом, — вот всё, что отделяло нас теперь от острова, после того как мы пролетели столько тысяч километров. И мы с волнением ждали, прильнув к козырькам люков, к иллюминаторам, к окошкам: вот сейчас на горизонте возникнут серые скалы острова.

Под нами проносились льдины, изрезанные, искрошенные водой, покрытые трещинами, лужицами, извилинами. Сверху они казались плоскими и удивительно похожими на географическую карту. Вот проплыла льдина, очертани-

ями похожая на карту Советского Союза. Вот узкий сапожок Апеннин, вот Великобритания, Скандинавия, Балтика: страны, материки проплывали под нами, острова Де Лонга. Это не было воображением журналиста.

Повидали мы и более реальные вещи. Зверобойная шхуна проплыла под правым крылом самолёта. На небольшой льдине мы увидели два больших кровавых пятна — здесь разделывали убитого зверя. И вот наконец сама чудесная реальность — плотные, материальные, неподдельные скалы острова Врангеля.

Мы сели в бухте Роджерса, чистой ото льда. Только редкие маленькие льдинки, как белые чайки, носились по воде. Молоков повёл машину прямо к берегу. Там нетерпеливо ждали зимовщики, «островитяне»: начальник, парторг, эскимосы и среди них вся семья лучшего охотника острова — Таяна — он сам, его жена и его дети.

Зимовщики горячо и дружески приветствовали Молокова. Но прежде чем пожать Молокову руку, они с увлечением щёлкали фотоаппаратами. Очень много фотографов появилось нынче в Арктике.

Мы вышли на берег. Мы увидели деревянные дома, тесной дружной кучей сбившиеся у бухты, мы увидели белые мохнатые медвежьи шкуры, развешанные для просушки. Мы увидели убитого моржа на берегу, живых медвежат — двенадцать штук — в клетках. Мы увидели радиомачту, электрические провода, собак, улегшихся с высунутыми языками по соседству с метеорологической станцией. Мы увидели красный флаг нашей Родины, десять лет назад водружённый здесь Ушаковым и гордо развевающийся сейчас над скалами и льдами. Мы были на Врангеле.

27 августа

О нас можно сказать, что мы «влетели» в жизнь Магадана. Молодая столица Колымы распахнулась перед нами своей будничной рабочей жизнью, своими ежедневными заботами, победами, радостями, печалями.

В порту под выгрузкой стоял пароход «Джурма». «Джурма» по-тунгусски значит «летняя тропа». Тропа к морю, протоптанная совсем недавно. Пять лет назад по этой тропе бродили редкие посудины. Тогда не было ни Магадана, ни порта. Были пустынный берег, туманы, волны, одинокие деревянные срубы культбазы.

Порт возник из «пены морской» и прибрежных скал. Море отступало, скалы рушились в воду, возникали причалы, набережная. Появлялись механизмы, здания, мастерские, заводы. Пароходы смело подходили к каменным причалам. Путь в бухту Нагаево был протоптан.

Привезли в Магадан людей и грузы. На набережной суетились люди, бегали грузчики, скрипели лебёдки. Выросли пирамиды ящиков, бочек. Возникла целая гора автомобильных покрышек — о них уже не раз беспокойно справлялись по телефону с авторемонтного завода. Автомобильные покрышки — предмет первой необходимости в Магадане.

По шоссе пыля проносились машины. Они устремлялись на трассу. Шли грузовики на Колыму, на прииски, «в глубинку», как говорят здесь. Шоссе развёртывалось блистательное, тугое, как пружина. Оно стремительно падало вниз,

взбегало вверх, вертелось серпантином в горах. Машины проносились легко и мягко, люди дремали, откинувшись на кожаные подушки. Новички восхищались горными перевалами, Яблоневым хребтом, тонкими ветвями лиственниц. Они смутно догадывались о той титанической работе, которая была проделана здесь людьми. А старожилы помнили первый снежный поход в тайгу по этому же маршруту. Тогда здесь не было ни шоссе, ни троп, ни дороги.

Сейчас через каждые тридцать километров попадались бензиновые колонки. Сторож тунгус отпускал бензин, равнодушно здороваясь с пассажирами. Сто пятьдесят — двести машин проходят мимо него в сутки. Разве станешь всему удивляться?

Его отучили удивляться. За последние годы он видел столько чудес, которых другому хватило бы на всю жизнь. До этого он видел лишь то, что видели отцы и деды: как бежит олень, как замерзает река, как карабкается солнце по нежным стволам лиственниц.

Он даже узнал русскую грамоту. В Дунчанском совхозе, расположенном на одиннадцатом километре трассы, бурно зеленели посевы. Они подымались и зрели, словно насмехаясь над вечной мерзлотой почвы. В парниках поспевали овощи, в оранжереях — цветы. В луже воды плавали гуси. В птичнике копошились куры, утки, цыплята — все колымского инкубаторского производства. Здесь была их родина. Они входили в колымскую фауну вместе с медведем, оленем, волком. Они кудахтали, крякали, кукарекали. Мы видели птичьи базары на Севере, но такой видели впервые. На шестнадцатом километре трассы сигналист из пионерского лагеря трубил сбор: в лагерь приехал Герой Советского Союза товарищ Молоков. Из палаток выбегали здоровые загорелые дети, строились. Кричали хором: «Ура Молокову!» Молоков спрашивал:

— Как учитесь, ребята?

Отвечали:

— Хорошо!

Но Молоков затеял «неприятный» разговор об отметках. Ребята, смущаясь, рассказывали, обещали учиться лучше, тащили гостя к себе в палатки, на полу лежала охапка свежей травы, пахло зеленью, цветами, юностью, летом (…).

Вечером в клубе демонстрировали фильм «Колыма», заснятый здесь. В зале сидели строители Колымы. История проходила перед ними. То, что происходило на экране, было вчерашним днём, буднями, бытом. Озабоченно думали о завтрашнем дне.

Над Магаданом тихо струилась ночь. Где-то далеко за морем готовился к выходу новый рабочий день.

29 августа

На острове Врангеля — предпраздничное оживление, суета. В бухту Роджерса съезжаются охотники с мыса Блассом, из бухты Сомнительной. На море шторм, дует свирепый зюйд-вест, летят брызги, бурлит пена вокруг льдин и скал. Это не может, однако, остановить охотников. Едут на катерах, вельботах, лёгких байдарах из моржовой шкуры. Едут целыми семьями, забрав с со-

бою стариков и грудных детей. Сейчас всё население острова собралось в бухте Роджерса. Здесь те, кто десять лет назад вместе с Ушаковым высадился на пустынный берег незнакомого острова: Таян, Паля, Кмо, Ниоко — охотники-эскимосы, чьи имена стали знакомы людям Большой земли во время суда над Семенчуком.

Десять лет назад они прибыли сюда и, боязливо озираясь, вышли на берег. Они покинули землю отцов, могилы предков. Они оторвались от Большой земли, от родного чукотского побережья, где кочевали, охотились и умирали их отцы и деды, и пошли за русским большевиком неведомо куда искать счастья, удачи в новой жизни. Женщины плакали, прощаясь с пароходом. Жалобные гудки разбирали и мужчин. Охотники крепились и отворачивались, чтобы скрыть слезу. Только теперь, через десять лет, Таян, смеясь, признался в этом. Русский большевик не обманул. Таян, Паля, Кмо, их семьи, их дети, их жены нашли здесь своё счастье. Они никуда не уедут отсюда. Разве только в Москву учиться — Таян серьёзно подумывает об этом. Далёкий остров Врангеля давно привлекал взоры исследователей, моряков и промышленников. Свыше ста лет назад русский мореплаватель Фердинанд Врангель услышал от кочующих чукчей, что далеко в море есть скалистая земля. Они видели в ясные солнечные дни с мыса Шелагского далёкие, снегом покрытые горы.

Несколько лет подряд пытался Врангель достигнуть этой легендарной земли, но так и не достиг. С тех пор многие исследователи и экспедиции пытались ступить на эту предсказанную Врангелем землю. Суда подходили к острову, но высадить людей не могли — льды прочно оберегали его тайну. Только в августе 1881 года корабли «Корвин» и «Роджерс» высадили здесь людей, которые осмотрели остров и составили первую карту — неточную и путаную.

Остров оставался необитаемым. На долгие годы было прекращено его исследование. В 1911 году русское ледокольное судно «Вайгач» высадило здесь группу научных сотрудников, сделавших съёмку острова. Но тяжёлые льды торопили — «Вайгачу» пришлось уходить.

Слава о богатствах острова Врангеля: о моржах, песцах, медведях, в изобилии обитающих здесь, прошумела всюду. Канада, Англия, США протягивали руки, чтобы завладеть заманчивым островом, собственностью СССР.

В 1924 году ледокол «Красный Октябрь» прибыл на Врангель и поднял над островом красный государственный флаг Советского Союза.

В 1926 году, десять лет назад, на острове поселились советские люди — русские и эскимосы. Их было немного. Маленькие кучки людей на пустынном, необитаемом острове. Ушёл пароход, прощально прогудели гудки. Люди остались одни — без радио, без всякой связи с внешним миром, стали строить на острове новую жизнь.

Через год, обеспокоенное судьбой первой советской зимовки, правительство послало на Врангель самолёты. В этом сказалась присущая нашей Родине забота о своих сынах, как бы далеко они ни находились. На первом самолёте, пробившемся в труднейших условиях на Врангель, летел лётчик Кошелев и бортмеханик Побежимов. Тот самый Побежимов, который сегодня в качестве старшего бортмеханика самолёта Молокова присутствует на празднике десятилетия советизации острова.

Ушаков и вся зимовка не ждали самолётов. Они озабоченно следили, как машина кружила над островом. Опознавательных знаков на ней не было. На всякий случай Ушаков запасся маузером. Первый самолёт сел в бухте Роджерса, в которой сегодня стоит машина Молокова. Побежимов и Кошелев вышли из самолёта. Ушаков молчал и в оба глядел на них.

— Ну здравствуйте, — удивлённо сказал Побежимов, поражённый холодным приёмом. Услышав родной язык, Ушаков улыбнулся. За этот прекрасный полёт Побежимов награждён орденом Красного Знамени. Сегодня он надел его на свою куртку по случаю праздника.

С тех пор остров перестал быть пустынным, самолёты, суда, ледоколы сделались его постоянными гостями. Возникали дома, появились радиостанции, развернулись промыслы. Эскимосы учились у русских большевиков культурно жить, по-новому работать. Даже мрачная «эпоха Семенчука», о которой с ненавистью вспоминают на острове, не сумела разрушить построенного за десять лет.

— Десять лет я живу на острове. Я понял: жизнь зависит от самого себя. Плохо работаешь — живёшь плохо, хорошо работаешь — живёшь хорошо, — говорит лучший охотник острова Таян. — Моя жена учится радисткой. Сестрёнка тоже будет радисткой. Очень многому научили большевики нас.

Этот рассказ напечатан в сборнике, который выходит здесь к юбилею. Сборник отпечатан на пишущей машинке и даже переплетён.

Десятилетию посвящена большая выставка, раскинутая в пустом складе и палатках. Выставка показывает геологию острова, образцы пород, топографические карты, климат острова Врангеля, его «розу ветров», ледовые карты. На выставке много фотоматериала, стенограммы, фотогазеты. Много уделено места промысловому хозяйству. Охота на моржа представлена образцами продукции — клыками, шкурами, орудиями лова. На белого медведя здесь охотятся совсем по-особому. Тут не ждут, покуда медведь придёт к зимовке. Оружие — нож, винтовка. Среди экспонатов двенадцать живых медвежат, весело кувыркающихся в клетке.

Тут же разбита охотничья палатка, показывающая быт охотника. Специальная палатка показывает, как живёт передовой эскимос острова: его одежду, пищу (вяленое мясо моржа, называемое здесь «нузкорок»), современное убранство зажиточного охотника.

Транспорт острова представлен главным образом собаками. Отобраны лучшие собаки, гонщики медведя с кличками Зик, Шакал, Острый, Ивашка и самки: Марья Ивановна, Лариса, Белка. Почётом окружён юбиляр по кличке Дед — собака, завезённая ещё Ушаковым. Дед славился тем, что в любую погоду безошибочно находил дорогу. Сейчас он стар, дряхл — на покое.

В красном уголке полярной станции сегодня всю ночь работают зимовщики. Выходит специальный номер стенгазеты.

Стучат швейные машины — это женщины-эскимоски шьют красные флаги. На кухне волнуется бородатый повар, почтеннейший Иван Семёнович Кузякин, мучительно придумывая хитроумное меню. Все заняты, озабочены, шумны. То и дело входят охотники, празднично одетые, торжественные. В красном уголке

звучат голоса — смешались русский и эскимосский говоры. А парторг зимовки говорит и на том и на другом. С моря доносится шум шторма. Ветер свистит зло и порывисто. Где-то штормом качает ледокол «Красин». С острова беспокойно поглядывают на море. Очевидно, «Красин» попал в шторм. На нём едет новая смена. Праздник начнётся в день прихода «Красина». Шторму следовало бы стихнуть. На ледоколе «Красин» вместе с новой сменой зимовщиков прибыли две семьи эскимосов — одиннадцать человек. Они приехали сюда жить, охотится и работать. Как и первые поселенцы острова, они происходят из охотничьих семей береговых эскимосов Чукотки и всю свою жизнь провели в бухте Провидения. На Врангеле жили их родичи и бывшие соседи — Таян, Паля. В письмах, которые изредка приходили с острова Врангеля на материк, Таян и Паля писали своим землякам, что здесь и зверя много, и люди хорошие. Даже мрачные дни «семенчуковщины» не поколебали этого мнения. Таян писал, что «худой человек Семенчуков с острова увезён и большевиками наказан, а на смену ему приехали настоящие большевики».

Богатая охота на острове, культурная жизнь влекли береговых эскимосов. Многие семьи охотно вызывались переселяться сюда. И вот они выходят на берег, ступают на землю Врангеля. Их встречают старожилы эскимосы. Жена Таяна обнимает жену Наупана и целует детей. Дети Таяна быстро дружатся с приехавшими ребятами. К ним присоединяется и маленький Володя, сын нового начальника острова. Так начинается дружба. Старожилы ведут приехавших в свои почётные места. Завтра гости станут гражданами одного из самых далёких селений нашей великой Родины.

8 сентября

Четвёртого сентября лётчик Боголепов и капитан ледокола «Садко» Хромцов на самолёте Ш-2 вылетели из бухты Диксон на север. Они хотели «опробовать» в воздухе самолёт, недавно присланный из Красноярска, и «заодно посмотреть состояние льда». Самолёт вылетел, но к вечеру в бухту Диксон не возвратился… На Ш-2 не было ни радиостанции, ни продовольствия, горючего хватало только на два часа полёта.

Исчезновение Ш-2 вызвало большую тревогу на Диксоне. На поиски самолёта немедленно вышел ледокол «Малыгин». Он плавал всю ночь, но самолёта не обнаружил. Утром 5 сентября на поиски вылетел Герой Советского Союза товарищ Молоков. Вместе с ним полетел ваш корреспондент. Лишь после трёхчасовых поисков мы обнаружили в бухточке маленького острова вблизи Диксона пропавший самолёт и около него двух человек, машущих руками. Молоков сделал несколько кругов над островом, дав знать, что их увидели.

Через час с Диксона к островку вышел катер, на котором поехали начальник радиоцентра и ваш корреспондент. Там мы взяли самолёт на буксир и доставили их на Диксон. Боголепов и Хромцов рассказали: «Увлёкшись воздушным рейсом, мы полетели на север. У острова Свердрупа обнаружили, что бензиновый бак течёт. Немедленно повернули, но бензина всё же не хватило, и пришлось садиться на воду. Так провели ночь. К утру ветер стал крепчать, пришлось сниматься с якоря, искать убежища. Поплыли по ветру. Ветер гнал на север. С трудом

прибились к маленьком у островку и вылезли на берег. Зажгли костёр — нашли на островке небольшой запас продовольствия, котелок, кружку, оставленные здесь „по закону тундры“ гидрографами, и стали ждать…»

Весь этот полёт свидетельствует о большой недисциплинированности в воздухе. В Арктике по-прежнему продолжают летать без радиостанций, без продовольствия. На самолёте Ш-2, на котором по инструкции запрещается улетать из пределов видимости корабля, предпринимаются никому не нужные «ледовые разведки» тех мест, которые уже разведаны.

Слишком дорого стоят поиски, слишком дороги нам люди, чтобы предпринимать такие «полёты».

10 сентября

Ровно год назад мы простились с новыми зимовщиками Диксона. Они остались на подёрнутом туманом берегу. Наш пароход ушёл, отплыли и остальные корабли, бухта затянулась льдом, началась новая зимовка.

Теперь мы снова на острове. Год здесь не прошёл даром. Это видно на радиоцентре, в порту, в жилых домах. Вот тут, где в прошлом году была свалка навоза и копошились собаки, сейчас сквер. Да, сквер на семьдесят третьем градусе северной широты. Он обнесён кокетливым зелёным забором, в нём цветочные клумбы, молодёжь сидит на скамейках, болтает, поёт, хохочет.

Цветы стали обычным украшением быта зимовщика. Они в каждой комнате, на окнах, на столах. Петунья, анютины глазки, табак, маки выращены заботливой рукой в диксоновских теплицах. Но теплица не только рассадник цветов — это своя овощная база… Как страдали прежде зимовщики из-за отсутствия овощей! Картошка, правда, ещё не растёт на Диксоне, но огурцы уже не редкость на столе зимовщиков. И редиска, и красные, как розы, помидоры, и даже цветная капуста живут, здравствуют, растут в теплицах. Агрономы затевают неслыханное выращивание овощей в открытом грунте в короткие летние месяцы. И на Диксоне, и в бухте Тикси мы видели расцвет огородничества. Сами зимовщики возле своих квартир разбивают грядки. В домах зимовки стало чище, культурнее. Кают-компания приведена в порядок, стены покрашены масляной краской. Во всех комнатах поддерживается чистота.

Здесь теперь есть и водопровод. Его значение трудно переоценить. Сколько времени, сил, энергии сохранил он зимовщикам! Авралов стало меньше.

На Диксоне, на далёкой маленькой точке Советского Союза, как и везде в нашей стране, чувствуется: жить стало лучше, веселее! Отличное настроение у зимовщиков. Почти все они остаются ещё на год. Ко многим приехали жены, дети. Детский смех звенит во всех уголках станции — придётся детский сад открывать. Жилой дом для семейных уже выстроен. На Диксоне появился универмаг — первый магазин на полярной станции. Для него выстроено специальное помещение. На полках — галантерея, трикотаж, вина, сласти, деликатесы, предметы гигиены. Магазин торгует бойко, весело. Рядом с магазином целый спортивный городок. Появились волейбольная площадка, турник, огромные качели, различные спортивные снаряды.

Открылась на Диксоне и собственная типография. Выходит печатная газета-многотиражка, популярная среди зимовщиков. Типография принимает заказы, изготовляет печатные бюллетени погоды, бланки, таблицы. Люди работают самоотверженно, обслуживая Северный морской путь.

13 сентября

Знающие лётчики о маршруте Диксон — Вайгач и Вайгач — Архангельск говорят, что здесь невозможно пролететь без того, чтобы не сесть по дороге из-за непогоды. Здесь главная «кухня» погоды, здесь изготовляются циклоны, зреют антициклоны. Бывалые лётчики даже имеют свои излюбленные места, где можно отсидеться в случае ненастья.

Никогда ещё Молоков не летал от Вайгача до Архангельска. Это один из тех немногих арктических участков, над которыми ему не доводилось летать. Из Вайгача мы вылетели при «средней» погоде, той, о которой Молоков говорит кратко:

— Лететь можно.

Пересекли Баренцево море, пролетели над ненецкой тундрой, затем снова над морем и наконец вышли на большой сухопутный участок. Тот из нас, кто заметил это первый, показал на свой нос. Все поняли: пересекаем полуостров Канин Нос. Лучше нельзя объясниться во время полёта под шум моторов.

А неприятное всё-таки чувство, когда на морской машине летишь над сушей, да ещё в туман. Туман над Каниным Носом выдался густой, низкий. Мы привыкли уж за время полёта ко всяким туманам, но это был особенно неприятный, какой-то липкий, густой, сырой. Арктика не хотела выпускать лётчика. Она прижимала его к земле. Вот уже низко, бреющим полётом идёт машина. А что, если холм, гора встретится на пути? Молоков подумал было о том, чтобы назад вернуться, — и не вернулся, продолжал бороться с туманом. Сесть было негде. Рыжая голая тундра раскинулась на много миль окрест. Наконец тундра пройдена. Вылетели на море, но туман долго ещё тащился за самолётом длинным лохматым хвостом. Это Арктика прощалась с нами. Последний этап пройден. Летающая лодка Молокова пронеслась от Берингова пролива до Белого моря. Преодолевая сильный встречный ветер, Молоков триумфально летел к Большой земле. Где-то у горла Белого моря наконец отвязался от нас туман. На побережье стали совершаться чудесные перемены. Исчезла унылая тундра, сменилась лесотундрой, а затем появился и лес, уже тронутый сентябрьским багрянцем. Начали появляться селения, лесопильные заводы, плоты на воде. Возникли и зашагали по побережью столбы. Это был материк, магистраль, матёрая земля, наша Родина. Через девять часов мы были в Архангельске. Здравствуй, Большая земля!

19 сентября

(…) Трудность выбора маршрута от Архангельска до Москвы заключалась в том, что на морской машине Молокову приходилось лететь над местами, где либо нет воды, либо мелкие малопригодные для посадки реки. Нам приходи-

лось лавировать. Это удлиняло и усложняло путь, и Молоков шутя говорил, что над морями Арктики летать легче, чем здесь.

На всём пути Молокову приходилось бороться с сильным встречным ветром. Машину кидало, швыряло из стороны в сторону. В семнадцать часов тридцать минут мы уже подходили к Кубинскому озеру, и Ритслянд прекратил связь с радиостанциями, с которыми всё время работал. В восемнадцать часов Молоков повёл машину на посадку на озеро. Это оказалось не таким простым делом. Озеро очень мелкое, даже катера здесь ходят не везде и с трудом. По озеру носились брёвна, плоты, из воды торчали какие-то пни. Молоков сделал несколько кругов, прежде чем выбрал площадку для посадки. Невольно вспомнилась посадка среди льдин на Карском море. В восемнадцать часов пять минут летающая лодка села на воду. Здесь, на воде, на лодке нас встретили представители партийных и советских организаций Вологодского и Кубино-Озёрского районов. Молоков и все участники перелёта отправились в город. Это тоже было непросто. Сначала мы плыли на катере, затем пересели на дощатые рыбацкие лодки, затем на лошадей, потом на паром и наконец на автомашины.

По всему пути Молокова восторженно встречали выстроившиеся по обе стороны дороги люди. Они забрасывали его цветами, кричали «Ура» и аплодировали.

— Да здравствует Герой Советского Союза наш Молоков! — кричали они.

А он, взволнованный, растроганный этой горячей встречей, отвечал:

— Да здравствует наша прекрасная Родина!..

И это подхватывалось всеми, гремело, разносилось над вечерними полями.

20 сентября

Вот мы, обитатели самолёта «СССР — Н-2», и простились с нашей голубой летающей лодкой. За два месяца перелёта мы сроднились с ней, она стала нашим домом. Мы так и говорили между собой: «Ну, пошли домой!» Это означало: пошли в машину. Мы обжились тут, обросли даже некоторым комфортом. Это помогло нам сравнительно легко перенести тяжёлый двухмесячный перелёт со всеми его авралами, неудобствами, непогодой и бессонными ночами. Мы полюбили нашу летающую лодку. Это старая, заслуженная машина, давно работающая на Севере. На её поджарых боках отпечатались следы всех арктических бурь и приключений. Именно её выбрал для перелёта Молоков.

— «Старушка двойка» не подведёт!

И она не подвела. Показательно, что такой гигантский перелёт Молоков совершил на обычной морской машине, оснащённой рядовыми советскими моторами. «Старушка двойка» тянула нелёгкий груз. Помимо запаса горючего на девять-десять часов полёта, в ней находились восемь человек, запас продовольствия для них, грузы для полярных станций, запасные части для мотора, инструменты, личные вещи, да мало ли ещё чего!.. Машина была так перегружена, что еле отрывалась от воды. Приходилось всем нам перебираться в хвост лодки, тесно прижиматься друг к другу и этим облегчать Молокову взлёт.

Знаменательно, что Великий Северный воздушный путь был пройден впервые самолётом с такой большой деловой загрузкой. Это отлично соответствует

духу освоения Арктики. Как Северный морской путь был освоен полярниками для того, чтобы грузовые корабли могли бороздить холодные воды Ледовитого океана, так и Молоков, прокладывая Северный воздушный путь, сразу придал своему перелёту буднично-деловой производственный характер. В этом смысле перелёт Молокова открывает замечательные возможности перед полярной авиацией. Важнейшие грузы могут быстро перевозиться по воздуху из конца в конец Арктики.

Большие пассажирские перевозки могут осуществляться на Севере. Воздушные командировки руководящих партийных и хозяйственных работников Севера станут обычным фактом. Решив много важнейших задач своим перелётом, Молоков, в частности, поднял на огромную высоту вопрос о возможностях транспортной авиации в Арктике.

Во всяком случае, мы, жители летающей лодки, её освоили вполне, превратили в настоящее и удобное жильё. Мы разместились так: в носу помещался штурман перелёта Алексей Ритслянд. Мы шутя говорили, что он самый первый из нас приходит в порт. За Ритсляндом в пилотской кабине сидел Молоков. На самолёте не было второго пилота, Молоков всё время вёл машину один. Часто ему приходилось по десять часов, а один раз и восемнадцать часов не покидать своего места. Рядом с ним сидел его верный друг и испытанный помощник Григорий Трофимович Побежимов. Баковое отделение — его царство. Здесь, в покрашенных жёлтой краской баках, сосредоточено горючее. Здесь пахнет бензином, машинным маслом, железом. Тут же помещался Володя Мишенков — помощник Побежимова. Он наблюдал за приборами, а в свободное время в полёте читал книги. Володя — парень любознательный и до книг охочий.

Наконец, в кормовом отсеке помещались мы — «пассажиры». Здесь по дну лодки были разостланы спальные мешки и шкуры. Стоять в машине было нельзя. Можно было либо сидеть, либо лежать. Мы предпочитали последнее. Каждый из нас имел своё спальное место. За время перелёта всем нам не раз приходилось работать сутки напролёт, не спать ночами. В Анадыре мы совсем не спали, на Командорских островах двоё суток никто из нас не сомкнул глаз. В таких случаях мы утешали себя: отоспимся в машине. И отсыпались! Ни сильная болтанка, когда машину швыряло из стороны в сторону, ни рёв моторов — ничто не могло помешать сну утомлённых людей, которым через несколько часов полёта снова предстояла бессонная ночь, напряжённая работа где-нибудь на маленькой фактории или далёкой полярной станции.

В самом хвосте машины помещался нулевой отсек. Здесь было сложено наше хозяйство, инструменты и, между прочим, клиппер-бот — резиновая лодка, надувающаяся воздухом. Эта лодка не раз служила нам надёжным средством связи с берегом. Но ещё более важную роль сыграла бы она в случае катастрофы на море. И в тяжёлые минуты штормов, туманов или в полёте над льдинами полярного моря кое-кто из нас, бывало, украдкой поглядывал в хвост: «А цел ли клиппер-бот?» — и, убедившись, что он цел, — успокаивался.

Так мы разместились в машине. Каждый занимался в полёте своим делом. Все отсеки машины сообщались между собой. Иногда вдруг открывалось окошечко

из бакового отделения, и показывался Побежимов. Он протягивал бумажку. Это Ритслянд принял в воздухе по радио что-нибудь важное для нас: или срочную деловую депешу, или приветствие экипажу от трудящихся тех областей, над которыми мы пролетали, или ещё что-нибудь. Разговаривать между собой в полёте было невозможно, зато можно было переписываться, и переписка кипела, деятельная, горячая. Писали на листах блокнотов, на папиросных коробках, на обрывках газет. Я достал где-то грифельные тетрадки, исписали и их. Это целая литература, и очень любопытная к тому же.

Иногда во время особо длительного рейса к нам в окошечко из бакового отделения вдруг просовывалась голова Мишенкова. Он вытягивал два или три пальца и прикладывал их к губам. Мы понимали его. Это значило, что он просит подать ему продовольствие на двух или трёх проголодавшихся. Дежурный по рейсу — а у нас был такой, и он сменялся каждый рейс — протягивал Мишенкову банки с консервами, галеты, шоколад, сгущенный кофе.

На самолёте имелся свой продовольственный склад, и мы часто пользовались им, попадая на маленькую факторию или зимовку. У нас были даже примус и кастрюли. Какие замечательные борщи варились во время вынужденных посадок и на маленьких зимовках! Эти борщи стряпались из концентратов, изготовленных Московским институтом инженеров народного питания.

Концентраты — спрессованные лепёшки, очень маленькие и удобные. Достаточно трёх-четырёх таких лепёшек на котелок горячей воды — и готов ароматный вкусный, замечательный борщ, сохраняющий все качества и даже запахи настоящего борща. У нас имелись концентраты супа лапши, компота, киселя. Был сухой молочный порошок (поэтому чайник, в котором он находился, назывался коровой), яичный порошок, консервы и многое другое — очень удобное для такой экспедиции, как наша. Всё это было изготовлено специально для нашего полёта как пробное продовольствие и заслужило самую высокую оценку.

Прилетев на зимовку, каждый сразу брался за своё дело. Молоков и Ритслянд погружались в карты метеосводки. Побежимов и Мишенков занимались машиной. У Побежимова какая-то фанатическая любовь к машине. Он любит возиться там, ковыряться в своём, как он выражается, хозяйстве. Ни разу за весь перелёт не было у нас задержек из-за материальной части. Моторы были безотказно готовы к полёту, но зато каждую задержку из-за погоды Побежимов использовал для того, чтобы повозиться в своём хозяйстве, почистить, поправить, учинить маленький ремонтишко.

— Машина как человек — она вежливого обращения требует, — назидательно говорил Трофимыч.

Под его руководством проходили все наши авралы. На маленьких зимовках, где людей мало, всем нам без исключения приходилось работать по заправке машины. Мы катали бочки с бензином, укрепляли якорь, возились около самолёта. Здесь все были равны перед трудом.

Но и своего дела у участников полёта было по горло. Тесная комнатка фактории превращалась в деловой кабинет. Люди приходили с насущнейшими живо-

трепещущими вопросами. И в то короткое время, что мы находились на месте, надо было решать их немедленно и точно.

Простой перечень покажет размах деловой работы в нашем перелёте. Участники перелёта ознакомились с якутским, чукотским и архангельским управлениями Главсевморпути, со всеми полярными станциями от Берингова пролива до Архангельска, рыбоконсервным комбинатом Анадыря, строительствами портов в бухте Тикси и на острове Диксон, с пушным хозяйством на Командорских островах (котики, песцы, бобры), с промыслом моржа на острове Врангеля, факториями, интегральной кооперацией, культбазами в заливе Лаврентия и на Хатанге — словом, нельзя придумать такого вида деятельности на Севере, который не открылся бы перед нами во время перелёта.

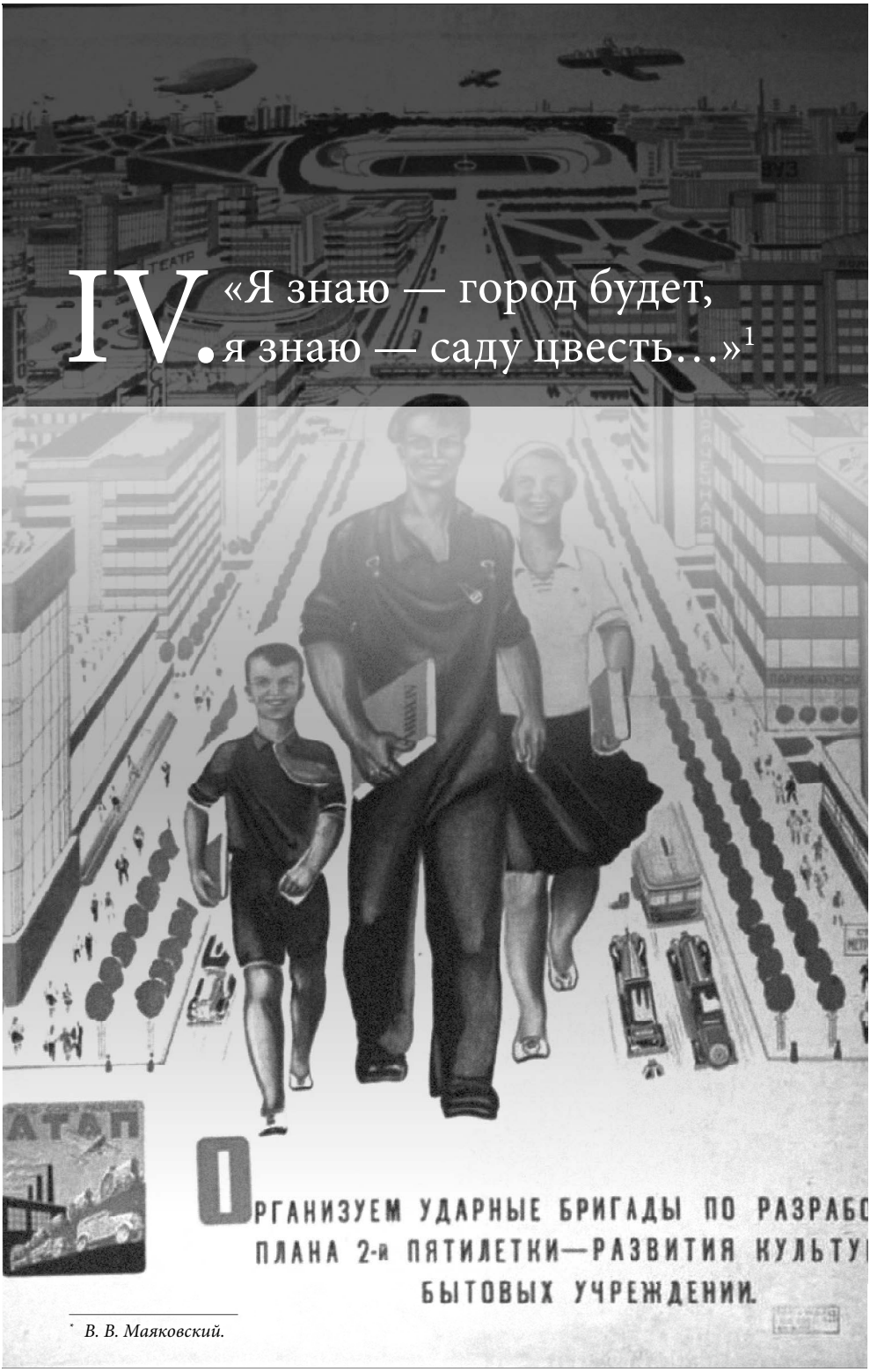
А на море в это время развёртывалась полярная навигация. Десятки ледоколов, грузовых пароходов, всяких кораблей, зверобойных ботов встречались на пути. И участники перелёта были простыми зрителями всего, что происходило на суше и на море. Суда направлялись в новые пункты, продовольствие оттуда, где оно было в избытке, перебрасывалось туда, где его не хватало, переставлялась рабочая сила, снимались и назначались начальники, издавались приказы, собирались деловые собрания и совещания. И Молоков, сняв лётный шлем, шёл на собрание хозяйственников, коммунистов, рабочих, сидел, слушал, выступал по деловым вопросам. Он ведь был не только лётчиком, — а был также работником Севера, и прежде всего большевиком. Была ещё одна работа, которую выполняла добрая половина экипажа — коммунисты. Среди наших грузов самым ценным, над которым все мы дрожали, берегли как зеницу ока, был один небольшой чемоданчик. В нём помещались чистые бланки партийных билетов. Все коммунисты экипажа были регистраторами. Работали и днём и ночью. Боялись испортить хотя бы один бланк. И в то же время торопились. Время поджимало нас. Приходили тревожные сводки. В Арктике стоял тяжёлый ледовый год.

Так мы летели. Два месяца. Спали где придётся на полу вповалку, в тесной комнатушке одинокой фактории или в школе культбазы. Отдыхали мало. Торопились. Жили дружно, работали и отдыхали сообща. И вот наш перелёт закончен. Мы простились со «старушкой двойкой», нашим летающим домом. Теперь, оглядываясь назад, можно сказать: это был во всех отношениях замечательный перелёт! Как много мы пролетели, как много увидели! Иногда, рассказывая о том или другом эпизоде — происшествии, случившемся в пути, рассказчик остановится и воскликнет:

— Позвольте, где же это было? В Охотском море, или в Тихом океане, или в море Лаптевых?

Потом выяснится, что произошло это на острове Врангеля или где-нибудь в тихой, далёкой Хатанге. Огромный путь пройден. Какая изумительная по ширине и масштабу картина развернулась перед нами! Быт народов Севера — эскимосов, чукчей, ненцев, алеутов, коряков, тунгусов, якутов, юкагиров, камчадалов — народов, возрождённых и восходящих, распахнулся перед нами. Промыслы, фактории, индустриальные стройки Арктики, порты, угольные базы, полярные станции — всё это проходило как в чудесном калейдоскопе.

IV. «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть…»[1]



[1] *В. В. Маяковский.*

Виталий Долгушин

Поэтам революции[1]

Я бушевал.
Я безобразно буйствовал.
Поэты революции!
Пою я вам.
Как мот, я пропивал свой дар без устали.
И расскандаливал
его по кабакам.
Потомственный буян я, не для вида.
Мой прадед через буйство
был в бегах,
Под стать ему и бабка Степанида
С мужчинами дралась на кулаках.
Махнули все на буйного
поэта:
Есенин спился.
Этот, мол, таковский.
И только в доме Реввоенсовета
Мораль прочёл мне
Юрий Березовский.
Он говорил:
— Долгушин, где стихи —
твой клад?!
О революции
и о Саянах.
Ты по-есенински
не расскандаль их, брат,
В Москве у нас в пивных
и ресторанах.
Но мозга не коснулись
Юрия слова:
Ему ль было учить врождённого
буяна?
Не стал бы прадед мой,
наверно, тогда
Станичного, на ять, утюжить атамана.

[1] *Стихотворение записано на крышке инструментального ящика в кузнице. Рукописный автограф из фондов Литературного музея им. В. П. Астафьева, публикуется впервые.*

И вновь скандалил я,
В себя глядел небрежно,
Хоть от Москвы до самых до Саян
В потоке революции кипел мятежно
И был тогда
поэт и партизан!
Но новая война в лавинах бурных
По-новому вскипела вдруг.
И вот в рядах бойцов я, в туруханских тундрах,
И строю я советский порт.
Вот где, воистину,
Чудеснейший курорт для алкоголиков
различных категорий,
Где пятилеткою
с упорством бьют рекорд
Под носом Полюса,
Вблизи полярных взморий.
Рабочий город там встаёт из мерзлоты,
Рождая новые
и новые усадьбы.
В нём днём с огнём
Не сыщешь водки — полбеды!
Есенина в такой
сослать бы!..
Вот минул год, как я,
Покинув бражку,
Похмельную отбросив лень,
У наковальни
молотом вразмашку
Дерусь со сталью
каждый день.
К лицу сродни рабочая мне блуза,
А ритмам
я учась у молотка,
Не я ль, буян, в концерт гудков Союза
Вплетал три звучных молодых гудка?!

Туруханск, 1931 г.

Владимир Чивилихин

Серебряные рельсы

(главы из книги)[1]

Тайна Казыра

Этих мест, куда я забрался,
пожалуй, не знает и сам дьявол.
Н. Пржевальский



Александр Михайлович Кошурников

Эх, Казыр, Казыр, злая непутёвая река! Мало людей прошло по твоим берегам от истоков до устья, и ни один человек ещё не пробился через все твои шиверы и пороги. О чём бормочет твоя говорливая вода? Что ты рассказываешь, Казыр, — единственный свидетель и недобрый участник трагедии, о которой вот уже много лет помнят тысячи сибиряков?..

Чтобы найти исток Казыра, надо от знаменитых красноярских Столбов брать к центру Саян. Причудливые голые скалы вскоре переходят в лесистые округлые «шеломы», глубоко и густо изрезанные притоками красивейшей сибирской реки Маны. И вот уже высится обширное Белогорье — издали видны лишь сизые гольцы, белёсый олений мох на крутых склонах да снег ослепительной свежести. Не вздумай туда зимой — пропадёшь ни за понюх табаку. Да и летом эти места можно пройти лишь звериными тропами. Горные кабарожьи тропы приведут к Фигуристым и Агульским белкам, в гигантские мраморные башни и цирки, каких нигде больше не увидишь.

А ещё дальше — первозданная стихия камня. Сюда, к этому намертво запутанному каменному узлу, тянется с запада островерхий хребет Крыжина, с востока — Хонда-Джуглымский, а с юга — неприступный дремучий Ергак-Таргак-Тайга.

[1] *Чивилихин В. Серебряные рельсы. М.: Советская Россия, 1984.*

Сталкиваются, сплетаются, пересекаются мощные горные цепи, выбрасывая за облака гору Пирамиду, пик Грандиозный, Поднебесный голец, Кулак-белок. Кажется, не будет конца царству скал, отвесным стенам, глубоким и тёмным, как преисподняя, провалам, диким утёсам выразительных и странных форм.

Здесь-то, в самом центре каменного хаоса, рождается Казыр, отсюда он начинает свой стремительный бег к Енисею. Жизнь этой реке дают лёд и солнце, и казырская вода унаследовала от них заоблачный холод и вечную энергию. Силён Казыр, не везде перебродишь его, не везде переплывёшь — упругая струя подхватит смельчака, разобьёт на рыжих ослизлых валунах…

Есть на Казыре бурливые перекаты — шиверы, вода тут серебрится и что-то невнятно лопочет, есть тихие глубокие плёсы, где танцует златопёрый хариус, есть мутные водовороты, ямы и воронки. Подмоет, повалит река высокий кедр, дотащит его до такого бучила, поставит корнями вверх и медленно всосёт, утопит, чтобы вскоре выбросить этого лесного красавца помятым и бездыханным.

Но главное препятствие на Казыре — пороги. В одном месте вся река собирается в узком гранитном горле, в другом — прорывается по длинному, извилистому коридору, в третьем — прыгает по ступенчатым лбам. Есть порог, который тянется на семь километров, и в солнечный день стоит над каждым его сливом цветистая радуга…

Долго беснуется Казыр, пока не расступятся горы и плавные увалы Минусинской покати не смирят его буйный норов.

Вдоль Казыра — непролазная черневая тайга. На взгорках стоят лохматые кедровники, распадки забиты сбежистыми кронами елей, к сырым низинным местам собираются пахучие пихты, чтобы в полую воду вволю пошлёпать по мутной волне широкими лапами. В таком лесу тихо и сумрачно. До земли свисает с веток седой мох, гниют внизу остатки поживших своё лесных великанов. Встречаются по берегам Казыра чёрные гари, на добрую сотню километров протянулся гибник — лес, съеденный залётными вредителями: сибирским шелкопрядом и монашенкой. Древесные скелеты подтачиваются червями и падают от ветра. Ни зверь не живёт на этом лесном кладбище, ни птица. Только вечный труженик дятел долбит и долбит сухие стволы.

Первые люди пришли на Казыр за соболиными шкурками. Это было не так давно. Потом сюда потянулись рыбаки, топографы, ботаники, геологи, оставляя после себя просеки, затёсы, вешки. И всё-таки можно неделями брести по казырской долине и не встретить ни одного зимовья, ни одной меты…

Зима памятного сорок второго нагрянула в Южную Сибирь неожиданно, вдруг. В казырской долине забуранило звериные тропы, кусты и колодник. Пышные снежные шапки пригнули ветки елей и пихт. Даже Казыр смирился — заковало льдом его уловы и ямы. Ни птичьего гомона, ни собачьего лая, ни человеческих голосов.

Но вот в безмолвие зимней тайги ворвался посторонний, нездешний звук. Он шёл с неба. Низко, у самых вершин кедров, пролетел самолёт. Потом другой. Самолёты до сумерек кружили над Казыром. Назавтра они снова прилетели, а потом ещё и ещё. На все вопросы с земли радисты отвечали:

— Продолжаем поиски.

Сотни людей в Абакане, Новосибирске и Нижнеудинске нетерпеливо ожидали известий с Казыра. «Наверно, не смогли пройти Щёки», — говорили одни. «В этот порог они не сунутся, там сразу видно, что только берегом можно, — высказывались другие. — А вот в Базыбае действительно могли сгинуть — это же такая мясорубка!» «А вдруг они отклонились от маршрута? — предполагали третьи. — И границу перешли…»

Снова надвинулись на Саяны низкие тучи, и повалила кидь — густой непроглядный снег. Пурга прогнала самолёты на базы. Теперь было не подступиться к казырской долине. Вскоре о результатах поисков запросила Москва. В Новосибирске, откуда была послана пропавшая экспедиция, жил в это время московский профессор. Его сын возглавлял ушедшую группу. Старик никому не верил, что сын может пропасть. Смертельную обиду нанёс ему тот человек, который сказал, что люди, возможно, ушли за границу…

Проходили дни, а сына всё не было. Из посёлка Верх-Гутары, что расположен в Центральных Саянах, передали по радио протокол опроса проводника. Экспедиция брала этого проводника с условием, что он выведет людей к Минусинску. Однако проводник быстро вернулся из тайги вместе с оленями. Он объяснил, что его отправили назад от места слияния Правого и Левого Казыра.

Проводник был последним человеком, который видел исчезнувшую группу. Отец начальника экспедиции рвался в Саяны, чтобы поговорить с ним, но все перевалы забило рыхлым снегом, и путь в горы был отрезан, по крайней мере для человека, которому уже под семьдесят.

Экспедиция исчезла. Однако старик всё не терял надежды, зная, что сын не раз бывал в трудных переплётах. Писал в конце ноября домой в Москву: «Отсутствие от него сведений наделало здесь большой переполох. Снова собираются посылать самолёты. Я-то думаю, что он по зиме, как совсем замёрзнут реки, выберется. Пройдёт забережками, как по тротуару. Такой мужик едва ли пропадёт».

Друзья пропавших и пограничники, живущие на Казыре, организовали наземные поиски. Ушли в тайгу на камысных — подбитых лосем — лыжах два отряда. Главный поисковый отряд, которым руководил верный друг и ученик начальника экспедиции, двигался с верховьев Казыра. Следов пропавшей экспедиции было много: в одном месте — затёс, в другом — кострище, в третьем — плот, застрявший в камнях. Вначале показалось, что люди погибли в пороге Щёки — бешеная вода вздыбила плот на острых каменюках, и он стоял сейчас в крутом наклоне, намертво вмёрзнув в рваный лёд, а вокруг свирепо клокотала вода. Конечно, целым из такого пекла не вылезешь! Однако ниже порога раскопали под снегом остатки костра и свежие пни — видно, тут строился новый плот. Этот плот из пихтового сушняка был обнаружен в Китатском пороге. Потом затёсы исчезли. На деревьях, растущих по берегам Казыра, не было уже ни одной меты.

А вскоре натолкнулись на странную находку. Над заметной скалой были подвешены к вывороту кедра мешки. Огромное корневище выступало над бе-

регом, и любой человек, проходящий долиной мимо, обратил бы внимание на этот лабаз. Мешки сняли. В них были образцы камней, замёрзшее оленье мясо, дробь, соль, телогрейки. Почему всё это было оставлено? Перерыли всё — никакой записки. В чём дело?

Потом поисковый отряд нашёл в долине ещё несколько стоянок экспедиции — кострища, лежаки из пихтовых веток, срубленный вокруг сухостой. Ниже Базыбая под глубоким снегом дорылись до последнего лагеря. Дальше всякие следы исчезли. От этого места до пограничной заставы оставалось всего около сорока километров. Экспедиция могла пройти это расстояние при любых обстоятельствах. Ведь она преодолела самые трудные казырские пороги! Оставался пустяк, но куда делись люди?

Уже около месяца шли по тайге лыжники. Устали от бесконечного труда и бесконечных неудач. Собрались было на заставу, однако руководитель отряда решил посмотреть долину Нижнего Китата. Этот большой правобережный приток Казыра тёк с хребта Крыжина, за которым бежал Кизир. Старик профессор говорил в Новосибирске, что сын писал ему о возможности исследования Кизира, если в казырской долине экспедиция получит отрицательный результат. Может быть, действительно экспедиция по Нижнему Китату прошла на Кизир?

Ночью поисковый отряд остался без проводника — тот сбежал, стремясь скорее выбраться к жилью. Два инженера двинулись вверх по Нижнему Китату, внимательно осматривая долину. Здесь была девственная заснеженная тайга без конца и края, и абсолютно никаких следов человека. Продукты уже кончались. Вскоре выдался добрый денёк, и в небе показался самолёт. Может, нашли? Нет, самолёт не качал крыльями. Быстро разложили два костра — условный знак. Самолёт сбросил вымпел и разочарованно нырнул за гору. В записке значилось: «Все поисковые отряды вернулись. Экспедиция не найдена. Ждём вас. Необходимо выходить из тайги, ожидается метель».

Через несколько дней донельзя измученные люди были на заставе. Они виновато качали головами:

— Нету.

Вскоре прибыли и пограничники, обследовавшие район последней стоянки. Действительно, этот лагерь был последним. Ниже по реке — ничего. Что с экспедицией? Где она? Может, преступление? Время военное, тревожное, разные люди бродят по тайге…

Летом поиски возобновились. Отряд опытных таёжников снова исследовал Казыр от истоков до устья — безрезультатно. Все местные охотники знали, насколько важно любое известие. Районная газета «Артёмовский рабочий» напечатала об этом статью. Приезжал в Саяны и московский профессор, отец начальника пропавшей экспедиции. Он назначил от себя большую награду тому, кто найдёт сына живым или мёртвым. Однако тайна оставалась нераскрытой.

Прошло около года. Родные и друзья погибших не могли смириться с утратой, но что было делать? Пограничники тоже перестали искать, хотя их застава стояла всего в двух днях ходьбы от последней ночёвки исчезнувшей экспеди-

ции. За этот год они излазили все подступы к хребту Ергак-Таргак-Тайга, по которому проходила тогда государственная граница, и пришли к выводу, что проникнуть за хребет люди не могли. Начальника пограничной заставы вызвали в Новосибирск с подробным отчётом. Но что было толку в этой бумаге?

А когда пришла коренная вода, заставу взволновала одна загадочная находка. С пограничного катера увидели на дне реки какой-то поблескивающий предмет. Привязавшись верёвкой, прыгнули в воду и вытащили заржавевшее ружьё. Отчистив находку, установили, что ружьё было бельгийского завода. С трудом разобрали номер. Кому принадлежала эта «бельгийка» двенадцатого калибра № 76087? Никто в окрестных сёлах не мог ответить на этот вопрос. Обнаружили ружьё почему-то совсем рядом с заставой. Перерыли архивы за долгие годы. Нет, никто из командиров и красноармейцев заставы не был владельцем этого охотничьего ружья. Для выяснения загадки начальник заставы Переверзев отправил находку в Артёмовск…

О тревожных радиограммах, что сыпались год назад на заставу, о неудачных поисках, о приезде старика профессора, о загадочном ружье знали и рыбаки, живущие неподалеку. Это были суровые деды, коренные саянские жители. Проводив сынов на войну, они и сами не захотели сидеть в такое время сложа руки: снабжали казырским омулем и хариусом отдалённые золотые прииски. В поисках уловистых омутов старики не раз хаживали вверх по Казыру, за Базыбайский порог. Они хорошо знали низовья реки. Каждый приметный камень имел у них своё имя — Лоб, Чалый, Братья, Пьющий Камень…

Ещё по весне рыбаки оглядели Казыр. Особенно тщательно, как и пограничники, они изучали район последней стоянки исчезнувшей экспедиции.

— Нету, — говорили они Переверзеву. — Стало, в Тазараму ушли…

Тазарамой они по-старинному называли пограничный хребет Ергак-Таргак-Тайга. Может, действительно люди ушли за границу? Однако это предположение ничем не подкреплялось и не могло разрешить загадки. В половодье приёмыш рыбака Андрея Бякова двенадцатилетний Санька Баштаков увидел вмёрзший в лёд маленький плот, который стремительно пронёсся мимо заставы. Этот же плот видела Лиза Степанова, дочь другого рыбака. Девушка прибежала тогда к начальнику заставы Переверзеву и со слезами на глазах требовала, чтобы послали вдогонку катер. Но мало ли чей салик может притащить река с верховьев? Да и как его поймаешь? К концу лета рыбаки перестали строить догадки, отчаявшись, прекратили поиски.

Наступила осень 1943 года. Снова поредел лес, потемнела голубая казырская вода. Однажды рыбак Иннокентий Степанов толкался левым берегом на лодке к Базыбаю — под этот порог вчера ушли его товарищи с сетями. Река сузилась, началась быстрина. Лодка вертелась, шла плохо.

«Проклятая Баня! — ругался про себя старик. — Взопреешь, пока пройдёшь. Одно слово — Баня. Однако, вон уже и Кедровый остров!»

Степанов налёг на шест, и лодка вышла на тихое место. Вдруг он остановился — сквозь воду виднелся листочек бумаги, прилипший к камню. «Однако, кто-нибудь из пограничников тушёнку раскрывал», — предположил Степа-

нов, но всё же внимательно осмотрел дно реки. Неподалеку в прозрачной струе трепетал ещё один такой же листок. Старик подплыл ближе к берегу и отшатнулся — на мелководье в прибрежных кустах лежал полузанесённый песком человек. Лица нельзя было различить. Сквозь воду хорошо был виден форменный синий китель.

Старик выбрался на берег, предусмотрительно поставил вешку, на кустах ольшаника сделал заметную вязь. «Мало ли что со мной в тайге может случиться, — подумал он, — а так люди заметят». Назавтра он приплыл к Кедровому острову со своими старыми товарищами — Киприяном Лихачёвым и Андреем Бяковым. В лодке был и вертлявый белоголовый Санька Баштанов. Мальчишка свесился с кормы и звонко закричал:

— Бумаг-то, бумаг! Дядя Иннокентий, бумаг!

— Не колготи! — одёрнул его Бяков, и Санька присмирел.

В суровом молчании они подплыли к кустам. На берегу глухо и торжественно шумели по-осеннему чёрные кедры, в воде зыбились их неясные тени.

— Ишь застругивает, — кивнул на воду Лихачёв. — Песок тянет. Чуть погодя намыло бы косу на него — и с концом…

— Давно лежит, — заметил Бяков. — А я, паря, мимо Кедрового сколь раз сей год проходил, да всё правым берегом, протокой. А он левым, Дурной Матёрой шёл…

— Тут, на приверхе, с ним и приключилось, — вернувшись с берега, сказал Иннокентий. — А гляньте, перед быстриной лёг. Ещё б десять сажен вниз ступил, полая вода снесла б его в воду и Баня размочалила бы по косточкам.

— В Артёмовск надо сообщить, Кеша. Трогать его нельзя сейчас самим-то.

— А мы прямо отсюда на заставу. Только вот что, мужики, — Степанов прошёл вдоль берега. — Бумаг-то сколько в воде! Нешто собрать их сейчас? Пропадут же! А может, в них есть что?

Старики начали доставать со дна реки одинаковые продолговатые листочки.

— Рукой написано. Цифры на уголках, — сказал Киприян Лихачёв. — И не смыло, разобрать можно. Карандаш, верно, особый у него был. Приедем, берестой переложим. Ну-ка, Саня, прочитай — у тебя глаза острее.

Мальчишка осторожно взял в руки сырой листочек.

— Понимаю! — крикнул он и поднял глаза на Лихачёва. — Читать? «Имеются граниты серые крупно- и мел… мелкозернистые… исключительно красивые розовые граниты и гранит-пор… порфиры, зелёные серпат… сер-пентины». Непонятные какие-то слова…

Санька передохнул и взял из рук Лихачёва ещё один листок.

— «На всякий случай ружьё держу всё время при себе и наготове пару патронов, заряженных разрывными пулями. Это тем более не-об-ходимо… что… что пользуется дурной репу… ре-пу-та-цией». Дядя Киприян, а что это «репутацией»?

— Умный человек писал, Саня. На-ка ещё почитай.

— «Терраса заросла многовековой тайгой, — едва разбирал парнишка, — что даёт возможность трас… си… трассировать по ней линию без особого

укрепления берегов и регу… регуляционных соор-ру-же-ний». Опять длинные слова. А вот снова понятно. «Прошли одиннадцать километров. Выехали утром в восемь часов. Была морозная ночь, что нам кстати, а то мясо мокрое и могло бы испортиться. Сейчас его подморозило».

— Рисунок! — крикнул издали Бяков. В поисках листочков он спустился к началу Бани. — Это же Саянский порог у него срисован, о пяти сливах…

— А что могло приключиться? А, мужики? — спросил Иннокентий Степанов, когда они уже ничего не могли увидеть на дне реки и собрались обсушиться у костра. — Ни ружья при нём, ни припасу. И потом на заставе говорили, что они втроем шли. Где ещё двое? Молодые-то ребята где?

Никто не ответил. Старики молчали, грея руки у костра. С каждой минутой сгущалась тьма. Лес застыл в неподвижности и безмолвии. Уже в темноте старики ломали пихтарник для ночлега…

— А может, это и не он? — выразил утром сомнение Киприян Лихачёв. — В тайге всё может быть. А тут граница рядом, и война идёт.

— Так китель же на нём.

— Мало ли что, — строго сказал Лихачёв. — В общем, мужики, надо на заставу скорей. Переверзев и документы с него возьмёт, целы небось…

Через день в Новосибирск и Артёмовск была передана радиограмма:

«Согласно сообщению бригадира рыболовной артели «Золотопродснаба» Степанова И.Ф., находившегося 4 октября 1943 года на рыбалке в районе острова Кедровый (4 км выше устья реки Нижний Китат), на дне реки Казыр им был обнаружен труп неизвестного гражданина. Тут же рассеяны бумаги по дну реки. На неизвестном виден форменный железнодорожный китель с петлицами и знаками отличия (две звездочки). Необходимо следствие».

…Эх, Казыр, Казыр, злая, непутёвая река! (…)

Было их трое

Мы пускались тогда вглубь азиатских пустынь,
имея с собою одного лишь союзника — отвагу;
всё остальное стояло против нас…
Н. Пржевальский

Шёл незабываемый сорок второй — тревожный, огневой год. Наш народ накапливал силы, чтобы сломать хребет фашистскому зверю. Стальной пружиной напрягся фронт к осени, когда вместе со всей армией под Сталинградом насмерть встали полки сибирских стрелков. Но Родине надо было, чтобы в это грозовое время люди шли не только на запад, к фронту, но и на восток — в горы и тайгу. И вместе со всеми разведчики будущего несли тяжёлую ношу войны…

Было их трое.

Знакомясь с начальником, Алёша Журавлёв чуть не охнул от боли.

Кошурников отступил на шаг, оглядел статного парня с ног до головы, уважительно протянул:

— Ничего!

— Что «ничего»? — спросил Алексей.

— У некоторых пальчики враз белеют, по неделе потом за гитару не берутся. А ты ничего.

— Какой там «ничего»! — Алёша рассмеялся. — Думал, копыта откину. Только с Костей вы так не знакомьтесь. Ладно?

Журавлёва взяли в проектный институт перед войной прямо со студенческой скамьи. Студенты любили этого покладистого, немногословного парня. Умных разговоров он не переваривал. Стоило в студенческой компании затеять спор о жизни, любви, подвиге и прочих высоких материях, как Алёша протискивался к дверям, чтобы в общежитском дворе крутануть на турнике «солнышко» либо покидать двухпудовку. Лишь временами, когда переговорившие обо всём на свете друзья сидели обалдевшие, Алёша заводил к потолку глаза и произносил мечтательно:

— Эх, ребята! Встретиться бы лет через тридцать! Какая жизнь будет!

Дружить с ним было необременительно и просто, а в дружбе он оставался верным до конца. Может быть, поэтому ребята шли за ним гуртом, если ему надо было что-то провернуть, как говорится, по общественной линии.

Все знали упорство и какую-то странную скрытность Алёшки Журавлёва. Незадолго до выпускного вечера выяснилось, например, что Алёшка может летать на самолёте. Вскоре после защиты диплома он пригласил друзей на аэродром:

— Пойдёмте, корешки, со мной. Летать буду первый раз…

Диплом он получил обыкновенный, без отличия, но Алёшку хорошо знали в изыскательских партиях, и сейчас Кошурников без звука взял его в трудный поход.

Другое дело Костя Стофато. Кошурников не вдруг раскусил этого узкоплечего парня, типичного горожанина. Главное, Костя ни разу не бывал в тайге, не хлебнул изыскательской жизни. Хорошо бы взять вместо него опытного геолога — Казыр в геологическом отношении был для Кошурникова сплошным «белым пятном». Но надёжного специалиста сейчас не находилось. Экспедиции был нужен и сметчик для подсчёта примерных затрат на строительство будущей дороги. Выбор пал на Стофато. Костя сам рвался в тайгу — одна камеральная работа ограничивает кругозор изыскателя.

Молодые инженеры ещё не оперились, однако Кошурников не захотел в такое время, когда каждый человек был на счету, брать ни одного из своих учеников — все они сейчас расправляли крылья в самостоятельных полётах. Если б можно было захватить с собой Женьку Алексеева или Володьку Козлова! С Алексеевым они побратались на памятных ангарских изысканиях. Что за время было! Братск тогда считался глухоманью. Но весной тридцать второго года нагрянули на Ангару пришлые люди — гидрологи, лесные таксаторы, изыскатели, геологи. Раскинули свои палатки москвичи и ленинградцы, по-хозяйски расположились сибиряки. По городу ходили слухи, что леса тут будут сводить, протянут с ходу железную дорогу и вроде бы даже собираются перегораживать Ангару у Падуна. Местные старики посмеивались — Ангару-то, однако, нипо-

чём не остановить, — но охотно нанимались проводниками к этим весёлым, бесшабашным пришельцам. (…)

Бывалые изыскатели и геологи помнят, что стоило в те годы снарядить далёкую экспедицию. Всё шло на запад, где решались судьбы Родины. А здесь был на строгом учёте каждый килограмм крупы, каждая буханка хлеба. Недели проходили в хлопотах, а изыскателям ещё многого недоставало. (…)

Оставив Костю Стофато заканчивать дела, Кошурников наконец выехал. В Ачинске он отстал от поезда, чтобы взять отцовский подарок, а через день был уже в Нижнеудинске. Здесь он продолжил дневник, который начал вести в поезде. (…)

«3 октября

С нашим продвижением дальше дело осложняется. Нет проводника, а без него я на оленях ехать не берусь — не умею с ними управляться и за ними ухаживать. Оленей дают, а вот проводника нет. Дело плохо.

Для поездки имеем весьма ограниченное снаряжение. Продовольствие: сухарей 30 кг, хлеба 20 кг, крупы перловой 5 кг, масла 2 кг, сахару 4 кг, соли 7,5 кг, табаку 1,3 кг, чаю 100 г, спичек 50 коробок, спирту 750 г, омуля 2,3 кг, перцу 200 г, лаврового листа 3 пачки, луку 1,5 кг, мыла 0,5 кг и кусок туалетного, мяса солёного возьму на дорогу в колхозе 5 кг.

Имею ружьё 12-го калибра, при нём патронташ заряженных патронов, 400 г пороху и 2 кг дроби.

С одеждой благополучно. Нет палатки — не дали в Новосибирске. Спальные мешки не беру сам — громоздко. Очень плохо с мешками. Из Новосибирска не получил ни одного мешка. Не знаю, как буду вьючить. Имею 1 топор, 1 пилу поперечную, 1 долото, 4 ножа, 1 кастрюлю (котелков и вёдер в Новосибирске не дали), 2 кружки, 2 ложки. Имею 4,5 кг манильского каната (40 метров). Нет остроги и «козы», возможно, из-за этого придётся немного поголодать, так как на охоту я не особенно надеюсь». (…)

«Не могу я погибнуть…»

Одно радует, что прежняя энергия меня не покидает.

Н. Пржевальский

Отправляясь в путь, изыскатели не знали, есть ли вдоль Казыра какая-нибудь дорога или хотя бы охотничья тропа, благополучно ли пройдут по долине олени с грузом. Инженеры не могли точно сказать, за какое время преодолеют они расстояние до Абакана. Абакан, собственно, был лишь конечной, а не главной целью. Добраться бы только до первого селения на Нижнем Казыре! Ведь все сложные и неясные вопросы, связанные с изысканиями и строительством будущей дороги, разрешались в безлюдной горнотаёжной местности между Верх-Гутарами и пограничной заставой. Крайний срок, который

установил Кошурников для выхода к жилью, истекал 20 октября. Он сообщил в Новосибирск, чтобы до этого момента о нём не тревожились. В распоряжении экспедиции оставалось полмесяца… (…)

Казыр встретил изыскателей шумом. В узкое горло река врывалась плотной, упругой массой, а потом разбегалась по камням, шипела, рычала, выкидывала на берег клочья пены.

— Бешеная собака, — сказал Алёша.

— Шайтан-река, — поддержал проводник, посасывая трубку, и добавил своё неизменное: — Оннахо…

Дорога вдоль Казыра вскоре кончилась, перед караваном стеной стояла дикая, неприютная тайга.

Иной бывалый сибиряк скажет, что тайга, мол, всегда и приветит, и накормит, и согреет, а дикой и неприютной она кажется городским жителям, да и то лишь тем, кто её сроду не видывал. Эх, землячок! Одно дело, когда идёшь по тайге гуляючи — пострелять рябчиков, глухаришек либо шишковать. Но другую песенку запоёшь, если тебе надо протащить десяток олешек по бурелому и колоднику, если сыплется с каждой ветки холодный душ и нет на тебе сухой нитки да если ты ещё спешишь при этом, будто уносишь ноги от верхового пожара…

Тяжелее всех было Стофато. Костя уже не оглядывался по сторонам, шёл, не отрывая глаз от земли. Ступал неуверенно, несмело. Чёрт его знает какая кочка выдержит, какая сломится! Где гнилое бревно, где здоровое? Как это Кошурников вышагивает — легко и свободно? Костя в первый же день проклял и кочки, и преграждающие дорогу квёлые стволы, и оленей, что цеплялись вьюками за каждую колоду. Когда пошёл дождь, холодный и шумный, Костя проклял дождь. Начали рубить ветки, чтоб расчистить дорогу каравану, — Костя проклял их. Скоро уже не осталось в тайге ничего такого, что можно было бы ещё проклясть. Со злостью оттаскивал сучья, что обрубал Кошурников; сумрачно насупясь, перелезал через колдобины, с тоской думал о том, что впереди на многие километры такие же заросли и колдобины.

Уже два часа подряд они прорубались сквозь сырой, заросший зелёным мхом ельник. Намокшая одежда стала тяжёлой и холодной. Хотелось бросить всё и, вернувшись по следу назад, поискать обходный путь. Но не будет ли там ещё более густого ельника? На проводника положиться было нельзя — Холлмоев совсем не знал дороги, и польза от него была сейчас минимальной.

Оленей приходилось чуть ли не толкать в кусты, потому что вьюки цеплялись за ветки, а животные не умели бороться с их упругой и неверной силой. Больно было видеть, как олень прыгал через колоду, но зацеплялся по пути за какой-нибудь сук и падал, рискуя сломать шею или ноги. Его поднимали, а он смотрел печальными глазами, будто спрашивал: «Зачем же вы мучаете меня, люди?»

Хотя бы не было этого трижды распроклятого дождя, от которого уже начинает ломить кости! Кошурников шёл впереди, работая топором, как машина,

за ним медленно тянулся весь караван. Серое небо низко нависло над лесом, дождь приглушал звуки, не было видно ни птиц, ни зверюшек…

— Э-хо-хой! — раздался вдруг в тайге далёкий и слабый голос.

— Кого это тут носит? — сказал Кошурников, опуская топор. Прислушался. — Дайте-ка ружьё, ребята.

Ясно, за ними шёл какой-то человек.

— Без оружия, — прошептал Костя, когда незнакомец мелькнул за деревьями.

Это был пожилой тоф, измождённый и робкий.

— Я проводник, а там начальник, — сказал он, махнув рукой назад. — Мы были далеко, камни искали. По вашему следу меня послали, хлеба нет давно.

— Надо сходить, Михалыч, — сказал Алёша. — Наши люди.

Кошурников кивнул головой, направился к вьюку, окликнул Алёшу. Они двинулись обратно по просеке. Вскоре пришли к небольшому костру, у которого сидел человек. Высокий, сухой и морщинистый, он поднялся с трудом, протянул руку.

— Громов.

— Директор заповедника? — удивился Кошурников. (…)

— Вы, значит, на Казыр? — внимательно, оценивающе глянул Громов на Кошурникова.

— По следу видно, с оленями. Где думаете их бросать? Ведь скоро гиблая тайга начнётся. Ни зверя, ни мха. Километров на сто голый лес… (…)

Они проговорили целый час. Вернулся на олене ещё один геолог, побывавший в лагере Козлова. Прощаясь, Кошурников попросил:

— Вы уж не наказывайте начальника охраны за ружьё. Человеку другого выхода не было.

— Посмотрим. А за хлеб спасибо…

Возвращаясь в лагерь, изыскатели выработали окончательный план: идти тайгой вдоль Казыра, пока не начнётся спокойная вода, а там, отправив оленей обратно, сесть на плот.

— Громов говорит: водой не больше двенадцати дней до жилья, — сказал Кошурников. — Это уже хорошо.

— А человек-то какой! — восхитился Алёша. — С Агула идёт, столько времени хлеба не ел, а при нас даже не взглянул на него.

— Да. Сильный мужик.

Олени шли плохо — они, видно, чуяли, как туго им скоро придётся. На земле всё реже попадались мшаники. Олени останавливались, тянулись мордами к островкам мха. Костю бесило это, и он выломал добрую палку.

— Брось погоняло! — сказал Кошурников. — Он же сдачи дать не может.

— Оннахо, верно, — поддержал проводник. — Бьёшь его — молчит, кормишь — молчит, режешь — опять молчит.

— Давайте ночевать.

«10 октября. Суббота

Выехали в 11 часов. Задержались утром из-за того, что олени всю ночь простояли голодные. Нет мха, а отпустить их нельзя — пойдут шляться, искать мох. Утром немного пощипали листья на пойме и этим ограничились. Без мха олень может работать не более трёх дней, потом худеет и обессиливает.

Плохо, что проводник не знает дорогу. Потеряли из-за этого часа три. Шли с ночёвки горой, в то время как нужно было идти поймой. 6 км шли 5 часов. Километра два рубил тропу.

Брод через Казыр выбрал удачно. Сначала перебрели протоку, а потом основное русло. Дальше тропы нет. Вёл по звериной тропе. Сначала по сухим пойменным протокам, а потом по надпойменной террасе. Дорога тяжёлая. Густая тайга с завалами, часто приходится рубить. Ниже встречалась тропа, которой пользовались охотники лет 15—20 назад. Здесь редкий лес, но тропа за последнее время не расчищалась и сильно завалена — почти непроходима.

Таким образом, прошли за день 13 км и то с большим трудом. На ночлег пришли усталые. Разрешил зарезать оленя. Зарезали комолого. Он жирный, малоезженый и устал, несколько раз в дороге ложился. Получив разрешение на убой, все воспрянули духом в предвкушении шашлыка. Поели, попили чаю, и у всех восстановилось хорошее настроение. Оленя забить было необходимо, так как продуктов у нас мало. Удивительно быстро расходуется крупа, правда, она у нас самая непрактичная. Нужно брать с собой рис и пшено — они гораздо экономнее.

Ночёвка опять без мха. Срубили два дерева и немного подкормили оленей древесным мхом.

На Казыре исключительно много зверя. Сплошь всё исхожено изюбром, сохатым и медведем. Местами тропы так хорошо пробиты, что трудно поверить, что это зверь. Нам ещё зверь не встречался, да и медведь уже не бродит, на днях он ложится в берлогу и сейчас ведёт себя спокойно.

Вечером прошёлся немного по берегу. Заколол хариуса граммов 700 весом, а другого смазал. Рыбы в Казыре очень много.

Река Казыр с того места, как я её знаю, то есть с устья Малой Киишты, сначала представляет собой бурную речку, быстро падающую по камням. Принимая в себя притоки, Казыр становится многоводнее и уже ниже Прямого Казыра течёт довольно мощным потоком по перекатам и порогам. Тихих плёсов почти нет».

Идти было трудно. Напоенная водой тайга пропитывала одежду на первом же километре пути. Ехали молча, слышался только характерный хруст; как сказал Алёша, у оленей над копытами есть какая-то хрустелка. В таёжной тишине этот звук раздавался зловеще, незнакомо. Больше шли пешком, рубили тропу. Только проводник совсем не слезал с оленя, без конца клацал своим кресалом, высекая для трубки огонь. Вечером снова свалили несколько елей, покормили оленей древесным мхом. «Бородач», однако, не пришёлся по вкусу — животные сгрудились и всю ночь робко постукивали рогами.

Радовало лишь то, что долина Казыра годилась пока для прокладки магистрали. Правда, по левому берегу шла более удобная терраса. А в Новосибирске Кошурников условно наметил трассу по правому берегу, разбил её от Абакана на стометровки и сейчас начал отмечать пройденный путь. Ночевали против пикета 2655. До Абакана, стало быть, оставалось двести шестьдесят пять с половиной километров…

«11 октября. Воскресенье

Ночёвка на левом берегу Казыра примерно против пикета 2655. Прошли за день километров 9—10, но со сплошной рубкой. Километров 8 рубил я, пока не устал, потом меня сменил Журавлёв.

На всём протяжении левобережного хода имеется надпойменная терраса, удобная для проведения железнодорожной линии. Встречаются два или три небольших скальных мыска, которые пройти не представляет никакого труда. Терраса сухая, сложена тощими суглинками или суглинками с галечниками. Незаметно перешли в зону изверженных пород. Каледонские интрузии в нескольких местах прорезают кембрийские известняки, основную горную породу Казыра. Где проходит контакт — не проследил.

Завтра отправляемся на плоту, а оленей возвращаю обратно. Сухая пихта для плота есть».

Почти весь следующий день мастерили плот. Молодые инженеры первый раз занимались этим делом. Костя вообще ни разу не сплавлялся, а Журавлёв бывал раньше в партиях, но с рабочими. Правда, Алёшка быстро осваивал плотничную работу, а Костя почему-то был рассеян — и молчалив. Иногда тревожно оглядывал лес. Такой же взгляд, такое же напряжённое и чужое лицо бывает у таёжного либо степного паренька, когда он впервые попадает в большой и шумный город.

Тайга не просыхала. Шумела глухо и мощно. Правда, у земли ветер не чувствовался, но вершины огромных елей ходили так сильно, что кружилась голова. Порывы ветра сбрасывали на спины изыскателей холодные крупные капли.

«12 октября. Понедельник

Завтра утром подниму всех пораньше, сплотим плот (всё заготовлено) и, надеюсь, отплывём часов в 10—11 утра. Костя забыл в предыдущем лагере иголки, нитки, дратву, долото и гвозди. Всё это находилось в одном мешочке. Особенно жаль долото и гвозди — нечем долбить проушины в гребях. Приспособился делать это топором. У Кости отстают от сапог подошвы, на что он смотрит с философским спокойствием. Придётся приказать прибить, а то останется босиком…

Проводник с оленями уехал в 12 часов дня. Погода испортилась. Днём был очень сильный ветер, в тайге только треск стоял от падающих деревьев. Днём шёл дождь, а сейчас (10 часов вечера) идёт какая-то изморозь, над костром тает и падает мелкими капельками на тетрадь…»

С проводником изыскатели отправили последние письма. Кошурников писал жене:

«Пользуюсь последним случаем написать тебе пару слов. Нахожусь в 15 км ниже слияния Правого и Левого Казыра. Отправляю письмо с проводником, хотя уверен, что придёт оно после моего приезда. Хотел проехать насквозь на оленях, но отказался от этой мысли, так как нет корма и дороги. 25 октября рассчитываю быть дома. Едем втроём — Журавлёв, Стофато и я. Плохо, что нет геолога. С производственной точки зрения он был бы полезнее, чем сметчик Стофато.

На изысканиях перевала получил положительный результат. Очень был бы доволен, если бы на будущий год мне дали эти изыскания как предварительные. Очень тут интересные места, есть над чем поработать. Не скучай, скоро увидимся. Если меня долго не будет, то жди спокойно — не раз я выходил из тайги даже среди зимы. Не могу я погибнуть, у меня слишком большая жажда жизни…»

Впереди лежал трудный путь по стынущей горнотаёжной реке. И на сотни вёрст — ни одного приветного огонька.

Что же будет?

Что будет, то будет, а мы пойдём далее…
Н. Пржевальский

Костя Стофато обрадовался больше всех, что ушли олени. Засыпая ночью у костра, он пробормотал:

— Все руки отмотали с этой рогатой тварью. На плоту-то сиди да поплёвывай. Верно, Михалыч? Только как поплывём? Туман-то — кошмар…

Густой туман, что заполнил с вечера долину Казыра, не тревожил Кошурникова — утром ветер разгонит его. Лишь бы тепло продержалось ещё недельку-другую! Изыскатели, изучая долину реки, быстро добрались бы до пограничников. А пока было пройдено по основному маршруту около сорока километров. Как же всё-таки ляжет дорога? В Новосибирске Кошурников ориентировочно наметил трассу по правому берегу, потому что левобережный хребет Ергак-Таргак-Тайга отпугивал своей крутизной и многочисленными стоками. И было большой неожиданностью, что в верховьях реки левый берег оказался более удобным для прокладки железной дороги. Что будет дальше? Какие сюрпризы ещё приготовил Казыр? Интересно, как выпутаться из горного сплетения в районе Щёк? Посмотрим…

Кошурников спрятал карту, подложил в костёр дров и, натянув на голову брезентовый капюшон плаща, забылся в полудрёме.

Среди ночи проснулся. В воздухе уже не было мятущейся водяной пыли, на догорающий костёр медленно опускались едва заметные снежинки. Кошурников взглянул на ребят. Они подрагивали от холода, подвигались к костру, который уже подёрнулся сизым пеплом. Их телогрейки намокли от тающего снега, потемнели.

Какие всё-таки разные подобрались у него спутники! Алёша всё делал сам, молча и споро, а Костя советовался по мелочам, без конца просил подсобить.

Всё бы ничего, но тайгу он плохо знал. Несмотря на предупреждение, этот красивый городской парень скинул вчера при рубке рукавицы и мокрым топорищем натёр на ладонях кровавые мозоли. А когда Кошурников стал заливать ему руки спиртом — единственным лекарством изыскателей, Костя мучительно сморщился и закряхтел.

— Будто медведь сжевал, — неодобрительно буркнул Алёша, но Костя его не понял.

— Какой медведь?

— Скулишь ты так, будто медведь тебе руку испортил.

Костя промолчал.

…Светает. Надо скорей просушиться и доделывать плот.

— Ты когда-нибудь сплавлялся? — спросил вчера Кошурников Костю. — Нет? И не знаешь, как вяжется плот? Ну, ничего, враз научишься. Изыскатель должен владеть этим древним ремеслом.

Ещё вечером они свалили несколько сухостойных пихт. Ни крепкая берёза, ни тяжёлая лиственница не годились для става, только пихта. Брёвна они уже подтащили к воде, засветло успели вырубить берёзовые поперечины — ронжины, которые войдут в клиновые пазы и намертво свяжут став. Потом надо было на подгребках укрепить длинные греби, взять на борт крепкие колья — стяжки.

Вчера, когда дошла очередь до гребей, Кошурников сказал Алёше:

— Принеси-ка долото!

Алёша долго и безрезультатно рылся в мешках. Он точно помнил, что долото лежало в подшефном мешке Стофато. Но там ничего не было.

— Костя! Ты не видел наше долото?

— Нет, — неуверенно ответил тот, и вдруг у него ёкнуло сердце: он достал мешочек с долотом на вчерашней ночёвке и во время сборов забыл его положить в большой мешок! Так он и лежит сейчас там на пенёчке. Что ему будет за это? Сказал: — Нет, не видел…

— Ладно, потом найдём, — остановил их поиски Кошурников. — Некогда. Топором приспособился. Костя, подержи гребь.

Придерживая гребь, которая крутилась и подрагивала под топором, Костя несколько раз порывался сказать Кошурникову, что это он, Костя, забыл долото на привале.

— Что это ты не в себе? — понимающе спросил один раз Кошурников. — Будто потерял что-то.

— Да вот, — начал Костя, насупившись. — Понимаете…

— Ну?

— Ничего. Это я так…

Костя лежал сейчас у костра, едва слышно посапывал, ёжился во сне от сырости, но не просыпался. В изыскательской жизни Кости это был первый плот, и Кошурников понимал уставшего парня: нелегко таскать с непривычки тяжёлые брёвна. Начальник экспедиции вспомнил свой первый плот. Это было на Алтае. Отец дал топор, сел у костра и приказал делать такой плот, чтоб нёс

двоих. Отец только советовал, а сам пальцем не шевельнул. Ну, правда, он тогда связал небольшой салик на вицах, но тоже досталось. Кошурников помнил всё до мельчайших подробностей: как парил над костром толстые черёмуховые прутья, как гнул из них кольца — вицы, как с помощью этих виц и клиньев — нагелей — скреплял став…

Как всегда по утрам, Кошурников завёл свою луковицу. Проснулся Костя. Он с усилием выгнул спину и стал внимательно рассматривать ладони.

— Болит? — спросил Кошурников.

— Болит.

— Привыкай! — подал голос Алёша. — Сгодится в тайге.

— Да, в городе спокойнее, — сказал Костя.

— Это кому как! — возразил Кошурников. — Тоже мне спокойствие — воздух с грязью, милиционеры свистят, балконы падают. Ну, правда, зато есть сапожные мастерские…

Костя глянул на свои сапоги, которые «просили каши».

— Сейчас прибью.

Он пошёл к мешкам, но вдруг вспомнил, что гвоздики-то лежали вместе с долотом! Начал рыться в мешке, зная, что ничего не найдёт. Оглянулся. Товарищи сидели к нему спиной, не замечая, как ему трудно. Он вернулся к костру.

— Бери ложку, — сказал Кошурников. — И снимай свои бахилы.

Пока ребята завтракали, Кошурников наковырял ножом гвоздиков из Костиных сапог, прибил кое-как подмётки. Потом взял у Алёши ложку — у них было две ложки на троих, — доел суп.

Отчалили уже днём. На переднюю гребь встал Кошурников, а на задней ребята менялись. И лишь тут Костя понял, какая это морока — вести по горной реке плот. Чуть зазевался — прижмёт тебя к берегу «дёром». Посушил несколько секунд гребь — и плот воткнётся в берег торцом. А пока он разворачивается и «оттуривается», вода бежит мимо, время идёт…

Время сейчас было дороже всего. В долину Казыра уже спустилась с гольцов поздняя осень. Кошурников знал, что такие узкие долины южносибирских рек имеют свой микроклимат. Обычно тут много осадков, больше, чем где бы то ни было в Сибири. Зима наступает вдруг, катастрофически. Плотное высокотравье жухнет. Медвежья дудка и пучки, которые совсем недавно покровительственно раскидывали над разнотравьем свои зонты, усыхают, становятся ломкими. Налитые сладким соком ягоды малины чернеют, будто поражённые гангреной. Под снег уходят живые цветы. Исчезают все запахи — и дурманящий, тяжёлый дух в травостоях, и медвяный цветочный аромат на лесных еланях. Зверьё спешит подкормиться, нагулять жиру, заготовить харчей на долгую зиму. А голосистые гуси, пролетая на недосягаемой высоте южным курсом, будто кричат: «Быстрей, быстрей! Зима!»

Надо было спешить и изыскателям. Но что поделаешь? В этом месте Казыр причудливо извивался, вплетаясь голубой лентой в тёмную тайгу. Лоцманить на плоту было трудно. То и дело над водой слышались протяжные крики Кошурникова: «Креп-ше!», «Лег-ше!», «Шабаш!» До ночёвки прошли рекой с деся-

ток километров, продвинувшись по трассе лишь на четыре, — так сильно петлял тут Казыр. И уже начало темнеть, когда чуть не случилась беда.

Плот подошёл к руслу реки Запевалихи. Быстрая поперечная струя швырнула его к правому берегу, а через десяток метров Казыр начинал крутой поворот. Выскочив из-за каменного мыска, изыскатели оцепенели — плот стремительно мчался на залом. Поваленные ураганом кедры и пихты перегородили всю реку, покорежили друг друга. Бивнями торчали высохшие белые сучья, а под ними бешено бурлила вода, будто хрипело и захлебывалось какое-то свирепое чудовище.

— Бей лево! — в ярости закричал Кошурников. — Оба на гребь! Ещё лево! Крепше!!!

Ребята даже не успели заметить, что слева есть небольшая протока, просто изо всех сил били задней гребью. Только слышали, как, налегая на гребь, скрипит зубами Кошурников, да видели несущуюся на них смерть…

В дневнике это было описано предельно коротко и просто.

«13 октября. Вторник

Ночёвка на пикете 2640. Не обошлось без приключения на первый день поездки. Ниже Запевалихи через всю реку залом, и лишь с левого берега мелкий косой перекат. Так вот, пришлось через этот перекат стяжками, по колено в воде, перегонять плот. Конечно, вымокли, но зато прошли без аварии, которая была бы неизбежной, если бы прозевал. Вся река с шумом на повороте идёт под залом, и вряд ли кому удалось бы выцарапаться из него благополучно.

Плот получился хороший, хотя и много мы положили сил на его постройку: в общей сложности затратили 36 человеко-часов. На этом участке Казыр сильно петляет, что отнимает много времени при поездке по нему. Продвинулись на 4 км, а исколесили километров 10. Жалею, что не захватил пару пикетажных книжек. У нас на плоту один человек свободный и мог бы составить прекрасную глазомерную лоцманскую карту.

Сегодня 13. X, по существу уже 14. X, так как три часа ночи. Покров, и, как полагается в Сибири, в этот день всегда снег. Вчера провели плохую ночь. Всю ночь шёл снег, и нас изрядно вымочило. Виноват, конечно, я. Нужно было сделать балаган, а не полагаться на милость божию. При всём моём опыте просто поленился — в результате вымокли. Поделом вору мука.

Нужно поторапливаться, а то остались считанные дни до шуги, а тогда с плотом амба, придётся идти пешком. Сегодня ночуем очень хорошо. Сделали балаган, заготовили много дров, пополам лиственница и пихта. Сухо, тепло. Завтра подниму всех в 6 часов, чтобы не позднее 7.30 или 8 отплыть. Нужно во что бы то ни стало добраться до Саянского порога — это по трассе 32 км. Боюсь, что за день не доедем.

Пока едем, на всём протяжении левый берег более удобен для железнодорожной трассы, так что линия, камерально трассированная по правому берегу, намечена неверно. Как и прежде, по обоим берегам тайга. Преимущественно ель, кедр, пихта, лиственница. Сейчас стало больше попадаться берёзы. По скло-

нам — кедр, ель, пихта. На левом берегу, не доезжая ночёвки полкилометра, на мысу, — гарь. На правом, ниже ночёвки, тоже начинается гарь.

Грунты — лёгкие суглинки. В реке мощные отложения песчано-галечника, вполне пригодного для балласта».

Вечером Кошурников собрался поучить ребят заготавливать дрова для костра.

— Подумаешь, премудрость! — сказал Костя. — Сами нарубим, Михалыч.

— Нарубите, да не того. Вот гляди — у тебя уже дыра на телогрейке. А отчего? Еловые сучья горели, они отскакивают. Или вот две сухостойные лесинки, видишь? Одна прямая, другая наклонилась. Какую срубишь?

— Это я уже по опыту знаю! — обрадовался Костя. — Конечно, наклонную: она в корне подгнила, и взять её легче. Это я уже по опыту…

— По опыту! — Кошурников вывернул из земли деревце и швырнул в кусты. — Она же сырая, волглая. А ты бери, которая свечкой стоит. Гореть будет — ай да ну!

Для Кости раскрывался новый мир. Оказывается, и балаган надо делать умеючи. Основные колья лучше всего делать из берёзы — они долго не гниют.

— А пойдёт по твоему следу человек, — говорил Кошурников, — застанет его тут ночь — спасибо скажет. Закон тайги. Только бересту надо обязательно снять топором, а то кол моментально сгниёт, превратится внутри коры в труху.

А один раз Кошурников показал ребятам старое кострище соболятников. Оно давно обросло травой, на плотной, слежавшейся золе лежала полуистлевшая палочка с зарубками.

— Вчетвером шли, — заметил начальник экспедиции. — Русские — не тувинцы и не тофы. Лет двадцать назад. Ещё живая тайга на Казыре сплошь стояла…

И он рассказал, как прочёл эту старую страничку лесной книги. Ребята уже беспрекословно слушались Кошурникова — в тайге он был хозяин. Сегодня дрова заготовили — лучше не надо, да и работой Кошурникова они остались довольны: шалаш получился на славу, непродуваемый, уютный. Все спали эту ночь без просыпу и, хорошо отдохнув, встали пораньше.

Ещё в полутьме вышли на берег, к плоту. От реки тянуло холодом, наискось бил снег — мелкий, сухой и колючий. Алёша зябко поёжился:

— Форменная скотина.

— Кто?

— Саянский бог.

— Ничего, на гребях согреемся, — сказал Кошурников, спрыгнув на плот.

— Лишь бы в залом не врезаться. — Костя ещё не опомнился от вчерашнего испуга.

Но сегодня плот не мог разогнаться — мешал ветер. На тихих плёсах он останавливался совсем, и приходилось толкаться шестами. А у русла Катуна, где стремительная речушка образовала шиверу, плот ударился о камни, накренился и застрял. Вода залила сапоги, мешки с продуктами. Кошурников первым спрыгнул в ледяную воду. Скользя на камнях, нажали плечами стяжки.

Столкнули быстро, но Костя никак не мог унять дрожь, которая сотрясала всё тело. Руки не держали гребь.

— А что скажет Европа? — спросил Кошурников, улыбаясь. У него тоже зуб на зуб не попадал, но передняя гребь ходила широким полукругом — начальник грелся. — Европа-то что скажет?

Костя не ответил. Он сел на мешки, втянул голову в плечи и стал похож на воробья зимой. Пришлось приставать к берегу, кипятить чай и сушиться. Пропало два часа драгоценного дневного времени.

К вечеру ветер стих, плот пошёл лучше. Изыскатели повеселели, хотя берега Казыра в этих местах представляли собой безотрадную, жуткую картину — начался гибник, о котором говорил Громов. Лесные вредители когда-то сожрали всю зелень, и сейчас тайга погибала: тёмные голые стволы подтачивались червями и падали наземь. Неприятно было смотреть на костлявые деревья: обречённостью, смертью веяло от них. Среди этих лесных скелетов пришлось и ночевать. Когда ребята отошли от костра за дровами, Костя шепнул:

— Ты знаешь, Алёша, бок у меня что-то болит…

Журавлёв расширенными глазами глянул на товарища. Вверху зловеще поскрипывали мёртвые сучья.

— Дышать тяжело…

— Ты не руби, Костя, я сам. Дуй к костру. Михалычу надо сказать.

— Если не пройдёт, завтра скажу.

Кошурников хлопотал с ужином.

— Сколько нам ещё плыть, Михалыч?

— Да половины ещё нет. Ты понимаешь, Костя, коренной водой тут за недельку проскочить можно — день подлиннее, да и река опупком, как говорят сибирские плотогоны. А сейчас воды мало, река корытом идёт. Но ничего, проскочим! Давай-ка за супец…

Кошурников снял с костра ведро, из которого дразняще пахло оленьим мясом. За ужином Костя был необычно молчаливым, ел неохотно и мало. Кошурников внимательно взглянул на него раза два, но ничего не сказал. Скрутили козьи ножки, задымили. Вскоре Костя закашлялся, сплюнул на вишнёвые угли, полез в полушубок. Кошурников хотел было сказать ему, что в костёр плевать нельзя — есть такие добрые законы тайги: в костёр не плюй, ручей не погань, хлеб не кидай, зря не убивай, в зимовье не свисти. Но с Костей творилось что-то неладное, и Кошурников промолчал. Подхватил ведро и спустился к реке потереть его песочком. Когда вернулся, ребята уже дремали, и ему не хотелось тревожить их. Но сам он был неспокоен. Снова пошёл снег, а главное, вода у берега покрылась тонкой ледяной корочкой. Оттают или нет эти забережки завтра?

«14 октября. Среда

Ночёвка на правом берегу реки Казыр на пикете 2480. Весь день была отвратительная погода, шёл снег, и дул сильный встречный ветер, который очень задерживает плот…

К вечеру ветер стих, плот пошёл лучше. В четырёх километрах ниже Катуна долина Казыра сжимается. Начинают показываться скалы, непосредственно падающие в реку то с правого, то с левого берега. Скалы невысокие, метров 10—12, а выше идёт спокойный косогор градусов 8—12. Склоны гор покрыты погибшим лесом, начиная чуть не с самой Запевалихи…»

Забереги не оттаяли к утру, плот обтянуло тонким льдом, будто стеклом, и Алёша долго скалывал его с брёвен, чтобы не было скользко стоять у греби. Только отплыли — пошёл снег, редкий и неприятный. Пахнуло зимой. Чёрные берега на глазах становились пёстрыми, а под берегом уже тянулась сплошная белая полоска снега.

«Неужели зима? — тревожно думал Кошурников. — Ещё бы дней десяток погожих, и проскочили бы». Но непредвиденные задержки подстерегали на каждом шагу. Кто мог знать, что в начале их пути Казыр будет так петлять? Изыскатели ведь плыли целый день, а на самом деле крутились почти на одном месте. Потом встречный ветер. Сколько километров потеряли они, толкаясь шестами? Плот еле двигался вперёд, и, чтобы сэкономить силы и обсушить захандрившего Костю, они вынуждены были пристать к берегу. Что же ждёт их сегодня? Какой подвох подготовил Казыр?

Плот стремительно несся вперёд. Сквозь снегопад стали видны впереди белые барашки.

«Шивера! — мелькнуло у Кошурникова. — Только бы не сесть!» Удар! Брёвна зацепились за камни, вода плеснула поверх, но вот плот развернуло, столкнуло с переката.

А день только начался. Вскоре изыскателей подстерегла коварная шивера — плот намертво заклинило посреди реки в камнях.

Если бы Косте рассказали раньше, что сможет он во время снегопада спрыгнуть в ледяную воду по пояс и мучительно долго толкать плечом тяжеленные брёвна, то он не поверил бы. Главное, эти брёвна ни на миллиметр не поддавались, будто примёрзли к скользким казырским валунам. Но другого выхода у изыскателей не было. Плот не бросишь посреди реки хотя бы потому, что до берега живым не доберёшься. Кроме того, на плоту хлеб, мясо и табак…

Кошурников с холодной яростью подавал команду, налегая плечом на толстую стяжку. Они раскачивали плот постепенно. Сначала одну сторону, потом другую. Вывороти ли впереди два камня, но конца мучениям не видно — нагруженный плот сидел прочно. Так прошёл почти час. Ледяная вода парализовала всякую волю. Костя уже не мог стоять в воде — его сбивало струей.

Кошурников прыгнул на плот, в который раз переместил груз, положил на плечи Алёше два самых тяжёлых мешка и снова взялся за вагу. Плот неожиданно поддался, потом всплыл, будто оторвался от дна реки, и Кошурников с Костей кое-как его протолкали за камни. Силы у них иссякали. Ещё полчаса в воде, и едва ли они бы снялись…

Изыскатели понимали, что пережили сейчас смертельную опасность, но не хотелось думать об этом, потому что было слишком холодно. Избегая

смотреть друг на друга, они подбивали плот к берегу. Дрожащими, скрюченными пальцами Кошурников достал из-под рубашки резиновый мешочек с сухими спичками.

А снег всё шёл и шёл, устилая землю. Зима. Но река была чистой — шуга ещё на ней не появлялась, а Кошурников знал, что пока нет шуги — паниковать рано. Он уже пришёл в себя и мог рассуждать… (…)

«В том и другом случае трасса ляжет по надпойменной террасе. Есть камень, песок, лес.

Завтра дальше в путь. Мало продуктов. Сегодня доели хлеб, сухарей осталось дня на четыре, табаку на два дня. Имеем килограммов 30 мяса и соль. С этим ещё можно жить. До жилья остаётся 90 км, если раньше не встретим рыбаков артёмовского «Золотопродснаба». Нужно торопиться. Если река со своими ледяными перехватами не подведёт, то всё кончится вполне благополучно, в противном случае придётся немного поголодать, вернее, посидеть без хлеба. Неприятно, что опаздываю. Вероятно, обо мне уже по-настоящему беспокоятся».

«…Уже пять дней лишних в тайге. Наверное, друзья в Новосибирске шум подняли — я всегда был точен в своих расчётах. Но кто же мог знать, что эта река такая работная? Кто же предполагал, что зима нас застанет здесь? Рацию вот не дали нам с собой, а то бы всё упростилось. Хотя какая тут рация! Мы бы давно её угробили на плоту. А как теперь? Если река встала выше заставы, то рыбаки уже не пройдут сюда и пограничный катер не пробьётся. А охотники будут ждать крепкого снега — без лыж сюда не суйся. Самое противное время в году. Только самолёт, конечно. Друзья могут учудить — нанять «кукурузника». Но это будет слишком дорого, и я всыплю им за расходование денег экспедиции, когда отсюда выйду. Ведь всё равно нас будет трудно найти — пикета своего я же не могу им сообщить. Впрочем, пролетит один раз — костёр будем палить. Хотя бы хлеба буханок пять сбросили да сапоги…»

Он дописал дневник уже ночью, когда ребята спали. А вдруг на самом деле нет больше льда на реке? Ведь впереди Базыбай — почти водопад, да и здесь Казыр бежит хорошо. Может, это под Китатом только такое гиблое место, а ледостав на Казыре ещё не начался?..

От реки, как всегда по утрам, поднимался пар. Три измученных изыскателя спустили на воду новый плот. На него сейчас был весь расчёт. Быстрый Казыр, который вымотал из друзей столько сил, мог стать и единственным их спасителем.

Река охотно подхватила утлый плотишко, понесла, понесла… (…)

Эх, Казыр, Казыр! Ну, скажи, как быть-то? Назад ходу нет. Справа и слева — заснеженная тайга, неприступные хребты, гольцы в облаках. Впереди — лёд. Мешок, ледяной мешок…

Жаль только, что быстро идти нельзя: устали мы сильно… Но всё-таки пойдём вперёд до последней возможности.

Н. Пржевальский

Расположились на ночлег. Разожгли костёр, сварили в ведре жидкую болтанку на оленьем мясе, взяли по паре сухарей. Потом Кошурников насыпал себе и Косте аптекарскую порцию табаку — его оставалось совсем мало. Алёша отворачивался, сцепив зубы. Кошурников видел, что парню зверски хочется курить, и поражался его выдержке.

Кошурников курил, не отрывая взгляда от костра. Начальник экспедиции всегда любил хороший костёр. С ним спокойнее. Темнота и таинственный мёртвый лес отступают куда-то, перед глазами — движение и свет. Костёр шуршит, легко потрескивает, будто говорит: «Брось, друг, тосковать! Пока мы с тобой — ничего не случится. Тепла тебе ещё? Пожалуйста! Жизнь никогда не кончается, однако…»

Начальник экспедиции думал о товарищах. Изменились они сильно во время похода. Возмужали. Хотя и малоприспособленная это была публика для такой жизни. Особенно Стофато. Но сейчас даже будто бы раздались его кости. Он теперь больше помалкивал. И замечательно, что это молчание мужавшего парня не было отчуждённым и тревожным, как в дни болезни. Зато Алёша почему-то разговорился, хотя у него болело горло. Если раньше он с грубоватой категоричностью отметал всякие, как он выражался, «философские» разговоры, то сегодня всё чаще сам их заводил. Чем это объяснить?

Он глянул на Журавлёва. Тот вскипятил воды, подвинул к себе кастрюлю и дышал над паром, двигая свалявшейся чёрной бородой. Вот он откашлялся. Сейчас что-нибудь спросит…

— Читал я Джека Лондона, — сказал натужным голосом Алёша, ни к кому не обращаясь. — Запоем читал.

— Сильный мужик был, — откликнулся Кошурников.

— Читал я его, Михалыч, безотрывно, а вот сейчас думаю: ну что было расписывать этого Беллью? Тоже мне герой — таскает по ровной дороге мешки. И не так уж тяжёлые. Я переводил фунты на килограммы. В общем не так много таскал. А расписано-то!..

— За золотом лезли, — Кошурников сплюнул в сторону. — Как будто счастье в нём…

— И нигде я не встречал у Лондона, — продолжал Алёша, — чтоб его героев жрали комары, гнус, мухи-глазобойки либо мурыжила река вроде Казыра. И леса в Америке будто другие — колодника в них нету…

Начальник экспедиции долго смотрел в огонь. Костёр слабо шуршал, потрескивал и, казалось, задыхался от недостатка воздуха.

— Не бывал Джек Лондон в Сибири, — наконец сказал Кошурников.

Журавлёв повернулся к костру.

— Михалыч! А счастье — что это такое, по-вашему? А, Михалыч?

— У каждого на этот вопрос свои слова, Алёша, — задумчиво произнёс он. — Вот мой отец по-латыни отвечал: Per aspera ad astra.

— А что это за выражение?

— Давай завтра об этом, поспать же тебе надо, — сказал Кошурников и полез в карман за блокнотом.

Подложив дров, нагнулся к костру.

— Опять пишете? — приподнял голову Алёша. — Отдыхали бы, Михалыч! Что пишете-то? Как мы вкалываем тут? (…)

— Не может этого быть! — ещё решительнее сказал Кошурников, и вдруг ему припомнилось, что будто бы действительно слышал на террасе глухой шум. Он тогда не обратил на него внимания, думая, что это гудит на ветру стоящая на косогоре куртинка кедров. Но неужели их уже ищут? Бесполезно: долину Казыра забили мощные снежные тучи, и сейчас ему и ребятам вредно думать обо всём этом.

— Не может быть! — ещё раз повторил Кошурников. — Послышалось…

Весь вечер шёл снег, однако под кедром было сухо — мокрые хлопья сюда не долетали, оседая вверху на густых разлапистых ветках. От костра веяло живительным теплом, но Кошурникова не брал сон.

Неужели они не выйдут? Ведь осталось совсем немного.

Свою задачу экспедиция, можно сказать, выполнила. Изыскатели установили, что через Салаирский хребет можно бить тоннель, он не будет слишком длинным. Нетрудно будет строителям построить дорогу и в районе Щёк. Главное же, трасса хорошо укладывалась по долине Казыра, левым берегом. Правый берег, как выяснила экспедиция, был выбран в Новосибирске ошибочно. Группа изучила реку, её надпойменные террасы, установила наличие местных строительных материалов, определила условия работы транспорта, снабжения и связи, уточнила карту. Казырский вариант, таким образом, был изучен на год раньше, как того требовало военное время. Ещё бы спуститься по Кизиру, что тёк за хребтом Крыжина, да сделать северный обход Саян. Но для этого надо отсюда выйти во что бы то ни стало! Как это сделать? Силы уходят, продуктов почти нет, табаку пол-осьмушки. Днём оттягивают плечи раскисшие от сырости полушубки, морозными ночами они становятся заскорузлыми, каляными и почти не греют…

Он долго ещё лежал с открытыми глазами, подрагивая от холода.

— О чём думаете, Михалыч? — спросил сиплым голосом Алёша, которому, видно, тоже не спалось.

— Да ни о чём, — Кошурников постарался придать спокойствие своему голосу. — А когда мне не о чем думать, Алёша, я решаю одну задачку шахматную. Заковыристая трёхходовка Самуэля Лойда. Вот уже пять лет не решается, все варианты попробовал. Чувствую, какой-то бешеный ход нужен. У него все задачки такие. Ты играешь в шахматы?

— Нет, — почему-то рассмеялся в темноте Алёша и шумно вздохнул: — Эх, Михалыч…

— Жаль, что ты не шахматист, порешали бы вместе. Ну, спокойной ночи.

И он сделал вид, что засыпает.

Сюда, счастье, сюда!

Но, видно, судьба хотела, чтобы мы вконец испытали все невзгоды, которые могут грянуть в здешних странах над головой путника.

Н. Пржевальский

Когда ребята заснули, Кошурников разулся. Он долго грел у костра босые ноги и сушил прокисшие грязные портянки. Потом собрал остатки Алёшиных ботинок, взял с плаща гвоздики.

Обувь была сейчас для изыскателей проблемой номер один. Ведь тайга есть тайга. Будь у тебя даже сколько угодно еды, одежды и сил — пропадёшь ни за грош в зимней тайге без хорошей обувки. Сейчас бы изыскателей выручила любая обувь: пусть ботинки на деревянном ходу, пусть стёганые бурки с шахтёрскими галошами или даже лапти — ведь носили их деды и не жаловались.

Кошурников отхватил от полушубка продолговатый кусок овчины, сделал из него стельки. Потом порезал на тонкие ремешки пояс от патронташа, обмотал ими передки сапог, стал обуваться. Вдруг он заметил, что ноги у него будто потяжелели. Потянул штанину, надавил пальцем на лодыжку. Осталась ямка. Почти спокойно пришёл к выводу, что ноги стали пухнуть. Что же тогда с ногами у Кости? Стофато уже не сушил свои пропитанные водой валенки. Сегодня вечером он попросил Кошурникова вынести пимы на ветерок, чтобы они замёрзли. Пимы были тяжеленными, из них пахло падалью…

Вечер всё тянулся и тянулся. Кошурников достал часы. Не было ещё и полуночи. Какими долгими стали вечера! Зато день уменьшался на глазах. Странная получалась ситуация: изыскатели спешили, торопились, чтоб уйти от зимы, но вынуждены были большую часть суток сидеть, не продвигаясь ни на один метр. Ведь в темноте не пойдёшь — пара пустяков сломать ногу. К тому же вечером резко понижалась температура, и промокшие плащи и полушубки вставали колом…

Кошурников нащупал в кармане кителя блокнот и карандаш.

«28 октября. Среда

Левый берег Казыра, пикет 1666. Исключительно тяжёлый в смысле ходьбы день. С 6 часов утра пошёл снег и шёл хлопьями весь день и сейчас идёт (23 часа). Навалило сантиметров 15, а главное — всё это повисло на деревьях и падает при малейшем прикосновении. В результате к вечеру все были мокрые до нитки. Журавлёв шёл без плаща и промок насквозь. Меня несколько спас плащ. За день прошли всего 10 км по трассе. В натуре это километров 12—15.

Завтра пройдём Базыбай, а там, если река не имеет тенденции замёрзнуть, сделаем плот и поплывём. У меня сегодня за день пропали сапоги. Или я их сжёг

во время сушки, или на подошвах была гнилая кожа, но в результате подошвы на обоих сапогах пропали.

Утром перешли речку Бачуринку по льду на устье, днём прошли мимо реки Соболинки, впадающей с правого берега. Около устья Соболинки на правом берегу зимовье. Соболинка впадает в Казыр на одном уровне.

По левому берегу всё время тянется широкая терраса. От пикета 1660 до пикета 1690 горизонтали изображены неверно, здесь ровная терраса шириной 1—1,5 км, а на карте указан довольно крутой подъём от реки. При трассировании не следует идти берегом, а излучину Казыра нужно срезать, что даст сокращение длины километра на 2,5 при минимальных работах.

Продовольствия осталось мало, хлеба на два дня при экономном расходовании. Табаку на один день. Полагаемся на мясо».

…С продуктами худо. Хлеба, главное, нет совсем. Придётся, наверно, теперь есть по одному сухарю в день. Утром — бульон на оленьем мясе, в обед — мясо от завтрака и чай. Вечером горячее мясо, бульон и сухарь. Надо меньше тратить времени на обед, а то и так день короткий…

Кошурников заснул незаметно и увидел во сне, будто варит он в кастрюле картошку-рассыпку, а потом ест её, бархатистую, горячую и невыразимо вкусную. Ночью он просыпался от холода, поправлял костёр, грелся и снова укладывался на пихтовые ветки.

Утром сказал:

— Какой я сон видел! — Он хотел было рассказать про картошку, но вовремя спохватился. — Сына видел, Женьку. Дерётся будто бы с Ниночкой, а я их разнимаю.

Он насупился и спрятал глаза. Ну зачем ребят расстраивать, когда с продуктами такая беда? А если б им сейчас картошки! Вот было бы радости! Однако чудо не могло произойти…

Днём Кошурников снова отстал от своих товарищей.

— Идите потихоньку, ребята. Догоню.

Они побрели дальше, а он полез на приверху, где из-под снега торчали густые метлы малинника. Но чёрные, гнилые ягоды есть не будешь — отрава. Засохший шиповник под берегом тоже был безвкусным и жёстким, как опилки. Если б лето! В низинках растёт сочная и острая черемша, или, как её называют под Томском, калба. А рядом кислица, чёрная смородина, костяника, малина, черёмуха — да разве перечислишь все таёжные дикоросы! А по весне можно есть корешки кандыка, вкусные пучки, мучнистые и сладкие луковицы саранок…

Сейчас всё это пропало, скрылось под снегом. Правда, луковица саранки и зимой живёт, но как её найдёшь? Один раз ему показалось, что он увидел стебель саранки. Сдвинул вокруг снег, копнул топором мёрзлую землю, однако это оказался стебелёк не то горицвета, не то сон-травы. Разорить бы дупло белки либо бурундука — там полно крупных ядрёных орехов. Да разве эти шустрые

зверушки поселятся у реки, на бойком месте, куда всё население тайги сбегается на водопой? Может, поискать шишку-падунец?

Кошурников выбрал кедр поразвесистее, порылся палкой в жухлой траве, но ничего не нашёл. Под другим кедром тоже. Обрадовала стоящая подле молодая кедрушка — выкатил из-под корня пару шишек. Однако орешки в них были склёваны кедровкой — пёстрой хлопотливой пичугой. Нет, если нельзя добыть зверя, не пропитаешься в зимней тайге! Сейчас что-то ни птицы не видно, ни зверя. Хоть бы дятла снять либо белку. Нет ничего…

У ёлки осторожно чиркнул спичкой, поджёг янтарную смолу, натопил вязкой серки. Ребят догонял долго, взмок даже весь. Они шли молча, тяжело волоча ноги.

— Пожуйте серки.

Алёша попробовал.

— Еловая, — сказал он. — С лиственницы-то помягче будет.

— Нету лиственницы здесь. Пошли, что ли? Базыбай скоро…

Загребая ногами свежий снег, они двинулись дальше по гачедёру и колоднику.

Во время дневного чая Кошурников сказал:

— Видел я сегодня зубы лося на осине. Но, правда, несвежие. А если б убить сейчас сохатого…

Потом Алёша шёл рядом с Кошурниковым и расспрашивал его об изысканиях разных дорог. А Кошурникову хотелось мечтать о том, как бы хорошо на самом деле сейчас свалить сохатого. Они бы тогда никуда не пошли. Заготовили бы дров, сделали плотный шалаш и жгли бы добрый костёр. Ведь их всё равно скоро начнут искать. А то дождаться, когда забережки прочные образуются, и по ним, как по асфальту, можно пройти эти оставшиеся несколько десятков километров.

Но всё это зависело от лося. А следов его нет. Наверно, весь зверь ушёл в гольцы. Там нет глубоких снегов — ветры всё в долину сдувают, и волки не доберутся туда…

…Скоро ли Базыбай? Громов велел бросать перед ним плот — это, говорил, не порог, а чёртова мельница. Но неужели после Щёк и Китата их можно чем-то удивить? Интересно…

К вечеру дошли до Базыбайского порога. Казыр собирался здесь в узком гранитном горле, падал почти с трёхметровой высоты. По камням бился в судорогах и глухо ревел. В рыбацком домике под порогом, куда вошли изыскатели, лежали старые, сгнившие сети, берестяные поплавки, в углу стояло запылённое полведёрко дегтя. Пищи никакой, одежды и обуви тоже. Изнутри стены домика, будто бархатом, были покрыты толстым слоем сажи.

Но у них была хоть крыша над головой. Дом отапливался по-чёрному. Сложенная из камней грубая печка стояла посреди избушки. Её затопили, но пришлось бежать наружу — дым невыносимо ел глаза.

— Под кедром лучше, — сказал Кошурников, — хотя и стосковались мы по жилищу — спасу нет.

— Кто хочет, пусть идёт под кедр. — Костя был явно не в духе.

— В избушке не дует и снега нет, — поспешил всё загладить Алёша. — Хотя можно и под кедром. Где, как говорит Михалыч, наша не пропадала!..

Кошурников обнял Журавлёва. Они вдвоём сейчас очень были нужны Косте, характер которого подвергался главному испытанию.

В домике Кошурников долго перебирал брошенные сети, разыскивая более или менее крепкие бечёвки. Потом взялся за дневник. Писать было лучше лежа — не так щипало глаза.

«29 октября. Четверг

Пикет 1585. Порог Базыбай. Дом рыбака. За день пройдено по трассе 8 км, что составляет километров 12 в натуре. Порог проходили уже в потёмках, так что видел его плохо. Обратило на себя внимание, что вся река здесь собирается в сливе шириной не более 7—10 м. Шуму много. Собственно, порог состоит из одного главного слива, совершенно непроходимого ни на плотах, ни на лодках. Выше этого слива имеются несколько шивер и перекатов, которые при малой воде легко проходимы.

Перешли реку Сиетку. Речка маленькая, и в самое половодье, вероятно, её можно перейти бродом. Начиная со Спиридоновской шиверы по левому берегу большие заросли малины. В нынешнем году было очень много ягод, и все они посохли и висят почерневшие и никуда не годные. Начал попадаться крупный березняк и осинник. Встречаются экземпляры диаметром до 70 см. Из хвойных преимущественно пихта и кедр, меньше ель, лиственницы совсем нет.

Зверя мало. Медведь лёг, его следов давно уже не видно, сохатый и изюбр, вероятно, подались на зиму на северные склоны Саян, так как здесь очень много снегу. Кстати, снег продолжает валить. Выпало уже очень много, что очень мешает идти. Мы буквально за собой с Саян тянем зиму. Снег нас просто преследует и не даёт убежать. Однако надеюсь, что в районе Курагино — Минусинск снега ещё нет и я застану осень, очень позднюю, но всё-таки без снега».

Вечер этот казался длинным-длинным. Разделили на три равные части последний сухарь. Поделали из бересты треугольные стаканчики — чуманы, зачерпывали из кастрюли и медленно пили солёную воду с едва уловимым запахом оленины. Кошурников знал, что с потом у них выходит много соли, и щедро солил суп. Он и чай стал пить солёным.

Хотелось курить. Как о несбыточном счастье, Кошурников грезил о щепотке самосада. Лёгкие, сердце, мозг, кровь, жилы, кости требовали хотя бы одной затяжки, после которой по телу разливается горькая сладостная истома…

Дневник отвлёк его немного. Неужели ребята не мучаются, особенно Алёшка, который не курит уже с неделю? Кошурников взглянул на товарищей. Костя весь вечер методично и неторопливо жевал серку, но сейчас с отвращением выплюнул её:

— Ещё больше есть хочется от этой штуки. И курить…

К горлу Кошурникова мгновенно подступила тошнота. Было бы счастьем встретить сейчас пограничников, у которых рюкзаки набиты консервами, а кисеты — томской либо канской махорочкой! Счастьем было бы встретить медведя. Кошурников, не задумываясь, пошёл бы на него с топором. А ещё лучше, если бы лето сейчас! В крайнем случае пошли бы босиком по отмелям Казыра и ели бы всю дорогу малину.

Кошурников долго смотрел на тёмный снег и вдруг отчётливо увидел лесную поляну, покрытую синими колокольцами водосбора и розовыми горлянками… «Стоп! Уж не галлюцинация ли? Не хватало ещё спятить мне. А ребятам надо сейчас силу показать, Костя особенно нуждается в этом». Кошурников открыл глаза, встряхнул головой, и сразу всё стало на свои места: заснеженная чужая тайга, тяжёлые чёрные холмы, дымная изба, утомлённые голодные товарищи…

— Может быть, о другом поговорим? — спросил Алёша, не отрывая взгляда от вишнёвых углей в печке. — Михалыч, помните, мы начали разговор о счастье? Что это ваш отец по-латыни говорил насчёт счастья?

Кошурникова вдруг пронзила мысль: «Ведь Алёшка всё понимает! А разговоры, которые он затевает, не жалея своего простуженного горла, — это же для всех нас! Чтоб не было тягостного молчания — страшной болезни одиночества. И курить он бросил, чтобы нам с Костей досталась лишняя крошка махорки! Умница ты, Алёша, но что же отвечать тебе?»

— Костя, — сказал Кошурников. — Костя, что ты считаешь счастьем?

— Увидеть сына либо дочку. В общем, что там родилось. — Костя мечтательно посмотрел в темноту, с опаской оглянулся на Алёшу. — И поесть бы, как до войны…

— Ну и что, Михалыч? — снова подал голос Алёша. — Как вы-то смотрите на счастье? Я ведь о другом счастье спрашиваю, понимаете?

— Понимаю.

Кошурникову думалось с трудом. Он слишком устал. Начало сказываться, что он всю дорогу лоцманил на передней греби, плотничал, палил ночами костёр, вёл записки экспедиции. Но отец бы одобрил его работу. Кошурников вспомнил, как отец первый раз показал ему теодолит. Мальчишка нашёл Полярную звезду и заявил, что хочет всё время смотреть в эту волшебную трубу. «Per aspera ad astra!» — смешно вскричал тогда отец, подняв руки к небу.

Спустя годы сын тоже стал прокладывать железные дороги. Свёртывая изыскательскую партию где-нибудь в Кузбассе или Хакасии, на Урале или Алтае, он в последнюю ночь выносил из палатки теодолит, и рабочие, техники, кухарки смотрели через него на звёзды. Невыразимо прекрасными были эти минуты. Они возвышали мысли, помогали людям осознавать своё место на земле. Ведь идеал изыскателя — кратчайшее расстояние и минимальные уклоны — давался тяжким и бесконечно честным трудом, результаты которого скажутся не скоро, и только будущие поколения соотечественников рассудят, любил ли этот инженер свою Родину и свой народ…

Но как всё это объяснить ребятам? Кошурников чувствовал на себе вопросительный взгляд Журавлёва и понимал, что должен отвечать.

— Счастье! Я никогда на эту тему не говорил, Алёша, — начал он, подняв тяжёлую голову. — Понимаешь, счастье, о котором ты спрашиваешь, — это осуществление мечты, достижение цели, идеала, что ли. До войны я на каждый год планировал себе счастье. Сейчас надо хорошо делать всё, что заставят. А после победы мечтаю проложить невиданную трассу. Непонятное объяснение счастья, Алёша?

— Вы настоящий человек, Михалыч! — Прикрыв широкой ладонью глаза, Алёша придвинулся вплотную к горячим камням.

В избушке было тихо, а на дворе разгулялась непогода. С неба падал и падал густой снег. Оседал на ёлках и пихтах, вил воронки вокруг осиновых комлей, собирался в кустах рыхлыми сувоями. А в логу, что тянулся у самого домика, уже намело по пояс, и вряд ли этот забой теперь растает до лета…

…Рыбаки не придут сюда. Хариуса, омуля и тайменя полно и ниже Базыбая. А белковать ещё рано, так что охотники тоже не встретятся. Пограничники могли бы выручить, но ведь катер не пройдёт сюда — ледяные перехваты не пустят. На лыжах только…

«До жилья осталось 58 км, а может быть и меньше, если встретим рыбаков, охотников или пограничников. И то, и другое, и третье очень желательно, так как с продуктами дело обстоит очень плохо. Сухарей, собственно сухарных крошек, осталось на один день. Мяса в той норме, как мы его потребляем, — на четыре дня. Табак сегодня кончился. Это портит настроение. Идти очень тяжело, несмотря на небольшой груз, который несёт каждый из нас. Хуже всех чувствует себя Стофато, он идёт очень плохо, всё время падает и сильно устаёт. Стал раздражительным, а это уже плохой признак. Лучше всех чувствует себя Журавлёв, а я средний. Правда, мне идти значительно тяжелее, так как я в сапогах, а Алёша в пимах».

Кошурников, подкладывая дрова, обжёг руку, помотал ею в воздухе.

— Михалыч! — сказал вдруг Алёша. — Вам ведь невмоготу огонь всю ночь поддерживать.

— Да ничего.

— Нет, давайте уж так: половину ночи я топлю, половину вы.

— Ну давай. Только трудно это тебе будет.

— Вы что? — раздался высокий голос Кости. — Вы что, меня за человека не считаете? Я тоже дежурить буду.

— Тогда совсем хорошо, — обрадовался Кошурников, и глаза его заблестели. — Знаешь, что сейчас скажет Европа? А?

— Знаю, — коротко отозвался Костя и будто переменился сразу, повеселел.

«С сегодняшнего дня установили трёхсменное ночное дежурство: с 21 до 24, 0—3, 3—6; это в отношении присмотра за костром и приготовления завтрака, а то до сего времени я был штатным кочегаром — топил всю ночь, а ребята спали, как суслики.

Завтра день ещё пойдём пешком — хочу посмотреть, как ведёт себя река. Во всяком случае, пока ничего радостного не предвидится, так как выше порога есть перехват и ниже порога река тоже замёрзла, на большом протяжении или нет — не знаю. Ниже порога долина Казыра расширяется, горы отступают, и вообще такое впечатление, что горная часть кончилась и началось предгорье.

Как-то мы его одолеем почти без продовольствия и без дороги?»

Назавтра прошли километра два по сплошным заснеженным завалам. Больше всего хотелось перелезть через последнюю колодину и посидеть, отдохнуть, минутку поспать. «Колодник, валежник, завал, — вяло думал Кошурников. — А в других местах Сибири эти завалы называют не так. Ветровал, чертолом, каторга… Нет, надо делать плот… Дурнина, гибельник…»

— Нет, надо делать плот, — сказал он товарищам. — Пока здесь чистая река…

Сделали небольшой салик — груза-то у них не было никакого. Решили, что один пойдёт по берегу, чуть впереди, чтобы сигналить о шиверах и ледяных перехватах. Ведь если они сядут на перекате, у них уже не хватит сил сняться — и они останутся навсегда посреди реки…

Первым пошёл Алёша — у него были ещё довольно крепкие валенки Кошурникова. Когда отплыли, Алёша уже был далеко впереди. Салик пошёл хорошо, хотя гребь плохо слушалась ослабевших рук.

Плыли около часа. Далеко от берега салик не пускали — вдруг перекат?

Кошурников зорко смотрел вперёд. Там, в синей влекущей дали, всё так же наплывали друг на друга знакомые «шеломы», только стали они плавней и ниже. Начальник экспедиции — он остался им, хотя судьба сейчас равняла всех троих, — внимательно оглядывал и берега. Но нет, никаких признаков жизни не было на этих лесистых, застывших в морозном воздухе кручах. Фигурка Алёши еле двигалась по террасе, и Кошурников старался держаться поближе к берегу, где течение было послабее. Не раз останавливался, поджидая, пока Алёша снова опередит их.

В их положении это был, конечно, самый лучший способ передвижения. Уж больно надоел бурелом! Выматывая последние силы, он тянулся бесконечно и однообразно. Сейчас, правда, бурелом кончился, и Алёша идёт мелким кустарником, но на плоту всё же лучше — работает, отмеривает пикеты Казыр, двое на гребях фактически отдыхают и, что сейчас стало очень важным, не треплют обувь, если можно было назвать обувью остатки сапог Кошурникова и расползающиеся на глазах валенки Стофато. Алёше вот только не сладко достаётся, но надо будет сейчас его сменить. Что это, однако, его там беспокоит?

— Алёша руками машет, — всмотревшись, сказал Кошурников. — Неужели Поворотную яму перехватило? Бей лево, Костя!

Изыскателей несло на перехват. К берегу всё равно не успели — уткнулись в лёд. Это был даже не лёд, а снег. Кошурников, изучая вчера карту, опасался за это место — Казыр здесь уширялся, вода текла медленнее, и её могло оста-

новить. Да, опасения оправдались. Наверно, несколько дней назад в этой излучине был широкий спокойный плёс, а сейчас от берега до берега Поворотную яму зашуговало, заморозило, а сверху насыпало толстый слой снега. Проклятье!

Кое-как выбрались на берег, молча надрали бересты, собрали сухих сучьёв, развели костёр.

Темнело. Сверху спустился промокший насквозь Алёша, без сил лёг у костра.

— Тоже мне! — презрительно сказал он. — В Сибири не был, а берётся судить…

— Кто?

— Да Джек Лондон. — Алёша сунул руки прямо в огонь.

— Всё равно это был хороший писатель, — обронил Кошурников.

Молча сварили небольшой кусочек мяса, разделили его, выпили бульон.

— Михалыч, — сказал Алёша, — а каких вы ещё писателей любите?

— Пржевальского. Только это не писатель. Однако пишет хорошо: «Сибирь совсем меня поразила: дикость, ширь, свобода бесконечно мне понравились». — Кошурников прикрыл глаза тяжёлыми веками. — Ильфа и Петрова часто перечитывал. И ещё Пушкина любил…

Костёр вздыхал и тонко попискивал, будто жаловался на своё одиночество.

Через тернии — к звёздам

> *Товарищи! Дело, которое мы теперь начинаем, — великое дело. Не пощадим же ни сил, ни здоровья, ни самой жизни, если то потребуется, чтобы выполнить нашу громкую задачу и сослужить тем службу как для науки, так и для славы дорогого Отечества.*
>
> *Н. Пржевальский*

Кошурникову никогда в жизни так сильно не хотелось спать, как сейчас. Он разулся. Ноги за день распухли ещё больше. Потёр снегом лодыжку. Кожа была какого-то лилового оттенка.

Изыскатели стали лагерем под тощей ёлкой: у них не было сил подняться на приверху, к кедрам. Снег вокруг костра обтаял. Порывы ветра заносили сюда острые мелкие снежинки. Балагана изыскатели в этот раз не ставили, дров заготовили мало.

Костёр гас. Сырые сучья горели плохо. Жёлтое дымное пламя с каждой минутой укорачивалось и уже перестало греть.

Кошурников пересилил себя, обулся без портянок, полез по снегу к валежнику. Он мог нести две-три палки, не больше. Пока таскал дрова, костёр совсем погас. Кошурников добрался до молодой берёзки, раскрыл зубами нож, надрал бересты. Превозмогая лёгкое головокружение, огляделся.

В тайге царила ночь. Ёлки стояли чинно и строго — их рисунок угадывался по белым шапкам кухты. Иногда ветер сбрасывал с высоты слежавшийся ком снега. Он не рассыпался в воздухе, а долетал до земли и падал с мягким хлоп-

ком. С ледяного перехвата доносились всплески Казыра. А в глубине леса стояла враждебная тишина. Оттуда, как из могилы, несло холодом.

Костёр разгорался медленно. У Кошурникова совсем зашлись руки. Он сунул пальцы в огонь. Костёр сейчас был у изыскателей единственной защитой. Если раньше они грелись работой и ели мясо, то сейчас у них не было ни того, ни другого. Только костёр. Кошурников попробовал закрыть нож. Лезвие в форме финки было на тугой защёлке. И он не мог сейчас вдавить в ручку сильную пластинчатую пружину. Попросить бы Алёшку, но тот спал, подрагивая от озноба.

Кошурников ещё подложил дров. Костёр зашелестел, запыхал. Закрыв глаза, Кошурников грелся. Он думал о том, что точно так будут шуршать и полоскаться под ветром его рубахи-косоворотки, когда он возвратится из тайги и жена перестирает всё и вывесит на дворе — от телеграфного столба до сарайчика…

…Однако скоро Алёшке дежурить. А какое сегодня число? Совсем память отшибло, что ли? Ах да!..

«31 октября. Суббота

Ночуем на пикете 1516. Дело плохо, очень плохо, даже скверно, можно сказать. Продовольствие кончилось, осталось мяса каких-то два жалких кусочка — сварить два раза, и всё.

Идти нельзя. По бурелому, по колоднику, без дороги и при наличии слоя снега в 70—80 см, да вдобавок ещё мокрого, идти — безумие. Единственный выход — плыть по реке от перехвата, пока она ещё не замёрзла совсем.

Так вчера и сделали. Прошли пешком от Базыбая три километра, потом сделали плот и проплыли сегодня на нём до пикета 1520. Здесь, на перехвате, по колено забило снегом, и… плот пришлось бросить. Это уже пятый наш плот! Завтра будем делать новый. Какая-то просто насмешка — осталось до жилья всего 52 км, и настолько они непреодолимы, что не исключена возможность, что совсем не выйдем.

Заметно слабеем. Это выражается в чрезмерной сонливости. Стоит только остановиться и сесть, как сейчас же начинаешь засыпать. От небольшого усилия кружится голова. К тому же все совершенно мокрые уже трое суток. Просушиться нет никакой возможности.

Сейчас пишу, руку жжёт от костра до волдырей, а на листе вода. Но самое страшное наступит тогда, когда мы не в состоянии будем заготовить себе дров».

Утром Кошурников долго не мог прийти в себя. Он слышал, что ребята уже встали, сложили в костёр остатки дров, сходили на речку за водой, о чём-то заговорили. Их голоса были смутными, будто всё это происходило во сне. Костя говорил что-то о бане, которая их ждёт через два-три дня на погранзаставе, о «любительском» табаке, что появился в Новосибирске перед их отъездом, о жене и ребёнке. Потом Журавлёв завёл речь о каких-то рельсах.

— Михалыч! — Алёша пробовал повысить голос, но сорвался на шёпот. — Оказывается, Костя не видел, как стыкуют серебряные рельсы…

Кошурников окончательно очнулся. Говорил Костя:

— А вы, Михалыч, когда-нибудь серебряные рельсы пришивали? Интересно, где их проложат на этой дороге? Посмотреть бы, Михалыч! Слышите? Почему вы не встаёте?

— Идите, ребята, за перехват, начинайте плот делать. Я попозже пойду. В голове какая-то карусель…

Ребята ушли, захватив топор и пилу. Было тепло. Шёл снег. Но не такой, как вечером. Крупный и мягкий, он погасил костёр и неторопливо застилал пихтовые лежаки, с которых поднялись ребята. Кошурников откинулся назад, долго лежал с закрытыми глазами. Потом с усилием открыл их. Вершины елей едва различались. Зыбкая снежная кисея создавала иллюзию, будто деревья падают, падают и не могут упасть. Невесомые снежинки опускались на ресницы. Они были лохматыми, огромными. «Снова кидь, — подумал Кошурников и закрыл глаза. — Сейчас начну вставать, понесу ребятам кастрюлю».

Однако пролежал он до полудня, прислушиваясь к своему сердцу и к отдалённому потюкиванию топора.

— Михалы-ы-ыч! — услышал он тонкий голос Кости. Алёша, наверно, не мог кричать.

Он поднялся, долго-долго всовывал ноги в голенища сапог, которые стали очень узкими. Пошёл к ребятам, присаживаясь на кастрюлю через каждые десять шагов. «Нет, эту ночь надо выспаться, отдохнуть как следует — завтра плыть. Балаган надо делать. А кидь всё идёт…»

«1 ноября. Воскресенье

Перенесли лагерь к месту постройки плота на пикет 1512, против впадения реки Базыбай. Все ослабели настолько, что за день не смогли сделать плот. Я совсем не работал. Утром не мог встать, тошнило и кружилась голова. Встал в 12 часов и к двум дошёл до товарищей. Заготовили лес на плот и таскали его к реке. Заготовили на ночь дров — вот и вся работа двух человек за день. Я расчистил в снегу место под лагерь площадью 18 квадратных метров и поставил балаган — тоже всё, что сделал за день.

Все погорели. Буквально нет ни одной несожжённой одежды, и всё равно все мокрые до нитки.

Снег не перестаёт, идёт всё время, однако тепло, летит мокрый, садится, на него падает новый, и таким образом поддерживается ровный слой сантиметров 80 мокрого, тяжёлого снега.

У всех опухли лица, руки и, главное, ноги. Я с громадным трудом утром надел сапоги и решил их больше не снимать, так как ещё раз мне их уже не надеть».

Над тайгой снова сгущалась тьма. Каким всё-таки стал коротким день! Изыскатели давно уже не видели солнышка. Низкие белые тучи, сеявшие сырой снег, плотно закрывали его с рассвета до сумерек.

В балагане было относительно сухо — снег не падал сверху. Костёр горел хорошо. Изыскатели окружили его сушилами и развесили на них одежду, от которой шёл пар. Чёрная кастрюля валялась в снегу — друзья сварили сейчас кусочек оленины величиной со спичечный коробок, разрезали его на три равные части, выпили солёную воду.

«Продовольствие кончилось, остался маленький кусочек мяса, от которого понемногу отрезаем и варим два раза в день. Табаку нет, курим древесный мох».

Бесчувственные обожжённые пальцы не держали карандаша. Кошурников достал брезентовую сумочку с документами. Там были паспорт, пропуск, охотничье удостоверение, деньги, письма. Он перечитал последние письма жены, хотя помнил каждое слово. Потом зачем-то внимательно стал разглядывать деньги — две тридцатки. Он прочёл надпись с обозначением купюры по-украински и по-белорусски. На других языках он читать не умел и, перевернув бумажку, увидел портрет Ленина. Долго рассматривал его. Подкладывал дрова, подвинулся совсем близко к костру. Закрыл глаза, но красный портрет в красном овале не исчезал, а стал даже чётче, объёмнее.

…В конце концов кому будет интересно, как мы тут шли? Важны ведь сведения, которые мы принесём из тайги… Он стиснул зубы, низко наклонился над блокнотом. *«Базыбай — большая река, впадает в Казыр справа в одном уровне. Воды несёт много».*

Всю ночь шла кидь. Большие мокрые снежные хлопья совсем закидали плот. Его очистили, кое-как столкнули в воду.

Плот был короче прежних, и став его состоял всего из четырёх брёвен. Но этого было вполне достаточно — груза на салике не было, да и плыли на нём только двое.

Берегом снова пошёл Алёша, с трудом передвигая тяжёлые валенки. Главным препятствием на берегу был в этом месте не ветровал, а снег. На первой террасе, ровной и низкой, росли осины и берёзы. А эти деревья, имея жидкую крону, пропускают ветер и обычно сгнивают ещё на корню. Хоть ненавистная древесная падаль не преграждала уже путь, однако в разбухших валенках идти было очень трудно по мокрому и глубокому снегу.

Кошурников с Костей дважды подбивали плот к берегу, чтобы Алёша ушёл вперёд. Начальника мучили дьявольские противоречия. Ослабевшие донельзя люди сильнее, когда они вместе, а изыскатели вынуждены разделиться, уменьшить тем самым силу каждого. Они могли бы сейчас спокойно ждать помощи на берегу, однако у них не было продуктов. Им оставалось лишь несколько десятков километров, но они не могли полностью использовать быстроту Казыра, потому что отставал Алёша. Посадить на салик Алёшу — можно застрять на камнях, и тогда они ни за что уже не столкнут плот, так и застынут на нём. Самая большая скорость в середине реки, а они вынуждены плыть под берегом. Но здесь грозит другая беда — шивера наиболее опасна у берегов, где громоздятся крупные камни, а течение слабее….

Но вот салик благополучно миновал одну шиверу, потом небольшой перекатик. Днём собрались все вместе, сварили чай, прокипятив в нём малиновые прутики да чагу — коричневый окаменевший нарост на берёзе.

— Устал, Алёша? — спросил Кошурников. — Может, сменимся? Ты на гребь встанешь, а я — берегом. Отдохнёшь на плоту немного. Алёша! О чём это ты думаешь?

Алёша рассеянно кивнул и просипел:

— Всё! Начхал я на неё.

— На кого? На кого ты начхал, Алексей?

— На бронь вашу. — Алёша громко высморкался. — Выйдем отсюда — я сразу на фронт. И не уговаривайте меня, Михалыч. Если я решил — бесполезно…

Кошурников погрузился в глубокую задумчивость. Он думал о ребятах, о том, что полюбил их всей душой за это время. И неизвестно сейчас было, он им нужнее или они ему.

Костя сказал:

— Скорей бы закончить эти изыскания.

— Да? — спросил Кошурников, думая о своём.

— Закончить, говорю, скорей бы их, Михалыч!

— Да? О чём ты?

— Изыскания. Закончить бы побыстрее.

— А они на этом не кончаются. Это только начало, Костя. Там пойдут технические, предпостроечные…

— А я, Михалыч, мечтаю! — с надеждой в голосе сказал Костя и отвернулся. — Мечтаю на этой дороге проект организации строительства сделать. Только вы мне не поручите — вы же меня узнали…

— Узнал, — качнул головой Кошурников. — Поручу.

Костя встал, молча пошёл к плоту, занял место на передней греби. А когда Кошурников помог им оттолкнуться, Алёша спросил с воды:

— Михалыч, а что это по-латыни ваш отец говорил? Как перевести?

— О чём это ты? — начальник экспедиции не сразу понял, сощурил воспалённые глаза. — А! Per aspera ad astra? Это значит: через тернии — к звёздам…

Он выбрался на террасу и побрёл вперёд, не сводя глаз с реки. Ведь стоило сейчас посадить плот на ерундовской шивере, и конец. Замёрзнут на плоту ребята, погибнет на берегу он без ружья и неоценимой поддержки Алёши…

«…Алёшка, Алёшка! Спасибо тебе, что про отца напомнил. Отец помогал мне весь этот трудный поход, и сейчас он будто бы со мной рядом шагает. Он учил меня не распускать нюни, когда я был мальчишкой, и рано выпустил из гнезда. Через тернии… Отец — человек дела и знает цену словам. Как он ещё говорил? «Мысль — драгоценное цветение материи. Нет мысли — и человек становится скотом». Через тернии… Без обуви и без хлеба. Выдюжу! Война идёт, многим ещё тяжелее. Сколько сейчас людей без хлеба и без крова! И как жалки те, что позалезали в щели, в тёплые комнаты. Я счастлив, что не задерживался никогда в щелях, что всю жизнь топтал сапогами земной шар… Через тернии…»

Кошурников шёл, увязая в снегу. Лоскуты сопревшей кожи, которые были у него на ногах, уже не защищали от снега. Полушубок, прокопчённый у костра, был весь в дырах и жёлтых подпалинах. Но всё это ерунда. Лишь бы сердце билось нормально, а то появились какие-то задержки и торопливые толчки.

С террасы было видно, как медленно ребята бьют гребями. Но и этого хватало, чтобы держать плот поближе к берегу. Кошурников видел, что Алёша всё время наблюдает за ним с задней греби. «Всё в порядке, Алёша, ничего такого не предвидится».

Но вот показался впереди остров, покрытый высокими и мощными кедрами. Он резал реку на две части: протока — справа, матёра — слева. Плот шёл вблизи левого берега. За кедрами не было видно, как ведёт себя матёра, однако Кошурников заметил, что река тут берёт лёгкий разгон.

— К берегу! — крикнул он, махнув рукой. — Быстрина!

Ребята захлюпали гребями. Однако река подхватила лёгкий салик, потянула к острову, понесла вниз.

— Бей лево! — закричал он. — Перехват!

Этот тихий плёс под островом, наверно, давно уже забило шугой, затянуло льдом, засыпало снегом. Туда, к рыхлой кромке, мягко подпрыгивая на быстрине, мчался плот. Ничего нельзя было сделать. Реку стянуло прямо под островом, и она с разгона, плескаясь и бурля, уходила под белое поле.

— Прыгай!

Он с ужасом увидел, что плот вдруг нырнул под лёд, а с ним — Костя. Журавлёв, который стоял на задней греби, метнулся за товарищем, провалился по шею, но стремительный Казыр уже поглотил Костю, жадно тащил под лёд и Алёшу. Ещё секунда, и откажут его немеющие руки, ещё мгновение, и ледяная вода остановит сердце.

— Держись, Алёша-а-а!

Кошурников ухнул в реку, пополз навстречу товарищу, разгребая эту дьявольскую кашу из снега, воды и льда. Потянул Алёшу за воротник полушубка, а тот почему-то едва передвигался, неестественно скрючив сведённые судорогой руки. Кошурников лихорадочно, рывками подвигал друга к берегу, не замечая, что Алёша — наверное, он ударился о плот — уже перестал бороться, обмяк, завёл стекленеющие глаза. До берега было не больше метра. Начальник экспедиции не мог поверить, что остался один. Силы его были на исходе. Под самым берегом он долго и безрезультатно дёргал Алёшу, который уже не подавал никаких признаков жизни. Казыр намертво схватил тяжёлые валенки товарища, всасывал всё глубже.

Кошурников медленно пополз вверх, к кедрам. Кое-как достал из нагрудного кармана кителя спички, но головки их превратились в коричневую кашицу.

С него текла вода. Едва передвигаясь, побрёл вдоль берега на запад, туда, куда бежал Казыр. Часто останавливался отдыхать. Голова кружилась. Что-то шумело вокруг: он не мог понять, уши ли ему залило водой или кедры ходят под ветром.

Кошурников добыл бы огонь, будь с ним ружьё. Но оно вместе с патронами осталось на плоту. И Костя там же, под этой ледяной перемычкой. А ещё вчера Кошурников передал ему непромокаемый резиновый мешочек со спичками, чтоб Костя чувствовал себя более нужным товарищам. Как разжечь костёр? Погреться, хоть немного обсохнуть. Мозжили кости, мокрая одежда прилипла к спине, тяжким грузом давила на плечи. Если б знал всё это Володька Козлов! Он бы уже давно пробивался сюда на лыжах…

…Нашёл! У него сейчас будет огонь! Ведь с ним нож! Друг один подарил. Говорил, что лезвие отковано из наружной обоймы роликоподшипника и закалено в масле…

Кошурников собрал под снегом с десяток разных камней, снёс их под кедр. Ещё разгрёб снег и снова набрал камешков. Неужели ни один из них не даст искры? Ударил по камню вскользь тупой стороной лезвия. Неудачно. Трясущиеся руки не держали ножа. Ещё раз. Брызнули искры. Он подумал: «Ты хорошо роешь, старый крот!» — вот что скажет Европа».

Кресало и огниво у него были. Теперь трут. Он вспорол ватные брюки в том месте, где, как ему казалось, было посуше. Но нет, вата была влажной даже на ощупь. Он положил кусочек ваты под меховую шапку, в густые волосы. Нет, едва ли высохнет — там потно и сыро.

Быстро темнело. Кошурников отломил от берёзы чагу, думая сделать трут. Но чага была насквозь пропитана водой. Он остановился под кедром, отложил два сухих сучка и тёр их до рассвета обожжёнными, грязными, опухшими руками. Утром кинул в снег почерневшие тёплые палочки. Попробовал вату — она была влажной. Выбросил ненужный нож. Сверху падали всё те же огромные, будто из ваты, снежинки.

Ни на что уже не надеясь, пошёл дальше. На ноги он избегал смотреть, он их давно уже не чувствовал. Каждый шаг требовал чудовищного напряжения воли. Сердце тяжелело, росло, подступало к горлу и ни капельки не грело. Хотелось сесть и заснуть. Однако он шёл вперёд — Кошурников знал, что не должен садиться. Снег тут же заметал его след…

За островом река снова соединилась, сузилась. Льда на ней не было. Серая вода тут снова ускоряла свой бег. Даже на глаз было заметно, что река идёт под гору. Впереди на воде пузырились белые барашки.

Кошурников всё же присел на плотный, забитый снегом куст ольшаника. Нет, спать он не будет. Он затем присел, чтобы обдумать своё положение. Кошурников достал карандаш и блокнот. Развернул влажные страницы. Опять долго не мог вспомнить, какое число. Пролистал блокнот назад.

«…Последняя запись первого числа, в воскресенье. Про речку Базыбай записал — для строителей. Это лишний аргумент за левобережную трассу. А то мост пришлось бы строить через Базыбай. Это, значит, я писал позавчера. Катастрофа произошла вчера. Сегодня, стало быть, вторник…»

Подступающий к сердцу холод путал мысли.

«…Совсем не слушаются меня руки, будто не мои, а ног словно и нету. А надо идти. Тут быстрина. Длинная. Меня же весной снесёт в неё, записки пропадут. Пойду назад. Вон на той приверхе отдохну…

Что ещё недоделал? Многое. Эта дорога и другие. В море тёплом не покупался. Надо было перед войной бросить курить, сейчас бы не так страдал. Любовь матери и жены принимал как должное, и некогда было отблагодарить — в тайге всё время. Детям унты не привезу тофаларские. Хотя ведь на эти деньги мы наши гнилые мешки купили…

…Золотые ребята были, хорошо в общем шли. Какими бы изыскателями стали, мужиками! А трасса всё время левым берегом, всё левым.

Дятел, что ли? Или часы отцовские? Алёшка, чудак такой, говорил: «Не часы у вас, Михалыч, а трактор». Вот чудак! Нет, это не часы, а дятел долбит. Всю жизнь долбит. Вот работяга! И лезет только вверх. Всё вверх и вверх…

…Ветер подул — хиус. Тучи гонит. Значит, кидь кончится. С ветром холод, а мне тепло…

…Стемнеет скоро. Вызвездит. Большие звёзды, близкие.

Если присяду сейчас в снег, то легко и сладостно станет. Но так нельзя. Пойду, пока не разорвётся сердце…»

Эх, Казыр, Казыр — злая, непутёвая река!

Один

…Заходит солнце, и сумерки быстро ложатся.
Н. Пржевальский

«3 ноября. Вторник

Пишу, вероятно, последний раз. Замерзаю. Вчера, 2. XI, произошла катастрофа. Погибли Костя и Алёша. Плот задёрнуло под лёд, и Костя сразу ушёл вместе с плотом. Алёша выскочил на лёд и полз метров 25 по льду с водой. К берегу пробиться помог я ему, но на берег вытащить не мог, так он и закоченел наполовину в воде. Я иду пешком. Очень тяжело. Голодный, мокрый, без огня и без пищи. Вероятно, сегодня замёрзну».

Жизнь не кончается, однако!

…Перед глазами являются одни и те же образы.
Н. Пржевальский

Много лет под стеклом моего письменного стола лежит фотокопия последней страницы дневника Александра Кошурникова. Эта запись, сделанная коченеющей рукой, исполнена эпической простоты и силы. «…Я иду пешком. Очень тяжело. Голодный, мокрый, без огня и без пищи. Вероятно, сегодня замёрзну». Он написал — «иду». Иду!..

Хранятся у меня и копии других документов. По телеграммам, письмам, докладным запискам, протоколам заседаний видно, какие усилия прилагали тогда сотни людей, чтоб найти, спасти, выручить из беды трёх инженеров. (…)

Многие люди рвались в тайгу. Но всё было напрасно. Приведу выписки из протокола совещания, которое собралось на погранзаставе в декабре 1942 года.

«Начальник поискового отряда Козлов. Кошурников выехал 9 октября на девяти оленях, надеясь добраться до устья реки Запевалихи. Туда он прибыл 11 октября 1942 года. Делал плот 12 октября и поплыл на нём по реке Казыр, о чём говорит его надпись на зимовье у Запевалихи.

На Саянском пороге я нашёл плот Кошурникова и лагерь. Ниже порога Щёки тоже нашёл лагерь. Потом на плоту отряд плыл до Китатского порога. На левой стороне Казыра мы нашли вещи группы Кошурникова. Затем на камне Барка встретил отряд Мазуренко.

Вместе с ним ниже реки Бачуринки также находили лагеря. На Базыбайском пороге тоже увидели следы пребывания изыскателей. В трёх километрах ниже по брёвнам в полынье нашли лагерь Кошурникова и место, где он делал плот. А ещё через три километра перед Поворотной ямой плот был брошен. Осмотром установил, что плот бросили потому, что Поворотная яма замёрзла. Потом отряд, пройдя немного берегом, снова поплыл по Казыру на плоту с места, расположенного примерно за километр до устья реки Поперечной.

Осмотр берегов ниже Поперечной ничего не дал. Потом на пороге Нижний Китат найден шест, судя по зарубкам, принадлежащий Кошурникову, а также следы рубки сухого дерева для костра. Ниже этого места до заставы километров 30 ничего не обнаружено.

Вывод: отряд Кошурникова, видимо, погиб в реке Казыр.

Начальник поискового отряда Мазуренко».

«На своём пути, за исключением реки Запевалихи, отряд Кошурникова никаких следов не оставил. Мой вывод: отряд Кошурникова был зашугован и погиб в реке примерно в конце октября, на 16—17-й день своего пути. Авария произошла приблизительно в 35 километрах от заставы.

Начальник погранзаставы Переверзев».

Рыбаки вернулись с Казыра 20 октября. Они прекратили рыбную ловлю из-за шуги и похолодания, вследствие которого на спокойных местах Казыр покрылся льдом. На обратном пути рыбаки вынуждены были прорубать через лёд проходы для лодки.

Решили в зимнее время поиски прекратить и возобновить их в апреле-мае 1943 года. И когда осенью были найдены и погребены останки Кошурникова, к его друзьям и родным стали приходить с Казыра простые и трогательные письма.

«Мой папа и его товарищи, — писала Надежде Андреевне Лиза Степанова, — выбрали светлое и сухое место для Александра Михайловича. Я никогда в жизни не забуду того дня. Нести было очень тяжело, потому что рыбаки свалили самые крепкие кедры и обтесали их топорами. Дорогая Надежда Ан-

дреевна! Читали ли вы дневник? Когда мы его просушили, то приехавшие изыскатели говорили, что Кошурников выполнил свой долг. Мы все на Казыре гордимся подвигом вашего мужа, который он совершил для Родины. Вам должны были передать часы „Павел Буре“, которые мой отец нашёл в воде. Он их завёл, и они пошли. А стояли они на без десяти минут одиннадцать. Идут ли они сейчас?»

Письма от Лизы Степановой шли всю зиму, весну и лето. Вот строки из этих писем:

«Казыр ещё стоит, но скоро тронется, и я побываю на могилке Александра Михайловича».

«Снег на могилке стаял. А кругом из-под снега пробиваются кандыки и подснежники. Я украсила холмик зелёной пихтой, а звёздочку нарядила свежей вербой. Я делала всё это, и всё время текли у меня слёзы, а я не могла с ними ничего сделать. Пока я здесь, буду навещать Александра Михайловича».

«Я часто бываю на могиле Александра Михайловича. Приходили геологи, спрашивали про него. Я показала им, и они долго стояли возле него…»

Папки с архивными материалами, с письмами родственников погибших, блокноты с записями о моих поездках в Саяны… Листая их, я вспоминаю встречи с друзьями Александра Кошурникова, долгие разговоры с сибирскими изыскателями, которым я посвятил эту повесть. Немало дней и ночей я провёл в их палатках, полюбил этот скромный народ глубокой и стеснительной любовью, которая не требует слов.

Да, изыскательскую планшетку не носят ровными и гладкими дорогами. Изыскатель должен шагать по острым каменюкам, гнилым и зыбучим топям, по едва заметным кабарожьим тропкам, а иногда и по первой пороше, под которой прячутся все тропы… Однако «полевая» работа — лишь начало. Прежде чем наметить окончательную трассу, изыскатель учтёт тысячу обстоятельств, рассмотрит множество вариантов, проведёт над листом ватмана немало бесконечно тяжких и сладостных ночей. Но и на этом не заканчивается его добровольный подвижнический труд. Позднее, когда уже надо выдавать рабочий проект, изыскатель предлагает новые и новые улучшенные варианты, вызывая проклятия строителей, нервируя заказчика, отравляя жизнь себе и своим ближним…

Нелегка изыскательская планшетка, но есть в ней неодолимая притягательная сила! И никогда изыскатель не бросит ни «полевую», ни «камеральную» работу. Он сам до мельчайших деталей изучит лицо земли, а потом, забыв обо всём на свете, погрузится в стихию инженерного поиска. И недаром найденная в муках железная дорога предстанет перед его глазами как сказочная красавица.

«Я разыскал мою красавицу в этой бездне скал и утёсов, вырвал её у природы, как Руслан вырвал у Черномора свою Людмилу», — так говорил молодой инженер, отстоявший свой вариант железной дороги. Изыскатель сибирских железных дорог Н. Гарин-Михайловский не пожалел этого прекрасного сравнения, чтобы возвеличить труд разведчика новых магистралей. Известный русский писатель хорошо понимал смысл этого труда, знал и любил нелёгкие будни инженера-первопроходца, глубоко чувствовал их романтику…

Изыскатели железных дорог венчают труд путешественников — открывателей новых земель, учёных, топографов, геологов, экономистов. Это они намечают стальные пути к природным богатствам отдалённых районов нашей Родины. Это с их помощью становится сейчас землей-сказкой родимая сибирская сторонушка.

Почти четыре века назад пришли сюда наши предки. Это были простые, сильные, нетребовательные люди, и их подвиг ещё по-настоящему не воспет. Стремительно пройдя неизведанными путями величайший из материков, они начали обживать «угожие, крепкие и рыбные» сибирские «землицы». Но, как оказалось, Сибирь — это не только «мягкая рухлядь», кондовые леса, икряная рыба да жирные земли. На восток стали сбывать сибирскую мамонтовую кость, на запад повезли «мусковит» — так по имени Москвы называли тогда слюду. То там, то здесь русские рудознатцы находили соль, золото, железо, медь, каменный уголь.

А когда позднее пришли в Сибирь учёные и геологи, они открыли в её недрах несметные, почти фантастические сокровища, и сейчас наш народ стал единственным в мире народом, который располагает всеми элементами периодической системы Менделеева, нужными для современной промышленности…

И наконец, третий эшелон — изыскатели и строители железных дорог, блестящим представителем которых был Александр Кошурников. Этот на редкость одарённый человек прожил на свете всего тридцать семь лет, но успел изыскать, спроектировать или построить около двадцати крупных железнодорожных объектов. В их числе дороги Томск — Асино, Рубцовск — Риддер, Новосибирск — Полысаево, Темир-Тау — Таштагол, ветки к Абазинским и Сучанским рудникам, к порту Находка. Кроме того, он наметил дорогу Синарская — Челябинск и третий железнодорожный переход через Урал. С именем замечательного инженера связано строительство сортировочной горки в Свердловске, моста в Забайкалье и самое главное — изыскания всей восточной части Южсиба, от Кулунды до Лены. Многие ли люди оставляют после себя столь заметный след на земле?..

Построена и дорога Абакан — Тайшет, на изысканиях которой погибли Александр Кошурников и его друзья. Молодые строители окрасили последние, венчающие дело рельсы суриком, торжественно состыковали их и пришили такими же белыми, «серебряными», костылями. Вдоль трассы во многих палатках и домах висел портрет первого её изыскателя. И ещё до начала строительства было решено назвать самую большую станцию магистрали именем Кошурникова, а два соседних разъезда именами молодых инженеров, погибших с ним, — Журавлёва и Стофато…

Погибли герои, однако жизнь не кончается. Их нет, но они помогают нам идти своими дорогами, намечать свои трассы. Память их товарищей сохранила от тлена светлый и совсем не иконописный образ Александра Кошурникова. Прошло много лет, но сотни людей находятся под обаянием этого цельного, своеобычного, истинно русского характера. (…)

Сейчас, когда прошло время, подвиг Кошурникова приобрёл ещё большее величие. Так, спускаясь с гор, яснее видишь главный пик. Подвиг его, перед которым каждый человек должен склонить голову, заключался в великом труде. А ведь самые великие люди на земле — это самые великие труженики. И молодёжи надо учиться жить на таких примерах. (…)

«Замечательно, что советское правительство решило назвать три станции новой дороги именами изыскателей, — пишет учитель А. Плетнев из Горького. — Не нужно скупиться на такую дань памяти рядовым строителям коммунизма. У нас часто дрожат над каждой строкой среднего поэта, но очень редко отдают должное тем, кто оставил после себя материальные памятники нашей эпохи. Ведь для того чтобы спроектировать железную дорогу, большой мост или завод, нужно не меньше таланта и труда, чем написать книгу. А железная дорога, например, по моему глубокому убеждению, — более весомый кирпич в здании коммунизма, чем посредственная книга. Когда люди построят коммунизм на земле и у них будет время оглянуться назад, они крепко ругнут нас, если мы не донесём до них имён подвижников великой стройки, не вспомним тех, кто клал кирпичи…»

Нет, донесём! Вспомним. Всё и всех вспомним, хотя понимание героического, должно быть, к тем временам изменится. Уже сейчас отходит в прошлое романтика палаток и тяжёлых пеших переходов, не за горами время, когда выбирать оптимальные варианты начнут кибернетические машины, суровый климат и расстояния перестанут быть проблемами Сибири, а цена жизни любого человека неизмеримо возрастёт. Всем этим мы будем обязаны не только себе, но и первопроходцам, тем, кто нам торил дорогу, кто погиб в пути. Пал в бою первый сибиряк Ермак Тимофеевич; умер от цинги на Таймыре Василий Прончищев, открывший острова, которые ныне названы именем «Комсомольской правды»; бесследно пропал во льдах неутомимый искатель Земли Санникова Эдуард Васильевич Толль; на далёкой Колыме похоронен учёный и бунтарь Иван Черский; на берегу Иссык-Куля навек успокоился Николай Пржевальский, который до последнего дня своей ослепительной жизни рвался дальше за Сибирь, в глубины Азии; в заполярной тундре лежит легендарный боцман, цусимский герой и землепроходец нового времени Никифор Бегичев…

Немало хаживали по белу свету русские люди — водой и сушей, реками и океанами, горами и пустынями. И когда будет открыт у нас Музей путешествий, когда развесят там карты и поставят глобусы, то, возможно, поместят где-то под стекло портрет и потрясающий человеческий документ — дневник изыскателя сибирских железных дорог Александра Кошурникова, который жил и умер для того, чтобы быстрее на нашей Земле ложились серебряные рельсы.

Правда, и сейчас этот дневник в хорошем месте — его взял на хранение Центральный музей революции, где сделан специальный стенд, посвящённый последней экспедиции Александра Кошурникова. Мемориальные музеи открыты также в Новосибирске и Кошурникове. А недавно советские географы назвали именем замечательного изыскателя хребет вдоль Левого Казыра. Теперь каждое лето, а иногда и зимами проходят, проверяя себя, путём Кошурникова десятки

молодёжных групп, и святая могила в конце маршрута стала местом усиленного паломничества. Там сама собой сложилась традиция — давать залп у памятника, а в пустые гильзы вкладывать записки…

Этот обычай сделался символом веры и долга, хотя я хорошо понимаю молодого сибирского инженера-изыскателя Юрия Иванова, который писал однажды в газете: «Изыскатели ревниво хранят память о товарищах, нетерпимо относятся к фальши, умаляющей или чересчур возвеличивающей подвиг этих простых советских людей». Да, Александр Кошурников был совершенно обыкновенный, можно сказать, рядовой строитель коммунизма. Но этот скромный рядовой прекрасно знал и делал своё дело. Вспоминаются стихи о рядовом турецкого поэта-коммуниста Назыма Хикмета:

Он начал дело.
Он кончил дело.
Он, начиная, в трубы не трубил.
Закончив, не кричал…

Он шёл всю жизнь теми дорогами, которые больше всего были нужны людям. Шёл и упал. Лежит он на высоком берегу Казыра, торжественно шумят над ним кедры. Написано просто: «Изыскатель А.М. Кошурников. 1905—1942».

Ни слёз не надо, ни венков,
ни прочего…
Друзья, ни слова.
Не разбудите рядового!

Саяны — Москва,
1957—1960 гг.



Изыскатели трассы Абакан — Тайшет А. Кошурников, К. Стофато, А. Журавлёв. Погибли в ноябре 1942 г.

Лев Гумилёв

Довоенный Норильск[1]

Осенью 1939 года баржа, наполненная зэками, достигла порта Дудинки. Здесь начиналась самая северная в мире железная дорога, которая шла на восток, вдоль 70-й параллели. Длина её была 102 километра, и вела она в будущее, а точнее, в рождавшийся город Норильск. Тогда в нём было четыре дома из бутового камня, малый металлургический завод с обогатительной фабрикой, силуэт которой на горизонте напоминал средневековый замок, и два скопления бараков, вмещающих около 24 тысяч заключённых.

Северное скопление было проектно-строительным, а южное — горнорудным, извлекавшим из недр уголь и халькопирит. А теперь отвлечёмся на минуту от повествования, которое не обещает быть занимательным. Как-то в тюрьме, где автор пребывал под следствием полтора года, он получил какую-то книгу А.М. Горького — выбирать книги не полагалось — и запомнил из неё одну фразу: «Нынче у нас на Руси все жалуются; просидел какие-нибудь полгода и пишет, как он страдал. Вот если бы он написал, как он в жизни радовался!» Цитата, конечно, не точна, но смысл её воспроизведён правильно. Автор провёл в Заполярье пять лет (не считая тюрьмы) и остался жив потому лишь, что утешал себя, занимаясь любимыми науками: историей, географией и этнографией, не имея ни книг, ни свободного времени. И ведь занимался так, что, вернувшись в Ленинградский университет, смог сдать экзамены за 4-й и 5-й курсы, кандидатский минимум, защитил диплом и кандидатскую диссертацию, после чего вернулся под сень тюремных нар.

Вот о способе сохранить интеллект и творческие способности и пойдёт речь в дальнейших строках.

География

К северу от будущего города Норильска расстилалась тундра, т. е. полярная равнина, простиравшаяся до реки Дудыпты и озера Пясина. Осенью тундра тонула в снежном сумраке, зимой — в синей полярной ночи. В природе абсолютной темноты не бывает. Луна, звёзды и разноцветные отблески полярного сияния показывают человеку, что он на Земле не одинок и может прийти куда-нибудь, где есть яркий свет и печка — самое дорогое для изгнанника в Заполярье. И всё же равнина безрадостна и тосклива. Зато южная окраина будущего Норильска — цепь невысоких гор, поистине очаровательна. Эта горная цепь начинается

[1] *Гумилёв Л. Н. Довоенный Норильс. Русская история и русский характер. Материалы Международной конференции, посвящённой 90-летию со дня рождения Л. Н. Гумилёва. Т. 3. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. С. 217—224.*

столовой горой с необычным названием: Шмидтиха (Shmidtiha). Кажется, это название дал ей открыватель норильского месторождения никеля Николай Николаевич Урванцев. Автор помнит этого спокойного, вежливого и очень приятного человека, жившего в геологическом бараке и пользовавшегося всеобщим уважением. Его привезли к нам в 1942 году, когда лагерь был уже обстроен и налажен. Это большое счастье для науки, что замечательный учёный остался жив.

Восточный склон Шмидтихи омывал Угольный ручей, чистый, быстрый и шумливый. А за ним располагалась гора Рудная, бывшая в то время сокровищницей Норильска. В середине склона гору прорезала штольня, тянувшаяся вдоль серебристой жилы халькопирита. Эта штольня казалась нам блаженным приютом, ибо в ней была постоянная температура минус 4 °С. По сравнению с сорокаградусными морозами снаружи или мятущейся пургой, сбивающей с ног, в штольне рабочий день проходил безболезненно. Конечно, подземная работа не всегда была безопасна. В слежении жилы надо было спускаться в гезенки и подниматься по восстающим — так называются вертикальные выработки, часто не полностью закреплённые. Подниматься в них надо было по «пальцам» — брёвнам, внедрённым по периметру выработки, — хватаясь за них и подтягиваясь на руках. Однажды, когда я достиг вершины восстающего и установил, что жила на месте, на высоте 14 метров, у меня потух аккумулятор. Долго оставаться на месте было нельзя: меня бы задушили газы при отпалке, а спускаться в темноте слишком рискованно: подо мной были острые края глыб. Я было рискнул протянуть ногу по памяти… и тут зажглась лампочка (видимо, соединился контакт), и я увидел, что шагаю в пустоту. До сих пор я вспоминаю эту минуту с ужасом. И всё же в шахте было лучше, чем наверху. Восточнее, уже за пределами оцепления, на горизонте высились горы: Двугорбая, похожая на верблюда, и Гутчиха. Таким образом, Норильск был расположен на рубеже двух ландшафтных регионов: тундры и тайги, с низкорослыми лиственницами и зарослями шиповника. Расконвоированные геологи приносили ягоды шиповника, что спасало их от цинги.

Юрий Михайлович Шейнман, узнав, что я бросаю заниматься историей из-за приближения цинги, подарил мне пакет сухих ягод, и я смог закончить свой труд. Заполярная зима угнетает не только морозом и пургой, но и вечной ночью. Отсутствие солнечного света постепенно лишает людей сил. Они становятся вялыми, безразличными. Вот почему всем тогдашним норильчанам памятен день 25 января, когда на склонах гор загораются отблески ещё не видного солнца. Половина зимы ещё впереди, но тьма уже отсутствует. Когда, после взятия Берлина, я беседовал с немецким физиком и рассказывал ему про Таймыр, он попробовал сопоставить мой рассказ с сочинениями Джека Лондона. Я возмутился и вскричал: «Alaska ist Kurort!» И действительно, изотерма Аляски проходит через Байкал, а более красивого и благодатного места я в жизни не видел. Нет, Таймыр серьёзнее. Но и вторая половина зимы тяжела. В марте от блеска солнца, освещающего снежный наст, люди слепнут, если не надевают чёрные очки. В апреле наступают белые ночи, как над Невой, но здесь сквозь них идут пурги не меньшей силы, чем зимой. И только в середине мая наступает странная весна.

Огромные сугробы не тают, а испаряются на глазах. Блики света играют в лёгких облачках холодного пара; только в затенённых местах начинают течь ручейки, как соки земли, и к концу мая наступает весна в нашем смысле. О, как прекрасен заполярный июнь! Солнце всегда висит над горизонтом, а тени кустов длинными полосами тянутся по воскресшей земле. Вокруг ручейков синеют незабудки, на солнечных пригорках сияют жарки. Воздух тих и прозрачен. Со склона горы видна голубая полоса Пясины. Жара бывает такая, как на Украине. Но в сентябре тундра желтеет и становится ещё прекраснее. Это золотой ковёр, в который инкрустированы сапфиры озёр. Жаль только, что эта пора недолга. В октябре приходит морской ветер, ибо Гольфстрим близок; через несколько дней этот ветер приносит холодный дождь, а вслед за ним идёт колючий злой снег. Природа совершает свой путь неуклонно, не то что люди в глубине бараков.

Самое тяжёлое в тюремной жизни не голод и не холод, а тоска, возникающая от унылого однообразия и отсутствия положительных эмоций. Оказывается, потребность в созерцании прекрасного и радость, даруемая красотой, — это своего рода витамин, без которого скудеет психическая структура и слабеет сопротивляемость организма болезням и утомлению. Вот почему полярное лето, столь красочное и разнообразное, давало тем, кто умел его созерцать, запас сил и оптимизма, необходимый для того, чтобы дождаться новой весны. Эта эстетическая география восполняла психологический вакуум, созданный не проходящей горечью сознания незаслуженной обиды.

Этнография и социология

Население довоенного Норильска имело крайне упрощённую социальную структуру: вольные и заключённые. Общение между теми и другими возбранялось, за исключением случаев, когда их сталкивала работа, но и тогда оно оставалось в производственных пределах. Жизнь и быт вольной части, видимо, не отличались от норм и обычаев всей страны, а потому и не представляют интереса. Любопытно лишь то, что заключённые, как правило, не стремились к активизации общения с «высшим» слоем и относились к нему сдержанно. Исключения бывали очень редко. Обычно это происходило на почве влюблённости, которая, как известно, даже в древности ломала социальные и национальные перегородки. Но XX век в этом отношении внёс усовершенствования, практически устранившие межсоциальные контакты. Как ни странно, несмотря на сходство условий, заключённые по быту, нравам и языку между собой различались, иногда даже резко. Поскольку Норильский комбинат считался промышленным, то инженеры там были весьма нужны. Поэтому им создавались несколько лучшие условия жизни: отдельные бараки, дополнительные пайки, например банка молока (сгущённого) в месяц за вредность или небольшая селёдка к обеду. Короче, их берегли. Основная масса рабочих жила в длинных бараках с двумя рядами нар по бокам и столом посредине. За столом обедали и по вечерам играли в шахматы или домино. На обед полагалась миска супу (баланды), миска каши и кусок трески. Хлеб выдавался по выполнении норм: за полную выработку — 1 кг 200 г, за недовыработку — 600 г и за неудовлетворительную работу — 300 г. Слабые



Лев Гумилёв — заключённый Норильлага. После освобождения уходит добровольцем на фронт в 1944 г.

люди от недоедания теряли силы; их называли «доходягами». В наилучшем положении были зэки, почтённые доверием начальства: «коменданты» (внутренняя полиция), нарядчики (выгонители на работу), повара, врачи, счетоводы. Их называли «придурками» за то, что они были самыми хитрыми и ловкими. Уважения они не имели. Уголовные преступники составляли около половины заключённых, но хулиганов было очень мало. Мой знакомый убийца говорил: «Хулиган — всем враг, и вам — фраерам, и нам, уркам. Хулиганов надо убивать, потому что они творят зло ради зла, а не ради выгоды, как воры или грабители». Интересно, что он уловил абстрактный принцип мирового зла. Но не этой социальной структурой определялись шансы зэка на выживание. В лагере баланду не «едят», а «трамбуют», избыточную кашу с маслом — «жрут», а вкусные деликатесы — «кушают». На этом принципе возникают группы по два-четыре человека, которые «вместе кушают», т. е. делят трапезу. Это подлинные консорции, члены которых обязаны друг другу взаимопомощью и взаимовыручкой. Состав такой группы зависит от внутренней симпатии её членов друг к другу, а точнее, от комплиментарности — поведенческого феномена, известного у всех высших животных. У людей положительная комплиментарность означает тягу к бескорыстной дружбе, отрицательная — ведёт не столько к борьбе, сколько к неприязни, но та и другая не могут быть объяснены расчётом, как продуктом сознания. Комплиментарность всецело лежит в сфере эмоций.

Так вот, благодаря знаку комплиментарности одни люди в лагере выжили и вышли на волю интеллектуально обогащёнными; они сохранили приобре-

тённых друзей и помогли друг другу избавиться от недругов. А другие, замкнутые в себе, надорвались от эмоционального перенапряжения, начали жалеть себя, снизили свою резистентность к воздействиям окружающей среды и, будучи малопластичными, сломались. Несмотря на то что деление по комплиментарности прослеживалось во всех слоях зэков, наиболее наглядно оно проявилось у казахов, где совпало с родоплеменным делением: аргын кушал с аргыном, найман с найманом и т. д. И тут невольно пришла на память мысль: а ведь все начала этногенных процессов связаны с образованием консорции, с положительной комплиментарностью: пэры Карла Великого — начало Франции; рыцари Круглого стола — неудачная попытка создания Британии; «верные» царя Давида, мухаджиры и ансары Мухаммеда; «люди длинной воли» вокруг Чингиса; дружина Александра Невского. Они ведь тоже «вместе кушали», но только у немногих получилась зачинаемая традиция, а большинство их сгинуло в безвестности. Трудно было бы где-нибудь, кроме лагеря, сделать столь плодотворные наблюдения. Теперь, оглядываясь на минувшие годы, я думаю, что они для учёного, умевшего делать наблюдения, прошли недаром, но вспоминать остальное я не буду, а тем более писать об этом. Только во сне приходится видеть серую пелену тюремной безнадёжности… и это всегда кошмар. Тем авторам, которые решились на мемуарный жанр, автор низко кланяется и просит простить его за то, что он вернётся к проблеме интеллектуальной жизни, которая в Норильске 1940 года процветала.

История и астрофизика

Летом 1942 года к нам привезли из Дудинки астронома Николая Александровича Козырева. Он там сидел с 1939 года по делу профессора Нумерова — банальная липа 1937 года, — но в Дудинке Н.А. Козырев получил новый срок за высказывания:

1. Естественные науки развиты более, нежели гуманитарные.

2. Бытие, конечно, определяет сознание, но создавшееся сознание влияет на бытие.

3. Козыреву нравятся стихи Н.С. Гумилёва.

Дудинский прокурор требовал высшей меры; гуманный суд дал 10 лет и отправил на утверждение в Верховный суд РСФСР; приговор был отменён за мягкостью; Верховный суд СССР утвердил приговор. Упреждая события, скажу, что в 1947 году дело Козырева было пересмотрено, и он был освобождён с правом проживания в Ленинграде и Крыму, где находилась его обсерватория. Но это случилось после Норильского 1-го лаготделения, где он обрёл славу в 1942 году. Он рассказал нам, что Вселенная ограничена и имеет форму сферы, а что есть за её пределами — неизвестно. Это поразило всех слушателей настолько, что даже военные новости, сообщаемые вольнонаёмными сотрудниками комбината (вольняшками), не могли отвлечь внимание от потрясающих сведений о Космосе и Хаосе. Николай Александрович, сидя на нарах, рассказывал, что звёзды, в том числе и наше Солнце, давно бы погасли, если бы не получали подпитку энергией, которую выделяет Время. За счёт этой энергии Вселенная расширяется, о чём говорит наличие «красного смещения» далёких звёзд. Имена Эйнштейна, Леметра, Дирака, Больцмана потрясли слу-



Лунный пейзаж на 69-й параллели

шателей, хотя надо сказать, что эта интеллектуальная вакханалия охватила не всех, а только творческих людей: философа Снегова, поэта Дорошина, бывших партработников из Пензы и автора этих строк. Мне и сейчас трудно переоценить результат этого научного общения в Норильске для каждого из нас. Например, Снегов, освободившись, написал целую литературно-фантастическую трилогию о соотношении времени и пространства. Конечно, без бесед с Н.А. Козыревым это вряд ли стало бы возможным. Я сам также беседовал с Козыревым на научные темы при каждой встрече. Нам не мешало несогласие во взглядах по кардинальным вопросам (до сих пор не могу согласиться с его тезисом о происхождении энергии из времени). Но именно рассказ Н.А. Козырева о рождении звезды из коллапса, расширении её и превращении сначала в светящуюся новую, а затем в уравновешенную звезду типа нашего Солнца вызвал у меня ассоциацию со вспышкой этногенеза и его последующим ходом через разные фазы до состояния реликта. Конечно, со времени моих бесед с Н.А. Козыревым прошло 45 лет, и вполне возможно, что моё сегодняшнее изложение его рассказа об эволюции звёзд не вполне верно, но важно не это. Впервые именно в Норильске я пришёл к мысли о том, что законы природы единообразны для разных уровней её организации: от макромира — Галактики до микромира — атома. Понадобилось более 30 лет научной работы в исторических и географических науках, чтобы подтвердить мои тогдашние догадки о мере влияния природы на историю человечества, о роли локальных процессов этногенеза, возникающих вследствие эксцесса и затухающих с нарастанием энтропии.

Естественно, что при применении естествознания к истории объектом изучения стал этнос, а не социум, т. е. природный, а не общественный феномен. Так и возникла новая наука — этнология, которая много лет спустя оформилась как частная дисциплина учения о биосфере. Зимой 1942—1943 годов грозное дыхание войны стало достигать Таймыра. По слухам, мы узнали, что немецкий крейсер пытался обстрелять остров Диксон, но был отогнан нашей артиллерией. Паёк наш оскудел: голода не было, но ощущения сытости тоже. Спасало только чтение книг из научной библиотеки, которой заведовал бывший корреспондент «Известий» А.И. Гарри, и творческие беседы, сделавшиеся потребностью. Потом, в Ленинграде, меня удивляло отсутствие разговоров на научные темы в институтах Академии наук и пресечение любых попыток обсудить научную тему. Моим собеседникам казалось, что их экзаменуют. Впрочем, и в лагере такие люди были. Инженеры, геологи, химики, строители абсолютно не интересовались историей, хотя весьма ценили поэзию и литературу. В отличие от них, тот же Козырев был не инженер и не научный работник, а учёный. Разницу между этими понятиями я уяснил для себя гораздо позднее. Десятого марта 1943 года кончился мой пятилетний срок, и мне разрешили подписать обязательство работать в Норильском комбинате до конца войны. Как техник-геолог я был направлен в экспедицию сначала на Хантайское озеро, а потом на Нижнюю Тунгуску. Там я зимовал, работая по магнитометрической съёмке, которой снежные сугробы не мешали. Затем, вступив добровольно в армию, я дошёл до Берлина, был демобилизован по возрасту и вернулся на дорогие мне берега Фонтанки. Но это уже другая эпопея, о других бедах, трудностях и успехах. Норильска я больше не видел.

* * *

Как любить такую страну,
Где у всех мы будем в плену?
У широкой синей реки,
У бессонницы и пурги
И у сушащей кровь тоски,
От которой в глазах круги.
И у проволоки тугой,
И у низких, чахлых берёз,
Бездорожий тундры нагой
И таёжных, несчётных вёрст.
Но бояться этой страны
Мы не станем и в смертный час.
Беспощадный гнев сатаны
Несклонёнными встретит нас.

Из поэмы «Посещение Асмодея».
Норильск, лагерь, 1942 г.



Лев Гумилёв. «Древняя Русь и Великая степь». Идеи этой монографии выношены в лагере

Виктор Астафьев

Автобиография[1]



Виктор Петрович Астафьев

По деревенскому преданию, мой прадед Яков Максимович Астафьев (Мазов) пришёл в Сибирь из Каргопольского уезда Архангельской губернии со слепою бабушкой-поводырём. Происходил он из старообрядческой семьи, не пил горькую, не курил, молился наособицу, был от рождения башковит и в преклонном возрасте тучен телом.

Ещё будучи подростком, похоронив или с кем-то оставив бабушку (говаривали, что он с нею ещё и в Овсянку переселился, но точных данных на этот счёт нету, а очевидцы давно все померли), так вот, будучи ещё подростком, прадед мой подался в верховские енисейские сёла, где нанимался работником на водяные мельницы. Там он освоил мельничное дело и заработал денег, которые зашил в драную меховую шапку и бросал её где попало, чтобы капитал не украли и капиталиста не ограбили. Об этом со смехом рассказывал мой дедушка Павел Яковлевич Астафьев, единственный сын Анны и Якова Мазовых.

На капиталы, нажитые трудом праведным, Яков Максимович построил мельницу на речке Бадалык за городом Красноярском. Город бурно строился и развивался, леса вокруг него вырубались на строительство и выжигались под пашню. Речка Бадалык измельчилась, летами начала пересыхать. Мельничных мощностей хватало смолоть мешок зерна, а потом ждать накопления воды в пруду. В конце концов Яков Максимович бросил мельницу на Бадалыке и пошёл искать новое место. Побывал он в сёлах Торгашино, Есаулово и ещё где-то, везде на речках стояли мельницы и работали с полной нагрузкой. Прадед пошёл в село Базаиху, а там, на речке Базаихе, стоят уже две мельницы, и одна из них на механическом ходу.

Были у прадеда в Базаихе родственники или знакомые, и они подсказали ему, что за перевалом бурно развивается село Овсянка, а мельницы в нём вроде и нету. Яков Максимович построил на краю села Овсянка маленькую избушку,

[1] *Опубликовано в журнале «Урал», 2004 г., № 5.*

и, то ли оттого, что она была в пазах мазана глиной, иль потому, что примазался к селу, его здесь назвали Мазовым, а всё его потомство, и меня в том числе, звали Мазовскими. Я не только поносил в детстве прозвище Витька Мазовский, но и пережил избушку прадеда. Ещё в 1980 году, когда я переехал из Вологды на родину, избушка, подлаженная, с фундаментом и верандочкою и всё ещё мазанная по пазам, стояла на месте, но затем её продали хозяева, наездом бывавшие в ней, и на месте её сейчас стоит кирпичный особняк в два этажа, пустующий и летом и зимою. Кто-то вложил в это сооружение ворованные деньги и затаился.



Астафьевы — дед и отец с жёнами: Павел Яковлевич и Мария Егоровна (бабушка из Сисима), Пётр Павлович и Лидия Ильинична, 1929—1930 гг.

Прадед же, Яков Максимович, переселившись в Овсянку, начал осваивать речку Большую Слизневку, которая в то время называлась Селезневкой. Был прадед могуч и трудолюбив, он на себе таскал брёвна из лесу, а в прежние времена лес произрастал прямо от овсянской околицы и до обоих речек Малой и Большой Слизневки. Помню я, что Большая Слизневка была по обеим берегам заросшая красивым сосняком. Несколько сосен с обрубленными сучьями, напоминающими нищенку иль употреблённую на ходу проститутку, ещё стоят по огородам нынешнего посёлка, где леспромхозовских рабочих и сплавщиков, с их устарелыми хибарами, окружили и под гору спустили со всех сторон напирающие, нахрапистые дачники и где ещё сохранился бугорок от насыпи, а в правом берегу часть сруба мельничной плотины.

Дед мой, Павел Яковлевич Астафьев, с детства человек бедовый, в детстве же потерявший глаз (левый), от пыльного, дисциплины требующего мельничного труда увильнул, обучился играть на гармошке, плясать босиком (это считалось особым шиком в Овсянке), рано начал жениться и творить детей, и то ли роковым он был человеком, то ли диким темпераментом обладал и загонял жён до гробовой доски, но только одна за другой его жёны мерли, и дело дошло до того, что ни в одном овсянском доме ни одну девку в роковой дом не отдавали. Я не помню, где был первый дом деда, но тот, что был построен в начале двадцатых годов на берегу Енисея, помню довольно ясно, дом этот есть на фотографии овсянской школы. Судьбе было угодно часто шутить надо мною, и, не иначе как в шутку, первоклашкой ходил я в родной дом. Сейчас на месте этого давно сгубленного дома стоит двухэтажный особняк, построенный местной самогонщицей для своего сыночка, тоже промышляющего подпольным торговым делом и отравляющего падших в пьянку палёнкой, т. е. древесным спиртом. Ему уже и самогонку гнать не надо, хотя под домом он устроил целое бетонное помещение для устройства там самогонного цеха. Вероятно, сейчас там склад с бочонками травленой жидкости.

Ну да Бог с ними, с этими жлобами, что заполонили моё родное село наседающими на него со всех сторон особняками, виллами и современными дворцами. А когда-то наш дом с первою в деревне террaской был самым видным и, однако, самым шумным. Дед Павел, устремясь к торговому делу, сшибал какие-то подряды, пытался проникнуть в потребиловку и винополку. На недолгое время проникал, но в силу сверхобщительного характера и склонности царить в винополке не только на правах хозяина, но и потребителя быстренько оттудова вылетал. Старший его сын и мой отец, Пётр Павлович, был из дома отца изъят Яковом Максимовичем и под крылом его, лупимый часто кулаком, порой и палкою, обучен мельничному делу, как оказалось впоследствии, на беду и горе нашей семьи.

Когда пала третья жена Павла Яковлевича и остался полный дом детей, приблудного люду, печник Махунцов, например, знаменитая на всю округу личность, годами тут обретался, а во дворе ревела и била стойла некормленая скотина, дед проделал ещё одну дерзкую операцию — раз за него никто замуж не идёт, женил старшего сына на Потылицыной Лидии Ильиничне, моей будущей маме. Так вот в содомном, часто пьяном доме моего деда появилась работница из большой, трудовой и крепкой семьи. И хотя ломила она работу день и ночь, справиться с таким разгильдяйским домом и хозяйством одна была не в силах. И тогда дед задумал и провёл ещё одну очень простую, но предерзкую операцию.

Надев всё «выходное» на себя, начистив хромовые сапоги, прихватив гармошку, он с верховскими обозниками подался вверх по Енисею искать себе жену. На самом Енисее ничего у него не получилось, и он, как опытный стрелок и рыбак, ринулся на его притоки, где и сопутствовала ему удача.

На волшебно-красивой реке Сисим, в одноимённом селе, ныне не существующем — затоплено, высватал он сироту, вошедшую в лета, и уже немалые, Марию Егоровну Осипову. Поскольку дед был человеком с коммерческими наклонностями, для начала он наполовину обсчитал её в детях. «Бабушка из Сисима» — так звал я её маленький, так и написал на её могильной плите. Она была очень красива, бела лицом, нраву несколько скрытного и невероятная чистюля. Ох, сколько горя и мук она приняла за свою жизнь в семейке Астафьевых и за семейку Астафьевых.

Мария Егоровна обихаживала дом, стряпала, варила, стирала, мама моя, почти ровесница свекрови, ломила во дворе, папа мой и дед Павел, свалив дом и хозяйство на двух молодых женщин, гуляли и плясали, хвастались ружьями, собаками и конями. Яков Максимович с мельницы почти не вылезал, видеть он не мог, как живут и правят жизнь в доме его сын и внук.

Папа мой был темпераментом награждён от отца своего и быстренько изладил маме двух девочек, но те не выдержали бурной жизни в мазовском доме и умерли маленькими, и я по сию пору не знаю, скорбеть ли по ним иль радоваться, что Бог их прибрал во младенческом возрасте, однако я всю жизнь ощущал и ощущаю тоску по сестре и на всех женщин, которых любил и люблю, смотрю глазами брата. И они каким-то образом всегда это чувствовали, старались заменить мне сестёр, и, видимо, не напрасно первой любовью наградил меня Господь к сестре милосердия, в госпитале.

Но вот пришла пора и мне родиться. В доме гульба, дым коромыслом, и мама ушла рожать в баню, благо это была одна из первых «белых» бань в деревне, и всё завершилось благополучно. Дед Павел последнее время водился с городской знатью — зубоставами, парикмахерами, лавочниками, адвокатами иль скорее судебными ярыжками, на более высокое городское сословие он не тянул, но ему и этой шушеры вполне хватало для удовлетворения честолюбия и умной беседы.

Утром мама пришла в дом с узелком и показала деду его первого внука. Восторг, рёв, звон бокалов, «аблокаты» вызвались меня крестить и дали мне модное городское имя. Я был первым на всю деревню Виктором. Федек, Петек, Серёжек, особенно Колек и Иванов дополна, а Виктор один. Вероятно, роды были тяжёлые, попробуй легко родить такого типа, как я. Через несколько дней мама вышла из горницы больная, бледная и, естественно, спросила: окрестили ль парнишку и, если окрестили, кто крёстные, где они и как их звать.

Дед замельтешил, стушевался — имён крёстных он не помнил, и тогда мама заплакала и сказала, ну ладно с ней, как с собачонкой, обращаются, а с парнишкой-то зачем так? Маму дед уважал и всю жизнь вспоминал с почтением и виновностью перед нею. Он пошёл в церковь и как-то уломал попа окрестить меня снова под тем же многозвучным, модно-городским именем. Поп, скорее всего, пьяных «аблокатов» всерьёз за крёстных не принял и в церковную книгу их не записал. Вторыми крёстными у меня были сестра мамы Апраксинья Ильинична и юный брат отца Василий Павлович.

Какое-то время семья Мазовых жила мирно и спокойно. Мария Егоровна не убереглась от пылкого деда и родила сыночка, назвали его Николаем. В 1927 году отец мой съездил в устье Енисея под Гольчиху на рыбалку, изрядно заработал и по возвращении с путины широко загулял. Будучи деревенским красавчиком и маломальским гармонистом и плясуном, был он большой волокита, отчего сомневался во всех женщинах, в том числе и в маме. В компаниях он её ревновал к мужикам и шиньгал всё время, т. е. щипал и толкал локтём. И дощипался до того, что однажды мама моя, человек твёрдого характера, но не без вспыльчивости, что передалось и мне, сгребла мужа в беремя и потащила его топить в Енисей.

Отобрали добрые люди папу. «И здря, и здря отобрали», — заверяла потом бабушка, Екатерина Петровна, на дух не переносившая гулевого зятька. Несколько раз мама уходила из дома Мазовых, но, имея доброе сердце, начинала жалеть мазовских ребятишек, не обихоженную скотину, тосковала по дому свёкра, да и папу, видать, любила на горе своё и беду, вот и возвращалась батрачить в надсадном хозяйстве Мазовых.

Тем временем на страну Россию, на село наше и на безалаберное семейство Мазовых надвинулись эпохальные события и перемены, началось раскулачивание и коллективизация. Везде и всюду по Руси великой мельник был первым кандидатом в кулаки, и Яков Максимович Мазов не избежал этой участи. Ему перевалило за сто, на мельнице он давно не работал, сдавал её в аренду сельской общине, и в любом, разум не потерявшем государстве трясти его, кулачить и затем из дома гнать было бы предосудительно, но у нас все моральные

устои, уважение к старости, понятия чести и совести как-то сразу и охотно были похерены. Оказались мы, русский народ, исторически к этому подготовлены. И уроки костолома сумасшедшего, Ивана Грозного, и реформы пощады не знавшего Великого Петра, и затем кликушество народившейся интеллигенции, породившее безверие, высокомерное культурничество нигилистов, плавно перешедшее и переродившееся в народничество, метавшее бомбы направо и налево, наконец наплыв революционеров на Россию сплошь нерусских оголтелых фанатиков не прошло даром.

Тёмная, неграмотная страна продрала спросонья очи, круто взялась за преобразованья, поднялась на борьбу не только за своё счастье, но и всего мирового пролетариата. Дед Мазов, дни и ночи игравший с бабкой Анной в карты и люто её ревновавший, раньше-то некогда было, на мельнице обретался круглые сутки, время на причуды не оставалось, вот он и навёрстывал упущенное, изводил тоже столетнюю жену свою. Как вскоре оказалось, был он уже «не в себе», и когда Мазовых всем табором и его с женой вытряхнули из дому, не сразу догадался, что произошло. Его с бабкой Анной переселили в баню, и оттудова нёсся по окрестностям дребезжащий боевой напев: «Ето есь наш последний и решительный бой…» Кто завёз на мельницу эту славную песню, дед уже не помнил.

Песенка эта так прилипла к деду Мазову, что и на пароходе «Спартак», везомый на Север, в ссылку, он, приплясывая в кальсонах на палубе, повторял и повторял эти слова…

А до этого была тяжёлая высылка из дома, из разорённого села, в котором из 250 домов после завершения коллективизации осталось 85, остальные были сведены с земли, растасканы на дрова, сожжены ради потехи, но большей частью уплавлены со всем скарбом, иногда и с разобранной печью в Красноярск. Закачинский посёлок по улице Лассаля (ныне Брянская), вся почти Покровка, дальние окраины Николаевки выросли за счёт сбежавших от коллективизации приенисейских крестьян.

Самая тяжкая ноша или, точнее, доля досталась Марии Егоровне, бабушке моей из Сисима.

Отец мой был с семьёй отделён от семьи заранее предусмотрительным отцом, Павлом Яковлевичем, и семья наша обреталась в зимовье, где мама до высылки спасала ребятишек и стариков мазовских. Затем бдительная власть, пуще огня боящаяся своего народа, пересадила глав раскулаченных семейств в тюрьму. И Вася, мой крёстный, вслед за отцом был посажен в тюрьму, как только ему исполнилось 16 лет. Бабушка из Сисима со всей оравой попала на пересылку в Николаевку. Там, неподалеку от кладбища, на пустыре был огорожен колючей проволокой загон, в котором томились тысячи семей спецпереселенцев. В загоне не было никаких построек, даже нужников не было. Люди растоптали, размесили загон, скоро тут началась дизентерия, подкрадывались и другие страшные болезни, которые преследовали и преследуют скученных, обездоленных людей.

Видимо, в загон загнали людей на короткое время, но бардак и разгильдяйство, порождённые советской властью и до се не изжитые, привели к тому, что люди начали гибнуть. Прежде всего дети. Их ночами выносили за прово-

локу и возле въезда складывали в кучи. Слово «сибиряк» в ту пору произносилось реже, чем сейчас, но истинные сибиряки были, они, объявляя себя родственниками, разбирали и хоронили мёртвых детей, помогали затворникам, чем могли, иных и выкупили у охранников, забрали к себе.

И вот избавление от нечаянного концлагеря — везут на Север, строить новый порт Игарку. Во главе мазовской оравы, где нет ни одного трудоспособного человека, и таких семей здесь большинство, Мария Егоровна. Расположились удобно, в трюме, и ехали ладно до Енисейска и Подтёсова. Там на пароход ввалилась орда пролетариев под названием «ирбованные» и подняла хай — как так, вражеский элемент расположен с комфортом, а сознательные советские трудящиеся загибаются на палубе.

Вытряхнули Марью Егоровну, вытряхнули из трюма вместе с помешавшимся стариком и ребятишками. Попали они табором за пароходную трубу. Пароход отапливался дровами, и, хотя на трубе была решётка, мелкие уголья вылетали наружу, падали на половики, одеялья, одежонку, которыми были укрыты спящие мазовские. Бабушка обирала пальцами уголья, и, когда пароход пристал к берегу возле Чёрной реки на карантин, брюшки её пальцев были сожжены до костей.

Всё это и дальнейшая судьба Марии Егоровны и детей Мазовых описано в «Последнем поклоне», «Краже», в рассказах, и повторяться нет надобности. Скажу только, что Мария Егоровна полной мерой изведала муки за чужую семью, за верность и преданность семье, из которой в Игарке смог работать только один член семьи — Иван Павлович, четырнадцати лет от роду. Был он человеком неунывным, башковитым, скоро выучился на рубщика и стал зарабатывать деньги, кормить семью. Погиб он в Отечественную войну под Сталинградом и похоронен в братской могиле в деревне Селиваново в 17 верстах от Сталинграда.

Осенью, уже в начале октября, с шугой вместе прибыли из тюрьмы Павел Яковлевич и Василий Павлович. Марья Егоровна перевела дух, но рановато. Зима, лютая, заполярная, убавила семейство, умер от цинги дед Мазов, мучительно и долго боролся за жизнь один из сыновей деда Павла, горбатый Алёша, но на горбу у него открылся свищ, и он пал, приняв все муки, какие уготовила ему, и без того несчастному человеку, судьба. Остальных Мария Егоровна сохранила, сберегла, прежде всего в люльке привезённого в ссылку сыночка своего — Николая.

А в это время в деревне преобразования и борьба за счастье человека набирали мощь и силу. По пустым избам гулял ветер, по селу ходили и гуляли местные коммунисты: Ганька Болтухин, Шимка Вершков, хитро к ним прильнувший Фокин Фёдор, он же Федоран, наша невестка, жена дяди Дмитрия, Татьяна, женщина здоровая, четверых уже детей нарожавшая, но никакого внимания ни на них, ни на мужа, ни на дом, а жили они долго в зимовье, на подворье Потылицыных, не обращавшая. Вся она была охвачена революционным энтузиазмом, одной из первых вступила в партию и, поскольку была маленько грамотная, занимала какую-то должностишку в комбеде, активно боролась с кулачеством.

Лиза, одна из сестёр моего отца, красивая и работящая деваха, гулявшая с хорошим парнем Фёдором Сидоровым, пристроилась к сидоровской семье, сам папа и мама моя жили случайными заработками. Но вот наступили совсем тяжкие времена, пашни и огороды запущены, колхоз имени Щетинкина, наспех сколоченный, на ладан дышит, в деревне нечего жрать — мельница-то деда Мазова умолкнула, замёрзла. Нашли, призвали моего папу мельничать, пообещав зачислить его и маму мою в колхоз, чему мама была безмерно рада, но потрудиться ей на счастливой, коллективной сельхозниве не довелось.

Папа мой, восстановив мельницу, снова загулял, закуролесил, не понимая текущего момента, и однажды сотворил аварию, но мельница-то не его уже и не дедова — это уже социалистическая собственность, и папу посадили в тюрьму, в красноярскую, ту самую, что и сейчас красуется на проспекте Свободном. Мама нанималась на подённые работы, пилила дрова на продажу, собирала ягоды на продажу и плавила их в город, где собирала посылку заключённому мужу.

В 1931 году семью нашу постигла ещё одна, всю нашу жизнь потрясшая трагедия. Плывя с передачей в Красноярск, мама моя, Лидия Ильинична, утонула прямо напротив деревни. Вскоре отца осудили на пять лет как врага народа и послали на строительство Беломоро-Балтийского канала имени товарища Сталина.

В это тяжёлое, смутное время случилась ещё одна драма, впоследствии обернувшаяся трагедией. Фёдор Сидоров, муж Лизы, работавший в колхозе кладовщиком, сделал растрату. Был он человек добрый и отзывчивый, кому совок крупы, кому пудовку зерна даст взаймы, чтобы накормить голодных детей, а отдавать-то нечем. На нём и то висело клеймо «ненадёжного человека», как же — женат на подкулачнице. Однажды Фёдор с Лизой из села бежали, оказались в городе Черемхово, сменили фамилии, достали документы, Фёдор работал шахтёром, а Лиза поваром на той же шахте, где и муж работал.

Они родили двух детей-шахтёрок, жили благополучно, насколько можно жить в замордованной, несчастной стране. Накануне войны, в ночь на 22 июня, с Лизой случилось несчастье, паром, выбившимся из котла, ей ошпарило глаза, какое-то время она жила и мучилась слепая, потом к ней привязался рак, и ещё одну страдалицу — русскую женщину смыло с забедованной русской земли.

В 1934 году, построив великий канал, папа возвратился из заключения, начал гулять и активно свататься, в деревне Бирюсе охмурил он молодую, красивую деваху из большой семьи Черкасовых, Таисью Ивановну, и быстренько сотворил ей младенца, которого без мудростей назвали Николаем. Хватили бед и горя и мачеха моя, и младенец Коля, и я вместе с ними. В повести «Перевал» почти с точностью описана первая зима, проведённая боевой семейкой в посёлке Сосновка, в повести переименованном в Шипичиху.

В 1935 году нас унесло в Заполярье, на большие заработки. Что из этого получилось, можно узнать из повести «Последний поклон», прочитавши главы «Без приюта» и «Карасиная погибель».

В 1939 году утонул дед Павел, и вскоре подоспела война. Иван и спустя год Василий угодили на фронт, где и погибли, защищая столь к ним любезное отечество.

Бабушка из Сисима, Мария Егоровна, с сыночком всю войну отбедовали в Игарке, а мой егозливый папа с неизлечимой страшной болезнью — псориаз как-то умудрился попасть на фронт, командовал там сорокапяткой, был ранен в голову и из госпиталя комиссован домой, где вместе с пылкой мачехой, Таисьей Ивановной, сотворил ещё четверых детей — двух парней и двух девочек, — и они хватили горя не меньше, чем я, давно семьёю отверженный и забытый.

В 1942 году я окончил железнодорожную школу ФЗО № 1 на станции Енисей и недолго проработал по распределению на пригородной станции Базаиха составителем поездов.

Отсюда, со станции Базаиха, я добровольно ушёл в армию, угодил сперва в 21-й стрелковый полк, располагавшийся под Бердском, возле Новосибирска, а затем в 22-й автополк, что стоял в военном городке Новосибирска.

Весной 1943 года вместе со всем полком был отправлен на фронт и угодил в гаубичную 92-ю бригаду, переброшенную с Дальнего Востока, в которой и пробыл до сентября 1944 года, выбыв из неё по тяжёлому ранению.

Более в строй я не годился и начал мыкаться по нестроевым частям, которые то мне не подходили, то я им не мог пригодиться, пока не угодил в военно-почтовую часть, располагавшуюся неподалеку от станции Жмеринка, в местечке Станиславчик. Здесь я повстречал военнослужащую Корякину Марию Семёновну, сразу же после демобилизации женился на ней и поехал на её родину, в город Чусовой Пермской (в ту пору Молотовской) области. В этом городе мы прожили 18 лет, хватили полной мерой счастливой жизни в самом счастливом и свободном государстве под названием СССР.

Здесь родились и выросли наши дети: дочь Ирина и сын Андрей, а первого ребёнка, дочку Лидию, названную в честь моей мамы, мы потеряли, и здесь же, в этом незабываемом городе, я начал пописывать, попал работать в местную газету «Чусовской рабочий», затем недолго поработал собкором Пермского областного радио. Здесь же в 1951 году опубликовал в «Чусовском рабочем» первый свой рассказ. Он был замечен, и я начал заниматься литературным трудом. В феврале 2001 года будет пятьдесят лет моему литературному стажу.

Отсюда, из города Чусового, осенью 1959 года я уехал учиться на Высшие литературные курсы в Москву, которые и окончил в 1961 году. Из тяжёлого города, с тяжёлой промышленностью, загазованного, задымленного, где нравы и мораль не способствовали творческому труду, даже наоборот, угрюмой провинциальностью не прощающего «выскочек» и вообще всякую грамоту, надо было уезжать.

Тянуло на родину, в Сибирь, но обстановка в красноярской писательской организации была как в зэковском бараке, где правят и мордуют всех, кто им не нравится, местные литературные паханы.

Остались на Урале, в Перми, наконец-то дали нам квартиру — хрущёвку, где работать даже такому неизбалованному сочинителю, как я, было невозможно. Стали искать домик в деревне. Мой давний покровитель, а затем и старший верный друг главный редактор Молотовского издательства Борис Никандрович Назаровский предложил съездить за Камское водохранилище на Винный завод, названный так потому, что ещё при императрице Екатерине здесь курили вино. Ничего не скажешь, царёвы подданные умели устраиваться. Винный завод, даже подтопленный водохранилищем, сохранивший с десяток домиков, стоял на шикарном, можно сказать, месте. Песчаные пляжи по берегам, в лог втекал светлый ключ, сзади посёлка шикарный сосновый бор. Поскольку электричество и все достижения прогресса из-за образования нового моря-водохранилища были отключены и ликвидированы, заречные жители покинули свои гнездовья. Избы продавались по всему берегу. А уже начиналась дачная стихия, и как я представил себе, что будет делаться на этих берегах через десять лет, то и попросился куда-нибудь поглуше и попроще. Через жёлтоствольный бор, в котором водились черника, брусника, а по опушкам и возле дороги земляника, Борис Никандрович повёл меня в почти уже опустевшую деревню Быковку, что стояла на берегах одноимённой речки. По дороге я увидел, как много птиц и всего прочего обитало в бору, здесь был даже полуразбитый глухариный ток, и несколько тяжёлых птиц слетело с дороги и с ягодных полян.

В деревне Быковке мы выбрали и купили вконец запущенную избу, да и как она могла быть незапущенной, если за последние годы в ней успело пожить тринадцать колхозников с семьями, последний, четырнадцатый, был мельник, но мельницу он сгубил по пьянке, вовремя не отдолбив ворота для весенней воды, которая напором своим промыла часть плотины, вода из пруда укатилась, мельница умолкнула, да и молоть здесь уже было нечего и не для кого.

В Быковке, приведя избу в порядок, мы прообретались лет семь, как оказалось потом, самых плодотворных в моей работе и самых счастливых в нашей жизни. Здесь была ещё приличная охота, в речке водилась рыба, природа была хоть и повреждена лесозаготовками, но вся ещё не убита до конца. Но в море вырубок и уцелевших лесочков свирепствовал клещ, и у меня сразу двое — Марья Семёновна и её племянник, выросший в нашей семье, смертельно заболели энцефалитом. Спаслись оба, но по существу сделались инвалидами.

В Быковке я написал «Кражу», первую книгу «Последнего поклона», повесть «Пастух и пастушка», до десятка рассказов и там же начал писать «Затеси», однако от Урала успел устать, дела в писательской организации после ухода на пенсию её руководителя Клавдии Васильевны Рождественской шли к развалу, здесь царило пьянство и тунеядство, и я решил покинуть опостылевший мне край.

В 1969 году, в феврале, я переехал с женой и дочерью в Вологду, сын в это время служил в армии, племянник жены обзавёлся семьёю, которая скоро распалась. Связь с Уралом не ослабела по причине той, что у Марьи Семёновны остались там все родственники и сын, Андрей по возвращении из армии поступил в Пермский университет.

В Вологде мы прожили десять лет, очень для меня плодотворных и более или менее благополучных в смысле быта.

И чем дальше я жил среди вологжан, чем больше читал о «тихой моей родине» воистину сыновних признаний, написанных с преданной любовью и поражённых квасным патриотизмом, тем острее ощущал, что живу всё-таки вне дома своего. В это время я часто летал в Сибирь, ещё было много родных в Овсянке и в городе, писательская жизнь в Красноярске шла по-прежнему в склоках, всё ещё угнетали здешнюю литературу графоманы и нахрапистые партийцы, поддерживаемые крайкомом партии.

Борис Васильевич Гуськов, тогдашний заведующий отделом культуры крайкома, всё настойчивей звал меня «домой». И однажды я поставил ему условие — квартиру за городом, желательно в Академгородке, ибо, живя в центре города Вологды, побыл уже в осаде графоманов и праздношатающихся творческих людей, в дела мои не вмешиваться, помочь с ремонтом, скорее с оформлением покупки дома в родном селе.

Дом этот, принадлежавший односельчанину Юшкову Василию, я уже подсмотрел давно и с хозяином его договорился — дом был запущен, полугнилой, но в родном переулке, напротив дедова дома, где прошли мои самые памятные детские годы, в одной его половине жила моя тётка и крёстная Апраксинья Ильинична.

Осенью 1980 года я переехал «домой». Марья Семёновна устраивала в Вологде детей и внуков, она это умеет делать лучше меня, и в Красноярск приехала гораздо позднее.

«Дома» мне сделалось спокойней и, поборов рутину, склоки, прямой и явный давёж со стороны крайкома, где уже устали «бороться» с местными писателями и охотно уступили поле брани тем, кто хотел навести здесь хоть какой-то порядок, удалось успокоить писателей, упорядочить творческую жизнь.

И сам я принялся жадно работать в своём домике в родном селе, совсем перестал ездить на Урал. Домик в Быковке отдали мы жене племянника, а она продала его другу нашего сына, который женился в Вологде и живёт там своей семьёй до сих пор. Дом же в Быковке позапрошлой зимой спалили забравшиеся в него бомжи, и как-то остро я почувствовал ещё одну заплатку, приклеившуюся к сердцу, всё же многое меня связывало с Уралом, и, пока стоял дом в Быковке, связь эта была более осязаема, а вот в домике иль, точнее, домишке, построенном мною в городе Чусовом, затеян литературный музей, и дела в нём, сколь мне известно, идут к завершению. Вообще на Урале после того, как я уехал, «любить» и даже ценить меня стали больше, а вот в Вологде вроде как обиделись, что я уехал, не понимая, что не одним им хочется жить дома, и писать о своей родине, и любить её не издаля, а живя и вместе с нею перебарывая время, перенося все страдания, муки и постоянное ощущение счастья соприкосновенья с нею.

В Вологде похоронен мой отец, Пётр Павлович. Досрочно освободившись из заключения, он завербовался в рыбаки, на Каспий, долго жил в Астрахани, там снова женился и снова овдовел. Он в последующие годы почти каждое лето наезжал к нам в отпуск, очень любил жить в Быковке, а затем и в деревне, в вологодской Сибле,

где я купил дом, и тоже все собирался «домой», в Сибирь, но пить не перестал, оброс хворями, через пятнадцать лет совместной жизни, не дотянув года до моего приезда в Сибирь, скончался и поместился на городском кладбище, в сырой глине.

Умерли все родственники Марьи Семёновны и на Урале, почти не стало близкой родни и у меня в Сибири, лет шесть назад я похоронил в Дивногорске мачеху Таисью Ивановну, поместив её рядом с дочерью Ниной и сыном Анатолием. Юная дочь её была бойка, красотка, в Петра Павловича удавшаяся, мечтала стать альпинисткой и сорвалась со скалы, что против Дивногорска, с той самой скалы, на которой шибко любившими родную партию патриотами было крупно написано «Слава КПСС».

Анатолий умер от алкоголизма. Николай, старший сын мачехи, переехал из Игарки в Ярцево, растил двух парней, Владимира и Анатолия, но заболел раком и умер в мучениях двадцать с лишним лет назад, одного из его сыновей, Владимира, убили в Афганистане, второй живёт в Ярцеве.

В Игарке живёт и рыбачит один из средних сыновей отца — Владимир; выехала из Игарки, живёт и работает в Красноярске очень похожая на отца Галина Петровна.

Очень печальна судьба тех родичей и овсянцев, что были разорены и из родного дома выгнаны, в ссылки увезены, в бега ударившиеся — Лиза, Елизавета Павловна, получив инвалидность, умерла от неизлечимой болезни в день начала войны, 22 июня 1941 года. Фёдор женился вторично и с новой женой нажил ещё двух дочерей, одна из которых, названная Лизой, однажды написала мне письмо с Сахалина, и я ей послал ответ, но, не надеясь, что женщине удастся разобрать мои каракули, попросил его напечатать на машинке, чем напугал человека, выросшего в страхе и на вечном подозрении.

Сам Фёдор, почуяв приближающийся конец жизни, тайком приехал в Овсянку, потому как всю жизнь тосковал по ней, а как по ней тоскуют, мне объяснять не надо, я знаю это по себе.

В доме Сидоровских, возле которого ныне сидит на корточках больной пьяный Анатолий Иванович, собралась вся родня, выпили, поговорили, и Фёдор попросил баб попеть. Песельницы у Сидоровских знатные, да ещё наша Анна тут была, сестра Фёдора, Лизавета, как рявкнула, так и электричество заморгало. Фёдор испугался, попросил сестёр и родственников петь шёпотом, они пели шёпотом до утра. Фёдор вернулся в Черемхово и вскорости умер. А Лизавета сахалинская уже в мою бытность в Овсянке появилась здесь, объяснила мне, отчего не ответила на моё письмо.

Вот он, страх, страшное наследство, перешедшее от отцов и матерей, дедушек и бабушек, этакое страшное коммунистическое наследие, доставшееся нашему народу и до сих пор угнетающее его.

Забыл заметить, что прабабка Анна не угодила в ссылку в Игарку вместе со всеми, она тяжело заболела и умерла на 102-м году жизни на Усть-Мане, где и похоронена мачехой моею, царство им обоим небесное.

Здесь же, в Сибири, настигла нас страшная беда. Тринадцать лет назад, в Вологде, больная сердцем, скончалась наша дочь, Ирина Викторовна, я перевёз её

гроб на овсянское кладбище, где она и лежит под берёзами, где завещали мы с женою нас поместить по окончании наших земных сроков.

Дедушка Илья Евграфович умер в 1935 году, бабушка Екатерина Петровна умерла в 1948 году, они, а также тётя Мария, дядя Дмитрий похоронены в одной ограде с мамой на старом овсянском кладбище. Чтобы не затерялись их могилы, я заказал и положил в могильную ограду мраморную плиту, на которой перечислены все мне родные, давно усопшие люди.

Тяжкая доля была почти у всех русских людей, в первую голову крестьян, но особенно тяжкая жизнь выпала на долю бабушки из Сисима Марии Егоровны.

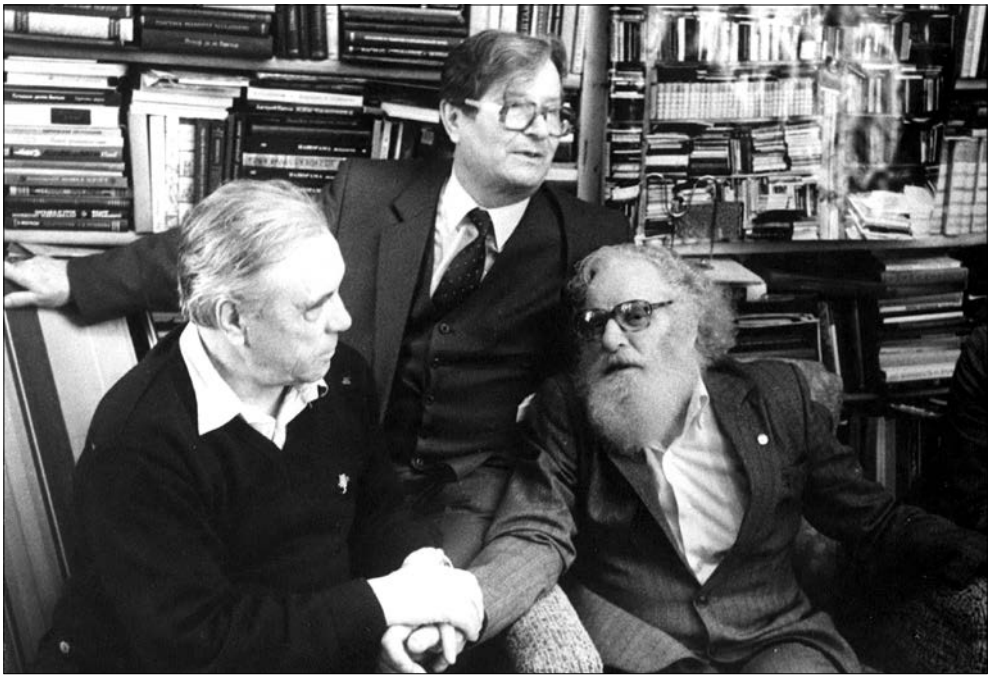
В 1947 году я её вывез наконец-то из опостылевшей ей Игарки, к этой поре она осталась совершенно одна, ибо любимого её сыночка забрали в армию, «по умной» привычке, как закалённого Севером человека, на Север же и отправили. Он, вместе с ещё семью архаровцами, попал под Магадан, на маяк, что стоял на необитаемом острове. Остров этот был поросший кустами и ягодниками. Раз в год морякам маяка завозили продукты, муку, сахар, соль. Они сами себе пекли хлеб и попутно научились производить брагу и даже ягодное вино.

Мария Егоровна, проверенный, качественный кадр, всё это время служила прислугой у военного профессора-хирурга, терпеливо дожидаясь домой сына. Но дома-то своего у неё фактически не было, и, когда вернулся Николай, они какое-то время жили у племянницы Марии Егоровны, Юшковой Валентины Осиповны.

Увы, Николай вместе с компанией моряков-маяковцев вернулся домой законченным алкоголиком и гомосексуалистом. Он поступил работать на красноярскую швейную фабрику электриком, даже женился и во вновь построенном швейной фабрикой доме в Покровке получил квартиру. Но пороки, нажитые в доблестной нашей армии, преследовали его, губили. Со швейной фабрики, где в комнатке электриков Николай устроил пивнушку, его прогнали, он устроился туда, куда подбирали всех пропойц и бродяг, в троллейбусный парк, и опять электриком. Пил он уже беспробудно, стал отбирать у матери пенсию и те деньги, которые я ей посылал, жену, разумеется, потерял, друзей настоящих у него и не было. Дело кончилось тем, что ему отрезали в больнице половину желудка, но он всё равно пил, слабел, опускался, стал поднимать на мать руку и однажды решил её убить и повеситься. Я опоздал всего на четыре дня, летя из Вологды через Москву, по погодным условиям остановился в Новосибирске, и тут меня стопорнули мои верные друзья.

Когда я явился в Покровку, в доме, всеми брошенная, на грязной кровати, лежала избитая, изувеченная бабушка из Сисима, а на шпингалете большого окна белел умело, по-моряцки, завязанный узелок. Похороны Николая толпою полупьяных мужиков из троллейбусного парка, оформление бабушки в дом инвалидов, о, это позорное и надсадное зрелище мне уже не забыть до конца дней моих.

Заведующая покровской клиникой или отделом, ведающим оформлением несчастных в дом инвалидов, оказалась горластая, золотом обвешанная еврейка, а какой еврей не покуражится, не поиздевается над русским человеком, если ему



В. П. Астафьев, Т. В. Ряннель, И. М. Кузнецов. Красноярск, 1980-е гг.

предоставляется такая возможность. Меня обвиняли в том, что это я, так называемый сраный писатель, бросил бабушку, споил и угробил своего дядю.

Когда всё закончилось, я уже и сам был на грани погибели, спасло меня то, что догадался поехать в Казачинское, к Николаю Волокитину, который в ту пору работал там редактором районной газеты.

Лет шесть назад умерла и племянница бабушки из Сисима, Валентина Осиповна, во время похорон гроб её вытаскивали в окошко, ибо в двери её хоромины, нажитые долгим трудом, домовина не проходила. Более некому стало ухаживать за могилами бабушки, Марии Егоровны, и её несчастного сына. Чтобы могилы не потерялись, я попросил поставить на них оградки. Но время, неумолимое время идёт, всё меняется, и на кладбище Бадалык тоже. Бабушка и Николай когда-то «открывали» это кладбище, и в прошлом году я уже с большим трудом нашёл могилу бабушки, а могилу Николая Павловича не нашёл. Надо было много бродить по густонаселённому кладбищу, где в старой его части уже захоронения делаются на прежние могилы, ходить я много не могу, вот и потерял ещё одну могилу.

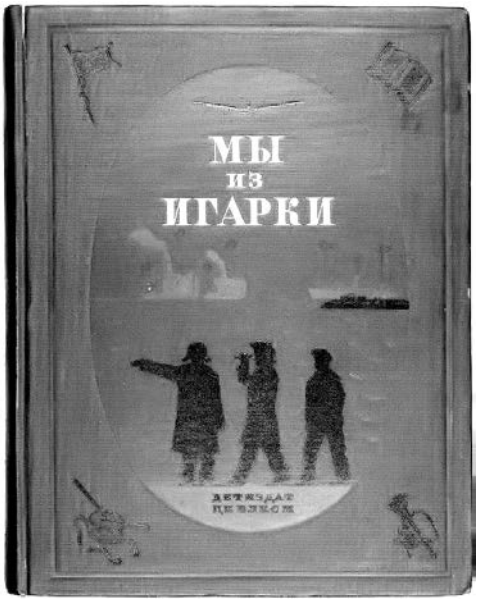
Огромное чувство вины носил и ношу я в сердце перед бабушкой из Сисима Марией Егоровной и её сыном, да и перед всей роднёй, с каждым годом всё уменьшающейся.

Уже нет не только тёток моих Апраксиньи и Августы Ильиничны и дяди, Кольчи-младшего, не стало и брата моего двоюродного, Николая Ивановича, умерли оба сына Апраксиньи Ильиничны, Александр Павлович и Иван Павлович.

Когда я изредка перебираю старые альбомы с фотографиями, то вижу, что кругом меня обступили покойники, это после семидесяти лет, а каково-то тем людям, которые перевалили за девяносто и не утратили памяти.

Поэтому не хотел бы я заживаться долго, неся на себе всё более тяжелеющий воз утрат. Пока ещё сохраняется моя трудоспособность, пусть и не такая уже неистовая, как прежде, пока ещё ясна память и хоть плохо ходят ноги. Но недуги обступают, надвигаются со всех сторон, и хотел бы я, как и многие люди с чистыми помыслами и не до конца утраченным оптимизмом, покинуть всех вас, дорогие мои, не намучив себя и вас, с пишущей ручкой в руках и пусть на слабых, но на своих ногах.

Мы из Игарки



В 1938 году ленинградское издательство «Детская литература» тиражом 25 тысяч экземпляров выпустило уникальную книгу под названием «Мы из Игарки».

Авторами книги были школьники города Игарки. Идея рассказать о «своей жизни на краю земли», об истории своего уникального северного города возникла у учащихся школы № 3 ещё в декабре 1935 года. Ребята написали письмо своему любимому писателю Максиму Горькому, и ответ не замедлил прийти. В то время в пяти школах города училось около двух тысяч девчонок и мальчишек. Письмо по радио было передано в Крым, где в то время писатель находился на лечении. Похвалив ребят за инициативу, писатель ответил: «…едва ли где-нибудь на земле есть дети, которые живут в таких же суровых условиях природы, в каких вы живёте, едва ли где-нибудь возможны дети такие, как вы, но будущей вашей работой вы сделаете всех детей земли столь же гордыми смельчаками…»

Первое издание книги в 1938 году осуществилось при поддержке А.М. Горького и французского писателя-коммуниста Ромена Роллана. Они одобрили стремление школьников Игарки рассказать о своём городе, который был по-



Здание управления Главсевморпути. Игарка, июль 1938 г. Фото И. И. Балуева

строен на вечной мерзлоте и был полностью деревянным, так как единственным строительным материалом был лес. Самые значимые проекты города, например здание городского Совета, речного порта и другие, были построены по проектам знаменитого впоследствии московского архитектора Ивана Леонидова. Деревянными были все мостовые в городе и на лесопильно-перевалочном комбинате, где в течение зимы складировались в штабеля, так похожие на дома, для просушки экспортные доски. Через морской порт Игарка по Северному морскому пути шла торговля древесиной со многими странами.

Книга «Мы из Игарки», иллюстрированная фотографиями Степана Малобицкого, была представлена на международной книжной выставке в Нью-Йорке в 1939 году и получила первую премию. Для книжной выставки был изготовлен подарочный экземпляр, он-то и поразил американцев своей изысканной полиграфией и содержанием. Мир удивила эта книга, и как не удивить: дети рассказывали о том, что для всего западного мира продолжало оставаться непонятным феноменом русских, об образе жизни, о радости труда, о братстве народов. Искренние, бесхитростные детские строчки рассказывали о жизни северного города в первом социалистическом государстве, о школьных буднях и дружбе, о радостях и открытиях, о встречах с известными людьми, о любви к природе и своей стране.

Редактором книги были знаменитые писатели Самуил Яковлевич Маршак и Тамара Григорьевна Габбе, а рецензировал книгу Иннокентий Михайлович Суслов, учёный-этнограф из Туруханска.

С тех пор книга «Мы из Игарки» стала жить и даже воевала вместе с ребятами, которые ушли на фронт в 1941 году. Став взрослыми, они принимали участие

в Великой Отечественной войне. Погибли Николай Дардаев, Василий Астафьев, без вести пропали Александр Баженов, Юрий Крылатов.

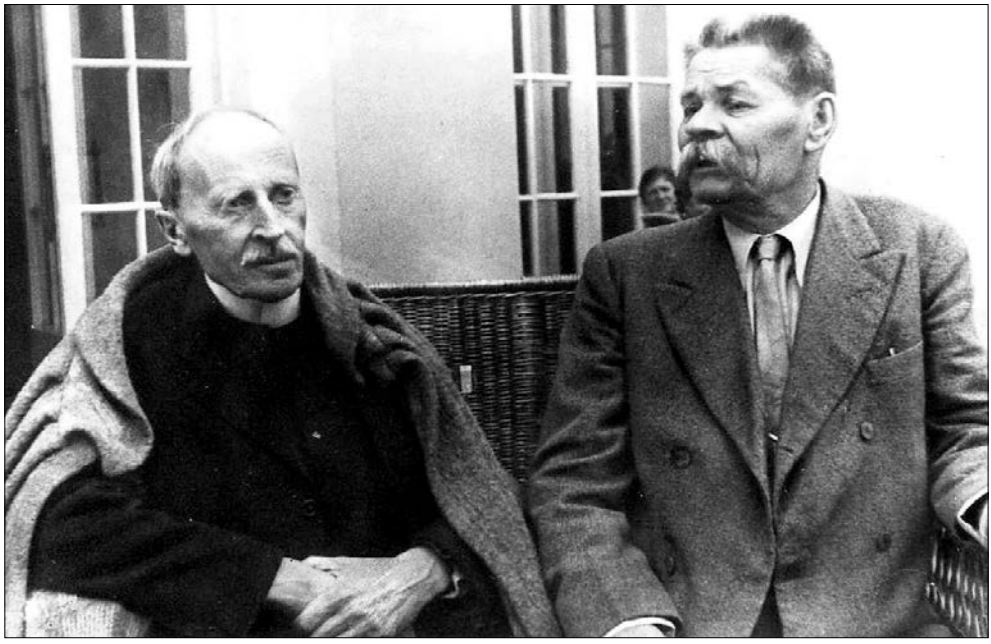
А книга живёт, пережила пять изданий и уже отметила свое 80-летие, которое широко праздновалось в Игарке в 2018 году.

Письмо М. Горького пионерам и школьникам Игарки

Сердечный привет вам, будущие доктора, инженеры, танкисты, поэты, лётчики, педагоги, артисты, изобретатели, геологи!

Хорошее письмо прислали вы. Богато светятся в простых и ясных словах его ваша бодрость и ясность сознания вами путей к высочайшей цели жизни, путей к цели, которую поставили перед вами и перед всем трудовым народом мира ваши отцы и деды. Едва ли где-нибудь на земле есть дети, которые живут в таких же суровых условиях природы, в каких вы живёте, едва ли где-нибудь возможны дети такие, как вы, но будущей вашей работой вы сделаете всех детей земли столь же гордыми смельчаками.

Вы пишете: «…когда нам не светит солнце, только три часа в день видим дневной свет, остальное время полярная ночь, морозы, пурга». Но вот и во тьме полярной ночи ярко горит солнце человеческого разума, силой которого уничтожена цинга, ещё недавно обычная болезнь дальнего Севера, силою разума на земле, окованной вечной мерзлотой, обильно родятся овощи, развёрнуто скотоводство. Всё это было бы невозможно до Ленинской революции, в ту пору, когда право



Ромен Роллан и Максим Горький, благословившие книгу игарских школьников «Мы из Игарки», изданную в 1938 г.



Городской театр на ул. Смидовича. Игарка. Фото И. И. Балуева

на широкую грамотность, на развитие разума было во власти класса помещиков, фабрикантов, лавочников.

…Большие изумительные радости ждут вас, ребята! Через несколько лет, когда воспитанные суровой природой, вы, железные комсомольцы, пойдёте на работу строительства и на дальнейшую учёбу, перед вами развернуться разнообразнейшие красоты великой нашей страны. Увидите Алтай, Памир, Урал, Кавказ, поля пшеницы, размером в тысячи гектаров, гигантские фабрики, заводы, колоссальные электростанции, виноградники Крыма, свекловичные поля, фабрики сахара, удивительные города: Москва, Ленинград, Киев, Харьков, Тифлис, Эривань, Ташкент, столицы маленьких братских республик — например, Чувашии, столицы, которые до революции очень мало отличались от простых сёл.

У вас — снег, морозы, вьюга, а я вот живу у Крыму, на берегу Чёрного моря. До революции в Крыму жил царь с его родственниками, придворная знать, миллионеры, купцы, — теперь во дворце царском Дом отдыха для крестьян и весь южный берег Крыма, все дворцы богачей превращены в санатории. Есть и лагерь пионеров «Артек». Много прекрасного в стране Союза Социалистических Советов, и оно растёт. Всё это — ваше хозяйство.

И разумеется, для того, чтобы умело владеть им, чтобы развивать его шире, необходимо, ребята, учиться много, серьёзно, честно. Всякая работа в нашей стране — работа для всех и каждого для всех, а кроме этого — работа в пример всему трудовому народу Земли. Надо воспитывать, развивать в себе любовь к учёбе, чтоб учёба была приятна, как игра.

Мозг, способность познания воспитывается упражнением, тренировкой так же, как мускулы… Бесполезных знаний нет. Поэтому я одобряю ваше же-



Школьники Игарки на уроке политграмоты, 1939 г.

лание написать книжку о пионерах Заполярья. В работе над этой книжкой вы кое-чему научитесь, а если книжка будет удачна — научите и других. Действуйте смелее. Когда рукопись будет готова — пришлите её мне, а я и Маршак, прочитав её, возвратим вам, указав, что — ладно и что — неладно и требует исправления. Будьте здоровы, милые ребята, будьте здоровы, дорогие мои.

М. Горький

Письмо Ромена Роллана

Дорогие пионеры и школьники Игарки!

Я получил позавчера вашу телеграмму — она меня очень тронула. Наверное, швейцарские телеграфисты были бы очень удивлены, если бы им перевели эту телеграмму.

Я очень рад был узнать, что за Полярным кругом у меня две тысячи маленьких друзей, что они радуются жизни и, как я вижу, полны веры в будущее и в то, что они всё сделают, чтобы мир был лучше. А вы должны об этом думать — ведь миру всегда нужны будут люди бескорыстные и честные. Как хорошие работники.

Вы хотите знать, как живут дети в Швейцарии. Слишком будет долго и сложно рассказать вам об этом. Но вообще в странах, где ещё не установился социалистический строй, жизнь очень тяжела и беспокойна.

Здесь много безработных, и дети, окончив школы, не знают, как им заработать на жизнь. А когда родители безработные, дети очень несчастны. Но может

быть, они когда-нибудь увидят победу социализма здесь у нас, на Западе. Тогда и их дети будут жить счастливее и спокойнее, чем жили сами.

Когда вы напишите вашу книгу, я надеюсь, что вы мне её пришлёте… Шлю вам самые сердечные пожелания, мои милые белые медвежатки. Работайте хорошенько и никогда не падайте духом перед трудностями. Трудности созданы для того, чтобы из превозмогать и чтобы, превозмогая их, стать более сильными.

Ваш друг Ромен Роллан
Швейцария, Вильнев, вилла «Ольга»

Я летал с товарищем Молоковым

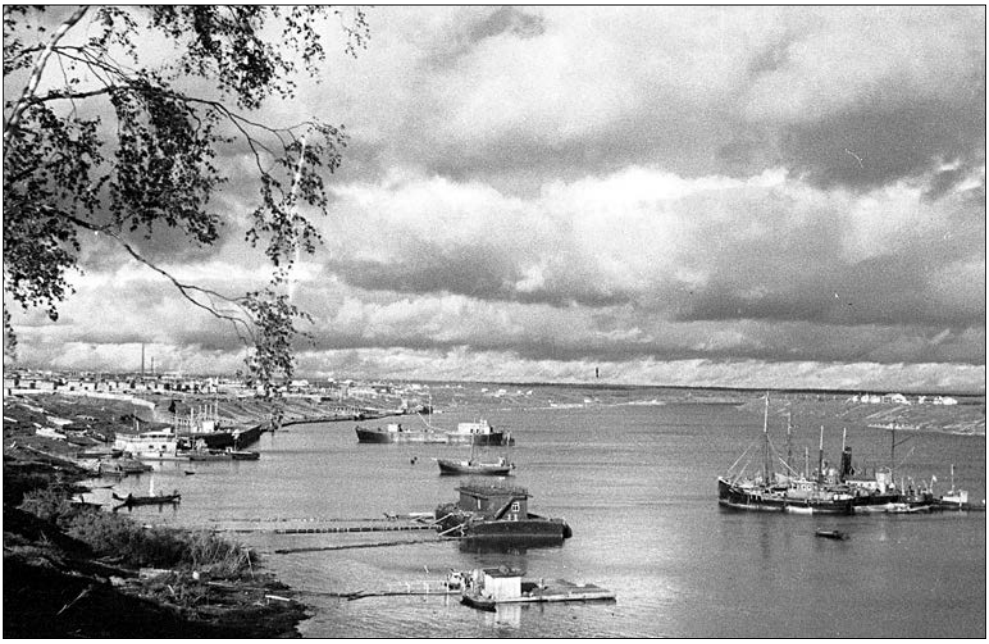
Я очень обрадовался, когда узнал, что папа едет работать на Север. Я много читал про О.Ю. Шмидта, про Героев Советского Союза. На дворе мы с ребятами часто играли в «челюскинцев», и я всегда исполнял роль Отто Юльевича.

Когда славных челюскинцев встречали в Москве после спасения, я был на Красной площади. Москва была вся украшена красными флагами и цветами. Красная площадь была тоже вся в цветах. Я смотрел на челюскинцев и думал: «Почему я не Отто Юльевич Шмидт или хотя бы не рядовой моряк с «Челюскина»? Тогда бы я стоял здесь же в числе счастливых, которых приветствовали и поздравляли миллионы трудящихся Москвы».

…Начались сборы в далёкий путь. Папа достал книжку об Игарке, но из этой книжки мы ничего не узнали, кроме того, что Игарка на Севере и что там есть совхоз. Знакомые, которые приходили к нам, в один голос советовали взять с со-



Ученики школы № 1 с учителем литературы И.Д. Рождественским, 1937/1938 учебный год



Порт и город Игарка. Фото С. О. Малобицкого

бой всё, что только есть в доме тёплого. Собрали мы много вещей: вышло четыре чемодана и три больших узла. Везти столько вещей было невозможно. Снова начали перебирать чемоданы и узлы.

…Опять начали перебирать вещи и выбирать только необходимые. Но мама так и старалась сунуть что-нибудь в уголочек: то чай, то горчицу, то чеснок или что-нибудь ещё.

Всякое рассказывали об Игарке. Помню, один знакомый даже серьёзно уверял, что ночью в Игарке бегают медведи, и стращал морозами. Недавно я получил из Москвы письмо от товарища по школе. Он совершенно серьёзно спрашивает меня, убил ли я уже медведя и отведал ли медвежатины.

Наконец мы простились с Москвой и поехали на сибирском экспрессе по железной дороге. Меня очень тянуло полететь на самолёте. В вагоне я почти не спал, а всё думал об Игарке. В короткие часы дремоты я видел страшные сны о битвах с белыми медведями при свете северного сияния.

Через пять дней мы приехали в Красноярск, откуда идёт воздушная линия на остров Диксон. Со станции мы прямо поехали на авиабазу. Там в это время шли последние приготовления к отлёту полярного лётчика Махоткина на Север. С этим самолётом нам не удалось полететь. Зато какая была радость, когда нам сообщили, что завтра вылетает на Север Герой Советского Союза Василий Сергеевич Молоков и что он заберёт нас с собой! Что тут со мной было, я не могу рассказать! Ведь я мечтал хотя бы только увидеть его близко, а тут не только увижу близко, но и полечу с ним.

Рано утром девятого октября мы приехали в аэропорт, который расположен возле Красноярска, на Енисее, на острове, названном в честь Василия Серге-

евича Молокова. Входим в здание порта. Первый, кого я увидел, был Молоков. Василий Сергеевич играл на бильярде. Я узнал его по снимкам в газетах. Он был в синем пиджаке, с орденом Ленина на груди, в фуфайке и больших оленьих пимах. Я ничего больше не видел вокруг, а всё смотрел и смотрел на Василия Сергеевича.

Окончив партию на бильярде, Василий Сергеевич повернулся к нам и, улыбаясь, сказал:

— Может, позавтракаем, товарищи пассажиры?

После завтрака, когда мы оделись в меховую одежду, он снова вошёл к нам и, увидев, как много мы понадевали на себя тёплых вещей, засмеялся и сказал:

— Ну, пошли в самолёт!

Мы берём наши чемоданы и идём к самолёту. Тёплая одежда мешает идти. Я задыхаюсь, потею и еле-еле тащусь. Василий Сергеевич остался в аэропорту забирать последнюю почту: письма, газеты для Игарки. От папы и мамы я отстал, чемодан измотал мне руки. Слышу, меня догоняет Василий Сергеевич. Он подходит и берёт из моих рук чемодан.

— Ну-ка, давай понесём вместе!

— Ничего, спасибо, товарищ Молоков, я и один донесу, — говорю я, а самому мне стыдно: «Вот, подумает, на Север поехал, а такой слабенький».

Чемодан он всё-таки у меня взял. Идёт рядом и спрашивает:

— А ты первый раз летишь?

— Да, никогда не летал.

— Ну, ничего, смелее держись, всё хорошо будет! — А сам смеётся.

Вот, наконец, и самолёт — тяжёлый самолёт-лодка «Дорнье — Валь». На нём уже возится какой-то высокий дядя. Это неизменный спутник Молокова, бортмеханик товарищ Побежимов. Долго залезали мы в кабину самолёта, путались в своей одежде и только после больших трудов и усилий спустились в люк. Самолёт целиком металлический, внутри нет сидений для пассажиров, потому что машина предназначена для перевозки грузов. Сидим, ждём. Вдруг зажужжали пропеллеры — самолёт закачался, рванулся, пробежал сотню метров по воде и поднялся на воздух

— О-о-ох! — то вскрикнула мама.

Она сидела бледная и сосала лимон, думая, что с ней сейчас будет плохо. Я лимона пока не трогаю. Самолёт начинает плавно набирать высоту. Под управлением Героя Советского Союза эта большая птица очень послушна. Вскоре самолёт начинает здорово качать, затем его бросает из стороны в сторону, и я чувствую, что мы спускаемся. Верно: скоро сели. Я думал, что это Енисейск, выглянул из кабины. Но увидел кругом только снег и снег. Папа говорит, что разыгралась пурга и что Василий Сергеевич, наверное, остановится здесь переждать непогоду. Но Молоков снова поднимается на воздух и летит к Енисейску.

Вена Вдовин

Город, которого не было на карте

На географических картах нашей страны не всегда найдёшь Игарку. На очень многих картах её и совсем нет. Как будто она вовсе и не существует. Это, конечно, неверно. Игарка есть, Игарка строится, Игарка растёт.

Ещё семь-восемь лет тому назад никто не знал об Игарке. Это было понятно. Её тогда и в самом деле не существовало, не было такого заполярного города, вот он на картах и не обозначался.

Теперь наш город знает вся Советская страна. И не только у нас в стране, но и далеко за рубежом, в Англии, Германии, Франции, даже в Африке хорошо известен порт Игарка — один из крупнейших заполярных портов мира.

Теперь слава Игарки гремит по всей земле, слава её строителей-большевиков, воздвигших так далеко за Полярным кругом большой красивый город, мощный механизированный морской порт и крупные лесозаводы, распиливающие прекрасную енисейскую доску, которая, наравне с карельской, известна как лучшая доска в мире.

Наша Игарка — теперь столица! Это самый большой город на всём Енисейском Севере, территория которого равна двум миллионам квадратных километров.

За семь лет на голом, пустынном берегу Енисея, на вечной мерзлоте поднялся новый социалистический город. В нашей стране, в стране удивительных большевистских темпов, большие города строятся иногда быстрее, чем делаются новые географические карты. Ещё совсем недавно на земле, где сейчас день и ночь дымят лесозаводы, была тундра, олений мох и тишина. Много водилось тогда здесь больших бурых медведей.



Ученики школы № 1, г. Игарка

Рассказывают, что напротив, на другой стороне Енисея, жил когда-то в чуме один ненец — оленевод и охотник — с русским именем Егор. Ненцы звали его Игоркой, а потом этим именем стали звать и место, где он жил. Не знаем почему, но только со временем имя Игорка превратилось в «Игарку».

Когда начали строить город, все медведи, белки и песцы разбежались от стука топоров. Ещё и сейчас один из логов возле города называется Медвежий, потому что в нём часто убивали медведей.

Игарка строилась. И сейчас ещё строится, ширится. К Чрезвычайному VIII съезду Советов СССР строители заложили «новый город»: гостиницу, Дворец культуры, кинотеатр, поликлинику, национальную совпартшколу, здание Управления Северного морского пути, а кроме того 32-квартирные дома для рабочих и инженеров заполярного города.

Всё это строят не потому, что до сих пор ничего этого не было в Игарке. Нет! Всё это уже есть, но сегодняшней Игарке прежние клубы и театры стали тесны. У нас есть огромный городской театр имени народной артистки СССР Веры Николаевны Пашенной. Московские артисты хвалили наш театр — он большой, чистый, уютный и красивый. Но сейчас у нас строится новый — ещё больше, ещё красивее.

Есть совпартшкола, но строят новую, потому что из тундры и тайги всё больше ненцев, эвенков, долган едет к нам учиться. У нас есть звуковой кинотеатр «Первый заполярный». Мы вместе с ребятами всей страны смотрели картины «Чапаев», «Джульбарс», «Цирк», «Мы из Кронштадта» и другие.

Какой вы думаете, ребята, наш город? Сейчас у нас живёт около 15 тысяч жителей. Город разбит на четыре района: первый называется просто Город, вто-



В Игарском морском порту, 1936 г. Фото С. О. Малобицкого



Отто Юльевич Шмидт с игарскими ребятишками, 1930-е гг.

рой — Полярный, третий — Пробуждение и четвёртый — совхоз Полярный. Много у нас магазинов, столовых, ресторанов. Много научных учреждений — мерзлотная станция, метеорологическая станция и другие.

Около лесозаводов расположена лесная биржа с готовыми, распиленными досками. Биржа занимает квадратный километр. Среди бесчисленных штабелей досок можно заблудиться.

На берегу — морской порт. Моряки с иностранных пароходов, приходя в Игарку, с удивлением видят хорошие причалы и механизированную погрузку.

Зимой и летом к нам прилетают самолёты. В день их иногда бывает шесть-восемь. По мостовым города бегают авто. Интересно видеть иногда, как по улице двигаются сразу автомобиль, олени, лошади и собачьи упряжки. Вот какой наш город.

Нас, ребят — школьников и пионеров, в Игарке 2 500 человек. Для нас выстроено девять школ, пионерский клуб, стадион, каток. Учимся мы хорошо и веселимся как можем.

Зимой, когда метель расстелет по всему Заполярью свой белый сыпучий покров, когда с воем проносятся вьюги и пурги, когда на небо протягивает свои длинные хрупкие пальцы северное сияние и солнце редко выходит из-за горизонта, мы и тогда не падаем духом. Мы, северные ребята, — сильные, мы не боимся пурги и мороза.

В школе идёт борьба за звание отличников, а в часы отдыха наши занятия — лыжи, каток, охота. В темноте полярной ночи Игарка залита светом. Её яркие электрические глаза видны далеко в тундре.

Летом, как только зима, звеня сосульками, уйдёт от нас в необъятные ледовые просторы Северного полярного моря, Енисей с грохотом гонит хрустальные льды в Арктику, а из-под снега появляются первые торопливые огоньки подснежников, тогда — отдых, ребята!

Мы отправляем своих товарищей в краевые лагеря, в Крым, берёмся за удочки, вёсла, ружья и — айда за рыбой, птицей, ягодами, грибами.

Живём интересно и весело. Суровая природа закаляет нас, пионеров Заполярья. Мы, когда подрастём, будем не последними комсомольцами, будем не слабыми, а крепкими — такими, какие нужны сейчас нашей стране.

Юра Крылатов, Женя Смехова, Вася Мунтян,
Маруся Чуракова, Петя Васюков, Ваня Кононов,
Геня Румянцев, Коля Шломов, Шура Ермаков,
Аня Замятина, Федя Пенкин, Клава Мосина



Школьники Игарки с полярным лётчиком Михаилом Васильевичем Водопьяновым, 1930-е гг.

V. «Смертный бой не ради славы, ради жизни на земле…»[1]



Давным-давно окончен бой…
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
как будто в мавзолей.

Сергей Орлов

А. А. Тардовский.

Вячеслав Назаров

Добрая воля Сибири

(отрывки из книги)[1]

Он стал сыном России, этот беспокойный детдомовский паренёк — сыном любимым и незабвенным. Его подвиг бескорыстный и прекрасный, подвиг ценой в жизнь, сам по себе не решал и не мог решить судьбу войны. Но весть о нём разнесли радио и газеты, порыв его маленькой фигурки, пробитой беспощадным свинцом, повторили художники и кадры кино. Ваятели перенесли последнее осмысленное движение почти мальчишеского тела в мрамор и бронзу — комсомолец с Южного Урала, бессрочный рядовой Сибирского добровольческого корпуса, стал символом этой войны.

Есть слава быстротечная — она порождает соцветия буйные и неправдоподобно яркие, она отцветает разом и пропадает без следа.

Но слава Матросова была и остаётся иной. Сотни людей, молодых и немолодых, за время Отечественной повторили этот небывалый подвиг. Значит, он не был ошибкой юнца или жестом отчаяния, принятого за героизм. Налицо сознательный поступок человека, когда воля лишает смерть привычной власти над сознанием. И ещё — поступок человека, способного безответно любить. Ненависть может бросить в атаку, ненависть может смести преграды, ненависть может побеждать — но только любовь способна дать силы для защиты чего-то вне себя: зелёного дерева, беспомощного котёнка, случайного прохожего, женщины, семьи, города, Родины…

Поэтому страна одарили Матросова не только золотом посмертной славы, но и горячим постоянством живой ответной любви. (…) Я не хочу описывать подвиг Александра Матросова. Много о нём написано, спето, рассказано. Он известен до последнего шага каждому человеку, который был на войне и не был, каждому пионеру и школьнику. Пусть выпадет этот священный миг из перекрёстного бега времён моей повести. И пусть миг этот будет минутой молчания…

Около пяти часов в батальон прибыл представитель политотдела. Втроём с комсоргом Тимофеем Татарниковым и парторгом Тихоном Ивановичем Коренским устроились они на пустых снарядных ящиках вокруг маленького костра. Темнело.

Немцы вылетели из Чернушек, как пробка. Бойцы дрались по-страшному… В общем, когда мы подбежали к дзоту, около Саши были наши медсёстры Валя Воеводина и Валя Шипица. Матросов ещё дышал, но всё было кончено… (…) Из политдонесения: «Доношу, что 23 февраля 1943 г. в бою за деревню Чер-

[1] *Назаров В. Добрая воля Сибири. Красноярск: Книжное изд-во, 1975.*

нушки проявил геройство Александр Матросов. Во время атаки на оборону противника мы успеха не имели. Матросов пожертвовал собой, закрыл своим телом амбразуру дзота, после чего подразделения нашего батальона пошли в атаку и задачу по овладению деревней Чернушки выполнили. (…)

— Отставить слёзы, медсестра. Вы откуда родом?

— Из Красноярска.

— Неужели в Красноярске все девушки такие плакучие?

— Никак нет… Я просто за Сашу… Знали бы вы его!

— Я дружил с Матросовым, — рассказал Саша Воробьёв. — С ним все дружили. Верный он… человек. Наша рота вся была из новеньких. Одногодки. Бой за Чернушки стал нашим первым боевым крещением. Ну и Саша… В роте из ста человек осталось всего одиннадцать, но Сашу… В общем, докажу в бою.

Партийный билет Александр Воробьёв получил в деревне Каменке. Вместе с Володей Шиняевым и Мишей Бордобаевым он первым ворвался в село. Из подожжённого немцами сарая доносились крики и плач. Сломав ворота, бойцы выпустили около полусотни людей — женщин, стариков и детей. Обречённых фашистами на мучительную смерть. (…)

А «плакучая красноярочка» Валя Шипица в тот день вынесла с поля боя семьдесят раненых… Локня и Ловать были форсированы.

Москва, Кремль

Приказ Верховного Главнокомандующего от 16 апреля 1943 г.

За высокую организованность, дисциплину, стойкость и героизм личного состава в боях с немецко-фашистскими захватчиками и за активное участие в освобождении городов Белый, Великие Луки и Локня 6-му добровольческому корпусу сибиряков присвоить звание гвардейской, преобразовав его в 19-й гвардейский Сибирский стрелковый полк.

И. В. Сталин

(…)

Второе рождение переживал и 6-й Особый сибирский корпус, ставший теперь 19-м гвардейским. Год тяжелейших испытаний не ослабил, а закалил его, превратил из полупрофессионального добровольческого соединения в одну из лучших кадровых частей Советской Армии. Теперь со 150-й Новосибирской (ставшей 22-й гвардейской) в корпусе стало три кадровых, проверенных огнём дивизии. И знамёна бригад остались в дивизионных штабах как память о первородстве, как наказ и завет родной Сибири. Корпус стал на время боевым университетом молодёжи: бок о бок ветераны и новички, чуть ли не круглые сутки идут занятия, лишь по вечерам остаётся час-два свободного времени…



Плакат В. Серова «Били, бьём и будем бить!», 1941 г.

* * *

Ох, эти майские вечера! Тянет с поля горечью полыни, оглушительно пахнет дальняя черёмуха, настоенная на грустной девичьей песне… Жизнь идёт в наступление, сводя на нет разрушительные человечьи дела; клейким соком лечит раны деревьев, холодным зелёным пламенем окутывает их изломанные кроны; синие сочные травы и пёстрые цветы полонили низины, превращая в почву пепел и кровь; прилетели птицы и бестолково лопочут, носясь над полями и не находя привычной поживы; уцелевшее лесное зверьё ползёт из нор, замирая от чуждых тревожных запахов. И зовёт земля человека на сладкое весеннее тело своё, не понимая, что может быть дороже любви и жизни, что может быть нужнее вечного таинства сева…

— Товарищ старший лейтенант, тут вот ребята пристали — дай им лошадь на пару дней. Соседний колхоз сеять начал, а инвентаря-то никакого не осталось. Женщины, детишки ковыряются лопатами — разве же то работа? Плужок там ребята соорудили, тяглу надо. Я думаю, девчатам подсобить можно — в свободное время, конечно… Если вы, товарищ гвардии лейтенант, не против.

— Конечно, не против, старшина. Хорошо ребята придумали, молодцы. Только одной лошадью тут не обойтись… Давайте договоримся так: я доложу командованию наше общее желание помочь ближайшим колхозам, а потом решим, что делать.

* * *

«Великое противостояние» кончилось.

5 июля 1943 года ударом в сторону Курска немцы начали наступление, пытаясь вернуть утраченное. Неся огромные потери, они уже 12 июля были вынуждены перейти к обороне. Настал черед Советской Армии. И действительно, скоро дрогнул, ожил весь огромный фронт, тесня, сметая захватчиков с родной земли.

В дни, когда триумфально и грозно клокотала Курская битва, получила боевую задачу и 10-я армия, в которую входил теперь 19-й гвардейский Сибирский корпус.

Войска сосредоточились перед Гнездиловскими высотами. Корпусу предстояло начать наступление в Спас-Деменском районе в направлении станции Павлиново, перерезать железную дорогу и открыть, таким образом, ворота на Ельню и Смоленск.

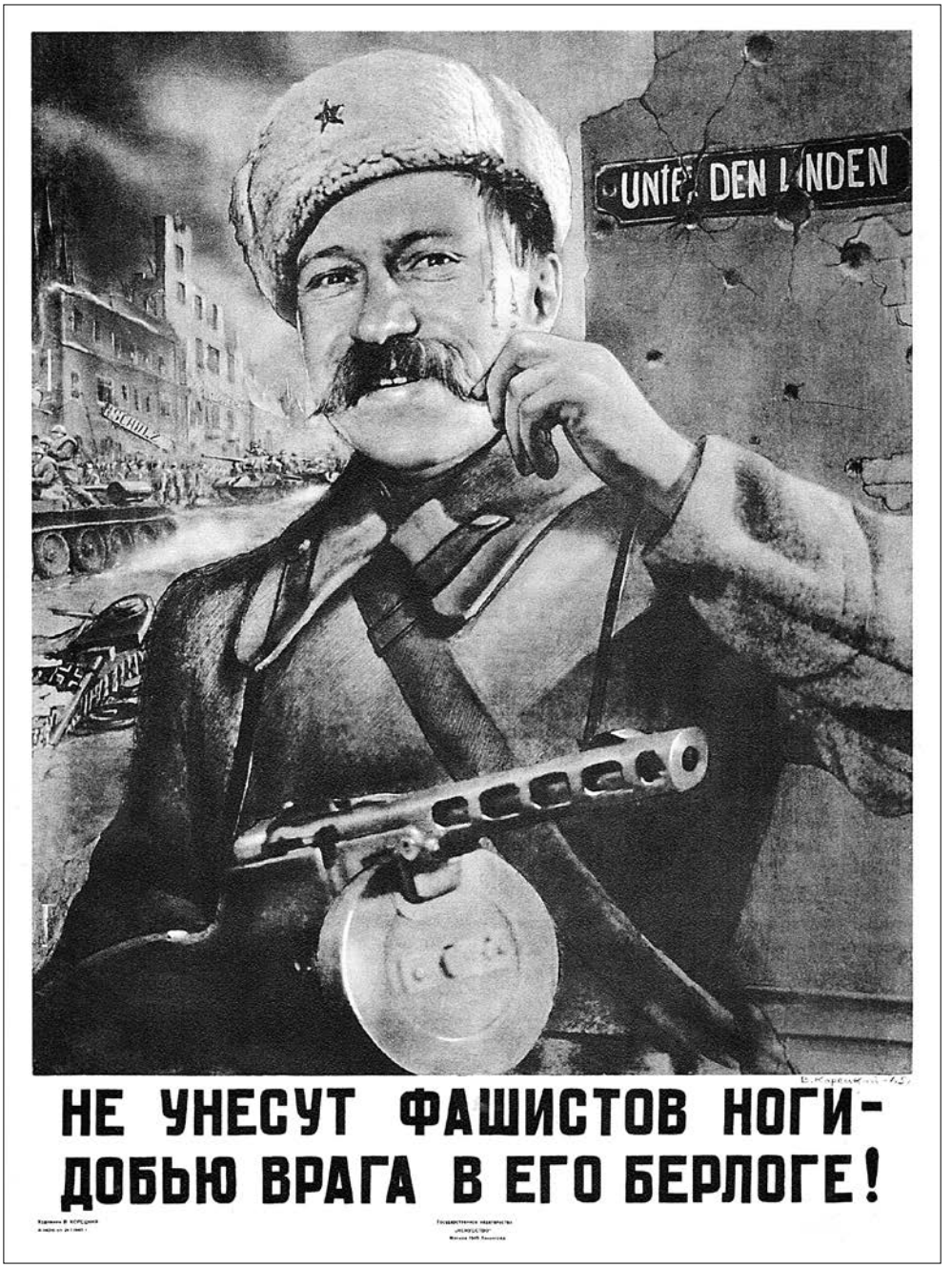
Неприступной твердыней, отвергающей даже помыслы об атаке, стояла перед сибиряками немецкая оборона. Видавшие виды ветераны покачивали головами — нет, такого брать ещё не приходилось. Шесть километров бетона и железа с пятью линиями траншей полного профиля, оспенная сыпь пулемётных окопов, артиллерийские окопы с носорожьими рылами «фердинандов», выглядывающих из-под маскировочных сеток… А надо всем, господствуя и подавляя, — настоящий «дворец смерти» — высота 233,3, опутанная серпантином траншей, несколькими противотанковыми рвами трёхметровой глубины, — угодив в такой, боевая машина становится беспомощней мухи на липучке; четыреста блиндажей в 8—10 накатов, около двухсот «крабов» — дзотов с врытыми в землю бронеколпаками, десятки артиллерийских и миномётных батарей, а за колючей проволокой и минными полями таращатся на белый свет шестиствольные «гансики» — новейшие немецкие реактивные миномёты, которыми Гитлер хотел перебить лихую славу советских «Катюш»… И совсем по-королевски чувствовали себя в этом дворце две немецкие дивизии, усиленные артполком…

Крепко заперли фашисты смоленские ворота.

Трудный, очень трудный экзамен предстояло держать молодым гвардейцам. Всё ли нужное взяли они из опыта старших? Многому ли научились сами? А главное — достойны ли принять факел доброй воли от непобедимых комиссаров, которые «брали на себя всё, что положено, добавляли всё, что надо, а ещё догружали — сколько выдюжишь»? Правда, сейчас не 42-й — на наших позициях через каждые десять метров по орудию, во втором эшелоне ждёт сигнала танковый полк Т-34, а краснозвёздные «Илы», «Яки» и «Лавочкины» готовы потрепать перья «хейнкелям», «мессерам» и «юнкерсам». Но техника техникой, а сердце сердцем: равнодушный солдат — не боец.

Ходят по нашим траншеям агитаторы, проводят собрания и митинги: понимают свой долг бойцы, обещают умножить славу корпуса.

А немцы тоже стараются: подкатил к самой колючке чёрный грузовик с широченным раструбом, и вечером 5 августа прорезался над дивизиями сырой



Плакат В.Б. Корецкого, 1945 г.

дьяконский бас: «Сибиряки! От командующего Русской освободительной армии генерала Власова поклон вам!» А другой бас, пониже, начал старательно выводить под гитару: «Славное море — священный Байкал…»

Певец не успел закончить первого куплета. Две трассирующих пулемётных очереди с двух сторон полоснули по фургону, и басы с гитарой убрались восвояси…

* * *

И грянул бой. Он действительно грянул — соединённый удар артиллерии и авиации по немецкой обороне потряс землю. Десять артполков били одновременно по вражьим позициям и «дворцу смерти», небо расчертили белые и чёрные молнии — это неслись над землёй залпы «Катюш» и звенья эскадрильи «Нормандия — Неман».

Три дивизии корпуса — 65-я и 56-я впереди, 22-я во втором эшелоне — пошли на приступ. Они были уже в первой траншее, когда заговорила высота 233,3 и доказала, что не зря ухлопано на её «укрепление» столько времени, сил и средств…

Пулемётчики Алексея Сосновского, подавив на своём участке миномётную батарею, бросились в атаку вслед за пехотинцами. В траншее кипела рукопашная — молчаливая, страшная. Бились штыками, ножами, сапёрными лопатками — в узкой, едва двоим разойтись, траншее. Краем глаза заметил Алексей, что как будто форма не та, не немецкая, — как вдруг метнулся на него некто огромный, разя сивушным перегаром, и сверкнули на миг сусальным ёлочным серебром буквы «РОА»… Ах, вот вы кто… И сдержал слово, данное комиссару, Алексей Сосновский — отвёл пистолет и плюнул в белые, как бельма, глаза предателя… И тот — упал, переломился пополам, и сдвинутая близким взрывом земля засыпала его. Власовцы не просили пощады — они знали: её не будет. Они дрались неистово, сжав зубы, всхлипывая от бессильной злобы, и по тому как работали они финками, видно было, что убивать им не впервой. Они даже не пытались бежать, только потом ребята узнали причину: немцы, не доверяя храбрости своих «добровольцев», заминировали ходы сообщения. Весь «восточный батальон», до последнего человека, получил то, что заслужил: общую могилу — траншею, вырытую немцами в русской земле. И до сих пор не растёт там ничего, кроме чертополоха…

Вторые сутки вели сибиряки поединок с высотой 233,3. Закрепившись в немецких траншеях, они несколько раз пытались прорваться к «дворцу смерти». Но немцы прицельным огнём прижимали к земле наступающие подразделения. Больше того — они сами бешеными контратаками пытались вернуть закреплённые позиции. Захлебывались вражеские вылазки, стойко держались гвардейцы, но и наши атаки не имели успеха. Не помогали ни массированный артобстрел — около 300 орудий на километр фронта, ни постоянные бомбовые удары с воздуха.

Время остановилось. Не было ни вчера, ни завтрашнего, не было ни дня, ни ночи, не было ни неба, ни земли — горело, выло и рвалось под ногами, горело, выло и рвалось над головой, луна и солнце задохнулись и погасли в чёрном дыму, и только болезненно-яркие светила магниевых ракет плавали в этом монотонно ревущем мире, и свихнувшиеся стрелки часов бессмысленно скакали то взад, то вперёд — и только чёртова высота, высвеченная мёртвым свирепым сиянием, стояла неколебимо…

«Ура» зазвучало где-то за спиной, перекатилось ближе. Нет, это не слуховая галлюцинация, не бред контуженного — это от деревень Веселуха и Надеждино пошла на помощь землякам 22-я дивизия…

— Взвод — тише воды, ниже травы — за мной!

Странная в любой другой обстановке команда лейтенанта сейчас казалась обычной — пулемётчики поняли командира: Сосновский решил применить свой любимый манёвр. Хоронясь за складками пульсирующей и дымящейся почвы, замирая невидимками в длинных чёрных тенях от покорёженной техники и в глубоких воронках, Алексей с бойцами полз вперёд, к подножию неприступной высоты.

Секрет простой: надо выбирать целью очередного броска воронку, где только что взорвался снаряд. Неопытный солдат от такого места шарахается, а опытный — наоборот: вероятность попадания в один и тот же метр земли практически равна нулю… И скользят по скату, всё выше быстрые тени — от воронки к воронке, от броска к броску.

Видно от наших траншей горстку смельчаков, видно их скрытое восхождение — но теперь и немцы заметили бесстрашный взвод, ударили вразнобой. Артиллерией их теперь не накрыть — можно по своим угодить, но на высоте и другого огня довольно. Ствол в ствол, без барьеров, разгорелась пулемётная дуэль. Взвод против целой фашистской своры. Чем помочь сосновцам?

* * *

— Взвод, в атаку — за мной!

Старший сержант Борис Богатков первым выскочил на бруствер, да подвела нога — поскользнулся. Не упал — только яростно сдёрнул каску и распрямился во весь рост. Дохнул в лицо поэту горячий ветер смерти, растрепал белокурые волосы. И шагнул поэт навстречу смерти. И запел:

К Германии фашистской,
Пожарами объятой,
Несём мы беспощадные штыки, —
Гвардейцы-добровольцы,
Упрямые ребята,
Отважные бойцы-сибиряки...

Борис Богатков не бежал, — он шёл размашистым строевым шагом, автомат вперёд, и героический гимн, который так долго бился в его душе, выплеснулся

наконец наружу. И автоматный взвод, строясь позади в парадную шеренгу, подхватил дружно:

Всё, гвардеец, в боях изведай:
Холод, голод, смертельный риск, —
И героем вернись с победой
В славный город Новосибирск…

Немцы открыли бешеный огонь, но, видно, дрожали руки у стрелков — через открытое поле, каждый сантиметр которого простреливался перекрёстным огнём, шёл, не пригибаясь, как на смотру, белокурый поэт в форме сержанта, и шёл за ним его взвод — нет, уже батальон! — нет, уже полк! — шли, надвигались на врага поющие цепи, и пули с воем шарахались прочь.

Нас месть ведёт в атаку,
И наш порыв неистов,
Он все преграды
Превращает в пыль.
Чем дальше мы на запад
Идём, громя фашистов,
Тем ближе к нам родимая Сибирь!

Уже вся дивизия подхватила гимн, уже вся дивизия идёт в атаку, и напрасно палят обезумевшие немцы изо всех раскалённых от натуги стволов — ни один советский солдат не упал: заслонило их, став огромным и общим, поющее сердце поэта и ведёт на праведный бой.

Загремели литавры, запели победно золотые трубы, подхватил мелодию неведомый оркестр — откуда он? Оглянулся поэт — это резервная дивизия их будущего комкора Стученко от деревни Веселухи спешит на подмогу — тоже в расчленённом строю, с развёрнутым знаменем и дивизионным оркестром впереди — смыкается поющее кольцо вокруг высоты.

Всё, гвардеец, в бою изведай:
Холод, голод, смертельный риск...

Зачем же ты оглянулся, поэт? Разве забыл, что нельзя оглядываться на пройденное, нельзя останавливаться ни на миг, разве забыл, что жизнь стиха — движение и только движение? Оглянулся — и не заметил, как исподтишка, подло ужалил тебя выстрел, как с хрустом, навылет, пробил твою грудь свинец… Покачнулся сержант, упал на одно колено, а песня медсестрой над ним наклонилась, тормошит, требует:

И героем вернись с победой
В славный город Новосибирск...

«Вернусь!» — побелевшими губами пообещал Бориска и скользнул с крутого обрыва вниз в прозрачную мельничную заводь, с головой ушёл в воду, в тёплую воду Чулыма...

А там, на высоте 233,3, осталось всего шестеро от взвода Сосновского, и эти шестеро уже на самом гребне, и каждый из них знает, что это — его «последний и решительный бой». Они только что отбили четвёртую атаку, они все изранены и спешат перевязать друг друга — не для того, чтобы спастись и залечить раны в тишине медсанбата, а для того, чтобы прожить одной минутой дольше в грохоте боя и убить ещё одного фашиста.

Истекают минуты, истекают кровью бойцы, а немцы в пятый раз идут на смельчаков. С трёх сторон. Шестьдесят против шести. Это уже не дуэль. Это подлость, за которую мальчишки красноярских улиц били нещадно…

— Держись, ребята, — кричит Сосновский. — Бей сволочей! Наши идут! Наши близко! Бей их, пацаны!

Он прав, гвардии лейтенант Алексей Сосновский, — наши близко, по пологому скату, рассекая поперёк немецкие позиции и не задерживаясь на них, рвётся к гребню, к горсточке героев, комсомольский панцирный батальон — не боясь ни штыка, ни пули, прорываются сквозь ловушки «дворца смерти» советские штурмовики. Но уже не слышат лейтенанта ребята, уронили головы, чубатые и бритые, на свои онемевшие пулемёты, и пусты пулемётные ленты. И сам лейтенант ранен — набухла кровью гимнастёрка под ремнём, повисла плетью рука. Немцы уже не стреляют, они хотят взять комсомольца живьём, приближаются крадучись, автоматы наготове. И поделом — у Алексея Сосновского ещё остались две «лимонки», он не может подняться, но перевалившись на раненый бок, бросает одну под ноги наступающим. (…)

— Вторая для себя, коммунист Сосновский. Это ваш партбилет, — прерывает его Богданов.

— Слушаюсь, товарищ комиссар, — улыбается Алексей Сосновский и, вырвав чеку зубами, прижимает гранату к груди…

Коля Головин вместе с напарником тянул связь вслед за отдельным штурмовым батальоном. Когда напарники оседлали наконец гребень, он успел только крикнуть в трубку: «Высота наша!» Связь тотчас оборвалась — немцы открыли артогонь тяжёлыми фугасами, не разбирая уже, где свои, где чужие.

Головин наклонился над Сосновским. Тихая улыбка запеклась на лице лейтенанта.

— Прости, Алёша. Не успели. Прости.

— Знакомый? — спросил напарник. Ему пришлось прокричать вопрос дважды: высота вздрагивала, взбрыкивала, словно пытаясь сбросить отчаянных седоков. Но поводья были в крепких руках…

— Знакомый, — ответил Коля Головин. — Пахали вместе…

* * *

«12 августа взяли высоту 233,3 и станцию Павлиново. 13 августа освобождён город Спас-Деменск. Гоним врага по историческому маршруту — по тому самому пути, по которому Кутузов гнал французов в 1812 году. Песня Бориса Богаткова стала гимном 22-й дивизии, а его «чалковский» автомат дают

как переходящий приз храбрейшему бойцу взвода», — зафиксировал в своих «исторических записках» капитан Георгий Доронин. Он мог бы добавить, что Александр Матросов и Алексей Сосновский получили посмертно звания Героев Советского Союза, что имена их навечно вписаны в списки подразделений корпуса, а подвиг поэта Бориса Богаткова отмечен орденом Отечественной войны. Мог бы, но… Приказы в то время шли гораздо медленнее наступающих армий. Он погиб нелепо, капитан Георгий Доронин, Саша Сибиряков, любимец и внештатный историк корпуса. Во время полного затишья сидел в траншее и дразнил муравья: гонял рыжего по блокноту взад-вперёд. Заблудший безадресный снаряд — бывают и такие — взорвался на бруствере, и Саши Сибирского — не стало. Затерялись где-то на военных дорогах его записи, о которых он рассказывал Борису Богаткову и Анатолию Коптелову. Живые больше думали о жизни, чем о грядущей славе. Сибирский корпус ушёл дописывать свою историю штыками. Ельня, Смоленск, Орша, крах неприступного рубежа «Пантера», освобождение Пушкинских Гор и села Михайловского на Псковщине, где сибирские сапёры очищали от мин поруганный могильный холм великого поэта, Латвия и знаменитая Лубанская низменность, которую на памяти всех войн первыми прошли сибиряки-добровольцы, освобождённая Рига и разгром Курляндской группировки в мае 1945 года…

* * *

Надеждино, Веселуха, Холмы... Нет сегодня таких деревень вокруг высоты 233,3. И высоты такой нет. Есть высота Комсомольская и есть берёзы. Говорят, из сердца каждого сибирского парня, павшего здесь, выросло белоствольное дерево.

Четыре тысячи берёз растут вокруг Комсомольской высоты.

Красноярск, 1975 г.

Борис Богатков

Перед наступлением[1]

Метров двести — совсем немного —
отделяют от нас лесок.
Кажется — велика ль дорога?
Лишь один небольшой бросок.

[1] *Публикуется по изданию: Имена на поверке: стихи воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны. М.: Молодая гвардия, 1975.*

Только знает наша охрана —
дорога не так близка.
Перед нами — «ничья» поляна,
а враги — у того леска.

В нём таятся фашистские дзоты,
жёстким снегом их занесло.
Воронёные пулемёты
в нашу сторону смотрят зло.

Магазины свинцом набиты,
часовой не смыкает глаз.
Страх тая, стерегут бандиты
степь, захваченную у нас.

За врагами я, парень русский,
наблюдаю, гневно дыша.
Палец твёрдо лежит на спуске
безотказного ППШа.

Впереди — города пустые,
нераспаханные поля.
Тяжко знать, что моя Россия
от того леска — не моя…



Подвиг Александра Матросова повторили сотни бойцов Красной армии, в том числе шесть красноярцев, среди них — поэт Борис Богатков

Посмотрю на друзей-гвардейцев:
брови сдвинули, помрачнев, —
как и мне, им сжимает сердце
справедливый священный гнев.

Поклялись мы, что встанем снова
на родимые рубежи!
И в минуты битвы суровой
нас, гвардейцев, не устрашит
ливень пуль, сносящий пилотки,
и оживший немецкий дзот…

Только бы прозвучал короткий,
долгожданный приказ: «Вперёд!»

Майя Борисова[1]

* * *

Стихи писать не трудно. Когда они пишутся. Трудно, когда — не пишутся. Стихотворение, о судьбе которого я собираюсь рассказать, написалось у меня давно. Я тогда ещё жила в Красноярске, работала в краевой комсомольской газете. Стихотворение получилось про войну.

Баллада о горячих строках

Он писал о России
за час перед боем.
Он в атаке
прикрыл эти строки собою.
Он убит был.
И под безымянным пригорком
санитары его подобрали с земли.
И когда расстегнули карман гимнастёрки,
эти строки
им пальцы обожгли.
По солдатским рукам,

[1] *Публикуется по изданию: Песня Победы. Л.: Детская литература, 1985.*

точно пламя по веткам,
эти строки летели сквозь вьюжный простор,
И дошли до редакции
крупной газеты,
и, дымясь,
улеглись на редакторский стол.
Их поставили вместо передовицы.
И газета
огнём налилась до краёв!
Ты ведь помнишь —
обуглены были страницы!
Ты ведь помнишь —
как вспыхнуло сердце твоё!

«Балладу» я прочитала друзьям. В течение двух лет военная судьба хранила Ивана Булкина. Но вот в январе 1943 года наши войска, развивая наступление, подошли к городу Ставрополю. Немцы решили любой ценой удержать этот важный стратегический пункт и создали прочную линию обороны. Её прорыв грозил нам крупными потерями. Тогда командование приняло такое решение: группе смельчаков надлежало тайком пробраться в центр города и затеять там перестрелку, отвлекая внимание врага и сбивая его с толку.

Вызвали добровольцев. Одним из первых сделал шаг вперёд Иван Булкин.

Он возглавил небольшой отряд — всего двенадцать человек. И все они с честью выполнили своё самое трудное, своё последнее задание. Когда, опрокинув, смяв, растоптав вражескую силу, наши войска овладели городом, стало ясно, что двенадцать храбрецов оплатили эту победу своей жизнью.

Санитары подобрали с земли простреленное тело старшего лейтенанта Ивана Булкина. Они расстегнули карман его гимнастёрки и…

Не может быть! Это мистика какая-то… Ведь я же выдумала свою «Балладу», выдумала от первой до последней строчки, а в жизни всё происходит иначе, чем в стихах!

Тем не менее в жизни происходило всё так, как описывал куйбышевский отставник. Санитары подобрали с земли тело Вани Булкина. Они расстегнули карман его гимнастёрки и обнаружили там сложенный листок бумаги, подмокший кровью, но с хорошо различимыми строками. Это было последнее Ванино стихотворение. Санитары отдали его товарищам убитого, а те переслали в редакцию дивизионной газеты. Стихи напечатали в ближайшем номере. Несколькими днями спустя бойцы шли в новую атаку, крича: «Отомстим за Ваню!»

«Уважаемая товарищ Борисова, — писал удивлённый мой корреспондент, — ответьте, пожалуйста, когда, где и от кого слышали вы о подвиге юного сталинградца. Может быть, какой-то другой, но очень похожий материал лёг в основу вашего произведения… Посылаю вам то стихотворение Вани Булкина, которое он писал „за час перед боем“…»

Стихотворение! Где же оно? Я лихорадочно вертела в пальцах письмо, шарила в конвертах. Тут кто-то поднял отлетевший в сторону листок и протянул мне. В первой стихотворной строке пристально и строго светилось слово «Россия». Листок был чист, глянцевит, стихи — аккуратно отпечатаны на машинке. Но мне показалось, что он потёрт на сгибах, забросан торопливыми карандашными буквами и затёк с угла чем-то тяжёлым, бурым и горячим…

А потом пришло письмо уже из Ставрополя, из школы, расположенной на улице имени Ивана Булкина. Пионерская дружина также носила его имя. Ребята прислали фотографию памятника, сооружённого на Ваниной могиле, свои стихи о нём и очень просили, если «Баллада» никому конкретно не посвящена, посвятить её Ване и прислать рукопись в школьный музей. Я, конечно, так и поступила.

«Баллада о горячих строках», посвящённая старшему лейтенанту Ивану Булкину, поэту и воину, открыла мою книжку «Вечерние окна».

И опять прошло время. Я вернулась в свой родной Ленинград. Никогда не прощу себе того, что, уезжая, не сразу увезла из Красноярска все свои бумаги! Как это часто бывает, при пересылке затерялось самое для меня дорогое: то, первое, письмо и Ванино стихотворение. Пропали они.

Уже усаживаясь за сочинение этой книжки, я написала в Ставрополь, в пионерскую дружину. Очень приятно было читать обстоятельный ответ. Ребята рассказывали о школьном музее и о традиции ежегодно в день освобождения Ставрополя от фашистов проводить торжественную линейку, посвящённую памяти Ивана Булкина… Прислали они мне и аккуратно переписанное последнее стихотворение Вани. Но оказалось оно… не тем, не прежним. Сначала это меня очень смутило. А потом показалось не таким уж важным. Хотя Родина тут не названа по имени, стихотворение дышит такой любовью к ней, таким мужественным и, я бы даже сказала, мудрым осознанием своего воинского долга. Не одно сердце должно было вспыхнуть, прикоснувшись к этим строкам. «Ответное письмо», посвящённое любимой девушке (…):

Я думаю:
Всё может с нами статься.
Быть может, нам придётся
в грозный час
На поле боя навсегда остаться,
Но даже это не разлучит нас.
Пусть будет всё:
свинцовых ос укусы
И боль от них, любимая Элен.
Пусть будет страх,
но только лишь не трусость,
Пусть будет смерть,
но лишь не плен.

Георгий Суворов[1]

* * *

Полковнику Путилову

Есть в русском офицере обаянье.
Увидишься — и ты готов за ним
На самое большое испытанье
Идти сквозь бурю, сквозь огонь и дым.
Он как отец — и нет для нас дороже
Людей на этом боевом пути.
Он потому нам дорог, что он может,
Ведя на смерть, от смерти увести.

Сибиряк на Неве

(…)
Парень синеглазый, рябоватый,
Буйная, широкая душа.
Мы бродили с ним тайгой горбатой,
Свежестью таёжною дыша.
Мы любили пить перед рассветом
Чистое вино багряных рос.
Мы любили, если свежий ветер
Горькою смолой ударит в нос.
Так ударит, что раздует ноздри
И от волосков до пят пойдёт...
И глаза так удивлённо смотрят,
Словно мир пред ним уже не тот.



Дети блокады Ленинграда

2
Было так: сентябрьской тёмной ночью
Закачались лодки на Неве,
Быстрые малиновые точки
Вспыхнули на молодой траве.
Вражий берег, выросший из мрака,
Взрыли наших батарей клыки.
Пять минут — и загремит атака,
И сверкнут гранёные штыки.
Под могучим орудийным валом



Прорыв блокады Ленинграда

[1] *Публикуется по изданию: Имена на поверке: стихи воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны. М.: Молодая гвардия, 1975.*

Мы стремились к берегу врага.
Било в грудь нам порохом и палом,
Острый ветер прожигал бока.
Не сдержать нас... Берег огнезубый
Замолчал, не выдержал, погас.
И к земле родной припали губы...
И слеза на землю пролилась.
Тут в траншее под свинцовой вьюгой
Я опять нашёл сибиряка.
Он считал Сибирь своей подругой,
Он под Ленинградом бил врага.
Стиснув острый холод автомата,
Он припал к истерзанной земле.
Глаз поймал фашистского солдата —
И солдат упал в рассветной мгле.
Видел я, как на крутую насыпь
Он забрался и бойцов увлёк,
Как врагов бесформенную массу
Захлестнул наш молодой поток.
Огненный поток, дробящий скалы
Частых дотов, вставших на пути.
Впереди неудержимый малый,
Человек сибирской злой кости.
Точно так же, как в часы охоты
В абаканских дебрях, между скал,
Он ловил врага, искал — и сотый
Мёртвый немец на землю упал.



Оборона Ленинграда

* * *

Ещё на зорях чёрный дым клубится
Над развороченным твоим жильём.
И падает обугленная птица,
Настигнутая бешеным огнём.
Ещё ночами белыми нам снятся,
Как вестники потерянной любви,
Живые горы голубых акаций
И в них восторженные соловьи.
Ещё война. Но мы упрямо верим,
Что будет день, — мы выпьем боль до дна.
Широкий мир нам вновь раскроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.
Последний враг. Последний меткий
выстрел.

И первый проблеск утра — как стекло.
Мой милый друг, а всё-таки как быстро,
Как быстро наше время протекло!
В воспоминаньях мы тужить не будем.
Зачем туманить грустью ясность дней?
Свой добрый век мы прожили как люди —
И для людей…

Виктор Астафьев

Где-то гремит война

(отрывок из повести)[1]



Виктор Петрович Астафьев

Группу и профессию в ФЗО я не выбирал — они сами меня выбрали. Всех поступивших в училище ребят и девчонок выстроили возле центрального барака и приказали подравняться. Строгое начальство в железнодорожных шинелях пристально нас оглядело и тем парням, что крупнее да покрепче, велело сделать шаг вперёд, сомкнуться и слушать. «Будете учиться на составителей поездов», — не то объявили, не то приказали нам, а слов о том, что идёт война и Родина ждёт, тоже не говорили, потому что и так всё было понятно. Из того, что отобрали в составительскую группу самых могутных парней и не допустили в неё девчонок, мы заключили, что работа нас ждёт нешуточная, и кто-то высказал догадку: не глядя на военное время, нам выдадут суконную форму и поставят на особое питание. И хотя предсказание это оказалось поспешным и не сбылось, мы всё же склонны были считать и считали себя людьми в желдоручилище особенными и постепенно приучили к тому, чтобы нас таковыми считали ребята и девчонки из других групп, не протестовали бы, когда нам перепадали поблажки в виде вне-

[1] *Астафьев В. Где-то гремит война. М.: АСТ, 2019.*

очередного дежурства на кухне, в хлеборезке или поездки домой, и опасались нарушать внутренний режим, если в корпусах стояли наши дневальные.

Давно уж я отзимогорил на Базаихе у дяди Васи, и самого дядю успел проводить на фронт, обжился в восьмой комнате нашего общежития, сдружился с ребятами и на практике познал, что работа и на самом деле ждёт нас не просто нешуточная, но и опасная. Словом, и жизнь и учёба для меня, да и для всех ребят, сделались привычными буднями, как вдруг незадолго до Нового года получил я из родного села от тётки Августы письмо в несколько строчек, которым слёзно молила она навестить её, — и очень встревожился. За время учёбы ни разу не получал из деревни писем, никуда не отлучался, и когда показал письмо мастеру группы Виктору Ивановичу Плохих, который, напротив своей фамилии, был человеком хорошим, не без оснований назначенный дирекцией в самую трудную группу, то он, прежде чем отпустить меня, долго и хмуро соображал — учились мы скороспешно, железнодорожный транспорт был оголён военкомами в сумятице первых военных месяцев до того, что даже с фронта скоро начали отзывать железнодорожников, и потому выходных нам не давали, никуда нас не отпускали — словом, держали строго, по-военному. Мы сами выискивали возможности и способы прятать друг друга на поверках и подменяться во время практики и, сколь мне помнится, Виктора Ивановича Плохих, давшего возможность распоряжаться нам собою, не подводили. Все теоретические, но больше практические занятия оценивались в группе нашей только на пятёрки, и горе было тупицам, с которыми занимались мы сами, вколачивали в них науку и доводили до уровня. Они и посейчас, наверное, не могут забыть того труда и пота, который потратили в ту военную зиму, чтобы заучить ПТЭ — правила технической эксплуатации, железнодорожной сигнализации, грузоподъёмность вагонов, паровозов и прочие транспортные премудрости.

В длиннополом пальто, отяжелённом двумя пайками хлеба, упрятанными в карманы, вышел я из общежития под вечер. Никаких паек не полагалось мне выдавать, но Виктор Иванович Плохих и староста нашей группы Юра Мельников были теми руководителями, которые брали и не такие крепости, как хлеборезка Васеева Наталья. Она сказала: «Будь вы прокляты! До смерти надоели!» — но пайку за вечер и за утро всё же отпластнула. Я выдрал листки из тетрадки по теории ПТЭ, завернул в них горбушки и отправился в путь, памятуя, что греет хлеб, а не шуба.

Фэзэошные ботинки издавали на морозе технический звук. Они всхлипывали, постанывали, взвизгивали, словно давно не мазанный кузнечный молот или подработанный клапан паровоза. Такая обувка для сибирской зимы — не обувка, но про пальто ничего не скажешь. Пальто знатное. Оно, правда, не по росту мне, однако красивое и с особенными запахами. В каждом порядочном колхозе есть тулуп или доха общего пользования, у нас в группе вместо дохи вот это пальто с каракулевым воротником. Пальто грубошерстное, колкое, каракуль что металлический шлак, но всё же это не фэзэошная телогрейка длиной до пупка. Чужевато мне пальто, да я постепенно обживал его, обнюхивался. Очень оно тяжёлое и пахнет разнообразно: табаком, мочалом, тлеющим сук-

ном, но больше всего — вагонной карболкой. Совсем отдалённо, чуть ощутимо, будто вздох о мирных временах, доносился из недр пальто запах нафталина. Пальто прибыло в школу ФЗО из города Канска на Юре Мельникове. Наряжен был Юра ещё в голубой шарф, в дымчатого цвета бурки и кожаную шапку, тоже с каракулем. Мы выбрали Юру старостой группы, и, думаю, в выборе этом первейшую роль сыграл Юрин наряд, как потом выяснилось, ему не принадлежащий. Всё добро, надетое на него, было дедушкино. Бабка до поры хранила его в сундуке. Но бабка умерла вслед за дедом, Юра вынул добро из сундука, надел на себя, свою одежонку загнал на базаре и поехал куда глаза глядят. Поезд остановился на станции Енисей. Юра пошёл посмекать насчёт еды, и пока уминал солёную черемшу, поезд ушёл, а Юра, чтобы скоротать время, читал разные объявления и наткнулся на призыв поступать во вновь открытое ФЗО № 1. Поскольку оказалось оно рядом со станцией, Юра отправился в желучилище, принят был туда без промедления, к обеду оформлен на довольствие, к вечеру определён на койку, а через сутки — вознесён в начальство. Шарф и шапку мы проели в честь знакомства, пальто, поразмыслив, оставили. В группе хотя и молодой, но очень смекалистый народ. Нам надо было выжить в такое тяжёлое время, и не только выжить, но и обучиться профессии, поэтому мы постоянно смекали, где чего промыслить, как выгодно пройти практику и в тепле тактику, то есть классные занятия.

Повизгивали мои ботинки, постукивали, побрякивали, и под их разнообразное звучание хорошо думалось о ребятах, о дороге, о надвигающихся сумерках. О том, что ждёт меня в селе, я старался не думать, потому что не хотелось мне думать о тревожном. Тревоги и без того вокруг — хоть отбавляй: в зиме, в улице, в машинах, хрипло гудящих, в скрежете поездов, в заводских трубах, в небе и в сердце моём.

Я миновал Базайский деревообделочный комбинат, что был за железнодорожной линией, круто поворачивающей к реке и двум мостам через неё. По взвозу, заваленному древесной крошкой, опилками и корой, где катом, где бегом спустился я вниз, на лёд, и сразу почувствовал, что мороза здесь больше и по реке тянет колкий ветерок. Мимо железнодорожных мостов, мёрзло и гулко звякавших под эшелонами, я поспешил на другую сторону Енисея, где спускался от города санный путь к нашему селу. Ботинки мои ЧТЗ запели громче, ещё техничней на тропе, твёрдо утоптанной, остекленелой от мороза.

На базайской стороне зимника не было, все зимние дороги кончались за Лалетинским опытным садом. Там, в саду, всё ещё жила и работала тётя Люба с Катенькой. А дяди Васи, не Сороки, а того, что дядя мне с потылицынской стороны, уже в живых нет. Его убили на войне. Я как-то был у тёти Любы. Она поила меня чаем с вареньем из маленьких горьковатых яблок — ранеток. Катенька училась во втором классе, и, когда пришла домой, я ей напомнил песенку, какую она пела, приехавши с дядей Васей и с тётей Любой к бабушке в гости:

Ты, сорока-белобока,
Научи меня летать
Невысоко, недалёко…

Катенька устало поглядела на меня, а тётя Люба — угодливая душа, попыталась за неё улыбнуться: помним-де, помним… Больше я к ним не заходил. Бабушка моя, Катерина Петровна, эту зиму ходила по людям, правда, не по чужим, по своим, но всё же я знаю, что такое выглядывать куски за чьим-то столом. Она всегда называла себя «ломовой конь», но и ела она по работе — вдосталь — крепкой и здоровой крестьянской пищи. А ей дали карточку на двести пятьдесят граммов хлеба. Она недоедала, замерла; как сама жаловалась мне осенью, смирила гордость и пошла сначала к Зырянову, потом к Кольче-младшему. Кольча-младший тоже бакенщиком пошёл, его пост вёрст пять выше Зырянова, у речки Минжуль. Бабушка кочевала из одной избы бакенщика в другую, потому что здесь только и могли её покормить, остальные сыновья и дочери сами жили голодно, военным пайком. Что же случилось у Августы? Без причины она не позвала бы меня. А причина какая сейчас может быть? Беда. Только беда. Что делается вокруг? Зима. Голодуха. На базарах драки. Втиснутые в далёкий сибирский город эвакуированные, сбитые с нормальной жизненной колеи, нервные, напуганные, полураздетые люди, стиснув зубы, преодолевают военную напасть, ставят заводы, куют, точат, пилят, водят составы, крутят руль, кормят себя и детей. И, как нарочно, как на грех, трещат невиданные морозы. И прежде в Сибири зимы бывали не бархатные, однако ж сытые чалдоны, одетые с ног до головы в собачьи меха, не особенно их признавали. Ещё и нынче нашего брата, обутого в фэзэошные ботинки и телогрейки, чалдоны с гонором корят: «Хлипкие какие парни пошли! Вот мы ране…»

Что же всё-таки случилось у Августы? Что?

«Вжик-вжик-вжик!» — наговаривают мои ботинки. Носки у них широкие, лобастые, рыло вздёрнуто кверху. Между подошвами и передками полоска снега — похоже на широкий налимий рот. Резвые ботинки! Жалко — размером маловаты. Обувь завезена в ФЗО из расчёта на юношеское поколение, и крайний размер мой — сорок третий. По такой зиме надо бы размера два в запас. Положить в ботинки шубные стельки или кошму, потом портянку потолще намотать, суконную бы, да газету сверху…

Ветерок ничего, военный, тянет из наших мест, из енисейского скалистого коридора. Калёный ветер. Каменный. Такой пробирает до души. Я повернулся к ветру спиной, снял шапку, и, пока развязывал тесёмки, на мою стриженую голову ровно бы железное ведро опрокинулось, аж стиснуло голову. Шапка надета, тесёмки завязаны. Коротковаты уши у фэзэошной шапки, сэкономили на ушах. Ну да ничего. Пальто зачем? Поднял воротник пальто — и сразу стало душно, глухо, запахло старым-старым сундуком. Небось сундук был такой же, как у бабушки, где хранились конфетки-лампасейки, весь в жестяных лентах, с генералами и переводными картинками внутри и с таким количеством загадочного добра, что уж и музею иному в зависть такой сундук.

Никогда не думал, что возле города Енисей так широк. Пока добрался до осенней дороги у речки Гремячей, от которой считается восемнадцать вёрст до нашего села, посинело на реке, ветер как будто унялся, припал за торосами, но студёно, ох как студёно вечером на зимней реке. На мостах, проступивших

из мёрклой стыни тёмными фермами, спутанными в крупноячеистую мережу, за быками, вмёрзшими в лёд, и за насыпью в городе что-то грозно ворочалось, бухало. Все звуки были утробные, приглушённые, тяжело отдавались они в мёрзлой земле, сотрясали железо и камень. Гнетущее неспокойствие было в этой туманной студёной глуши, маневровые паровозы кричали надрывно, и гудок в доке, возместивший конец смены, был сипл, устало протяжен, без эха. Он прошёл поверху всех шумов и остыл, смёрзся с ними, как смерзается неровным наростом гнойно-жёлтая наледь со снегом и льдом.

У моста говорило радио, если точнее сказать, оно шебаршило утомлённо и невнятно. Я всегда любил слушать радио с шорохами, тресками, завываньями. Мне чудилось что-то загадочное и казалось: вот-вот сквозь барахольную неразборчивость прозвучит неземной, обязательно женский голос. Я и так уж в силу своего возраста жил в постоянном ожидании необычайного, а когда слушал неразборчивое радио, весь напрягался, чтобы не пропустить тот миг, тот неведомый голос, который назначен будет мне.

Я пошёл быстрее от города, от речки Гремячей, от тревоги, пропитавшей всё насквозь, даже воздух; от тяжёлых железных мостов, на которых грохотали и грохотали составы на запад, на фронт. Рявкающими гудками они всё распугивали на стороны, чёрной железной грудью сметая людское скопище, раздвигая перед собой мороз, останавливая встречные пассажирские поезда, сборные товарняки, коверкая расписания и железнодорожные графики — все условности мирного времени.

Наверху, возле речки Гремячей, возле протёсанной в скалах дороги, ныне уже осыпавшейся, стояла избушка, и в ней мутно светилось окно. Много-много лет потом будет мне сниться тот огонёк, потому что неудержимо меня потянуло в его тепло. Но я преодолел себя, побежал проворней, придерживая рукою воротник пальто у подбородка. Ботинки мои уже не наговаривали, а голосили, и хотя возле каменных обрывов нестерпимо жгло и закупоривало морозом дыхание, идти всё же было легче, чем на открытом месте.

Но как только миновал я окутанное сумерками крутогорье и очутился за перевалом возле полого берега, где прежде размещалась многолюдная китайская слобода, меня так опалило ветром, что я задохнулся и подумал: «Не вернуться ли?» (…)

Мне оставалось идти вёрст пятнадцать. Надвигалась ночь. Ветер тронул и потянул с торосов и сугробов снега. Пока он раскуделивал их, прял над самой дорогою, скручивал в веретьё и пошвыривал обрывки за гребешки торосов, за воротник пальто, в лицо и глаза — было не столь холодно, сколь глухо. Но когда весь снег подымет ветром да понесёт?..

Ботиночки-то, чэтээшэчки-то, вон они, постукивают чугунно, побрякивают, попробуй выдохнись…

На этом берегу, мимо которого я сейчас спешу, ютились когда-то маленькие избушки из фанеры, из досок и разных горбылин. Вокруг избушек полно было маленьких городов. Обитатели игрушечного города переселились сюда из Расеи, а китайцы остались после гражданской войны. Расеей у нас звалось

всё, что за Сибирью, иначе говоря, за нашим селом. А уж за городом — конец земли. Обитатели слободы называли нас кацапами, а китайцы кланялись и улыбались всем мимо идущим, приостанавливаясь в труде, опираясь на игрушечную вроде бы, но очень тяжёлую мотыгу. Китайцы приезжали в наше село за назьмом. Деревенские мальчишки бегали за подводами и дразнились: «Ходя, соли надо». Китайцы, улыбаясь, кивали головой, и один только старый китаец с завязанной синею тряпкой головой и усами-пёрышками сердился и выхватывал вилы из назьма, брал их наперевес и шёл на нас в атаку. Мы рассыпались по дворам и кричали из-за заплотов обидное. Китаец тряс головой и жаловался: «Какая нихаросая людя».

Китайцы и переселенцы подружились и породнились меж собой, и овсянские многие семьи перезнакомились с ними. За короткое время жители слободы каменный берег превратили в плодородную землю, и по праздникам неслось из слободы: «Ой ты, Галю…», «Эй, кумэ, нэ журысь», — играли гармошки, звучали какие-то тонкострунные китайские инструменты. Китайцы редко гуляли, больше работали и никогда не напивались допьяна, не дрались, чем озадачивали чалдонов, которые всё делали с маху и в работе вели себя, как в драке.

И получалось вот ещё что: чалдоны заглядывали на реденькие, неуверенные всходы на своих огромных огородах, гадая, чего тут вырастет, трава или свекла, а у китайцев на грядках уже что-то цвело и краснело, в середине лета, а то и в конце весны они уже весело гомонили на базаре, с улыбкой одаривая покупателей, с поклоном, сложив ладошку к ладошке, сперва зелёным луком и редиской, затем ранними огурчиками и помидорами, которые у них краснели на кустах.

«Слово знают!» — порешили чалдоны и пытались выведать «секреты», да где там, разве узнаешь чего у азиата. Он щурится, лыбится и талдычит, что секрет не один, а три их: труд, труд, труд. Многому научили сибиряков китайцы и самоходы из слободы, в особенности семеноводству и обработке земли. Научили зерно и горох молоть ручными жерновами, крахмал добывать из картофельных очистков и всякую овощь с толком использовать, даже мёрзлую. И китайцы, и самоходы не избалованы были землёй, тайгой и дорожили каждой картошечкой, крошечкой и семечком.

И хотя чалдоны, в первую голову бабушка моя, базланили: «Да штабы овощь с дерьмом исти?! Пушшай его сами китайцы и хохлы лопают…» Но голодные и военные годы приучили и их вежливо с землёй обращаться, пользоваться удобрениями. Со временем здешний берег перешёл под летние, затем и круглогодичные дома отдыха, нагородилось тут и заперлось за плотные заборы красноярское избранное общество, и совхоз после многолетней маеты, как и посёлок, получил наконец точное название «Удачный». (…)

С думами я не заметил, как миновал место — слободу и школу глухонемых. По берегу пошли дачи, сплошняком стоявшие в сосновом и берёзовом лесу. Лес подступал к самой реке, и веснами его подмывало и роняло. Идёшь краем берега, дачными тропами, узнаёшь домики, которые были тут ещё при Зыряновых, глядишь на резво играющих в мяч людей, купающихся, гуляющих. Вече-

рами в рощах, как и прежде, играла музыка, от которой, как и прежде, сладко сосало сердце и чего-то хотелось: уйти куда-нибудь с кем-нибудь или заплакать. Танцы были в разных местах. После танцев мужики и парни, как и прежде, водили девушек по лесу, прижимая их спиной к деревам.

Любопытно устроена человеческая жизнь! Всего мне семнадцать лет, восемнадцать весною стукнет, но так уже много всего было — и хорошего, и плохого. Про галушки вот вспомнилось. Самое, пожалуй, приятное и бурное событие в моей нынешней жизни.

Галушки продавали в станционном буфете к приходу поезда. О них вызнали фэээошники, эвакуированные и разный другой народ, обитающий на вокзале. Буфет брали штурмом. Круто посоленное клейкое хлебово из ржаной муки выпивалось через край, дно глиняных мисок вылизывалось языками до блеска. Пассажирам галушек не доставалось. Тогда в буфете стали требовать железнодорожный билет. Предъявишь билет — получишь миску галушек, два билета — две миски, три билета — три. Стоило хлебово копеек восемьдесят порция — цена неслыханная по тем временам. На копейки уже ничего не продавалось, кроме этих вот галушек и билетов в лилипутный театр, военным ветром занесённый на станцию Енисей.

Галушки варились в лужёном баке. Перед раздачей бак выставляли в коридор — для остужения, так как люди оплескивали друг дружку у раздаточного окна, да и кустарного обжига миски горячего не выдерживали — трескались.

Ребята углядели бак и решили унести его целиком и полностью. Операция была тонко продумана. Мы подобрали из группы путеобходчиков парня говорливого, с туповатой и нахальной мордой. Якобы не зная броду, затесался он в воду — вместо вокзала — на кухню станционного буфета, и пока там «заговаривал зубы», мы продели железный лом в проушины бака и упёрли его домой. Сначала галушки хлебала наша группа и проныра-путеобходчик. Сверху было жидко. Мы вынули из-под матраса доску, отломили от неё ощепину и шевелили ею хлебово. Со дна, окутанные серым облаком отрубей, всплывали галушки, и тут, наверху, их, будто вёртких головастиков, с улюлюканьем поддевали ложками.

Наевшись до отвала, мы позвали девчонок из соседнего барака и передали им ложки. Галушек в баке почти не осталось, мы их зарыбачили, но хлебать ещё можно было. Девки споро работали ложками и время от времени восторженно взвизгивали — из глубины бака возникала галушка: «Лови её! Чепляй! Не давай умырнуть! Пап-па-а-ала-ася-а-а-а! Рубай, девки, чтоб кровь в грудях кипела!..» — орали мы.

Управившись с галушками, поручили мы дневальному отнесть на чердак посудину и закатить её подальше, в темень. Дежурный надел через плечо винтовку с вывинченными от скуки шурупиками, допил остатки варева через край, очумело потряс головой — солоно на дне, и всё сделал, как было велено. Сытые, довольные, мы вместе с девчонками пели песни, первый раз, кажется, после того как поступили в училище, и у нас получалось хоть и не так слаженно,

зато дружно. Я так разошёлся, что исполнил соло: «О, маленькая Мэри, кумир ты мой! Тебя я обожаю, побудь со мной!..» (…)

Бак с галушками больше не выставляли в коридор станционного буфета, зав на всякий случай здоровался со всяким лицом, хоть чем-то смахивающим на учащегося трудовых резервов.

Дорога отвернула в сторону от крупно и густо запорошенной косы. Берег с мёрзло потрескивающим лесом и домами отнесло в серую, густую наволочь. Перестали взвизгивать ботинки. Заносы.

В спину ударило ветром. У щиколоток, возле раструбов ботинок ноги взяло в железные кандалы. Домов не видно. Огни школы глухонемых загасли. Ни искорки, ни звёздочки, ни подводы, ни путника на дороге, ни отголоска жизни. Ветрено. Холодно. Тесно в торосах. Одиноко в ночи. Надо нажимать. Надо идти. Теперь только идти и идти. Раз уж не свернул на огонёк в Гремячей, постеснялся обеспокоить людей в школе глухонемых, где, конечно же, из-за фээошника установили бы на ночь дежурство. Такая уж слава у нашего брата: фээошник и арестант почти на одной доске. «Ладно-ть, живы будем — не помрём! — заметив впереди темнеющий остров, подбодрил я себя. — Давай об чём-нибудь сердечном думать». (…)

Вот и остров. На нём нет доброго леса. На нём несколько старых, неуклюжих и каких-то неприкаянно-одиноких тополей, вершины редких тальников, свистящих на ветру, да сигнальный щит, у которого доски приколочены вразбежку. И хорошо, что вразбежку. Раз негде укрыться, стало быть, надо шагать. Шагать, шагать и шагать.

Приверху острова выдуло до гальки. Со льда, горбато выгнувшегося на обмыске, счистило снег. Лёд провально темнел, и дорога исчезла на нём. Сначала ещё заметны полосы от полозьев, выбоины подков, царапины, трещины, но всё исчезло, размылось в белом: и полозновица, и выбоины, и царапины. Я разбежался. ЧТЗ мои закрякали и покатили меня по мраморно-гладкому чёрному льду. Я ещё разбежался, ещё катнулся. Ветром меня заносило, развёртывало, а я упорствовал. «Кати-и! Всё равно, как голый лёд кончится, пойду по дороге».

По дороге! Но где же дорога?

Торосы. Торосы. Снег. Сугробы. Снова торосы. Дороги нет. Я одолел один занос, другой. Рваным лоскутом темнело озерцо голого льда. За ним тонким слоем снег. Ещё озерцо, поуже, поменьше. Полоска снега. Россыпь тёмных пятен, будто перья отереблённого глухаря, но перья крутит, заносит, поднимает куда-то. И реже пятна голого льда. Значит, я ухожу от приверхи острова. Значит, я иду ладно и вот-вот выйду на дорогу.

Единственный мой ориентир — торосы. Козырьки льдин наклонны по течению, подобно трамплинам. Идти встречь им трудно. О зубья льдин больно ударяются кости ног, особенно колени. И оттого, что замёрзли ноги, руки, весь я заколел, боль от ударов такая, что стукнусь о льдину — и сердце схватывает, в глазах просверки и сразу темень. Самого себя не видать.

Катанки бы. Хоть подшитые. Есть же на свете такая обувь — катанки! Утром их вынут из русской печи. Насунешь — и ноги попадут в сухую да та-

кую мягкую теплоту, что долго-долго радостно всему телу. Что может быть уютней такой обуви? Но люди изобрели ботинки. ЧТЗ! Зачем? Зачем я не остановился в школе глухонемых? Мы бы так хорошо потолковали с Алёшкой, и он сказал бы мне, что стряслось дома. Редко мы видимся ныне с Алёшкой. Война всех сделала занятыми. Но если встретимся, Алёшка обнимет меня и давит так, что я дня три не могу владеть шеей. Он и сегодня свернул бы мне шею от радости. Ну и пусть. Может, мне и не надо в село? Может, блажь Августе в голову ударила? Ребятишки. Нужда. Выдохлась — пожаловаться охота. Кому пожаловаться-то?

А может?..

Нет, об этом я не буду, не хочу думать, не стану!

Дороги нет. Пропала дорога. Бесы-лешаки из-под ног её вынули. Никогда мне в голову не приходило, что можно потерять торную санную дорогу. Не в лесу, не в тайге — на реке потерять!

Уметь надо!

Какой повальный ветер к ночи. Всего меня продувает. Одежонка на мне легка и тонка сделалась. Даже пальто Юры Мельникова не стоит против сибирского ветра-звездуна. Ах, пальто ты, пальто! В вагоне, может, и хорошо в тебе, но здесь не шибко. Велико ты мне, и поддувает всюду. Колом стоишь, деревянное сделалось.

Хорошо, что ребята дали пару тёплого белья. Миша Татаренко, парень из тех самых самоходов, что жили когда-то в слободке, которую я только что миновал и потерял, отвалил бабью меховую душегрейку. А вот штаны тонки. Варежки коротки. Шапка мала. Ботинки — ЧТЗ — веселы, да тесноваты. Всё на мне залубенело, ровно в мочальные ленты я обёрнут. И дорогу я потерял. Нет дороги.

Ветер. Снег. Холод. Сибирская погодка. Нашенская. Катанки бы и доху, да шубные рукавицы, да шапку меховую против такой погоды… Ах, пальто ты, пальто! Кто тебя придумал, кто?.. В школе я сочинял стишки. Разом сочинял и про всё. Дивились ребята моему таланту. Из-за стишков я плохо учился по математике, потому как считал, что человеку, умеющему составлять стишки, математика ни к чему.

Война пришла и всё перемешала,
Всю жизнь она поставила дыбом!
Да, трудно нам, и отступаем мы сначала.
Но всё равно вколотим фрицев в гроб штыком!

Эти стишки я сочинил для первого номера стенной газеты желдоручилища и подписался — Непобедимый.

Непобедимый! Вот околею здесь, так буду непобедимый! Скотина! Дубина! Идиотина! Тьфу ты, опять стишки!

Начались сугробы. Забрался я в огромные, кучами вздыбленные, язвенно лопнувшие торосы — такие бывают на высунувшихся из воды камнях. Куда я ни ступлю, всюду здесь льдины стоят торчмя, острые, гладкие, меж них рыхлый снег. Я зацепился полой пальто за льдину и рухнул грудью на что-то твёр-

дое. Пощупал — камень, маковка камня, зализанная водою. Вокруг него позванивали на ветру льдинки. Я привалился к камню. Он был стылый и гладкий, но под ним, в онемелой глубине жила река. За камнем, в водяном заветрии, стояли таймени и ждали весны и тепла. И тот таймень, что бродень с меня когда-то стянул, быть может, тут же стоит и посмеивается, тварина: опять ты, малый, впросак попал! (…)

Надо искать берег, дачи. Лежать нельзя. Минуту я лежу, не больше, но уже щипнуло запястье руки и большой палец ноги, давно ещё обмороженный. Я знаю, как такое бывает. Вдруг стеклянной резью пластанёт по живому, в глубь тела войдёт тонкая игла, и это место перестанет «слышать». Другая игла, уже быстрее, вопьётся рядом с нею, и ещё частица твоего тела отделится от тебя. И тут же потянет в сон.

Знаю. Всё знаю, а встать не могу. Даже шевелиться не хочется…

Да что такое особенное случилось? Потерял дорогу? Ну и… Подумаешь, дорога! Я на родной реке! На той реке, по которой плавал, ходил, ездил на моторке, на лодке, на лошади, ходил на своих двоих. Мне здесь с самого детства всё знакомо. Каждый выступ берега. Каждый остров. Каждая скала. Шалунин бык. Собакинский остров. Совхоз Собакинский…

Вот интересная тоже штука: совхоз только на моей памяти переименовывали не одинова. Он, кажется, назывался «Красный луч», «Коммунар», «Пионерский» и ещё по-разному, но как был окрещён чалдонами Собакино в честь речки, на которой имел неосторожность разместиться, так Собакинским и оставался до тех пор, пока к имени «Удачный» не пришёл с победою и славой, мало кому ведомыми. Чтобы чалдона с места своротить, шибко много всего надо. Ты ему: «Стрижено», а он тебе: «Брито». И всё тут. Собакино ты, Собакино! Где же ты есть, Собакино? Мне бы хоть берег найти, не ходить по кругу чтобы, тогда б уж я добрался до тебя, Собакино. А там люди живут. Кони есть. Собаки, конечно, есть. Хоть бы они забрехали. Но в такую погоду собаки под лавками спят. В такую погоду добрый хозяин…

Это мне всё нипочём! Это я, упрямый чалдон, фэзэошник-уркаган, рванул к тётке в гости. Наперекор стихиям. Молодецкой грудью на преграды. Непобедимый! Герой! Иван-царевич! Дерьмо собачье! Видно, и впрямь, что тупо сковано — не наточишь, что глупо рождено — не научишь. Видел же, видел… когда от дока спускался, что ничего хорошего на небе нет: с городского краю в лохмах серых оно, с той стороны, где село родное, над перевалами разошлись тяжёлые пластушины, голубенькое обнажили. Далеко-далеко, глубоко-глубоко, голубенькое-голубенькое. Как взгляд одной девчонки, с которой я учился в третьем классе и о которой никогда ничего и никому не скажу. Знал — нечего хорошего ждать. К стуже, к пурге такое небо. Приметы сами в меня впитались. На лоне, как говорится, рос. Но вот вспомнился мне взгляд третьеклассницы, подарившей на уроке труда платочек с буквами: «Н. Я.», потом о Кате-кондукторше мысль пошла, и всё я на свете позабыл. Чувствительный какой!

Я пересилил себя, заставил подняться. Иду, спотыкаясь о торосы, падаю. В рукавицы начерпался снег. В ботинки тоже. Вытряхивать некогда. Останавливаться нельзя. Мне конец. Скоро конец.

— Э-э-э-э-эй! — крикнул я прерывающимся голосом. — Э-эй, кто-нибудь!..

Безнадёжно это. Однако ж на то я и чалдон, чтобы верить в чудо, в наговор, в приворот, в сглаз и в прочую чертовщину. Остановился. Вслушался. В голове начала гудеть от напряжения кровь.

Никакого чуда нет. Чудо в тепле, за печкой живёт. Чудо слушает сказки, вой в трубе. Чудо мохнатое, доброе, домовитое. Чудо — пуховый платок покойной матери на больных ногах. Чудо — руки бабушки, её ворчанье и шумная ругань. Чудо — встречный человек. Чудо — его голос, глаза, уши. Чудо — это жизнь. Я не хочу умирать.

Мне семнадцать лет. Только ещё семнадцать. Я ещё не окончил ФЗО, ещё никакой пользы людям не сделал, той пользы, ради которой родила меня мать и растили меня, сироту, люди, отрывая от себя последний кусок хлеба. Я и полюбил-то всего ещё одну девчонку, в третьем классе, и не успел ей сказать о своей любви. Я только берёг её платочек с буквами «Н. Я.», что значит Нина Якимова, даже не утирал платочком нос и стирал его редко, чтобы не износился.

И кондукторше Кате записку не успел написать. Нельзя мне умирать. Нельзя. Рано.

Лицо моё мокро. Губы солёные. Только теперь, когда выдохся и снова упал, обнаружил, что причитаю я по-бабушкиному, в голос:

— Бабушка! Бабушка, миленькая! Где ты? Пропадаю!..

Я делаю то, что делают все люди на свете в свой последний час, — зову самого дорогого человека.

Но он не слышит меня.

Всегда слышала меня бабушка. Всегда приходила ко мне в нужную и трудную минуту. Всегда спасала меня, облегчала мои боли и беды, но сейчас не придёт. Я вырос, и жизнь развела нас. Всех людей разводит жизнь. Зачем я хотел скорее вырасти? Зачем все ребятишки этого хотят? Ведь так хорошо быть парнишкой. Всегда возле тебя бабушка.

От слёз состылись ресницы, губы свело холодом. Я привалился плечом к торосу, утянул голову в каракулевый воротник, меж кучерявинок которого набился и затвердел снег.

Я сдался. (…)

В какой-то момент я обнаружил, что идти мне сделалось ещё труднее, и не сразу уразумел, что карабкаюсь на крутизну.

Берег!

Наткнулся на крутой, подмытый берег. Мне стоит только подняться на него и… Я сделал шаг, другой и вместе с накипевшей кромкой снега провалился в тартарары. Пальто цеплялось за какие-то выступы, ноги и руки било о твёрдое, в голове деревянно брякало от ударов и озарялось вспышками.

Ну вот прилетел куда-то, сверзился. Лежу в какой-то дыре. Ветра здесь нет, он шёл вверху, надо мной.

Оттуда, сверху, порошился снег, хрустел на зубах. Я повернул голову туда-сюда, слева и справа, впереди и сзади было темно, какие-то стены всюду. Что я, в могилу провалился? Замуровало меня? Открытие это нисколько не потрясло меня, так я отупел и устал, что оттого лишь, что не было ветра и снег не хлестал в лицо, мне сделалось лучше. Я отдыхал, приходил в себя, а сверху всё шуршал крупою и сыпался, сыпался снег. Сыпался пригоршнями, порциями. (…) Надо зажечь листки от ПТЭ, в которые был завёрнут хлеб. Зажечь, согреть руки, осмотреться.

Листки от ПТЭ горят хорошо, но грева от них мало. Я выдёргиваю листочки из второго кармана, и пайка, ещё одна, остаётся в кармане нагая. Пальцы начинают щупать друг друга, и я затеиваю немыслимое дело — закурить.

В брючном кармане, в бумажном пакетике, завязанном в платочек с буквами «Н. Я.», есть табак. «Смерть Гитлеру!» — табак называется. Его привезли ребята из Канска и дали мне в дорогу. Табак чёрен, будто дёготь. Это не табак, это бумага, пропитанная никотином. И когда зобнешь от цигарки…

Кручу цигарку. Кручу её пальцами, губами, зубами. Я должен её скрутить. Должен!

И я закурил. От спички закурил. Спички тоже привезены из Канска. Коробка у меня нет. Спички — десяток штук — насыпом в кармане, и картонка, облитая смесью, об которую зажигаются спички. У меня ещё есть в запасе кресало. Но с кресалом сейчас не сладить.

Я курю. Кашляю и курю. Боюсь одного, чтобы не погасла цигарка. Говорят, табак приносит вред. Твердят об этом с самого детства. Всем твердят, и все согласны — курево вредно, губительно. И всё же курят. (…)

Ну, не бывает худа без добра! Не случись этого, что бы со мной было теперь? Везучий я человек, везучий!.. Не колдун, конечно, но всё же…

Стоит мне сейчас набраться сил, выбраться наверх, и совхоз Собакинский — вот он! Дома — вот они! Дело за небольшим — выбраться. И выбрался. Не сразу, конечно. Сначала пытался подтягиваться на руках, но пальто было слишком тяжёлое, силёнки во мне осталось мало. Я срывался и падал, сшибая о брёвна локти, колени, разбил подбородок, разорвал под мышкой пальто. В дыру сразу же проник холод, начал остро когтить грудь. Вплавь я сумел выбиться наверх. Сначала шёл меж штабелей по снегу, потом брёл; когда сделалось по горло и почувствовал, что нахожусь у самого среза осыпавшегося яра, — поплыл по снегу, отталкивался ногами, грёбся руками, перекатывался мешком, работал локтями, спиной, шеей, головой — всем, что ещё во мне было живое.

И когда можно было встать и пойти, я всё ещё не верил себе, всё ещё барахтался в снегу, пока руки в заледенелых варежках не застучали о твёрдую полозницу. Я поскрёб полозницу, заполз в желоб дороги, раскопал тёмные катышки конских шевяков, понюхал рукавицу. Она пахла назьмом, конским живым назьмом. Кони прошли по дороге совсем недавно!..

Я стёр с лица снег и увидел вблизи заплот, за ним, или там, где он кончался, неяркий, деловитый огонёк светился. Низко, у самой земли, рыльце окна сонно

покоилось в проёме снежного сугроба — ровно бы продышал огонёк себе дырку в снегу.

Ошеломлённый видением, запахом жилья, конского назьма, древесного дыма, какое-то время стоял я под ветром и боялся верить себе. Огонёк в низком окошке заморгал, сморился, померк. Он ещё выбился раз-другой из серой мути, ещё порябил солнечным бликом, но тут же рассеянно дрогнул и загас.

Поблазнило мне: и огонёк, и запах жилья. Но в мокрый нос, в неживое моё лицо било запахом назьма, дымом било. Я заставил себя идти на запах дыма и нашёл то, чего искал. Огонёк внезапно оказался передо мною, всё такой же приветливый, деловитый. Никто его не гасил. Просто закручивало ветром дым из трубы, бросало его куда попало, порою захлестывая окошко у земли.

«Ах ты какой! Ах ты какой!» — обругать огонь по-крутому я боялся. Разом сделался бравый ругатель-фэзэошник суеверен и страшился, что от нехорошего слова, от неосторожной мысли всё может взять и исчезнуть. Я перебирался по брёвнам, в рыхлых заметах подле завалинки, не решаясь отпуститься от избушки. Я искал дверь и никак сыскать её не мог. Если бы во мне сохранилось хоть сколько-нибудь шутливости, я бы сказал: «Избушка, избушка! Повернись к лесу задом, ко мне передом!» — и сразу нашёл бы дверь. Но я не только шутить, я ни говорить, ни думать не мог. Сил во мне не осталось совсем. Меня охватило томительное желание сесть возле избушки в снег, прижаться к брёвнам, вдавиться в них и погрузиться в сладкое забытьё. Это так славно: сесть в заветрии, закрыть глаза и верить, что тут, возле человеческого жилья, пропасть тебе не дадут. Вот так, расслабившись, люди замерзают у самого порога, у дверей жилья. И если бы не запах дыма, что сверлил мне ноздри, густым дёгтем плыл мне в горло, я стал бы карабкаться по глухой стене избушки, расчерченной снегом в пазах. Я бы плюхнулся в снег и уснул.

Но беспокойным флагом метался дым над землёю и напоминал всё только живое, тёплое: субботнюю баню с лёгким угаром, после которого будто и не дышишь, будто хлебаешь воздух, ключевую, зуб ломящую воду, печку русскую с тихим, верным теплом; вороватый шорох тараканов в связках луковиц и в лучине; кисловато-умиротворяющий запах квашни и прело-сладкий дух парёнок из кути; звяк подойницы и шорох молока в волосяном ситечке; голос бабушки, привставшей на припечек: «Пей, пей парное — скорее поправишься…»

Запах дыма! Привычный с детства, до того привычный, что перестаёшь его замечать. Порой и досадуешь на него, когда ест им глаза. Но нет ничего притягательней и слаще дыма. Нет. Где дым — там огонь! Где огонь — там люди. Где люди — там жизнь!..

Вот она — дверь. Вот деревянная скоба, сколотая в середине, да не могу я её открыть. Опустившись на приступок, оплёсканный водой, на пристывшую к нему солому, на втоптанный в лёд голик, я царапаюсь в дверь, как пёс лапою, а в щели двери несёт душной теплотой — вроде бы хомутами пахнет.

— Кого там лешак принёс?

Я попытался ответить, но только мычанье выбилось из мёрзлых губ. Слёзы мешали словам. От дыма ли, от радости ли они катились и катились по скользким, ознобленным щекам, попадали в рот.

— Да кто там?

— Дяденька, помогите ради Христа! — сказал я, как думалось мне, громко, на самом деле промычал какую-то невнятицу.

Со мной произошло то, что происходило со многими чалдонами прежде и теперь — в крайнюю минуту они вспоминали Спасителя, хотя во здравии и благополучии лаяли Его. На фронте не раз мне доведётся увидеть и услышать, как неверующие люди в смертный миг вспомнят о Боге да о матери, а больше ни о чём. Но нет у меня матери, и бабушка далеко.

За дверью кряхтенье, скрип нар, нудный голос:

— А-ать твою копалку! Токо-токо ноженьки успокоилися, токо-токо анделы над башкой закружилися, и вот лешаки какого-то полуношника несут… И чё ходят?..

Чалдон! Доподлинный чалдон! Пока встаёт и обувается, уж поворчит, поругается. Но пустит. Обязательно пустит. Обогреет, ототрёт, последнее отдаст. Однако ж отведёт при этом душеньку, налается всласть.

Чалдон, родной, ругайся, как хочешь, сколько хочешь, но открывай! Скорее открывай! (…)

Чугунная плита об одну дырку — в огненных молниях. В трещины и меж кирпичных стенок выхлёстывал дым с пламенем. Избушка наполнена гулом и дрожью. Волнами накатывает жара. В гуле печки, в её потрескивании, неожиданно громких хлопках что-то дружески-бесшабашное. Так и хочется обхватить эту кособокую, умело слепленную печурку с треснутой плитой. Но нет мне хода к печке.

Я сижу на дровах, ноги мои в лохани с водой, правая рука в глиняной чашке. На печку я смотрю будто собака на кость, которую ей пока не дозволено брать. И только потянусь я к печке рукой или грудью, хозяин этой избушки на курьих ножках кричит мне:

— Нельзя! Нельзя-а-а!

Он сидит на нарах, привалившись грудью к столу, исколотому шилом, избитому гвоздями.

Отдыхивается. Уработался.

Он оттирал мне снегом ноги, правую руку, побелевшую до запястья. Лицо он посчитал предметом второстепенным, и когда добрался до него, было поздно. Лишь сорвал суконной рукавицей отмершую кожу со щёк и правого уха. Почему-то я всегда зноблюсь правой стороной, а ранюсь и ломаю всё с левой стороны… Шорник растрёпан. Его лохматая тень шарахается по избушке. Наконец он отдышался, утёр потное лицо подолом рубахи и зачесал волосы назад женской гребёнкой. Я потихоньку скулил и всякие подробности отмечал лишь мельком, в сознании моём они не задерживались.

— Задал ты мне работы! — заметил шорник и ободряюще поглядел на меня.

Во рту с правой стороны его обнаружилось пустое место. Но уцелевшие зубы белы и крепки, видать, серу с детства жевал человек и укрепил зубы. Я отвлёкся на секунду, разглядывая шорника, затем снова запел от жжения и боли.

— Дак чей будешь-то? — не оставлял меня в покое шорник. По мягкости и приветливости его слов я определил — можно к печке. Но он повысил голос. — Не лезь. Не ле-езь! Дурная голова! Такая резь начнётся — штаны замочишь! Потылицыных, значит? Катерина Петровна Потылицына кем доводится тебе? Бабушка!

Шорник всматривается, но лампёшка с половиной горелки светила за его спиной на окне, и он, должно быть, плохо различал меня. Хозяин избушки до странности гол лицом — ни бороды, ни усов, лишь из чёрной бородавки, с копейку величиной, прижившейся на подбородке, торчат седые волосы и отсвечивают, когда он поворачивается к лампе. Голова его стрижена без затей, под кружок. Седые волосы, ровно подсечённые ножницами, спущены низко и зачёсаны за уши. Мерещится мне, что мочки ушей проколоты. Голос шорника сипл и раздражителен. И вообще человек он сердитый, видать, тогда как все шорники и сапожники, мною прежде виденные, — народ пьющий, прибауточный, весёлый. Те, о которых моя бабушка говаривала: «В поле ветер, в заду ум!» «Знать-то он из цыган!» — почему-то решил я, но отгадывать шорника, заниматься им дальше мне в общем-то невозможно. Не до него совсем мне. Лицо распухло, ошпарено будто или осами искусано. Ноги рвёт, руки рвёт. Я всё так же однотонно, по-щенячьи скулю. Стомлённый шорник глядит в мою сторону и, трудно собирая из слов фразы, сообщает:

— Была здесь Катерина-то Петровна, днесь завёртывала.

Я перестал скулить.

Шорник стянул с ног валенки и грел их над плитою.

— Из городу плелась, от старшего Кольчи. У него скоко-то на хлебах жила.

«Да он же заговаривает мне зубы! Отвлекает меня!» — сделал я неожиданное открытие и кивнул на жестяную банку, где луковой шелухой желтели бумажки от старых окурков.

— Вы, случаем, не курящие?

— Курящие! Да ещё как курящие! — тоскливо вздохнул шорник. — С вечеру конюха починялися и сожрали весь табак. Теперь хоть задавися. — Какое-то время он слушал ветер за избушкой, затем протяжно вздохнул: — И кто курить придумал? Без хлеба выдюжу, без табаку нет, ать его копалку!

Радый до бесконечности, что хоть чем-то могу отблагодарить человека, который, догадываюсь я, греет для меня катанки, а сам в кожаных опорках топчется у плиты, я предложил ему вынуть из моего кармана пакетик с чёрным табаком. Шорник кинул валенки за плиту, разом забыл о них и суетливо шарил в моём кармане, ровно обыскивал меня. Затем поспешил к столу, на свет. Опорок с него спал. Он искал его ногою, не дышал и с аптекарской бережливостью развёртывал бумажку с табаком.

Он так и не сыскал ногою опорок.

Подобрав стынущую от пола ногу по-птичьи под себя, он скрутил цигарку, с мычанием приткнулся к лампе, почти всё пламя вобрал в себя, затянулся, хлебнул дыму и закатился далеко возникшим, беззвучным кашлем. Его колотило изнутри, зыбало так, что волосы на голове подпрыгивали, вытряхнули гребёнку и рассыпались соломой.

Промельком сверкнуло — дедушка на бревне, цигарка, светящаяся в вечерней первотеми, колуном раскалывающий тишину кашель… Я уж начал вынимать ноги из лоханки, чтоб отваживаться с человеком, но тут он разразился хриплым звуком — стон пополам с матюками — и, когда маленько откашлялся, отплевался, вытер подолом рубахи слёзы, оглядывая экономно скрученную цигарку, восторженно крутанул головой:

— От эт-то да-а-а! От эт-то табачо-ок!

— «Смерть Гитлеру!» называется.

— Смерть, значит? Гитлеру, значит? Уконтромят его скоро. Вечор конюха-бабы сказывали: сообченье по радио было, пожгли будто германца видимо-невидимо под Москвой огненной оружьей. Германец-то замиренье просит, наши не дают. Капут, говорят! До окончательной победы… Э-э, ты чего ноги-то вынул? Не ломит уж? Тогда катанки мои насунь. Катанки, катанки, — засуетился хозяин, оживлённый до крайности, будто хватил не табаку, а стакашек водки. — Допрежь ноги-то оботри. Во онуча, ей и оботри. Рушников у меня нету…

Наконец-то я у печки! Но усидеть долго не могу — лицо рвёт, выворачивает, словно рукавицу, хотя шорник и смазал мне его гусиным салом и уверял: заживет, мол, до свадьбы.

На плите пеклись картошки и пригоршня овса. Овёс шевелился, подпрыгивал и лопался по брюшку. Шорник помешивал овёс пальцем, исполосованным дратвою, и теперь его совершенно голое лицо в тёмных и мелких складках я рассмотрел подробней. Короткая шея обёрнута старым женским полушалком и по-бабьи повязана под грудью. Мочки ушей и в самом деле проколоты.

— Шелуши, шелуши! — ткнул пальцем в овёс шорник. — Скоро картошки поспеют, чай сварится. Погреешь нутро-то. Самогону бы, да где его возьмёшь? Такое время наступило… Ох-хо-хо-о-о! — Во вздохе мне снова почудилось что-то бабье.

Шорник покурил и сделался мягче лицом, суетней и хлопотливей, может быть, оттого, что начал я внимательней следить за ним, и он застеснялся меня, как всегда стесняются нормальных людей горбуны, калеки и всякие эти, как их?

Я пробовал взять с плиты щепотку овса, но не мог — так распухли пальцы.

— Ать твою копалку! — ругался шорник. — Худо пальцы-то владеют? Ах ты грех! Ну, сейчас, сейчас… — Он сгрёб овёс в консервную банку из-под окурков и поставил её передо мною. Я цеплял языком накалённый, поджаристый овёс из банки и шелушил его, будто семечки.

— Вкусно как!

Тем временем допеклись картошки, забулькал в жестяном чайнике кипяток. Шорник бросил в него жжёную корочку, подождал маленько и налил мне чаю

в алюминиевую кружку, себе в стеклянную банку из-под баклажан. Я хватал губами металлическую кружку с одного, с другого края и не мог отхлебнуть — горячо. Шорник дул в свою банку, щурился и сочувственно следил за мной.

— У меня есть кусок хлеба в кармане, — показал я на пальто, висящее за печкой, на хомуте, будто на человеческой фигуре.

— Картошек поешь покуль, хлеб побереги — не к мамке на блины идёшь.

— Да я… Я вам хотел предложить.

Хозяин скользнул по мне глазами и с серьёзной грубоватостью успокоил:

— Обо мне не хлопочи. При конях.

От чая ослаб я, осовел и беспрестанно шоркал рукавом по носу.

— Платок же у те, — показал на мой карман шорник. Туда он всунул платочек с буквами «Н. Я.», в который была завёрнута бумажка с табаком. Мне подумалось — это неуклюжий намёк.

— Курите, пожалуйста, если хотите.

— А ты? Сам-то как же?

— Я так. Несерьёзно.

— А-а, тогда другое дело! Совсем тогда другое дело! — охотно поверил в моё враньё шорник. — От табачка не откажусь. А ты не привыкай! Не балуйся. Это такое зелье клятое. Не привыкай, парень!

Движения его снова сделались суетливыми, и он снова сронил опорок с ноги и нашаривал его, но только запнул дальше под нары. Потом он закатился, точно дитё в коклюше, опять скрипел мучительно, со сладостью кашляя и ругаясь.

В плите прогорело. Лампёшка на окне зачадила пуще. В углу, за хомутами, начали бегать мыши. Наступил поздний, наверно, уже предутренний час. Шорник прилёг на нары и освободил для меня место у стены. Ноги шорника то и дело потягивало судорогой. Он пытался найти им место, уложить поудобней, чтобы не ломило их. Но болели ноги, и в коленях хрустело, щелкало так, будто ходил он по ореховой скорлупе или наступал ими на пересохшую щепу. Знакомая мне болезнь. Помаялся в детстве. Нынче ничего. Поноют, поноют в суставах ноги и перестанут. Молодость, видать, сильнее болезней, отпихивает она все хвори к старым летам. Всё скажется после: и фэзэошные ботинки, недоеды, недосыпы, и ночи на берегу весенней реки, и купанье в заберегах, и игарская парикмахерская, и эта гибельная ночь на зимней реке.

— Ох, ноженьки вы мои, ноженьки! — бормотал шорник. — Чтоб вы уж отболели, отвалилися. Туды ли, суды ли… «Смерть Гитлеру!» Придумают жа! Лампу уверни, коли не нужна. Вовсе-то не гаси. Мало ли? Война. Всех она с места стронула. Люди ходят и ездиют туда-сюда. Понесёт лешак такого же ероя, а огонёк вот он. Моргат…

Голос шорника мягчал, растягивался, будто куделя на прялке, перешёл в мык, и мык слился с беспокойным, прерывистым храпом, который то и дело сменялся короткими стонами, и всё сучил и сучил шорник ногами, отыскивая им подходящее место. Сипело в догорающей лампе. Огонёк её перестал колыхаться. Избушку не шатало ветром, не ухало в трубе, не стучало на крыше, лишь

хрустел на стеколке окна растекающийся ледок да сонно шуршало за стеною по брёвнам.

«Да-а, стронула!» — наглядевшись, как терзает сонного человека болезнь, повторил я про себя.

Все торопятся, все бегут, иной раз уж и сами не знают, куда и зачем. Совсем сбиты с панталыку коренные жители Сибири. Они привыкли к вековечному, замедленному и незыблемому укладу жизни. Люди, не знавшие бар и не шибко жалующие дисциплину, казённые распорядки, они не вдруг поняли случившееся. Недостатки военной поры, в особенности нехватку хлеба, на первых порах переживали беспечно — голодный-то тридцать третий год давно прошёл, забылся, — получивши на месяц муку, женщины замешивали её в одну квашню, стряпали вкусно, пышно, ели кому сколько влезет, а после пухли без еды.

Война ещё научит чалдонов, вернее чалдонок, всему: стряпать — муки горсть, картошек ведро; собирать колоски, перекапывать поля с мёрзлой картошкой; есть оладьи из колючего овса; пахать на коровах; таскать на себе вязанки; высокие заплоты, где и ворота — спалить на дрова, открыто жить, вместе со всеми тужить и работать, работать, работать — скопом, народом, рвя жилы, надрываясь, поддерживая друг дружку.

Я всегда думал, что война — это бой, стрельба, рукопашная, там, где-то далеко-далеко. А она вон как — везде и всюду, по всей земле, всех в борьбу, как в водоворот, ко всякому своим обликом. (…)

Солнце поднялось выше и стоит над селом, завидневшимся с середины реки. Вокруг солнца поразмыло туманную муть, почти стёрло месяцок, но солнце в рыжей шёрстке и не греет. Оно зависло на пухлых дымах, поднявшихся высоко-высоко над домами. Крепкие лиственные избы крышами да трубами темнеют в сугробах.

Кажется, всё успокоилось в селе, уснуло под снегом, лишь раскалённым металлом сверкнёт окно на чьём-то подворье да взбрехнёт собака. Лес, спустившийся с увалов к огородам села, недвижен и пёстр. Огороды, как упряжь, сдерживают разбежавшиеся под гору дома, не дают им упасть с берега. А на реке бесконечно пересыпается искрами снег и льдины пускают ослепительные просверки в насупленные, тёмные скалы, внутри которых время от времени щёлкает сухо, без отголоска — рвёт морозом камень.

Всё ближе село, завьюженное, безлюдное. В лохматой подмышке тайги кажется оно таким сиротливым и чистым, что щемит у меня сердце. Я соскакиваю с подводы и тороплюсь к селу, черпая ботинками снег. Обоз обгоняет меня и начинает взниматься вверх по Большой Слизневке — за сеном. На этой речке была когда-то дедушкина мельница, и я там рыбачил хариусов, а бабушка теряла меня. Теперь здесь лесоучасток, работает движок, у гаража трещат машины и фукает пламенем бункер газогенераторного трактора. Мельницу растаскали на дрова, остатки спалили. Лишь белый хребтик плотинки означал то место, где она прежде стояла.

Как сильно успел я соскучиться по родному месту. Смутная догадка о том, что трудно мне будет вдали от него, начинает меня томить.

Мороз послабел, но ознобленные щёки болят. На улице мне встретилась незнакомая женщина с вёдрами, должно быть эвакуированная. Из подворотни юшковского дома выкатился и залаял на меня пёс, но тут же усмирился, подошёл ко мне, понюхал карман, в котором был хлеб. Мария Юшкова сбрасывала с сарая сено корове, увидела меня, поздоровалась. Я спросил, где Ванька, мой однокашник, и она со вздохом сообщила, что Ваньку вызвали на приписку в Берёзовский военкомат. Я перевёл дух, пошёл медленней.

Село стояло на месте: дома, улицы, значит, и весь мир жил своей неходкой жизнью, веками сложенным чередом. Однако порядочно домов исчезло, проданы в город, перевезены на известковый завод и лесоучасток. На месте домов дыры, словно не дома из жилых порядков, а зубы вынуты клещами изо рта. Суровы ликом сибирские деревни, и на нашем селе, придавленном снегами и морозом, ещё и скорбь какая-то невыносимая — нет мужиков, стало быть, и лошадей нету, не звенят пилы, не стучат колуны по дворам, не слышно весёлых привычных матерков, но дымятся трубы, село живёт наперекор лихому времени. С этой, именно с этой встречи с родным селом-деревушкой останется в душе моей вера в незыблемость мира. До тех пор пока есть в нём она, моя странная земная деревушка, так и будут жить они сообща — деревушка в мире и мир в деревушке. Вот и дом тётки Августы. Я торопливо крутнул витое железное кольцо и обрадовался, что ворота не заложены. Раскатился по крашеному полу сенок и ввалился в избу. Изба эта куплена лесоучастком, где работал шофёром Тимофей Храмов — второй Августин муж. Незадолго до войны семью лучшего шофёра-лесовывозчика переселили сюда.

В кути никого, но очень тепло здесь, слабенько тянуло чадом из только что закрытой русской печки, коровьим пойлом и брюквенными парёнками.

— Здорово ночевали! — Я отодрал со рта обмёрзлое полотенце и принялся поскорее расшнуровывать ботинки. Из горницы на голос выглянула Августа, маленькая, совсем усохшая, курносая.

— Тошно мне! Весь познобился! — закричала она, хлопнув себя руками. — Да кто тебя гнал в такую морозину? Тошно мне! Ладно, хоть бабушки-то нет. Приохалась бы… Тошно мне!

Августа помогла мне снять пальто, размотать полотенце, раздёрнула зубами тесёмки шапки, потому что от дыхания узел заледенел. Попутно делала она разные дела: ломала лучину, набрасывала в железную печку дров, ставила чугунок с похлёбкой, забеленной молоком. Из горницы, держась за косяки, выглянули черноглазая Лийка и беленькая, пухленькая, с ямочками на щёках Капа. В глуби горницы отдалённо орала старческим, треснутым голосом Лидка.

— Идите ко мне! — поманил я Лийку с Капой. Но они не двинулись с места.

— Это ж дядя, — пояснила девочкам Августа. — Не узнают. Лицо-то шибко у тебя распухло. В синяках всё. Дрался ли, чё ли?

— Дрался. Ночью с брёвнами. Ну, идите сюда. Хлеба дам.

Девочки осторожно приблизились и стали, руки по швам. Я отломил им корочку. Остатки пайки, завалянной в кармане, протянул Августе.

— Я ненадолго.

Августа убрала пайку в посудник.

— Лезь на печку. Там катанки старые, Тимофеевы, и тепло. Только-только печку скутала. Ись-то сильно хочешь?

— Терпимо.

— К Алёшке не заходил?

— Не заходил.

— Чё же не завернул-то? Он как прибежит на выходной, спрашиват про тебя. Тоскует.

— Может, на обратном пути.

Я жался к тёплой трубе, белённой известью. Снова разворачивало, пластало руки, лицо, ноги, ухо и всего меня колотило так, что клацали зубы.

Но я терпел, не ныл.

Скоро Августа скажет о своей беде. По её лицу, по конопатым щекам, землисто подёрнутым, по губам, тоже ровно бы землёю выпачканным, как будто съела она немытую морковку, и по глазам, темь которых просекает больная горячечность, догадаться нетрудно, какая беда стряслась. Однако не хочется мне верить в неё, я боюсь услышать об этой беде и потому прячусь за трубу русской печки.

Место верное.

В детстве не раз прятался я за трубу от бабушкиного гнева, с разными мальчишескими бедами, огорчениями, секретами.

Лидка ревела в горнице всё громче и требовательней. Лийка ушла качать её. Капа по приступку забралась ко мне на печь. Я подхватил её, погладил по светлой чёлке и усадил за себя, к стенке, на которой висели и вкусно пахли чесноковые и луковые связки. Капа широко растворенными глазами глядела на меня, потом провела по моей щеке пальцем.

— Бо-оба. — От сочувствия у Капы глаза наполнились слезами.

Я принялся трясти луковую связку, чтобы отвлечь девчушку, не дать ей разреветься, а то не ровен час и сам с нею зареву.

Лидка всё прибавляла и прибавляла голосу — грудь требует. Августа ровно бы не слышала её, но вдруг сорвалась с места, загрохотала половицами, рванулась в горницу, выхватила из качалки Лидку и, точно коня, начала дубасить её кулаком. Материлась она при этом так страшно, с такой ямщицкой остатнелостью, что Капа прижалась ко мне и сам я ужался, хотя мне следовало бы унять тётку.

— Подавись! — сунула Августа закатившейся Лидке грудь, а та, задушенная рыданиями, никак не могла ухватить губами сосец и всё кричала, кричала. — Да жри ты, жри!.. — перегорелым голосом сказала тётка.

Лидка смолкла у груди, и только глубоко остановившиеся рыдания встряхивали её маленькое тельце, но и они скоро утишились. Августа кормила Лидку, задрёмывая вместе с ней. Лицо её чем-то напоминало лик на старой, отгорелой иконе, под которой она сидела. Мне хотелось, чтоб всё так и осталось, чтоб тихо было, без слёз, без матерщины и крика. И чтоб лицо у моей тётки просветлело хоть немножко.

Августа вздрогнула, отняла у Лидки грудь, спеленала её, виновато вздохнула и опустила в качалку. Лийка, на всякий случай забившаяся под кровать, вылезла оттуда и принялась старательно зыбать сестрёнку, стянутую пеленальником, сытую и ублажённую.

Баю-баюски, бай-бай,
не ходи, музык-бабай… —

напевала Лийка. Капа, притихшая было и спрятавшаяся за меня, высунулась из-за трубы. Я приподнялся на локтях и тоже выглянул. Августа стояла, уткнувшись лбом в белёный припечек. Из открытого чугунка от похлёбки шёл на неё горячий пар. Она не чуяла пара, видать, забылась, вышла на какое-то время из этой жизни. Но вот она передёрнулась, будто от мороза, черпнула поварёшкой из чугунка.

— Похоронная пришла, — не поднимая головы, тихо обронила Августа и убрала изо рта шёрстку. Говорила она так, будто уверена была, что я высунулся из-за трубы и жду главной вести, о которой, хочешь не хочешь, сообщать надо.

Всё-таки предчувствие оказалось точным.

Ещё там, в ФЗО, получивши тёткино письмо, я почти с уверенностью определил: пришла похоронная. И Виктор Иванович Плохих, мастер наш, и ребята из группы, когда снаряжали меня в путь-дорогу, все, по-моему, догадывались, зачем покликала меня тётка, и своей заботой хотели облегчить мою дорогу. А я шёл в ночь, в стужу, в метель, чтоб облегчить горе родному человеку. И не знал, как это сделать, но всё равно шёл. Приходят же посетители в больницу и помогают больному выздороветь, хотя ничего вроде ему не делают, не дают никаких лекарств, никакого снадобья. Они просто приходят, разговаривают и уходят. Капа снова погладила пальцами мою щеку, уже берущуюся корочкой:

— Бо-оба-а…

Она пыталась утешить меня. Я прижал её пухлые пальцы с розовенькими ногтями к разбитым губам. Меня душили слёзы.

— Иди поешь, — позвала Августа.

— Сейчас, — прокашлял я ссохшееся горло. — Бабушка куда ушла?

Я тянул время. Мне боязно спускаться к Августе. Знаю, угадываю не глядя, — она налила похлёбку и стоит сейчас потерянно возле посудника, стоит и думает, зачем она к нему подошла и что собиралась делать. И наверно, опять вынимает изо рта шёрстку, которой, как я убедился, во рту у неё не было и нет.

— Бабушка-то? — переспросила Августа и начала шарить в посуднике. — К Марее ушла, к Зырянову…

Тётка Мария и Зырянов, как всегда, живут в большом достатке. Но я у них бывать не люблю, да и бабушка тоже. Однако война не считается с тем, кого и что ты любишь. Она принуждает людей делать как раз больше всего то, что им делать не по душе. (…)

Как же они без коровы-то? Я не мог есть. Глядел на девчонок, швыркающих похлёбку, на Августу, прижавшуюся спиной к шестку, кутающуюся в полушалок и снова вынимающую изо рта тёмными пальцами шёрстку. Мне холодом

пробирало спину, хотелось заорать: «Перестань! Что ты делаешь?» — но я превозмог себя.

— Налей-ка чаю.

Августа достала из посудника большую деревянную кружку, резанную ещё дедом из берёзового узла. Когда-то кружка эта была на заимке. Давно нет заимки, и деда нет, а кружка сохранилась. (…)

— Вот что, — закуривши, начал я солидно, с расстановкой, как мне, мужчине, и полагалось говорить. Зря, что ли, Августа вызвала меня со станции Енисей, из школы ФЗО? — Вот что. Беда сейчас не у одной у тебя. Многим внове беды. Тебе не привыкать. Обколотилась. Жить надо. Девки у тебя.

— Господи-и-и! — ударилась о стену головой Августа и начала катать её по тёсаному, замытому бревну. — Господи-и-и! Кем мой век заеденный? Кто сглазил его? Сызмальства. С малолетства самого как взяло меня! Ну чем я, чем я хуже других? Марея живёт! Кольча, тот и другой, в чести и достатке. Все живут как люди, а я маюсь, а я бьюсь, как сорожина об лёд…

Да-а, это уж, видно, кому какая доля выпадет. Восемнадцати лет Августа вышла замуж за грамотного, пьющего мужика по фамилии Девяткин. Из самоходов он был. Бедовый. Пал в пьяной драке, оставив на память Августе Алёшку. Сколько горя, насмешек и наветов перетерпела Августа из-за Алёшки, не перечесть. Алёшка выдался в отца драчливым и в мать трудолюбивым. Как подрос, хорошо начал помогать матери и поддерживать её, но сейчас он уже отрезанный ломоть, учится ремеслу. Он перворазрядник шахматист, по лыжам бьёт все рекорды в школе. На селе про Алёшку теперь говорят: «Вот те и на. Вот те и немтырь!..»

Ещё когда Алёшка был невелик, свела Августу судьба с Тимофеем Храмовым. Большая семья Храмовых переселилась на Слизневский участок из той самой слободы, которую вспоминал я вчера, когда топал по Енисею. Семья Храмовых была тиха, уважительна и работяща. Всеми она почиталась и на лесоучастке, и в селе нашем, безалаберном и приветливом. Однако и в этой семье выделялся мягкостью характера, какой-то юношеской застенчивостью старший сын Тимофей. Он из-за скромности характера так долго и не женился, должно быть. Тимофей даже Алёшку как-то сумел к себе приручить, и тот от любви к нему, к отчиму, от благодарности, что ли, выучил и с блаженной улыбкой повторял: «Па-па! Па-па!»

«Ой, война ты, война!» Я стиснул зубы, креплюсь. Сейчас главное — терпеть и ждать, чтоб Августа выревелась, напричиталась. Иного средства от беды люди ещё не придумали. Тётка всё катала и катала свою голову по щелястому бревну. Я старался не смотреть на её худую шею с напрягшимися жилами, на скошенный рот, в который ручьём бежали слёзы. Меня и самого душило, и с трудом я держался, чтобы не завыть. Выдрать бы из головы горсть волос, если б они были. Изрубить бы чего-нибудь в щепьё!

Августа рассказывала мне свою жизнь. И хотя я знал её насквозь, всё равно слушал — она затем и позвала меня. Больше ей теперь некому рассказать о своей бабьей недоле-юдоли, некому пожаловаться на судьбу.

Потом Августа сидела, безжизненно свесив руки, волосы у неё растрепались, лицо опухло, засветились красные жилки в выплаканных глазах, губы и нос тоже распухли.

— Хорошо, что ты пришёл, — через большое время слабо и отрешённо вымолвила она. — Надумала я удавиться. И верёвку припасла — дрова на ней осенесь из реки вытаскивала. Алёшка при месте, теперь не пропадёт. Девчонок тоже приберут в детдом, кормить, одевать станут. А то и мне смерть, и им смерть… — Она сказала об этом так, как прежде люди говорили, что дом надо подрубать, кабы не завалился; что пора переходить с бадогов на другую работу — поясница отнимается; что на Манской гриве рыжиков и брусницы будет, по приметам, — хоть коробом вози.

Я сжал лицо руками, сдавил обмороженные щёки, чтоб мне больно сделалось, меня шатало.

— Перестань! — завыл я и затопал ногами, боясь отнять от лица руки. — Перестань! — ещё громче закричал я, хоть Августа ничего уже не говорила. (…)

Раскрасневшаяся, в пёстреньком ситцевом платке и в такой же кофточке, Августа сидела, облокотившись на стол, и просила:

— Вы поговорите, мужики, поговорите или попойте. — Она уже не вынимала шерсть изо рта, и серая земля с губ её почти стёрлась.

Одну беду над моей тёткой пронесло. Она потянет тяжёлый свой воз дальше, одолевая метр за метром многими русскими бабами утоптанную вдовью путь-дорогу. Но каким-то наитием, шестым или десятым чувством, там, в ночной остановившейся тайге, я постиг — война будет долгой, и на долю нашего на-



Выпуск железнодорожного училища. Виктор Астафьев — крайний справа во второй ряду, 1942 г.

рода, стало быть, прежде всего на женскую долю падут такие тяжести, какие только нашим русским бабам и посильны.

Лучше других знающий свою тётку, даже я дивоваться стану, как она выдюжила лихолетье и сохранила детей. Коровы семья всё же лишится — весной её променяют на семенную картошку. Лесоучасток умудрится выжить семью из дома в пустую избушку-развалюшку, откуда она переберётся к бабушке под крышу, и уже совместно с бабушкой проедят бедолаги одну половину нашего старого дома и останутся жить в другой. Бабушка возьмётся домовничать с детьми Августы, которая поступит на лесоучасток валить лес и до конца войны, пока не пригонят в наше село пленных японцев, по грудь в снегу, вместе с вербованными и арестантами будет волохать в тайге. И вот наконец-то лёгкая бабья работа — Августа наймётся стирать на военнопленных.

Зубоскалка и добрячка, она быстро «отошла» на лёгкой работе и, жалеючи, сморкаясь, рассказывала о том, как ей жалко было забитых японских солдатиков. Даже в плену японские офицеры объедали солдат, заставляли работать за себя, выполнять и офицерам назначенную трудовую норму. Один офицер особенно лютовал, бил солдат палкою — рук не хотел марать. Бил он и того солдата, который помогал Августе носить воду с Енисея в прачечную…

(…) Пора заканчивать рассказ… (…)

1966, 1988 гг.

Стихи и песни из дневника В. П. Астафьева (1945—1947)

Многие исследователи, юность которых совпала с годами Великой Отечественной войны, помнят и свидетельствуют, что одним из факторов Победы, наряду с массовым героизмом и жертвенностью, «было всепроникающее и поистине могучее поэтическое слово в песенном его воплощении». Историк и литературовед Вадим Кожинов, которому в 1945-м было 15 лет, сохранил в своей памяти атмосферу того героического времени и доказал своими выдающимися исследованиями в области феномена духовной культуры советского человека, что «поэтическое слово явилось очень весомым, и более того, необходимым фактором Победы».

Действительно, вся жизнь солдата на войне была пронизана лирическими песнями, фронтовыми стихами, которые становились известны по всем фронтам, пелись под гитару, исполнялись солистами фронтовых агитбригад. Это знаменитые «Катюша» и «В лесу прифронтовом» Михаила Исаковского, «Жди меня» Константина Симонова, «Землянка» Алексея Фатьянова, «Тёмная ночь» Никиты Богословского, вальс «На сопках Маньчжурии» и тысячи других. Песни во время войны были всеобщим народным достоянием, но не менее важно понимать, что народное самосознание выражалось в них наиболее концентрированно и заострённо. Многие из этих песен сохраняют своё значение и сегодня, их поют теперь уже и внуки тех солдат, и молодые эстрадные певцы.

Не будет преувеличением сказать, что почти каждый воин писал свой лирический дневник. Вероятно, таких документов, свидетельствующих о цельности и духовной составляющей воина-победителя, сохранилось немало. Уцелел и дневник нашего земляка Виктора Петровича Астафьева, который он писал уже после войны, в конце 1945 года до октября 1947-го. Он ныне хранится в Литературном музее, куда был передан самим писателем в 1999 году. Вероятно, Виктор Петрович им очень дорожил и передал нам.

Здесь мы не будем представлять весь дневник в полном объёме (около 100 страниц и более 120 произведений). Даже поверхностный анализ музыкального и поэтического пласта, представленного в нём, подтверждает мнение многих исследователей о музыкальности прозы Астафьева. Известный исследователь Михаил Васильевич Булгаков говорит «не о музыке прозы, а о музыке в прозе» и называет Астафьева самым музыкальным писателем в нашей современной литературе. Его герои поют «каторжанские», русские народные, военные, просто солдатские, тюремные, лирические, казачьи песни, романсы — русские и цыганские, артельные, блатные, колыбельные, частушки, эстрадные 30—70-х, патриотические, украинские… Героев у него много, герои разные, с чего бы им петь в одну дуду!

В песнях, песенности — один из «секретов» того, что называют полифонией прозы, песни — это целые пласты в многослойных текстах Астафьева. Поют стар и млад, забубённые уркаганы и безутешные вдовы, поют хором и в одиночку, на войне и мирной ночью на берегу Енисея, в горе и в радости. «Нам песня строить и жить помогает!» И совсем неспроста писатель выбрал эпиграфом «Последнего поклона» строчку «Пой, скворушка, гори, моя лучина». Два великих человека, дирижёр и издатель — Евгений Колобов и Геннадий Сапронов создали редкую по своей красоте и талантливости «музыкальную» книгу «Созвучие» (2009), которая определила место мастера «Последнего поклона» в одном ряду с музыкантами — сочинителями симфоний.

Стоит напомнить, что «весёлому солдату» Виктору Астафьеву было в 1945-м всего 21 год. Надо ли говорить о том, что его биография — биография всего нашего народа. Но что характерно для этого бывалого безусого фронтовика, который вряд ли мечтал стать писателем, — в нём жила врождённая тяга к поэтическому слову и к мелодии. Помните из «Далёкой близкой сказки»: «Сердце… бьётся у горла, раненное на всю жизнь музыкой»? По всей вероятности, свои куплеты и стихи демобилизованный солдат записывал на память, когда приехал в город Чусовой с фронта вместе со своей Маней, как он её любовно называл, и устроился на железнодорожный вокзал дежурным, где и писал по ночам в ученическую тетрадку любимые строки.

Из документа следует: «Приказ № 189 по станции Чусовская от 28 ноября 1945 г. Прибывшего по демобилизации из Красной Армии Астафьева Виктора Петровича, 1924 года рождения, зачислить с сего числа на должность дежурного по вокзалу. Оклад по штатной ведомости. Директор: Южаков». Виктор Астафьев начинает вписывать в свой дневник первые стихи и песни 3 декабря 1945-го и заканчивает тетрадку 11 октября 1947 года.

В дневнике есть всё, что не относится непосредственно к войне: нет патриотических песен о вождях, нет подвигов, нет ложной патетики, но есть весёлое озорство, нехитрая любовная фронтовая лирика неизвестных или неустановленных авторов, блатной шансон. Есть песни из культовых кинофильмов 1930—1940-х гг. И всё же большая часть произведений, включённых Астафьевым в этот рукописный сборник, — это классические романсы, опереточные куплеты, стихи Сергея Есенина и песни на его стихи, стихи и проза Михаила Лермонтова, романсы на музыку Варламова, Шуберта, Булахова, Дунаевского. Уже это говорит о незаурядности «весёлого солдата». Часть из записанных им произведений круглосуточно звучала по радио, крутилась на патефонных пластинках, исполнялась в концертах, гремела на танцевальных площадках.

Многие фронтовики говорили, что в послевоенные годы им не хотелось вспоминать о пережитом, это и понятно: действовал инстинкт самосохранения, после пережитого ужаса было естественным бегство от трагедии в мир иллюзий, в мир приключений, фантазий, свободы. Отсюда жанровое богатство послевоенной лирики, в которой почти не было военных сцен, а была только эмоциональная оценка подвига, состояния человека на войне. Но потрясает то, каким бесконечно светлым и добрым был идеал солдата, победившего в самой жестокой и бесчеловечной войне, какой ещё не знала история.

…Эта публикация посвящена верной спутнице жизни Виктора Петровича — Марии Семёновне Астафьевой-Корякиной. Венчанные фронтовыми дорогами, выжившие всем смертям назло, осенью 1945 года ступили они на платформу станции Чусовой. Это был родной город Марии Семёновны, откуда она ушла добровольцем на фронт. Здесь родились их дети. Здесь осталась могила первой дочери. Здесь был написан Астафьевым первый рассказ. Но вначале были вот эти стихи и песни, занесённые писателем в дневник *(печатаются в сокращении)…*

Шотландская застольная

Музыка Л. ван Бетховена. Слова В. Шмидта

Постой! Выпьем в дорогу ещё.
Бетси! Нам грогу стакан,
Последний, ей-богу.
Бездельник, кто с нами не пьёт.

Налей полней стаканы.
Кто врёт, что мы, брат, пьяны?
Мы веселы просто, ей богу,
Ну кто так бессовестно врёт?
(…)

Fortunata

Стихи А. Н. Майкова. Музыка А. И. Дюбюка

Ах! Люби меня без размышлений,
Без тоски, без думы роковой,
Без упрёков, без пустых сомнений!
Что тут думать? Я твоя, ты мой.

Всё забудь, всё брось, мне весь отдайся!
На меня так грустно не гляди!
Разгадать, что в сердце, не пытайся!
Весь ему отдайся — и иди!

Я любви не числю и не мерю;
Нет, любовь есть вся моя душа.
Я люблю — смеюсь, клянусь и верю…
Ах! Как жизнь, мой милый, хороша.
(…)

Сергей Есенин

Письмо матери

Ты жива ещё, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.
(…)

* * *

Пой же, пой. На проклятой гитаре
Пальцы пляшут твои в полукруг.
Захлебнуться бы в этом угаре,
Мой последний, единственный друг.

Не гляди на её запястья
И с плечей её льющийся шёлк.
Я искал в этой женщине счастья,
А нечаянно гибель нашёл.
(…)

* * *

Не жалею, не зову, не плачу,
Всё пройдёт, как с белых яблонь дым,
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым…
(…)

Романс из кинофильма «Моя любовь» (1940)
Слова А. Д'Актиля. Музыка И. Дунаевского

Звать любовь не надо,
Явится незванной,
Счастье расплеснёт вокруг.
Он придёт однажды,
Ласковый, желанный,
Самый настоящий друг.
(…)

Михаил Лермонтов

* * *

И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят — все лучшие годы!

Любить... но кого же?.. на время — не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
(…)

Весеннее тангó
Слова С. Стрижова. Музыка В. Козина

Сияла ночь, в окно врывались гроздья белые.
Цвела черёмуха. О, как она цвела!
Тебя любил, тебе шептал слова несмелые.
Ты в полночь лунную мне сердце отдала.

Рояль раскрыт. Ты подошла, и ты промолвила:
«Твоя любовь запала в сердце глубоко.
И вот когда пройдут года, ты вспоминай меня,
Не забывай моё весеннее тангó».

Пришла весна, но нет тебя, моя любимая…
Как хорошо с тобой мне было и легко!
Рояль закрыт — и не звучит моё любимое,
Тобой забытое весеннее тангó.

Трубка

Автор неизвестен

Вражьи пули мчатся мимо,
Ветви сосен теребя…
Я затягиваюсь дымом,
Вспоминаю про тебя.
Ты дарила — говорила:
«Трубку новую дарю,
Оттого не обкурила,
Потому что не курю».
Мы прощались — обещал я,
Выпуская горький дым,
Быть весёлым, быть счастливым,
Быть до смерти молодым.
И пока дымок клубится,
Верным быть тебе вдвойне.
Не забыться, не влюбиться,
Не погибнуть на войне.
Но в сраженье, в зное боя,
В наступательном огне
Как найти тепло такое,
Чтоб согрело сердце мне?
Нет со мной моей голубки,
Взгляда ласкового нет.
Только память, только трубка,
Только вышитый кисет.

Броднева А. А. Не забывай моё весеннее тангó // Затесь: литературно-художественный альманах. Красноярск, 2011. № 1.

Борис Ряузов

О художнике и воине[1]

Среди тех, кто, недоучившись, мечтая о творчестве, пошёл защищать Родину, был молодой и талантливый живописец Борис Ряузов.

Сейчас имя народного художника России, действительного члена Российской академии художеств, лауреата Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина Бориса Яковлевича Ряузова (1919—1994) — это целая эпоха в сибирской живописи второй половины XX века. Его исторический пейзаж — самобытное явление, отмеченное сильным талантом и яркой индивидуальностью автора. Это сейчас, а шёл художник к этим вершинам через тернии нелёгких фронтовых лет, через великий труд и веру в себя.

В 1939 году сбывается мечта Ряузова — он поступает учиться в Омское художественное училище. Два года учёбы были трудным, но счастливым временем его жизни. Но в 1940 году учёбу пришлось прервать, на то было много причин. В начале 1941 года начинающий художник приезжает в Красноярск, и с этого времени город на Енисее становится его родным городом на всю жизнь.

Жизнь стала налаживаться, были огромные планы, бесконечное желание работать, была сила, молодость, а впереди — большая жизнь, которая обещала прекрасное будущее.

Но всё оборвалось сразу, в один день, самый скорбный день — началась Великая Отечественная война. Страна встала на военные рельсы. Многие художники с первых же дней военных действий были демобилизованы, оставшиеся, в том числе и Борис Ряузов, отдавали свои силы, своё мастерство фронту. В 1942 году Бориса Яковлевича Ряузова приняли в Союз художников. Это было настоящее признание его как профессионального живописца. Но он считал, что его место на передовой, а не здесь, в глубоком тылу. Так, летом 1942 года он, отказавшись от положенной ему брони, пишет заявление с просьбой зачислить его в Сибирскую добровольческую 78-ю отдельную стрелковую бригаду. Художник навсегда запомнил последний день перед отправкой на фронт:

«Первое печатное слово обо мне было в 1942 году. Я уезжал на фронт. Над городом стоял тревожный закат. Друзья принесли мне на дорогу булку хлеба, завёрнутую в газету. А в газете, оказывается, было напечатано сообщение о том, что в Новосибирске открылась художественная выставка и среди её участников добрым словом упоминалось имя молодого художника из Красноярска — Ряузова. Нельзя забыть тот закат и тот вечер. И хочется написать картину об этом, и боишься, что не сумеешь выразить всё, что волновало тогда».

Начались нелёгкие военные будни. Кровь, смерть, которой глядишь в глаза каждый день, каждый час, и глубокая вера в победу.

---

[1] *Публикуется по изданию: Романова В. А. Майский Вальс 1945: альбом. Арт-Галерея Романовых. Красноярск: Элпром-Принт, 2010.*

«Здравствуйте, Иван Иванович!.. Нелегка борьба, но когда видишь каждый день порушенные дома, размётанные взрывами деревья, исковерканные снарядами сады и поля, обездоленных жителей освобождённых городов и деревень, вкусивших гитлеровского „порядка“, жажда святой мести переполняет сердце. И веришь, что заслуженная кара неминуемо настигнет гитлеровского вандала» ***(из письма Б.Я. Ряузова красноярским художникам, 8 декабря 1942 г.).***

До конца войны Борис Ряузов служил артиллеристом-разведчиком 19-го гвардейского Сибирского стрелкового корпуса. Война для всех, кто связан с ней, — бесконечная тяжесть, тревога, потеря товарищей, но для артиллериста-разведчика война — это тяжесть вдвойне, это не просто быть на передовой, а на шаг, часто смертельный шаг впереди. В задачу артиллериста-разведчика входило: приблизиться к передовым позициям противника на предельно короткую дистанцию, запомнить, отметить расположение огневых точек, передвижения и т. д. Всё выявленное нанести на артиллерийскую панораму. Здесь глаз художника был незаменим.

Борис Ряузов прошёл через горнило войны по самому опасному её краю. Но даже в огне войны художник не расставался с любимым занятием: в редкие свободные минуты он делал краткие наброски боевых сцен, рисовал своих товарищей. Нам даже трудно представить, как, когда, в каких условиях делались эти зарисовки, но как дороги они сейчас! Ряузов привёз с войны чемодан набросков, зарисовок, живописных этюдов. Эти листы и сегодня бережно сохраняются близкими Бориса Яковлевича, совсем недавно его вдова Нина Васильевна Ряузова передала их в музей художника.

Из писем и дневников Бориса Ряузова

Из писем Бориса Ряузова красноярским художникам:

«Фронт. 1944. Апрель. Район села Михайловского. Пушкинские места. Вдали Михайловское. Ночью с высоты далеко видны пожарища. Война. Война. А луна всё та же, пушкинская. Через день-два будем рвать оборону противника».

«Иван Иванович! Вам мой гвардейский привет… Сейчас вовсю лупим фрицев. Гоним проклятых… Мой альбом рисунков, набросков, акварелей доходит уже до двухсот. Есть много интересных проработанных вещей…»

* * *

Всю войну прошёл молодой художник, закончил в звании старшего сержанта гвардии. За ратный труд Ряузов неоднократно награждался: орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Как ждали солдаты Победы, каким счастьем стал последний день войны!

Из дневника Бориса Ряузова, зимние бои 1942 г., Бельский район:

«Однажды мне был дан приказ: срочно на боевом коне с передовой позиции доставить секретный пакет в штаб корпса, находящийся в 5—6 км в наших тылах (Калининский фронт). Майор Крилов сказал: «Сержант, срочно

в штаб!» Было предвечерье. Фронт громыхал боями. Гаснущая заря тускнела в дымах разрывов. Пришпорил коня. Вперёд, родной! И вот уже знакомая кустарниковая лощина, освобождённая боями. А навстречу темень наступающей ночи. Она всё плотнее, плотнее. И надо же, внезапно ещё забушевала слепая снежная пурга. В небе потускнели следы шипящих снарядов, трассирующих пуль. Невдалеке идут ночные бои. Темень круговая. Близко никого. Где дорога? Куда направить коня? А под стёганкой секретный пакет, на груди автомат. Подумал, лощина из боёв только-только. Опасайся врага. Его разведчиков. Сердце выстукивает: срочно, срочно, секретный, срочно… Прошли минуты. И вдруг то же сердце подсказало: „Отпусти, сержант, поводья, ум животного — его инстинкт". Отпустил. Конь спокойно зашагал чуть влево, затем ещё немного. Шёл он осторожно, тихо, будто вслушиваясь в землю… И вот вижу сквозь пургу мутный покосившийся придорожный столб, затем труба от сожжённого дома… Она! Дорога! И вот уже мчимся мы по дороге сквозь ночь метельную, два солдата — человек и конь, выполняя фронтовое задание. Секретный боевой пакет доставлен в срок. А конь тот — конь-сибиряк. Летом сорок второго прошёл он вместе с нами, отбывающими на фронт, по улицам Красноярска. С военной платформы просторы Родины видел. Затем прошагал улицами Москвы… А погиб на поле боя при миномётном обстреле противником наших позиций. Хороший был конь! Конь-солдат! А почему память о нём такая? Почему?»

Из фронтовой записи Бориса Ряузова:

«8 мая 1945 г. Курляндия. Майский вечер. Над притихшей землёй незабвенное. Ещё вчера громыхал фронт упрямыми боями. Поднебесье вздыхало холодными отсветами снарядных разрывов, и вечерние сумерки плавились заревом сигнальных ракет. Даже сегодня утром и в полдень здесь, где сейчас покой, бухала, скрежетала, кипела война. Всё кончилось. Долгожданная Победа! Отдыхай, первый мирный майский вечер. Благоухай, весна, рождением земного».



Борис Ряузов. Зверства фашистов

Анатолий Седельников[1]



Анатолий Васильевич Седельников

Родине

Пусть не иссякнет теплота,
Которой ты меня согрела.
Пусть будет вечной сила та,
Которой ты поила тело.
Благословенная земля,
Тебе спасибо!
А если в огненном аду
Меня настигнет пуля злая,
Я верным сердцем припаду
К тебе, как капля дождевая.

1941 г.

Девятнадцатая школа
г. Красноярска

Мы по жизни пойдём по отцовским заветам,
Отдавая все силы любимой стране.
Ни суровой зимой и ни солнечным летом
Не забыть нашу школу в родной стороне.
Красноярская школа и первый урок,
Вы нам открыли столько дорог.
Годы бежали — и нас провожает
Последний звонок.
Нам лететь далеко по космическим трассам.
На дорогах мечты нашей песне звенеть.
И клянёмся сейчас нашей школе всем классом,
Что за нас никогда не придётся краснеть.
И останутся в памяти вечер весёлый
И директора слово — в дорогу наказ.
До свиданья, любимая красноярская школа,
По хорошим делам ты услышишь о нас.

1941 г.

[1] *Публикуется по изданию: Имена на поверке: стихи воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны. М.: Молодая гвардия, 1975.*

Дневник[1]

22 июня 1941 г.

Радио принесло нежиданные страшные вести: «В четыре часа утра Германия подвергла бомбардировке наши города: Киев, Житомир, Севастополь, Каунас». Это пиратское нападение дорого будет стоить зарвавшимся фашистам. Как в 1242 году немецкие псы-рыцари были наголову разбиты и опрокинуты в Чудское озеро, так и теперь, через 700 лет они снова будут разбиты и стёрты с лица земли. Вечером был митинг. Какую неукротимую жажду сражаться с врагом я видел на лицах бойцов! В это воскресенье все были в приподнятом духе. Допоздна в палатках пели песни.

23 июня

Я был на боевых стрельбах нашего полка. Погода не благоприятствовала. До полудня шёл беспрестанный дождь. Промок до нитки. Но энергия не иссякла. В эти дни я особенно чувствую прилив сил. К концу стрельб на полигон приехал комиссар полка. Тут же, на огневой позиции он сообщил нам, что наступление немцев по фронту от Балтийского до Чёрного моря продолжается. В отдельных местах противник, проникший вглубь нашей территории на 10—15 км, сейчас отброшен за рубежи советскими частями. Сбито около 65 самолётов врага.

24 июня

Я чувствую, что скоро придётся уехать на фронт. Сегодня я хочу отправить эту тетрадь вместе с фотографиями и стихами к Н. Пусть она хранится в её надёжных руках. Когда-нибудь я продолжу свой дневник, и маленькая книжечка стихов будет заполнена новыми стихами. Вечер. В небе безоблачно и тихо. Величаво стоят дубы, и широколистные клёны не шелохнутся. Я снова пересмотрел все письма от Н. Много в них задушевного и тёплого, есть и горестные строки. Я их хранил сколько мог. Больше хранить невозможно, завтра на фронт. Сейчас я их сожгу. Пусть сгорит бумага, но всё лучшее и искренное этих писем не сгорело. И будет храниться оно в глубине души моей. Прощайте, милые строки, больше я вас не увижу!

Письмо жене

Здравствуй, милая Роднуля!

Сейчас я нахожусь под Москвой, так км в 10 от неё. Ожидаем дальнейшего продвижения. Вчера мы мчались с такой бешеной скоростью, что буквально в несколько часов от станции мы приехали в Москву. Так км за 100 от Москвы начинаются дачные места. Какая бурная здесь, шумная жизнь! Люди отдыхают летом на лоне природы. Всё время тянутся санатории, дома отдыха. Ходят пригородные

[1] *Письма и дневники А. В. Сидельникова из архива Литературного музея им. В. П. Астафьева.*



А. В. Седельников (в центре)

поезда. Каждый день москвичи проводят в тени лесов, а к вечеру уезжают в Москву, а там есть что посмотреть. На протяжении всего пути нас провожают все. Машут дети, старики, почтенные супруги, девушки. Но особенно тепло нас провожают москвичи. Все жители санаториев, домов отдыха, дач выбегали к ж.-д. полотну и в едином порыве махали нам, кланялись, снимали шляпы и кепки. Молодёжь бросала игру в волейбол и тоже бежала к полотну. Как развит здесь патриотизм! Сейчас осеннее утро. Вот промчался электровоз. Голубые вагоны до отказа набиты людьми — москвичи спешат на работу. Вчера было воскресенье. Люди были все одеты по-выходному. Когда смотришь на них, радуется душа и думается, как мало и нескладно я прожил. Почти ничего не видел, ничего не знал. На протяжении всего моего странствия я никогда ничему не завидовал, а здесь просто позавидовал — как хорошо живут люди. Вагон трясёт, потому я так плохо пишу. Когда мы поедем отсюда — не знаю. Целую вас крепко, мои милые, дорогие.

Твой Анатолий
Москва, 07.07.1941

После боя

Сон короткий после боя
В переполненной избе.
Я укрылся с головою
С нежной мыслью о тебе.

Положил я в изголовье
Сумку верную свою,
Оборвав на полуслове
Пережитое в бою.
И уже через мгновенье —
Ни войны, ни маяты:
В лёгких тканях сновидений
Предо мною только ты.
Отступает всё куда-то.
Только ты — и никого!
Перед крепким сном солдата,
Крепким, как любовь его.

1944 г.

Эшелон

Дороги немец караулил строго,
Где хрустнет ветка — не жалел огня.
Не помню, чтоб железную дорогу
Нам видеть довелось при свете дня.
И, пробираясь к ней в кустах по пояс,
Усвоили мы твёрдо, как закон,
В чём разница меж старым словом «поезд»
И новым, злым — «фашистский эшелон».
Усвоили, в щебёнке яму вырыв
И тол закладывая глубоко,
Что поезда — для пассажиров,
То эшелон — для подрывников.
Усвоили. И вот летят с откоса
Вагоны, дыбясь с треском на бегу.
Гремят в истошном ужасе колёса,
Играя панихиду по врагу.

1943 г.

Из воспоминаний об А. В. Седельникове[1]

Война в тылу врага

Двое суток мы шли по лесам Налибокской пущи. Анатолий Седельников в новом районе был назначен командиром группы. Ему были поручены две диверсионные пятёрки, с которыми он направился на Украину для подрыва по-

[1] *Чёрный И. Н. Данные достоверны. М.: Воениздат, 1968 г.*



А. В. Седельников пишет стихи…

ездов на линии Ковель — Ровно. Эта линия немцами в сентябре 1942 года также совершенно не охранялась. Сюда ещё не подошли рейдовые соединения Ковпака и Сабурова, а группы секретаря обкома Фёдорова пока не переключились на подрыв вражеских железнодорожных коммуникаций.

Поезда с огромной скоростью мчались по магистрали на восток с войсками и техникой. О крушениях поездов здесь пока не слышали. Партизанское движение ещё не приняло широкого размаха. Железная дорога была свободна для действий наших людей, но добраться до неё представляло большие трудности. От нашей центральной базы до района действий, указанного Седельникову, было около трёхсот километров. Лежащие на пути следования районы были заполнены ещё не «пуганными» гитлеровцами и полицией.

Вырвавшись на железную дорогу Ковель — Ровно, Анатолий разбил своих людей на тройки и в течение двух ночей организовал крушение девяти вражеских эшелонов. Оккупанты начали срочно организовывать карательный отряд, стягивая солдат из соседних гарнизонов.

Последний, девятый подорванный эшелон двигался на запад и оказался гружённым рогатым скотом. Подрыв этого состава Седельников произвёл на пересечении железнодорожной магистрали с большим асфальтированным шоссе. Расчёт был правильный. Крушение поезда на переезде приостанавливало движение и на шоссе на несколько часов, а это тоже имело большое значение. Взрыв на переезде получился очень эффективный. Около двадцати товарных вагонов было разбито в щепки. Огромные колонны автотранспорта скопились по обеим сторонам от переезда. Немцы — солдаты, шофёры и пассажиры — пристреливали из автоматов и пистолетов недобитый скот, оглашавший страшным рёвом окрестности. Здесь же прибывшее начальство организовало облаву на десант, который был уже далеко. Карательные отряды начали прочёсывать кустарники, но Седельников со своими людьми уже был в тридцати километрах от этого места, а на следующую ночь ему удалось уйти в большие леса, тянувшиеся до самой Припяти, и там вступить в свой район, контролируемый партизанами.

По пути своего следования до Припяти Седельников со своими людьми нападал на группы гитлеровцев и полиции, расположенные по нескольку человек в населённых пунктах, и уничтожал или разгонял их, разгромил три почтовых отделения, два полицейских участка и два волостных управления, уничтожив при этом всё делопроизводство и телефонную связь. Несколько телефонных аппаратов люди Седельникова доставили на центральную базу. За выполнение боевого задания Седельников был представлен к правительственной награде. Ему было предоставлено право после «трудов праведных» передохнуть пару недель на центральной базе, но он отказался и добился получения нового задания. Наши диверсии в южных районах вызвали огромное воодушевление среди украинского и польского населения.

За успешное выполнение операции «Рельсовая война» и «Концерт» по уничтожению фашистских железнодорожных составов Анатолия Васильевича Седельникова наградили орденом Ленина. На территории Польши Анатолий

Васильевич был назначен командиром разведгруппы. Он возглавил освобождение советских военнопленных лагеря Майданек, которых немцы выводили на работу за пределы лагеря. 11 ноября 1944 года на территории Польши в районе г. Лутутув при разведке вражеских тылов погиб командир разведгруппы партизанского отряда, поэт Анатолий Васильевич Седельников.

Г.М. Линьков,
Герой Советского Союза,
командир партизанского отряда на Украине

* * *

«Седельников был образованным человеком, прошёл хорошую выучку в кадровой армии, давно партизанил, прекрасно знал район действий отряда Линькова, обладал сноровкой подрывника. Хорошие данные для разведчика нашего отряда. В первый раз мы втроём, я, Анатолий, Николай Кузьменко, пошли к Матрёне Мацкевич за хлебом (она постоянно поставляла его партизанам), но это была не просто выходка за хлебом, а первая учебная разведка. Там мы узнали фамилии людей, желающих пойти в партизанский отряд. Хотя это было сказано Матрёной ненароком. Затем мы снова ходили втроём на встречу с Павлом Кирбой и Ильёй Пришкелем. Очень нужны были партизанам свои люди в сёлах».

Вскоре Седельников устанавливает связь с жителем города Житковичи, инженером Иосифом Гарбузом, который по стечению обстоятельств вынужден был работать на немцев. Через него получали данные о численности немецкого гарнизона в Житковичах. Гарбузу Седельников передавал газеты «Правда», «Известия», листовки с сообщениями Совинформбюро для распространения среди населения, а также мины, термитные зажигалки для ведения диверсий. Через несколько дней в Житовичах появились листовки со сводками Совинформбюро, был взорваны два шедших на фронт немецких эшелона и подожжён склад. В 1943 году отряд Линькова — Чёрного уже перерос в соединение. (…)

В связи с успешным наступлением Советской Армии, приближением её к месту базирования соединения, оно получило приказ Центра перебазироваться в Польшу с тем, чтобы продолжать разведывательную работу в тылу противника. Важное задание получил и Седельников. Весной 1944 года соединение обосновалось в Польше между Западным Бугом и Вислой, в парчевских лесах. К этому времени Анатолий командовал отрядом из пятидесяти человек, который был направлен под город Люблин и Парчев. Здесь наиболее ярко проявился талант у Седельникова как разведчика. Через неделю седельниковцы имели полные данные о немецких войсках, расквартированных в Люблине и его окрестностях, о местах их расположения.

Седельников предложил И.Н. Чёрному наладить спасение заключённых из Майданека, используемых немцами на работах вне лагеря. Это предложение было реализовано.

Однажды Центр приказал «распутать узёл», состоявший в том, что танки дивизии СС «Викинг» были замечены на одном из участков фронта, тогда Седельников сообщил, что дивизия эта дислоцируется в Люблине (там ремонтировали танки). Через несколько суток советские пикировщики ПЕ-2 прицельным ударом разбомбили этот центр. Характерно признание врага, немецкого обер-лейтенанта Курта Майснера: «Мы и раньше слишком хорошо были наслышаны о дьявольском коварстве русских… Но такого не ожидали. На наш центр обрушился массированный удар. Пикировщики висели над нами, машины, корёжась, разлетались в щепки. Это была адская мясорубка. Боже мой, что будет с нами дальше?! Я не могу есть и спать».

22 июня 1944 года соединение, пробив блокаду немцев в парчевском лесу, встретилось с регулярными частями Советской Армии. Однако Седельникова среди вернувшихся разведчиков не было. Он погиб в боях с фашистами за Вислой.

Лев Гумилёв[1]

* * *

Мы шли дорогой русской славы,
Мы шли грозой чужой земле,
И лик истерзанной Варшавы,
Мелькнув, исчез в январской мгле.
А впереди цвели пожары,
Дрожала чуждая земля,
Узнали тяжесть русской кары
Её леса, её поля.
Но мы навеки будем правы
Пред вами, прежние века.
Опять дорогой русской славы
Прошли славянские войска.

Франкфурт-на-Одере, 11 апреля 1945 г.

[1] *Публикуется по изданию: Гумилёв Л. Н. Дар слов мне был обещан от природы. СПб.: Росток, 2004.*

Евгений Кобытев

Хорольская яма

(главы из книги)[1]

Марш Миргород — Хорол

Окаменела память,
Крепка сама собой.
Да будет камнем камень,
Да будет болью боль!
А. Твардовский

Я подхожу к наиболее мрачным страницам моего повествования. Человек, далёкий от литературной деятельности, я едва ли смогу с достаточной выразительностью обрисовать то, что пришлось мне увидеть и пережить.

Потрясённые происходящим, мы вдруг ловили себя на том, что, хотя всё видимое, слышимое, претерпеваемое — невероятно, невиданно-страшно, разум отказывается верить в реальность происходящего. Наступало по-своему жуткое состояние какого-то душевного опустошения и прострации. По-видимому, психика человека чем-то защищалась от потрясающих волнений. Те, кто сходил среди нас с ума, вероятно, не обладали этой защитной реакцией.

…В Бухенвальде, на месте стационарного лагеря уничтожения с его крематориями, душегубками стоит башня-монумент. Колокол на этой башне звонит каждый час, чтобы люди не забывали того, что было и что никогда не должно повториться.

Будь моя власть, сейчас, когда через 20 лет тучи новой войны начали снова сгущаться над Западной Германией, я бы повелел каждый час по всем 24 поясам времени Земли передавать по радио тревожные набатные звуки бухенвальдского колокола с тем, чтобы радиостанции всего мира, транслируя этот бой после своих позывных, встречали рассвет нового дня ударами этого колокола.

На весь мир ежедневно до тех пор, пока не исчезнет угроза ещё более страшной войны, до тех пор, пока не будет устранена возможность возрождения фашизма, должен бить этот священный набат.

— Шнель! Шнель! Бистро! — наши конвойные предложили нам такой быстрый темп марша, которого многие из нас, утомлённые, обессиленные голодом и жаждой, не могли выдержать. На первых же километрах начали падать раненые. И тогда загремели в хвосте колонны винтовочные выстрелы, заклокотали автоматы.

[1] *Кобытев Е. Хорольская яма. Красноярск: Книжное изд-во, 1963.*



Евгений Кобытев. Непокорённые (из цикла о войне)

Я из-за ранения в ногу и слабости начинаю отставать. Прилагаю все усилия, чтобы уйти из хвоста колонны, но почти всё время оказываюсь позади. И рядом со мной, за моей спиной, разыгрываются человеческие трагедии.

Первой жертвой стал пожилой солдат, босой, с забинтованной головой и рукой на перевязи. На первом километре он сбросил шинель, надетую до этого внакидку, и, тяжело дыша, спотыкаясь, шатаясь из стороны в сторону, как пьяный, брёл ещё с полкилометра. Когда он упал, потеряв сознание, ничком в пыль и грянул позади винтовочный выстрел, мы, отстающие, поняли, что нас ожидает, если у нас не станет сил. Идущим позади было страшно тяжело идти ещё и потому, что приходилось временами бегом догонять тех, кто шёл впереди. Наша колонна, если бы на неё можно было посмотреть сверху, была похожа на громадную тёмно-серую ползущую гусеницу: вначале она вытягивалась, вынося вперёд голову, затем подтягивала к голове одно за другим свои кольца, но, в отличие от настоящей гусеницы, голова которой останавливается, когда кольца подтягиваются, у нашей колонны голова всё время продолжала своё движение вперёд. Эти вынужденные рывки бегом страшно изматывали силы. Обычно выстрелы гремели

позади колонны как раз в тот момент, когда кому-либо из отстающих уже не хватало сил преодолеть бегом очередной разрыв.

С каким отчаянием, с какой предсмертной тоской, ожидая выстрела в затылок, смотрел он тогда на спины товарищей, убегающих в пелену жёлто-серой пыли!..

Двое молодых солдат уже второй день помогали идти своему израненному, более старшему товарищу. Судя по причёске, это был офицер. У него были забинтованы голова, шея и руки. Обросшее лицо его, по контрасту с белым бинтом, казалось землисто-чёрным. По лицу его было видно, какие страдания причиняют ему прикосновения даже дружеских рук. Сегодня, когда пришлось бежать, он уже не смог выдержать темпа и стал просить друзей оставить его.

Когда идущие впереди, сокращая очередной разрыв, побежали, он хрипло крикнул:

— Всё, товарищи! Сами обессилите и меня не спасёте. Вперёд! Спасибо! Прощайте!.. — Вырывая свои руки из рук друзей и бороздя упирающимися ногами дорожную пыль, он опустился на землю.

Друзья его, вобрав головы в плечи, не оглядываясь, побежали за колонной. Сзади прогремел выстрел.

Напрягаю силы, чтобы не отстать. Когда звучат выстрелы, не оглядываюсь, знаю, что увидев убийство, могу ослабеть, но каждый выстрел, каждая автоматная очередь обрывает в груди какие-то нити, связывающие меня с жизнью. Постепенно подкрадывается чувство тупого безразличия: «А, хоть бы скорее!» Ловлю себя на этой мысли и ужасаюсь ей. Беру себя в руки, вызываю в себе засыпающее желание жить, и снова, делая нечеловеческие усилия, бегу вперёд. Временами по телу, несмотря на жаркий сухой день, проходит озноб: зубы цокотят, как от приступа малярии.

Когда, находясь позади всех, делаю очередной рывок и слышу сзади тяжёлый топот кованых немецких сапог, я, похолодев, жду выстрела в затылок…

После, через год, товарищ, подстригая меня, скажет, что на том месте затылка, куда я ждал пулю, у меня образовалось белое седое пятно.

От головы колонны, в гуле топота сотен ног, сначала еле слышно, затем, по мере приближения, более громко звучит передаваемый, как эстафета, возглас: «Под ноги!» Ходившие в строю знают этот сигнал товарищеской солидарности: им идущие впереди предупреждают идущих позади товарищей о том, что на дороге какое-то препятствие: «Берегись, не споткнись!»

Но сейчас этот возглас, многократно повторяемый разными голосами, звучит как-то особенно тревожно и скорбно. «Под ноги! Под ноги!..» — и мы обходим лежащего ничком убитого солдата, заметённого толстым слоем серо-коричневой пыли. Только на затылке пыль не смогла запорошить кровоточащую дыру. Это отставший из этапа, который прошёл перед нами.

«Под ноги! Под ноги! Под ноги!..» — слышатся без конца скорбные возгласы, и мы обходим заметённые пылью тела безвестных людей, которые говорят тебе безмолвно: так будет и с тобой, если упадёшь силой и духом. У многих убитых черепа разнесены, и серый студень мозгов смешался с почерневшей от крови



Евгений Кобытев. Непокорённые (из цикла о войне)

пылью. Это значит, что у одного из конвойных в том, впереди идущем этапе в патронташе патроны с разрывными пулями.

Будут старики, юноши и женщины — жители сёл, которые стоят по тракту Миргород — Хорол (Петровцы, Мелюшки, Ковали, Новая Абрамовка, Вишняки), скорбя и плача от бессильного гнева, хоронить убитых по обочине дороги…

И будут все эти два года чёрной оккупации на скромных холмиках одиночных могил изо дня в день появляться свежие полевые цветы, положенные руками неведомых людей.

А сейчас женщины, старухи, старики, дети с воплями и стенаниями смотрят в ужасе на расправу над ранеными и обессиленными голодом и жаждой людьми.

— Тётки! Дайте поесть! Пить дайте! — слышатся сиплые и хрипящие от жажды голоса.

— Родные, не можно! — хором кричат плачущие женщины. — Стреляют! Вчера старуху убили…

Из-за плетня огорода веером летят в проходящую толпу, трепеща в воздухе зелёными листьями, жёлтые початки кукурузы; белая рубаха пригнувшегося, убегающего человека мелькает среди подсолнухов. Десятки рук на лету хватают початки.

Из-за другого плетня перелетают сахарные буряки. Из садочков дружеские руки бросают пирожки, куски хлеба, булочки. «Круцефикс!» — кричат конвойные, стреляя в воздух или в ту сторону, откуда бросают еду.

Пить! Солнце поднимается всё выше и выше. На нашу беду, выдался тёплый, сухой день. Пить! Мы, окутанные тучей рыжей пыли, проходим через мостки

речек, мимо небольших ставков. Ветерок, шарахаясь, разгоняет по зеркальной глади мелкую, серебристую, сверкающую на солнце рябь.

Вода тянет к себе.

Конвойным ничего не стоит сделать остановку у речки или озерка и напоить нас, но они не хотят этого делать. Дикая, непонятная, бессмысленная жестокость!..

Когда мы переходим мосты, кое-кто не выдерживает и бросается к речке. И тут опять гремят выстрелы. Падают подстреленные.

У воды лежит, опершись на локоть, пожилой солдат; он потупил голову и, как бы задумавшись, ждёт конца… Двое юношей сидят с перебитыми автоматной очередью ногами; лица их бледны, глаза в ужасе широко открыты; один судорожно всхлипывает, другой безголосо плачет.

Мимо! Мимо! Бах! Бах! — подводят черту выстрелы.

После прошедших несколько дней назад дождей в глубоких колеях и придорожных канавах скопилась грязь; от неё ничего не остаётся к хвосту колонны, только борозды от пальцев рук по сырой земле говорят о том, что здесь сейчас была живительная, прохладная влага.

…Как видения тяжёлого горячечного бреда вспоминаются пройденные в этот день сёла с украинскими белыми хатками, утопающими в зелени, толпы рыдающих, причитающих женщин, гул от топота сотен ног, злые крики конвойных, выстрелы, стоны раненых…

Через девятнадцать лет, совершая поездку по дорогам войны, я снова пройду по этому пути, я ужаснусь тому, как я тогда, хромой, обессиленный четырёхдневной жаждой и голодом, сумел преодолеть за один переход этот сорокадвухкилометровый марш…

Сотни подкованных сапог и ботинок наших зацокали по мощённой камнем дороге — мы подходим к городу, и почему-то название его кажется резким, сухим — Хорол.

Проходим по длинному деревянному мосту через речку и входим в город. Улицы пустынны. Сквозь стёкла окон смотрят на нас печальные, плачущие лица женщин, девушек, детей. Ещё 13 сентября в город ворвались фашисты, и хорольчане напуганы невероятными зверствами: расстреляли коммунистов, комсомольцев, согнали стариков, взрослых, малых детей еврейской национальности и на глазах у всего города расстреляли и закопали в овраге по дороге на Лубны.

А сейчас хорольчане с ужасом ожидают новых зверств, которые им суждено увидеть и пережить: их город наводняют измученные толпы советских военнопленных, гражданских лиц, сгоняемых с большой оккупированной территории в страшный лагерь смерти.

Мы проходим через весь город и сворачиваем вправо, к приземистым строениям с двумя высокими кирпичными трубами. Издали доносится странный шум, похожий на крики многих тысяч птиц на птичьих базарах Севера. Подойдя ближе, начинаем различать в нестройном гуле и шуме отдельные человеческие голоса, выкрики, вопли. Мы входим на территорию кирпичного

завода, огороженную колючей проволокой, идём мимо сараев-сушилок и других помещений в отдельный отсек, огороженный колючей проволокой.

Из этого отсека в следующее отделение ведёт калитка, в которую начинают нас пропускать по одному и дают — тому, у кого есть котелок, в котелок, тому, у кого нет котелка, в пилотку, в шляпу, в полу шинели — немного манной каши.

Совершенно случайно я прохожу в эту калитку одним из первых и получаю еду, и… тут сразу же выдачу пищи прекращают. В том отделении, куда мы, счастливчики, попали, стоит большой окованный железными обручами деревянный чан, наполовину наполненный водой. Проглотив наспех кашу, мы бросаемся к чану и жадно пьём, пьём…

Оставшиеся без еды и воды наши товарищи, тесня друг друга, бросаются к проволочной изгороди, разделяющей нас.

— Товарищи, воды! Братцы, скорей! — Десятки рук сквозь проволоку протягивают алюминиевые, эмалированные котелки, консервные банки, кружки, тянутся руки с пилотками…

— Дорогой, хоть немного! Пить! — кричат, хрипят, вопят потрескавшиеся губы; задние напирают, теснят передних, толкают их на колючую проволоку. Брякают, бряцают, звенят, сталкиваясь, котелки, фляги, кружки.

— Товарищ! Принеси пить! Пожалуйста! Пить!

Бросаюсь к проволоке, набираю в обе руки котелки, фляги, бегу стремглав к чану, черпаю воду, несу, стараясь не расплескать воистину драгоценную влагу, и раздаю посудины, не зная, тем ли, у кого их взял. Из своего котелка лью понемногу воду — чтобы хватило многим — в пилотки, в протянутые пригоршни…

— Сюда, хоть немного! Товарищ!..

Снова набираю посудины, мчусь к чану и, зачерпнув воды, раздаю людям, доведённым до отчаяния бессмысленной пыткой жажды… То же самое делают все, кто попал в отсек.

— Братцы! Товарищи! Сюда! Хоть каплю! Сюда!..

Черпаем, носим воду до тех пор, пока котелки не начинают скрести дно чана, пока не раздали воду всю до капли…

В яме

Утром свора предателей в красноармейской форме и с белыми повязками «полицай» на левой руке врывается в отсек и с улюлюканьем, нещадно колотя палками, гонит нас вон. Мы оторопело, не понимая, в чём дело, смотрим на них и ужасаемся: ведь это наши, наши люди, и так быстро они перелицевались!

— Вы что, обалдели, ребята! Ведь вы наши, советские люди, — разве так можно? — кричит пожилой мужчина в очках, в серой шляпе и толстовке…

— Мы покажем тебе, какие мы советские, большевистское отродье! — рычат полицаи и гурьбой набрасываются на него.

Сбита шляпа, разбиты вдребезги очки. Ошеломлённый, ослеплённый, пожилой человек, по-видимому сельский учитель, кричит:

— Мерзавцы!.. Из каких тёмных щелей повылазили вы… Вы… выродки!..

Шквал ударов валит его с ног…

Где же на самом деле выросли, где учились и жили эти подонки? Ведь они воспитывались среди нас!

До глубины души потрясает и возмущает предательство. И будут солдаты, идущие дорогами войны, беря в плен ненавистных фашистов, смертным боем забивать на месте разоблачённых полицаев из лагерей смерти и власовцев… Будет собакам — собачья смерть!

Из отсеков нас гонят гурьбой между сараев-сушилок. И тут перед глазами открывается громадная яма-карьер. Клокочущими потоками серой лавы колышутся, перекатываются в ней громадные, тысячные, кричащие, гомонящие толпы людей… Это их беспрерывный, нестройный гул и ропот мы слышали вчера вечером, ночью и утром…

Яма эта образовалась за долгие годы работы кирпичного завода, отсюда брали глину. С юга её ограничивает территория самого завода, с запада, с востока и севера опоясывают, как крепостные стены, высокие песчаные обрывы, изрытые небольшими овражками, пещерами, норами. У подножья этих обрывов, в овражках и пещерах, на песчаных откосах осыпей — везде толпятся, ютятся, сидят и лежат люди.

По краю обрывов тянется двойной ряд проволочных заграждений, над которыми возвышаются пулемётные вышки.

Дно ямы неровно, оно в рытвинах, рвах и ухабах; группы людей находятся то выше, то ниже, поэтому бегущие тени облаков, погружая временами в тень отдельные планы, всё время резко меняют свои очертания, выявляя каждую минуту на неровностях почвы новые силуэты человеческих фигур.

С невольным трепетом мы спускаемся по осыпающимся откосам на дно мрачного песчаного провала, где в массе людей человек кажется затерявшейся песчинкой…

Мы не знали ещё тогда, что многотысячные толпы людей, согнанные с оккупированных территорий в этот лагерь под открытым небом, в подавляющем большинстве своём уже обречены фашистами на смерть от голода, холода, болезней, пуль и пыток…

Когда я погружаюсь в бурлящую, кипящую кашу людей, мне становятся понятны нескончаемые возгласы, крики, вопли, которые поначалу так поражают воображение. В этом водовороте легко затеряться, и каждый, у кого есть знакомые, друзья, земляки, поминутно, стараясь перекричать других, окликает, зовёт их:

— Ваня! Петя!.. Круглов!.. Косте-ен-ко-о! — слышатся со всех сторон громкие зовущие, слабые — тоскующие, хриплые — старческие, молодые — звонкие голоса многих тысяч людей.

— Сеня!.. Коля!.. Орло-о-о-ов!..

Тоскливо и жутко человеку в этом людском океане, и ищет он потерянного товарища:

— Се-е-ня-а!

В последние дни этапа ежеминутная борьба за жизнь оттеснила духовные терзания. Сейчас же, очутившись в море незнакомых людей, я вновь погружаюсь в думы о том, что произошло, как это всё случилось. Как быть? Что делать?..

Желание разобраться в своих мыслях оттесняет на первое время потребность встречи с товарищами, — я не ищу знакомых, а брожу в одиночестве по шумящему лагерю, думая свои думы.

Так проходят первые часы в Хорольской яме. Острое чувство голода вынуждает меня разобраться в лагерной обстановке. «Кормят здесь или нет, а если кормят — где и когда?» Осмотревшись, замечаю, что все стремятся пробраться по широкой дороге, поднимающейся из центра ямы к заводским постройкам, возвышающимся с южной стороны: там, говорят старожилы, кормят и поят.

Начинаю упрямо проталкиваться в том направлении, но после нескольких часов давки, в конце дня, эстафетой приходит слух, что выдача еды закончена. Перед вечером, морщась от боли, обхожу под песчаными обрывами яму. Мысль одна: нельзя ли бежать? В нижней части обрывов старожилы лагеря выкопали много небольших нор и пещер, чтобы укрыться от непогоды и ветра. В эти норки они забираются на ночь.

Неприступные обрывы ямы в северной части становятся ниже и переходят в стенки небольшого оврага, поросшего бурьяном и уходящего вниз — в большой лог.

В этом месте только два ряда проволочных заграждений с наваленными между ними большими мотками такой же колючей проволоки загораживают выход на волю. Останавливаюсь и осматриваю это место.

— Что думаешь, солдат? — говорит мне стоящий рядом молодой белокурый военнопленный с лицом «рубахи-парня» и ловко посаженной на голове пилоткой. Я, вздрогнув, настораживаюсь и, оглядев его, ничего не отвечаю,

— Русский? — спрашивает он, как бы не замечая моей настороженности.

— Русский.

— Опоздали мы, брат, с тобой, — говорит он мне доверительно, — в этом месте бежал не один десяток людей, а теперь смотри — сколько мотков колючки навалили в ложок! — восклицает он с сожалением. — А дня три назад, ночью, немец сошёл с вышки: «Рус, ком, — говорит, — нах гаусс — к мамке!» — и выпустил несколько человек в ложок. А теперь в этой колючке запутаешься, как муха в паутине! — с горечью говорит мой собеседник.

В этот момент бегущие гурьбой от западной стены люди чуть не сминают нас. Уносимый потоком бегущих людей, я вижу: идущий по краю обрыва немецкий офицер, приближаясь к нам, как по живым мишеням, стреляет из пистолета по узникам. Фигура его чёрным силуэтом вырисовывается на фоне оранжевого вечернего неба. Поток людей влечёт меня от оврага к восточной стене. Кругом слышатся гневные возгласы и проклятья по адресу «охотничка».

— Ах ты, душегуб проклятый!

— Ишь ты, нашёл забаву, мерзавец!

…Наступила темнота. Шум и гул толпы немного стихает. На небе засияли первые звёзды, мерцающий свет их вызывает чувство тревоги: он обещает

длинную холодную осеннюю ночь. Брожу между грудами лежащих, прижавшихся друг к другу людей, перешагиваю тела и ноги вздрагивающих, бормочущих, вскрикивающих что-то во сне товарищей. Холодно, но сон клонит; спускаюсь на маленький пятачок земли и между двумя незнакомыми товарищами укладываюсь спать.

Засыпая, прижимаюсь к ним плотнее и ощущаю их тепло и дрожь…

Просыпаюсь от холода. Над обрывами с колючей проволокой занимается утренняя заря. Кругом поднимаются озябшие, ссутулившиеся от холода люди. Некоторые греются, толкая друг друга плечом, прыгая на одном месте, энергично машут руками.

Усиливается многотысячный гомон лагеря. Среди взрослых попадаются совсем мальчишки…

— Тебя-то за что сюда, малый? — спрашиваю я трясущегося мальчугана. Он в лыжной фланелевой куртке. Коротко стриженная ушастая голова не покрыта.

— Поймали у окраины лубенского леса, говорят, партизан, — лязгая зубами, бормочет мальчуган, стрельнув в меня глазами.

— Ну, давай, «партизан», пробиваться к еде, — говорю я ему, и мы начинаем продвигаться к тому месту, к которому я не смог пробраться вчера.

Мне очень хочется удержать мальчугана около себя, но в давке меня оттирают, и светлая головка его мелькнула раза два-три среди людских волн — и пропала…

После нескольких часов качки и болтанки по широкой, постепенно повышающейся дороге приближаюсь к территории завода.

В гул и шум врываются резкие звуки медных труб: там, где кормят, играет военный оркестр…

Протискиваюсь к первым рядам, начинаю различать мелодию вальса «Тихо и плавно качаясь».

Через головы впереди стоящих вижу полицаев. Они, нещадно колотя дубинками, оттесняют назад людей. Передние не в силах сдержать напора толпы и порой невольно прорывают цепь полицаев. Тогда происходят дикие расправы и свалки…

Когда устанавливается относительный порядок, передние становятся на колени или садятся на землю. Рискуя быть задавленными, они представляют собой живое ограждение. Шествующий вдоль рядов немец в шлеме ударяет палкой сидящих, те вскакивают и бегут к воротцам, где выдают еду, пробегая через свору полицаев, которые усердно колотят их палками.

Протискиваюсь в первые ряды, сажусь на землю и, получив «отметину» палкой, тоже бегу к воротцам, закрываясь руками и котелком от града ударов. Крики и брань полицаев, шум и гомон толпы покрывает медный рёв оркестра. Наконец я у цели: в нескольких проходах стоят деревянные кадки с баландой; у каждой священнодействует (иначе не скажешь) с черпаком один из поваров. В несолёной бурде плавает немного крупы и один-два кусочка сахарной свеклы.

…Потянулись дни медленного умирания: всё слабей и слабей становятся ноги, по утрам глаза заплывают отёками. По лицам товарищей, которые становятся у одних одутловатыми, у других — худыми, измождёнными, догадываешься о своём облике.

Когда занимается день, встречаешь его мыслью: «А удастся ли сегодня поесть?»

Идут полные изнуряющей борьбы за жизнь дни.

Над ямой, задевая рваными краями высокие трубы завода, несутся, гонимые осенним ветром, серые дождевые тучи. Заморосили холодные дожди. Намокает спина, грудь, струи воды стекают по рукам. Просушиться негде, а в тебе так мало тепла!..

…По лагерю идёт парень без пилотки, широко открытые светло-серые глаза его блуждают, лоб бороздят глубокие складки отчаяния и тревоги:

— Ребята, где моя машина? Немцы близко! — обращается он шёпотом к окружающим.

Все молча отходят от него: разум товарища помутился, его не спасёшь. Это уже покойник: первый немец, который с ним встретится, обязательно застрелит душевнобольного.

По лагерю рыскают фашисты. Их сопровождают стаи злобных псов-полицаев. В сутолоке народу ничего не стоит смять и растерзать их, но всем ясно, что, если такое случится, пулемётчики на вышках нагромоздят в яме горы трупов.

Чувствуя себя безнаказанными, гитлеровцы измываются над людьми. Они высматривают жертвы в толпе, хватают и уводят с собой.

В лагере ползут слухи о страшных застенках и пытках, которым подвергают схваченных. Но кто может рассказать, что происходит в застенках Хорольской ямы? Тот, кого уводят туда, обратно уже не возвращается, а палачи будут немы до гроба — слишком преступны их дела.

Вполголоса люди рассказывают о яме-карцере с десятью камерами, в которых человек может поместиться только в согнутом положении. Говорят о массовых расстрелах командиров. Только жгучее желание, пройдя через испытания фашистского плена, расплатиться за всё, только светящийся вдали огонёк надежды на освобождение и возвращение в строй удерживают тебя от исступлённого, яростного поступка, за которым последует быстрая расправа и смерть. А изуверы ждут, жаждут таких отчаянных выходок советских людей: издевательствами и насилиями провоцируют они бурные протесты, чтобы зверски подавить их.

Вот один из трагических случаев. В яме, в отгороженном проволокой отсеке, содержалось несколько женщин-военнопленных, преимущественно санитарок. Девушка, по имени Катя, объявила голодовку и отказалась есть баланду. Подруги уговаривали её есть, считая, что эта форма протеста в условиях дикого беззакония и произвола ни к чему не приведёт.

Привлечённый шумом, в отсек зашёл в сопровождении переводчика низенький брюхатый унтер-офицер и, узнав, в чём дело, приказал Кате есть баланду. Девушка, встав перед ним, крикнула:

— Нет, не буду есть, и не заставишь, гад!

Унтер поднёс котелок к лицу Кати и прорычал злобно:

— Бери и ешь, иначе тебе будет плохо!

Не выдержав, девушка схватила котелок, выплеснула баланду ему в лицо и, безоружная, вступила в рукопашную схватку. Переводчик оттолкнул Катю от унтер-офицера, а тот, выхватив пистолет, застрелил её.

…Вот перед строем военнопленных идёт фашист и издевается над ними. Подойдя к пленному офицеру, гитлеровский молодчик бросает ему несколько злых слов и ударяет по лицу. Офицер выхватил из заднего кармана брюк маленький пистолет и выстрелил в обидчика. Автоматные очереди конвойных уложили наповал и офицера-военнопленного, и многие десятки стоявших рядом с ним товарищей.

Изо дня в день среди тысяч физически обессиленных людей я по-настоящему начинаю постигать всю силу духа советского народа. Она приводит в замешательство палачей.

У каждого заключённого есть возможность пойти в полицаи или в военные соединения, формируемые гитлеровцами, и тем избавить себя от мук голода, холода, от почти неминуемой гибели. Но как мало здесь, среди этих шестидесяти тысяч обречённых людей, способных ценой предательства спасти свою шкуру!

Прямые попытки заставить военнопленных поднять оружие против Родины не дают результатов. Фашисты стали призывать желающих пойти в военизированную охрану складов, обещая тёплую одежду и паёк немецкого солдата. Узники сразу разгадали этот манёвр: сегодня ты в немецкой форме охраняешь склады, завтра тебя заставят принять присягу «усатому псу» — Адольфу Гитлеру, а затем прикажут стрелять в своих.

…Вдоль неровного строя пленных идёт группа офицеров-вербовщиков, один из них в высокой фуражке с чёрными наушниками, с горбоносым, совсем не немецким лицом и чёрными усиками. Стремясь перекричать шум и гул толпы, на чистом русском языке он громко и злобно кричит:

— Последний раз спрашиваю: кто пойдёт в военизированную охрану?

Идут и идут вербовщики в расступающейся перед ними толпе, а на лицах измученных узников плохо скрытая ненависть, презрение, осуждение, ирония. В задних рядах слышится злорадный говорок: «Не выйдет, герр!», «Нашего Егорья не объегоришь!»

Но вот один малодушный находится. Выйдя из толпы, сняв угодливо шапку, он заявляет о своей готовности пойти в охрану. Потупясь, стоит он перед народом. Всевидящие, осуждающие и ненавидящие глаза бывших его товарищей будут всю жизнь до гроба преследовать, жечь отступника, труса. Кто-то бросает:

— Ваня догадался да в фашистские солдаты продался!

А из дальних рядов доносится гневное:

— Паршивая овца всё стадо портит!

Яма — вулкан страстей и чувств человеческих, самых страшных и глубоких, самых скорбных и потрясающих, самых высоких и самоотверженных. Есть тут, конечно, и трепет шкурника, и предсмертный вопль души, охваченной смятением и отчаянием. Но неизмеримо больше здесь порывов самой чистой товарищеской солидарности и самоотверженности, непримиримости, неукротимой ненависти к врагу и чувств высокого патриотизма.

Палачи ежеминутно ловят на себе ненавидящие взгляды и чувствуют всеобщее презрение. Угодливость, подобострастие, раболепие немногих выродков, отщепенцев и предателей только подчёркивают массовое сопротивление и святую ненависть к захватчикам. Люди объединяются вначале в небольшие группы. Часто объединяются они не по давнему знакомству, землячеству, а по общности чувств, настроений и убеждений, которые, как я убедился, если даже иной раз и хочешь скрыть от чужих глаз, то всё равно не скроешь.

Тут и там то и дело слышишь глухие возгласы:

— Нет, не быть фашистам на нашей земле! Нет, не бывать этому!

Не могут люди затаить в себе этой думы, этой мечты и поэтому говорят о ней вслух — и во сне, и наяву…

И в объединении чувств, воли людей в борьбе с настроениями пессимизма и отчаяния, как я увидел и понял, большую роль играет искусство самого народа. В поэтических образах, в песенном фольклоре, в художественном слове, в острых, как нож, пословицах, народ конденсирует, сгущает своё настроение и волю, выражает своё отношение к явлениям жизни. Эти образы, слова песен и стихов, заученные с детства, у народа всегда на уме и на языке, и они сплачивают, объединяют, воодушевляют людей в трудные минуты. Кто-то однажды сказал, что когда грохочут пушки, молчат музы. Само рождение и победоносное шествие «Марсельезы», «Интернационала», революционных стихов и песен времен Гражданской и Отечественной войн полностью опровергает это утверждение.

Современная война — война оружия и война идей.

Могучую объединяющую силу простой русской народной песни ощутил я с товарищами ещё в первые дни войны.

Когда в июле 1941 года мы, киевские военнообязанные старших возрастов, призванные в строй, шли на формирование в Лубны, всеобщее внимание привлекал пожилой человек с красным от жары, обрюзгшим, безбровым лицом и начинающей уже тучнеть фигурой. Одет он был в белый бумажный костюм, а на голове его красовалась тоже белая цилиндрическая соломенная шляпа с чёрной лентой. С лица этого человека никогда не сходило торжественное, степенное, многозначительное выражение. Его белоснежные при выходе из Киева брюки при подходе к Лубнам стали тёмно-серыми, это вызывало у всех невольную усмешку. При формировании артполка я оказался с этим человеком в одной батарее.

Однажды, когда мы, уже одетые в военную форму, сели за обеденный стол, этот странный человек оказался напротив меня.

— Скажите, товарищ, кто вы по профессии? — спросил я.

Сидящие рядом насторожились и прислушались: всех интересовала эта «белая ворона».

— Я? Солист «Думки». Корсаков — с какой-то нарочитой, наигранной солидностью ответил он. — Пел когда-то соло в Париже, во время гастролей капеллы во Франции.

Мы, едва сдерживая улыбки, слушали рассказы певца о его выступлениях. Все повадки, все жесты его изобличали в нём типичного провинциального актёра, который играет не только на сцене, но и в жизни, и никто не принял тогда всерьёз его рассказы об ариях и песнях, которые он где-то и когда-то пел. Человек он был не очень общительный, и мы его мало знали, но позже, когда мы принимали присягу, я был поражён силой страсти, с которой Корсаков произносил торжественные слова. Быть может, многие почувствовали тогда, что в этом странном, даже чуть комичном на вид актёре бьётся сердце настоящего человека и большого патриота.

Когда на правой стороне Днепра разгорелись бои на подступах к Каневу и Киеву, наш дивизион, несмотря на то, что мы не получили ещё пушек, форсированным маршем двинулся к Каневу. Шли мы ночами, минуя сёла и хутора, устраивали дневку в лесах и перелесках. Начались дожди. Нам, промокшим до костей, с полной выкладкой, не привыкшим к тяготам военной жизни, трудно и тяжело было идти ночами по размешанным войсками дорогам.

Прислушиваясь с тревогой к гулу пушек, каждый из нас думал: «Как-то я выдержу этот суровый первый экзамен войны?» А тут этот проклятый дождь без конца и края, и не скрыться, не спрятаться от него. Я надел на голову стальную каску, чтобы хоть голову защитить от дождя; тенькающие по стали капли своим звоном дополняли тревожную музыку далёкого боя. К нашему строю на высокой лошади, чавкающей копытами по глубокой грязи, подъехал молодой политрук батареи — чуваш по национальности. Он, конечно, чувствовал наше настроение и, желая, по-видимому, поддержать наш боевой дух, бросил:

— Давайте, товарищи, споём песню!

Хотя мы были ещё «молодыми солдатами», но уже умудрёнными по возрасту людьми и могли оценить по достоинству благие намерения нашего молодого политрука, но петь явно никому не хотелось. Представив, как в этот проливной дождь зазвучат хором наши простуженные, срывающиеся от тревожного волнения голоса, я подумал, как, наверное, и все: «И кому на ум взбредёт петь в такую минуту?»

Вдруг из строя, сняв шинель и пилотку и передав их соседу, вышел Корсаков.

— Товарищ политрук, разрешите мне спеть соло? — обратился он к немного озадаченному политруку.

По строю, несмотря на общий пониженный тонус, прокатился лёгкий иронический смешок. Политрук, помедлив, сказал неуверенно:

— Ну, что ж, спойте, Корсаков!

Никто ни разу не слышал голоса певца. И тут, в таких неподходящих условиях, сольное пение грозило обернуться только комичной выходкой, фарсом, и мне стало даже немного жалко чудака Корсакова.

И вдруг сильный, красивый, страстный до самозабвения баритон покрыл и смешки, и шум дождя, и свист ветра, и отдалённый гул пушек…

— Ой, да ты, степь широкая, степь раздольная…

Всё, всё смёл голос Корсакова: и наше предубеждение, и наше тревожное настроение, и все шумы, мешающие песне. Оглянувшись по сторонам, увидев тускло освещённые бледной зарёй, изумлённые, восторженные лица товарищей, я понял, что песней покорены все.

— Ой, да широко ты, степь, пораскинулась!.. — неслось над нами. И, странное дело, то, что, казалось бы, должно было мешать песне в этих необычных обстоятельствах, как раз это помогало её звучанию: шум плотного дождя, свист ветра, звон дождевых капель по каске, гул артиллерии за Днепром, — стали вдруг могучим аккомпанементом вдохновенному певцу, и никакой оркестр не смог бы заменить этого аккомпанемента войны и жизни.

— Ой ты, Волга-матушка, река вольная!..

Исполняемая в состоянии величайшего душевного подъёма, могучей рекой лилась над нами народная песня о Родине, о Волге-матушке, о степном орле, о бурлаках. В гуле пушек слышалась могучая поступь нашего народа, всей душой ощущалось величие духа его.

Как вспышка магния, осветила сознание мысль: «Нет и не будет тёмных сил, которые смогли бы покорить, поработить её, мою Родину! Останусь жив я или нет, но всё будет так, как надо…»

Когда Корсаков закончил песню, все мы, ошеломлённые, захваченные чувствами, долго молчали. Шумел только проливной дождь да грохотали вдали пушки… Затем восторженные крики:

— Браво, Корсаков! Молодец, Корсаков!

Все из строя бросились к певцу. Обнимали, целовали этого неловкого, большой души человека, качали, подбрасывали вверх. В полумраке над возбуждённой толпой взлетала неуклюжая мокрая фигура певца с красным счастливым лицом, возбуждённым и разгорячённым великим творческим подъёмом…

И здесь, в лагере, на каждом шагу я вижу, как велика сила искусства в условиях неволи.

Восприимчивость узников к искусству, к художественному слову, к песне остра и глубока. Думы, воспоминания о пережитом, гнев, скорбь, возмущение — все условия жизни в лагере смерти подготовляют восприимчивость узника; и часто одна только строка стиха, знакомый с детства мотив песни становятся как бы детонатором и вызывают взрыв чувств и бурю страстей. У пленных большая потребность в песне, которая часто поётся больше душой, чем голосом, в художественном слове, в пословице.

Вот, укладываясь спать в груде товарищей, кто-то, смотря на вечернюю зарю за пулемётной вышкой, еле слышно густым рокочущим басом запевает первые слова «Заповита» Шевченко:

Як умру, то поховайте
Мене на могили…

Высокий лирический тенор вдруг подхватывает:

Серед степу широкого,
На Вкраини милий…

Страстный тенор как бы вьётся над стелющимся рокочущим басом, то взлетая над ним, то снижаясь к нему. Хорошо, очень хорошо поют певцы:

Щоб лани широкополи,
И Днипро, и кручи
Було видно, було чути,
Як рве ревучий.

Все кругом, кто подняв воротник и опустив глаза долу, кто устремив взор в небо, где начинают светиться первые звёзды, все — украинцы, русские, белорусы, грузины — слушают эти задушевные, ставшие всенародными слова…

А когда запоются ожидаемые всеми гневные, страстные слова, звучащие здесь, в неволе, как прямой призыв к борьбе:

Поховайте та вставайте,
Кайданы порвите
И вражою злою кровью
Волю окропите… —

волнующее сознание, что всю массу окружающих тебя людей захватило большое, могучее патриотическое чувство, заставляет и твоё сердце биться в учащённом едином ритме…

И ощущаешь всей душой, что окружающие тебя в яме тысячи узников — не разрозненные песчинки, а советские люди, объединённые общими чувствами, настроениями, мыслями, идеями…

В лагере ходит по рукам маленькая книжка со стихами Лермонтова. Думая свои тяжёлые думы, иду по лагерю. Вот сгрудились в кучу люди, слышу слова, необычайно созвучные моим чувствам и настроению:

Синее небо отсюда мне видно:
В небе играют все вольные птицы;
Глядя на них, мне и больно
и стыдно.

Протискиваюсь ближе к читающему и слушаю с замиранием сердца строфы стихотворения Лермонтова «Пленный рыцарь»:

Нет на устах моих грешной
молитвы,
Нету ни песни во славу любезной;
Помню я только старинные битвы,
Меч мой тяжёлый да панцирь
железный.
В каменный панцирь я ныне закован,
Каменный шлем мою голову давит,

Щит мой от стрел и меча заколдован,
Конь мой бежит. И никто им не правит.
Быстрое время — мой конь неизменный,
Шлема забрало — решётка бойницы,
Каменный панцирь — высокие стены,
Щит мой — чугунные двери темницы.
Мчись же быстрее, летучее время!
Душно под новой бронею мне стало!

Читает стихи молодой парень.

— Товарищ, дай почитаю я! — прошу его.

Он, отдав мне книжку, подул на озябшие руки, засунул их в рукава и приготовился слушать. Быстро перелистав книжку, решаю, что здесь сейчас особенно прозвучит, и читаю:

Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла;
Бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь черкесская текла.

Читаю со страстью, со злостью, зная, что некоторые из нас, быть может, малодушничали. Слова Лермонтова здесь обжигают, и вижу, как склоняются у некоторых головы от этих гневных обличающих слов…

Но весь свой запал чувств я вкладываю в призывные пламенные слова:

Отец и два родные брата
За честь и вольность там легли,
И под пятой у супостата
Лежат их головы в пыли.
Их кровь течёт и просит мщенья…

Бросаю слова патриота-поэта людям и всем сердцем своим ощущаю, что падают они в души неотразимо, как слова революционных прокламаций…

Своим изменивший
Изменой кровавой,
Врага не сразивши,
Погибнет без славы,
Дожди его ран не обмоют,
И звери костей не зароют…

Как волновали тогда слова другого великого русского поэта, обращённые в своё время к другим узникам, но находившие горячий отклик и в наших сердцах!

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

«И братья меч вам отдадут!» Отдадут ли нам меч наши братья? Доверит ли нам Родина оружие? Ведь фашисты всё время трубят в рупоры, что все пути на Родину нам уже отрезаны, что нас всех, без исключения, там объявили предателями, что за один только факт пребывания в плену нас ждёт расстрел, в лучшем случае — «сибирская ссылка».

Нет веры у нас этим словам. «Мели Емеля — твоя неделя», — слышатся реплики из дальних толп, но всё же какое-то беспокойство зарождается в душе.

«И братья меч вам отдадут», — снова и снова звучат в сердце слова.

…Под обрывом, в затишье от холодного осеннего ветра, расположилась большая группа узников. В центре её, опершись друг на друга спинами, сидят два парня. Один из них, тонкокостный, белокурый, с большими ввалившимися светло-серыми глазами, всей своей внешностью и манерами напоминает актёра. Устремив глаза в пространство перед собой, он что-то декламирует. Подхожу. Опускаюсь на землю среди жадно слушающих парня людей. Слушаю.

В тоске сердечных угрызений,
Рукою, стиснув пистолет,
Глядит на Ленского Евгений.
«Ну, что ж? убит», — решил сосед.
Убит!..

Лежащий рядом старичок в фетровой старой шляпе шепчет мне восхищённо:

— Второй час читает, как по книге… Всего «Евгения Онегина» знает. И надо же иметь такую золотую голову. А смотри, сам-то он чуть живой…

…Зарецкий бережно кладёт
На сани труп оледенелый;
Домой везёт он страшный клад.
Почуяв мёртвого, храпят
И бьются кони, пеной белой
Стальные мочат удила
И полетели, как стрела.

Вдохновенные стихи поэта воспринимаются как кристально-чистый родник, приникая к которому, освежаешься, омываешь свою измученную душу и выпрямляешься.

Если стихи Лермонтова, Пушкина, Шевченко своими поэтическими образами вызывали те чувства, которые укрепляли нас, то советские листовки, которые разбрасывались нашими самолётами и заносились к нам ветром или узниками, выходившими за проволоку, на какие-либо работы, были голосом нашего советского народа, ободрявшим нас, рассказывавшим правду о войне (фашисты всё время объявляли, что Москва и Ленинград пали). Эти листовки были голосом Родины, приказывавшей нам, своим сынам, встать в строй.

«Прочти и передай товарищу!» С каким волнением читали мы эти маленькие листочки, прилетевшие из-за линии фронта!

Узники ловили каждое слово вестников свободы. «Смерть немецким оккупантам!» — горят напечатанные красным шрифтом призывные слова Родины.

Из нор, вырытых в обрывах, выползают обессиленные большеглазые дистрофики, потерявшие веру в то, что им удастся пробиться к еде, и тихо угасающие в своих могилах-норах. Стоя в толпе, окружающей чтеца, устало склонив головы на плечи товарищей, они тоже ловят волнующие слова родных листовок. Жизнь этих людей теплится, как пламя догорающей свечи, временами вспыхивала и угасала снова; листовки для них — последние весточки Родины.

Более сильные телом и духом слушают листовки как горячий призыв к борьбе, как приказ партии и народа. Лаконичные, пламенные призывы листовок помогают определить линию поведения, заставляют осознать: надо что-то делать!

Ты — советский человек. В каких бы сложных условиях ты ни оказался, находи своё место во всенародной священной борьбе с врагом. Пусть не велик будет твой вклад в общее дело, но из малого складывается большое. Больше пыток, больше смерти бойся, товарищ, поступков, которые могут привести тебя к измене. Коварен и хитёр враг: сделав первый ошибочный шаг, ты можешь оказаться в его сетях и поднимешь невольно руку на самое святое — Родину. Останови товарища от необдуманного шага! Не теряй веру в нашу Победу, укрепляй её в поколебавшихся духом, вселяй эту веру в других. Погибнуть, уйти из жизни здесь легко. Пройти все испытания и выжить — неизмеримо труднее. Помоги выжить товарищу! Ищи опоры в товариществе, в «широком плече», в организации. Сила в единстве! Учись быстро отличать смелого от труса, отважного от малодушного, верного от продажного, своего человека от предателя и провокатора. Все помыслы твои, все мечты твои и чаяния должны быть направлены к тому, чтобы выдержать все испытания, уйти из плена и встать в строй.

Помоги это сделать товарищу!

Если же тебе выпадет тяжкая доля быть угнанным за пределы родной земли и всю войну скитаться по лагерям смерти, ты должен научиться помогать делу Победы и там, организуя взаимопомощь, сопротивление, саботаж, вредительство, подпольные организации и побеги.

…Зная могучую объединяющую силу листовок, фашисты рыскают по лагерю и расправляются с теми, кого застают за чтением. Часовые на вышках, увидев издали сгрудившихся узников, подозревая, что они читают листовки, открывают огонь из пулемётов. Так была расстреляна группа абхазцев, что-то рассматривавших сидя кружком.

Вот из центра ямы с бранью и криками, орудуя палками, пробивают в толпе проход полицаи. По проложенной дороге идёт молодой паренёк. Он без пилотки, без шинели и босой, — видно, из команды «голых и босых», переплывавших речки вплавь по пути на Восток. Он зябко кутается в плащ-палатку, худые плечи его под ней торчат острыми углами, на побледневшем лице резко выступают веснушки, белые, бескровные губы что-то шепчут. За ним идёт немец с листовкой в руках и рассматривает её. Это ведут на расстрел схваченного за чтением ли-

стовки… У стены обрыва полицаи расступаются. Паренёк, упёршись лицом в песчаный обрыв, оказывается затылком к палачу. Фашист вынимает из кобуры пистолет. Обречённый резко оборачивается к нему, вскидывает вверх сжатые в кулаки руки, и над притихшими, насторожившимися первыми рядами, над всей ямой повисает протяжный, громкий и звонкий, как кремлёвские куранты, крик:

— Смерть немецким оккупантам!

Палач в ярости разряжает всю обойму в грудь и в лицо юноше. Но разве может злобный, захлебывающийся лай фашистского пистолета заглушить пламенный призыв, грозным эхом отозвавшийся в тысячах сердец:

— СМЕРТЬ

НЕМЕЦКИМ

ОККУПАНТАМ!

…Там, где песчаный обрыв понижается к овражку и зарос бурьяном, я решаю вырыть себе на ночь убежище. На уровне груди выдёргиваю бурьян и складываю его в кучку. Затем котелком рою глубокую узкую пещерку. Использую выдернутый бурьян как подстилку и залезаю в своё первобытное жилище. Угрюмо усмехаюсь, поймав себя на мысли, что похож я сейчас на дикого зверя, укрывшегося в своей берлоге…

Здесь нет дождя и ветра, но холодные, серые песчаные стенки студят промокшую спину и бока. Временами, чтобы согреться, энергично сокращаю одновременно мышцы спины и груди и думаю.

В первый раз за многие дни, недели я остался с самим собой наедине, один со своими мыслями и переживаниями, и необычное одиночество даже приятно мне.

Из-под нависшего надо мной песчаного, пахнувшего свежевырытой землёй тёмного свода смотрю на толпы мокнущих под дождем людей. Многоголосые возгласы, крики, зовы шелестящим, журчащим, слегка рокочущим эхом отражаются сводом пещерки.

Здесь, в моём необычном, непрочном, временном убежище, я получаю возможность как бы со стороны взглянуть на то, что происходит. Находясь в гуще людей, подавленный массой самых различных, ошеломляющих, зачастую противоречивых впечатлений, я не мог ещё обобщить их в своём сознании.

Сейчас же я смотрю на лагерь, на людей, в том числе и на себя, как бы отойдя на расстояние, и осмысливаю значение происходящего для меня, для людей и для моей Родины…

Как гигантская воронка страшного водоворота, с выворотами воды из пучины, с всплесками косматых волн и разбегающимися во все стороны более мелкими крутящимися воронками, бурлит, гудит и клокочет Хорольская яма…

Толпящиеся под обрывом и проходящие мимо заключённые непрестанно заглядывают в мою пещеру. Пилотки с опущенными бортами, натянутые на уши от холода и облегающие плотно головы узников, придают им какой-то странный, монументальный, не то древнеегипетский, не то древнеиндийский облик. Крупным планом, как на широком киноэкране, возникают самые разнообразные лица: одни — худые, с большими, ввалившимися, тёмными, как бы безгла-

зыми орбитами, с глубокими тенями под чётко вырисовывающимися скулами, другие — одутловатые, болезненно-пухлые, с тестообразными голодными отёками; юные, бледные, почти прозрачные и старые, мудрые, испещрённые глубокими морщинами и заросшие седой щетиной; обветренные, кирпично-красные, светлоглазые, с выгоревшими светлыми бровями и зеленовато-серые, землистые, чернобородые, с тёмными, без блеска глазами; спокойно-грустные, печальные, тоскующе-скорбные, измученные и строгие, суровые, решительные, полные внутренней силы и мужества…

Невольно вспоминаются поздние портреты Рембрандта, портреты философов-нищих Веласкеса, суровые головы фресок Феофана Грека и строгие тёмные лики старинных русских икон.

Но здесь правда жизни выше всякого искусства. Какое бесчисленное количество характеров, народных типов! Какие бесконечно неповторимые состояния, чувства, настроения, мысли отражаются на лицах!

Гул бушующего страстями лагеря и мерное, ритмичное чередование тёмных экспрессивных лиц с их гордо-скорбными взглядами, словно трагическая симфония повествует о мужестве, непоколебимости советских людей, полных неукротимого желания и воли найти своё место во всенародной борьбе.

И тут осенило: если мне удастся вырваться из фашистского плена, если мне суждено остаться после войны живым, я должен буду, как художник, в меру своих сил, рассказать об этих людях, о виденном и пережитом.

Нащупав под шинелью, в кармане гимнастёрки, тёплый хрустящий пакетик писчей бумаги, вынимаю его. Нахожу в другом кармане химический карандаш и делаю первые наброски голов узников. Намечаю облики безвестных людей, худых, измождённых, с развёрнутыми и натянутыми на уши пилотками, с печатью глубоких раздумий на лицах…

Плохо слушается застывшая рука, вижу, что вышел я из формы как рисовальщик, но знаю, что эти беглые наброски будут мне очень нужны, они станут документами.

Начинаю обдумывать и записывать темы будущих листов. Зная, что заметки могут быть найдены при обыске, делаю их зашифрованно: список тем выглядит у меня как план к иллюстрированию классических произведений. Будущий лист «Думы, мои думы» обозначаю: «Стихи Шевченко»; лист «Плен, постыдный плен» — «Опера Бородина»; лист «Сошёл с ума в лагере» — «Гоголь. Записки сумасшедшего» и т. д. Листочки с рисунками и записями, когда начало смеркаться, отделяю от чистой бумаги и прячу в потайной карман у пояса, где у самого тела храню свидетельство о рождении и удостоверение об окончании художественного института. Отныне я буду чувствовать себя будущим свидетелем обвинения, как бы находящимся в невольной глубокой разведке, и это сознание в какой-то мере будет укреплять меня.

Ночь провожу в своём новом жилище. На другой день, после кормёжки, сойдя под вечер в яму, я заглядываю в свою пещеру. Из полумрака норы, из-за поднятого воротника шинели с тревогой и немой мольбой смотрят на меня большие, печальные, уже «нездешние» глаза… То, что я, на какой-то миг задержавшись,

прочитал в глубине этих бездонных исстрадавшихся глаз, заставило меня, содрогнувшись, отойти в сторону. Долго не оставляет меня тревожное тягостное чувство: я как будто заглянул в могилу с ожившим от моего взгляда покойником.

Через несколько дней нас, большую партию узников, построили в колонну и погнали по дороге в направлении к Хорольской железнодорожной станции. Как всегда на маршах смерти, позади нашей колонны на холодных, скользких от грязи камнях мостовой остались лежать ничком недвижимо несколько наших товарищей…

Мы вначале думали, что нас гонят в эшелоны, но, не доходя до станции, колонну завернули влево, к пустынной территории, над которой возвышались затянутые пеленой мелкого моросящего дождя невысокие одноэтажные строения, сараи-зернохранилища и высокое серебристо-серое здание элеватора. Приближаясь к элеватору, мы ещё издали услышали встревожившие нас невнятные звуки, подобные шуму морской раковины, приложенной к уху. Этот далёкий, вначале лёгкий, журчащий шелест, с одинокими всплесками звуков, при подходе перерастает в звенящий, переливающийся гул. Всё существо моё заливает волна тревожных чувств…

Ни с чем не сравнишь и не спутаешь ты теперь этот гул: ни с криками многих тысяч птиц, ни со свистом ветра и ропотом волн во время шторма на могучей сибирской реке, ни с шумом морского прибоя: это многотысячные стоны, крики, зовы, стенания, гневные возгласы, вопли, пулемётные очереди и отдельные выстрелы, слившиеся воедино в нестройной, страшной симфонии лагеря. Это шумы нового лагеря смерти — филиала Хорольской ямы, который после того, когда зимой в яме не останется ни одного живого человека, станет основным дулагом № 160.



Бьём врага беспощадно… Божья Матерь Казанская — заступница. Автор неизвестен

Пётр Коваленко

Поглядите в глаза его

После боя комбат
Приказал вырыть глубже могилы.
(Было много убитых —
И наших, и с той стороны.)
Мы штыками и финками
Мёрзлую землю долбили,
На прощанье урвав
Скорбный час у войны.
От натуги и боли
Трещали по швам гимнастёрки.
Высекало железо
Огонь из калёных камней.
И на чёрные глыбы,
Пропахшие потной махоркой,
Кровь текла и текла
Из-под рваных ногтей.
Мы ложили рядами их,
Тесно к друг другу,
Накрывали хвоей
И прожжённым солдатским сукном.
И никто не рыдал,
Только в клятвах сжимали мы руки,
И никак не могли
Проглотить в горле ком.
А над нами кружила,
Кружила назойливо «рама»,
В пятый раз уточняя
Прицелов своих ориентир.
Вы простите нас всех
За отлучку бессрочную,
Мамы,
Не виновны ни мы
И ни наш командир.
Может, всех вот сейчас
Нас одним похоронит снарядом…
Ну, а если вдруг чудом
Останется кто-то живой,



Памятник русскому солдату в Трептов-парке в Берлине. Автор Евгений Вучетич. Установлен 8 мая 1949 г.

В нашей смерти его
Не вините, не надо, не надо!
Он ведь с нами навеки
Повязан судьбой.
Поглядите в глаза его,
Полные грусти и боли,
И прислушайтесь к стону
Тяжёлых его костылей.
Он с тех пор всё идёт
По дымящему минному полю,
И течёт кровь, течёт
Из-под рваных ногтей.

Рукопашный бой

И через годы мне припомнить страшно:
Сошлись грудь в грудь,
Схлестнулись на ножах —
И падали, сплетаясь в рукопашной,
Как падают суслоны на полях.
Когда луна, поблёкшая от боли,
Взглянула наземь из-за туч седых,
Нас четверо подняли с поля боя,
Ещё не мёртвых, но и не живых.
Иду по жизни, в целый мир влюблённый,
С друзьями — нежен,
С недругами — крут.
Мне лебезить и шаркаться в поклонах
На сшитом теле шрамы не дают.



Памятник русскому солдату Алёше в Болгарии. Автор — болгарский скульптор Васил Родославов. Установлен в мае 1957 г.

* * *

Вы знаете, что я убит?
И перед вами только камень —
Искусно вытесан руками
Из серых плит.
Вы знаете, что я убит?
И изваяньем из бетона
Стою один среди газонов,
А жизнь летит.
Вы знаете, что я сожжён
В горячих топках Майданека?..
И тощий прах мой чёрным снегом,
Кружась, ложится на пион.
Я в каждой веточке весны,
В дыханье каждом,
Каждой песне.
Я здесь незримо, с вами вместе,
У постамента тишины.
Я струйка Вечного огня,
Цветок, упавший к изголовью,
Росой обрызган, словно кровью,
В разгаре дня…
Я весь в горенье и в любви!
Я камнем стал, чтоб жили вы.



Мемориал воинам-сибирякам на 42-м км Волоколамского шоссе под Москвой. Автор Константин Зинич. Май 2014 г.

Вечный огонь

Горит, горит,
Не гаснет пламя,
Навстречу солнцу рвётся из земли.
То не огонь, то бьётся кровь из раны
Солдат, что в эту землю полегли.
Они ушли, ушли от нас навеки,
Оставив нам и солнце, и весну.
И седина ложится белым снегом,
Величья не нарушив тишину.
Текут минуты скорбного молчанья.
Летят года, как в небе журавли.
И бьётся, бьётся, бьётся кровь из раны
Солдат, что в эту землю полегли.

Красноярск, 1978 г.
Сборник «Память солдата»



VI. «Жизнь моя! иль ты приснилась мне?»[1]. 1940-е гг.

[1] *С. А. Есенин.*

Леонид Бородин

Без выбора. Эпоха моей жизни — Норильск

Автобиографическое повествование[1]

…Зато за моей спиной эпоха. Не историческая эпоха, но всего лишь эпоха моей жизни — и почему бы, собственно, мне не посмотреть на свою жизнь монокулярно, если она у меня, как и у всех, единственная?

У подножья серых скал

Как и у многих, сознательная жизнь моя начиналась вместе с бабушкой. Ольга Александровна Ворожцова, дочь сибирского купца средней руки, учительница по профессии, а по моей памяти — энциклопедистка… «Моя бабушка знает всё!» — таково было первое убеждение в жизни.

Преподавательница Иркутского сиропитательного приюта… В Русско-японскую — санитарка в офицерском госпитале при штабе генерала Куропаткина… Вместе с какой-то Великой княжной подруги… Потом первая на Байкале метеостанция в том самом Маритуе, где пройдёт моё детство… Девятый ребёнок в семье, она одна переживёт революцию (два брата бесследно пропали где-то на сибирских просторах с отрядом каппелевцев). С моим дедом, белорусом по происхождению, расстанется в те же революционные годы, и дальше всю жизнь с нами — с моей мамой и со мной…

Это она научит и приучит меня всему, что нужно детству — от трёх лет до одиннадцати. Первое и главнейшее — жить с книгой. Она же в самом моём раннем детстве сумеет нарисовать по уровню понимания моего картину русской истории, ту, что началась в незапамятные времена, где-то с «царя Салтана», трудно, но славно длилась тысячу лет, а в семнадцатом году только запнулась о колдобину накопившейся человечьей злобы — и, как говорится, рожей в грязь; да на то Божии дождики, чтобы отмываться и светлеть ликом более прежнего.

«Как ныне сбирается…» знал в восемь, «Песнь про купца…» в девять, в это же время — «Тарас Бульба» и «Капитанская дочка». Фет, Тютчев, Майков, Полонский — это во время наших с ней постоянных прогулок по ближайшим лесам. (Когда позднее начинал читать Маяковского — словно гвозди заглатывал.) Горестные ямщицкие песни — перед сном. Мировой оперный репертуар — весь до двенадцати лет. Дочь девятнадцатого века, она не изжила романтики народовольчества, и некрасовский плач о страдальце-народе образом «несжатой полосы» прочно окопался в душе, формируя ту самую «отзывчивость», каковая в итоге и образовала мою жизнь так, как она прошла.

[1] *Бородин Л. И. Без выбора: автобиографическое повествование. М.: Молодая гвардия, 2003.*

Много мне поведала купеческая дочь, но ни слова о Боге и ни слова о советской власти. Пока она была жива, мы существовали с ней вдвоём в несколько странном национальном поле, куда злоба или доброта дня длящегося не залетала. То было поле духа, единого национального духа, но, как понял много позднее, духа всё же ущербного, ибо без высшей явности духа — Духа Свята, о Его присутствии в мире мне поведано не было. И эта ущербность воспитания так и осталась до конца не преодолённой. По молодости она компенсировалась особенным, исступленным отношением к Родине.

Пока была жива моя бабушка, у нас в квартире еженедельно вывешивалось на стене около радиоприёмника расписание радиопередач. Не всех, разумеется, — «Театр у микрофона» и концерты классической музыки. Классическая музыка входила в мою жизнь как удивительное открытие, которому нет конца — дивный волшебный ящик: чем больше вынимаешь из него, тем больше там остаётся. Нет, конечно, воспринять какую-нибудь оперу всю целиком (по радио) мне тогда было не под силу. Но отдельные арии и музыкальные фрагменты уже к двенадцати годам стали счастливой собственностью моей памяти, а музыкальной памятью я не был обделён, как и голосом.

Со стороны было, наверное, и умилительно, и смешно видеть и слышать, как мальчишка на скале над Байкалом, в беспомощно-театральном и наивном жесте протягивая руки перед собой, со слезами на глазах воспроизводит страсти Дубровского или Каварадосси… (…)

Притом, однако ж, следует иметь в виду, что был я учительский сынок. Более того — директорский сынок. Жили мы только на зарплату, то есть никакого подсобного хозяйства. И если всем детям нашего байкальского ущелья помимо школы расписаны были всякие и всяческие обязанности, то есть дела домашние, я подобных дел был лишён и потому имел тьму времени и лазить по скалам, и часами любоваться раскрасками байкальской воды, и сидеть над книжками, и часами пиликать на балалайке или на гитаре.

Если честно, я злоупотреблял отсутствием обязанностей, и потому по прошествии времени, а ещё проще — по прошествии жизни, вглядываясь в себя тогдашнего, положим — пятнадцатилетнего, я не очень-то себе нравлюсь.

Популярна фраза: когда б начать жить заново, прожил бы жизнь так же.

Да ни за что! И дело не в досадных ошибках, каковых постарался бы избежать, и не в мелких проступках, от которых бы воздержался.

Советско-героико-романтическое состояние духа при абсолютном незнании жизни, самых существенных её основ — таким вот полупридурком спрыгнул я с крыльца отчего дома, что в глухом байкальском ущелье, — и прямо в самый что ни на есть поток той реальной жизни, что и осадила меня, и озадачила, и, что хуже того, с первых же самостоятельных шагов обидела досадным несоответствием сущего должному. Должному — в моём представлении о должном.

«Что у вас, ребята, в рюкзаках?» — из песенки моей юности. Ну и что же было в моём рюкзаке того времени? Фенимор Купер, Джек Лондон, Мамин-Сибиряк… Ещё «Молодая гвардия» и… «Краткий курс истории ВКП(б)». Ещё убеждение, что повезло мне родиться и жить в самой счастливой, самой справедли-

вой стране, к тому же самой необъятной — «с южных гор до северных морей». Короче — в самой-самой-самой!

Не «самым» был только я сам. Учился в старших классах неважно, хулиганистым был весьма. Десятилетку окончил так себе. И Иркутский университет, куда нацеливали меня мои славные родители, — не про меня сие великопочётное учебное заведение. Так понимал. Или догадывался. И потому, когда партия призвала советскую молодёжь пополнить ряды органов по борьбе с преступностью (это после знаменитой амнистии 1953 года), я откликнулся. Без восторга. Откликнулся потому, что считал: там я прежде всего сам исправлюсь, так сказать, приду в соответствие…

Русские мальчики… Спецшкола МВД располагалась в бывшем монастыре на высоком берегу над рекой Камой, что в городе Елабуге. Великолепные храмы были приспособлены под спецпомещения. В одном прачечная, в другом — склад спортинвентаря… Нас, атеистов, сие никак не трогало. Помню, правда, возмущались, что в том храме, где прачечная, кто-то специально забрызгал расписанные стены краской. Видимо, просто брал ведро и плескал во все стороны, куда достать мог.

По первой же неделе нас, курсантов, повели на экскурсию в музей художника Шишкина, а потом на его могилу. И тут старичок (внешность не помню совершенно) поманил нескольких из нас в сторону и показал на запущенную могилу с плитой, почему-то углом воткнутой в землю.

— А здесь знаете, кто покоится? Марина Цветаева — вот кто!

Мы деликатно молчали. Мы не знали, кто такая Марина Цветаева. То был 1955 год.

Отнюдь не демонстрируя образец курсантской дисциплины, именно там, в школе милиции, я скорее чувством, чем сознанием усвоил-понял значение дисциплины как принципа поведения и, через год покинув школу (о причинах чуть позже), остался солдатом на всю жизнь, что, конечно, понял тоже значительно позже. Но «солдатская доминанта» — да позволено будет так сказать — «срабатывала» не раз в течение жизни, когда жизнь пыталась «прогнуть мне позвоночник» и поставить на четвереньки…

В курсантской казарме нашёл я себе друга. Фактически на всю жизнь. Володя Ивойлов, из шахтёрской семьи, был «белой вороной» среди нас, шалопаев. Фанатическая жажда знаний, культ книги, ни минуты без дела, постоянная строгая сосредоточённость взгляда — потянулся к нему, и мы сошлись. Я, помнится, составлял ему список книг, обязательных для прочтения: конечно, Джек Лондон, и в первую очередь «Мартин Иден», Джеймс Олдридж — «Герои пустынных горизонтов», М. Горький — «Жизнь Клима Самгина», В. Гюго — «Девяносто третий» и «Человек, который смеётся», Ч. Диккенс — «Записки Пиквикского клуба», Мамин-Сибиряк — «Хлеб» и «Золото», В. Шишков — «Угрюм-река»… Списки эти были на целые страницы. Он прочитывал, обсуждали, спорили. Затем вместе увлеклись философией, и первейшей нашей любовью был, конечно, Гегель. Его «Лекции об эстетике» мы конспектировали,

ни в грош не ставя при этом соответствующие, как нам казалось, примитивные рассуждения на эти темы Белинского, Чернышевского, Добролюбова.

Не удовлетворённые уровнем образования в школе МВД, решили мы поступить на экстернат юридического факультета, отправили документы и приобрели нужные учебники, но именно в том 1955 году экстернаты были отменены, что повергло нас в уныние…

Но всё бы ничего… Когда б не знаменитый XX съезд!

На стене напротив тумбочки у моей кровати — две фотокарточки: девочка, в которую был влюблён с одиннадцати лет, что много позднее, во Владимирской тюрьме, описал в книжке «Год чуда и печали», и вторая фотокарточка — Сталин. Боже! Как я любил его лицо! Как я любил смотреть на него… Просто смотреть — и всё! Ни о чём при этом не думая. Его образ и был самой думой, как бы вынесенной за пределы моего «я».

Много позже я найду аналог тогдашнему моему чувству: Овод и Монтанелли из романа Войнич… Но то — много позже. Но ведь и нынче нет-нет да приснится мне, что сидим мы с Иосифом Виссарионовичем на крылечке дома моего детства и беседуем о том о сём… И никаких тебе негативных чувств…

Лет в десять с дрожью в голосе спросил я как-то свою бабушку: дескать, не дай бог, Сталин… ну… это… умрёт! А кто тогда после него — сын его, да?

Помню, бабуля серьёзно задумалась, очень серьёзно, и ответила будто бы и не мне вовсе, а себе самой: «Всяко может быть. Может быть, и сын… Страна у нас такая… Хорошо бы…» Я был согласен. Это было бы хорошо. Или я был не монархист?

Бабушка о родителях своих вспоминала как о божествах. Я своих родителей боготворил — были они самые честные, самые умные, самые трудолюбивые. Они уважали своё учительское начальство, а начальство их ценило.

Потому смею утверждать, что вырос в микромонархической среде.

В стране, где я возрастал, тоже всё совершалось правильно, на зависть всему остальному человечеству. Недостатков была тьма. Особенно у нас, в нашем захолустье. Но посмотришь очередной киножурнал, что перед каждым кинофильмом, и понимаешь: когда-нибудь, может очень скоро, и у нас станет так же, как в Москве!

Потому что Сталин. Нет, не партия, про партию мне не всё было ясно.

Стало совсем неясно после XX съезда.

Сначала таинственно зашептались меж собой курсанты-партийцы. Знать, у них прошёл какой-то полусекретный «сходняк». Первая статья в газете «Правда». И всего-то одна фраза: «…не отличаясь личной скромностью…» Это о Сталине!

Помню, вошёл-ворвался в библиотеку. Налево курсантский читальный зал, направо — преподавательский. Нарочито громко, с вызовом возгласил: «Какая шавка посмела тявкать на Сталина?!» Курсанты подняли головы, преподаватели, напротив, уткнулись в тексты.

А через день — общекурсантское собрание: Сталин при всех заслугах преступник! И факты, факты, факты! Лагеря, тюрьмы, расстрелы, пытки! Это

у нас-то — в стране всеобщей справедливости, в стране, где социализм — всему человечеству образец и зависть…

Вечером того же дня мы с моим другом Володей Ивойловым ушли в самоволку. В стороне от училища, на высоком берегу реки Камы, давно уже облюбовали толстущую, многоветвистую иву, куда частенько приходили и до того обсуждать наше с ним замечательное будущее в замечательной стране.

Но чего стоили теперь наши с ним личные планы, когда, как оказалось, совсем не всё в порядке с самой СТРАНОЙ.

Нет, не вспомнить уже и не понять, почему, собственно, проблема СТРАНЫ оказалась для нас первичнее и важнее всего того мечтательно личного, что выпестовывалось в душах. Ведь в миллионах судеб наших сверстников никаких принципиальных срывов и обломов не произошло…

Когда, чуть позднее, в полном смысле «заболел идеей правды», заболел настолько, что ни о чём ином и думать не мог, тогда решил для себя, что урод! Попросту урод! И надо жить, поступать и действовать соответственно этому врожденному уродству. Надо искать себе подобных — не один же я такой; искать и что-то делать, потому что если ничего не делать, то — подлость, трусость, лицемерие, бесчестие наконец!

С моим другом мы ушли из школы МВД, где корпоративные правила не позволяли нам «вольнодумствовать» — то было бы просто нечестно по отношению к ведомству, призванному выполнять строго определённую работу, не отвлекаясь на проблемы, способные дурно сказываться на выполнении профессиональных задач.

В. Ивойлов поехал поступать в ЛГУ на философский факультет, не набрал нужного балла и завербовался в Норильск. Я поступил на исторический факультет Иркутского университета, откуда уже через полгода был исключён за попытку создания полуподпольного студенческого кружка, ориентированного на выработку идей и предложений по «улучшению» комсомола и самой партии, выявившей очевидную несостоятельность в осуществлении величайшего замысла построения наипрекраснейшего из обществ.

Братские уроки… Исключённый из комсомола, изгнанный из университета с настоятельной рекомендацией — «познавать подлинную идеологию гегемона — рабочего класса», я именно так и поступил.

Сначала — рабочий путевой бригады на родной Кругобайкальской дороге, затем бурильщик на Братской ГЭС — но всё время один…

Именно там, на Братской ГЭС, узнал я, что являюсь соучастником первейшего в истории Страны Советов дивного эксперимента: осуществления великого строительства народно-хозяйственного значения силами свободных людей. Что, оказывается, до того все подобные и бесподобные замыслы осуществлялись исключительно многотысячными контингентами либо заключённых, либо военнопленных. И моя родная Иркутская ГЭС, и Куйбышевская, и Волгоградская, и Волго-Дон, и ещё раньше Беломорканал, и прославленный на всю страну Комсомольск-на-Амуре, и тысячи невеликих, но необходимых народу и государству строек и всякого рода реконструкций — всё это не мы,

советские люди, а как раз наоборот — несоветские. Хуже того — антисоветские!

Что всякие там враги народа и изменники должны нести наказание в той или иной мере — ну, кто против того? То ж нелюди. Но за что ж им такая честь — строить великое здание социализма? И разве нельзя иначе? Строили бы общественные туалеты, хотя бы по той же Восточно-Сибирской дороге. А то ведь вечная проблема — один туалет где-нибудь на самом конце станции, куда и добежать не всегда успеваешь…

Уже не вспомнить, от кого впервые услышал слово «рабы». Кто первый сказал или намекнул, что «зэки» — по крайней мере, не все нелюди, что полно там безвинных, или без вины виноватых, или если и виноватых, то в пустяках… За «колоски», например. Или за сдачу в плен целыми армиями, забытыми или затерянными фронтами. По доносу и наговору, за компанию и по родству…

То была моя первая, а возможно, и единственная в жизни «ломка»: взламывался, раскалывался на части данный мне природой дар любви, я знаю, он был первичен!

Я любил Байкал, считал, что никто его так не любил, как я. Любил своих родителей, потому что они стоили того. Любил всех людей вокруг себя, правда, кого-то больше, кого-то меньше… Я любил свою страну… И Сталина, и всех, кто с ним, потому что они с ним…

Ненавидел фашистов, но к тому времени их уже не было. Недобро относился к американцам — вечно они какие-то пакости против нас умышляли… Да где им против нас!

Наша бригада бурильщиков располагалась в бараке, что на правом берегу Ангары, на самом краю тогда ещё полупустого микрорайона под названием Братск-3. Оттуда, из глухомани, нам приходилось топать несколько километров в магазин, в кино, на почту. Кратчайшая, густо замешенная грязью дорога проходила мимо небольшого вспомогательного котлована, обнесённого рядами колючей проволоки, почти вплотную с ней. Пару раз я уже ходил этим направлением, видел, конечно, и проволоку, и копошащихся внизу людишек, знал, что заключённые… Но это как раз и были те самые формы виденья и знания, которые никак не мешали мне жить исключительно личными проблемами. Меня никто не учил ТАК видеть и знать, то есть как бы не видеть и не знать, этот способ самозащиты от чужого страдания я получил по совокупности всего воспитания в советском обществе, где реальны только собственно советские люди, а несоветские — они как бы и не люди вовсе…

ЭТО меня не касается — вот текст того потаённого шифра, что был вмонтирован в моё сознание и политико-воспитательной работой, что с детсада начиналась и никогда не заканчивалась, и великой советской литературой с её девизом изображать настоящее в свете будущего (школьная формулировка соцреализма), и, наконец, моими родителями, которые хотели мне добра и фиксировали моё внимание исключительно на вещах и идеях достойных и перспективных…

Однажды случилось идти вместе с бригадиром соседней буровой установки, немногословным мужиком лет сорока. Жил он от нас отдельно, в «балке» с се-

мьёй. Его жена, ещё совсем молодая деваха, работала на нашей буровой коллектором. Её «балдёжная» влюблённость в «старика» мужа вызывала у нас, что от девятнадцати до двадцати двух, что-то вроде сочувствия и некоторой досады, ибо нам, несмышлёнышам, она лишь приветливо-равнодушно улыбалась, а глядя на своего «старика», сияла и розовела, как спелое яблочко на солнышке.

Когда дорога, по которой топали мы с бригадиром в контору, выгнувшись дугой, запетляла вдоль «колючки», он вдруг остановился, выбрался из грязевой колеи на отвалы, прямо к «колючке» примыкающие, и несколько раз громко свистнул. Последовав за ним, я увидел, как внизу в котловане несколько зэков, как знакомому помахивая руками в ответ, идут к нашему краю котлована. Режим в этой зоне, видимо, был с послаблениями, потому что охранник (по-зэковски — вертухай) на единственной вышке, что на другой стороне квадрата-котлована, никак не реагировал на общение и будто бы даже и не смотрел в нашу сторону. У людей внизу были какие-то тёмные лица, возможно, от перезагара, но казались они людьми словно другой расы. В одинаковых телогрейках-бушлатах, в одинаковых шапках — на таком расстоянии все на одно лицо…

Бригадир достал из сумки плитку зелёного чая и сильным размахом закинул её за проволоку. Увязнув в глине, зэк там, внизу, поймать не сумел, долго елозился на глинистом наклоне, нашёл наконец, и тогда только бригадир вернулся на дорогу.

Знать, что-то было на моей физиономии, потому что он ухмыльнулся нешибко добро, то ли спрашивая, то ли утверждая:

— Комсомолец…

Всего лишь полгода назад вышвырнутый из Иркутского университета и из комсомола, я почему-то не захотел откровенничать и ответил:

— Комсомолец. Ну и что?

По сути, не соврал, потому что духом своим из комсомола не выходил.

Бригадир кивнул головой в сторону «запретки».

— Они… там… рвань? Да?

Я только плечами пожал.

— Уголовники.

— А ты спрашивал? А я вот… Похож на зэка?

— Не похож, — отвечал уверенно.

— Ну да. Червонец отмотал.

— Кто? — я даже остановился.

— Ну не ты же.

— Где? Вот там? — я повернулся лицом к «запретке».

А он вдруг обозлился:

— Чего там-то? На Луне, что ль, живёшь… Везде! — И крупно пошагал вперёд.

Потом, позже вот это его «везде!» станет моим своеобразным рефреном к жизни, как горьковское «А был ли мальчик?».

Тогда же меня больше задел его как бы укор за «лунное» проживание жизни. Конечно, не на Луне я жил, а в стране советской, и я другой такой страны

не знал, где б так жили… при всех «недостатках» советской жизни, до которых я «допёр» к тому времени.

Шагая след в след бывшему зэку, чтоб лишней грязи в голенища кирзух не зачёрпывать, стал припоминать конкретные места своего уже, как я понимал, немалосрочного проживания жизни.

Байкал… Михалёво… Громадный лагерь… Однажды был массовый побег. Нам запрещали ходить в тайгу… Слюдянка… Зоны… Рудники… (Только через сорок лет узнаю, что именно там сгинул мой отец.) Иркутск… С любого бока зоны… Черемхово… Лагеря… Шахты… Тулун… Зона, тюрьма, поселения ссыльных… Нижнеудинск… Вроде бы не было… Поблизости, по крайней мере… Зато Тайшет… Это вообще… И ещё эшелоны с конвоем и решётками… Их несчётно видывал на всех местах проживания. Одинаковые. Будто один и тот же гоняют туда-сюда по мере надобности… Ей-богу, кажется, так и думал. Точнее, думанья не было. Мыслишка мимоходом…

После этого нашего необычного общения с бригадиром я какое-то время избегал ходить по той дороге, что мимо зоны. Но однажды, купив пачку чая, пошёл. Свистеть умел не хуже бригадира, да только не сразу получилось. Советский человек во мне сомневался в правильности поведения, а несоветского человека во мне не было. Свист получился неважный. Но кинул точно. Камни в Байкал — первейшая забава детства…

И после ещё несколько раз кидал. Но только важно было другое: кидал я уже не зэкам, которые неизвестно что есть, но людям в зэковской одежде.

Пройдёт несколько месяцев, и я окажусь в Норильске, где вокруг меня будут тысячи бывших зэков — от напарника-бурильщика до начальника спецпроходки, от продавца в магазине до коменданта общежития — бывшего лагерного барака… Тогда-то я и научусь смотреть на карту советской Родины и видеть на ней вторую, непропечатанную, которую позже А.И. Солженицын назовёт Архипелагом… Тогда же впервые возникнут у меня смутные предположения относительно того, что может наступить время расплаты общества за равнодушие к судьбе населения Архипелага.

Тем более что оттуда, из невидимого мира, уже разошлись по стране строки: «Будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой». Не о Колыме же речь… При чём тут Колыма? Проклятие, что по языческому, что по православному толкованию, — вещь небеспоследственная.

Когда-то, очень давно, будто бы и не всерьёз придумал для себя формулу, микроконцепцию, едва ли совместимую с православными истинами. Суть формулы в том, что количество зла на душу населения в единицу времени — величина постоянная.

Но величина эта блуждающая. То есть способна равномерно распределяться по участкам пространства, сгущаться, концентрироваться на отдельных народах и территориях, временно высвобождая другие от своего присутствия или делая его минимальным. Блуждания зла не самопроизвольны, но магнетируемы спецификой человечьего бытия. Совсем детский пример для пояснения.

Купил человек перочинный ножик. Чтоб карандашики подтачивать. Зло не реагирует.

Но вот он же залюбовался изящным кинжалом в лавке продавца. Кинжал ведь не для карандашиков.

И порция резервно блуждающего зла на всякий случай пристроилась за спиной и ищет контакта с той ничтожной, но обязательной порцией зла, что в человеке от рождения по причине его несовершенства, поскольку несовершенство и есть потенциальное зло.

Нечто подобное с народами. Засмотрелся некий народ на блестящий идеал социальной справедливости, каковая только в идеале и безопасна, как кинжал, пока он в лавке продавца или на стене коллекционера. Но души, как и руки, жаждут осязать. И тут-то на эту жажду и подтягивается незримое облачко зла и в алкании вочеловечивания обволакивает соблазнившийся народ или инициативно пассионарную часть его. Глядишь, и вот уже «мчатся тучи, вьются тучи» и «невидимкою луна»… Пошло-поехало…

Через какое-то время — «вечор, ты помнишь, вьюга злилась… А нынче погляди в окно…». Глянул — всё вроде бы в обычном приличии. Но в окно, не через крышу. А крыша-то как раз и не та уже. Ливнем отстеганная, вроде бы как и поновее смотрится. А что осевшим злом, как миллионами рентген, пропитан каждый сантиметр площади, то простыми чувствами не просекаемо.

Люди под крышей — им что? Им жить надо, коль рождены для жизни. Вот и живут, как прежде, лишь незаметно мутантируя. И крыша… Она же по закону сопротивления материалов только на определённые соотношения рассчитана, а соотношения нарушены. И однажды проваливается она внутрь дома, взметая пыль осевшего на ней зла. Чихают люди, пылью зла простуженные поровну промеж собой, крышу обвалившуюся проклиная, всякому чужому чихающему носу чиня обвинения в распространении заразы. И долго ещё будут остатками крыши друг другу носы разбивать.

Осевшее злом зло не любит долготы однообразия. Прескучившись, начнёт истекать из человечьих душ. Глядишь, вновь облачком над головами сгустится и, в людском воплощении разочаровавшись, унесётся прочь, где-то обернётся тайфуном или землетрясением, чумой или проказой, озоновой дырой…

Как в народе говорят, никому «ни в жись» не догадаться, для чего придумал я такую вот ненаучную и неправославную сказочку. А всё для одного — для оправдания государства, каковое, по моему, опять же ненаучному, предположению, помимо всех известных отчётливо положительных функций, берёт на себя и ещё одну, из-за которой и ломаются копья из века в век: государство забирает на себя, абсорбируя в аппарат, ту мощную долю зла, каковая «до того» или «без того» была или была бы рассеяна по пространству, государству подопечному.

Опять же простейший пример: государство казнит преступника, при этом строжайше запрещая самосуд. И вовсе не потому, что самосуд может быть несправедливым…

Зло по определению присуще любой государственной структуре, но это то минимальное зло, какое имел в виду Гегель, когда говорил, что как бы государство ни было дурно, без него ещё хуже.

По высшему (хотя и не религиозному) пониманию, государство есть не что иное, как способ самоорганизации народа.

Народ же, как совокупность несовершенных по природе индивидуумов, самоорганизоваться по совершенному образцу не может. Хотя бы по той причине, что таковых образцов в природе просто не существует. Они существуют в фантазиях в виде утопий, большей частью скалькированных с религиозных представлений. Человек или группа людей, сознательно или бессознательно совершивших такую подмену и предложивших сей прекрасный бред народу или человечеству в качестве программы действий, в прямом и переносном смысле становятся орудием дьявола, мирового инстинкта разрушения, или, говоря языком физики, подключают свою индивидуальную и коллективную энергию к мировому процессу энтропии.

Правда, однажды, когда бывал в Сарове, в знаменитом Арзамасе-16, молодые наши физики-гении пытались мне, безнадёжному гуманитарию, втолковать, что на уровне макрокосмоса будто бы открыт закон или процесс сопротивления энтропии, и потому сам по себе второй закон термодинамики теперь уже не должен рассматриваться как необратимый…

Норильск — вообще особый эпизод в моей биографии. Если сознавать, что судьба человеческая складывается из тысяч значимых и малозначимых обстоятельств, то Норильск в этом ряду в первейших и значительных. Не более года пробыл я на этом гулаговском острове, но в памяти — эпоха. Эпоха важнейших открытий и пониманий, последствия их просматриваются с очевидностью.

Как уже сказал ранее, мой друг по Елабужской школе МВД оказался в Норильске в итоге провала в ЛГУ. Звал. Заполярье! Рудники! А люди!

Я устроился проходчиком в рудник 7/9. Поначалу — подсобные работы, потом помощником на скрепере, потом проходка…

Помимо всего прочего увиденного и пережитого в Норильске, именно там внезапно как бы возродилась и затлела тихой сердечной болью одна моя личная, почти тайная проблема — проблема отцов. Так вот — не отца, но отцов. Однажды уже писал об этом. Но повторюсь, ибо это тема и славного града Норильска тоже.

Тот отец… Отец ушёл из моей жизни, когда жизнь моя только началась.

Его «забрали» однажды и навсегда и проделали это так добросовестно, что не осталось от него ни фотографии, ни письма и вообще ни строчки, и в итоге к тому времени, когда я научился задавать вопросы, повода для «вопроса» не существовало вовсе, потому что в доме не сохранилось ни единой, даже самой пустяковой, вещицы, принадлежавшей отцу. Самые первые мои воспоминания о себе связаны с присутствием в моей жизни отчима.

Это я сейчас так говорю — отчим. Говорю и тем словно обижаю человека, которого и по сей день именую отцом, и никак иначе, потому что дай Бог каждому такого родного, каким был для меня неродной.

Я вырастал с величайшим почтением к своим родителям. Моё уважение к ним было беспредельно. По сей день загадка — как им удалось произвести и ежедневно производить на меня такое впечатление. После Сталина мои родители были самыми умными и самыми работящими, самыми сознательными и самыми честными гражданами страны. По профессии учителя, они были в полном смысле слова одержимы своим учительством. Мы и жили чаще всего при школе, то есть в помещении школы. Разговоры в семье — об учениках и учителях. Споры в семье о том же. Скорее всего, именно одержимость работой и полнейшее отсутствие каких-либо иных интересов, хозяйственно-собственнических к примеру, и было основанием моего глубочайшего уважения, почти преклонения, почти обожествления родителей. Мать, окончившая в своё время библиотечный техникум и какие-то учительские курсы, была для меня образцом образованности. Начитанность её и вправду могла поразить кого угодно, а культ книги в нашей семье удивлял даже коллег-учителей. Отец (отчим — до чего ж дурное слово!) — сын крестьянина Орловской губернии — через те же учительские курсы выбился в учителя и, я бы сказал, воплотился, то есть обрёл этот новый социальный статус, прекраснейшим образом сохранив в душе лучшее, что получил в крестьянском детстве, например почти цыганскую любовь к лошадям. Он, отец (отчим) мой, за всю жизнь ни разу не выматерился, не курил и был решительно равнодушен к алкоголю. Имел он и многие другие достоинства, кои не потеряли ценность в моих глазах позже, когда научился смотреть на родителей своих трезво…

Но к двенадцати годам, то есть к тому времени, к тому дню и часу, когда случайно узнал о неродстве отца, был он для меня воплощением всех возможных человеческих достоинств, и удар, нанесённый полученной информацией, был столь силён, что только детство — это особое состояние души и психики, только оно спасло меня от надлома, которого не избежать бы в том же юношеском возрасте. Я попросту не понял, что значит быть неродным сыном отцу или неродным отцом сыну. Неродной отец — это же нелепость! Он — отец или не отец. И я — сын или не сын. Слово «неродной» не имело самостоятельного смысла. И моё отношение к отцу (теперь отчиму) не изменилось ничуть, как и его ко мне.

Но и любопытство к тому, другому, от которого в доме ничего не осталось, оно, это любопытство, также поселилось в душе, тем более что, как оказалось, ТОТ отец был литовских кровей, и этот факт имел ко мне какое-то отношение, которым я даже несколько кокетничал, ведь вокруг все сплошь были русские, а я — вот нате вам! — не так…

В пятнадцать лет с благословения (или с согласия?) родителей я предпринял некоторые розыски следов ТОГО отца, нашёл знавших его, получил не очень внятные мнения о нём (как-никак — враг народа!) и, сколько помнится, был вполне удовлетворён достигнутым. Во всяком случае, факт «двуотцовства» ни в малейшей степени не отразился на моих первых самостоятельных шагах по жизни. Я оставался убеждённым комсомольцем — сыном партийных родителей — и после школы пошёл не в университет, а в милицию, в школу мили-

ции — такой способ выполнения гражданского долга виделся мне наиболее достойным и соответствующим запасам моей энергии. Никто не пригласил меня в КГБ. Туда я пошёл бы с ещё большей радостью.

Ко времени моего первого ареста (в восемнадцать лет) отец (отчим) работал директором школы, и я, обеспокоенный возможными для него неприятностями, написал письмо, где совершенно серьёзно и с должным обоснованием предложил родителям формально отречься от меня… То был всего лишь пятьдесят шестой, потому не следует удивляться. Отец немедленно приехал в Иркутск, где я дожидался своей судьбы, и даже не удостоил обсуждением мою стратегическую идею, так, словно я совершил легкомысленный поступок, которого устыжусь, если заговорить о нём… (…)

Осенью пятьдесят седьмого своей волею и волею судьбы я оказался в Норильске с твёрдым намерением освоить шахтёрскую профессию. Напомню, была середина пятидесятых: вчера лишь — целина и первые стройки коммунизма, почти как в первые годы революции — культ пролетарских биографий. Ещё в университете я работал в университетской кочегарке, хотя экономической необходимости в том не было совершенно. Деньги в системе моих потребностей стояли на самом последнем месте, на пропитание хватало стипендии и родительских подачек, именно так — подачек, я стеснялся их брать, потому как считал, что не имею права выделяться из среды в основном бедствующих студентов. Чтобы законспирировать своё непролетарское происхождение, я, как большинство сокурсников, ходил в университет в телогрейке и сапогах, от покупки пальто отказался категорически…

Увы, когда пришло время предстать перед судом университетских идеологических бонз, я был безжалостно разоблачён как интеллигентный перевёртыш и все мои пролетарские выходки во внимание приняты не были. Меня изгнали с рекомендацией идти в массы и познавать идеологию рабочего класса, к чему я и приступил тотчас же, как только выяснилось, что «сажать» не будут…

В поисках самого что ни на есть «пролетарского» места на просторах Родины примерно через год и оказался я в Норильске, ещё недавно бывшем единым громадным концлагерем, а в пятьдесят седьмом объявленном ударной стройкой коммунизма. Коммунизм было предложено строить вчерашним зэкам, которые не получили права покинуть заполярный город или не захотели этого сделать по причине отсутствия житейских альтернатив.

Лагеря были уже расформированы. Нигде даже обрывка колючей проволоки. Бараки преобразованы в общежития. В одно из таких был поселён и я.

Господи! И почему же в то время не пришла мне в голову идея стать писателем! Не знаю, существовало ли ещё на земле такое место, где на квадратный метр земли приходилось столько трагических судеб! Их «плотность» была так велика, что довольно скоро я «притерпелся» к такому соседству, перестал запинаться на каждом шагу, как поначалу, и даже выстроил в душе некую заслонку от чужих судеб, потому что почувствовал опасность увязнуть в сострадании, сломаться от невозможности соучастия в бесчисленных чужих бедах. Отстраниться было совсем нетрудно, потому что люди меня окружали суро-

вые, в душу не лезли и своих душ не раскрывали без надобности, ни на чьё сочувствие не рассчитывали и ни в чьей помощи не нуждались, к нам, «комсомольцам», относились снисходительно, как к несмышлёнышам…

В первый же день моего пребывания в заполярном городе в магазине на Нулевом пикете (наименование посёлка) я услышал, как мужик в тулупе попросил продавца: «Булку хлеба дай и банку комсомольцев». То есть — банку с консервированной килькой. Я не был шокирован, потому что к тому времени за спиной имел Братскую ГЭС и Кругобайкальскую дорогу, и «познавание идеологии рабочего класса», рекомендованное университетскими партийцами и иркутскими сотрудниками КГБ, шло уже полным ходом. Я лишь исполнился предчувствием, что поджидают меня в скором будущем горькие и тягостные открытия, что правда, поиском которой обуян, может оказаться объёмнее моих возможностей познания её, что выводы, коих избежать не могу, могут окончательно поломать, изломать мою жизнь, что, наконец, моё исключение из комсомола, тяжко пережитое, может оказаться лишь первым звеном последующих исключений отовсюду, по существу — из народной жизни, каковую я хотел видеть вопреки первому опыту познания по большому счёту имеющей великий и оправданный смысл.

Я устроился работать в рудник и был определён на проходку. Детское пристрастие к пещерам обеспечило почти восторженное восприятие рудничных штолен, штреков, квершлагов, горизонтов, подэтажей, ходовых восстающих и рудоспусков. Крепление предусматривалось только в центральных штольнях и подсобных помещениях. Вечная мерзлота в креплении не нуждалась, и километры рудничных ходов, особенно ходов брошенных, отработанных, были в моём романтическом восприятии лабиринтом пещер, где заблудиться проще простого, где эхо звучит, как львиное рокотание, где темнота, когда отключишь фонарь, поглощает тебя, как молчаливое чудовище. А если углубиться в старые выработки, куда соваться строго запрещено из-за метана и ненадёжности кровли, если отмахнуться и протиснуться сквозь запрещающую крестовину, а потом идти, идти и читать стихи — звучания такого не получишь больше нигде…

Поначалу был я определён на подсобные работы и добрый десяток дней выматывался до апатии. Лишь потом, когда наконец перевели на проходку, по достоинству оценил я специфику моего нового рабочего места.

Больше половины рабочих рудника были бывшие зэки. Инженерный состав также наполовину состоял из бывшего «горнадзора». Так, по крайней мере, обстояло дело на моём участке. Сохранилась даже «национализация» профессий. Латыши, к примеру, достаточно компактно трудились на поставке крепёжного материала и на откатке. Чеченцы — исключительно на проходке, немцы — маркшейдеры, литовцы — крепильщики. О последних и речь.

Они, пятеро, молчаливые и бородатые, на контрольной проходной, где нас обыскивали на предмет курительных принадлежностей, появлялись всегда вместе. Женщины-шмональщицы никогда почти не касались их, знали, что некурящие, но каждый непременно останавливался на месте досмотра и лишь

после разрешающего жеста делал несколько шагов вперёд, поджидая остальных. Потом все мы шли на платформу нулевого уровня, откуда электричка в микровагончиках развозила нас по участкам. В «купе» помещалось шесть человек. С какого-то времени я стал стараться попасть шестым в их компанию. Вот так и началась странная моя игра, которой увлёкся настолько, что, когда пришла пора из игры выйти, потребовались усилия и насилие над собой, ни с чем в опыте моём несравнимые.

Итак, я стал пристраиваться к компании литовцев-крепильщиков всякий раз по пути к участку, а иногда и на выходе, хотя здесь подгадать было труднее, поскольку крепильщики, закончив работу, могли выйти раньше или, наоборот, задержаться в штреке дольше обычного. Когда всё это превратилось в привычку, не вспомнить. Хуже того, каждая неудача, то есть невстреча с литовцами на проходной, превратилась в дурную примету всего рабочего дня. Дважды я травмировался в руднике, и оба раза тому предшествовало непопадание с литовцами в одно «купе». Как-то я был пойман начальником спецпроходки за курением и схлопотал в зубы (что было тем не менее неслыханной добротой с его стороны, потому что за курение в метановом руднике судили), — в тот день кто-то опередил меня и пристроился шестым к бородачам. И наконец, когда я подорвался на собственном патроне скального аммонита и Лёша-чеченец, рискуя жизнью, выволок меня из загазованного штрека — в то утро я вообще просмотрел литовцев на проходной.

Обычно, пристроившись с краю, все пятнадцать минут движения электрички от платформы до участка я сидел, изображая дремлющего, но сквозь полуприкрытые веки рассматривал их, моих полусоплеменников, вслушивался в неторопливый говорок чужого языка, и язык этот никаких эмоций не вызывал во мне. Житель российской глубинки, не знавший иностранцев, почти до зрелого возраста сохранил я наивное изумление ко всякому иноречию, когда сомневаешься, возможно ли человеку понимать человека, обмениваясь столь странными звукосочетаниями, и вообще, по силам ли такими звуками отразить всё разнообразие человеческого восприятия мира. Позже, читая на английском Голсуорси и Диккенса, не раз ловил себя на том же самом изумлении способности другого языка отразить тонкость ощущения или глубину мысли. Смеялся над собой, но барьер сомнения к чужому языку, кажется, так и не преодолел до конца.

И тот язык, каким говорили мои соседи по «купе», был мне чужд и дик, но, однако, отчего-то меня устраивало непонимание их речи. Оно возбуждало и поощряло мою фантазию. Я придумывал тему, какую они могли бы обсуждать, и «переводил» их разговор на русский. Я придумывал их разговор, а потом, расставшись с ними на рудничных подэтажах, обсуждал его сам с собой, с чем-то споря, чему-то возражая, с чем-то соглашаясь.

Но всё это, как оказалось, было лишь началом игры. Как уже говорил, от ТОГО моего отца в семье ничего не осталось, в том числе и фотографии. По скупым описаниям матери — светлые, слегка волнистые волосы, голубые глаза, роста среднего, — был он, по её сдержанному признанию, красивым мужчиной. Разве ж это приметы! А красивый мужчина — что это такое?

И вот однажды, как обычно разглядывая их сквозь полуопущенные веки, думал я о том, что вот сказали матери: «червонец без права переписки». Потом кто-то сообщил, что расстреляли в Иркутске, в районе «Малой разводной». Сказали, сообщили… Но документа никакого. А если выжил, освободился, узнал, что мать замужем, и объявляться не стал?.. Возможно? Всё возможно в чудесном нашем государстве…

Не всерьёз были эти размышления, но остановился взглядом на одном из сидящих рядом, на лице одного из них, и сказал себе, что этот вот мог бы быть моим отцом. Просто так сказал, без всякого умысла и, похоже, тут же забыл о сказанном. Но на следующий день, столкнувшись с крепильщиками у проходной, первым делом взглянул на того, избранного, и он мне ещё больше понравился. Спокойный, сильный, добрый, немногословный и сдержанный в эмоциях, он вдруг странным образом выделился в моём восприятии среди остальных, и остальные как бы в некий фон превратились для него, в микросреду его пребывания. Лица остальных потускнели и утратили различия, и вообразилось уже, что этот — МОЙ — среди них лучший и главный и все относятся к нему иначе, чем друг к другу…

Мать говорила, что унаследовал я отцовскую походку. Когда шли от проходной до платформы, наблюдал и сравнивал. Он по-зэковски придерживал руки у бёдер, я же изрядно помахивал. К тому же осваивал я в то время пролетарские повадки, к примеру этакую развалистость шага… Нет, походки у нас были разные, но вывод ничуть не огорчил меня, ведь не всерьёз же, а так, по капризу мысли затеял игру и волен менять правила по усмотрению. Но на следующий день, воткнувшись в компанию, которая по-прежнему не замечала меня, думал уже только о нём и принуждал себя сдерживаться в подглядках, чтобы не привлечь внимание, не спугнуть, ведь по статусу все они ссыльные, фактически всего лишь расконвоированные зэки, могут за «топтуна» принять и тогда уже близко не подпустят…

Я придумывал ему биографию. Редко, но случалось, что заменяли смертный приговор на «четвертак плюс пять ссылки плюс пять по рогам» (поражение в правах). Поступила, положим, разнарядка по ГУЛАГу на сто тысяч каторжников для использования в особых климатических условиях. ТОТ отец мой по профессии был краснодеревщиком, плотницкое дело освоить ему запросто. В разнарядке спецпримечание: такое-то количество плотников для крепёжных работ в шахтах и рудниках. Кинулось лагерное начальство туда-сюда, не набирается нужного количества. Под рукой смертник сидит в ожидании этапа в исполнительную зону, плотник по лагерной специальности. Вызывают, спрашивают: жить хочешь? Ещё бы! Тогда смотри, вот свидетельство врача пересыльной тюрьмы, умер ты, бедолага, на пересылке от сердечной недостаточности. Теперь ты не такой-то по фамилии, а совсем другой — и поедешь Заполярье осваивать, социалистической родине в том нужда большая. Готовься на этап и хвали ангела своего. Пошёл!

И он пошёл. Ещё бы не пойти! В этом месте, помнится, взглянул на него исподлобья и представил его лицо за минуту до сообщения, лицо фактически

покойника, и вдруг слова: живи! Не сразу дошло, привычно руки за спину и потопал впереди конвоира в камеру, два шага сделал через порог и с лязгом решёточной двери разом понял и осознал, что будет жить. Жить! По небритым щекам две крупные слезы, только две, вытер ладонью…

Ничего себе! Это я вытер две слезы со своих щёк! Во, доигрался! Точно помню, мне это понравилось. К тому времени я уже много знал о лагерных делах, и нетрудно было представить дальнейшее: высадили с парохода по весне, пригнали в пустынное место где-нибудь в районе Медвежьего ручья, объявили: хотите выжить — окапывайтесь! За месяц вырос городок землянок и бараков, и никакой тебе колючей проволоки, бежать некуда, потому что даже не «пятьсот километров тайги», а тысяча километров тундры, где и дикие звери не бродят просто так, но жмутся друг к другу…

Опять же не припомнить, с какого момента я начал скучать или, точнее, тосковать по этому человеку. Хотелось видеть его чаще, но только видеть, а не общаться, словно общение было запрещено, а нарушение запрета грозило бедами.

…Освобождался однажды вчистую земляк, и попросил его отец наведаться к жене и, не объявляясь, присмотреть, как она там, мужа похоронившая, живёт да радуется. Через пару месяцев получил письмо, что устроилась законная неплохо, мужик при ней надёжный, оба они при учительском деле состоят, а сын отчима родным почитает и любит, и все довольны и счастливы, и лучше ему, проклятому, не объявляться и не портить жизнь нормальному семейству.

Тут припомнил я, что действительно где-то в пятьдесят третьем приобрёл отец (отчим) для школьных нужд лошадь, а в конюхи напросился к нему мужик со стальными зубами и отмороженными ушами. Был этот мужик хмур и неразговорчив, участковый то и дело навещал его и отца расспрашивал, не бузит ли конюх и овсом не приторговывает ли. Помню, приглядывался он ко мне, покататься на лошади предлагал, кажется, даже про жизнь расспрашивал, а я хвастался, как мне с родителями повезло, и всё норовил про зубы его сверкающие разузнать да про уши изуродованные: где это такие морозы случаются, что уши отваливаются? Вот ведь в голову не могло прийти, что был сей смурной мужик посланцем с того света от родного отца, вычеркнутого из живых всеми, знавшими его.

Как-то помогал я откатчику «разбурить кубовую» — нормальным языком говоря, поставить на рельсы сошедшую с них кубовую вагонетку. Дело было обычное, но понебрежничал и поставил в руках провернувшееся колесо себе на указательный палец, который, как говорится, лопнул по швам. После относительного залечения травмы мой начальник участка, бывший «горнадзоровец», на свой страх и риск перевёл меня временно на должность кровлеоборщика, на которую права я не имел по причине малого стажа работы на данном руднике. Дело это было несложное, но ответственное. В мою обязанность входила оборка кровли только что взорванного забоя. Забой в шахте все знают по фильмам. Это тупиковая часть штрека, где шахтёры отбойными молотками скалывают уголь. В руднике забой — это пещера в скале. Грудь забоя — тупик. Бурильщики пробуривают в скале (в груди забоя), говоря попросту, глубокие

дырки, туда закладываются патроны взрывчатки, соединяются между собой «магистралью» — проводами, которые подсоединены к клеммам «адской машинки». Взрыв — и пред вами очередная порция руды. Но случается так, что в потолковой части взорванного штрека зависают куски руды, камни, которые могут свалиться на голову тому, кто будет работать в забое. Вот я и должен был обеспечить безопасность кровли на этих участках работы. Мне выдали длинный металлический шест для выковыривания камней в потолках рабочих штреков. Бурильщики и крепильщики лишь после меня имели право заходить в штрек, и от скорости моей работы зависел их заработок. Наш участковый взрывник Саша Метляев, бывший зэк с жутким стажем, освобождённый, но не отпущенный на материк по причине дефицитности профессии, подучил меня ускорению процесса оборки кровли. Он давал мне патрон скального аммонита, и в случае если зависший камень не выковыривался из потолка, я отрезал от патрона небольшой кусок, закладывал его в щель, вставляя детонатор, а «магистраль» от детонатора подсоединял к клеммам своего аккумулятора. Чаще всего для нужного эффекта вообще хватало одного детонатора. Взрыв — вместо камня только выбоина в потолке. Дело это было строжайше запрещённое, взрывник, не сдавший остаток взрывчатки на склад, а тем более передавший её кому-то, мог получить приличный срок… Но добрая половина всего, что свершалось в руднике, грозила сроком, хотя бы то же курение, от которого ни один курящий не отказывался, так что я даже и не особенно скрывал свою причастность к взрывным шалостям в штреках.

Однажды проходчики вспомогательного штрека наткнулись на графитовую жилу. Графит — порода хрупкая и потому подлежавшая обязательному креплению. По чьей-то несогласованности я получил разнарядку обработать этот штрек и, прибыв на место, растерялся. Стоило только сунуть мой крюк в трещину, вываливался целый пласт графита и открывал под собой другие трещины, и не было тому конца… Вдруг увидел у входа в штрек фонари, какие-то люди шли сюда же, я двинулся им навстречу и за пару метров узнал моих литовцев-крепильщиков. Первым шёл «отец». На отличном русском он спросил, чего я тут делаю, и когда я объяснил, они обменялись горготанием, покачали головами, и он же сказал, что нарядчик, видимо, совсем больной, если придумал такое, что они сейчас осмотрят участок, потом пойдут за материалами, установят крепления, а я могу топать отсюда. Два других моих объекта ещё пару часов могли числиться в загазованных, и я изъявил желание помочь крепильщикам. Меня, по крайней мере, не прогнали, и это было уже что-то…

Осмотр продлился недолго. Исключительно по жестам я понял, что принято решение сплошной крепёжки не делать, а установить три бревенчатых переплёта и перекрыть потолок толстой доской. Нужно было притащить девять брёвен. На бревно по два человека. Я, как шестой, оказался очень даже к месту, осмелел и сам предложил себя в пару «отцу». Материал находился в другом штреке, и, чтобы попасть туда, нужно было дать крюк метров четыреста. Брёвна решили протащить по сбойке, соединяющей оба штрека. Двадцать метров по сбойке и тридцать до груди забоя — пятьдесят вместо четырёхсот. Сбойка была не рас-

чищена от породы, и только на четвереньках мы пробрались в соседний штрек. Зато обратно ползли на животах по кускам руды, завалив бревно на спины. Всего-то двадцать метров, а запомнились как двести. Плохо ошкуренное бревно то скатывалось с плеча, то заваливалось на голову, царапая уши и шею, да и тяжесть… Он, «отец» мой, привыкший и закалённый — ему хоть бы что, но всякий раз, когда я терял «контакт с бревном», он, ползущий впереди, не дёргался и не бранился, не оборачивался даже, но терпеливо дожидался, пока я справлюсь с ситуацией, и лишь после моего толчка продолжал движение. Мы ползли первыми, и я, в сущности, притормаживал всех, — но когда наконец вылезли из сбойки, никто слова не проронил в укор, за что всем им я был благодарен сверх меры. На второй ходке он предложил мне ползти первым, и я подумал, что испытывает, но оказалось, что первым-то как раз легче, потому что развал руды в сбойке образовывал невидимый глазу подъём, и большая часть тяжести выпадала ползущему вторым. На третий раз я в кровь расцарапал шею сучком, и, пока остальные литовцы ходили за инструментами, «отец» обработал царапину йодом и приклеил пластырь. Позже, в лагерях уже, не раз убеждался я в исключительной практичности литовцев, восхищался умной организованностью поведения и выдержкой, сам, однако, ни одним из этих качеств не обладал, и если завидовал, то, как говорится, беспредметно…

Когда чистым (это в руднике!) платком он вытирал кровь на моей щеке, я думал о том, что ему и в голову не придёт мысль о родстве крови… Пытался представить, как бы он повёл себя, когда б открыл ему свои фантазии…

Беру, положим, его за руку, говорю фразу из трёх слов — и никаких объятий, сидим друг против друга и молчим… Знать, перефантазировал, взволновался. Он понял иначе, спросил: «Больно?» «Щекотно», — ответил я и приказал себе протрезветь. Немедленно протрезветь! Сухо поблагодарил его и ушёл.

Не меньше часа мотался я по штрекам, пока разыскал начальника участка Сергея Боброва. На просьбу перевести меня в ночную смену он отреагировал весьма злобно. В Заполярье в зимние месяцы что день, что ночь — без разницы. Ночь круглые сутки. Но за ночные смены доплата, оттого зимой многие заинтересованы получить доплату и рвутся в ночную, а с мая — потому что заполярное солнце и заполярное тепло — это чудо Божье, когда огромный красный шар бродит по горизонту, не способный ни оторваться и вознестись над землёй, ни занырнуть за черту горизонта, но только светит и светит… И греет! С Бобровым у меня сложились странные взаимоотношения. Он меня вроде бы опекал. Для него, бывшего «госнадзоровца», инженера-надзирателя над рабочими-зэками, знавшего истории таких судеб, что дух захватывает, ему моя судьба комсомольца-отщепенца чем-то была крайне любопытна, и суть этого любопытства так и осталась невыясненной, когда отказался он при моём увольнении дать обыкновенную рабочую характеристику для предъявления в пединститут, куда я к тому времени нацелился. Я, помнится, сказал, что он обязан, что такое правило… Он улыбнулся хитро и ответил, что, если я буду настаивать, он напишет отрицательную, потому что видит меня насквозь — рано или поздно я по-настоящему влипну, и тогда его подпись под фактически рекомендацией

в вуз может поломать планы его дальнейшего жизнеустройства. Откровенность, с которой всё это было высказано, шокировала меня, а пророчество испортило настроение, но пуще того было замешательство душевное: ведь воистину опекал меня, не одну смену провёл со мной под землёй, таская по горизонтам, объясняя специфику рудничного дела, критикуя порядки и традиции, в те же кровлеоборщики перевёл, зная мою страсть болтаться по выработкам, к тому же и оплата некоторого риска в этой специализации была весьма весома. Но всё это было позже. А тогда моя просьба о переводе в ночную смену отчего-то разозлила его, и всю дорогу от руддвора до инстументалки он шёл молча, а я семенил за ним, удивлённый его реакцией… Добился, получил перевод на три подэтажа ниже «нулевой отметки». Теперь встреча с литовцами — только если случайность.

Меж тем игра, в которую я заигрался, распространялась лишь на время моего пребывания под землёй, а за пределами штреков и штолен я вёл достаточно энергичную жизнь: руководил самодеятельностью в нашем поселковом клубе, осваивал богатства уникальной букинистической библиотеки на Нулевом пикете, формировал, а после и возглавлял нелегальный кружок по «критическому изучению наследия Карла Маркса». У меня, наконец, была славная, милая девчушка, более всего любившая в жизни слушать гимн Советского Союза и кушать конфеты «Лето». Чуть позже я вступил в так называемый особый отряд по охране города, куда меня, изгнанного из комсомола, приняли исключительно благодаря рекомендации того же Сергея Боброва. Сам он только что вышел из состава штаба организации по причине изменения семейного положения. «Женатиков» там не держали, если у них были или намечались дети, которые запросто могли остаться сиротами. Нам выдавали чёрнокнижные удостоверения с девизом «ССС» — «Сплочённость, смелость, сила!». Задач перед нами стояло много, но чаще всего приходилось пресекать поножовщину в рабочих общежитиях, разбросанных по всем прилегающим к городу территориям. Разнимали, обезоруживали, растаскивали по комнатам, протрезвляли водой или снегом, шибко буйных привязывали к батареям отопления и лишь в случае смертельных исходов вызывали милицию. Именно от этой организации получил я после отказа Боброва отличную рекомендацию в институт. Удостоверение хранил долго, пропало оно при аресте в 67-м…

Так было «на земле». Но стоило спуститься на несколько ступенек в гардеробную, стоило только надеть спецовку, водрузить на пояс аккумулятор с самоспасателем, напялить каску с фонарём и шагнуть за проходную — начиналась другая жизнь, ничуть не менее интересная и захватывающая…

Но вот шагнул… и пусто… Электричка, как всегда, полнёхонька — и пусто… В инструменталке не протолкнуться, я глазами шарюсь, с кем-то машинально здороваюсь, нарядчик суёт мне листок с разнарядкой на штрека, расписываюсь не там, где нужно, нарядчик ворчит и косится на меня подозрительно: не под этим ли делом… В ночные смены «под этим делом» иногда до половины состава, потом травмы и аварии, комиссии и суды…

А у меня ощущение, что струсил и предал кого-то, что взялся за дело и не довёл до конца, что имел возможность кому-то доставить радость, но не захотел

напрягаться, иначе говоря — пакость и тоска на душе. Говорю себе вразумительно: глупости всё это, ТОТ отец мой уже почти два десятка лет в сырой земле иркутской, а другому, ЭТОМУ отцу неделю назад отправлял поздравительную новогоднюю телеграмму и от него получил, и за глаза оскорбляю я его дурацкой своей игрой, потому что безответственно отколол от своего сыновнего чувства некоторую часть и отдал объекту неумной фантазии, и если б хотя бы отдал, если б он, ТОТ, получил бы и пошло бы ему на пользу, тогда хоть какой-то смысл имелся бы… Говорю себе это и многое другое, а перед глазами ЕГО лицо, почти родное, родное — и всё тут, и иначе представить его не могу, как только вечно знакомым и вечно родным. В штреке уже один и потому говорю громко и вызывающе: «Чужой! Он чужой!» Уши слышат голос, и мозг понимает слова, но вот оно, доказательство присутствия в теле чего-то, от ума не зависящего, — оно, это «что-то», душа конечно, она уперлась упрямо, и не подчиняется, и подшёптывает исподволь: а вдруг?! Я рычу: глупость, сам придумал! А она: а вдруг?! Вот было бы здорово!

К счастью (или к несчастью?), я не мистик. Никогда не слышались мне «голоса» и не посещали видения или знамения. Великих предчувствий тоже не испытал и пророчествами не соблазнялся. Жизнь подтвердила, что заурядней-ший я реалист. Оттого, может быть, удалось мне сначала обуздать фантазию, а затем попросту придушить её. И на том закончился бы рассказ про ТОГО отца. Но был финал, было ещё нечто, что и по сей день сознательно увязываю с легкомысленной фантазией, во власти которой пребывал несколько месяцев.

За неделю до отлёта из Норильска, когда отправлял телеграмму родителям о скором прибытии, встретил на почте одного из тех пятерых литовцев-крепильщиков. Рискнул поздороваться и был очень рад, что он узнал меня. Вышли вместе. Несколько обычных фраз… Рискнул и спросил, как там дела у… К тому времени я уже знал фамилию. Длинная и трудновыговариваемая. Собеседник мой неожиданно оживился и сказал, что с ним всё отлично, просто отлично! Почти чудо. Состоял он, оказывается, несколько лет на силикозном учёте, врачи советовали уйти из рудника, профилактические меры назначали, но он, ТОТ, пренебрегал, из рудника не ушёл, словно верил в чудо. И оно произошло. Весной проходил обследование, все врачи сбежались. Лёгкие чисты, как будто ничего не было. И если другого такого случая никто не помнит, разве это не чудо? Я согласился, что чудо, но не сказал, а только подумал, что чудо это совпало по времени с игрой моей дурацкой, и если чудо вообще существует, то, возможно, не столь дурацкой была моя игра…

Без малого полвека прошло со времени моего краткосрочного пребывания в Норильске, но чуть ли не каждым днём памятен тот, 1958-й, и люди, и лица, и разговоры-споры… И рудник — кажется, и сейчас бы прошёл, не заблудившись, от руддвора по подэтажам через так называемые ходовые-восстающие к своему месту работы… Чего там, Норильск — моё первое подлинно учебно-воспитательное заведение.

Только позже, в лагерях и тюрьмах, имел я столь же поучительное общение с людьми, только там ещё сталкивался я с такими судьбами, каковые не всегда

возможно литературно «отобразить-изобразить», потому что не поверят, скажут, что придумал, насочинял — нетипично, дескать…

Со школы ещё вёл дневник. По норильским его страницам восстановил несколько лет назад отдельные эпизоды, опубликовал их в журнале «Москва». Теперь же, хотя и опасаюсь «перегрузить» норильской темой повествование, всё же рискну рассказать ещё об одном человеке, в памяти запечатлённом, как на фотографии, что будто бы прямо передо мной. (…)

Дневного Норильска почти не помню. Ночь да ночь! И всего три места пребывания — общежитие, рудник, клуб.

Главный в клубе — киномеханик. Официально. Неофициально — наша небольшая компания, обеспечивающая молодёжь рудничного посёлка, как нынче принято говорить, развлекательными программами. Киномеханик доволен, и его довольством мы откровенно злоупотребляем.

Так сложился небольшой кружок, четыре-пять человек. Цель — проверить товарища Карла Маркса, так ли уж прав сей бородач, положим, относительно классовой борьбы, прибавочной стоимости, преимущества государственного капитализма и, главное, исторического гегемонизма пролетариата. Реального гегемонизма, а не теоретически относительного.

Чего там! Без улыбки не вспоминается. Хотя бы то усердие, с каковым конспектировали страницы «Капитала», как вгрызались в терминологию, как злорадствовали, наткнувшись якобы на противоречие, как пытались на минимуме информации по марксовской схеме просчитать прибавочную стоимость эксплуатации норильских шахт и рудников.

Притом мы по-прежнему оставались «комсомольцами» и советскими по духу, ибо главной нашей заботой было «исправление социализма», и когда б такой путь существовал — я же помню! — жизнь положили бы на то без сожаления в соответствии социальному накалу наших душ; он, сей «накал», ейбогу, был первичен по отношению ко всему прочему, чем ещё жили души наши. Девушки-девчата, гитары и заполярный самогон, драки с «чужими» — ничто не прошло мимо… Но вторично!

Любящие девушки уважительно считали нас «идейными», равнодушные считали «чокнутыми на политике». И те и другие были по-своему правы. Много позднее я придумал-сочинил объяснение тому странному явлению «выпадания» таких, как мы, из общего тонуса нашего поколения, которому уже и тогда всё было «до лампочки». Суть придумки в том, что известны, к примеру, люди с повышенной болевой чувствительностью. Ненормальность. В некотором смысле — уродство. Но попадаются и люди с повышенной социальной чувствительностью — это такие, как я. Из таких формируется разная революционная сволочь, готовая не только сама сгореть в костре политических страстей, но и подпалить всё вокруг себя, поскольку утробный девиз худших из таких натур: всё или ничего!

Когда же обнаруживается бессилие или выявляется бесплодие усилий, тогда, возможно, и рождаются строки, подобные таким вот: «Как сладостно Отчизну ненавидеть!»

Очень даже может быть, что я не прав, когда на лицах некоторых наших нынешних телечебурашек прочитываю это — почти зоологическое — отвращение к стране пребывания. Кто-то из таковых искренен в своих чувствах, кто-то попросту куплен для исполнения роли… Да и активные политики некоторые, причём разного окраса, — так на их рожах и написано: «Либо всё будет по-нашему, либо…»

Но то уже проблемы дней смуты теперешней.

А без малого полвека тому назад… Подумать только! Почти полвека прошло! Но тогда, в конце пятидесятых, мы, девятнадцатилетние, добросовестно, хотя и исключительно на уровне интуиции пытались формировать в себе, как нынче принято говорить, исключительно конструктивное отношение к Родине, поскольку были едины, то есть даже не подозревали о возможности рефлектирования на предмет «Я и Родина». Всё вокруг было наше, как в доме всё моё, и если в доме неуютно, то кому ж, как не мне, озаботиться да подсуетиться? (…)

На историю оглядываешься, прошлые беды видишь понятными. В будущее вглядываешься — робеешь…

А вот сорок лет назад я себя помню оптимистом. И не только молодость тому причина. Их, как ни странно, много было тогда — причин для оптимизма, главная из которых сегодня способна вызвать лишь недоумение: мы не верили в возможность принципиально бездуховного бытия в русском исполнении.

И потому казалось, что достаточно только своевременно поменять полюса. Процесс «смены полюсов» виделся как естественный процесс внутри общества, а вовсе не как итог инициативы некоего активного меньшинства, внедряющего или, хуже того, навязывающего обществу иные духовные ориентиры.

Возвращаясь к шестидесятым, следует сказать, что эти годы действительно имели своих «шестидесятников», но не тех, кто нынче, что ни день, объявляют себя таковыми. От настоящих «шестидесятников» практически ничего не осталось. Даже памяти о них. Её узурпировали те самые фрондировавшие «официалы», которые и нынче обустроены лучше прочих, и тогда не бедствовали во всех отношениях. Рассказы об их страданиях, о гонениях и преследованиях… слышать не могу, до того противно.

Но именно в те годы росли как грибы или как грибковая плесень в затхлом колодце общественного двоемыслия и кривостояния подпольные группки, группы и организации, члены и участники которых, не увидев в социалистической практике соответствия существующего должному или обещанно-завещанному, сделав торопливые выводы на сей предмет, немедля приступали к агитации в пользу своих скоропалительных мнений, либо, замкнувшись группой-кланом, углублялись в дебри марксистской софистики, отыскивая «главные ошибки», допущенные советскими вождями и теоретиками в реализации «вековой мечты человечества». (…)

В целом, однако же, я вовсе не претендую на сколько-нибудь подробный обзор и анализ инакомыслия времён шестидесятых. Моё «болтание» по Питеру было краткосрочным. Уже в ноябре 1968 года я работал директором сельской

школы в Лужском районе, а ещё с октября членствовал в организации Игоря Вячеславовича Огурцова, и питерские «идеологичские шорохи» в сравнении с программой организации, в которую я вступил, виделись не более чем баловством интеллектуалов, утративших осторожность с периода так называемой оттепели.

О состоянии умов в Москве, где к тому времени уже вполне сформировалось явление, позже названное диссидентством, информации у меня вообще не было. О «деле писателей» узнали одновременно с получением некоторых их публикаций на Западе. Особого впечатления они не произвели. Осуждение их восприняли как наказание за нарушение «правил игры» — несанкционированное выступление в западной прессе, да ещё и под псевдонимами.

А вот кампанию в защиту их, Ю. Даниэля и А. Синявского, попросту просмотрели, увлечённые собственными делами. Событие же это стоило того, чтобы к нему присмотреться, поскольку именно оно послужило толчком и поводом к консолидации некоторой части московской интеллигенции, уже тогда (пока ещё, правда, на уровне интуиции) ориентированной на «западные ценности». Сегодня эта «ориентация» научно обоснована, финансово обеспечена и политически выстроена таким образом, что кто бы во главе государства ни оказался, он автоматически становится заложником до него сложившейся расстановки сил. Это как если бы кто-то включился в шахматную партию, когда до него уже избран и разыгран дебют.

Но речь пока о годах шестидесятых, когда по причине фактической смены формы (только формы) власти, условно скажем, с авторитарной (сталинизм) на тоталитарную, интеллигенция получила кратковременную паузу на полусвободный вдох-выдох. То, что она успела выдохнуть, опасности для власти не представляло, но лишь при том условии, если бы она, власть, сама имела «творческий» потенциал к самосохранению. Такового не оказалось, постепенно властные структуры превратились в соучастников процесса распада, а затем, перехватив инициативу, возглавили его. Но только на последнем этапе! И это существенно. (…)

Только что партия коммунистов торжественно провозгласила: «Нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме!» — и неважно, что никто, решительно никто не верил в провозглашенное. Важно другое: то самое «нынешнее поколение людей» освоило способ жизни без веры во что-либо «торжественно провозглашаемое». Такое освоение свершалось на уровне элементарного инстинкта выживания. Оно же, выживание, диктовало (опять же на уровне инстинкта) искреннее отталкивание от всякого формулирования этого самого всеобщего неверия.

Свершилось! На одной шестой части суши сформировался «новый советский человек» — будущий могильщик коммунистического режима.

Тщетно А.И. Солженицын призывал жить не по лжи. Поздно. Люди научились жить по «невере». Причём все — от колхозника до члена Политбюро. Именно по «невере», а не по лжи, что, как оказалось, вовсе не одно и то же. (…)

Зато на элитных тусовках мы постоянно видим ещё один тип, в вышеперечисленные не попавший. В те давние времена я называл их «проказниками».

Сегодня они охотно, часто с азартом делятся с телезрителем или читателем подробностями своего непременно утончённого фрондёрства: как хитроумно боролись с церберами-цензорами и часто побеждали последних; сколь стратегически выверенными бывали их действия и поступки по реализации своих недюжинных способностей в разных областях культуры, строжайше контролируемой; как умело находили покровителей в самых «заоблачных властных высях» исключительно по причине бесспорности своих талантов…

Таланты многих из них я признавал, признаю и теперь, но тип этих людей мне, мягко говоря, неприятен. Они и внешне мне чаще всего неприятны, словно на лицах их некая особая печать. Нет, не Каинова и не Иудина. Сказал бы нечто сальеристское, каким запомнился Сальери в исполнении Смоктуновского, но при некотором моём личном довоображении: допустим, Сальери и в уме не имел кого-либо травить, но слушок был — дескать, чего ради у аптеки толкался, старикан ты этакий? Сальери (Смоктуновский) щурится хитро и многозначительно: «У аптеки, говорите? Право же, не припомню… Но не исключено, весьма даже не исключено!»

«Проказники», как уже говорил, страсть как любят ныне повествовать о своих шалостях. Но ни разу не слышал и не читал (если ошибаюсь, пусть меня поправят), чтобы хоть кто-нибудь из таковых поведал, чем обычно заканчивались их шалости. А заканчивались они всегда одинаково «собеседованием», после которого вчерашний «проказник» писал откровенно заказной роман… или поэму, или статью, или холст, или пьесу, или на время вообще «умолкал в тряпочку». О последнем варианте нынче повествуется с особо трагическими интонациями. Противно.

Этому, мне необъективно противному, типу советских интеллектуалов я уделил столько места, отчасти чтобы желчь излить — вредная, говорят, для организма вещь.

Отчасти же потому, что именно эта часть советской интеллигенции морально санкционировала самые дурные, самые злопоследственные события последнего десятилетия ушедшего века.

Сегодня они в активной обороне. Обороняют завоеванные позиции. За их спиной «всё прогрессивное человечество», потому что это и его позиции тоже…

Но возвращаясь к предложенной, разумеется, весьма условной классификации людей, в силу обстоятельств «выпавших» из пространства советского бытия, напомню о третьей категории — категории «борцов», коим, как уже сказано, присущи были и смелость, и честолюбие, и соответствующие способности наконец.

С ними просто: уехали, погибли, поумирали. Как это ни парадоксально прозвучит, но те, кого именуют борцами, менее всего причастны к реальным событиям, потрясшим страну и государство. (…)

А диссидентство при этом во всех его ипостасях увидится безнадёжным аутсайдером самого процесса разрушения государства, каковой советские «верхи» инициировали, а советские «низы» «отбезмолвствовали» ровно столько времени, сколько понадобилось, чтобы процесс стал необратимым.

Так что общенародное «неприсутствие» девяносто первого года и московский народный гнев девяносто третьего — фактически события разных эпох.

Однако можно без труда заметить, что во всех этих рассуждениях как бы незримо присутствует некая условно-сослагательная интонация. «Когда б народ… да кабы власть…» А на первичном уровне понимания происшедшего весьма популярно суждение о том, что вот, мол, «крыша поехала», верхи скурвились и развалили великое государство.

Но если «крыша едет», значит, либо фундамент сгнил или просел, либо стропила прогнили. Иначе: подвижка крыши — это уже финал, очевидность со скоро зримыми последствиями.

Ну а где ЦРУ с его планами тотального расчленения Советского Союза? А агенты влияния — с ними как?

Где ЦРУ? Известно где — в Америке. С агентами влияния действительно не всё столь просто. Но одно известно точно: в диссидентах агенты влияния не числились. А часто и совсем наоборот… (…)

В результате всей этой по сути мелочной, но по форме тотальной интриги «власть осуществлявших» громадный слой российской интеллигенции, непосредственно не повязанный с властью, на момент перестройки оказался катастрофически дезориентирован относительно реального состояния государственной системы, а социальную инициативу перехватили циники, романтики Запада и просто прохвосты. Между ними тотчас же начались разборки, не закончившиеся и поныне. Народ называл это политикой и стремительно превращался в население.

Но всё же не превратился, и о том особый разговор.

«Москва», 2003 г., № 7

Тойво Ряннель

Мой чёрный ангел

(отрывок из книги)[1]

На сибирской земле (1931 год)

Сибирских городов я не видел, не выпускали из вагона, но их названия у меня отложились в памяти как места, где давали суп. Сибирские реки я знал по карте, которая висела в классной комнате дома Пентикайнена, где я отсиживал свой второй класс, а заодно и слушал уроки по географии четвёртого класса.

[1] *Ряннель Т. В. Мой чёрный ангел: воспоминания или рассказы о себе, о треклятых тридцатых, роковых сороковых. Красноярск: Платина, 1996.*



Тойво Васильевич Ряннель

Я также знал, что Сибирь — бесконечная земля, наполовину занесённая снегом, где степи чередуются с болотами и камышовыми озерами, и только по южному краю, ближе к Индии и Китаю, стоят синие горы. А теперь я ехал в Сибирь. Ехал не сам — меня увозили туда. И когда после долгих однообразных дней пути по бесснежным белёсым просторам, далеко за Новониколаевском и станцией Тайга я впервые увидел приземистые длиннохвойные деревья с могучей зелёной кроной, я ожил. Подолгу занимал место у решётки окна, ожидая чего-то удивительного и радостного. Видно, наш поезд утомился, сбавил ход, чтобы показать мне тёмные лесные дали за расступавшимися берёзовыми колками. Состав огибал лесистые холмы, иногда выгибая такие змейки, что мы видели весь наш бесконечный поезд — задымлённый, напичканный притаившимися печалями и ожиданием хоть немного сочувствия и утешения. Слева по ходу поезда над лесистыми впадинами и взгорьями показалась белая одинокая часовня: она парила в небе над утренним миром, плавно удаляясь к дымящейся голове поезда, потом медленно летела назад, светясь над хвостовыми вагонами, словно играла с высотой и лёгкими рассыпанными облаками. Казалось, ускоривший свой бег поезд собирается обойти, перехватить и заключить в плен это белое привидение с зелёной остроконечной крышей, с золотым шаром и крестиком над ней. Мне не хотелось, чтобы это произошло, и я втайне торжествовал: не перехватить поезду эту летящую в небе часовню, она останется на свободе.

Поезд тихо остановился и долго выжидательно стоял на станции со смешным названием — Бугач. Белая башня на высокой горе тоже остановилась, словно ожидая продолжения наивной игры в догоняшки с поездом. После этой станции стали попадаться заборы и разные хозяйственные строения — склады и сараи с горами бочек и мешков под брезентом. Справа на пригорке сгрудились жилые дома, прямо верхом друг на друге — серые и зелёные, с белыми и голубыми закрылками возле окон, с гирляндами цветного белья на заборах, с весёлыми дымами над треугольными крышами. Проплыли мимо окон чёрно-кирпичные строения цехов, длинное одноэтажное здание вокзала с башней для часов, высокие склады, вереницы пустых вагонов — и после лязгания на стрелках, как бы отыскав свободный запасной путь, наш поезд остановился далеко от вокзала в неуютной среде плоских крыш и покосившихся столбов.

Часовня вдалеке вознеслась над городом. Загрохотали двери, хлынул свет и вместе с ним — резкая команда:

— Внимание, станция Красноярск! Мужчинам всем выйти для построения у вагона по два человека. Часы и деньги с собой не брать. Женщины и дети остаются в вагоне. Мыло и мочалки можно взять.

Мы, кроме маленького Вяйне, вслед за отцом кинулись к выходу. Поспрыгивали на каменистую, пахнущую мазутом землю — и двинулись серой нестройной вереницей куда-то в сторону синих гор, которые встали высокой стеной за громадой горбатых ферм моста через Енисей. Река угадывалась где-то внизу. Нашу бледнолицую обросшую вереницу остановили и усадили у длинного забора. В заборе была захватанная калитка, за которую нас и стали загонять небольшими группами, человек по двадцать в каждой. Это был санитарный конвейер. Пока наше бельё прожаривалось в какой-то сернистой среде, мы успели вымыться и немного обсохнуть у окна дезинфекционной камеры. Мне эта очередь и вся эта процедура очень запомнились: я уловил неписаный и странный порядок поведения вещей — в данном случае одежды. Лучшие рубашки и свитеры так и хотели затеряться, отбиться от своих владельцев. Тонкое шерстяное бельё отца вообще не пожелало показаться, и пришлось волосатому рыжему санитару в клеёнчатом переднике кинуть отцу вместо его собственного белья какие-то застиранные замарашки.

Отец оценил обстановку и вместе с чужим бельём вытянул из окна забившегося, как налим, светлоглазого мужика, который норовил вниз головой нырнуть в угол, закрывая локтями лицо. Как отец ни защищал перепуганного вора, кто-то его зацепил, как говорится, открытой перчаткой, да так, что у меня спина онемела от страха. Я обнял меньшого брата Суло, пытаясь ладошкой прикрыть ему глаза, но второго удара не последовало. Кто-то из одновагонников запрыгнул в люк окна и тут же нашёл «случайно» упавшие в корзину недостающие вещи. Отец трясущимися руками помогал нам одеться. Мужику в переднике помогли забраться на рабочее место. Пока шли обратно к вагонам, я оглядывался на горы, пытаясь рассмотреть, кто это большой, каменный сидит на вершине горы, похожий на нашего великана Пейкко из ледяной пещеры Лапландии?.. Маму мы отпустили в колонну женщин. Оказалось, конвоир разрешил женщинам сходить за кипятком. Вяйне мы решили искупать сами и аккуратно перевязали ему голову. А он просил:

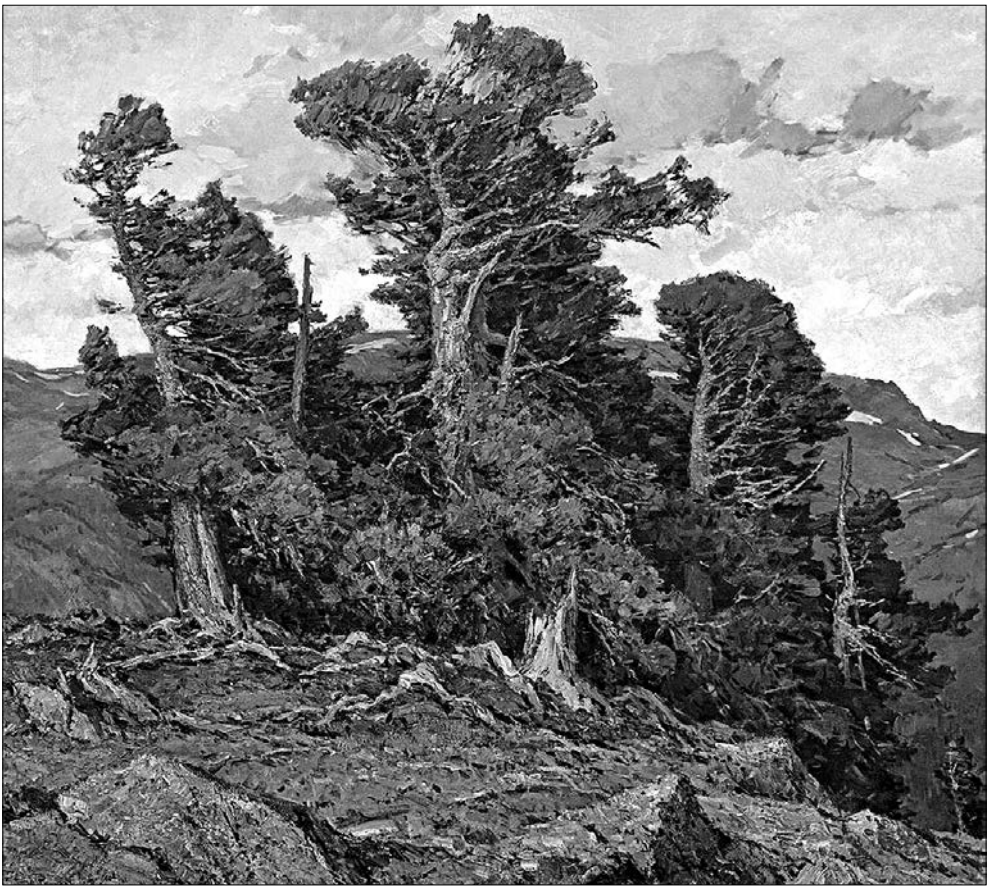
— Не вяжи ушко, — да так жалобно, что сердце сжималось от тоски. Ночевали в притихших вагонах. Помню точно, что Енисей мы проезжали при ярком свете дня. Хорошо были видны острова на реке и на высоком левом берегу серебристо-серый деревянный город с голубыми и золотыми куполами церквей, а над ними пологий треугольник красноватой горы со светящейся башенкой той самой часовни на вершине.

На станции Енисей наш поезд загнали на самый крайний путь с заржавленными рельсами и сухой травой между шпалами. Здесь неожиданно мы увидели новый конвой: на сухой земле, на насыпи сидели и стояли солдаты и гражданские парни с винтовками — было их много, цепочка длиною в поезд. Нас постро-

или повагоннно и погнали по пыльной дороге по направлению к белой часовне. Вещи первой необходимости и постели — на себе. Я иногда, шагов через двести, брал у мамы с рук маленького Вяйне и сажал его на плечи, но он быстро задыхался от пыли, и я его снова передавал маме, приняв от неё корзину с едой, ложками и питьём для маленького брата. Наша семья занимала в колонне свой ряд, и мы при необходимости поддерживали друг друга. Мне казалось, что колонна идёт очень быстро, в горле у меня пересохло так, что не получилось ответить на вопрос отца — смогу ли напоить Вяйне. Неожиданно упал как подкошенный брат Суло, плашмя в седую пыль. Я помог ему подняться, но идти он не мог. Сгрудились вокруг нас люди, наступая на пятки, подталкивая друг друга.

— Обходи слева, — кричал конвоир, — подтянись!

Он недовольно посматривал на нас. Мама опустила на дорогу Вяйне и помогла мне умыть и вытереть лицо Суло. Но прозрачные слёзы продолжали навёртываться на его глаза, смывая в грязные потёки набившуюся повсюду мелкую пыль. Мы пристроились в хвостовую часть не такой уже торопливой колыхающейся серой массы людей, подстраиваясь в шаг и скорость движения. Меня душили слёзы, перехватывало дыхание от вопросов. Почему он упал? Это



Тойво Ряннель. Сибирские кедры. 1959. Х., м.

плохой признак. Никак нельзя ему, Суло, падать на первых шагах пути в неизвестное, здесь, на чужой земле.

— Возьми Вяйне, руки совсем отваливаются. Суло, подай мне руку или сам держись за мой рукав, не падай под ноги отцу, видишь, ему и так тяжело.

Обсохли слёзы, но мной овладел страх за младших братьев — может, и не страх, а естественная жалость или непонятная ещё мне форма нежности. Я сам заметил, что становлюсь взрослым и смогу в любой момент заменить мать. Ведь не ей же вести их в кулачные бои и жестокие драки, которые возникали сами собой на переселенческих пунктах и в разноязычных барачных посёлках. Какой бы вечной ни казалась эта трудная дорога, но и она всё-таки кончилась. Мы прошли, протащились мимо серых приплюснутых подобий деревень, в которых редко шевелились колодезные журавли и где очень хотелось отбиться от колонны и пойти попить холодной воды. Но строй не выпускал никого из сложившегося ритма движения вперёд и вперёд. И наконец, на песчаных ярах берега Енисея показались новые бараки, светящиеся радостно на фоне белого заснеженного Енисея и бледно-голубого северного неба. Запах сосновой доски не был ещё забит запахом хлорной извести — видно, не успели этот переселенческий пункт привести к необходимому стандарту.

Впрочем, половина бараков была уже заселена. Пока мы втаскивали свои пожитки и занимали новые двухэтажные нары, за нами с интересом наблюдали из соседних бараков. Забавные там были люди, словно сошедшие с китайской чайной баночки, что стояла у бабушки на комоде. Многие мужики носили белые остроконечные шапочки, да и волосы были у них заплетены в косички — не сразу поймёшь, мужик или нет. Верхняя одежда, драная и грязная, — всё же выглядела очень красиво — цветные шёлковые халаты с объёмными золотыми пуговицами, длинные бусы, чаще из чёрного камня, украшенные жёлтым змеиным хвостиком. Всё в их одеянии напоминало о былом достоинстве вольных сынов степей, загнанных невесть откуда на эту енисейскую переселенку. На знакомство с нами пришла группа женщин и с ними мальчики в островерхих бараньих шапках, жилетках-безрукавках и белых холщовых штанах. Я такие штаны стеснялся надевать в свою ковбойскую пору, а эти, видно, привыкли и бегают в них, как дедушка Даниил в кальсонах, когда выпьет свыше полстакана водки. На огород бы в таких штанах и на чучело! Но странно, они совсем не стеснялись своей убогости. Со штанами ладно, могут износиться, можно и починить, но уши почему чёрные? А они как ни в чём не бывало заговаривают с нами на таком странном русском языке, словно нарочно коверкают слова. Я долго не мог понять, что они просят примерить мою вязаную бело-синюю лыжную шапку. Лохматый отрок напялил мою шапку и сделался совсем круглым и свекольным; надувая щёки, он так смешно скорчил своё лицо в сторону своей компании, что все со смеху покатились.

— Як баба! — тоненькая девочка сорвала с него шапку и вернула мне.

— Что она сказала? — спрашивали меня наши мальчики.

— Сказала, хорошая вещь, — ответил за меня Вильгельм Рыжий, — может, подаришь ей эту шапку?

— Виля, подари ты, я боюсь, серьёзно, боюсь.

И подарил Вильгельм мою шапку маленькой украинской девочке, к радости всех присутствующих. Мне и жаль было немного моей доброй шапки, но сердце наполнялось чем-то незнакомым и приятным — возможно, это был ещё малознакомый приступ великодушия.

Первые дни наш барачный посёлок охранялся солдатами, но потом их заменили, как мне показалось, пожарными. И винтовок настоящих они не имели, а только задрипанные дробовички, как у сельских сторожей. Охранялись в основном дорога и мост через речку Панюковку, по которому мы ходили за молоком в деревню. Совсем не охранялся берег Енисея, и мы свободно ходили через протоку, остров и главное русло по льду Енисея в город, который опоясывал серой змейкой береговые яры и сверкал куполами.

Покупали мы только конфеты. По улице с булыжной мостовой и тротуарами мы добирались от старого собора, окружённого деревянными домами с красивой деревянной резьбой, до центра города, где радовали глаз несколько хороших архитектурных ансамблей в стиле сибирского ампира. Наш добровольный экскурсовод — работник краеведческого музея, наверное, был великодушным человеком. Вильгельм подробно объяснил ему, что мы за птицы и как сюда залетели. А он принял нас как новых начинающих сибиряков и старался в наши любознательные головы заронить семена доброго, вечного. Понравился нам огромный собор, бросивший, казалось, вызов небу и красно-каменной, динамичного силуэта горе, увенчанной очень пропорциональной часовней. Нас было человек десять ленинградцев, в основном финнов, плохо понимающих по-русски.

Переводил всё тот же Вильгельм Рыжий, он не знал, какой он национальности, говорил одинаково хорошо на всех ленинградских языках, даже по-татарски, что оказалось очень важным здесь, в Сибири. Похожий на Дон Кихота работник музея готов был с нами заниматься весь день. Он даже говорил, что если нас оставят в Красноярске — милости просим в музей, где работают разные школьные кружки: юных историков, археологов, натуралистов, этнографов. По малому возрасту я тогда не мог оценить по достоинству дружелюбия и доброжелательности местного краеведа. Рассказывал и показывал он экспонаты музея очень интересно, многое из тех неожиданных экскурсий запомнилось навсегда. Например, как великий русский художник Василий Суриков ехал в Академию художеств на лошадях с рыбным обозом через всю Сибирь. Показал нам краевед и дом на Больше-Качинской улице, где родился художник. У кого-то из старших возникла идея посетить рынок. Была суббота, до первомайского праздника оставались несколько дней. Торговали с телег на прилежащих к рынку улицах. Казалось, все жители окрестных сёл приехали сюда с продуктами. Очень хотелось купить солёных грибов, солёный арбуз и ещё что-то очень съедобное. Была там рыба разных названий, но она вся, как мне казалось, дурно пахла. Спустя много лет я узнал, что был специальный посол «с душком», обожаемый не только людьми, но и медведями, которые, оказывается, любят не только мёд. После рынка мы посидели на крепостных пушках, выставленных на высоком цоколе краеведческого музея, стараясь рассмотреть не только наши белеющие

на том берегу бараки, но и загадочную деревню где-то возле горы Чёрная Сопка, о которой нам говорила женщина-продавец фиолетового картофеля. Она прислушалась к нашим разговорам и была уверена, что там живут люди, говорящие на таком же языке, как наш, то есть финском или эстонском.

Лёд на Енисее доживал последние дни. Утром, когда мы переходили матёрое русло, он был местами зелёного и голубого цвета, а местами почти чёрный, непрозрачный. А сейчас лёд словно приподнялся на цыпочки, с него куда-то вниз сбежала лишняя вода. Простор Енисея был белым. Мы торопились перейти на правый берег, где за Торгашино терялись горы в голубом мареве, где на глинисто-песчаном яру на месте старых археологических раскопов древних городищ стояли наши белые бараки переселенки. Весна 1931 года была тёплой и светлой. Величественный ледоход на Енисее принёс несколько холодных дней с ветром и белыми мухами, но они быстро сменились длинной вереницей кристально ясных дней с розовыми вечерами и холодными голубыми ночами. Мы, дети, привыкли к бесшабашной кочевой жизни и довольствовались тем, что день прошёл, а завтра — что Бог даст. Взрослых уводили на разные работы — на сортировку лесоматериалов на территорию четвёртого лесозавода, на судоремонтный завод перебирать и чистить железные листы или выдалбливать изо льда брёвна, которые уцелели в глубине затонов от напора сильного ледохода.

Ледоход должен решить и нашу дальнейшую судьбу. Освободятся ото льда реки, побегут катера, поплывут пароходы, потащатся караваны барж на Север — на строительство порта Игарки, рудников в норильской тундре. Понадобятся и рыбаки на Левинские пески и в бухту Омулевую. По слухам, мы «запроданы» Ленинградским ОГПУ «Главзолоту», но на строительство рудников, драг и силовых станций в ангарскую и северную тайгу можно попасть летом только по рекам — водой или в зимних условиях конным обозом. Какие-то семьи, возможно, останутся здесь, в Красноярске, на лесозаводах. Но пока ещё рабочие руки нужны здесь. Опять собрали группу, в основном молодых, велели взять с собой одеяла. Я решил проводить Хейкки до станции Енисей и, возможно, узнать более точно его место работы. «Бугор», который собирал эти бригады, охотно сообщил: совхоз «Собакино», куда ведут дорогу от Никольской слободы, на скальные работы. Жить парни будут в дачах золотопромышленников в районе бывшего женского монастыря. Я понял, что в случае необходимости мне нужно будет переехать на товарняке со станции Енисей на левый берег и после моста спрыгнуть в районе элеватора, а там — по береговой дороге вверх по Енисею до монастыря и совхоза «Собакино». Брат обещал при первой возможности послать письмо или записку с более точными данными и как добраться к нему при острой необходимости.

— Давай, лети! — он похлопал меня по плечу и украдкой снял со щеки неожиданную слезу. Я запрыгнул на тормозную площадку идущего на восток товарняка и проехал длинный перегон, километра в четыре, но напротив блокпоста товарняк не замедлил ход. А пока я раздумывал, как быть, поезд удалился на восток ещё на пару километров. Отыскав впереди бок песчаной насыпи, я спрыгнул — на ногах не устоял, но серьёзных ушибов избежал. Пришлось идти

через пустыри в сторону судоремонтного завода, пока не вышел на Московский тракт. Это название мне тогда ни о чём не говорило, но я всё-таки пытался сосчитать, за сколько дней-месяцев можно так вот, налегке дойти до Москвы, съедая в день по булке хлеба. Ни автомобиля, ни пешехода, только одна конная крестьянская подвода встретилась мне. Кроме пустых кадушек на телеге была ещё и очень старая женщина. Мужик-ямщик пытался меня о чём-то расспросить, но я ничего не понял. Слово «Ладейка», которое он повторял, мне тоже ничего не говорило. Я шёл в сторону нашего дощатого посёлка, и было обидно, что не мог объяснить, что я просто не знаю, что это за Ладейка и как туда проехать. Над южной окраиной города на Торгашинском хребте вздымается скалистая вершина Такмака. Эта скала, если смотреть на неё из разных мест города, имеет разные очертания, но с северо-восточного сектора она напоминает фигуру скорбящей матери с младенцем на коленях. Мама первая заметила это сходство, и пришлось мне пером и чернилами сделать рисунок Такмака, и мама послала сестре Лизе этот печальный символ нашего нового бытия.

Меня всегда наша мать удивляла своей участливостью. Нередко она высказывала вслух свои тревоги и печали о судьбах младших сестёр — моих добрых тёток. О судьбе сестры Анны она говорила едва сдерживая слёзы. Как в нашей семье, в семье тёти Анны было пятеро детей. Один старший мальчик, Виктор, был моего возраста, но учился почему-то плохо. Дом у них был крохотный и земли было меньше чем у нас, но муж тёти Анны Никита Михайлов не успевал обрабатывать её до такого состояния, чтобы земля кормила его беспомощный выводок. Когда людей сгоняли в колхоз — кого уговорами, кого насильно, — семью Михайлова не приняли на общем собрании: всего одна пара нерадивых рук на семь ртов. Годовой запас пшеницы и ржи отец им выделял — это я знал точно. Что они получали из общественного фонда — я не знал, но зато видел, что нужда была ежедневным гостем в семье Михайловых. Никита Михайлов был взят в семью деда Кольенена из детского дома. Всем простым мудростям сельских работ он был обучен, но как-то не прикипел к нашей каменистоболотистой земле с тёмными еловыми лесами. Не шло у него дело, хоть плачь! Теперь и моя добрая мама не может им ничем помочь, разве утешить только слабым моим рисунком — символом вселенского материнского горя. Ещё до первого мая, ещё до ледохода на Енисее, когда мы в первый раз оказались в центре города и спрашивали обо всём у доброго краеведа, я задавал вопрос о происхождении названия «Такмак». Оказывается, это был местный князь. А другие скалы, которые просматриваются на Торгашинском хребте, — это его окаменевшая от злых чар свита богатырей. Дело-то вроде было пустяковое — попросил князь Такмак у царя Енисея руку его младшей дочери красавицы Лалетины, но Енисей предложил жениху руку и сердце старшей дочери, сварливой и коварной Базаихи. Такмак отверг это предложение. Царь обиделся. Обида реализовалась колдовскими чарами — и смотрит каменный князь Такмак веки вечные на пробегающую внизу речку Базаиху. Вильгельм Рыжий уже не раз намекал, что надо бы подбить нашу маму испечь калачей да и рвануть на денёк в гости к Такмаку. Без калача не обойтись. Далековато. Небольшие экскурсии

мы уже совершали — на утиные озёра в камыши, откуда течёт река Панюковка, в Цветущий лог, где среди тайги встречались пустые поля и незаселённая пасека. О походе на Такмак пришлось советоваться с отцом.

— Никакого риска! Делать можете всё, но прежде хорошо подумайте, чем это может кончиться. Понятно?

Вильгельм пригласил двух сильных мальчиков — Эйно Туху и Армаса Карху принять участие в этой вылазке. Мы обещали вернуться до вечера, а восход солнца нас догнал на подходе к станции Енисей.

Невелик подъём через лиственничное редколесье к плоской вершине Дивангоры, но мы много раз оглянулись на оставшееся внизу. Не раз отдыхали стоя, пока за Диван-горой не открылась величественная панорама Куйсумского нагорья. Кроме Такмака виднелись другие не менее причудливые скальные вершины, названий которых мы ещё не знали. От этой сказочной страны нас отделяла внизу небольшая река — та самая сварливая Базаиха, которую приговорён вечно сторожить Такмак. К Базаихе мы спустились по каменистому ущелью какого-то ручья. Несмотря на весну, каменистая долина этого ручья была сухой, правда, иногда, если тщательно прислушаться, можно было уловить ухом гул этого ручья где-то в глубине под камнями. Базаиха по весне не такая уж маленькая речка, кроме того, она глубокая, бурная и холодная. Мы пытались перебрести её способом «лапландское кольцо», но когда вода подымалась до груди, нас сильно шатало течением, и мы выбирались на берег, клацая зубами от холода. На берегу этой дикой реки со звоном распадались на кристаллики вчера ещё крепкие льдинки. Не унимался никак Вильгельм. Отклонив наши уговоры, он разделся и переплыл Базаиху, но снесло его течением метров на семьдесят, а может и на сто. Нам показалось, что он с трудом выбрался из воды, но всё же лёгкой подпрыгивающей походкой, хотя и скрюченный какой-то, он побежал в нашу сторону, осторожно наступая на камни, словно они обжигали его подошвы. Поравнявшись с нами, Вильгельм на миг прикрыл низ живота скрещёнными ладонями, но тут же, забыв о своей наготе, отмахал нам скрещёнными над головой руками знак, что переправа отменяется. Пройдя вверх по течению метров сто этой неласковой реки, Вильгельм поплыл снова и причалил точно около нас. Теперь он был не только рыжий, но и фиолетовый, и мы кинулись растирать и одевать его. А вскоре весёлой вереницей все вместе бежали вверх на плато по каменистому ложу сухого ручья. Выскочив на плато, мы остановились, чтобы наладить дыхание. Я оглянулся, чтобы оценить пройденный путь.

— Смотрите, ребята! — словно по тревоге, крикнул я. Над сиреневой долиной, над чёрно-голубой вершиной Такмака в серебристом мареве сияло солнце, окружённое светящейся радугой. Нижний край этой радуги задевал плечи Такмака, и они светились, мерцали, звали туда! Мне всегда хотелось понять, почему прекрасное всегда отделено от меня невидимой гранью недоступности? Совсем в зелёном ещё детстве я убегал в поля за радугой, — но, как на грех, солнце заходило за тучу или рассеивался мелкий дождик. А может, и не должно быть вообще этого постижения или познания прекрасного, а важнее само стремление к нему? Вечно стремиться к радуге, стремиться её разгадать? А может, и нет

того самого объективного прекрасного, а есть только моя уверенность в том, что прекрасное есть где-то впереди, что оно существует, и зовёт меня, и ждёт.

— Чего смотришь? — спрашивает Вильгельм. — По учебнику это называется «гало». С его появлением весной бабушка велела выпускать коров на волю, на сухую землю и на первую свежую травку. Очнись, пошли, — тормошил он меня, — у тебя в мешке должно быть ещё полкалача, дай-ка сюда, самое время пообедать, душа требует. В походе нужно есть понемногу, но часто, — учил нас Вильгельм, — и еды меньше уходит, и силы сохраняются на нужном уровне. Пить как можно меньше, а лучше совсем не пить. Вот сейчас надо бы нам съесть по щепотке соли — это, по-научному, восстановление солевого режима.

Он не окончил седьмой класс по причине раскулачивания, но почти каждое лето бывал в пионерских или скаутских лагерях — вот и набрался мудрости. Мы вернулись под вечер и застали всех в нашем бараке в каком-то гнетущем состоянии, какое бывает после отступления страха. Оказалось, увозили куда-то группу из нескольких семей ленинградцев. Две семьи забастовали — потерялись ребятишки, но вот и они на месте, живые и здоровые, а комендант продолжал кричать на бедную и бледную мать Вильгельма. Старая интеллигентная бабушка Вильгельма пыталась заступиться за дочь, но комендант обозвал её старой сукой, и тогда Вильгельм ястребом налетел на растерявшегося сначала самодура, пытаясь схватить его за горло. Опомнившись, комендант стал вполне по-боксёрски отбиваться от мальчишки, потерявшего от негодования рассудок, пока их обоих не схватили, не утихомирили, не уговорили. Но это не всё.

В наше отсутствие упал с верхней нары старик-горбун по фамилии Патти. Его старшая сестра и не очень старая жена сидели на краю нижней нары отрешённые, закрыв своими спинами покойника, ждали, когда сделают гроб и комендант найдёт в деревне конную подводу, чтобы доставить несчастного к его последнему пристанищу — торгашинскому кладбищу. И ещё умерла в этот день маленькая девочка у Лебедевых. Мария молилась и причитала по дочке на какой-то нелепой смеси русского и финского, пока муж её, богатырь Илья Васильевич не принёс маленький белый гробик с аккуратным высоким крестом из сосновой плахи. Так что на следующий день нам предстоял траурный поход к синим горам, где за тополями притаилось старинное село Торгашино. Там на безлесом мысе горы есть кладбище — не огороженное, без единого деревца и кустика. После первого весеннего дождя в каменистом суглинке расцветают редкие алые горные гвоздики. Как искорки Божьей милости, как слова благословения. Вначале мы, мальчишки, шли отдельной группой впереди колонны. Мы несли лопаты и кайлы, но когда от скуки стали подпинывать и подталкивать друг друга, нас остановили. Пропустили вперёд крестоносцев. И печально-торжественно поплыли над степью, покачиваясь, высокие кресты. За ними шагал Илья Лебедев, неся на могучей груди перехваченный длинным полотенцем гробик дочери. Печальные свёртки положили в ряд на крутом берегу, пока похоронная команда искала подходящее место для могил. Было ясно, что внизу, у уреза воды хоронить нельзя, это всё равно, что бросить умерших в реку. А наверху, в лесу, пожалуй, земля ещё не оттаяла от зимних морозов, да и скала может оказаться близко под оттаявшим дёрном.

Непростым делом оказалось найти приют телам, так не вовремя покинутым своими истерзанными душами. Затянувшаяся процедура похорон как-то потеряла свою печальную торжественность и значительность момента прощания.

Но где же всё-таки Вильгельм? Страшно было пойти искать его в трюме, но чувство долга и артельной обязанности заставило меня преодолеть страх. По широкой грузовой лестнице, обставленной по краям цветными туалетными горшками, я спустился в полумрак трюма, где в спёртом воздухе спрессовались запахи жизнедеятельности и смерти многих людей. Хотелось пробкой вылететь оттуда, из этого круга ада, но я искал друга среди рядов креплений и балок, в проходах между ящиками и мешками. Пробирался по спящим людям, обходил тех, кто метался в бреду, готовясь покинуть нашу прекрасную землю. Где-то в дальнем углу подобием стона пробивалась к палубе финская песня, и я пошёл на её печальный зов. Правда, песня звала не меня, а Бога, просила простить какие-то грехи. Мои ноги обхватила растрёпанная женщина. Я подумал, что пьяная, и попытался силой высвободиться, но тут же сразу узнал её.

— Толик, Тойво, — кричала она, — где мой Вилли-ангел, ты знаешь? Вы же вместе были, где он? Скажи, где он? Он же любил тебя, скажи, пусть придёт. Маму вот увели… Задушили одеялом и увели злые люди!

Она пыталась подняться, но тут я понял, что она привязана на середине тела толстым пеньковым канатом к стойке крепления перекрытия. Узел за балкой ей не развязать. Соседи мне подавали какие-то знаки отрицания — не развязывай!

— Толик, найди Вильку, и я спокойно умру. Не хочу жить, ты не оставь его, он любил тебя, он за тебя мог убить, найди его, — и она начала лихорадочно целовать мою рубашку на груди и животе. Мне показалось, я схожу с ума. Ясно слышу, что меня зовёт Суло, плачет и поёт ангельским высоким голосом. Я обнял и сразу оттолкнул сошедшую с ума мать моего друга. И вылетел на палубу, на мешки, где мама и мои маленькие братишки пели тихими голосами ту самую песню, которую я и слышал в трюме. Песня завершала похороны. Я посмотрел в сторону берега, там оставалась одна лодка. От леса и скал спускались к воде два конвоира с винтовками. На фоне тёмных елей белел небольшой лютеранский крест. Загремели якорные лебёдки, пароходы дали по длинному гудку. На палубу поднялись конвоиры и зашли в рубку лоцмана. Как будто ничего не случилось, караван двинулся навстречу показавшемуся ласковому солнцу.

Снова плыли белые и голубые льдины, на одной сидели серые гуси — они почему-то знали, что эта льдина доставит их мимо Енисейска и Туруханска в низовья Енисея на их морозную родину. Следя за длинной льдиной с умными птицами, я не сразу заметил, что там на высоком мысу, где наши неглубокие могилы, горит тайга. Белёсый дым уже широко разлился над голубым горизонтом. Я понял, что тайга будет гореть до тех пор, пока не нагрянет хороший майский дождь. Светлый дым образовал высокое облако, похожее на неуклюжий гигантский гриб. Тяжёлая, неожиданная догадка поразила меня, и я совершенно ясно представил себе, как это всё произошло там, в лесу на высоком яру. Одной лопатой и двумя кайлами в мёрзлой скале могилы вырыть не смогли. Положили на землю ряд сухих валежин, на этот неуютный плот положили свёртки с тру-

пами, а сверху ещё положили три наката сухих стволов и упавших сухих еловых ветвей со всякой сухой таёжной трухой. Такие жертвенные костры устраивали давно наши предки. Да и сейчас делают ночные костры в честь праздника Юхануса на моей оставленной родине…

Мы плывём по широкой Ангаре. Я не знаю, куда мы плывём, и это даже не столь важно. Меня больше интересует, откуда, из каких земель течёт эта река, каждый миг, каждый час, века и вечность? Я даже не знаю, кто живёт на этой реке. Кто жил раньше, кто будет жить здесь после? Кто оставил после себя курганы и писаные камни на её высоких берегах? Многие ушли в землю прахом и в небо горьким дымом, не оставив ничего на земле, кроме зыбкой людской памяти, которая тоже растает как дым над тайгой светлым майским днём тридцать первого года…

Владимир Шанин

«В мою судьбу вошла беда…». Рубцова Любовь Григорьевна[1]

Стихотворением «Родина» открывается поэтический сборник Любови Рубцовой «С песней в сердце», вышедший в 1963 году в Красноярске пятитысячным тиражом, самым большим по тому времени. Я приобрёл сборничек, открыл его и наугад прочитал:

...Но так стряслось, что, скомкав детство,
в мою судьбу вошла беда
с её хмельным блаженным сном...
Вошла весной, да не с весною,
и твердь земная подо мною
вдруг заходила ходуном.

Школьница, воспитанная родителями-коммунистами на примере положительных литературных героев, она ещё не знала, что наряду с героическим живут на земле и измена, злодейство, предательство…

Я шла на ощупь, как слепая,
в ожогах от чужих костров,
ценой жестокой покупая
и трудный хлеб, и горький кров.

[1] *Опубликовано в журнале «День и ночь», 2016 г., № 1.*

…За нею пришли ночью. Двое сотрудников НКВД бесцеремонно протопали в комнаты, всё кругом осмотрели и, швырнув испуганной Любе платье, коротко приказали: «Одевайтесь! Поедете с нами». «Отвернулись бы хоть, — сухо произнесла мать и спросила: — Когда отпустите-то?»

Она знала, что дочь увезут в тюрьму, но была уверена: «промоют мозги» и отпустят, как заверил большой районный начальник, провожая Дарью Дмитриевну до двери. И никакого худа в своём поступке она, честная коммунистка, не видела — она всего лишь хотела остановить неразумную дочку, оторвать от дурной компании, спасти от вражеского влияния: обнаружив под матрацем дочкиной кровати пачку рукописных листков, содержание которых ей показалось антисоветским, своими руками она собрала их, завернула в газету и отнесла в милицию…

Исследователи жизни и творчества поэта Любови Рубцовой писали об этом по-разному. П.М. Мостовской, учитель из города Иланска, впоследствии детский писатель, отмечал в своих воспоминаниях: существует несколько версий о причинах ареста, и одна из них — «донесение на Л.Г. Рубцову её матери». Версия вполне допустима… Возможно, Дарья Дмитриевна, истинная коммунистка, для которой мировая революция была целью всей её жизни, испугалась, но не за себя — за дочь, по-партийному расценив: чистосердечное признание и несовершеннолетие дочери смягчат ей наказание, освободят под поручительство матери. Но этот арест навсегда отнял у неё дочь.

Неприятно, когда о матери так думают: донесла… Вот и Вл. Сиротинин в газетной заметке о встрече с читателями вынес в заголовок убийственную фразу: «Арестована по доносу матери» («Красноярский рабочий», 29 октября 1994 г.).



Люба Рубцова (сидит первая слева) с подругами до ареста, 1940-е гг.

А с другой стороны, хорошо написал о Любе журналист Константин Карпухин («Труд-Енисей», 31 октября 2002 г.). В заголовок он вынес поэтическую строку: «А гореть бесполезным огнём я устала» — о трагической судьбе талантливой поэтессы.



Любовь Григорьевна Рубцова

Так что же произошло в тот злопамятный год, который историки считают началом политических репрессий?

Только что осуждены и расстреляны «правые» троцкисты во главе с любимцем Ленина Н.И. Бухариным. В народе недоумение, слухи и пересуды, жёстко пресекаемые властями; неизвестно куда пропадают люди. И не только в обеих столицах — Москве и Ленинграде, но и в глухой провинции — даже в Канске, мало кому известном сибирском городишке.

В Канской средней школе № 4 однажды не вышел на работу молодой преподаватель. Стало известно: арестован. Вся школа гудела: за что? почему?.. Ученицы седьмого класса Аня Зинина и Люба Рубцова, секретарь школьной комсомольской организации, «решили (по одной версии) заступиться за любимого учителя и смело отправились в милицию, где их самих в тот же день арестовали». По другой версии, никто девочек не арестовывал, их просто выставили за дверь, «чтобы не мешали работать», чем сильно огорчили заступниц.

Попытка найти справедливость в таком грозном карательном органе, как ГПУ, лишь подзадорила юных правдолюбиц. Повозмущались, погорячились и разошлись во мнении. Коля Уфаев, примкнувший к возмущённой группе школьников, заявил, что он «против конкретных дел». Аня и Люба стояли на своём: «Это дело так оставлять нельзя!» Надо протестовать, говорили они. «Кто мы теперь? Протестанты!» Слово, имевшее жёсткую, убедительную окраску, очень понравилось всем, но немногие стали протестантами.

Любе Рубцовой нравились стихи Аполлона Майкова, особенно его раннее — «Раздумье», и она с пафосом процитировала:

Я втайне бы страдал и жаждал бы порой
И бури, и тревог, и воли дорогой,
Чтоб дух мой крепнуть мог в борении мятежном...

Противница «размеренного течения жизни», Люба тоже жаждала «борения мятежного». В подражание любимому поэту она сочинила своё «Раздумье»:

В семнадцать лет нам стонов не понять
И в краткость жизни тоже не поверить...
(...)

Но если бы и заново начать
Могла я жизнь — с нетраченною силой,
Я начала бы так же сгоряча
И поспокойней доли не просила б.

В шестнадцать лет Люба Рубцова прочитала роман «Овод» Этель Лилиан Войнич и хотела походить на таких же чистых, верных долгу и совести, как героические литературные герои подобных книг. Открыто говорила то, о чём думает. К ней тянулись одноклассники, чьи родители были арестованы. Они собирались после уроков в пустующем классе, читали стихи, делились своими печалями, нет-нет да и высказывали неодобрение политики партии и правительства. Эти посиделки стали в дальнейшем именоваться «фашиствующей организацией», а возбуждённая болтовня — контрреволюционными разговорами…

Любовь Рубцова (1922—1966) родилась в деревне Дрокино Емельяновского района Красноярского края, в семье несгибаемых большевиков Григория и Дарьи, организовавших здесь первый колхоз.

В 1931 году Рубцовы перебираются в Красноярск. В первый класс родители записали дочь вполне подготовленной к школе: девочка читала по складам, быстро вела счёт до ста и обратно, любила стихи и сама пыталась их сочинять. Руководитель школьного литературного кружка Пётр Гаврилович Кронин, отмечая незаурядные способности Любы, уделял ей больше внимания, чем остальным кружковцам, и прочил ей большое будущее. Сама Люба мечтала стать актрисой — как Любовь Орлова, как Марина Ладынина… И активно занималась ещё и в школьном драмкружке, играя роли сильных духом революционных девушек.

Четыре года спустя, в 1935 году, отец Любы получает новое назначение — заведующим сельхозснабжением в городе Канске, и семья собралась в дорогу.

В Канске, более похожем на село, чем на город, большом и деревянном, надо было всё начинать сызнова. Однако Люба, выросшая в деревне, легко освоилась на новом месте. Общительная, она и здесь хорошо учится, близко сходится с Аней Зининой, такой же бойкой, занозистой девочкой, которой можно довериться, и они подружились. И здесь, в Канске, городская газета впервые напечатала Любины стихи:

Метель запуталась в снежках,
притихла школьницей прилежной...
В моей руке твоя рука,
такая сильная и нежная.
И в сердце плещутся слова —
слова, которые бы пела я!
Но с жарких губ их не сорвать —
растают, как снежинки белые.
Иду, в молчанье затая
эпитеты и рифмы звонкие...

А говорили, будто я
расту болтливою девчонкою!..

Однако всё, чем Люба жила, вдруг в один миг рушится...

Той же ночью арестовывают Аню Зинину и Колю Уфаева. Следствие по делу «о контрреволюционной организации» школьников шло целый год. Из материалов «дела» видно, как следователи иронизировали, с издёвкой потешались над юной «контрреволюционеркой»: начиталась, мол, книжек и сама «решила стать героиней и выделиться из общей массы людей», но поскольку «стать положительным героем ей не представится возможным», то решила «сделаться отрицательным героем».

Суд состоялся 20 мая 1939 года. Любу Рубцову он признал виновной в том, что она, «будучи враждебно настроенной по отношению к советской власти, поставила перед собой задачу создать контрреволюционную фашистскую организацию учащейся молодёжи». Для этой цели она привлекла подругу Аню Зинину, «совместно с которой стала проводить работу». Они написали «контрреволюционные листовки» с тем, чтобы «привлечь в свою организацию молодёжь». Кроме того, направляла в редакцию канской газеты «письмо контрреволюционного содержания», распространяла в школе портреты «врагов народа», «издевалась над портретами руководителей партии и Советского правительства».

По приговору суда Рубцова Любовь получила десять лет лагерей, Зинина Анна — семь лет, обе с поражением в правах на пять лет. Верховный суд РСФСР своим определением от 20 августа 1939 года эту «дополнительную меру наказания» отменил.

Осуждённых отправили на лесозаготовки в Долгомостовский (Абанский) район Красноярского края. Поселили в бараке с двухъярусными деревянными нарами и железной печкой-буржуйкой в углу, которую зимой надо непрерывно топить; летом же в бараке стояла такая духота, что открытые настежь двери не освежали помещения, да к тому же ещё донимал гнус.

Подъём в пять утра. После завтрака под конвоем с собаками, по колено утопая в снегу, вереницей тянутся заключённые на лесосеку за три километра. К дереву подходили по двое, обтаптывали его, подрубали спереди, причём по мёрзлой древесине топор срывался, так что щепки брызгали в лицо. Пилили двуручной пилой, не всегда острой, которую то и дело заносило; девушки нервничали, ссорились, хотя и понимали: ссора — не лучший выход. В обед — ломоть хлеба, который заедали снегом.

Дневная норма выработки на двоих — шесть кубометров; замеры вёл десятник; за десятником повсюду следовал стрелок в полушубке, с винтовкой. Не выполнивших норму наказывали: прямо из леса уводили не в барак, а в карцер — холодный сарай. Выпускали в пять утра на развод — и сразу на лесосеку. Сидящим в карцере давали триста граммов хлеба и кружку воды в сутки. С некоторыми «сидельцами» бывали голодные обмороки.

Люба трудно осваивалась в этой обстановке, тяжело переживая разлуку с родными.

Но — страшнее цвести средь цветов
без улыбки в душе, без тепла,
скрыть под маской из пламенных слов
душу, выгоревшую дотла.

Эти строки, навеянные тоской по родному дому, по матери, отцу, братьям, вырвались из души как пламень, болью опалив сердце. В подобные минуты невозможно себя сдержать. И Люба сорвалась.

В сентябре 1939 года она совершила побег. Всего двое суток она побыла дома с матерью и братьями (отец был в отъезде). И тогда же в голове у неё вызрели строки: «Как же мы ничтожны, если плачем, горя не тая от матерей!» Люба записала эти строки на бумаге. На бумаге! Впервые со дня ареста…

Любу снова арестовали, отконвоировали в лагерь. Суд, «скорый и правый», добавил к основному сроку заключения ещё полтора года.

Заключённые в лагере, все без исключения, простуженно кашляли, жаловались на боли в горле, в груди, однако в больничку переводились лишь те, кто с температурой. Счастливчики радовались: уж теперь-то отдохнут. Попасть туда считалось большим везением. Любе Рубцовой, можно сказать, повезло. «Мне весной опять нездоровится…» — строка из стихотворения, сочинённого ею там, на больничной койке.

Так рождались её стихи, которые она не могла даже записать — заучивала наизусть.

Я нахлебалась вдосталь горькой соли,
но, нрав свой жёсткой волею взнуздав
и первый раз стихию переспорив,
вдруг поняла романтику труда,
романтику борьбы и созиданья!

Больничка — тот же лагерный барак, только чище и опрятней: белые стены и потолки, вместо нар — железные кровати с белыми простынями и подушкой, с одеялом в пододеяльнике. Женское отделение запиралось на железный засов, в двери — «волчок» (глазок), кнопка электрического звонка — связь с помещением охраны. Отсюда не выйти и сюда не войти постороннему. Конвой приводил из лагерной зоны обслугу: врачей, фельдшеров, сестёр, санитаров, — которая молча переодевалась и быстро расходилась по местам.

Какое блаженство так вот лежать, болея, делая вид, что тебе худо, тяжело дышать, пока доктор тебя осматривает, а у самой сердце трепетно выстукивает: «Довольно мыкаться по свету! Вернись, вернись, вернись домой…»

Стихи-сполохи, строка за строкой, вспыхивали в голове, будто кто-то их нашёптывал ей.

Нагрянет боль, что громовой раскат,
Оглушит, и бессилье руки скрутит,
И сердце пе́тлей захлестнёт тоска
По каждой даром прожитой минуте.

При выписке из больнички врач сказал ей: «Эх, девонька, тебе бы к хорошему доктору: открылся туберкулёз…» Да она и сама догадывалась об этом, обнаружив кровяные нити в мокротах. Ей бы сейчас усиленное питание — и к солнцу, подальше от проклятой лесосеки, где одни только «болота, снег да пятна мхов белёсых…». И от безысходности своего положения в этой тайге накатывает жгучая тоска.

Я сучья жгла, катала брёвна
и всю — чуть-чуть не всю! — тебя
пешком прошла, твой сумрак ровный
и гул мятежный твой любя.
Но троп, петляющих в болотах,
где скрещивались жизнь и смерть,
блюдя закон клыков и глоток, —
я не любила...

То ли лагерный врач посодействовал, или Любина мать все пороги обила — а может, так было заведено в том аду, что за усердие в работе давали заключённому послабление, — Любу перевели в Красноярск, на строящийся аффинажный завод НКВД. Это уже лучше, чем ежедневно топтать мокрый снег, месить дырявыми сапогами грязь, валить столетние сосны и «катать баланы».

И здесь, на стройке, та же система: побудка на работу, оправка, затем строем — в столовую, строем — на работу. И охранники, кажется, те же: сытые и такие же злые, как их собаки. Одна отрада — тёплый барак, улучшенное питание.

В бригаде, занятой чёрными работами, Любовь Рубцова считалась ударницей. Старательную девушку вместе с тремя такими же ударницами начальство направило на двухмесячные курсы каменщиков, причём без отрыва от производства. Норма выработки для курсантов — пониженная: первые двадцать дней — пятьдесят процентов, вторые двадцать дней — семьдесят пять процентов, третьи двадцать дней — девяносто процентов. Заместитель начальника УИТЛ строго следил за исполнением своего приказа.

По окончании курсов Любу Рубцову назначают бригадиром каменщиков. Её бригада в предоктябрьском соревновании по итогам третьего квартала 1945 года вышла победительницей. В приказе по заводу говорилось: есть бригады, состоящие «в большинстве своём из отличников», в том числе названа и бригада Рубцовой.

В тот день Люба заучила новое стихотворение:

Ты умела неплохо грузить и рубить,
ты лопату умела как надо держать!
Двух вещей не умела ты — слабого бить
и врагам — даже ласковым! — руки их жать.

Приспособиться к этой уродливой жизни — значит, выжить. Люба эту истину усвоила хорошо. Старые зэчки говорили: кто на воле пел, декламировал, участво-

вал в любительских спектаклях, играл на гитаре или бил чечётку, тот имеет шанс попасть в культбригаду, а это — свободный день при подготовке концерта, улучшенное питание, повышенное внимание администрации к артистам. Так Люба становится активной участницей художественной самодеятельности. Она старалась, отдавая сцене всё, на что была способна, и получила не одну благодарность от начальства. А однажды всех артистов премировали — выдали килограмм табаку… Люба в те годы уже вовсю курила, хотя знала: для её лёгких это опасно.

Весной 1950 года, когда ей опять нездоровилось, её отправили на поселение в Богучанский район, в глухое, отдалённое сельцо Заимка, где морозы доходили до пятидесяти градусов. Обеспокоенная Дарья Дмитриевна направила кассационную жалобу в Министерство внутренних дел с просьбой отпустить дочь под надзор семьи и получила отказ.

Через два месяца, в июне, Люба написала заявление на имя начальника управления МГБ по Красноярскому краю: «Я больна туберкулёзом и пороком сердца и нуждаюсь… в соответствующем лечении и соответствующих климатических условиях, а с другой стороны — я сильно нуждаюсь в материальной помощи моей матери, так как не гожусь (по состоянию здоровья) для тех работ, которые могут быть мне предоставлены в Богучанском районе… Ввиду вышеизложенного прошу перевести меня на жительство в с. Абан Абанского района, которое находится вблизи моей семьи (г. Канск). Со своей стороны, я могу заверить вас, что близость к родной семье и благоприятные климатические и материальные условия помогут мне твёрдо встать на ноги и почувствовать себя полноценным человеком, могущим идти в ногу с Родиной и отдать все свои силы Родине, которая мне протягивает руку…»

Резолюция: «Отказать. 5.VII.50».

Как бы воочию увидела Люба и эту сцену, и своё заявление, и то, как начальник с усмешкой подписывает «резолюцию».

Оно алело сгустком крови
пред ним на письменном столе,
а он — он не повёл и бровью,
он рассмотреть его велел.
И закружилися метели
отписок, справок — злей и злей...
Огнём холодным заблестели
очки бумажных королей.
Что в нём открыло, что узрело
то равнодушное стекло?
А чьё-то сердце догорело,
горящей кровью потекло...

И всё-таки она добилась своего. Оказавшись на поселении в селе Абан, раз в месяц отмечалась в милиции. Выезжать за пределы села категорически запрещалось, но зато к ней часто наведывались то мать, то братья, то отец, инвалид второй группы, участник Великой Отечественной войны.

Два года Люба прожила в Абане. Наконец, по настойчивому ходатайству матери, была переведена в Устьянск, поближе к дому, работала на маслозаводе, а в 1955 году освобождена из заключения. После XX съезда КПСС с неё сняли судимость, полностью реабилитировали «за недоказанностью предъявленного обвинения».

Осенью Любовь Рубцова вернулась домой, больная и постаревшая. Чтобы не сидеть на шее домочадцев, занялась вышиванием гладью и крестиком — какой-никакой, а заработок. Конечно же, продолжала писать стихи. О чём? Да всё о том же, что никак не уйдёт из памяти:

У чужого огня не любила я греться,
хоть и брал до костей острый ветер порой...

Самая светлая пора юности прошла за колючей проволокой. Друзей и подруг она растеряла. Даже тот единственный, с которым любила мечтать «в голубых тальниках у пруда», перестал замечать её. «Ну и пусть, переживу и это!» — записала она.

Друг, известий о ком я, как ласточка, жду,
Друг, с которым, гордясь, я у края тоски
Шла, не пряча насмешливых глаз, сквозь вражду,
Старый друг мой мне в горе... не подал руки.

Теперь Люба, не таясь, могла записывать свои стихи. Они ровненько, строка за строкой, записывались в тетрадку ещё тем, не забытым, ровным почерком; рука, соскучившаяся по письму, старательно выводила каждую буковку. Люба радовалась, как ребёнок: не забыла рука, столько лет державшая пилу, топор, лопату…

В редакции канской городской газеты «Власть Советов», куда она насмелилась принести свою тетрадку со стихами, встретили её настороженно: бывшая зэчка, контрреволюционерка… Стихи обещали напечатать, но… под псевдонимом. Люба не возражала: пусть будет псевдоним — Б. Чухонец или Р. Оракес.

Позже ей предложили стать внештатным корреспондентом газеты. Однако общая настороженность к ней какое-то время ещё оставалась.

«Лагерный опыт — целиком отрицательный, до единой минуты, — писал Варлам Шаламов («Левый берег», М., Современник, 1989). — Человек становится только хуже… В лагере есть много такого, чего не должен видеть человек. Но видеть дно жизни — не самое страшное. Самое страшное — это когда это самое дно человек начинает… чувствовать в своей собственной жизни, когда его моральные мерки заимствуются из лагерного опыта, когда мораль блатарей применяется в вольной жизни…»

«Лагерный опыт» коснулся Любы, но не испортил, не проникло пресловутое «дно» в её жизнь. Сохранить светлое, человеческое помогли стихи, которые она сочиняла, заучивая, которым поверяла свои чувства, мысли, мечтания…

Открыл яркий талант Рубцовой учитель из города Иланска П.М. Мостовской, автор сборника рассказов «Пионерская помощь», изданного в 1954 году в Красноярске. Прочитав стихи незнакомого автора в канской газете, он восхитился ими,

а узнав, кто скрывается под псевдонимом, послал известному сибирскому поэту Казимиру Лисовскому. Лисовский напечатал стихи в «Литературной газете» с коротким предисловием: «Искренность, предельная искренность — вот основные черты творчества Л. Рубцовой… Главное — есть поэт большого сердца, честный и умный». Он и напутствовал молодую поэтессу в большое литературное плавание. С его подачи творчество Л. Рубцовой обсуждалось на большом поэтическом семинаре в Новосибирске и получило положительную оценку. Семинар рекомендовал Красноярскому книжному издательству подготовить и издать сборник стихов талантливой канской поэтессы. К тому времени её имя уже было на слуху у любителей поэзии; стихи её печатались в альманахе «Енисей», журналах «Сибирские огни», «Работница», «Дом поэта», газете «Красная звезда»; под псевдонимами Коля Белуха и М.Г. Белуха они появились даже в Киеве.



Люба Рубцова после освобождения, 1955 г.

В 1958 году Красноярское издательство выпустило сборник её стихов. Небольшая скромная книжечка: голубая с белым клином обложка, внизу — разметённая ветром, пробитая молнией берёзка, чёрным по голубому полю название «Стихи». Художник сумел уловить и передать в рисунке несломленный дух автора сборника.

Труд, раздумье, вера, любовь — основные мотивы стихотворений. Всё в них пронизано солнечным светом, в любви и нежности раскрывается богатство духовного мира молодого человека, прошедшего через трудности и невзгоды:

Меня швыряло в юности, как щепку
швыряет бесноватая волна...

Среди добрых, трудолюбивых людей герою её стихов живётся легко, спокойно и радостно, и этой радостью непременно хочется с кем-то поделиться:

Рассвет. Пастушонок, склонясь к водопою,
умылся, присел отдохнуть на песке,
а рядом — солнце, спросонок слепое,
пытается тоже умыться в реке.

Критики часто писали о её стихах. Некоторые отмечали: «От этого цикла стихов веет поэзией Исаковского, но это влияние кажется полезным. Что и говорить, школа Исаковского — хорошая, добрая школа!»

Пока шла подготовка книги, Люба жила в Красноярске, в кабинете издательства, да так и задержалась тут — квартировать было негде. По отзывам товарищей, человеком она была неприхотливым: «Ей бы только кусок хлеба с водой да пачку «Беломора» на день…»

Привычное её место — продавленный дерматиновый диванчик, на котором она и спит, укрывшись лёгоньким, коричневого цвета плащом, или сидит и курит: глубоко затягивается и по-мужски выдыхает струю дыма.

Книжное издательство на улице Урицкого, 98, в каменном купеческом особняке (не сохранился), было тогда центром притяжения для пишущей молодёжи. Собирались в большой комнате, занимаемой редакцией художественной литературы; шумели, спорили, читали стихи, но когда начинали мешать работе редакторов, те их вежливо выдворяли за дверь. Люба внимательно вслушивалась в разговоры, часто моргая прищуренными глазами, иногда закрывая свой морщинистый лоб ладонью — пытаясь, как видно, уловить «тончайший всплеск мысли при несмолкаемом говоре». Так, наверное, и рождались её стихи.

Воспитанная, порядочная, не потерявшая в лагерном аду своего лица, Люба не могла показаться усталой или заспанной; когда к девяти утра редакторы приходили на работу, то заставали её бодрствующей, опрятно одетой, с папиросой в руке. Она никому не мешала, не докучала, но держалась независимо и свободно. «Белокурая, с прямыми волосами, пришпиленными гребешком по моде тридцатых годов. Болезненное лицо её отливает синюшными крапинками на лбу и сеткой венозных капилляров на щеках. Картавенькая, с астматическим удушьем, но в постоянном оживлении, отчего дыхание её становится натруженнее…» — такой рисуют портрет Любы её друзья. «Нет, не исчерпать всех её портретных чёрточек, как не исчерпать того, что довелось ей пережить, — утверждает бывший фронтовик, музыкант, писатель, девяностолетний Иван Владимирович Уразов. — И это по-детски честнейшая и справедливейшая душа и самый чувствительный барометр людского горя. И вынесла она столько, что под силу вынести только самому волевому мужчине».

В 1960 году в Красноярске выходит её новый поэтический сборник, названный просто: «Лирические стихи». Известный поэт Игнатий Рождественский в газете «Красноярский рабочий» (18 декабря 1960 г.) писал: «От строфы к строфе крепнет своеобразное дарование… поэтессы суровой судьбы… Читаешь её словно вынутые из раскалённого сердца строки… Всё здесь выстрадано, пережито, и как далеко всё это от бездумного чириканья иных начинающих авторов… Хочется пожать с благодарностью руку Л. Рубцовой за такие по-настоящему хорошие стихи». (…) «Это её вторая книга, — подчёркивает Игнатий Рождественский в своём литературном обзоре, — однако это уверенный шаг вперёд; её дарование крепнет и оттачивается. Сквозь строки, как сквозь прозрачную воду родника, просвечивает душа поэтессы, неуступчивая, чуткая к чужому горю и радости, легкоранимая и глубоко порядочная… И радостно, что над нашим Енисеем взошла ещё одна поэтическая звёздочка, чистая, трепетная, горящая внутренним светом своим».

Третий поэтический сборник Л. Рубцовой «С песней в сердце», вышедший в свет в 1962 году, красноярцы буквально смели с прилавков книжных магазинов. Книжка сразу стала библиографической редкостью. Павел Мостовской не смог отыскать её даже в краевой библиотеке: видно, кто-то взял почитать и не вернул.

В новой книжке поэтесса вновь обращается к излюбленным темам: каждое стихотворение — поэтические размышления автора о духовной чистоте, красоте нашего современника, формировании в нём человека будущего:

Вот так большой и сильный человек
через большую боль свою шагает,
и лишь порой, по лёгкой дрожи век,
поймёшь, какой огонь его сжигает!

В 1963 году поэтесса окончательно перебралась в Красноярск. Одинокая, без семьи, она легко сняла комнату в посёлке Зелёная Роща, но чаще всего ночевала в издательстве. Человек, привыкший к любым неудобствам, она говорила, извинительно улыбнувшись: «А я где голову приклоню, там и засыпаю…»

Любовь Григорьевна Рубцова прожила всего сорок четыре года. Из них шестнадцать с половиной лет приходятся на детство и юность, и только десять с небольшим лет — творческая работа. Годы между этими двумя датами она не любила вспоминать, зато они сохранились в её стихах. Умерла она 11 июля 1966 года (по другим сведениям — 1965 г.): туберкулёз доконал её. Похоронена она на Троицком кладбище. Лишь спустя много лет друзья с трудом отыскали её могилу…

Всё наследство Любови Рубцовой состояло из того, что было на ней, да смена белья, да предметы личной гигиены, и — стихи, которые она готовила для очередного сборника. Среди них — одно, звучащее как эпитафия:

Но добро, коли душу
живою пронёс
сквозь голгофу
распятых надежд и дорог!
Пятен с сердца
(как с солнца!)
рукой не сотрёшь,
но хоть рядом с людьми —
человеком помрёшь.

В письме к издателям «Красноярского рабочего» Павел Мостовской писал: «Посылаю вам 25 ранее не публиковавшихся стихотворений Любови Рубцовой... Это был большой, настоящий человек и настоящий поэт. Стихи Рубцовой по праву называют стихами, зовущими к весне и солнцу...»

Марк Живило

Мои университеты. Штрафбат[1]

— Рррота-а!.. Стрррройся!

Нас человек двести, даже больше, одеты кто в чём, и все в пыли после марш-броска. Перед нами и за спинами две шеренги человек по тридцать, все в синих форменных гимнастёрках, галифе с лампасами и фуражках, с ППШ наперевес, некоторые с собаками.

— Здесь, за леском, — высота, на которой закрепился враг. Ваша задача — взять её. И помните, только кровью вы можете искупить свою вину перед нашей советской Родиной и лично перед товарищем Сталиным. Командуйте, старшина, — зашёл за спины автоматчиков, достал из кармана кожаного плаща портсигар и, искоса поглядывая на нас, закурил.

— В две шеренги… стано-о-вись! — чуть растягивая слова команды, гаркнул старшина.

Мы неспешно перестроились.

— Первая шеренга-а… два шага вперед… арш! Напра-а-а-о! Получить оружие и патроны, построение здесь же. Арш!

По цепочке двинулись в сторону ящиков. Другой старшина и двое солдат (вокруг них так же стояли синие фуражки) стали выдавать винтовки и по две обоймы патронов в одни руки.

— Вторая шеренга… нале-е-е-о! — услышал я за спиной. — Получить лопатки и гранаты. Арш!

— Держать в руках, не заряжать, — повторял каждому второму-третьему старшина, выдавая винтовки, — держать в руках, не заряжать.

Пока мы получали «боекомплекты», фуражки перестроились, образовав две шеренги у нас за спинами. Получив винтовку и пару обойм, я побежал на свой левый фланг шеренги и оказался почти самым крайним. Навстречу бежала и выстраивалась за нами вторая шеренга, в руках у них были сапёрные лопатки, а у каждого третьего-четвёртого ручная граната. Чуть поодаль, за спинами фуражек, стояла шеренга из четырех девчушек с телефонными коробками через плечо и катушками проводов в руках. Такие же молодые вчерашние десятиклассницы. Не верилось самому, что всего три-четыре месяца назад я окончил магаданскую школу, что мы вместе с Вадькой Балабой вытребовали через его отца направления и рванули с Дальнего Востока на фронт, но вместо лётной школы попали в Хабаровское пехотное училище, и вот теперь — мой первый бой. В штрафбате.

— Стрррройся! Сми-и-ирно! По команде… я повторяю, по моей команде зарядите оружие. По команде — пойдёте вперёд, через этот лесок, за ним через

[1] *Публикуется впервые.*

двести метров высота, которую вы должны взять, уничтожив там всех фрицев. Вторая шеренга, вы поднимете оружие, если впереди идущего убьют или тяжело ранят. Ясно? Итак. Заря-а-жай!

Оказалось, не все умеют заряжать винтовки, их быстро поменяли с теми, кто умел из второй шеренги.

— Вперёд, шаго-о-ом арш!

Пока двигались сквозь заросли, наша цепь перестала быть такой плотной и стройной, и к опушке вышли уже как попало. Впереди была возвышенность, но на ней ничего не было видно, хотя солнце не слепило, а светило из-за верхушек деревьев. Старшина махнул рукой, двинулись вперёд молча. Отошли от леса метров двадцать, и тут застучал один и сразу другой пулемёты. Уткнулся мордой в землю. Мгновенно. Где-то справа раздались вопли, мат, стоны, хруст травы. А над головой знакомо завжикало, запосвистывало. Перехватил винтовку за ремень и, как учили в пехотном, пополз вперёд.

Вжикать перестало. Старшина приподнялся:

— Вперёд! Встать! Вперёд!

Кто-то вскочил и бросился назад, тут же из леска по нему грохнула очередь из ППШ. И потом ещё несколько поверх наших голов, для понимания.

— Назад пути нет, только вперёд! — вопил старшина. — Вперёд, сукины дети!

Перехватил винтовку за цевьё, приподнялся и, пригибаясь, как учили, побежал, вглядываясь в высотку. Откуда бьют? Ни окопов, ни других каких укреплений… и тут в центре у самой вершины сверкнула искра, и снова застучало. Дзот! И опять мордой в землю. И где-то рядом шлёп-шлёп, и хрип… того, кто «поймал».

Сколько их? Два точно. Снова пополз. Главное, подползти как можно ближе. У каждого пулемёта есть свой угол обстрела и своя «мёртвая зона». Опять стихло. Стреляют не очень длинными — экономят или пристреливаются. Но впереди трава заметно посечённая — значит, пристрелялись. За спиной опять раздались очереди ППШ. Цепь поднялась и побрела вперёд. Чуть привстав, я тоже двинулся. Да, одна амбразура, вторая, третья… как прищур китайца. Нет, больше не видно, но нам и этих трёх хватит. Надо их по флангу обойти. В траве что-то замаячило. Снова очередь, вторая, третья. Уже длиннее, намного. Кто начал стрелять из винтовок, тут снайперку надо, да и то… Пополз к тому, что маячило. Труп. С предыдущей атаки. С винтовкой. Я обернулся на свой «второй номер».

— У него винтовка, забери!

Цепь снова поднялась и постреливая побежала вперёд. Приподнялся и тоже побежал, забирая левее. Все три щели разом ожили. И вовремя. Снова мордой в землю. Только впереди, буквально в одном шаге, засохшая кочка. И ещё. Ещё. А слева подальше вороночка, а ещё чуть левее ботинок с окровавленной обмоткой. Спасибо, фриц, вовремя очередь дал, я тебя быстро убью. Обернулся на «второй номер», ползёт:

— Жопу не горбать, дура, а то отстрелят! Здесь мины, ползи прямо за мной!

— Сам дура!

И я отвернуться не успел, как он завопил, заскулил, закрутился по земле.

Сколько же ещё до «мёртвой зоны»?

Может быть, там и не было двести метров, даже наверняка не было, но мне они показались в двадцать раза длиннее. И дольше. А потом было очень быстро. Фриц не заметил, что я его обошёл. Спрыгнул в яму-окоп, вместо двери брезент, стволом чуть отстранил, а он на фоне амбразуры, как мишень в тире, только целится не надо. Сразу обмяк и повис на пулемёте. Сорвал брезент, но света больше не стало. Впрыгнул. Второго, слава богу, не было. В глазах со свету темно. И вдруг сзади:

— Ну, что там?!

Этот, в жопу раненный, оказывается, за мной прополз.

— Давай дальше.

Пока я выбирался из окопа, он уже доковылял до среднего дзота. Когда я подбежал, услышал маты и возню. Кто свой, кто фашист, в потёмках не видно. Вдруг одна тень с лязгом метнулась куда-то в сторону. Выстрелил по ней почти наугад.

— Сука, чуть не придушил, — захрипела вторая тень.

Я вошёл, но поскользнулся, точно на горох наступил, и полетел вниз.

— Вот и я так же полетел.

— Это что?

— Да, х… его знает! Гильзы.

Он поднял руку, что-то мне показывая. Глаза чуть-чуть привыкли. Весь пол был усыпан гильзами! Так что и земли не было видно! Посмотрел в угол, куда метнулся фриц, он уже затих, а у земляной стены были прислонены автомат и подсумок. Еле перебираясь по гильзам, забрал всё и потащился к выходу. «Второй номер», охая, матерясь и зажимая рану на заднице, за мной.

Третий дзот всё ещё огрызался и поливал длинными очередями, явно не жалея патронов.

— Мушкой зацепишь брезентуху, а я ему гранатку подкину.

Мы улеглись с обеих сторон от входа. Вместе с вырванной брезентовой «дверью», огнём, осколками гранаты вылетела туча стрелянных гильз. Их звон, казалось, заглушил грохот самой гранаты.

— Посмотри, что тут осталось, — сказал я «второму номеру».

А сам подумал, странно, почему же в первом дзоте не было столько гильз, он что, не стрелял, что ли? И пошёл в его сторону. Стало непривычно тихо. Спрыгнул в яму, вошёл. Подождал, пока привыкли глаза, и стал осматриваться. Гильзы были, но мало. На полу. Где их не было, было видно, пол аккуратно подметён. У входа стоял веник, самодельный. И параша. С другой стороны от двери котелок, подсумок и автомат. Глаза совсем присмотрелись, и тут меня удивил странный рисунок на стенах. Они не были земляные, они были, словно кольчуга, металлические! Все гильзы он втыкал в стену, «стоймя»! Одна к одной! Так что оставались видны только «шляпки» с пробитыми капсюлями. Я перевёл взгляд на немца, он всё так же висел на своём пулемёте. Педант, твою мать!

И тут возле его ног я различил цепь. Довольно длинную. Дулом винтовки толкнул его в бок, и он с цепным лязгом сложился пополам на полу. Конец цепи начинался от станкового пулемёта, был прикован к нему. А другой её конец был прикован к наручникам немца. Эти три фрица были такими же, как мы, штрафниками.

Штрафники против штрафников.

Медленно забрал автомат и подсумок. Поднял котелок. Пустой.

Сама эта мысль казалась нелепой!

Только их никто не гнал под дулами автоматов на смерть. Впрочем, не известно, что ещё хуже…

— Эй, выходи! — раздалось сверху. — Трофеи сюда давай!

Три синих фуражки с красными околышами наставили на меня ППШ. Я снял автоматы и подсумки и вместе с трёхлинейкой поднял руки.

— Там мины, — я показал фуражкам, когда они меня подняли и повели обратно к лесу, на участок, теперь уже бывший справа от меня.

— Да, знаем, — отозвался один.

— А что ж не предупредили?

— А тебе, может, ещё карту-схему надо было составить?!

На поле уже суетились солдаты из похоронной команды и санитары. Кого-то перевязывали и относили к грузовику с красным крестом, стоявшему у опушки. Кого-то складывали вдоль этой самой опушки.

Чуть поодаль, прикрытые брезентом, из-под которого торчали только новенькие сапожки, лежали четыре тела и рядом телефонные коробки с катушками проводов.

(…)

— Сми-и-ир-но! Товарищ полковник, разрешите доложить. Задание выполнено, высота взята, уничтожено три вражеских дзота.

Нас в строю шестеро. Шестеро тех, кто может сам стоять на ногах. Из двух сотен.

— Фамилия, имя, отчество? — спрашивает полковник. Ординарец тут же записывает всё на бумажку и подаёт полковнику.

— Поздравляю, вы чисты перед Родиной и кровью искупили свою вину.

И так с каждым. Мой «второй номер» предъявил свою телесную рану, чем заслужил всеобщий смех, и поднял настроение.

— Фамилия, имя, отчество?

— Живило Марк Феодосьевич.

Ординарец начинает вписывать.

— Подожди. А у вас, Марк Феодосьевич, — полковник сакцентировал внимание, — я не вижу ранений.

— Их и нет.

— За что же вам тогда реабилитацию? Вы не искупили вину кровью.

— Товарищ полковник, разрешите обратиться? — майор из синих фуражек, допрашивавший меня.

— Докладывайте.

— По сути боец Живило и уничтожил все дзоты.

— Один?

— Ему в какой-то мере помог этот, — он указал на развеселившего всех бедолагу.

Склонен к побегу… (откровения бывшего уголовника)

Их было много. Директоров школ, учебных заведений, театров, издательств; главных редакторов (что почти одно и то же) газет, журналов, радио и телевидения. Были и до него. В полковничьих и генеральских погонах. Не директора, правда, и даже не командиры — начальники, как мы их величали. Ещё с одиозной приставкой «гражданин».

А он, Людвиг Григорьевич Скубиро, был среди них всё-таки первым. И не только директором. Учителем, единомышленником, другом. Был и остаётся. На всю жизнь…

В наши дни, когда мы стремительно и бесповоротно вырвались к правде, — никого и ничем не удивишь. Мне, как несметной рати подобных, тоже пришлось «сидеть». И воевать, скажем, в штрафной роте. В девятнадцать лет каких глупостей не натворишь. Сегодня за это пожурили бы и только. Ну, гауптвахтой разве отделался…

Похуже вышло тогда. Сразу после войны «замели» повторно, на всякий случай. За старые, искупленные кровью грехи. Это уж безбожно. Просто — не по закону… Жила ещё радость Победы, народ ликовал повсюду. Мамочка ждала уже трижды раненного. А тут — извольте…

Зло взяло — бежал. Изловили, конечно, вскорости. Выходит, новая судимость? А военный трибунал махом вершил своё дело. Станет так называемая тройка вникать в тонкости, — накось! — что от какой-то там 181-й ОАШР за ту самую высоту нас из двухсот в живых осталось шестеро. Полк её не взял. А роту штрафников — жалко ли… Там, на верхотуре, в этом злосчастном блиндаже, кстати, их всего оказалось… трое фрицев-мертвецов, прикованных к пулемётам…

Словом, пока не распухла следственная папка, — бежал снова. Более года скрывался под чужой фамилией. Устроился в сельской местности учителем рисования. Завоевал авторитет в школе, общественником, как водится, стал, организовал кружок самодеятельности. Даже в завучи прочили…

Невдомёк только было, что «волокся» по всесоюзному розыску. И фото моё — в профиль и фас — завидным тиражом расползлось по городам и весям страны. В общем, и тут опознали — повязали…

И — рухнули мечты…

Стало понятно: ни архитектора, ни художника, ни даже учителя начальной школы из беглеца-рецидивиста уж, конечно, не получится.

А то ещё, голова садовая, в журналисты метил! По родительской, видите ли, стезе… Батя когда-то — в затёртом 17-м, при Керенском ещё — в «Известиях» пе-

чатался (сохранились его типографические опусы); мама — у Блюхера в ОКДВА начальником канцелярии газеты «Тревога» служила. Неизвестно, что их самих ожидало…

Со слов матери, она выбыла из партии по «семейным обстоятельствам». Как-никак нас, пацанов, у неё трое росло; мне, старшему, в ту пору едва четвёртый миновал. Отца же, в какую-то «чистку» ещё раньше из «рядов» перевели в «сочувствующие». А как бы дожили до бериевщины, скажем, — куда ещё могли?..

Так вот. А сынок пошёл дальше — этапами большого пути. Как в песне: «От Москвы до самых…» В общем, раскрутился на полную катушку — десять лет. Усиленный режим. Без вывода на работу. Сиди — не рыпайся. Потому, как «склонен к побегу!!!». Восклицательные знаки в формуляре значили количество таковых — для ориентации лагерной администрации…

Столица провожала «с почестями». От тюрьмы до состава с телячьими вагонами, оплетёнными, словно солдатскими обмотками, колючей проволокой, — не более двухсот метров. Дни этапирования заключённых москвичи знали. Поэтому и народу в оные собиралось — не счесть… Меня выводили первым. Одного. Четыре конвоира по сторонам, а пятый, в руке с «нагоняем» (револьвер системы «наган», образца прошлого века, стреляет, как правило, мимо), — рядом вышагивал. Сзади — овчарка на поводке. Опять же — на случай. Этакая помпа — умора…

Ведут, вижу, в «плацкартный». Он для конвоя — знаменитого, вологодского… Ах, и бравушки — солдатушки! С ними «сдружился» ещё по дороге на фронт… Так, стало быть, в отдельное купе и поместили. Полный комфорт… Остальных (видел уже из-за «решки» — отсчитывали пятёрками и — бегом, бегом… Ехать, стало быть, в отдельной камере, на колёсах только — ещё не приходилось. Те же — параша, решка, намордник… Так же в «кормушку» подают жратву, но… баланда уже не та — погуще, из солдатского, видно, рациона… «Вертухаи» (конвоиры) бычки суют в «глазок» — покури, дескать… Отношение уважительное — заслуженное, в общем… А на душе — кошки скребут…

Пусть светишь ты, моя звезда,
Но ночь темна… Ах, ночь — холодна…
Дождусь ли дня тепла когда?
Когда, когда вздохну свободно…
Блуждаю взором омертвелым,
Ищу, ловлю я звёздный луч…
А призрак уж — в саване белом —
Играет хороводом туч…
Они всё ближе, всё теснее,
Мрачней всё тучи надо мной…
И слышу я, в тоске немея,
Они зовут меня с собой…
Звезда моя! Куда? Как смеешь?..
Нет — вижу… Но как слаба ты,

Льёшь свет и только, а не греешь…
И тают, тают мечты… мечты…

В Барнауле (на первом, после Таганской тюрьмы, штрафняке) сразу взялся за подкоп. Расчёт был на внезапность. Весь барак выносил землю в карманах. Под полом вырыли вместительную яму. На это ушло, однако, полмесяца… В неё — уже без проволочки — ссыпали грунт (в основном песок) из «тоннеля». Он был тесен настолько, что работать в нём могли лишь двое — по-пластунски. Передний — с электролампочкой на шнуре (свет от неё служил и маяком, дабы не отклониться в сторону) — орудовал мастерком. Задний выволакивал брезент с нагруженным грунтом. За три ночи лаз вывели уже в предзонник… На следующую бы — «рванули когти».

И надо же случиться проливному дождю! Он обрушил в нескольких местах верхний слой, залил «котлован». Короче — выдал нашу затею… Обошлось как-то без особого шороха. Может, посчитали подкоп за давний — барак пустовал до нас. Не могли же так скоро… Улик не обнаружили. Ну, допрашивали кое-кого — «рысей». Меня — тоже. Никто не проговорился. Собственно, о моём сценарии знали лишь воры-законники. Они «держали» лагерь, были буграми. И работяги понимали, чем могло кончиться малодушие…

Распихали нас по другим баракам. Меня, как «без вывода», — в хозяйственную зону, где я художничал: рисовал портреты вождей, заодно — зэков, вольняшек. Малевал лозунги — вроде: «Трудись, не зная устали!». Всякой ерундой занимался, что ностальгия нападала…

И надумали мы с поваром Кайгородовым разыграть одноактную пьесу Чехова «Медведь» — так, ради хохмы. С 25-летним сроком, уже не молодой, повар этот обладал неиссякаемым юмором и актёрским даром. Импозантный, с брюшком — вылитый помещик Смирнов. Луку, кто играл, — не помню. Мне пришлось перевоплотиться в «ещё молодую вдовушку Попову». Сам я был молод, именно — «с ямочками на щеках», как в ремарке о ней сказано.

В зоне был клубишко. В нерабочие дни выводили в него, побарачно, благонадёжных: кино ли, концерт какой посмотреть. На премьеру нашу даже начальство свыше пригласили. Оно восседало в первом ряду, и я уловил «указующую» фразу: «Кто вам дал право в зону впускать женщин?.. Неважно, что…» И верно, думаю: важно — как!..

Ну, раскланялись по окончании потехи, то, сё. Сам наблюдаю за реакцией первого ряда. Вижу — спорят. Скинул я с головы лохмотья — стрижка по лагерной моде: сзади — под машинку, спереди — как сзади. Зэки — в хохот: они тоже не ведали о сюрпризе… Прямо фурор. Как говорится: «Бурные аплодисменты, все встают». Даже «энти» поиграли в ладушки…

И запала, знаете, блажь. Два года вынашивал, готовился, при случае, сыграть «роль» на авось…

Сыграл-таки…

Из Ангарска (тогда он был ещё посёлком Майским) — в 1950-м — удалось ещё раз уйти. Да, в женском. Днём. Через вахту. Я бы сказал: сквозь довольно

сложную, рискованную, несколько фантастическую ситуацию, создавшуюся там, на вахте. И более забавную за её пределами — на воле…

До сих пор, по прошествии почти сорока лет, этот побег живёт во мне волнующим ощущением прикосновения к своеобразному, что ли, творчеству: чувством осознанного удовлетворения в душе, вытеснившим из неё тогда напрочь страх, стыд, колебания, всякие представления о тяжких и неизбежных последствиях!

А они были. Но были и три дня свободы! И так глубоко дышалось…

И была ещё любовь — вот главное! Большая, верная. Сильнее жизни и смерти. Сильнее разума, страсти, закона…

Была и свобода! Точнее — показательный… Эх-ма!..

Дабы не растравлять свою память, пожалуй, выпишу просто кое-что из собственной жалобы, которую дважды (безответно!) подавал в Иркутский обком партии. Решился на такое унижение через три с лишним года после нашей (нашего?!) «свадьбы» — суда…

За это время — доложу — совершил не совсем желательный и вояж… В бухту Ванино. Там, не без труда, тормознулся, чтоб не угодить на Колыму. Она надоела до того… За четыре года (мама перед войной завербовалась туда учительницей — платили больше) пареньком, едва зелёным… ну-да — побегом!.. Уразумел всё же «страсти-мордасти» той самой «чудной планеты». В Магадане и десятилетку окончил…

Потом, значит, в Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре… Города эти тоже были знакомы, особого интереса не представляли. В первом — счастливое детство прошло, во втором — вышибли юношескую дурь в пехотном училище… Затем — по великой реке спустился (тут уж без намёка на комфорт — в общем… трюме) почти до устья Амура. Туда, где Макар телят… собственно, их и пасти было незачем — тайга надёжно охраняла…

Неделю, однако, спускались. Кормили один раз в день. Зато — как на убой. Откинут брезент с люка — мешок с пайками вытрясут. За ним — бочку с селёдкой выплеснут. Оближешься рассолом — хорошо… Давка такая — убивать не надо… До Циммермановки едва ли половина нашего брата спустилась. Другая — ещё ниже…

Не теряя драгоценного времени (да и не телок я, в самом деле), попытался всё же… «попытка — не пытка!» … в форме инженер-майора-распорядителя прокладываемой по льду реки автострады… К чёрному полушубку нацепил погоны, отпечатал на машинке и заверил печатью — всё, естественно, дело рук художника — соответствующее удостоверение на вымышленное имя. К кителю, если придётся распахнуться, или снять полушубок, присобачил гвардейский значок и орден Красной Звезды (из папье-маше). Для полного, значит, камуфляжа…

Как, сознаюсь, был уверен в успехе и до чего раздосадован провалом!.. Нашлась гнида — заложила… Но не об этом сейчас. Следствие над несостоявшейся авантюрой оборвала смерть «великого кормчего». Она и вселила при-

зрачную надежду на честное освобождение. Игра игрой, ежели она на сцене, а в жизни… Из тех амурских болот, из той тайги ещё никому не удавалось…

По иронии судьбы или органов вернулся опять в Ангарск. В тот же штрафняк, где ещё раньше нахлебался (пардон!) до блевотины. И сдали, мобудь, нервишки… Вот от 16.08.53 г. из той жалобы-просьбы в обком партии горькие вытяжки (в сокращении):

«…обратить внимание на следующее: я отбываю наказание по приговорам военного трибунала Мосгарнизона, а затем — спецлагсуда ИТЛ „ВМ“ МВД с начала 1948 года. По своим „статейным“ признакам большую часть — в строгорежимных лагерях и колониях… Будучи следственным, дважды бежал из-под стражи. Отбывая срок, бежал в третий раз, однако не с целью уклониться от меры… Жена моя — Дурнова Зинаида Борисовна — была изнасилована под Новый год (!) тремя мерзавцами, когда шла ко мне в зону… находилась на грани самоубийства… в ту пору она ещё не была женой, — мы любили… После института её направили экономистом района СУ-16, на объектах которого работали зэка… Там мы и познакомились… Случай потряс нас обоих предельно (а преступники-вахтёры не подверглись даже следствию — не оказалось „свидетелей“) … я решил бежать, чтобы доказать своё прежнее чувство к любимой…

12 мая 1950 года совершил побег, переодевшись в женское платье, принадлежавшее Дурновой… был задержан на третий день, т. к. не испытывал желания быть на свободе без возлюбленной, арестованной в первый же день по подозрению в соучастии… Нас судили в посёлке Майский. Мне дали десять лет, Дурновой — пять, с поражениями… Мы были счастливы, что на нашей „свадьбе“ присутствовало много народа и что мы теперь „вместе“…

В прошлом я — комсомолец, окончил в 1942 году десятилетку, был председателем учкома и „лёгкой кавалерии“ — редактором общешкольной газеты… Доброволец войны, трижды ранен… Оказался на скамье подсудимых, когда немудрено было не сесть… В моём „деле“ не столько вины, сколько беды. Именно поэтому я не хотел мириться с судопроизводством, навязавшем буквально мне вину и срок, — бежал…

Условия настоящего лагеря не описываю, полагая, что комиссия от обкома вскроет всю неприглядную, просто ужасную, невыносимую картину их… Итак, я — в лагере, из которого не только не смогу досрочно (по зачётам) освободиться, но и, очевидно, увидеть жену и ребёнка, которые должны приехать за тысячу с лишним километров, чтобы на минутку показаться „своему бедному папочке“… Свидания разрешаются только прямым родственникам и законным жёнам… Страшит ещё и то, что я болен туберкулёзом… здесь же нет ни лечения, ни питания… не существуют элементарные условия человеческого быта…

Обращаю ваше внимание на такого рода беспорядки… как и на своё собственное положение — крайне тяжёлое и бесперспективное в результате этих извращений и прошу…»

Таковы фрагменты «печальной прелюдии» к нашей «свадьбе». Но мы никогда не жалели, что дорого обошлась она нам…

Могло быть и хуже… Ведь нас судили за уголовное дело, а пришили 58-ю статью! По ней и шлёпнуть было недолго…

Удрать из лагеря практически невозможно. Из тюрьмы, понятно, — тем паче. А побеги совершались. Урезонить беглецов «высокой квалификации» могла только удесятирённая строгость. Навязанная ухищрениями следствия «тяжесть» преступления. Статья же за одиночный побег гласила всего до трёх лет.

В общем, альтернативы, как говорится, не было. Бежать одному. Но без помощи не обойтись. Своими планами поделился с Зиночкой. Она, не колеблясь, согласилась: «А ты возьмёшь меня с собой… такую?» — только и спросила — тихо, почти шёпотом… Мы обнялись. Нам пронзительно стало ясно: мы — нашлись!..

На подготовку ушло четыре месяца. Два её пропуска: один — в лагерь, где она работала, другой — во все зоны оцепления — я переделал. Как? Имя, к примеру, без всякой подтирки получило совершенно иное звучание от «лёгкого» прикосновения пера. И — так далее: Винайда Георгиевна Бубнова. Сравните… Экономист-ревизор — последнее слово добавил, будто «приезжая». Труднее, естественно, было с фото. И в том «помог» мне сам оперуполномоченный лагеря… Я снят был на них с подкрашенными на городской манер губами, в блестящих клипсах в ушах, с распущенными волосами… Ах, что она натворила, моя девочка! Об этом не было и речи… обрезала свои дивные косы — они свисали у неё ниже пояса…

На другое утро, после смехотворного, нелепого задержания, меня выставили напоказ перед всем «честным народом». У ворот — за зоной — стояли высокие тумбы (по моему замыслу их должна была объединить ажурная арка). На одну из них меня и водрузили. В женском ещё одеянии. С наручниками впереди. На шею навесили обрывок толи. Мелом вывели: «Беглец Макс Живило, он же Ник. Сальников, он же мадам Бубнова».

Подо мной, на земле, лежали двое. Они прошедшей ночью (когда меня арестовали) пытались драпануть «на рывок». Избитые до полусмерти, растерзанные собаками — куски мяса. Одежды и той на них почти не осталось…

Несмотря на ранний час развода, много было вольняшек: женщин, детей, пожилых. Они гоготали, тыкали в нас пальцами, потешались… Заключённые (десять тысяч!) проходили молча, понуро… Запоминали… Иные бровями лишь поводили: «Ничего, мол, парень, держись!» Знали меня многие…

Этих вот двух, отчаявшихся безумцев, хотели присовокупить к моему побегу. Некий, разжалованный до старлея полковник Гороховский (погон демонстративно не носил) — тот самый опер, который снабдил меня фотоаппаратом, затеял было канитель. Пришлось ему, в довольно фамильярном тоне, напомнить, что я, хотя у него на аркане, он у меня — на крючке. Да, выражаясь теперь известным юридическим термином, у меня было алиби. И ребята те не выжили… Однако карьерист судебного «производства» всё же воспользовался авантажем — вернул себе погоны с двумя просветами…

Другой — «советник от юстиции», прокурор Доброжанский — уж на суде из кожи лез вон: «…настоящий процесс — эти, потерявшие человеческий об-

лик, выродки, пережитки капитализма…» Чёрт знает что молол, брызгал слюной, вертел устрашающе бессовестными шарами…

Судебный состав не помню. Адвоката (женщину), к сожалению, — тоже… Мы отказались от защиты — любовь не нуждается в ней… Но какой же был прекрасной души человек — эта женщина! Навещала, уже потом, нас в лагерях, передавала письма наши, нехитрые посылочки с гостинцами (как выяснилось, вкладывая в них и свои постряпушки, продукты — для Зины).

Зал кинотеатра был переполнен. Двери раскрыты настежь. За ними — ещё больше любопытных. Стол, накрытый красным, трибуна, микрофоны… По бокам сцены — портреты Ленина и Сталина, написанные маслом… мной в прошлом году…

И когда судья зачитывал приговор и мы — «новобрачные» — расцеловались у всех на виду… будто раздвинулись стены… народ загудел, усиленный динамиками шум ворвался с улицы… Нас едва растащили по сторонам… Меня усадили в грузовик и, пока он не отъехал, закидали пачками папирос, махоркой…

Верховный суд вынужден был переквалифицировать Зине статью и уменьшить срок до года (освободилась она через восемь месяцев). Про меня «забыли». Так и отбухал сверх нормы в строгорежимных «саботажником» — без выхода на работу. На всю оставшуюся жизнь уяснил «гибкость» закона. Иногда даже вера в перестройку вдруг оборачивается некой фантасмагорией…

Но полно, — это только иногда!..

Так я, — о моём первом директоре. У него мягкие волосы — вечно рассыпаются по лбу. Глаза — голубые. Смотрит иронически, а скорее — грустно. Как-то даже в себя. Теперь я знаю о нём многое…

В войну, 15-летним мальчишкой, хлебнул лиха, коего, по нынешним меркам, хватило бы не на одного и взрослого.

В сталинское мародёрство был репрессирован его отец и тоже оттянул порядком. На фронте погиб старший брат. Это, пожалуй, самая глубокая травма, полоснувшая ребячью душу…

Думаю, отсюда и слишком чувствительный характер у моего друга. Иной раз он просто бесил меня. В период ещё не вполне осознанного крушения культа одиозного идола, сменившегося парадоксально-шутовскими выкрутасами волюнтаризма, явно не вязались, выглядели какими-то «несвоевременными» доброта, терпимость, такт. Не помню, чтобы директор школы повысил голос, одёрнул кого-то… Или я сам отвык от человеческого общения, не ощущал его даже в учительской среде…

Она была разношёрстна, случайна. Неполноценная какая-то. Взять хотя бы меня — вчерашнего уголовника. Как оказался я в ней?.. Учителя, за редким исключением, не имели даже специального образования. В основном молодые женщины, недавние выпускницы районных средних школ. Драть учеников за уши, ставить в угол было в порядке вещей. В учительской — хоть топор вешай — курили поголовно. О каком примере учащимся могла идти речь? Было не по себе слышать из уст учителей словечки «сибирского диалекта»: евто,

ишо, намедни. У иной бестии в юбке выше колен и матерное слово не ржавело…

Освободился я летом 1954-го. Проживать разрешили только в Хакасии. В Черногорске ждала «незаконная» жена с уже почти трёхлетним, тоже «незаконнорождённым» ребёнком, которого видел только раз через забор, ещё крошкой. Конечно, мы с Зиночкой были счастливы! Хотя первые месяцы воли оказались тягостней многих лет заключения…

Судите сами. В справке об освобождении — две фамилии. Видом на жительство не служила. Без прописки на работу не принимали. А поступить на оную — необходима прописка… Ежемесячно отмечался в милиции. Сделали запросы: кто же всё-таки я? Зима на носу — нет тёплой одежды. Да, вообще, ничего, ни шиша…

Осточертело всё. Пошёл в горком партии, к первому секретарю…

— Такое дело, — говорю, — документов, кроме этой бумажки, — никаких. Умею рисовать, немного знаю черчение. А вообще — «крупный специалист»… Но хочу жить честно! Или опять по кривой заставите…

— Ладно. Не кипятись, — ответил Арсененко (добрый оказался, не формалист то есть). — Нам известны твои способности… — И дал записку: «…с месячным испытательным сроком». Вылетел от него, как на крыльях…

Испытание выдержал. Как раз месяц прошатался по школам и иным учреждениям. Одни сочувствовали. У других — вакансий нет. Третьи — прямо: «Нам подпись и министра — до лампочки. Подавай «распоряжение» и чтоб с печатью…» Отказали всюду. А знал — учителей не хватает. Никому не нужен махровый…

Поверил Людвиг Яковлевич (чтобы — сразу к нему…). Именно — поверил! Не зэку — человеку… Только и сказал: «Идите, оформляйтесь…» И назвал меня по имени и отчеству. Ей-богу, едва не разнюнился… Уже позабыл себя… «Бандит», «сволочь», «ублюдок» — в лучшем случае, с издёвкой, Макс-интеллигент — кличка ещё в Таганке пристала! И это цветочки… Стыдно за тех, кто оскорблял… Спрашивается — за что? Не украл, не убил, не подличал. А воевал за кого, за что?..

Через сорок лет и орден Славы — настоящий! — «нашёл солдата»… Бежал — судите по Закону, а не глумитесь…

Гласность. Вещи, значит, надо называть своими именами. Людей — тоже, или кого там… И вовсе не понятно, когда говорят, что «не называем имён по понятным причинам». Не испытывая злонамеренья, но далёкий от жалости — она, как известно, унижает, — однако не желающий прослыть пустозвоном, назову (не обвиняя! это дело суда) тех сателлитов эпохи разбоя. Повторяю: не все, возможно, потеряли «честь и достоинство», с коими общался лично, без всякого, впрочем, на то желания.

Тех, кого запомнил:

— генерал-лейтенант Бурдаков — начальник УИТЛ-16;

— генерал-майор Маркеев — начальник по режиму УИТЛ-16;

— полковник Портянкин — начальник 1-го отдела;

— майор Кириченко — его заместитель (кажется), правая (скорее — «тяжёлая») рука престарелого эмвэдэшника;

— майор Васильев, начальник штрафного лаготделения № 12 — с него-то и началась, по сути, моя ангарская эпопея;

— оперуполномоченного Гороховского и прокурора Дорожанского уже называл выше;

— капитан Исаев. Ну, этот — сошка! Хотя тявкал, изощрялся в пасквильном словоблудстве пуще других — выслужиться, понятно, не легко;

— старшина Бонапарт — фамилия, кличка ли — не уверен, звали его так и «свои» — начальник ШИЗО (штрафной изолятор) 6-го лагеря. О нём бы стоило особо…

Но, так уж — чохом — обо всех. Сателлитах то есть. Они, значит, «безличные исполнители чужой воли». Назвал их пофамильно — уже необезличенные. Чьей воли, точнее приказов, команд, исполнители? Естественно, вышестоящих. А те — они тоже, видите ли, исполнители. Чьих команд? Кто рангом выше… А самый, самый-то главнокомандующий кто?..

Его знал весь народ! За него шёл в бой. На подвиг трудовой… И даже (жуткая ирония, кошмар!) с его именем шёл на собственный расстрел…

Читал в «Литературной газете», а потом и по телевидению лицезрел судебный фарс (иначе не зовёшь это «разбирательство») о семнадцати исках некоего «историка» или прокурора — словом, фармазонщика — по-лагерному. Право, чуть обалдел от наглой выходки «ортодокса» юриспруденции, снискавшего в мгновение (виноват, — в «семнадцать мгновений») скандальную популярность.

Зачем вы лжёте, гражданин Шеховцов? Кого выгораживаете? Нет, вы печётесь о собственной персоне. В своих «мгновениях», отнявших уйму времени и средств у сотен тысяч людей. Вашей ханжеской натуре следовало бы предъявить иск! Вы обеливаете убийцу миллионов… Убить одного, даже нечаянно или при самообороне, — подсудно. А речами — разве нет? Скольких вы, к примеру, приговорили?..

Утешу вас в одном. Зло будет наказано. И — доказано. Суд над вашим подопечным состоится. Он уже идёт. Давно. И будет ещё долгим. Но — справедливым! Народ чувствует глубоко, всё помнит. Его не проведёшь… И не вдруг уже пришёл конец необузданной власти. Наступит конец беззаконию…

Поговорил бы с вами — некогда… Я ведь тоже сталинцем был. В 36-м в физкультурном параде на Красной площади участвовал. А как ростом не выдался — выбегал к мавзолею первым. Глядя на меня, чтобы не ошибиться, остальные так же махали руками… В лагере военно-физкультурном, пионерском естественно, частенько даже ночью будили, чтобы повторить движения. Выдрессировали — машинально всё делал… Так что всю жизнь почти по лагерям… Исправился…

Вы, однако, не воевали, надо думать — не сидели в «пионерских»… Словом, какие ваши годы… у вас всё ещё впереди…

Право, как уже заикнулся, расскажу лучше что-нибудь позабавнее о своём «творчестве» тех памятных лет. Откровенно говоря — прекрасных всё же! — отчаянно смелых, бесшабашных годах молодости…

В Китойлаг (так ещё прозывалось УИТЛ-16 до рождения Ангарска, такая станция — Китой — была) наш этап прибыл глубокой ночью. В первую очередь высадили «рысей» — грузовик набрался. И — прямёхонько к штрафному. Остальных — колоннами, пёхом, по разным лагерям. Под лай собак и конвоя, с винтовочной пальбой — погнали пёхом по лагерям…

Высыпали мы из-под брезента на свет прожекторов. Пригляделись. Пулемёты на треногах со всех сторон. Собачки хвостиками весело помахивают. И эти, с автоматами, расшиперили ноги — знакомая картина… В стороне, видим, — начальство, сплочённой кучкой смело подвинулось ближе. Его раза в два больше, чем нас. Тоже приглядываются, меж собой совещаются в полголоса…

— Внимание! — вдруг рявкнул майор (он один был с погонами, остальные — в плащах). — Кто из вас Живило? Отойди в сторону. Сюда вот! С вещами… Остальным оставаться на месте…

Не скажу, что я высокого роста — скорее ниже среднего. В задрипанной телогрейке. «Тонкий, звонкий и прозрачный» — так о таких «фитилях» говорили среди нас… Волоку за собой чемоданишко и самодельный этюдник (60 х 80 см). Оба тяжёлые. Слышу: «Нечто. Вроде впечатляющее создание», — эдакий вздох разочарования.

— Так-с, — майор опять, — что в чемодане? Книги… Некогда будет читать. А это что за ящик?.. Этюдник… Что это такое?.. Краски, кисти… Н-да, так вот… кисточки ты себе можешь в задницу вставить. У меня для таких… художников… приготовлено местечко… где девяносто девять плачут, а один смеется…

— Вот я и буду смеяться, — вырвалось у меня…

Расскажу (хоть и не к месту!) ещё об одном замечательном человеке. О майоре Егорове Василии Ивановиче (запомнил — как с детства Чапаева), начальнике 6-го лагеря. От него-то… Нет, я сбежал через одну из вахт стройплощадки, куда выходили зэка из нескольких лагерей одновременно… Но он-то и был моим непосредственным начальником — Гражданином, но без кавычек и с большой буквы, в полном смысле… Из-за меня, в общем, имел кучу неприятностей…

Во-первых, Егоров меня взял из штрафного к себе. Работал при КВЧ (культурно-воспитательная часть) художником. Главным, потому как были у меня ещё помощники, художники с образованием, даже с академическим. Не верили мне, что самоучка, а я впервые, именно в этом лагере, начал писать маслом. Соврал, дескать, с 4-го курса художественного института… С оказией из Москвы пришли кисти и краски. Сам и грунтовать полотно не знал толком. Ребят заставил. Присмотрелся, как они орудуют — пейзажисты были. Ну и рванул: хлёстко, пастозно… Трёхметровые, в рост, портреты Ленина и Сталина… А чего, думаю, мелочиться… Потом их забрали в кинотеатр посёлка Майского… Так они и весели на нашем суде как свидетели…

Так вот, в лагере никакого оформления не было. Растянут перед вахтой прибитый к деревяшкам единственный лозунг: «Трудись, не зная устали!».

За короткое время по моему проекту (в придачу архитектурой овладевал) выстроили эстраду в форме раковины. Инженеры не сумели вычислить и вычертить кружала для её свода — сам их «выкроил». Аллею передовиков труда, с портретами (так называемой сухой кистью — этим я владел ещё в средней школе) и оригинальными светильниками… Да много ещё кое-чего… работал с интересом, увлечённо…



М. Ф. Живило с женой

Лагерь наш ставили в пример. Приезжавшему из других городов и столицы даже (академик Бардин, помню посетил нас) руководству разному непременно показывали. Василий Иванович, правда, терпеть не мог всех, кто «руками водил». С заключёнными держался запросто. Как на войне привык с солдатами. Сам снимал пробу на кухне. И не вздумай стянуть из положенного для общего котла — поблажки не будет. Уважали, надо признать, его все: работяги (многие — бывшие фронтовики), вольный гражданский персонал, даже блатные — «воры-законники».

С кагэбэшниками не контактировал. Да что у него с ними могло быть общего? Он никогда в органах не служил. Кроме многочисленных боевых наград, у него красовался орден Александра Невского (по праздникам он позволял себе «пофорсить» в парадной форме). Был он изранен, прихрамывал слегка.

Во-вторых… После суда, само собой, «бодливого телка» загнали опять в стойло. Каким-то способом Егоров вызволил меня со «штрафняка» к себе снова. Его самого перевели из 6-го в 8-й — «отсталый» лагерь…

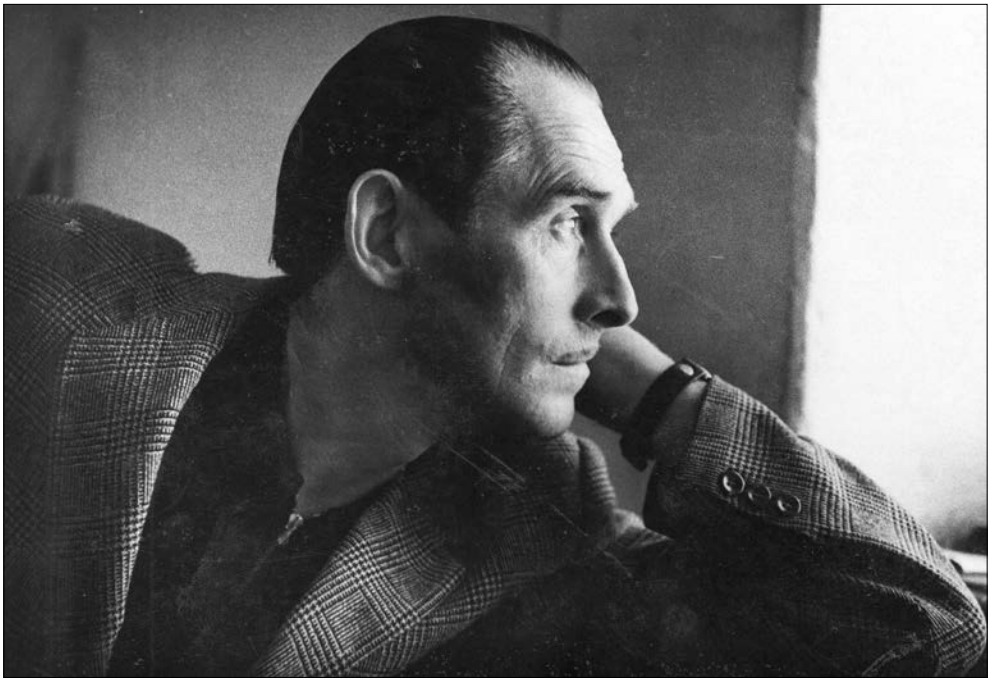
— Ну что, — смеётся, — начнём всё с начала? Только без фокусов, старшина…

Он знал, что я на фронте был помкомвзвода полковой разведки…

В-третьих (и это самое главное!), именно он тогда же разрешил нам с Зиной личное свидание…

Мысли о себе — не только для бумаги…

…Почему-то пришло в голову: раньше я лихо заламывал папиросу, курил небрежно, щелчком пальцев ловко пускал жирные и непогашенные окурки с расстояния в пепельницу; теперь курил просто — без излома мундштука



Марк Феодосьевич Живило — художник-график Красноярского книжного издательства

и в то же время жадно, глотая весь дым, и выкурив, тщательно тушил папиросу, чтоб не пахло горелой бумагой…

Я рисую, занимаюсь искусством…

Нет, я делаю шкафы, стулья, я стегаю одеяла, подбиваю жене каблуки! Мои деньги идут на это, деньги, которые мне платят за моё искусство…

Читал Эренбурга «Годы. Люди. Жизнь».

Думал: чем ни трудней путь моей Родины, тем сильнее, твёрже хочется стоять за неё. Я давно уже чувствую, что стал коммунистом…

Зина как-то говорила: «Творчество художника немыслимо оценить, представить без его жизни, лица… Творчество — это не только картины, рисунки, песни, стихи, это и вся жизнь человека, связанного с искусством…»

1975 г.

Подготовлено к печати Горской Ириной Анатольевной (племянницей М. Ф. Живило)

VII. Шестидесятники: «Я обретал себя в бригаде…»[1]



° *В. Н. Белкин.*

Борис Полевой

Саянские записки[1]

В Дивногорске на склоне лесистой горы молодые строители на досуге создали и оборудовали кафе «Вира» по проектам молодых архитекторов. Собственные художники сделали и раскрасили светильники, расписали абажуры. Всё — до причудливых узоров на стенах — плод рук молодых энтузиастов. По вечерам оно всегда полно, это кафе «Вира», которое не уступает по своему оформлению знаменитым московским юношеским кафе «Молодёжное» и «Аэлита». По мнению Бориса Полевого, это волшебство, удивительное и в замысле, и в исполнении, и в действии: «Как-то само собой получается, что наш визит, предпринятый исключительно в общеобразовательных целях, сам собой перерастает в литературный вечер. Очень милый и тёплый, никем не организованный, не опекаемый и, вероятно, вследствие этого, необыкновенно сердечный. Публика чутка, тепла, благодушна. Выступают Александр Безыменский, Константин Симонов, Роберт Рождественский. Как беспристрастный свидетель, наблюдая эти выступления, могу засвидетельствовать, что поэзия трёх поколений пользовалась здесь одинаковым успехом. Хозяева не остаются в долгу. Здешняя



Кафе «Вира» в Дивногорске. Читает стихи Владлен Белкин, 14 декабря 1968 г.

[1] *Полевой Б. Саянские записки. М.: Советская Россия, 1964.*

земля, как оказывается, богата не только водными ресурсами и спящими рудами. Из компании, что пела в уголке, почти насильно выталкивают курносого, очень застенчивого паренька Владлена Белкина — личность, как видно, здесь очень популярную. Каменщик по профессии, он после долгих дружных упрашиваний начинает загробным голосом, к которому так часто прибегают молодые поэты, читать стихотворение о Дивногорске, который он в буквальном смысле строит собственными руками. В кафе наступает тишина. Белкин читает несколько стихотворений, ещё грубоватых, порой по-юношески неуклюжих, как и он сам, но каких-то очень сердечных, поистине согретых теплом сердца».

Владлен Белкин

* * *

Неотглаженный и горластый,
Работящий и гулевой,
Между сопок и скал клыкастых
Дерзко втиснулся город мой!
Просмоленный, таёжный, бревенчатый,



Владлен Белкин со своей бригадой на строительстве Красноярской ГЭС. Конец 1960-х гг.

Молодёжный,
Много-
сту-
пен-
чатый...
Свой! Своими руками рубленный,
В дикий берег упрямо вросший.
Дивный! Грязный...
Хвалёный и руганый,
На все города непохожий.
Здесь снега на улицах белые,
А весна от жарков оранжева.
Здесь медведицы неробелые
По дворам на цепях расхаживают.
Здесь кострами ночи распуганы,
Здесь дороги до звона укатаны,
И монашьи тропы распутаны,
И грядущего трассы угаданы.
Знаю — будут дома-громадины,
Богатырская встанет ГЭС,
Верю — здесь соберут романтики
Свой Всемирный Конгресс!

Красноярск, 1971 г.
Сборник «Дивногория»

Людмила Щипахина[1]

Красноярские Столбы

Эти скалы из базальта,
Эти тропы из гранита,
Эти поднятые к небу
Каменные паруса!
…Здесь у каменных громадин
Предстаю себе итогом,
Утверждаюсь в правде мудрой
И стыжусь несовершенств.

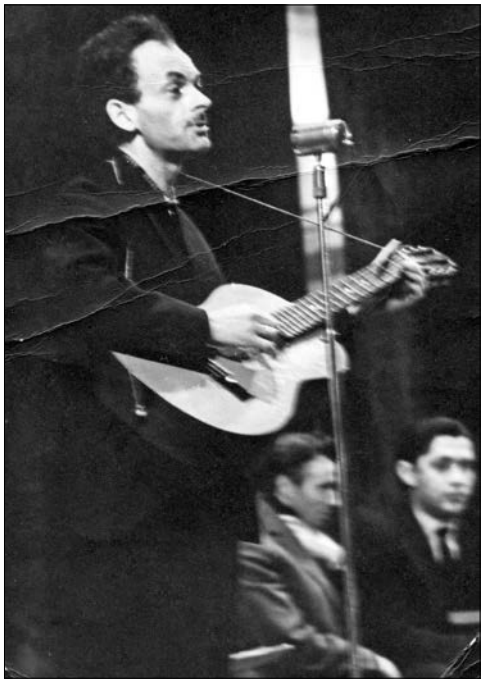
[1] *Участница «Енисейских встреч — 73».*

Здесь, где небо первозданно,
Первородно туч движенье,
Здесь, где девственна природа
И душа её чиста,
Я хочу себя осмыслить,
Подытожить заблужденья,
Над потерями поплакать,
Заручиться высотой.
Если будет мне тревожно,
Если слабости осилят,
Если сердце затоскует,
Если заболит душа,
Знаю, где искать спасенья,
Знаю, где искать надежду,
Знаю, есть такая сила —
Красноярские Столбы!

Булат Окуджава[1]

Песенка об открытой двери

Когда метель кричит, как зверь —
Протяжно и сердито,
Не запирайте вашу дверь,
Пусть будет дверь открыта.
И если ляжет дальний путь,
Нелёгкий путь, представьте,
Дверь не забудьте распахнуть,
Открытой дверь оставьте.
И, уходя в ночной тиши,
Без лишних слов решайте:
Огонь сосны с огнём души
В печи перемешайте.
Пусть будет тёплою стена
И мягкою — скамейка…
Дверям закрытым — грош цена,
Замку цена — копейка!



Булат Шалвович Окуджава, 1969 г.

[1] *Участник «Енисейских встреч — 69».*

Валентин Распутин

Костровые новых городов

(отрывки из очерков)[1]

Золотые костры романтики

(репортаж)

Николай Доровских, начальник штаба ударной комсомольской стройки:

— Я бы выстроил всех этих ребят и девчонок вдоль трассы, и пусть бы видели пассажиры, кто её строил. И пусть бы они удивились, и пусть бы завидовали нашим ребятам. И пусть бы знали каждого в лицо.

Олег Шапошник, главный инженер восстановительного поезда № 8:

— Почти восемь лет слова «Абакан — Тайшет» определяли всё, чем мы жили. Абакан — Тайшет — и уже не надо ничего объяснять. Абакан — Тайшет — и ты можешь не предъявлять свою служебную характеристику. Абакан — Тайшет — и ты мой друг. Абакан — Тайшет — и даже через десятки лет мы с тобой снова становимся молодыми.

Дмитрий Иванович Коротчаев, начальник управления «Абаканстройпуть»:

— Эта дорога будет вечно напоминать людям о подвиге комсомольцев 60-х годов.



Писатели в войсковой части. Третий слева — Валентин Распутин. Иркутская область, 1970-е гг. Фотография из фонда С. Н. Елагиной

[1] *Распутин В. Костровые новых городов. Красноярск: Красноярское книжное изд-во, 1966.*

Ребята

Проще всего написать: стройка была начата в начале 1958 года и закончена в конце 1965-го. Легче всего оговориться: не так-то всё это было просто. И добавить: не так-то всё это было легко.

Годы, как временные величины, — всего лишь пустая оболочка, порожняк, который можно загрузить как угодно. Мы знаем с детства: в каждом из них 12 месяцев, 365 или 366 дней. И вдруг эти цифры теряют для нас всю свою значимость. Мы вспоминаем 1941 год. Неужели и в нём были те же 12 месяцев, 365 дней? Мы не верим. Потому что 1941-й имеет для нас другое измерение — измерение войны, измерение беды. Всё остальное было второстепенным и третьестепенным, даже то, что раньше составляло суть.

Так и здесь: годы запомнились строителям их связью с дорогой. Год, когда был построен мост через Енисей. Год, когда вступил в строй Козинский виадук. Год, когда был пробит Крольский тоннель. То есть ребята шли по годам, как победители по завоёванным территориям, когда всякая дата была адресом.

…Вот они, самые первые, прыгают с машины, набирают в ботинки снег — и осматриваются вокруг: здесь будет станция. А вокруг только снег, чтобы поставить палатки. Это было в феврале 1958 года, когда первые группы комсомольцев пришли на место будущих станций Минусинск — Курагино.

А вот стоит парень и смотрит: здесь пройдёт дорога. И снег будет падать на дорогу и на станцию. Он смотрит: снег, только снег. Он раздвигает его и видит дорогу — шпалы, рельсы. Она уходит всё дальше и дальше. Он видит поезд. Это галлюцинация. Она вызвана жаждой видеть поезд. Теперь можно уходить. Он уходит в палатку, и снег за спиной смыкается, а поезд исчезает.

В апреле 1958 года XIII съезд комсомола объявил стройку ударной комсомольской. Комсомольцы, вперёд! Они выходили с рюкзаками. Во всех концах страны кассиры торопливо искали в своих справочниках незнакомую им станцию Абакан. «Через Ачинск?» — спрашивали кассиры. «Ачинск не знаем, — отвечали они, — нам нужен Абакан».

Ехали, ехали, со всех концов страны ехали ребята и девчата. Тысячи ребят и тысячи девчат. Ещё не зная её, они уже любили трассу за то, что она позвала их, сделала их важными и для самих себя, и для неё.

Трасса манила, как громадный костёр, свет которого был виден всюду. Они шли к нему. Костёр освещал тайгу, горы. И ничего, кроме них. Они смотрели: тайга. Горы. А костёр полыхал, полыхал — самый лучший и верный маяк для молодых.

Дорога

Она началась с тропинки — с той тропинки, которую осенью 1942 года прокладывали Александр Кошурников, Алексей Журавлёв и Константин Стофато. Они погибли, не доведя свою тропинку до дороги, а чертёжную линию до конечной точки, так они и оборвались: тропка — у суровой и сумасшедшей реки Казыр, а линия на полпути, посреди бумажного листа. Казалось, тропинка с тех пор должна зарасти, а линия потерять свои очертания.

Трое остались в тайге, завещав людям дорогу, которую необходимо было продолжить из линии и начать с тропинки. Завещание было заверено подвигом изыскателей. Подпись стояла ясная и отчётливая, даже тогда, в феврале 1958 года, 15 лет спустя после их гибели, её мог разобрать любой, мало-мальски смыслящий в грамоте и законах первопроходец. Коротко её можно передать так: дальше, дальше, дальше — трижды дальше, и ни шагу назад.

Первые строители лопатами расчищали снег для первых метров дороги. Трудно было представить, что эти метры будут продолжаться 647 километров. Они первые, стоящие у самых истоков дороги, ещё не видели рек, которые одна за другой, как злые силы в сказках, встанут на её пути, ещё мало знали о скалах, которые надо будет пробить, чтобы, пройдя несколько километров, снова уткнуться в скалу и опять закладывать взрывчатку. Всё это знали проектировщики, всё это было на картах, в расчётах, а они, лопатами расчищавшие снег для первых метров дороги, — они убрали его, ещё не ведая всего, что им предстояло испытать.

И они пошли. Были и реки, были и скалы, но из первых метров выросли десятки, сотни, потом километры, а они всё шли, шли друг за другом или рядом — путейцы, мостостроители, тоннельщики, механизаторы, — у каждого было своё место, у каждого своя ноша.

Они всё шли, шли….

И она двигалась за ними, она, как нить шелкопряда, становилась всё длинней и длинней. Они были с западного участка — там, где степь переходит в горы. От Тайшета навстречу им шли строители восточного участка — там, где тайга, болота. Между ними был центральный участок — тоже горы, пропасти.

Так рождалась и росла дорога. Строители испытали всё, что было и не было учтено проектировщиками, прежде чем пустить её в самостоятельную дорогу. У дорог ведь тоже когда-то впервые начинается самостоятельный путь.

Её называли Трассой мужества. От Кошурникова, Журавлёва и Стофато до строителей, заканчивающих работы. Каждый метр здесь требовал мужества. У строителей был злой дух — Саяны. Он никак не хотел простить им того, что они осмелились подняться в его высотные каменные замки. Это была нелёгкая борьба и нелёгкая победа.

* * *

Только не надо спрашивать у ребят: помните, ребята, Володю? Ребята могут обидеться. «Эх ты, — скажут они, — как мог ты подумать, что кто-то из нас забыл Володю? Эх ты…» — и отойдут.

А помните, ребята, как тогда летом 1959 года Володя пришёл в первый тоннельный? Их было трое друзей, трое выпускников Ленинградского института железнодорожного транспорта — Лев Горлин, Юра Кордаков и он, Володя. Помните, ребята?..

«Что ты душу тянешь? — могут сказать ребята. — Знаешь ли ты, что Горлин уехал в Ленинград, а Кордаков — на Дальний Восток?»

А Володя? Только не надо спрашивать вот так: Володя? Никуда Володя не уехал. Почти все ребята из первого тоннельного ушли на новые стройки, а Володя остался на трассе. Он будет здесь вечно. Никуда он не ушёл, никуда он не уедет. Володя Щёткин проработал на трассе всего полтора года. Сначала он был инженером проектной группы, затем начальником смены, а уже через год — начальником горного участка на строительстве Кордонского тоннеля. Ребята говорят, что это был самый молодой у нас в Союзе начальник горного участка. Они говорят, что это был самый талантливый инженер. Он мечтал о научной работе. «Вот построим трассу…» — говорил он, улыбаясь. И нам казалось, что это пара пустяков — построить трассу, и нам в тысячу раз легче было переносить самое трудное. Так говорят ребята. Это был отличный парень. Он сам обучал проходчиков, бетонщиков, крепильщиков, сам организовывал спортивные секции, играл в пьесах, был членом комитета комсомольского отряда. Его жизнь — это жизнь наших лучших ровесников, которые осваивали самые глухие уголки и едут в самые трудные места. Без них нельзя построить новый город и провести сквозь тайгу и горы новую дорогу.

Володя погиб в результате аварии на своём участке. В таких случаях говорят: погиб на посту. В тот день, когда тоннельщики шли за гробом своего товарища, принесли свежий номер газеты, на первой полосе которой был помещён Володин портрет как одного из лучших строителей трассы. А Володя уже не строил.

Они не могли понять, не могли осознать случившегося. Жил человек, ходил вместе с ними на работу, быть может, больше любого из них делал для этого самого тоннеля и вдруг… Нет человека. Это казалось чёрт знает какой подлостью — думать о Володе как о мёртвом. Они знали его так хорошо, что им казалось, будто он принял на себя удар, который мог обрушиться на кого-то другого. И они, мужчины, рождения конца тридцатых — начала сороковых годов, провожая Володю, плакали, не стесняясь друг друга.

Ровно через год в первом тоннельном отряде состоялось комсомольское собрание, посвящённое Володе. Ребята записали в своём решении: «Мы ставим имя Володи Щёткина в одном ряду с именами героев-изыскателей Кошурникова, Журавлёва и Стофато, погибших при изыскании трассы».

…Никуда он не уедет с трассы. Она стала для него единственной дорогой. Теперь он провожает все поезда, проходящие через тоннель. Он поднимает флажок: счастливого пути!

* * *

Трасса Абакан — Тайшет — это 647 километров стали и мужества. На восточном участке она идёт через тайгу и болота, на западном и центральном — сквозь горы и пропасти.

Трасса Абакан — Тайшет — это 700 искусственных сооружений.

Трасса Абакан — Тайшет — это девять тоннелей общей протяжённостью более десяти километров.

Трасса Абакан — Тайшет — это три виадука, один из которых Козинский — уникальнейшее и по размерам, и по своему инженерному замыслу сооружение Азии.

Трасса Абакан — Тайшет — это 258 больших и малых мостов.

Трасса Абакан — Тайшет — это более сорока станций и разъездов.

Трасса Абакан — Тайшет — это более сорока миллионов кубометров земляных, в том числе более 15 миллионов кубометров скальных пород, которые пришлось выполнить строителям.

Трасса Абакан — Тайшет — это 40-градусные морозы, это метели и жара, снега и бездорожье.

Трасса Абакан — Тайшет — это подвиг, который свершили изыскатели дороги Александр Кошурников, Алексей Журавлёв и Константин Стофато и который продолжили строители.

1966 г.

Вячеслав Назаров

И вечный бой...[1]

Слово о старшем товарище

Гроза нас исступлённая ласкала,
Свистели пули, как бурундуки,
И молнии высокого накала
До срока обжигали нам виски…
И. Рождественский

Я давно собирался сделать о нём очерк. Вернее, не очерк, а что-то похожее на него самого — такое же неуёмное, молодое, открытое. И никак не получалось — то отвлекали большие и малые дела, то просто не до этого было. Дни проходили за днями, а наброски лежали, покрывались пылью, постепенно скрывались под другими бумагами. И вдруг звонок — неожиданный, нелепый

[1] *Публикуется по рукописи из архива В. А. Назарова, хранящегося в Литературном музее им. В. П. Астафьева.*



К. Лисовский, И. Рождественский, В. Мешков, Я. Решетников, И. Цвейтов. Перекрытие Енисея, март 1963 г.

и необъяснимый, как сами эти слова: «Умер Игнатий Дмитриевич Рождественский».

— То-есть как — умер?

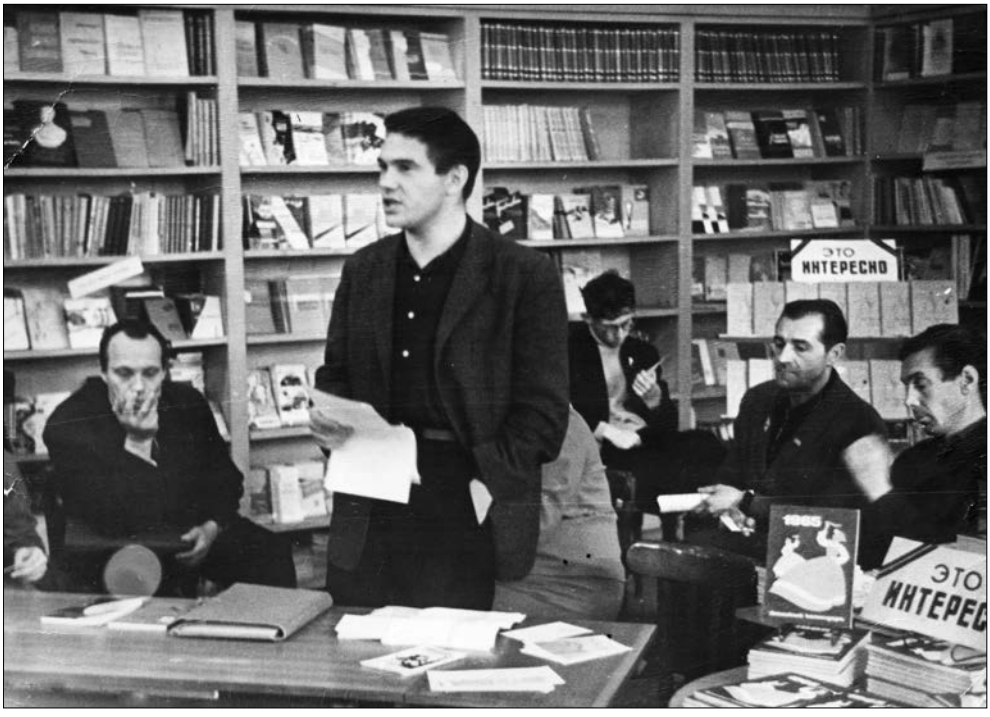
Я сидел за столом, а в голову лезли самые неподходящие ко всему случившемуся мысли: Господи, как же так, ведь я же не успел ему при жизни… Подумал и рассердился сам на себя: что значит — при жизни? Как будто жизнь человеческая измеряется тем обидно малым счётом десятилетий, которые необходимы организму, чтобы родиться, вырасти, возмужать, состариться и умереть! Нет, природа поступила мудрее: каждый сам определяет себе продолжительность жизни в этом суровом и справедливом мире. Тем, как он живёт, какой мерой меряет свои дела и поступки.

Если каждый день дрожит он над весами дел: вот это мне, а вот это людям; если он снимает шляпу перед вознёсшимся подлецом и проходит мимо упавшего товарища; если в тёмном доме своей души живёт только он сам — пусть не ищет спасения в чудесах медицины такой человек: смерть уже восторжествовала над ним. Но есть и другое уменье жить.

Во всём, что писал я об Игнатии Дмитриевиче тогда, — настоящее время. И я сейчас не переправил его на прошедшее. Потому что прошедшее время и стихи Рождественского — несовместимы.

Даже в наш рационалистический век профессия поэта окутана мистическим флёром таинственности. Нашим волосатым коллегам из пещер каменного

века было несравненно легче: поэтов тогда называли колдунами, и это всё объясняло: и странность наряда, и необычность поведения, и привычку целыми днями бормотать что-то, не слыша и не видя ничего вокруг. Кроме того, жреческие регалии надёжно охраняли от разного рода критики, что особенно важно, ибо единственным критическим аргументом в то время была увесистая дубина. А сейчас всё совершеннее становятся кибернетические машины, появляются новые формы математического анализа, нейрохирургии, — раздражая определённые участки мозга, могут вызвать у вас радость, страх, голод, гнев. Торжествующий здравый смысл развеял по ветру пепел древних суеверий, академик Колмогоров выводит формулу интуиции на атомно-молекулярном уровне, а весёлые физики констатируют механического стихотворца. Казалось, такое сокрушительное наступление не оставит у меня камня на камне от творца Шехерезады, и побеждённые мечтатели толпами ринутся на вакантные места ночных сторожей при научно-исследовательских институтах, сдав предварительно в пункты утильсырья свои неизданные произведения по цене три копейки за килограмм. Или, по крайней мере, станут добропорядочными прозаиками, чтобы в художественной форме отражать преимущества научной организации труда на предприятиях детской индустрии. Или — кинорежиссёрами, фиксирующими поведение взвешенных частиц в охлаждённых растворах. Но вопреки здравому смыслу и математическим прогнозам живут на земле поэты. И всё больше их становится. И растут тиражи их легкомысленно тонких книг.



День поэзии в библиотеке. Читает Вячеслав Назаров, 1965 г.

И убелённые сединой академики непростительно засоряют нейроклетки своего мозга информацией типа:

Играй на разрыв аорты
с кошачьей головой во рту.
Три чёрта было. Ты — четвёртый,
последний, чудный чёрт в цвету.

Впрочем, в литературном мире на поэтов смотрят с опаской: непонятный они народ, всё чего-то мечутся, всё чего-то ищут, никогда не знаешь, что они сделают в следующую секунду — позовут на Луну или попросят денег взаймы. Кто-то пустил крылатую фразу: «Поэт, которому больше тридцати, — это уже неизлечимо». Что ж, пожалуй, верно, но только в этой фразе больше грусти, чем иронии. Потому что поэзия — это неизлечимая молодость, это хроническая душевная неустроенность, это острая форма гражданской активности, это нестерпимая, обнажённая искренность. Кто знает, может быть, многим из наших солидных прозаиков снится ночами, что они ещё молоды и пишут стихи? Ведь недаром высшей похвалой прозаическому произведению часто становится «поэтическое видение автора»… Итак, живут на земле стихи. Живут на земле поэты — весёлые и грустные, великие и не очень, известные и начинающие — разные и в то же время чем-то неуловимым похожие друг на друга…

В 1967 году ЦК комсомола проводил совещание молодых поэтов Сибири и Дальнего Востока. Впрочем, к бытующему значению слова «совещание» всё это имело весьма отдалённое отношение. Не было зала с откидными скамейками, не было традиционного стола с красной суконной скатертью и пузатых графинов с эликсиром красноречия. Не было президиума и председателя, не было докладчика, шлифующего носовым платком свою лысину до зеркального блеска.

Были — поезда. Была — Россия. Мы ездили по стране и читали стихи колхозникам, рабочим, студентам. Был каскад впечатлений и встреч, был большой и честный разговор с читателем, после которого мы, пожалуй, впервые ощутили, как много могут значить для человека несколько рифмованных строк, второпях разбросанных на вагонной полке. Но для меня лично эти поездки были связаны с другим, может быть, и небольшим, но весьма существенным открытием. Это началось ещё в Москве. Я зашёл в правление советских писателей РСФСР — недавно меня «приняли в писатели», и мне надо было получить членский билет. Я робко шёл по длинному коридору мимо огромных, похожих на крепостные ворота дверей с фамилиями, известными всей стране. Вдруг одна из дверей с лязгом открылась. Вышедший из неё человек внимательно посмотрел на меня и улыбнулся неожиданно, увидав на моём лице целую гамму оттенков растерянности.

— Заблудились? А вам кого?

Я, откровенно говоря, не знал, кого именно мне нужно, а потому доверительно сообщил самое, на мой взгляд, важное:

— Я из Красноярска…

Человек оживился:

— Из Красноярска? Послушайте, а как там чувствует себя… — И последовало имя поэта.

Я не придал этому значения вначале — может быть, просто знакомый. Но вот начались поезда, начались «города и веси», выплыла из весеннего тумана древняя Вологда, похожая на русскую сказку — лёгкими сверкавшими куполами соборов, ажурной резьбой крестов, удивительными иконами Дионисия и фантастическими деревянными церквами, построенными триста лет назад безвестными прототипами «мастеров» Вознесенского. И всё чаще и чаще я слышал эту фразу, ставшую неожиданным стереотипом: «Из Красноярска? А как там чувствует себя…»

В Архангельск мы прибыли утром. Тяжело и холодно дышало Белое море. В порту, пропахшем рыбой, неистово визжали лебёдки. Тёмные пузатые сейнеры нервно покрикивали, пытаясь протолкаться поближе к грузовому причалу. Нас встречал молоденький кинооператор. Он снимал нас то на фоне моря, то у портального крана, то подзывал рыбаков в штормовках, которые с хмурым интересом рассматривали нас. И я уже не удивился, услышав от суетливого киношника традиционную фразу: «Из Красноярска? А как чувствует себя Игнатий Дмитриевич Рождественский?» А Игнатий Дмитриевич чувствовал себя плохо. Ведь поэты — это не бесплотные ангелы и не бесстрастные пророки с куском стали вместо сердца. Сердце у них обыкновенное — человечье. Несчастье, тяжкое и нелепое в своей неотвратимости, ударило из-за угла. Ударило в самое сердце… Таково было моё маленькое открытие. Я увидел воочию, что Красноярск и Игнатий Рождественский воспринимаются в разных уголках нашей страны как-то слитно, неделимо. Имя поэта стало духовным выражением огромного самобытного края. И невозможно их теперь разделить, как невозможно разделить душу и тело. И ещё. Я увидел, как близко принимают самые разные люди всё, что связано с жизнью человека, знакомого им только по стихам. Поэт стал частичкой их самих, и если больно поэту — больно тысячам людей, которым он дал крылья. Сотни людей просили меня передать Игнатию Дмитриевичу какие-то слова — порой неуклюжие, но всегда искренние и тёплые. И я подумал: а в чём секрет? какая сила роднит поэта с самыми разными людьми? Какой ценой достигается та великая власть, когда тысяча людей смеются, когда тебе смешно, и плачут, когда тебе больно? Может быть, правы полусумасшедшие философы, и в каждом из нас в древних глубинах памяти, на дне подсознания, бродят ещё затухающие огоньки первобытной веры в колдовство и потусторонний мир? И поэты — последние жрецы угасающего детства человечества? И поэзия — это массовый гипноз с элементами телепатии? Я смотрел в глаза людей. Им можно верить — глаза никогда не лгут. И я начал кое-что понимать…

Оговорюсь сразу — я никогда не был ни в учениках, ни в близких друзьях Игнатия Дмитриевича. Не по плечу и ещё больше не по сердцу мне литературоведческий анализ его творчества. Для этого есть критики. Я абсолютно убеждён, что «поэт поэта не разумеет», потому что каждый поэт живёт в сугубо индивидуальном образном мире и очень туго воспринимает влияние извне. Говоря языком физиков, поэт — это замкнутая система с одной, только ей при-

сущей, структурой. И всё-таки никто и никогда не находит так быстро общего языка, как поэты. Что это? Общая радость? Или общая обречённость? Наверное, ни то и ни другое. Просто в самой «вредной в мире» профессии (я цитирую Мейерхольда) — в профессии поэта — есть некоторые детали, которые сильнее сил разноимённого отталкивания. Ведь Данко, если верить Горькому, был первым профессиональным поэтом. Мы — его грешные потомки.

Игнатия Рождественского я увидел впервые в 1958 году. Я приехал в Красноярск после окончания Московского университета, был молод, горяч и нетерпим. На трибуну взошёл сухощавый высокий человек. За толстыми стёклами очков скорее угадывались, чем виделись, неистовые детские глаза.

— Вот здесь сейчас читали стихи…

И пошёл, что называется, большой разнос. Попало мне, попало Зорию Яхнину, Аиде Фёдоровой, Майе Борисовой, которая тогда жила в Красноярске. И странное дело — сбивчивая и страстная речь Рождественского не казалась злой, хотя, точнее, значение слов, которые он говорил, было весьма суровым. Несмотря ни на что, Рождественский верил в поэзию, верил в её существо — и эта вера вопреки «погромным» словам была понятна и близка каждому из нас, каждому сидящему в зале.

Игнатию Дмитриевичу было тогда 48. Мне — 23. Первый сборник Рождественского «Северное сияние» вышел в 1936 году. По непроверенным сведениям, я в это время соединил непослушные звуки в первый слог «ма»… Видимо, многие из читателей Игнатия Рождественского удивятся, узнав, что он москвич, а не коренной сибиряк. Для меня стихи Рождественского всегда будут не порождением робких подмосковных лесов, а дикой шальной вольницей таёжной глухомани, бетховенской чистотой линий сибирских сопок, мощными аккордами проснувшейся древней земли.

«Мы диалектику учили не по Гегелю», — сказал Маяковский. Каюсь — Сибирь я учил по Рождественскому. Теоретически, так сказать. И потом, разъезжая по краю, бродя по тайге, встречая людей тайги и тундры, я не уставал поражаться точности и какой-то внутренней верности поэтического слова Игнатия Дмитриевича. У меня было такое ощущение, что я уже был здесь, что я давно знаю этих людей.

Мы плывём по медленному Касу,
С Каса пробиваемся на Кеть.
И в пути не мешкаем ни часу:
Надо в Маковское вовремя поспеть.
Харч берём у бывших староверов,
Что живут века средь сосняков.
У стогов встречаем, у вольеров
Безбородых сильных кержаков.
Ни порогов на реке, ни качки,
Только рябь на плёсах голубых.
Рослые, лукавые кержачки
Приглашают на берег мирских...

Певец родного края… Я как-то не очень люблю эту стереотипную формулу. Все мы, в конце концов, певцы — пусть не солисты, а то, что в древнегреческих трагедиях обозначалось словом «хор», — однако все песни наши вскормлены родной землёй. Тут нечем особенно гордиться. Сейчас, кстати, появилось что-то много этаких «певцов» в разных областях страны, для которых старая Русь, русская история и самобытные черты разных уголков России превратились в экзотическую самоцель, в этакое интеллигентское «самобичевание» — ах, какие мы нехорошие, за квантовой механикой позабыли, что наши деды в лаптях ходили. И звучит в таких виршах затрёпанный мотив бегства на природу, противопоставление лаптей модным туфлям, «шишковский призыв к посконности». Что привлекает меня в поэзии Рождественского, так это чувство времени. Самые могучие и высокие кедры со всем арсеналом таёжных чудес не заслоняют от него телеантенны. И Игнатий Дмитриевич эти антенны принимает восторженно и чётко, ибо они — приметы века, приметы будущего, идущего на смену прошлому. Часто бывает просто яркая и точно увиденная деталь. Хотя бы вот концовка стихотворения, которое я цитировал выше:

Пахнет краской, солнцем разогретой.
От жары сомлел, ослаб тальник...
И дымит болгарской сигаретой
Старовер — весёлый проводник.

Двумя последними строчками «взорвана» экзотика кержацкого края — так же как взорвана дремучая жизнь медвежьего угла яростным ритмом двадцатого века.

Десятки поэтических книг написаны Рождественским, каждая из них — как дверь в неизвестный дотоле мир, как новая грань многоцветного и чистого таланта. Перечислять стихотворения, посвящённые Сибири, нашему краю, бессмысленно, ибо все они пронизаны Сибирью, как сосны — солнцем. Цитировать их тоже не имеет смысла. Стихи Рождественского и так знают, песни на его слова — поют. Я хочу сказать о другом.

Однажды в редакцию «Енисея» пришёл немолодой уже человек и положил на стол толстую, переплетённую в кожу тетрадь со стихами. «Хочу напечатать книгу», — доверительно сообщил он. Я начал читать — потянуло нудным, затхлым запахом графоманства. Человек обиделся: «Но я же учусь у Рождественского. Смотрите — и рифмы такие же, и ритм, и всё остальное. Чем мои хуже?» Я, откровенно говоря, не смог ему объяснить толком. Внешне оба стихотворения были похожи, как близнецы. Но в одном билась живая кровь, а в другом не было ничего, кроме чернил.

Рождественский относится к той категории поэтов, которым нельзя подражать. Его поэтика предельно проста, порой нарочито прозаична. Иногда стихи держатся только на одном внутреннем горении, на взвинченности чувств. И ещё на чём-то, чему нет названия и чего не выделить никаким анализом. Но вот как раз это «что-то» делает его поэтом любимым и уважаемым. Обычно

говорят: «Поэт много ездит, и впечатления жизни…» и т. д. и т. п. В этом есть доля истины — Рождественский действительно знал край лучше, чем кто-либо. Работа корреспондента газеты «Правда» оставила властный и неизгладимый след в его творчестве. Поэт и сам пишет:

Вся жизнь проходит «на колёсах».
Всю жизнь ведёшь с пространством спор
Среди лесов многоголосых,
Среди громоподобных гор...

Но ведь мало этого. Мало видеть — надо увидеть, чтобы люди смогли оглядеть мир твоими глазами. И здесь командировок — творческих и нетворческих — явно недостаточно. Секрет поэзии — где-то глубже, дальше. Может быть, биография? Да, поколение Рождественского рано стало мудрым:

Нам не стелилась скатертью дорога,
В сугробах сами пробивали след
И на пути друзей теряли много,
Идя сквозь вьюги раскалённых лет.
Своими повидали мы глазами
Горящие деревни и стога,
Свирепое нас пеленало пламя,
Баюкала горластая пурга.
Гроза нас исступлённая ласкала,
Свистели пули, как бурундуки,
И молнии высокого накала
До срока обжигали нам виски…

Но ведь этот человек, пришедший в редакцию, тоже прожил жизнь не менее трудную и яркую. Почему же всё-таки именно Рождественский, почему именно этот сельский учитель с Крайнего Севера стал большим сибирским поэтом? Говорят — талант. Удобное слово — убедительное и непонятное…

Вот он входит в комнату Союза писателей — высокий, подвижный, колкий. Ему пятьдесят девять, но даю честное слово, я, не заглянув в биографический справочник, не смог бы определить его годы даже приблизительно. Это человек без возраста, человек, который не умеет быть старым. Я люблю его детскость. Пока он не успел рассмотреть, кто в комнате, его лицо надменно и сухо. И лишь удостоверившись, что посторонних нет, он сбрасывает маску чопорности. Как из рога изобилия, сыплются анекдоты, смешные детали, свои и чужие, чаще чужие — стихи. И комната, минуту назад унылая, преображается. Сначала улыбки. Потом хохот — вот уже убелённый сединой и отягощённый славой поэт превращается в озорного мальчишку, от метких каламбуров которого никому не уйти. Это отнюдь не профессиональная привычка быть в центре внимания. Это искренняя радость быть среди людей — радость заразительная и кипучая. И ещё доброта. Доброта, которая в Рождественском как-то очень естественно сочетается с яростной непримиримостью. Шутка у него легко

переходит в сарказм — в необидную шутку. Он похож на тайгу, так любимую им, — она добра к доброму и зла к злому. И вдруг Игнатий задумывается. Это случается неожиданно, на полуслове. Словно на полном ходу останавливается скорый, сорванный случайно стоп-кран.

Был с тобой я в годы штормовые
Сердце к сердцу, а не далеко.
Тяжело с тобой, моя Россия,
Тяжело… И всё-таки легко.

Трудно сказать такие слова. Их надо пережить. Иногда кое-кто, особенно из молодых обвиняют Рождественского в излишней восторженности, «бесконфликтности», что ли. Грешен — и мне такие мысли приходили в голову несколько лет назад. Теперь я думаю иначе. Во-первых, поэты бывают разные. Легко воспламеняющейся горячей натуре Рождественского холодный аналитический подход просто противопоказан. Во-вторых, надо лучше знать его стихи, читать внимательнее. И хорошо помнить, когда и как написано то или иное. И не забывать, что написали в то время другие. Игнатий Рождественский — это живая история красноярской и сибирской поэзии, со всеми её взлетами и спадами, открытиями и ошибками.

В 1927 году в газете «Красноярский рабочий» было напечатано его первое стихотворение. В 1946 году — задолго до рождения многих его читателей — стал он членом Союза писателей. Он стоял у истока красноярской писательской организации, растил и пестовал творческую молодёжь края. Большая и красивая жизнь. А жизнь прожить, как известно, — не поле перейти. Вот он сидит передо мной, внезапно побледневший, с каплями пота, выступившими на лбу. «Сердце болит», — каким-то чужим равнодушным голосом говорит Рождественский. А у меня в голове звенит пастернаковское:

Искусство — это Рим, который
взамен турусов и колёс
не читки требует с актёра,
а полной гибели всерьёз.
Когда строку диктует чувство,
оно на сцену шлёт раба.
И здесь кончается искусство,
и дышит почва и судьба...

Судьба… Высшая и трудная судьба поэта — вырвать из груди сердце и идти, освещая им путь остальным людям. Идти до конца. До последнего шага.

Я сказал, что не отношу себя к ученикам Рождественского. Это всё-таки не совсем верно. Я действительно далёк от него в смысле «формальном» — иначе я отношусь к ритмике и рифме, ко всей архитектонике стиха, к его смысловой и эмоциональной динамике. Мне ближе ледяное пламя математически точного слова, бешеное неистовство ассоциативных переходов, скользящий контрапункт противоречивых тем. Мне никогда не удаётся так легко и удивительно

органично ввести в ткань стиха местные сибирские словечки, завораживающее «шаманство» удивительных названий рек, деревень, мест:

Костяника раскидала бусы,
Обнимает лиственница ель,
Зыбуны, ехидные чарусы,
Облака над топью светлорусы,
Как девчонки северных земель...

Или:

Максимкин Яр, остяцкая «столица»,
Безвестное селенье на Кети…

Это не просто аллитерации, это музыка, это ели, гудящие под ветром, словно огромные камертоны. Но в одном мне хочется быть похожим на Игнатия Рождественского. Когда мне очень больно, когда тупой чинуша единым взмахом карандаша ставит под угрозу смертельно опасную работу многих лет, когда солнце становится тусклым и сердце начинает давать перебои и теряешь веру в справедливость и разум, — я хочу, как Игнатий Рождественский, встать с высоко поднятой головой, я хочу, как он, верить в бессмертное гражданское начало поэзии, в способность искусства переделывать мир. Игнатий Рождественский для меня, да и для многих других, дорог своей политической принципиальностью, своей идейной убеждённостью, сознанием высокой ответственности перед временем и народом за каждую свою строчку. Всей своей нелёгкой жизнью он заслужил право быть поэтом, право быть учителем и другом тысяч людей. А люди умеют быть благодарными. Они ценят не славу, а Слово, живое тёплое человечье слово, которое помогает жить.

Славу добыть не так уж трудно. Слово — труднее, потому что рождается оно в чудовищном аду сверхчеловеческих напряжений, в горячечном накале смертельных температур, в хрусте космических перегрузок. Вот он идёт сейчас по улице большими, чуть неуверенными шагами — высокий сухощавый человек в пальто с поднятым воротником, в меховой шапке «пирожком», в очках, из-за которых смотрят на мир задумчивые детские глаза…

В. В. Чагин

Иван Маркелович Кузнецов — библиофил и человек[1]

— Ну, что новенького?

Вопрос при встрече обязательный, задаваемый всегда с живейшим интересом. Глаза смотрят весело, чуть иронично, борода… Я познакомился с ним уже в поздний, «бородатый» так сказать, период его жизни, и когда однажды увидел его на фотографии молодым и безбородым, — не сразу-то и признал. Борода украшала его чрезвычайно и вместе с крепкой, мощной фигурой молотобойца, хорошо посаженной головой создавала некий законченный образ мыслителя, библейского почти пророка, выделяла в любой толпе. «Слушайте, а кто это?» — случалось, спрашивали, осторожно указывая на него, где-нибудь в театре, на открытии выставки или на творческом вечере.

Впрочем, кто ж не знал в Красноярске Ивана Маркеловича Кузнецова, кто не слышал о нём?! Бессчётное число раз выступал он в студенческих и рабочих аудиториях, в школьных классах, в клубах, рассказывал о книгах, о своей знаменитой библиотеке, пылко доказывал, что в основе всякого чтения должна быть классика! классика! классика! Десятилетиями водил дружбу с писателями и художниками, актёрами и музыкантами. Не пропустил, пожалуй, ни одного сколько-нибудь значительного события в культурной жизни Красноярска, а в иных и сам зачастую принимал участие. С его помощью, например, была организована первая в истории города, прошедшая с довольно шумным газетным успехом выставка «Красноярск литературный», а за месяц до своей смерти он отобрал и передал на выставку в честь дня рождения А.С. Пушкина редкие книги о жизни и творчестве великого поэта… Не пропускал Иван Маркелович и интересных людей, красноярцев и приезжих, зазывал к себе, просил заходить и заезжать ещё. Но, конечно, одним из самых интересных, колоритных людей в Красноярске был он сам. Он являл собою как бы своеобразную достопримечательность Красноярска. Вполне возможно, что наряду с важнейшими достопамятными местами он, скажем, мог быть включённым в программу знакомства с городом для особо почётных его гостей. Караульная башня — дом Нансена — Иван Маркелович… ну, более официально это могло звучать так — посещение «Народной библиотеки семьи Кузнецовых». В статусе народной она была утверждена в 1983 году, но, по сути, являлась таковой с давних пор.

Сколько же книг было в его книжном Монблане, вероятно крупнейшей, после Юдинской, частной библиотеки Красноярска? Сам он в последние годы говорил, что около 28 тысяч. Эта цифра не раз приводилась и в газетных мате-

[1] *Публикуется по изданию: Иван Маркелович Кузнецов: библиофил и человек. Красноярск: Изд-во Красноярского педуниверситета, 1993.*

риалах о нём. Некто, увидев однажды, как покупает Иван Маркелович новинки в книжном магазине — и то, и сё, и стихи, и прозу, и научные труды, сказал, что это, мол, Кузнецов специально стремится до круглой цифры, до 30 тысяч догнать. Конечно, это неправда! Как в таком случае это рекордсменство может соотноситься с тем, что Иван Маркелович всегда, а в последние годы особенно щедро, отправлял большие и малые бандероли с книгами в детские дома, на комсомольские стройки, одаривал книгами не только друзей, но и людей, подчас малознакомых, но в которых он чувствовал серьёзный интерес к книге? Более пятисот книг, посвящённых декабристам (и каких книг!), он передал в дар будущему музею декабристов в Красноярске.

Просто интересы Ивана Маркеловича были столь широки и многообразны, что кто-то мог и усомниться в их подлинности… Но все сомнения рассеивались, когда Иван Маркелович касался в разговоре, например, античной философии или философии высокочтимого Владимира Соловьёва, пушкиноведения или истории Сибири, восточных древностей, поэзии двадцатых годов, изящной прозы Анри де Ренье и драматургии суровых скандинавов — властителей дум начала века, декабристского движения, библейских сюжетов, текущих журнальных громких публикаций, творчества Виктора Астафьева («Люблю я моего дорогого Витеньку, но вот тут-то я бы с ним поспорил, конечно…»). Вообще к творчеству рядом живущих — красноярских писателей он был особенно внимателен. Собирал все их книги, многие из которых были с дарственными надписями, а едва лишь возникало новое писательское имя — живо интересовался. Кто таков, откуда, что пишет, что напечатал…

Для Кузнецова его библиотека, как я понимаю, была отражением всей Вселенной во всём её многообразии — прошлое и будущее, заблуждения и прозрения человека. Искусство, естественные науки… Но при всей широте и кажущейся разбросанности интересов были, впрочем, такие области, в которых знания Ивана Маркеловича были особенно обстоятельны. Например, в жизни и творчестве поэта Фёдора Тютчева его интересовало всё до мельчайших подробностей. А одним из наиболее тщательно собираемых разделов библиотеки Кузнецова был раздел книговедения, библиографии, библиофильства. Тут стояли на полках труды корифеев библиографической науки Венгерова и Геннади, Ульянинского, Неустроева, полный комплект «Русского библиофила», «Альманах библиофила» 1929 года, все сохранившиеся экземпляры которого на особом счету как большая редкость, каталоги книгоиздательств и книготорговых фирм и ещё множество замечательных изданий в этом роде. Студенты из университета проходили у Ивана Маркеловича библиографическую практику, составляя описания книг и получая при этом обширные познания как от библиотеки, так и от самого её владельца. Вообще же гостеприимный дом Кузнецовых был одним из центров культурной жизни города — неформальных, как говорится. Каких же хлопот это стоило и хозяйке дома Нине Максимовне, и домочадцам! Ведь едва ли не каждый день звонили, приходили к ним люди — знакомые, малознакомые, совсем чужие. Всегда ли это, что и говорить, было кстати, к настроению, ко времени? Увы, всего лишь меньше года

отпустила судьба прожить Нине Максимовне после смерти Ивана Маркеловича; в стылый мартовский день 1989-го проводили в последний путь и её…

Для особенных гостей в доме Кузнецовых был заведён большой альбом — наподобие «Чукоккалы». Свои автографы оставили в нём известные писатели, артисты, художники.

«Это вот Шилунь был, китайский художник. Ходили на его выставку? Ну ка-ак же это вы пропустили!..» Запись Шилуня в альбоме такая: «Иван Маркелович — великий пропагандист мировой культуры. Я — китайский художник — глубоко уважаю и люблю этого доброго мудрого человека. Желаю ему всегда быть здоровым и красивым, как Енисей и Саяны».

«А это Козаков и Кваша, приходили ко мне, когда на гастроли в Красноярск с театром приезжали, — продолжал Иван Маркелович. — Долго сидели, разговаривали. Толковые ребята! У Кваши у самого библиотека в двадцать тысяч томов, говорил, что особо Вячеславом Ивановым интересуется…»

А сколько раз беседу с Кузнецовым прерывали телефонные звонки, судя по его ответам, едва знакомых, а то и вовсе незнакомых людей, задававших ему вопросы: о книгах, обо всём том, что с ними связано. Иван Маркелович отвечал тут же, с ходу, не отходя от телефона, и лишь в редких случаях просил позвонить попозже, когда он наведёт справки. Причём давать мгновенные и точные ответы, свободно оперировать многими знаниями и самому ему доставляло видимое удовольствие.

«Слушайте, — энергично, едва ли не скороговоркой отвечал он в телефонную трубку, — Северянина издавал ещё Пашуканис. Да, Па-шу-ка-нис, был такой издатель. Ну, как же это вы не знаете!» Или: «А-а, Калинников! Кроме композитора, был ещё с такой фамилией писатель Калинников. У него в двадцатые годы знаменитый роман выходил, «Мощи» называется. Не читали?» Или: «А какое это издание? Первое, второе? Второе лучше, полнее. Ну-у… оцените во столько-то рублей и… оставьте для меня». Это явно из «Букиниста» звонок: Кузнецов консультировал продавцов магазина в оценке старой литературы, ну и, случалось, пользовался этим обстоятельством для пополнения своей библиотеки.

Пополнялась библиотека Ивана Маркеловича и благодаря его многочисленным друзьям-приятелям. Вот, например, пишет ему из Новосибирска поэт Казимир Лисовский: «Среди других книг послал тебе две довольно редкие, изъятые: «Жёлтый металл» и «Тля». Жаль, если ты «Жёлтый металл» обменял. Книжонка паршивая, но… довольно любопытная. Посылаю, как обещал, ещё одну изъятую книгу: «Даль свободного романа». Жаль, что не успел сам прочитать. Достал с большим трудом».

Первые две книги из названных действительно стоят того, чтобы их обменяли. «Жёлтый металл» — милицейский детектив Валентина Иванова, впоследствии прославившегося романами «Русь изначальная», «Русь великая», а «Тля» — роман-памфлет Ивана Шевцова, известного в 1960-е годы разоблачителя «гнилого нутра» советской интеллигенции. Более интересен 700-страничный роман Бориса Иванова «Даль свободного романа», изданный в Москве в 1959 году. Автор его делает неожиданное предположение: «Евгений Онегин»

Пушкина — летопись подлинных событий, мало того — своеобразный автопортрет поэта… Все эти книги критиковались в печати, впоследствии не переиздавались — может быть, поэтому и родилась легенда об их изъятии…

К великому сожалению, настоящих знатоков старой книги становится всё меньше и меньше. Не столь уж часто встречаются они в столичных городах, ну а «далеко от Москвы» и вовсе наперечёт. А ведь каждый из них обладает уникальным знанием, которое не даст ни один университет. Приобретается оно лишь в постоянном, многолетнем общении со старой довоенной и дореволюционной книгой. Но ныне подобная книга появляется в букинистических отделах лишь от случая к случаю, а раз так, то истончается, прерывается и сама давняя библиофильская традиция, уходит уникальное знание… Иван Маркелович и был одним из тех немногих, выдающихся, можно сказать, книжников, которые в своих руках держали очень многие из самых примечательных русских книг прошлого и нынешнего веков. К примеру, спрашиваешь его:

— А что, Иван Маркелович, «Эротопегний» Брюсова видали вы когда-нибудь?

— Ну как же! Был у меня «Эротопегний»!

— И «Книга маркизы» была?

— И «Книга маркизы» была!

— Ну а «Записки» Суворина?

— Так вот же они, пожалуйста!

И Иван Маркелович, не вставая с кресла, протягивал руку куда-нибудь вниз и вбок, к книжной полке, или же исчезал на минуту в одной из комнат и возвращался с «Записками» или какой другой испрашиваемой редкостью… В жизни Ивана Маркеловича существовало одно малообъяснимое обстоятельство, на которое невольно обращали внимание многие.

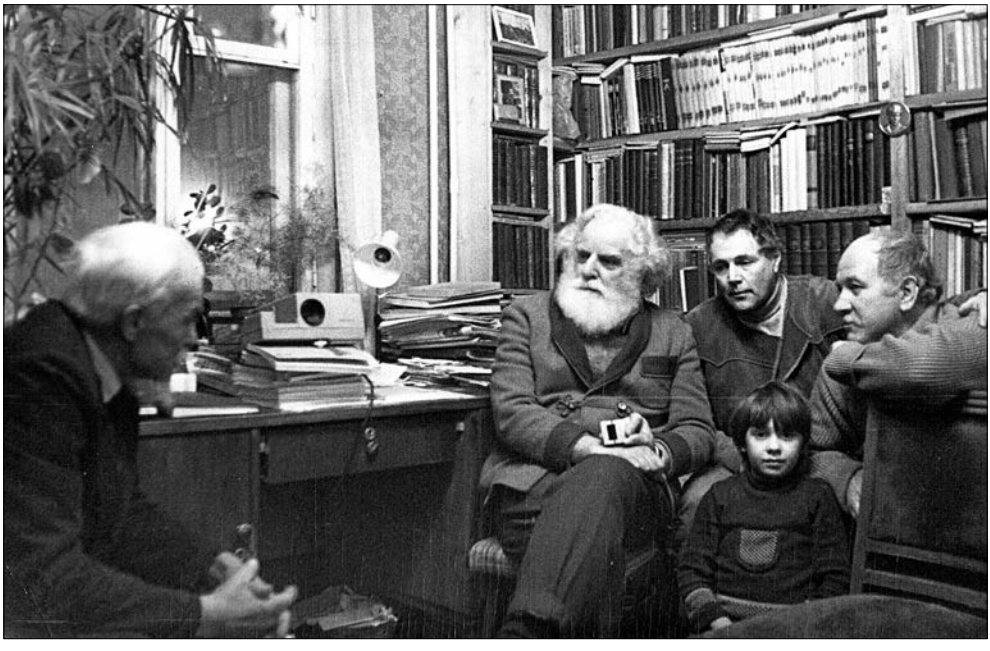
Как-то раз, когда в Красноярском книжном издательстве готовился к печати сборник «Красноярский библиофил», я, будучи составителем его и редактором, предложил Ивану Маркеловичу написать что-нибудь для этой книги. Ведь сколько встреч с замечательными, интересными людьми было в его жизни, сколько редких книг прошло через его руки! «Нет», — вежливо, но твёрдо отказался он. «Нет, нет», — столь же твёрдо отказался он и в следующий раз. Отказывался он от подобных предложений и раньше. Тот же Казимир Лисовский, один из самых близких друзей Ивана Маркеловича, писал в очерке, посвящённом Кузнецову: «Многие его друзья, в том числе и я, не раз советовали ему заняться литературной критикой, ну, хотя бы время от времени писать для газет рецензии на ту или иную книгу, но он всегда шутливо отмахивался: какой, дескать, я критик! Скромность, неизменно присущая ему, тут, пожалуй, была доведена до предела…»

Впрочем, в одной ли скромности дело? Казалось бы, долгая жизнь среди премудрых книг непременно должна была привести к написанию библиофильских мемуаров, статей. Примеров тому среди собирателей книг достаточно: Смирнов-Сокольский, Шилов, Мартынов и др. Но вот ведь не случилось… И однажды, как мне показалось, один из возможных ответов нашёлся. В одной

из книг, взятых у Ивана Маркеловича на чтение (это были воспоминания Владислава Ходасевича «Некрополь», репринтное западное издание, большая редкость по прошлым временам), я натолкнулся на абзац, отчёркнутый красным карандашом — характерная его отмета. Это была психологическая характеристика одного лица — человека, талантливого от природы, но так и не сумевшего в полной мере раскрыть свои литературные дарования: «Человек замечательных способностей, интуиции порой необычайной, он обладал к тому же огромным количеством познаний. Но сосредоточиться, ограничить себя не смог…» Нет, совсем не случаен здесь красный отчерк. В этой характеристике Иван Маркелович, думается, нашёл какое-то созвучие собственной судьбе. Но вряд ли он был слишком удручён и терзаем отсутствием своих собственных литературных достижений — он полно самоосуществился в другой сфере, был опытным и почитаемым врачом, и я не раз встречал в его доме молодых его коллег, приходивших к нему за консультацией.

И всё-таки литературные опыты у Ивана Маркеловича были. И некоторые из них сохранились в его архиве. Вот одно из стихотворений Ивана Маркеловича, написанное в 20—30-х годах. Называется оно «Мои друзья».

В полночной тишине я в комнате уютной
За письменным столом сижу в кругу друзей.
И на душе тепло, и в грёзе полусмутной
Плывут передо мной мечты ушедших дней.
Друзья мои со мной; вот стройными рядами



Библиофил Иван Маркелович Кузнецов с Иваном Твардовским (родным братом поэта Александра Твардовского). Рядом — Зорий Яхнин и Вадим Елин

Стоят они в шкафах на полках за стеклом;
С любовью их сбирал я долгими годами,
И каждый мне принёс частицу о былом.
Тут люди всех веков, всех наций, всех учений:
Философ, драматург, прозаик и поэт,
Посредственный мудрец и величайший гений,
Но в их сердцах горит один и тот же свет,
Который никогда не гаснет, но сильнее
И ярче светит нам на протяженье лет;
Чем дольше мы живём, тем он для нас милее
И тем понятней нам сокрытый в нём ответ.
Когда сойдёт покой на улицы столицы,
Я в комнату свою вступаю, чуждый сна,
И раскрываю вас, любимые страницы,
И в новый, чудный мир душа погружена.
На всякий мой вопрос, на все мои сомненья
Они дают ответ и будят мысль мою.
Бывает часто спор: оспариваем мненья,
И каждый их намёк я с жадностью ловлю.
Счастливые часы безмолвной нашей встречи! —
Лишь вами я живу, жду ваших голосов,
Когда польются вновь трепещущие встречи
В течение ночных недремлющих часов.

Наверное, тут и рифма могла быть побогаче, и отдельные строчки поизящнее, что ли, сложены, всё так, но вот что подкупает в этом стихотворении — так это искренность и точность в выражении тех чувств и мыслей, что являются книгочею в ночные часы среди шкафов и полок с его сокровищами…

Эх, Иван Маркелович! И в восемьдесят три вполне преклонных года какой же нелепой и нежданной предстала смерть ваша для всех, кто вас знал! Как же это, хочется сказать, не похоже на вас!..

Потрясающее жизнелюбие, интерес ко всему на свете до последних дней поражали в Иване Маркеловиче ничуть не меньше, чем сама знаменитая его библиотека. В декабре 1985 года, в суровые морозы, отправился он в Иркутск на юбилейные Декабристские чтения. Перезнакомился там со всеми участниками, ввязался во все дискуссии, использовал культурную программу на всю катушку: кто-то, скажем, отказывался от довольно утомительной поездки в село Урик, где жили декабристы Лунин и Волконский, а Иван Маркелович едет непременно!

И за день до смерти, после тяжёлой операции, прошедшей, казалось, успешно, он переживал на больничной койке: ну как же так, послезавтра у него запланированная встреча в библиотеке, ему выступать, его ждут, а он здесь бездарно проводит время. Вспоминал о последнем приобретении для своей библиотеки: «Волшебном фонаре», факсимильном переиздании одной из самых красивых книг прошлого столетия. Эту книгу прочесть он уже не успел…

«Ну что новенького?» — слышится мне и поныне голос Ивана Маркеловича. Он прожил долгую и, думаю, счастливую жизнь. И книг замечательных, редких, всяких повидал, дай Бог каждому. И всё-таки представляю, с какой заразительной радостью взял бы в руки Иван Маркелович и собрание стихов Гумилёва из новой «Библиотеки поэта», и тома Солженицына, и книги Розанова, Бердяева, Мережковского, Набокова — какие имена, какие книги, о которых раньше и мечтать нельзя было, вернулись к нам! И как жаль, что нет с нами на этом настоящем литературном торжестве Ивана Маркеловича!..

Иван Пантелеев

Как я стал писателем…[1]

Родился я в деревне и считаю: мне крупно повезло. Случилось это 8 июня 1924 года. Деревня наша, Мельничная, пожалуй, ничем особенно не отличалась от остальных подтаёжных деревень Ирбейского Красноярья. Помню наш круглый, с четырёхскатной тесовой крышей дом на окраине, казавшийся мне большим и просторным, а на самом деле, как я после, став взрослым, убедился, маленький и тесный; у ворот — три белоствольные берёзы, растущие из одного корня. Вижу синюю зимнюю ночь из детства. На улице лютая стужа, а от железной печки по избе течёт тепло; фитиль керосиновой лампы привёрнут, в вязкой полутьме слышно, как тикают ходики на стене. Я стою на скамейке, рядом — мама. Мы смотрим в незамёрзший краешек оконного стекла. Мама шепчет:

— Вон видишь на взгорке возле леса жёлтые огоньки? Это волки.

Волки!.. Мне страшно, я прижимаюсь к тёплому маминому боку, а сам неотрывно слежу в окошко и тоже вижу — а может, мне кажется? — жёлтые огоньки-глаза в неверном лунном свете.

В Мельничной меня всегда окружал лес, я настолько свыкся с ним, что и не представлял себя без него. Особенно хорошо было летом. Мне и моим друзьям-однокашникам не разрешалось уходить далеко от дома, но мы тайком бегали на Мельничный ключ, пили вкуснейшую холодную воду его и, затаившись у тёмного бочага, подолгу наблюдали за красавцами хариусами, которые тогда ещё там водились.

Так шли дни. Я взрослел.

Вскоре наша семья переехала в райцентр — село Ирбей, — где и прошли мои школьные годы.

[1] *По рукописи из архива Литературного музея им. В. П. Астафьева. Первая публикация.*

Школьные годы… Никогда не забуду, как выучился читать, как самостоятельно прочёл первую, нет, не первую — вторую книгу. Первая попалась неинтересная, скучная, с вялыми, равнодушными картинками, не помню названия и кто её написал. Зато вторая, «Маугли» Р. Киплинга, покорила меня с первой страницы. Потом были «Саяны шумят» П. Петрова, «Сказки» А. Пушкина, был второй том «Дон Кихота» Сервантеса, с которым я управился за неделю и уразумел из прочитанного только одно, что славный рыцарь Дон Кихот был очень добрый, чудаковатый и справедливый человек, за всех заступался, а за это над ним насмешничали; мне было жалко его.



Иван Пантелеев, начинающий писатель, 1950-е гг.

Завидую теперешней ребятне: в её распоряжении прекрасные библиотеки — читай не ленись. В моём деревенском детстве на книги был голод. Плохонькая школьная библиотека вся вмещалась в обыкновенный шкаф с застеклёнными дверцами, на полках даже оставалось свободное место, в районной же, куда я записался после окончания первого класса, детских книг было мало. Библиотекарша не следила за моим чтением, и потому я пользовался полной свободой в выборе книг и всегда отыскивал фолианты попухлее, после гордо вышагивал по улице и самонадеянно думал о том, что взрослые небось смотрят на меня и удивляются: «Смотрите, какой маленький, а какие толстые книжки читает!»

Читал я много и без разбору. В пятом классе осилил «Войну и мир» Л. Толстого, а в шестом посягнул на «Капитал» К. Маркса, одолел страниц двадцать, наверное, ничего не понял и стыдливо отнёс его обратно в библиотеку.

С первых дней лета, как только начинались долгожданные каникулы, я бросал ставшие ненужными учебники и тетради в один угол, штаны и рубашку — в другой и оставался босой, в одних трусах на всё лето. Проходило какое-то время, и мама не могла разобрать, где у меня на теле загар, где грязь. А сколько было рыбацких ночёвок на берегу светлого Кана! Удивительная, золотая была пора! Казалось, она будет вечно.

Потом настал 1937 год, самый памятный, самый недобрый год из моего детства.

Но сперва об отце. Отцу моему, Ивану Фёдоровичу, не пришлось участвовать ни в Октябрьской революции, ни биться с колчаковцами. Русский солдат Пер-

вой мировой войны, в боях под Ригой он попал в плен и был отправлен в Германию. Вернулся домой только в 1922 году молодой, красивый и… без зубов.

В Ирбее отец был качественником в «Заготзерне». До сих пор не возьму в толк, как он справлялся с этой должностью, ведь всего две зимы посещал деревенскую школу. Обладая на редкость красивым почерком, он ухитрялся писать с ошибкой даже свою фамилию. Правда, у мамы была семилетка, и мама старалась помогать ему, но это вряд ли восполняло пробел в учении.

В тот год весна вышла бурная. Перед Первомаем тронулся лёд, Кан хлынул из берегов и, как после любили говорить очевидцы, разлился от горы до горы. Началось наводнение. Затопило склады «Заготзерна» на берегу, и сколько потом ни сушили на маломощном элеваторе подмокшую пшеницу, в ней всё равно завёлся клещ. В случившемся обвинили отца и осенью его арестовали.

Чтоб снять с него это обвинение, потребовалось около года, и судили его по другой статье — за халатность. Домой он уже не вернулся…

У матери нас было двое: я и моя младшая сестрёнка Лида. Никакого хозяйства, кроме пёстрой комолой коровы да кошки Мурки, мы не держали, так что жилось нам довольно туго.

Как-то зимой ещё, задолго до наводнения, отец высказал мысль о переезде на жительство в город и пообещал:

— Летом поеду разузнаю насчёт работы и жилья…

Наводнение нарушило все планы.

А я уже мечтал о городе… По-сыновьи любил Ирбей, стремительный Кан, грустный — почему-то всегда он мне казался грустным — заречный сосновый бор и в то же время мечтал о городе, о шумных улицах его, театрах с настоящими артистами, музеях, библиотеках, в которых есть все книги, какие только захочешь прочитать. А читать мне ой как хотелось!

Однако впервые в жизни я увидел город восемнадцатилетним парнем. Город этот был… Канск. Первую встречу с ним помню в мельчайших подробностях. Помню знойную улицу Горького, я иду по ней, глотаю пыль, чертыхаюсь и себя успокаиваю: у нас в Ирбее лучше — пыли такой нету — машин меньше бегает. Так я шёл, шёл и упёрся в базар. Ну какой деревенский парень откажется побродить по базару! Я тоже не отказался. Потолкался среди торговок. Да, конечно, базар побогаче ирбейского, но у нас зато продукты подешевле, а это что-нибудь да значит. Сделав такое умозаключение, я пошёл к выходу и тут увидел: от ворот повдоль заплота прямо на земле в ряд стоят вёдра, оцинкованные, эмалированные, всякие, прикрытые крышками, тряпицами, и возле каждого с кружкой в руке или босоногий мальчишка в закатанных до колен штанах, или древняя бабка. К ним подходят люди, дают мелкие деньги, они черпают кружками и подают покупателям, те пьют и крякают. Интересно… Оказывается, продавали обыкновенную колодезную воду. Тогда я решил окончательно и бесповоротно: у нас в Ирбее лучше, по крайней мере водой у нас поят бесплатно. Такой вышла у меня первая встреча с Канском. Я называю его своим крёстным городом. После мне довелось повидать много больших и маленьких городов и по некоторым столицам Европы пройти с ав-

томатом в руках, но они не вытеснили из моей памяти Канска. Война… Уже навоевавшись вдосталь, по дороге домой задержался я на три дня в Москве и первым долгом решил осуществить свою давнишнюю мечту — сходить в Третьяковскую галерею. До этого мне не приходилось бывать в картинных галереях, а тут сразу знаменитое на весь мир хранилище шедевров русского искусства. Я будто в счастливую сказку попал, не веря глазам своим, ходил от картины к картине и вдруг, потрясённый, замер на месте, даже откачнулся назад. Передо мной белела гора человеческих черепов, а над ней чёрное вороньё и жаркое, леденящее душу южное небо. Это был «Апофеоз войны» — гениальное полотно В. Верещагина. Не знаю другой картины, в которой бы так лаконично и так беспощадно правдиво была схвачена суть войны. Я смотрел на бессмертное творение художника, а сам видел — в который раз уже! — как посреди карельской деревушки Пуску-Сельги солдаты первого батальона рыли братскую могилу, а рядом на земле в беспорядке — трупы убитых и добитых наших бойцов, зачастую обезображенных до неузнаваемости, с развалеными черепами, моих сверстников и моложе, не успевших познать любовь, не успевших ни разу побриться… А из леса всё несли и несли убитых. Потом сосчитали — их оказалось семьдесят два, — стиснули зубы и запомнили навсегда тот равнодушно ясный июльский день. Да, на войне убивают — на то она и война, — но не добивают раненых воинов после боя — это противоестественно. Даже средневековые варвары были гуманнее, считали ниже своего достоинства поднимать оружие на поверженного…

Не одна сотня километров военных дорог пришлась на мою солдатскую долю, довольно повидал я смертей, сам не раз побывал на волосок от смерти, натерпелся войны, как говорится, по самую горловую косточку. Четыре десятка лет тому минуло, а ничто не забылось, нет-нет да и просыпаешься от сна среди ночи в холодном поту, и немо кричащим укором стоят перед глазами те семьдесят два моих сверстника, что навсегда остались в братской могиле посреди затаившейся меж карельских болот и лесов деревушки Пуску-Сельги. Не я виноват, что их первый батальон попал тогда в засаду, а всё равно гложет изнутри чувство вины перед ними, не даёт покоя, всё чаще и чаще напоминает о том, какое великое счастье выпало мне не попасть в число двадцати миллионов человеческих жертв войны, а я, ошалев от этого счастья, непростительно забыл о тех, кто мог бы оказаться на моём месте, но не оказался, уступил право жить мне. И только честной книгой о войне смогу я как-то оправдаться перед ними…

Четыре с половиной года не снимал я солдатскую шинель. Служил в воздушно-десантных войсках. Участвовал в боях на Карельском, 2-м и 3-м Украинских фронтах. За бои на подступах к столице Австрии Вене награждён орденом Отечественной войны II степени. Демобилизовался в начале 1947 года.

Разоспавшейся мартовской ночью, отмахав пешком по последнему в том году крепкому морозу пятьдесят километров от станции Солянки, я вступил в долгожданный Ирбей и остановился в устье улицы, не веря, что скоро буду дома. Вытер со лба пот и в десятый раз, наверное, мысленно поблагодарил воз-

чика, приехавшего к поезду за зятем прокурора и хоть не сразу, но всё же согласившегося довезти до дома мой чемодан с немудрящим солдатским барахлишком и тяжёлыми книгами, купленными у букинистов в Москве; для меня в кошёвке места не хватило… Я стоял и смотрел на застывшие в морозной темени размытые очертания ночных домов, и, может, оттого, что нигде, ни в одном окошке не зажелтел керосиновый свет (электричества в Ирбее не было), что ни разу не взбрехнула ни одна собака, будто их и не водилось на ирбейских подворьях, мне сделалось чуточку тревожно… Потом я вышел на свою улицу и, чтоб не пропустить свой дом, стал спичками высвечивать номера на столбах ворот — пока я воевал, мама переехала на другую квартиру…

Я никогда не собирался быть писателем, но уже в четвёртом классе сочинил своё первое «гениальное» стихотворение, сочинил и страшно обрадовался, решив, что у меня получилось не хуже, чем у Пушкина или Лермонтова. На меньшее я ни за какие коврижки не согласился бы.

А в пятом классе неожиданно сделался автором пьесы о Павлике Морозове. После написал об этом рассказ «Как я был писателем», в котором изложил, как это случилось и, за исключением некоторых незначительных деталей, ничего не присочинил. Восьмиклассником я впервые обратился к «чистой» прозе. Вот как это было. На дом нам задали сочинение на свободную тему. Я проволынил целую неделю и вспомнил о сочинении вечером в самый последний момент перед сном. С час, наверное, бессмысленно просидел над чистым тетрадным листком, не зная о чём писать, и тут вспомнил недавно услышанную от мальчишек историю о том, как через два-три дня после похорон вдова пошла на кладбище и засиделась у могилы мужа допоздна. Хватилась — уже темно. И вдруг видит: над могилой рядом с крестом белая человеческая тень колышется. Вдова испугалась и бежать, тень — за ней. Вдова споткнулась и упала, тень окутала её…

Эта картина так живо встала перед глазами, что я буквально на одном дыхании написал рассказ «На кладбище». Учительница поставила за него пять с плюсом и, возвращая мне тетрадь, сказала:

— Не пиши, пожалуйста, так страшно. Я всю ночь не спала.

Я последовал её совету и «страшных» рассказов старался не писать.

Меня полонили стихи. Я сочинял их днём, вечером, ночью, на уроках, на улице, везде. Аккуратно переписывал в общую тетрадь. Никому не показывал — засмеют ещё. Однажды осмелел, отнёс стихотворение в районную газету. Редактор, прочитав, пообещал напечатать в следующем номере. Следующий номер выходил через два дня. Бесконечно долгими показались мне эти дни. И вот утром по пути в школу я остановился у плотного редакционного заплота, на котором висела витрина «Ирбейской правды». Свежего номера газеты в витрине не оказалось, вместо него белели приколотые кнопками отдельные листки с напечатанными заметками и среди них моё стихотворение. Едва прочитал первые строчки, как у меня начали гореть уши, а когда дочитал до конца — они пылали костром от стыда: в набранном тексте было скопище ошибок и под ними, как печать, их утверждающая, стояла моя фамилия… В ту пору редактором газеты был Евсей Георгиевич Собакин, очень внимательный,

отзывчивый человек, по крайней мере я знал его таким и до сих пор не изменил о нём своего мнения. Когда, сбежав с четвёртого урока, я предстал перед ним, намереваясь высказать ему своё возмущение и потребовать немедленно убрать с витрины моё творение, он, понимающе улыбнувшись, успокоил:

— Ничего страшного, в полосе исправим, — и вздохнул: — Бумаги нет. Газету не на чем печатать — война.

Газета вышла дней через десять, когда я перестал её ждать. В стихотворении не оказалось ни одной ошибки, но это меня уже не радовало. Шёл тогда первый год войны. И стихотворение было о войне, торопило победу, называлось оно «Ревут моторы». Местный баянист Саша Камардин, слепой от рождения, сочинил к нему музыку, и ребята из художественной самодеятельности Дома культуры в концертах исполняли песню под аккомпанемент старенького баяна.

Увлечение стихами прошло не сразу. Долго я ещё мучился над рифмами, пока понял, что поэта из меня не получится. Поэт должен иметь свой голос, а у меня же он никак не появлялся. Я прекратил рифмоплётство и занялся прозой, написал повесть о войне и несколько рассказов. По ним меня приняли студентом-заочником в Литературный институт имени А.М. Горького.

В институте мне повезло. В те годы я жил в Подмосковье, работал на железной дороге, ездил багажным раздатчиком с поездами «Москва — Владивосток». Всякий раз перед рейсом с чемоданом приходил в институтскую библиотеку, загружал его книгами и в дороге прочитывал их, а во время трёхнедельного отгула между поездками имел возможность посещать по четвергам очные семинары Валентина Катаева и Константина Паустовского. Семинары эти многому меня научили. Тогдашним своим писаниям я не придавал особого значения, считал их ученическими, писал, не задумываясь всерьёз, о чём, для чего и для кого пишу, писал и чувствовал — не то! А как найти «то», как его узнать?

В августе 1955 года с институтским направлением на должность редактора Хакасского книжного издательства прибыл я в Абакан. Началась по-настоящему серьёзная работа. За три с половиной года я объездил, исходил и облетел всю Хакасию вдоль и поперёк, окунулся, как говорится, в самую гущу жизни, активно сотрудничал в краевых и областных газетах и радио, там, в Абакане, вышла моя первая книжка «Щука», в ней всего два детских рассказа. Теперь-то я вижу несовершенство этой книжки, но она дорога мне, как огонёк, в своё время указавший нужный путь, слабый и робкий, но огонёк.

Когда в печати появились положительные отзывы на мою книжку «Человек идёт по степи», я решил, что можно садиться за роман о войне. Так и сделал, но уже в самом начале работы отвлёкся от него, как мне думалось тогда, на неделю, не больше, чтоб написать небольшой детский рассказ, а получилось — навсегда. Рассказ у меня тоже тогда не вышел, а написалась повесть «Экспедиция на Кияшку» — о том, как ребята удрали из пионерского лагеря на поиски сокровищ. Долго я не решался её печатать — сомнения тревожили: что если прочитают повесть мальчишки в пионерских лагерях да примут всё за чистую монету и начнут пачками удирать из лагерей? То-то скажут мне спасибо и папаши

и мамаши! С папашами, куда ни шло, можно, пожалуй, договориться, а вот с мамашами не договоришься, это уж точно!

Напрасно я беспокоился — никто из лагерей не удирал. Через месяц примерно после выхода книжки потекли ко мне ребячьи письма. Хорошие письма. И тогда я невольно подумал: а что если ещё что-нибудь написать для них? Ведь был же писатель Аркадий Петрович Гайдар, писал он исключительно для ребят, и это было его призванием. А что как и моё тоже? Написал один рассказ, второй, третий, десятый. Отправил рукопись в Иркутск, и там она вышла отдельной книжкой под названием «Тапочки». И опять пошли письма…

Потом я написал повесть о том, как ребята сами сделали аэросани. Так и назвал её: «Аэросани». Вышла она из печати в самом начале зимы, а зима в тот год была на удивление снежная, и в течение полутора или двух месяцев получил я писем с полсотни, не меньше. Писали всё мальчишки и категорически требовали, чтоб я прислал им чертежи аэросаней. У меня, наверное, зажигание позднее, не иначе… От таких писем я просто растерялся — ведь никаких чертежей у меня, конечно же, нет, а потом подумал и решил, что это не так уж плохо, если мальчишкам потребовались чертежи аэросаней.

Так, незаметно для самого себя, стал я писать о детях и для детей. Немало способствовала и способствует этому обстановка, в которой я жил и живу. И тут не могу не отдать должного своей жене, Ии Степановне, посвятившей всю себя воспитанию детей. Редкий день у нас дома не бывает её теперешних и бывших воспитанников. А я нет-нет да и нахожу среди них своих героев.

Писатель, как правило, пишет о том, что хорошо знает и любит, пишет о сокровенном, обнажая перед читателем боль души своей с одним лишь благим намерением — заполучить его к себе в союзники: чем больше будет у него союзников, тем ближе намеченная цель. Меня всегда интересовали человек и природа, их взаимоотношения. Я глубоко уверен: общение с природой у человека должно начинаться с самого младенческого возраста и быть если не повседневным, то частым. Такое общение с природой воспитывает у юного гражданина самое дорогое и самое главное человеческое качество — человечность. Именно мысль о человечности не покидала меня во время работы над повестью «На Агуле».

В своих повестях и рассказах я пытаюсь в меру сил своих решать извечные проблемы воспитания наших детей, проблемы, которые не сойдут с повестки дня, пока на нашей большой грешной земле живут люди. А проблем этих великое множество. Я часто бываю в школах, училищах, библиотеках, встречаюсь там со своими юными читателями и всякий раз убеждаюсь, что они самые современные граждане на земле. Вглядитесь внимательней в них, и вы увидите очень похожие копии самих себя. Но дети всегда были и будут максималистами, им необходимо быть ими, чтобы утвердить себя в жизни. Они не знают полутонов и оттенков, не знают компромиссов, жизнь для них существует только в двух полярных понятиях — да и нет, — и это, если мы не успеваем вовремя прийти им на помощь, подчас тяжело ранит незащищённые их души. А происходит это чаще всего от неумения и, чего уж греха таить, нежелания старших найти с ними общий язык.

Всякий раз, склоняясь над чистым листом бумаги, я ставлю перед собой задачу по возможности убедительней рассказать взрослым о том, какими они были детьми. Знаю, они не любят вспоминать о своём детстве, недосуг им предаваться воспоминаниям, и это часто мешает сближению их со своими детьми. Как я справляюсь с поставленными перед собой задачами — судить не берусь, пускай судит беспристрастный читатель.

Майя Борисова[1]

* * *

На стене в деканате приколот лист:
Расписанье последней сессии.
И не верится: месяц — и я журналист…
Не мечта уже, а профессия!
На газонах размечены цветники,
И деревья вот-вот оживут…
Мы сегодня, традиции вопреки,
Не пойдём гулять на Неву.
От весёлого шума и ярких огней
По каналу свернём туда,
Где сейчас типографской краски черней
Заколдованная вода.
Где пунктиром загадочных многоточий
Убегают вдаль фонари,
Где в канал, замечтавшись,
просыпала ночь
Перепутанный звёздный шрифт.
А разлуки всё ближе и ближе срок:
На восток уеду я, на восток…
Там рассвет разгорается, как костёр,
И его раздувают ветра.
Там на тысячи вёрст просторы простёр
Красноярский далёкий край.
Там не в ногу с твоими идут часы,
Забегая вперёд на полдня.
Там газета в две маленьких полосы

[1] *Публикуется по изданиям: Борисова М. Лирические стихи. Красноярск: Книжное изд-во, 1957; Борисова М. Пока вчера ещё сегодня. Л.: Детская литература, 1975.*

С нетерпением ждёт меня.
Может быть, это — самый малый масштаб
В неоглядных картах страны.
Но, наверное, я нужна там так,
Как с тобой мы друг другу нужны.

Про доски

Кто сказал, что доска —
жестка?
Сколько мне их пришлось таскать!
Я хожу в обнимку с доскою,
Прижимаюсь к доске
щекою,
И она атласно-скользка,
Выйдя из моего станка.
Не беда, что доска
плоска.
Красоты такой — поискать!
Все цвета
взяла, собрала
И в узоры вплела доска.
В ней
рассвета розовый тон,
Желтизна полевых цветов,



«Енисейские встречи — 1969». Выступление Майи Борисовой

И заката охра,
и синь
Осенённых дождём осин.
Но кто затемно не вставал,
Кто с усталостью не воевал,
Кто, губу закусив до слёз,
Не ловил в ладонях
заноз,
Не поймёт, не оценит ту
Затаённую красоту.

1958 г.

Солнце

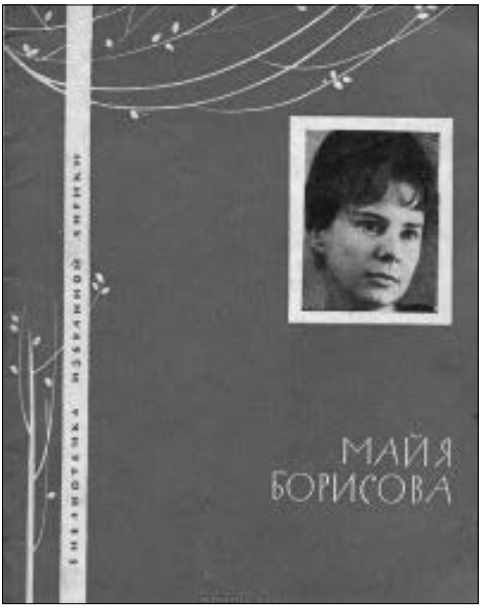
Взвилось семицветное полукружье…
И, ринувшись в облачные оконца,
В каждой канаве
и в каждой луже
Сверкало,
плескалось,
смеялось солнце.
Запахло влагою и цветами
На улице, тонувшей в пыли,
И прямо к солнцу,
черпая бортами,
Плыли бумажные корабли.
Его
ребятишки ногами месили,
Утка несла на мокром крыле…
И не было ничего красивей
Солнца,
разбрызганного по земле.
Может быть, слава тебя закружит,
Жизнь покажет грязное донце…
Помни:
солнце плескалось в лужах,
Не пачкаясь.
Потому что — солнце.

Красноярск, 1957 г.

Редакционная весна

Товарищи, слушайте!
Важное дело!
Хватит о заголовках толковать.
Сегодня под окнами партотдела
Из-под снега
показалась трава...
Шубы — долой,
и ушанки — тоже,
Пусть ветер путается в волосах.
У меня на глазах
солидный прохожий
Сейчас, улыбаясь,
сосульку сосал.
И, что б ни сказали секретари там,
Газету сегодня определённо
Надо печатать
не чёрным шрифтом,
А розовым, голубым, зелёным!
И матерьялом — первополосным
Должны обязательно быть
стихи…
Простите, я забыла, что — взрослая:
Наговорила вам чепухи.
Но травы
в салюте
вскинули сабельки!
Поди, разберись,
кто тут прав, кто — нет...
Мальчишки
в лужах пускают кораблики
С парусами
из серьёзных газет.

1957 г.



Первый сборник стихов Майи Борисовой, изданный в Красноярске

Стихи о звёздах

I

Неужто вправду — прилетали?
К чему слепая ворожба!
Мы ищем факты и детали,
Тысячелетья вороша.

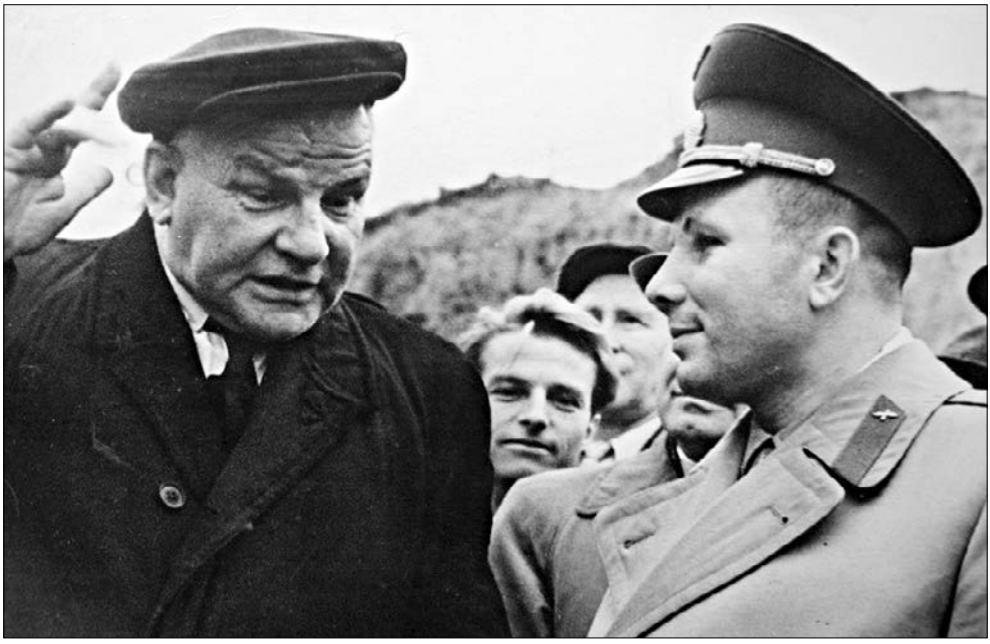
Смотрите:
это соль сковала
Металл.
Классическая грань!
Смотрите:
силуэт скафандра
Дикарь в рисунке обыграл.
Как долго мир наш
был стреножен,
Мы только начали с азов.
Но след чужой —
он так тревожит
И так торопит чей-то зов.
Перед лицом вселенской ночи,
На космодромы становясь,
Мы рвём оковы одиночеств —
нам связь нужна,
Живая связь.
Клади, история, ладони
Нам на пылающие лбы.
Чьей там победой и бедою
Твои хранилища полны?
Шурши летами, как листами
Магических и мудрых книг.
Ведь прилетали.
Прилетали!
О, как отстали мы
от них!..

II

Вы — сцепщики, обходчики и смазчики —
Хранители, ревнители дорог,
Вы вслед глядите, вы платками машете.
Вам до конца известна ваша роль?
Вы — срочные ремонтные бригады,
Обветренные женщины в платках,
В летящей косо паровозной гари
Оттиснутые ярко, как плакат,
А вы-то, вы-то — знаете ту силу,
Которая, от бега не устав,
Сейчас неудержимо проносила
Всё мимо громыхающий состав?

Когда ракета напряжённо высится
(Ей в нужный срок положено доспеть),
А астронавт уже, подобно витязю
Закован в багрянеющий доспех,
Когда Земля, людскими толпами,
Готова вздрогнуть от сердец до стен, —
Не только засекреченное топливо —
Залог непостижимых скоростей,
Но, не учтённый в инженерных замыслах
И кем-нибудь замеченный навряд, —
Ваш неподкупный, ваш, лишённый зависти,
Ладонью сфокусированный взгляд.

1961 г.



Начальник строительства Красноярской ГЭС Андрей Ефимович Бочкин и Юрий Алексеевич Гагарин, сентябрь 1963 г.

* * *

В 1950 году, окончив отделение журналистики филфака ЛГУ, Майя Борисова по распределению уехала в Абакан, где работала литературным сотрудником, зав. отделом газеты «Советская Хакасия», а затем в «Красноярском комсомольце».

Все десять лет, немало поездив по Сибири, она не испытывала судьбу — она жила крепко и прочно, не загадывая, долго ли оставаться ей здесь или ехать дальше. Вместе с десятью своими сверстниками, с теми, чьи первые стихи публиковали «Комсомольская правда» и альманах «Енисей», она могла повторить:

«Сибирь не станция удачи, а просто молодость моя». Да она и написала это тогда же по-своему: «Сибирь... Без романтического грима, суровая, обжитая, своя».

Из сумок вынуты платочки,
Вокзальный опустел буфет.
Дождь на перроне ставит точки,
Как в неоконченной строфе.
Он полоснёт по стёклам косо,
И вот закрутятся колёса.
Увижу я, раздёрнув шторы,
Как солнце, скомкав облака,
Вонзит пылающие шпоры
Земле в горячие бока.
Тайга и степь рванут навстречу —
Со мной знакомство завести.
Рюкзак оттягивает плечи,
Начало долгого пути...

Думается, что в Абакан, Красноярск, Дивногорск её привела поэзия — нет, не заголовочный пафос именитых новостроек, а деловая, внутренняя потребность писать стихи лучше, чем удавалось до сих пор на студенческой скамье, читая великих предшественников и внимая самым громким голосам своего поколения. А её поколение, сдававшее первый гражданский экзамен в середине 50-х годов, оно не только в енисейскую тайгу и скалы — оно и в поэзию вламывалось напористо, громко, талантливо. И если строителям и целинникам эта напористость, эта рискованность безоговорочно ставилась в заслугу, со стихами молодых случалось по-всякому. Сама Майя Борисова вспоминала, как те самые строчки, которые потом с восторгом цитировали, вручая ей билет члена Союза писателей, тогда, на первых порах, чуть-чуть не стали роковыми и для первой её книжки, и для всей карьеры начинающего журналиста.

Командировка

Ты уже приобрёл сноровку
Собираться за пять минут.
Снова дальняя командировка,
Незнакомый ещё маршрут.

* * *

Здесь герои в стёганках ватных,
Пропыленные до черноты,
Угловаты и грубоваты
И в сужденьях весьма круты.

* * *

И мечтаешь: далеко где-то,
На полях и в лесной глуши,
Покупают люди газету
Не для курева — для души.

1957 г.

Эта проверка на прочность была посложнее, чем сибирские дороги и морозы, и Майя Борисова прошла её с честью, не дав себе скидки ни на отдалённость поэтических столиц, ни на «местные условия». Лучшие, серьёзные стихи, накопленные за десятилетие, отняли у Майи Борисовой право именоваться и дальше «молодым поэтом», хотя со вчерашней «молодой поэзией» её и в жизни, и в творчестве связывает многое. Впереди — самостоятельная дорога поисков и открытий.

Вспоминает Зинаида Иосифовна Нижегородцева, корреспондент газеты «Власть Советов», которая лично знала Майю Борисову и дружила с ней. Из Ленинграда Майя долго писала ей письма, а в 1975 году именно ей прислала детскую книжку, выпущенную в 1975 году, — «Пока вчера ещё сегодня». (…)

Эта книга с самого начала писалась для школьников старших классов. Для них-то уж выход в жизнь — самое что ни на есть «сегодня». Им и рассказывает Майя Борисова, с какими горестями и радостями, успехами и неудачами, с какими трудами она узнавала жизнь. Узнавала вширь и вглубь, как газетчик



Строители Красноярской ГЭС, 1960-е гг.

и как поэт. Прежде чем учить других через газету, журналист много учится сам — у людей работящих, думающих и, конечно, духовно сильных и красивых.

В названии книги есть ещё один смысл. Пока сегодняшний день ещё не стал вчерашним, в нём многое можно понять и изменить к лучшему. А для этого нужно думать, нужно разбираться в себе, в людях, в окружающем мире. Книга состоит из нескольких глав. В главе «Нас так учили…» Майя Борисова пишет:

«Нас, оказывается, не так плохо учили… А мы привыкли думать, что учили нас плохо: стенографию не преподавали, фотографию не преподавали, даже на машинке не обучали печатать. Журналистами, не владеющими основами ремесла, — вот кем нас выпускали. И лишь поехав в первую в жизни командировку, я поняла, что чему-то основному, важному учили нас правильно. Нет, вру: тогда я ничего не поняла. Я действовала „как учили“, по простоте душевной, потому что не умела иначе. Но такой великолепной командировки, как первая, у меня никогда больше не получалось. Прямо сказка, а не командировка! Перед отъездом я купила на барахолке кирзовые сапоги. У меня была отцовская полевая сумка через плечо и толстые короткие косички — концы штопором. Я была счастлива. Сейчас, возвращаясь к тому времени, я спрашиваю себя: почему? Откуда это ощущение повседневного счастья? Почему я не боялась? Ведь уехала же и вправду далеко от родителей, от родного города, впервые в жизни так далеко и так надолго. Уехала, оказалась среди чужих, посторонних людей. Сразу, по-глупому, посвятила их в секреты, в сложности своей личной жизни — почему неознобило ни разу ощущение беззащитности, уязвимости? Почему всё нравилось? Попала в маленький, совсем ещё провинциальный и скромный Абакан — была рада, как не знаю кто. Жила полтора месяца в гостинице — номер на восемь, что ли, коек, — нравилось. Получила свою комнату, холодную, пустую, печка, уголь трескает, тепла не даёт — всё равно в восторге!

Поехала в командировку. От Абакана до районного центра чуть ли не двести километров. Битком набитый автобус трясся, как припадочный, по выбоинам пыльной дороги. Сквозь дребезжащие окна — пыль, из каких-то прорех в днище — вдруг, столбом, атомным грибом — пыль… На остановке глянула на себя в облупленное зеркало придорожной чайной — кошмар: волосы колтуном, глаза красные, на зубах песок скрипит. А в тарелке — гуляш тёмного происхождения со склизкими макаронами. Нравилось! Почему? От молодости? Но ведь дома, в Ленинграде, даже дурная погода вызывала досаду. Романтика! До чего, однако, обесценилось слово — произносить неловко… Ладно, заменим его другим. Но именно заменим, потому что объяснение кроется тут, рядом, точнее — в ряду родственных понятий. У меня была ЦЕЛЬ. Я хотела стать журналистом. Таким, как Джон Рид. Как Илья Эренбург. Как Михаил Кольцов. Как Симонов. Я шла к этому через достижение целей поменьше, поконкретней: трудно было поступить на отделение журналистики, сразу не удалось, потом всё-таки поступила. Хотела после окончания — в Сибирь, которая имела твёрдую репутацию «переднего края», а меня распределили в Вологду. Поспорила с комиссией — добилась своего. И даже неважные условия работы или быта хороши были тем,

что подтверждали: да, Сибирь — это передний край. Они как бы сближали меня с теми, на кого я пыталась походить. И, значит, помогали служению ЦЕЛИ.

Но была и ещё одна, отчасти скрытая даже для меня самой, ЦЕЛЬ. Чтобы обозначить теперешнее место в моей жизни, не то что прописные буквы — плакатный шрифт мелок! Сидело внутри меня нечто, что изредка нашёптывало мне стихи, но пока в основном заставляло копить, копить — впечатления, ситуации, людские судьбы, собственные радости и горести. Мне всё нравилось ещё и потому, что всё шло на пользу и было в удовольствие этому „нечто".

Мое счастье и удача в том, что личная молодость совпала тогда с молодостью целинных совхозов, Дивногорска, с резким „омоложением" поэзии наконец…»

Тогда, в конце 1950-х и в 1960-е, возникло целое поколение поэтов, окрылённых оттепелью, очевидностью перемен в общественной жизни и в душах, поведении людей. Публицистическое начало, отзывчивость на тревоги и запросы дня роднит Борисову с поколением Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. Рождественского, но эта сторона её поэзии быстро, от книги к книге, проникается у неё рефлектирующим началом, сродни философскому. У неё немало стихов, проникнутых глубокими и неторопливыми раздумьями.

В своей книге «Пока вчера ещё сегодня» этому времени посвящена глава «Траверзный брус».

Во всём, что ждёт нас:
Трудность, лёгкость,
Успех, а может, и ушиб, —
Нужны не хитрость и не ловкость,
Нужна направленность души.

Майя Борисова вспоминала: «Вот с тётей Надей мы и вылезли в передовики на траверзном брусе. Я, пока сама не поработала на лесозаводе, относилась к нормам и процентам довольно-таки пренебрежительно. Мне казалось: люди говорят о них потому, что думают, будто газетчику именно это и надо. А мне, газетчику, нужно совсем другое: мне нужно понять душу рабочего человека, его настроение, его мечты, как говорится, и чаянья. Но когда мы с тётей Надей выполнили норму на сто восемьдесят процентов, то я, надутая и важная, как индюк, ходила возле доски показателей, и настроение у меня, именно по причине этих самых процентов, было прекрасным. А мечты и чаянья воплотились в желания, чтобы нас всегда ставили на траверзный брус и мы не вылезали бы из ударниц. (…)

Работа с брусом считалась тяжёлой, но почётной и выгодной. Долго одних и тех же мастер на ней не держал…»

«Со вчерашнего дня, — пишет с юмором Майя Борисова, — я — Королева Траверзного бруса, гордость цеха…»

И вот однажды тётя Надя ей посоветовала: «Хватит тебе уродоваться. Чего хотела увидеть на производстве — увидела. А здоровье тратить на забаву — куда годится!.. Ты грамотная, культурная. Если бы к нам за делом пришла, давно бы уже на станочницу вернулась да на вечерние курсы записалась бы, в мастера бы двигалась. Да ты не обижайся, не виню я тебя ни в чём, мы к тебе привыкли.

А только ближе, чем сейчас, ты нам всё равно не станешь. И про жизнь нашу больше не поймёшь. Ты нам в своём кровном деле покажись, мы тебя лучше полюбим и больше расскажем, если захочешь…»

Майя Борисова писала о себе: «Проработала я на Канском лесозаводе всего два месяца. Старалась быть добросовестной. Поняла, кажется, что это значит: это значит делать своё дело так, чтобы твоя совесть была добра к тебе. Чтобы не грызла… И ещё поняла: человек раскрывается не в разговорах и даже не в том, что он делает, а в том, как он это делает. Всё равно что! Это неправда, что пока я, мол, квартиру убираю или производственную практику прохожу, я могу казаться таким-сяким-неважным, а дайте мне до строительства космических ракет дорваться, там уж я — ого-го! — каким себя зарекомендую. Если мы кое-как делаем неважные дела, нам, как правило, не удаётся даже добраться до важных, не то чтобы добиться в них успеха… А знаете, как можно увидеть, хорошо человек работает или плохо, даже если ты ничего в его работе не понимаешь?

Это я, правда, заметила ещё на студенческих стройках, но потом проверяла и на заводе, и в других местах, и каждый раз моё мнение подтверждалось. Человек, хорошо делающий своё дело, сам хорошеет. Даже чисто внешне: он становится красивым, ловким, изящным! Это очень верная примета…»

Вот такие уроки жизни вынесла Майя, работая на заводе.

Казимир Лисовский[1]

В ноябре 2019 года Казимиру Лисовскому исполнилось 100 лет со дня рождения, и почти 40 лет, как не стало этого весёлого, неугомонного, эксцентричного человека. Современный читатель вряд ли слышал о поэте. А ведь был период литературной жизни Красноярья, когда Казимира, или Казика, как называли его друзья, знала вся Сибирь. Он прославился своей остросюжетной публицистикой, детскими стихами, очерками и поэмами о сильных натурах, легендарных исследователях Севера, военных моряках и лётчиках, строителях индустриальной Сибири.

Произведения Казимира Лисовского пронизаны любовью к Родине, её народу. Современный критик Алексей Горшенин считает некоторые произведения Лисовского «архаичными, наивными, газетными, слишком идейными и даже и конъюнктурными». Пожалуй, ни один поэт не способен выдавать нагора гениальные вирши ежедневно, поэтому и у Лисовского были проходные стихи к торжественным датам. Но главное, веское слово поэта о русском народе

[1] *Броднева А. В. Казимир Лисовский. К 100-летию. Первая публикация. Лисовский К. Л. В краю, что стал моей любовью. Красноярск: Книжное изд-во, 1975.*

в XX веке звучало и по-прежнему звучит современно, тревожно, возвращает читателя к героическому прошлому страны.



Казимир Леонидович Лисовский, 1950-е гг.

Родился Казимир Леонидович в 1919 году вдали от Сибири — на Украине, в Винницкой области, но с юности его судьба связана с Красноярском, куда семья приехала в 1933 году. Вся деятельность журналиста и поэта неотделима от Сибири. Его стихотворные репортажи напоминают нам о времени энтузиазма, с каким люди 1950—1970 гг. прошлого века открывали для себя Сибирь. Об этих людях, преобразовавших её своим трудом, он пишет как о лучших людях России. Из автобиографии:

«…Родное село Ободовка на Украине. Тяжёлая мучительная болезнь отняла у меня почти все годы детства. Несколько лет я не мог ходить. И право же, не знаю, что сталось бы со мной, если бы не преданная, нежная, истинно отцовская любовь моего дяди Антона Викентьевича Лисовского, если бы не книги, окружившие меня (читать начал с шести лет), если бы не стихи Пушкина, Лермонтова… И после длительного лечения в Киевском ортопедическом институте, после гипсовой кровати, к которой я был прикован два года, я впервые встал на ноги. Занятия в школе, походы в ночное, пионерские сборы.

В 1930 году вся наша семья переехала в Сибирь, на разъезд Харик, вблизи большого села Куйтун, где тогда начиналось строительство Иркутского зерносовхоза. Здесь появились мои первые детски-наивные строки. Учась в семилетке, я выступал на школьных вечерах, на слётах колхозников-ударников со стихами.

В 1933 году в иркутской пионерской газете с очень взрослым названием „За здоровую смену“ появилось моё стихотворение „Ангара“. Оно было посвящено намечавшемуся тогда строительству гидроэлектростанции на Ангаре „Ангарстрою“. Стихотворение похвалили. В областной газете „Восточно-Сибирская правда“ М. Басов („Сибирские огни“) сравнивал его со стихотворением М. Голодного на ту же тему и отдавал предпочтение моему.

В том же году мы переехали в Красноярск. Меня он настолько очаровал своей живописностью, самобытностью, что надолго вошёл в моё творчество. Пятнадцать лет спустя после первой встречи с Красноярском, уже живя в Новосибирске, я написал большой цикл стихов, который назвал „Город моей юности“.

В Красноярске я учился в 19-й средней школе. В 1934 году в „Красноярском рабочем“ впервые появилось моё стихотворение. Это стихотворение я читал во время встречи спасателей ледокола „Челюскин“ — лётчиков Молокова,

Водопьянова, Леваневского, Слепнёва — на перроне железнодорожного вокзала. Несколько лет спустя, уже работая в краевой пионерской газете, ближе познакомился с В.С. Молоковым, который летал на Север. Несколько раз встречался я тогда с легендарным „ледовитым“ капитаном Отто Юльевичем Шмидтом, подарившим мне в одну из встреч свою фотографию, но она затерялась в 1937 году».

Грянула Великая Отечественная война. Сражаться на фронте Казимиру Лисовскому не довелось — в армию его не взяли по состоянию здоровья. Но делу победы над врагом он послужил: выступал на радио, ездил в колхозы, участвовал в выпуске агитплакатов «Окна ТАСС». В 1942—1943 годах работал в Игарке ответственным секретарём газеты «Большевик Заполярья». В 1944 году в Красноярске вышла первая книга Лисовского «Клятва», где представлена его военная лирика. С тех пор в издательствах Москвы, Новосибирска, Красноярска выходили сборники его стихов, очерков и произведений для детей. Поэт печатался во всех центральных газетах, в журналах «Октябрь», «Огонёк», «Москва», «Нева», «Сибирские огни», «Смена» и других. Побывал Казимир Леонидович, наверное, во всех уголках Сибири… «Сибирь по-прежнему осталась моей первой любовью», — говорил о себе поэт. Ему был ненавистен мещанский покой и уют:

Противопоказано поэту,
Если он не хочет устареть,
Жить в тиши уютной кабинета
И на мир из форточки смотреть.
И, томясь, высасывать из пальца
Строки, не согретые душой…
Нет, судьба газетчика-страдальца
Во сто крат дороже мне иной.

Сибирь и Север для него — открытая книга. Он бесстрашно плавал на лодке-илимке по Подкаменной Тунгуске и мчался на оленях под сполохами северного сияния из Туры к фактории Усть-Илимпея. Он входил в чумы эвенков и взбирался на бетонные громады сибирских гидроэлектростанций. Тува, Алтай, Хакасия, Байкал, Норильск, Игарка, Туруханск, Диксон, Якутия… Маршруты суровые, но и романтичные.

И когда он возвращался из дальних странствий, пропахший морозной хвоей и дымом кочевий, полный впечатлений от пережитого, по-ребячьи восторженный, подвижный, смеющийся, друзья знали, что уже завтра он будет читать о дорогих его сердцу полярниках, оленеводах, капитанах кораблей, строителях, звероловах, следопытах… И внимала его стихам без преувеличения вся великая наша страна…

Особое место в душе поэта навсегда занял Енисей. Ему посвятил он многие стихи, ласково называя его то «вечным тружеником», то «умельцем и другом», то «братом полярных морей», а то и признаваясь, что Енисей «любви моей первой сильней»!

Одна из самых ярких страниц творчества Казимира Лисовского — поэма «Русский человек Бегичев» — повествует о легендарном полярном исследователе Никифоре Бегичеве. Много сил потратил Лисовский на то, чтобы найти в тундре затерявшуюся могилу Бегичева, а потом добиться специальной экспедиции по расследованию обстоятельств гибели Улахана Анцыфора (Никифора Бегичева). Поэма была написана в 1947 году и стала событием в литературе.

Обращение к той или иной исторической личности — одна из характерных черт творчества Казимира Лисовского. И тянуло его больше к натурам сильным волевым, талантливым». Ленин, Колчак — всемирный масштаб личности, причём Александр Колчак, враг революции, у Лисовского в поэме «Сумасшедший поезд» показан не предателем России, а человеком многогранным, обладающим талантом исследователя, «рыцарем белой идеи». Поэму «Сумасшедший поезд» (1966) сам Лисовский не без оснований считал лучшей своей вещью. Для такой трактовки образа «белого генерала» нужна смелость и отвага, не меньше, чем в бою — «вызывать огонь на себя».

Бесстрашный поэт и журналист, Казимир Лисовский свято верил, что в каждой из гигантских строек ощущается «пульс и биение сердца» Сибири, он верил в приращение богатств Родины «Сибирью и Северным океаном»; в поэмах и стихах создал образы воинов-сибиряков, первопроходцев, героев созидательного труда. И гордился тем, что в биении пульса своей родной сибирской земли есть капля и его труда. Он говорил: «Я непреложно верю в то, что историки, вспоминая годы Гражданской войны и первых пятилеток, изучая годы Великой Отечественной войны и мирного созидания, строительства новых железных дорог, комбинатов, гигантских ГЭС, не пройдут равнодушно мимо наших строк, ибо в каждой из них ощущается пульс Сибири, бьётся её сердце».

Казимир Лисовский в своих стихах создавал образы современников, героических деятелей прошлого: И.М. Назарова, начальника Енисейского речного пароходства, библиофила И.М. Кузнецова, художников Т.В. Ряннеля и В.И. Мешкова; писателя М.И. Ошарова, изыскателей трассы Абакан — Тайшет в 1942 году — А. Кошурникова, К. Стофато и А. Журавлёва, декабриста В.Л. Давыдова, великого русского художника В.И. Сурикова.

Стихи и поэмы К. Лисовского стали поэтической летописью края. Не было такого важного, дорогого красноярцам события, на которое он бы не откликнулся. В стихах Лисовского — сплав документального и художественного освоения темы. Это качество советского поэта сформулировал ещё Владимир Маяковский, которому была свойственна лирическая агитка, гражданская патетика, и последующие поколения поэтов следовали традициям гражданственности, определяли своё место в рабочем строю.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1969 года за заслуги в развитии советской литературы и в связи с пятидесятилетием со дня рождения Казимир Лисовский был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Казимир Леонидович Лисовский умер 25 января 1980 года в Новосибирске. Остались его нестареющие потрясающие душу строки.

Проводы коммунистической бригады

…Состав уже подан,
А гудки всё ревут. Всё ревут, не смолкая, гудки.
И хромой ветеран революции пятого года
Тихо шепчет им вслед:
— Дорогие… Родные… Сынки…

И как высшая честь, и как лучшая братская ласка,
Прозвучит после боя солдатский простой говорок:
— Ты откуда, браток?
— Издалёка я. Из Красноярска.
Я к Берлину иду с берегов Енисея, браток!

1947 г.

Приезжайте... увидите сами!

Оторваться глазами не смея,
Я гляжу на разлив Енисея,
На таёжные эти просторы,
На покрытые дымкою горы,
На Столбов заповедные кручи,
На замшелого Деда и Перья...
Здесь художник с талантом могучим
Убедится, что он подмастерье.
И порою обидно уж слишком,
Что, красу не видавши такую,
Люди, зная наш край понаслышке,
О Сибири худое толкуют.

До сих пор ходят глупые сказки,
Что Сибирь-де без солнца, без ласки.
До сих пор ходят басни досужие,
Что Сибирь знаменита лишь стужею,
Мол, метели там песни заводят
Да медведи по улицам бродят.
До сих пор ещё часто при встрече
Спросит, ахая, житель столичный:
— Из Сибири? Да что вы! Далече!
Глухомань вам неужто привычна?
Нет, не с теми, кто падок на слухи,
Кто привязан к московской квартире, —
С молодыми и сердцем и духом

Я хочу говорить о Сибири:
— Да, Сибирь далеко от столицы,
Да, здесь вьюга неделями злится,
Да, садами наш край ещё беден,
Да, в тайге есть, конечно, медведи.
Но медвежьим одни лишь невежды
Край сибирский считают, как прежде!
Им, видать, невдомёк, что с годами
Эти земли обжитыми стали,
Что давно новостроек огнями
Замерцали таёжные дали,
Что увидишь в суровом просторе
Свет Норильска и Мирного зори.
Солнце? Солнце у нас не скупится!
Соловьи? И такие есть птицы,
Да и реки-то (скажем уж прямо)
Величавее Волги и Камы.
Кто сравнится прозрачной водою
Ну хотя бы с одной Ангарою?
А красою и силой своею
Кто, скажите, под стать Енисею?
А какие тут дивные вёсны!
А какие тут звонкие сосны!
Тихо кедры мохнатые дремлют,
Разбежались цветы по увалам.
Поглядишь и поверишь: на землю
Словно радуга с неба упала.
А какая тайга вековая!
А какие тут горные цепи!
А какие — от края до края —
Медуницей пропахшие степи!
Воздух чище воды родниковой,
Только выйдешь в просторы — и сразу
Пьёшь и пьёшь его жадно, готовый
Пить ещё и ещё, до отказа.
Всем Сибирь и щедра и богата!
Здесь для юности край непочатый.
Впрочем, что убеждать вас стихами?
Приезжайте... Увидите сами!

1956 г.

Николай Леонов[1]

* * *

Звон имён — Туран, Иран!..
А много ль было в мире стран,
Где б человечий океан
Так бушевал, как в Азии?

Нам видно, стоя на корме:
Ещё ведь Запад тлел во мгле,
Но, словно солнце, Шах-наме
Взошло над бурной Азией.

Душил кровавых битв угар,
И пусть безумным был Омар,
Но кто нам спас, презрев пожар,
Наследство греков? — Азия.

Эллада погрузилась в сон,
Италию топтал тевтон,
Но Аристотель и Платон
Сохранены нам Азией.

Европа тяжким сном спала,
Дым ел глаза, душила мгла,
Нам свет науки сберегла
И книги греков — Азия.

Пусть власяница и ремни
Врезались в тело, но в те дни
Вселенной тайны Бируни
Пытал в далёкой Азии.

И не забудется вовек,
Как не смыкал усталых век,
Блуждая в безднах, Улугбек,
Сын древней мудрой Азии.

[1] *Публикуется по изданию: Леонов Н. И. Строкой неповторимой. М., 1971.*

Звон имён — Туран, Иран!
А много ль было в мире стран,
Где б человечий океан
Богат был жемчугом, как в Азии?

1961 г.

Потомки Ермака

Неуёмных предков тянули
Неоглядные дали твои,
И за Каменный Пояс шагнули
С Тимофеичем предки мои.

Околдованные Сибирью,
Шли они, не боясь пурги,
Опьянённые дикой ширью,
Шумом-звоном мохнатой тайги.

К великану-реке, к Енисею
Дошагали — Большая вода!
Поглядели: не пашут, не сеют,
И осели там — навсегда.

В топоры! Рубили остроги —
Человек или тайга — кто сильней?
Ой, трудны и длинны дороги,
Ну, да ноги, верно, длинней.

Корчевали упрямые корни,
Отступали и темь, и мошка.
От врагов, стиснув зубы, упорно
Отбивались не раз в острожках.

Где родные Кама, Ветлуга,
Волга, Сухона иль Дон?
Енисей! Мощного друга
В глухомани обрёл чалдон.

Нет, не свяжешь нас — мы непоседы,
Вольны духом. И всё пешком…
Далеконько прадеды-деды
Ушагали за Ермаком!..

Николай Леонов — учёный, поэт, писатель[1]

Я всегда благодарю судьбу за то, что родился в Сибири,
среди её просторов, что я с первых дней
дышал ароматом саянской тайги и хакасских степей,
что я рос на берегах величавой реки — Енисея…
Николай Леонов

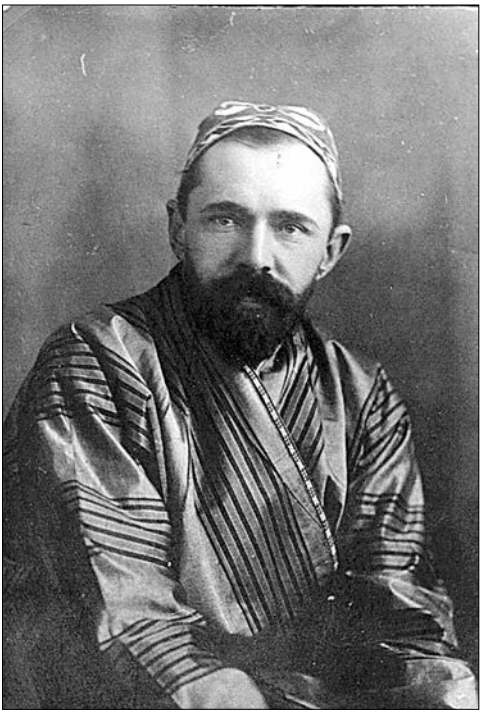
Ещё в 1921 году С.И. Гессен, философ-неокантианец, один из бывших редакторов международного философского журнала «Логос», заведующий кафедрой педагогики и философии Томского университета, писал молодому Николаю Леонову, в то время преподавателю исторического факультета Томского университета: «При вашей способности к научной работе, при вашем тонком понимании искусства, при широте ваших запросов, при вашей любви к России — из вас, я убеждён, выработается первоклассный писатель, учёный, критик и поэт. Такие люди нам особенно будут нужны, когда пройдёт переживаемое сейчас нами… Нам нужны будут люди, которые раскроют нам нашу собственную душу, наше назначение как народа и поколения. Для этого у вас есть все данные — яркость чувств и блеск таланта. В вашем будущем я не сомневаюсь, без всякой лести, вы один из самых талантливых людей, которых я встречал за последнее время. И что бы из вас ни вышло — учёный, поэт или писатель, всё равно путь к последнему идёт через пути обоих…»

В общем-то всё так и случилось. Николай Иванович Леонов стал крупным русским учёным, работавшим в области нескольких наук: истории, археологии, этнографии, географии, геологии, геотектоники. Он был профессором Самаркандского университета и основателем кафедры географии в Ферганском пединституте, где открыл политехнический музей, в котором были представлены горные богатства Узбекистана, промышленность и сельское хозяйство. Занимаясь археологическими раскопками в Зеравшанской долине, открыл памятник узбекского зодчества IX века — мавзолей Араб-аты. Увлёкшись геотектоникой и изучив историю вопроса, он написал монографию «Движение материков и океанов», где впервые, отталкиваясь от теории мобилизма известного геотектоника Вегенера и русского учёного-самородка Евграфа Быханова, создал собственную теорию движения материков и океанов.

Посвятив жизнь науке, он никогда не забывал о своём писательском призвании. Опубликованы десятки книг для детского чтения по истории разных народов бывшего Советского Союза, несколько художественных книг, в том числе «Встреча на Воробьёвых горах» — о дружбе двух прекрасных людей — Герцена и Огарёва. Известен его исторический очерк об Урянхайском крае и научно-популярная книга «Танну-Тува, страна голубой реки» и несколько книг о русских путешественниках-исследователях Средней Азии: П.П. Семёнове-Тян-Шанском, А.Ф. Миддендорфе, А.Н. Северцове, А.П. Федченко. Леонов прошёл

[1] *Верещагина Т. Николай Леонов — учёный, поэт и писатель. Первая публикация.*

путями своих героев тысячи километров вместе с женой Н.Н. Хмелевой. Впоследствии именем Леонова будет назван один из перевалов Алайского хребта.



Николай Иванович Леонов, поэт, учёный, путешественник

Но большинство из написанного им так и осталось неизданным, потому что он писал только о том, что просила сказать душа, а не о том, что требовалось в данный момент партией и правительством. Это касается и художественных и драматургических произведений, и, конечно, стихов. Стихи Леонов писал всегда, с самого раннего детства. И считал себя прежде всего поэтом, а поэзию своим призванием. Его стихи разнообразны по тематике. В них прославляется радость бытия, нежность, дружба и любовь… У него удивительное чувство природы, будь то: суровая красота Сибири или знойные пески Средней Азии. Его стихи — это размышления о жизни и смерти, об истории родной страны, даже о тех её страницах, о которых в те годы было не принято не то чтобы говорить, но даже думать. Отдельные циклы посвящены любимым поэтам: Александру Блоку, Анне Ахматовой, Марине Цветаевой и, конечно, Александру Сергеевичу Пушкину.

Самая первая книжка стихов была опубликована им в 1915 году, ещё одна вышла в 1929-м, отдельные подборки печатались в журналах «Дружба народов» и «Огонёк». Но это было каплей в море из написанного им. Уже после смерти Николая Ивановича, которая наступила 9 ноября 1971 года в Москве, сын Николай Николаевич опубликовал книгу стихов «Строкой неповторимой» и сборник «Невольник чести» — об Александре Сергеевиче Пушкине, написанный им в 1937 году, к столетию смерти поэта. В своей автобиографии Леонов писал: «Приближалась столетняя годовщина гибели Пушкина. Возникла мысль — составить текст лекции на тему „Последний год жизни поэта“. Стал читать дневники, письма, мемуары. Но вместо лекции появилась поэма. Пушкин увлёк, и я написал целый цикл поэм: „Егоза“ — лицейские годы, „Сверчок“ — после лицея, до ссылки, „Алеко“ — южная ссылка, „Его закованные дни“ — в Михайловском. Поэмы биографические, написаны пушкинским размером: „Егоза“ — хореем, „Сверчок“ — октавами, „Его закованные дни“ — онегинской строфой и т. д.

Очень ценным для меня было признание поэм критиком Шервинским, его я считаю большим знатоком стиха. Читал поэмы на публичных вечерах в Пушкинской комиссии в Мособлплане, слушали внимательно, восхищались, выра-

жали уверенность и надежду, что они будут напечатаны и станут доступны читателям. Но прошло более четверти века, а поэмы остаются только для своих…»

«Для своих» остались и многие драматические произведения, такие как пьеса «Буря» — о первых годах революции, драма «Ко-Ке» о художнике Гогене, «Терновый венец» — пьеса по роману Эса де Кейраша «Реликвии», «Мигель и Дон Кихот», две трагедии в стихах «Сноха», «Давид и Вирсавия». Он предпочитал положить готовую рукопись в ящик стола, чем «подчинить задуманное злобе дня».



Обложка книги Н. Леонова «Танну-Тува: Страна голубой реки»

Очевидно, не отвечали злобе дня и новеллы, написанные под впечатлением итальянских дневников французского дипломата Анри Бейля, одного из знаменитейших писателей Франции XIX века, известного под псевдонимом Стендаль. Эту серию новелл Леонов назвал «Ограбление господина Бейля». Невостребованной оказалась и повесть «Тайный бор». Действие в ней происходит на севере Сибири, в енисейской тайге, в тех местах, где родился его отец, Иван Карпович Леонов. Повесть читается на одном дыхании — настолько она психологична, с такими яркими персонажами, так непосредственно переданы ощущения жизни природы и человека, неразрывно связанного с ней, что просто невозможно оторваться, пока не дочитаешь всё до конца. В этой повести очень тонко и точно описано то, без чего нет жизни на земле, если грубо говорить — повесть сексуальна, и уже одно это могло стать непреодолимым препятствием для её напечатания в те годы.

Кто же такой Николай Леонов? Родился он 21 мая 1894 года в Саянах, в амыльской тайге, на прииске «Матвеевский», принадлежавшем его отцу. Его матерью была Нина Георгиевна Сафьянова, дочь известного купца Георгия Павловича Сафьянова, сподвижника и друга Николая Михайловича Мартьянова, основателя Минусинского музея. Уже позднее, в своих автобиографических записках, Леонов писал: «Я всегда благодарю судьбу за то, что родился в Сибири, среди её просторов, что я с первых дней дышал ароматом саянской тайги и хакасских степей, что я рос на берегах величавой реки — Енисея… Благодарю судьбу и за то, что я рос в маленьком сибирском городке, в большом дедовом доме на бугре, с окнами на все четыре стороны, где бывали его близкие друзья — Д. Клеменец, Г. Потанин, П. Крылов, А. Малинин, Ф. Кон и Николай

Михайлович Мартьянов, друг всей нашей семьи, неутомимый натуралист, создатель Минусинского музея».

О своём деде, Георгии Сафьянове, Николай Леонов писал: «Дед сам по себе был деятельным патриотом, в какой-то мере ему и русские, и тувинцы обязаны тем, что тувинский народ вошёл в семью народов России. Недаром, помню, взрослые шутливо называли его „графом Урянхайским“. Помню, что дед, уразумев смысл „недоразумения“, связанного с расстановкой русских и китайских пограничных караулов по договору, заключённому в Кяхте Саввою Рагузинским ещё в 1727 году, ездил с докладной запиской в Петербург к министру финансов Витте. Поездка была произведена за свой счёт».

Зиму семья Леоновых обычно жила в Красноярске, Томске, а затем в Москве, где дети могли получить хорошее образование. Лето же проводили на заимках в Саянах. Одно лето Коля Леонов жил у своего двоюродного деда Андрея на заимке Мезель, в Туве. Это лето запомнилось цветущими дикими маками и тем, что впервые там прочитал историческую книжку про царя Алексея Михайловича. И с тех пор история стала для него настолько притягательной, что когда стал вопрос: куда пойти учиться, — он без колебаний выбрал историко-философский факультет Московского университета, который окончил в 1918 году, когда уже шла Гражданская война.

В то же время он познакомился с Натальей Хмелевой, впоследствии ставшей его женой, а через неё и с её отцом, депутатом Государственной думы, Николаем Хмелевым, по просьбе которого он стал заниматься вопросами доставки продуктов в голодающую Москву, а затем принимал участие в съезде белого движения в Екатеринбурге. Когда было создано Временное Сибирское правительство Колчака, Леонову была предложена должность чиновника особых поручений в этом правительстве.

В 1919 году, после разгрома Колчака, Леонов вместе со своей невестой Натальей Хмелевой оказались в Минусинске, где и произошло их венчание. Его жена была праправнучкой Фёдора Соймонова, третьего по счёту губернатора Сибири, о котором в книге «Два века красноярского самоуправления» написано: «Яркий след в истории сибирского управления оставил губернатор Фёдор Иванович Соймонов». После венчания молодые супруги пытались уединиться от бушующих ветров революции на одном из таёжных приисков отца Николая, но покоя не было нигде. На плотах они вынуждены были бежать по Енисею до Красноярска, а потом до Томска, где удалось устроиться на преподавательскую должность в университете, там и произошло знакомство с Сергеем Иосифовичем Гессеном. С его письма и начался рассказ о Николае Ивановиче Леонове.

Через два года исторический факультет в Томском университете был закрыт, и Леоновы выехали в Москву, где Николай Иванович сотрудничает с журналами «Народный учитель», «Новый Восток», «Северная Азия», где публикуются его статьи, посвящённые вопросам истории Сибири, Дальнего Востока, Урянхайского края. Принимал деятельное участие в делах Общества по изучению Урала, Сибири, Дальнего Востока, являлся членом президиума Ассоциации

востоковедения при Наркоминделе, был штатным консультантом Комитета Севера при ВЦИК, заместителем председателя школьной комиссии, председателем которой был в то время А.В. Луначарский. В 1930 году Леонов был приглашён на работу в Узбекистан, в только что открытый Ферганский пединститут, и вся его последующая жизнь связана с Ферганой, со Средней Азией.

«Встречи с Алайским хребтом, с Шахимарданом, с кишлаками, горными речками очаровали меня. Я всегда ощущал в себе азиата. И я вернулся на свою прародину». Здесь начался цикл стихов «Под небом сороковых широт». Этот цикл написан глазами художника, ушами музыканта, потому что не просто читаешь эти строки, а видишь и слышишь всю картину как наяву:

При имени звучащем — вслушайся! —
ФЕРГАНА! — я вспоминаю
Шатры чинар и лепет воды,
Горьковатый чай в пиале и душистый
Синеватый дымок за дувалом.
При имени звучащем — я вспоминаю
Мандариновые ломти ароматной дыни,
Тающую сладость смуглого персика
И тугую прелесть твоих виноградин,
Снегами опоясанная Фергана.

Здесь в Узбекистане произошла встреча с тогда уже очень знаменитым, только что получившим Сталинскую премию писателем Василием Яном. Эта встреча подарила им дружбу на двадцать с лишним лет, до самой кончины писателя.

Уже после смерти Яна Леонов в своей статье «Мои встречи с Ходжа-Рахимом» писал: «Что же нас особенно сблизило? Я думаю, что это были мои стихи о Средней Азии и какое-то интуитивное проникновение в очарование Азии — Средней и Центральной. Мы побывали оба, правда, в разные годы в центре Азиатского материка, в Туве. А там, в соседстве с Монголией, пахло теми самыми степными травами, запахами вечерних стад и потом конских табунов, которые ощущаешь, читая „Чингисхана“. Те же дымки над юртами, что лиловели и над стойбищами всадников Чингисхана, будоражили и наше воображение. Аромат этих дымков был родным и Ходжа-Рахиму, и писателю Яну, и мне. Сближало нас и восхищённое любование синеглазой осенью. Я читал много стихов об осени. Яну они нравились, и он настойчиво просил их повторять:

Такие дни, что сердцу тесно!
Все дни, как голубые сны,
Исполнены такой чудесной,
благословенной тишины.
Лежать бы в полусне ленивом…
Уверенная в каждом дне,
Шелками шьёт неторопливо
Узбечка-осень сюзане…»

В одну из дружеских встреч Ян подарил Леонову свою книгу с надписью: «Дорогому поэту — мечтателю Николаю Ивановичу Леонову повесть о грозном полководце, вставшем грандиозной тенью над всеми „вечерними странами“, от Ходжи-Рахима». В ответ Леонов написал стихи, которые уже посмертно посвятил своему другу — Ходжи-Рахиму, как любил себя называть Василий Ян:

Живот — как барабан. И это неспроста.
Растёт в нём тот, кто, выйдя в степи,
Полмира заарканит в цепи.
Тень полумесяца и тень креста
Перечеркнёт тугой извив нагайки,
И топот жеребцов прокатится как гром.
Он жажду утолит звенящим серебром,
Окрасит реки кровью без утайки.
И сбились к юртам сытые гурты,
И дыбится живот. Оскалилися болью
Монголки матери раскосые черты.
Кровавая звезда с небес глядела вниз
Над закопчённой юртой, рдея в высях.
А к юрте мчал отец, коня сбив с плавной рыси.
Мать вскрикнула, и в мир вошёл Чингис.

В 60-х годах Леонов дважды посещает Минусинск, много времени проводит в музее, работает с архивами, знакомится с фондами. Целью этих поездок было написание книги о создании Минусинского музея. В своих записках он пишет: «Прошлое Минусинска, его общество „естественных естествоиспытателей“, друзей музея и вся деятельность Н.М. Мартьянова убедили в необходимости написать об этом замечательном эпизоде в истории русской науки и культуры. Эту тему я считаю для себя обязательной. Принимаю на себя, ибо я уже один из немногих, кто ещё помнит Мартьянова и помогавших ему лиц. Это долг, как бы завещанный мне людьми, которых я с детства привык чтить». К сожалению, рукопись этой книги до сих пор не найдена, лишь известно о местонахождении одной из её частей.



Чингисхан. Иллюстрация художника С. Р. Ковалёва

В последние годы жизни Николай Иванович продолжал активно работать — читал лекции, оставаясь про-

фессором-консультантом в Ферганском пединституте. Проводил практику со студентами-географами, писал книги и статьи по истории Средней Азии, о среднеазиатских учёных Беруни и Улугбеке, организовал Улугбекские чтения, на которых слушались доклады по истории науки и искусства Средней Азии. И по-прежнему писал стихи. Стихи последних лет отличаются особенной глубиной, совершенством стиля, осмыслением миссии Поэта на земле:

Поэты, русские мессии,
Я верен вашему пути.
В пронзительной любви к России
Друзей мне лучших не найти.
И в день грозы, и в день затишья
Со мною ваш молитвослов,
И в нём одно четверостишье
Утешней всех стихов.

В этом стихотворении — намёк на четверостишие Фёдора Тютчева «Умом Россию не понять». Леонова терзают мысли о своей значимости как поэта:

Терзаюсь думами в тиши,
Бесследно исчезают тени.
Но где и в чём чекан души
Смогу оставить поколеньям?
Не надо много пышных слов,
Их надо в тигле переплавить,
Чтоб книжку малую стихов —
Таких, что будут жить, оставить.

И прекрасно понимает, что всё бренно на этой земле и только «стих один строкой неповторимой» может оставить след и кому-нибудь напомнить о поэте:

Потеря дня, увы, непоправима.
Ведь каждый считан, и не так их много,
А мы проходим равнодушно мимо,
И бесконечной кажется дорога.
Но знай, что придорожный тополь этот,
Залитый утренней серебряной улыбкой,
Пройдёт, как рыцарь стройный, мимо. Лето,
Состарившись, махнёт зардевшеюся веткой,
И запах улетучится. И след любимой
Безжалостно сотрёт певучий ветер.
Лишь только стих один строкой неповторимой
Кому-нибудь напомнит о поэте.

А «неповторимых строк» у поэта Николая Леонова не занимать. Чего только стоит его тополь с «утренней серебряной улыбкою». И мы надеемся, что эта небольшая подборка стихов познакомит читателя с поэзией замечательного поэта и учёного и будет напоминать о нём и о том, что каждый день неповторим

и бесценен. Николай Иванович Леонов умер в Москве 9 ноября 1971 года, прожив 77 лет.

Татьяна Верещагина[1], г. Туран, Республика Тыва

Письмо
(от В. В. Семёновой Тянь-Шанской)[2]

Я ехала домой — Алай сиял в снегах,
И, радуя мой взор, будил воспоминанья,
Мне думалось о том, что нежное сиянье
Порадовало б вас, блеснув потом в стихах.
Я ехала домой — лучился дивный свет
Серебряный полдневный свет ферганский.
В ушах звучал напев — признаться ли? — цыганский.
И что-то подымалося в ответ…
Я ехала домой, я думала о вас…
Алай был весь в снегу, вся цепь в снегах сияла.
Сиял ли вам Алай, как мне в тот синий час?
О, если б он сиял, как я того желала…
Я ехала домой, я думала о вас…

1967 г.

[1] *Верещагина Татьяна Евгеньевна — директор краеведческого музея города Турана, член Союза журналистов России (2000), почётный гражданин города Турана, заслуженный работник Республики Тыва — открыла для современного читателя имя забытого поэта и учёного Н. И. Леонова.*

[2] *Романс, который написан для жены друга — В. В., из сборника Н. И. Леонова «Строкой неповторимой», 1971 г.*



VIII. Поэзия XX века. Антология одного стихотворения

(стихи красноярских поэтов 1960—2000 гг.)

Игнатий Рождественский

* * *

Нет, я не верю оттепели краткой,
Нежданной, переменчивой, сырой,
С её лукавой, льстивою повадкой,
С её всегда капризною игрой.

Она придёт — сорвутся с крыш капели,
Ручьи засуетятся на дворе,
И мягкий южный ветер, как в апреле,
Обманчиво повеет в январе.

Видением сумятицы весенней
Лишь растревожит сердце и уйдёт…
Здесь холода честней и откровенней,
Прямей и проще нравы непогод.

Любовь Рубцова

На Север, в добрый путь

Яркие косыночки из шёлка
Развевает ветер озорной…
Снова уезжают комсомолки
По призыву партии родной.
Сколько их — кудрявых и курносых,
Смелых и насмешливых девчат…
И стучат, торопятся колёса,
И сердца горячие стучат.
Но немного всё-таки грустили
О садовых тропочках глухих,
Где-то парами бродили,
Где читали шёпотом стихи.
Может быть, мальчишка позабудет

И с другой по тропочке пойдёт?
Может, и соловушка не будет
Петь и щёлкать ночи напролёт?
Мы сады на Севере посадим,
Соловья с Сибирью примирим,
Как бойцы когда-то в Сталинграде,
Шаг за шагом Север покорим.
Трудности, невзгоды, испытанья,
Всё пройдём, как Родина велит,
Чтобы и под северным сияньем
Белые акации цвели.

Казимир Лисовский

Огонёк

Край земли. Глухие расстоянья.
Поздний час. А вроде ночи нет.
Льётся свет полярного сиянья,
Призрачный, зеленоватый свет.

Притомились быстрые олени,
Резкий холод за сердце берёт.
А ещё до ближнего селенья
Километров около двухсот.

И когда, почти изнемогая,
Мчит аргиш по снежной целине,
Вдруг блеснёт, блеснёт,
В снегах мерцая,
Огонёк в завьюженном окне.

Огонёк!.. И сразу — легче стало.
И как будто вовсе не продрог…
Кто б ты ни был, путник запоздалый,
В добрый час!
Переступи порог!

Зорий Яхнин

Девочка

Гул стоит над тайгой — ну и силища!
Солнце будто затёртый пятак.
Пьёт плотина из водохранилища
И не может напиться никак.

Поезда под грузами,
Нависают мосты над рекой…
Не забыть бы мне девочку русую,
Эту вот — леденец за щекой.

Вот стоит она в ботинках в луже
Посредине большого двора,
И не лучше других и не хуже,
Как прочая детвора.



В мастерской художника Т. В. Ряннеля, 1961 г. Среди присутствующих: Зорий Яхнин, Анатолий Чмыхало, Евгений Евтушенко, Тойво Ряннель, Роман Солнцев

Незнакомое мне поколенье.
Долговяза, курноса, смешна.
Но для этого стихотворенья
Мне такая как раз и нужна.

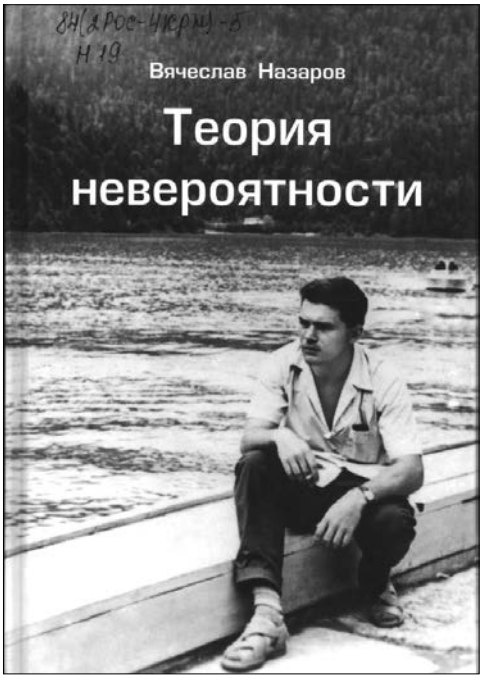
Век технической революции —
Самолёты и непокой.
И всё некогда мне прикоснуться,
Приласкать её тёплой рукой.

За моими высотными стройками,
За величьем сибирской реки,
За прямыми и жёсткими строками
Не забыть бы и этой строки.

Вячеслав Назаров

Дорога снов

Кто создал мир —
Эйнштейн или Бетховен?
Что нужно миру —
разум или сердце?
А может быть,
без разума и сердца,
как мох на камне,
медленно расти?
Я вижу сны неистового мозга:
тиски констант,
сжимающих пространство,
решётки цифр,
остановивших время,
и на крутой рассчитанной орбите —
рожденье солнца
по команде пульта.
Я вижу кубы, плоскости, кривые,
невиданные ткани и металлы
и вместо чувств,
неясных и неверных,



Обложка сборника избранных стихов Вячеслава Назарова «Теория невероятности», 2018 г.

отточенную точность
чертежа…
Я вижу сны неистового сердца:
теплом дыханья стёртые границы,
костры любви
на вдохновенных лицах
и под лучами музыки и солнца —
земля,
освобождённая от горя.
Я вижу губы в соке земляники,
я вижу пальцы в судороге счастья
и на виске,
под кожей,
рядом с мозгом —
бессонное биенье
мятежа…
А если так — без разума и сердца,
как мох на камне — медленно и верно,
приспособляясь к холоду и жару,
за всё цепляясь,
всех переживая,
не разрушая
и не сотворя?
Кто создал мир —
Эйнштейн или Бетховен?
Что нужно миру —
разум или сердце?
Я знаю только —
нужен спор их вечный
и, кроме спора,
вечное единство,
чтоб никогда
дорога в неизвестность —
нелёгкая дорога человечья —
не поросла
холодным ржавым мхом.

Владимир Капелько

* * *

Сижу один, уставший в жизни путник,
На шатком, неустойчивом мосту.
Из дней прожитых, как из гибких прутьев,
Корзину для души своей плету.
Сложу багаж приобретённых знаний,
Сложу в неё пройденные пути,
Уже давно уставший от скитаний
Попробую к семье их принести.
Всё упакую. На рассвете белом
Огонь бродяжий в сердце затушу
И жестом верным, робким и несмелым
Мечту узлом калмыцким завяжу.
И тихо побреду под скрип дергачий,
Под шум тайги, поднявшейся стеной,
Топча цветы подошвою незрячей
За верною и скучною женой.

Аида Фёдорова

* * *

Сибирь меня не вербовала
(достал словечками совдеп!..),
Я добровольно выбирала
Свой путь,
свой дом,
свой долг и хлеб.
Сибирь всегда слыла сердечной.
Мне ж часто виделась иной.
И я за выбор тот беспечный
Платила трудною ценой.
Итог: одних не обогрела,

Другим пришлась не ко двору.
Но никогда не пожалела,
Что здесь жила
и здесь умру.



Аида Фёдорова читает стихи на поэтическом вечере в библиотеке. Красноярск, 1965 г.

Анатолий Третьяков

Сны



Анатолий Иванович Третьяков

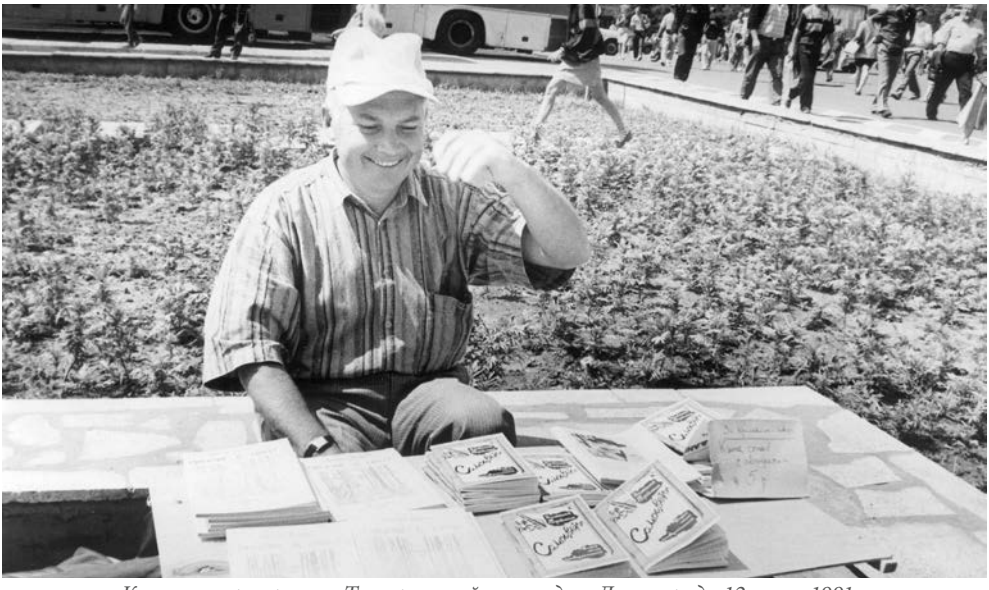
Мне снятся капитанские каюты,
Покинутые стены институтов,
Нарушенная заповедь «Не лги!»
И мной не позабытые враги…
Зато не снятся мне чины и званья,
Секретные не снятся спецзаданья.
Я в снах своих иду убитый горем
И всюду чувствую себя изгоем.
То вдруг сижу чужой в чужом застолье…
И, траченная совестью, как молью,
Душа моя, что не лежит к вахтёрам,
Ко всяким торгашам и контролёрам,
На части разрывается от боли

И плачет над приснившейся любовью…
Не мучайся, душа моя, напрасно…
Ведь это сны…
А в жизни всё прекрасно!

Николай Ерёмин

* * *

Послевоенный тихий городок.
Зовёт на подвиг городской гудок,
И вечером — такой же сиплый вой…
Всё, завершился подвиг трудовой.
Какая в сердце дальняя тоска!
Я покупаю хлеба, молока…
Со станции — привычный лязг колёс,
Пыхтит под паром чёрный паровоз…
За речкою — вдали — чернеет лес.
Нет в городе ни сказок, ни чудес,
Лишь — железнодорожные пути…
Хочу уехать! Господи, прости…



Книжная ярмарка на Театральной площади в День города 12 июня 1991 г. Николай Ерёмин предлагает читателям сборник стихов «Самоцветы»

Николай Рябеченков

Крысиада
(поэма)

Кусок луны над заводской столовой
вмёрз в стынущий полночный небосвод.
Народ уходит спать,
чтоб завтра снова
прийти работать на родной завод.
А небосвод…
холодным и чугунным
тяжёлым серым колпаком навис!
И чудятся мне на огрызке лунном
следы зубов ночных всесильных крыс.
Мороз гуляет по надёжным крышам.
Спит город, набираясь сил для дня,
отдав завод на поруганье крысам,
поставив соглядатаем меня.
Я наблюдаю их возню ночную
при свете света Красноярской ГЭС.
Всё замечаю, что в ночи почую.
Коплю заметы,
как богатства Крез.
Хоть что мне толку от богатств от этих?
Сидеть на них? Подсчитывать? Скупеть?
Ни в книжках,
ни в журналах,
ни в газетах
нельзя мне крыс прославить и воспеть!
Лишь где-нибудь
на праздной вечеринке,
чему ни будь она посвящена, —
ну там — женитьба,
или же — поминки,
иль на вино повысится цена, —
забыв свои заботы и обиды,
свои ошибки и свои грехи,
я после пятой рюмки
громко выдам

всем собутыльникам
«крысиные» стихи.
Я так начну:
«Послушайте, ребята!
Я покажу, чем я сейчас богат!»
И прозвучит тогда-то «Крысиада».
И кто-то перестанет есть салат,
И огурец солёный отодвинет,
И луковицу выронит на стол.
А кто-то, может быть, и рот разинет,
А кто-нибудь подумает: «Осёл!
Зачем связался он с крысиной темой?
Неужто не хватает в жизни тем?
Работал бы он лучше над поэмой
о Красноярской ГЭС
иль — о Ските…»
Родимые! Я это раньше слышал.
Но тему выбирать не суждено.
Она, как говорят, нисходит свыше,
и с ней не разведёшься,
как с женой…
Она придёт и вцепится в загривок,
даст карандаш, блокнот:
— Садись! Паши…
Я сам совсем не против строк игривых,
написанных для… как её? — души!
Я сам совсем не против строчки веской,
как железобетонная плита.
Увы! Не получается. Нет блеска.
Как говорят — чего-то не хвата…
И вот я суечусь. Возней крысиной
бессонными ночами окружён.
Связаться, что ль, и мне
с родной осиной?
Иль хлопнуть дверью?
То есть — выйти вон…
Ночные думы
к нам приходят с неба
и нас толкают в спину.
Дальше!!! Вниз!!!
…Я отдаю свой тощий ломоть хлеба
Какой-нибудь
из близбегущих
крыс…

* * *

Зачем мы живём?
Для чего суетимся и пишем?
Разгадка вопроса, как прежде,
совсем не проста.
И мне ли её разгадать?
Ни постом и ни ростом не вышел,
ни шкуры,
ни лап у меня,
ни усов, ни хвоста.
Вопрос этот прост для того, кто ползёт,
а не ходит.
Вот, скажем, для крыс,
для собой увлечённых трудяг.
А их — легионы на нашем родимом
заводе!
Нам крыса не друг, разумеется,
но и не враг!
В одном они — хищники,
ну, а в другом — санитары.
Грызи ослабевших!
Танцуй на костях, как в гостях!
Вот так танцевали на пленных славянах
татары,
чтоб стал у славян замечательно прочный
костяк!

Я не призываю сейчас их травить
керосином.
Их дуст не берёт,
пулемёт не возьмёт
и фугас.
В нас очень
немного вошло от породы крысиной,

но крысы забрали, представьте,
немало — от нас.
Вот эта картинка, к примеру,
вам очень знакома
(я тоже бы волком бы выгрыз
бюрократизм!):
уселись кружком под столом.
Заседанье крыскома.
Идёт обсужденье
вчера провинившихся крыс.

А чем они, серые,
и перед кем виноваты?
А тем, что вчера на зарядку
не вышли в строю.
И вот уж решенье:
— Лишить половины зарплаты!
Чужую зарплату транжирят, как будто
свою…

* * *

А вот:
бежит отглаженный,
прилизанный, красивый,
стремясь казаться важным,
солидным — шеф крысиный.
Там — подберёт огрызок,
тут — крошку хлеба слижет.
Он не высок, не низок,
не серый и не рыжий.
Он — неопределённый.
На прочих непохожий.
На должности казённой
старается как может.
Я — уступлю дорогу.
Всё ж крысы, а не мыши…
Старайся, мальчик. С богом!
Ползи, крысёныш, выше.
Тебе господь крысиный
пошлёт кусочек сыру,
диван-кровать с периной
и даже спецквартиру.
Нельзя же, в самом деле,
жить в норке, как и прочим,
крысавцам без портфелей,
простым разнорабочим.
Потом — машину купишь.
Потом — построишь дачу.
Толките воду в ступе!
Ловите миг удачи!

* * *

Расчерчен на железные квадраты,
слегка напоминая эшафот,
мой путь ночной!
Залог моей зарплаты…
Недалеко меня он доведёт!
Здесь по ночам попахивает псиной.
С чего бы? Средь железа и огня
Собак здесь нет. Ни сукиного сына!
Ни тёмной ночью, ни средь бела дня.
Здесь по углам живут и дышат крысы.
Та — приболела,
той — отгрызли хвост...
И с нетерпеньем зверским —
рты открыты —
собратья взгромоздились на помост.
С помостов,
как с больших трибун, глаголят,
от собственного пафоса дрожа,
о пользе сна, о вреде алкоголя,
о старых и о новых рубежах, —
они тогда
так резво суетятся!
Такие выступленья выдают!
Мне кажется,
что это святотатство.
Им кажется,
что это тоже труд…

* * *

Сибирь…
Большая золотая жила.
Край ценных ископаемых пород.
Она для всех всегда тюрьмой служила!
Сегодня — что?
Совсем наоборот?
Здесь столько муки мы перемололи,
чтобы собрать — хоть горсточку! —
муки…
Сюда бегут, как из тюрьмы — на волю!
Как из-под барской плети — в казаки!
Ведь мы ж — не ожидали комплиментов
за то, что вот — сломили Енисей…

Сбежавшие сюда
от алиментов
от Малых,
Белых
и других Расей…
Мой мозг — усох,
уже почти что — высох.
Шагая меж железа и огня,
стараюсь лишь, чтобы ночные крысы
не влезли ненароком на меня…

* * *

…По утрам
миллионные, мы
на своих на родимых заводах,
напрягая хребты и умы,
застреваем в передних приходах.
Протирая подошвы до дыр,
продирая колени и локти,
из согревшихся за ночь квартир
рвём к привычным конвейерам когти!
В каждом городе,
в каждом селе
каждый труженик мыслью пленяем:
мы с огромным вооду-ше-влением
месячный план выполняем!
Выполняем мы план годовой.
Выполняем мы план пятилетний.
Зарастают могилы травой
на исходе дорожки последней.
Все равны здесь:
и Пётр, и Иван.
Скрыв землёю значки и заплаты,
с честью выполнив жизненный план,
ждём тринадцатой скорбной зарплаты!
Хорошо, что хоть в дни похорон
исчезают суды-пересуды…
И звучит над землёю не звон
выступлений,
а звон от посуды.
Ведь всему наступает свой срок.
И ветшают слова и призывы.
Остаётся лишь несколько строк:

— Суждены нам благие порывы!
Доконала людей суета!
Нервы рвём,
как гитарные струны.
И царит над землёй
КРЫСОТА,
взобравшись на большие трибуны.
…«Крысиада» — конечно же, риск.
Только риск — благородное дело.
Я хочу, чтоб хоть несколько крыс
от поэмы моей
обалдело.

Лев Таран

Посёлок Баштам

Я скоро посёлок покину…
Запомнить бы мне навсегда
След шины, вмороженный в глину
С хрустящею корочкой льда,
Цепочку домов, автобазу…
Уеду — до них ли мне там!
Быть может, не вспомню ни разу
Таёжный посёлок Баштам.
Прощаюсь я с лесом, с обрывом,
С морозной туманной водой.
Телега скрежещет с надрывом,
Спускаясь по гальке речной.
Собака бежит за телегой,
Кивая нам всем головой.
Мы в воду въезжаем с разбега
И тянем бурун за собой.
Уныло, пустынно и странно
От этих от маленьких волн.
И сопки сошли за туманом.
И скрылся посёлок за холм.
Таёжный, протяжный, степенный —
Исчез как-то сразу и весь.

Уеду — а он неизменный
Вот так и останется здесь.
И будем мы жить в одночасье
На разных широтах земли —
Не в дружбе и не в разногласье,
А так — друг от друга вдали…

Алитет Немтушкин

* * *

Сердце, успокойся, не боли.
Дни мои под небом не окончены.
Не погас костёр, не заросли
Тропы предков, не покрылись кочками.
Не залита чёрною водой
Вся земля, машинами не вспорота.
Солнце светит, месяц молодой
Над тайгой встаёт серпом без молота…
Снова осень. Тихий листопад.
Умирают листья — и тревожно мне.
Путь их кончен. Но моя тропа
Всё бежит покуда в даль таёжную.
Нас от века матушка-тайга
И поила, и кормила досыта.
Кочевая жизнь нам дорога
Вечною работой, а не досугом.
Ей вернуться. Чую, как шаман,
Возрожденье всех устоев стоящих.
Добрый Дух опять вернётся к нам,
Загорят костры на наших стойбищах.

Роман Солнцев

Обрыв

Мне страх перехватил дыханье
И сердце бедное в тоске,
Когда стоишь — а там сиянье —
Усатый памятник в реке,
И полные народу баржи,
И храм лежит с кривым крестом…
А облака горят лебяжьи
И красным сыплются огнём.
И пострашнее Чингисхана,
И выше грозных пирамид
Комар выходит из тумана,
Про кровь былую говорит.
Колючей проволоки груды
Глядят, как вечности глаза.
Здесь в стенах золотые руды.
Гниют оленьи торбаза.
Река шипит в земле ледовой.
Здесь, как в музее, странный вид:
Обрыв стеклянный и суровый
Людей румяными хранит…
А ночью — звёзды, свет небесный
В реке зияет… На краю
В растерянности перед бездной
Я, руки опустив, стою.
И наши избы — то не избы.
И лес не лес, не знаю что.
И наши книги, наши «измы»
Не вспомнит в этот час никто…

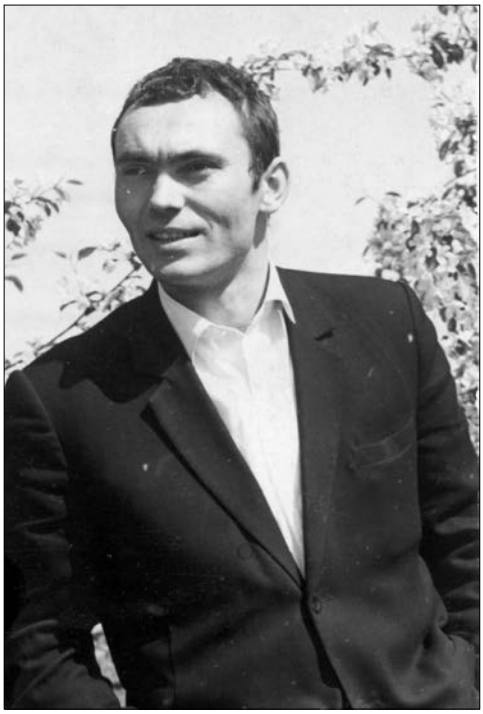


Роман Харисович Солнцев

Александр Щербаков

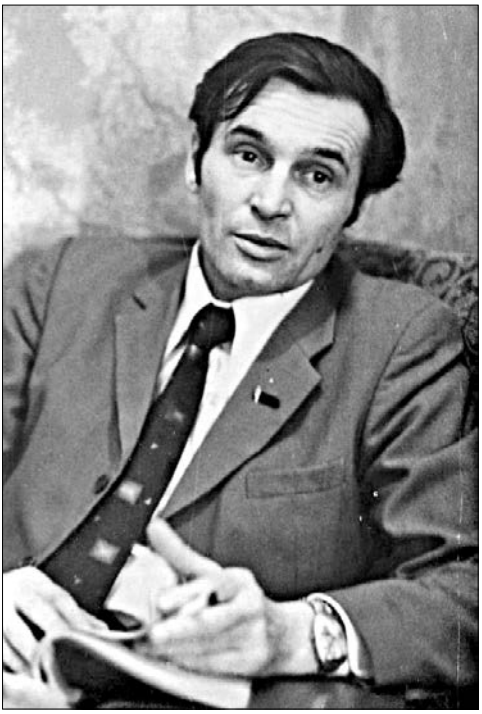
Моё начало

«За лесом солнце воссияло,
Где чёрный ворон прокрича-ал...»
Сестра ткала, а мама пряла,
А я им чёботы тачал.
Никак не верится сегодня,
Что это было наяву.
Ушли все волею господней,
А я пока ещё живу.
Какую странную судьбину
Мне Всемогущий начертал:
Подумать только, при лучине
Я книжки первые читал.
Подумать только, домотканый
Носил кургузый армячок.
Спал на печи, где неустанно
Скрипел невидимый сверчок.
Молол на мельничке убогой
Вручную горсточки зерна.
Старообрядческого бога
Молил, чтоб кончилась война.
В какой стране всё было это,
В какие средние века?
Воображение поэта
Бессильно здесь наверняка.
Но вот село за перевалом —
Начало всех моих начал.
За лесом солнце воссияло,
И чёрный ворон прокричал.



Александр Илларионович Щербаков

Анатолий Пчёлкин



Анатолий Александрович Пчёлкин

Конспект сезона
Старательские тетради

И вдруг — пошло.
С чего, откуда
И за какие кренделя?
Но вскрыли коврики — и чудо:
«Да тут никак не меньше пуда! —
Все разом выдохнули: — Бля-я!»

На дне колоды, вне устава,
Всем прорицателем назло,
Тяжёлый, властный блеск металла
Лежал устало и светло.

Кедровки стихли. Куропатки
Как вымерли. Был чёрен лес.
И облаков серые патлы
Мочой, мочалом, паклей пахли
И снегом сыпали с небес.

Но в окружении пейзажа,
Отвратного по всем статьям,
Никто его не видел даже,
А был — от счастья — просто пьян.

О, ненасытные утробы,
Завзятые золотари!
Забывши свары и хворобы,
И ухари, и упыри,
Забрезжит фарт — сам чёрт спасует,
Озноб завистника пронзит,
А их — зима не образумит
И паразит не поразит.

Придёт задор, найдётся сила,
Вернётся радостное зло,
В колоде б только золотило,
В душе б — сомненьем — не пекло.

* * *

Весёлою недотрогой,
Оскаленною: «Не тронь!»,
Я знала — хожу под Богом,
Я знала Его ладонь.

К обрыву вела дорога
(Всего лишь одна из ста!..),
Я знала — хожу под Богом
И знала, что Он устал.

Лисицей в охоте древней?
Синицей в чужой горсти?
Я знала — настало время
Самой выбирать пути.

И не было мне предлога
Судьбу переждать на дне…
Я знала — хожу под Богом,
Не знала, что Он — во мне.

Что это шестое чувство,
Приравненное к чутью,
Заставит поверить в устье
И броситься по ручью,

Который отравлен горем,
Который иссох в огне,
Но всё же выходит к Морю
И Море подарит мне.

Оно успокоит ноги,
Оно напоит глаза…
Я знаю — хожу под Богом,
Доколе — Он знает Сам.

И только одна тревога
Лежит на душе крестом:
Я знаю — хожу под Богом,
Не знаю пока — за что…

Александр Ёлтышев

Прощёное воскресенье

В прозрачном воздухе застыл февраль,
Был светлый день всеобщего прощенья,
Напоминала снежная эмаль
Нечаянные проблески прозренья.

Твердили нам, что истина в борьбе.
А не в любви? Мы были так послушны…
И за измену самому себе
Я сам себя простил великодушно.

Владимир Ковалёв

Старый поэт

И. Рождественскому

Вот я выключу жёлтый свет
(Перекличку ведут петухи)
И увижу, как старый поэт
Молча гладит ладонью стихи.
Эта строчка — как строчка швеи,
Эта строчка — как сварщика шов,
Эти две — будто две колеи
И по ним первый поезд прошёл!
Эта строчка — рядок кирпичей.
Сто рядов — и глухая стена…
Вот чернеют окопы. Война.
Эти — мирный дымок из печей.
Напряжённо гудят провода —
Крепких строчек нелёгкая нить.
А вот эта строка — борозда!
И по ней будет жито всходить!

О, судьба и забота мужчин!
Вечно плата. И вечно в долгу…
И глубокие строки морщин
У седого поэта на лбу.



Владимир Алексеевич Ковалёв. Тува, 1967 г.

Антон Нечаев

* * *

Я ношу очки в роговой оправе
и на мельницу одиночества ласковые воды лью,
долго-долго я живу в опале
и, сдувая пену, несправедливость пью.
Странствующий философ меня не осудит,
северная скука обо мне проведала,
пусть и в будущем ничего не будет,
пусть и в прошлом ничего не было,
и шансов на успех нет,
и дни как вода текут между пальцами,
я не ловлю рыбу в мутной воде
и не гоняюсь за двумя зайцами.
Не было ещё дня,
чтобы я забыл дело, в которое вник:
я переводчик, я перевожу себя
на доставшийся мне язык.
Я плавно вращаюсь в сизой пустоте,
меня нельзя оскорбить, обидеть,
я словно лечу на такой высоте,
откуда землю нельзя увидеть.
И к чему спускаться? Земля остыла,
я отправляюсь на поиски земли новой,
а рядом прежняя идёт мимо
незамеченной старой знакомой.
А мне от неё ничего не надо,
в северной тоске я сижу обычен
и вижу — ничто мне уже не преграда,
и только собственной смертью я ограничен.

Гамлет Арутюнян

Письмо

Попрощайтесь, попрощайтесь, дорогие, со мной, — я еду
Собирать тяжёлые слёзы страны.

Павел Васильев

Мама, твой сын уехал
На северные пески.
В края озёрного эха
И тихой небесной тоски.

Здесь лилии — как цыплята.
Здесь хитрый гарцует ленок.
Здесь хариус в перекатах
Нагуливает жирок.

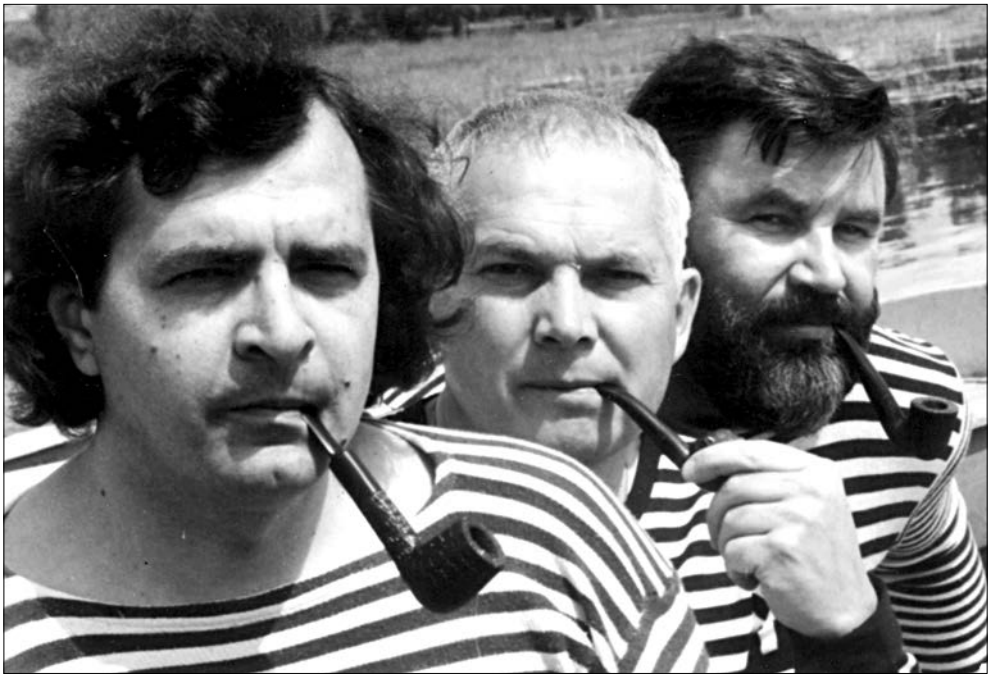
Здесь соболь скользит неслышно,
Прячется средь ветвей,
А белка целует шишки,
Вся рыжая до бровей.

Сюда не доносит ветер
Ни лозунгов, ни афиш.
Здесь самый любимый фетиш —
Пара камусных лыж.

В краю, где песцы и зайцы,
Средь карликовых берёз,
Твои вспоминаю пальцы
И жёлтую проседь волос.

Когда я в забой спускаюсь,
То думаю иногда —
Смертельной тоской отливает
Тяжёлая эта руда.

Не знал я. Не знал. Не знал,
Что стану врагом, как есть,
Что будет статья роковая.
За что и откуда? Бог весть.



Гамлет Арутюнян, Николай Ерёмин, Сергей Кузнечихин. Красноярск, 1992 г.

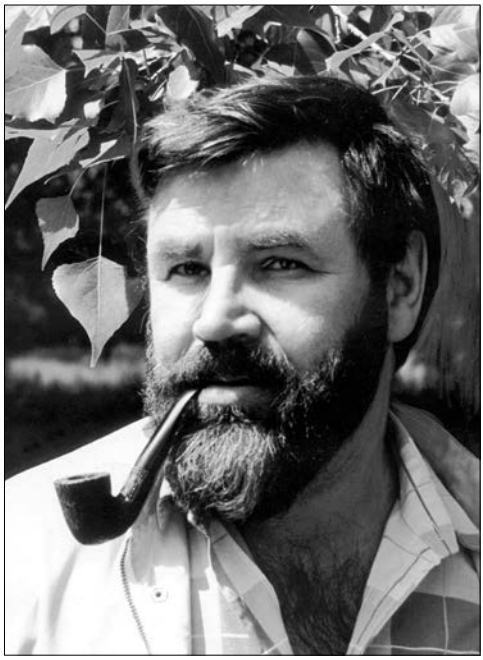
А впрочем, не надо. Не надо.
Одна ты поймёшь и простишь.
Желаю тебе снегопада
Под сенью старинных крыш.

Привет братовьям и сёстрам.
Дай Бог, чтобы вырос хлеб.
Вам тоже сейчас не просто.
Прощай же.
Целую.
Глеб.

Сергей Кузнечихин

* * *

Не кончилась дорога возле дома,
Не обогнула дом, —
Прошла насквозь,
Оставив два изорванных пролома:
Где щепка острая, где ржавый гвоздь,
Где вывороченная половица —
Торчат. Дом не пригоден для жилья,
Но, вынужденный в нём остановиться,
Смотрю в пролом, куда бежит моя
Дорога норовистая, шальная,
Как лошадь, сбросившая седока,
Бежит резвясь. Куда — сама не зная...
Стою, не замечая сквозняка,
Распутицей, ухабами измотан,
Жалея жизнь пропащую свою.
А дом кричит о срочности ремонта,
Я слышу, понимаю, но стою.



Сергей Данилович Кузнечихин

Марина Саввиных

Встреча

В. П. Астафьеву

1

Именины, тяжкие годины...
Только и мучений – дух и плоть.
Для души живой, не для скотины
Претерпел страдания Господь!
Отзовись во мне, душа живая,
Мыслями деревьев и коней!
Для чего я сердце отрываю

От ему завещанных корней?
Чтобы обожгло его сиротство?
Чтобы эта прерванная связь
Правдой жизни, а не ложью
скотства
В совести моей отозвалась?
……..
Тяжба или жадное сближенье —
Дышащее мира озерцо,
Где мерцает в каждом отраженье
Человека вечное лицо?

2

Всего на свете проще и покорней
И далее от наших зол и смут —
Землица, облепляющая корни
Деревьев, что на кладбище растут.
Ее тепло настолько плодотворно,
Что откликаясь на неслышный
труд,
Зенит объемлют ели —
и просторно
Их кроны запредельные гудут…
За тот предел не прянет даже
ястреб,
Преследуя серебряную дичь…
Лиловой ели треугольный раструб,
Тоннельный гул и лебединый
клич…
Душа уже своей не помнит муки,
Легчайшая, как облака лоскут:
Подземные невидимые руки
Ее ласкают, гладят и влекут,
Как будто нет ни страха,
ни смятенья,
В которых мы сгораем без следа,
А только непрерывность
тяготенья —
Оттуда и туда…

3

Без рук, без ног,
Слепая и немая,
Душа жила,



Марина Олеговна Саввиных



Татьяна Долгополова и Марина Саввиных, 2001 г.

Дыша и понимая,
И пониманья слюдяной пузырь
Теснил ее, растягивая вширь:
Видения, созвучия и строчки
Давили на живые оболочки —
И разрешалась бедная душа
Стихийным проявленьем мятежа,
Когда она свое тупое тело
О прутья койки размозжить хотела,
Разбить, размыкать, чтобы кровь и крик,
Чтоб кровью крика вылепить язык,
Кощунственный, как жалоба паяца, —
Сказаться, обнаружиться, впаяться
В безликую объемлющую глушь,
Таинственных исполненную душ…

Овсянка, август 1995 г.

Татьяна Долгополова

* * *

Я засиделась здесь не слишком ли?
Или ещё в дорогу рано?
Мне этот город жмёт под мышками,
а я ношу его упрямо.
А я ношу его из бедности,
и мне нисколечко не стыдно.
А я ношу его из вредности,
из детского максимализма.
А я ношу его из жалости —
куда он без меня? На свалку.
А я ношу его из шалости
навыпуск
и хожу вразвалку,
как будто нет иной планиды мне,
чем город со следами штопки,
с названьем тряпочно-корридовым
да с вечной башнею на сопке.



Татьяна Геннадьевна Долгополова

Михаил Тарковский



Михаил Александрович Тарковский

Перед охотой

1

Дай адрес. Уезжай... Мой Енисей
В огнях судов и неподвижных
створах,
С утра туман, шаги по гальке,
шорох
Заклёпок и пески в следах гусей.

Уже без шапки холодно, уже
На рыжий лес пикирует кедровка,
И бродит вдоль по острову
верховка,
Как шкипер по оставленной барже.

Каюта. Блик воды на потолке.
Стук лодки под бортом у теплохода.
Рывок шнура — и давняя свобода
До берега домчаться налегке.

2

Седое утро. Груз на берегу.
Отставшая кричит в тумане ржанка,
И в красной куртке смотрит
горожанка
С высокой палубы на серую тайгу,

На избы серые, на серый берег, где
Мотор в следах дождя и холод
рукояти
И лодка длинная, как «Песнь
о Гайавате»,
Уже стоит, качаясь на воде.

Широкий плёс. Предчувствием
шуги
Речную сводит кожу. Холодает.
И небо осторожно покидает
Косое облако с краями из фольги.

3
Дрожат борта. Мотор гудит струной,
Настроенной на ровное движенье
Без спешки, и деревьев отраженье
Коверкается масляной волной.

Напарник, запакованный в сукно,
Сидит поверх мешков спиной по ходу,
Уставившись сквозь выпуклую воду
В узорчатое галечное дно.

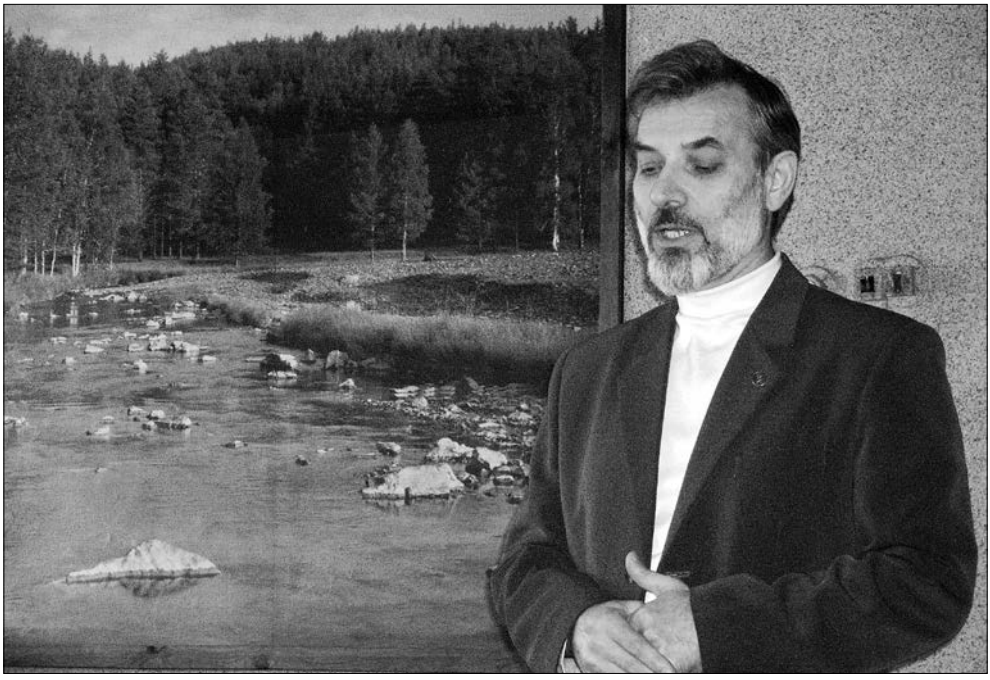
И, отвалясь на рог бензопилы,
Болтает спирт в полупустой бутылке,
А ветер треплет пену на обмылке
Водой и временем изъеденной скалы.

За мысом снежный чудится заряд,
И с лиственниц дождём слетает хвоя,
И ощущенье воли и покоя
По телу растекается, как яд.

Николай Гайдук

* * *
Благодаренье Богу и судьбе
За то, что есть ещё края такие!
Спокойный свет струится по избе.
Огонь поёт в печи, гудит в трубе,
И половицы — точно золотые!

Холодный вечер гаснет на земле.
Уже пустуют гнёзда за опушкой,
Но ходики старинные во мгле —
Раскачиваясь, как навеселе, —
Опять меня обрадуют кукушкой!..



Николай Викторович Гайдук

«Не спится, брат? Но это не беда.
Беда в другом, — подумал я с тоскою. —
Мы что-то потеряли навсегда
В душе, не полюбившей города,
Но разлюбившей избы над рекою!»

И тихой ночью, стоя у окна,
Я не смогу понять, откуда это:
Не видно звёзд, повсюду тишина,
Но песня почему-то мне слышна
И почему-то в мире столько света!

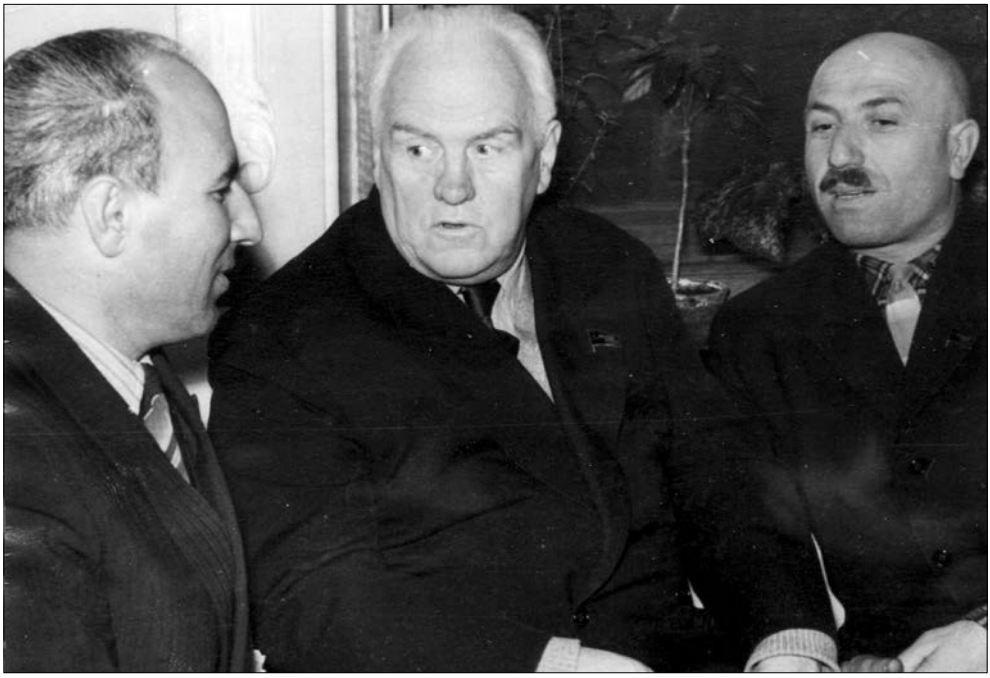
Спокойный свет струится по избе,
Светлы леса и дали луговые!
И словно кто-то втайне хочет спеть —
Благодаренье Богу и судьбе
За тихий этот, вечный свет России!..



Участники «Енисейских встреч — 61»: слева направо — Надежда Полякова, Иван Пантелеев, Сергей Орлов, Римма Казакова. Красноярск, 1961 г.



Лев Кассиль в лагере «Юный геологоразведчик». Минусинск, 1969 г.



Участники литературных встреч: слева направо — Адам Шогенцуков, Николай Тихонов, Кайсын Кулиев



Борис Полевой, главный редактор журнала «Юность», на Красноярской ГЭС, 1964 г.

Об авторах

Альбанов Валериан Иванович
(1882—1919)



Родился 26 мая (н. ст.) 1882 года в Уфе. Рано остался без отца. С матерью и сестрой жил в семье дяди — инспектора народных училищ Уфимской губернии.

Страстно любил книги о путешествиях. Отказавшись от предлагаемой дядей карьеры инженера, в 16 лет сбежал в Петербург, поступил в мореходные классы. Жил впроголодь, зарабатывая на жизнь изготовлением макетов кораблей. После окончания мореходных классов штурман 2 класса Альбанов год работал на кораблях Балтийского флота, а весной 1905 года отправился в Красноярск.

На пароходе «Обь» в должности помощника капитана в течение двух навигаций занимался промером глубин Енисея от Красноярска до Енисейского залива, правкой морских судов. Затем два года работал штурманом на пароходах, совершавших рейсы по Каспийскому морю из Баку в Краснозаводск и Астрахань. В 1908 году получил право быть штурманом дальнего плавания. Ходил в северных морях на пароходах «Кильдин» и «Великая княгиня Ксения». Георгий Брусилов, организовавший на парусно-паровой шхуне «Святая Анна» экспедицию по Северному морскому пути, пригласил весной 1912 года Валериана Альбанова быть штурманом корабля.

В 1912 году стартовали три русские полярные экспедиции. Брусилов на «Святой Анне» планировал пройти от Архангельска до Владивостока. На зверобойной шхуне «Геркулес» Владимир Русанов также решил добраться до Берингова пролива, но другим путём — обогнув с севера Новую Землю. Георгий Седов отправился к Северному полюсу от Земли Франца-Иосифа на собачьих упряжках. Ни одна из этих экспедиций не увенчалась успехом. На пути к Северному полюсу умер Седов. Команда Русанова в полном составе погибла у берегов Таймыра, судьба «Святой Анны» до сих пор неизвестна. Из экспедиции Брусилова вернулись только двое.

28 августа 1912 года «Святая Анна» отошла от Александровска-на-Мурмане (сейчас Полярный) с запасом продовольствия на 18 месяцев. Дополнительную провизию планировалось добывать охотой на белых медведей и тюленей. Ледовая обстановка была очень сложной, уже 27 сентября шхуна окончательно вмёрзла в лёд у побережья Ямала. Сильным ветром её вместе с большим ледяным полем оторвало от берега. Начался долгий северо-западный дрейф.

10 апреля 1914 года, когда «Святая Анна» находилась севернее Земли Франца-Иосифа, группа из 11 человек во главе с Альбановым покинула судно. Имея в своём распоряжении только нарты и лёгкие каяки, полярники планировали

по дрейфующим льдам добраться до Земли Франца-Иосифа, а оттуда — на материк. В живых из этой группы остались лишь штурман Альбанов и матрос Конрад. На острове Нортбрук их подобрала возвращающаяся домой шхуна «Святой мученик Фока» экспедиции Седова. Альбанов доставил в Главное Гидрографическое управление рапорт Г.Л. Брусилова, копии судового журнала шхуны, записи о метеорологических наблюдениях и измерениях глубин. Эти документы помогли уточнить различные гидрографические данные, выявить подводный желоб между Карским и Баренцевым морями, названный впоследствии желобом Святой Анны. Наблюдения Альбанова во время пешего похода позволили открыть Восточно-Шпицбергенское течение и установить, что острова Петермана и Земля Оскара, которые в то время были нанесены на карты, на самом деле не существуют.

После экспедиции Альбанов некоторое время трудился на ледорезе «Канада», портовом ледоколе в Архангельске. Всё это время он работал над записками об экспедиции и пешем походе по льдам. Весной 1917 года рукопись была готова. Впервые книга «На юг, к Земле Франца-Иосифа!» была издана осенью 1917 года в виде приложения к журналу «Записки по гидрографии».

По состоянию здоровья Альбанов покинул службу на Северном флоте. Предлагал адмиралу Колчаку организовать экспедицию по поиску «Святой Анны» и выехал в Омск. Но из этой поездки Альбанов не вернулся. Существует версия его гибели: 27 декабря 1919 года он мог погибнуть на железнодорожной станции Ачинск. Там рядом произошёл взрыв поезда со снарядами.

В честь Альбанова впоследствии было названо гидрографическое судно, теплоход Академии водного транспорта. Его имя присвоено мысу на острове Гукера в архипелаге Земля Франца-Иосифа, острову в районе Диксона, леднику на острове Октябрьской Революции в архипелаге Северная Земля. Вениамин Каверин в романе «Два капитана» использовал образ штурмана Альбанова в качестве прототипа Ивана Климова *(цит. по вступлению к книге Валериана Альбанова «На юг, к Земле Франца-Иосифа!» — Красноярск: Поликор, 2016).*

Арутюнян Гамлет Арменакович

(1952—2016)



Родился 15 ноября 1952 года в деревне Каргино Енисейского района Красноярского края. Хирург-онколог, поэт, почётный житель Енисейска, член Союза российских писателей.

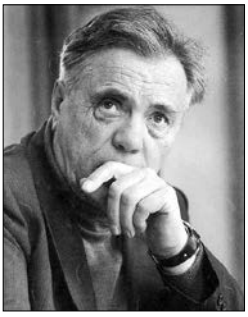
«Если бы Гамлет был не поэтом, а прозаиком, он бы мог написать о жизни своих родителей большой роман. Впрочем, может, ещё и напишет. Эта книга была бы куда более драматичной и увлекательной, чем, к примеру, „Хождение по мукам" Алексея Толстого. Родители будущего поэта и врача были репрессированы. Его мать, Евдокия Дмитриевна, была увезена под конвоем из орловской деревни Княгинино, где она работала учительницей начальных классов. А отца, Арменака Ованесовича, студента железнодорожного института, арестовали в Тби-

лиси. Потом были тюрьмы, этапы, и разными путями оба прибыли на поселение в Енисейский район, где и встретились и поженились. Своим романтическим именем наш герой тоже обязан зоне — режиссёр лагерного самодеятельного театра доверил заключённому Арутюняну заглавную роль в знаменитой пьесе Шекспира. Спектакль имел успех, и отец позднее решил назвать Гамлетом своего второго сына. Будущий поэт родился в заключении и реабилитирован был вместе с родителями в 1956 году, в четырёхлетнем возрасте. И ведь не озлобился, не ожесточился. Хотя всё пережитое им и его родителями, конечно же, нашло отражение в его стихах. Из всех мне знакомых красноярских поэтов он самый добрый, терпимый и великодушный.

В 1975 году Гамлет Арутюнян окончил Красноярский медицинский институт и с тех пор работает хирургом. Сейчас он хирург-онколог высшей категории, доктор медицинских наук, академик, заместитель главного врача Красноярского краевого онкологического диспансера, член Союза российских писателей, автор нескольких поэтических книг („Светает", „Трое в лодке", „Встревоженное небо"и др.).

Каждый день встречаясь с трагическими ситуациями в больнице, он никогда не теряет оптимизма, и стихи его — ясные, светлые, добрые, милосердные. В эпоху безжалостного постмодерна, когда многие современные поэты злоупотребляют мрачной иронией, словесной игрой, тотальным пародированием и кощунственным высмеиванием всего, даже самого святого, Гамлет Арутюнян признаётся со слегка смущённой улыбкой: „Я предпочитаю в поэзии простоту…"» *(из статьи Эдуарда Русакова «Гамлет, принц сибирский» в газете «Красноярский рабочий», 25 октября 2012 г.).*

Астафьев Виктор Петрович
(1924—2001)



Родился 1 мая 1924 года в селе Овсянка близ Красноярска.

Определяющим качеством лучших книг В.П. Астафьева является автобиографизм. Атмосфера 60-х годов, общее развитие русской литературы способствовали тому, что писательская беспощадная искренность, откровенность в выражении солдатского опыта смогли дойти до читателя. Художественно-документальное (здесь биография — документ) воплощение уникального военного и жизненного опыта выражается во многих сотнях страниц прозы писателя.

Поколению писателей-фронтовиков приходилось отстаивать право на автобиографизм. Изображение Великой Отечественной войны в книгах и фильмах 40—50-х годов грешило романтизацией и схематизмом. Астафьев отказался славить «труд войны» и петь «упоение в бою». Его позиция совпала с точкой зрения авторов «лейтенантской прозы» (Г. Бакланов, Ю. Бондарев, К. Воробьёв, В. Курочкин и др.), с так называемой окопной правдой. «Как малая частичка этого много-

терпеливого, многострадального и героического народа, стану и я вспоминать «правду» — свою единственную, мной испытанную, мне запоминавшуюся, «окопную», потому что другой-то я и не знаю».

В повести Виктора Астафьева «Где-то гремит война» речь идёт о жизни человека во время войны в тылу. Главный герой повести, Витька Потылицын, замерзая, мысленно говорит себе: «Никакого чуда нет. Чудо в тепле, за печкой живёт. Чудо слушает сказки, вой в трубе. Чудо мохнатое, доброе, домовитое. Чудо — пуховый платок покойной матери на больных ногах. Чудо — руки бабушки, её ворчанье и шумная ругань. Чудо — встречный человек. Чудо — его голос, глаза, уши. Чудо — это жизнь. Я не хочу умирать». В центре внимания — не солдат на поле боя, не полководец во время боевых действий, а ребёнок — подросток в далёкой деревеньке в глубоком тылу, его родные и близкие.

В данный сборник включены и некоторые песни и стихотворения из лирического дневника Виктора Астафьева, который он вёл с декабря 1945-го по ноябрь 1947 года.

Белкин Владлен Николаевич

(р. 1931)



Родился 6 января 1931 года в селе Щербакуль Омской области. Член Союза писателей СССР. Почётный гражданин города Дивногорска.

Немногим выпало такое — писать о городе, который строил сам. Дивногорск вписан в жизнь Владлена Белкина как знак времени и судьбы. Поэт принадлежит к поколению энтузиастов 1960-х годов. Они ехали в Сибирь на большие молодёжные стройки, осваивали целину, и трудности любых дорог были для них обычным делом. Дух подъёма и горения остался в поэте навсегда.

Первые поэтические сборники Владлена Белкина — «Трава на камне» (1966) и «Дивногория» (1971) — особенно ощутимо проникнуты этим духом. Он всегда ощущает свою ответственность перед временем — и как строитель, и как поэт. Его сборники стихов — «Строгий август», «Таёжная улица», «Простые истины», «Угол зрения», «Кто ты на этом свете?» — выходили и в Красноярске, и в Москве. Последний из них, опубликованный в 1989 году, включает в себя и наиболее значимые стихи ранних изданий.

Владлен Белкин, прежде чем стать поэтом, был строителем. За активное участие в строительстве Красноярской ГЭС награждён орденом Трудового Красного Знамени. Живёт в Дивногорске. Участник «Енисейских встреч — 75». Несколько особняком стоят сборники «В дни великой смуты» (1998) и «Окаянные годы» (2000) — оба посвящены перестройке и отражают взгляд автора на события 1990-х годов. Стихотворением «Я познавал себя в бригаде» начинается одноимённый раздел, где автор выразил свой восторг от причастности к великим стройкам и шагам поколения шестидесятников.

Богатков Борис Андреевич
(1922—1943)



Родился 3 октября 1922 года в селе Балахта Красноярского уезда Енисейской губернии в семье учителей. Школьные годы прошли в Ачинске, Красноярске и Новосибирске. А в 1939 году к шестнадцатилетнему пареньку пришёл первый поэтический успех — на Всесоюзном смотре детского литературного творчества за поэму «Дума о Красном флаге» он получил грамоту…

Затем были Москва, участие в строительстве Московского метрополитена, стихи в центральной печати. Довоенные стихи Бориса Богаткова читала вся молодёжь Красноярского края, потому что ведущие мотивы его творчества были созвучны его поколению. «Остатки детства», «Совершеннолетие», «Проходит поезд через лес» — мечты мальчишек, которые предчувствуют ветер грядущих перемен. Стихи юноши-героя — не только человеческий документ, но и факт поэзии.

В сентябре 1941 года Борис Богатков ушёл добровольцем на фронт и сразу был направлен в действующую армию. В боях при обороне Москвы воевал в лыжном батальоне автоматчиков. При налёте вражеской авиации получил серьёзную контузию и был признан «негодным к дальнейшему несению воинской службы». Но парень не сдался… Приехал в Новосибирск к родственникам, включился в активную творческую деятельность. В это время он создаёт стихи-песни, сотрудничает в окружной армейской газете «Красноармейская правда», пишет плакаты для «Окон ТАСС». Без отрыва от работы оканчивает краткосрочные курсы снайперов. В Новосибирске формируется Сибирская добровольческая дивизия (позже 2-я Сибирская гвардейская дивизия). И снова — на фронт. Направление: Смоленск — Ельня. Старший сержант Борис Богатков командует взводом автоматчиков.

Во время операции командир взвода Борис Богатков погиб в районе Гнездиловских высот в Спас-Деменском районе Смоленской области в 1943 году. Ему был 21 год. Во время штурма высоты 233/3 гвардии старший сержант Богатков, находившийся со своим отделением в передовой цепи атакующих, ради спасения жизни товарищей пожертвовал собой. Выбрав удачный момент, когда пулемёт на минуту замолк, он бросился вперёд и закрыл своим телом амбразуру огневой точки, повторив подвиг рядового Александра Матросова, и наряду с нашими четырьмя красноярцами: П.П. Барбашевым, Е.С. Белинским, М.Л. Ильченко и М.А. Юшковым — вошёл в славную плеяду героев-матросовцев. За этот подвиг Борис Богатков награждён (посмертно) орденом Отечественной войны I степени, а его автомат до конца войны передавался храбрейшему бойцу взвода.

Поэт погиб, но остались его стихи, опубликованные в сборниках «Советские поэты, павшие в годы Великой Отечественной войны», «Имена на поверке», в журнале «Сибирские огни», альманахе «Енисей» и в других изданиях. Он живёт в памяти людей. Его бюст установлен на одной из улиц Новосибирска. Его именем названа улица и школа в Ачинске. О сибиряках-героях рассказал в до-

кументальной повести «Добрая воля Сибири» поэт и писатель Вячеслав Назаров. Стихотворение Бориса Богаткова «Нас месть ведёт в атаку» стало маршем 2-й Сибирской гвардейской дивизии.

Борисова Майя Ивановна
(1932—1996)

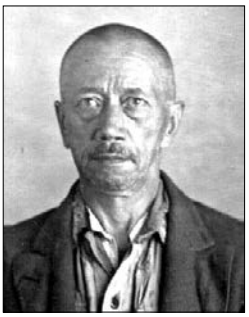


Родилась 21 мая 1932 года в Ленинграде в семье служащих. В 1950 году окончила отделение журналистики филологического факультета ЛГУ, тогда же — по распределению — уехала в Абакан, где работала литературным сотрудником и заведующим отделом культуры в редакции газеты «Советская Хакасия». Пятого сентября 1955 года в газете было опубликовано первое стихотворение поэтессы «Начало пути» под псевдонимом М. Майская. Восьмого июля 1958 года стихотворение «Дорожное» было опубликовано в «Комсомольской правде», оно стало лейтмотивом известной в те годы повести Валерия Аграновского «Нам — восемнадцать».

Работала в газете «Красноярский комсомолец». Первый сборник «Лирические стихи» вышел в Красноярске, в 1961 году — второй сборник — «Вечерние окна». Майя Борисова много писала для детей, занималась переводами (переводила Яна Райниса и Аспазию (с латышского), Низами (с азербайджанского), Алымкан Дегенбаеву (с киргизского), Василия Ледкова (с ненецкого) и многих других).

Скончалась 1 февраля 1996 года. Похоронена в посёлке Репино под Петербургом. Десятилетие спустя после её кончины был выпущен сборник «Тридцать три стихотворения и три рассказа о Ленинграде-Петербурге».

Борисоглебский Михаил Васильевич
(1897—1942)



Родился 22 октября (н. ст.) 1896 года в маленьком посёлке Тирлянского завода Златоустовского уезда Уфимской губернии. Имя и творчество поэта и прозаика, драматурга, киносценариста Михаила Борисоглебского сегодня почти забыто, а между тем в 1920-е годы он был заметной фигурой на литературном небосклоне.

Литератор-самоучка, сделавший первые пробы пера ещё в юношеском возрасте, Борисоглебский в 1922 году, к десятилетию литературного творчества, с помощью друзей в городе Троицке Челябинской области, где он тогда жил, тиражом 200 экземпляров выпускает четырёхтомное издание своих ранних произведений.

В 1926 году работает над романом «Верховный правитель», главным героем которого стал адмирал Колчак. И это всего через шесть лет после расстрела «злейшего врага советской власти»! «Это роман-хроника, в котором больше хро-

ники, чем романа», — писал Михаил Борисоглебский о «Верховном правителе». Автор использовал более двухсот документальных источников (писем, телеграмм, протоколов допросов, воспоминаний белогвардейцев-эмигрантов и пр.). В конце 1928 года роман был закончен и лёг на стол московского издательства «Федерация». Но опубликован не был, не отважились напечатать роман и ленинградские издательства.

С первых дней Великой Отечественной войны Борисоглебский призывается Союзом писателей в действующую армию и становится военным корреспондентом дивизионной газеты. Вскоре писатель был арестован как пораженец и 26 марта 1942 года расстрелян как враг народа.

Неопубликованные произведения Михаила Борисоглебского находились многие годы в архиве НКВД, закрытом фонде Ленинградской публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина и только недавно стали достоянием исследователей. Первое издание в журнале «День и ночь» (1994, № 5) подготовил Николай Кавин, напечатал редактор Роман Солнцев (биография М.В. Борисоглебского в данном сборнике составлена по материалам журнала «День и ночь»).

Существует и другая версия биографии Михаила Борисоглебского. У составителей данного сборника возник вопрос об авторстве романа «Верховный правитель», когда публикация появилась в журнале «День и ночь». Александр Борисоглебский — псевдоним писателя и журналиста Шипицына Александра Николаевича, ведущего сотрудника «Восточного обозрения» (Иркутск) и «Сибирской жизни» (Томск). Действие романа происходит по всей линии Сибирской железной дороги в 1919 году, и действующими лицами повествования являются вполне реальные белые офицеры — А.В. Колчак, генералы Каппель и Пепеляев. Резонно возникает вопрос, откуда писатель Михаил Борисоглебский знал мельчайшие детали происходящих событий, обстоятельства ареста и гибели Колчака, историю Анны Васильевны Тимирёвой, последней любви адмирала, которая прошла с ним до конца… до расстрела на льду реки Ушаковки в Иркутске? Вопросы… вопросы… на которые пока нет ответа.

Чтобы разобраться — необходимо серьёзно изучить биографию М.В. Борисоглебского, который, как известно, не был участником Гражданской войны в Сибири. Фамилию Борисоглебский он взял себе именно в период работы над романом «Верховный правитель», где-то в начале 1920-х годов. Михаил Васильевич имел якобы доступ к секретным документам: телеграммам, приказам Колчака, распоряжениям большевиков, воспоминаниям участников (были ли воспоминания написаны в начале 1920-х?). Настоящая фамилия писателя — Шаталин, но и это не совсем точно, потому что Мишу в детстве подкинули рабочему златоустовского завода Василию Леонтьевичу Шаталину, который его воспитал.

А вот Александр Шипицын мог быть автором романа «Верховный правитель» в силу того, что находился в эпицентре событий Гражданской войны на Транссибе и погиб (расстрелян?) около 1921 года. Но пока это только размышления, догадки на тему авторства романа «Верховный правитель».

Бородин Леонид Иванович
(1938—2011)



«Я родился в 1938 году в Иркутске в семье учителей. Детство провёл в Иркутской области. Рос советским патриотом, по призыву партии поступил в школу милиции. XX съезд КПСС не поколебал мою веру в коммунизм, но я понял, что советская система далека от его идеалов. Ушёл из школы милиции, поступил на филологический факультет Иркутского университета. Там организовался кружок, в котором обсуждались многие социальные и политические проблемы, был исключён из университета. Уехал строить Братскую ГЭС, потом в Норильск. По возвращении поступил на историко-филологический факультет педагогического института в Улан-Удэ. Начинал на отделении русского языка и литературы, но больше интересовался историей — и вскоре перевёлся на заочное историческое отделение. Несколько лет преподавал историю в сельских школах: сначала в Бурятии, потом под Ленинградом.

В Норильске мы пытались критически осмыслить марксизм. В Питере в то время уже существовали нелегальные организации по пять-шесть человек. Потом я вступил во Всероссийский социал-христианский союз освобождения народов (ВСХСОН). Изучал книги по русской религиозной философии, „Вехи". Поступил в аспирантуру ЛГУ, но написать диссертацию я так и не успел. В 1967 году меня арестовали за изучение религиозной философии и организацию ВСХСОН, который „был военизированной организацией и готовил переворот в стране". „Заговор" раскрыли по доносу члена организации. Во время отбывания первого срока начал писать. В 1982 году за публикацию своих произведений за границей получил девять лет.

В те годы были написаны „Третья правда", „Расставание". Заново написал отобранный во Владимирской тюрьме „Год чуда и печали". Эти вещи издавал „Посев". Кроме того, руководство „Посева" продавало переводы моих произведений, которые вышли во Франции, Англии, ФРГ, Португалии. Приговор суда — десять лет лагерей и пять — ссылки. В 1987 году Горбачёв объявил амнистию. (…)

В советские годы я был лично знаком только со своим земляком Валентином Григорьевичем Распутиным. Деревенскую прозу я предпочитал всей современной русской литературе как наиболее традиционную. Духовно мне близки люди, которые любят Россию, близки к православию… По-настоящему воцерковлённым человеком так и не стал.

Высоко ценю В.Г. Распутина, с которым знаком более 20 лет, печатаю в журнале „Москва" Константина Воробьёва, Инну Лисянскую, Владимира Личутина, Василия Белова.

Одно из направлений журнала — сохранение великого русского языка, поддержка молодых писателей, которые выдерживают уровень языка» (…) *(по материалам интервью Л. Виноградова, корреспондента издания «Православие. Ru», 24 апреля 2020 г.: http://www.pravoslavie.ru/guest/borodin. htm).*

В данный сборник мы поместили главу о работе на Норильском комбинате из автобиографической повести Леонида Бородина «Без выбора», опубликованной в 2003 году в журнале «Москва». Нам были важны размышления писателя о судьбе России, пережившей в XX веке ряд искусов, предательств, отречений, острая полемика о причинах драматического состояния страны сегодня с известными писателями, политиками, деятелями культуры — тот круг тем, которые не могут не волновать каждого мыслящего человека.

Леонид Бородин награждён орденом Преподобного Сергия Радонежского, премией «Ясная Поляна» имени Льва Толстого, он лауреат премии А.В. Солженицына за 2002 год, был главным редактором журнала «Москва».

Бурлюк Давид Давидович
(1882—1967)



Родился 9 июля (н. ст.) 1882 года на Украине в многодетной семье. В 1907—1908 годах сошёлся с левыми художниками и участвовал в художественных выставках. В 1911—1914 годах занимался вместе с В.В. Маяковским в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Участник футуристических сборников «Садок судей», «Пощёчина общественному вкусу» и др.

В 1918—1920 годах гастролировал вместе с В. Каменским и В. Маяковским по Уралу, Сибири, Дальнему Востоку. В июне 1919 года добрался до Владивостока. В 1920 году эмигрировал в Японию, где прожил два года, изучая культуру Востока и занимаясь живописью.

Давид Бурлюк — знаковая фигура русского и мирового авангарда. Художник, поэт, теоретик и пропагандист нового искусства. В Сибири к творчеству Бурлюка относились неоднозначно: например, в Иркутске, газета «Наше дело» дала анонс выставки картин «отца русского футуризма»: «Первый раз в Сибири — футуризм! Идите на выставку, узнаете всё». Бурлюк представлял выставку картин «известных художников Москвы и Петрограда», обещая 300 номеров футуристической живописи. Ежедневно в 12 часов на выставке шли поэтические диспуты. Двадцать процентов средств от продажи картин организаторы обещали отдать в фонд Народного университета, в Омске обещали от выручки открыть школу имени Врубеля. Однако заявленных 300 картин не было на выставке, и публика была разочарована, особенно теоретической частью выступлений футуристов.

В нескольких городах Сибири в частных коллекциях и музейных собраниях имеются работы Бурлюка. В семье М.П. Плотникова находились две картины поэта, сейчас они — в экспозиции Литературного музея имени В. П. Астафьева. Подробнее об этом можно прочитать в очерке А.В. Бродневой «М.П. Плотников и поэт-футурист Д.Д. Бурлюк: точки пересечения».

В Красноярске главарь группы «Живарос» Давид Ленский (псевдоним Бурлюка) выступал в начале августа 1918 года, об этом сообщила газета «Свободная Сибирь», издаваемая Фёдором Филимоновым. Однако других сведений о выступлении футуристов не сохранилось.

Поэт и художник, один из основоположников русского футуризма Давид Бурлюк скончался 15 января 1967 года в Америке, штате Нью-Йорк.

Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович (св. Лука)
(1877—1961)



Родился 27 апреля (н. ст.) 1877 года в Керчи Таврической губернии. Епископ Русской Православной Церкви, с апреля 1946 года — архиепископ Симферопольский и Крымский, русский советский хирург, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, профессор, духовный писатель, доктор богословия (1959). Лауреат Сталинской премии I степени (1946).

Стал жертвой репрессий и провёл в ссылке в общей сложности 11 лет. Реабилитирован в апреле 2000 года. Украинская Православная Церковь Московского Патриархата причислила архиепископа Луку к лику святых 22 ноября 1995 года, в августе 2000 года он был канонизирован в сонме новомучеников и исповедников российских для общецерковного почитания; память — 29 мая (11 июня) и 5 (18) марта — день обретения его мощей в 1996 году.

В ссылке в Красноярском крае Войно-Ясенецкий был дважды, хотя количество арестов и ссылок — гораздо больше. На следствии заявил себя антикоммунистом по причине гонения большевиков на церковь. В конце ноября 1923 года отправился в свою первую ссылку, местом которой первоначально был назначен Енисейск. Прибыв в Енисейск в январе 1924 года, стал вести приём, и желающие попасть к хирургу записывались на несколько месяцев вперёд. Помимо этого Лука стал совершать богослужения на дому. Рост популярности епископа вынудил ГПУ отправить его в новую ссылку — в деревню Хаю, на 120 вёрст севернее села Богучаны; в августе новое назначение — в Туруханск.

В Туруханской больнице Валентин Феликсович выполнял такие сложнейшие операции, как резекция верхней челюсти по поводу злокачественного новообразования, чревосечение брюшной полости в связи с проникающими ранениями с повреждением внутренних органов, остановка маточных кровотечений, предотвращение слепоты при трахоме, катаракте и др. Одновременно совершал богослужения в закрытом мужском монастыре, проповедовал грех церковного раскола, публично объявляя себя сторонником патриарха Тихона. Власти требовали прекратить религиозную агитацию и выслали гражданина Войно-Ясенецкого в деревню Плахино, что в низовьях Енисея, в 230 километрах за Полярным кругом. Жители станка, состоящего из трёх изб и двух земляных домов, радушно приняли ссыльного и пытались всеми средствами облегчить его быт.

В ноябре 1926 года Валентин Феликсович выехал сначала в Красноярск, а затем на родину в Черкассы.

С марта 1940 года работал хирургом в ссылке в районной больнице в Большой Мурте, в 120 километрах к северу от Красноярска. С октября 1941 года стал консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвако-

госпиталя. Работал по восемь-девять часов, делая три-четыре операции в день, что в его возрасте приводило к неврастении. Тем не менее каждое утро он молился в пригородном лесу (в Красноярске в это время не осталось ни одной церкви).

27 декабря 1942 года епископу Луке, «не отрывая его от работы в военных госпиталях», было поручено управление Красноярской епархией с титулом архиепископа Красноярского. Службу он правил в маленькой церкви на окраине Красноярска — в Николаевке (Никольский храм). В связи с этим и практически с отсутствием священников за год архипастырь служил всенощную только в большие праздники и вечерние службы Страстной седмицы, а перед обычными воскресными службами вычитывал всенощную дома или в госпитале.

В дальнейшем архиепископ Лука служил на тамбовской кафедре, затем в Крыму в Симферополе, одновременно работал в военных госпиталях. В 1955 году ослеп полностью и прекратил хирургическую практику. С 1957 года начал диктовать мемуары — в постсоветское время вышла автобиографическая книга «Я полюбил страдание…».

Скончался 11 июня 1961 года в воскресенье, в день Всех святых, в земле Российской просиявших.

Вяткин Георгий Андреевич

(1885—1938)



Родился 13 апреля (н. ст.) 1885 года в Омске в семье казака. Окончил учительскую семинарию в Томске, поступил в Казанский учительский институт, но был исключён из него как политически неблагонадёжный.

В Первую мировую войну более двух лет провёл на фронте в санотряде. В дореволюционные годы работал в томской газете «Сибирская жизнь», журнале «Сибирские записки». После революции и Гражданской войны стал организатором и руководителем студии для любителей поэзии и непрофессиональных поэтов в Новосибирске.

Был лично знаком и переписывался с И. Буниным и М. Горьким. У Георгия Вяткина вышло несколько сборников стихов: «Под северным солнцем» (1912), «Алтай» (1917), «Опечаленная радость» (1917), «Раненая Россия» (1919), «Чаша любви» (1923). Основным лейтмотивом раннего сборника «Под северным солнцем» можно назвать мотив радости бытия, благодарности миру, всеприятия и влюблённости в жизнь («Осеннее»). Автор говорит о том, что мир прекрасен, и сочувствует тем, кто за обыденностью и повседневностью не может разглядеть его красоту.

Любимая тема поэта в первом сборнике и следующем («Алтай») — природа. Она представлена во всём многообразии: на страницах книг мы встречаем все времена года, окунаемся в мир лугов, цветов, дождя, снега, появляются знаковые для сибирской литературы образы Алтая, реки Катуни, тайги. Тайга у Вяткина живая и угрюмая, она свидетельница всех событий во все времена («Тайга»). Природа лирическим героем воспринимается как врачеватель, она спасает от то-

ски («Бросаю газеты и книги…»), даёт гармонию, умиротворение и даже счастье («Рассказать тебе о счастье — не сумею, не смогу…»).

В сборнике «Раненая Россия» основной темой является тема Родины, страдающей России, за которую нужно молиться и в которую нужно верить.

В годы массовых репрессий, в 1937-м, Георгий Вяткин был арестован и обвинен как участник контрреволюционной партии. В 1938 году его расстреляли за участие в ледовом походе 1919 года армии Колчака. В середине 50-х годов за отсутствием состава преступления поэт был полностью реабилитирован и восстановлен посмертно в правах члена Союза писателей.

Гайдук Николай Викторович

(р. 1953)



Родился 26 января 1953 года в Славгороде (фактически — в п. Яровом) Алтайского края. Детство прошло в селе Волчиха. Окончил Родинское медицинское училище, Алтайский государственный институт культуры в Барнауле, Высшие литературные курсы в Москве. Окончив институт, работал режиссёром народного театра, директором Дома культуры.

«Но литературные дела — стихи, рассказы — всё крепче хватали меня за рукав, заставляли сутками сидеть за столом, напрочь забывая сон, еду и то, о чём так здорово воскликнул Пастернак: „Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?“ И чем дальше я двигался — по годам и дорогам — тем сильнее ощущал в груди горение божественных глаголов. И всё твёрже и твёрже думалось о том, что не писать невозможно. Слишком был силён восторг от жизни вообще и от природы в частности. Восторг — я больше чем уверен — это самая главная сила поэзии».

В 1988 году в Красноярске вышла первая книга прозы Николая Гайдука «С любовью и нежностью». Рецензент и автор предисловия — Валентин Курбатов, человек довольно строгий и принципиальный в вопросах литературы и искусства. «Для Николая Гайдука характерна пьянящая музыка простора и слова», — именно так раннее творчество автора оценил один из ведущих российских критиков.

Российскому читателю Николай Гайдук известен как поэт и прозаик, автор книг стихов и прозы. Министерством образования и науки Красноярского края его произведения включены в школьную программу. Творчество автора, члена Союза писателей России, отличается ярким самобытным языком, высоко отмеченным не только среди русского читателя, но и за границей — в Аргентине, Франции, Польше, Канаде.

Гастев Алексей Капитонович
(1882—1939)



Родился 26 сентября (н. ст.) 1882 года в Суздале Владимирской губернии. Русский революционер, профсоюзный деятель, поэт и писатель, теоретик научной организации труда и руководитель Центрального института труда. Член ВКП(б) с 1931 года. Один из идеологов Пролеткульта. Литературные псевдонимы — А. Зорин, И. Дозоров, А. З., А. Заремба, А. Набегов. В 1901 году вступил в РСДРП.

В 1903 году был сослан в Усть-Сысольск Вологодской губернии, откуда 10 июня 1904 года успешно бежал во Францию. В 1905 году вернулся в Россию. Во время Первой русской революции был избран председателем Костромского Совета рабочих депутатов и руководителем боевой дружины. Год спустя был избран делегатом на IV съезд РСДРП, но в 1908 году покинул ряды большевиков.

В 1910 году вновь уехал в Париж, где устроился слесарем. В 1913 году вернулся в Санкт-Петербург. В 1914 году по доносу провокатора арестован и выслан в Нарымский край. Из ссылки бежал. В 1917—1918 годах — секретарь ЦК Всероссийского союза рабочих-металлистов. В 1921 году стал создателем и руководителем Центрального института труда.

С 1932 по 1936 год был председателем Всесоюзного комитета по стандартизации при Совете труда и обороны, а также главным редактором журнала «Вестник стандартизации». В 1918 году Пролеткультом был издан сборник стихов Алексея Гастева «Поэзия рабочего удара», выдержавший до 1926 года шесть переизданий.

Находясь в застенках Томской каторжной тюрьмы, написал утопию «Экспресс» (сибирская фантазия), опубликованную в «Сибирских записках» в 1916 году, о путешествии в поезде по фантастическому Транссибу будущего. Мрачные стены одиночной камеры не препятствовали автору быть романтиком и верить в светлое будущее Сибири. Репрессирован в 1939 году.

Глушков Дмитрий Иванович (Олерон)
(1884—1918)



Родился 3 сентября (н. ст.) 1884 года в Париже. Отец его был народовольцем, эмигрировавшим во Францию. С матерью вернулся в Россию, жил в Харькове.

Как участник студенческих волнений и восстаний, приговорён к каторге, затем выслан на вечное поселение в Сибирь. Жил в селе Тутура Верхоленского уезда, затем в Иркутске, где принял участие в деятельности «Иркутских вечеров» — литературного объединения, созданного политссыльными, печатался в журналах «Багульник», «Сибирские записки» и др. Имя Дмитрия Оле-

рона накануне Октября пользовалось любовью и уважением среди политических ссыльных.

В 1922 году друзьями и близкими поэта был издан небольшой сборник его «Олимпийских сонетов», проникнутых восхищением перед бессмертной красотой античного мира. В сборнике «Елань» (Восточно-Сибирское книжное издательство, 1969 г.) собраны избранные стихи поэта. В стихотворении «Гвоздика», опубликованном в данном сборнике, выражено героическое начало, осознанная жертва героев революции во имя свободы и равенства народов.

Каторга и ссылка подорвали здоровье поэта, он скончался 10 сентября 1918 года в возрасте 34 лет. Литературное наследие до сих пор не изучено и не собрано. Большинство его работ осталось в рукописях — оригинальные произведения, переводы из Овидия, Плавта, А. Шенье, А. Мюссе, П. Верлена.

Горбатов Борис Леонтьевич
(1908—1954)



Родился 2 июля (н. ст.) 1908 года в Первомайске Славяносербского уезда Екатеринославской губернии.

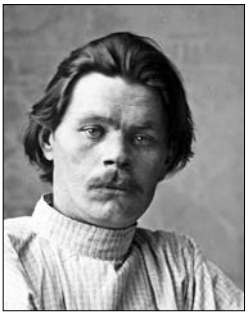
Вспоминает в год столетия писателя о нём Алексей Кириллович Симонов, сын Константина Симонова: «Борис Горбатов был хорошим советским писателем и очень хорошим человеком, о чём помнят все, кому так или иначе довелось прикоснуться к жизни этого человека. В своей работе Горбатов был скорее журналистом, чем писателем; писательскую умелость он в себе… так и хочется сказать — „выгорбатывал“. Горбатов всей своей сущностью был советским писателем, до конца оставался романтиком. Мне довелось с этой советскостью горбатовского письма столкнуться в работе над едва ли не лучшей его книгой, сборником рассказов „Обыкновенная Арктика“, написанных в самом конце 30-х, по которому я в середине 70-х делал фильм для телевидения. И сценарий, и фильм получились жёсткими, поэтому не увидел экрана».

Сборник рассказов «Обыкновенная Арктика» впервые вышел в свет отдельным изданием в 1940 году. В основу рассказов, объединённых автором в книгу, легли впечатления, полученные во время зимовки на Диксоне в 1935 году и в дни перелёта по трассе Северного морского пути вместе с группой работников Главсевморпути, обследовавших работу отдалённых пунктов Арктики в 1930 году.

Борис Горбатов — корреспондент «Правды», на фронте — с первых дней войны до дня подписания капитуляции. За четыре года войны он написал, помимо сотен статей и репортажей, две книги, которыми был вправе гордиться и как писатель, и как гражданин. Это «Письма к товарищу» и повесть «Непокорённые».

Писатель и сценарист, журналист и военный корреспондент, лауреат двух Сталинских премий II степени (1945, 1952). В постсоветские годы имя его было незаслуженно забыто. В даный сборник мы поместили репортаж «Большой арктический перелёт. 1936 год» — главу из книги Бориса Горбатова «Необыкновенная Арктика».

Горький Алексей Максимович
(1868—1936)



Родился 16 марта (н. ст.) 1868 года в Нижнем Новгороде.

Слово «Сибирь» Алексей Пешков слышал ещё в раннем детстве. Отец его Максим Савватеевич родился и вырос в Сибири. Он умер, когда будущему писателю было всего четыре года, но разговоры об этом далёком крае всегда были в семье на слуху.

Яркую искру любви к Сибири заронила в писателя талантливая рассказчица из народа Гурьева, сибирячка. Познакомился он с ней в 1891 году, в период хождения по Руси. Она рассказывала мастерски сибирские легенды и бывальщины: о своей жизни в Сибири, о старателях, варнаках и пр.

В 1896 году в Нижнем Новгороде открылась Первая Всероссийская промышленная и художественная выставка. Алексей Максимович был тогда сотрудником «Нижегородского листка». В течение трёх-четырёх месяцев он дал о выставке несколько десятков корреспонденций, фельетонов, очерков и статей. Интересен факт, что из многих павильонов Всероссийской ярмарки он выделил павильон Сибири. «Не красна изба углами, — вот что думается, когда подходишь к павильону Сибири, — ждёшь, что она окажется „красна пирогами", и не ошибёшься, — писал Горький. — Прямо перед нами два стола, и на них вылеплены рельефные карты Нерчинского и Алтайского горных округов. Карты сделаны хорошо, месторождения и разработки руд показаны на них шариками золота, серебра, угля… Смотришь на эти горы и понимаешь, что есть „золотое дно". Чувствуешь гордость, ибо, по словам знаменитых металлургов, горы Алтайского и Нерчинского округов сплошь рудоносны и можно безошибочно предсказать, что в верховьях тех речек, по берегам которых открыты россыпи, существуют богатейшие жилы».

Максим Горький бросил упрёк промышленникам, которые, оборудовав павильон природных богатств Сибири, не показали труд рабочих, добывающих эти богатства. «Очень хочется знать, — писал он, — кто, чем и как вытащил из земли эти 10 000 пудов золота и дал государству за 30 лет почти 300 миллионов золотых рублей, не считая серебряных и медных, не принимая во внимание драгоценных камней. Кто они, добрые гномы, снабжающие отечество презренным металлом? Как это они делают и как они при этом поживают?»

Сибирь на выставке настолько привлекла внимание молодого писателя, что он уже тогда поставил вопрос о необходимости широкого ознакомления России с этим краем. Он писал: «Просветить Россию, ознакомить её с Сибирью следует особенно теперь, когда Сибирь по милости железной дороги продвинулась к нам так близко».

Дореволюционные историки и писатели почти не видели и не понимали Сибирь и её народ. А.М. Горький говорил в своих лекциях: «Русский народ… без помощи государства захватил и присоединил к Москве огромную Сибирь руками Ермака и понизовой вольницы, беглой от бояр. Он в лице Дежнёва, Крашенин-

никова, Хабарова и массы других землепроходцев открывал новые места, проливы — на свой счёт и за свой страх. Ранее российских испытателей изобрёл паровую водоподъёмную машину… Этим народом сделано много».

Начиная с 1912 года писатель постоянно переписывался с сибиряками и интересовался теми процессами, которые происходили в Сибири в XVII—XIX веках. Много читал о ней. Правда, не одобрял сепаратистов Н.М. Ядринцева и Г.Н. Потанина, потому что мало знал о них. Наиболее яркое преломление сибирской темы — в пьесе «На дне», в рассказах странника Луки о мифическом Беловодье. Горький вплетает в ткань произведения реплики, замечания, сценки о богатствах Сибири и о разного рода хищниках, жадных до дармового богатства.

В начале XX века появились талантливые прозаики В. Шишков, Ф. Березовский, В. Анучин, Вс. Иванов, А. Новосёлов, А. Сорокин, М. Ошаров, поэты П. Драверт, В. Итин, Л. Мартынов… Все они так или иначе были связаны с Горьким. Особенно это стремление помочь сибирякам состоялось в 1912—1913 годах. Предполагалось издание сибирского сборника, но это начинание не нашло поддержки у самих сибиряков. В дальнейшем связь сибирских писателей с Горьким становилась всё более тесной: переписка, советы по творчеству, рецензии на отдельные сборники стихов. Мало кому известен факт о роли Горького в издании сборника стихов «Песни Алтая» поэта Ивана Ерошина, которого местная критика исключила уже из Союза писателей за приверженность к патриархальной старине и отсутствие классовой сознательности. И только вмешательство Алексея Максимовича спасло жизнь Ерошина, и сборник появился благодаря предисловию Ромена Роллана, друга Горького.

Писатель в трудную минуту поддержал Владимира Зазубрина и помог ему перебраться в Москву, устроил на службу в Гослитиздат и журнал «Колхозник», подальше от новосибирских чекистов, которые выискивали в биографии сибирского писателя «тёмные пятна».

С 1929 года издаются «Сборник сибирских писателей», журналы «Будущая Сибирь», «Сибирь» (1925—1926), отдельные книги П. Петрова, М. Ошарова, В. Итина, Л. Мартынова и др. В марте 1926 года в Новониколаевске был созван Первый общесибирский съезд писателей, где оформился организационно Сибирский союз писателей. В работе съезда приняли участие 44 делегата от сибирских городов, в том числе и Красноярска. К 1927 году число членов Союза составляло 126 человек, его отделения были в каждом городе. Литераторы Сибири писали единственную в мире художественную летопись социалистической революции. В июле-августе 1934 года состоялся Первый съезд писателей СССР, где сибиряки были представлены очень солидно. Остались фотографические снимки Горького с сибирскими писателями.

Однако масштабная фигура Алексея Максимовича подвергалась если не сказать травле, то критике в связи с его статусом великого советского писателя, «буревестника революции». Наша публикация фельетона о Горьком — «Соколик» — тому свидетельство. Кроме того, в данный сборник включён очерк о роли Горького в создании школьниками Игарки коллективной книги «Мы из Игарки» с предисловиями его и Ромена Роллана.

Гумилёв Лев Николаевич
(1912—1992)



Родился 1 октября (н. ст.) 1912 года в Санкт-Петребурге. Советский и русский учёный, писатель и переводчик. Археолог, востоковед и географ, историк, этнолог, философ. Родители Льва Гумилёва — знаменитые поэты Николай Гумилёв и Анна Ахматова.

В 1930—1940-е годы, осознавая влечение к исторической науке, сочинял стихи и прозу; на рубеже 1950—1960-х годов переводил поэзию с персидского языка. С 1931 года активно участвовал в геологических и археологических экспедициях (всего до 1967 года принял участие в 21 экспедиционном сезоне). В 1934 году поступил в Ленинградский государственный университет на исторический факультет. Четырежды был арестован. В 1938 году подвёргся третьему аресту и получил пять лет лагерей, заключение отбывал в Норильске.

В 1944 году добровольцем вступил в ряды Красной армии, участвовал в Берлинской операции. После демобилизации окончил экстерном исторический факультет, в 1948 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук. В 1949 году вновь был арестован, обвинения были заимствованы из следственного дела 1935 года, был осуждён на 10 лет лагерей. В 1956 году после XX съезда КПСС освобождён и реабилитирован.

Научное наследие включает 12 монографий и более 200 статей. Взгляды Льва Гумилёва, выходившие далеко за рамки общепринятых научных представлений, вызывают споры и острые дискуссии среди историков, этнологов и др.

Один из сроков отбывал в Норильлаге. 21 сентября 1939 года Гумилёв попадает в 4-е отделение Норильлага. По мнению писателя, Норильлаг — место удивительного скопления интеллектуальных ресурсов страны и одновременно с ними наиболее опасных бандитов, рецидивистов. За весь срок заключения успел поработать землекопом, горняком меднорудной шахты, библиотекарем на руднике 3/6, техником, геологом, а к концу срока стал даже лаборантом-химиком. По отбытии срока был оставлен работать в Норильске без права выезда, неоднократно просился на фронт.

В своих искренних чувствах по отношению к Родине Лев Николаевич продолжил добрую традицию отца, офицера русской армии, который участвовал в Первой мировой войне, а по её окончании остался в России, чтобы разделить с нею её участь.

Осенью 1944 года Лев Гумилёв добровольно вступил в Красную армию, воевал в зенитно-артиллерийском полку 31-й артиллерийской дивизии на 1-м Белорусском фронте, участвовал в Восточно-Померанской и Висло-Одерской наступательных операциях, в штурме Берлина. Из-за неблагожелательного отношения начальства, несмотря на боевые эпизоды, дававшие основания к награждению, был награждён только медалью «За победу над Германией», а за взятие Берлина, например, был отмечен… просто грамотой: «Красноармеец Гумилёв Лев Николаевич. Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза

от 2 мая 1945 г. № 359 за Берлин всему личному составу нашего соединения, в том числе и вам, принимавшему участие в боях, объявлена благодарность».

По воспоминаниям друга, Гумилёв рассказывал о себе: «Я — русский солдат. Я всю жизнь, всё время на войне. Мы ведь, Гумилёвы, каста военных, были священники, но в основном военные, морские, сухопутные офицеры и разведчики. Что я могу сказать о вооружённой защите Отечества, когда я его сам защищал в годы Великой Отечественной войны на передовой, а мой отец имел два Георгия, да и деды и прадеды были военными. Если верить фамильным преданиям, то мой далёкий предок командовал одним из полков на Куликовом поле и там же и погиб. Так что я скорее не из интеллигентов, а из семьи военных, чем весьма горжусь».

Дементьев Николай Иннокентьевич

Автор стихотворения «Кто она?» (сюжет Зозули). Известно, что Николай Дементьев — житель Минусинска, где эта фамилия была распространённой. Автор подписал своё творение так: «Минусинск, сентябрь 1919 г. От Николая Иннокентьевича Дементьева, Минусинск, ул. Тургеневская, Реальное училище». Личность Н.И. Дементьева не установлена (рукописный автограф из архива Литературного музея имени В. П. Астафьева, публикуется впервые).

Долгополова Татьяна Геннадьевна
(р. 1970)



Родилась 4 марта 1970 года в Красноярске. Окончила Красноярский педагогический университет. Автор книг стихов «Зодиакальная болезнь», «Московское время», «Лепта». Член Союза российских писателей.

Когда Татьяна Долгополова лишь делала первые шаги в литературе, было уже очевидно, что это поэт, и поэт несомненно талантливый. Она явилась как-то сразу без «поводырей» и «попутчиков», решительно и смело заявив в стихах: «Принимайте или нет, но я — такая!» Она никому не стремилась подражать. О чём с присущей прямотой и самокритичностью сказала тогда: «Стихи мои сырые, смятые. Ну что ж теперь? Я — не Ахматова… И у меня своя идиллия».

Теперь-то она доказала, что свои у неё не только имя и фамилия, но и путь в жизни, поэтический голос. И если вникать в истоки поэзии Татьяны Долгополовой, то ближе всего к истине окажется родство её творчества с поэзией Марины Цветаевой. На вопрос: какая она? — Татьяна очень точно ответила в стихотворении: «Я из тех, про кого говорят: „Ещё та!“» Она и в самом деле «ещё та» — серьёзная, но и достаточно противоречивая. Порой до легкомыслия. А главное: сама по себе, всегда в отдельности. Уже первая рукопись, ещё на ставшая книгой, содержит прекрасные стихи, написанные в студенческие годы. От юношеской бравады не осталось и следа. В стихах есть стержень, который помогает увидеть мастерство, предельную ясность и честность автора.

В 2001 году Татьяне Долгополовой была присуждена премия Фонда В.П. Астафьева за книгу стихов «Лепта». Татьяна всегда собирает молодёжную аудиторию, умеет расположить к себе и без излишней театральности и прикрас. В 2009 году при финансовой поддержке Литературного музея имени В. П. Астафьева вышла её книга «От себя». Пробует поэтесса себя и в прозе.

Её стихи читал Виктор Астафьев, и в Доме-музее писателя в деревне Овсянке Татьяна Геннадьевна работала многие годы, каждый день проезжала на маршрутном такси — в одну только сторону! — 40 километров. Летом 2016 года в последнем поэтическом вечере Евгения Евтушенко в Красноярском Дворце спорта читала свои стихи и Татьяна Долгополова.

Энергетика Татьяны Долгополовой, которой с избытком хватило бы и на переполненный зрителями зал, её изысканная лирика, поэтическая находчивость и образность возносят слушателя к суровым сибирским небесам, к бескрайней глади Енисея.

Долгушин Виктор Алексеевич
(ок. 1900 — начало 1930-х)



Родился в селе Таштып Минусинского уезда.

Певец Саян и сибирской тайги — так назвал Виталия Долгушина критик Александр Игрышинцев. Имя поэта-самоучки В.А. Долгушина, выступившего впервые в 1920 году в местной прессе, довольно уже популярно среди пролетарских кругов Минусинского края. Он выступал на публичных поэтических вечерах в городском театре, на школьных праздниках, его стихи читали с эстрады. Например, стихотворение «Батрак» звучало даже на улице, что в какой-то степени свидетельствует о народности и популярности его поэзии.

За четыре года литературной деятельности местная газета «Голос коммуниста» издала сборник поэта тиражом в 150 экземпляров. И однажды уездный отдел народного образования издал сборник поэзии и прозы Виктора Долгушина тиражом 5 экземпляров из-за дефицита бумаги.

Журнал «Сибирские огни» пробовал отметить достоинства и недостатки минусинского поэта. Поэт Виктор Долгушин — самоучка, вышедший из среды рабочих, сирота, батрак, заброшенный на полжизни в дикие дебри Урянхая, и этот период стал для него школой жизни, после которой он «проснулся и запел». Каких-либо десять лет назад он, по его словам, был полудикарём, юным охотником, гонявшимся за маралами. Таким он был взят на империалистическую войну. И только последние четыре года, разбуженный военными и предреволюционными грозами, он прозрел и сам, чуть ли не за работой в сапожной мастерской, с жадностью неофита бросился к книге и стал черпать отрывки энциклопедических знаний. Ещё при жизни отца в селе Таштып Минусинского уезда Долгушину удалось окончить начальную школу. После смерти отца пошёл батрачить, испытал тяжесть крестьянского труда и унижений, огрубел и перестал мыслить.

Вновь возродила его к жизни первобытная красота саянской тайги и гор. Его потянуло к рифме, к заучиванию поэм А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. Потом импе-

риалистическая война — богатая школа внутренних переживаний и наблюдений… Революция вовлекает его в своё русло, пробуждает силы, даёт выход новым идеям, первым опытам стихосложения. В городе (?) он становится сапожником, увлекается большевизмом, и это чуть не закончилось трагически. Из Западной Сибири, как перекати-поле, перебирается в родные минусинские пределы. Здесь в 1919—1920 годах участвует в партизанском движении на юге края.

В 1920 году окончательно прикипает к поэзии и для самообразования много читает классиков: Гоголя, Лермонтова, Пушкина, Гейне, книги по истории французской революции и пр. Стихи печатает в местных газетах, в основном революционной тематики, позднее переходит на бытовую тему. Многие произведения посвящены красоте саянской тайги. С 1923 года — постоянный сотрудник газеты «Власть труда».

Что касается ценности творческих исканий, то в стихах заметно влияние рабочих поэтов А. Гастева и Кириллова, критика отмечает газетно-фельетонные штампы, злободневность бытовой сатиры Долгушина. Наиболее яркие произведения, отмеченные талантом, — это стихотворения «Батрак» и «На базаре», написанные хорошим эпическим стилем, насыщенные лёгким юмором, посвящены трудностям голодного 1920 года в Минусинске. Надо отметить, что стихи о природе края более совершенны и напоминают стиль Г. Вяткина, который воспел Алтай во всём его великолепии. Долгушин находит совершенно самостоятельные, тонкие, образные детали и сравнения в описании Саян, Арадана, метелей и дебрей Урянхая, Енисея и т. д. Критик Александр Игрышинцев считал, что эти стихи, похожие на «туго натянутую тетиву лука», станут вкладом в сибирскую поэзию.

В данном сборнике впервые напечатано стихотворение Долгушина «Поэтам революции» — «написано в городе Туруханске на крышке инструментального ящика в кузнице». Это ещё один штрих к малоизученной биографии поэта, который скитался по Сибири и Руси, строил морской порт в Игарке, и образ туруханской тундры не случаен, вероятно, здесь его и настигла участь многих «буйных» натур. Годы рождения и смерти неизвестны.

Цит. по сб.: Долгушин В.А. Саяны. Минусинск: Государственная типография, 1925. Шалунин утёс; Енисей; Саяны: стихи / В. Долгушин // Избранное красноярской поэзии — XX век. Красноярск: Буква, 2001. С. 72.

Драверт Пётр Людовикович
(1879—1945)



Родился 4 января (н. ст.) 1879 года в Вятке в семье видного чиновника из французов. Учился в Казанском университете, окончил естественное отделение физико-математического факультета. Поэт, прозаик, учёный.

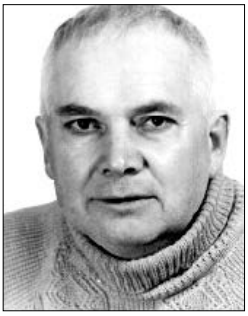
Время его юности — это время революционных волнений, политической и социальной активности. В студенческие годы Пётр Драверт принимал активное участие в революционном движении и за это был сослан в 1906 году на пять лет в Сибирь, в Якутию. Так судьба его связала с нашей землёй.

Находясь в ссылке, участвовал в геологических экспедициях, писал стихи и художественную прозу, а также очерки по истории и природе сибирского края. Полюбил Сибирь, она стала для него второй родиной. И даже после окончания срока ссылки, пожив несколько лет в Казани, Драверт возвратился сюда, путешествовал по всему краю: бывал и в Красноярске, и в Енисейске, жил в Томске.

С 1918 года окончательно поселился в Омске и прожил там до конца своих дней. Мотив любви к Сибири пропитывает собою всю художественную ткань его поэзии. Совершенно особой является цветопись в поэзии Драверта. В его стихах сочетаются яркие цвета северного сияния и скупая гамма красок природы. Он видит янтарную луну, серебристую метель, жемчужную равнину. Он влюблён в драгоценные камни. В его стихах мы можем встретить рубины и опалы, сапфиры и жемчуга, янтарь и малахит, изумруд, агат и другие дары земли. Эту геологическую образность и геологическую тематику поэзии Драверта можно объяснить его научными исследованиями в области минералогии. Поэтому зачастую и художественные краски автор заимствует из близкого ему мира минералов, драгоценных камней. Так в творчестве соединяются наука и поэзия.

Поэзия Петра Драверта представляет собой оригинальное и интересное явление в литературе Сибири.

Ерёмин Николай Николаевич
(р. 1943)



Родился 26 июля 1943 года в городе Свободном Амурской области. Окончил медицинский институт в Красноярске и Литературный институт имени А.М. Горького. Член Союза писателей СССР с 1981 года, Союза российских писателей с 1991 года и Русского ПЕН-центра Международного ПЕН-клуба.

Стихи Николая Ерёмина были хорошо известны студенческой молодёжи Красноярска. Они печатались на страницах институтской газеты «Медик», в газетах «Красноярский комсомолец», «Красноярский рабочий», в журнале «Енисей». Поэт был одним из авторов коллективных сборников «Будем друзьями» (1964), где на равных правах предстали перед читателями шесть молодых сибирских поэтов, «День поэзии» (1967), участником VI Краевого совещания молодых писателей Красноярского края «Дивногорская весна» (1970).

Одно время был бардом, так как стихи рождались вместе с мелодией, пел их под гитару и даже в марте 1968 года выступил в Новосибирском Академгородке на фестивале бардовской песни в одном концерте с А. Галичем, Ю. Кукиным, А. Дольским.

После института по распределению работал врачом-психиатром в Нижнеингашском районе Красноярского края. Там он на протяжении трёх лет руководил литературным объединением «Родник» при районной газете. Три года служил в армии военным врачом. Несколько лет работал в Красноярской городской психиатрической больнице.

Первая книга стихов «Качели» вышла в 1972 году в Красноярске. Его стихи привлекли любителей поэзии лирической простотой, безыскусственностью интонации, светлым мироощущением. Книги Николая Ерёмина стали издаваться в Москве, Красноярске. Издание сборников «Жить да жить» (1979), «Солнечные акварели» (1980) можно назвать одним из значительных событий в его творческой жизни.

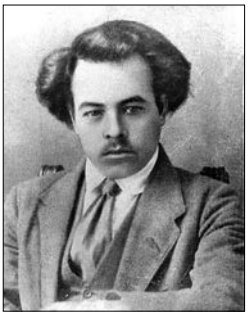
В 1983 году он оставляет медицину и посвящает себя литературному творчеству. Подтверждением тому, что выбран правильный путь, стали его книги: «Земные заботы» (1983), «Я не устану жить» (1985), «Музыка — жизнь» (1986), «Всё к лучшему» (1990), «Внушение на расстоянии» (1992), «Кутежи» (1994), «И радость, и печаль» (1995), «Земное и небесное» (1996), «Навсегда и обо всём» (1997), «Кончерто гроссо» (1998), «Театр одного актёра» (1998) и многие другие.

Его стихи — отражение души самого поэта. Что он чувствует, как видит мир, что в этом мире приемлет и что отвергает — это всё содержание его стихов. Иногда беглое впечатление превращается в завершённый рисунок, иногда — отзывается печалью или надеждой. Это может быть ожидаемая либо случайная встреча, воспоминание, влюблённость, потрясение, грусть, счастливый миг — оттенки душевных состояний бесконечны, и поэт запечатлевает их в стихах малой формы, потому что пространное изъяснение здесь неуместно. Перед нами своего рода «моментальный снимок», рождённый внутренней вспышкой.

Стихи Николая Ерёмина воспринимаются как большой, бесконечный лирический дневник. Его стихам свойственна ясность, прозрачность слога, лирическая исповедальность, готовность откликаться на всё происходящее в мире. Не случайно многие его произведения вдохновили разных композиторов на создание песен, ставших весьма популярными: «Осень» (муз. Д. Можина), «Вот и лето подходит к концу» (муз. Айзенберга), «По Николаевке цветёт черёмуха» (муз. С. Трусова).

Можно лишь позавидовать его неиссякаемой творческой энергии. Он пишет стихи, издаёт книги, печатается в газетах. В последнее время пишет и прозу. Хорошо известен его большой цикл рассказов «Мифы про Абаканск» (1998), вышли книги «Компромат» (2001), «Харакири» (2003) и др.

Ерошин Иван Евдокимович
(1894—1965)



Родился 10 мая (н. ст.) 1894 года в Рязанской губернии в бедной крестьянской семье. Первый раз он попал в Сибирь в детстве, когда его семья переехала сюда с потоком малоземельных крестьян-переселенцев, но жизнь здесь не удалась, и родители вынуждены были вернуться назад, в Центральную Россию.

Второй раз Иван Ерошин попал в Сибирь во время Гражданской войны, он сражался в рядах Красной армии. После окончания войны остался здесь, работал и сотрудничал с различными журналами и газетами. В начале 20-х годов с котомкой за плечами пешком исходил весь Алтай. Всем сердцем привязался поэт к этому краю, глубоко и нежно полюбил его.

Печатью настоящей поэзии был отмечен первый сборник Ивана Ерошина «Перекликъ» (1922). Язык стихов этого сборника — напевный и неторопливый. Яркая народная образность и лиризм — отличительные качества творчества поэта.

С 1929 года Ерошин живёт в нашем крае, в Минусинске, в селе Бондарево, занимается изучением и обработкой хакасского фольклора. В 1939 году переезжает в Красноярск, где становится редактором книжного издательства и руководителем литературного объединения.

Пейзажная лирика Ерошина живописна, изобразительна. Поэт как будто глядит на природу глазами человека, увидевшего этот мир впервые. Поэтому возникает ощущение первозданности мира, изображённого автором. Особое место он уделяет эпитетам, определениям («За орехи много благодарен»), иногда в построении миниатюры использует принцип контраста, обращается к звукописи и цветописи. Зачастую сравниваемые предметы выражены именами существительными, стоящими в именительном падеже, что характерно для восточной поэзии: «Тонкая луна — коготь орла», «Летний вечер — ты чёрный медведь».

Излюбленный жанр поэта — лирическая миниатюра. Будучи хорошо знаком с персидской, китайской, японской поэзией, он в алтайском фольклоре находит формы, близкие к своим эстетическим представлениям. Недаром Р. Роллан принял эти сказки за алтайские, высоко оценив миниатюры, и написал об этом поэту. Если говорить о традициях ерошинской пейзажной лирики, то в своих стихах о природе он ближе всего стоит к А. Фету и С. Есенину.

Ёлтышев Александр Владимирович

(р. 1950)



В июне 2007 года поэт, журналист, редактор Александр Ёлтышев писал о себе: «Родился 9 октября 1950 года в Красноярске, но не прошло и четырёх лет, как был сорван с малой родины… Когда прочитал у Давида Самойлова:

Папа молод. И мать молода.
Конь горяч. И пролётка крылата.
А мы едем, незнамо куда, —
Всё мы едем и едем куда-то… —

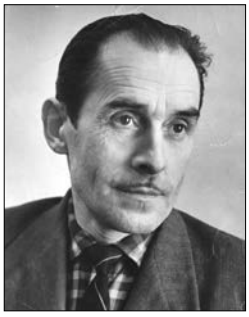
во мне шевельнулось детство. Так ли важно, что там фигурировал не гужевой, а железнодорожный транспорт, врезавшийся в память зеркальным вагонным убранством. Вечные воинские гарнизоны, школы в Азербайджане, на Украине, в Сибири, на Урале. Всюду свои требования, учителя при первом знакомстве проверяют знания, пацаны — степень адаптации к экстремальным ситуациям. В 18 лет вновь оказался в родном Красноярске. Окончил филологический факультет педагогического института, работал в сельской и городской школах, служил в армии, столь знакомой с раннего детства.

Наконец… вляпался в журналистику, до сих пор кормящую. Хотя уходил от неё на Енисейский флот, энергетическое предприятие, одарившее квартирой, в ароматную подсобку овощного магазина… Сейчас редактирую журнал сельскохозяйственной направленности „Агро-Сибирь“, поражаясь сложности и раз-

нообразию жизни за городской чертой. Видимо, привитое с детства стремление к странствиям не даёт покоя, способствуя в выборе печатных изданий. Работал в речной газете, изучив все енисейские притоки, еженедельник железнодорожников давал право поездки в кабине локомотива (а смотреть на магистраль в лоб — совсем не то, что сбоку), нынешний журнал кидает по сибирским сёлам, где, вопреки расхожему стереотипу, не так уж и мрачно.

Стихи приходят часто, но редко формируются в завершённые строки. Издал единственный сборник, попал в приют дикороссов, печатался в журналах „День и ночь“, „Предлог“, „Енисей“», коллективных сборниках, которые составители скромно именуют „антологиями“».

Живило Марк Феодосьевич
(1923—1989)



Родился 11 июля 1923 года в селе Троицком Кулундинского района Алтайского края, образование среднее. Летом 1942 года окончил 10 классов в Магадане и со школьной скамьи ушёл на фронт добровольцем.

В звании старшины, помкомвзвода роты автоматчиков участвовал в сражениях на Орловском, Смоленском, Прибалтийском фронтах Великой Отечественной войны, был трижды ранен.

Весной 1945 года демобилизовался, но на фронте одна справка по ранению была утеряна, подделать её ничего не стоило художнику-самоучке. И вот: обвинение в измене и дезертирстве, затем побег, арест, приговор — 10 лет лишения свободы.

Работал в лагере шесть лет, встретил в 1950 году Зинаиду Ивановну, которая, пройдя все страдания и муки, испытав судьбу на прочность, стала сначала гражданской, а затем законной женой. В июне 1954 года Марк Феодосьевич досрочно освободился и приехал в Абакан, где его ждала семья. Ему — 31 год. За плечами — средняя школа, три с половиной года войны и шесть с половиной лет лагерей да Богом данный талант художника… Из автобиографии: «В моём деле не столько вины, сколько беды, именно поэтому я не хотел мириться с судопроизводством, навязавшим мне и вину, и срок. Будучи подследственным, дважды бежал из-под стражи, чем усугубил своё положение и ужесточил наказание».

Творческая карьера Марка Живило началась в газете «Шахтёр» в Черногорске, в 1954 году — внештатный корреспондент газеты «Советская Хакасия», специальный корреспондент газеты «Советская Россия» по Сибири и Дальнему Востоку, одновременно сотрудничал с газетами «Труд», «Гудок», «Известия», «Правда», «Литературная газета», печатался в «Красноярском рабочем». Как художественный редактор Красноярского книжного издательства, Марк Феодосьевич оформлял сотни и иллюстрировал десятки книг красноярских поэтов и прозаиков, побывал на всех крупнейших стройках Красноярского края и обо всём увиденном смог рассказать со страниц газет и журналов; работал ответственным и художественным редактором альманаха «Енисей». По заданию редколлегии альманаха им

была выполнена серия портретов «Участники войны — Герои Советского Союза». Художник навсегда остался верен изображению рядовых выходцев из народа, вынесшего на своих плечах все ужасы войны, страдавшего от голода и разрухи, замерзавшего и строившего. Вот почему в его очерках и на его рисунках лица и образы исключительно простых советских людей: строителей, шахтёров, ткачих, актёров, колхозников, учителей, учёных. Большинство рисунков художник посвятил индустриальной Сибири.

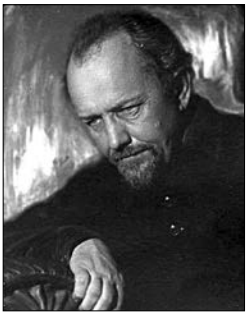
Только сорок лет спустя в архивах были найдены документы о ранениях и наградах. В 1983 году Марку Живило вручили самую дорогую солдатскую награду — орден Боевой Славы III степени. Орден был вручён бывшему старшине, помощнику командира взвода автоматчиков, получившему боевое крещение и ранения в боях под Смоленском, в Курско-Орловской битве, при освобождении Латвии. В 1985 году награждён орденом Отечественной войны II степени.

Скончался 17 января 1989 года в возрасте 65 лет, похоронен рядом с женой в Красноярске.

В течение жизни Марк Живило вёл записи всего пережитого и увиденного. Его родственница Горская Ирина Анатольевна разобрала все записи Марка Феодосьевича и была инициатором трёх выставок — в Литературном музее имени В.П. Астафьеева, Музее Бориса Ряузова и Абаканской картинной галерее (в 2018 г.).

В данном сборнике мы публикуем некоторые записи из дневников Марка Живило, дабы люди знали и помнили, какая нелёгкая судьба выпала этому поколению.

Жуков Иннокентий Николаевич
(1875—1948)



Родился 5 октября (н. ст.) 1875 года в посёлке Горный Зерентуй (Забайкалье) в семье управляющего начальника Горно-Зерентуйского рудника.

Учился в Читинской гимназии, увлекался литературой, писал стихи, занимался рисованием, лепкой из глины, вырезанием из дерева фигурок птиц, зверей и людей. В 1895 году поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, работал в школе и выступил инициатором движения скаутов, а позднее пионерского движения.

Кроме увлечения педагогикой, был основателем школы эсперанто; в 1912—1914 годах обучался рисованию и лепке сначала в Академии художеств в Петербурге, затем в Париже в Академии Эмиля Антуана Бурделя. Принимал участие в международных выставках. Автор книги «Русский скаутизм», редактор журнала «Петроградский скаут», секретарь Петербургского отделения Всероссийского общества «Русский скаут».

В советские годы разрабатывал учебники и школьные программы по рекомендации Н.К. Крупской. Творчество Иннокентия Жукова, его скульптуру, высоко ценили современники (И.Е. Репин, О. Роден, М. Горький, Р. Роллан, А.В. Луначар-

ский, Л.Н. Толстой, С.Т. Коненков, Н.К. Крупская). Его работы хранятся в художественных музеях страны и Сибири.

Скочался в Москве 5 ноября 1948 года. В данный сборник вошло единственное стихотворение, посвящённое памяти выдающегося сибирского патриота Григория Николаевича Потанина.

Ильина-Боратынская Ольга Александровна
(1894—1991)



Родилась 26 июля (н. ст.) 1894 года в Казани в семье предводителя дворянства Казанского уезда. В семье Боратынских, как и в других классических дворянских семьях, было принято сочетать общественное служение с творческим самовыражением.

В декабре 2009 года Музей Е.А. Баратынского города Казани получил от Бориса Кирилловича Ильина (США), потомка поэта Евгения Боратынского и сына писательницы русского зарубежья Ольги Александровны Ильиной-Боратынской, перевод автобиографического романа его матери «Белый путь. Русская Одиссея. 1919—1923». Книга впервые вышла в свет на английском языке в Нью-Йорке в 1983 году и является второй частью дилогии, посвящённой роковым событиям русской истории начала XX века, феномену «белого пути».

Ольга Ильина-Боратынская с 1923 года всю свою долгую жизнь прожила в Сан-Франциско. Она была женой белого офицера, её отец был расстрелян в сентябре 1918 года, младший брат погиб в 1919-м, а старший — расстрелян в 1932-м.

Первая книга «Канун восьмого дня» посвящена светлому времени её детства и юности. События романа заканчиваются 1918 годом в Казани. Изданная в ней в 2003 году на русском языке тиражом 3 000 экземпляров, книга оказалась необычайно востребована не только в России, но и за рубежом.

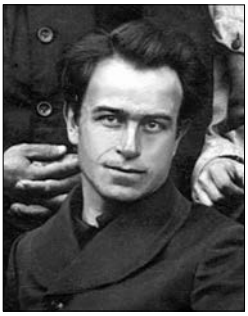
Ольга Александровна уходит из Казани в сентябре 1918 года с мужем Кириллом, офицером армии Пепеляева; всего две недели назад до этого она родила ребёнка. От Кургана начинается её «белый путь»: они движутся в огромном потоке вслед за отступающей белой армией. Отсюда же начинают развиваться события романа «Белый путь. Русская Одиссея. 1919—1923». Произведение представляет собою симбиоз жанров — мемуаров и художественного произведения, в связи с чем есть изменения в фамилиях, отражении тех или иных событий и пр.

Красноярск был одним из сибирских городов, через который пролегал «белый путь» героев романа. Здесь Ольга Ильина-Боратынская прожила с января по май 1920 года. Пребыванию в городе посвящена третья часть романа (главы 18—22), которая так и называется: «Красноярск».

В мае 1920 года Ольга Александровна с близкими возвращаются в Казань. Но поняв, что это уже не тот город, что там уже ничего не осталось от той, прошлой жизни, тем же путём, через Сибирь, выбираются в Харбин, а позднее — в Сан-Франциско.

Ольга Ильина-Боратынская в русской литературе занимает не последнее место — её можно отнести к когорте писателей и поэтов Серебряного века. «В стихах госпожи Боратынской мысль торчит, как голая кость», — отметил в рецензии на её стихи критик Юрий Айхенвальд, которому она отправляла изданные на русском языке в США свои стихи. Вероятно, философское начало в её творчестве — это в какой-то мере наследие удивительного русского поэта Евгения Баратынского, её прадеда.

Итин Вивиан Азарьевич
(1894—1945)



Родился 7 января (н. ст.) 1894 года в Уфе в семье адвоката, окончил юридический факультет Петербургского университета.

С 1919 года жил в Сибири, занимал ответственные партийные должности в Красноярске и Канске.

Творческий и гражданский облик Вивиана Итина интересен и привлекателен. Типичный интеллигент, воспитанный на гуманистических традициях русской и мировой литературы, он горячо и искренне принял революцию, стал активным её защитником и бойцом.

Первый и единственный прижизненный поэтический сборник Вивиана Итина «Солнце сердца» вышел в 1923 году. Основной темой стихов стала тема революции и судьбы человека в ней. Поэзия этого сборника — это поэзия романтической окрылённости и устремлённости в будущее. Автор обращается к «вечному образу» Прометея Прикованного, который стал символом неотступности, противостояния тирании, жертвенности во благо человечества («Скованный Прометей»). Пафосом борьбы пронизано стихотворение «Я люблю борьбу», где поэт мужественно и прямо говорит о жестоком сражении, которое разыгрывается в душе человека, когда приходится преодолевать свои слабости. Он признаётся в том, что добился самой трудной победы — «научился побеждать себя». Вера в светлое и счастливое будущее звучит в стихотворении «Наша раса». Такой оптимистичной и жизнеутверждающей была поэзия Итина.

Судьба поэта сложилась трагично. В 1938 году он был репрессирован, погиб в лагерях. Затем посмертно реабилитирован. В данный сборник, в частности, вошёл отрывок из его книги «Путь к морю», в которой автор изложил в популярной форме историю освоения Арктики. За это произведение в 1936 году Вивиан Итин получил престижную премию имени А.М. Горького.

Вивиан Итин — поэт, критик, прозаик, очеркист, редактор литературного журнала «Сибирские огни», исследователь-путешественник, совершивший несколько экспедиций в Арктику.

Каверин Вениамин Александрович
(1902—1989)



Родился 6 апреля (н. ст.) 1902 года в Пскове. Русский советский писатель, драматург и сценарист. Член литературной группы «Серапионовы братья».

Наиболее известное произведение — приключенческий роман «Два капитана», который был написан им в 1938—1944 годах. Роман выдержал более сотни переизданий. За него писатель награждён Сталинской премией II степени (1946). Книга была переведена на многие иностранные языки.

Девиз романа — слова «Бороться и искать, найти и не сдаваться» — это заключительная строка из хрестоматийного стихотворения лорда Теннисона «Улисс». Эта строка также выгравирована на кресте в память о погибшей экспедиции Р. Скотта к Южному полюсу, на холме Обсервейшн.

Роман «Два капитана» можно поставить на книжную полку рядом с классическими романами-приключениями Д. Дефо, Дж. Свифта, Ж. Верна и др. Образ капитана Ивана Львовича Татаринова напоминает об исторических событиях. В 1912 году в плавание отправились три русские полярные экспедиции: на судне «Святой мученик Фока» под командованием Георгия Седова, на шхуне «Святая Анна» под руководством Георгия Брусилова и на боте «Геркулес» с участием Владимира Русанова. Экспедиция на шхуне «Святая Мария» в романе фактически повторяет хронологию путешествия и маршрут «Святой Анны». Внешность, характер и взгляды капитана Татаринова роднят его с Георгием Седовым. Поиски экспедиции капитана Татаринова напоминают о поисках экспедиции Русанова. Судьба персонажа романа штурмана «Святой Марии» Ивана Климова перекликается с подлинной судьбой штурмана «Святой Анны» Валериана Альбанова. Директор Псковской гимназии, где учился автор, Артур Генрихович Готлиб — прототип Николая Антоновича Татаринова, одного из самых отрицательных героев романа. Образ Сани Григорьева встаёт в один ряд с советскими литературными героями века: Павкой Корчагиным, Алексеем Мересьевым и другими. «Два капитана» — это роман о правде и счастье. В судьбе главного героя романа эти понятия неотделимы.

Для нашего читателя будет интересен тот факт, что события в конце романа заканчиваются встречей Сани Григорьева с любимой девушкой и обнаружением пропавшей экспедиции капитана Татаринова, и эти события происходят на Енисейском Севере.

Калашников (Кручинин) Виталий Семёнович
(1880—1941)



Родился в 1880 году в Красноярске в семье бухгалтера. Окончил городское училище и всю жизнь проработал в управлении земледелия канцелярским служащим.

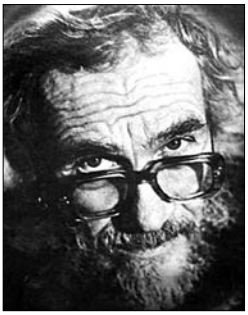
Большой любитель природы, Виталий Семёнович исходил вдоль и поперёк окрестности Красноярска и запечатлел их в стихах «Енисей», «Утёс», «Токмак» и др.

Не все его стихи напечатаны — поэт не спешил с публикацией, зато дарил их друзьям так же охотно, как и картины-аппликации, которыми с увлечением занимался всю жизнь. Стихи печатались в газете «Енисейская мысль», в журнале «Сибирские записки» и в других дореволюционных изданиях. В основном все они посвящены природе нашего края.

Стихи Калашникова не всегда были безобидны, воспевая только природу. Он пишет балладу о сибирских земцах, подражая А.К. Толстому. А из-за стихотворения «Токмак» имел неприятности с полицией, которой не понравились строки: в образе великана Токмак, заколдованный злыми чарами, грозит кому-то вверх каменным пальцем. «Кому он грозит?» — спрашивали власти у автора.

Скончался Виталий Калашников незадолго до войны, в марте 1941 года. Не так давно были обнаружены его замечательные стихи, опубликованные в журнале «Сибирская школа» № 1 за 1917 год, и посвящены они наступающему революционному году, который не предвещал ничего хорошего, но красноярцы свято верили в счастливый исход революционных событий.

Капелько Владимир Феофанович
(1937—2000)



Родился 19 июня 1937 года в Красноярске. Советский и российский художник, поэт, археолог, этнограф, альпинист, общественный деятель. Член Союза художников СССР, Союза художников Российской Федерации (1971), заслуженный художник России (2000).

Работы Владимира Капелько хранятся в музеях Москвы, Томска, Минусинска, Абакана, Красноярска, в частных коллекциях России, за рубежом (в Италии, Польше, США, Швеции). С 2001 по 2005 год действовал Музей В.Ф. Капелько в Абакане. Живописные работы художника большей частью связаны с этнической культурой народов Саяно-Алтая: «Тагарские курганы», «Камни памяти», «Шишкинская писаница», «Хорошо в Туве», «Черногорские пасторали», «Дом, в котором я живу» и др. Много работал в области книжной графики. Оказал влияние на целый пласт современных художников, увлечённых сибирской архаикой, в Абакане, Красноярске, Новосибирске, Омске, Ханты-Мансийске, Барнауле, Горно-Алтайске.

А вот сам Владимир Феофанович, признавая себя «художником штучным», к живописцам себя не причислял. «Это Суриковы живописуют, мы же только красим», — говорил он.

Владимир Капелько был не только оригинальным художником, но и самобытным поэтом. Интерес к истории проходил сквозь всю его творческую жизнь и выражался не только в участии в археологических экспедициях, снятии сотен эстампажей с петроглифов Минусинской котловины, но и в творческих работах, в распространении интереса к сибирскому архаическому искусству в художественной среде.

В 2012 году была издана книга стихов Владимира Капелько и воспоминаний о художнике, названная «Горланят над Россией петухи».

Кобытев Евгений Степанович

(1910—1973)



Родился 20 декабря (н. ст.) 1910 года на Алтае. Живописец, график, педагог, участник Великой Отечественной войны.

Воевал на Юго-Западном фронте (1941). Находился в плену в фашистском концлагере «Хорольская яма» (1941—1943), бежал, участвовал в боях за Украину, Молдавию, Польшу, дошёл до Германии (1943—1945). Награды военных лет: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В первые же дни войны Евгений Кобытев добровольцем ушёл на фронт. А в октябре 1941 года часть, в которой он служил, попала в окружение. Кобытев был ранен и, пытаясь пробиться к своим, попал в плен. А дальше — самое страшное. Он в числе 60 тысяч солдат попал в фашистский концлагерь «Хорольская яма», расположенный на Украине в городе Хороле Полтавской области. Здесь не сжигали в печах, здесь просто бросили людей в карьер при бывшем кирпичном заводе. И в этой яме — без крова над головой, в нечеловеческих условиях — люди умирали от голода, холода, болезней, издевательств фашистов. Здесь будущий художник увидел и пережил многое: героизм и предательство, зверства и высшую доброту, волю к жизни и смерть, смерть… Она ходила рядом, она забирала товарищей. Тяжкий плен, страдания не только физические, но, что ещё страшнее, муки духовные от чувства неизвестности, бессилия, вины всё же не сломили силы духа, не погасили надежды на возвращение в жизнь.

В 1943 году Евгению Кобытеву удалось бежать из плена, снова встать в строй и пройти с автоматом от Украины до Германии, закончить войну в Дрездене. И не было врагам от него пощады после всего увиденного и пережитого. Творческая натура Кобытева проявилась и на фронте. Им был создан фронтовой кукольный театр политической сатиры, в котором сам Евгений Степанович был и сценаристом, и постановщиком, и художником, и актёром. Сейчас куклы, созданные Кобытевым, хранятся в Музее театральных кукол в Москве.

Евгением Кобытевым написана документальная автобиографическая книга «Хорольская яма», которую он посвятил стойкости и мужеству своих товарищей, павших в лагере смерти.

Как художник, он создал уникальную графическую серию под общим названием «До последнего дыхания» и «Люди, будьте бдительны». В этих рисунках запечатлены преступления фашистов и одновременно показан подвиг советского солдата, дух непобеждённого народа, который в лагере смерти думал о возмездии и грядущей Победе.

Ковалёв Владимир Алексеевич
(1935—1999)



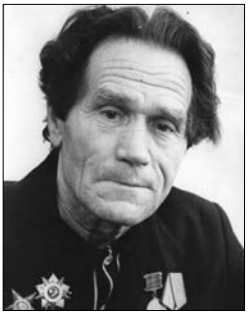
Родился 28 июля 1935 года в городе Шахты Ростовской области.

После окончания в 1958 году геологического факультета Ростовского университета приехал в Красноярский край, жил в Минусинске. За годы работы на юге края с экспедицией исходил и изъездил Туву и Хакасию, Восточный Саян — по рекам Кизир и Казыр, Западный Саян — от Амыла до Енисея, Кузнецкий Алатау.

Владимир Ковалёв стихи начал писать в студенческие годы, печатался в центральных, краевых, областных молодёжных газетах Ростова, Красноярска, в альманахе «Енисей». Был победителем Всесоюзного телевизионного фестиваля молодой поэзии (1966), посвящённого XV съезду ВЛКСМ. Печатался в коллективных сборниках «Земная орбита» и «День поэзии». Первая книга стихов вышла в 1972 году под названием «Апрель».

Более двадцати лет Владимир Ковалёв отдал Минусинскому музею имени Н.М. Мартьянова. Будучи его директором, все силы, знания, опыт и поэтический дар он отдал музейному делу, написал несколько публицистических книг о Минусинске, Минусинском музее, о Н.М. Мартьянове.

Коваленко Пётр Павлович
(1923—2013)



Родился 12 июля 1923 года в селе Ключи Ужурского района Красноярского края в крестьянской семье.

На фронт ушёл в 1941 году, сражался на передовой, был четырежды ранен. Командовал полковой разведкой, дослужил до конца войны, дойдя до польско-германской границы, награждён орденами и медалями.

Писать и публиковать стихи начал ещё в школьные годы, потом печатался в армейских и фронтовых газетах, позднее — в краевой и центральной прессе: в журналах «День и ночь», «Енисей», в различных коллективных сборниках. Долгое время проработал в газете «Красноярский рабочий». Ветеран добился признания у читателей и критиков. Виктор Астафьев считал Петра Кова-

ленко одним из лучших российских поэтов, писавших о войне, а также отмечал его вклад в развитие литературы Красноярского края и России.

В 2009 году поэт перебрался в Красноярск. В 2010 году выпустил сборник своих избранных стихов «Паруса любви». Стихи Петра Коваленко выведены на тендерах мемориальных паровозов, установленных возле железнодорожного вокзала в Красноярске и на станции Ужур. Главными темами его творчества стали Великая Отечественная война и родное Причулымье. Издано более 20 книг.

Писатель Александр Астраханцев вспоминал о нём: «Для меня Пётр Павлович всегда был образцом стойкости русского солдата, который в огне не горит и в воде не тонет, причём — в прямом смысле: год его рождения был самым „убойным" в той войне, и то, что Пётр Павлович выжил в той мясорубке, не „отсиживаясь" в окопах на передовой линии, частенько ходя и в разведку, и в атаки, и будучи четырежды раненным (причём последнее ранение — тяжелейшее, в результате которого было удалено более половины искромсанного кишечника), — иначе как чудом не назовёшь. Вернувшись домой, он почти всю жизнь прожил на станции Крутояр Ужурского района и, несмотря на инвалидность, страдая от ран, сорок семь лет проработал на Красноярской железной дороге. Ветеран труда, имеет трудовые награды».

Почётный гражданин Ужурского района Красноярского края, член Союза писателей России. В настоящее время литературное объединение «Ужурские зори» носит имя легендарного земляка, ему на родине установлен мемориальный памятник. В школе № 1 имени Героя Советского Союза А.К. Харченко ежегодно отмечается день рождения Петра Коваленко и проходит литературный конкурс его имени.

Крутовская Лидия Симоновна
(1861—1953)



Урождённая Гоштовт, происходила из семьи поляка, участника Польского восстания 1836 года, Симона Карловича Гоштовта. Жена врача, публициста, общественного деятеля Владимира Михайловича Крутовского.

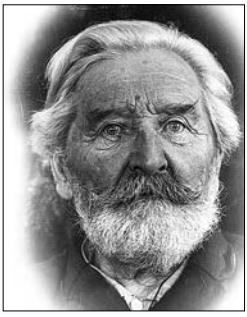
Окончила Красноярскую женскую гимназию и Высшие женские курсы Лесгафта в 1884 году, обвенчалась с Владимиром Михайловичем в Петербурге.

Преподавала в вечерней школе и работала в библиотеке-читальне и книжном складе Общества попечения о начальном образовании. В 1889 году преподавала в фельдшерской школе ботанику, состояла членом-соревнователем Общества врачей Енисейской губернии (1892). Принимала участие в создании Подвижного педагогического музея (1898). В 1896 году состояла членом Общества вспомоществования учащимся в Енисейской губернии.

Общественница и педагог, Лидия Симоновна помогала мужу во всех его делах. В 1916—1919 годах — личный секретарь Владимира Михайловича. Самостоятельно вела переписку с деятелями революционного движения — Г.Н. Потаниным, Н.М. Ядринцевым, была знакома с В.Г. Короленко, писателями

и общественными деятелями России, помогала ссыльным, содержавшимся в Красноярской тюрьме.

Крутовский Владимир Михайлович
(1856—1938)



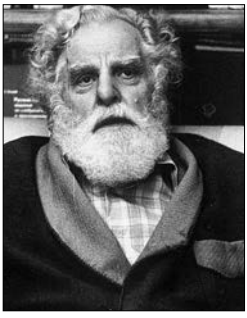
Родился 25 января (н. ст.) 1856 года на золотом прииске «Успенский» Енисейского уезда Енисейской губернии. Врач, публицист, общественный деятель Сибири.

Окончил Медико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге в 1881 году. Был помощником врачебного инспектора, врачом женской гимназии, членом врачебной управы, младшим врачом Красноярской больницы Приказа общественного призрения, членом санитарной комиссии (1890). Начал службу сельским врачом, стал известен как офтальмолог далеко за пределами Сибири. При его участии были созданы многие медицинские учреждения в крае, в том числе фельдшерская школа (1889), Общество врачей Енисейской губернии, открыт музей и городская библиотека. Редактор-издатель газеты «Сибирские врачебные ведомости» (1903—1907), журнала «Сибирские записки» (1916—1919).

Арестован как враг народа в 1938 году, умер в Красноярской тюрьме, похоронен в общей могиле на Николаевском кладбище.

В данном сборнике напечатаны лучшие произведения сибиряков, которые впервые представил В.М. Крутовский в журнале «Сибирские записки».

Кузнецов Иван Маркелович
(1905—1988)



Родился 8 апреля (н. ст.) 1905 года на хуторе Столари Самарской губернии в большой семье крестьян-староверов Маркела Карповича и Секлетиньи Акимовны. Когда мальчику исполнилось два года, родители вместе со всеми детьми «самоходом» отправились в Сибирь, где остановились в Минусинске.

Возможно, именно здесь у будущего библиофила зародился интерес к декабристам. Увлечение чтением, книгами проявилось рано, чему способствовали, по воспоминаниям самого Ивана Кузнецова, друзья-книголюбы и учитель словесности Н.А. Косованов. Своих книг в доме почти не было, их приносил Ивану старший брат Архип — служащий Сибирского торгового банка. Для мальчика была выделена в доме отдельная книжная полка.

В 1923 году в возрасте 18 лет Иван Кузнецов отправляется в Томск, где поступает на рабфак университета, чтобы потом продолжить обучение на медицинском факультете. В этот период он становится завсегдатаем книжных и букинистических магазинов, городских библиотек. На стипендию и родительские небольшие деньги покупает книги. Таким образом к 1930 году в его библиотеке

насчитывается уже около четырёх тысяч томов: почти вся русская поэзия, книги о Сибири и декабристах, по литературоведению и истории.

Иван Кузнецов пробует свои силы в писательстве, но разочаровывается в своих способностях. Летом 1929 года поступает на заочные трёхгодичные курсы цикла теории литературных форм Государственной академии художественных наук. В начале 1930-х годов окончательно понимает, что его призвание — книги, и начинает изучать «методику собирательства», подчиняя формирование своей библиотеки жёсткому принципу целесообразности. В это время Иван Маркелович занимает должность заведующего городской дезостанцией.

В 1936 году назначается госсанинспектором по местам лишения свободы.

Во время Великой Отечественной войны на фронт его не призвали по состоянию здоровья. В феврале 1942 года был мобилизован для прохождения воинской службы, до августа 1943 года заведовал краевой поликлиникой, иногда сопровождал эшелоны с новобранцами. С сентября 1943-го по май 1944 года служил старшим помощником начальника 3-го сануправления Орловского военного округа, затем — врачом 46-го мостостроительного батальона 80-го военно-дорожного отряда (до марта 1946 года). Только в 1947 году капитану Кузнецову удаётся вернуться домой.

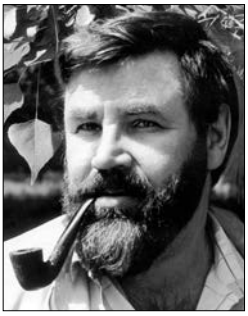
Пятого марта 1950 года Иван Кузнецов был арестован по доносу сослуживца, но, вопреки уготовленным 10 годам лишения свободы, уже в 1953 году выходит на свободу. К этому моменту часть его собрания была утеряна в силу жизненных обстоятельств, поэтому он начинает создавать новую библиотеку.

В 1964 году стал одним из организаторов и руководителей районного клуба книголюбов при книжном магазине «Молодая гвардия». В 1979 году возглавил городской клуб «Библиофил». Большое количество книг было подарено Иваном Маркеловичем будущему красноярскому музею декабристов, библиотекам Томского и Красноярского государственных университетов.

В начале 1980-х годов библиотека врача Кузнецова считается одной из лучших в Сибири. В 1982 году он становится одним из победителей Всероссийского конкурса личных библиотек, а в 1983-м его библиотека получает звание народной. Он принимал участие в работе съезда книголюбов в Москве, представлял библиофилов Красноярского края на Фёдоровских чтениях.

Один из интереснейших разделов его библиотеки — многочисленные издания с автографами писателей и учёных. После смерти Ивана Маркеловича большая часть его книжного собрания была передана в Литературный музей имени В. П. Астафьева, где был сформирован фонд И. М. Кузнецова.

Кузнечихин Сергей Данилович
(р. 1946)



Родился 14 июля 1946 года года в рабочем посёлке Космынино Костромской области.

Окончил Калининский политехнический институт, распределился в город Свирск Иркутской области. Потом перебрался в Красноярск. Более двадцати лет работал в пусконаладочном управлении — постоянные и долгие командировки от Урала до Чукотки.

Автор более десяти сборников стихов и прозы: «Аварийная ситуация», «Омулёвая бочка», «Где наша не пропадала» и др. Печатался в «Литературной газете», журналах «Енисей», «Дальний Восток», «Литературная учёба», «День поэзии», «Сибирские огни», «День и ночь», «Огни Кузбасса», «Арион», «Дети Ра», «Наш современник», «Мера», «Аргамак», «Бельские просторы», «Паровозъ», «Киевская Русь» (Украина), «Радуга» (Украина), «Южное сияние» (Украина), «Побережье» (США), «Образы жизни» (США), «Эдита» (Германия), «Зарубежные задворки» (Германия) и др. Составитель сборников А. Барковой, А. Тинякова, Н. Рябеченкова, А. Кутилова. Принимал активное участие в выпуске книжной серии «Поэты свинцового века». Составил антологию интимной лирики «Свойства страсти». Член Союза писателей России, член редколлегии журнала «День и ночь». Живёт в Красноярске.

На вопрос журналиста: «Реализовал ли себя в творчестве, в литературе?» — ответил: «Что касаемо „жизни в литературе“ — да не было её. Сначала долго не печатали, а потом людям стало не до литературы. Наше поколение разминулось с читателем. У шестидесятников, например, были мы. А те, кто, может быть, хотели читать нас, устали ждать и решили, что нас не существует. Вспышки интереса к тому или иному моему ровеснику были эпизодическими и кратковременными. Так уж получилось. Можно свалить на российский климат, с погодой нам не повезло, но и сами виноваты. Я написал намного меньше, чем мог, и остался непрочитанным. Прочтут ли? Сомневаюсь».

Курицын Валентин Владимирович
(1879—1911)

Родился 28 июня (н. ст.) 1879 года в Барнауле в православной мещанской семье.

Получил образование в Барнаульском горном училище. После его окончания около трёх лет работал на частных золотых приисках, но затем по состоянию здоровья перебрался в Томск, где был зачислен временным конторщиком стола заказов материальной службы Управления Сибирской железной дороги. Имея несомненный талант литератора и нуждаясь в средствах, начал подрабатывать литературным трудом.

В период Первой русской революции 1905 года писал острые, политически-отточенные фельетоны для сатирических журналов под псевдонимами Дон Ва-

лентино, В.К. Кур., Валентин К-цын, публиковался в журнале «Сибирский наблюдатель».

В 1907 году в томской газете «Сибирские отголоски» началась публикация его авантюрного романа «Томские трущобы», продолжением которого стал «Человек в маске», уже через год изданные отдельными книгами. Материал для книг Валентин Курицын черпал из уголовной хроники, рассказов торговых людей и ямщицких побасенок, дополняя собственными наблюдениями за бытом и нравами горожан. Подражая Всеволоду Крестовскому, автору «Петербургских трущоб», Курицын подписывался псевдонимом Не-Крестовский.

Сейчас эти издания стали абсолютной библиографической редкостью. В советское время, когда книг о прошлом Томска практически не издавалось, эти романы перепечатывались на пишущих машинках, под копирку, и ходили по всему городу, из рук в руки, как добротное криминальное чтиво и одновременно интересный краеведческий источник.

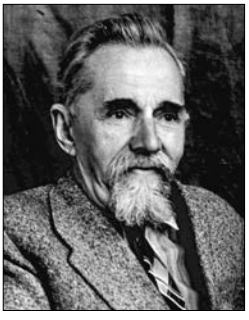
В 1991 году предприимчивые издатели переиздали романы, есть тексты «Томских трущоб» и в Интернете. Интересен по-прежнему текст произведений, они почти не тронуты временем и говорят о подлинности таланта его автора.

Но великолепный дар поэта Валентина Курицына не оценен потомками до сих пор. Нам известны пока лишь несколько его стихотворений, которые заметно выделяются на фоне творений его современников — поэтов-сибиряков. Его стихи — это и глубокое чувство, и особая поэтическая форма, и серьёзная мысль.

Цит. по: Трушкин В.П. Пути и судьбы: литературная жизнь Сибири 1900—1917 гг. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1972.

Леонов Николай Иванович

(1894—1971)



Уроженец Минусинского уезда, внук Г.П. Сафьянова, крупнейшего купца-скотовода и мецената Минусинского округа и Урянхайского края.

Окончил историко-филологический факультет Московского университета. Большую часть жизни прожил в Средней Азии, в Фергане. В 1934 году открыл там кафедру географии педагогического института и возглавлял её более тридцати лет.

В архиве Николая Леонова осталось более трёх тысяч стихотворений. Кроме сборника «Стихотворения» (1915) свет увидели книги «Стихи о Севере» (1928), «Клятва на Воробьёвых горах» (1929), сборник рассказов «Голубые потёмки» (1926). Стихи опубликованы в журналах «Дружба народов», «Литературный Казахстан» и др.

В 1920-х годах Николай Иванович возглавлял журнал «Северная Азия», в котором впервые открывались читателю культура и история древней Азии.

Более подробно об авторе — в биографическом очерке Татьяны Евгеньевны Верещагиной «Николай Леонов — учёный, поэт, писатель». Татьяна Евгеньевна — музейный работник, директор краеведческого музея города Турана, его почёт-

ный гражданин, заслуженный работник культуры Республики Тыва, является потомком Сафьяновых, выдающихся основателей и подвижников Музея имени Н.М. Мартьянова. Впервые имя Николая Леонова и роль его в культуре нашего региона вывела из забвения именно она.

Лисовский Казимир Леонидович
(1919—1980)



Родился 29 ноября 1919 года в селе Ободовка Винницкой области.

В 1930 году семья переехала в Сибирь: сначала в Иркутск, потом в 1933 году — в Красноярск и позже — в 60-х годах — в Новосибирск.

Юность и вся профессиональная деятельность Казимира Лисовского неотделима от Сибири.

Казимир Лисовский — поэт-журналист. Его стихи в большинстве своём — это репортажи и зарисовки разных мест Сибири, которую он знал очень хорошо. По его стихам можно составить карту дальних маршрутов от Саян до Ледовитого океана. И дальше — на восток, захватывая Ангару, Байкал и ещё множество малых рек и взгорий. У поэта есть стихи, посвящённые деревьям и цветам Сибири, её рекам и таёжным тропам. Он постоянно утверждал, что молва о неприветливых сибирских местах — молва ложная, рождённая незнанием этих мест. Сам он видел в них красоту и нежность, а главное — могучие силы богатой и прекрасной земли.

Его стихотворные репортажи напоминают о времени энтузиазма, с каким люди 1950—1970-х годов прошлого века открывали для себя этот край. Об этих людях, преобразовывавших Сибирь своим трудом, он пишет как о лучших людях всей страны. Особую страницу в его творчестве могут составить стихи, посвящённые народам Севера. Их гостеприимство и их тепло — лучшая защита от стужи. Герои Казимира Лисовского — мужественные люди, первопроходцы, строители и вечные романтики трудных дорог.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1969 года за заслуги в развитии советской литературы и в связи с пятидесятилетием со дня рождения Казимир Лисовский награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В данный сборник включён небольшой биографический очерк о поэте-романтике Казимире Лисовском, которому в 2019 году исполнилось 100 лет, полюбившем и воспевшем наш край как самый романтичный и необъятный.

Лыткин Фёдор Матвеевич
(1897—1918)



Родился 14 августа (н. ст.) 1897 года в селе Никольском Тулунской волости Иркутской губернии.

В 1917 году стал большевиком, народным комиссаром ЦентроСибири. Весной 1918 года погиб. Двадцать один год — ничтожно мало. Поэтому с благоговейным удивлением склоняешься перед памятью поэта и бойца, жизнь которого как пружина, сжатая до предела.

Первые стихи Фёдора Лыткина были напечатаны, когда ему было тринадцать лет, в сборнике «Таёжный подснежник», выпущенном иркутскими гимназистами. Потом были рукописный журнал «Наша работа», исключение из гимназии за свободомыслие и инородческое происхождение: отец был ссыльным курдом.

В 1917 году Фёдор Лыткин — студент Томского университета, будущий юрист, активист революционных событий в Томске, редактор газет, комиссар ЦентроСибири, делегат Всесибирского съезда Советов в Иркутске в январе 1918 года, участвует в подавлении белочешского мятежа, но советская власть пала. Лыткин вместе с центросибирцами уходит в якутскую тайгу, рассчитывая пробиться в Советскую Россию. В ноябре 1918 года бойцы Красной армии были зверски расстреляны белогвардейцами на берегу реки Олёкмы. Так много вместилось событий в короткую жизнь! Его стихи пронизаны революционным пафосом, в них звучит призыв к борьбе, вера в обновление мира.

В поэзии Лыткина встречается сибирская тематика: это обращение к славному историческому прошлому Сибири, которое связано с завоеваниями Ермака, образы рек Ангары и Енисея, соединившихся вопреки воле «грозного Байкала». Большинство стихов опубликовано в крошечном сборнике «Призыв», изданном в Иркутске в 1969 году.

В данный сборник мы включили два стихотворения поэта: «Манифест 14 марта 1917 года» и «Мой завет», в которых воедино сливается героика и романтика революции, звучит завещание — не грустить по поводу безвременной гибели героя. Биография и творчество Фёдора Лыткина стали легендой.

Маслов Георгий Владимирович
(1895—1920)



Родился 22 мая (н. ст.) 1895 года в Моршанске Тамбовской губернии в семье офицера.

Был студентом историко-филологического факультета Петербургского университета, увлекался творчеством А.С. Пушкина, занимался исследованием его стихов. Студента Маслова планировали оставить при кафедре русской литературы, но эти планы были разрушены той неспокойной революционной эпохой, в которую выпало жить поэту.

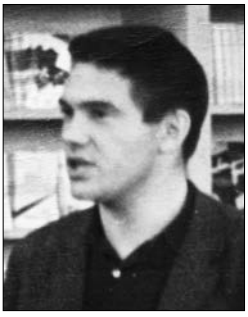
Георгий Маслов участвовал в Гражданской войне на стороне белогвардейских сил, служил рядовым в армии адмирала Колчака. И именно с этой армией он попал в Сибирь. Он прожил совсем небольшую жизнь: умер в возрасте 24 лет на больничной койке в Красноярске, заболев тифом.

Два основных мотива переплетаются в творчестве Маслова: мотив любви, беззаботной молодости, радости и счастья бытия («Сердце — горячая, алая рана…», «Нет. Жизни раннего конца…») и мотив страдания, усталости от войны, предощущения смерти («Пора стряхнуть с души усталой…», «Плен»).

Совершенно необычным представляется стихотворение «Путь во мраке». Здесь показана эпоха слома, эпоха Гражданской войны глазами человека, у которого было счастье, была молодость, были планы и надежды, а теперь ничего не осталось, всё разрушила и забрала революция. И лирический герой понимает, что у него путь один — путь страдания. В данном сборнике указано место и время написания этого стихотворения: «Дорога Омск — Красноярск. Январь — февраль 1920 г.». Стихи писались во время отступления армии Колчака из Омска на восток, писались на ходу, на площадках, в темноте теплушек, за месяц до смерти.

По форме это стихотворение напоминает нам поэму Александра Блока «Двенадцать»: то же двенадцатичастное построение, тот же сбой ритма и музыки, неравнозначность частей, мозаичная композиция, «ломаный» язык, нестандартная рифмовка. И, наверное, то же желание автора понять и осмыслить, что же произошло с Россией.

Назаров Вячеслав Алексеевич
(1935—1977)



Родился 22 сентября 1935 года в Орле.

Приехал в Красноярск в 1957 году по окончании журналистского факультета МГУ. Был в числе создателей Красноярской телестудии, снимал документальные фильмы, знал масштабы сибирских строек, бывал в самых отдалённых местах нашего края. Но прежде всего Вячеслав Назаров был поэтом, и не только потому, что писал стихи. Он был поэтом по самому мирочувствованию, по складу души, по её способности отзываться на звуки и краски бесконечного мира.

Главный мотив его поэзии — мотив преодоления. Человек не может быть побеждён, его дух созидается именно на трудных дорогах и крепнет в преодолении новых и новых рубежей. Путь этот бесконечен. У Вячеслава Назарова он уходит за пределы земли, в космос. Из этого рождаются сюжеты его фантастических повестей — «Вечные паруса», «Бремя равных», «Зелёные двери Земли». Всего четыре небольших поэтических сборника было издано при его жизни: «Сирень под солнцем», «Соната», «Формула радости» и «Световод». Ему, так остро чувствовавшему безмерность времён и пространств, было дано прожить недолгую жизнь. След её неизгладимо запечатлён в творчестве поэта. За четыре сборника стихотворений Вячеславу Назарову присвоено звание лауреата премии Красноярского комсомола (1968).

Кроме нескольких стихотворений в данный сборник мы включили отрывок из документальной повести «Добрая воля Сибири», которая была написана по заказу, и перед автором стояла задача приблизить героев этой повести к современникам. Сам Вячеслав Алексеевич узнал войну, как он выразился, спрятавшись вместе с мамой в бесхозном деревянном окопчике сожжённой немцами деревни Желябуги Орловской области. И эти впечатления остались навсегда в его памяти. Работая над повестью, хотел освободить своих героев от документальности, дать им полную свободу действий. Здесь включилась фантазия автора, но жизнь оказалась фантастичнее самой буйной фантазии. Оказалось, что рождение 19-й гвардейской Сибирской стрелковой дивизии совпало со вступлением в бой на стороне врага Добровольческой армии генерала Власова. Власовцы олицетворяют предательство Родины, они в бою на Гнездиловских высотах (один из эпизодов Курской битвы), на высоте 233/3 столкнулись с моральным превосходством советского солдата, героизмом и самопожертвованием во имя будущего страны, что само по себе стало прообразом грядущей Победы. Именно моральное превосходство советского воина, борьба извечных сил — добра и зла — стали стержнем повести «Добрая воля Сибири».

Вячеслав Алексеевич в одном из своих интервью говорил о том, что ему удалось разбить «стекло времени», которое заслоняло от современников героев-матросовцев, и сделать их понятными и близкими. Подвиг Александра Матросова повторили сотни солдат и офицеров, в том числе поэт-воин Борис Богатков (орден Отечественной войны) и гвардеец-лейтенант Алексей Сосновский (Герой Советского Союза), наши земляки.

Немтушкин Алитет Николаевич
(1939—2006)



Родился 12 ноября 1939 года в стойбище Иришки Катангского района Иркутской области в семье охотника, воспитывался в школах-интернатах и бабушкой Огдо-Евдокией Ивановной Немтушкиной.

В 1957 году окончил Ербогачёнскую среднюю школу, в 1961 году — Ленинградский педагогический институт имени А.И. Герцена. После нескольких лет учёбы в Ленинграде и Красноярске Алитет Николаевич приезжает работать в Эвенкию корреспондентом газеты «Красноярский рабочий» по Эвенкийскому национальному округу.

В 1961 году стал редактором Эвенкийского радио. Страсть к писательству привела Немтушкина в редакцию газеты «Красноярский рабочий». Более чем на 20 лет журналистика стала его судьбой. Его первая книга — сборник стихов «Утро в тайге — Тымани агиду» вышла, когда Алитет Николаевич был ещё студентом, в 1960 году. С тех пор из-под пера Немтушкина вышло более 20 книг, которые были изданы в Красноярске, Ленинграде, Москве, Якутске. Стихи и проза Немтушкина переведены на десятки языков народов бывшего СССР и социалистических стран.

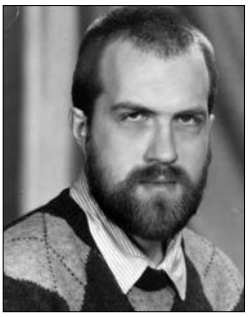
Самыми значительными и популярными его произведениями являются стихотворные сборники «Костры моих предков», «Дыхание земли», прозаические книги «Мне снятся небесные олени», «Следопыты на оленях», «Дорога в Нижний мир», «Самэлкил — Метки на оленьем ухе» и др.

В 1986 году Алитет Немтушкин избирался ответственным секретарём Красноярской писательской организации, в 1990 году был удостоен звания «Заслуженный работник культуры», в 1992 году отмечен Государственной премией Российской Федерации в области литературы. Член Союза писателей с 1969 года. В 2002 году был удостоен звания академика Петровской Академии наук и искусств (Санкт-Петербург).

Сами названия стихотворных сборников говорят о главной теме поэта: «Песни эвенка», «Сияние Севера», «Запахи тайги» и др. Алитет Немтушкин писал о своём народе и открывал читателю особый склад его жизни.

Нечаев Антон Николаевич

(р. 1970)



Родился 14 августа 1770 года в Красноярске, учился на биолого-географическом факультете в Красноярском педагогическом институте, в Литературном институте имени А.М. Горького. Работал сторожем, редактором в журнале «День и ночь», сотрудником краеведческого музея.

Лауреат премии Фонда Астафьева 1997 года в номинации «Поэзия», премии Международного журнала «Дети Ра» за цикл стихотворений «Черты в темноте». Автор книг стихов «Таинственный соглядатай» (1997), «Осень в Зиме» (1998), «Заявление Мастеру» (2004), «ПомоГимн» (2008), «Вест-Консалтинг» (2008), романа «Сибирский редактор».

С 2006 года — главный эксперт Фонда имени В.П. Астафьева, с 2013-го — главный редактор литературного журнала «Процесс». Дебютная публикация — в журнале «Юность» (1991, № 7); печатался в журналах «Смена», «Сибирские огни», «Вестник Европы», «День и ночь», «Байкал», «Дети Ра», «Ликбез», «Стороны света», «Флорида», «Воздух», газетах «Трибуна» и «Литературная Россия», в периодических изданиях Израиля, США, Польши, Румынии. Участник X Международного фестиваля поэзии на Байкале — 2010. Член Союза российских писателей (1998), Русского ПЕН-клуба (2004). Ведущий литературного блога на портале «Лаборатория новостей».

Живёт в Израиле.

Пантелеев Иван Иванович

(1924—1994)

Родился 8 июня 1924 года в деревне Мельничной Ирбейского района Енисейской губернии.

Писатель всегда глубоко чтил свою малую родину. Тёплые детские воспоминания были связаны с реками Кан и Агул, с чудной красоты озером Агул, которое

находилось в Саянах. Поэтому большинство сюжетов его произведений связано с Агулом — рекой и озером. Сколько поэтической прелести в пейзажных авторских зарисовках! Сколько откровенного любования родной рекой!

Главные герои Иван Пантелеева — подростки, уроженцы ирбейской земли; они любознательны и активны, по-детски бесхитростны и чисты душой («Экспедиция на Кияшку», «Стёпка», «Лебедёнок»). Ребята неустанно исследуют девственные уголки родного края, они готовы к новым и новым открытиям. Для писателя важно, чтобы в развитии сюжета, в кульминации действия поступки героев были психологически убедительны. Рядом с ними есть взрослые — рыбаки, таёжники. Их образы интересны писателю, так как это его земляки, те, среди кого он сам вырос. Мужеством, спокойствием и надёжностью веет от этих людей.

Однако писатель не идеализирует образы сибиряков, поэтому и возникают психологически убедительные типы бездельников, хапуг и выпивох. Автор избегает однозначных оценок, его палитра не двуцветна — чёрное и белое. Тональность повестей и рассказов — задушевная и искренняя, порой трепетная и лиричная. Это живой голос писателя, искренне любящего Сибирь. В данный сборник помещена автобиография Ивана Пантелеева «Как я стал писателем».

Петров Пётр Поликарпович
(1892—1941)



Родился 25 января (н. ст.) 1892 года в селе Перовском Канского уезда Енисейской губернии в семье крестьянина. Окончил сельскую двухклассную школу и сельскохозяйственную школу в селе Рыбинском.

В 1915 году Петра Петрова взяли на военную службу, служил до 1917 года в Канске сначала рядовым бойцом, потом младшим писарем полковой канцелярии. В марте 1917 года грамотного и начитанного солдата избрали членом Канского уездного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, а 14 октября того же года его избирают делегатом на Первый Всесибирский съезд Советов, затем он принимает участие во II Всесибирском съезде Советов в Иркутске. Дважды избирался в Центральный исполнительный комитет Советов Сибири — ЦентроСибирь.

В мае 1918 года по поручению ЦентроСибири едет в Красноярск с целью организации отрядов Красной армии. В декабре 1918 года село Перовское восстало, Петрова избирают начальником штаба, к ним присоединился Манский отряд под командованием А.Д. Кравченко. Весной 1919 года образовалась Степно-Баджейская партизанская республика. Партизаны контролировали обширную территорию, где вводили местные законы и общественное самоуправление. В сентябре 1919 года образовалась Минусинская Советская республика, стала издаваться газета «Соха и молот», редактором которой был Пётр Петров.

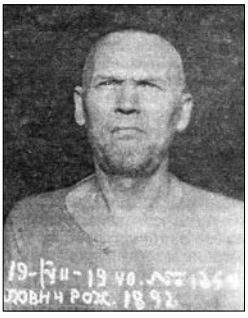
В 1919 году Петровы переезжают в Иркутск. В 1934 году Пётр Поликарпович участвует в работе I съезда писателей СССР, где происходит его знакомство с А.М. Горьким. Они переписывались ранее, но встретились лишь в 1934 году.

О дальнейшей судьбе поэта-самородка рассказывают документы архива УВД г. Иркутска. Следственное дело по обвинению Петра Петрова в контрреволюционной деятельности — статья 58.11 — от 9 апреля 1937 года. Особое совещание от 17 апреля 1940 года постановило: «П.П. Петрова за участие в антисоветских организациях правых заключить в исправительно-трудовые лагеря на 8 лет, считая с 9 апреля 1937 г.». Его увозят в Магадан, на прииск имени Водопьянова, где он работает забойщиком на руднике. Перед самой отправкой в ГУЛАГ Пётр Поликарпович получил короткое свидание с женой. Тогда и передал ей стихи, написанные на обрывках простыни.

Его дочь, Светлана Петровна Петрова, живущая в Новосибирске, передала в фонды Литературного музея имени В. П. Астафьева уникальные подлинные фотографии, письма на обрывках ткани из тюрьмы, книги, журналы. Все эти документы сохранила жена писателя Александра Антоновна Липинская, выросшая в образованной семье в Минусинске. Её сестра Ксения Липинская написала книгу «Далеко в заснеженной Сибири: рассказ коммунистки» о Гражданской войне на юге Красноярского края.

Поэма Петра Петрова «Недопахал я начатого поля» написана им в тюрьме и увидела свет только благодаря долгу верности русской женщины, его жены, и сейчас это неоконченное произведение открывает читателю душу русского солдата, участника Первой мировой войны.

Плотников Михаил Павлович
(1892—1953)



Уроженец деревни Каменки Новосибирской области.

С 1914 года Михаил Плотников печатался в сибирских газетах и журналах, в сборнике «Жертвам войны» (1915), в журнале «Русское богатство», «Камско-Волжской газете», «Восточном обозрении». Редактор красноярской земской газеты «Новое земское дело», сотрудничал в «Сибирских записках» в 1916—1919 годах. В 1916 году журнал «Сибирские записки» публикует ряд рассказов, стихи и поэму Михаила Плотникова «Янгал-Маа». В 1920—1930 годах выступал в «Сибирских огнях». В 1922—1925 годах работал в Чите, в 1930-х — на Дальнем Востоке. Автор книг «Оленеводство» и романа «Беловодье» (не опубликован).

Привлекался по доносу в создании контрреволюционной организации, был осуждён. Выйдя из лагеря, работал заведующим сектором традиционных промыслов Красноярского края и печатался в местной прессе.

В Красноярске Михаил Плотников познакомился с художником и кубо-футуристом Давидом Бурлюком, который совершил в 1918—1919 годах Большое сибирское турне по городам Сибири, выступал в Красноярске в августе 1918 года. В Литературном музее имени В.П. Астафьева выставлены работы Бурлюка — «Голова мальчика» и этюд «Четыре времени года» (хранились у М.П. Плотникова и его потомков).

Полевой Борис Николаевич
(1908—1981)



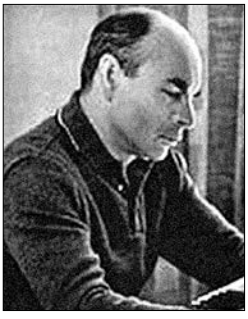
Родился 4 марта (н. ст.) 1908 года в Москве. Советский писатель. Наиболее известные произведения: «Повесть о настоящем человеке» (1946), в которой описан знаменитый подвиг лётчика А.П. Маресьева; сборник рассказов «Мы — советские люди» (1948), романы «Золото» (1949/1950) и «Доктор Вера» (1966). Лауреат Государственной премии СССР (1947, 1949), Герой Социалистического Труда (1974). С начала Великой Отечественной войны — военный корреспондент «Правды».

События войны отражены в его очерках, печатавшихся в газете и объединённых в книгу «От Белгорода до Карпат» (1945). В произведениях о войне проявилась характерная черта творческой манеры писателя — стремление к документальности.

После Великой Отечественной войны Борис Полевой побывал во многих странах, об этом рассказывают его книги-репортажи «Американские дневники» (1956), «За тридевять земель» (1956) и др. В романах «Глубокий тыл» (1958) и «На диком бреге…» (1962) писатель показал сильные, героические характеры русских людей, их повседневную кипучую жизнь. В романе «Доктор Вера» (1966) запечатлено несгибаемое мужество русских людей на территории, оккупированной немецкими фашистами.

Многие годы Борис Полевой был главным редактором журнала «Юность». В период строительства Красноярской ГЭС неоднократно приезжал в Красноярск, участвовал во всесоюзных литературных праздниках «Енисейские встречи», которые проходили в нашем крае в 1960—1980-х годах, поддерживал молодых авторов. По материалам этих поездок издана книга «Саянские записки: из дневников 1963 года».

Поповский Марк Александрович
(1922—2004)



Родился 8 июля 1922 года в Одессе. Писатель, журналист, правозащитник, диссидент.

В советский период — в 1950-х годах — был журналистом, собирал материалы о выдающихся личностях, писал об академике Н.И. Вавилове. Однажды он был поражён, увидев фотографию учёного в рясе. Так начиналась книга, ставшая главной в судьбе Марка Поповского. Она открыла читателю необыкновенную судьбу святителя-хирурга Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого. Работа над книгой привела автора к вере.

Труд Поповского увидел свет в 1979 году во Франции; затем, в 1990 году, фрагменты произведения были опубликованы в России, в журнале «Октябрь»; позднее книга была издана в Америке. Она несёт на себе отпечаток своего времени,

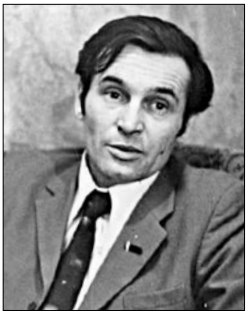
отпечаток личности автора. Святитель Лука — внутрицерковный, глубокоцерковный человек, и потому все беды, все немощи церкви — это его беды и немощи, которые исцелить можно только смирением и любовью.

В книге встречались неточности, которые сейчас исправлены. Внук святителя Луки, В.А. Лисичкин, изучил и опубликовал документы из архивов КГБ, и мы знаем теперь, что против святителя Луки было заведено не три уголовных дела, а шесть. Многое уточняется, дополняется…

Глава из романа Марка Поповского «Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. Схема и схима» (1924—1925) была первой. С неё начинается собирание материалов об архиепископе Луке, ныне канонизированном Русской Православной Церковью.

Пчёлкин Анатолий Александрович

(1939—2002)



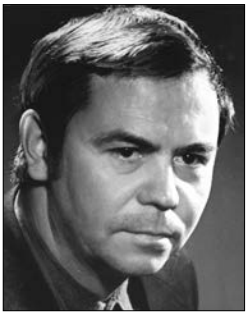
Родился 21 сентября 1939 года на станции Рутченково Донецкой области. После окончания десяти классов работал слесарем. В 1958 году был призван в армию. Служил в Угольных копях на Чукотке. С тех пор не порывал с Крайним Севером.

Первое стихотворение опубликовано в 1960 году в газете «Советская Чукотка». Первый поэтический сборник «Берег» вышел в 1965 году в Магадане. За экспериментаторство в стихах был подвергнут серьёзной партийной критике. В 1974 году окончил заочное отделение Литературного института имени А.М. Горького. Был участником Всесоюзного совещания молодых писателей. Поэтические сборники «Душа болит», «Тринадцать месяцев», «Мёрзлый ветер», «Глубина вздоха» принесли широкую известность поэту среди северян. В 1984 году был избран ответственным секретарём Магаданской писательской организации.

В 1967 году Анатолий Александрович решился на авантюру — поступил рабочим в старательскую артель «Спутник» прииска Бурхала. Впечатления о жизни старателей нашли отражение в цикле стихов «Конец сезона». Несколько публикаций поэта было предпринято в альманахе «Енисей» в 1987—1990-х годах, в том числе и стихи из вышеупомянутого цикла.

Наверное, Анатолий Пчёлкин очень любил эти стихи, ибо представлены они и в сборнике, который поэт готовил, но увидеть уже не успел. Сборник «Ветер века» был издан в Магадане в 2004 году к 65-летию поэта.

Распутин Валентин Григорьевич
(1937—2014)



Родился 15 марта 1937 года в селе Усть-Уда Восточно-Сибирской (ныне Иркутская) области в крестьянской семье. Окончив местную начальную школу в Аталанке, вынужден был один уехать за пятьдесят километров от дома, где находилась средняя школа, об этом периоде впоследствии будет создан знаменитый рассказ «Уроки французского», а затем поставлен одноимённый фильм (1973).

После школы поступил на историко-филологический факультет Иркутского государственного университета. В студенческие годы работал внештатным корреспондентом молодёжной газеты. Распутин часто бывал на строительстве Красноярской ГЭС и магистрали Абакан — Тайшет. Очерки и рассказы об увидённом позже вошли в его сборники «Костровые новых городов» и «Край возле самого неба». В 1965 году показал несколько новых рассказов приехавшему в Читу на совещание молодых писателей Сибири Владимиру Чивилихину, который стал «крёстным отцом» начинающего прозаика. Среди русских классиков своими учителями считал Ф.М. Достоевского и И.А. Бунина.

С 1966 года — профессиональный литератор, с 1967 года — член Союза писателей СССР. В 1967 году в Красноярске была издана книга «Человек с этого света». В том же году повесть «Деньги для Марии» была опубликована в иркутском альманахе «Ангара» (№ 4), а в 1968-м она вышла отдельной книгой в Москве в издательстве «Молодая гвардия». В 1979 году вошёл в редакционную коллегию книжной серии «Литературные памятники Сибири» Восточно-Сибирского книжного издательства. В 1980-х годах был членом редакционной коллегии «Роман-газеты». Жил и работал в Иркутске, Красноярске и Москве.

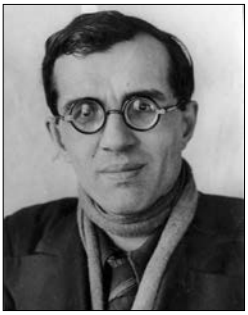
В полную силу талант писателя раскрылся в повести «Последний срок» (1970), заявив о его зрелости и самобытности. Затем последовали повести «Живи и помни» (1974) и «Прощание с Матёрой» (1976). Появление в 1985 году повести «Пожар», отличающейся остротой и современностью проблемы, вызвало большой интерес у читателя.

В последние годы писатель много времени и сил отдавал общественной и публицистической деятельности, не прерывая творчества. 14 марта 2015 года, за четыре часа до своего 78-летия, Валентин Григорьевич скончался во сне, а по иркутскому времени это было 15 марта, поэтому земляки считают, что он умер в свой день рождения. 16 марта 2015 года в Иркутской области был объявлен траур. 19 марта 2015 года писатель был похоронен в Знаменском монастыре Иркутска.

Литературный критик Владимир Бондаренко причислил Валентина Распутина к поколению «деревенщиков», которых он совершенно справедливо назвал «Серебряным веком простонародья». Писатель — один из наиболее значительных представителей «деревенской прозы». Герой Социалистического Труда (1987). Лауреат двух Государственных премий СССР (1977, 1987), Государственной

премии России (2012) и премии Правительства РФ (2010). Член Союза писателей СССР с 1967 года. В 1994 году выступил инициатором создания Всероссийского фестиваля «Дни русской духовности и культуры „Сияние России“» (Иркутск).

Рождественский Игнатий Дмитриевич
(1910—1969)

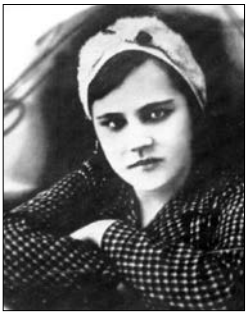


Родился 28 октября (н. ст.) 1910 года в Москве, но Сибирь стала его второй родиной, и он по-настоящему любил её. Любое время года, любая широта, любой уголок её просторов были близки ему как что-то личное и дорогое. Это была деятельная любовь: он не только воспевал Сибирь, но и был тружеником на этой земле.

Игнатий Рождественский начинал свой путь как школьный учитель. Он преподавал в разных местах края, в том числе в Игарке как раз в то время, когда там учился будущий писатель В.П. Астафьев. Позднее Виктор Петрович тепло вспомнит о нём.

В Игарке Игнатий Рождественский в 1936 году издал свою первую книгу — «Северное сияние». Одновременно с этим он работал корреспондентом разных газет, и это позволило ему изъездить Сибирь, как говорят, вдоль и поперёк. Особенно близок был ему Север. Мороз, метели, снега, и рядом с этим всегда тепло человеческого сердца. Открытая доброта и щедрость северян, наверное, потому и стали для него поэтической темой, что были родственны его собственной душе. Он пишет о природе, но она слита с чувствами и желаниями людей: иногда это прямое иносказание, иногда какие-то черты сходства — и всегда восхищённое слово о родной земле и её людях.

Рубцова Любовь Григорьевна
(1922—1966)



Родилась 4 октября 1922 года в деревне Дрокино Емельяновского района Красноярского края. В 1931 году Рубцовы из Дрокино перебираются в Красноярск, затем в Канск.

В 1935 году Люба учится в школе № 4, увлекается поэзией. В 1938 году в школе арестовали учителей литературы за то, что они знакомили учеников с творчеством поэтов С. Есенина и А. Блока, чьи стихи были запрещены для изучения в учебном заведении за «контрреволюционную деятельность». Люба, возмущённая арестом учителей, вместе с одноклассницей Аней Зининой и шестиклассником Николаем Уфаевым писала листовки и статьи в газету «Власть Советов» в их защиту.

В апреле 1938 года учащихся арестовали по доносу. Продержав ребят год, осудили как фашистскую организацию по ч. 1 ст. 58.10, ст. 58.11 УК. Рубцова была осуждена на 10 лет лагерей, отбыла в лагерях этот срок, затем на лесоповале

в Долгом Мосту, потом последовала ссылка в Богучаны. У неё, молодой ещё женщины, развивается туберкулёз, астма, болит сердце, работать в 40-градусные морозы было невыносимо. Она и её мать писали просьбы в разные инстанции о переводе поближе к Канску, к семье. 2 августа 1950 года больную Любовь Рубцову перевели в село Устьянск Абанского района. 29 октября 1955 года она была освобождена и реабилитирована.

Любовь Григорьевна жила в Канске с мамой. Замужем она никогда не была, и детей у неё не было. Чтобы выжить и помочь семье, она вышивала цветными нитками различные изделия на продажу. В 1963 году переезжает в Красноярск.

У Рубцовой в Красноярском книжном издательстве вышло три поэтических сборника: «Стихи» (1958), «Лирические стихи» (1960), «С песней в сердце» (1962). Время пребывания в лагерях и на аффинажном заводе трагически сказалось на состоянии здоровья, и 11 июля 1966 года Любовь Григорьевна умерла.

До сих пор творчество Любови Рубцовой вызывает неподдельный интерес подростков, которые пытаются осмыслить свою жизнь с теми испытаниями, которые выпали на долю юной девушки.

Рябеченков Николай Минаевич

(1941—1995)



Родился 29 ноября 1941 года в Смоленской области. Окончил Ростовской кинотехникум. По окончании техникума работал киномехаником, слесарем, электриком. В 1961 году, услышав о возведении мощнейшей в мире Красноярской гидроэлектростанции, приехал в Сибирь.

Работал на стройке Красноярской ГЭС и города Дивногорска, за что получил знак «Строитель Красноярской ГЭС» из рук начальника «Красноярскгэсстроя» А.Е. Бочкина. В 1966 году, когда строительство завершилось, остался жить в Дивногорске и Красноярске.

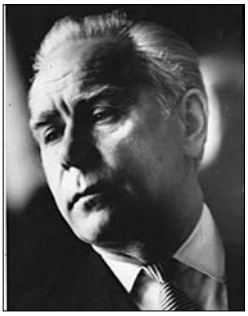
Николай Рябеченков сотрудничал со многими краевыми изданиями, печатался в коллективных сборниках Красноярска и Москвы, в «Литературной России», альманахе «Енисей», в антологии одного стихотворения «Час России».

«При жизни поэта была издана лишь одна его книжка „Скит“, хотя стихи Николая были широко известны красноярцам и дивногорцам, полюбились многим, — писал о Рябеченкове в 2001 году В.П. Астафьев. — Профессиональный поэт, окончивший Литературный институт имени А.М. Горького, журналист, сотрудничавший во многих краевых изданиях, член Союза писателей России — Николай Рябеченков сделал очень много для развития сибирской культуры. В качестве сотрудника газеты „Речник Енисея“ Н. Рябеченков не одну навигацию провёл в плавании вместе со своими друзьями-речниками, оставив нам в наследство множество стихов, проникнутых романтикой странствий…»

В 1994 году в газете «Вечерний Красноярск» была опубликована статья Николая Рябеченкова «Попытка исповеди». После этого он прожил ровно год. Поэт умер в июне 1995 года, не дождавшись выхода книги своих стихов. Книга в се-

рии «Поэты свинцового века» вышла семь лет спустя благодаря усилиям Романа Солнцева и Сергея Кузнечихина.

Ряузов Борис Яковлевич
(1919—1994)



Родился 1 июля 1919 года в селе Бирючья Коса Искрянинского района Астраханской области в семье потомственных рыбаков. В начале 30-х годов семья переехала в Омскую область. Отец художника был репрессирован, его арестовали и расстреляли.

В 1939 году Борис поступил в Омское художественное училище. Проучившись там два года, в 1941-м переехал в Красноярск. Когда началась война, у Ряузова была бронь, он мог не идти на фронт — художники нужны были в тылу для агитационной работы. Но в 1942 году он уходит на фронт в составе 78-й Добровольческой стрелковой бригады.

На фронте Борис Ряузов не расстаётся с карандашом, красками и бумагой, делает много эскизов, зарисовок. В послевоенное время эти наброски помогли художнику создать множество батальных полотен. Ряузов оставался верен суриковской школе, сумел создать лирический сибирский пейзаж, который в конце жизни мастера стал обобщённо-философским размышлением о природе мироздания.

Живописец, народный художник России. Действительный член Академии художеств России. Лауреат Государственной премии РСФСР имени И.Е. Репина. Артиллерист-разведчик 19-го гвардейского Сибирского стрелкового корпуса (1941—1945). Награды военных лет: орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Участник художественных выставок с 1941 года. Первый за Уралом получил звания академика и народного художника России. Много лет руководил Красноярским отделением Союза художников.

Саввиных Марина Олеговна
(р. 1956)



Родилась 9 декабря 1956 года в Красноярске. В 1978 году окончила с отличием факультет русского языка и литературы Красноярского педагогического института.

Первая публикация — в сентябре 1973 года в «Красноярском комсомольце». В 1980 году — публикация в журнале «Юность» (статья о поэзии Юнны Мориц). Затем — многочисленные коллективные сборники, журналы — толстые и тонкие, — и в 1995 году, после присуждения премии Фонда В. П. Астафьева, — первый сборник «Фамильное серебро». Самые заметные публикации — в журналах «День и ночь»,

«Сибирские Афины», «Москва», антологиях «Лёд и пламень» (Москва), «Русская сибирская поэзия. XX век» (Кемерово). К началу XXI века — шесть книг стихов и прозы. Кроме вышеназванной «Res cogitans», «Глиняный пятигранник», «Mail.ru», «Собеседники», «Горизонты Рожкова», «По великим снегам» (2017).

С 1998 года — директор Красноярского литературного лицея, входит в состав правления регионального отделения Союза российских писателей, с 2007 года — главный редактор журнала «День и ночь». Член Красноярского отделения ПЕН-клуба.

Сартаков Сергей Венедиктович
(1908—2005)



Родился 13 марта (н. ст.) 1908 года в Омске в семье железнодорожного служащего. В 1919—1927 годах семья Сартаковых жила на таёжной заимке под Нижнеудинском, где не было школы. В 1924 году Сергей сдал экзамены экстерном за школьный курс.

В 1928 году Сартаковы переехали в Минусинск, где Сергей устроился на работу в артель столяром и по совместительству счетоводом. Окончил заочные Высшие счётно-финансовые курсы. В 1931—1933 годах служил в Рабоче-крестьянской Красной армии начальником счётно-финансового сектора УВСР (участка военно-строительных работ) № 17 на советско-китайской границе. Вернувшись в Минусинск, поступил на работу бухгалтером в трест «Севполярлес» (Красноярск).

1946 год стал знаковым в жизни красноярских писателей, которые под руководством Сергея Сартакова объединились в Союз писателей. В 1957 году Сергея Венедиктовича ввели в состав оргкомитета по созданию Союза писателей РСФСР, а затем вместе с Леонидом Соболевым, тоже сибиряком, он возглавил Союз, вплоть до избрания его ответственным секретарём Союза писателей СССР.

Литературному музею имени В. П. Астафьева в 1996 году без всяких предварительных договоренностей Сартаков передал свой архив и «сибирику» (1 200 книг сибирских авторов с автографами). Всего было отправлено из Москвы в Красноярск 70 коробок с бесценным грузом. Этот дар был по существу первым для Литературного музея и бесценным с точки зрения его значимости для истории сибирской литературы. В 1984 году Сергей Венедиктович передал Краевой научной библиотеке полученную им Ленинскую премию в размере 100 тысяч рублей на приобретение книг. Этот поступок характеризует писателя как патриота Красноярска, за бесценный вклад ему присвоили звание почётного гражданина города Красноярска.

Литературный критик Ирина Стрелкова написала о романе Сергея Сартакова «Хребты Саянские»: «Судя по ряду примет, в России сейчас наступает время новой волны „возвращённой“ литературы. В 80-х годах к русскому читателю вернулась литература русского зарубежья. Сейчас возвращается литература ближних, советских десятилетий, которую радикалы так хотели „сбросить с корабля современности“. Думаю, что русскую реалистическую прозу советского периода нашей истории сегодня читают не только для того, чтобы самостоятельно разо-

браться в недалёком прошлом, но и потому, что это интересно, потому, что в этих книгах — живые люди, яркие характеры, чистые человеческие отношения. Даже можно было бы сказать о новом интересе русского читателя к просторному, увлекательному роману. И тем более о Сибири».

Не стало Сергея Венедиктовича 1 мая 2005 года. Три года не дожил писатель до своего столетия. Похоронен в Переделкине (Московская область). Именем С.В. Сартакова названа одна из улиц Нижнеудинска. Писатель избирался депутатом Верховного Совета СССР, председателем Литфонда Союза писателей РСФСР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.

В данный сборник включены два рассказа о юности подростка Сергея Сартакова, который стал свидетелем и даже участником спасения чудотворной иконы при отступления армии генерала Каппеля из Забайкалья в Харбин — «Чудотворная икона» и «Отступление каппелевской армии».

Седельников Анатолий Васильевич
(1919—1944)



Родился 1 мая 1919 года в Туруханске, первое стихотворение напечатал в 1937 года в районной газете.

Красоты Севера, условия быта, учителя и родители дали ему тот заряд прочности, который позволил пройти суровые испытания в короткой жизни. После окончания школы № 19 в Красноярске мечтал поступить в Литературный институт имени А.М. Горького. Мечта не сбылась.

В феврале 1940 года Анатолия Седельникова призвали в Красную армию, в связи с чем он оказался в Москве и увидел её глазами человека, готового к защите Отечества. В дневнике он напишет 22 июня 1941 года: «Радио принесло неожиданные страшные вести: „В четыре часа утра Германия подвергла бомбардировке наши города: Киев, Житомир, Севастополь, Каунас". Это пиратское нападение дорого будет стоить зарвавшимся фашистам. Как в 1242 г. немецкие псы-рыцари были наголову разбиты и опрокинуты в Чудское озеро, так и теперь, через 700 лет, они снова будут разбиты и стёрты с лица земли. Вечером был митинг. Какую неукротимую жажду сражаться с врагом я видел на лицах бойцов! В это воскресенье все были в приподнятом духе. Допоздна в палатках пели песни».

Последнюю запись в дневнике Анатолий сделал 24 июня 1941 года. Но в его строках звучала уверенность в грядущей Победе. (Дневник Анатолия Седельникова хранится в архиве Литературного музея имени В.П. Астафьева.)

Тяжёлые испытания выпали на долю воина-сибиряка в 1941 году: жестокие бои, окружение, плен, побег. Затем в 1942—1943 годах он воевал в составе партизанской бригады Г.М. Линькова, дислоцировавшейся в Белоруссии. Разведчики под командованием Седельникова наносили огромный ущерб немцам. Погиб Анатолий 11 ноября 1944 года в бою с фашистским карательным отрядом в районе города Лутутов, близ хутора Юзефина в Польше.

Советское правительство высоко оценило подвиги отважного сибиряка-партизана, наградив его орденами Ленина и Отечественной войны I степени.

Никто из старших не знал, что он пишет стихи, знали лишь близкие товарищи, которым он читал стихи на привалах. «Некоторые из стихотворений мы знали наизусть. И время не стёрло их из памяти в сердце нашем», — так вспоминали его друзья. Не стёрло потому, что стихи настоящие. Подробнее о нём — в воспоминаниях Героя Советского Союза Г.М. Линькова («Война в тылу врага»).

Семёнова Елена Сергеевна
(р. 1975)

Родилась в 1975 году в Александровском централе под Иркутском. Окончила Красноярский медицинский институт. Работала детским врачом. Печаталась в газете «Красноярский комсомолец», в журнале «День и ночь». Лауреат премии Фонда имени В.П. Астафьева за книгу стихов «Собор» (1998).

Солнцев Роман Харисович
(1939—2007)



Родился 21 мая 1939 года в селе Кузкеево Мензелинского района Татарской АССР. Окончил физический факультет Казанского государственного университета, затем Высшие литературные курсы при Литературном институе имени А.М. Горького. Работал в геологических партиях в Сибири, физиком в Красноярском политехническом институте, журналистом. Поэт и прозаик, организатор литературной жизни края.

Его трудами основан журнал «День и ночь», имеющий резонанс в России и за рубежом, открыт Литературный лицей, опубликованы книги детского творчества «Парнас ворвался в класс». При этом Роман Солнцев издал большое количество собственных книг — преимущественно стихотворных сборников. В 2004 году поэт объединил свои стихи в двухтомник «Избранное» и включил в него то, что сам считал наиболее значимым в своём творчестве. Естественно, это издание не отменяет ранее публиковавшихся сборников — «Необщая тетрадь», «Вечные леса», «Птицы с яркими глазами», «Малиновая рубаха», «Скажи сегодня», «Волшебные годы» и др.

Стихи Романа Солнцева в большинстве своём — отзвук меняющегося времени, его преходящих и непреходящих вопросов. Решить их однажды и навсегда невозможно, потому что в существе своём они всякий раз возникают заново. Каждый человек по-своему задаёт их себе и окружающим, каждый ищет ответов и в размышлениях, и в спорах, и в книгах. Быть может, самый главный из них — так ли живу, как надо? В его поэзии есть доброта и понимание, нежность и чуткий слух, улавливающий очень несхожие звуки человеческой жизни.

Суворов Георгий Кузьмич
(1919—1944)



Родился 11 апреля 1919 года в селе Абаканском Енисейской губернии. Георгий с детства не был обласкан жизнью. Рано умерла его мать, а отец, заведя другую семью, стал для детей почти чужим. Отец в Гражданскую воевал на стороне Колчака, и детям лучше было по тем временам сторониться такого родства. Мотив «сын за отца не отвечает» был прочувствован Георгием на собственном опыте. Очевидно, по причине «небезупречности соцпроисхождения» его не приняли в юности в комсомол, а при поступлении в Красноярский педагогический институт на экзамене по политграмоте поставили только «удовлетворительно».

Поэтическая судьба Георгия Суворова складывалась удачно. Она дарила ему одну за другой встречи с поэтами Л. Мартыновым, П. Дравертом — в Сибири, с А. Сурковым — под Москвой, с Н. Тихоновым, М. Дудиным, С. Наровчатовым, А. Смердовым — в Ленинграде. Он впитывает впечатления творческого общения, наращивает свои «литературные мускулы». Ещё в пору юности, своего сельского учительства будущий поэт был одержим жаждой самообразования. Его уникальная память выдала потом фронтовым товарищам множество стихов зарубежных и русских поэтов. А ведь ему только удалось поступить на литфак и пробыть студентом всего 45 дней. Значит, он самостоятельно обрёл литературную эрудицию, которой мог бы позавидовать профессионал.

Удивительно, как безупречное выполнение Суворовым воинского долга сочеталось с творчеством. Он оставил после своей героической гибели под Нарвой (Ленинградская область) много замечательных стихов, ещё больше набросков, заметок, умных и душевных писем. На современников — друзей и поэтов — он производил особое впечатление гармоничностью внешнего и внутреннего облика. Мужская, поистине гвардейская красота, человеческое обаяние всех наталкивали на мысль о соответствии его облика великой фамилии. Ленинградский поэт-фронтовик Пётр Ойфа, также имевший возможность короткого братско-фронтового общения с Суворовым, спустя много лет после войны напишет стихотворение «Юноши Отечественной войны…». В нём центральным образом — символом является имя нашего героя-сибиряка — Георгий Победоносец. Так, от рождения имя предначертало судьбу.

Война стала для поэта Суворова, судя по содержанию его писем, жизненной ступенью, на которой он пережил не только трагические потери. Проклиная войну, уносящую жизни его сверстников, он говорит со «скрытой теплотой патриотизма» о своём открытии Родины: «Побывал, повидал, испытал и научился за это время я очень многому. Почти четыре раза за время войны пересёк чуть ли не весь Советский Союз в разных местах» (из письма к сестре Тамаре Серебряковой). В одном из лучших его стихотворений «Мы тоскуем и скорбим…» есть строки: «Рухнул наземь человек — приняла родная». В них — суть отношения солдата с Отчизной.

Суворов был дважды ранен, третье — смертельное ранение получил под Ленинградом и гибель свою предчувствовал. Мистическое предсказание содержится в последнем стихотворении, найденном в лейтенантской полевой сумке. Оно заканчивается подведением итогов, как будто несоответствующим финалом светлых, исполненных надеждой на будущее предыдущих строк. Это стихотворение стало поэтическим образцом, достойным школьных хрестоматий. «То, что сказал фронтовой поэт, звучит как реквием всем погибшим и как напутствие всем живым. Он сумел соединить прошедшее с грядущим в словах:

Свой добрый век мы прожили как люди —
И для людей.

Эти изумительные строки могут служить эпиграфом к судьбе всего нашего поколения, прошедшего через огонь войны и отстоявшего мир и счастье для нынешних и грядущих поколений», — написал ленинградский поэт Михаил Дудин. А Николай Тихонов, ставший для Суворова другом, учителем, духовным отцом, в очерке «Сибиряк на Неве» сказал: «Он жил и умер как поэт».

Поэзию Великой Отечественной войны один из критиков назвал «коллективным художественным гением». Среди тех, кто внёс весомый творческий вклад в этот драгоценный стихотворный монолит, наш земляк — Георгий Суворов. Его судьба исключительна и одновременно типична для советского времени. Биография — короткая и яркая настолько, насколько это необходимо, чтобы стать эталонным выражением судьбы поэта-героя.

Таран Лев Николаевич
(1939—1994)



Родился в 1939 году и прожил первую половину жизни в Красноярске, где окончил медицинский институт, стал психиатром, выпустил первую книжку стихов. Вторая половина жизни прошла в подмосковном городе Дмитрове, где Лев Таран работал врачом скорой психиатрической помощи Института Склифософского и занимался творчеством.

В период жизни в Дмитрове — активный участник литературного объединения «Дмитровские зори». При жизни издал две книги стихов. В периодических изданиях печатался редко.

В 1975 году Львом Тараном был написан роман «Алик и Алёна», изданный почти через два десятилетия. Роман, как отмечал Эдуард Русаков в «Красноярском рабочем» 22 февраля 2014 года, написан «ритмизованной, стихоподобной прозой и сегодня может шокировать иных целомудренных читателей своей откровенностью и брутальностью, парадоксально сочетающейся с лирическим пафосом…». Как заметил в своём предисловии к книге Евгений Попов, «за всеми этими внешне энергическими похождениями эрудированных тарановских „совков“ сквозит тяжёлая уверенность персонажей, что и их, и страну, в которой они живут, покинул Бог. А если Бог отсутствует, как учитель, вышедший из класса, то

не всё ли равно и не всё ли дозволено? Ответ Льва Тарана: не всё!..». И это роднит творчество Льва Тарана с исконно русской литературной традицией.

Тарковский Михаил Александрович
(р. 1958)



Родился 24 октября 1958 года в Москве. Окончил Московский педагогический институт имени В.И. Ленина по специальности «География/биология».

В 1981 году уехал в Туруханский район Красноярского края, где почти сразу же начал писать стихи и работать сначала полевым зоологом на биологической станции ИЭМЭЖ АН СССР, затем охотником в селе Бахта.

В 1991 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Является продолжателем фамильных культурных традиций: его дед — классик русской литературы поэт Арсений Тарковский, дядя — известный кинорежиссёр Андрей Тарковский. От своих именитых родственников Михаил Тарковский отличается прежде всего географией творчества: действие его книг происходит в Сибири. Основу составляют прозаические произведения, главная тема которых — корневой русский человек на берегах Енисея, его взаимоотношения с сибирской природой, с собратьями по доле, с остальными частями России.

Автор стихов, рассказов, повестей, очерков, печатавшихся во многих литературных журналах. Лауреат премий журналов «Наш современник», «Роман-газета», «Новая юность», а также литературных премий, в частности премий И.П. Белкина, имени И.С. Соколова-Микитова, В.Я. Шишкова, Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», первого редактора «Литературной газеты» Антона Дельвига, международной премии «Югра» в номинации «Проза» и премии В.М. Шукшина. Дважды дипломант славянского форума «Золотой Витязь».

Михаил Тарковский является автором книг «Стихотворения» (1991), «За пять лет до счастья» (2001), «Замороженное время» (2003). В 2009 году в новосибирском издательстве «Историческое наследие Сибири» вышел трёхтомник, в состав которого вошли три книги: «Замороженное время», «Енисей, отпусти!» и «Тойота-Креста». В том же издательстве в 2014 году вышла книга «Избранное» с первой версией автобиографического фильма «Замороженное время». 2011 год — книга «Замороженное время» (доработанное издание), выпущенная Издательским домом «Ясная Поляна» (Тула). В 2016 году в издательстве «Э» (Москва) вышла книга «Тойота-Креста» в трёх частях (третьей части «Распилыш» не было в одноимённой книге из новосибирского трёхтомника). Книга «Вековечно» выпущена в 2017 году по заказу и при поддержке правительства Алтайского края в серии «Лауреаты Шукшинской литературной премии». В том же году в издательстве «Э» вышла книга «Полёт совы», положив начало авторской серии издательства «Наследник вековых традиций». В конце 2017 года в издательстве «Вече» вышла книга «Енисей, отпусти!», которая отличается от одноимённой книги 2009 года бóльшим объёмом и расширенным составом произведений.

Тарковский является инициатором трёх кинопроектов документального жанра. Телевизионный четырёхсерийный фильм «Енисей-кормилец» («Счастливые люди»), снятый совместно с кинокомпанией «Территория рыбалки», документальный фильм «Замороженное время» — в партнёрстве с Красноярской киностудией и документальный фильм «Жёсткая сцепка».

Поэт, писатель, кинодокументалист, член Союза писателей России, член Общественной палаты Союзного Государства, главный редактор альманаха «Енисей».

Третьяков Анатолий Иванович
(1939—2019)



Родился 8 марта 1939 года в Минусинске. Окончил Красноярское речное училище. Учился во ВГИКе и Литературном институте имени А.М. Горького. Автор многочисленных сборников стихов (самые значительные из них — «День сквозь деревья» и «Галерея»). Печатался в журналах и коллективных сборниках Москвы и других городов России. Член Союза писателей России с 1979 года.

Анатолия Третьякова, можно сказать, воспитывал Енисей. Плыть по Енисею на пароходе судовым механиком — это совсем не то же самое, что любоваться им с берега. Стихотворение «Казачинский порог» лучше скажет об этом, чем любые сухопутные пояснения. Это единство простора, красоты и опасности вошло в поэтическое сознание Анатолия Третьякова как единая метафора жизни. Она отзывается во многих его стихах, особенно в лирических миниатюрах, где открыт личный мир поэта — всегда напряжённый, внимающий тревожному звуку. Освобождение приходит с поэтическим словом. И оно же, поэтическое слово, открывает новую даль простора и новую явь красоты.

Тематически его стихи разнообразны: он пишет о России и русской деревне, о природе и любви, о людях искусства и самом искусстве. Стихи Анатолия Третьякова соотносимы с русской поэтической традицией. Отзвуки есенинских мотивов проступают во многих строках, но связаны они с сибирской землёй, её пейзажем и лирическим настроением.

Тугаринов Аркадий Яковлевич
(1880—1948)



Родился 10 ноября (н. ст.) 1880 года в Саратове в семье земского деятеля Якова Яковлевича Тугаринова. Учился в саратовском Александро-Мариинском реальном училище. В школьные годы собирал гербарии, в семнадцатилетнем возрасте стал членом Общества естествоиспытателей города Саратова, совершил поездку в Астраханскую область, на озеро Баскунчак и Ханскую ставку, где собирал гербарий и орнитологические материалы. Поступил в Казанский университет.

В 1901 году принимал участие в съезде естествоиспытателей в Санкт-Петербурге, где познакомился с красноярскими учёными. В январе 1905 года переезжает в Красноярск и занимает пост директора музея Приенисейского края. Собирал коллекции для музея, исследовал Енисей, проводил археологические и этнографические исследования.

В 1914 году раскапывал курган у деревни Андроново в Ачинском уезде. Позднее находки были отнесены к андроновской культуре. В 1919 году проводил раскопки на Афонтовой горе. После Февральской революции 1917 года был включён в состав комиссии по изъятию дел из жандармского управления. Добился передачи музею писем декабристов и других документов. Был назначен особым комиссаром продовольствия в Туруханске, где провёл один год.

С 1907 по 1926 год возглавлял Красноярское отделение РГО. В 1926 году по приглашению академика П.П. Сушкина переехал в Ленинград. Работал в Ленинградском зоологическом институте АН СССР. В 1926 году принял участие в комплексной экспедиции Зоологического музея в Северную Монголию. В 1928 году участвовал в экспедиции в Северо-Восточную часть Монголии. После этих экспедиций Тугариновым были опубликованы две работы: «Северная Монголия и птицы этой страны» и «Птицы Восточной Монголии».

С 1934 по 1937 год работал в экспедициях на юго-западном побережье Каспийского моря. С 1940 года руководил отделением орнитологии Зоологического института АН СССР. Принимал участие в составлении капитального академического издания «Фауна СССР».

Воспоминания Аркадия Тугаринова о Красноярске 1919 года сохранились в архиве Красноярского краевого краеведческого музея.

Фёдорова Аида Петровна

(р. 1934)



Родилась 13 ноября 1934 года в деревне Дорохово Назаровского района Красноярского края. Поэт, журналист, литературный переводчик, литературовед. Член Союза российских писателей, Союза журналистов России, Российского авторского общества.

В разные годы жила и работала в Красноярске, Липецке, Баку. В настоящее время живёт в Московской области, в Серпухове.

За годы творческой деятельности Аидой Фёдоровой опубликовано 15 поэтических книг («Красные кедры», «Тёплый берег», «Дерево песен», «Источник», «Автопортрет» и др.), около 10 книг переводов стихов национальных поэтов (А. Немтушкина, О. Аксёновой, Н. Оёгира, Г. Багандова и др.).

Много лет Аида Петровна занималась литературной учёбой молодых авторов. Занятия литературного объединения «Диалог» посещала творческая молодёжь Красноярска и его городов-спутников. Многие из этих людей впоследствии вступили в Союз писателей, стали журналистами, профессиональными писателями.

Лауреат премии Красноярского комсомола (1967), победитель конкурса, посвящённого 50-летию Победы, объявленного администрацией Красноярского края в 1995 году, за поэму «Живые и мёртвые их имена», лауреат премии «Наше Подмосковье» в номинации «По зову сердца» за 2014 год.

Филимонов Фёдор Фёдорович
(1862—1920)



Родился в 1862 году в Камышлове Пермской губернии. Учился в Москве в коммерческом училище, из которого был исключён за политическую деятельность. Сослан в Ирбит, затем в Тюмень. Сдав экстерном экзамены и получив свидетельство об окончании Московского коммерческого училища, Фёдор Филимонов в 1887 году переехал в Красноярск.

Сибирская периодика 1880—1910-х годов буквально наводнена стихами, фельетонами, которые Фёдор Филимонов печатал как под собственной фамилией, так и под многочисленными псевдонимами (Аякс, Два Аякса, Бес, Гейне из Ирбита, Дедушка Фаддей и др.).

Автор поэтических книг «Песни сибиряка» (1890), «Стихотворения» (1898), «За прошлые годы» (1913). В его поэзии звучат гражданские мотивы, картины социальной несправедливости и народного горя в его лирике напоминали порой некрасовскую «музу мести и печали».

В 1889 году появляется его крупное произведение — пьеса «В краях сибирских». Она была запрещена губернатором Л.К. Теляковским, который увидел в ней сатиру на свою администрацию. Пьеса эта — сатирическая инсценировка, в которой в качестве героев выведены красноярцы: Н. Кичеев, чиновник губернской администрации, и редактор-издатель газеты «Справочный листок Енисейской губернии» Е.Ф. Кудрявцев. Газета «Сибирский вестник» в феврале 1891 года сообщала: «Пьеса имела бешеный успех, автора вызывали по три-четыре раза. Некоторые из публики узнали себя в действующих лицах пьесы и озлобились против театра». Теляковский ходатайствовал о высылке литератора из Красноярска, но Филимонов, как юрист, знающий законы, сумел доказать свою правоту.

В 1903 году сатирик занимал выборную должность директора Красноярского драматического театра — Народного Дома (Пушкинского). В 1906 году прославился как редактор-издатель сатирического журнала «Фонарь» (вышло девять номеров), закрытого цензурой.

В 1917—1919 годах издавал газету областного направления «Свободная Сибирь», в которой призывал к народному восстанию против большевиков.

В данном сборнике приводятся образцы разящей наповал политической сатиры на известных деятелей периода Гражданской войны (Ленина, Троцкого, Красикова).

В 1920 году Фёдор Филимонов был расстрелян большевиками. Реабилитирован по запросу сотрудников Литературного музея имени В. П. Астафьева в начале постсоветского периода.

Фраерман Рувим Исаевич
(1891—1972)



Родился 10 сентября (н. ст.) 1891 года в Могилёве (Белоруссия). В 1915 году окончил Могилёвское реальное училище, с 1916 года учился в Харьковском технологическом институте. Работал помощником кочегара на Дальневосточной железной дороге. В мае 1920 года назначен комиссаром партизанского отряда, устанавливал советскую власть среди тунгусов в Якутске, редактировал газету «Ленский коммунар».

Как делегат Первого Сибирского съезда работников печати в Новониколаевске весной 1921 года был приглашён работать в газете «Советская Сибирь» секретарём редакции. Знакомство с Емельяном Ярославским открыло дорогу Рувиму Исаевичу в Москву, где он стал работать в статистической части и редакции информации РОСТА.

Участник Великой Отечественной войны: боец 22-го полка 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения, военный корреспондент на Западном фронте. В январе 1942 года был тяжело ранен в бою, в мае демобилизован. Был знаком с К.Г. Паустовским и А.П. Гайдаром.

Наиболее известное произведение Рувима Фраермана — «Дикая собака динго, или Повесть о первой любви», экранизированное в 1962 году. Автор повестей преимущественно для детей: «Огнёвка» (1924), «Буран» (1926), «Васька-гиляк» (1929) — в ней частично описаны «николаевские события», «Вторая весна» (1932), «Никичен» (1933), «Шпион» (1937) и романа «Золотой Василёк» (1963).

Чащин Пётр Павлинович
(1893 — после 1938)

В 2005 году в селе Айтат Большемуртинского района Н.С. Александров, разбирая старый дом, нашёл дневник офицера времён Гражданской войны и передал находку главе администрации села. Ныне дневник хранится в Большемуртинском районном музее и является редчайшим, уникальным во многих отношениях документом, возможно даже единственным во всей Сибири. Дневник с марта 1919-го по апрель 1920 года вёл выходец из старожилов села Айтат Пётр Павлинович Чащин, 1893 года рождения.

Пётр Чащин — белый офицер, колчаковец. Родом из крестьян, окончил учительскую семинарию в Красноярске, учительствовал. В период военных действий на Урале Чащин всё время думал о возвращении к мирной жизни и сельских ребятишках: «Боже, сохрани мою жизнь, чтобы хоть одну мою мечту я мог осуществить — построить школу в Айтате. Не из пустого тщеславия мне хочется сделать это. Нет. Мне больно смотреть на мой богатый во всей волости Айтат и во всей волости дикий и отсталый. Хочется показать мужикам, как это необходимо им, как они глупы и невежи. Убью всё своё сбережение и сделаю». Это желание помогает ему выжить в боях. Однако после возвращения домой его ждёт жестокий удар.

После разгрома белых Чащин возвращается в родной Айтат, учительствует… Наконец его заветная мечта сбылась? Нет, на самом деле односельчане не принимают его: «…в душе те же страдания за своих близких и за себя. Заклеймённый печатью офицера, я изгнан даже из среды своих мужиков. Я „буржувазия“, я кулак, я колчаковский наймит. Мне нельзя высказывать своего мнения на собрании по тому или другому делу, я даже присутствовать на собраниях не имею права».

Он встаёт на учет как бывший белый офицер и… вступает в Красную армию! И его берут, причём на ту же должность, которая у него была при Колчаке: начхоз роты. «Ходил сегодня в штаб своего полка, где решил записаться служить верой и правдой новой советской народной армии, в 4-м советском Енисейском полку. Сходил в роту. Там всё те же. Максимов командиром роты выбран, а Силько и Мишка взводными». То есть в советском полку он встречает своих старых сослуживцев по белой армии, открыто называет их имена. Гражданская война в России велась с большим ожесточением. Но этот красноярский метод, когда даже не сдавшихся, а просто отказавшихся от борьбы участников белого движения тут же массово берут в красные полки, ставя на среднекомандные должности, — это новое в историографии Гражаданской войны.

Принципиальным является изменившееся отношение Чащина к советской власти. Непонятно, из каких идейных соображений он вступает в белую армию: не монархист, член партии социалистов-революционеров, то есть политический активист, боровшийся с монархией, на дух не переносит «николаевщину», то есть дух старой армии. Непонятно, как он переходит к красным, но после возвращения в Айтат и общения с односельчанами он уже готов «служить верой и правдой новой советской народной армии».

Красивый русский язык, романтизм прапорщика Петра Чащина и собственное понимание того, в какие кровавые времена приходится ему жить, у всех, кто знакомится с дневником, вызывают неподдельное сочувствие к молодому человеку. Судьба Чащина доподлинно неизвестна. Возможно, он был убит односельчанами или арестован в середине июня 1920 года. В списках «Мемориала» есть Пётр Павлович Чащин, уроженец Большемуртинского района, продавец, привлекавшийся в 1930 году по 58-й статье, но реабилитированный в октябре 1930 года на стадии следствия. Возможно, это одно и то же лицо. Семьи потомков Чащиных ни в Айтате, ни в Красноярске не знают о судьбе Петра Павлиновича, за исключением того, что какого-то офицера из Павлиновских убили в лесу вблизи деревни, а на самом сельском погосте единственная ель растёт на могиле Павлиновских. Павлиновские — было одно из прозвищ клана Чащиных, к нему относились все потомки Павлина Чащина (отца Петра Чащина).

Первая публикация в сокращении дневника Петра Чащина — «Словно не домой я вернулся…» — в журнале «Сибирские огни» (2016, № 2). Подготовил её историк А. П. Шекшеев, где дал подробный исторический комментарий.

Чеканинский Иван Алексеевич
(1891—1942)

Иван Чеканинский известен в красноярском научном мире главным образом как этнограф, изучавший в начале XX века поселения на реке Чуне. В данном

сборнике мы опубликовали пародию Ивана Алексеевича, тогда студента, на футуристические изыски столичных поэтов. Стихотворение «Весна и футуристические мотивы» — ироничная стилизация популярного в начале XX века литературного направления — футуризма.

По воспоминаниям А.Л. Яворского, Иван Чеканинский был активным «столбистом»: участвовал в литературных мистификациях, озорных розыгрышах, поэтических схватках. Данное стихотворение было прочитано на Красноярских Столбах на Трибуне (особый камень, схожий с кафедрой), с которой обычно произносились речи и читались стихи. Когда и почему закончился красноярский период деятельности И.А. Чеканинского, неизвестно. Дальнейшая его работа как этнографа была связана с Киргизией и Казахстаном. *(Более подробно — в статье: Ермакова О. И.А. Чеканинский: штрихи к биографии // Енисейские встречи (альманах Литературного музея). Вып. 2. Красноярск, 2009.)*

Чивилихин Владимир Алексеевич
(1928—1984)



Родился 7 марта 1928 года в Мариинске Кемеровской области. А уже через год семья Чивилихиных переезжает в город Тайгу. Здесь Владимир проводит школьные годы, после чего поступает в Тайгинское училище паровозного строительства, работает мастером в Узловой.

Детство Владимира было довольно сложным. Отец погиб в 1938 году. С тринадцати лет будущий писатель начинает работать слесарем в железнодорожном депо. В послевоенное время семья переехала в Чернигов на Украину. Здесь происходит встреча будущего писателя с П.Д. Барановским, реставратором старинных церквей.

По воспоминаниям Владимира Алексеевича, он любил ходить в читальные залы, увлёкся чтением книги «Слово о полку Игореве», активно изучал историю Чернигова, Козельска. Эссе «Память» — итог формирования патриотического восприятия русской истории: «Не могу себе представить, как бы сложилась моя жизнь, если бы своевременно не познакомился со „Словом“».

В 1954 году оканчивает факультет журналистики в МГУ. И на длительный срок (10 лет) по распределению посвящает себя журналистике, работая в «Комсомольской правде». После поездки в Сибирь им была написана повесть «Серебряные рельсы». В её основе — мемуары из дневника участника геологической экспедиции А.М. Кошурникова. В 1942 году все члены этой экспедиции погибли в Саянах. Документальные факты и повествование писателя составили основу книги. Писательская деятельность Владимира Чивилихина начинается в 1957 году.

В 60-х годах выходят его книги «Про Клаву Иванову», «Ёлки-моталки», «Над уровнем моря». А ещё он участвовал в борьбе за сохранность живой природы озера Байкал, итогом стало написание статьи «Светлое окно Сибири» в журнале «Октябрь», повествующей о вреде строительства целлюлозного комбината. Также Чивилихин был инициатором создания кедрового питомника в Сибири (влияние Л. Леонова и его книги «Русский лес»).

Владимир Чивилихин — лауреат Госпремии СССР за произведение «Память» — историческое исследование, которое считается главным творением писателя. Но и не менее значимой представляется повесть «Серебряные рельсы», посвящённая подвигу изыскателей трассы Абакан — Тайшет в военном 1942 году, в данном сборнике она занимает почётное место.

Шанин Владимир Яковлевич

(р. 1937)



Родился 26 ноября 1937 года в селе Бириллюсы Бириллюсского района Красноярского края в крестьянской семье. Окончил историко-филологический факультет Иркутского государственного университета и аспирантуру Высшей школы профдвижения при ВЦСПС в Москве.

Работал в краевых и областных журналах, в районных многотиражных газетах, в альманахе «Енисей». Автор книг «Памятник для матери», «Бел-горюч камень», «От зари до зари», «Горькая ягода калинушка», «Куплю дом в деревне», изданных в Красноярске и Москве. В течение четверти века Владимир Яковлевич работал над исторической хроникой «Суриков, или Трилогия страданий», опубликованной только в 2010 году тиражом 2 000 экземпляров. Она стала настольной книгой сибиряков-красноярцев и помогает понять многие важные компоненты духовной жизни наших предков и самих себя.

За последние десять лет сумел опубликовать энциклопедическое издание «Енисейская летопись» — хронологический перечень важнейших дат и событий из истории Приенисейского края 1207—1834 годов (2011). Владимир Яковлевич не хотел, чтобы собранные для Сурикова архивные и мемуарные источники пропали, а были полезны исследователям, систематизированы и изданы. Издан только первый том енисейской старины, а ждут своей очереди на печать ещё шесть томов.

Опубликовал «Очерки о писателях», в которых рассказал о писателях и журналистах, представил свой взгляд на ушедших и забытых людей, близких ему по внутреннему состоянию души. Всего написано более 90 биографических статей. В 2010 году издательство «Буква» выпустило книгу очерков Владимира Шанина «Имя собственное: литературные портреты». Один из таких очерков мы поместили в наш сборник для чтения: «В мою судьбу вошла беда» (о поэте Любови Рубцовой).

Владимир Шанин продолжает работать над биографическими очерками, кропотливо собирает фактический материал, и надо отметить, что такой работой, требующей большого сердца, занимается он один.

Щербаков Александр Илларионович
(р. 1939)



Родился 3 января 1939 года в селе Таскино Каратузского района Красноярского края.

Родное село — в памяти писателя, в его гражданском чувстве и творческой судьбе. К любимому, родному месту он обращается в автобиографической повести «Свет всю ночь». Земляки, жители родного и близлежащих сёл — это герои его циклов «Ворота судьбы» и «Месяц круторогий». Каждый из тех, о ком вспоминает писатель, по-своему ему дорог. В его памяти встают чудики и праведники, простодушные и лукавые герои. Все вместе они представляют собой тип сибиряка, деревенского жителя, который так узнаваем и до боли близок каждому из нас.

В творчестве Александра Щербакова есть особый цикл — «Деревянный всадник». Тема и лейтмотив его, пожалуй, удачно отражены в названии одного из рассказов цикла — «Душа мастера». Оба слова в этом словосочетании являются самодостаточными. Мастер — тот, кто лучше всех, красивее всех овладел каким-либо ремеслом и делом (бондарь, пастух, шорник и пр.). Автор с великим уважением рассказывает нам об утраченных видах рукомесла и навсегда ушедших мастерах. Талантлива земля сибирская, и талантливы люди, живущие здесь; высока мера совестливости и ответственности, которую предъявляет к себе Мастер.

Душа русского человека ярко и интересно раскрывается в цикле «Перунов огнецвет». Старинные поверья, были и предания доверительно поведали нам герои-рассказчики. Интонации их завораживают, а необычный мир чертовщины и нечисти поражает воображение.

Александр Щербаков — писатель земли сибирской, с любовью и печалью рассказал нам о родном доме, селе и своём крае.

Яхнин Зорий Яковлевич
(1930—1997)



Родился 13 апреля 1930 года в Симферополе, детство и юность провёл в Москве. В двенадцатилетнем возрасте во время войны оказался в эвакуации в Омске — таким образом он впервые встретился с Сибирью.

В Красноярск приехал по комсомольской путёвке в 1954 году. Молодой, красивый, тонкий, он словно олицетворял собой культуру, которой служил. Это не помешало ему сменить столичный костюм на штормовку и рюкзак, чтобы вполне воспринять и почувствовать жизнь Сибири.

Зорий Яхнин много ездит по краю, проникается особой любовью к Северу — к охотникам, оленеводам, жителям стойбищ и чумов. Об этом есть выразитель-

ные стихи уже в первом сборнике «Из лирического дневника» (1959). Поэт всегда говорит о близком ему и сокровенном, нередко исповедуется в стихах, сетует на несовершенство человека вообще и на своё собственное. В самих названиях его сборников заключён поэтический образ движения во времени и пространстве: «Восточным ветрам навстречу», «Границы», «Центр Земли», «Требуется скрипач», «Позднее признание в любви», «Три дороги», повести «Дорога к радуге», «Хозяин Каменной Чуни», «Новогодняя ночь в сентябре», сборник поэм «Река мгновений».

Всего при жизни поэта было издано более 20 книг. В 1962 году Зорий Яхнин стал членом Союза писателей СССР. В последнее десятилетие жизни увлёкся живописью.

Содержание

Бессонница. А. Броднева 4

I. «МЫ ДЕТИ СТРАШНЫХ ЛЕТ РОССИИ...» 16

Валентин КУРИЦЫН
Казнь 17
Дмитрий ГЛУШКОВ (ОЛЕРОН)
Гвоздика 17
Иван ЧЕКАНИНСКИЙ
Весна и футуристические мотивы 18
Георгий ВЯТКИН
Бобырган (из цикла «Алтай») 21
Белки́ 22
Прощание 22
Пётр ДРАВЕРТ
Сибирий 23
Николай ЛЕОНОВ
Енисей 24
Памяти В. И. Сурикова 26
Виталий КАЛАШНИКОВ (КРУЧИНИН)
Памяти В. И. Сурикова 26
1917 год 27
Грёзы 28
Фёдор ФИЛИМОНОВ
Памяти Ю. Ф. Левитова 29
Иннокентий ЖУКОВ
«Свой бокал я, друзья, поднимаю...» 29
Михаил ПЛОТНИКОВ
Безмолвие (из цикла «Принцесса Грёза») 31
«Забытый скит над озером зеркальным...» (из цикла «Принцесса Грёза») ... 31
Алексей ГАСТЕВ (ДОЗОРОВ)
Экспресс *(сибирская фантазия)* 32
Иван ТАЧАЛОВ
Песни ночи 40
Замолкла песнь... 40
Орион 41
Пётр ПЕТРОВ
Недопахал я начатого поля *(незаконченная поэма)* 43

II. «РОССИЯ, КРОВЬЮ УМЫТАЯ...» 50

Иван ЕРОШИН
«Проснётся человек...» 51

«Светло, светло. В глаза до боли...» 51
КАК КРАСНОЯРСК ВСТРЕЧАЛ ФЕВРАЛЬ... 52
Письмо Л. С. Крутовской — Г. Н. Потанину, 9 марта 1017 г. 52
Фёдор ФИЛИМОНОВ
Фельетоны. 54
Политическая загадка 56
Фёдор ЛЫТКИН
Манифест 14 марта 1917 года 57
Мой завет 57
Гимн Сибири. *Слова И. К. Музыка А. Кондора* 58
Давид БУРЛЮК
«Ты богиня средь храма прекрасная...» 58
«Скользи, пронзай стрелец алмазный...» 59
Из сибирского, «назаборного» 60
«В лесу своих распущенных волос...» 60
«Где скукотундру режет властно...» 60
Сибирь 62
«Праздник грядущей поэзии» *(объявление)* 62
Михаил БОРИСОГЛЕБСКИЙ
Верховный правитель *(главы из романа)* 63
Сергей САРТАКОВ
Воспоминания о былом. «Казусы и курьёзы» *(главы из книги)* 91
Пётр ЧАЩИН
Дневник 98
Письма 149
Аркадий ТУГАРИНОВ
Красноярск, 1919 г. 153
Георгий МАСЛОВ
Путь во мраке 155
Георгий ВЯТКИН
Беженцы 157
«В этот день голубой...» 157
Сибирь 158
Ольга ИЛЬИНА-БОРАТЫНСКАЯ
Белый путь. Русская Одиссея. 1919—1923 *(отрывки из романа)* 159
«По вечерам я прихожу сюда...» 174
«От двери к двери в морозы эти...» 174
Вивиан ИТИН
«О проклятье!..» 175
«Нас вечно — двое против двадцати...» 177
Наша раса 177
В кинотеатре «Фурор» 178
Ананасы под берёзой
(отрывок из неоконченного романа «Конец страха») 179
Рувим ФРАЕРМАН
Сибирь 185
Николай ДЕМЕНТЬЕВ
Кто она? 186

Марк ПОПОВСКИЙ
Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга.
Схема и схима (1924—1925) 188

III. «К СЕВЕРНОМУ ПОЛЮСУ НАПРОЛОМ». 1930-е гг. 228

Валериан АЛЬБАНОВ
На юг, к Земле Франца-Иосифа! *(главы из повести)* 229
Вивиан ИТИН
Завоеватели Северного полюса (глава из книги «Выход к морю») 248
Вениамин КАВЕРИН
Два капитана *(главы из повести)* 277
Борис ГОРБАТОВ
Обыкновенная Арктика *(глава из повести)* 299

IV. «Я ЗНАЮ — ГОРОД БУДЕТ, Я ЗНАЮ — САДУ ЦВЕСТЬ...» 314

Виталий ДОЛГУШИН
Поэтам революции 315
Владимир ЧИВИЛИХИН
Серебряные рельсы *(главы из повести)* 317
Лев ГУМИЛЁВ
Довоенный Норильск 360
«Как любить такую страну...» 366
Виктор АСТАФЬЕВ
Автобиография 367
МЫ ИЗ ИГАРКИ 380
Письмо М. Горького пионерам и школьникам Игарки 382
Письмо Ромена Роллана 384
Я летал с товарищем Молоковым. *В. Вдовин* 385
Город, которого не было на карте. *Ю. Крылатов, Ж. Смехова, В. Мунтян и др.* 388

V. «СМЕРТНЫЙ БОЙ НЕ РАДИ СЛАВЫ, РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ...» 392

Вячеслав НАЗАРОВ
Добрая воля Сибири *(отрывки из повести)* 393
Борис БОГАТКОВ
Перед наступлением 402
Майя БОРИСОВА
«Стихи писать не трудно...» 404
Георгий СУВОРОВ
«Есть в русском офицере обаянье...» 407
Сибиряк на Неве 407
«Ещё на зорях чёрный дым клубится...» 408
Виктор АСТАФЬЕВ
Где-то гремит война *(отрывок из повести)* 409
Стихи и песни из дневника В. П. Астафьева (1945—1947) 432

Борис РЯУЗОВ
О художнике и воине. ... 438
Из писем и дневников Бориса Ряузова ... 439
Анатолий СЕДЕЛЬНИКОВ
Родине ... 441
Девятнадцатая школа г. Красноярска ... 441
Дневник ... 442
Письмо жене ... 442
После боя ... 443
Эшелон ... 444
Воспоминания об А. В. Седельникове ... 444
Лев ГУМИЛЁВ
«Мы шли дорогой русской славы...» ... 448
Евгений КОБЫТЕВ
Хорольская яма *(главы из книги)* ... 449
Пётр КОВАЛЕНКО
Поглядите в глаза его ... 470
Рукопашный бой ... 472
«Вы знаете, что я убит?..» ... 473
Вечный огонь ... 473

VI. «ЖИЗНЬ МОЯ! ИЛЬ ТЫ ПРИСНИЛАСЬ МНЕ?». 1940-е гг. ... 474

Леонид БОРОДИН
Без выбора. Эпоха моей жизни — Норильск. *Автобиографическое повествование* ... 475
Тойво РЯННЕЛЬ
Мой чёрный ангел *(отрывок из книги)* ... 499
Владимир ШАНИН
«В мою судьбу вошла беда». Рубцова Любовь Григорьевна ... 510
Марк ЖИВИЛО
Мои университеты. Штрафбат ... 522
Склонен к побегу... (откровения бывшего уголовника) ... 526
Мысли о себе — не только для бумаги… ... 536

VII. ШЕСТИДЕСЯТНИКИ: «Я ОБРЕТАЛ СЕБЯ В БРИГАДЕ...» ... 538

Борис ПОЛЕВОЙ
Саянские записки ... 539
Владлен БЕЛКИН
«Неотглаженный и горластый...» ... 540
Людмила ЩИПАХИНА
Красноярские Столбы ... 541
Булат ОКУДЖАВА
Песенка об открытой двери ... 542
Валентин РАСПУТИН
Костровые новых городов *(отрывки из очерков)* ... 543
Вячеслав НАЗАРОВ
И вечный бой... ... 547

В. В. ЧАГИН
Иван Маркелович Кузнецов — библиофил и человек 557
Иван ПАНТЕЛЕЕВ
Как я стал писателем 563
Майя БОРИСОВА
«На стене в деканате приколот лист...» 570
Про доски 571
Солнце 572
Редакционная весна 573
Стихи о звёздах 573
Командировка 576
Казимир ЛИСОВСКИЙ
Проводы коммунистической бригады 584
Приезжайте, увидите сами! 584
Николай ЛЕОНОВ
«Звон имён — Туран, Иран!..» 586
Потомки Ермака 587
Николай Леонов — учёный, поэт, писатель. *Т. Верещагина* 588

VIII. ПОЭЗИЯ XX ВЕКА. АНТОЛОГИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ (стихотворения красноярских поэтов 1960—2000 гг.) 596

Игнатий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
«Нет, я не верю оттепели краткой...» 597
Любовь РУБЦОВА
На Север, в добрый путь 597
Казимир ЛИСОВСКИЙ
Огонёк 598
Зорий ЯХНИН
Девочка 599
Вячеслав НАЗАРОВ
Дорога снов 600
Владимир КАПЕЛЬКО
«Сижу один, уставший в жизни путник...» 602
Аида ФЁДОРОВА
«Сибирь меня не вербовала...» 602
Анатолий ТРЕТЬЯКОВ
Сны 603
Николай ЕРЁМИН
«Послевоенный тихий городок...» 604
Николай РЯБЕЧЕНКОВ
Крысиада *(поэма)* 605
Лев ТАРАН
Посёлок Баштам 611
Алитет НЕМТУШКИН
«Сердце, успокойся, не боли...» 612
Роман СОЛНЦЕВ
Обрыв 613

Александр ЩЕРБАКОВ
Моё начало 614
Анатолий ПЧЁЛКИН
Конспект сезона 615
Елена СЕМЁНОВА
«Весёлою недотрогой...» 616
Александр ЁЛТЫШЕВ
Прощёное воскресенье 617
Владимир КОВАЛЁВ
Старый поэт 617
Антон НЕЧАЕВ
«Я ношу очки в роговой оправе...» 619
Гамлет АРУТЮНЯН
Письмо 620
Сергей КУЗНЕЧИХИН
«Не кончилась дорога возле дома...» 622
Марина САВВИНЫХ
Встреча 622
Татяна ДОЛГОПОЛОВА
«Я засиделась здесь не слишком ли?..» 624
Михаил ТАРКОВСКИЙ
Перед охотой 625
Николай ГАЙДУК
«Благодаренье Богу и судьбе...» 626

Об авторах 630

СИБИРЬ:
КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
XX век

Книга для чтения по сибирской литературе

Составители:
А. В. Броднева, О. П. Ермакова

Дневник П. П. Чащина в редакции **Е. М. Уваровой**

Корректор **Е. М. Уварова**
Верстальщик **Д. В. Обухов**

Подписано в печать 14.09.2020. Формат 70x100/16.
Объем 56,6+1,6 (вкл.) усл. п. л. Печать офсетная.
Бумага офсетная + мел. (вкл.). Тираж 1000 экз. Заказ № 178.

Изготовлено в ООО «КАСС»,
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 65, стр. 23;
info@kass24.ru, www.kacc.ru, т. (391) 290-22-52